РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Борис Васильев

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ...

РОМАНЫ О СЕМЬЕ ОЛЕКСИНЫХ

«АЗБУКА»

Утоли моя печали. Романы о семье Олексиных

Борис Львович Васильев

Аннотация
Васильев Б. Утоли моя печали. Романы о семье Олексиных
К истории рода Олексиных
Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. Записки прапрадеда
От автора
Записки
О твердости незрелых груш и кислоте незрелых яблок
Святки. И день пока не нужен
10 марса
Марса, 12-го дня
Марса, 22-го дня
19 апреля
Ассо, ассо, всегда – ассо!
Май. Ну, скажем, 15-го
16-го. Или – 17-го. Словом, в мае
20 мая
21 мая. Кстати, день рождения моего
28 мая. И звон в ушах

28 мая
Июня 12-го дня
С тоскою жить – не значит жить тоскливо
17 июня. Птичий денек, шумный
1 июля
17-е, июль
Августа 5-го дня
6 августа
22 Августа. Очень памятный день
Сентябрь, что ли. Желтая листва
Октябрь
Зима
Четыре дня спустя
Все лестницы российских казематов ведут только вниз
Свеча первая
Свеча вторая
Свеча третья
Свеча четвертая
Свеча пятая
Свеча шестая
Свеча седьмая
Свеча восьмая
Свеча девятая
Свеча десятая
Свеча одиннадцатая

Свеча двенадцатая
Свеча последняя
Кавказ надо мною проклятьем навис
Первый марш
Второй марш
Третий марш
Четвертый марш
Пятый марш
Шестой марш
Седьмой марш
Последний марш
Сбываются все предсказания, коль силы остались для встреч и потерь…
Встреча первая
Встреча вторая
Встреча третья. С серебряным блюдом
И – последняя встреча
Утоли моя печали…
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая

Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
И был вечер, и было утро
Пролог
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Эпилог
Дом, который построил Дед
Часть первая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая

Глава шестая
Глава седьмая
Часть вторая
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Эпилог
Вам привет от бабы Леры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Аннотация

Творчество Бориса Васильева стало классикой русской литературы, его произведения переведены на многие языки и неоднократно экранизированы; среди них «А зори здесь тихие…», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей», «В списках не значился», а также дилогия «Господа офицеры», с которой началась работа Васильева над своего рода семейной сагой, охватывающей жизнь нескольких поколений дворянской семьи Олексиных на протяжении двух столетий. В этих произведениях рассказана история рода самого писателя, начиная с «записок» его прапрадеда, поручика Псковского полка Александра Алексеева, который был приятелем Пушкина, ставшего одним из героев романа. Борис Васильев считал эти произведения самым значительным трудом в своем творчестве. «Я отдавал должное не предкам своим, – писал Васильев, – а лучшим представителям великой русской интеллигенции». И история дворянского рода Олексиных «превратилась в историю отваги, чести и

достоинства верных сынов и дочерей навеки канувшей в Лету России».

В настоящее издание вошли романы «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт», «Утоли моя печали…», «И был вечер, и было утро», «Дом, который построил Дед», «Вам привет от бабы Леры».

Васильев Б.
Утоли моя печали. Романы о семье Олексиных

© Б. Л. Васильев (наследник), 2025
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2025
© Оформление
ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®

* * *

К истории рода Олексиных

В семидесятые годы начали вымирать последние представители старой русской интеллигенции, чудом выжившие в многочисленных лагерях или чудом в них не угодившие. Сыновья и дочери птенцов гнезда Лаврова, сумевшие донести до нас его завет о неизбывном долге русского интеллигента перед своим народом. Их негромкий голос уже заглушался крепнущими басами новой, советской интеллигенции, и я понял, что обязан написать роман о тех, кто востребован был когда-то в ряды этого уникального, чисто русского явления.

То, что мы поныне понимаем под русской интеллигенцией, являлось дворянской служилой прослойкой, к которой примыкали многочисленные разночинцы. Уникальность и неповторимость именно этой интеллигенции заключалась в том, что она, во-первых, была свободна политически (дворянина можно было обвинить только либо в государственной измене, либо — в уголовном преступлении); и во-вторых, была экономически независима, ибо обладала

собственными источниками существования (поместья, многочисленные родственники и т. п.). Это не просто позволяло ей мыслить критически, но и давало возможность воздействовать на государя как опосредованно, так и впрямую. Это под ее давлением Александр Второй вернул из ссылки декабристов, провел ряд общегосударственных стратегических реформ (образования, судопроизводства, военную, полицейскую) и согласился в конце концов с Конституцией, ограничивающей его собственную власть. Эта Конституция ждала его на столе в тот роковой для России день 1 марта 1881 года, когда бомба террористов-народовольцев оборвала его жизнь.

Мне посчастливилось родиться в семье, имеющей непосредственное отношение к этому периоду нашей истории. Братья Алексеевы, отец и дядя моей матушки, были основателями кружка чайковцев, ходили «в народ», арестовывались и ссылались под надзор, бежали в Америку, где в штате Канзас пытались построить коммуну на принципах Фурье. Затем В. И. Алексеев стал учителем старшего сына Л. Н. Толстого Сергея, подружился со Львом Николаевичем и спас его «Евангелие» для мировой культуры, за ночь переписав единственный экземпляр, который

впоследствии переправил в Париж. Имение моего деда Ивана Ивановича Высокое Ельницкого уезда Смоленской губернии советская власть не тронула, мое раннее детство прошло в нем, и, вспомнив все это, я решил сделать большую семью провинциальных дворян Алексеевых героями задуманного романа, изменив — для свободы маневра — их фамилию на Олексиных. В то время еще жива была моя матушка и ее сестра тетя Таня. Я подолгу расспрашивал их о дедах и прадедах, о их детстве и юности, что в конечном итоге и послужило основой для работы над романом «Были и небыли».

Название предупреждало, что автор, основываясь на фактическом материале («Были»), допускает и художественный домысел, поскольку пишет не историческую монографию, а исторический роман. К примеру, таковым является вся линия Романа Трифоновича Хомякова, русского промышленника-самородка, в образе которого автор попытался обобщить черты многих представителей зарождавшейся русской буржуазии.

Консультантом моего первого исторического романа, к моему счастью, согласился быть один из лучших знатоков дворянства Петр Андреевич Зайончковский. И признаться, мне не удалось

спрятаться за вымышленной фамилией Олексиных. Пригласив меня к себе после прочтения рукописи, он в дверях огорошил меня вопросом:

— Откуда вы знаете историю братьев Алексеевых?

— Внук, — невразумительно пояснил я.

— Тогда вопрос снимается, — улыбнулся Петр Андреевич. — Следовательно, наши предки вместе выбирали предводителя дворянства. Я — из Вязьмы.

Роман ему нравился, и он помогал мне с азартом и удовольствием. Нравился он и еще одному известному историку, Натану Яковлевичу Эйдельману. Он позвонил мне по прочтении, похвалил, а заодно и предложил поинтересоваться еще одним, более отдаленным предком, о котором я — правда в общих чертах — знал с матушкиных слов. Этим предком был поручик Псковского полка Александр Алексеев.

Мой первый исторический роман был напечатан в журнале «Новый мир», имел добрую прессу, вышел отдельным изданием. А у меня осталось чувство не до конца исполненного долга. Я рассказал о своих дедах, но еще ни строчки не написал о своих отцах, жизненный путь которых оказался куда более тернистым. И, помечтав и

помучившись, я стал готовиться к продолжению «Былей и небылей», но уже в иной исторической обстановке. Она требовала не просто фактических знаний роковых годов России, но и почти чувственного ощущения прежде всего ее беспощадной Гражданской войны. Мучительные размышления в конце концов привели меня к определению основной идеи будущего сочинения: отцы собственными руками построили Дом, в котором мы живем и до сей поры. Дом на развалинах прежней России, щедро политых кровью ее сынов и дочерей.

Так, изнутри, что ли, возник замысел второй книги об Олексиных, за которой я оставил мелькнувшее в мечтах название «Дом, который построил Дед». Роман был напечатан в журнале «Октябрь», а одно из первых частных издательств «Инициатор» опубликовало его вместе с романом «Были и небыли» под общим названием «Господа офицеры». Но даже это не породило во мне тогда желания продолжить рассказ об Олексиных.

Я писал современные романы да публицистические статьи, но однажды ощутил вдруг, что черный век России подходит к концу. И тогда впервые подумал о том, что если XIX, золотой век России, был благословлен рождением Пушкина,

то XX — Ходынкой, когда погибло свыше тысячи человек.

А тетя моей матушки Надежда Алексеевна чудом уцелела в этой озверелой толпе и давке, о чем я походя упомянул в романе «Дом, который построил Дед». Ради этого эпизода уже был собран большой материал, я подобрал еще кое-что и написал третий роман о роде смоленских дворян Олексиных «Утоли моя печали…». Его опубликовало издательство «Вагриус», роман был отмечен русско-итальянской литературной премией «Москва-Пенне», а весь тираж быстро исчез с прилавков.

Только тогда я сообразил, что у меня получилась некая «Сага об Олексиных». Серия романов о столетней истории одной семьи, а точнее — столетняя история возникновения, торжества и гибели русской дворянской интеллигенции. В ней не хватало только начала, первого тома «Саги». Я вспомнил о совете Натана Эйдельмана, стал звонить пушкинистам, подбирать материал и… и бороться с собственной робостью, поскольку одним из ее героев должен был стать Александр Сергеевич Пушкин. И все время, днем и ночью думал, каким же был приятель Пушкина, мой прапрадед поручик Сашка Алексеев…

И вот тут… мне приснилось название: «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт» — и я представил себе своего далекого предка живым. А в первом томе русской Военной энциклопедии нашел портрет его отца, героя Отечественной войны 1812 года генерала-майора Ильи Ивановича Алексеева. Отца Александра Алексеева и, стало быть, моего прапрапра…

Я доволен своей работой — столетней историей моего рода. Не потому, что «моего», а потому, что, как мне кажется, это самый значительный труд всей моей тридцатилетней писательской деятельности. Я отдавал должное не предкам своим, а лучшим представителям великой русской интеллигенции, которые и определили место России в истории мировой культуры. Новое время поет новые песни, но и из старых песен слова не выбросишь. Четыре романа «Столетней истории русского дворянского рода Олексиных» в пяти томах, по сути, превратились в историю отваги, чести и достоинства верных сынов и дочерей навеки канувшей в Лету России. Ее более нет, и она никогда не возродится, но у потомков должен быть пример для подражания предкам своим.

Картежник и бретер, игрок и дуэлянт
Записки прапрадеда

От автора

Видит Бог, эти записки существовали. Мама мне говорила о них, да и я что-то припоминаю по первым ощущениям детства. Пожелтевшие страницы старой-престарой бумаги, черные, местами выцветшие чернила, чужой, странный, почти нечитаемый почерк. В Смоленске, помню… а может, то было в нашем Высоком, у деда Ивана Ивановича?.. Не удержала этого память моя, мала была еще слишком. Во всяком случае ни в Москве, ни тем паче в Воронеже этих очень ломких бумаг я уже припомнить не могу. Сестра предположила, что, возможно, они так и остались тогда то ли в Высоком, то ли в Смоленске. Но по тем местам прокатилась война, и все наши семейные архивы пропали в ее огне.

А мама мне, помнится, что-то читала. То, что касалось встреч ее прадеда с Пушкиным. И что-то осело в памяти. Скорее, стиль, способ прапрадедовского видения, мышления и мироощущения, отразившиеся в записи. Это-то тогда меня и поразило: ощущения свои я, слава богу, помню хорошо.

Великие войны и смутные времена — единственные провалы в историях народов, в яростной беспощадности которых горят даже рукописи. А ведь такой человек существовал на самом деле. Реально существовал: мне о нем говорил Натан Эйдельман, прочитав мой роман «Были и небыли», в котором рассказывалось о судьбе моих дедов — многочисленной дворянской семьи Олексиных.

— Почему бы вам не подумать о своем прапрадеде? С ним приятельствовал Александр Сергеевич, доверивший ему на хранение запрещенные цензурой строфы из «Андрея Шенье». Любопытный был поручик, пушкинисты вам о нем расскажут.

Это был не просто добрый знакомец Александра Сергеевича, а мой родной прапрадед. Если бы не он, то и меня не было бы на свете: генетическая цепочка не признает разрывов и замен. А коли так, то я обладаю нравственным и моральным правом рассказать о вас, мой дорогой предок, все, что смогу. С искренней любовью и горячей благодарностью потомка…

«Записки» предварялись — вот это помню ясно, зрительно помню — написанными явно позднее (иной цвет чернил, почему я и запомнил)

строками, обращенными к будущему читателю. К сыну, а возможно, и к внуку — далее автор, по всей вероятности, в поросль свою не заглядывал. Однако следует учитывать, что эти записки были прежде всего семейным сочинением, изначально не претендующим на широкую читательскую аудиторию. Вероятно, в старости предок перечитал написанное и, ни слова в нем не изменив (что он особо подчеркивает), счел все же необходимым кое о чем предуведомить своих потомков, почему я и позволил себе назвать это обращение «Предуведомлением». Название и неточное, и какое-то казенное, канцелярское, что ли, но пред нами — документ, по самому жанру своему допускающий некую нетворческую, если позволительно выразиться так, терминологию.

Единственное, что я, поразмыслив, добавил, так это объяснение некоторых простейших иностранных слов и предложений, которые никакого перевода на русский язык когда-то не требовали, поскольку существовали в обиходе. Но то — в той, канувшей в Лету России. А в нашей, современной, подчас и русские слова переводить приходится…

Итак…

Записки

Сбоку — другими чернилами — то, что я дерзнул назвать
«Предуведомлением»:

Ad patres, дорогие мои, ad patres!

(«К праотцам». То есть «ухожу к праотцам, умираю»).

Скоро, очень скоро предстоит мне рапортовать Господу со всей искренностью и по всей форме, долженствующей Последнему Параду. А посему, ревизуя дела свои земные, дошел я и до сих «Заметок», а перечитав их, за благо почел не трогать ни единого слова, ничего не прояснять последующими событиями и, боже упаси, ничего не менять. Ни единого написанного когда-то слова, ни буквы единой. Не посягайте же и вы на Час Творения своего, в чем бы оно ни заключалось, в малом или великом, ибо не вам, не вам судить о сем. Не вам и Час тот принадлежит,

но истории лишь одной, переписывать которую вы не властны, ибо нет большего святотатства, чем подгонять жизнь и деяния предков под сиюминутные свои интересы. Но дабы все вам было ясно и понятно, как ясно и понятно было мне, когда писал я сии «Заметки», я, с тщанием обдумав все, решился дозволить себе лишь разбить записи сии на части ради лучшего вашего усвоения и понимания и наименовать каждую такую часть соответственно своим собственным соображениям.

Итак, пред вами, младое племя мое, curriculum vitae («жизнеописание») предка вашего Александра Олексина.

О твердости незрелых груш и кислоте незрелых яблок
Святки. И день пока не нужен

— Приказано сказать, что для вашего благородия их сиятельств навсегда нет дома.

От кого и когда я эту фразу услышал — потом. Все станет ясным потом, когда я сам начну соображать. А пока — примите как данность, ибо начал я со слов лакейского отказа в душевном стремлении своем. A die («от сего дня»), как говаривали древние. A die!

Поворотил я тогда от того дома молча и как бы в некоем трансе, что ли. Вскочил на Лулу, помчал… В нашу Антоновку, думаете? Как бы не так! В поля помчал, в леса помчал, аки фавн, коему в вакханалиях отказали.

Туман стоял не вокруг, а внутри. Первозданный туман: клубился, светился и одурманивал единовременно и единообразно. А снаружи — ох и добрый был морозец! Стало быть, внутри у меня — туман, снаружи меня — мороз. И я зачем-то на этом морозе тулупчик сбросил. Жарко мне,

видите ли, стало, невыносимо жарко.

И опять — ни одной мысли в голове. Так, обрывки. «Ах, приказано!.. Ах, со мной играть вздумали?.. Ах, неугоден стал?.. Ну, так я вам сейчас…»

А что — сейчас? Что — сейчас-то, когда туман внутри и одурманивает, и огнем жжет неистовым?.. А то, что ничего мне в голову не пришло, кроме как Лулу остановить, с седла в снег спрыгнуть, хлопнуть ее по шее горделивой и столь же горделиво наказ отдать:

— Скачи домой, Лулу, я в бездну ухожу.

Лулу ушла, хотя и фыркнула. Славной выездки лошадка была, послушна и ума хорошего. А я, видно, дурного, потому что тут же на снег навзничь упал и руки крестом раскинул. Нет, замерзать я, помнится, тогда не собирался, но нестерпимый жар пек изнутри, и я его решил гасить снаружи.

Ну представьте себе: утро, зима, заснеженные нивы, леса да перелески. Снег промороженный, сухой, как порох, мягкий, как пух, и я — в той постели. Застелили мне поле, занавесили морозом и накрыли меня тишиной…

Сколько так пролежал, неизвестно, потому как холода не чувствовал совершенно. Ничего я тогда

не чувствовал, кроме обиды раскаленной, да и не думал ни о чем, признаться. Может, час лежал недвижимо, может, и более того, а только жар мой внутренний с внешним как-то уравновесился, что ли. И туман рассеиваться начал, и вместо обрывков в голове впервые мысль прорезалась: «А где я, собственно? Где люди, где Антоновка, где родительское гнездо, пращуром Опенками названное — в насмешку, что ли? Где мир людской и куда идти мне в мире этом?..» И я сел в некой вполне трезво возрастающей тревоге. И такой холод ощутил вдруг, будто один я одинешенек на всей Земле во времена великого оледенения…

А позади — вздох. Оглядываюсь — за спиной моя Лулу стоит. В инее вся. Серебряная. Не ушла, не бросила, не оставила замерзать одного середь зимнего пейзажа. Вздыхает, головой мотая, «садись, мол, хозяин, пора уж и разум заиметь…».

Расцеловал я ее морду, кое-как — закостенел на морозе-то — в седло взгромоздился и повод отдал, чтоб сама дорогу покороче нашла. И помчалась моя Лулу как бы без всякого моего участия, себя разогревая и меня спасая. И я за шею ее держался, а не за поводья, сообразив наконец, что давно закоченел до полного одеревенения всех членов своих. И домчала меня Лулу.

В результате — жар, бред, голова не моя и тело не мое. Но все — в теплом доме, в нежной постели, в людском окружении, заботе и внимании.

— Барин помирает!..

И вся дворня тихо по дому носится, меня, дурака, спасая. А кормилица моя, Серафима Кондратьевна, которую матушка мне подарила, когда я в Корпусе закончил, сурово, без охов и ахов, меня с того света вытаскивала. Велела Архипу врача привезти, припарки делала, примочки, отвары, настои. И ворчала:

— Ох и неслух ты, Сашенька. Ох и неслух, горе ты мое саженное.

Вытащила. А от вольной, которую я на радостях хотел вручить ей, отказалась наотрез:

— Да куда же я от тебя уйду, родимый ты мой? Я ведь мамка тебе, какая же у мамки от сынка вольная может быть? Только от самого Господа воля ко мне придет, а так нет для меня никакой твоей барской милости.

Очухался я. Жар прошел, боль прошла, только кашель да усталость никуда пока уходить не собирались. Но читать они не мешали, и я книжками обложился.

Честно сказать, до этого случая читал небрежно. В детстве, правда, любил матушкино чтение

слушать, а потом… Потом — Корпус, а там только уставы да наставления читают. Да разве что-нибудь пикантное. А тут с безделья начал да и увлекся. Велел из Опенков отцовскую библиотеку перевезти, все равно родители мои в Санкт-Петербург перебрались вскорости после того, как в Корпус меня определили. И в старом барском доме, еще прадедом моим построенном, сразу стало тихо, а батюшке с матушкой — скучно.

«Что есть книга? Книга есть питание души, аки хлеб — тела».

Это я на титульном листе «Истории двенадцати Цезарей» прочитал. Чернила уж поблекли, почерк вельми старый: кто-то из книгочеев-предков написал. Для меня, видно, и для детей моих. Завет роду всему нашему… Только надолго ли заветом останется? Или растворим мы его в картах, попойках, войнах, дуэлях да любовных утехах? Уж многие дворяне русские в сем растворились без осадка, очень многие. По Корпусу знаю.

А я — читал. Все подряд и на всех четырех языках: напичкали меня ими в детстве. Матушка в этом особую образованность видела, вот мне и пригодилось. И как же славно бы было, коли бы и потом, потом, в племени моем страсть сия не

растворилась бы с горьким и печальным весьма осадком сожаления, но куда страшнее, если и без оного. Книга есть питание души, и нет у души иного питания…

Святки продолжались. Еще кто-то из предков моих завел, чтоб мы на народные празднества не только не смели никогда покушаться, но чтоб участвовали в них непременно. Хороводы водили, угощения выставляли — сласти да орехи, в снежки играли, на тройках крестьянских девок и парней катали. И это, признаться, мне всегда нравилось. Не дружбы ради — какая уж там дружба! — а… «ради той памяти, что мы — их росток, — как батюшка мой говаривал. — Только солнышка нам побольше досталось, потому нам ввысь вымахать и удалось». Такая уж у него философия была. Утешительная.

А еще я тогда же, в постели лежа, писать начал эти «Записки». Сначала чтобы обиды свои выплеснуть, потом — для собственного удовольствия, а затем и для вашего. Нет, не удовольствия — необходимости для. Удовольствия не обещаю: не сочинитель. Но жизнь, кою проживаешь, сама — сочинитель. Почему и льщу себя надеждой, что не зря чернила изводил.

Да, так святки продолжались, и Серафима Кон-

дратьевна, мамка моя и спасительница, мне как-то утром и говорит:

— Последний святочный денечек сегодня, Сашенька. Девки придут величать тебя.

— Вели конфет принести побольше.

— Ну уж, Сашенька. Не слишком-то привечай, благодарности народ подневольный не ведает.

— Давай, давай, — говорю. — А заодно и наливочки сладенькой. Пусть пригубят за мое здоровье.

Никогда мы конфетами молодежь не баловали, издревле так повелось. Но моя кормилица спорить не стала и принесла мне сластей целую корзинку. А вот наливки не принесла.

— Наливочки они со мной пригубят, не с барином же им ею баловаться.

Я тогда промолчал, потому как другое задумал в обход кормилицы моей. Тайное и сладостно гордость мою офицерскую щекочущее, но отложил до грядущего дня.

На следующее утро Савка, лакей мой…

…Написал вот, а перо само собой замерло. Нет, не лакей – с детства друг, приятель, вместе по полу ползали и ходить учились. Поверенный мой, во всех про-

казах поверенный и первый помощник, потому что Савка – мой молочный брат. Одним молоком мы с ним вскормлены, к одной груди вместе припадали, потому что сын он единственный кормилицы моей Серафимы Кондратьевны. Он мне – как Клит Александру Македонскому.

Это я вам, потомки, для памяти доброй записал. Чтоб дружбу ценили, о всех сословиях позабыв.

Да, так побрил меня Савка — легкая у него рука. Настолько легкая, что он тогда же по моему секретному указанию незаметно кошель с золотыми мне притащил и под подушку сунул. Серафиме Кондратьевне своей я, конечно, ничего о таком роде угощения не сообщил. Хотя почти что готов был в этом признаться, когда она на меня чистую рубаху с рюшами на груди и кружевными манжетами надела, поцеловала по-матерински и рюмку портвейну для здоровья с поклоном поднесла. Врач велел каждый день по три рюмки, и я вынужден был терпеть, поскольку давно уж иное для поправки здоровья своего предпочитаю. Но после портвейна ждать начал, признаться, с куда большим нетерпением. Ну кто же девичьи

рожицы милые, румяные с морозца, с прохладным равнодушием ожидать способен? Разве что мраморные истуканы, коими в казенном Санкт-Петербурге весь Летний сад уставлен.

По шуму, смеху, щебету понял: явились. А по тому, как сердце забилось вдруг, по бравости, явственно ощутимой, сообразил, что здоровье мое вернулось в казарму тела моего в полном боевом расчете. Ну, думаю, всех сейчас увижу. Всех своих Лушенек, Грушенек, Нюшенек, Машенек, Полюшек… кого пропустил, прощения прошу. Все девы прекрасны в свои пятнадцать годочков.

А там и запели. Дому хвалу, хозяевам хвалу, а молодому хозяину — отдельно — хвалу и славу. И с этой хвалой и славой ввалились ко мне в спальню.

А я так никого и не узнал, как ни старался. У кого корчага с дырой на голове, у кого — ведро со щелью, кто до самых глаз платком закутан. Поди разберись, кто Глаша, а кто Даша. Ай да хитруньи!

— Ну, — говорю, — спасибо вам за визит да поздравления. А теперь пора и личики ваши мне показать.

Какое там! Смеются серебряными колокольчиками, приплясывают, поют, танцуют…

Танцуют, сказал?.. Случайно вылетело, потому что одна — тоненькая, невеликого росточка, в каком-то берестяном цилиндре с прорезями для глаз, и впрямь танцует, а не пляшет, как остальные. Улавливаете разницу? Danse («танец»)! Я, например, разницу сразу ощутил: по-другому плясунью эту учили. И в деревне я, признаться, ни разу еще не видел, чтобы девушки танцевали. Пляшут — да, все пляшут. С притопами и прихлопами. Отменно пляшут, с огоньком, ничего не скажешь, но чтоб фигуры, коим только танцмейстеры с детства учат, — такого я в своих деревнях еще не видывал. Такое и представить себе невозможно, потому что до сей поры никакому сумасброду и в голову не приходило учителя танцев из Парижа для своего села выписывать. И поэтому барышни в России танцуют, а девушки — пляшут, вот ведь каким образом природное девичье обворожение исстари у нас уравновешивается. Да никакая маменька соперничества своей родной доченьке не потерпит, потому как девичью грациозность по наследству не передашь и никаким барским повелением не введешь в лично принадлежащем тебе поместье: в женском шарме природа — госпожа. А тут шарма — не всякий мужчина выдержит с покоем и

хладнокровием.

Я смеюсь, им подпеваю, конфетки щедрой рукой разбрасываю, а сам глаз с танцующей крестьяночки этой не спускаю. Все правильно, и ручки с кокетливой элегантностью в воздухе арабески рисуют, и ножка на носочке поворачивается, и головка не дрогнет, а лишь грациозно этак клонится от плечика к плечику, и поклоны как в менуэте… Откуда ж ты, прелестное создание?.. Коли не из моей девичьей, так завтра же в ней непременно окажешься, когда дознаюсь, откуда ты сюда явилась…

И тут вдруг будто просветление снизошло.

Да оттуда, откуда меня на третий день Рождества лакей выставил по графскому указу, откуда же еще? Аннет, чертовка, это же ты. Ты!.. Прознала, видно, что я в горячке, и решила… Что — решила? Соображай, Сашка, соображай, сукин сын!.. Добить окончательно или… или навестить по сердечному беспокойству и благорасположению своему? Да навестить, разумеется, навестить и тем игру свою продолжить!.. Ладно, думаю, сейчас проверим.

— А ну, — говорю, — девы распрекрасные, одарите меня, болезного, поцелуями своими на прощанье!

Девицы захихикали, зашушукались, засмеялись, но в очередь выстроились. И предполагаемая Аннет с ними. Но не в голове стала и не к хвосту примкнула, а застенчиво и мило — в серединочке спряталась. А все целуют, губки из-под бастионов головных высвобождая. И я каждой поцелуйнице золотой на память вручаю.

И до танцорки дело дошло. Правда, я ей не только золотой вручил, я ей и на ушко прошептал:

— Coup de maître («мастерской прием»), Аннет. Теперь очередь за мной.

Думаете, сказала что-нибудь в ответ? Ровно ничего. Ни словечка. А золотой — взяла. Она золотой взяла, а меня — оторопь: похоже, сильно я промазал со своими лестными догадками. Никакая она, разумеется, не графская дочь, а всего-навсего заскучавшая в унынии псковском чья-то гувернанточка. Может быть, той же Аннет. И я, болван, клюнул, как отощавший за зиму пескарь на дохлого червяка. То-то всласть посмеются они сегодня…

Вот как моя болезнь то ли закончилась, то ли началась с иными тяжкими осложнениями. Бог весть, где проживает «наше не пропадало», бог весть…

Дальше писать буду и как есть, и как было, и

что в голову придет. Последовательность — тоска педантов, а не одураченных девицами поручиков гвардии. Так-то. Вот из этого постулата исходя, и разбирайтесь сами, ни на йоту не сомневаясь в искренности вашего покорного слуги.

Мщения душа жаждет. Мщения!..

10 марса

День — либо счастливый, либо никакой. Как говорится, либо банк, либо пуля в лоб.

Это я написал утром. Признаться, с дерзкого похмелья, ибо накануне поставил не на тот угол. И ведь был же голос в душе, был! Но я ему не внял. Месье Шарль был прав, когда долбил меня, как дятел: «Mon cher ami, if vous encore trop jeune („Дорогой друг, по юности своей“) вы никак не научитесь слушать себя, и ваш papá напрасно тратил на меня свои деньги».

Но все — за барьер! Вчера из графа вылетело признание, которое дороже проигрыша…

(Кстати, не забыть сказать Архипу, чтобы договорился о продаже Гнилого Зауголья, пока лежит снег. Провернем

сделку, снег растает, и господин Поклюев обнаружит, что вместо заливного луга приобрел болото с незабудками, но – «вы так просили меня продать вам именно эту гипотенузу…»).

Следует о графе рассказать, как я себе его представлял. Иначе, боюсь, непонятным станет мое и его поведение. Выпады наши непонятными рискуют оказаться, поскольку все наше взаимное общение уж очень походило на этакое полуучебное, полубоевое фехтование. Выпад — укол — выпад — укол. Ну и так далее, как в учебном поединке.

…Написал и – засомневался: а в учебном ли?..

Мой батюшка давно поддерживал с ним приятельские отношения. Не скажу, что дружеские — оба были хорошими ежами, — но вполне искренними и даже теплыми отношения выглядели. И не только потому, что имениями они соседствовали, нет. Служили в одном полку когда-то и были ранены в одном сражении. Под Бородином они были ранены. Оба — тяжело, и оба в полдень.

А мне граф с детства казался представителем совсем иных времен. Времен Екатерины Великой, с ее совершенно особым двором, знаменитыми полководцами, отчаянными рубаками, фаворитами, куртизанами и прочее, и прочее, и прочее. Батюшка почему-то не казался, а он казался. Настолько, что я порою видел его в туфлях на высоких красных каблуках, как носили щеголи во времена матушки Екатерины. Разумеется, то всего лишь моим видением было, поскольку граф одевался всегда в полном соответствии с модой вполне современной, но не в том суть.

Насколько мне было известно как из светских сплетен, так и из домашних разговоров, графу не очень-то везло в личной жизни. Первая супруга его померла при родах, так и не сумев разродиться, он долго горевал, не мог ее забыть, поэтому вторично женился поздно, а ребенок родился еще позднее. Один-единственный, крещенный Аничкой. Мой отец тоже женился уже в возрасте, я — тоже единственный ребенок, но я оказался даром упорной и светлой надежды, а графинюшка Аничка — утешительным подарком отчаяния.

Весьма возможно, что граф и невзлюбил-то меня именно вследствие нежданного каприза судьбы. Насмешливо именовал petit-maître

(«щеголь, франт, вертопрах»), причем прилюдно (весьма был откровенен и чудовищно гордился своей откровенностью), смотрел поверх головы, и я всегда подозревал, что причиной этому служила некая воспаленная ревность, что ли. Ну сами посудите: у старого приятеля-сослуживца — сын, продолжение рода, а у него, графа, — дочь, знаменующая конец его древней и весьма известной истории нашей фамилии. Чувство вполне понятное и вполне объяснимое, почему я и не называю даже имени его, не говоря уж о фамилии, которая самой судьбою обречена была кануть в Лету…

Да, так о графском откровении. Вдруг — задумчиво этак, будто в растопыренных картах вычитал:

— Утром, господа, мы с графинюшкой на три дня отъезжаем к Шелгуновым. Votre invitation («приглашение»). Так сказать, гран-суаре старых друзей. Я сказал — «старых»? Иногда во мне прорывается что-то искреннее, как первый заморозок. Мечу абцуг (по две карты одновременно), как и условились.

«А ваша очаровательная дочь Аннет?» — хотел спросить я, но не спросил — и правильно сделал.

В Корпусе что-то толковали об огромном значении великого молчания не менее великих

полководцев. За меня спросил этот хлыщ Засядский:

— А ваша очаровательная Аннет?

В доброй мужской компании всегда сыщется дурак. Надо только вовремя промолчать и сделать вид. Я промолчал и вид сделал, и хлыщ спросил то, что желательно было узнать мне. Спросил, спотыкаясь на каждой букве, как пьяный отставной полковник в гололедицу. Но граф (как хлыщ произносит титул всего-то из четырех звуков? Кажется, «хгьяфь», если не еще музыкальнее…) понял. И, глядя в карты, проворчал:

— У нас то ли краснуха, то ли белуха. Словом, какое-то разноцветное заболевание.

«Аннет дома, дома, дома!..» — стучало мое сердце, и я от столь обещающей новости загнул не тот угол…

(Сбоку – приписка: *Не забыть сказать Архипу о Гнилом Зауголье…*)

Итак, этим утром, выпив для аромату бокал густого, как июльская ночь, старого портвейну… не люблю, но иногда приходится… велел подседлать Лулу — почему-то я чувствую себя увереннее, когда скачу на незваные свидания именно на ней: из трех три, господа, из трех — три!.. — и

помчался к дорогим соседям.

Необходимо было увидеть графский выезд. Граф себе на уме, а не мне, не вам и уж тем паче не партнерам в ландскнехт. Стоял в кустах, сидя в седле, — то ли русский язык допускает такой оборот, то ли это перевод с тех языков, которыми меня нафаршировали в детстве, не знаю, но потомки разберутся. Лулу молчала, а я, признаться, мерз, как кот на ветру.

> …Кстати, для потомков. Официально я холост и бездетен, но цыганка в таборе под Кишиневом нагадала мне сына, а ведь никто из нее этого пророчества червонцем не тянул. Так вот, для предсказанного цыганкой наследника: у тебя уже есть по крайней мере один братец, который мне известен. Младше меня, его родителя, на четырнадцать лет. Естественно, Иван: манера называть бастардов Иванами придумана не нами, но логика в этом есть, поскольку им совершенно незачем помнить о родстве своем. Этакий здоровенный бутуз, весь в маму Лушу. Батюшка мой выдал ее за своего камердинера Матвея, дав в приданое куда больше того, что

способно отшибить удивление, каким же это образом первенец умудрился родиться на шестом месяце после первой брачной ночи. Не забудь о нем, сын. Наша кровь, олексинская…

А тут и графский поезд промелькнул. Bonne route («счастливого пути»), графинчики!.. И я помчал застоявшуюся Лулу в старый барский дом…

Любопытно все же, почему нас тянет именно к этой юбке, а не, скажем, к соседней, облегающей куда более прелестные формы? Мистика, господа, мистика и судьба в паре, дружно задыхаясь, влачат нашу русско-татаро-монгольскую кибитку по бездорожью юдоли мирской…

Помнится, наш полковой враль и философ Мишка Некудыкин как-то рассказывал, что в детстве за шалости был сослан «к тетке, в глушь, в Саратов». Старой одинокой карге, скупой, как дочь Шейлока: Мишка уверял, что она выдавала ему ровно одно яблоко на день, обладая тридцатидесятинным садом… Тут, разумеется, Мишка minimum десятикратно загнул, что всегда являлось свойством натуры его. Да, так в теткином саду он, что вполне естественно, рвал те же самые яблоки, сколько душа требовала, прямо с

деревьев, надкусывал, бросал в поисках более сладкого и однажды был застигнут за этим научным опытом. Тетка вопила, до розог дело, правда, не дошло, но Мишку заточили в кладовку. Он там орал и требовал свободы согласно Высочайшему Уложению о правах российского дворянства, но услышан не был. Тогда — шустрый малый, прямо-таки enfant terrible («ужасный ребенок»), надо признать, — от обиды и томления души он разобрал перегородку, в поисках свободы проник в соседнее помещение, где и обнаружил целый склад многолетнего, выдержанного, как доброе вино, полузасохшего варенья. «Полагаете, господа, что я утолил свою страсть к сладкому? Ошибаетесь, я утолил жажду мщения. Я вскрывал банку за банкой, пробовал и отставлял в сторону в поисках иных вкусовых ощущений. К вечеру со мной приключился жар, что меня спасло от всех видов наказаний, а заодно и вызволило из ссылки. Пробуйте, господа, всегда пробуйте, при малейшей возможности пробуйте!.. Старость наступает только тогда, когда вам уже не хочется ничего пробовать…»

* * *

Так, может быть, мы просто пробуем, надкусывая яблочки в поисках наиболее вкусного?..

Однако данное рассуждение к Аннет совершенно не относится: груша яблоку не товарищ, особенно в юную пору. Вам ведь и в голову не придет незрелую грушу пробовать: зубы сломаете, настолько тверда она и как бы чересчур уж своеобычна. А зеленое яблочко — да с полным удовольствием! Ну кислятина, ну скулы сведет, ну оскомину набьете, только на Руси рвали яблочную зелень, рвут и рвать будут всегда, пока сама Русь стоит. Что-то есть в этих зеленухах, русской душе необходимое прямо позарез…

Так вот, Аннет была скорее грушею, требующей для гурмана полузимней выдержки в домашних стружках. Но жило в ней что-то языческое, что-то от яри дохристианской, что ли. Словом, зацепился гусар усом, лихо закрученным, как говаривали в нашем лейб-гвардии конноегерском полку. Зацепиться-то зацепился, а получил афронт. Да еще публично. На Рождественском балу у губернатора, когда на нас, молодых да при усищах, высыпали разом все отдохнувшие

после экипажей девицы. И Аннет, коей я, как сосед, был своевременно представлен и с коей премило перемигивался, направляется прямо ко мне. Улыбаясь на все зубки и задорно задрав носик. Я, естественно, низко раскланиваюсь в радости, что отмечен первым, она, естественно, приседает в глубоком реверансе, демонстрируя не столько прелести свои, сколько носик, на кончике которого приклеена порядочная мушка цвета перезрелой вишни. «Поздравляю, — с ехидством этаким шипит мой не в меру полноватый цивильный сосед. — С носом вас, поручик, по всем статьям, с большим носом!..» Я не желаю верить, но мушка исчезает уже перед вторым поклоном, как будто ее и вовсе не было на кончике милого носика. Опять не желаю верить, иду на абордаж перед контрдансом с нижайшей просьбой пожаловать мне мазурку. «Ах, ах, поручик, какая жалость, но у меня расписаны все танцы! Рекомендую, пока не поздно, обратиться к Лизель…» А Лизель — дылда на пять пудов уже в шестнадцать лет.

…Драгоценный потомок мой! Сын ли, внук ли – мне неведомо, да и не суть это. Чтобы ты не бегал к бабушкам за разъ-

> яснениями, я сам растолкую, в чем тут загвоздка, если в ваше время моды решительно переменились. А суть в том, что в наши времена мушка на левой щечке обозначала «горячность страсти», меж бровей – «соединение симпатий», посреди лба – «люблю безумно, твоя, твоя, твоя!», а вот на кончике носа – «отказ». Полный афронт. И милые дамы наших дней несли свои мушиные знаки прямо к «предмету», демонстрировали их и тут же ловко смахивали. И далее следовали как ни в чем не бывало.

Ну что на это сказать? Напился я от полноты оскорбленных чувств и, зыбко помнится, орал в каком-то трактире, что-де все одно моею будешь. А на следующий же день, еще не проспавшись толком, разлетаюсь к графинчикам, вхожу в особняк, румяный с мороза и довольный собой. «Поручик Олексин. Доложи немедля». А мне: «Принимать не приказано». «Как?!. Ты глаза протри, я же сосед любезный. Бригадира, графского приятеля, сын единственный!..» А мне: «Приказано сказать, что их сиятельств навсегда нет дома».

Полный афронт. Поворотил я молча и как бы в некоем трансе румяным дураком. Вскочил в седло и помчал, помчал…

(Сбоку – приписка: *Смотреть следует в начало и далее – подряд. Так уж получилось…*)

Что мщению моему помогло? Карты. Граф был азартен до трясучки, а мне, когда надо, всегда не та карта шла, и поэтому за зеленым сукном он меня терпел. И я его терпел, поскольку твердо решил не оставаться в дураках. И заранее сунул несколько ассигнаций прислуге. Толстой, жадной, а главное — глухой, как тетерев, когда обстоятельства глухоты требовали.

— Аннет, как перед Богом, — ты навещала меня, когда я в горячке свалился?

Она улыбнулась… Ах, как она улыбнулась, господа, как улыбнулась! Засветилось все вдруг окрест. Даже, по-моему, лес зимний и тот листвою зашумел… Да, улыбнулась таким именно манером, на одну пуговку расстегнула на груди пеньюар цвета зари майской, потянула за цепочку и показала мне мой же, ей подаренный золотой, к которому уж и ушко припаяно было…

О милых дамах — либо хорошо, либо ничего. Было краткое «ах!..», и дева сомлела. Потом, правда, разомлела, но я вовремя дал тягу.

Ну и для чего я это записал? Да того ради хвастовства, что в дураках нас, Олексиных, пытаться оставить — себе дороже, господа. Себе дороже!..

(Сбоку приписано другими чернилами: *Судьбы человеков записаны в Книге Судеб. И моя – не исключение.*)

Марса, 12-го дня

Думал, что дал тягу, но тяга-то как раз и осталась. И какая!.. Еле сутки выдержал, зубами скрипел, о дверь лбом бился, хотел уж просить, чтоб заперли меня. Ночь не спал, а с рассветом помчался в одном шелковом бешмете. И Лулу несла меня, как в атаку…

Признаться вам, что был на вершине блаженства? Ах, господа, господа, насколько бедным и пошлым оказывается язык наш, когда так хочется быть искренним безмерно! Сказать: «Я люблю»? Мало, мало и еще раз мало! Я потерял и нашел себя одновременно, а это ли не состояние полного счастья? Это ли не познание, что в объекте

любви вашей вы неожиданно обнаруживаете всех безмерно любимых вами женщин сразу? Вы открываете в ней и хрустальный родник страсти вашей, и нежность сестры, и великую заботу матери. Троица ваших самых главных, самых затаенных и вечных женских идеалов вдруг обнаруживается вами в одной, одной-единственной, для вас созданной Богом отраде. Вы нашли! Вы готовы орать на весь мир, что идеал — тот, смутный, совершенный идеал женщины, заложенный с детства маменькой, сестрами, няней, — найден вами, ответил вам любовью, нежностью, пронзительным пониманием и заботой и глядит на вас счастливейшими, полными слез глазами, потому что вы тоже вдруг оказываетесь идеалом. Ее идеалом. Со всеми вашими лошадьми, пистолетами Лепажа, охотой с борзыми, бокалами вина, трубками, картами и храпом по ночам…

— Fidelis et fortis отныне девиз твой, мой рыцарь. Fidelis et fortis — на всю нашу жизнь.

— Верный и смелый. На всю жизнь запомнил.

…Верный и смелый, fidelis et fortis. И вы запомните, потомки мои. На всю жизнь запомните!

— Душа моя, ты мог простудиться. Ты же совсем недавно горячку перенес, а прискакал — в одном бешмете…

— К тебе я скакал. Ты — сила моя и здоровье мое. Ты, Аничка моя, жена моя, счастье мое…

Слеза с усов свалилась и чернила размазала. Ей-богу. Четыре раза под дуэльными стволами стоял, а такого волнения не чувствовал. Кажется, я начал жить, господа. Не бессмысленно существовать, а считать минуты до свидания с тобой, любовь моя…

— Сколько ты не был на службе, душа моя?

— Девять ден сверх отпущенного. Не беспокойся, ангел мой, я рапорт напишу, что заболел, и не солгу в нем ни на полслова. Я ведь и вправду заболел. Радугой твоей заболел. Краснухой, белухой, зеленухой — что там еще в твоей палитре?..

— Отец не даст нам свидания и рассвирепеет еще больше, если ты станешь его просить. Расстанемся на месяц, душа моя, хоть и слезами горючими обливается сейчас мое сердце. Я все расскажу маменьке, она поймет и объяснит отцу. А тут приедешь ты и…

Я спорил горячо, я умолял ее, я заклинал ее нашей любовью, я находил неотразимые аргу-

менты, но все было тщетно.

— Докажи свой девиз, мой рыцарь. Докажи свой девиз.

И она права, господа, права. Граф должен откричаться, отплеваться и отрыкаться пред первым появленьем жениха…

Марса, 22-го дня

— Эскадрон, слушай команду!..

Опять я на плацу. Прислали неумех из деревень, пять лет им вдалбливали уставы и наставления, армейский порядок и команды, но для того, чтобы сделать из них конных егерей, еще лет пять понадобится, никак не меньше. Два года их грамоте учили, как положено, по четыре часа в день. Нужное дело, очень нужное, однако мне, эскадронному, от этого не легче.

— Подтянуть стремена всем, кроме головного!.. Учебной рысью… ма-арш!..

Нас тоже в Корпусе гоняли. Так гоняли, как солдатикам и не снилось. Ночные тревоги — два-три раза в месяц, и всегда в разные дни недели, чтобы мы не вычислили их заранее. А спать давали мало: летом — шесть часов, зимой — на полтора

часа больше. И только разоспишься, бывало, вдруг — рев:

— Тревога!..

Вскакиваем, спросонья лбами стукаясь. Кое-как мундир напялишь и — бегом-бегом! — в строй. Лошадей по ночам не будили: их, видите ли, командиру жалко было, а нас, мальчишек, — нисколечки.

— Пеший по-конному! С места, рысью… маарш!..

Старший воспитатель наш капитан Пидгорный и впрямь на учебной рыси трясется в привычном седле, а мы грохочем ботфортами по мерзлой земле. Одной правой рукой отмахиваясь, поскольку левой приходится палаш придерживать, чтобы он в сонных ногах не запутался. Только приноровишься…

— Эскадрон, слушай команду! Учебным галопом!..

Это значит — вприпрыжку. Скачем вприпрыжку: мы же не дети дворянские, не люди даже. Мы — лошади…

И скачем, как лошади. Пот — градом. Я однажды не выдержал да и заржал, вдруг жеребцом себя ощутив. Двое суток карцера — на хлеб да воду. Доржался…

Вот тогда и решили мы наиболее злостному мучителю нашему капитану Пидгорному отмстить. Обидно нам стало: он-то — верхом на коне, а мы — на своих двоих. Он, когда дежурил, в отдельной комнате флигеля ночевал. Отмучает нас месяц, потом на неделю к семье на отдых отъезжает, а на его место — другой, потом — третий, но эти как-то почеловечнее были. Отдыхать во время скачек наших безумных дозволяли, а шутки смехом даже приветствовали:

— Молодцы, кадеты! Не унывать!..

Капитан Пидгорный совсем из другого теста испечен был. За что и поплатился.

> …Впрочем, кто больше поплатился, признать весьма затруднительно. Весьма…

Денщиком у мучителя нашего капитана Пидгорного старый унтер служил, большой любитель выпить. Задумав месть мучителю нашему, мы с того начали, что раздобыли дегтю, развели его скипидаром пожиже и в складчину купили штоф особо забористой водки. Сургуч отбили, пробку аккуратно вытащили и добавили туда маку, из булок его наковыряв. Нам на ужин булки с маком давали, чтобы мы засыпали покрепче да поскорее

и снов, вредных для возраста нашего, не смотрели по ночам. Да, добавили в штоф маку, заткнули пробкой и снова залили сургучом. Настояли несколько дней, а потом преподнесли унтеру, для того якобы, чтобы он глаза на наши карточные игры прикрыл. Он глаза прикрыть обещал, мы в разведку Андрюшу Корнева отправили — ловкий да проворный мальчик был, насмерть разбился, неудачно из седла вылетев на препятствии вскорости после этого, — и Андрюша доложил, что унтер штоф тот до конца опростал да и свалился в храпе сотрясающем.

Вот тогда и настал наш час. Меня в диверсию ту не включили, слишком уж громоздким посчитав, но я с Андрюшиных слов все знаю в точности.

Капитан-мучитель крепким сном отличался, и об этом уж мы давно проведали. Да и чего ему было сладко не спать: унтер — проверенный, растолкает, когда надобно. А унтер в ту ночь нами в командировку в объятья самого Морфея был своевременно отправлен, и путь таким образом оказался почти открытым настежь. «Почти» потому, что капитана, не дай бог, могла блоха не вовремя укусить или присниться что-либо беспокойное вроде прелестной девы или супостата с клинком окровавленным.

Но ничего особо волнующего ему, видать, не приснилось, и избранная нами тройка во главе с Андрюшей не только безопасно миновала прихожую, в которой унтер храпел, но и пронесла ведро с жидким дегтем в саму обитель капитана. И беззвучно перелила этот деготь в оба капитанских ботфорта. После чего столь же беззвучно вынырнула во мрак ночной.

Вот тогда уж моя очередь настала. Пока соратники мои отважные от дегтярной улики избавлялись, я возле конюшен стожок гнилой подстилочной соломы поджег. Ни за что бы не поджег, если бы заранее под него добрую охапку сухого сена не подсунул. Но я своевременно подсунул и своевременно поджег. А пока разгорался стожок, успел до казармы добежать, раздеться и под тощее одеяло нырнуть.

Раздымился стожок тот на славу. И когда дежурный конюх, нюхом дым почуяв, а ушами — что лошади заржали тревожно, сообразил, выбежал да и заорал: «Пожар!..» — мы тут же все раздетыми во двор высыпали:

— Горим!.. Караул!.. Пожар!..

Орали так, что капитан не мог не проснуться. А проснувшись и сразу уразумев, что и вправду дым возле конюшен, с ходу, как привык, обе

ноги одновременно, по-кавалерийски, сунул в ботфорты…

Стожок тот мы сразу же и потушили, как только вопль капитанский наших ушей достиг. Мщение состоялось, виновных не нашли, но месяц нам покоя не давали. И пеший по-конному, и конный по-пешему, и прусский шаг на плацу, и побудки не ко времени, и бешеные скачки без седла через все мыслимые препоны — все было.

Вот тогда-то наш Андрюша и погиб на препятствиях…

> …Мщение – дурное, неподобающее благородному человеку занятие. Бессмысленная сумма злобных обид души вашей, внутренним ядом травящая, потому никогда и не копите никаких обид. Никакое зло не стоит того, чтобы нянчиться с ним, лелея в душе своей. Добро следует помнить, хранить его и с ним жить. С добром, а не со злом. И уж тем паче не с мечтами о мщении. О любви, мире да согласии мечтайте всегда, дети мои, и потомство ваше будет веселым, добрым, спокойным и здоровым. Уж простите старика за нудное нравоучение, но друга дорогого я на

сем мальчишестве потерял…

Служу, будто пудовые вериги таскаю, только в комнатенке, что снимаю у почтеннейшей Марфы Созонтьевны, душой отдыхая. В Офицерском собрании не отдохнешь: зубы стискивать приходится, слыша разговоры приятелей. Шесть пошляков на пять подпоручиков и четыре — на столько же капитанов. И как я раньше не чувствовал этого? В разговоры их не вслушивался, что ли? Нет, и слушал с жадностью, и сам был рад поведать что-нибудь этакое, позабористее, с перчиком. А теперь — ну надо же! — улыбаюсь, как удавленник, и зубы сжимаю, чтоб не заорать: «Да как же вам не совестно, господа офицеры? Да о маменьках своих вспомните, в муках вас выносивших!.. О сестрах своих невинных, в вас идолов со младенчества видящих!..» Но — молчу. Презираю себя за молчание свое и — молчу.

Потому молчу, что Аничке слово дал молчать. В офицерской среде исстари слово к пощечине приравнивается, и тут уж барьера не миновать, коли что необдуманное брякнешь. Но не барьера я боюсь — никогда, слава богу, я его не боялся, — я слово нарушить боюсь, вот ведь какой камуфлет получился неожиданный…

— …Душа моя, обещай мне, что не будешь рваться к барьеру. Ты уже доказал свою отвагу.

— Аничка, честь офицерская…

— Осиротишь меня и погубишь, Саша. Я уже тебя выбрала, и замены этому и во всем свете не сыскать.

— А наша честь с тобою?

— Подумай сперва, Сашенька, солнышко мое, свет ты мой единственный…

Подумал. И слово дал, не каменный. И девиз, коим Дульсинея моя меня наградила, помню. И — покуда держусь.

Ах, как дни тянутся! Боже ж ты мой, как они канительно тянутся. Прежде, бывало, вскачь неслись.

Даже в карты стал играть по-иному. Не то чтобы осторожничать — кураж поймал, тут уж не до осторожности! Но так играть стал, будто за спиной у меня — семья. Жена ненаглядная моя, дети милые. Спиной их ощущать начал, даже оглядываюсь иногда…

— Что это вы вертитесь, поручик? Вы в карты свои глядите.

— В свои я всегда поглядеть успею, майор. Мне бы ваши узнать желательно.

— Наглец ты, Сашка. И помрешь наглецом.

— Только бы не…

Перестал я, Аничка, такие фразы рифмой завершать, помня глазки твои умоляющие…

— Дама моя — всегда червовая, господа. По ста рублев.

— Бита. Не твоя червенная дама сегодня, Сашка.

— Ан и нет, всегда. Две сотенных на нее же.

И что вы думаете? Банк срываю. Грошовый, правда, банк.

— Ну, везет Олексину! В первом круге отыгрался…

— Если бы отыгрался. Опять у меня полста увел, подлец…

> …Чтобы знали вы, далекие потомки мои, игроки делятся на три разряда. В первом разряде – мычащие: обремененные семьею, скупостью своею или собственной, от природы данной нерешительностью. Играют с осторожностью и – по маленькой, в полном равновесии с собственным куражом: плюс-минус червонец за весь вечер. Попоек избегают (ну

разве что за чужой счет), бесед складывать не умеют, читать не любят, а время как-то убивать приходится.

Разряд второй – молчащий: волки. Играют только ради выигрыша, на который и живут. Толк в игре понимают, а наипаче того – самих игроков. Не чураются и передергиваний, коли куш велик, а карта не идет. И колода у них в подборе, и пятого туза, когда надо, из-под манжета вытянут, и ненужную карту обшлагом прикроют. А уж коли за руку поймали, так только, господа, не к барьеру! Только не к барьеру! Бейте от души, хоть подсвечниками бейте. И бьют их регулярно по всей России, а что толку-то? Не переводятся они, как клопы. Так что и на вас мерзавцев этих, дети мои, вполне достанет. А третий разряд – рычащий. Пленники азарта своего. И выигрышам рады, и проигрышем не весьма огорчены: сам азарт питает их силою своею. И только его ради и садятся они к ломберным столам с горящими глазами и великим нетерпением. Здесь судьба и нервы взвинтит, и улыбнется вдруг, и вокруг пальца обведет, когда не

ждешь. А кровь твоя бурлит, сердце бьется, ты – живешь, и море тебе по колено! Здесь – кипение страстей человеческих, здесь испытание чести твоей, здесь игра королей, а не валетов, как в первом разряде, и не шестерок, как во втором.

Премудрость сию мне впервые Александр Сергеевич Пушкин поведал. В Кишиневе, когда мне едва осьмнадцать минуло. «В этом тоже своя поэзия, Сашка, — втолковывал мне он. — Экзамен страстью рока своего…»

Потому и невмоготу мне вскорости стало лениво и бесстрастно в картишки перебрасываться в разряде первом. Я уж и ставки поднимал, и ради куража ва-банк объявлял при полном лове, но гнилой костер и порохом не подожжешь. И — затосковал я. По настоящему азарту затосковал, по тому, который Александр Сергеевич с поэзией на одну доску ставил. И — грешна душа человеческая! — не сдержал собственной клятвы. Обещания собственного не сдержал. Прощения у Анички в душе испросил и вернулся в разряд рычащий.

— Сашка!.. — заорали бравые новгородские конноегерцы (я тогда в том полку лямку тянул). — Уж

слух прошел, что тебя твой батюшка-бригадир наследства лишить обещался?

— Верный слух, — говорю. — А потому — по банку с ходу. Кто держит? Ты, Затусский?

— Я, предатель братства нашего, я.

И что вы думаете? Срываю банк, едва за стол усевшись. А в банке — без малого тысяча рублев ассигнациями. Но голова не закружилась, потому что закон знаю: коли давно не рисковал, судьба твой риск благословит. Она потом отыграется, когда тебя в свои объятья заполучит со всеми шпорами твоими. Осмотрительности лишив, голоса внутреннего, а порою и здравого смысла.

Ах, какая игра была! Восторг, шум, крик, страсти, извержение Везувия, за шампанским три раза посылали. Но в тот вечер судьба ко мне благосклонной оказалась, как никогда доселе…

И я от благосклонности этой малость самую размягчел. Удила отпустил, вольную душе выписал и на штурм банка бросался порою и без малейшего шанса, единственно на удачу уповая. Рисковал безумно и безмозгло, как никогда доселе не рисковал, и на третий вечер проигрался до дыр во всех карманах. Все, что до сей поры выигрывал, — проиграл, свои деньги, что были, тоже проиграл, а сверх того — еще семь тыщ. Дал

слово подполковнику Затусскому, что в десять дней верну до копейки, и наутро поплелся к командиру нашего лейб-гвардии Новгородского конноегерского. Или, как его в других полках называли, «картежно-ернического».

Тащился и казнился, как никакому преступнику не снилось. Пред Аничкой своей казнился, убивался, мысленно из Новгорода к ней на коленях полз, туфельки ее целовал. «Прости, любовь моя, дорогая моя, жена моя. Повинен я, грешен я, и подл я. Все я сознаю, всю глубину падения своего, Аничка, не по плечам мне еще девиз, тобою дарованный: „Fidelis et fortis“, нет во мне ни верности, ни смелости жить порядочно и достойно. Довлеет азарту натура моя порочная, авантюрам довлеет, безмозглому риску довлеет, знаю, чувствую, казнюсь и страдаю. И все же клянусь тебе, любовь моя единственная, что добьюсь я права осмысленно и гордо носить присвоенный мне тобою, Дамою сердца моего, девиз великой верности тебе и отчаянной смелости в защите верности этой. Клянусь, потому что всю жизнь любил тебя, искал тебя, мечтал о тебе и — нашел…»

Нашел!..

Помнится, я даже остановился, сам не поверив, что так оно и случилось. Великой силой обла-

дает искренность, потому что в какой-то миг полного откровения срывает вдруг все покрова с трусливой памяти нашей и обнажает родники наших истинных чувств. Вот потому-то церковь так настойчиво, упорно и постоянно и требует от нас, грешных, молитв: она знает, знает о могучей силе девятого вала бездонной искренности души человеческой, вала, рожденного покаянием нашим искренним. Знает, что искреннее покаяние это в конце концов поднимет в душе нашей, азартом издерганной, изолганной, пропитой и прокуренной, чистые источники детства, доселе замутненные взрослым расчетливым враньем, привычной, обыденной ложью, подлостью, трусостью, предательством друзей и идеалов юности, сделок дешевых с собственной совестью. Только ребенок божественно искренен, господа, только его душа хрустально чиста и непорочна! И только искреннее раскаяние способно вернуть наши испоганенные ложью души в сияющие чертоги нашего детства. Молитесь, господа, молитесь, ибо молитва есть проверенный и наипростейший путь к нашему собственному детству, а значит, и спасению, ибо душа наша воскреснет вновь…

Постоял, ожидая, когда молния озарения этого внезапного угаснет во мне, и поплелся дальше.

И маялся, признаюсь, пока до канцелярии не добрел и к командиру полка не ввалился. Снова лгать и изворачиваться.

Полковник у нас был — отец солдатам, да отчим офицерам. На плац опоздаешь — на неделю выволочка. Солдат заболеет — предупреждение. Не дай бог, стрясется что в эскадроне, когда ты за дружеским пуншем душу отогреваешь — в полковом офицерском собрании при мамашах дев премилых, — вслух и, заметьте, громко предупреждает:

— Этого в женихи не рекомендую.

А как мне слово данное исполнить, когда слух пробежал, будто отец меня наследства лишил? Никто мой вексель в Новгороде не примет ни под какие проценты: батюшкин характер знали не только в армии. Ну и что остается? Остается мчаться в Петербург и умолять родного батюшку навет сей развеять, а заодно и спасти фамильную честь. И без отпуска из полка здесь уж никак невозможно было обойтись.

— Продулся?

— Вчистую, господин полковник. Только под честное слово из-за стола и выпустили.

— Обормот ты, Сашка, — вздохнул полков-

ник. — Ведь, поди, пулю в лоб, коли не отпущу?

— А вы отпустите, Пантелеймон Данилович, — говорю нахально. — Вам же и мороки меньше. Сами рассудите, коли офицер застрелится — расследование, инспекция, неприятности.

Пошел я тогда ва-банк: он меня на службе по имени, и я его на той же службе — тоже по имени. А что делать? Честь на карте, равная жизни честь.

— Не завидую я ни родителям твоим, Олексин, ни супруге будущей, если, конечно, сыщется какая ненормальная… — вздохнул полковник. — Скажешь там, что к врачу тебя отпустил. Ступай, горе ты полковое…

И помчал я в Северную Пальмиру тем же вечером…

19 апреля

Не знаю, чем бы тогда дело обернулось. Может, и отцовским проклятием со всамделишным лишением наследства: он суров был настолько порою, что и сама милая матушка моя с ним совладать не могла. Вот о чем, помнится, думалось мне с горечью, когда трясся я по весенним ухабам, никакого выхода не видя. Только, на счастье мое,

ямщики новгородские ушлыми были ребятками. Оглянулся на меня с облучка очередной Тараска, вцелился взглядом, будто насквозь прострелил, да вдруг и говорит:

— А что, барин, на первой станции прикажешь или лучше тебе на вторую?

— А чем, — говорю, — лучше-то? Дочка смотрителя уж больно хороша или самовар там погорячее?

— Веселее там, — говорит мой ямщичок-простачок. — Там завсегда господ много. В картишки перекидываются.

В картишки!.. Ошалел я: вот он, выход. А коли не выход, так все равно терять уж нечего. Ах, Аничка моя, помолись за своего непутевого!..

— Ко второй, Тараска!..

— Ну, залетные!..

Конечно, если бы денег и впрямь в тот момент в кармане моем не оказалось, вздохнул бы только: третий разряд — рычащий — без оных к столу игорному не садится, гонор не позволяет. Но аккурат утром сегодня на выезде из Великого Новгорода встречает меня не кто иной, как Мишка Некудыкин:

— Помолись за меня, Сашка. В добром питейном заведении.

И протягивает мне пять сотен.

— До подаяний, — говорю, — еще не докатился.

— Отдашь, когда куш сорвешь!

Нет, недаром в Наставлении об конноегерцах записано черным по белому: «Брать в конноегерцы офицеров только самого лучшего проворного и здорового состояния…»

Миновали мы с Тараской первую станцию, остановились у второй, куда как малозаметной. Вошел в избу: никого, кроме любезного смотрителя. И по масленой любезности его вижу, что мне и в самом деле уж очень обрадовались.

— Что прикажете, господин офицер? Обед, самовар?

— В тишайшую половину — бутылку рома и… сколько там рюмок сейчас?

— Рюмок?.. С вами — шесть.

— Вот шесть и подавай.

— Извольте шинель снять.

— Лихорадка бьет.

Снимаю саблю, как водится, а шинель запахиваю: у меня под нею пара пистолетов. Два туза на всякий случай, так сказать. И оба — козырные.

— Так печка там топится, ваше благородие.

— Вот от печки и потанцуем. Веди в тишай-

шую.

Проводит меня хозяин:

— Их благородие тут погреться решили.

Молча гляжу от порога, ноги очень уж старательно вытирая: тройка пройдох в партикулярной потертости, отставной майор, по виду — аматер («любитель») страстный, да молодой человек, счастье свое пытующий едва ли не впервые. Морды у пройдох шестерочные, у майора красная, у юнца — под лимон, хоть закусывай. «Липку дерут, — думаю. — Только лыко драть и лапти плесть — не для одних рук дело». Представляюсь и — сразу к столу:

— Коль уж греться с дороги, так оно лучше — за картишками. Удача кровь разгоняет.

Поначалу этакого межеумка полкового изображаю: уж и не робкий, а еще никак не игрок. Понимаю, что троица эта, лихо в карточных баталиях потертая, разноцветных бедолаг потрошит. Однако не нахрапом, без наглости, на учебной рыси, так сказать. И я пошел той же рысью, галоп свой приберегая: и не следует резвость до времени показывать, и узнать желательно манеру их неторопливую. Майор с Лимончиком от собственных карт уж и глаз не отводят, а шестерки ко мне приглядываются. И я соответственно — к

ним. «Проиграть надо, — думаю. — Непременно проиграть, чтоб был резон ставочку повысить».

— Сколько в банке?

— Одна сотня двадцать.

— Стало быть, с трети и начнем, помолясь.

Не играем — дубину пилим: раз к себе, другой от себя. За это время масти шестерок распределяю: кто из них пиковый, кто — трефовый, а кто и во бубнах и рожей, и повадками.

Смотритель ром приносит, а пока разливает, банк к Бубновому переходит. Румяному такому, с маслеными глазками.

— За доброе знакомство наше, господа!

Не отказываются. У Трефового — пожилого, хитренького, хихикающего — ручки подрагивают, когда с рюмкой соприкасаются. То ли сопьется вскорости, то ли уже спился.

А я, время не тратя, банчок Бубновому навариваю. Мягонько, чтобы не спугнуть до срока. «Ах ты!.. — дескать. — Хотел же другую заломить, вот невезенье!..» Ну и так далее. Разные есть способы, и о них в нашем «Егерском наставлении» прямо говорится: «Егерь должен преодолевать все препятствия, какие только встретиться могут». Вот я и преодолеваю.

За третьей рюмкой банчок до тысячи поднял.

Раскраснелись все, даже Лимончик. Он подряд два раза выиграл немного и на радостях новую бутылку потребовал. На руку мне: шестерки на рюмочки живее откликаться стали. Повздыхал, повертелся, посопел даже и… «Ну, Аничка, молись за меня…»

— Еще карту.

Аккуратно дал банкомет шестерочный трефовой масти, снизу. И рукава высоко поддернуты…

Туз пришел! Как виду не подал, сам удивляюсь.

— По банку!

Риск невелик: двадцать очков на руках. Но — против банкующего… Так, Бубновый свои картишки сразу бросил. Стало быть, знает, сколько там, у банкомета на руках…

Девятнадцать у банкомета! Но я — даже не улыбнулся.

— С кем не бывает, — говорю.

Чувствую кураж, чувствую! Пошла карта. Только бы не зарваться: теперь я банк держу.

Что долго-то расписывать: удержал я тот банк. Рубликов этак под семьсот. А следующий у меня майор сорвал, чему я, прямо скажем, обрадовался: и проигрыш невелик оказался, и майору, слава богу, наконец-то счастье улыбнулось, и за бутылкой он послал на радостях своих.

Не люблю, когда отставных офицеров чина невеликого пройдохи обыгрывают. За ними семья, дети, хозяйство, а доходов — всего пенсион. Не люблю. Совестно мне всегда, даже когда не я в выигрыше оказываюсь.

Жрать было охота, кишка кишке атаку трубила. Но отказал я животу своему. Сытых кураж не любит.

> …Держи кураж! Всегда держи кураж, чем бы ты ни занимался: в бою тоже свой кураж есть, и коли потерял его хоть на миг единый – быть тебе на земле. Тогда считай копыта над головой, покуда в сознании еще пребываешь. Было такое со мной, было, в Бессарабии еще, довелось считать. Слава богу, хоть свои копыта тогда надо мною проносились. А ну как вражеские считать доведется?..

Ну, вот и по-крупному пошло после третьей бутылки: крапивное семя от дармовой выпивки не враз-то и оторвешь. Присасываются. Жалко мне их, которые вот так промышлять вынуждены, ей-богу, жалко при всем их гнусном ремесле. Чин — в самом подножье российского Табеля о рангах, пенсии — грошовые, и — не дворяне, как

правило. Дети священников, солдат или вольноотпущенников, доходов никаких, а семьи — в рыдван не усадишь. Ну-ну, Сашка, кураж мягких не любит. Лучше отставного майора пожалей: опять проигрывать начал.

Вот так и канителились, ром попивая, но в выигрыше пока был только я. Правда, в основном за счет майора, к сожалению, и дворянчика Лимончика. Но я ждал своего часа, с надеждой ждал, по мере того как убывал ром.

Светать стало, все уж устали, но никто пока о конце сражения не заикался. Все в раж впали: дворянство — в сладкой мечте хотя бы проигрыш вернуть, крапивное семя — в сладкой надежде меня объегорить. А я им подыгрывал, как только мог. И зевал, и кряхтел, и подремывал, и жаловался на усталость с дороги.

Вот это их и погубило: осторожность потеряли. Незаметненько и этак аккуратненько появились картишки из другой колоды, рубашка которой отличалась столь малозаметными нюансами, что на рассвете да еще после рома углядеть ее было за гранью сил человеческих. Но я углядел, потому что по опыту знал: непременно появится. Углядел, но виду не подал, не ко времени было вид подавать. Прощелыги в проигрыше, им бы

не в мой карман целить, а свое вернуть, да и подавай бог ноги, пока мы не очухались. Но сия единственная здравая мысль покуда что в головы их не вселялась. Их другое держало — ажитация. Банк был маловат для последнего куша. Ждали они его, ох как ждали!..

Но и я ждал. А как банк за пять тысяч перевалил, душой услышал, что труба пропела. «Ну, Аничка моя, молись в сладком сне своем!..»

— По банку.

— А есть чем ответить, господин поручик? — высунулась вдруг пиковая шестерка.

Мрачный субъект. И глаз пронзительный, и сам черный, как цыганенок. Но, видать, глуп, потому как допустил целых две промашки. Во-первых, признался, что они уже выигрыш считают, а во-вторых, повод мне дал для справедливой ярости.

— Как смеешь мне, офицеру, недоверие выказывать? — гаркнул я. — Да я за меньшее к барьеру приглашал!..

Поднялся шум, начались извинения, просьбы. Я ерепенюсь, краску гнева праведного изо всех сил на усталом своем лице вызываю, ору, а сам поглядываю, что их руки в этот момент делают. Чем заняты… И вижу, отчетливо вижу, что Бубновый, урвав миг, в карман полез, вроде как за платком.

— Ва-банк! — рявкаю. — И чтобы без намеков, оскорбительных для чести моей!

Рисковал? Еще как, но почему-то верил. Верил, что дама придет: у меня на руках аккурат восемнадцать было. И не обманула меня дама моя, пришла на дорогое — под шесть тыщ — свидание!..

— Очко!

— И у меня очко, — говорит банкомет и гаденько этак улыбается.

По правилам — он выиграл. И выиграл бы, коли бы по правилам играл. Но я-то приступ ярости не зазря закатил. Чуть было глаза не сломал, за их руками приглядывая: уж больно шустрые ребятки попались. И лапки цепучие, и глазки липкие пронзительно. И банкомет уж за деньгами тянется.

— Цурюк! — командую. — А ну-ка карты — рубашками кверху.

В три глотки заорали:

— Не по правилам!.. Не по совести!.. Прав таких не имеете!..

Тут-то я пистолет достаю и звучно курком щелкаю:

— Рубашками кверху, я сказал. Раз!..

«Два» и говорить не пришлось: сам банкомет

перевернул дрожащими руками. И примолкли все.

— Света, майор.

Майор канделябр придвинул, вгляделся:

— Ах, сукины дети!.. Рубашки-то разные.

— Разные! Разные!.. — Лимончик аж ручонками всплеснул.

— Стало быть, и выигрыш мой, — говорю. — А за плутовство — все доли партнерам вернуть. Все, до копейки! И мне — тысячу за расстройство мое.

— Не пойдет такое! — всполошился, вскочил даже Пиковый. — Хоть убейте, не…

Пальнул я в потолок. Он сразу сел, все замолчали, и смотритель в одном исподнем вбежал:

— Что такое? Грабят никак?..

— Гони за исправником.

— Не надо, не надо, — забормотал Бубновый. — Мы согласны на мировую, согласны. Сколько должны, господа, все — до копеечки, до копеечки… Без шума желательно нам.

— Мне тысячу, — напоминаю. — За консоляцию.

Отсчитали трясущимися руками. И дворянчику Лимончику, и майору, и мне — ровно тысячу сверх выигрыша. Когда рыльца в пушку, за деньгами не постоишь.

— Извините, господа, извините. Бес попутал, истинно бес попутал. Благодарствуем вам…

И в двери ринулись, друг другу мешая. Уж кто-кто, а исправник им — совсем не в масть…

Я на них не смотрел. Я на майора смотрел: слеза у него по щеке катилась. Видно, все семейные сбережения бедолага в чужие карманы спустил…

— Как же я вам благодарен, господин поручик. Как же я благодарен вам…

Позавтракал я и плотно, и весело: Лимончик на радостях угощал. Поблагодарил их, попрощался да сразу же и выехал. В Новгород, думаете? Как бы не так. К петербургским врачам, согласно письменному распоряжению полкового начальства, выехал. С десятью тысячами в кармане. В полном своем avantage («польза, выгода»). Завернулся в шинель, ноги полостью прикрыл и постарался все забыть…

Только 24-й день апреля никогда не забуду.

Но о нем — потом. Сперва — о Санкт-Петербурге. Записи в Новгороде оставил, а потому, стало быть, задним числом.

Сказать по совести, не люблю я Санкт-Петербурга со всеми его дворцами, мостами, проспектами и прочими красотами. Воды уж слишком много, сырости, насморка. Скользкий он для меня, как

погреб, вокруг которого — сплошные казармы с фронтонами. Строили его из-под батога, а потому все в одну линию и выстроили. И дух насилия витает над прямыми проспектами: и хочется хоть куда-нибудь завернуть, а — не получается. Градостроители постарались, чтоб все только прямо и ходили фрунтовым шагом.

Впрочем, я и Москву не люблю, если уж начистоту. В молдавских кодрах мне как-то муравейник показали, который вокруг дуба расположился да и подмял тот дуб под себя. Вот тогда-то я о Москве и вспомнил. Не о той, которую в древности с веселья да похмелья строили, а о той, что получилась. А получился бабушкин клубок, настолько перепутанный да закрученный, что москвичи только тем и занимаются, что друг у друга дорогу спрашивают. Здесь и вольно, и хмельно, и всегда тесно, как и должно быть в запутанном котенком бабушкином клубке. А Кремль что тот дуб в молдавских кодрах, до гордой своей вершины облепленный муравьями.

Нет, господа, я — провинциал. Я душой отдыхаю в наших маленьких и неспешных городках, где нет ни шпалерных проспектов, в которых невольно и до сей поры свист шпицрутенов слышится, ни замысловатых арабесок муравьиного

самоутверждения, ни людских скопищ, вечно спешащих неизвестно куда и неизвестно зачем. Здесь тихо, покойно, патриархально, неспешно, все друг друга знают и все друг с другом здороваются. Я бы в таком городке помереть хотел, кладбища там малонаселенные.

А еще потому я Москвы не люблю, что в ней судьба моя переломилась. Не решил еще, правда, к лучшему или к худшему, но в этой вечной дилемме и заключено наше отличие от тварей земных.

Закончил я в Корпусе младше всех: мой батюшка — служака из служак, а потому и запихал меня на службу в возрасте, когда еще маменьку по ночам зовут. Семнадцать мне едва исполнилось, когда я в чине прапорщика гвардии прибыл на пополнение московского гарнизона. И по утрам, признаться, то место щипал, откуда усы растут. С редкой настойчивостью.

Служить бы мне в Первопрестольной, служить да не тужить, но так уж случилось, что моим первым ментором оказался гвардейский хрипун Васька Турищев. Учил он меня без затей, поскольку сам о них не ведал, зато надут был спесью, которую я по недоношенности ума своего принимал тогда за первейший признак особой

комильфотности. Глупость вполне прощаемая, коли не переходит в хроническую. Мне повезло, могла и перейти.

Подробностей не знаю, а потому — без них. Васька люто взъерепенился по поводу категорического отказа какой-то белошвейки и решил преподать мне пример, как противостоять подобному à tout prix («во что бы то ни стало»). Правда, цена оказалась куда как выше предположенной.

— Ну, попляшет у меня эта девка!

Поскакали мы куда-то вечером: куда — и не спрашивайте, и не знаю до сей поры. Молодость спокойно обходится не только без логики и размышлений, но и без географии, почему всегда влипает в истории. Вечер теплый, все прелестно, я чирикаю, поскольку возрасту моему свойственно чирикать.

— Учись защищать свою честь офицерскую, пока я жив, — втолковывал мне Васька всю дорогу. — По чести офицера ценят, нет у нас иных козырей…

И тут из-за угла появляется некая испуганная парочка. И робко так, застенчиво и неуверенно к заборам жмется. Девица мила и юна, молодой человек, спутник ее, неестественно напряжен и как бы вроде меня. То есть без усов еще и опыта.

Мой arbiter elegantierum («законодатель изящных манер») тут же заступает им скромную тропиночку и вдруг — весьма нагло:

— А ну-ка, котик, брысь отсюда.

Клянусь, меня передернуло тогда. Но промолчал в жажде дальнейшего обучения.

— Сударь, — тихо говорит молодой человек. — Очень прошу оставить мою сестру в покое.

— Ах, твою кошечку, котик? — издевательски продолжает Васька. — Дьявольски мило, но, слышал я, у тебя дела неотложные? Хочешь, на извозчика дам?

— Сударь, — сдерживаясь изо всех сил, говорит мой ровесник. — Я прошу убедительно.

— Убедительнее всего — трость. Трость есть аргумент неотразимейший.

С этими словами Васька поднимает трость и с силой бьет ею по лицу молодого человека. Поразительно, но юнец даже не загораживается от удара, а дева слабо вскрикивает.

— Опомнитесь, сударь, прошу. К большому сожалению, я не могу вызвать вас на дуэль, потому что вы не рискнете драться с не дворянином, а посему…

И тут с Турищевым происходит нечто вроде припадка. Он впадает в исступление и бьет тро-

стью молодого человека по рукам, по лицу, по голове…

— А посему!.. А посему!.. А посему!..

— Вы заставляете меня прибегнуть к крайней мере!..

Выкрикнув это, юнец вытаскивает откуда-то из-под сюртука пистолет. Васька отскакивает, девица кричит, а юнец приставляет пистолет к собственному виску.

Как я сумел ему помешать, и до сей поры не понимаю. Но успел броситься вперед, сбить руку. Выстрел все-таки грянул, но пуля ушла в воздух. А я… все помнится ясно и туманно одновременно. То есть физические действия могу и сейчас повторить, но вспомнить, о чем думал, — excusez-moi, s'il vous plait («извините, пожалуйста»). Вырвал пистолет у цивильного брата таинственной белошвейки и со всей силы ударил Ваську Турищева кулаком по физиономии.

Тут уж без дуэли обойтись никак не могло. Через два дня в Серебряном бору. Дуэль под номером один для меня. Я впервые целился в живого человека, и оружие показалось мне тогда слишком тяжелым. Но в ногу я ему все же попал. Не мог не попасть, должен был попасть, обязан был. Хотя бы в ногу.

А Васька в небо выстрелил, подлец. И крикнул:

— Бога благодари, что понравился ты мне! Эскапада твоя человечна! Ценю!..

И через десять, что ли, дней я поехал в изгнание. В пыльный город Кишинев…

> …Не могу не поведать о следующем времени своем. И потому, что наградил меня Господь добрым приятельством, и того ради, чтоб наследники мои чужих писем, а уж тем паче воспоминаний не листали похвальбы для. Вот, мол, глядите, кто в Кишиневе батюшкиным ментором оказался.

Но это не совсем так. Ментором моим он не был. Он для начала до седьмого пота меня фехтованию учил:

— Ассо, Сашка! Ассо, и всегда ассо!..

Фехтование и в наши дни забывается, шпагу пистолет заменил, а в ваши времена, дети мои, поди, оно и совсем в небытие уйдет. Только дуэли сберегите, а то в мерзости захлебнетесь. «Есть упоение в бою…» И от себя добавлю: и очищение. Извини, Александр Сергеевич, за вольное мое добавление.

Да, чтоб поняли. «Ассо» — встречный бой. Лю-

бимый бой учителя моего.

Никого я не знал в Кишиневе, ну решительно. Правда, батюшка мне письмо дал к старому другу, но письмо то я ему не показал. Не следует жизнь отцовскими памятными плитами мостить, даже если они из доброго гранита.

Да, так оказался одиноким, но дерзкая мальчишеская гордость не позволяла мне ни на знакомства напрашиваться, ни каких-либо покровителей искать. Остановился у Беллы — она держала гостиницу и пансион при ней, и я обосновался в пансионе. Временно, пока мой Савка не подберет мне самостоятельное жилье.

В том пансионе старшей оказалась болгарка Светла — светлое имя и светлые воспоминания мои. Мне ведь едва семнадцать минуло, и хотя сына уже прижил, а все равно пока еще девственником себя ощущал. Не то чтобы волочиться — флиртовать с девицами своего круга не решался. Дух у меня замирал и язык прилипал к гортани: корпусное обучение сказывалось, что ли? Словом, этакий оболтус саженного росту с соответствующей росту этому робостью, которую я изо всех сил и весьма неумело скрывал, коли случай какой сталкивал меня с дамами, а уж тем паче — с барышнями.

А со Светлой мне пыжиться было ни к чему. Мила она была мне, застенчивости никакой я пред нею не испытывал, она — тоже, и… И — вечная ей благодарность и признательность моя. Скрасила она мои первые тусклые вечера, растворила в ласках неуверенность мою и помогла понять и осознать, что такое — мужчина. Не раздираемый яростью плоти барчук, каким я маме Луше представлялся, а — кавалер, который способен присниться, и рыцарь, которому можно довериться.

> …Никогда не забывайте добра, с коим свела вас судьба по дороге. Добро достраивает душу вашу, тогда как зло всегда лишь разрушает ее. А посему и недостойно того, чтобы помнить о нем…

Приписали меня к канцелярии наместника Бессарабии генерал-лейтенанта Инзова Ивана Никитича. Службы — утром явиться, а дальше — как знаешь. И, помаявшись от таковой деятельности, забрел я как-то в фехтовальный зал.

Признаться, фехтованием я не увлекался. В детстве, помнится, батюшка меня основам учил: как рапиру держать, как салютовать перед началом схватки и в конце ее, пяти позициям фехтую-

щего да некоторым простейшим приемам. Он уже принял тогда твердое решение меня в Корпус определить, а потому к профессиональным учителям и не желал обращаться, справедливо рассуждая, что в Корпусе сына его все равно по-своему переучат. И оказался прав совершенно: в Корпусе фехтованию каждый божий день учили, но отнюдь не на шпагах, а на саблях. Учили тому, что в будущей офицерской службе будет просто необходимо, поскольку готовили из меня кавалериста. Но звон клинков в уши запал, почему я на этот звон и пришел.

В зале один цивильный, в красной феске на бритой голове, с местным подмастерьем сталью лязгал. Мне, гвардейцу, признаться, маленьким он показался, но складненьким и проворным, как обезьянка. И поначалу встретил он меня как-то неприветливо, настороженно, испуганно даже. Дней десять понадобилось, чтобы, как говорится, la glace est rompue («лед сломан») был. И после первой улыбки его при звоне рапир, после взаимного обмена победами и поражениями перестали мы прибегать к помощи наемных учителей.

— Дебаже показываю, Сашка. Смотри: в атаке отводишь шпагу от клинка противника, освобождаешься и… и — укол!..

Александр Сергеевич Пушкин. Такой же ссыльный, как и я, хотя и по иным причинам. Тогда мало кто о нем знал из широкой публики, а уж гвардейцы вроде меня — и подавно. Это потом, потом знакомцев, метивших в друзья, появилось куда как много. И куда больше, чем требовалось. А мы быстро стали добрыми приятелями: оба не по своей воле тут оказались и оба — молоды и — земляки, как вскоре выяснилось. Он не так чтоб уж очень намного старше меня был. Совсем не так уж: я до двадцати, а он — за двадцать. По годам, разумеется, считаю, только — по годам.

А вот почему он столь неприязненно встретил меня тогда, я понять не мог. Странно то мне было и — неприятно, если признаться. Но — не расспрашивал, а он о другом болтал.

— Разве у меня — профиль? У меня — ростра корабельная. Это ты — Антиной, когда нос не задираешь.

(Косо и торопливо: *Дьявольщина, шаги в передней. Не иначе как батюшкин посланец за мною приехал. Отложим бумаги…*)

И уже много дней спустя, поскольку вечера того 24-го никогда мне не забыть…

Батюшка у меня — кремень и огниво одновременно, но я у него единственный, и мы оба об этом помним очень хорошо. Может он меня без наследства оставить? Без всякого сомнения: старой закалки, екатерининской. За первый офицерский чин подарил мне деревеньку от щедрот своих, но с нею одной может и куковать оставить на всю мою дальнейшую жизнь. А деревенька та — знал бы он! — уж и распродана по кускам, и заложена в целом…

— Ну, что скажешь? — спрашивает. — С полным ремизом во всех талиях?

Это в момент, когда я к его надушенной ручке приложился: так уж у нас заведено было, то ли по старинке, то ли воспитания моего ради. Но взгляд его уловил. Суровый взгляд, надо сказать, как при штурме Рымника. Ладно, думаю, сейчас потеплее станет.

— Ан и нет, — говорю, нахально улыбаясь. — С таким позором я бы и в людскую заглянуть не решился.

Уж так мне рукой лоб прикрыть хотелось, так хотелось. Но помнил я, что батюшка про эту воспитательную меру отлично знает, а потому — терпел и не прикрывал.

— А что на депешу, мною полученную, ска-

жешь? — батюшка с прищуром спрашивает.

— Это насчет семи тыщ под олексинское слово? — нагличаю, аж самому совестно, потому как мысль засвербила: «Это ж какому подлецу в голову пришло депешу послать?..» — Так слух тот я сам и распустил. Только ради того, чтобы вас с матушкой повидать. Я, батюшка, карты за версту на рысях объезжаю, лишь бы вас не огорчать.

Признаться, жду не дождусь, когда рявкнет: «Лгать не смей!..» Вот тогда и выложу все десять тузов одной червенной масти. Но он не орет, а улыбается:

— А командир твоего конноегерского обратное утверждает в депеше своей.

Тут уж я соображаю, что пора пришла — по банку:

— Вот, батюшка, десять тысяч, что вы мне на Рождество пожаловали.

Пересчитал он. Хмуро и старательно, пальцы мусоля. Он совсем не скряга, он широкой души старик, но уж очень ему хотелось меня приструнить. Поди уж и сочинить успел, как именно приструнивать будет. Кинул мне мои же деньги, буркнул:

— Дерни сонетку.

Дернул. И тотчас же на звонок матушка вошла:

условились они так, видимо.

— Сашенька! Сыночек ты мой!..

— Вот, Наталья Филипповна, пред вами личность, нашу дворянскую честь в грош ломаный не ставящая, — вдруг радостно этак объявляет мой родитель. — Воспитали скупердяя себе на позор. За четыре месяца и трех тысяч прокутить не решился!..

Такой уж нрав. Никогда не угодишь.

— Стало быть, у вас будет о чем порассуждать у Сергея Васильевича сегодня вечером, — улыбается матушка и целует меня еще крепче. — Похудел-то как, Сашенька…

— Большой эконом! — тотчас подхватывает мой родной бригадир. — Но вечером непременно пойдет с нами, чтобы я мог похвастать сыном не за глаза.

— Куда?..

И упало мое сердце на самое дно правого ботфорта. Будто предчувствие.

— К Сергею Васильевичу Салтыкову, — с доброй улыбкой поясняет маменька. — Уж такой хлебосол…

Улизнуть не удалось. Поехали к хлебосолу.

Правда, там не задержались. Потолкались в прихожей, родительница радостно целовалась,

родитель добродушно ворчал, руки пожимая, а я — кланялся старшим, поскольку до молодежи и бокала, а уж тем паче до карточных колод, еще не добрался. Но твердо решил добраться, чего бы это мне ни стоило. Очень уж хотелось отцовские прилюдные шуточки святой истиной изукрасить.

Да не судьба. Только в залу шагнули, только я общий поклон отдал, только глазами окрестности обозрел…

— Подлец!..

Глянул и обомлел. Граф передо мною. Лично, в полный свой рост. Лицо в пятнах, руки дрожат, и голова как-то неестественно назад откинута.

— Это подлец, господа! — нервным фальцетом продолжает выкрикивать граф. — Принимать не рекомендую! Ни в коем разе! Решительно не рекомендую!..

И с размаху влепляет мне пощечину. Звонко и хлестко. У меня искры из глаз, рука сама собой сразу вверх взмыла… И опустилась по швам. Дело не в почтенном графском возрасте: не мог же я Аничкиного отца родного… Поэтому и о барьере промолчал, растерянность и оскорбленное удивление свое из последних сил изображая. Правда, недолго, по счастью.

— Завтра жди моих секундантов. Простите,

бога ради, гнев мой праведный, бригадир, и вы, почтеннейшая Наталья Филипповна. Имею основания.

Ушли мы, естественно. Но молчания, которое мне и отцу вытерпеть пришлось, я никогда не забуду. Матушке куда легче было тихие слезы лить, чем нам языки прикусывать.

В карете она и вовсе в голос разрыдалась, так ее в дом и увели. И мы с батюшкой прошли следом прямо в его кабинет. Он терпел, ожидая, когда в себя придет, и я — терпел, только мне хуже было. Я о родительском прилюдном позоре страдал, об Аничке страдал и о графе — тоже страдал, потому что подобное можно было решить только пулей наповал. Тогда бы через год, глядишь, и забыли бы, как младший Олексин пощечину получил на глазах отца и матери. Правда, о себе я тогда не думал. Хотите верьте, хотите нет.

Ни о чем я не думал. Я стоял и терзался, а отец трубку раскурил, налил себе анисовой, выпил, поелозил бровями по лбу и как-то очень уж спокойно спросил:

— Ты и в самом деле подлец?

— Да. Потому что дал вам повод задать своему сыну именно этот вопрос.

Кажется, слишком запальчиво это прозвучало.

Батюшка глянул из-под бровей, сурово глянул. Потом налил анисовой, пальцами рюмку ко мне придвинул. Как камердинеру, что ли.

— Выпей. Можешь сесть.

Выпил и сел. Помолчали.

— Рассказывай. Жду.

— Не подлец. Не вор. Не карточный шулер. Не трус. Не клеветник. Не, не, не. Все будет — «не».

— А что же будет «да»?

Я промолчал.

— Значит, ни с того ни с сего тебя, офицера, и нас с матерью граф прилюдно на позор обрек?

— Вас с матушкой — безусловно.

— А тебя?

— А меня прилюдно — под горячую руку. Видно, только что прикатил. Дорожный костюм на нем, обратили внимание?

— Не до того мне было, — вздохнул батюшка. — Сына по морде били. Как… как лакея проворовавшегося.

— Я ничего не украл.

— Коли так, стало быть, он целил в меня, — помолчав, изрекает батюшка. — Стало быть, мне с ним и к барьеру идти. Стало быть, дело решенное, и удались с глаз моих.

Явно двери в матушкину половину открыты

были, как явно и то, что матушка все слышала. И при этих словах вошла.

— Подожди, Илья Иванович, на себя грех чужой брать. У графа дочь, именем Анна, за которой наш богоданный сыночек откровенно на всех псковских балах волочился. Он ведь давненько с ней знаком, еще с детства. Так или не так, Александр?

— Аннет здесь ни при чем, — кое-как выдавил я из себя.

— Посмотри матери в глаза. И лоб не вздумай ладонью прикрывать при этом.

Посмотрел. И сказал для себя неожиданно:

— Только не волочился я, матушка. Я люблю ее. Всем сердцем люблю. И умру, любя.

— И что же у тебя с этой Аннет… — начал было старик мой с неким внутренним запалом.

— Не надо ни о чем более спрашивать, — грустно так вздохнула матушка. — Все ясно, Илья Иванович, все ясно.

И медленно вышла, всю стать свою дородную в батюшкином кабинете оставив.

24-го то было. 24 апреля, рамкой день обведите.

Ночью не спалось мне. От жгучего стыда и заболевшей совести. Ныла она. Как зуб, ныла.

Не о себе я думал тогда. Я получил, что заслужил. Даже меньше, чем заслужил, но довесок из свинца заслугу мою должен был уравновесить. Я о родителях думал. О милой, спокойной, всегда прощающей меня матушке своей. О батюшке, редкой отвагой и честью незапятнанной заслужившем глубокое искреннее уважение всей русской армии. Всей, хоть депешу посылай: «Бригадиру Олексину» — доставят. Из любого полка доставят, тотчас же курьера отрядив. Каково-то ему публичный позор сына единственного, офицера гвардии, перенести? Каково?.. Это же таким рубцом на душу его, израненную и усталую, легло, который никогда не рассосется, дни земные его из него вычитая. И я, я вычел из его жизни эти дни, я, единственная надежда и тайная гордость его, в любви и счастии им зачатый! Я!..

Вьюном я на постели вертелся, крахмальные простыни в хрустящий ком сбивая. И жарко мне было, и холодно, и снова жарко, и снова холодно. Уж и вскакивал я, и по спальне метался, и снова в постель падал, и воду пил, и трубку курил, и что только не вытворял тогда в одиночестве своем и ночной тишине. Будто возможно совесть собственную, добела раскаленную, метаниями, табаком да водой притушить. Особенно когда зна-

ешь, что и родители твои, любимые и искренне почитаемые, точно так же в своих постелях мечутся и ты — тому причина. Только ты, и никто больше. И уж никоим образом не вспыльчивый граф: у него своя правда.

А потом вдруг заснул. Ну вдруг, как провалился, точно прикладом по голове меня ударили.

Сколько в провале том обретался, не знаю. Снов не было, чувств — никаких, время тоже куда-то исчезло. И лежу ничком: как упал, так и не пошевелился ни разу.

Но затем как бы светлеть стало, и время вернулось. Как бы издалека, как бы с разгону, как бы из тьмы уходящей, что ли. Голос матушки вдруг услышал:

— …Он ведь давненько с нею знаком, еще с детства…

С детства. Знаком. С детства…

И всплыло детство. Зыбко, туманом дрожащим…

Мне — лет тринадцать или даже двенадцать. Из Корпуса в отпуск приехал. Гордый собою, а особо — военной формой. Басом говорить старался, но бас мой еще не прибыл, и я хрипел перехваченным от старания горлом.

— Как вовремя ты, Сашенька, — матушка говорит. — Назавтра к добрым соседям в гости приглашены, дочке их восемь годков как раз исполняется.

— Девчонка!.. — старательно прохрипел я.

— Девочка, — поправила матушка. — Ее в пансион отправляют, завтра — проводы.

Наутро выехали. Конец мая, пора божественная, а я — в форменном мундире. Суконном. Настоял, чтоб с девчонкой этой именинной дистанцию соблюсти.

— Пусть попарится, — батюшка сказал.

Парюсь мужественно. Хотя пот — уже ручьями по спине. А в природе — ни дуновения. Природа в сладкой дреме млеет, а я — в казенном сукне. Слава богу, ехать не очень далеко. Часа два прел, не насквозь все же. Точнее сказать, не совсем насквозь.

Прибыли наконец.

Лужайка перед господским домом вся в детях, как в цветах. Штанов почти не заметно: одни разноцветные платьица. Взрослых, полагаю, тоже было достаточно, но я их как-то не заметил. Я платьица разглядывал.

— Это Аничка. Именинница наша.

Что-то воздушно-розовое приседает передо

мною. Из розового газа, как из облака, — синие глазищи с косичками на висках, и больше ничего не помню. Щелкаю каблуками, резко склоняю голову. Как учили. Но учили и резко поднимать ее после поклона, а я только склонил, а… а поднять не могу.

Из-под юбочки у нее панталончики на два вершка выглядывали. И кружева на этих двух вершках горели натуральным золотом в тот солнечный день…

Вот за этим ажурным золотом я потом и бегал. Правда, старался не бегать, а этак солидно перемещать себя в пространстве, как то и подобает военному человеку. Но когда панталончики с кружевами вдруг исчезали, переходил на несолидную растерянную рысь. Как собачонка, потерявшая след.

А заговаривать не решался, даже когда рядом оказывался. Не потому, что не знал, как беседу завязать: к тому времени мои воспитатели уже натаскали меня вести пустопорожние разговоры. А потому, что мужественно хрипеть мне вдруг расхотелось, а голоса своего — этакую помесь валторны с гобоем — смущался. Не убежден был, что он самовольно тембра не изменит. Так бы ничего и не произошло тогда, если бы Аничка

сама со мной не заговорила.

— А у нас на прудах — ручные лебеди. Из рук у меня разные вкусные кусочки берут. Хотите посмотреть?

— Хочу…

От волнения пискнул в тоне прусской флейты времен Фридриха Великого, но именинница весьма благородно не обратила внимания на мою фистулу. И повела меня к прудам: там их целый каскад оказался. Очень мелодично покрякала, и к нам из-под плакучей ивы выплыли лебеди. Штук пять, не меньше.

— Ах, покормить их нечем! — всполошилась Аничка. — Какая же я растяпушка!

— Принесу! Только не уходите, не уходите…

Галопом помчался, но куда — неизвестно. Забыл спросить, а сам вовремя не разведал. Недосуг мне было, я за кружевами бродил как пришитый. Повертелся вокруг разных хозяйских пристроек, вокруг дома, уж в отчаяние было начал впадать, как вдруг на столе в открытой террасе обнаружил блюдо с только что испеченными эклерами. Схватил его и — пулей через парк к прудам, лебедям и девочке с золотыми кружевами. Следовало бы, конечно, цели поменять местами, но так — убедительнее порыв.

А блюдо тяжеленным оказалось. Еле доволок.

Ах, какое волшебство! Сидели на травяном откосе у пруда, лопали эклеры и кормили лебедей. Правда, кормила одна Аничка: меня вожак пребольно ущипнул, когда я попытался ее заменить. Больше не пытался: палец кремом лечил по Аничкиному рецепту. А она кормила — ее не щипали и даже позволяли себя гладить. Я регулярно мазал кремом палец, сосал его и молчал, зато Аничка болтала за двоих:

— Вы любите мечтать? Я обожаю. Я читаю, читаю, а потом закрываю книгу и мечтаю о рыцаре без страха и упрека. Я увижу его и сразу влюблюсь навсегда, потому что любить — значит жить, а жить можно только один раз…

Только один раз, подумал я почему-то. Вспомнил, ей-богу, вспомнил, что подумал тогда именно так.

— А почему вы ладошкой лоб прикрывали, когда с этой противной Полин беседу вели? — вдруг спрашивает Аничка. — Смешно очень прикрывали, ладошкой наружу.

Я тогда еще и впрямь лоб ладонью прикрывал, когда что-то скрывать приходилось. Матушка мне, маленькому еще, сказала, что у меня все на лбу написано будет, если я когда-нибудь скажу

неправду. Вот я и прикрывал всегда, когда очень уж хотелось в чем-то не признаваться, и долго от этой привычки отделаться не мог. Но в миг тот мне лгать совсем не хотелось. Мне хотелось этой девочке говорить только правду. И я рассказал про матушкино предупреждение, разъяснив в конце причину, почему вынужден был прибегнуть к этому способу в беседе с противной Полин:

— Она спросила, был ли я в Париже. А я не был, но прикрыл лоб и сказал, что был.

— Ой, как это славно! — Она аж пальчики от восторга перед грудью сцепила. — Я своих деток непременно этому обучу.

И так искренне воскликнула, что я решился, всю свою смелость собрав:

— А кружева у вас из настоящего золота?

— Какие кружева?

— Вот. На ваших панталончиках.

Она рассмеялась. Будто колокольчик прозвенел.

— Они — бабушкины. Хотите потрогать?

Сердце у меня почему-то заколотилось, и я потрогал. Мягкие, а на ощупь тяжелые. И хрипло изрек:

— Тяжелые. Значит, золотые.

— Брюссельские. Маменька так сказала.

Неизвестно, как бы закончилась эта беседа, если бы не закончились эклеры. Но все вкусное в детстве быстро кончается, и пирожные закончились тоже, остались крошки да кусочки, но хозяйственная Аничка решила отдать их лебедям. И с тяжеленным — я-то знаю! — серебряным блюдом в руках наклонилась к воде, ласково этак крякая. А блюдо перетянуло ее, Аничка вскрикнула, выпустила его со страху из рук, но я успел ее схватить и даже прижать к себе, пользуясь древним правом спасателя.

А блюдо совершенно беззвучно исчезло под водой…

Кончилось видение. Очнулся я, но все ясно стояло перед глазами. Аничка, брюссельские кружева, лебеди и тяжелое блюдо, без всплеска канувшее в пруд… «Почему же я раньше об этом не вспоминал? — думалось мне. — Потому что девочки волшебно превращаются в барышень? Потому что я в тех девах запутался, которых успел на пути повстречать?.. И ты мне напомнить решила, любовь моя, что влюбились мы друг в друга целую вечность назад?..»

«Нет, это прощание, — вдруг грустно и спокойно

понял я. — Я буду убит. Убит… Это прощание…»

Через два дня мы стрелялись. От батюшки избавиться не удалось, как мы с матушкой его ни умоляли. Так вдвоем и приехали в его карете. И молчали всю дорогу. И, приехав на место, тоже молчали в ожидании графа. А когда появилась его карета, батюшка сграбастал меня, прижал к груди своей:

— Ступай, Александр. Храни тебя Господь.

Я вылез, а он в карете остался. И даже все шторки задернул очень старательно.

А я подошел к графу и молча поклонился. И все дальнейшее делал, будто одеревенев. Секундантов благодарил, пистолет брал, к своему номеру шел, стоял там, ожидая, когда граф место свое займет. И ни о чем не думал, потому что первый выстрел мне принадлежал по всем правилам дуэли. Меня публично оскорбили, меня же вызвали к барьеру, мне и надлежало первым на курок нажимать. И я знал, что дуэль наша одним моим выстрелом для меня и закончится. Давно знал, еще с того злосчастного вечера у хлебосольного Салтыкова.

И когда наконец-таки сигнал к началу услышал, поднял пистолет и выстрелил в синее апрельское небо.

Кажется, закричал кто-то из секундантов, требуя остановиться, потому что один из соперников отказался от своего права уцелеть.

— Нет!.. — рявкнул граф.

Это я расслышал и впервые глянул в его глаза. А граф поднял пистолет да и бабахнул считай что навскидку. И меня так по голове садануло, что отлетел я куда-то, вмиг сознание потеряв и в черноту провалившись.

Очнулся в отцовских объятьях. Карету трясло и раскачивало, в голове у меня тоже что-то тряслось и раскачивалось, и боль была такой, будто голову мою расплавленным свинцом залили до краев. Расслышал только бормотание отцовское:

— Бог упас. Бог упас…

…И снова отчалил от ясного берега…

Ассо, ассо, всегда – ассо!
Май. Ну, скажем, 15-го

Графская пуля лоскут кожи с головы моей снесла. Но череп не пробила, только чиркнула по нему и дальше унеслась, неведомо куда… Череп у меня как у зубра, что в молдавских кодрах мне как-то повстречался. Меня на охоту господарь ясский Дмитрий Мурузи однажды в свои угодья пригласил.

— Только в голову ему не стреляй, Сашка. Пуля от его головы отскакивает, как от каменной стены. И зубр тогда очень сердится. Под левую лопатку цельсь.

В глаза зверя смотрели когда-нибудь? Да не медведя, не волка, не барса даже. Настоящего зверя, доисторического, в очи которого наш прапращур глядел, дубину в потных руках сжимая? Не через решетку, разумеется.

Иное у них выражение глаз, взгляд иной. Допотопный, лишенный всякого выражения. Ни злобы во взгляде их нет, ни ярости, ни ненависти — ничего нет. Пусто. Завораживающе пусто, взора не оторвешь, всей душою своей ощущая

при этом, как в твою, в собственную душу твою ужас вливается, до краев ее заполняя. Потому что глаза их — мертвые только для нас, а для себя, для ледникового своего бесчувствия глаза у них живые. Только для себя и живые, а для всего прочего живого — мертвые.

А обычные звери, мохнатые и теплые, совсем иные. Они и соседи наши, и ровесники, и даже — дальние родственники, потому что Господь человека и зверей для него в одну неделю создал с разницей в один день. И общими чувствами наделил: страхом, болью, злобой, яростью. И на нас они с нашими же чувствами и смотрят, и мы их взгляд понимаем: нам и страшно порою, очень даже страшно, а вот пещерного ужаса перед ними не возникает. Возникает ужас спасительный, а не ужас обреченный.

Значит, зубра не Господь Бог создал, а кто-то другой. И не для нас создал, а — против нас. Не для украшения жизни нашей, а для устрашения ее.

Почему я — вдруг о зубре? Нет-нет, с головою у меня все в порядке, только болит очень. Но все я соображаю и сейчас не заговариваюсь, а вспоминаю. Глаза графа вспоминаю в тот самый миг, когда палец его на курок нажимал.

— Да бог с тобой, Сашка, — скажете. — Да кто

ж на дуэли выраженье глаз противника увидеть может? Разве что сокол поднебесный да горный орел…

А я — видел, хоть и не сокол я поднебесный и не горный орел. Зубром он был у барьера, зубром, господа, взгляд его тому свидетель неоспоримый. И стрелял навскидку, не как все. Из дуэльного пистолета и — навскидку…

Только почему же он промахнулся?.. Нет, не так, не так спросил. ЗАЧЕМ он промахнулся?..

Меня после дуэли быстренько в родовые Опенки отвезли, а затем в Санкт-Петербург доставили. Дня четыре я в нашем в санкт-петербургском доме без сознания провалялся, а чуть в себя стал приходить, снова — в карету. Сквозь боль дикую и сотрясенное сознание свое помню колени матушки, на которых всю дорогу голова моя лежала.

А больше ничего не помню…

А увезли меня потому, что батюшка всеми силами следы заметал, неистово веря в выздоровление мое и беспокоясь о дальнейшей моей карьере. А для этого меня для начала от государевых очей требовалось спрятать подальше, и как можно скорее. И мобилизовать всех добрых знакомых, чтоб словечки свои бормотали кому

надо и где надо. И, проделав все это, бригадир мой единственный, родной и любимый, в Новгород ринулся, чтобы договориться о моем переводе в иной полк. А некто, хорошо знающий государя, посоветовал батюшке, чтобы новый полк тот оказался армейским.

— При надобности можно будет осторожно намекнуть государю, что сын ваш уже наказан достаточно серьезно. Из гвардии в сермяжную армию перелететь — это, знаете ли…

Еще кто-то усиленно рекомендовал с графом переговорить на предмет моего прощения. Но тут уж родитель мой рассвирепел и рявкнул окончательно:

— Лучше Сибирь!..

Не знаю, как уж там все разворачивалось, а только дуэль нашу осторожненько спустили с вершинки в лощинку, где и оставили до лучших времен. И все обошлось, только я из гвардейца стал армейцем и зачислен был в поручики Псковского полка. И когда я, малость самую придя в себя, узнал об этом, то стыдом обжегся и сразу же матушке начистоту все выложил:

— Долг. Семь тысяч подполковнику Затусскому и пять сотен — Мишке.

— Сделаю, голубчик, все сделаю, не терзай себя.

Сегодня же человека пошлю.

И я сразу успокоился, потому что матушка никогда меня не обманывала. Ни разу в жизни.

> …Надо непременно кому-то верить с самого маленького, что ли, детства. Верить без всяких клятв и слов, верить всем сердцем и всею душою своею в жизни своей практической. Скажете – отцу, мол, и матушке вместе? Хорошо бы так, да не получается. Дитя так устроено, что раздваиваться еще не умеет. Может быть, поэтому и дитя? И батюшка может стать тем камнем, на который потом совесть ваша всю жизнь опираться будет, и матушка, и дедушка, допустим, или там бабка. Но кто-то один. Двоих детская душа вместить не способна. Мала она еще очень.
>
> У меня основой этой матушка оказалась. Может быть, потому, что батюшки перед глазами не было. Воевал батюшка.

Только голова моя не желала успокаиваться. Болела, трещала, мутилась. И мысли мои бились в ней и тоже болели, трещали, мутились и рвались на части.

— Ты о приятном думай, Сашенька. Гони, из сил последних гони черноту из головы.

О приятном?.. А у меня — дуэль перед глазами. И — зубр с «Лепажем» в руке. Но я поднатужился…

…и вспомнил, как хохотал Пушкин, когда я ему однажды про матушкино предупреждение рассказал.

— Да тебе нужно не ладонью лоб загораживать, а конское ведро на голову надевать, Сашка! У тебя же на физиономии все написано!..

…Ох, как болит голова… Каждый толчок сердца болью отзывается. Нет, уходить надо из больного этого мира, уходить…

— …Не стискивай шпагу, Сашка, не сабля. Пальцами ее держать надо, только тогда она продолжением руки твоей станет. Аппель! Готов к мулине? Тогда держись.

Ах, как играла шпага в руке Александра Сергеевича! Трижды сверкнула в воздухе, кругом прошла перед глазами, и… и мой клинок со звоном отлетел в угол.

— Сашка, ты же ручищами своими подковы гнешь, а шпаги удержать не в силах. Пальцы у тебя слабые.

— Слабые?.. — обиделся я тогда. — Да я пальца-

ми волошские орехи давлю дамам в диковинку.

Улыбнулся Александр Сергеевич:

— Принеси-ка трость мою.

Пошел я за тростью вразвалочку, со всей гвардейской небрежностью. Изящно этак поднял ее и… И чуть не выронил. От неподготовленности, что ли. Такой неожиданно тяжелой она оказалась. Ну с полпуда, ей-богу.

А Пушкин от хохота изнемогает. Он очень смешлив был, когда в добром расположении.

— Она тяжелого железа, Сашка, — пояснил он, с хохотом своим управившись. — Мне ее по заказу отковали.

— Зачем?

— Зачем? Затем, чтобы пистолет в руке не дрожал. Не все же гвардейцами рождаются.

Взял у меня трость и завертел ее мельницей меж пальцев правой руки. Ну будто петербургский фат перед гризетками. А вздохнул совсем невесело:

— Noblesse oblige («положение обязывает»), Александр. Noblesse oblige.

И в миг единый переменился. Глаза стали колючими, неприветливыми какими-то. Толстые губы оттопырились еще больше, даже брови будто друг на друга наехали.

— Что это с тобой, Александр Сергеевич?

— Уйди.

Я тогда еще не привык к тому, сколь быстро Пушкин переходит из одного настроения в другое, казалось бы ни с того ни с сего. Вдруг это с ним случалось, мгновенный переход, будто с аллюра на аллюр. То был — сама улыбка, само остроумие, сама любовь к окружающим. То вдруг — мрачный демон, резкий, а подчас и невыносимо резкий, колючий весь, язвительный. То молчаливым и задумчивым внезапно станет средь дружеской попойки: хоть кричи ему — не откликнется. То — и опять вдруг, будто из себя самого фонтаном взрываясь, — озорной, веселый, живой, остроумный. И все — вдруг, вдруг…

Это я потом понял, что стихия внутри его бурлила. Это у нас нрав, характер, воспитание, оглядка да прикидка, а у него — сама стихия первозданная.

Но тогда я этого еще не ведал, а потому сразу же и сам удила закусил.

— Как вам угодно будет, милостивый государь, но больше я сюда — ни ногой.

То ли он в тот раз со стихиями своими справился, то ли меня, юного простака, пожалел, а только улыбнулся как бы через силу. И снял с левого

мизинца длинный золотой наперсток.

Он под ним ноготь старательно и любовно отращивал. Слабость у него такая в те кишиневские времена была. Слабость и гордость одновременно, потому что наши гордости и есть наши слабости. А чего больше в Пушкине было — слабости или силы, этого уж никто не в состоянии измерить: не нашего измерения Александр Сергеевич был, не земного. Но так сужу, что слабости и были силой его, а силы — слабостями. Гений — всегда парадокс, которого не разрешить и самым мудрым из мудрецов.

Да, так снял он колпачок с мизинца, а ногтя-то там и нет. Под корень обгрызен. Он ведь ногти не только отращивал, но и грыз порою. Но уж коли отращивал, то очень этим гордился:

— По две линии за сутки отрастают.

И вдруг — огрызок под золотым наперсточком.

— Сломал?! — ахнул я.

Александр Сергеевич аккуратно мизинец колпачком прикрыл и тяжело вздохнул:

— Если бы. Хлыщ один вчера у Гольды в бильярдной сломал. И не случайно, а обдуманно и нагло, поэтому никаких извинений его я и не принял.

— И чем же дело закончилось?

— Завтра отношения будем выяснять.

— Располагайте мною, Александр Сергеевич, — говорю. — Где и когда? Я готов.

Усмехнулся он. Добро и грустно.

— Нельзя тебе, Сашка, секундантом моим быть. Ты же как раз за дуэль и сослан в палестины эти.

— А я все равно там завтра буду. Буду! Я все ваши тайные местечки здесь знаю.

Ничего он на это не ответил. Помолчал, покивал красной своей феской, сказал неожиданно:

— Знаешь, кто секундантом у этого хлыща? Дорохов. Руфин Иванович, собственной персоной. И думается мне… Знаешь, что мне думается? Что до меня они могут добраться. На дуэли проще простого к человеку придраться, ты это не хуже меня знаешь. И не ссоры опасаюсь, а не к месту она сейчас. Так-то, Сашка, так-то. Дорохов — игрок отменный, на зеленом сукне с ним бы счастья попытать, куда бы как любопытнее было.

С Руфином Дороховым я в знакомцах не состоял, но был хорошо о нем наслышан, очень даже хорошо и — с разных сторон. Кто-то им восхищался, кто-то его и на дух не выносил, но никто не отрицал ни его отчаянной смелости, ни петушиной драчливости, ни холодного расчетливого бессердечия, ни восторженной преданности дружбе.

Следовательно, был он фигурою, о которую все глаза спотыкаются, а потому и запоминают. А кроме того, слыл он и картежником, и до того при этом азартным, что любой себя уважающий игрок почел бы за счастье великое выудить из него хотя бы полсотни червонцев за вечер. Однако рассказывали, что понтировать с ним было все едино что пытаться пообедать вместе с бенгальским тигром одним куском кровавой добычи. И когда я в рассуждениях своих дошел до карточной колоды, то, как мне показалось, сразу же и понял озабоченное беспокойство Пушкина. Затаенною мечтою Александра Сергеевича было не желание с волнующим кровь риском обменяться с Дороховым пулями. Нет, нет и вовсе нет! Заветной мечтою его было урвать у знаменитого бретера и игрока добрый кус принадлежащего лично ему мяса. Пообедать с бенгальским тигром на зеленом сукне одним куском добычи.

И это желание следовало осуществить до вероятной дуэли между ними, а не после нее, вот что Пушкина тогда беспокоило. После возможной дуэли одного из партнеров почти наверняка не оказалось бы за карточным столом…

Насколько мне тогда было известно, с Александром Сергеевичем Дорохов никогда не при-

ятельствовал, наедине они не встречались, в компаниях не пикировались, а если меж ними что и могло быть когда-либо, то как бы снаружи, но никак не изнутри. К примеру, даму сердца не поделили, сами не ведая об этом. Возможно? Вполне возможно. Что еще? Насмешка, через третьи уста перешептанная?.. Ну, это вряд ли, Дорохов — мужчина очень даже серьезный был, на слухи не падок. А вот эпиграмма… Щедр на эпиграммы, подчас и злые, и колючие, был в то время Александр Сергеевич, ничего не скажешь. Сыпал ими направо и налево, в дамские альбомы их записывал, в списках они широко расходились, в собраниях разных их наизусть читали, помирая с хохоту, — что было, то было. И даже если в адрес самого Дорохова и строчки не прозвучало, то вполне могло про его друга закадычного прозвучать, про доброго знакомца, про его пассию, наконец. Могло, вполне могло: Пушкин в стихах своих никого не щадил. Ни друзей, ни недругов, ни дев цветущих, ни седовласых старцев. И по этой особенности своей, сам того не желая и не ведая даже, ненароком мог очень чувствительно задеть всегда ищущего повода для обид высокомерного гордеца, коим и был Руфин Дорохов…

А еще Руфин Иванович Дорохов был средоточи-

ем откровенного, ничем не прикрытого порока. Всегда откровенно — да с вызовом! — говорил то, что думает, нагло ухаживал, а если уж прямо сказать — то не просто волочился, как то принято было, а чуть ли не приставал к дамам, грубил генералам и чинам, не признавая ни заслуг их, ни возраста, ну и так далее. Вплоть до матерщины в мужской компании, столь затейливо чудовищной, что свечи порою гасли. Правда, не столько от круто пересоленных выражений его, сколько от хохота клевретов. Иными словами, Дорохов открыто делал то, о чем тайно мечтаем мы, мечтаем и — не решаемся, и мучительно завидуем тому, кто оказывается на это способным. Мужчины все в той или иной мере порочны, это так, но порок вызывающий — это и магнит для нас. Всегда — магнит невероятной мощи притяжения. И Пушкина с неодолимой силой тянуло к Дорохову, к пороку, на грань мерзости именно поэтому.

Не мастак я думать, а потому неизвестно еще, до чего бы додумался тогда, если бы Александр Сергеевич не перебил заплутавшие мысли мои:

— Ты где квартируешь, Сашка?

— Мазанку снял, крайнюю в Кишиневе. За нею — уже виноградники, сады да вольные цыганы.

— Цыганы? — оживился Александр Сергее-

вич. — И ты в знакомствах с ними?

— Кое с кем в знакомствах. С табором одним, что в лощинке возле берега стоит. Большой табор довольно, Кантарай вожак их. Ром-баро, как они его называют.

— Один в мазанке живешь?

— Один, если Савку, слугу моего, не считать. А хозяйка, мама Каруца — так уж она просила себя называть, — в халупе, посреди виноградника.

— Мама Каруца?

— Не знаю, то ли имя это, то ли прозвище какое. Она меня с цыганами и познакомила, бывают они у нее.

— В гости напрашиваюсь, Сашка. — Пушкин в непонятном волнении пометался по фехтовальному залу. — Может, прямо сейчас и поедем? У меня ренского — целый ящик…

Выключился я вдруг из дорогих воспоминаний. Почему выключился, не могу объяснить. Мысли скакали взбешенно…

> …А почему граф меня прилюдно подлецом обозвал? Родителей моих во внимание не приняв и не пощадив при этом. А ведь приятельствовал с ними, давно и добро приятельствовал. Ну ладно – я.

Шут, фанфарон, хрипун гвардейский. Но – батюшка с матушкой, почтенные и всеми уважаемые родители мои?..

Стало быть, рассвирепел до крайности. Настолько рассвирепел, что даже за неблизкую дорогу не успокоился. Скорее наоборот, растравлял себя, до исступления доводя. Что за причина терзала его столь мучительно? Что за причина?..

Вспомнил:

— …Я все маменьке расскажу…

И Аничка все откровенно рассказала своей маменьке. А маменька, всполошившись, тут же все графу и выложила, не затруднившись подготовить его к разумному восприятию того, что уже свершилось. И я графа вполне понимаю: как же, честь дочери единственной, света в окошке, любви его и надежды…

…Если бы у меня такая дочь была, как Аничка моя бесценная, и прощелыга какой-нибудь… Я бы убил его прилюдно без всякой дуэли. Убил бы, и рука бы не дрогнула. А там – хоть Сибирь, хоть Петропавловка навечно…

А он — зубром обернулся, Бога из души вытеснив. Только промахнулся почему-то…

Нет, нет, уходить надо от мыслей таких, прочь их гнать, а то голову мою, и до сей поры воспаленную, они окончательно разорвут. А еще лучше — убегать в другие времена, в места другие, к людям, дорогим сердцу моему…

…И в тот же день прямо из фехтовального зала поехали мы сперва к Александру Сергеевичу за ящиком ренского, потом — за другом его, майором Раевским, и уж только после всех заездов прибыли наконец в мазанку мамы Каруцы.

— Бояре, красавцы мои, радость-то какая!

Сама на стол начала накрывать, Савка только подавал ей, что требовала. А мы, чтобы не мешать им, по окрестностям бродили. Я виноградник показывал, сад…

— А цыганы где? — в нетерпении спросил Пушкин. — Ты про цыган, помнится, обмолвился. Заманывал, что ли?

— Никакого замана. Идем покажу.

Вышли на окраину виноградников. Вечерело уж, тишина на шумную Бессарабию опускалась. Вдали — Днестр, а в низине, возле берега — шатры, костер, фигуры вкруг него. Песен, правда, не

было: видно, к ужину готовились.

— И вправду — цыганы, — удивленно говорит Раевский. — Бесшумные только.

А Пушкин замер. И смотрит, смотрит.

— Когда поедят да выпьют — запоют, — пояснил я. — Вот тогда и шумно будет. Вплоть до рассвета.

Глянул на меня Пушкин. Чуть ли не с мольбой.

— Пойдем к ним, как запоют, Сашка? Песни цыганские послушать хочу.

— Нет, с ними так не получится, Александр Сергеевич. К ним подход нужен. Я маму Каруцу пошлю.

А тут и мама Каруца сама заголосила:

— Стол накрыт, бояре мои!..

Уснул я на этом рубеже воспоминаний. И голова во сне не болела и вроде бы молчала даже. А утром опять будто в голос застонала, но я постарался поскорее в тот кишиневский вечер вернуться. Не сразу, правда, это у меня получилось, но — вспомнил. Вспомнил все же тот цыганский вечер…

16-го. Или – 17-го. Словом, в мае

Тогда, помнится, я маму Каруцу сразу же к цы-

ганам наладил, просьбу пушкинскую исполняя. Мы пока перекусывали, ренское пили, местное, мамы Каруцы вино пробовали. Красное, густое, как кровь, и терпкое, как нешуточная дуэль…

Мама Каруца быстро вернулась. У нее свои тропки были, короче наших.

— Милости просят, бояре мои. Я провожатого взяла, роса богатая сегодня.

Позвала то ли по-цыгански, то ли по-молдавански, и вошел молодой цыган в ярко-желтой рубахе с косым — через всю грудь, от правого плеча к левому боку — воротом, застегнутым на множество мелких перламутровых пуговиц. Вежливо склонил голову и улыбнулся столь ослепительной улыбкой, что в мазанке нашей вроде как и светлее стало. А Пушкин сразу вскочил, воскликнув громко от всей полноты вдруг осенившего его открытия:

— Вольный человек! Вольный, во сто крат нас вольнее! Любуйтесь, господа, любуйтесь и завидуйте воле, России неведомой!

— Est-ce que vous prenez la parole («вы выступаете»), Александр? — насмешливо спросил Раевский, вслед за ним пожимая руку молодому цыгану.

Пушкин страшно разобиделся, надулся, мол-

чал всю дорогу, идя вслед за проводником. Но у цыганского костра вмиг позабыл про все свои обиды.

— Мы в сказочном раю, господа. В сказочном раю тысячу лет назад…

Мы и в самом деле были тогда в раю. Тысячу лет назад.

Ах, как пели цыганы! Никогда вам таких песен не слыхать более, потому что для себя они пели. В России — в Петербурге ли, в Москве ли — они для нас поют, а там, на берегу реки уснувшей в Бессарабии, на воле, ночью, у костра, — для себя. Только для себя, вековую боль свою вспоминая…

Пушкин плакал. Раевский обнял его за плечи, но не утешал. По-моему, глотал собственный ком в горле. Я свой глотал, помнится. Гулко, мучительно и сладостно.

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют…

По-моему, он тогда эту строфу и прошептал нам. Сквозь слезы непросохшие, но уже — с улыбкой. Тогда, тогда! Слышу голос его и эти четыре строчки. В миг тот поэзия души его слилась с

поэзией природы. Настоящего и прошлого, тоски и восторга. Всего мироздания и себя самого.

Помнится, когда мы однажды в фехтовальном зале после доброй схватки отдыхали, сказал мне вдруг Александр Сергеевич с непонятной для меня грустью и печалью:

— Ах, Сашка, Сашка… Баловень ты судьбы, сажень стоеросовая. А я у самого Инзова на квартире стою. Почет!.. Искренне любит он меня, знаю, только с глаз исчезнуть некуда. Кочую из салона в салон, как цыган во фраке…

Помолчал, добавил неожиданно:

— На что хорошо мне было в Гурзуфе, среди милых моему сердцу друзей, так и там однажды сорвался с места, для себя совершенно неожиданно, и версты две бегом бежал по дороге в горы. Жара была страшная, а я бегу, а куда бегу, зачем бегу… От себя самого, Сашка. От себя самого убегал, что ли… Le sinistre trébuche quelquefois sur le ridicule («печальное иногда спотыкается о смешное»). Нелепо все, мой друг, нелепо.

Вот почему он тогда плакал у костра. У него было чувство, что он добежал туда, куда так стремился. К вольному берегу, распахнутому небу, вечным звездам, яркому костру. К людям, воль-

ным не по вычитанной в книгах идее, а по натуре своей. У него была невероятная тяга к природно, естественно, что ли, свободным людям. Вольным не по государеву указу, не по бумаге помещика, не от рождения даже — от природы вольным. А потому и гордым.

> …Мы ведь совсем не гордые, не обольщайтесь, дети и внуки мои. Нельзя быть гордым не от естества своего, как, к примеру, индейцы американские. Мы – спесивые гордецы, и только. И выше надутой горделивости собственной подняться не можем, как бы ни пытались, как бы ни старались и как бы ни прикидывались. И Александр Сергеевич мучительно ощущал эту безвольность и беспомощность духа нашего всем существом своим.

И — песня еще звучала — подводит ко мне мама Каруца старую-престарую цыганку.

— Предсказать судьбу твою тебе хочет, белокурый боярин. Все, говорит, для нее на лице твоем написано. А я по-русски слова ее переведу.

Я еще и согласия не дал, как старуха та цыганская коричневыми, сухими и костлявыми

руками своими за виски меня взяла и к свету костра повернула.

— В очи ей смотри, взор не отводя, — очень строго сказала мама Каруца.

Глаза у цыганки были — без дна. Будто два отверстия в какой-то иной, неизвестный мне мир. А может, и не мир то был вовсе, а — мироздание?.. Пристально смотрела, долго, испытующе. Но — заговорила наконец.

— Тяжкая судьба у тебя будет, витязь русский, — неторопливо, задумчиво и певуче переводила мама Каруца. — Раны тяжкие она видит, но не они тебя в могилу сведут. Казенный дом с железными решетками видит, но не в нем ты сгинешь. Шинель солдатскую на тебе видит, но не обессилит она тебя.

— Ну а радостное хоть что-нибудь она в жизни моей усматривает? — спросил я с усмешкой.

— Любовь тебя ожидает великая. И любовь эта и будет наградой за все страдания твои. Сын от той любви рожден будет, и род твой славный продолжит. Не бойся жизни своей, счастье потом все искупит. И ничего боле она тебе не скажет.

— Что ж, и на том спасибо, — признаться, вздохнул я невольно. — Вот ей червонец за гадание.

— Не!.. — вдруг гневно сказала старуха и ладонь

свою сухую передо мной растопырила.

— Деньги за гадания берут, — строго сказала мама Каруца. — А это не гадание. Это пророчество.

Повернулись и ушли. А я с разинутым ртом остался. И с мыслями растревоженными.

Впрочем, я никогда мыслей растревоженных в себе не хранил. Не умел хранить, так уж я устроен. И уже через минуту и в себя пришел, и все из головы выбросил, и… и обнаружил, что Александра Сергеевича рядом нет. Один майор Раевский остался.

— А Пушкин где? — спрашиваю.

Засуетился Раевский, заоглядывался, вскочил даже. Сказал с испугом растерянным:

— Понятия не имею.

— Сидите здесь, майор.

Кинулся искать. Глазами, разумеется, языка-то не знаю. Но как раз в это время пляски затеяли начинать, которые цыганы так любят. И цыганские девочки для затравки первыми к костру выскочили. За ними девицы готовились, и все в радостном оживлении начали пересаживаться, круг для плясок расширяя. Поднялась сумятица, и я понял, что в толкотне этой веселой Пушкина мне никак не разыскать. И ринулся к центральному шатру, который для вожака всегда отдельно

ставили. А потому ринулся, что ром-баро Кантарай мамой Каруцей был уже вовремя лично представлен.

Перед входом в шатер — два пожилых цыгана с трубками сидят. Нет, вход не загородили, не спросили ничего, но посмотрели на меня вопрошающе.

— Мне ром-баро, — говорю. — Друг у меня пропал.

Не знаю, то ли по-русски они понимали, то ли просто оценили волнение мое. Но оба полотнища входа на себя молча потянули, доступ в шатер мне предоставляя.

В шатре небольшой костер горел. И у костра того ром-баро Кантарай и Александр Сергеевич Пушкин мирно распивали вторую бутылку ренского. Поклонился я у входа — вожак передо мною все-таки — и говорю весьма возмущенно:

— Александр Сергеевич, докладывать надо, если уходишь! Мы с майором с ног сбились…

Пушкин послушно встает, что удивительно, потому что послушанием он никогда не отличался. А тут — оживленный, улыбчивый, сияющий даже — без всяких возражений.

— Je demande pardon («прошу прощения»), Александр.

Я не успеваю ничего сказать, как он с вежливым почтением — вожаку Кантараю:

— Je vous suis très reconnaissant, baron («я вам очень благодарен, барон»).

Я малость ошалеваю, а он кланяется и почтительно пожимает вожаку руку. И мы выходим из шатра.

— Кантарай что, по-французски понимает? — спрашиваю весьма обалдело.

— Мы с ним превосходно объяснялись на всех языках разом! — смеется Пушкин и вдруг крепко обнимает меня. — Спасибо тебе, Сашка, великое тебе спасибо!..

20 мая

Вчерашний день, поутру начавшись почти безмятежно, к вечеру весьма осложнился. Пушкин, как и обещал, секундантом меня не взял, но я из не признающего никаких уверток майора Раевского без труда вытянул, где именно они стреляются. Прискакал туда заранее, осмотрел место, нет ли где преимуществ в высоте да удобно ли стоять на номерах. Затем спрятал арендованную лошадь в кустах и уселся в тени волошского ореха с бутылкой прихваченного вина.

За Александра Сергеевича я почему-то не беспокоился. Правда, стрельба его очень уж от настроения зависела, но мне думалось, что в это тихое, безмятежное утро настроение Пушкина будет, как обычно, в равновесии с настроением самой природы. В таком настроении Александр Сергеевич, бывало, в пиковый туз попадал (почему-то он именно в него стрелять предпочитал), а вот если, не дай бог, раздражен он, если не в духе или в тревожных мыслях, тогда не то что в туза — в корову мог промахнуться. Но, повторяю, верил я, что сегодня все обойдется. Либо вообще миром, либо вообще — мимо. Александр Сергеевич уже перестал горевать по поводу поломанного ногтя, а обидчик его и поводов-то для дуэли никаких не имел, если Пушкин сказал мне правду тогда, в фехтовальном зале.

Я о другом беспокоился. Я беспокоился, что Пушкин, с Дороховым лицом к лицу столкнувшись, не удержится либо от дерзости, либо от насмешки. И невероятно, даже ненормально обидчивый бретер воспользуется этим, тут же пригласив Александра Сергеевича к барьеру. Это для нас Александр Сергеевич там, в Кишиневе, уже Пушкиным был, а для светского общества — неказистым, подчас ядовито остроумным

некрасивым человечком во фраке с дурацкой красной ермолкой на голове. Он раздражал тупых и чванливых, потому что всегда умел подчеркнуть, что они — тупые и чванливые. А тут — встреча с магнитом, который и отталкивал Пушкина, и к себе тянул одновременно с силой неумолимой. В зависимости от того, какой из полюсов господствовал в этот момент в непредсказуемой пушкинской душе.

И если это так, если я не ошибался в предположениях своих, то мне одно оставалось: отвести от Пушкина эту возможную ссору. На себя адрес ее переписать, но уберечь любезного моего приятеля от дороховского пистолета…

…Доктор пожаловал, и меня извлек из воспоминаний моих. В самый неподходящий момент извлек…

Во время перевязок да исследования раны к моей внутренней головной боли досадно внешняя прибавляется. Тут уж зубы покрепче стискивай, Сашка, стонать да вскрикивать дворянину только в беспамятстве дозволено…

— Зер гут, — бормочет врач наш Фридрих Карлович. — Очень карашо. Рана чиста, гной нет. Организм силу имеет достойно сопротивляться. Можно вставать очень немножко в один день.

Встал, а меня как мотанет в стенку.

— Постель, постель! — заволновался старательный немец. — Три день лежать, потом — вставать. Чуть-чуть. Третий день.

Признаться, я обрадовался. Я в прошлое хотел вернуться, додумать, помнится, что-то хотел…

…Сижу под орехом, вино из бутылки попиваю. По-гусарски, прямо из горлышка. И на девятом добром глотке вижу, как скачет кто-то прямо ко мне.

Время разглядеть было, и я — разглядывал. В английском костюме для верховой езды, с английским стеком в правой руке… И, еще лица не различив, понял: он, Дорохов. Секундант противной стороны. Только почему же он вдруг один сюда прискакал? Да еще заведомо раньше, вроде меня.

Подлетает, спешивается в десяти шагах. Привязывает лошадь и направляется ко мне, пощелкивая стеком по коротким голенищам. Вот, думаю, Сашка, тебе и все козыри в руки, ради чего ты и заявился сюда спозаранку…

— Bonjour («здравствуйте»), прапорщик, — говорит он, передо мною остановившись. — Отдыхаете на пленэре? Давно ли здесь и долго ли намерены предаваться сему удовольствию?

— Полагаю, сударь, что это мое дело.

Иду прямо на рога: ссориться — так уж лучше с глазу на глаз, пока Пушкин не приехал. Но Дорохов неожиданно улыбается вполне добродушно и говорит:

— Ценю вашу независимость. Однако ж вынужден просить вас прекратить сие занятие.

Ну вот, думаю, и предлог появляется…

— Вынужден признаться, сударь, что мне здесь очень нравится, а посему прекращать сладостного моего удовольствия никакого желания не испытываю. Не желаете ли вина отхлебнуть?

И протягиваю ему бутылку, чтобы он окончательно рассвирепел. А он не свирепеет, подлец. Он преспокойно берет бутылку из моих рук и с наслаждением делает глоток.

— Благодарю, прекрасное вино.

И возвращает мне бутылку. От неожиданности я глупею, слова не могу вымолвить, а он преспокойно продолжает:

— С большим удовольствием прикончил бы с вами эту бутылку, прапорщик, и еще бы за полудюжиной съездил, да только обязанности мешают. Человек вы весьма воспитанный, а потому скажу без обиняков. Через полчаса на этом месте некие обидчивые молодые люди намерены

выяснить свои отношения. Согласно дуэльному, безусловно вам известному, кодексу зрителей при сем выяснении быть не должно. Только это обстоятельство и дает мне право убедительно просить вас своевременно покинуть сие роковое место.

— Да что вы, сударь! — с восторженной улыбкой ответствую я. — И мечтать не смел, что когда-либо получу шанс ощутить себя древним римлянином. Попивать вино и любоваться ристалищем!.. Согласитесь, это куда забавнее и куда как пикантнее, нежели пресловутое panem et circenses («хлеба и зрелищ»).

«Ну, — думаю, — теперь-то ты просто вынужден...» А Дорохов улыбается и сам переходит на латынь:

— Dura lex, sed lex («закон суров, но это закон»), прапорщик. Но вы мне нравитесь: люблю людей cum grano salis («с крупинкой соли», то есть ироничных, язвительных). Выберем aurea mediocritas («золотую середину»). Вы ощутите себя древним римлянином на одной линии с доктором и каретами. По рукам, юный патриций?

И протягивает мне руку. И я ее пожимаю. А что мне оставалось делать, когда он этим, и признаться, довольно изящным финтом атакующую

рапиру из рук моих вышиб?.. А тут уж и пыль вдали показалась: дуэлянты спешили к месту поединка. Ладно, думаю, проиграл я свою первую партию вчистую, но робер-то из двух партий состоит, как должно Дорохову знать. Стало быть, и рипост (укол в фехтовании после взятой защиты) пока еще за мной.

Поначалу прятаться пришлось, как мальчишке в крапиве возле дамской купальни, чтоб Пушкин меня не заметил. Но его сразу же на место дуэли провели, и я вернулся к пожилому и очень недовольному всем происходящим доктору.

— Обстоятельства заставляют, сударь, противному для профессии моей капризу служить. Семья большая, жалованье грошовое, да и то не вовремя выдают…

В двадцати шести шагах им барьеры поставили, сабли в землю воткнув. Лица Александра Сергеевича я не разглядел, но по ужимкам его понял, что он в отличном настроении пребывает. И не то чтобы окончательно успокоился — дуэль есть дуэль, а пуля есть дура, — но как-то внутренне уверовал, что все обойдется.

Выстрелили они по сигналу почти одновременно и — оба стоят. И Пушкин, и хлыщ тот, ноготь ему сломавший. Ну, думаю, может, помирятся

теперь.

Какое там!..

— С шестнадцати шагов! — орет Дорохов. — С шестнадцати, господа! Мы, как сторона оскорбленная…

О господи!.. Стали на шестнадцати, пальнули — и опять мимо. Тут доктор сорвался с места, к ним побежал:

— Все, господа, все!.. Либо миритесь немедля, либо дуэль переносите!..

Помирились. Пушкинский обидчик извинения принес, усадил Александра Сергеевича на радостях в свою карету и умчал праздновать мировую.

А ко мне Дорохов подошел. Злой и безулыбчивый. «Так, — обрадовался я. — Кажется, мой рипост…»

— Плохо стреляют, — говорю. — Ваша школа?

— А вы, прапорщик, попробуйте в щелкопера этого попасть. Мал, тощ и вертляв, как мартышка.

— И пробовать никогда не стану, — ядовито улыбаюсь, всю наглость свою призвав. — А вот в вас — с удовольствием. Вы что, обжора, что ли? Или от карточного стола оторваться уже невмоготу по тряпичности характера?

Вот тут-то он и взбеленился наконец. Покраснел, потом побелел, потом рот разинул, сказать что-то пытаясь. Но попытка была безрезультатной, и он сделал то, чего я и добивался. Отпустил мне пощечину и только тогда силы обрел заорать:

— Присылай секундантов, мальчишка!.. И любовницам своим скажи, чтоб загодя pleureuses («траурные нашивки на платьях») готовили!..

Свершилось! Или — почти свершилось, потому что мне необходимо было, чтобы не я его на дуэль вызвал, а он — меня. Тогда у меня и право первого выстрела, и чести больше. Ведь не кто-нибудь, а сам Руфин Иванович Дорохов к восемнадцатилетнему прапорщику снизошел, к барьеру его пригласив: представляете, какие разговоры по всему Кишиневу пойдут?..

И еще одно обстоятельство волей моею тогда двигало: не мог я дороховского крика забыть. В ушах он у меня звучал: «С шестнадцати шагов!..»

Не мог простить жестокости этой. Шестнадцать шагов — либо верная смерть, либо верное увечье.

Вот потому-то я сразу же, не раздумывая, возвращаю ему пощечину. С той лишь разницей, что я и вправду на спор подковы гнул и в данном

случае силы не сдерживал.

Отлетел он шага на три от моего внезапного ответа. Вскочил, почему-то отряхнулся сначала. И как-то странно — потрясенно, что ли? — молчал при этом.

— Ваши секунданты всегда найдут меня, сударь. Проще всего — в фехтовальном зале.

Поклонился я ему и пошел к своей лошади, не оглядываясь.

21 мая. Кстати, день рождения моего

Начался он совсем невесело: матушка депешу прислала, что отец у моего Савки помер. На похороны он, естественно, не успевал, на девять дней тоже, но к сороковинам поспеть мог. И я ему все бумаги выправил, подорожную оплатил, денег с собой дал да и отправил в Псковскую губернию.

— Памяти отцовской поклонись за меня. И мамке нашей слезы оботри.

Знал я его отца Игната с детства, когда он мне и Савке свистульки из вербы делал. Хорошие свистульки, голосистые… Потом батюшка мой на оброк его во Псков отпустил — головастым был мужиком, грамоту сам осилил…

— Поцелуй мамку за меня.

Помахал Савке вослед и занялся своими делами.

Секундантом своим я майора Раевского попросил быть. Рассказал ему все обстоятельства, вызову предшествующие, ничего не утаив. Он выслушал молча, подумал, вздохнул.

— В словах ваших нисколько не сомневаюсь, но любопытно, по какой такой причине Дорохов столь долго ваши выходки терпел?

— Сам удивляюсь.

— Не похоже это на него, — продолжал размышлять майор. — Прощения прошу, одно на ум пока приходит.

— Что же именно?

— А то, прапорщик, что в вас он копию свою увидел. Себя — молодого, фанфаронистого и, пардон, не слишком умного.

— Нелестного же вы обо мне мнения, майор. Что ж, извините, что обеспокоил просьбой.

— Да перестаньте вы со мной-то фанфаронить, — вздохнул Раевский. — Коли б не сообразил я, что таким путем экстравагантным вы Пушкина прикрыть пытаетесь, а в результате за него же и под дороховский пистолет пойдете, так уж давно и разговору этого не было бы. Ну не нравитесь вы мне, Александр, что уж тут поде-

лать. А Пушкину — нравитесь, стало быть, есть в вас что-то, мне пока недоступное. А потому — вот вам моя рука.

Пожали мы друг другу руки, крепко пожали, от души, хотя я, признаться, с трудом обиду проглотил. Да и то потому только, что Раевский был на редкость прямодушным человеком.

— Только Пушкину — ни слова.

— Ни полслова, майор, — сказал я.

И от полной раздвоенности чувств своих вдруг ляпнул:

— А у меня день рождения сегодня.

— Что ты говоришь? — засиял майор, неожиданно перейдя на «ты». — Вот уж об этом мы ему обязательно скажем!..

> ...С прямодушными трудно дружить, дети мои далекие. С теми, кто под тебя подлаживается, умалчивая о просчетах, ошибках, а то и грехах твоих, куда как просто. И просто, и лестно, и душе покойно. Только опасно спокойствие это. Покойника оно спокойствие, а не живого человека. А душа работать должна, а не в уюте на лаврах почивать. Не тягучий приторный мед подхалимства пить должно

человеку – пусть лучше он всегда по усам течет, – а тяжким трудом заниматься во спасение свое. Как на святых небесах, так и на грешной земле в особенности. А потому цените прямодушных друзей своих, никогда не щадящую самолюбия вашего прямоту их всегда с благодарностью им же прощая без единой занозы про запас. Они – самородки в пустой породе человеческой, и уж коли повезло вам с ними встретиться, то берегите дружбу их, как компас души, как зеницу ока собственного…

Раевский и впрямь сказал Пушкину о моем дне рождения. Как раз в день тот я на фехтование наше обычное не явился, не желая встретить там секундантов Дорохова, а пошел к Белле в гостиницу — мы с ней добро сдружились, милая была дама и куда как меня постарше, а горничная болгарка Светла — чудо как хороша! Из-за нее-то и с Беллой познакомился… Впрочем, прощения прошу, упоминал об этом вполне своевременно…

Да, так пошел я к Белле и условился с нею, что вечером навещу ее с добрыми друзьями.

— Есть у меня уютная комната, Саша, — сказала она. — Велю там накрыть стол, и уж поверь, никто не помешает.

— Спасибо, — говорю и запинаюсь, этак со смущенной значительностью на нее глядя.

— Девочки? — невозмутимо спрашивает она. — Разумеется, и прехорошенькие. Сколько вас будет?

— Да трое всего-то.

— Трое и составят компанию вам, — улыбается Белла.

Выхожу от нее и нос к носу сталкиваюсь с Пушкиным.

— Дорохов тебя вызвал?

Хмуро спросил, не поздоровавшись даже. И кто ему разболтать успел?..

— Так уж случилось, Александр Сергеевич.

Идем по улице, неизвестно куда и зачем.

— Кого попросил в секунданты?

— Раевского. Он противников в фехтовальном зале ждет. Так условились. А вы-то откуда о сем пустячке узнали, Александр Сергеевич? Какая сорока на хвосте принесла?

— Да приятель его, мой вчерашний противник. Ох, Сашка, Сашка… — Пушкин вздохнул, помолчал. — Рассвирепел Дорохов, говорит, потому

тебя и искал. Нельзя тебе промахиваться, хотя и дурно это. Дурно, дурно!..

Разозлился я, признаться, от опеки такой.

— Не беспокойтесь, — говорю, — Александр Сергеевич, понапрасну. Не промахнусь.

— Тогда — либо солдатская шинель, либо Петропавловская крепость!

Тут-то я слова гадалки и вспомнил.

— Стало быть, — говорю, — верно мне гадалка в таборе нагадала, пока вы с Кантараем подряд на всех языках беседу вели.

— Гадалка? — Пушкин вдруг оживился. — И что же она тебе наворожила? Тут за углом Думиреску погребец винный держит. Вино у него доброе, пойдем? Там и расскажешь.

В погребце у Думиреску было прохладно и тихо. Только два безусых вроде меня гусарских корнета друг с другом в углу чокались. Громко, мрачно и беспрестанно.

Там я все ему и рассказал. И про казенный дом, и про солдатскую шинель. Все грозные пророчества старой цыганки выложил, только об обещанной мне великой любви умолчал. Слишком уж не верилось мне тогда, в мои-то восемнадцать лет, в любовь до гроба. Думал в то время, признаться, что и всем не верится, а потому и решил не

говорить об этом, чтобы недорослем не показаться. Особенно — накануне пальбы с Руфином Дороховым.

> …Ах, дети мои любезные, не скрывайте же никогда добрых помыслов, надежд да мечтаний собственных от себя самих! Из молодечества, из глупой боязни юнцом прослыть, из ложного страха потерять уважение в глазах усатых, хрипатых, дуэльными шрамами покрытых кумиров молодости своей. Любовь – не тела вашего застоявшегося восторг, любовь – торжество души вашей. Высший взлет ее и парение над обыденностью, над мелочностью жизни, над скотством ее парение. Ничто более не способно сил человеческих в такой мере приумножить, как всепрощающая, терпеливая преданность и нежная вера в собственную половиночку вашу, коли выпало вам сказочное счастье обресть ее в юдоли мирской…

— …Странно, — сказал Александр Сергеевич, внимательно выслушав меня. — Мне ведь тоже судьбу мою предсказали. Правда, не по глазам, а по линиям на ладони, но это все равно. В Пе-

тербурге это было. Гадала старая немка Кирхгоф Александра Филипповна. Свидетелей на сей предмет предостаточно имею: вместе с братьями Всеволодскими, Павлом Мансуровым да актером одним, Сосницким, к ней ввалился. А вывалился ошарашенным.

— Что ж так?

— А так, что она уж очень многое мне предсказала. И изгнание на юг, и тяжкую здесь болезнь. — Он снял феску и показал мне свою обритую голову, только-только начинавшую отрастать кудрявыми каштановыми волосиками. — Видишь? Побрили после горячки. И, Сашка, главное она тогда мне предсказала. Что погибну я от руки высокого белокурого человека. И когда я тебя впервые увидел, все во мне как бы оборвалось. «Вот он, мне предсказанный», — подумал сразу.

— Да стоит ли им верить, гадалкам этим, Александр Сергеевич? Только себя растравливать.

— Представь, и я ей с улыбкой то же самое сказал. А она мне в ответ: «Сегодняшним вечером вы деньги получите, и коли случится сие, то и остальное непременно случится, мною предсказанное». А я только рассмеялся, потому что ну ни от кого, ни от кого решительно не ждал и копей-

ки. А домой прихожу — письмо от лицейского товарища моего Корсакова: «Милый Александр, посылаю тебе должок свой лицейский. Прости, что запамятовал…»

— Просто совпадение, — говорю я, в надежде отвлечь Пушкина от сих дум роковых.

— Совпадение? А как объяснишь, что дня через два после этого встречаю знакомого одного, капитана лейб-гвардии Измайловского полка, и он мне со смехом рассказывает, что фрау Кирхгоф эта самая нагадала ему, будто он очень скоро умрет смертью насильственной? И что ты думаешь? На следующее утро после встречи нашей солдат его штыком проткнул в казармах. Тоже совпадение?

Вздохнул я. В некотором смущении, что ли.

— Давай лучше вино пить, Александр Сергеевич.

Пушкин нехотя отхлебнул вина, помолчал. Потом вдруг озабоченно покачал головой:

— Знаешь, чего она мне всю жизнь опасаться велела, Сашка? Белой лошади, белой головы и белого человека. Трижды повторила: «Weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch». И с тех самых совпадений после гадания ее я прямо-таки с отвращением ногу в стремя ставлю, если лошадь — белая. Прав Шекспир: «В мире есть много ве-

щей, которые и не снились нашим мудрецам».

Словом, невесело мы тогда вино пили. Пушкин как углубился в мрачность свою, так более из нее и не вылезал.

Я не решался молчания его нарушить, но безусые гусары спьяну готовы были на что угодно решиться. В юном возрасте настигает человека порою жужжащая потребность во что бы то ни стало обратить на себя внимание. Нечто вроде острого приступа почесухи, что ли. И, нестерпимый зуд вдруг в душе ощутив, поднялись корнеты, стукнувшись плечами, и нетвердо направились к нашему столу.

— Вы — сочинитель Пушкин? — спросил один из них, с трудом, как мне показалось, сдержав икоту.

— Вам потребовалось что-нибудь сочинить? — холодно полюбопытствовал Александр Сергеевич.

— Н-нет, — с трудом промолвил второй, все-таки не удержавшись и громко икнув при этом.

— Тогда в чем же дело?

— Вышвырнуть их, Александр Сергеевич? — на всякий случай поинтересовался я.

— Успеешь еще…

— Скажите-ка нам, сочинитель, — вновь пе-

рехватил разговор первый, — как правильнее выразиться: «Эй, человек, подай стакан воды» или «Эй, человек, принеси стакан воды»?

И оба заржали, как стоялые жеребцы.

— Ну, вам не следует этим свои головы занимать, — совершенно серьезно сказал Пушкин. — Вы можете выразить подобное желание свое значительно проще. Крикните только: «Эй, человек, веди нас на водопой!..» — и вас сразу же поймут.

— Что-о?.. Да как вы сме…

Я начал неторопливо подниматься, и оба гусара тут же с завидной поспешностью выкатились из погребка, так и не закончив фразы. Пушкин расхохотался:

— Нахально племя молодое!

Чтобы окончательно отвлечь его от грустных недавних размышлений, я про свой день рождения вовремя ввернул и добавил при этом, что отмечать решил у Беллы.

— Сколько же тебе исполнилось, Сашка?

— Осьмнадцать, Александр Сергеевич.

— Прекрасная пора, — наконец-то Пушкин улыбнулся. — Ну, тогда я домой пойду. К Инзову в клетку золоченую. Отдохну немного, а вечером у Беллы и встретимся…

…Что-то о прошлом я расписался. Надо бы и о настоящем вспомнить.

А в настоящем — не в Кишиневе, а в Опенках родовых — тоже о моем дне рождения не забыли. Вообще батюшка четыре дня в году меня особой ласковостью отмечал: день рождения и именины — 21 и 23 мая и дни тезоименитства моего — 30 августа и 23 ноября. А посему 21-го и приехал из Петербурга. Радостный, руки потирая. Обнял меня, расцеловал, поздравил и говорит:

— Слава богу, утряслось все. Теперь ты — армеец, но зато в этом роде государь наш прощение тебе пожаловал. Так-то, Псковского полка поручик. Так-то.

А тут и верный мой Савка из Пскова прибыл:

— Квартиру снял, вещи из Новгорода перевез, новую армейскую форму доброму портному заказал.

— Толковый ты парень. — Батюшка расщедрился, червонцем отблагодарил его, разрешил сегодня с дворней мое рождение отметить, но чтоб завтра же во Псков отправлялся.

Следом за Савкой из Антоновки Архип и мамка моя Серафима Кондратьевна примчались с поздравлениями. Архипа батюшка к дворне праздновать отправил, а кормилицу к семейному

столу пригласил:

— Чай, не чужая ты нам, Кондратьевна.

К столу тому праздничному и меня в креслах усадили. Доктор разрешил.

А того ради пишу о сем, что тем же днем милая моя кормилица шепнула наедине, как бы совершенно между прочим:

— А соседи-то наши, графья, слыхала я, в Париж уехали. Говорят, дочка их, Аннушка, уж так рыдала, так убивалась…

Защемило сердце мое, в железных тисках защемило. Прощай, стало быть, Аничка, любовь моя единственная. На веки вечные прощай: родитель твой нашего с ним барьера никогда не переступит…

Невеселый, ох, совсем невеселый день рождения у меня в Опенках оказался…

А тогда, в Кишиневе, — особо веселый и особо памятный.

Вечером Александр Сергеевич пожаловал. Раньше Раевского и — в полном мажоре. Обнял меня, расцеловал в обе щеки.

— За стол, Сашка, за стол, не пристало нам опаздывающих майоров дожидаться. Ну, пробку — в потолок, именинник!

Открываю я шампанское, разливаю. А Алек-

сандр Сергеевич из кармана бумагу достает и читает мадригал, мне посвященный.

— Осьмнадцать лет! Румяная пора…

(Приписка на полях: *Увы, пропало то стихотворение, как, впрочем, и три других, мне посвященных. Не моя в том вина, потомки мои любезные. Тяжкая жизнь на долю вашего предка выпала, пророчица оказалась права. Так что не обессудьте…*)

Вскоре и майор объявился. Выпил шампанского за здравие мое и к делу перешел:

— Секундантов ждал, потому и вынужден был задержаться. Ситуация по меньшей мере странная: Дорохов просил тебе свою личную просьбу передать.

— Просьбу?.. — крайне удивился я, признаться. — И в чем же сия просьба заключается?

— Он просит тебя в качестве оружия избрать шпагу.

— Шпагу?.. — я даже рот разинул.

— Шпагу, — подтвердил майор.

— Не пояснил почему? — спросил Александр Сергеевич.

— Пояснил, — с некоторой неохотой, что ли, сказал Раевский. — Буквально — и секундант

клялся в этой буквальности — объяснение звучало так: «Жаль портить свинцом столь античное тело, сотворенное не без вмешательства небесных сил».

— Нет, он и впрямь bête noire («черный зверь»), — вздохнул Пушкин.

А меня в краску загнало. По самую шею.

— Этому не бывать! Только пистолеты!

— Не горячись, Александр, — негромко сказал майор и улыбнулся. — Во-первых, проткнуть Дорохова шпагой — разговоров на всю Россию: бретер сам на вертел попал. А во-вторых, у тебя — несомненные преимущества.

Пушкин расхохотался:

— Чудно! Чудно, Сашка! Бретера — на вертел!..

Словом, дал я согласие на шпагах драться: уговорили они меня. Хоть, прямо скажу, против моей воли.

— Ну, допустим. Какие еще условия у Дорохова?

Раевский объяснил. Дуэль наша должна была состояться 28 мая, ровно через неделю. И — на том же месте, где Пушкин со своим оскорбителем мимо лупили изо всех сил.

А покончив с этими, прямо скажем, не очень приятными для меня делами, мы вплотную

приступили к ужину, и особо усиленно — к шампанскому. Пушкин читал стихи, Раевский говорил спичи, я тоже пытался бормотать что-то веселым языком. В разгар нашей пирушки — и очень вовремя! — пришли девицы. Молодые и все понимающие, как раз — под шампанское, хотя вдовушка Клико, вероятно, морщилась от наших острот и шуток. И в момент самого шумного восторга этого и столь дорогого для меня веселого и озорного застолья Белла неожиданно заглянула в дверную щель и таинственно поманила пальцем.

Я вышел. Белла выглядела весьма озабоченной, испуганной и растерянной одновременно.

— Помоги мне, Александр Ильич, — шепотом сказала она. — Если не поможешь, меня ждут большие неприятности, а одного человека — не только арест, но возможно, что и виселица. Вот. Откровенно все тебе выложила.

— Откровенность за откровенность, Белла, — говорю. — Кто этот человек?

Некоторое время она молчала, покусывая губы. Дважды поднимала глаза и наконец решилась:

— Урсул.

— Урсул?.. — Я был поражен. — Предводитель молдаванских гайдуков?

— Да, — убитым голосом призналась Белла. — Неделя уж, как я прячу его в гостинице, и до сей поры все как-то обходилось. Но сегодня мне успели передать, что вечером непременно придут с обыском.

— И как же я могу тебе помочь?

— Посади его за свой стол. Он в мундире капитана Охотского полка, тебе останется просто выдать его за своего гостя, если вообще возникнет такая надобность.

— Белла, — как можно спокойнее и убедительнее сказал я. — Если бы я был только с девочками, я бы тотчас же согласился. Но со мною двое друзей, и я обязан поставить их в известность.

Хозяйка долго молчала, по привычке кусая губы. Потом с мольбой глянула на меня:

— А по-иному никак невозможно?

— Невозможно.

Опять — молчание. Правда, на сей раз не такое уж продолжительное.

— Я вынуждена, вынуждена. Позови их в коридор, Александр Ильич. Девки там обождут.

Позвал. Вышли. Белла им все откровенно выложила и руки заломила чуть ли не со стоном:

— Спасите его, господа! Спасите, ради Христа!

Майор хмуро молчал, а Пушкин в восторге

на месте устоять не мог. Меня обнял, Раевского подергал, Беллу почему-то расцеловал. И ей же строго напомнил:

— Про четвертую девицу не позабудь. Для капитана Охотского полка.

— Весьма рискованное предприятие, — сухо сказал Раевский. — Я понимаю, Белла, и вашу озабоченность, и ваши надежды, но…

— Никаких «но»! — воскликнул Александр Сергеевич. — Это же дело чести — с носом жандармов оставить! И об Урсуле наслышан: отменного благородства и отваги человек.

— Да поймите же, господа, я рискую поставить под удар всю… — Майор вдруг запнулся (испуганно запнулся, как мне показалось), махнул рукой. — Впрочем, это уже не имеет значения. Хотя бы сделайте так, Белла, чтобы этот гайдамак с дамой к нам вошел с дружеским поздравлением, а не свалился бы как снег на голову. И очень было бы кстати, если бы наши приятельницы с его дамой не оказались бы добрыми знакомыми при этом.

И тут же ушел в комнату. Весьма не в духе, по-моему.

— Parfait («прекрасно»)! — воскликнул Пушкин, он пребывал в восторженном настроении. —

Давайте сюда вашего героя. Да не позабудьте о еще двух приборах: у жандармов — глаз прищуренный!

Белла все сделала как надо. И дополнительные приборы на столе появились, и два кресла лакей втащил, и мне дала время наших девиц подготовить («Ко мне внезапно друг пожаловать должен…»), и успела Раевскому шепнуть:

— Не беспокойтесь. Даму, с которой он придет, ваши девицы не знают.

И наконец вошел Урсул. Стройный, с черными бакенбардами, в ловко сидящем мундире капитана Охотского полка. И с ним — премиленькая брюнетка лет шестнадцати, с такими умненькими черными глазками, что Александр Сергеевич вмиг развернул во всю красу свой павлиний хвост:

— И юная звезда взошла на небосклоне…

— Здравствуй, Александр, — невозмутимо говорит тем временем мне Урсул. — От всей души поздравляю.

Целует в обе щеки, преподносит корзинку с полудюжиной шампанского и знакомит с девой:

— Моя невеста. Представь же меня милым дамам и друзьям своим, Александр.

— Дамы и господа, мой друг капитан пехотного

Охотского полка… — начинаю я, одновременно мучительно соображая, каким же именем мне его наградить.

— Ура, дамы и господа! — вдруг кричит обычно сдержанный Раевский, поднимая бокал. — Нашего полку прибыло, стало быть, за пополнение!

Премило пьем шампанское, премило Александр Сергеевич обвораживает и без того обворожительную брюнеточку, премило звучат и шутки, и стихи. И я, хозяин, вовремя что-то подходящее случаю бормочу, а сам двум вещам не перестаю удивляться. Хладнокровию Урсула и неожиданной живой непосредственности сдержанного Раевского.

— До первого луча светила! — кричит Александр Сергеевич. — Кто первым узрит сей знак, тому и желание загадывать, для всех обязательное! Раздерни шторы, Сашка!

— Вы упрощаете задачу, — улыбаясь, говорит Урсул. — Этак все первыми и окажутся. Не лучше ли в полутьме да при свечах солнечного луча дожидаться?

— Совершенно согласен с вами, капитан, — тотчас же подхватил Раевский. — Чем сложнее задача, тем драгоценнее награда.

«Им полумрак нужен, — соображаю я сквозь

туман шампанского. — Да и нам не помешает…» И горячо поддерживаю:

— За полумрак, пособник юного веселья!..

Сидим в полумраке. Пьем, шутим, смеемся…

И вдруг постучали в дверь. И хотя все, кроме девиц, стука этого ждали, а все равно стук как выстрел: и ждешь его, а он всегда — вдруг…

Да, так вдруг — стук, и дверь распахивается.

— Доброе утро, господа.

Чиновник, два жандарма, перепуганная Белла.

— Извольте представиться, господа. По очереди, разумеется, и неторопливо.

Пауза крохотной была, а в добрую версту мне тогда показалась. Да не на лошади версту, а — пешком. Секунда за секундой, как шаг за шагом. И неизвестно, сколько бы молчание это, угрюмо зависшее, продолжалось тогда, да тут совершенно уж неожиданно вскакивает Александр Сергеевич. Вдруг вскакивает и с радостным криком бросается к чиновнику:

— Иван Иванович, ты ли это?

Обнимает его, тормошит, смеется.

— И как ты о дне рождения Сашки Олексина узнал? Сашка, шампанского нежданным гостям!

— Что ты, Александр Сергеевич? — растерянно бормочет чиновник. — Мы — на службе…

— Осьмнадцать лет юноше нашему!..

Я упрашивать да руки пожимать бросился. Раевский тем временем шампанское разливает, девицы смеются, аплодируют…

Выпили они по бокалу за мое здоровье при всеобщих веселых уговорах. Выпили, непрошеные гости что-то объяснить пытались, но все весело шумели, даже девицы. Майор вновь бокалы наполнил, и то ли они еще одной порции шампанского испугались, то ли и впрямь ничего особенного в пирушке не усмотрели, а только поспешно откланялись и ушли. А мы изо всех сил веселую шумиху поддерживали, пока Белла, проводив их, не вернулась к нам.

— Ушли.

Урсул тотчас же встал:

— Вечный должник.

Поклонился и вышел. И дева, таинственная и черноглазая, вышла вместе с ним.

А мы почему-то долго молчали. Девицы, пощебетав, тоже примолкли, а потом Раевский сказал:

— Первым я сегодня солнечный луч увидел, а потому и желание загадываю. Нежно благодарим хозяина, Беллу и — расходимся по квартирам. Спать, сколько сможем.

— Знаете, друзья мои, а я горд, — вдруг тихо и задумчиво произнес Пушкин. — И чувство такое, что нет чище этой гордости ничего в душе моей.

28 мая. И звон в ушах

Звон рапир. Неделю мне Александр Сергеевич спуску не давал. Точнее — почти неделю.

— Резче выпад, Сашка, резче! Он неожиданным быть должен, а ты загодя к нему примериваешься.

Впрочем, не сразу мы к исступленным своим занятиям приступили. На следующий день после нашей пирушки у Беллы Пушкин велел мне отоспаться, но я его не послушался. Поспал не более двух часов и побежал к Белле. Зачем побежал? За черными глазенками, уж очень пронзил меня взгляд их.

— Забудь, Саша, — серьезно сказала Белла. — Это сестра Урсула. Он определил ее… к одной почтенной даме, и она никуда не выходит, довольствуясь прогулками по саду.

Вот с Урсулом мне почему-то ссориться совсем не хотелось. Вздохнул я и переменил разговор:

— Я об Урсуле был совершенно иного мнения. Упорные слухи ходят, что он чудовищно жесток.

Ограбил с шайкой таких же головорезов какого-то купца, но был пойман. И будто в какой-то крепости сейчас в цепях содержится.

Белла улыбнулась:

— Тот Урсул действительно существует и действительно в крепости сейчас. А вчерашний… не могу сказать настоящего имени его, ты уж извини меня, слишком широко известно оно в Молдавии. Так тот, которого вы вчера от ареста спасли, просто имя того разбойника взял, чтобы свое родовое уберечь. За что и обещал разбойнику, что непременно побег ему устроит.

Ну ладно я перепутал, Пушкин такие проказы любит, но как же рассудительный майор? Мне было непонятно это, но я промолчал, принимая во внимание, что тайна не моя, а посему и вторгаться в нее не очень благородно. Но загадочность образа сего весьма меня заинтриговала. Весьма и надолго.

А на другой день явился в фехтовальный зал. Александр Сергеевич уже был там. Хмурый, озабоченный и серьезный.

— Узнал от верных людей, — сказал он, едва я порог пересек. — Дорохов шпагой владеет отменно, стало быть, никаких преимуществ в мастерстве у тебя нет. У тебя одно преимущество,

Сашка, — в силе твоей бычьей. Стало быть, его изящной французской шпаге надо противопоставить шпагу итальянскую. Известна ли тебе разница в манере фехтования этих двух школ?

— Нет, — говорю. — Результат известен.

— Какой результат?

— Поразить противника раньше, нежели он поразит тебя.

— Корпусное обучение сказывается, — проворчал Пушкин и взял рапиру за рукоять, как гадюку. — Запомни. Французы держат шпагу двумя пальцами: большим и указательным. Остальные три пальца лишь управляют шпагой в поединке. Doigte. («Управление пальцами», фехтовальный прием.) При этом вся нагрузка падает на кисть. Итальянцы обнимают рукоять шпаги всеми пятью пальцами, а управляют — кистью. Что при этом более всего должно работать? Локоть. А это требует большей затраты сил. А поскольку сил тебе не занимать, значит отрабатывать будем итальянскую манеру. А потому не за рапиру хватайся, а за мою трость.

— Что?.. За железную трость?

— Она для тебя теперь — учебная рапира. И все дни, что до поединка остались, ею фехтовать будешь. И трость моя в твоей ручище подобно

рапире и сверкать должна.

Взял я прут его кованый. Примерился и говорю:

— В трости, между прочим, гарда не предусмотрена, Александр Сергеевич.

— Не беспокойся, в руку колоть не стану. Ангард! (боевая позиция). Готов? Аппель!..

Ох, как же ныло плечо мое после второго дня фехтования железной пушкинской тростью! Александр Сергеевич отрабатывал каждый прием до чистоты, будто поэму сочинял, щедро занимаясь вычеркиваниями да переписываниями. Посмотрите рукописи его, тогда поймете, какой муке он меня подверг, пока я чисто не стал выполнять все приемы боя. Всякие там батманы, дебаже, мулине, ремизы и репризы, рипосты и прочее, и прочее. Но в конце занятий наших справился я со всеми этими премудростями, и боль в плече прошла. И 26-го вечером Александр Сергеевич давал мне последние наставления:

— Главная твоя задача — оружие у него из руки выбить. Используй мулине: этот прием у тебя лучше всего получается. Только не рисуй концом шпаги полную восьмерку, а делай как бы девятку и в конце ее резко бей по его оружию поближе к эфесу. Возьми рапиру, покажу, чтобы ты оконча-

тельно уразумел.

Я взял рапиру, а он показал. Три раза, и за все три ни разу у меня рапиры не выбил. Но это его не смутило:

— Из твоей лапищи шпагу и оглоблей не вышибить. А у Дорохова — почти наверняка.

— Да уж постараюсь, — говорю.

— Вина не пить ни рюмки. Начиная с сегодняшнего вечера и до конца поединка.

— Александр Сергеевич…

— Это тебе не стрельба с места, это тяжелая работа, Сашка! Слово мне даешь в этом?

— Слово, Александр Сергеевич.

— И последнее. В день дуэли рано ляжешь и рано встанешь. И не вздумай за девчонкой какой уволочиться! От них ноги слабеют, а тебе часа два прыгать да прыгать.

Попрыгать мне пришлось…

> …Что это я прошлым увлекся, а о дне сегодняшнем как бы и позабыл вовсе? Нет, не позабыл. Просто тоскливо мне было в дне сегодняшнем. На Аничку он укоротился, а значит, как бы и вообще исчез. Исчезло время мое из жизни моей в то время…

Ну а так — поправлялся помаленьку. И боли в голове почти прошли, и ходить я заново учиться начал.

Только Аничка моя была в Париже. И остался у меня один Кишинев. Потому что там был тогда Пушкин…

28 мая

Утром того, 28-го числа я ни росинки маковой не проглотил. Никогда не завтракаю перед дуэлью и вам завтракать не советую. От сытого кураж бежит, а голодного — любит.

В шесть за мной Раевский заехал.

— Готов?

— Готов.

Выхожу из мазанки своей, дверцу кареты открываю, а там — Пушкин. Съежился в уголочке.

— Я из кареты не выйду. Не выйду, Сашка. Мне бы в щелочку посмотреть, каков результат стараний моих.

Я было начал кричать, что не желаю его там видеть, что это нарушение правил, что, в конце концов, существуют же… А Раевский только вздохнул безнадежно:

— Не трать пыл понапрасну, дуэлянт. Меня

Пушкин уже уговорить умудрился.

Замолчал я и в карету сел. А Пушкин довольно захихикал и от удовольствия руки потер.

От мазанки моей до места встречи с Дороховым путь был неблизок. Скрасить его хотелось, да, признаться, одна мысль покоя мне не давала. Мыкался я с нею, мыкался да и спросил своего секунданта напрямую:

— А вы знали, Раевский, что Урсул на самом деле и не Урсул вовсе?

Пушкин живо ко мне оборотился:

— Не Урсул? А кто же, коли не он?

— Знал, — вдруг резко сказал Раевский. — Но настоящего имени его сказать не могу, слово дал. А вот историю некую… Историю, пожалуй, рассказать готов.

— Расскажи, непременно расскажи, — завертелся на сиденье Александр Сергеевич: уж очень он в то утро вертлявым был, больше, чем обычно. — Люблю твои истории.

— Тогда представьте себе, что некий молодой человек, хорошо образованный и отменно воспитанный, но из порядком обедневшей семьи, на последние деньги, семьей собранные, уезжает учиться в Санкт-Петербург. Успешно заканчивает в университете, возвращается домой и узнает,

что местный господарь разорил его отца до нитки, жалкое именье их на себя отписал, а юную красавицу-дочь арнауты этого господаря украли и в дом господина своего увезли. Несчастный отец от позора сего тут же и помер, а мать добровольно в заточение к тому господарю ушла, чтобы к дочери быть поближе и тем от возможных посягательств ее уберечь. А молодой человек отважен и пылок…

Раевский неожиданно замолчал.

— Ну же, ну! — в нетерпении потребовал Пушкин. — Почему ты замолчал?

— Сочиняю, — сурово пояснил Раевский. — Это ты у нас песни свои слагаешь с мастерством соловьиным, а я так не могу.

— Коль начал, так уж изволь продолжать.

— Дальше слушайте, коли желание есть. Собирает тогда осиротевший и оскорбленный молодой человек этот отряд из арендаторов своих бывших, сильно обиженных на самоуправство господаря, и глухой осенней ночью поджигает отчий дом, отошедший ныне в чужие заграбастые руки. И пока арнауты господаря тушат пожар, врывается в господарский особняк, отбивает сестру с матушкой и увозит их в неизвестном направлении. Матушка его, правда, помирает

вскорости, не снеся потрясений, а молодой человек объявляется вне закона. И, будучи знакомым с английскими балладами о благородном разбойнике Робин Гуде, решает повторить подвиги его в родной Молдавии. И начинает грабить богатых, щедро раздавая награбленное беднякам, скрываясь в промежутках сих подвигов под сенью густых дубрав.

— Густых дубрав… — медленно повторил Пушкин.

И вздохнул.

— Вот, собственно, и вся история о некоем молодом человеке, — сказал Раевский. — Простите великодушно, что даром сочинительства не облагодетельствован в полной мере.

— Славно, славно, — снова задумчиво протянул Пушкин.

Приехали наконец. Дорохов еще не появился, но Раевский все же взял с Александра Сергеевича слово, что из кареты он не выйдет, а будет наблюдать в щелочку шторки.

Только вылезли из кареты — Руфин Иванович пожаловал, а с ним секундант и доктор. Дорохов молча пожал Раевскому руку, холодно кивнул мне и пошел на поляну. Место нашего предстоящего боя осматривать.

Что уж долго-то рассказывать. Раевский, как водится, нам помириться предложил, мы, как часто водится, отказались. Секундант Дорохова шпаги из кареты достал, мы с Руфином Ивановичем до рубах разделись, разобрали шпаги и стали на позиции.

— До первой серьезной раны, господа! — крикнул Раевский.

— А об этом уж позвольте мне судить, — холодно улыбнулся Дорохов. — Я — лицо оскорбленное.

Подумал, искоса бросил на меня оценивающий взгляд и добавил неожиданно:

— На перерывы, пожалуй, соглашусь. Через каждые полчаса, если то угодно противнику моему.

И на меня выжидательно смотрит. А я усмехнулся да молча плечами пожал.

Дали сигнал к поединку. Мы, как полагалось, отсалютовали секундантам и друг другу и — начали.

> …Ах, сыны мои, никогда сил своих не переоценивайте. Две системы решений существуют: сложная и простая, а военным языком сказать, так стратегическая и тактическая. Сложная система прики-

дывает все возможные расклады событий будущих, храня цель, так сказать, задним умом. А простая всегда ищет наикратчайший путь для достижения цели, ни о чем ином и не помышляя. Но был я и молод, и глуп тогда, а потому ни о какой стратегии вообще не желал помышлять. За что и поплатился…

Я шпагу всей ладонью держал, по-итальянски, легко и сильно выпады противника отбивая. Минут пятнадцать мы этак плясали друг перед другом, приноравливаясь да упругим звоном обмениваясь. Показалось мне, что понял я манеру боя соперника своего, поймал его на выпаде, ударом далеко шпагу отбив. И тут же применил мулине, помня совет Александра Сергеевича. Стал рисовать перед глазами противника восьмерку да и не закончил ее, неожиданно резко ударив по его шпаге вблизи эфеса. И — удалось, удалось!.. Шпага из рук его вывернулась, сверкнула в воздухе и упала в шаге от меня. Мне бы наступить на нее или отбросить ногою подальше, но гордость к горлу подступила. Отсалютовал я ему и сказал:

— Возьмите свое оружие, Руфин Иванович.

Странно глаза его блеснули. То колючими были, как два крыжовника, а тут вдруг — блеснули…

— Благодарю, — сказал он сдавленным голосом. — Но пощады не ждите.

…А Пушкин потом, в карете, расцеловал меня…

Дорохов поднял свою шпагу, занял позицию и вдруг с такой ослепляющей быстротой начал меня атаковать, что я уж ни о каком там мулине или рипосте и вспомнить не мог. В глазах рябило от блеска его клинка, и я только тем поглощен был, что с трудом отбивался да отступал. Не знаю, чем бы штурм его закончился тогда, если бы секунданты не заорали хором, что — перерыв.

Разошлись мы по разным концам и сели, отдуваясь. Тяжелая это работа — с боевой шпагой по поляне скакать. Уж на что я молодой да здоровый бычина — и то дыхание сбил…

Раевский ко мне подошел. Улыбнулся:

— Богу молись, Александр, на большого мастера попал. Но поступил очень порядочно, позволь руку твою пожать. Учти, у Дорохова сил мало осталось, а это означает, что сейчас он усилия утроит, чтобы с тобой разделаться. Коли продержишься до второго перерыва, считай, что победил.

Легко сказать — коли продержишься…

Не продержался я. Сперва было в атаку бросился, но он не только ловко ушел от нее, но и сам внезапно на атаку переключился. Столь бешеную, что я мгновениями и шпаги-то его не видел. Уж и отбивать выпады его не мог, а лишь отпрыгивал, тело свое унося.

И — не унес. Увидел лезвие, хотел отбить, но лезвие вдруг ушло от моей шпаги. А когда сообразил, куда оно ушло, то и тут не увидел, а — почувствовал. В тело мое оно ушло. По счастью, правда, вскользь, по ребрам…

Упал навзничь. Но шпаги из рук не выпустил. И второй, колющий удар, лежа отбил.

Закричали тут секунданты наши:

— Остановить бой! Врача!..

— Время еще не вышло, — улыбнулся Дорохов. — Коли признает себя побежденным и прощения у меня испросит, тогда…

Тогда вскочил я. Вскочил и на противника помчался, как бык на тореадора. Кажется, даже заревел по-бычиному. И не шпагу его, а его самого, Дорохова, только и видел. Видел и пер на него, как в самом последнем бою на противника прут, ни о чем ином уж и не заботясь. Еще дважды он шпагой меня достал, но я и уколов-то не

почувствовал тогда. Я ничего уже не чувствовал, но яростью своей ослепленной пробил-таки непробиваемую защиту его. Пробил и, падая уже, вонзил шпагу в его бедро…

В себя пришел уже в карете, в трех местах перевязанный. И ведь отчетливо помню, что сознание не терял, даже Дорохову руку пожал, подойдя к нему по его просьбе. И на вопросы доктора отвечал, когда он меня перевязывал, и даже говорил что-то, а… ничего не помню. Не в себе был.

А в себя вернулся в карете только. Голова моя на коленях Пушкина лежала, карету трясло, потому что кучер лошадей гнал, я боль ощутил и все начал соображать.

— Молодец, Сашка, — улыбнулся Александр Сергеевич и поцеловал меня. — Это за то, что шпагу вернул. А раны у тебя пустяшные, кости нигде не затронуты. Я в канцелярии скажу, что заболел ты, а потому просишь двухнедельный отпуск. На Антиноях как на собаках все заживает!..

Доставили меня до мазанки мамы Каруцы. Она было ахать начала, но я лег и сразу уснул.

Проснулся в сумерки от шагов с сапожным скрипом. Увидел человека какого-то, который баул в комнату внес, и вернулся сон досматривать, глаза, естественно, прикрыв.

…Во сне мне Аничка улыбалась…

Но все слышал. Какие-то шаги, какой-то шепот. А потом и голос разобрал:

— Проснись, Антиной. Тебе плотно поесть надо. Да и вина выпить тоже не грех.

Открыл глаза: Пушкин мне улыбается. За ним — стол накрытый, с двумя свечами. И мама Каруца у дверей. И сразу в ясное соображение пришел:

— Александр Сергеевич?.. Вы-то что тут делаете?

Улыбается Пушкин:

— А я тоже на десять дней отпуск испросил. Надо же тебя, дуэлянта, развлекать.

— Садись, Саша, — улыбнулась мне мама Каруца. — Я барашка для тебя зарезала, ешь, пока не остыл.

Александр Сергеевич к столу мне помог перебраться: покачивало меня, видно, крови много потерял из трех-то дырок на теле. Мама Каруца таз с водой принесла, умыла лицо мое, на котором пот коркой засох, и начали мы пировать втроем.

…Пишу сейчас строки эти, и с глаз слезы смахиваю, тот пир вспоминая. Мама Каруца кормила меня, Пушкин вина подливал, шутил и стихи читал. И одно подарил тогда, мне посвященное…

(Сбоку – приписка: *Увы, не оставил я вам в наследство ни единой пушкинской строки, святой для человека русского и бесценной для меня. И хоть нет в том ни грана вины моей, а все одно – жаль до боли потери сей невосстановимой, в чем вторично вам признаюсь. Потом расскажу, почему и как случилось это. Потом. В надлежащем месте «Записок» сих и в надлежащее время.*)

Да, славно мы тогда попировали. И барашек отменным оказался, и настроение наше победное, и кураж из трех дырок, которые в теле моем дороховская шпага оставила, не полностью вытек из меня. Видать, с пира этого да с доброго молдавского вина я и пошел на поправку. Доктор наезжал, перевязки делал, разрешил во дворе гулять, но очень пока немного и — с провожатым. И я гулял с провожатым. С Александром Сергеевичем.

Вскоре и майор Владимир Раевский меня навестил: никак не мог раньше, служба, говорил, заела. А почти следом за ним какой-то арнаут — мрачный довольно-таки субъект, надо признать, — внес в дом большую корзину с отменным вином, поставил и вышел, не ответив нам ни на

один вопрос. Пушкин первым ту корзину открыл (любопытен был невероятно).

— Никакой записки, — говорит. — Только — вот.

И достает из корзины зеленую дубовую ветку.

— Записки нет, зато хозяин теперь уж точно известен, — улыбнулся Раевский.

— Кто?

— Да тот, видать, кто в дубравах ночевать любит.

— Урсул?.. — почему-то шепотом спросил Пушкин.

— Полагаю, что так.

А на следующий день — Раевский уж уехал — новый подарок в мазанку нашу внесли. Правда, не арнаут на сей раз ее доставил, а посыльный, да и не корзина то была, а ящик венгерского токая хорошей выдержки.

— Письмо — внутри, — сказал.

И удалился. Мы вскрыли ящик и впрямь обнаружили письмо:

«ПОПРАВЛЯЙСЯ, ПАТРИЦИЙ. ОБИД ДЕРЖАТЬ НЕ УМЕЮ, СРАЖАЛСЯ ТЫ ОТВАЖНО, А ПОСЕМУ — МИР. ДОРОХОВ».

А через четыре дня Пушкин пропал. Я метался по двору, по саду, кричал до хрипоты, пока мама

Каруца из виноградника не появилась на вопли мои.

— Зачем ты так кричишь, Саша? Пушкин на заре с табором Кантарая ушел.

— Как — ушел?..

— Велел передать тебе, чтобы ты не тревожился. На днях вернется, сказал.

И правда, появился через трое суток. Осунувшийся, усталый, молчаливый, в мятом сюртучке, прожженном в трех местах. Бросился я к нему:

— Александр Сергеевич!..

— Потом, Сашка, потом, — забормотал он, даже не улыбнувшись. — Не приставай ко мне сейчас.

Сел к столу, походную чернильницу свою водрузил и начал из всех карманов какие-то клочки бумажные извлекать. Разглаживал каждый, прочитывал бегло, клал на стол и тут же другой брал. А перебрав все, стал их по какой-то одному ему известной системе раскладывать. Будто пасьянс. И бормотал при этом под нос:

— Это — сюда. Не хватает… Не хватает чего-то. Пометим…

Оторвался от бумажек, ко мне вдруг повернулся:

— Четыре строчки. Всего — четыре. Послушаешь?

И начал читать, не дожидаясь моего согласия:

Расти на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.

Ровно четыре строки прочитал и уставился на меня с каким-то хмурым, что ли, ожиданием.

— Ну как? Что скажешь?

— Мне понравилось, Александр Сергеевич. «И не меняй простых пороков на образованный разврат…» Хорошо. Это я детям своим в назидание оставлю.

— В назидание?.. Вот то-то и оно, что в назидание…

Вздохнул Пушкин. И опять своим странным пасьянсом занялся, от меня отвернувшись.

…Он из табора вернулся с первыми набросками поэмы «Цыганы». Может, даже не с набросками, а всего лишь с заметками к наброскам. Но прочитанное мне четверостишье в поэму не включил. Уж не знаю, по какой причине. Но я тогда с его голоса эти строчки запомнил. Дословно; понравились они мне очень…

Долго он так за столом сидел. Что-то правил, что-то вычеркивал, что-то менял местами. Мама Каруца дважды в комнату заглядывала, намереваясь на стол накрывать, но — не решалась. Потом Александр Сергеевич удовлетворенно вздохнул, распихал свои бумажки по карманам и сам закричал:

— Есть хотим, мама Каруца!

Умылся, переоделся к столу, но оставался задумчивым и… отсутствующим, что ли. Будто не было его с нами…

А после обеда, когда мама Каруца уж со стола убрала, а мы вино попивали, сказал вдруг:

— Понимаешь, на месте они маршируют.

— Кто?

— Цыганы. Я раньше как бы только фасад и видел. Красивый народ, вольные фигуры, дикие пляски, диковатые песни. А потом изнутри на них же взглянул — боже мой!.. Вместо законов — обычаи, вместо обычаев — привычки, вместо традиций — предания. Просвещения не принимают, детей грамоте не обучают, женщины — почти рабыни, на себе семьи тянут. Собственности не признают, даже не понимают, что она такое означает да и зачем она вообще. И ведь не скупцы, а одну лишь ценность постигли: золото. И народ

не просто смышленый — способный народ. И к ремеслу, и к труду, и к занятиям, и к музыке, а словно застыли в пути своем вечном. На тысячу лет застыли. Движение ради движения. По кругу таборы их движутся, по кругу, который они и рвать не пытаются, да и не хотят. И существуют по привычке, что ли. Вопросов себе не задают, а значит, и ответов не ищут. И ведь у нас, на Руси, таких вот, им подобных, тоже предостаточно. Тех, которые ни вопросов задавать не желают, а уж ответов искать — тем более. Нет, это не воля, Сашка, это дикость. До воли еще дорасти надо…

Замолчал он. И я молчал, не очень, признаться, понимая рассуждения его. Долго мы так молчали, а потом Александр Сергеевич вздохнул и улыбнулся мне. Как бы через силу.

— Ты вроде окреп, Сашка, и я тебе уже не нужен. Да и дело у меня, признаться, появилось. Туманное пока, но, чувствую, важное для судьбы моей. И — безотлагательное.

И после обеда уехал. Меня обняв да маму Карууцу расцеловав в обе толстых щеки.

Июня 12-го дня

Через неделю и я в канцелярию явился, доложив, что избавился от всех хворей. Потом в фехтовальный зал зашел, но Александра Сергеевича там не оказалось.

Встретились лишь неделю спустя, не раньше. Я было спросил, почему он больше фехтованием не занимается, но Александр Сергеевич как-то очень уж странно глянул на меня. И, помолчав, сказал с весьма большим удивлением:

— Знаешь, Сашка, я роман в стихах начал…

И пропал с горизонта моего. А я мыкался. К нему привязался, в салоны не тянуло, даже карты позабыл. Маялся, метался, бродил. Пил — с кем-то, беседовал — с кем-то, понтировал — тоже с кем-то, сейчас уж и не упомнишь. И почувствовал вдруг странную потребность к Дорохову заглянуть.

Необъяснимое желание, но — заглянул. Благо предлог имелся: за подарок поблагодарить.

Руфин Иванович по квартире еще с палочкой передвигался: видно, глубоко я бедро его тогда проткнул, в последнем падении. Но посещению моему он явно обрадовался, хотя почему-то изо всех сил пытался это скрыть.

— Аве, патриций! На растущей молодости раны быстро затягиваются, не так ли?

Почему он меня патрицием прозвал, не знаю, но я не обижался. Спросил о здоровье, ответ получил невразумительный и поинтересовался, не скучно ли в четырех стенах натуре его, столь энергичной и к азартным действиям склонной. Усмехнулся Дорохов:

— Я более к покою склонен, патриций. По мне, так сидеть бы сиднем в имении, управлять бы крестьянами с разумной строгостью, а там бы, может, и на соседской помещичьей дочке какой жениться ради рода продолжения.

— А что же мешает вам, Руфин Иванович, мечту свою заветную осуществить?

— Так нет у меня ни имения, ни крепостных. Батюшка в лучший мир отошел, матушка с сестрой незамужней в Калуге проживают, доходов у них — один его пенсион за тяжкое ранение в войне Отечественной. А у меня и этого нет. То есть вообще ничего нет, поскольку я — в отставке без мундира и пенсии.

— Это почему же так?

Спрашиваю растерянно, поскольку им рассказанное как-то не укладывается в образ знаменитого бретера и игрока. Да и просто в голову не

укладывается.

— Долгим рассказ будет, — вздохнул Руфин Иванович.

— Мне терпению друзья учиться советовали.

Улыбнулся Дорохов:

— Впрочем, за парой бутылок доброго вина разве? Если вы и впрямь к дружеским советам склонны.

Заверил я его, что и склонен весьма, и спешить мне некуда. Лакей по знаку его три бутылки доставил. Выпили мы с ним по бокалу, и Дорохов начал свой неторопливый и, признаться, неожиданный для меня рассказ:

— Я из семьи небогатой да к тому же и разоренной порядком. Но — большой: отец, мать, три сестры да младший брат. Но как-то сводились у нас концы с концами: батюшка и я уже офицерами были, а младший брат мой вот-вот закончить должен был свое образование и первый чин получить. А тут — наполеоновское нашествие, и очень скоро батюшка мой получает осколочное ранение при обороне славного города Смоленска. Я — в драгунском полку, младший брат корнетом в гусарский определен, а война идет себе да идет. И по дороге своей проходит через наше имение.

И — замолчал.

— Разорили?

— Дотла, патриций, дотла. — Руфин Иванович не сумел сдержать вздоха, хотя отменно владел собою. — А затем…

И опять замолчал вдруг, голову опустив. А сказал для меня неожиданно:

— Помянем брата моего, а?

Я бокалы наполнил. Встали мы, помолчали торжественно и выпили до дна.

— Семнадцатилетнего мальчишку наши доблестные сельские гверильясы до смерти кольями забили. Он по-французски куда лучше, чем по-русски, говорил, вот они его за француза и приняли, в полковых наших формах не разобравшись. Как представлю себе гибель его под озверелыми дубинами, так…

Оборвал себя Дорохов, зубами скрипнув. Я поспешно вина налил, ему под руку придвинул. Он залпом бокал осушил, долго молчал, а усмехнулся невесело:

— В учебники для школяров это не попадет.

Промолчал я. Не до слов тут мне стало.

— Да. А я, представьте себе, уцелел в той кампании. За весь день Бородинского сражения только одно сабельное ранение и получил. А как выгнали французов из пределов Отечества, отпуск

взял да и поехал на родное пепелище. Руины, патриций, руины. И от последней, единственной нашей деревни — одни головешки. Чтоб деревню, мужиков да именье поднять, капиталы нужны, а у нас с отцом — дыры сквозные во всех карманах. Написал батюшка прошение государю с нижайшей просьбой о воспомоществовании. Какое там! С чиновничьей отпиской вернули: «Казна средствами не располагает». Рассвирепел я, тут же государю дерзкое письмо сочинил под горячую руку, красочно гибель юного корнета описав. Вот это послание до государя дошло, и был я изгнан из армии без мундира и пенсии.

И опять сам себя оборвал. Мы некоторое время молча вино прихлебывали, а потом Руфин Иванович жестко весьма усмехнулся и продолжил рассказ свой.

— Знаете, как в приказе значилось? «За клевету на великий русский народ». И понял я, что правды Россия не приемлет. Россия мифами живет, патриций, и чем восторженнее мифы сии, тем больше в них верит. Даже не верит — раболепно им поклоняется. Не надоело вам слушать меня?

— Продолжайте, Руфин Иванович, — говорю. — Если вам не тягостны воспоминания сии, конечно.

— Наоборот. — На сей раз он усмехнулся скорее с грустью, нежели с жесткостью, столь свойственной ему. — Странно, но я некоторое облегчение, что ли, от исповеди своей испытываю. А еще то странно, почему я именно вас, столь юного и безмятежного, личным исповедником выбрал. Да не в том суть, вероятно. Наверно, в том суть, что батюшка мой, в отчаяние впав, решил пепелище наше продать вместе с крепостными, родовое гнездо наше. Я воспротивился было, а он: «О сестрах думать изволь! Образование им дать достойное, замуж выдать прилично!» И — продал. Но вскорости понял, что погорячился, да с горя и помер, едва старшую сестру мою замуж пристроив. Средняя сестра в монастырь послушницей-черноризкой ушла, без вклада, а матушка да младшая — на моей совести теперь. — Дорохов раскурил трубку, помолчал. — А коли уж до конца исповедь доводить, так сначала бокалы наполните. Потому как, боюсь, узнав всю правду, вы от меня на другую сторону улицы переходить станете.

— Вот уж и не думаю даже, Руфин Иванович, — говорю. — Я из тех русских, кои правды взыскуют, а не мифов, национальную самовлюбленность ласкающих.

Вино мы неторопливо пили, каждый о своем думал. Ну, Дорохов — понятно о чем, а я… Я не знаю, о чем думал. О том, пожалуй, что одиноки мы в толпе человеческой. Страшно, пугающе одиноки. Как пустынники в пустыне…

— Пенсион у батюшки невелик был, — неожиданно начал Руфин Иванович. — А после смерти его и невеликость сия вдвое уменьшилась, поскольку дочери законами не предусматриваются. Стало быть, моя очередь пришла содержать их достойно. А как? От офицерской карьеры высшей волею отлучен. В чиновники идти? Так там воровать придется, иначе концы с концами никак не сойдутся. И я, подумав да рассудив, иную профессию себе выбрал.

Вдруг замолчал и уперся в меня ставшим враз колючим, выжидающим взглядом.

— Какую же, Руфин Иванович? — спросил я, ни о чем не догадавшись, да, признаться, и не желая ни о чем догадываться.

— Я — профессиональный игрок, Олексин, — жестко, с вызовом сказал он. — Дурачков богатых обдираю беспощадно, как липку, на что и существую, и матушку с сестрой безбедно содержу. А теперь уходите, пока опять к барьеру не подошли.

Растерялся я? Да пожалуй, нет: что-то внутри меня готовым к этому признанию оказалось. Но — встал, руку через стол протянул и сказал:

— Я не чистоплюй, Руфин Иванович, хоть и из состоятельных. И вот вам моя рука.

Дорохов рассмеялся с огромным облегчением, как мне показалось. И руку крепко мне пожал, и обнял крепко:

— Что-то в тебе есть, патриций. Не пойму что, но сквозь шкуру собственную ты просвечиваешь. Почему я изо всех сил и старался шпагой ее лишь продырявить, чтобы только глубже куда не попасть!..

Ну, посидели мы тогда еще немного — Руфин Иванович уставать начал, и я это заметил, — допили вино под смех и шутки, и я даже решился вопрос, меня мучивший, ему задать:

— А почему вы, Руфин Иванович, тогда, на дуэли, с шестнадцати шагов потребовали обмена выстрелами?

— Что, сурово слишком?

— Сурово, — говорю.

— Проверить их решился, хоть и жестокой могла стать проверка. Но возмущен был, до крайности возмущен. Благородное выяснение отношений в балаган превратили, изо всех сил

старяясь друг в друга не попасть. Ну, коли жалеете друг друга или вообще крови избегаете, так принесите взаимные извинения, и дело с концом. Зачем же публичная комедия сия?

— А коли бы пролилась кровь с шестнадцати-то шагов?

— Натура моя половинчатости не выносит, патриций. И очень я тогда, признаться, рассердился. И решил, помнится, настоящую проверку господам дуэлянтам учинить, подозревая впрочем, что они и с двух шагов промахнуться готовы.

— Возможно, вы правы, — говорю.

Тепло мы с ним распрощались, и я ушел.

Пока до мазанки своей добрался, уже окончательно стемнело. Смутно вижу — вроде лошадь оседланная, а всадника что-то незаметно. Насторожился, шагнул…

Фигура от мазанки отделилась:

— Александр? Это Раевский. Где ты шляешься, когда нужен мне позарез?

— А что случилось, майор?

— Урсула взяли. Прямо в дубравах его…

…Дописал до этого места, уморился, признаться. Только «Записки» эти припрятать успел — матушка на пороге.

— Нежданный гость к тебе, Сашенька.

И входит — Пушкин. Бросился я к нему, обнял:

— Александр Сергеевич! Какими судьбами?

— Твоими, Сашка. — (Расцеловались мы.) — Как узнал, что тебя едва на дуэли не убили, так и приехал.

Осунувшийся, почерневший даже. И глаза напряженные. Таким и запомнил его: не пришлось нам больше свидеться…

Но мы с ним тогда часок славно посидели, Кишинев вспоминая. А потом он заторопился — путь-то неблизкий — и достает из кармана несколько не по-пушкински аккуратно сложенных листов.

— Надумал тебе подарить, Сашка. Но, извини, с условием, что не только вслух посторонним читать не будешь, но и спрячешь подальше. Это «Андрей Шенье» со всеми строфами, полностью. Цензура сорок четыре стиха выбросила от «Приветствую тебя, мое светило!» до «Так буря мрачная минет!». Сорок четыре стиха четырьмя строками точек в печати заменили. Ну а я подумал и решил тебе полный авторский экземпляр преподнести…

(Приписка на полях: *…Рассудил я, любезные мои, что обязан включить в сей*

жизненный отчет свой полный список «Андрея Шенье», поскольку переплелся он с судьбою моею весьма причудливым и странным образом.)

АНДРЕЙ ШЕНЬЕ

Посвящено Н. Н. Раевскому

Ainsi, trist et captif, ma lyre toutefois
S'éveillait…
(Так, когда я был печален и в заключении, моя лира все же пробуждалась…)

Меж тем как изумленный мир
На урну Байрона взирает,
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,

Зовет меня другая тень,
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.

Звучит незнаемая лира.
Пою. Мне внемлет он и ты.

Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет.
Заутра казнь, привычный пир народу:
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!

«Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,

Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Все ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени,
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозглашал равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

Но ты, священная свобода,

Богиня чистая, нет, – невиновна ты,

В порывах буйной слепоты,

В презренном бешенстве народа,

Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд

Завешен пеленой кровавой;

Но ты придешь опять со мщением и славой, —

И вновь твои враги падут;

Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,

Все ищет вновь упиться им;

Как будто Вакхом разъяренный,

Он бродит, жаждою томим;

Так – он найдет тебя. Под сению равенства

В объятиях твоих он сладко отдохнет;

Так буря мрачная минет!

Но я не узрю вас, дни славы, дни блаженства:

Я плахе обречен. Последние часы

Влачу. Заутра казнь. Торжественной

рукою

Палач мою главу подымет за власы

Над равнодушною толпою.

Простите, о друзья! Мой бесприютный прах

Не будет почивать в саду, где провождали

Мы дни беспечные в науках и в пирах

И место наших урн заране назначали.

Но, други, если обо мне

Священно вам воспоминанье,

Исполните мое последнее желанье:

Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;

Страшитесь возбудить слезами подозренье;

В наш век, вы знаете, и слезы преступленье:

О брате сожалеть не смеет ныне брат.

Еще ж одна мольба: вы слушали стократ

Стихи, летучих дум небрежные созда-

нья,

Разнообразные, заветные преданья

Всей младости моей. Надежды, и мечты,

И слезы, и любовь, друзья, сии листы

Всю жизнь мою хранят. У Авеля, у Фанни,

Молю, найдите их; невинной музы дани

Сберите. Строгий свет, надменная молва

Не будут ведать их. Увы, моя глава

Безвременно падет: мой недозрелый гений

Для славы не свершил возвышенных творений;

Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,

Храните рукопись, о други, для себя!

Когда гроза пройдет, толпою суеверной

Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,

И, долго слушая, скажите: это он;

Вот речь его. А я, забыв могильный сон,

Взойду невидимо и сяду между вами,

И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь… и, может быть, утешен буду я,
Любовью; может быть, и Узница моя,
Уныла и бледна, стихам любви внимая…»
Но песни нежные мгновенно прерывая,
Младой певец поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовию, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные ночи,
Все вместе ожило; и сердце понеслось
Далече… и стихов журчанье излилось:

«Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу, и друзей, и сладостную лень?
Судьба лелеяла мою златую младость;
Беспечною рукой меня венчала ра-

дость,

И муза чистая делила мой досуг.

На шумных вечерах, друзей любимый друг,

Я сладко оглашал и смехом, и стихами

Сень, охраненную домашними богами.

Когда ж, вакхической тревогой утомясь

И новым пламенем внезапно воспалясь,

Я утром наконец являлся к милой деве

И находил ее в смятении и гневе;

Когда, с угрозами, и слезы на глазах,

Мой проклиная век, утраченный в пирах,

Она меня гнала, бранила и прощала, —

Как сладко жизнь моя лилась и утекала!

Зачем от жизни сей, ленивой и простой,

Я кинулся туда, где ужас роковой,

Где страсти дикие, где буйные невежды,

И злоба, и корысть! Куда, мои надеж-

ды,

Вы завлекли меня! Что делать было мне,

Мне, верному любви, стихам и тишине,

На низком поприще с презренными бойцами!

Мне ль было управлять строптивыми конями

И круто напрягать бессильные бразды?

И что ж оставлю я? Забытые следы

Безумной ревности и дерзости ничтожной.

Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,

Ты, слово, звук пустой...

О, нет!

Умолкни, ропот малодушный!

Гордись и радуйся, поэт:

Ты не поник главой послушной

Перед позором наших лет;

Ты презрел мощного злодея;

Твой светоч, грозно пламенея,

Жестоким блеском озарил

Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-Эвмениду!
Когда святой старик от плахи отрывал
Венчанную главу рукой оцепенелой,
Ты смело им обоим руку дал,
И перед вами трепетал
Ареопаг остервенелый.
Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет… и он уж недалек:

Падешь, тиран! Негодованье

Воспрянет наконец. Отечества рыданье

Разбудит утомленный рок.

Теперь иду… пора… но ты ступай за мною;

Я жду тебя».

Так пел восторженный поэт.

И все покоилось. Лампады тихий свет

Бледнел пред утренней зарею,

И утро веяло в темницу. И поэт

К решетке поднял важны взоры…

Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надежды нет!

Звучат ключи, замки, запоры.

Зовут… Постой, постой; день только, день один:

И казней нет, и всем свобода,

И жив великий гражданин

Среди великого народа.

Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.

Но дружба смертный путь поэта оча-

рует.

Вот плаха. Он взошел. Он славу именует…

Плачь, Муза, плачь..!

С тоскою жить – не значит жить тоскливо
17 июня. Птичий денек, шумный

А я — болею. Не только больным числюсь, но и с болями в голове еще не расстался. Но уже в постели не валяюсь. Читаю в креслах, в саду гуляю, и все еще на ногах. Попробовал в седло сесть — земля перед глазами поплыла, и доктор наш, Фридрих Карлович, опыты мои пресек категорически:

— Голова просит время. Ждите, когда позволит.

Карамзина перечитываю, и в этот раз — с большим вниманием. Гордая у нас история, ничего не скажешь. Если бы не татаро-монгольское нашествие…

(Приписка на полях: *Это я так тогда думал. А сейчас перечитал мысли свои и – усомнился: да неужто ж, думаю, из-за ига этого проклятого мы и до сей поры в Европе чуть ли не варварами считаемся? Да не может так быть, почти что полтысячи лет со дня битвы Куликовской*

прошло, а мы никак оправиться от победы сей великой не можем, что ли? Нет, дети мои, невозможно сие предположить даже. Значит, думайте, размышляйте, прожекты собственные сочиняйте на сей предмет. История – не пропахший табаком да лавандой бабушкин сундук, а деловой портфель с документами, которые всегда следует держать под рукой, потому что они могут вдруг оказаться востребованными.)

И вот в день, обозначенный выше, батюшка мой, с Фридрихом Карловичем наедине потолковав, утром объявляет мне, что во Псков едем, но — в коляске.

— Пора тебе, Александр, командиру полка представиться.

Наверняка на него мой новый мундир подействовал: Савка этот мундир от портного вчера в Опенки доставил. Здесь местные женские ручки его на меня подогнали (а куда как лучше бы было меня под него подогнать, хоть и отощал я слегка в бездельной своей болезни) и предъявили на высочайший родительский смотр. И родителю мой бравый пехотный вид настолько по душе поче-

му-то пришелся, что утром и прозвучал приказ.

Едем, в рессорах покачиваясь. Жаворонки в небе, васильки во ржи, щебет птичий — со всех сторон.

— В каждой неприятности необходимо всегда приятность сыскать, потому как одно без другого не обходится, — говорит батюшка. — Офицер, в пехоте не послуживший, не есть офицер, безукоризненный во всех отношениях. Только серая пехота, столь несправедливо нами третируемая, способна оттачивать ремесло командирское, подобно точильному камню, придавая ему блеск и надежность.

«Пилюлю подслащивает, — лениво этак думаю я, разомлев. — А как относительно неоспоримых аргументов?»

— В пехоте солдату труднее всего службу нести, — продолжает мой многоопытный командир. — Почему, спросишь? Потому, мол, что тело свое, амуницией перегруженное, таскать на ногах приходится? Ан нет, не поэтому.

— А почему? — с ленцой спрашиваю, зевота вконец одолевать начинает.

— А потому, что нигде солдат себя одиноким столь сильно не ощущает, как единственно только в пехоте. В кавалерии у него вроде как бы семья

имеется: конь. И почистить его надо, и напоить, и выгулять вовремя — чем не семейная забота? В артиллерии — орудие, которое тоже любви и заботы твоей требует: чистить, смазывать, драить, чтоб сверкало парадно и устрашительно. Стало быть, и там — вроде бы как семья. А в пехоте ты один как перст. Себя призван обихаживать, а это скучно.

— А ведь и вправду, — говорю я, начиная соображать, что зазря болтать старик мой не любит.

— Истинно что так, Александр, — торжественно изрекает батюшка. — Из чего следует одинокость пехотной солдатской единицы. Стало быть, пехота от офицера куда большей заботы требует, чем кавалерия. Не оставлять пехотинца надолго один на один с его осиротевшей душой. Это пункт первый.

— Запомнил, батюшка. А второй?

— Второй в том состоит, что тебе, ротному командиру, в атаку их водить доведется. Думаешь, впереди да на лихом коне? А то уже от обстоятельств сражения зависит. Под Бородином из-под меня лошадь в первой же схватке выбили, и в шесть последующих я солдатиков своих уже со штыком наперевес водил. Стало быть, и штыковой бой ты лучше всех в роте своей освоить

обязан. Лучше всех, потому как первым на противника идешь, пример показывая и брешь во вражеской цепи прорубая. Вот этим и займись, времени не щадя.

(На полях – приписка: *Ах, с какой же великой и искренней благодарностью я батюшкины слова впоследствии вспоминал! Потом, потом… Будто предчувствовал он судьбу мою и старался облегчить ее, как только мог. Земно кланяюсь тебе, отец мой земной, и вы низко поклонитесь всем дедам своим, прадедам и пращурам заодно. Кабы не они, не отвага их, не стойкость несокрушимая, не забота о детях – и вас бы на свете не было…*)

В полку я командиру представился, но он особо разговаривать со мною не стал. Он ведь когда-то, еще юнцом безусым, под батюшкиной рукой службу свою нелегкую начинал, а потому быстренько и спровадил меня, задав приличествующие вопросы и выслушав вполуха ответы. Вызвал какого-то капитана, то ли помощника, то ли адъютанта, и велел меня в роту отвести да и оставить там наедине с солдатами.

Что капитан тот в точности и исполнил. И

остался я один на один со своею ротой. С теми, которых вести мне во все баталии предполагалось, впереди шагая с ружьем наперевес, как батюшка разумно предостерег. И сто пар глаз тотчас же в меня уперлись, то же самое думая и то же самое представляя. И все молчат, слова моего командирского ожидая. Молчат настороженно, и я молчу настороженно, в глаза им глядя.

И, видит Бог, будто читаю вопросы их: «Каков ты, командир наш, нам покуда что неизвестный? Будешь ли терпеливо учить, как в бою выстоять, или все унтерам передоверишь, которым мы уже до смерти надоели? Постараешься ли беспокойства наши понять и сиротство наше постичь или по плацу гонять станешь, парадный шаг отрабатывая да розгами грозя?..»

И я, помнится, одно тогда сказал:

— Служить всем трудно. Вам — ваши двадцать годов, мне — всю мою жизнь. Давайте же взаимно постараемся облегчить трудности сии друг другу. Вопросы есть?

— Обзовитесь, ваше благородие.

Унтер спрашивает. Седоусый, кряжистый, глаза умные, и — сабельный шрам на щеке.

— Верно, прощения прошу. Поручик Олексин Александр Ильич. В строю с восьми лет. В офицер-

ском чине — с семнадцати. В бою быть ровно один раз случилось, но под пулями стоял больше.

Заулыбались солдаты. Видно, чем-то ответ мой им понравился. Может, откровенностью своей.

— Слава богу, повезло нам, значит, — вздохнул унтер. — Трое до вас было, да каждый — по три месяца. Отметится, что служил, день на плацу покрутится — да и поминай как звали. Прощения прошу за то, что прямо вам все выложил, но пополнения к нам много пришло. А пополнение не столько учить, сколько приучать к солдатской жизни пока еще требуется.

— Как командир полка мне скажет, так оно и будет. А о себе одно могу сказать: коли за гуж взялся, то воз вытащу.

Засмеялись мои солдаты. Я же на голову выше любого из них. Бывший гвардеец как-никак.

Но начало занятий моих с ними отложилось надолго, хотя я, честно скажу, намеревался к новой службе своей приступить прямо с завтрашней побудки. Но…

Но командир мне трехмесячный отпуск предписал для поправки здоровья. Будто жалобу унтера того, седоусого, подслушал и службу мою поелику возможно решил осложнить. И уже на следующее утро отбыли мы с батюшкой восво-

яси…

1 июля

В тот день переезд мой состоялся в дарованную мне Антоновку. Не по моему желанию, что уж скрывать. Я под матушкиным крылышком еще долго бы с удовольствием выздоравливал, лишь бы подальше от графских угодий. Не тянуло меня к ним, воспоминаний боялся, если напрямоту говорить. Но батюшка сказал как-то за ужином, вскоре после возвращения из Пскова:

— Поместье твое без призора, помещик. А потом — служба. Займись ты хозяйством своим, пока люди твои окончательно в разор не вошли.

И поехал я хозяйством, лично мне принадлежащим, заниматься. Вместе с Савкой и Карамзиным.

Архип добрым заместителем моим оказался — да и знал я о том, что умный он мужик, — но батюшку огорчать не хотелось. Отчитался Архип передо мною, как водится, ничего в делах его я предосудительного не нашел, и все пошло, как шло и без меня.

А я — силы копил, хотя уже и ощущал их (впервые, если уж признаваться, еще тогда, когда меня

женские руки вертели, новый мундир по фигуре подгоняя). Но, поверите ли, держал себя в строгости. Пассий не заводил, гостей не приглашал, к соседям не ездил и вином не увлекался по совету Фридриха Карловича. Монах монахом жил.

И терпеливо прожил этакой святой жизнью недели две. Земли свои объезжал, хозяйство осматривал, читал. Много читал, кстати… И чем спокойнее и привычнее жизнь моя помещичья становилась, тем труднее мне было с нею мириться. Ну не землевладелец я по натуре, нет во мне ни грана от Адама Смита, и деньги я считать только на зеленом сукне умею, что уж тут поделаешь.

И — затосковал. А затосковав, начал круги своих ежедневных прогулок расширять. То ли вольно, то ли невольно. И Лулу, умница моя, однажды вывезла меня к графскому особняку.

Долго я из кустов на него смотрел тогда…

Заброшенным особняк выглядел. Окна на первом этаже досками забиты, парк замусорен, дорожки зарастать стали. Все правильно: стареет дом без хозяев…

А вот крыло второго этажа мне живым показалось. И хоть и не увидел я жизни той в яви, но решил проверить, а не живет ли там какая-либо дальняя родственница, оставленная графом, что-

бы хоть как-то за родным гнездом приглядывать.

На обратном пути я об Аничке думал. Но — как о покойнице, что ли, прости ты меня, Господи. Точнее, конечно, как о погибшей любви, но любовь тогда любовь и есть, когда она не понятие, а — реальность. С теплом, улыбкой, смехом, тебе одному предназначенными. Для нас, мужчин, любовь — всегда живая женщина, а не мертвый схоластический постулат. А в Антоновку вернувшись, Савку позвал и велел ему осторожно навести справки, кто ныне проживает в том доме, где я впервые востребованным к жизни себя ощутил.

Через сутки докладывает. Парень исполнительный.

— Месяц назад приехал господин с доверительным письмом самого графа. Кто — никому не известно. Живет покойно, в хозяйство не вникает, но за домом следит.

День я голову ломал, кто же этот господин, а наутро решил идти в атаку. Предлог был: сосед, мол. Надо бы друг другу представиться, что ли. Для порядка.

А представляться-то и не пришлось.

— Оексин?.. Гьязам не вегью!..

Засядский. Хлыщ картавый. Графский при-

хвостень. Вот уж этого пшюта никак увидеть не ожидал. Но — обрадовался он, со скуки, что ли? Велел стол накрыть, как для гостя дорогого.

— А я — из Италии. Его сиятельство пьосил за домом пьигьядывать и дал письменное погьючительство.

Вот бы кого нашим сельским гверильясам укокошить. С великим отвращением речь его слушаю, а потому, вас щадя, не стану больше язык ломать.

— Два месяца с ними в итальянском раю. Чудно, чудно. Кампочино по утрам, фрутти ду маре…

Ну, обормот. Но слушаю, каждое мгновение нетерпеливо ожидая, когда же он об Аничке заговорит. А он не говорит. Он о себе только говорить умеет и стрекочет как сорока. Даже глаза чисто по-сорочьи закатывает.

— Нет, не умеем мы жить в такой приятности, не предназначены к ней. Окраинные мы люди. Думаете, мое наблюдение? Что вы, что вы! Графские слова…

Пьем вино — доброе, кстати, вино, из графских подвалов, не иначе. Ну, пьем, сорока трещит, а я — жду… А когда понимаю, что ничего путного от него не дождусь, бью в лоб:

— Да-да, одиночество, окраина, глухомань,

провинция. Может быть, банчок?

На миг глаза его блеснули. Только — на миг. Вздохнул, щипаные свои бровки на лбу собрал и — ответствует:

— Прощения прошу, никак невозможно.

— Что ж так-то?

— Слово графу дал.

— Святое дело, — говорю. — Однако засиделся я. Пора и честь знать.

— Знаете, почему слово дал? — захихикал он, глазками заблестев. — Помолвлен я с дочерью его. Да вы же знаете ее, Олексин. Да-да, с очаровательной Аннет…

А меня — будто молотом по голове. Но каким-то образом выдавил-таки из себя улыбку:

— Что ж, поздравляю.

— Да-да, такая партия! Такая партия…

Для кого — такая любовь, а для кого — такая партия. Вот так, стало быть, вот так…

Домой почему-то шагом возвращался. Лулу очень удивлялась. А воротившись, буркнул Серафиме Кондратьевне, не глядя:

— Настюху пришли. Подушки поправить.

А кормилица моя вздохнула с великим облегчением и даже перекрестилась:

— Слава богу, поправляешься ты, Сашенька

мой…

…Не сторонник я жизни монашеской, да и тебе ее не рекомендую. Однако пить да понтировать – то страсть личная, но девы милые всегда пусть станут для тебя страстью только с избранницей твоею совместно. Как бы пополам, что ли. Иначе чем ты тогда от скотов отличаться будешь? Не говорю здесь о любви с твоей стороны (лучше не влюбляйся, хотя и трудно это поначалу). Говорю о стремлении естества твоего, бороться с коим должно, лишь союзника в лице любви обретя. Долго быть девственником противно сути мужской, а коли прямо сказать, так и попросту вредно. Но помни: любая избранница твоя – живой человек, с душою, сердцем и мечтами. Не губи их, поелику возможно это. Да, историческое право…

(На полях – приписка: *Возможно, что историческое бесправие – вечное проклятие Россиц, которое скажется, ох как скажется потом!..*)

…сделало тебя господином не только над судьбами их, но и над жизнями одновременно. Да, в твоей власти отослать любую на скотный двор – за дерзость ли, за раздражающее стремление покуситься на свободу твою (взять реванш – свойство, присущее очень многим женщинам, к сожалению), за глупость или потому просто, что надоела однообразием, – подумай сначала. Очень хорошо подумай, потому что – живые они. Живые, страдающие и беспомощные и полностью в капризе твоем. Не давай воли ни капризу, ни минутному раздражению своему. Беря тело ее, ты и душу ее берешь, ибо неразделимы сущности эти. Да, необразованны они, темны, подчас и раздражающе темны, но отдали все, что могли, – не тебе, страсти твоей, – за что долг твой как мужчины озаботиться о дальнейшей их судьбе. Непременно замуж их выдавай, мужа сурово предупредив, что всю жизнь приглядывать будешь. Ну а уж коли ребенка тебе она родила – ни денег, ни земли не жалей ради дитяти собственного.

Полевые цветы куда как оранжерейных

лучше. По личному опыту говорю, верь. И чести мужской не урони.

17-е, июль

Вот так и жил… нет, существовал так. Настюхи, Варюхи, Дашеньки, Машеньки. Без любви, без страсти, без смысла, да в общем-то и без радости.

А в означенный день матушка приехала. Мы с Лулу где-то по полям мотались для убиения времени и тоски ради. И за время отсутствия нашего матушка не только приехать успела, но и все разузнать и встретила меня взглядом неодобрительным:

— Погнал во все тяжкие?

— Тоска заела.

— Стало быть, верно мне сердце подсказывало. Лекарство тебе привезла.

— Какое лекарство, матушка? — не удержался я тогда от вздоха. — Какое лекарство?..

— Такое, что, надеюсь, встряхнет тебя. На бал мы приглашены к людям, весьма достойным. И очень прошу тебя не усаживаться за карточный стол, едва порог переступив. Будет слово с тебя такое или сам с собой справишься?

— Слово, матушка.

Мне, признаться, все равно тогда было. Все решительно: балы, дамы из общества, музыка и танцы, девичьи глазки и красноречивые веера их, флирты и игры, застолья широкого русского гостеприимства и умные разговоры бывалых стариков. Все, даже карточный азарт. Покинул меня смысл жизни моей.

> …Задумайтесь на досуге, для чего человек на свет божий рождается. Для удовольствия тела своего? Так оно же, удовольствие это, с телом вместе и меняется. В детстве – одно, в отрочестве – другое, в молодости – третье. Стоит ли суетиться при такой переменчивости? Коль карты вразнобой, так и банка не сорвать. А банка не сорвал – в проигрыше остался, и скулить тебе в старости, в своей же бессмысленно прожитой жизни кого-то непременно осуждая. Не себя же. Себя человек никогда не осудит. Чтобы себя осудить, Человеком быть надо. Ну а коли ты сквозь все соблазны Человека в себе пронес, так и в старости брюзжать не будешь. Плоды будешь пожинать трудов своих, твердости своей,

упорства своего, любви своей, преданности делу своему на любом, добровольно избранном поприще. А главное – чести незапятнанной. Многое я вам, дети, оставлю, весьма многое. Можете все по ветру пустить: прогулять, в карты проиграть, крестьянам собственным раздарить или в монастырь отдать на помин души – воля ваша полная. Только честь свою никогда не прогуливайте, не проигрывайте, не дарите и никому не отдавайте. Честь – алмаз души вашей, который вы всю жизнь сами огранивать обязаны, в сверкающий бриллиант его превращая…

В доме к предстоящей поездке на бал готовились. Собственно, готовилась одна матушка, новые, из Петербурга доставленные платья без устали ежедень примеряя. Меня тоже было во фрак обрядить решили, но я отбился. Да и то чудом. Исключительно с помощью вовремя подъехавшего батюшки.

— У офицеров — один фрак на всю жизнь.

— Неказист армейский-то мундирчик, Илья Иванович, — вздохнула матушка.

— Не мундир офицера красит.

Вот и весь разговор. Бригадир на пустые споры слов тратить не любил.

И во дворе суматохи хватило. Батюшка, погоду учитывая, в ландо ехать решил. Вот его и чинили, и подкрашивали, из Опенков в мою Антоновку перегнав. Почему в Антоновку? Бригадир в ответ на мой резонный вопрос ответил, что-де отсюда ближе к балу, но я подозревал, что он, случаем воспользовавшись, поглядеть решил, как я тут с хозяйством управляюсь.

А я никак не управлялся. Не до того мне было, я с самим собой управиться не мог. Но батюшка все обследовал и дал мне хорошую выволочку:

— У дурного хозяина люди голодные. Вот о чем думать следует в первую голову. Если и с солдатиками безответными так поступать намереваешься, так лучше загодя в отставку просись.

Но все кончается, и в назначенный день мы ранним утром выехали к дальним соседям на бал.

Августа 5-го дня

Точнее, вечера, поскольку ландо сломалось по дороге. Судьба часто ломает экипажи, в которых

вы намеревались добраться до цели, казавшейся вам совершенно третьестепенной. И не целью даже, а так, увеселительной прогулкой, что ли. Скажем, прокатиться по Фонтанке, попутно навестив господина N. А у вашей коляски летит ось, как то и случилось с нами в чистом поле.

— Эт, барин, не починишь, — доложил кучер после долгого осмотра. — Эт кузня нужна.

Поначалу батюшка хотел послать его за помощью к тем, к кому мы так стремились в гости. Но, поразмыслив, решил, что это будет не совсем учтиво.

— Понимаешь, Наталья Филипповна, я с ним не просто давно не виделся, я служил под его командой. И гонец должен сему обстоятельству соответствовать.

И послал меня. Спорить в подобных случаях было делом совершенно безнадежным: чем больше с бригадиром спорили, тем основательнее он убеждался, что прав, как всегда. Почему я безропотно взгромоздился на лошадиную спину и затрусил в направлении, кое-как мне растолкованном. Без седла затрусил, охлюпкой.

Указанного пункта достиг без приключений: нас в Корпусе охлюпкой препятствия заставляли брать, а не просто ездить верхом, да и с лошадью

управляться, аллюры ее шенкелями меняя. Особняк вполне пожилой, давно в этой земле корни пустил, два крыла полукругом от центрального двухэтажного дома раскинув. Пареньку какому-то из дворни высыпавшей лошадь отдал, несколько уже прибывших экипажей приметил и сказал дворецкому в ливрее, чтобы он мне тотчас же хозяина вызвал ради дела неотложного.

Вышел седоусый, весьма и вполне крепкий еще хозяин в генеральском мундире, а следом за ним — полная, искренней приветливостью лучась, и хозяйка пожаловала. Я и представиться не успел, как она — с радостью огромной:

— Как мы вам благодарны! У внучки единственной именины…

— От всей души поздравляю, — бормочу, к ручке припав.

Засим докладываю, кто я есть и что с нами стряслось. Генеральша разахалась, генерал собрался было тотчас же карету выслать, а меня просил проходить и быть как дома.

— Церемоний не признаем, поручик. Прошу чувствовать себя отнюдь не в гостях.

А я отказался, насочиняв, что наше ландо никакой посланец не сыщет потому-де, что ехали мы особой дорогой, спеша к дорогой именинице.

Дал слово, что поторопимся, поелику возможно, и отбыл в хозяйской карете за родителями своими.

Почему не остался, спросите? Да потому, что ни матушка, ни батюшка и словом не обмолвились, по какому поводу бал. Не знаю, уж по какой причине такая забывчивость с ними приключилась, а только мне совестно стало к единственной генеральской внучке без цветов заявиться. Как гарнизонный замотанный офицеришко на дармовой стол с дармовой же выпивкой.

Глупость? Только с мужской точки зрения. А с точки зрения дам любого возраста — весьма приятный знак внимания. Вопрос, правда, в том заключался, где же мне эти цветы взять…

А места нашего крушения достигнув, вышел из кареты, огляделся… Да цветов-то — поле целое! Правда, не признанных в качестве подарка в провинциальном дворянском обществе, но лучше прослыть оригиналом, чем явиться вообще без ничего. И пока батюшка с матушкой в присланную генеральскую карету пересаживались, я нарвал целый сноп, сообразуясь с собственным вкусом.

— Веник твой неприличен, — строго сказала матушка.

— Что же вы мне загодя-то не сказали?

А батюшка лишь усмехнулся в усы. По-моему, вполне удовлетворенно.

С этим веником я в залу и вперся, где гостей уж было предостаточно, поскольку все только нас и ожидали. Радостный шум, приветственные возгласы. И подводит ко мне генеральша худенькую деву, милую почти во всех отношениях исключительно вследствие своих осьмнадцати или там девятнадцати лет.

— Это Полин, наша именинница. Полиночка моя. Внученька наша единственная.

Я звякаю шпорами, бормочу что-то галантно-французское. Девица рушится в низком реверансе, а когда выныривает из него, я гружу в ее объятья охапку полевых цветов.

— Merci pour attention («спасибо за внимание»), — слабым голоском, а посему и как-то растерянно говорит именинница, зардевшись до весьма скромного выреза платья. — Vous êtes très gentil («вы очень любезны»).

И вдруг ринулась от меня к подругам, к дамам, завертевшись по всей зале.

— Господа, господа, посмотрите, какое чудо! Ко мне пришла сама природа! Сама природа!..

И я сразу же делаюсь центром дамского разноцветия и разноголосия. Щебечут наперебой, как

птицы в теплый майский вечер. Не потому, разумеется, что я уж этакий утонченный ценитель прекрасного. Все куда прозаичнее: в провинции всегда с женихами трудности великие, потому что женихи эти в большинстве гарнизонную лямку тянут вдали от родных пенатов. А тут — вчерашний гвардеец, да к тому же (глухомань только для посторонних глухомань, слухов в ней бродит больше, чем в Петербурге) сын единственный весьма и весьма состоятельных и известных родителей.

А дворянство-то вокруг — мелкопоместное большей частью. Детей, как правило, рожают много, дележи наследство кромсают, как торт именинный, и каждому — по кусочку. Только для скромного прожития. И землицы-кормилицы — по кусочку, и рабочих рук, то бишь крепостных, — по пальцам перечтешь. И ажиотаж вовсе не моим букетом объяснялся, а этим именно обстоятельством.

Правда, хозяев это не касалось. Два сына на Отечественной войне в боях погибли (Полина — единственная внучка генеральская — старшего сына дочь, а младший и жениться-то не успел), но о них — потом. Успею еще.

Потому и общество оказалось дамским в своем

подавляющем большинстве. Девы, матушки, вдовы… Много вдов: французские сабли, пушки да штыки смертной косой прошлись по дворянским фамилиям. На провинциальных балах это особенно тогда заметно было.

И еще одно было заметно: провинция предпочитала говорить на родном языке в отличие от столицы. И образование было не ахти чтоб, и практики маловато, и, мой французский услышав, умненькие от соревнований сразу отказались. Но мне это, признаться, очень понравилось, и я свой языковой багаж распечатывать не спешил. Да и Кишинев многому меня научил: Александр Сергеевич и друзья его, безукоризненно французским владевшие, по-русски спорили меж собой. А спорить начинали едва ли не по каждому поводу…

— Нет уж, друг мой, ты совершенно не прав. Влезать можно не только на крышу, но и в карету. Ты видишь в этом одну лишь простонародность, не желая внимания обратить на стилистическую насмешку, в простонародности заключающуюся…

Ну и так далее. Не помню уж тонкостей споров этих, поскольку ровно ничего я тогда в них не понимал, но смысл передаю верно. За что и пору-

читься готов…

А матушка, как вскоре выяснилось, напрасно относительно карт беспокоилась: совсем не до карточных страстей мне тогда оказалось. Нарасхват я шел в тот вечер. На дамский расхват, и мне это было, признаться, весьма даже лестно. И бал я вальсом открывал с именинницей и с нею же закрывал его большой мазуркой.

Да, так о Полин. Об имениннице и хозяйке бала. Живая, неглупая, по-своему очень милая девица с грустными, какими-то… сиротскими, что ли, глазками. Фигурка даже не худенькая, а щупленькая скорее, и в этой фигурке что-то щемящее было. Настолько, что основной мужской инстинкт срабатывал: оберегать. Мужской, подчеркиваю, не жеребячий. И движения порывистые, в мазурке это особенно заметно: она чуточку задыхалась и очень уж стеснялась сего досадного обстоятельства. Почему я и не оставил ее после финального поклона, а пригласил к открытому окну, сославшись, естественно, на то, что, пардон, запыхался и без свежего воздуха никак не обойдусь.

— Может быть, на веранду?

Кажется, она чуть покраснела при этих словах, но пошли на веранду. Вечер таким густым был, что хоть ножом его режь. Ветерок как чуть прогре-

тый бархат — настолько ласков и мягок. Аромат… нет, для русского августовского вечера иностранное слово никак не подходит, не вмещает его в себя… Запахи. Копна запахов на тебя рушится. И всплески на близком озере. Только в России такие всплески, ей-богу. Редкие, таинственные, тугие какие-то, что ли. Ни в одной стране я таких всплесков не слышал, о чем и сказал Полин.

— А я ни разу не была за границей.

И лба при этом ладошкой ей прикрывать не пришлось. И что-то во мне… екнуло, что ли…

— …А почему вы ладошкой лоб прикрывали, когда с этой противной Полин беседу вели?..

Другие именины. Пруд. Аничка. Лебедей кормит, а я палец сосу, кремом сначала его смазывая…

А именинница говорит вдруг, вдаль глядя, точно воспоминания мои прочитав:

— Мы с вами давно знакомы. Даже немножко беседовали. У графинюшки Аннет на именинах. Мы с Аничкой — кузины. А потом вы с ней ушли. И кормили лебедей на пруду. Я подсмотрела. Это, конечно, очень стыдно, но это так.

Господи, никогда я доселе с прямотой такой не встречался. Ну, у мужчин, правда, она изредка

попадалась, но у дев — никогда. И я был убежден, что она девицам вообще несвойственна. Так сказать, органически. И вдруг — откровение настежь.

> …Откровение заразительно, никогда не замечали? Стало быть, прививку вам сделали от откровения, как от оспы. А мне – не сделали. И слава богу…

— Я потерял ее, — говорю. — Навсегда потерял. И никогда мы более не встретимся…

Замолчал, вдаль гляжу. И вдруг чувствую, как ее ладонь легла на мою и чуть ее сжала. Без всякого дамского намека, кокетства — что там еще? Как друг, как товарищ руку мою пожала, чужую боль как свою ощутив.

И я все ей рассказал, вообразите себе это! Все, все решительно, лба ладонью ни разу не прикрыв. Нас на ужин звали, но Полин даже бабушке своей сказала: «Пожалуйста, не прерывай…» Твердо, признаться, сказала, с характером…

— Почему граф промахнулся? Почему, Полин? Он ведь в лоб мне стрелял тогда.

— Здесь? Где седые волосы?

А у меня шрам почему-то седым клоком зарос.

След смертного ужаса плоти моей.

И нежные, до хрупкости тонкие пальчики коснулись тогда шрама моего, прикрытого седой прядью.

Мы как-то оба примолкли. Как дети. И долго стояли молча. А потом пошли в столовую, где все уже заждались именинницы. И то ли так получилось, то ли нас вполне осознанно так усадили, а только мы оказались за столом рядышком. И я нисколько не пожалел об этом, потому что разговаривать с Полин было интересно. Не болтать, а говорить с нею и слушать ее. Она любила книги, много читала и умела не просто помнить прочитанное, но и чертить собственные параллели и делать неожиданные умозаключения.

— Пушкин представляется мне Гулливером. Даже в ваших, очень мужских рассказах.

— Что вы, Полин. Александр Сергеевич, увы, совсем не гвардеец. Два аршина пять вершков с половиной. Сам его измерял: тогда он еще мечтал подрасти хоть на полвершка.

— Вы читали Свифта как сказку, а между тем это грустная метафора. Судьба гения, которого обыкновенные лилипуты своими лилипутскими правилами и представлениями опутывают, лилипутской паутиной, с ног до головы. Попробуйте

перечитать в такой плоскости, и вы убедитесь, что это предупреждение на все времена. Просто потому, что лилипутов всегда будет больше…

Засиделись мы до рассвета. Не помню даже, о чем вели беседы за столом, потому что после нескольких настойчивых попыток нас оставили в покое. Мы сидели на веранде, я принес ей шаль. И говорили, говорили… О чем только мы не говорили…

Потом всех отправили спать, а на следующее утро мы выехали домой в починенном за ночь ландо. И прощание получилось каким-то торопливым, скомканным, как то всегда бывает по утрам…

6 августа

Стало быть, едем, сидя друг напротив двух. Батюшки и матушки в данном случае. Матушка дремлет, батюшка хмур и сосредоточен, а я все еще как бы веду беседу с Полин.

— Знавал ли ты в Бессарабии некоего Раевского Владимира Федосеевича? — вдруг довольно резко спросил мой визави.

— Начальника дивизионной школы майора

Раевского? — Я улыбнулся. — Больше чем знавал. Смею сказать, добрыми были приятелями.

— Уж лучше не смей сего говорить, — проворчал мой бригадир. — Вчера слух прошел, будто арестован он и ныне содержится в тираспольской тюрьме.

— Господи, да за что же? — вырвалось у меня. — Умнейший и образованнейший человек, друг Пушкина ближайший. Александр Сергеевич Спартанцем его называл…

— Болтуны! — рявкнул батюшка. — Мы за отечество жизней своих не щадили, а как закончилась святая Отечественная наша, так и зашептались, зашептались кругом. И это нехорошо-де у нас, и то не славно, и третье в странах заграничных куда как лучше выглядит. Там, там, на полях Отечественной нашей, истинная цена проверялась, а не в умствующих лепетах ваших. Нет бы вино пить да за дамами волочиться — мало вам, не ценится уж ноне сие! А грязь на власти лить — то в цене, то — прогресс, то уж так современно, что и модой ныне заделалось. И Пушкин — такой же. Ну дан тебе талант от Бога, так патриотизм народа воспевай, отцов да братьев своих старших. Певцом быть во стане русских воинов — вот каков долг любого русского таланта…

Что он там дальше бурчал, я уж и не слышал. Я о Раевском думал. О глухом каземате его, тощей свечой освещенном…

> …Я, признаться, спорами тогда мало интересовался, а Пушкин с Раевским постоянно о чем-то спорили. О стихах, о народах, об истории: Раевский, помнится, как-то при мне Пушкину пенял, что тот в стихах бесконечно эллинских богов да героев воспевает, а о своих – будто и не было их у нас. О Великом Новгороде говорил, о Вадиме, о Марфе Посаднице…

И вдруг иное припомнилось. Вечер, конь оседланный возле моей мазанки. И — голос Раевского:

— Урсула взяли. Прямо в дубравах его…

…Я тогда как-то сразу понял, что майор попытается спасти нашего романтического Медведя («Урсул» — медведь на местном наречии) во что бы то ни стало. Да он и не скрывал этого:

— Могу я на помощь твою рассчитывать, Александр?

— Вполне, майор.

— Тогда никому ни слова. Я попытаюсь разуз-

нать, где Урсулу содержание определено, а там и тебя извещу.

Разузнал быстро: уже на третий день мы с ним встретились. В том же погребке, у Думиреску. Безусых гусарских корнетов, к счастью, там на сей раз не оказалось.

— В крепостном каземате в Бендерах. Окно каземата выходит во двор, где три караула даже ночью. А, заметь, казематы, выходящие на Днестр, пустуют.

— Но там же стены прямо в реку обрываются.

— То-то и оно, что в реку, — вздохнул Раевский. — Рыбу ловить любишь?

— Терпения не хватает.

— Придется полюбить.

— Зачем?

— Добрые люди просили глубину реки у самого замка замерить. А удобнее всего сделать это с удочкой в руках. И — в полной войсковой форме.

— Да кто же в офицерском мундире рыбу ловит, майор?

— Оригинал ты, Александр, понимаешь? Большой оригинал. Часовой со стены увидит офицера и даже не окликнет.

— Готов допустить. Но как ее замерять, глубину эту? Удочкой, что ли? И где именно?

— С тобой два гребца будут. Молчаливых.

А вот рядом молчания у меня не было.

— …Дурно крепостное право, спору в том нет, согласен. Но размах наш российский надо во взоре умственном держать, земли тощие, морозы. Морозы да снега — из-за них Россия спать обречена по полугоду. Как медведь. И чтоб медведь этот с голодухи лапу не сосал, им управлять нужно! Вот в чем роковая особенность наша, вот в чем, как бы сказать, особый путь. Ну не Европа мы. Не Европа! И не будем ею, сквозняк один от этих окон прорубленных…

Батюшка все ворчал, матушка все дремала. А я опять в прошлое, в прошлое ушел, ощущения свои вспоминая…

> …И главным в этих ощущениях тогда было – мистификация. Залавливают меня, юнца доверчивого, в некую веселую игру, которая и закончится развеселой пирушкой с хохотом и остротами. Правда, Раевский мало для подобной роли подходил: был и весьма образован, и сдержан весьма, даже суров подчас – недаром Пушкин его Спартанцем именовал. Но

розыгрыши очень тогда ценились, любили их придумывать, кишиневское общество и удивляя, и развлекая, а то и фраппируя. «Ладно, – думаю, – почему бы не поучаствовать…»

— Такова первая твоя задача, Александр. Когда решишь ее, скажу о второй.

Поскакал в Бендеры задачу исполнять. Лодка — в условленном месте, два гребца в ней, молчаливых и настолько черноусых, что так и тянуло за усы эти их подергать. Но — воздержался: играть — так по правилам. Молча поплыли к крепостным стенам. Один лодку на течении удерживает, чтобы не снесло, второй — глубину веревкой с грузом замеряет, а я усердно червячка в воде отмачиваю.

Часовой на стене появился. Постоял, посмотрел на нас, но не окликнул. Решил, видно, что офицер и впрямь в тихое помешательство впал.

Замерили беспрепятственно, о чем не без тайного азарта и доложил я майору, а где-то в глубине мелькнуло: «Ну, мол, еще что удумал?»

* * *

И впрямь, не унимается Раевский:

— Задача вторая, Александр. Прутья, из коих решетки сделаны, разогнуть сумеешь?

— Чтобы решетки гнуть, надо сначала в каземат попасть, майор. Даже если я, предположим, и подстрелю кого-нибудь на дуэли, меня в кишиневский острог определят, но уж никак не в крепость.

— Тимофей Иванович Збиевский, комендант крепости в Бендерах, большой любитель понтировать. Но — в своем кругу. А круг — полицмейстер Бароцци.

— Не имею чести быть знакомым.

— Евдокия Ивановна Бароцци — родная сестра Пущина. Мы с Пушкиным как-то навещали их. Почему бы ему не повторить посещение? Разумеется, с нами вместе.

— Откажется, — сказал я, подумав. — Он мне говорил, что какой-то роман начал. Значит, его уже не оторвать.

— Попытаюсь.

Признаться, не по душе все это мне стало. Зачем в мальчишескую затею Александра Сергеевича втягивать? За ним и так в шестнадцать пар глаз

наблюдают.

— Может, избавим Пушкина от этих забав, Раевский?

— Пушкин уедет до всех наших авантюр, Александр. Подальше. Скорее всего, в Одессу.

— Ну и сколько я должен проиграть этому коменданту, чтобы согнуть решетку?

— Сердишься? — Раевский улыбнулся. — Прости, Александр, не мой это замысел. Я всего лишь звено в цепи.

— А чей же?

— В Молдавии есть хорошие люди, но кое-какую помощь просили им оказать. Ты одну задачу, для них весьма трудную, уже решил, осталась последняя — согнуть прутья решетки. Затем ты сразу же уезжаешь охотиться с господарем Мурузи, Пушкин — в Одессу, я — на лагерный сбор дивизионной школы. Остальное — если удастся, разумеется, — будет сделано без нас.

— Да я же в канцелярию каждое утро являться должен, — напоминаю с этакой все уже постигшей усмешкой.

— Завтра явишься и получишь десятидневное разрешение отправиться на охоту по личной просьбе господаря Мурузи.

Как ни странно, но все именно так и случилось.

Я получил вольную на десять дней, а Раевский каким-то образом уговорил Пушкина навестить в Бендерах семью полицмейстера Барощци. На следующее утро мы выехали: Александр Сергеевич вместе с майором в карете, а я — верхом на арендованной лошади, к которой привык, потому что частенько пользовался ею для конных прогулок.

Пушкин был хмур и, казалось, очень недоволен собой. О чем они толковали с Раевским по дороге, не знаю, но майору удалось улучшить его настроение. Мало того, едва объявившись в доме полицмейстера, он тут же признался, что намеревается писать поэму о дерзком бегстве разбойников из тюремного замка, почему и просит непременно замок этот ему показать.

Однако гостеприимные хозяева сперва пригласили нас отобедать, сказав, что к трапезе непременно пожалует и сам комендант крепости. Это решало дело, мы дождались пожилого и весьма добродушного Тимофея Ивановича Збиевского, тут же, еще до обеда, пригласившего нас к себе в крепость.

— На чашку, господа любезные, на чашку единую. Не обижайте старика.

— Берегитесь, — шепнула нам Евдокия Ивановна. — Он так называет пунш, который сам же и

варит неизвестно из чего.

— Он понтирует? — спросил я, беспокоясь о задаче, решить которую был обязан.

— Только скажите, до утра не отпустит!

Я и сказал. Тимофей Иванович невероятно возбудился, что резко сократило время нашего пребывания за столом. Евдокия Ивановна была несколько обижена, а супруг ее, более похожий на углубленного в себя схимника, нежели на полицмейстера, напротив, даже не скрывал известного облегчения, что ли.

Одним словом, мы быстро перебрались в крепость, где комендант тотчас же занялся подготовкой к «чашке единой», о которой не переставал бормотать.

— А ром — не с желтком, а с белтком…

Почему-то он именно так говорил, помню: «С белтком…» Смешило это меня…

— Неплохо бы нам ознакомиться с замком, пока хозяин столь увлечен, — тихо сказал мне Раевский. — Оставим ему Пушкина для утешения и первых проб варева.

А Пушкин и так уже ходил хвостом за Тимофеем Ивановичем, слушая рассказы его о шведском лагере в бывшей Варнице, короле Карле XII и Мазепе, который, по слухам, там умер. Старик

выдавал рассказы малыми порциями, связанными меж собой весьма замысловато, как, скажем, соленые огурцы с ванильным мороженым.

— Мы заплутаемся в этой турецкой крепости без провожатого, — говорю я майору.

А сам думаю, что кто-то на меня поставил неплохой заклад. На пари, что я умудрюсь разогнуть прутья решетки не где-нибудь, а в самой крепости. И что такой серьезный, разумный и весьма сдержанный господин, как майор Раевский, оказался каким-то образом втянутым в это пари. Но я Раевскому не только был обязан, но и любил его искренне, а потому решил сделать все, чтобы он выиграл.

Пока размышлял, майор с комендантом беседовал. И кончилась эта беседа тем, что Тимофей Иванович, увлеченный варевом своего зелья и отвлекаемый любознательностью Пушкина, вызвал какого-то кряжистого немолодого усача-унтера и велел ему показать нам все казематы второго яруса.

— Только исключительно второго яруса, — подчеркнул он, передавая ключи. — Там — пусто, аки в раю, предназначенном для душ русских офицеров.

Прошли во второй ярус вослед за унтером,

молчаливым, как Сфинкс. Длиннющий широкий коридор. Справа и слева — двери казематов, все почему-то запертые на огромные висячие замки, к которым подходил один и тот же ключ, столь же огромного размера. Левые казематы, как тут же выяснилось, выходили на Днестр, правые — во двор, и этими правыми живо заинтересовался Раевский, как только унтер открыл двери левых. И увел в них за собою тюремщика, а я вошел в первый же правый каземат.

Странно, но там было сухо. Странно потому, что я почему-то представлял себе, что в казематах, предназначенных для содержания узников, всегда должно быть сыро и мрачно. Мрачно было, но сухой какой-то мрачностью. С густой пылью на каменном полу.

Впрочем, это все как-то мельком. Меня окно интересовало, и я пошел его изучать.

Оно оказалось забранным не решеткой, а тремя вертикальными железными прутами, вделанными в каменную кладку стен. Пруты были толсты порядочно, но весьма изъедены ржавчиной и, к счастью, не из каленого железа. Я уперся левой рукой в один, а правой — на распор — потянул средний на себя. Дело оказалось нелегким, пришлось поднатужиться, но в конце концов се-

редины обоих прутьев дрогнули и пошли, начав этак нехотя гнуться. У меня ломило плечи, стучало в висках, но в три приема я раздвинул старый железный забор настолько, что в него мог бы вполне протиснуться ловкий молодой человек.

Дело было сделано, но, признаюсь, покачивало меня совсем не от гордости. Двери казематов я старательно прикрыл, унтеру осталось лишь запереть замки, и мы пошли следом за ним к обещанному комендантскому пуншу. По дороге я цеплялся за стены плечами, да и в висках у меня постукивало, но о подвигах своих я доложил Раевскому не без некоторого самодовольства.

А чаша с пуншем, которую Тимофей Иванович пустил вкруговую, дрожала в моих руках. Да и захмелел я быстро, откровенно говоря. То ли пунш оказался непривычно забористым, то ли и впрямь я уморился… От игры мы как-то улизнули, пуншем увлекшись. Ну и слава богу, потому как ломота в плечах доброму понтированию не соответствует, а проигрывать я, признаться, не люблю. Так уж устроен.

Однако к утру все закончилось благополучно, кроме ощущения, откуда именно растут плечи. Но я надеялся, что забуду об этом к началу королевской охоты, обещанной мне.

Ан не вышло. Ни разу ни в кого не попал: ни в зубра, мне господарем показанного, ни в оленя, ни в косулю. В зубра Мурузи тоже, правда, промазал, но, думается, вполне сознательно, потому что стрелял он отменно, несмотря на вполне серьезный возраст. Не то что я после крепостных своих развлечений…

Затем — костер, челядь суетится, косуля целиком на вертеле жарится, а мы с господарем и до'бро закусываем, и доброе вино пьем, и по-доброму беседуем.

Только не пришлось мне тогда косулю эту попробовать. Подлетает неожиданно конный арнаут хозяина моего, спешивается и что-то негромко ему докладывает…

— Не дают турки честным христианам плодами охоты своей мирно насладиться, — невесело усмехается Мурузи. — Извини, Сашка, сначала проучить их придется.

— Я с вами, господарь, — говорю.

— Там, юноша, без боя не обойтись.

— Неужели, господарь, вы можете гостю своему в его желании отказать?

Усмехнулся Мурузи:

— Гостю могу, офицеру — нет. Арнауты мои оружия достаточно привезли. Выбери себе саблю по

руке да пару пистолетов не позабудь в седельные кобуры сунуть.

Пока мы собирались, господарь дозоры по двум направлениям выслал. Воякой он был опытным, турок колошматил, где только мог, но плетью обуха не перешибешь. Выжили они его все-таки за Прут, где он от них и укрывался. Но надежда голову его самому султану доставить их не покидала, поскольку оценена голова была весьма высоко. По достоинству оценена, турки считать умели.

Арнаутов собралось человек до сорока. Проводники вели без дорог, ехали неторопливо и осторожно, ожидая сведений от дозоров. Мурузи поглядывал на меня, потом спросил:

— В сражениях участвовал?

— Надеюсь вечером ответить на ваш вопрос утвердительно, господарь.

Рассмеялся Мурузи. Только хотел ответить, как подскакивает арнаут и что-то негромко ему говорит.

— Турки в полуверсте, Сашка, за этим лесочком, — объясняет мне господарь. — Атакуем встречной атакой, у них кони приморились. Под тобой лошадка молодая, но игривая. Особо повод ей не отдавай, она скачку очень любит.

Но я отдал, едва турецкий дозор увидел. Тоже был молод и тоже скачку любил. Одного дозорного из пистолета снял, второго игривая моя из седла выбила, с разгону в круп его лошади врезавшись. Азартная лошадка, ничего не скажешь, но заодно и я из седла вылетел. И слава богу, вскочить не успел: господарь Мурузи со своими арнаутами следом за мной на боевом галопе в атаку шел…

А я лежал, как упал, не шевелясь: этому нас в Корпусе неплохо научили. Лежал и копыта считал: сорок лошадей на четыре копыта — сто шестьдесят конских кованых ног над головой. Когда пронеслись, вскочил и… турка, размозженного конскими копытами, увидел. Не обучался он, видно, в Корпусе для дворянских детей…

— Вы давеча спрашивали, господарь, не участвовал ли я в сражениях? — нахально объявляю вечером. — Тогда недосуг было ответить: да, участвовал.

Расхохотался Мурузи:

— За здоровье моего дорогого гостя, русского офицера Сашки Олексина! Ура, господа!..

Три дня я тогда у господаря гостил, три веселых и шумных дня. А потом в Кишинев выехал. Чтобы каждое утро в канцелярию генерала Инзова

являться…

На следующее по прибытии утро явился, а мне Смирнов, чиновник канцелярии, и говорит:

— Новость слышали, Олексин? Урсул из крепости сбежал.

— Как, — искренне поражаюсь, — сбежал?

— Представьте себе, силища какая! Прутья раздвинул, прыгнул в Днестр и поминай как звали.

— Может, утонул?

— Если бы. За две ночи две почтовые кареты ограблены. Сопровождающие все живы, деньги и ценности исчезли, на дверцах каждой кареты — его визитная карточка.

— Визитная карточка?

— Дубовая веточка.

Вот тебе, думаю, и пари; вот тебе, думаю, и розыгрыш… Или я ничего не понял, или Раевский не все мне говорил, а только вместо озорного пари совсем неплохо придуманный план вдруг явственно обозначился. И характер старого коменданта Тимофея Ивановича учтен, и его влюбленность в пунш по собственному рецепту, и Пушкин для отвода глаз, и я — для сокрушения решеток. И Тимофей Иванович при этом никогда в жизни не признается, что допустил посторон-

них в крепость, потому как вылетать со службы без мундира и пенсии ему совсем не хочется. Настолько это ему не хочется, что унтеру своему он только три слова произнести разрешит в ответ на все вопросы: «Не могу знать!» И Пушкин — уже в Одессе, и Раевский — на дивизионных сборах, и я — на королевской охоте…

(На полях – приписка: *Да было ли все это на самом деле? Порою мне кажется, что и не было вовсе, что легенда это, в которую я был вовлечен, а потому и сам же в нее уверовал. Не знаю, не знаю, и спросить уж не у кого…*)

И еще одно вспоминается — еще до этого, до этого. Костер, я перепелов настрелянных жарю на шомполе, как умею, а за спиной у меня разговор.

— Рим сгубила несвобода, но отнюдь не нашествие варваров. Деление собственного народа на патрициев и плебеев лишает гражданских чувств как первых, так и вторых.

Пушкин, Раевский и капитан Охотников. Признаться, очень этот капитан почему-то невзлюбил меня, но — терпел. Ну и я его — соответственно.

— Упрощаешь, Владимир Федосеевич, упро-

щаешь…

— Тюремщик меж ними, — вдруг говорит Александр Сергеевич. — Меж патрициями и плебеями непременно тюремщик появляется. Только к одним — лицом, а к другим — затылком.

— Любая несвобода есть слабость государства, но никак не мощь его…

Это Раевский.

А я слушаю во все уши и перепелов на шомполе во что-то совершенно несъедобное превращаю…

…И почему вспомнилось вдруг?..

22 Августа. Очень памятный день

Утром являюсь в канцелярию, а мне:

— К его превосходительству.

Проводят. Вхожу. Докладываю.

— Ваше превосходительство, прапорщик…

— Простил тебя государь, Олексин, — добродушно улыбнулся Инзов, по-отечески. — И повелел служить в Новгородском лейб-гвардии конно-егерском полку. Выезжай немедля.

Подорожную и все бумаги на руки тут же выдали, собраться мне было что голому подпоясаться, а попрощаться… С мамой Каруцей расцеловал-

ся, с Беллой да Светлой… Всплакнула она над нежданной свободой моей.

— Краев у тебя нет, Саша. Ну ни в чем…

Еще кое-кому добрые слова сказал. А вот Руфина Ивановича Дорохова в квартире его не оказалось.

Но я разыскал его в конце концов. За одним из карточных столов. То ли на охоту вышел Дорохов, то ли на работу — это уж кому как судить. Увидел он меня, нахмурился почему-то. Поначалу показалось, что рассердился даже. Карты отложил и отвел меня в сторонку. Я рассказал ему о новостях, столь радостных для меня, и добавил в конце:

— Пригласите за стол, Руфин Иванович. За ним и распрощаемся ко взаимному удовольствию.

— Нет, — отрезал он весьма жестко, но — улыбнулся. — Я проигрывать не умею.

— А я — не люблю. Чем не пара?

— Прощай, патриций, — обнял он меня на дорожку, сказал вдруг: — Я — не мистик, но у меня сейчас такое чувство, что мы непременно с тобою встретимся.

(Приписка на полях: *Как в воду глядел…*)

Сентябрь, что ли. Желтая листва

Тоскую в своей Антоновке. И потому, как ни странно, еще тоскую, что матушка с батюшкой что-то к своим пенатам не торопятся. А я, признаться, при матушке не могу очередной Марфуше или там Дуняше сказать, чтобы подушки мне на ночь взбила. Ну не в силах. И это пройдя огонь, воду и медные трубы. Боюсь, что утром, с матушкой глазами столкнувшись, лоб ладонью прикрою, что ли…

А еще потому тоскую, что в сторону графского особняка сам себе дорогу заказал. Каждое утро Лулу по полям, лугам да опушкам гоняю, но туда — ни под каким видом. Да Лулу и сама не идет, проверял. Понимает. Уверен, что понимает.

Батюшка днем усердно хозяйством занимается, а вечерами — мной. С тем же усердием.

— Что есть родина и что есть отечество?

— Одно и то же.

— Ан и нет. Отечество — под ногами. Святая память о доблести и чести предков твоих, а с их помощью и о самой Руси. А родина — место, где родиться довелось да вырасти до осмысления, что

родился именно тут. Две березки, сосна корявая за околицей да ракита над прудом. И никуда от сих предметов не денешься, сколько бы ни жил. А коли деться довелось, так о них и тосковать будешь всю солдатчину как о знаках родины своей.

— Ну и слава богу, — говорю. — И я…

И — замолкаю, подумав: а о чем, собственно, тосковал я, скажем, в Бессарабии? Об Антоновке? Нет. Об Опенках родовых? Да тоже нет. О… о Корпусе, что ли?

— Вот-вот, — говорит батюшка, будто мысли мои прочитав. — Да ни о чем ты не тосковал по той простой причине, что все твое было с тобой на манер багажа. Отечество, память о великой его истории, которую никакой околицей не ограничишь, потому что ни в какую околицу она и не вмещается.

А ведь прав в чем-то мой бригадир, думаю. Не свойственна нашему брату офицеру тоска по чему-то предметному…

— Никогда крестьян своих на вывод не продавай, — строго говорит вдруг батюшка. — Только с землей, коли уж нужда заставит. Только с землей, с березками их и прочей видимой атрибуцией.

Omnia mea mecum porto («все свое ношу с собой»), думаю. Похоже, что так, по себе сужу.

Только хорошо это или плохо? Хорошо или плохо?..

Вероятно, я — в основе, что ли, — не самый плохой сын. Из любви к матушке и почтения перед нею — все терплю. И не просто терплю, но и порывы свои ограничиваю. И батюшку терплю, и назидательные беседы его — тоже. В конце концов, на то и дети, чтобы на них выводы из собственных ошибок изливать.

> …А может быть… может быть, признаем за каждым право на собственные заблуждения? В конце концов, человек живет только один раз. Ровно – один раз. Странный счет, не правда ли? Очень уж смахивающий на первый пункт какой-то нам неведомой программы…

Однако и мое почти ангельское терпение исчерпалось до дна. Почувствовав это, я не стал дожидаться, когда взбунтуется муть души моей, и объявил, что намерен приступить к своим обязанностям ротного командира досрочно, поскольку отпуск, дарованный мне командиром полка, еще не истек.

— Нетерпение твое понятно и весьма лестно для меня, — сказал батюшка. — Однако существу-

ют обстоятельства.

Обстоятельства поведала матушка:

— Вот ужо гостей примем, Сашенька.

— Каких еще гостей?

Что это я насторожился вдруг тогда?..

— Рассудили мы с батюшкой, что окажутся они для тебя весьма даже приятными.

Ничего более не сказала, но улыбнулась как-то особенно. Я велел Лулу подседлать и поскакал неизвестно куда. Обдумывать, что же это за весьма приятные…

Не столь важно, каким путем шли мысли мои. Не столь важно потому, что путь был прям, как шеренга линейных на парадном плацу. Приятными гостями для молодежи во все времена являются только их ровесники противуположного пола, какими бы словами эта простейшая истина ни прикрывалась. Аничка была не просто далеко, а как бы за гранью возможного, и, следовательно, таковой приятностью могла быть только ее кузина. Полин.

…Огорчило это меня? И да и нет, однако совсем не по принципу «на безрыбье и

рак – рыба». Любовь к Аничке я замкнул на все замки в душе своей, как Кощей – смертную иглу в ларце. И любовь эта жила в душе, но как бы не имела никакого отношения к худенькой, умненькой и душевно какой-то… какой-то открыто бесстрашной, что ли, Полин. Нет, не пыл страсти телесной толкал меня к ней, а тихое и покойное стремление души. Женщина-друг нужна мужчине нисколько не меньше, чем женщина-любовница, хотя бы просто потому, что другу-мужчине вы никогда не откроетесь столь широко и беспощадно, как другу-женщине. Да никакой мужчина и не поймет вас так, как поймет женщина, если, разумеется, Господь не обошел ее умом и пониманием. Так вот, Полин Господь не обошел…

И я не то чтобы повеселел — нет, веселеть мне было не с чего, и тоска моя никуда не делась, все так, и все же… Все же светлее мне стало. Стало кого ждать.

…Ах, как это важно для человека – кого-то ждать. Важнее, чем «чего-то». Уж поверьте мне…

Поэтому и спросил не очень обдуманно:

— Когда Полин приезжает, матушка?

Странно она тогда на меня посмотрела. С долгой и доброй полуулыбкой.

— На той неделе ожидаем. Дня на три, а там, может, и на четыре, если понравится им.

Сентябрь то был. И уже срединный. Уж и листва звенела на ветру…

И не три дня они гостили в моей Антоновке. И — не четыре. А неделю да плюс еще один, особый день.

Гости загодя казачка прислали, чтобы точно свое прибытие обозначить. Я у казачка дорогу их выведал, Лулу велел подседлать и выехал им навстречу. Признаться, скорее из вежливости, нежели от нетерпения, если, конечно, не учитывать, что вежливость для того и придумана, чтобы порывы нашей искренности скрывать. И в данном случае помчался я не столько из желания Полин поскорее увидеть, сколько из стремления от тоски по Аничке подальше убежать.

(Приписка на полях: *А может быть, мне так тогда казалось?*)

Осень сухой выдалась, цветы в полях пожухли и состарились. Зато вовсю цвел бересклет, и я наломал порядочный веник. Сознательно пропустил карету их, в кустах схоронившись, а потом догнал ее и сунул этот веник в открытое окно. И услышал сквозь бледно-розовые сережки бересклета детски восторженное:

— Бабушка, это он!..

Карета остановилась, обе дверцы распахнулись. Я с седла спрыгнул, бросив поводья. И поклонился по-французски, шляпой осеннюю траву причесав:

— Счастлив приветствовать вас в своем углу!

— Это твоя земля, поручик? — Генерал обнял меня, расцеловал в обе щеки. — Какой предмет, чтобы по чарке выпить, Прасковья Васильевна!

— Предмет, предмет. — Генеральша по-родственному расцеловалась со мной, Полин из-за обширных юбок вперед выдвинула. — Целоваться — так со всеми.

Полин, зарозовев, щечку подставила, я приложился к ней. Выпили мы по чарке, генерал о здоровье матушки с батюшкой расспрашивает, я что-то отвечаю, а сам, признаться, слушаю, о чем это внучка с бабушкой шепотом спорят.

— Ну что с тобой поделаешь, баловница! — в

конце концов говорит генеральша Прасковья Васильевна с улыбкой.

И — громко, хотя прежде шептались. Будто для посторонних ушей сие предназначено.

А Полин, смотрю, вдруг резво этак на козлы лезет. И кричит мне оттуда:

— Ко мне — на коне!

Я вскакиваю на Лулу, подъезжаю к карете. Полин с козел протягивает мне руки, и я легко сажаю ее впереди себя.

— За нами! — командует Полин, как-то очень естественно и невесомо обнимая меня за шею правой рукой.

Скачем впереди на легкой рыси. Полин что-то говорит, я что-то отвечаю, странно ощущая, что сердце мое бьется столь же ровно, как билось до сих пор. И наплевать ему на то, что в моих объятьях — милая, хрупкая барышня…

* * *

Появились мы первыми — карета еще где-то позади громыхала. Родители уже встречали гостей на крыльце, а нас, передовых, увидев, батюшка поспешил навстречу и галантно принял в свои объятья мою то ли добычу, то ли спутницу. И осторожно поцеловал в щечку, хотя я был убеж-

ден, что таковое наше появление ему не очень-то понравилось. Брови выдали, заерзав на лбу.

Но раздвинул он их по местам, когда подъехала карета. И ничего никому не сказал, а уже на другой день в моей конюшне обнаружилась смирная лошадка, коей доселе здесь не было. А заодно и дамское седло. Видно, в Опенки бригадир мой за ними посылал.

— Так оно удобнее, — сказал он наезднице моей вчерашней следующим же утром. — Лошадка смирная, иноходец. Дамская, коли с седлом в комплекте.

Четыре дня пролетели в конных прогулках и разговорах. Полин отлично держалась в дамском седле, лошадка-иноходец отлично была выезжена, а я… Я почему-то непрестанно об Аничке думал. Скорее не столько думал, сколько мечтал.

> …Ах, кабы она сейчас подле моего стремени скакала… Не до разговоров бы нам было, Аничка моя…

Но мечты мечтами, а разговоры — разговорами. Сказать, что неинтересны они мне были, что с живостью не поддерживал я их, — значит неправду сказать. И поддерживал, и смеялся, и

удивлялся, и… И радовался, искренне радовался, что — не один. Что рядом — живая, умненькая, бесстрашная и беззащитная одновременно… кузина. Двоюродная сестра любви моей.

— Вы торопитесь жить, Александр? Я часто ловлю себя на том, что — тороплюсь. Что мне жаль стало часов, которые я трачу на сон. Я все время хочу жить. Все время, каждое мгновение! Бывало ли такое с вами?

— Не поручусь о прошлом, но и не заручусь на будущее.

Рассмеялась Полин. Искренний смех, звонкий, девичий, но… Но не колокольчик. Не колокольчик, серебром своим пробуждающий все силы и все желания ваши.

— Не торопи воспоминаний, но догоняй свою мечту? А если нет воспоминаний, но есть в тебе одна мечта?..

Хлестнула свою иноходную кобылку и помчалась вперед. Я Лулу-любимицу никогда не понуждаю следовать желаниям моим: она сама в них разбирается. А я ей обязан: жизнь мою она спасла, из великого оледенения вытащив. И я моей спасительнице только повод отдаю — сама разберется, куда, зачем и на каком аллюре. Умная лошадь — половина судьбы офицерской, как

однажды мне батюшка сказал. Расчувствовался тогда бригадир.

И понесли нас кони куда-то. Лулу на полкорпуса позади иноходки держалась, гордясь отпущенным поводом, и так скакали мы по поникшим полям. И хотя осень сухою выдалась, утренние росы травы все же положили, листву с деревьев обрушили. Осень есть осень. Слезы года.

Я, признаться, так и не успел заметить, когда заяц порскнул из-под копыт кобылки-иноходки. Но лошадка заметила и испугалась. И рванулась в сторону, вдруг на дыбки вскинувшись и выбросив Полин из седла.

Это, так сказать, с точки зрения лошади. А с моей — Полин скорее не вылетела из дамского седла, а выпорхнула, как птенчик выпархивает. И что поразительно — даже не вскрикнула при этом, хотя вскрикивать девицы прямо-таки обожают. И не столь важно, по какой именно причине: от испуга, боли, неожиданности или восторга, вдруг неистово всю натуру их охватившего. Важно, что вскрик девичий — всегда призыв. Требовательная полковая труба. В отсутствие представителей противоположного пола они, заметьте, почему-то не вскрикивают. Призывать некого.

А тут — было кому призыв адресовать, а — не

вскрикнула. И, откровенно говоря, мне это молчаливое ее терпение очень тогда понравилось.

Я возле нее оказался, когда она еще встать не успела. Протянула руку, улыбнулась (по-моему, через силу улыбнулась, внезапный испуг превозмогая), и я помог ей подняться.

— Благодарю.

— За что же, Полин? За то, что не уследил за вами?

— Думаете, вас благодарю? — вдруг тихо сказала она. — Нет. Судьбу благодарю, что встретила вас.

Очень это серьезно, что ли, прозвучало, и я, признаться, растерялся. Молча подвел к иноходцу (или — иноходке, как там по-русски полагается?), молча усадил в седло. Она невесома была, как пушинка с одуванчика…

Записываю не ежедень, кусками, воспоминаниями… Нет, событиями время отмечая.

Вечерами мы тоже были вместе. Точнее, от старших отдельно, и на эту нашу отделенность никто из них вроде бы и внимания не обращал. Полководцы в отставке с орденоносными мундирами былые сражения вспоминали, взаимообидчиво споря порою, а матроны о чем-то

уютно-семейном меж собою толковали, весьма даже согласно и миролюбиво. И нам предоставлялась полная возможность говорить, о чем душам нашим угодно тогда было.

— …Вы помянули о терпении, Полин? Терпение — наследие плоти нашей. Ожидание, когда пройдет боль, например.

— Вы говорите о телесном терпении, и в этом — правы. Но я имела в виду терпение души человеческой. Ждать терпеливо не когда что-либо пройдет, а когда — придет. Терпеть и верить, что наступит час откровения души…

— Признайтесь, вы тайно пишете стихи.

— Грешна ли? — Полин улыбается. — Но — в мечтах, не на бумаге. Проговариваю их себе самой, когда есть что проговаривать.

— Проговорите что-нибудь вслух. Для меня.

— Когда-нибудь… — Улыбка начинает таять, таять и исчезает окончательно. — Но — нет-нет-нет.

— Почему же «нет-нет-нет»? Вы не похожи на ломаку.

— Я — не медовый пряник. Увы.

Сознаюсь, я не очень ее понимал порою, а может быть, просто не решался понять. За три дня

наших ежедневных прогулок Полин менялась на моих глазах. В ней исчезала непосредственность, но посредственностью она быть уже не умела или просто не желала и — странно замыкалась. Словно никак не могла решиться на какой-то уже внутренне решенный ею шаг и — съеживалась, ненавидя саму себя за эту нерешительность.

Возможно, что она ожидала встречного шага от меня. Ну не шага — движения, слова, какого-то взгляда, наконец. Но я был древесно молчалив, гладок и вполне предсказуем, как хорошо обтесанное бревно, и зацепиться ей, бедняжке, было не за что.

В тот вечер, не без горечи объявив себя «не медовым пряником», Полин оборвала разговор и быстро ушла, сославшись на усталость. Я помыкался вокруг стариков, бездарно проиграл генералу партию в шахматы и тоже отправился спать.

Утром она встретила меня куда как непринужденнее, нежели я — ее. Шутила, улыбалась, болтала ни о чем, что, в общем-то, ей было несвойственно. А когда нам подали лошадей и я посадил ее в седло, объявила:

— Сегодня я скачу впереди, а вы следуете за мной.

И полуверсты так не проскакали, когда я сообразил, что она ведет меня прямиком к графскому особняку. До сей поры я старательно объезжал его стороной, но, кажется, именно моя нарочитая старательность и подвигла ее командовать сегодня нашим выездом. Дороги она не знала, но направление выдерживала вполне осознанно, и я сообразил, что она дотошно расспросила, где именно находится покинутое графское логово.

Относительно того, что оно покинуто косноязычным Засядским, я не сомневался: мне как-то сказал об этом Савка. Непредвиденных встреч быть не могло, ничто, казалось бы, не должно было меня тревожить, а, поди ж ты, я почему-то заволновался.

> …Тогда не понял причины сего, но сейчас разобрался: я не хотел возвращать никаких воспоминаний. А уж тем паче – призрачных…

Но то, что для меня представлялось призрачным, Полин воспринимала, видимо, вполне реально. Для нее прошлое оставалось живым, а для меня — мертвым, а мертвое взывает к молчанию, и я молчал.

У Полин — душа удивительной глубины, и

никакие внешние изменения ее замутить не способны. Она сразу же поняла причину моей замкнутости на все засовы, а потому молчала тоже. И не просто прикусила язычок, но примолкла с уважительным пониманием, как то случается на кладбищах у совсем, казалось бы, посторонних могил.

Спешились, едва ворота проехав. Заколоченный дом всегда вызывает грусть. Не знаю, у всех ли, но у меня — вызывает. Даже шагать стараюсь бесшумно…

…Девочка с бабушкиными кружевами. Мечтающая, чтобы детки ее прикрывали лоб ладошкой, коли уж очень захочется им сказать не всю правду маменьке…

Не успел подумать, как Полин тут же бросила на меня настороженный взгляд. Нет, не настороженный — горький, всепонимающий. Свернула неожиданно в заросший сад, и мы вышли к прудам. Темным, осенним, с притопленными кувшинками и печально задернутым дырявым покрывалом опавшей листвы. И не было больше белых лебедей.

— Улетели. — Я не удержался от вздоха.

— Не было их. — В голосе Полин слышался

напряженный звон. — Не было, не было. Взлелеянное прошлое превращается в сказку, но сказками живут только дети. Опомнитесь, Александр, опомнитесь!

— Опомниться?

Глупо спросил. И улыбнулся глупо.

— Эклеры съедены, и блюдо утоплено…

— Долго же вам пришлось сидеть в кустах, — усмехнулся я.

— Я всю жизнь сижу в этих кустах! — вдруг выкрикнула Полин. — Всю жизнь, когда же вы, наконец, уразумеете это, деревянный вы человек!..

Кажется, я начал что-то соображать. Посмотрел на нее… И Полин не отвела глаз. Смотрела в упор, и взгляд сверкал решимостью. Будто дошла она до края и сейчас готова была шагнуть за него, куда бы тот край ни обрывался.

— Я не могу приклеить мушку посреди лба, ну не могу! А вот блюдо ваше бесценное достать — могу! Чтобы вы еще раз убедились, что пирожные детства — съедены. Навсегда съедены! И не воскреснут больше, не воскреснут!..

Слезы тут из глаз ее брызнули, и она побежала. Побежала куда-то — не к лошадям, не к особняку: куда-то побежала. Как бегут от самой себя…

И упала, споткнувшись. Беспощадно как-то упала, что ли. Я бросился к ней: она лежала ничком, плечи тряслись, и не рыдания — вой какой-то последний из нее вырывался…

— Что с тобой, Полиночка? Что с тобой?..

Хотел повернуть ее — не давалась. Билась изо всех сил, как птица билась, и сердечко ее стучало на всю округу. Но я все же повернул ее, к себе прижал, целовал зареванное, слезами залитое лицо, щеки, губы…

— Прости меня. Прости, прости…

Возвращались рядышком, рука об руку, и лошадки наши шагали согласно. Полин улыбалась, и глазки ее сияли, но в улыбке было… некое ожидание, что ли. Скорее тень мучительно долгого, изнурительного ожидания и робкая надежда, что оно вот-вот может закончиться, навсегда душу ее покинув.

Не выдержал я этого и сказал:

— Мы войдем, возьмемся за руки и встанем на колени.

— Может быть, лучше вечером?

— Нет, сейчас. Ты же такая решительная, Полиночка.

— Я такая счастливая… — Она улыбнулась. — Такая счастливая, что мне страшно. Мне страшно

счастливым страхом, Саша…

Вошли и встали на колени, держась за руки. И я сказал:

— Благословите нас, родные наши.

Матушка с бабушкой расплакались, целовать кинулись жениха с невестой. Генерал слезу смахнул, а мой бригадир бакенбарды свои расправил. Одной рукой почему-то. Как кот лапой.

А тем же вечером сказал мне с глазу на глаз:

— Ты ведь не влюблен еще.

— Я люблю Полин, батюшка.

— Любишь, спорить не стану. Но любишь — без влюбленности. А она в тебя влюблена по уши.

— Тонкости, батюшка.

— Тонкости? Ну-ну… — Бригадир похмурился, бровями поерзал. — Слово, девице данное, есть слово чести. Назад его не берут. Немыслимо сие. Немыслимо.

— Вы сомневаетесь в моей чести?

— В счастье, а не чести, — вздохнул мой старик.

Засим подходит ко мне и берет в ладони мою голову. Как в детстве только делал.

— Благословляю и рад за тебя.

Неожиданно целует не куда-нибудь, а — в шрам от графской пули, седым волосом заросший. И

шепчет на ухо:

— Вот где печать любви твоей…

Свадьба в наши времена была событием наиважнейшим, а потому и неспешным. Право решать, когда, где и как именно произойдет сие событие, принадлежало дамам, и я выехал наутро в одиночестве. Не скажу, что мне было невесело, но и грустно тоже не было, хотя и понимал я, что шаг мною уже сделан. И куда бы он ни привел, возврата уже не могло быть даже в мыслях моих.

Ни о чем я не думал да и вокруг ничего не замечал. Отдал поводья Лулу, и она сама выбирала не только аллюр, но и задумчивость общего нашего пути. Я был — она, а она — я, а кентавры не знают ни удил, ни поводьев.

А вокруг нас лежала поникшая осень. Не мокрослезливая, с бесконечными нудными дождями, а какая-то вялая, отсыревшая, что ли. И — беззвучная, точно замершая на самой грани прощания между теплом и холодом…

Дамы наши, все продумав и обсудив, донесли свое решение генералитету, который привычно выдал его за свое:

— Свадьбе быть после Рождества Христова.

Через день мы как-то поспешно разъехались. Полиночка с бабушкой и дедушкой — сначала

к себе, в имение, а оттуда — прямо в Петербург. Готовиться, наряды шить да дни до свадьбы считать. А я — во Псков. Служить и ждать.

Октябрь

Говоря откровенно, нелегко мне было вновь пред солдатскими глазами предстать после столь длительного отсутствия. Но я все причины доложил с полной искренностью, на которую только был способен. Даже седой клок волос у виска показал им: не каждая, мол, пуля насмерть убивает.

— Штык надежнее, ребята. Но в пехоте я еще не служил, а потому очень прошу научить меня всем хитростям пехотным, и особенно — штыковому бою.

Никогда еще доселе я столь ревностно к службе не относился. То ли легкомыслием молодости до краев переполнен был, то ли радостью жизни, то ли самонадеянностью, что ли. А тут — и сам себе не верю, что со мною стряслось.

Вставал еще до общей побудки, на квартиру уходил после общего отбоя и весь день проводил со своими солдатами. Учил их без окриков и угроз тому, чему обязан был учить как командир

роты, и сам учился до седьмого пота у бывалых, в смертельном деле себя проверивших седоусых старослужащих как солдат. Особенностям пехотного мира и пехотной войны и — с особым усердием — штыковому бою. И старался не только потому, что батюшка так посоветовал, но потому еще, что искренне хотел не просто командовать ротою, но и сдружиться с нею. Может быть, не сдружиться — это уж чересчур сильно я выразился, — а стать в ней старшим вопреки собственному возрасту, поскольку по годам я еле-еле с новобранцами тогда сравнялся.

Уставал поначалу, что уж там. Солдатчина не просто трудна, солдатчина всей жизни твоей требует. Сил, веры, надежд, упорства, настойчивости, терпения, смекалки и непременно — веселого расположения духа. Иначе до воли не дотянешь. В прямом смысле воли: солдат вольным человеком службу воинскую покидает, на благо Отечества потрудившись и лишь ему да государю отныне принадлежа.

Вот это я своим солдатам и втолковывал. Каждый день. Перед строем и на вечерних беседах. «Коли честно служить будете, так вольными людьми в деревни свои вернетесь. Свободными и грамотными к тому же. И жениться еще успеете,

и детей нарожать, и дети ваши тоже навсегда свободными будут».

Зима

Вот так и осень закончилась, и зима началась. И едва началась она, как разбудил меня денщик мой в неурочный час. Среди вьюжной и морозной декабрьской ночи.

— Ваше благородие, в штаб требуют.

— Кто?

— Не могу знать. Вестового прислали.

Примчался в штаб, а там уж — почти все офицеры. Никто ничего не знает, так с незнанием и ввалились к командиру полка.

— Господа офицеры, поднимайте солдат по тревоге и держите в полной готовности.

— Война, господин полковник?

— Гвардейский мятеж на Сенатской площади.

К счастью, для полка нашего все обошлось: без нас Санкт-Петербург с мятежниками справился. А для меня — не совсем. С батюшкой от всех этих государственных передряг удар приключился. Матушка депешу прислала о внезапной болезни его, и командир на неделю отпустил меня домой.

…Судьба ли, природа ли или сам Господь Бог сдает каждому его карты на всю жизнь ровно один раз. У кого – сплошные онеры в козырях, у кого – тузы, а у кого и одни фоски – это уж как кому повезет. Но большинство почему-то всю жизнь так и живет с теми картами, что при рождении выпали. Стонут, жалуются, кряхтят, просят пересдать заново. А нет бы подумать об изменении судьбы собственной. Да, карты сданы, но – для игры, для азарта, для способностей и куража вашего. Так разберитесь в них и смело играйте по тем правилам, которые сама жизнь вам предлагает! Она – ваш соперник отныне, и тут уж – кто кого. В жизненной игре и сброс предусмотрен, и прикуп, и козыри, и ходы ваши: так дерзайте же, не ждите милостей. Берите игру на себя и – по банку!

Это я написал, то разумея, что обстоятельства жизни меняются и мы обязаны меняться вместе с ними, иначе из игры вылетим. И люто начнем завидовать тем, кто куши с банка снимает, а то и весь банк. Что, завистников, коим и тридца-

ти еще не исполнилось, не встречали? Встречали, поди, – глазки их выдают.

Это я к тому, что в том декабре двадцать пятого я еще не собственной колодой играл. Почему, как и большинство, не одобрял событий на Сенатской площади. Мятежников с претензиями в них видел, а не рыцарских героев российской истории. Без всякого стыда в этом признаюсь, потому что искренность чести не в упрек.

Но что-то, вероятно, в глубине души моей шевелилось. Что-то мне непонятное и как бы даже неощущаемое. Предчувствие?.. Нет, что-то похитрее. Что-то из памяти предков моих, дружинников княжеских, не забывавших перед тяжкой битвой сунуть за голенище мужицкий засапожный нож…

Иначе как объяснить, почему я решил вдруг, к занемогшему батюшке в Петербург направляясь, сунуть в дорожный чемодан пушкинские стихи о французском поэте Андрее Шенье?..

Да, в Санкт-Петербург: на зиму дворянство в столичные дома переселялось из всех своих Опенок да Антоновок. А тут еще и свадьба на носу. И бригадир мой, по счастью, оказался в столице,

где и воспринял декабрьское противостояние в виде личного удара. Но и врачи вовремя, и кровь сброшена, и пьявки к затылку, и матушка моя — рядом днем и ночью.

Когда я на курьерских примчался, ему уже полегчало. И усмешка вернулась, и брови по лбу обычным путем уже перемещались, и речь на своем месте. Только, правда, еще короче теперь стала:

— Вот они, Раевские твои.

Лежал он еще в постели: и откуда терпение нашлось? И читать в мыслях моих, к удивлению, не разучился.

— Любовь не только совместное ложе, жених, но и совместное лобное место.

Женихом он меня скорее в насмешку обозвал, поскольку свадьбу отложили до лучших времен. До полного выздоровления так некстати пострадавшего батюшки.

Генерал навещал старика моего ежедень, а Прасковья Васильевна от матушки всю первую, решающую неделю вообще не отходила. Но невесте, Полиночке моей, бригадир решительно, языком, еще коснеющим, запретил пред глазами его мельтешить, почему я и поехал к ней уже в следующий вечер. И, собираясь на свидание

то, достал из дорожного чемодана подаренные мне Александром Сергеевичем стихи об Андрее Шенье и захватил их с собою.

И — опять загадка: почему я именно тогда вокруг этих строф закружил? До того времени лежали они и лежали, да и не вспоминал я о них, признаться. Тоска меня заедала, я в прогулках да разговорах с милой девицей топить ее пытался, но закончилось все обозначенной свадьбой как-то, признаться, уж совершенно для меня неожиданно. И мысли вокруг женитьбы завертелись, вокруг будущей семейной жизни… А тут после разгрома восстания на Сенатской площади, после того, как отца удар хватил, после переноса собственной свадьбы на срок неопределенный — ну будто заколдовало меня на «Андрее Шенье».

Правда, тогда я просто себе все объяснял. Мол, с Полиночкой давно не виделся, а она так стихи любит. И так огорчается, что свадьбу нашу перенесли. И ей будет приятно внимание мое. Потому с того и начал, что протянул ей исписанные пушкинским почерком странички. Но она неожиданно отложила их и глянула на меня:

— Как ты провел день четырнадцатого декабря?

— В полупоходе. Приказано было в полной боевой выкладке дальнейших распоряжений ждать.

— Я не о том, Саша. Это как бы снаружи. А в душе твоей что творилось?

Не понравился мне тогда вопрос ее. Вам ведь тоже не нравится, когда на мозоль наступают.

— Злился, что выспаться не дали.

— И со злости мог приказать роте стрелять по своим?

— Присяга есть слово чести.

Я нахмурился и замолчал. Полиночка грустно улыбнулась и начала про себя читать строфы «Андрея Шенье». Думаю, щадила меня, давая время подумать и успокоиться.

> …Стрелять по своим? Признаться, в такой телескоп я собственную душу тогда не рассматривал. Я был офицером, видел себя офицером и ощущал себя только им. А у офицера собственная душа муштрой и учением на второе место задвинута: на первом у нее – государь и отечество, заботы, с ними связанные, а главное – защита и незыблемость. Офицерский корпус – цемент, блоки государственные скрепляющий. А душа собственная – так,

для личного пользования, что ли. Для милых дев, дружеских попоек, карточного азарта, любимых лошадей да дуэльных барьеров, коли зацепит ее кто хоть из расчета, хоть ненароком. И все.

Все?..

— Он задолго все знал, — вдруг с глубоким вздохом сказала Полин. — Он предвидел, он все предвидел.

— Кто предвидел?

— Пушкин.

Мне было как-то недосуг разгадывать ее намеки. Я о своей, всем воспитанием искусно раздвоенной душе думал и ужасался, до чего же незаметно из нас механизмы делают, ежедневной муштрою все человеческое вытаптывая из сердец наших.

— Слушай, — сказала Полин.

И начала негромко читать:

Я славил твой священный гром,

Когда он разметал позорную твердыню

И власти древнюю гордыню

Развеял пеплом и стыдом;

Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,

Я слышал братский их обет,

Великодушную присягу

И самовластию бестрепетный ответ.

Я зрел, как их могущи волны

Все ниспровергли, увлекли,

И пламенный трибун предрек, восторга полный,

Перерождение земли…

— Пушкин, — сказал я весьма туповато. — Так это же когда им написано…

— В этом все и дело, Саша, — озабоченно вздохнула моя Полиночка. — Сейчас лилипуты такими канатами его повяжут… Не его даже — гений его повяжут.

— Так когда же это написано!..

Я повторил с прежней тупостью, но в чем-то все же заколебался, что ли. Не с прежней уверенностью повторил.

— Знаешь, как должны называться эти стихи? — вдруг тихо сказала она. — Знаешь как?..

Вскочила, бросилась к бюро и чуть скошенным почерком написала вверху, над пушкинскими,

рукой его написанными строфами:

«НА 14 ДЕКАБРЯ».

И я… как-то опомнился, что ли. Из души моей гремящий офицер вдруг словно выскочил. Освободилась она от него. От всех уставов и наставлений, приказов и повелений. А главное, привычек, честь твою личную зачастую подменяющих. И я освободился вместе с нею. И как бы прозрел.

— Все понял, Полиночка. Все понял я. Для чиновников время есть, а для поэта — нет. Он выше времени и зорче его…

И как же я был благодарен за момент прозрения своего! Она же в человеческий облик душу мою вернула, из армейского мундира ее вытряхнув. В объятьях ее сжал, целовал, целовал…

Туман потом. Только шепот ее помню:

— А зачем нам свадьбы ждать, Сашенька мой?..

И мы не стали ждать венчанья…

Четыре дня спустя

Четыре дня спустя я возвращался в полк уже на перекладных. С «Андреем Шенье» в кармане и

надсадной болью в душе. И места себе не находил от боли этой.

> …Я изменил тоске своей. Не любви, нет, – любовь как была в ларце на дне сердца моего, так и осталась. Но не охранял ее больше свирепый и неподкупный цепной пес – тоска моя. Потерял я на нее право, перестал властвовать над нею и – предал оборону любви своей. За диванные ласки, за минутный взрыв страсти предал я свою Аничку, право потеряв на последнюю чистоту…
>
> Спро́сите: а как же Настюхи, Варюхи, Машеньки, Глашеньки? Да просто другого круга коловращения эти. Не Аничкиного. А здесь – Аничкиного. Кузина любви моей в жарких объятьях моих была…

Помнится, пил я неуемно. В дороге пил, во всех встречных и поперечных трактирах, а на станциях — с особенным неистовством почему-то. Ожог души пытался остудить…

— Ваше благородие, банчок не желаете-с?
Смотритель спрашивает весьма вкрадчиво.
— Чего тебе?

— Лошадок долго ждать, а в тихой половине офицер банчок предлагает. Мирно и покойно время скоротаете.

— Банчок так банчок.

Вхожу, тоску свою волоча. Вижу: поручик коннопионерского полка. Приятной обходительности.

— Куда поспешаете?

— Во Псков.

— Вам — на юг, мне — на север, — улыбнулся этот коннопионер. — Удобно метать, не правда ли?

— Да хоть сверху вниз, хоть справа налево. Что в банке, северянин?

— Пятьсот рублев не жалко?

— На все пятьсот под туза бубен.

> …Не было уже у меня прав на мою червовую даму, не было. Чувство было, что предал я ее, а потому и о помощи ее даже думать не смел. Да я ни о чем тогда и не думал. В голове – вихри, как в снежном поле в стужу зимнюю, а в сердце – тяжесть. Тоскливая, как волчий подлунный вой…

— Нет вашего счастья, поручик. Ни в каком ряду нет.

— И еще полтысячи. Да на того же туза. Может, еще и догоню свою удачу.

— За счастьем гоняться — пустое занятие. Впрочем, воля ваша, поручик. Воля ваша, а карта — наша.

Верное слово сказал коннопионер: пустое занятие за счастьем гоняться. И оно от меня ускакало, и я от него ускакал. По разным тропам, по путям разным…

Потому, видать, и проигрывал легко. Ни куражу во мне не было, ни азарту, ни интересу даже. Как и лошадей у смотрителя. Может быть, если бы заржали призывно кони под окном, остановился бы я. Но кони не заржали, и коннопионер очередной банк у меня сорвал: везло ему в игре сегодня.

— Коль больше денег нет, так и игре конец.

— У меня пистолеты добрые. Ставлю по тысяче каждый.

— Не нужны мне пистолеты. Коннопионеры люди тихие.

— За пару тысячу!

— Нет, поручик, уж увольте. Своему слову я хозяин.

А в меня вдруг упрямство вселилось. Не кураж, не ажитация, а глупая упрямая обида. Будто бес в мальчишку безусого, отцовскими деньгами впервые зеленое сукно засевающего.

— Нет, так невозможно, невозможно так разойтись…

Бормочу, карманы обшаривая. В сумку зачем-то заглянул, хотя и знал, что денег нет уж ни бумажки. Мундир охлопал… А там — хрустнуло. И вытащил я из-под него пушкинского «Андрея Шенье». И на стол бросил:

— Вот.

— Под бумажки не играю.

— Протрите глаза, коннопионер! Это сам Пушкин, своей рукой написал!

— И вправду Пушкин? — Мой визави в рукопись вгляделся. — А как не его то рука?

— В чести моей сомневаться изволите? Так у меня разговор короткий.

— Не сомневаюсь, Олексин… Не ошибся с фамилией? Уж извините, если напутал что.

— Не напутали, — говорю. — Ни со мной, ни с бумагами, кои просматриваете сейчас. В тысячу рублев пойдет?

Хотел же на червонную даму поставить, до жжения сердца хотел — и опять не посмел. Не

моей была червонная дама моя. И я на бубновую поставил.

— Бита!..

Встал я и побрел куда-то. Мимо смотрителя, через всю избу — в холодные сени. И в сенях этих горячим лбом в холодную бревенчатую стену уперся.

Ничего больше у меня не было. Ни юной любви, на чужом диване преданной. Ни бесценной дружбы со славой всей России, на корявый станционный стол брошенной за тысячу рублей. Ни чести более уж не было, ни совести, ни родительских глаз, ни офицерского незапятнанного мундира. Ничего не было, из-за чего стоило бы жить.

Достал я пистолет, который куражистому счастливчику-коннопионеру предлагал. Он заряжен был, но порох с затравочной полки стряхнулся, когда я им как товаром размахивал, и я не поленился за пороховницей сходить, взять ее и в сени вернуться. И все делал очень медленно, старательно и спокойно, сам себе демонстрируя решимость свою. И там, в сенях, начал на курковую полку сыпать сухой порох. Неторопливо и аккуратно, крупинка за крупинкой.

Смотритель мимо во двор пробежал, так тяжелой дверью грохнув, что у меня весь порох сдуло. И я опять начал все сначала. Неторопливо и очень старательно…

— Ваше благородие, вроде как вас спрашивают!

Смотритель с улицы заглядывает, а у меня снова порох с полки сдувает. И я опять начинаю заново…

* * *

— Барин, Александр Ильич, чего это ты тут на холоде с пистолетом?..

Поднимаю голову — и глазам не верю: Савка. Мой Савка, Клит мой верный, молочный брат, которого я в Антоновку отправил, когда помчался к захворавшему батюшке.

— Вот так встреча. Я же за вами приехал. Думал в Петербург придется гнать, ан нет, вы — тут.

Стою, ничего еще не понимая. В одной руке — пистолет, в другой — серебряная пороховница. Хороший вид.

— Почему — тут?

— Так я же и говорю… — растерялся Савка.

— А зачем?

Вздохнул Савка, пригорюнился. Покачал головой:

— Мамка наша помирает, Серафима Кондратьевна. Проститься очень уж ей с вами хочется.

Слышу все, известия понимаю и запоминаю, а сам на Савку гляжу. Плечистый, разбитной, грамоте обучен… И говорю вдруг, но как бы и не я говорю, а кто-то со стороны:

— Идем.

— Куда? — удивляется Савка. — Собираться в Антоновку надо. Мамка наша помирает, Серафима Кондратьевна. Пока пообедаете, пока лошадок покормим…

— За мной, — говорю. — И ты, смотритель, тоже.

И, избу миновав, прямиком входим в тихую половину. Коннопионер стихи, у меня, дурака, выигранные, просматривает. Воззрился на нас, голову подняв.

— Вот, — говорю, — моя последняя ставка. Скинь шубу, Савка, себя поручику покажи.

Тот послушно шубу сбрасывает, подбоченивается, ничего не понимая. И коннопионер смотрит удивленно, тоже ничего не понимая. А я Савку к столу подталкиваю.

— Извольте принять под стихи, что у меня вы-

играли. Смотритель свидетелем будет.

— Я, милостивый государь, на людей не играю, — сухо объявляет мне коннопионер.

— Сыграете, — говорю, и все вроде как в беспамятстве. — А коли откажете в сем, пулю себе в лоб пущу на ваших глазах. Пущу, честью клянусь!

> …Господи, что творилось со мной, кто объяснит?! Но то, что творилось, видно, на лице моем написано было, а лба я ладонью при этом не прикрывал…

И потому поручик, посмотрев в лицо мое, бросил пушкинские стихи на стол:

— Дарю.

Взбеленился я, аж дыхание пропало.

— Унижений не потерплю! Извольте карты сдать, поручик. На кону — мой Савка и пушкинские стихи.

— Ваши благородия… Ваши благородия… — залепетал тут смотритель, побелев.

Коннопионер пожал плечами и стал тасовать колоду.

> …А я молиться начал, верите? Про себя, конечно, но – искренне, жарко, истово и неистово одновременно. К святой Бо-

жьей Матери обращаясь чрез душу, что предстать пред нею вот-вот должна была. «Мамка моя, – шепчу, – меня вскормившая, силою своею налившая меня, упроси Матерь Божью карту мне верную подсказать. Молю тебя, мамочка моя…»

Богохульствую от всего сердца своего. Не жизнь свою спасая – нет-нет, честью клянусь, о жизни не думал! Я пушкинские строфы спасал, мне от души подаренные. Пред ним я тогда себя подлецом ощущал, только пред ним, и ни пред кем более. И молил, молил, умолял и молился…

— Извольте карту, поручик.
— Карту?..

…Карту?.. Вспомнил я, сколь часто карту, на свою червовую даму заламывал и сколь часто выручала она меня. Но не было у меня более дамы моей червонной, предал я ее, как дружбу Пушкина, как… Как Полин, в конце концов, без влюбленности бешеной девичество ее нарушив. Одна теперь у меня дама осталась, да и та в Антоновке душу свою чистую Богу отдает…

И — будто молния блеснула.

— Дама треф.

Пришла. В третьем ряду пришла…

Пришла!..

— Ваша взяла, Олексин, — усмехнулся конно-пионер.

А я на пол сел, поверите ли? Будто ноги мне подкосили и — без сил совершенно.

— Вина… — выдохнул последним выдохом.

— Не вина тебе надобно, Александр Ильич, — усмехнулся Савка и вышел.

И все молчали. А я сидел. С пустотой в голове.

Савка с баклажкой и оловянной кружкой вошел. Присел подле меня на корточки:

— За мамку нашу, барин.

И налил мне полную кружку. И не вина, а домашнего ерофеича, который каждый год наша мамка готовила. Забористый ерофеич, родной, и выпил я до дна эту кружку.

Выехали мы сразу же, даже перекусывать не стали. На своих лошадях выехали: Савка за мною на паре примчался. И я, признаться, с поручиком-коннопионером даже не попрощался. Не до того мне было, да и не хотелось, признаться.

Савка меня на сено уложил, с боков подгреб его, в тулуп укутал. Но — все молча.

— Ну, родимые!..

Дорога на Антоновку через Псков лежала, и до города мы ни словом не обмолвились. А как въехали в него, Савка впервые ко мне оборотился:

— Лошадок подкормить надо. Я тебя, Александр Ильич, пока на квартеру твою завезу.

— Обидел я тебя, Савка?

— Проиграл бы, так сам же и выкупил бы. — Помолчал он, вздохнул. — А обидеть, что ж... Обидел, прямо скажу. Чай, одну титьку-то пополам сосали.

Довез он меня до квартиры и поехал на постоялый двор лошадей кормить. Я умылся да переоделся, отыгранного «Андрея Шенье» к прочим пушкинским рукописям приложил, а с собою в Антоновку взял эти «Записки». Чтоб события в них занести, какие доселе произошли. И пешком пошел на постоялый двор.

— Я бы заехал за тобою, — сказал Савка.

— Пойдем в трактир. Пообедаем, выпьем на дорожку.

— Подлизываешься? — усмехнулся Савка. — Эх, барин, Александр Ильич, кабы не любил я тебя, как брата...

Ладно пообедали, выехали и... поспели. К последнему вздоху Серафимы Кондратьевны чудом

поспели.

Подле нее уж и священник был, и монашки тихо горевали. Кормилица моя еще в сознании находилась, хотя на глазах слабела, жизнь теряя.

— Прощайтесь, — сказал батюшка. — Чудом поспели.

Бабы дворовые и девки тихо плакали, меня стесняясь. Потом мужская дворня пошла: все любили ее, искренне любили. Да и я с трудом тогда слезы удерживал. Долго длилось прощание, слабела на глазах кормилица моя.

Наконец все попрощались, кроме меня да Савки. Я хотел его последним оставить, единственный сын все-таки, но она по-иному решила, прошептав через силу:

— Савушка, сынок… Уступи Сашеньке. Старший он братец… Слово сказать ему надобно…

Савка попрощался с маменькой своей и тут же вышел, слезы рукавом размазывая. А я на колени у ее изголовья стал.

— Из краев… дальних… горничная приезжала… велено от графинюшки…

Отходила она, слова еле слышно с уст ее слетали. Я ухом приник, чтоб расслышать.

И расслышал последнее:

— Ваничка… внучек мой… Ваничка…

И все. И тихий последний вздох ее я скорее душою своей уловил, так ничего и не поняв…

Пишу все это уж после похорон. Завтра во Псков меня осиротевший Савка отвезет.

> …Так что же Аничка велела горничной своей передать? Что?.. Сил недостало у дорогой моей кормилицы сказать об этом. А вернее всего – меня она пощадила, последний раз меня от боли уберегла. Потому что единственная новость, которую Аничка могла мне передать, в том заключалась, чтобы не ждал я ее более. Замуж графинюшка моя вышла. За косноязычного пшюта Засядского…

Дописываю «Записки» сии много времени спустя. Задним числом дописываю, потому вместо дат будут отныне только события.

На следующий день после прибытия во Псков я был арестован. Господами в голубых мундирах.

Все лестницы российских казематов ведут только вниз
Свеча первая

Помнится, я сидел за столом вместе с солидным, уже в годах, орденах и полковничьем чине, господином в голубом мундире. Он вел светскую беседу о роговой музыке, сокрушаясь, что сия традиция исчезает ныне совершенно, а двое его помощников в цивильном тем временем деловито рыскали по моей квартире.

— Хор рожечников являет поразительное звучание, коли доводилось вам слушать его во время лодочных катаний по Неве. Каждый рожок ведет лишь свою собственную ноту, но какова же сила общей созвучности при слаженной игре всех сорока осьми рогов! Божественно! В особенности когда хор исполняет русские песни. Божественная патриотичность и державная гармония охватывают душу слушающих…

Я не поддерживал беседы. Был растерян? Угнетен? Взволнован? Ничуть не бывало. Я был скорее удивлен и расстроен, а посему и мысли мои вились удивленно-расстроенным роем.

…Что ж теперь станет с батюшкой, бригадиром моим? Каково-то ему узнать будет, что сын его единственный ныне как бы уж и не сын его вовсе, а скорее пасынок государства Российского. И как известие о сем, изукрашенное добрыми и недобрыми языками, скажется на здоровье его, уж подточенном тяжкими бранными ранами и недавним ударом? И как, должно быть, трудно, досадно, мучительно даже будет матушке моей от незаслуженной обиды сей?.. Как исплачется и исстрадается она и… И сороковой день по кончине кормилицы моей Серафимы Кондратьевны пройдет без моего поклона. А сыну ее, Савке, молочному брату моему, Клиту моему верному, я вольную должен был бы дать, обязан был дать, чтоб детки его успели вольными родиться, а теперь не получится сие, отложить придется в далекую неизвестность волю детей его. Если не навсегда… Навсегда – это Аничка моя. Вот что теперь уж – точно навсегда…

А о невесте своей Полиночке, равно как и о свадьбе нашей, так я тогда и не

вспомнил…

Вот такой клубок на меня обрушился, и я его распутать пытался. А о себе и не подумал. За что бумагу об арестовании на неопределенный срок мне показали, почему в квартиру мою офицерскую с обыском вломились, в чем обвинен я сейчас и какую же безвинность мне доказывать придется, где и кому?..

Не думал. Не потому, что такой уж хладнокровный, бесчувственный или там спокойный, а потому, что — русский. А каждый русский с рождения, от материнского молока понятие на всю свою жизнь получает, что вина не столько в поступках его содержится, сколько в столах канцелярий государства Российского. Там, там вина каждого подданного хранится за казенными печатями, почему никаких доказательств не требует и никаких оправданий не принимает…

— Чьи стихи это?

— Пушкина.

— Присовокупляю к «Делу».

— На каком основании?.. — вскочил я, помнится. — К какому такому делу? По какому такому праву?

— Сидите, сидите. Стихи-то не ваши, а Пушкина. Зачем же вскакивать, кричать?

— Но позвольте, однако же, сударь, это… это ни в какие ворота. Это личные вещи.

— Не может быть в России ничего личного, коли вопрос государственности касается.

— При чем же здесь государственность, помилуйте?

— А это уж как вам доказать удастся.

— Мне?..

— Вам, господин Олексин, вам. Так что подумайте о сем. Досуг для осмысления сего вам будет предоставлен.

Еще чего-то поискали присные его, книги просмотрели, на пол каждый пролистанный томик бросая. Не откровения мудрецов их интересовали, а моя восторженная откровенность в заметах на полях. Но ничего не нашли ни на полях, ни меж страницами.

— Имеются ли еще какие-либо записи в квартире вашей, господин Олексин?

— В квартире моей нет более ни единой строчки.

— Слово в сем даете?

— Слово.

Не солгал и душою не покривил. В Антоновке

«Записки» мои остались, сороковин кормилицы моей дожидаясь. Не из предчувствия какого я с собою тогда не взял их, а только чтобы не таскать понапрасну. При службе не распишешься, рота и время отнимает, и силы, и заботы. А в Антоновке…

— Извольте пройти с нами.

Я встал, начал шинель надевать.

— Что же не спрашиваете, что с собою дозволяется взять туда, куда повезем вас?

— Что же дозволяется?

Улыбнулся голубой полковник. Впервые зло тонкие губы поперек лица растянул:

— Ничего.

Свеча вторая

Ожидал, что в Санкт-Петербург меня повезут. В казенную столицу, столь красиво и своевременно из-под батогов выстроенную. Ан нет, по Московской дороге погнали. Во вторую, хоть и Первопрестольную столицу нашу. На курьерской тройке с двумя верховыми жандармами и молоденьким офицером у меня под боком.

Он растерянным выглядел, испуганным даже.

И смотрел на меня в упор, не отрываясь.

— В Москву торопимся?

— Мне молчать приказано. Молчать. И вас молчать попрошу. Лучше про себя думайте.

Вот я про себя и думал.

Боимся мы государственных арестантов. А вот кандальников не только что не боимся, но и жалеем их. Дозволено нам убивцев, разбойников да татей ночных жалеть. Даже подкармливать их дозволено: «несчастненькие вы наши…». Но коли государственным ты преступником властями объявлен, то уж никакой не несчастненький, а — враг. Без следствия и суда всего народа враг. Может, потому, что жандармским порядком образованных людей гонят, а конвойным — убийц дремучих?.. Грамоту наш народ любит, а образованных — сторонится. Чужие они в отечестве своем, а чужих на Руси боятся и ненавидят. Странный мы народ. Прилагательный к государственным повелениям.

> …А в самом деле, задумайтесь, дети мои. Все народы, все, без исключения, именем существительным в русском языке называются. Француз, молдаванин, немец, татарин, турок, калмык, индеец,

швед, англичанин – все, все решительно требуют вопроса – «кто?». Кто перед тобою? Но сами себя мы – единственные во всем мире! – только именем прилагательным называем: «русский». То есть не кто ты есть как личность, а к кому ты прилагаешься, кому принадлежишь как невольник. Как раб…

К государству ты прилагаешься, ему ты принадлежишь. Его ты собственность полная от самого рождения своего вплоть до самой кончины своей. И не оно для тебя существует, а ты – для него и ради него. Ради величия его, мощи, славы и самоутверждения – во имя самоутверждения…

Гнали, лошадей не щадя. Запаленных меняли на станциях, не давая из тюремной кареты выходить. И снова гнали, гнали. И спали в скачке этой, и перекусывали на скаку. Поди, Русь, государственного преступника везут…

Привезли в густых сумерках. Куда — не разобрал. Мрачные, безмолвные, узколобые какие-то строения. Каменные крутые лестницы с истертыми ступенями — вниз, вниз. Молча: один солдат

с фонарем впереди, другой — позади. Глухой коридор, двери, железом окованные. Лязг ключей, скрежет петель и…

И дверь заскрежетала уже за моей спиной.

Каземат.

Дрожащий огонек свечи, стен не видно. Чуть освещено каменное ложе с тощей подстилкой. И — тишина. Полная тишина: звуков нет, а в уши — давит. На все барабанные перепонки давит гигантским давильным прессом…

Сел я на твердь, что отныне постелью мне служить должна была неизвестно сколько времени. Может, и навсегда. Долго сидел неподвижно: давило меня, давило со всех сторон. Камнем, тишиной и неизвестностью…

И впервые за все прошедшее время подумал: за что? В чем вина моя, так мне и не объявленная? Граф, что ли, пожалел, что промахнулся тогда?.. Ну, вряд ли. Это бы он раньше проделал, коли бы возжелал. Да и по характеру — не его сущность поклепами заниматься. Нет, не он. Не по его навету я в этот камень одет, не по его. Тогда что же? Или кто же?.. Ну должна же хоть какая-то вина существовать? Не для меня, разумеется, — для записи в казенной бумаге.

Долго сидел, но ничего в голову не приходило. А озноб — мерзкий, сырой какой-то — пришел. Однако знал я к тому времени, что не в шинели русский солдат греется, а — под шинелью. В Корпусе нас этому, правда, не учили, но бывалые старослужащие моей роты как-то пехотную сию премудрость мне поведали. Вспомнил я с благодарностью о добрых советах их, встал, снял шинель, завернулся в нее, завалился на каменное ложе и…

И уснул.

Сколько спал — не знаю. В каземате у времени всего два цвета — мрак серый да мрак черный. И как сереть начало, так и сон мой на убыль пошел. Я глаза открыл, увидел тусклое оконце под потолком, свечу догоревшую и сел. Что-то вспомнилось, но неясно, неотчетливо, туманно. Я хотел туман этот рассеять, да не успел: петли дверные заскрежетали.

И вошла громоздкая, темная — темнее серого мрака каземата моего — фигура с фонарем. Прошла к столику подле моего ложа, поставила котелок с деревянной обгрызенной ложкой, достала новую свечу, вздула ее и заменила ею сгоревшую.

— Час который? — спросил я у фигуры этой.

Не отозвалась она. Повернулась и вышла. И снова железо ржаво заскрежетало.

Я в котелок заглянул: варево какое-то неопределенное. Есть мне, признаться, хотелось, брезгливостью особой я не отличался, но за ложку хвататься обождал, поскольку ощутил не столько голод, сколько холод. И, надев шинель, начал быстрыми шагами каземат измерять. Девять шагов от окна до двери, девять — от двери до окна. С добрых полверсты прошагал, пока щедрой испариной не покрылся. Тогда сел к столику и съел все неведомое варево до дна, ложкой старательно котелок выскребав.

«Ни хлеба, ни воды, — подумал, помнится. — Хуже, чем на гауптвахте…»

Но поспешил с заключением, потому как вновь заскрежетало, и вторая фигура объявилась. Помельче первой, но столь же безгласая — проверил. Кружку кипятку принесла и добрый кусок хлеба. И удалилась, столь же молчаливо.

Лучше, чем на гауптвахте, как выяснилось. Если вообще наречие сие к каземату подходило.

Попил я кипяточку с хлебушком, не повеселел, естественно, но мысли мои, как ни странно, слегка прояснились. Немного совсем, но достаточно, чтобы вспомнить, как что-то встревожило меня

на грани пробуждения. Но что же именно, что?..

К тому времени серость уже весь мой каземат залила, разгоняя черноту по углам, и я впервые мог обозреть границы узилища моего, а может, и всей оставшейся жизни. Две глухие стены, осклизлые от медленно, с улиточной скоростью ползущей… слякоти, что ли. Да, мерзкой липкой слякоти: может, точнее — слизи, но и слякоти в то же время. На ощупь — мертвой и живой одновременно, чтоб понятны вам стали оба первых моих впечатления. Что еще? Пол и потолок. Оба — каменные, только верх гроба этого вроде как мхом порос, а низ — та же мерзостная грязь.

Оглянулся: позади — окованная железом, дубовая глухая дверь. Впереди — высоко вверху — забранное толстой решеткой оконце, в которое и без решетки не в друг-то пролезешь. Уж что-что, а тюрьмы строить мы выучились. Не то что турки в Бессарабии понастроили…

Бессарабия!..

И я на каменное ложе свое опустился. Без сил. Точно в миг тот выпустили их из меня.

Так вот почему я здесь сижу сейчас. Потому что решетки с буйным озорством гнул в сухом и светлом каземате Бендеровской крепости, пока комендант ее пунш свирепый варил, а Пушкин

ему зубы заговаривал. И Урсул бежал тогда, ловко в реку выбросившись, а Раевского взяли, а ниточка от него и ко мне привела. Ко мне, пособнику в дерзком побеге государственного преступника.

…И вспомнил старую, до желтизны седую цыганку. Глаза ее – пронзительные, без дна – вспомнил. И голос мамы Каруцы, монотонно слова ее переводившей:

– Раны тяжкие она видит, но не они тебя в могилу сведут. Казенный дом с железными решетками видит…

Права оказалась гадалка…

Долго я сидел, бессильно плечи опустив. Бессильно потому, что все силы мои на борьбу с отчаянием уходили. Все, без остатка. Не щадил я их тогда, а потому — победил.

Победил! Сам себя победил. И в голос, громко и четко, как на плацу, отдал команду:

— Не раскисать. «Отче наш» — каждое утро. Бриться каждое утро. Есть все, что ни принесут. И ежедневно — не менее трех верст вышагивать. Понял, дворянский сын Александр Олексин? Коли все понял, исполнять сие приказываю неукоснительно!

И громко сам же себе ответил:

— Будет исполнено, ваше благородие…

Свеча третья

Менялись свечи каждую побудку. Менялись фигуры, голоса не имеющие. Порой и еда менялась даже — по воскресеньям, что ли? Да, менялось что-то все же, а значит, и жизнь где-то продолжалась, потому что в тишайших тюрьмах наших только по этим признакам и догадываешься, что она — существует.

Лишь я себе меняться не разрешал, каждое утро непреклонные команды самому себе отдавая. Правда, уже не в голос, а про себя. Но исполнял я команды эти, как и положено русскому офицеру команды исполнять.

Не раскисал. Молился. Истово, на коленях, как положено узнику. Старательно брился каждое утро, пальцами усы и баки свои оберегая, чтобы внешний вид сохранить вопреки всем казематам. Ел все, что приносили, котелок выскребая до донышка. И каждый день ровно три версты отмеривал, в полный голос походные марши распевая. Девять шагов — в одну сторону, девять — в другую, пары шагов отсчитывая.

И — дошагался.

* * *

В неурочный час двери тогда заскрежетали. За ними в свете двух фонарей — офицер и аж трое солдат с примкнутыми штыками.

— Следуйте за мной.

— Позвольте сначала в порядок себя привести.

— Если угодно.

Сумку с кое-какими принадлежностями у меня не отбирали. Я почистил щеткой мундир, вытер тряпицей ботфорты, пригладил волосы. Руки, признаться, у меня подрагивали, потому что я решил тогда, что ведут меня прямиком на казнь. Зачитают приговор, неизвестно кем и за что сочиненный, и — либо петля на шею, либо — залп в грудь. И мечтать в казематах наших, ни в каких бумагах не обозначенных, об одном лишь можно: чтоб — залп в грудь.

— Я готов.

Долго вели. Сначала — по лестницам, потом — по сводчатым коридорам, а затем и по светлому, с до блеска навощенным паркетом, ступив на который я наконец-то сообразил, что казнить меня, кажется, пока не собираются.

Остановились у дубовой двустворчатой двери. Солдаты по обе ее стороны замерли, а офицер

дубовые створки настежь распахнул. Как перед генералом.

— Прошу.

И я шагнул в просторный светлый кабинет. Прямо напротив двери оказался огромный начальственный стол, за которым сидел тот самый полковник в голубом мундире. Любитель рожечной музыки. А по краям еще двое каких-то мундирных субъектов, на которых я тогда и внимания не обратил. Звякнул шпорами:

— Поручик Олексин! Честь имею явиться!

— Садитесь, Олексин, — буднично пригласил полковник.

Я прошагал к стулу, стоявшему напротив начальственного стола, и сел.

— Похудели, однако, — вздохнул полковник, поизучав меня довольно продолжительно.

— Исключительно вследствие ежеутреннего бритья, господин полковник.

— Молодцом, молодцом. Льщу себя надеждой, что и ответы ваши будут столь же бодры. Начнем с простого. Когда вы честь имели с коллежским секретарем Александром Пушкиным познакомиться?

«Пушкин!.. — звоном колокольным в голове прозвучало. — Значит, и его хотят в урсуловский

тот побег… Ну уж нет…»

Это во мгновение все пролетело. С такой быстротой, что никто и заминки никакой не приметил.

— С каким коллежским секретарем?

— С Пушкиным, разумеется. С известным ныне поэтом.

— Ах, с Александром Сергеевичем! — улыбаюсь как бы с облегчением. — Так со дня рождения своего.

Нахмурился полковник:

— Как понимать вас прикажете?

— Так ведь земляки мы с Александром Сергеевичем, господин полковник.

Отвечаю, что называется, глазом синим не моргнув. А сердце колотится — аж ребра стучат. «Злить, — думаю, — злить его надо, чтоб он от злости все вопросы про Бессарабию позабыл…» И потому улыбаюсь с некоторой нагловатостью даже.

— От младых ногтей, следовательно?

— В зыбке одной качались!

Потемнел полковник. Потом — покраснел. Но заметил скучно (умел собою владеть, подлец):

— Позвольте напомнить, что вы на допросе, сударь. Но отнюдь не в дамском салоне.

— Безусловно, господин полковник. В дамском

салоне я подобной искренности себе никогда бы не позволил.

— Дерзости, вы хотели сказать?

— А касательно дерзости, так она там к месту. Офицер без дерзости что дама без шарма.

Наступило молчание: видно, голубой полковник в руки старался себя взять. А у меня сердце вдруг колотиться перестало. И не колокольный звон тревожный, а полковая труба во мне пропела. Кураж я свой поймал.

Заседатели так заседателями и сидят, как и положено при истуканьей их должности. А полковник, порывшись в бумагах, извлекает пушкинскую рукопись и показывает ее мне через стол.

— Узнаете?

— На таком расстоянии я только стрелять умею. А читать — прощения прошу.

— Так извольте встать и посмотреть!

«Ага, — думаю, — разозлился. Так разозлился, что и про Бессарабию забыл…»

Встал, вид сделал, что изо всех сил всматриваюсь. Не только наклонился — прищурился даже.

— Вроде стихи.

— Чьи стихи?

— Не имею понятия. Не подписано чьи.

— Руку не узнаете?

Что тогда во мне взыграть могло, кроме куража? А посему заулыбался я радостно да и пошел ва-банк:

— Неужто ваши, господин полковник?!

Взревел он наконец:

— Пушкина!.. Пушкина стихи возмутительные! К противудержавному восстанию зовущие! Откуда? Откуда они у вас? Признавайтесь, он подарил? Он?.. Вы же в зыбке одной качались!

— В зыбке иными чернилами писать принято. Вот теми стихами мы с ним обменивались щедро, не скрою.

— Остроумно, — сдержался полковник, хотя и вновь в краску его ударило. — Только откуда они у вас в виде, так сказать, первозданном, хотя и без подписи? Откуда, Олексин? Подумайте о себе сейчас. Вам каторга грозит, если не Петропавловская крепость навечно. Так что хватит шутить. Отшутились.

Признаться, задумался я вполне серьезно, но как бы и раздвоенно в то же самое время. Для них — о своей судьбе, которой пригрозили не на шутку, а для себя — о Пушкине. И об Александре Сергеевиче — с куда большей тревогой, чем о себе самом.

Какого ответа он от меня ждет в обмен на Алексеевский равелин? «Не могу знать» пройти не может, это ясно. На дороге нашел? Ни за что не поверят и гноить в Петропавловке будут, пока до корней не сгноят или пока я малодушно не сознаюсь. В чем же я должен сознаться? Да только лишь в правде святой. В истине, что Александр Сергеевич Пушкин подарил мне эти стихи на добрую память. Лично, из рук в руки передав. В полном списке, с теми строфами, которые цензура печатать не разрешила. Сорок четыре строки, которые мне Полиночка читала в страстный наш вечерок… И, умница, предупредила меня, дурака, относительно путов и лилипутов… Вот они, передо мной сейчас. Путы и их лилипуты. Или наоборот. Вот и надо, чтоб все — наоборот. Чтоб не вышло у них Гулливера в липкую свою паутину запеленать. Спасибо, Полиночка, спасибо, невеста моя, очень вовремя ты главное подсказала. А что не влюблен в тебя, прости великодушно. Может, еще и влюблюсь, в казематах вдосталь насидевшись.

…Может, так, может, и не совсем так бежали тогда думы мои. Дословно за давностью дней их не запишешь. Но одно

могу с полной убежденностью и верой и сегодня сказать, дети мои: никогда, ни под каким видом не свершайте того, чего враг ваш от вас упрямо добивается. Ну а друг в каземат вас ни с того ни с сего не упрячет, если, разумеется, он – Друг…

«Надо, чтоб все — наоборот…»

Вздохнул я горестно, до этого решения додумавшись. Головой сокрушенно помотал, чуть ли не всхлипнул даже.

— Виноват, господин полковник.

— Ну-ну? — оживился голубенький мундир. — Припомнили, когда подарок сей получили?

— Все припомнил, — говорю. — Трактир тот гнусный, как в яви, вижу. Вот как вас. Истинный Бог. Водка преотвратнейшая, а карты перли, как на нерест.

— Кому?

По-моему, запутался полковник в моем чистосердечии. Иначе не спросил бы со столь изящным обалдением.

— Как так — кому? Мне, разумеется. Кураж пьяных любит и всегда сидит на левом плече.

— А Пушкин?

— Что — Пушкин?

Смотрим друг на друга с искренним удивлением. Полковник искренне ничегошеньки не понимает, а я — искренне все. Банкую по-крупному, и кураж — на моем левом плече.

— Пушкин играл с вами?

— Когда?

— Ну, в трактире том, в трактире!

— Нет. Почему Пушкин? Поручик какой-то понтировал с рябым лицом. Или в глазах у меня тогда рябило?..

Замолчал полковник. Платок достал, отер побагровевшее лицо и глянул на меня измученными, отчаянно усталыми глазами. Сказал неожиданно спокойным, почти отеческим тоном:

— Повеселились предостаточно, Александр. А теперь отца пожалей, бригадира Илью Ивановича, он еще от удара не оправился. Матушку свою Наталью Филипповну тоже пожалей. Невесту свою вспомни, о свадьбе грядущей подумай. Вполне так может статься, что не выйдешь ты отсюда. Вполне.

Поверите ли, жалко мне его стало. Семья, дети, карьера нелегкая. Не всякий дворянин в эту голубую службу шел, потому что презренной она считалась. Государству, может, и нужная,

а честью дворянской отвергаемая решительно, язвительно, а подчас и грубо. Руки мы, офицеры, им, голубым мундирам, никогда не подавали. А коли подал бы кто, то тем же днем и рапорт бы своему командиру подал. С просьбой о переводе в самый что ни на есть глухоманный полк. Честь закон подпирает, но никогда не наоборот.

* * *

— Прощения прошу, господин полковник, — искренне сказал, без всякой задней мысли. — Шлея под хвост попала.

— Пушкин подарил стихи об Андрее Шенье?

— Пушкин много стихов мне дарил — вон они, в кожаной папке у вас под рукой. Там для потомства пушкинские подарки хранил. А эти стихи — отдельно. Сами видели во время обыска. Потому отдельно, что попали они ко мне и впрямь по пьяному счастью.

Боже ж ты мой, как же мне хотелось лоб ладонью заслонить! Да хоть бы почесать даже… Но удержался я.

— Опять начинаете? — устало вздохнул полковник. — Снова «здорово», как говорится. Только несчастье ваше вполне даже трезвое сейчас. Уж

трезвее и не бывает.

— Да Богом клянусь, пьян был в лоскуты! — перекрестился я, поскольку истинную правду говорил в тот момент. — Лакея своего, Савку, чудом тогда не проиграл, на кон его поставив!

Что-то в голосе моем и впрямь святою искренностью прозвенело, и полковник звон этот воспринял своим чутким жандармским ухом.

— Значит, по-крупному игра шла?

— Такой, знаете ли, кураж, что только пьянством моим окаянным объяснить можно.

— И что же, банчок сорвали?

— Полностью, господин полковник. Настолько полностью, что у поручика того уж и денег не осталось. Вот он стихами со мной и рассчитался тогда. Этими самыми, которые не в папке. Про Андрея. И я, каюсь, принял список этот даже с удовольствием.

Молчит мой полковник.

— Да кабы знал я, что стихи к печати не допущены, разве ж я стал бы их брать? Да я свою роту первым в полку поднял, чтоб государя императора защитить!

— Вот это-то нас и удивило…

Искренне признался, — значит, в полку уже розыск провели. И несколько озадачились, по-

скольку рота моя и вправду лучшей считалась, а я мятежом на Сенатской площади громко тогда возмущался. От всей души, что называется.

> …Это сейчас, сейчас они – герои наши легендарные, но в то время… В то время ни армия, ни простой народ ничего о них не знали. Ни целей их, ни дальнейших планов, ни понимания, ради чего все это сотворено. Замкнуто они держались, на все пуговицы застегнувшись, и посторонних к себе и на версту не подпускали. А любой гарнизонный офицеришка – он ведь тоже человек. Не пешка он в гвардейской высокой игре, он знать право имеет, зачем все делается да за ради чего.
>
> Вот когда узнал, ради чего, тогда и отношение к декабристам изменилось. Тогда героев в них увидели, только тогда, не раньше. И я – не исключение…

— А с кем же все-таки играли вы в тот свой куражный день? И на какой станции?

— На какой? Да на третьей… нет, на четвертой от Новгорода на Санкт-Петербург. А может, на Псков… Памятью помрачился, господин полковник. Одиннадцать дней пил беспробудно.

— Помрачились памятью? С кем играли, где играли, когда играли — запамятовали?

— Совершенно верно, господин полковник. Запамятовал до полного провального тумана.

— Стало быть, вспомнить следует. — Полковник побарабанил пальцами по столу, глянул свирепо. — Вот и следуйте вспоминать!

Свеча четвертая

И последовал я вспоминать собственную провальную память. Вниз, в казематные погреба, где даже трензеля невозможно было хранить, а людей — возможно, можно и нужно, как выяснилось. Чтобы вспомнили либо истину, либо — угодное. Об истине я и не помышлял — в цене мы с ней расходились, — а угодное сыскным господам доброго размышления требовало.

Судя по задушевной беседе с полковником, бессарабские проказы мои никого не интересовали, хотя я не понимал тогда, почему не интересовали, и опасался подвоха. Но по всему выходило, что их сильно заинтриговал полный список «Андрея Шенье». Может быть, не столько сам список, сколько путь, каким он в моих руках оказался. Самый короткий, понятный, а потому и удобный

для них путь (от Александра Сергеевича в мои руки) я сразу же отверг решительно и бесповоротно. А кое-как, почти на бегу сочиненный мною сложный, неудобный и скорее подозрительный, чем ясный, путь отстаивал с пеной у рта, себя не щадя, не смотря на всю его дырявость, абсурдность и явное несовершенство. И я вовремя, исключительно вовремя ввернул, как чудом не проиграл собственного молочного брата, очень вовремя и — к месту: таковое за все рамки выходило, а потому и запоминалось, и как мой Савка, так и смотритель на этом крест поцелуют со всей истовостью…

Тут меня подтолкнули в каземат, я глотнул спертого, гнилого воздуха, захлебнувшись им, как жижей болотной. Шатнулся то ли от контраста, то ли от омерзения, влип рукою в склизь на стене и понял вдруг, что я для них — нуль. Никто. Пустота. Ямка на дороге, чуть качнувшая государственный экипаж. И упрятать меня хоть в московские подземелья, хоть в Петропавловские равелины для них никакого труда не составляет, как бы мой родной бригадир ни метался при этом по присутствиям, кабинетам да салонам: человека Россия видеть так и не научилась. Она с рождения близорука и видит только того, кто у

трона суетится. А кто там поодаль шпагой отмахивается, честь ее защищая, или хлебушек ей к столу на собственном горбу тащит — тот всегда как бы в некоем казенном облаке пребывает, фигуры собственной не имея. Размыты очертания его для России, до той поры размыты, пока он, пупок собственный едва не развязав, каким-либо знаком себя не обозначит. Звездой, разумеется, всего лучше. Заметнее. Вот потому-то все к орденам, чинам да званиям так у нас и рвутся. Бешено рвутся, себя не щадя и других не жалея, чтоб только бы из того казенного тумана вырваться. Замеченным стать. Фигурою.

Как-то, помнится, умный немец сказал мне в… Ляйпциге, что ли? Или в Баден-Бадене…

— У вас, в России, талантливых да отчаянных куда как больше, чем во всей Европе.

Конечно больше. Иначе из казенной туманности не вырвешься. Контраст меж туманной массою и освещенными фигурами у нас ослепительно велик. До рези в глазах…

Дней пять, что ли, я над этим парадоксом размышлял. Размышлял, неукоснительно и непременно исполняя отданный самому себе приказ:

— Не раскисать, Олексин.

Конечно, размышления мои аристократии не касались. Аристократия — каста замкнутая, родовыми узами перевитая, общим детством сплоченная в особое стадо, а потому и ощущающая себя иной породой. Но я не из их числа. Я из тех, кто мечом да шпагой их житейское спокойствие обеспечивал. Предки мои царя-батюшку на Московском Земском соборе среди своих знакомцев да родичей не выбирали. Недосуг им было: они границы Руси берегли, пока боярство прикидывало, кого сподручнее на трон посадить…

И так всегда будет. Всегда. Во веки веков. Страна без краю, народу не сосчитать, и столица никогда никакой усадьбы не увидит, не услышит и не поймет…

> …Не следует из сих казематных размышлений моих вывод делать, будто взбунтовался я душою своею, сыны мои любезные. Нет. Всякая власть – от Бога, чтоб народ друг дружке глотки не перерезал. И русская – тоже от Бога, и мятежничать да крамолу ковать супротив нее все едино что супротив премудрости Господней. Противузаконно сие и про-

тивуприродно. Но о странностях судьбы русского человека я тогда впервые задумался и к такому выводу пришел, что уж кому-кому, а нашему брату русаку милостей ждать от судьбы ли, от властей ли, от природы ли никак не приходится. Нам самим свою жар-птицу ловить, коли есть хоть какая к тому способность. Кто за хвост ее ухватит, кто за горло возьмет, кто за когти уцепится, крови своей не щадя, кто хитрую ловушку для нее смастерит или сладкозвучным пением своим заворожит ее. Потому-то заграница и удивляется, что талантами Русь столь небывало одарена…

А потом вновь заскрежетали двери, и конвой повел меня, раба Божьего, наверх по крутым лестницам. По навощенному паркету в приторно-строгий кабинет.

— Так что же, Олексин, припомнили, на какой станции вы играли в штосс с поручиком коннопионерского полка? И кто у кого выиграл полный список «Андрея Шенье», собственноручно записанный коллежским секретарем Пушкиным?

…Поручик коннопионерского полка?.. Нас-

колько мне помнилось, я утверждал, что был настолько пьян, что формы его не приметил, как, впрочем, и лица. Стало быть, станцию они вычислили, и смотритель моего партнера припомнил…

И — закашлялся. Не для оттяжки времени, а вполне натурально. Как я ни берегся, как версты свои ежедневные не отмерял, а сырость казематная, промозглая, скользкая какая-то сырость до меня все же добралась.

— Застудились?

— Немудрено сие… — прохрипел я сквозь кашель.

— Сами виноваты. Лакей ваш умнее оказался. Сразу признался, что вы его на кон ставили. Некрасиво, молодой человек. Живого человека и — ва-банк. Некрасиво.

Вот тут-то и посетила меня благая мысль. Совладал я кое-как с кашлем и — со всей сердечной искренностью:

— Совершенная ваша правда, господин полковник. Мучительно стыжусь сего пьяного поступка. Мучительно стыжусь. А посему и рискую обратиться к вам с нижайшей просьбой помочь мне снять с души сей тяжкий грех.

— Каким же-с образом?

— Я ведь не лишен еще ни сословных, ни имущественных прав?

— Пока не лишены. Пока!

— Понимаю: пока суд да дело. А посему прошу вас официально, как должностное лицо и как свидетеля одновременно, подтвердить мое твердое решение. Я дарую вольную слуге своему.

— Хорошо подумали? — нахмурился полковник. — Допустим, я решусь подтвердить ваше волеизъявление, а ваш батюшка возьмет да и опротестует сей документ?

— Я распоряжаюсь личной собственностью, господин полковник. Деревенька Антоновка дарована мне со всеми сорока шестью душами мужеского полу. Дарственная сия подписана моими родителями как прежними владельцами и утверждена властями.

— Юридически безупречно?

— Как де-юре, так и де-факто.

Полковник помолчал, прикидывая, как мне показалось тогда, выгодно ли сие решение мое для его дальнейшего следствия. А затем сказал одному из истуканов-заседателей записать то, что я им продиктую.

— Диктуйте без ошибок.

И я начал неторопливо диктовать, обдумывая

каждое слово, ибо от правильности документа свобода человека зависела:

— «Я, потомственный дворянин Олексин Александр Ильич, владелец деревни Антоновки Псковской губернии Островского уезда Опенковской волости, сим документом навечно освобождаю крестьянина указанной деревни Савву Игнатова от крепостного состояния и всех иных форм зависимости…»

…Ну и так далее. Торжественно, с радостным подъемом духа диктовал – кажется, улыбался даже. Не только потому, что исполнял тем свой долг как перед памятью покойной кормилицы моей Серафимы Кондратьевны, но и потому, что снимал с души своей грех, который ощущал как банный раскаленный камень, как терзания совести собственной. Дети мои, поверьте мне! Нет большего стыда и позора для чести собственной, чем унижение того, кто и права-то не имеет ответить тебе хотя бы словом смачным, не говоря уж о пощечине, вполне тобою заслуженной. А потому счастлив я был, что успеваю, успеваю до решения суда,

под который меня подвели, и совесть свою примирить, и честь спасти, и Савку наградить, как могу, за все то, что он для меня делал доброго. За каждое переданное мне румяное яблочко, привезенное им из моего же барского сада…

А еще потому радовался, что бессовестно время тянул, уведя допрос совсем уж в иную сторону…

Закончили. Утвердили. Свидетели расписались, и я вздохнул с огромным облегчением:

— От души благодарю вас, господа.

— Знаете, Олексин, почему я пошел на столь явное нарушение всяческих повелений, наставлений, разъяснений да и просто порядка проведения следствия? — спросил вдруг полковник. — В Санкт-Петербург мы с вами сегодня же помчимся на курьерских. Из Первопрестольной в столицу империи Российской, где вам не удалось бы свершить столь благородного поступка, под следствием находясь. Но попали вы в некий как бы просвет юридической процедуры: московское следствие закончилось, а петербургское еще не началось.

* * *

...Петербург? Зачем же — в Петербург?.. Какое же следствие еще может быть, когда полковник получил подтверждение, что я спьяну выиграл пушкинский список у коннопионера?..

— Вещи ваши из каземата уже на выход доставили, — продолжает тем временем мой дознаватель, ставший сегодня неожиданно великодушным. — Сейчас пообедаем и — в дорогу. В дальний и, признаться, неведомый не только вам, но и мне тож, путь по юридическому бездорожью России...

Странно, но обедали мы с ним вдвоем. Мне, изголодавшемуся, обед тот лукулловым пиром показался, поэтому не до бесед мне было. А полковник мило, порою остроумно даже болтал, как водится, ни о чем. Как принято болтать на полуслужебных, полудружеских, но — официальных застольях: обо всем гуртом и ни о чем в частности.

И лишь под конец, за доброй рюмкой вина, сказал вдруг вполне искренне:

— Знаешь, Олексин, почему я твою просьбу уважил? Дед мой — крепостной мужик. Спасибо,

барин в нем талант углядел и отпустил его на полную волю, как ты своего лакея. Цветы дед такие выращивал, каких ни у кого в округе не было, а тут деревеньку за долги должны были в казну забрать, вот барин и поспешил на волюшку моего деда отпустить, чтобы он кому иному не достался. Россия — страна загадочная. В Англии — законы, в Германии — орднунг, во Франции — галльская дерзость, а у нас — барские капризы…

Свеча пятая

Мой дотошный следователь, как мне показалось, был весьма рад, что нас неожиданно востребовал Санкт-Петербург: уж очень много гордости и некой мечтательности, что ли, звучало в его голосе, когда он поминал о самом способе нашего передвижения — «курьерский!..». Но помчались мы куда быстрей, чем мчатся курьеры, поскольку нас неожиданно решили доставить в столицу по фельдъегерской связи. С ее государственной стремительностью, готовыми поставами и трубачом впереди, оповещавшим об особой срочности и важности нашего путешествия в Северную Пальмиру.

…Впрочем, скорее – бешеной скачки, при которой мы не только дремали в карете, но и перекусывали в ней: какое уж тут – «в пути шествие»! Пишу об этом потому лишь, что вдруг припомнился мне спор меж Пушкиным и Раевским как раз по поводу этого странного русского слова, никогда не воспринимаемого нами буквально. У нас можно передвигаться и вскачь на лихой тройке, и упорным солдатским маршем, и даже – по морю на корабле, и все это будет называться «путешествием». Чуден русский язык, и я не завидую иностранцам, пытающимся постичь его с позиций усредненной европейской логики…

Да, мы неслись вскачь, и это обстоятельство, как ни странно, весьма озадачило моего голубого полковника. Он внезапно утратил свое добродушие, ясно проявившееся во время нашего последнего свидания в Москве и — особенно — во время почти дружеского обеда tête-à-tête. Что-то его озадачило, и он стал вдруг не просто молчаливым, но скорее — угрюмо озабоченным. И я ломал голову, пытаясь понять причину этой

внезапной перемены.

Ему удалось удостовериться, что я и впрямь выиграл полный список «Андрея Шенье» в штосс: Савка и смотритель оказались тому свидетелями и клятвенно подтвердили мои слова. Истина — для него, разумеется, — была установлена, что и привело полковника в доброе расположение, но фельдъегерская стремительность нашей переброски в Санкт-Петербург явно насторожила его и, как мне представилось вдруг, поколебала его приятную уверенность в результатах собственного расследования. Я не понимал, что же именно послужило тому причиной, но в окончательном выводе своем не сомневался, ибо угрюмость жандармского дознавателя весьма красноречиво говорила сама за себя. И, признаться, встревожился этим обстоятельством.

Чуть ли не до Твери — а уж до Клина во всяком случае — я раскладывал и перекладывал пасьянсы из собственных соображений в собственной голове. Они никак не желали складываться, и я, не расстраиваясь, тут же перетасовывал колоду и раскладывал новый пасьянс. И в конце концов добился…

Нет, не добился — додумался до единственного расклада, при котором каждая карта легла на

свое место, не мешая, а, наоборот, способствуя определению точных мест карт всей колоды, стасованной всею судьбой моею.

Я пришел к выводу, что санкт-петербургская жандармерия провела свое следствие без моего участия, для чего меня и задержали в Москве, подальше от столицы. И весьма возможно, что им удалось добыть доказательства моей лжи, уличив не только меня, дворянина и офицера, в заведомой неправде, но и поставив под сомнение profession de foi самого полковника. И для нас обоих это могло означать одно: мы оба впадали в немилость с самыми непредсказуемыми последствиями.

Однако кто мог разрушить мою легенду, подтвержденную двумя свидетелями и поддержанную следователем? Только тот, кто подарил мне «Андрея Шенье», или тот, кому я об этом сказал. Александр Сергеевич Пушкин и моя нареченная невеста Полиночка. Даже поручик коннопионерского полка не знал всей правды и мог лишь опровергнуть мое утверждение, что я выиграл у него рукопись, а не он ее — у меня с последующим проигрышем. Тут могла начаться такая путаница, в которой мне забаррикадироваться беспамятством, сославшись на недельное беспробудное

пьянство, не составляло никакого труда. Нет-нет, показания коннопионера никак не требовали фельдъегерской поспешности в доставке меня пред грозные очи грозного жандармского начальства. Поводом для этого могли служить только признания либо моего дорогого друга, либо дорогой — да-да, вновь и дорогой, и бесценной!.. посидите в гнилом каземате: в России именно там познаются истинные ценности! — любезной невесты моей.

Не из-за своей судьбы я страдал и терзался в том стремительном броске из Москвы в Санкт-Петербург. Нет, не за будущее болела душа моя, а за прошлое. За треснувшую дружбу или рухнувшую любовь.

Потому-то и молчали мы с полковником, забившись в противоположные углы кареты.

Въехали мы в Санкт-Петербург в сумерки. Впрочем, там всегда для меня сумерки, даже в белые ночи… Но это так, к слову.

Въехали в сумерки, завернули куда-то, чтобы высадить полковника — признаться, расстались мы молча, сухо и как-то весьма напряженно, что ли, — и далее меня помчали одного. Не считая, разумеется, трех жандармов, сопровождавших

нас всю дорогу. Окна кареты были зашторены снаружи — все же арестантской она была, — я ничего не видел, а потому и ведать не ведал, куда меня везут. Да и не желал задумываться об этом, потому что путевые размышления мои, а главное, горькие выводы, к которым пришел я, породили полнейшее безразличие к собственной участи.

А потому даже не удивился, когда карета вдруг остановилась. Распахнулась дверца с наружным засовом, и я ступил на крупный обледенелый булыжник внутреннего дворика Петропавловской крепости.

Меня встречали. Старший из жандармов подал крепостному офицеру пакет, получил расписку на конверте и тут же уехал со товарищи в опустевшей карете. Офицер неторопливо прочитал присланную сопроводительную бумагу при свете факела, свернул ее в трубку и равнодушно глянул на меня:

— Бывший поручик Псковского…

— Почему «бывший»? — взъерепенился я. — Офицерский чин жалован мне государем, а посему только им и может быть отозван.

— Пардон, оговорился, — устало вздохнул офицер. — Декабристы голову заморочили. Судя по сопроводительной бумаге, вы — дворянин Олек-

син Александр Ильич?

Чина моего он решил все же на всякий случай вслух не произносить. Но я уморился и от скачки, и от горестных размышлений, а потому просто подтвердил, что я — это я.

— Следуйте за мной.

Следую. Впереди — солдат с фонарем, позади — солдат с ружьем, посреди — офицер и я. Но не рядом, а я — следом за ним. Крепость есть крепость, порядок есть порядок, и закон есть закон.

Ожидал опять крутых лестниц с истертыми ступенями — вниз, ан ничего подобного. Длинный коридор, скудно освещенный тусклыми фонарями со слюдяными стеклами и гулкими каменными плитами на полу. Массивные двери с закрытыми на задвижки форточками и — тишина. Только грохот солдатских сапог. «Когда же вниз поведут?» — думаю.

Никакого низа. Остановились перед дверью. Точно такой же, как остальные. Глухой, окованной и — с закрытым на засов окошком посредине. Чтоб заглядывать снаружи, что ли. Или — еду давать.

Офицер своим ключом разомкнул замок. Ключ — крепостной, в карман не спрячешь: он его от пояса отцепил. Солдат открыл дверь — почти

бесшумно, петли здесь то ли уже разболтались от частого употребления, то ли смазывали их.

— Свечу зажги.

Солдат с факелом прошел в распахнутую темноту. Мы молча ждали, когда он вернется. Вернулся скоро, и за спиной его я увидел затеплившуюся свечу. Свою очередную.

— Прошу, — сказал офицер.

Я шагнул за порог, и дверь тут же закрылась за мною.

Свеча шестая

Все здесь было создано из камня, огорожено камнем и одето им. Но сырость была иной, менее липкой, что ли. И угрюмость после подвального узилища моего в Первопрестольной не давила на меня этажами да перекрытиями. И даже тишина — тоже омертвелая, тоже гробовая — не с такой беспощадной силой сжимала душу мою, как было то в московском каземате. Да и от стены с дверью до стены с зарешеченным окном здесь оказалось не девять, а все тринадцать шагов, и я — поверите ли? — повеселел. Ей-богу, повеселел, хотя, признаюсь, пишу сейчас не то слово. Смысл ощущения, мною восчувствованного в каземате

Петропавловской крепости на первом шагу пребывания в нем, словом сим просто обозначаю. Как некое противопоставление каземату московскому всего лишь. Будто из подземелий разбойного приказа перевезли меня в суровый крепостной, но — более или менее — современный, что ли, замок. Равнодушный ко всему живому настолько, что даже склизкой плесени на стенах не было. Только сырость, холод да безмолвие.

В бешеной скачке нашей меж двумя столицами надремался я вдосталь, и спать мне не хотелось. Свеча была потолще той, что столько недель светила мне в средневековом подземелье. И хоть свет ее был жалок, я осторожно, чтоб, боже упаси, не погас огонек, взял ее и оглядел новое свое жилище. Прошел вдоль стен, осветил малое оконце, забранное крепкой — не согнешь, Сашка, не турецкое изделие! — решеткой. Ложе осмотрел, выяснил, что не каменное это возвышение, а узкая железная койка с приплюснутым сенником, подушкой размером в лепешку и грубым солдатским одеялом. Обнаружил на столике глиняную миску, деревянную ложку да оловянную кружку. А под столешницей оказалась полочка, на которой что-то лежало. Я присел, посветил и вытащил толстую тяжелую книгу.

Книгу…

Это была Библия. Рыхлая, зачитанная предыдущими постояльцами, изрядно потрепанная, но — целая. И я нежно погладил ее, странное тепло вдруг ощутив в груди.

Матушка в детстве читала мне Великую Книгу сию по часу в день. А я в окошко глядел с нетерпением до зуда, вполуха слушая непонятные имена. Но сам никогда и не раскрывал ее, да никто особо и не заставлял меня это делать. Новый Завет и Псалтирь — да, читал, молитвы учил, в Корпусе даже экзамены сдавал. Но Библия… О ней ведь больше слышат, чем читают ее. Да и при желтой казематной свече не вдруг-то вчитаешься в нее, она света требует. Пробовал.

Закрыл Библию, руку на нее положил и сказал вслух, мертвую тишину нарушив:

— Не раскисать. И исполнять приказ, Олексин. Неукоснительно исполнять.

Лег, укрылся одеялом и шинелью, приказал себе спать и… уснул.

Сколько спал — не знаю: брегет свой я удачливому коннопионеру проиграл, так что никто мне побудки не прозвонил. Но проснулся рано: чуть посерело оконце. Отшагал версты полторы — в

дверь стукнули. Глянул — форточка в ней открылась, и прокуренный солдатский голос произнес:

— Миску да кружку. Хлеб — на весь день.

Получил полную миску щей, кипяток и два куска ржаного. По полуфунту каждый. В Северной столице кормили получше. Не в пример Москве. Дважды в день открывалась эта дверная форточка, как я потом выяснил. Дважды в день я щи свои получал и кипяток, а по утрам — два фунта хлебушка.

И более никто меня не тревожил. Никто не мешал Библию читать. Никто, кроме крыс, но с ними быстро договариваешься, коли хотя бы одну пришибить удается. Мне это дважды удалось, и я воцарился в каземате. Крысы побаиваться стали и весьма осторожничать. Я их в одном и том же углу начал подкармливать, а из всех остальных — гонять беспощадно. Твари быстро привыкли к моему порядку, постигли его и читать не мешали.

Признаться, долго не понимал я, что Книга сия есть из всех Величайшая. Сперва читал, как привык читать, за событиями следуя. И ничего не понял. И события в ней повторяются, и возникают вдруг, как бы вообще ниоткуда. Потому я ничего не понимал, что достаточно избалован

был людскими книгами, людским же разумением и изложенными: по логике человека. А когда по три, по четыре раза главы стал перечитывать — да что там главы: стихи отдельные! — уразумел Божескую логику. Иные у нее пути, не вам известное она излагает, а — вам неизвестное. И это, человеку неизвестное, постичь можно только двумя способами — либо верой нерассуждающей, либо — просветлением. К вере я был не очень приспособлен, потому что с детства учили меня непременнейшим образом доказательств искать и разъяснений требовать, но, когда заставил себя думать, соображать, что же под каждой строчкой кроется, тогда понемногу, по шажочку начал понимать не что Господь рассказывает нам, а от чего он нас предостерегает.

> …Нет, не ждите от меня откровений, не постиг я глубин и не воспарил в выси горние. Я – земной человек, не очень глупый, но и вовсе не прозорливый. Многое, что уразумел, так во мне и останется навсегда, потому что не в силах я Божественное Слово на язык человеческий перевести. Не дан мне талант сей, не призван я. Но кое в чем все же разобрался и долг ощу-

щаю вам, сыны мои, свое толкование поведать.

Главное в том, что законов человеческих в Библии не содержится. Какой придет государь или правитель, какие для себя и народа своего законы установит и повеления отдаст – Библию это не интересует. Она общечеловеческие законы излагает. Для всех народов и на все времена.

Основной Закон существования племени человеческого – вечная война Добра со Злом. Природы он не касается, нет в природе ни Добра, ни Зла, нет и никакой борьбы между ними.

Но в племени человеческом – есть. И как только вышел человек из природы в самостоятельную жизнь (библейский Эдем и есть Природа, где пища без труда и особых хлопот достается – только руку протяни), так и стал сражаться за Добро против Зла. Потому что и то и другое – с ним, вокруг и внутри его. В обществе каждом, народе каждом и человеке – каждом. Он ведь единственный изо всех Божьих созданий вкусил плода от древа позна-

ния, но вкуса Добра и Зла запомнить ему было не дано. Дано было – познать, и познание это и есть мучительный прогресс человечества. Его Восхождение к недостижимому совершенству.

А мерило грани меж Добром и Злом Господь обозначил. Грехом. Но и понятие греха тоже в душу не вложил, потому что грех осознать сперва надо. И дети поэтому созданы безгрешными: их старшие пониманию греха обучить обязаны. Поначалу – маменька, потом – семья, следом – труд среди людей и бой ради людей.

Знаете, когда наших прапрародителей Господь из рая изгнал? Когда они взрослыми стали. Детей из рая не изгоняют. А изгнав и повелев им в поте лица своего снискивать хлеб свой, Он благо в них вложил, ими самими открываемое: Любовь. Одну-единственную Великую Любовь и Адаму, и Еве на все грядущие времена. И коли посчастливится Адаму познать, что Ева его из его же ребра сотворена, а Еве – восчувствовать, что она – частица его, тогда, и только тогда им благо это является: они – друг для друга. Они – одно целое,

друг друга они нашли и – воссоединились. Обрели счастье. А потому – не спешите соединять судьбы свои. Если одно лишь желание вами движет к предмету страсти вашей, это не любовь. Это страсть всего лишь. Вожделение. Утолите его, и кончится тяга ваша. Но когда мужчина боль ощущает в отсутствие предмета своего – это ребро его, из которого его Ева сотворена была, в нем криком кричит. А женщина – тоску по своему ребру. Боль мужчины и тоска женщины – сигналы того, что нашли они друг друга, что Любовь – Благословение Божие, в души их стучится мужской болью и женской тоской непереносимой. И это, только лишь это – тоска и боль – и есть зов Любви, а не вопль плоти. За нею и ступайте, ибо нашли вы счастие свое…

Вот что открылось мне спервоначалу, и вот что осознал я. По вновь возникшей боли осознал, навеки утеряв ту, что создана была только для меня. Одного-единственного. Из моего ребра создана и увезена в Италию. Навсегда.

Никак не менее недели я над этим своим

прозрением размышлял. А в остальном — существовал как существовал. Версты свои отмеривал, щи хлебал и крыс дрессировал, чтобы место свое знали. А что невнятно свое открытие изложил, прощения прошу. Не в халате, не с трубкой в зубах, не с бокалом вина перед камином в удобном кресле…

Дней двенадцать, что ли, минуло, и распахнулись двери моего каземата. На пороге — молодой, старательный, румяный от исполнительности офицерик. За порогом — двое солдат с ружьями.

— Прошу за мною следовать.

Привел себя в порядок, как мог. Мятый мундир почистил, пыль с ботфортов смахнул, причесался, усы расправил. И шагнул за порог.

Снова — карета с окнами, зашторенными снаружи, снова — перестук копыт по петербургским мостовым, снова — жандармское молчание в ответ на все мои вопросы.

Наконец остановилась карета, дверцы распахнулись, и я вылез. Мощеный двор, казенные здания со всех четырех сторон и — безлюдье. Подъезд, лестничный марш, коридор и — строгая казенная дверь. Важная, как штатский генерал, получивший чин за вовремя рассказанный анекдот. Обождал, пока офицерик доложит, и

распахнулись предо мною дверные дубовые створки.

Вступил в кабинет. Поменьше московского, да и заседателей нет за присутственным столом. В полном одиночестве восседает за ним молодой подполковник. С рыжими бачками, но — без усов. А секретарь — тихий, как тень, — за отдельным столиком у меня за спиной. Подполковник бумаги листает, так на меня и не глянув. Ну и я, естественно, представляться ему не стал.

Впрочем, это его не обескуражило. Буркнул, так и не глянув:

— Прошу садиться.

Сел на стул перед его начальственным столом. Что-то в рыжем подполковнике было нестерпимо раздражающим. Что-то казенно-бумажное, немецко-старательное. Мне это не понравилось, почему я и закинул ногу на ногу весьма вольготно. Подполковник чуть приподнял бесцветные брови и говорит:

— Вас доставили на допрос.

Явно намекал на мою салонную позу. Но я ее не изменил.

— Я лишен чина и дворянства?

— Чина и дворянства может лишить один лишь государь. Следствие по вашему делу еще не завер-

шено, следовательно, государю еще не доложено.

«Следствие — следовательно». Скучный господин.

— Слушаю вас, подполковник. Допрашивайте.

Вновь бровки его вздрогнули: видно, резануло его канцелярскую душу, что я запросто подполковником его назвал, а не «господином подполковником». Значит, не служил ты в полках, казенная душа…

— Предварительное расследование выяснило, что вы выиграли полный список «Андрея Шенье» в карты у неизвестного вам поручика.

— Спьяну, подполковник. Исключительно спьяну. Занесите в допросный лист, если сие уточнение в нем отсутствует.

— Присутствует уточнение, присутствует, — с неудовольствием сказал подполковник. — Однако при этом присутствии отсутствует другое весьма важное ваше объяснение. Весьма важное.

— Какое же?

— Строка наверху. Над поэтическими строфами. Так сказать, обращение к читателям.

— Обращение? — Я сразу сообразил, что' он имеет в виду, однако переспросил с максимальным удивлением. — В первый раз слышу.

— Не сомневаюсь.

С ехидцей сказал подполковник. Даже чуть улыбнулся при этом. Подсиживают моего московского полковника, подумал я. И спросил:

— Покажите-ка. Может, оно позднее появилось? Пока я крыс в каземате правилам приличия обучал?

— В свое время. Все — в свое время.

Подполковник через стол протянул мне лист бумаги и перо, предварительно ткнув им в чернильницу:

— Извольте записать то, что продиктую.

Я развернулся лицом к столу, взял перо.

— Пишите цифрами: «Тысяча четыреста четырнадцать. Десять. Четыре. Четырнадцать». Написали? Теперь — словами: «Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь…» Написали? Дайте мне.

Перегнулся через стол, схватил, даже песком не присыпав. И стал сличать мои записи с тем, что когда-то написала Полиночка. Я знал, для чего мне этот диктант устроен, а потому и не волновался. Не ту карту они прикупили. Не в масть.

— Кто это написал?

— Что — написал?

Подполковник — вновь через стол перегнувшись — показал мне пушкинский список, над

которым когда-то Полиночка в торжестве от прозорливости своей написала: «На 14 декабря».

— Это ведь не ваша рука?

— Вообще эту надпись впервые вижу.

— Кто же ее сделал, по-вашему?

— А бог ее ведает. Я ведь не надпись выиграл, я стихи выиграл. И не читал, что да кто там написал. Может, сам Пушкин.

Знал, что тут у них — пустышка. Пушкинский почерк был похож на почерк Полиночки, как моя сабля на мой ботфорт.

— Нет, это не Пушкина рука, — вздохнул подполковник, вновь удобно угнездившись в кресле. — Давайте разбираться. Давайте все вспоминать и разбираться. Кому вы показывали сей список?

— Никому.

— Так-таки и никому?

— Так-таки и никому.

— И в полку выигрышем не похвалялись?

— Вообще никогда не хвастаюсь.

Ну и пошло-поехало. Часа четыре скакали мы по манежному кругу, на котором, как известно, доскакаться до чего-либо — пустое занятие. Но подполковник был упорен, менял аллюр, даже направление, однако ничего не добился. Пере-

брал всех моих приятелей, знакомцев и даже родственников, но ни разу не упомянул о невесте моей. О Полиночке. И я возблагодарил Господа, что помолвку мы не оглашали из-за батюшкиного удара.

Кончилось тем, что он раскраснелся, вспотел и уморился.

— Кто же это мог написать?..

Я пожал плечами. Эта скачка вопросов вокруг да около окончательно убедила меня, что они пытаются добраться до Пушкина. Заполучить его в свою паутину, и здесь я не желал служить им ни проводником, ни пособником. Ни в каком виде и ни при каких условиях. По разные стороны барьера мы стояли, и я позиции своей менять не собирался, хотя и не имел права на ответный выстрел.

— Ладно, — со злорадством сказал мой новый дознаватель. — Будете крыс дрессировать, пока не вспомните.

— Каким же образом можно вспомнить то, чего вообще не было? Не подскажете?

— Всяко бывает, Олексин, всяко, — улыбнулся вдруг подполковник. — Озарение может на вас снизойти. Озарение и понимание. Думайте, думайте, вы же игрок, и я вам предостаточно карт

на стол выложил. И все — в масть, заметьте.

Гнусен намек его был: выдумать нечто, чтобы оговорить Александра Сергеевича. Гнусен и подл, но я сдержался. Нельзя мне было свои истинные чувства жандармам показывать. Никак нельзя.

К счастью великому, мои отношения с Пушкиным, моя любовь к нему и мое восхищение места в жандармских мозгах не занимали. В таком раскладе мне повезло, повезло отчаянно, хотя поначалу и обидело. Как же так, я ведь в бессарабской ссылке с самим Александром Сергеевичем приятельствовал, со Спартанцем Раевским, с Руфином Дороховым на дуэли дрался! Это же счастливейшая заря жизни моей, а вы, мундиры голубые, — будто и не было ее у меня? Обидно. А промерзнув в казематах, изголодавшись да кашель подцепив, сообразил, что за расклад у них, и — возрадовался. Возрадовался, что не догадались там копнуть, что мимо майора Владимира Раевского проскочили, мимо Урсула, а заодно — и мимо Пушкина.

А вот почему проскочили, долго понять не мог. Только потом уж, потом догадался наконец, что юнцом безусым во времена кишиневские я для них выглядел. Фоской, картежным языком выражаясь. Ну а какой с фоски прок? Она только для

сноса и годится. Поэтому жандармы и скинули это время, будто и не было меня в нем вообще.

Осьмнадцать лет, румяная пора!..

Свеча седьмая

Сколько дней после этого разговора меня никуда не вызывали, сколько дней я крыс приличным манерам обучал, версты парами шагов отмеривал да неизменные щи дважды в сутки хлебал — не помню. День в день был, и все — трефовой масти предсказанного мне древней цыганкой казенного дома.

Но ни бодрости, ни веры я не терял. Бодрость во мне поддерживалась неукоснительным исполнением приказа, себе самому отданного, а вера — Библией. Читал я ее вдумчиво и неспешно, по два, а то и по четыре раза каждый стих перечитывая. Чтоб сквозь человеческое понимание до Божественного смысла добраться, а потому и продвигался в аллюре улитки. И как-то, перевернув очередную страницу, с трудом различил на полях блеклую, выцветшую до бледной ржавчины надпись:

УСП

г — 1

шо — 1
оо — 17
нч — 282
гл — 67
т — 903
и всего — 1271

Долго я ничего не мог понять. Что за буквами кроется, кто за цифрами стоит?.. Ясно одно было — это подсчет. Но чего — подсчет? Людей или рублей? Потерь или приобретений? И неизвестно, удалось бы мне загадку сию решить, если бы однажды, едва проснувшись, а может, и в схватке со сном еще, я не призадумался: а кто вообще мог это написать? Ну, естественно, узник вроде меня, кто же еще? Но — чем? Чернил и перьев в казематах и быть не может, и быть не должно.

Вот тогда я и стал заново эту бледно-ржавую надпись изучать. Но теперь не что написано, а — чем написано. И так книгу вертел, и этак…

И вдруг осенило меня. Подвигло, что ли, не на разгадку тайны сей, а на опыт.

Отгрыз я тонюсенькую щепочку от черенка ложки, рванул нижнюю губу зубами до крови, намочил ею щепочку и на последнем листе Библии написал:

«БЛАГОДАРЮ ТЯ, ГОСПОДИ».

Надпись вполне безобидная, даже если бы кто и заинтересовался ею. Рыхлая бумага быстро кровь впитывала, макать самодельным пером в самодельную чернильницу приходилось мне беспрестанно, но я дописал, закрыл Библию, а щепочку изгрыз чуть ли не до стружек. Полдня ранку на губе зализывал, пока не затянуло ее, и определил себе срок: три дня. И три дня Книгу в том месте, где надпись сделал, не открывал.

А на четвертый — открыл. Надпись моя впиталась, поблекла и как бы выцвела до бледно-ржавой желтизны. Я сравнил ее с таинственными цифрами, и все недоумения пропали.

Да, никаких сомнений: подсчет тот делал узник. Но писал — кровью собственной, следовательно, писал нечто, очень уж для него важное. Жизненно важное. И, судя по цвету моей надписи, совсем недавно, по всей вероятности — незадолго до меня.

А кто прошел незадолго до меня сквозь эти казематы? Декабристы. Этой зимой, которая только-только первой весенней оттепелью вздохнула. Их прямо с Сенатской площади…

И тут сказал себе вслух:

— Тпру, Олексин!

Сенатская площадь. Это «СП». А «УСП»? Если

«СП» я угадал, то «УСП» — «убиты на Сенатской площади». Эту догадку подтверждает и первая строчка столбца: «г — 1», поскольку убит был один генерал. Милорадович, застреленный Каховским. И один штаб-офицер тогда погиб. Знал я его фамилию, знал, кто-то говорил в полку…

А в столбце — «шо — 1». То есть один штаб-офицер.

Все сошлось, весь пасьянс. Помнится, от такого открытия я на месте усидеть не смог. Вскочил, по каземату пометался. Потом сел, вгляделся в блеклую надпись на полях, и все для меня окончательно стало ясным:

Убиты на Сенатской площади:
генерал — 1
штаб-офицер — 1
обер-офицеров — 17
нижних чинов — 282
гражданских лиц — 67
толпы — 903
и всего — 1271.

Не знаю, откуда мой предшественник по темнице мог взять цифры погибших 14 декабря: их держали в строжайшей тайне, их нигде не печатали, о них даже не упоминали. И мне одно объяснение пришло в голову: сообщили со сторо-

ны. Через дежурных офицеров Петропавловской крепости, через адъютантов и курьеров, через помощников дознавателей да и самих дознавателей, через случайно, на лестницах или в коридорах встреченных офицеров. Офицерское братство не смогли поколебать никакие ссоры, дуэли, обиды и разногласия, почему и пришлось придумать жандармский корпус в голубых мундирах, руку владельцам которых не подавал ни один офицер русской армии…

Впрочем, я об этом вам уже докладывал.

> …Человек несовершенен, и я никогда не встречал человека совершенного. Долгое время считал, что виною несовершенства человеческого служит лень, а потом задумался: ну а лень-то – откуда? Чем подкармливается она в нашей душе, ибо не попадались мне что-то ленивые звери. Зверь ленив, когда он сыт. Так, может быть, и человек тогда ленив, когда душа его наелась до отвала? Но чем же может насытиться наша душа?..

Долго Я над этим размышлял: уж чего-чего, а времени мне хватало. Не столь уж важно, как именно ползла моя мысль, но важно, до чего она

дополэла.

Я, как мне показалось, в конце концов нашел ответ, что же закармливает душу человеческую до сытости с отрыжкой. Для себя, разумеется…

> …Это не пища, тело питающая. Это всего лишь жвачка, дающая обманное ощущение сытости. Все в детстве, наверно, любили жевать вишневую или сливовую смолку: затвердевший сок деревэтих, которым они раны, трещины да надломы свои затягивают. Вспомнили, о чем толкую? Такой жвачкой для души человеческой является самоуверенность. Сколь часто заменяет она нам тяжкий путь размышлений! Едва начав о чем-то думать, человек в поспешности хватается за самопервейшую, навязшую в зубах мысль, тут же объявляя ее истиной. Он щадит себя, силы свои и нервы свои, убеждая душу свою, что ответ уже найден и ей не о чем более тревожиться.
>
> Самоуверенность есть самообман души нашей. Замена живительных сомнений пустой убежденностью в собственной непогрешимости. Я проверил сей посту-

лат на собственном опыте. По счастью, он оказался не столь уж печальным, хотя вполне мог им стать.

Душа обязана трудиться, дети мои. Не позволяйте ей пережевывать жвачку простейших решений…

Свеча восьмая

Вторично дверь моего петропавловского каземата распахнулась в сырых петербургских сумерках. В столицу шла весна, из прорубленного в Европу окна уже стремился теплый ветер, и день заметно прибавился, что сказалось даже в сумрачной темнице моей.

Но меня куда-то везли в то время, когда служба во всех присутствиях закончилась, чтобы через время некое переместиться в храмы Божии. Семья моя, свято соблюдая православные обряды, особой религиозностью никогда не отличалась, поскольку предки мои, насколько мне было известно, добывали хлеб насущный не серпом да цепом, а мечом да шпагой. Такой способ деятельности во благо Отечества необходим и достоин, однако по самой сути своей он как-то не совсем, что ли, совмещается с постулатами Нагорной

проповеди. И «не убий» для воина — завет относительный, и «не укради», и «не возжелай», и многое другое: à la guerre comme à la guerre («на войне как на войне»). А потому я, грешный, о Пасхе узнавал тогда лишь, когда в нашем доме начинало пахнуть куличами. И в тот вечер подумал вдруг: уж не в церковь ли меня везут ко всенощной?..

Однако здание, подле которого меня из арестантской кареты высадили, на храм Божий мало походило. Менее, скажем, нежели армейская шинель на поповскую рясу. Да и сам подъезд с застывшими часовыми тоже.

Поднялись на второй этаж по пустынной лестнице, прошли в залу с двумя настенными зеркалами в бронзовых рамах и изящной, совсем уж не казенного вида мебелью. Мой сопровождающий, велев обождать, исчез за тяжелой, бронзой отделанной дверью, и я замер подле одного из зеркал. Потому замер, что в зале этой парадно-приемного вида оказалось целых два генерала и никак не менее дюжины штаб-офицеров, не обращавших, впрочем, на меня, жеванного казематами арестанта, ровно никакого внимания.

Из-за той двери, за которой скрылся мой крепостной офицерик, вышел молодой жандармский

капитан и остановился перед зеркалом в шаге от меня.

«Франт, — подумал я нелюбезно. — Ишь охорашивается, крыса жандармская…»

— Обращение — ваше высокопревосходительство, — вдруг шепотом, но вполне явственно сказал этот франт, по-прежнему глядясь в зеркало. — Почаще, он это любит. Не задерживайся с ответами — подозрителен. И не вздумай изворачиваться, он многое знает. Лучше умолчи. Так безопаснее.

И пошел себе к выходу, на меня так ни разу и не взглянув.

Но сказано-то было для меня! В этом не могло быть никаких сомнений, и сердце мое прямо-таки теплой волной обдало: «Живо! Живо ты еще, братство офицерское, живо!..»

И вспомнил тут я, что при формировании голубого жандармского корпуса многих армейских офицеров переводили в него помимо их желания. Повелением простым переводили. Те, кто мог, сразу же в отставку подавали, ну а те, кого одна лишь служба кормила, у кого родовое поместье — с гулькин нос или сестер незамужних куча, тем некуда было деваться. И напялили они голубые

мундиры на верные армейские сердца…

Неожиданно дверь распахнулась. Мой надзирающий офицерик выглянул:

— Проходите.

Я мятый свой мундиришко одернул, шагнул за порог и очутился в огромном кабинете. Освещен был лишь стол да круг подле него: два кресла, что ли. Стены в сумрак уплывали, но фигура в генеральском мундире, восседавшая за столом, выделялась от этого еще отчетливее. И я рванул к ней с места строевым шагом.

— Поручик Олексин, ваше высокопревосходительство! Честь имею явиться!

Генерал, глаз от бумаг не оторвав и на меня не глянув, бросил отрывисто, по-сановному:

— Садитесь.

Я поспешно сел, замерев на краешке кресла. Бумаги листались неторопливо и вдумчиво. Совершенно беззвучно при этом, будто сами собою перепархивали.

— Когда, каким образом и где именно познакомились с Александром Пушкиным?

— В Кишиневе, ваше высокопревосходительство. Был сослан туда за дуэль.

— За дуэль? — Генерал впервые поднял на меня бледные, безмерно усталые глаза. — Какая по

счету?

— Первая, ваше высокопревосходительство.

— И чем же она закончилась?

— Прострелил ногу гвардии поручику Турищеву, ваше высокопревосходительство!

— А он пальнул в воздух, — с укором сказал генерал. — Неблагородно поступили, Олексин.

— Иначе поступить не мог, ваше высокопревосходительство. Турищев оскорбил даму.

— Даму? Это меняет оценку.

Генерал оставил бумаги. Откинулся к спинке кресла, и лицо его ушло в тень.

— Затем прибыли в Кишинев. Кто представил вас Пушкину?

— Никто, ваше высокопревосходительство. Занимались фехтованием у одного местного мастера. В конце концов я счел возможным лично представиться Александру Сергеевичу под тем предлогом, что мы с ним — земляки.

— После чего вы затеяли новую дуэль.

— Так точно, ваше высокопревосходительство, о чем весьма сожалею.

— И с кем же на сей раз?

— С Руфином Ивановичем Дороховым. Исключительно вследствие собственной невоздержанности.

— И кто же был вашим секундантом?

— Майор Раевский, ваше…

— Майор Владимир Раевский, — почему-то с некоторым удовлетворением отметил генерал.

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

Я уже сообразил, что меня допрашивает сам шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф. Но пугало меня не это. Я очень встревожился, что он спросит, кто именно меня познакомил с Раевским, и я вынужден буду назвать Пушкина. Однако генерал сказал совсем иное. И — весьма неожиданное.

— Дуэль на шпагах — скорее спорт, как говорят англичане. Ковырнули друг друга и разошлись. Так оно и было?

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — с огромным облегчением согласился я.

— Ну и бог с вами. А по какому поводу вы устроили попойку за неделю до бряцания шпагами?

— Осьмнадцать лет мне исполнилось, ваше высокопревосходительство.

— И кого же вы в сей знаменательный день пригласили?

— Троих, ваше высокопревосходительство. Господина Александра Пушкина, майора Владимира Раевского и… — Я мучительно соображал,

как мне представить Урсула Бенкендорфу, делая вид, что припоминаю фамилию. — И капитана Охотского, кажется. Прощения прошу, фамилию запамятовал.

— Капитана Охотникова, — поморщившись, поправил Бенкендорф. — Вам известно, что он умер?

— Умер?.. Не знал об этом, ваше…

— А с ним вы каким образом познакомились?

Как же повезло мне тогда, что генерал сначала сообщил о смерти капитана Охотникова — а я знавал его в Кишиневе, знавал, но близко знаком не был — и лишь потом заинтересовался почему-то, как мы с ним познакомились. Раевский был уже арестован, так что навредить ему я не мог, а вот Пушкина следовало выводить из этой жандармской игры в подкидных дурачков.

— Нас познакомил майор Раевский.

— Присутствовали при их беседах?

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство. — Я позволил себе улыбнуться. — Я тогда, в Кишиневе, безусым юнцом еще считался. А потому я их приглашал, а они меня — никуда и никогда. Даже на дуэли секундантом не брали.

Зря я это выпалил, относительно дуэлей. Но Бенкендорф и на оговорку мою внимания не

обратил.

— Однако ясский господарь Дмитрий Мурузи почему-то отошел от этого правила.

— Крайне удивлен сим обстоятельством, ваше высокопревосходительство. Крайне удивлен приглашением его и по сей день, хотя, не скрою, и весьма польщен.

Бенкендорф нагнулся к столу, вновь возникнув в кругу света. Взял в руки очередную бумагу.

— Господарь отозвался о вас весьма восторженно. Послушайте его доклад Инзову. «Атаку возглавил прапорщик Александр Олексин, убив двух турецких разбойников…» — Кончив читать, поинтересовался: — Соответствует действительности?

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— У Инзова к вам тоже претензий не оказалось, — продолжал главный жандарм. — Отмечает вашу искренность и чистосердечие. Вот на чистосердечии и остановимся. Когда Александр Пушкин передал вам для хранения полный список «Андрея Шенье»?

— Он мне не передавал его, ваше высокопревосходительство. Я выиграл эти стихи. В штосс.

— Что-то я не замечаю в вас того качества, которое столь восхитило генерала Инзова.

— Ваше высокопревосходительство, — сказал я, проникновенно прижав руки к груди. — Пушкин посвятил мне два стихотворения и еще четыре — подарил на память. Они — в бумагах, что взяли у меня при аресте. Все. Все шесть стихотворений подписаны Александром Сергеевичем, а список «Андрея Шенье» — не подписан. Извольте обратить внимание, прошу вас. А не подписан потому, что подарен был кому-то другому и я его просто выиграл в штосс…

— Поручик коннопионерского полка Молчанов утверждает в своем заявлении как раз обратное вашим словам. А именно: что вы расплатились с ним пушкинским «Андреем Шенье», но потом отыграли сей список назад.

— Ваше высокопревосходительство, виноват. Пьян был до полного ошаления, все как в тумане, только ошибается коннопионер. Он тоже на хороших воздусях был…

— Хватит! — резко выкрикнул Бенкендорф. — Как только Пушкин будет арестован, я устрою вам очную ставку. Что тогда скажете?

Ничего я не сказал. Разинул рот, закрыл его, снова открыл и спросил:

— Пушкин арестован?..

— Будет арестован без всякого промедления,

как только государь изволит дать согласие свое. Представление по сему предмету мною уже сделано.

— Зачем же Пушкина арестовывать, ваше высокопревосходительство? — растерянно и как-то не к месту, что ли, сказал я. — Проще с этим коннопионером и мною очную ставку…

— Поручик Молчанов ни в чем не повинен. Мало того, он проявил истинно патриотическое рвение, и нет причин…

Что-то жандармский шеф еще говорил, но я уже ничего не слышал. Горечь до горла меня переполнила: знал я теперь, кому обязан казематным своим сидением. Знал. Знал, кто проявил истинно патриотическое рвение…

— …Так кто же с кем расплачивался стихами? — наконец-то до меня донесся генеральский голос. — Вы с Молчановым или Молчанов с вами?

— Коннопионер со мной, коннопионер, ваше высокопревосходительство. То и человек мой подтвердить может, и станционный смотритель в любое время.

— Да, они ваши слова подтверждают, — согласился Бенкендорф, посмотрев в какие-то свои бумаги. — Однако Молчанов утверждает обрат-

ное.

— Он бутылку рому у смотрителя купил да один и высосал ее, потому что в меня уж и не лезло.

— Молчать! — гаркнул жандармский верховный вождь.

Замолчали мы оба. И молчали, пока Бенкендорф не обрел прежнего холодного величия.

— Теперь — о надписи «На 14 декабря». Она не принадлежит ни Пушкину, ни вам, ни Молчанову. Сие установлено. Кому же она принадлежит?

— Не ведаю, ваше высокопревосходительство. Я ее с этой надписью и выиграл.

— Кому вы давали читать сей стихотворный памфлет?

— Никому. Может, Молчанов кому давал, ваше высокопревосходительство?

— Перестаньте, Олексин. Перестаньте перекладывать на достойного офицера свое беспутство. Знаете, как вас полковой командир охарактеризовал? — Генерал извлек очередную бумажку и зачитал почти с выражением: — «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт». Куда ближе к действительности, нежели старческие сантименты Инзова. А потому в последний раз задаю два вопроса. В последний! Первый вопрос: когда именно Александр Пушкин попросил вас припрятать

свой стихотворный антиправительственный манифест? До бунта на Сенатской площади или после оного? И второй: кто и когда написал поверх стихов «Андрей Шенье» слова «На 14 декабря»?

— Ваше высокопревосходительство, я…

— Я не спрашиваю вас более!.. — сурово оборвал меня Бенкендорф. — Я дал вам последний шанс подумать о своем будущем. В переводе на общедоступный офицерский язык — подумать о собственной шкуре. Собственной, Олексин, а не своих кишиневских приятелей, уразумейте же это наконец. Ступайте!

Я вскочил с кресла, звякнул шпорами, поклонился. Пошел к дверям, по-прежнему строевым шагом ворс из ковра выколачивая. Вероятно, именно это и обозлило шефа жандармов. Сказал вдогонку, когда я уже у дверей был:

— Вашего отца, всеми уважаемого бригадира Илью Ивановича, хватил второй удар. Наталья Филипповна просила меня разрешить вам свидание с батюшкой вашим. Я обещал — при условии, что вы поведете себя благоразумно. Этого не случилось, почему и свидания вы не получите. Ступайте.

— Он… Он в сознании?

Молчание. И — резкий холодный приказ:

— Извольте покинуть мой кабинет, сударь!

Не помню, как я вышел. Не помню…

Свеча девятая

Это была первая ночь, когда я не смог уснуть. Батюшка мой, едва от первого удара оправившись, свалился во втором. И оба — из-за меня. Из-за меня!..

К сожалению величайшему, я уже не умел рыдать, израсходовав весь запас слез, выданный на всю жизнь, и мне было во сто крат тяжелее. Я молился, молился искренне, с огромным отчаянием и крохотной надеждой в душе. Я метался по каземату, падал на койку, вскакивал и снова метался и уж не знаю, сколько верст наметали мои ноги в ту страшную ночь.

Забылся я на считаные минуты перед рассветом. Помню, что не лежа, а сидя на койке, зажав голову в ладонях. Не заснул, все чувствовал, все слышал и ощущал, ворочая тяжкими думами своими. И вдруг… услышал вдруг отцовский голос! Не снаружи, а — изнутри, не ушами, а как бы душою своею:

— Ты — единственная надежда моя, сын. Ты, только ты продлишь меня в детях своих. А по-

тому обязан выстоять. Выстоять! Ты — потомок бесстрашных княжеских дружинников, офицер армии русской, найдешь в себе силы. Знаю, надеюсь, верю, что сыщешь их…

Смолк голос в душе моей, и я вскочил. Вскочил, вытянулся, как на высочайшем смотру, и сказал вслух:

— Выстою, батюшка.

И начал версты свои ежедневные парами шагов отмерять…

> …Что наследуем мы от родителей своих? Здоровье? Силу? Способности бурям противостоять? Не это главное. Главное, что мы наследуем, – любовь родителей к нам. Их заботу о нас. Их веру – в нас. Их надежду – на нас. Мы такие, какими нас испекли в родительском тепле. Все последующее – всего лишь бутерброд, на куске хлеба, испеченном матушкой из отцовской муки…

Голос батюшки, столь явственно прозвучавший в душе моей, вернул мне силы. Я понял, что обязан бороться, обязан выиграть эту борьбу, обязан устоять и вновь вернуться в жизнь. Во

имя исполнения его завета и его надежды. Вероятно, поэтому, когда я по заведенной привычке на ощупь подбривал усы и баки, в меня и влезла паскудная мысль. Простая, как змея, сотворенная Господом.

…А зачем мне, собственно, мудрить, страдать и терпеть, не имея при этом никакой возможности повидать тяжко захворавшего бригадира моего? Зачем мне упрямством своим способствовать аресту Пушкина? Зачем? Во имя чего? Пушкина, даже арестовав, никто не посмеет тронуть, потому что все общество, все лучшие люди России поднимутся на его защиту. Все, даже враги его, ибо в противном случае общество отвернется от них. Пред ними закроются двери всех салонов, гостиных, клубов, собраний. Нет, нет, Россия никогда не даст в обиду светлого гения своего, она грудью прикроет его от всех застенков, крепостей и казематов. Так не лучше ли, не мудрствуя лукаво, откровенно признаться в истине? Да, ваше высокопревосходительство, Александр Сергеевич Пушкин лично вру-

чил мне полный список «Андрея Шенье» с просьбой никому его не показывать. Я не исполнил этой просьбы, показав стихи моей невесте, и она в восторге написала поверху: «На 14 декабря». Пушкин и моя Полиночка – благородные люди, они подтвердят мои слова, меня выпустят из крепости, и я увижу батюшку, страдающего смертельным недугом. Все же очень просто, Сашка, они – благородные люди…

И тут… Тут — поверите ли?.. — я с размаху отпустил самому себе пощечину. В полную силу: дня два щека нытьем ныла…

…Они, бесспорно, благородные люди, а ты, Олексин? Посмеешь ли ты, посмеют ли дети, внуки, правнуки твои когда-либо считать себя просто порядочными людьми, ощущая зловонное дыхание предательства, некогда совершенного тобою? Нет, Пушкина не тронут – зачем же беспокоить общество? Ему просто сплетут поводок из липкой лилипутьей паутины. И накинут ее на вольную душу гения, как ошейник на раба…

И я удавил гадюку, посмевшую поднять ядовитую голову в душе моей. Навсегда…

И продолжал каждый день отмерять версты, неторопливо и вдумчиво читать Библию, до донышка выскребывать все, что дают, и… и терпеливо учить крыс пристойно себя вести…

Так прошло… да с неделю или чуть более того. Двери каземата моего распахнулись вскоре после обычного скудного завтрака, и меня востребовали на выход.

Снова — зашторенная карета, столичный шум за окнами. Снова — глухой каменный двор, лестница, кабинет и — рыжеватый подполковник за прежним столом.

— Садитесь, Олексин.

Сел и молчу. После свидания с самим Бенкендорфом рыжий подполковник мне пешкой казался. Причем пешкой, которая в дамки так никогда и не выйдет.

— Во время службы в лейб-гвардии Нижегородском конно-егерском полку…

— Сначала вы ответите на мой вопрос, подполковник, — решительно перебил я. — Каково самочувствие батюшки моего, бригадира Ильи Ивановича Олексина?

— Сначала — дело, сударь! Тем более что мне

ничего не известно о самочувствии вашего батюшки.

— Так извольте же послать кого-нибудь узнать! Или везите меня назад, в крепость, потому что я рта не раскрою, пока известия о нем не получу.

И что вы думаете? Послал он дежурного офицерика. А мы остались в кабинете. Подполковник что-то говорил, о чем-то спрашивал, но я и губ не разомкнул. Так в молчании и просидели часа полтора, пока посланец не возвратился. Начал шептать что-то, но подполковник резко его оборвал:

— Извольте вслух! И не мне, а Олексину.

Дежурный офицер сразу же ко мне оборотился:

— Прощения прошу, поручик. Ваш батюшка, бригадир Илья Иванович Олексин, жив, но отнялась левая сторона. Речь нарушена, однако он — в полном сознании. Имею честь передать вам сердечный привет от него лично.

— Благодарю.

— Довольны? — не без ехидства поинтересовался подполковник.

— Чем? Тем, что у отца речь нарушена?

Подполковник досадливо поморщился, отпустил офицера. А когда дежурный удалился, проворчал:

— Теперь-то будете отвечать?

— Теперь буду.

Вздохнул я, признаться, батюшку представив. Мой дознаватель поковырялся среди бумажек, потасовал их и наконец приступил к допросу:

— Во время службы в конноегерском общались ли вы со своим эскадроном вне службы? Беседовали с егерями, расспрашивали их?

— Нет.

— Почему?

— Смысла не видел.

— Но открыли же почему-то сей смысл в пехотном полку? Во Пскове?

— Егерь — не пехота, подполковник. Не хуже меня знаете.

— Разъясните, что имеете в виду.

— Все просто. В егеря отбирают наиболее сообразительных солдат. В гвардию — тем паче. А Псковской полк — обычный гарнизонно-затрапезный. Почему с солдатами приходится заниматься и вне строя, ничего не поделаешь. Армия — снятое молочко: сливки всегда в гвардию уплывают.

— И вы просвещали их, так сказать, в полном объеме?

— Спросите конкретно.

— Конкретно? — усмехнулся подполковник. — Конкретно — вопрос о воле. Вы вели с солдатами беседы на эту тему?

— О воле как императиве души человеческой? Разумеется. Я их к сражениям готовил, а в сражениях тот побеждает, у кого воли на весь бой хватает. Да еще с запасом.

Вздохнул мой следователь:

— Вы наделены поразительной способностью не отвечать на то, о чем вас спрашивают.

— Вы спросили о воле. Я и ответил о воле.

— В России под волей не философскую детерминанту разумеют, а свободу от крепостной зависимости, Олексин. И вам сие прекрасно известно.

Моя очередь усмехаться пришла.

— Так вы свободой заинтересовались, подполковник?

— Это вы ею заинтересовались, Олексин, вы. И чуть не ежедень втолковывали солдатам своей роты, что они — свободные люди. Это-то вы признаете?

Вспомнил я свои беседы с батюшкой о доле простого пехотинца. О том, сколь сиротливо чувствует он себя, лишенный возможности хоть о ком-то или о чем-то заботиться. Хотел было

подполковнику с рыжеватыми бачками об этом поведать, но — передумал. Щечки у него слишком румяными мне показались.

Об ином напомнил:

— После государевой двадцатилетней службы солдаты освобождаются от крепостной зависимости согласно закону. А в случае боевой инвалидности — вне срока службы. Вам, надеюсь, это известно?

— Мне — да, но солдатам знать о сем не положено, поручик. Не положено, потому как законов они не знают и знать не должны.

— Почему же — не должны? — Я искренне удивился, поскольку никак не мог понять, куда он гнет. — Каждый подданный Российской империи обязан знать ее основные законы.

— Они — помещика подданные, а не Российской империи!

— Вот это уже прелюбопытнейшая новость, — говорю. — Стало быть, наши солдаты за любимого помещика на смерть идут, а не за Бога, Царя и Отечество?

Помолчал подполковник, беседу нашу припоминая. И вздохнул, сообразив, что ляпнул нечто несусветное. И даже улыбнулся как-то… искательно, что ли.

— Я образно выразился, Олексин, образно. Неудачный образ, признаю. Но признайте и вы, что превысили свои офицерские обязанности, и превысили недопустимо. В чем недопустимость превышения сего? В том, что…

Занудил, и я слышать его перестал. Я лихорадочно соображал, куда подевались два вопроса, которые мне задал сам Бенкендорф: передавал ли мне Александр Пушкин полный список «Андрея Шенье» на хранение и кто написал поверх этого списка слова «На 14 декабря». Об этом мой следователь ни единым словом не обмолвился, добиваясь почему-то ответов о моих отношениях с солдатами вне службы. Это было непонятно, и это необходимо было понять.

* * *

— …Подобные беседы не входят в обязанности ротного командира, Олексин.

— А в обязанности приличного человека?

— Вы прежде всего — офицер!

— Я прежде всего — человек чести, подполковник. Не знаю, чему учат остзейских баронов, но потомственных русских дворян учат именно этому.

Разозлился я, признаться, почему и брякнул об остзейских баронах, хотя и не был уверен, что мой дознаватель — из их племени. Но оказалось, попал в точку. Покраснел подполковник, блеснул бледными глазками:

— Вспомним еще, как наши предки на льду Чудского озера друг друга колошматили?

— Ну, положим, — улыбнулся я, — это мои предки ваших колошматили, подполковник.

— Пустопорожний спор, Олексин, — сказал мой визави, сдерживая раздражение. — Отвечайте мне четко: вы вели с солдатами беседы о том, что они — вольные люди?

— Вольные лучше сражаются. Разве не так?

— Не уходите от ответа!

— Ну вел, вел. Мало того, считал и продолжаю считать эти беседы боевой подготовкой вверенной мне роты. И ничего противуправного в них не усматриваю.

— Так и запишем, — обрадовался он. — Не возражаете?

— Не возражаю.

Он пером скрипел, а я думал. Думал: куда же «Андрей Шенье»-то подевался? Вместе с Пушкиным?..

— Ознакомьтесь.

И бумагу передо мной положил. Я прочел, пожал плечами.

— Согласны? Тогда внизу прошу написать: «С моих слов записано правильно». И расписаться.

И это было новым. До сей поры мне дознавательных листов не показывали и подписи под ними не требовали. Я написал то, о чем он просил, и поставил свою закорючку.

— Вот и отлично. Можете идти.

— Куда?

— Крыс дрессировать.

(Надпись на полях. Другими чернилами: *...Уж позднее, позднее, много позднее узнал я, что государь прекратил мышиную эту возню вокруг Пушкина. Что лично принял его, долго беседовал, простил все прегрешения. Что милостиво вызвался быть его цензором, вернул из ссылки и повелел служить отныне при Дворе. И «Дело» жандармское развалилось. Развалилось, но остался свидетель, от которого Бенкендорфу необходимо было избавиться во что бы то ни стало.*

Свидетелем был я.)

Свеча десятая

И вновь я в своем каземате. Вновь — обязательные версты от двери до окошка, Библия, кашель, щи дважды в день и вполне дисциплинированные крысы. На подкормку приходят строго по команде, когда постучу. А потом — по норам, и не видно их. До следующего моего приглашения.

> …Не бойтесь одиночества, дети мои. Весь мир одиночество самым тяжким наказанием полагает, и для очень многих оно и впрямь ужасно. Но надо себя преодолеть, тогда оно из наказания способно превратиться в самоуглубление. Высшую форму существования самодостаточной личности. Вспомните древних философов, святых отшельников, мудрых монахов-затворников. Если ты умеешь размышлять, сам себе вопросы задавать и отвечать на них, спорить сам с собой, а в спорах сих новые истины открывать, ты – самодостаточен и никакой каменный мешок тебе не страшен. Одиночество снаружи куда легче одиночества внутри,

если душа твоя научена трудиться…

Странно, но, думая обо всем, что только в голову приходило, я ни разу не только не задумался о последнем свидании со своим дознавателем, но и вообще не вспоминал о нем. Его высокопревосходительство генерал Бенкендорф настолько прочно вбил в меня два основных вопроса, на которые ждал ответов, что все остальное представлялось мне лишь отвлекающим или, наоборот, побудительным маневром, чтобы подтолкнуть меня к этим ответам. Своего рода шенкелями представлялось, посылающими меня на двойной прыжок. Вот почему я напрочь выбросил из головы последний допрос, а заодно и свою собственную подпись, впервые с меня востребованную.

…Я размышлял о личности. Не о ее влиянии на историю или там общество, а на ее зарождение, становление, рост и осознание самою себя таковой. То ли потому, что я возгордился, ощутив в себе зачатки ее, то ли из-за душою расслышанных слов отца поняв вдруг, что я есть не просто говорящее, кое-как соображающее и даже немного размышляющее двуногое

животное со вложенной в меня душою Божией, а некое звено между прошлым и будущим. Меж дедами и внуками, меж «Я» и «МЫ»: семья, род, клан, если угодно. А поняв это, понял и то, что коли звено я, то, стало быть, должен, обязан пред прошлым и будущим быть крепким, прочным и – без единого ржавого пятнышка. Ни внутри, ни снаружи.

Вероятно, в этом и заключено содержание чести. Не внешней, не для показа другим, а безупречной прежде всего для цепочки рода собственного. Для всех предков и всех правнуков, ибо тем я умножаю общую копилку внутренней силы рода своего, а не заимствую из нее на потребу дня сегодняшнего. Признаю, путано излагаю, но сейчас, сейчас соображу.

Солдаты любят говорить, что-де «на миру и смерть красна». Они – крестьяне, и мир для них – община. Дворянин так никогда не скажет, поскольку «красота» гибели нисколько не уменьшается для него и при гибели в одиночестве, один на один с врагом. Например, на дуэли. Почему такое различие в оценке собственного

достоинства? Не потому ли, что дворянин никогда не бывает сам с собой наедине? Он обладает исторической памятью, коли родители не поленились вложить ее ему в детстве. Крестьянин лишен этого: далее деда он вряд ли кого помнит. Да и нет нужды у него запоминать их, потому что они делали то же самое, что делает он: трудились на господской ниве до седьмого пота.

Историческая память – основа доблести потомков. Родник чести их, достоинства, гордости и отваги. И если мужик в силу каторжного однообразия труда своего лишен возможности черпать из прошлого примеры особого служения Отечеству, то дворянин не только имеет такую возможность, но и обязан приумножать ее всю свою жизнь для передачи детям своим и внукам своим очищенного и углубленного им лично источника родовых традиций и примеров. А на это способна только личность.

Так что же тогда такое – личность?

Личность есть человек, внутренне, ду-

шою своею осознавший себя как звено истории рода своего, а следовательно, и Отечества в целом.

Вот о чем размышлял я в каземате Петропавловской крепости. Размышлял путано и непоследовательно после странного допроса с подписью допросного листа. И записал тоже путано и непоследовательно, потому что не дано мне способности ясно излагать мысли свои. Ни в беседах, ни на бумаге тем паче. Это в уме они ладно складываются, а в яви – прощения прошу. И нить рвется, и слов не хватает. Ну, уж как есть, дети мои…

А так — в действительности, не в раздумьях — ничего не происходило, пока ручьи не потекли. Но зажурчали ручьи — и распахнулись двери каземата.

— Собирайте вещи, Олексин.

— Куда?

— Куда повезут.

«Сибирь!.. — почему-то билось у меня в голове, пока собирал я свой скромный скарб. — Сибирь…»

Сунули в зашторенную карету, повезли. Со

мною в ней какой-то немолодой капитан трясется, вздыхая и охая. На козлах рядом с кучером — жандарм, позади… Нет, никого вроде позади нету. Значит, не под конвоем везут, а «в сопровождении». Значит, не в Сибирь, слава Тебе, Господи!.. Не в Сибирь!..

Из Санкт-Петербурга выехали и неспешно куда-то затряслись. Неспешно лошадей на станциях меняли, неспешно молчаливый капитан меня обедами кормил, угрюмо отмалчиваясь на все мои вопросы. И на третьей, что ли, станции я наконец-то сообразил, что едем мы прямехонько во Псков.

— Во Псков путь держим? — спросил.

Вздохнул капитан. Весьма недовольно.

— Во Псков, во Псков. Оставьте вопросы свои, не желаю я разговаривать. Ни разговаривать, ни отвечать даже. У меня — жена, дети, год служить осталось…

До самого Пскова ехали молча. А перед ним на последней станции задержались по воле угрюмого сопровождающего моего, все помыслы которого в одном девизе заключались: «Абы дослужить». И — как понял я позднее — для того лишь задержались, чтобы въехать в город в синих весенних сумерках.

Ну, наконец приехали. Думаете, в тюремный замок? Я тоже так думал, а оказалось — на гарнизонную гауптвахту.

И я вздохнул с огромным облегчением. Гауптвахта — это все-таки армия. А не жандармский голубой корпус.

Сопровождающий меня под расписку начальнику гауптвахты сдал — тоже, кстати, капитану и тоже — немолодому. И укатил в своей карете восвояси, едва кивнув мне.

— В чем дело, капитан? — спрашиваю, когда меня начальник лично доставил в очередной каземат для строгого содержания. — Меня ведь к вам — прямо из Петропавловки.

— Знаю, Олексин, — вздохнул он. — Приказано содержать вас на строгом режиме, но на полном армейском довольствии. Прогулки запрещены, и разговоры с вами — тоже. На сколько времени, мне неизвестно. Так что прошу потерпеть.

И вышел, дверь снаружи заперев на висячий замок, что я определил натренированным ухом своим.

Свеча одиннадцатая

Свеча горела. Толстая, армейская. И каземат тоже был армейским: из кирпича, а не из камня. Окно забрано решеткой, такую бы я согнул, даже ослабев на жандармских харчах. Каземат — сухой, койка — армейская. С армейским одеялом, офицерской простыней — впервые! — и подушкой с чистой наволочкой. Все это я мгновенно оценил, уже немалый опыт имея, а оценив, окончательно удостоверился, что жандармы от меня отступились, возвратив в армию. Разбирайтесь, мол, сами.

Почему? Почему же они меня из лап своих мохнатых выпустили?..

Вот эта непонятность и мешала радости моей. То есть я ее, конечно, ощущал, но не осознавал, что ли. Мерил очередной каземат шагами и думал, думал. Вспоминал, сравнивал, понять пытался.

Меня терзало полное непонимание причин того, что вдруг произошло. Может быть, арестовали Пушкина и я стал им больше не нужен? Нет, это вряд ли. Пушкин надписи «На 14 декабря»

и в глаза не видал, доказательств противного у жандармов нет, и тут им без меня никак не обойтись. Тогда что же? Моим объяснениям поверили, посадив в кутузку патриота коннопионера? Тоже маловероятно, доносчиков они не сажают: кто же тогда доносить-то им станет? Вступился кто-либо за меня? Но кто же вступится, когда батюшка мой во втором ударе?.. Может, с батюшкой что приключилось? Может, батюшка мой… помер батюшка, потому и отпустили меня?.. Нет, нет, быть того не может, потому что батюшку в Санкт-Петербург перевезли: Бенкендорф сказал, что матушка моя его лично о свидании просила… Нет, конечно же нет. Не потому я сейчас во Пскове оказался.

А тогда — почему? Почему я во Пскове да еще на армейской гауптвахте?..

Совсем запутался я тогда, но вовремя правильное решение выбрал. Опять себе приказ отдал, отцовский завет исполняя. Лег и уснул. Даже без сновидений.

Утром — по заведенному порядку. Молитва, три версты парами шагов по кирпичному полу. Бритье на ощупь.

А тут и завтрак солдаты принесли. Добрая миска гречневой каши с конопляным маслом,

хлебушка вволю, солдатская кружка… крепким чаем заваренная. Чаем! Глазам своим не поверил — вкусу поверил. И аромату. Откуда? Солдатам китайский чай не положен…

Оттуда. Из братства офицерского, вот откуда. Всхлипнул я, признаться. Не удержался…

Четыре дня и пять ночей так отсидел. Просох изнутри, кашель на убыль пошел. И отъелся малость. Не столько, может быть, отъелся, сколько чувство постоянного голода утолил. Привел, так сказать, организм свой в некое равновесие.

А днями опять крыс обучать пришлось. Но я уже имел опыт: одну подстерег, ботфортом ее о стену шмякнув, другие опасаться стали. И начал я их заставлять появляться передо мною только по моему сигналу. На кормежку. Поели хлебушка и — марш по норам. Быстро привыкли, твари сообразительные.

Да, так на четвертый день — после завтрака уже — распахивается дверь. Начальник гауптвахты. Тот самый, что меня встречал.

— Сегодня к четырем пополудни приказано доставить вас под конвоем в полк. На суд офицерской чести.

— На суд?..

Помолчал капитан. Сказал тихо:

— Я карету для вас достану, Олексин.

И вышел.

Арестанту — карету. Чтоб не вести меня через весь город под конвоем. Единственное, что он мог для меня сделать.

Кроме крепкого чаю, разумеется.

> …Ох, милые, любезные сердцу моему потомки мои! Не могу я писать о суде чести. Не могу. Я – офицер, сын офицера, внук офицера, правнук… ну и так далее. Я – оттуда родом, из офицерского братства России. Я никогда законов его не нарушал, ни в чем я не повинен пред товарищами моими, но… Но приказано было сие свыше, как я потом узнал. Свыше приказано, а посему и судьба моя была предрешена. Приговорен был я еще до решения офицерского суда… А потому просто перескажу вкратце, в чем меня обвинили да чем все закончилось.

Обвинили меня ни много ни мало как в противуправительственной деятельности. А заключалась она в том, что я вел со своими солдатами разлагающие и смущающие души их беседы о

воле. О том, что они — граждане России, а не холопы помещиков своих, и дети их тоже будут гражданами, а не рабами. И все однополчане мои, друзья и сослуживцы помалкивали, головы опустив. Один только юный прапорщик княжич Лешка Фатеев, неизвестно за какие провинности в наш армейский полк переведенный, вскочил и выкрикнул:

— Как же не стыдно вам, господа офицеры! Да Олексин честнее любого из всех, здесь присутствующих!

Осадили его. Он не соглашался, с места вскакивал. Тогда приказали тотчас же покинуть собрание. Вышел Лешка Фатеев весьма демонстративно. Милое мое «ваше сиятельство»…

Двое штаб-офицеров выступили, как и полагалось им выступать. Пробурчали что-то маловразумительное, осуждая непозволительную революционность мою. Потом поспешно перерыв объявили, вроде как бы для совещания. И во время этого перерыва меня наш полковой врач Аристов Семен Семенович к себе в кабинет увел. Для того, полагаю, чтобы я с офицерами не якшался.

— Батюшка ваш, поручик, болен весьма опасно.

— Что значит «весьма опасно», Семен Семенович?

— А то значит, что разрушительный удар, голубчик, — вздохнул Аристов. — Я осматривал его, когда Наталья Филипповна, матушка ваша, из поместья в Санкт-Петербург его везла. Правда, он — в полном сознании, но речь его измята изрядно.

— Есть ли надежда?

— Надежда есть, как врач вам говорю. Ему покой нужен, полный покой. Я просил командира полка повременить с этим судом, чтобы больного поберечь от неприятностей, но… — Семен Семенович беспомощно развел руками. — Сказал, что не в силах он исполнить сие. Так что мужайтесь, поручик, мужайтесь.

— Но, Семен Семенович…

— Мужайтесь, Олексин, — подавив вздох и, как мне показалось, весьма значительно сказал наш добрый полковой врач.

Тут кликнули, что пора возвращаться к продолжению заседания, и мы прошли в залу.

Приговор зачитали как-то чересчур уж поспешно. Я стоял, и вместе со мной в зале стояла гробовая тишина. А высокие судьи ни разу голов не подняли, а если и поднимали их, то изо всех

сил смотрели мимо меня.

Суров был приговор. Лишение офицерского звания и ссылка в действующую на Кавказе армию рядовым солдатом.

Кажется… Да нет, что уж там «кажется», когда — точно. Точно в глазах у меня потемнело, сердце вроде остановилось, и… и качнулся я даже.

— Он же грохнется сейчас! — вскочив, крикнул подпоручик Гриша Терехин.

Бросился ко мне, поддержал. Кто-то воды принес. Выпил я полный стакан, и все вроде бы назад вернулось.

— Благодарствую, — говорю, — господа офицеры.

А председательствующий, молчавший во время этой легкой сумятицы, дочитал последнюю строку приговора:

— Приговор офицерского собрания вступает в силу после Высочайшего его утверждения Государем Императором. До сего утверждения определить поручику Александру Олексину содержание на гарнизонной гауптвахте.

Вот и все. Крест на военной карьере. Но я о себе не думал. Я думал о бригадире своем и о словах Семена Семеновича Аристова, полкового врача: «Ему покой нужен. Полный покой».

Шум поднялся среди господ офицеров. Все громко говорили, что приговор сей неоправданно суров, а вернувшийся княжич Лешка Фатеев пытался собирать подписи однополчан под петицией государю. Но тут вошел караул, и я был препровожден на гауптвахту. Правда, в карете, а не пешком через весь город Псков.

Как уж там себя чувствовал, сами представьте. Представьте, что вы только что услышали смертный приговор собственному отцу с отсрочкой казни на неопределенный, но очень небольшой срок.

И все же внутренне не верил я, что государь может утвердить такое постановление полкового офицерского собрания. Полагал, что командиры полковые со страху рубанули по самому высшему разряду — в надежде, что наверху отменят их решение, а усердие — запомнят. Для России подобные случаи уж давно и не случаи, а норма. Перестараться куда как безопаснее, нежели недостараться: этот закон неписаный не только среди чиновников популярен весьма, но и всюду, где приходится самим решения принимать. За перегиб у нас журят с улыбкой, за недогиб — с отмашкой бьют.

Так думал я о своей судьбе: человек и за бы-

линочку хватается, когда в пропасть летит. Так что особо беспокоиться у меня причин вроде как бы и не существовало: я их судорожно надеждой драпировал. А вот за батюшку — были, и я о нем куда больше тогда думал, чем о себе самом.

Но порядку не изменил ни разу. Подъем с зарею, молитва, версты, бритье…

Не помню уж, сколько дней так прошло — мало, очень мало! Только однажды распахнулась дверь темницы моей, и вошли судьи мои во главе с командиром полка. А за ними — и наш псковской губернатор. И сердце у меня оборвалось: неужто с батюшкой что?..

Слава богу, нет!..

— Батюшка ваш чувствует себя неплохо, — торопливо сказал командир полка, лицо мое увидев.

А заместитель его тотчас же добавил, что меня в Москву отправляют, поскольку именно там формируются команды в действующую на Кавказе армию.

Стало быть, убеждены были, что государь их решения не отменит. Заранее убеждены!

— Так что мы, так сказать, попрощаться за-

шли, — пояснил секретарь суда.

Хотел я на прощанье от всей души послать их… Покуда не солдат еще. И рот уж раскрыл, да не успел. Губернатор перебил, какую-то бумагу достав:

— Александр Ильич, ко мне документ поступил, вполне официально заверенный, из коего следует, что даруете вы полную свободу своему человеку Савве Игнатову. Вы подтверждаете это?

— Да.

Только и смог из себя выдавить.

— Я так и подумал, а потому и вольную ему оформил, как положено. Извольте подписать.

Я подписал. Полную волю молочному брату. Клиту моему.

— Прощайте, Олексин. Дай вам Бог…

Господа офицеры честь мне отдали, губернатор обнял, и все удалились друг за другом гуськом.

И тотчас же в открытую дверь вошел молоденький прапорщик:

— Приказано доставить вас в Москву.

Свеча двенадцатая

В Первопрестольную мы с прапорщиком ехали в кибитке, которую губернатор мне предоставил.

Я больше молчал, прапорщик трещал, а кучер кнутом щелкал да лошадь кучерскими словами подбадривал. Так и прибыли на московскую гауптвахту. Не в каземат, а в охраняемую казарму, где сидели солдаты. И все — без амуниции.

А меня попросили только отстегнуть шпоры: устав, мол, требует. И разместили в огороженном закутке той же солдатской казармы. Там уже находились двое солдат, вытянувшихся при появлении дежурного офицера вместе со мною.

— Здесь вам надлежит ждать, когда соберется команда на Кавказ, — сказал дежурный и вышел.

А солдаты не садятся. Смотрят на меня во все глаза.

— Здорово, — говорю, — братцы. Теперь мы с вами — в одном строю, и я такой же рядовой, как и вы. Так что не вскакивайте.

Помолчали они, переглянулись. Потом старший спрашивает:

— За что же вас, ваше благородие?

— За дуэль, ребята, — не объяснять же им про «Андрея Шенье». — Так что зовите просто Александром Олексиным. Или — Александром Ильичом, если вам так удобнее.

Познакомились. Старший — Пров Сколышев

— за то на Кавказ угодил, что сапоги казенные пропил. Служил в Москве, тихо и послушно служил, а тут земляк заявился да прямо с порога и брякнул:

— Дуньку твою барин на вывод продал.

— Сильно любил я ее, — рассказывал Пров. — И она меня жалела, ждать с солдатчины обещалась. Да не понравилась, видать, барину любовь наша. Меня — в солдаты, ее — неизвестно куда, неизвестно кому. Ну и запил я с горя черного. И казенное имущество на штоф горькой сменял.

Это уж позднее, когда привыкли они ко мне. Крестьяне долго присматриваются, нескоро привыкают. А солдаты — те же крестьяне, только в военной форме.

— А тебя за что? — спрашиваю у второго.

Молодой еще, глаза ясные и одновременно — лукавые. Вот такой парадокс. Егором, помнится, звали.

— Да по глупости.

Засмущался, а Пров пояснил:

— Кровь взыграла, весну почуяв. Денщиком у майора служил да и с горничной в его же доме перемигнулся, а потом и вовсе к ней в каморку залез. Ну а майор тот, видно, тоже не промах насчет той горничной оказался, вот, стало быть,

и не поделили они жаркую бабенку. В чем тебя майор обвинил?

— Да будто я у него табакерку украл.

— Вот-вот, — вздохнул Пров. — Как от человека избавиться? Обвиновать его, и избавишься.

Обвиноватить и избавиться, подумал я, собственную судьбу представив.

По пути из Пскова в Москву под болтовню зачарованного собственной юностью прапорщика я, как мне показалось, понял, что со мною произошло. А то произошло, что господам в голубых мундирах никакого «Дела» против Пушкина сочинить так и не удалось. Главный их козырь — то бишь я — им в масть не пришелся, как они карт ни передергивали. Да еще два свидетеля — Савка, братец мой любезный, и честный станционный смотритель — подтвердили мои слова, что я выиграл у пионер-поручика список «Андрея Шенье», а не он у меня, и «Дело» развалилось. И чтобы не болтал я по гостиным да салонам об их способах признания осклизлыми казематами вышибать, они раздули мои беседы с солдатами чуть ли не до государственной измены. Похоже, что «обвиноватить да и избавиться» и есть та правовая основа, на которой твердо стоит все российское чиновничество.

В России судьба человека — нуль в сравнении с благополучной карьерой. Нуль. Ничто.

Я и на солдатской гауптвахте не изменил своим привычкам. Вставал с первыми проблесками, вслух читал «Отче наш», отмеривал версты и брился на ощупь каждый день. Солдаты поначалу снисходительно приняли все это за очередное барское чудачество — я ведь в офицерской форме ходил, хотя порядком таки уже обтрепанной, — а потом и самого меня приняли таким, каков я есть. Даже с уважением за малопонятное постоянство мое.

А форма сильно пострадала, когда нас какие-то доски разгружать направили. Правда, дежурный офицер сказал, что меня приказ сей не касается.

— Нет уж! — говорю. — Коли с солдатами я, то и лямка моя.

И пошел грузить. И несмотря что ослаб, что кашель порою донимал, сила еще осталась. Было что показать, и я — показал. Один по четыре доски таскал, когда остальные — по три вдвоем. Но — справился, показал силушку, и вся казарма вставала теперь не потому, что форму мою видела, а потому, что содержание мое разглядела.

Вот на этой-то работенке я и порвал мундир. В двух местах и — безнадежно.

— Сымай, — сказал Пров. — Шить-то умеешь, Александр Ильич?

— Не приходилось.

— Ну, тогда учись.

Я глядел, как тщательно и точно он подшивает. С изнанки, края подогнув. Прочно, в две нитки, мелкими стежками.

— Ловок ты, Провушка.

— Солдату без этого никак невозможно, Александр Ильич. Я тебя научу, пригодится.

Казарма наша постепенно наполнялась. Офицер объяснил мне, что, как только соберется около сотни, нас направят пешим порядком в Новочеркасск. И — далее, куда там велят.

— И долго шагать?

— Двадцать пять верст в день. Вот и считайте.

Считать мне не хотелось, поскольку в своих ботфортах, порядком уж в казематах истоптанных, я бы и двенадцати верст не прошагал. Да и Пров это подтвердил:

— Обувку тебе менять надобно, Александр Ильич, а то дале городских застав и шагать не в чем будет. Солдатские сапоги добывать, портянки хорошо бы бязевые.

— Так теплынь уже.

— А пот с ног кто забирать будет? Портянка.

Коли не заберет она, то и не дойдешь. Ноги до язв сопреют, шага не ступишь. Только без денег солдатские сапоги отдельно от всей формы не достать.

А денег у меня с собою не было: не знал же, сколько просижу. Я дежурному офицеру доложил, а он посоветовал письмо написать, сказав, что оказия в Петербург намечается.

Я написал матушке. Расспросил о здоровье батюшки, о своем солдатском житье доложил и попросил прислать денег.

И продолжал пребывать на гауптвахте в ожидании то ли похода в Новочеркасск, то ли государева решения. Рыл вместе с остальными проштрафившимися солдатами какой-то котлован, грузил землю на подводы и даже два раза дежурил по кухне, таская кашеварам воду. Не скажу, чтобы работы эти особо тяготили меня, но ботфорты поползли уже прямо на глазах.

— Починим, — сказал Пров. — Учись, Александр Ильич, в солдатчине все сгодится.

И я учился. К тому времени Егорку перевели в особую казарму, где собиралась команда для кавказской армии. И в закутке мы остались с Провом вдвоем.

— Гляди, Александр Ильич, и запоминай, как

деревянные гвоздочки делать. Повдоль, а не впоперек, и лучше всего — из осины. Осина гнить не любит.

Чинить собственную одежду я под руководством Прова уже наловчился. И даже приобрел привычку осматривать ее перед сном и тут же латать те прорехи, которые обнаруживал.

— За солдатом его собственный унтер-придира приглядывает, — говорил Пров. — Больше некому.

И вот как-то после работы появляется дежурный офицер:

— Пожалуйте со мной, Олексин.

Я сразу насторожился: неужто свобода?..

— С вещами?

— Нет. Свидание у вас.

— Свидание, прапорщик? С кем свидание?

Но прапорщик не ответил. И внимания не обратил, что я обращаюсь к нему как-то не посолдатски, хотя числюсь рядовым. Стало быть, бумаги государевой, лишающей меня офицерского чина, они еще не получили…

— Сашенька, свет мой!

Полиночка. С плачем бросилась на шею, да и у меня, признаться, запершило в горле. Обнял ее, расцеловал, шепнул:

— С батюшкой что? Жив?

— Жив, Сашенька, жив. — Полиночка вздохнула. — Хотя…

И замолчала.

— Что — хотя?

— Плохо ему, Саша. Потому-то маменька при нем и осталась, а послала меня. Я деньги привезла.

Свидание нам в час определили. И весь час мы друг друга расспрашивали и друг другу отвечали. Господи, как же незаметно тот час пролетел…

— Я буду ждать, Сашенька. Терпеть, тосковать, молиться и ждать. Дай тебе Бог раны легкой.

«Или — чтоб наповал».

Но это я, разумеется, про себя усмехнулся.

Уехала Полиночка.

На другой день… Нет, через день после этого свидания меня прямо с работ вытребовали к начальнику гауптвахты.

— Государь изволил наложить на приговор офицерского суда резолюцию «Согласен».

Сжало мне сердце, аж глаза закрыл от боли. Постояли мы так, помолчали. Потом отпустило. Я сам с себя погоны снял и на стол положил.

— Разрешите обратиться, господин майор?

— Оставьте это для строя, Олексин, — вздохнул

майор. — Что желали узнать?

— О форме солдатской. Моя совсем в ветхость пришла.

— Вас сегодня же на сборный пункт переправят, там и форму выдадут. В карете поедете, Олексин, в карете. Не вести же вас под ружьем через всю Москву.

И в тот же день меня в санитарной карете перевезли в казармы над Москвой-рекой, где комплектовалась команда в действующую на Кавказе армию…

Свеча последняя

По прибытии сопровождающий прапорщик передал меня с рук на руки начальнику сборного пункта. Немолодому и невеселому подполковнику с диковатым шрамом на щеке.

— С пушками знакомы?

— Так точно, господин подполковник.

— Рано вам, Олексин, тянуться в струночку. Успеете еще. Хотите в горную артиллерию?

— Нет.

— Почему? — удивился начальник пункта. — И рост у вас, и силенка подходящая. Да и легче в артиллерии служится.

— Мне солдатский «Георгий» нужен, подполковник, честно вам скажу. А в пехоте его куда быстрее заслужить можно, нежели рядом с пушкой.

— Быстрее, но опаснее. — Он дотронулся пальцем до шрама. — Это оттуда память, Олексин. Там совсем иная война. Особая. Не такая, о которой баллады слагают, и не такая, о какой в Корпусе рассказывают.

— Мне терять нечего.

— Отвагой прощения добиться решили? Молодецкое решение, хотя и рисковое весьма. Зачислю в первую роту. С Богом, Олексин.

И неожиданно обнял меня. Тепло, по-отцовски.

И пошел я в первую роту. В ней не работали, в ней — учились от подъема до отбоя. Строевой, штыковому бою, стрельбе залпами, стрельбе плутонгами и даже стрельбе в одиночку, по мишеням. Это меня удивило, потому как по мишеням в одиночку стрелять в армейских полках не обучали. Видно, и впрямь Кавказская война иной была, не такой, как Отечественная.

Уже на второй день меня от общих занятий освободили. И шагать в строю я умел, и в штыковом бою равных мне не оказалось, и три мишени на первых же одиночных стрельбах я в самое «яб-

лочко» поразил. Назначили старшим в отделении из десяти солдат, и теперь я их учил под общим наблюдением нашего ротного командира.

Сухой был поручик. Может, от природы; может, по семейным обстоятельствам; может, потому, что в чине застрял. Ему при его годах уж в майорах быть бы полагалось, никак не меньше. Меня он за разжалованного офицера не признавал, даже наедине ни разу улыбки не выдавив. Придирался, как ко всем, но поводов для этого я ему не давал. Я никогда особо не стремился быть отличным офицером — все шло как-то само собой. Но стать отличным солдатом цель перед собою поставил. И служил не за страх, а за совесть.

Так продолжалось дней десять-двенадцать, что ли. Я, помнится, солдат штыковому бою учил, когда прибежал вестовой и что-то сказал поручику.

— Олексин!

Я подбежал, вытянулся:

— Так точно, господин поручик!

— К подполковнику. Бегом!

Помчался я вслед за вестовым. Прибежал, представился подполковнику по всей форме. Он по всей форме рапорт выслушал и велел пройти за ним.

Зашли в канцелярию. Он плотно дверь при-

крыл и — мне, весьма удивленно:

— Приказ получил, Олексин. Вам разрешается следовать до Моздока вольно, в статском платье. Срок — месяц, но от маршрута отклоняться категорически запрещено.

— А на чем следовать? На почтовых?

— Нет. Вестовой сейчас ваши вещи доставит и проводит до постоялого двора. Там вас тарантас с кучером ожидает.

— Тарантас?!

Подполковник вышел, не ответив. Отдал приказ вестовому, вернулся. Снова дверь прикрыл.

— Чудеса! Деньги-то у вас есть на дорогу?

— Есть.

Ничего я не понимал, и что-то мне не соображалось тогда. Стоял и глазами хлопал.

Подполковник полез в шкафчик, достал бутылку водки и два стакана. Мне полный налил, а себе — на донышке.

— Ну, Олексин, это ведь что-то значит, а? Дай-то Бог. Дай-то Бог тебе, Сашка Олексин. Ты же для меня не кто-нибудь. Ты — сын моего первого командира Ильи Ивановича.

Чокнулись мы и выпили. Зажевали хлебушком. Подполковник все головой качает:

— Что бы это значило, а? Может, государь пере-

думал? Приедешь в Моздок, а там — офицерские погоны ждут.

— Не знаю, — говорю. — Только вряд ли.

А сам улыбаюсь на все зубы. И от хмеля, и от счастья солдатского.

Вестовой вернулся с моими вещичками. Обнялись мы с подполковником.

— Спасибо вам, подполковник. Век не забуду!

— Дай тебе Бог, сынок…

И пошли мы с вестовым на постоялый двор. Где-то на Спасской заставе. Нашли наконец.

— Иди прямо к хозяину, — говорит вестовой. — А я пошел. С Богом!

— С Богом, — говорю.

Почему у меня сердце забилось вдруг? Предчувствие, что ли?..

Взбегаю на крыльцо, распахиваю дверь. Хозяин с каким-то молодым бородачом чаи гоняют. Я и рта не успел раскрыть, как вдруг вскакивает бородач:

— Александр Ильич?!

И — мне на шею.

Савка. Молочный брат. Клит мой верный.

— За такую встречу — и штоф не во грех, — улыбается хозяин, вставая из-за стола.

— Не твоя то забота, Поликарпыч! — кричит Савка и бросается в угол.

Гляжу — там сундучок мой походный, погребец, узлы какие-то, корзины. А Савка из сумки бутылку шампанского достает.

— Грешно, конечно, такие денежки из стаканов пить, но — надо. — Открыл бутылку, разлил и — вдруг: — Шампанское это я на свои кровные купил. Затем купил, Александр Ильич, чтоб моим первое слово было. И слово то — спасибо тебе великое и за меня, и за деток моих будущих. Вольный ведь я теперь. Вольный!..

И поклонился мне в пояс. Я обнял его, расцеловал.

— Как случилось-то, что ты здесь оказался, Савка?

— А так случилось, что разыскал меня офицер из полка. Прапорщик Фатеев…

— Княжич?

— Да ну?.. Не знал я, а ему ведь «ваше сиятельство» полагалось говорить. Прощения попрошу, коли свидимся. Я во Пскове постоялый двор приглядывал, хотел извозом заняться, как отец мой. Ну и в полк наведывался, о вас спрашивал, вот княжич и пришел, стало быть. «Иди, — говорит, — сейчас же к командиру полка. Об Олексине, мол,

какая-то бумага пришла неожиданная». Я — бегом. Полковник говорит: «Барину твоему, мол, разрешение пришло самому до Кавказа добираться». Ну, я и решил, что вам со мной, пожалуй, сподручнее будет Россию поперек колесить. Так, Александр Ильич?

— Спасибо, — говорю, — брат. Что о батюшке знаешь?

Вздохнул мой Савка:

— Хорошего мало, Александр Ильич, но жив покуда Илья Иванович. Жив…

Наутро выехали мы с Савкой, до зари проговорив. О моих казематах и допросах, об Антоновке и Опенках, о наших матушках и батюшках. И о кишиневской юности нашей. О маме Каруце и цыганах, о Белле и Урсуле, о Раевском, Дорохове, Светле…

— А чего бы тебе не жениться, Савка? — говорю. — Антоновкой управлять будешь, пока я солдатчину свою не отслужу. Любую бери, какая глянется.

— Я сперва на ноги встать должен, — сказал Савка. — Вот ужо дело свое заведу… Да и потом, Александр Ильич, яблочки, тобою надкусанные, мне вроде не с руки подбирать.

И завалился на другой бок. Я рассмеялся, но как-

то виновато, что ли, прямо скажем. И подумал: до чего же глубоко мы их обидели, мужиков-то наших. Лет на двести вперед обидели…

Ну а потом выехали. С утра пораньше.

В бумагах, разрешающих мне проезд, содержалось одно непременное условие. Я был обязан отмечаться во всех крупных городах либо у воинского начальника, либо у губернатора. Но это нисколько не стесняло. Савка прихватил мою статскую одежду, я ехал как помещик Олексин «по служебной надобности», и местные власти не только никаких препонов нам не чинили, но и принимали с размашистым русским гостеприимством, искренне радуясь гостям почти что из обеих столиц разом. А местные помещики и Савку за стол сажали непременнейшим образом. И мы, признаться, не спешили.

А у меня добрую тысячу верст не шла из головы нежданная государева милость. Ведь не бывает же, быть не может, чтобы он — Он! — совсем недавно суровую руку приложивший к судьбе моей, по какой-то причине сам же и облегчить ее решил. Или — согласие дал, чтобы кто-то облегчил, поскольку самой бумаги я так и не видел: выписку из нее мне показали с главным словом «Дозволяется». Нет, кто-то государю напомнил

обо мне, кто-то упросил не добивать уж окончательно потомственного дворянина Олексина пешим маршем поперек России всей. Только так могло быть, только так.

Но тогда — кто? Кто хлопотал за меня, рискуя гнев императорский на себя навлечь? Бригадир мой, любимый и единственный? Нет, не мог он, речи и движения лишенный, никак не мог. Будущий родственник-генерал? Вряд ли, не в его натуре поступок столь энергический, поскольку был он вяловатым и застенчивым, света почему-то не жаловал, сторонился его, из деревенек своих с великой тоской выезжая. Тогда — кто же, кто? Кто, кому заботою я обязан на всю жизнь свою?..

Долго это меня мучило. А потом как-то забылось и улеглось на дно памяти…

В забывчивости этой одна встреча свою роль сыграла, поскольку мысли в растревоженной душе сами по себе на дно не опускаются, а как бы погружаются в нее, оседают, уходят с поверхности, иными тревогами замещаясь. Вот и у меня одно другим навсегда заместилось на какой-то богом забытой станции за городом Воронежем.

Никуда не торопясь, мы и не спешили, как я уже отмечал. Бежали лошадки ленивой трусцой,

поскрипывал тарантас ленивыми скрипами. И мы зевали ленивой зевотой, сменяя друг друга на козлах, чтобы подремать под навесом, прячась от дорожной пыли и жаркого степного солнца. Встречных повозок, а уж тем паче экипажей почти не было. Пропылит пролетка с атаманским местным начальством, с натугой проскрипит чумацкий обоз, да редко когда обгонит почтовая тройка.

А тут — фельдъегерская обогнала вскоре после того, как мы с какой-то станции выехали. С трубачом впереди, нас ревом трубы своей поприветствовавшим.

— Поспешает, — сказал Савка.

— Курьер с пакетом, — согласился я, лежа под навесом. — Теперь уж не догоним.

Догнали.

Часа через два, что ли, подъезжаем к следующей почтовой станции — стоит фельдъегерская тройка. Трубач с кучером разговаривают, а самого курьера не видно.

— Чего застряли, ребята? — весело спросил Савка. — Или ось пополам?

— Видать, вас дожидаемся, — вздыхает кучер.

— Не вы ли господин Олексин? — трубач у меня спрашивает. — Так в избу ступайте.

«Вернуть меня приказано!..» — почему-то подумал я.

И сразу же в избу прошел. Там — подпоручик, нервно готовый к выезду. Перчатками по ладони похлопывает.

— Господин Олексин? На предыдущей станции справился и понял, что вы впереди на один перегон. Извините, продремал, вот и разминулись. Депеша вам.

Разорвал я конверт, прочитал... И сел на скамью. Ноги мои подкосились.

— Что, неприятное известие? — спросил подпоручик.

— Батюшка мой скончался.

— Примите мои соболезнования...

Батюшка скончался. Бригадир Илья Иванович Олексин. И нет больше у меня бригадира моего, любимого и единственного. Нет больше...

Свеча погасла...

Кавказ надо мною проклятьем навис

Последняя свеча погасла, а впереди меня ждали только марши. Марши, марши, марши. И отсчет теперь мне придется по маршам своим вести.

Первый марш

Уже за Новочеркасском, что ли… Да-да, на второй станции за Доном мы решили дать коням роздых, перед тем как пустынные степи пересекать. Когда-то здесь ногайцы кочевали, но Суворов беспощадно выгнал их на восток, поближе к калмыкам, а сюда велено было переселить казаков. Но переселялись они неторопливо, и степи успели обезлюдеть и задичать, дав приют лихим татям решительно всех племен и народов. Пустое место всегда сорняками зарастает.

Савка разыскал невдалеке тихую речку с пологими берегами, на которых еще не окончательно высохли травы, где мы и решили передневать. Он поехал туда, а я задержался, поскольку не успел побриться до предложенного нам завтрака.

— Дозвольте, ваше благородие?

Урядник в дверь заглянул. Здесь, в области Всевеликого войска Донского, уже не встречалось станционных смотрителей, обычных для России. Здесь уже были станционные начальники — старослужащие казачьего сословия при непременной шашке на боку и седом чубе из-под сбитой набекрень фуражки.

— Что тебе?

— Барышня вас спрашивает.

— Барышня?.. Какая еще может быть барышня?

— Вчера поздним вечером с почтой прибыла. Почта спешила, а она от скачки растряслась да сомлела, почему тут и осталась. Жена моя в свою половину ее ночевать взяла.

Я вышел в горницу. У стола, весьма нервозно меня дожидаясь, прохаживалась худенькая, более чем скромно одетая девица еле-еле за девятнадцать, коли судить по бледно-перепуганному виду ее.

— Господин Олексин?

Ага, значит, в книгу регистрации проезжающих уже заглянула. Мне такая практичность очень тогда не понравилась, и осведомился я весьма сухо:

— Чем могу служить?

— Спасением, господин Олексин, — шагнула ко мне и остановилась. — Спасением души и чести моей.

Хотя фраза показалась заготовленной, сказано было с такой искренней непосредственностью, что я невольно Полиночку свою вспомнил. Правда, внешне эта девица не весьма ее напоминала — разве что худобой да какой-то болезненностью, — но внутренне они почему-то совместились в моем представлении. Не случись этого — не случилось бы и последующего.

— Мне о вас добрая хозяйка много рассказала. Что холопа своего на волю отпустили, что с самим Пушкиным в больших друзьях состоите, что из-за дамы сердца многое претерпели…

Нет, тут не книга регистрации разоткровенничалась и даже не хозяйка. Тут вчера Савку несло безудержно под хмельные донские выморозки…

— Умоляю. Умоляю вас хотя бы выслушать. Он по пятам преследует меня…

Суетливая робость ее выглядела несколько назойливой, что ли, но я вовремя понял, что за этим — страх. Непонятный, но не приснившийся, а присутствующий. Страх, что ее, как всегда, не выслушают, как всегда, отмахнутся от нее и, как всегда, не поверят. И сначала ее следовало

успокоить.

— Прошу вас сесть.

— Да?..

Она смотрела недоверчиво. Видно, гоняли ее все, на кого надеялась она, кому поверяла тайны свои. Но присела на краешек скамьи, всем телом подалась вперед и уже хотела что-то сказать, но я не дал ей возможности:

— Разрешите представиться. Олексин Александр Ильич.

Конечно же она знала не только, кто я таков, но и как меня зовут. Но мне хотелось продолжать беседу в менее напряженном регистре.

— Подколзина Вера Прокофьевна. Отец — из служилых дворян.

Из служилых — значит, безземельных. Таковых много было в наши времена, особенно — в южных губерниях. Они достались в наследство от турецких походов, когда казакам, а порою и солдатам широко жаловали дворянство за особую удаль в бою, но — как правило — без земли. И горше всех приходилось дочерям этих служивых: знакомств никаких, образование случайное и приданого нет.

— Меня взяли компаньонкой в добрый, хороший дом к добрым, хорошим людям. Но супруг

моей патронессы приехал в отпуск и… — Вера опустила глаза, но продолжила: — Он начал преследовать меня. Нагло, не стесняясь больной жены. И мы решили, что я должна уехать. А ехать мне совершенно некуда, потому что отец мой погиб на Кавказе. Но моя хозяйка добыла мне письмо к бывшему начальнику отца, генералу Граббе. И я поехала, но этот человек, майор Афанасьев, оставил жену и помчался следом. В Новочеркасске он настиг меня, я чудом отбилась и бежала, а деньги и подорожная остались у него…

Рассказ ее замирал, замирал и скончался окончательно. Может быть, потому, что я не задавал вопросов.

— Вот…

И безнадежно вздохнула.

— Ваш преследователь еще не появился?

Она очень обрадовалась, что я заговорил. Даже несмело улыбнулась:

— Почтовых ожидают к вечеру, и он наверняка приедет с ними. Спасите меня, умоляю…

— Каким же образом я могу вам помочь, Вера Прокофьевна?

— Мне необходимо уехать до прибытия почтовой тройки. Но… Простите меня, бога ради, мне

нечем оплатить прогон.

Я поверил ей сразу. Не словам — состоянию ее. Состояние души сочинить невозможно.

— На станции есть оказия?

— Да. И как раз — до Кизляра.

— Собирайтесь, Вера Прокофьевна.

Я нашел урядника, оплатил прогоны до Кизляра.

— Поверили ей, стало быть?

— А ты — не поверил?

— Кто ее знает, — урядник пожал плечами. — Тут — середка: донцы еще верят, а кубанцы — нет.

— Что ж так?

— Тут война особая, господин хороший.

Мне совсем не хотелось слушать благодарственные возгласы и видеть благодарственные слезы, и я ушел к Савке. Он уже пустил на траву стреноженных лошадей, расстелил под ракитою рядно, и мы славно провели время до вечера. А возвращаясь, еще издали расслышали громкий и явно нетрезвый рык:

— Как смел отправить ее без подорожной!..

Майор Афанасьев был коренаст, волосат и уродлив, как человекообразная обезьяна. Увидев меня, заорал в новом приступе яростного

бессилия:

— Расчувствовались, господин благодетель?

— Знаете, за что я сослан на Кавказ, майор? — Я улыбнулся этой горилле, как закадычному другу. — За дуэль. Так что укротите свой нрав, пока не поздно.

— Она обокрала мою жену в благодарность за приют! — взревел майор. — Любопытно узнать, чем она расплатилась с вами…

Я ударил его по щеке. С силой и не раздумывая. Он отшатнулся и стал на глазах наливаться кровью. Как клоп.

— Я вас предупреждал, майор.

Он молча пошел к выходу. У дверей обернулся:

— Я это запомню, Олексин. Запомню!..

И вышел, хлопнув дверью. Как выстрелил.

Второй марш

В Моздоке меня, так сказать, сняли с марша, приказав явиться в казарму сборного пункта, получить форму и… И тянуть потную лямку рядового стрелка в пока еще неизвестном полку.

Времени для прощания с Савкой мне дали совсем мало. Сидели в трактире, пили кизлярское — кстати, очень хорошее вино, рекомендую. Брат

мой молочный плакал чуть ли не в голос, а я — еще в статском, еще на час еле-еле отпущенный для прощания — завидовал, что и зареветь не в состоянии.

— Может, мне здесь остаться, Александр Ильич? Может, квартиру сниму, так хоть поночуете когда.

— Матушка моя одна там, забыл? Я ей письмо напишу, чтоб определила тебя официально, с хорошим жалованьем, управляющим всеми нашими деревнями и землями. Справишься?

Савка громко высморкался в платок, утер слезы. Подумал, вздохнул и сказал:

— Можешь не сомневаться, Александр Ильич.

И потому, что на «ты» ко мне обратился, я понял, что решение такое он и сам уже принял, и с делом справится. Парнем… Да нет, уже не парнем — мужиком он был грамотным, толковым и, главное, соображающим.

— Возьми у трактирщика бумагу и чернила.

Написал я письмо, выпили мы по последней, обнялись по-братски, троекратно расцеловались…

И пошел я в казарму. Форму получать.

Служба моя началась с полного безделья и ожидания, когда подойдут маршевые роты. С без-

делья потому, что начальник сборного пункта, пожилой капитан, без левой руки, сказал:

— Нечему вас учить здесь, Олексин. А на вольное поселение отпустить права не имею.

— Тогда позвольте с солдатами позаниматься. Хотя бы стрельбой, что ли.

— Нет, Олексин, не позволю. Вам служить с ними, а ну как ненароком обидится кто на ваше учение? И не просите, здесь — война особая. Рассыпная война, я бы определил.

Проболтался я так с неделю и чуть умом не тронулся, ей-богу. Существую по солдатскому уставу, а бездельничаю — по офицерскому: солдаты занимаются, а я — хоть гуляй вокруг них, хоть валяйся на нарах. Ну решительно нечего делать. И я вновь пошел к однорукому капитану.

— Понимаю, — проворчал он. — К лекарю нашему пойдете в помощники? От него вчера очередной помощник сбежал, так что вакансия свободна.

Вот так и сказал: «Вакансия свободна». Они тут вообще странно разговаривали, на Кавказе, но не в этом дело.

Мне бы, дураку, спросить, с чего вдруг очередной помощник сбежал, а я — обрадовался. И дело вроде нашлось, и при лекаре жить — не в

казарме. Ему в городе квартира полагалась, и он кого-то там, по слухам, даже пользовал.

— С удовольствием, — говорю.

Лекарь Матвей Матвеевич был на редкость краснорож и сизонос. Я не придал окраске должного значения, узрев в ней лишь влияние кавказского климата. День он меня учил порошки да мази готовить — толково учил, ничего не скажешь, потом пригодилось, — а еще через день, что ли, озадачил особым заданием.

— Вечером я по визитам пойду, пора уж, — бурчал он (он всегда бурчал, а не говорил). — Тебе, как помощнику, доверяю расставить по точкам по два стакана крепкого кизлярского.

— А где, — спрашиваю, — точки, Матвей Матвеевич?

А разговариваем мы на его квартире, и тут он начинает меня по ней водить. С разъяснениями.

— Первая точка — первое окно: два стакана на подоконник. Вторая точка — стол. Тоже два стакана. Третья — печка…

Ну и так далее. Всего набралось восемь точек его встреч с визитерами. Я поначалу ничего не понял, только удивился, что сразу столько визитеров пожалует. Но поскольку все толковали об особенностях Кавказской войны, то я промолчал,

подумав про себя, что так, вероятно, в Моздоке и полагается врачу занемогших принимать. И все в точности исполнил к его возвращению со сборного пункта.

К вечеру он явился чуть бледнее обычного.

— К визитам все готово?

— Так точно, Матвей Матвеевич.

— Все тогда. Спасибо. Свободен. Ложись спать. Я им сам двери открывать буду.

Свободен так свободен. Ушел я к себе за перегородку, взял, помнится, томик Загоскина с «Юрием Милославским» — у лекаря на кухне нашел — и завалился в койку.

Лежу, читаю. Никто не стучит, не звонит, двери не хлопают. Что-то не торопятся визитеры, думаю.

И вдруг слышу из-за перегородки приветливый голос Матвея Матвеевича:

— Рад, сердечно рад видеть вас, Иван Сергеевич. Как супруга ваша, детки?

«С кем же это он?» — думаю. Дверь не стукнула, шагов не слышно…

Встал на койку, за перегородку заглянул…

— На что жалуетесь, любезный Иван Сергеевич? Кашель замучил? А вот, пожалуйте, микстурку…

Смотрю и глазам не верю: у окна, в первой

«точке» — один Матвей Матвеевич со стаканом в каждой руке.

— Ваше здоровье!

Чокнулся мой лекарь сам с собой этими стаканами и отправил их содержимое один за другим в собственное горло. Поставил опустевшие стаканы и неспешно, важно даже перешел к столу. И — закланялся, заулыбался:

— Марья Степановна, дорогая вы наша! Как супруг, как детки? Ну слава богу, слава богу! Что, тягость в груди испытываете? Так я микстурку предложу. Преотличнейшая микстурка, доложу вам. Преотличнейшая!..

И опять чокается стаканами и друг за другом отправляет их содержимое в горло.

— Ваше здоровье!

К печке перешел:

— Ваше превосходительство, глазам не верю!.. Честь-то какая, вот уж мои-то обрадуются!..

Ну и так далее. До восьмого визитера Матвей Матвеевич, правда, не добрался, свалившись на седьмом. Я его на кровать перетащил, раздел, одеялом прикрыл, убрал все, по местам расставил, стаканы перемыл. И на следующий день — ни слова.

Утром лекарь — опухший весь — отправился

на службу. Вернулся вечером — нормальный, трезвый, только что-то уж слишком молчаливый. А о вчерашнем — ни слова. Ни он, ни я. Будто и не было никаких визитеров у врача Матвея Матвеевича.

Визитеры появились через два дня на третий. Он заранее предупредил меня, что они непременно появятся, и я расставил по точкам стаканы с крепким кизлярским. И опять были короткие светские беседы, опять Матвей Матвеевич выслушивал жалобы на недомогание и лечил всех своей микстурой.

Тут уж я не выдержал и разыскал капитана.

— Понимаете теперь, почему помощники от него сбегают? Боятся по дремучей темности российской. Коли малость не в себе человек, так, стало быть, непременно убьет.

— Он что же, запойный?

— Да как понять, — вздохнул капитан. — Расскажу, а вы уж сами рассудите. Матвей Матвеевич считался когда-то лучшим врачом не только Моздока, но и всей нашей округи. К нему на прием из других городов, крепостей да станиц все занемогшие приезжали, а коли на чьих вечерах он появлялся, так за честь визит его почитали. Особенно когда он — в сопровождении двух кра-

савиц. С супругой и дочерью пятнадцати годов…

Капитан замолчал вдруг, сокрушенно покрутил головой.

— А где они? — спросил я. — Покинули его, когда в запой ударился?

— Наоборот, — строго сказал начальник сборного пункта. — Решили девочку в пансион отдать, ну и повезли в Новочеркасск. А Матвей Матвеевич не смог с ними поехать — транспорт с ранеными пришел, полковых врачей не хватало, он и остался. Дали женщинам коляску, троих сопровождающих в охрану, и они отправились без него. А через неделю коляску в степях обнаружили. Конвойные и кучер убиты, женщин и лошадей — нет. Так и сгинули.

— Сгинули? Как понять — сгинули?

— А так, что и до сей поры нигде не объявились. Либо украли и продали кому, либо просто убили.

— Кто?.. Кто же мог, ведь здесь же — тыл…

— Тыл, Олексин? — криво усмехнулся капитан. — В таких бесчеловечных войнах тылов не бывает. А кто мог сие убийство с похищением свершить, спрашиваете? Да кто угодно. Ногайцы, абреки, кумыки, казаки могли позариться. Такая здесь война, Олексин. По ее счетам чаще всего ни в чем не повинными и платим. — Он

помолчал. — А Матвей Матвеевич пить начал с той поры. И докатился до солдатского лекаря. Но воспоминания, видать, остались, вот он раз в три дня по визитам и ездит. Понимаю, не для дворянина занятие — пьяного солдатского лекаря в постель укладывать. Если желаете, переведу.

— Нет, — сказал я. — Не желаю, капитан. Спасибо. Разрешите следовать к Матвею Матвеевичу.

Капитан протянул мне свою единственную руку. Крепко пожал и опять вздохнул:

— Такая война здесь, Олексин. Такая война.

Три недели служил я помощником у несчастного Матвея Матвеевича. Он многому меня научил: как кровь останавливать, шину накладывать, вывихи вправлять да раны перевязывать. Но через два дня на третий я готовил визиты дорогих его сердцу воспоминаний. Он никогда до восьмого гостя не добирался, но всегда требовал, чтобы эту восьмую пару стаканов я наполнял непременно. А после седьмой пары я укладывал нашего лекаря в постель и приводил в порядок квартиру.

— Давненько не виделись с вами, любезная Марья Степановна, давненько…

Признаться, жалел я его…

И так продолжалось, пока не подошли мар-

шевые роты и я был определен в стрелковый батальон Апшеронского полка. И — уже снега легли, морозы стояли — ушли мы маршем на передовые позиции…

Третий марш

Кажется, мы свершили невозможное. И остались целы. Правда, не все. Не все…

Эти слова я не придумал. Я устал до тошноты, до звона в ушах, до отупения и полного равнодушия. Голова болит уже сутки, и я еле-еле сапоги да амуницию от крови отмыл. В горле скрип, а слов нет. Вместо них в душе что-то тренькает, и нет больше слов во всем мире. Онемел мир в оре своем. «Ура!» равно «Аллах акбар!». Оба надсадных клича одинаково заглушают страх, боль и совесть.

Пало Орлиное Гнездо.

Последнее? У орлов не бывает последних гнезд. Последнему орлу незачем строить гнезда.

Что знает солдат о маневре?

Ничего.

Что знает о маневре офицер?

Тоже ничего. Или — почти ничего: ему приказали провести солдат по горному карнизу, и он провел. Слева — пропасть и ревущая речка, справа — стена. Тропа… Нет, не тропа — полосочка скалы шириною редко в пол-аршина. Чаще — в солдатский сапог. Упасть нельзя, споткнуться нельзя, остановиться нельзя, поскользнуться нельзя. Сорвешься. Можно только идти боком, спиной прижимаясь к скале. В трех шагах друг от друга, чтобы в ужасе не ухватиться за товарища, когда под ногою поедет в бездну камень.

— Стрелки в Чечне держатся только за свой карабин, ребята. Иначе все там будем.

Это офицер знает. И идет первым.

О маневре знает генерал. Знает, что надо взять Гнездо. Знает, что в нем — имам в белой черкеске с золотыми газырями. Знает, что коли возьмет — звезда на грудь, коли не возьмет — звезды не будет. Будут кресты над его солдатами и — что здесь часто случается — крест на его карьере. А звезды над головою генералам неведомы: они ведь не ночуют под открытым небом.

Я затылком прижимался к отвесному откосу за собственной спиной. Затылком, помню. Спиной можно запнуться за камень или провалиться в расселину, а затылок считает каждую неров-

ность. Я содрал с затылка кожу, прижимаясь к скале, и голова болела совсем не от простуды.

Я не в состоянии писать по порядку, потому что порядка в сражениях нет. Он не выстроился для меня, но придется его сочинить для вас.

* * *

Вместе со своим Апшеронским полком я проделал очень длинный марш. Всю зиму куда-то нас перебрасывали, кого-то мы охраняли, кого-то куда-то сопровождали. А потом приказано было форсированным броском перейти в горную Чечню. На подходе к горам попадаем в засаду, теряем два десятка солдат и капитана Ермакова, нашего командира батальона. И застреваем в каком-то разрушенном ауле, ожидая, когда к нам прибудет новый командир.

Наконец он прибыл. Майор Афанасьев.

Я сразу узнал его, а он меня — нет. Оно и понятно: я бороду отпустил, форму надел и совсем перестал быть похожим на богатого цивильного помещика, следующего на Кавказ не только по своим надобностям, но и в собственном экипаже. А солдаты все одинаковые. Бородатые, оборванные и безымянные. Откликаются на кличку «Эй,

ты!». Как собаки. А как только майор Афанасьев появился, нас быстрыми переходами погнали на помощь отряду, обложившему Орлиное Гнездо имама в белоснежной черкеске.

— Обойти и ударить с тыла.

Это нам не майор сказал, а командир роты. Весьма сдержанный и по-немецки пунктуальный поручик Моллер. И мы пошли обходить и ударять, оставив все лишнее. До стены добрались, когда только чуть посветлело. Солнце еще не проснулось, но снежные вершины уже светились холодным чужим светом.

Майор шел первым, сразу же за проводником из мирных горцев. Сначала тропа была на тропу похожа, но, вероятно, только в полусумраке. Когда немного рассвело, мы поняли, что никакой тропы нет. Есть узкий длинный уступ. Карниз. Складка меж пропастью вниз и пропастью вверх.

Как шел человекообразный майор — не знаю, прямо скажу. Я бы сразу за проводником не прошел бы и двадцати шагов, потому что нитяная тропочка эта оказалась заснеженной, и как там передовые в пропасть не угодили — чудо. По себе знаю. Сам чудом не угодил, затылком за камень удержавшись, когда вдруг ноги поехали.

Сражение началось с рассвета, как только мы

на ту горную приступочку втянулись. Начали наши пушки — у горцев артиллерии не было, — а за ними и ружейная стрельба поднялась по всему охвату. Ниже нас. Мы уже в горы поднялись к тому времени. Может быть, красивые виды пред нами распахнулись. Может быть, не помню. Я потом для дам придумывал, как это красиво — воевать в горах. Красивая война всегда придумывается ради успокоения совести и победных реляций. В ней — крики вверх, а не крики вниз.

Крик вниз — это когда твой сосед с карниза сорвался. Этот крик — последний, а потому нет ему равных. От него вздрагивают горы и снега вокруг тебя, страх и совесть в тебе самом, и ты видишь, воочию видишь, как пробегает трещина между жизнью и смертью.

Этот крик — когда душа падает вниз. Он одинок, он — единственный в мире.

А взлет души вверх — крик общий. Для генералов и героев — это восторг славы, для солдата — тихий вздох спасения. Меж этими двумя криками и находится то, что в салонах, в газетах, в светских ли разговорах или в беседах на деревенских завалинках называется войной, лихим сражением или удачной кампанией. И появляются румяна на страшном черепе войны.

Я шел по карнизу в первом десятке, вцепившись руками в карабин. Не шел — переставлял ноги. Правую — в неизвестность, левую — к правой. И — снова, снова, снова. И смотрел только вверх, потому что цеплялся напряженным затылком за все неровности скалы за спиной. Тропинка вилась по карнизу, как уж, и я вился вместе с нею, тоже как уж, всеми своими изгибами. И за одним из поворотов ощутил вдруг несущийся сверху холод. Скосил глаза и замер, распластавшись по скале не только спиной, но всем телом своим, всем существом и душою всею.

Сверху летел обломок скалы, толкая перед собою ледяную вечность гибели.

Он обрушился на моего соседа впереди, на Сидорку: мы с ним хлебово в одном котелке варили. Грохот был страшен, но Сидоркин последний вопль перекрыл и грохот обвала, и грохот пушечной пальбы, и грохот реки под нами. А я не мог даже глянуть ему вослед, не мог в последний путь взглядом его проводить, потому что не смел головы оторвать от каменной стены за спиною своей. Я обречен был смотреть только в небо.

Но еще не замер прощальный выдох Сидорки, как я закаченными под самые брови глазами увидел над собою, на вершине скалы, в которую

вжался, размазываясь телом и душою, толпу женщин с распущенными волосами в изодранных белых одеждах. Они орали и бесновались, сбрасывая на нас все, что имелось под руками. Камни, обломки скал, стволы деревьев. Все летело вниз, и если цепляло кого из наших солдат, то отрывало от скалы, увлекало за собою в бешеную пену ревущей реки.

Первая стрелковая рота замерла меж белой неистовой яростью реки внизу и такой же неистовой яростью белых женщин вверху, на вершине скалы. Они бы снесли всех нас в пропасть, коли хватило бы у них каменьев под руками. А может, просто выдержки и терпения, не знаю. Не знаю, что нас тогда спасло, хотя, правда, и не всех.

Наверно, великая, ослепляющая надежда прикрыть собою своих детей и мужчин и столь же великая ненависть к нам, несущим смерть. Любовь и ненависть сомкнулись тогда в этих чеченках меж вершиной и рекою, и накал оказался столь нестерпимым, что пред ним померк страх за собственную жизнь.

— Аллах акбар!

С этим грозным кличем горянки бросились вниз. В пропасть. Поодиночке и вдвоем, обнявшись последним объятьем. Не для того, чтобы

покончить с жизнью, — чтобы сбить нас с карниза. Нас, смертных врагов своих мужей, детей и любимых.

Меня спас чуть заметный выступ над головою. Об этот выступ, а не об меня ударилось женское тело с длинными распущенными волосами. И лишь легкий шелк накидки скользнул по моему лицу…

> …Да, Господь велик. Но почему же Он слышит только предсмертные восторги во имя собственного величия? Откуда в Нем столько непомерного самодовольства и мелкого тщеславия? Может быть, это мы сами вылепили свое представление о Нем, как Он когда-то вылепил свое представление о нас?..

Жертвенные горянки оказались последним испытанием для нашего батальона. Тропа вскоре расширилась, и мы вышли в тыл чеченскому редуту, запиравшему дорогу основным нашим атакующим силам, потеряв добрую роту на этом переходе. Впрочем, Россия никогда не умела считать. Двойка у нее по арифметике еще со времен Игорева похода на древлян.

Волосатый майор Афанасьев дошел до укрытия,

где можно было собрать стрелков для атаки в спину вражескому укреплению. И мой командир роты поручик Моллер тоже дошел.

— В штыки, ребята, — сказал он, едва дождавшись, когда соберется хотя бы половина.

— Пленных не брать, — тут же уточнил майор. — Вперед, пока нас не обнаружили. Ведите, поручик.

— С Богом, ребята. — Моллер обнажил саблю. — За мной и без «ура!».

Мы выбежали из-за утеса, едва отдышавшись после перехода над пропастью. Было нас всего около трех десятков, но, на наше счастье, чеченцы не беспокоились за свой тыл. И мы ворвались в редут без потерь.

* * *

Ружье сподручнее для рукопашной, нежели сабля, коли умеешь им действовать. Сабля, а уж тем паче горская шашка легче и изворотливее, но — короче, и если ты вовремя выдернул штык, то всегда от шашки отобьешься. Успеть выдернуть — значит не попасть в кость. Колоть в живот, в шею, в грудь, но — только меж ребер. Тогда успеешь оборониться, иначе — несдобровать.

Меня мои солдатики еще в Псковском полку

неплохо штыковому бою обучили.

— Прикладом больше старайтесь, ваше благородие. А штыком ежели, то на длинном выпаде и непременно — в мягкое. И выдергивать штык сразу, прыжком назад.

Атака оказалась неожиданной, почему и кончилась в полчаса. Я троих заколол, к себе шашку не допустив, а усталость такая навалилась, что я на камень сел, последнего чеченца прикладом отбросив. Кто-то раненых добивать вызвался, надеясь, что командиры запомнят усердие, но на Кавказе подобное всегда в обратную сторону запоминалось. Да, запомнили доброхвата — и офицеры, и солдаты запомнили, только — на его же несчастье. Такое в пехоте не поощрялось, если, конечно, раненый сам не умолял его добить. В последней просьбе отказывать недопустимым считалось, кто бы об этом ни просил. Хоть свой, хоть горец.

Майор по редуту прошелся. Сказал Моллеру, ткнув в меня большим пальцем через плечо:

— Этого Ваньку — к Знаку отличия ордена Святого Георгия. Свое дело знает. Оформить как положено, да побыстрее, пока генерал от победы не остыл.

Не поверите, а только не воспринял я, что ли,

того, что услышал. Все понял, а восторга не зародилось во мне при этом известии. Да что восторга — ничего тогда не зарождалось в душе, все в усталости утонуло. Такой густой и бессветной, что ничегошеньки я, кроме нее, не чувствовал и чувствовать был не способен.

Потом кое-как на дрожащих ногах к реке спустился. Долго пил, будто верблюд. Умылся, сапоги да ремни от крови кое-как отмыл и поплелся к солдатам. Нового Сидорку искать, с кем похлебку в одном котелке варить, с кем хлебать ее, с кем спать рядом: одна шинель — под низ, вторая — поверх.

А чувств по-прежнему не было. Никаких. Ни радости за всех, ни отвращения к себе. Ни восторга победы, ни равнодушия к славе. Ни ужаса пред бездной, ни жалости к своим, ни ненависти к чеченцам. Ничего не было. Нуль, пустота. Выворот нутра наизнанку, как после рвоты.

Нового моего знакомца звали Сурмилом. Может, имя такое, может, прозвище — мне тогда все равно было. А сыскалась замена канувшему в бездну рабу Божьему Сидору быстро и как-то сама собой. Сурмил сам меня нашел.

— Александр Ильич, хлебушек с тобой ломать желаю, чтоб и солдатскую соль — пополам.

Сидорка-то убился, спаси Господи душу его многогрешную.

Я просил роту Ильичом меня звать. Знали ведь, что я — офицер разжалованный, но просьбе моей не вняли. Так и остался я солдатом не только с именем, но и с отчеством. Хотя солдат всегда солдат, а война — всегда война…

…Вот написал, и перо дрогнуло. Не согласилась душа с рукою, как несогласна она была эту кампанию войною называть. Особенно после Отечественной. Нет-нет, карательной та кампания оказалась, я в этом собственными своими глазами убедился. Жестоко карательной с нашей стороны, а для горцев… Для горцев она была Отечественной, давайте честно в этом себе признаемся. Великой Отечественной войной Кавказа против Российской империи. Горько, но – правда. Отсюда и немыслимая их отвага, и небывалая гордость, и презрение к нам со всеми нашими пушками, лихими казаками и пехотной обреченностью.

Доказательства? Сколько угодно, господа, сколько угодно… При захвате немир-

ных аулов мы вырезали всех мужчин, считая таковых с тринадцатилетнего возраста. Дотла сжигали аулы, угоняли скот, вытаптывали жалкие их посевы, а женщин и детей продавали в рабство. И это в христианской стране, в просвещенном девятнадцатом столетии! К примеру, генерал Вельяминов продал ногайцам в рабство две тысячи женщин и детей по цене от 150 до 250 рублей за голову. Тогда же было введено денежное поощрение: червонец за каждого убитого горца при предъявлении его головы или хотя бы правого уха, если голову затруднительно было доставить. Это решение высокого начальства, позорящее честь русского воина, породило массу охотников за головами.

Добровольных головорезов как среди казаков, так и среди офицеров, как это ни прискорбно. И коли уж до конца признаваться, то совестно мне было глядеть в горестные глаза чеченок.

И через это тоже надо было пройти, не уронив чести и не опоганив души своей. Невольно сопоставляется, что «во глу-

бине сибирских руд» было куда легче сохранить и собственную честь, и собственное достоинство. О Россия, Россия, как же наловчилась ты унижать собственных воинов своих…

Едва нашел я нового товарища, как примчался денщик поручика Моллера:

— Ротный требует, Александр Ильич. А мне за новой формой для тебя сходить велено.

— Какая еще новая форма?

— К поручику доставлю — поглядишь.

Признаться, мне нравился поручик Моллер. Он был деловито отважен и завидно при этом хладнокровен, прост в общении и строг к дисциплине, а с офицерами всегда сохранял спокойное приветливое достоинство, удерживая на дистанции любителей нашего национального панибратства.

— Рядовой первой роты…

— Садитесь, Олексин, — устало прервал поручик. — Садитесь, пейте вино. Вино доброе, его в России во всех трактирах за французское выдают.

Вина мне хотелось: уголек в душе залить. Но спросил. Скорее для уточнения, поскольку до

сей поры мы столь запросто с Моллером еще не встречались.

— А вы компанию солдату не составите?

— Так кружка-то одна у меня, — проворчал ротный. — Своей не прихватили? Ну, значит, по очереди пить придется. Пейте пока свою долю, у меня бок дьявольски ноет. Чеченец перед смертью кинжалом достал.

Я выпил залпом, но жажды не утолил. Хотя проглотил наконец-таки ком в горле, вином смоченный, да так и не размякший. Наполнил кружку для поручика.

— Наш батальон отводят на отдых и ремонт, — продолжал Моллер, выпив свою порцию. — А всем офицерам, бывшим в деле, дан отпуск для забвения душ и восстановления тел. Если вам не очень оскорбительно числиться моим денщиком, я впишу вас в свою подорожную. И укатим мы с вами отсюда подальше. Кстати, с весьма и весьма любопытным человеком познакомитесь. Согласны, Олексин? Прощения прошу, если чем обидел ненароком, но нет другой возможности вас хоть на время в приличное общество вытащить.

— Искренне благодарен вам, поручик.

— Ну, так пейте прямо из бутылки. Это позволит нам чокнуться по поводу личного знакомства.

Мы чокнулись, выпили каждый из своей посудины, и мне как-то полегче стало. Меньше ссадину в душе ощущал.

— У вас есть статский костюм?

— В обозе. Если не украли.

— Пошлем за ним. Но до Пятигорска ехать вам придется в солдатской форме: условия игры, ничего не поделаешь. Наливайте, наливайте. Напьемся и спать завалимся, ваш костюм денщик доставит. Да, реляцию на «Георгия» я майору Афанасьеву уже подал. Даст бог, пройдет без осечек.

— Благодарю, поручик.

— Ох!.. — Моллер скривился, схватившись за бок. — Кажется, поездка отменяется. Опять кровь из раны пошла. А жаль, искренне жаль. Из ада нашего вырваться да вас вырвать…

— Снимите мундир.

— Зачем?

— Рану хочу поглядеть.

— Из любопытства, что ли?

— Да. Снимайте, снимайте.

Моллер скинул мундир. Нижняя рубаха была в крови. Я разодрал ее, обнажив глубокий кровоточащий порез вдоль правого ребра.

— Ложитесь на левый бок. Много вы сегодня натерпелись, но придется еще одну боль вытер-

петь, хотя и немалую. Иначе весь отпуск и впрямь насмарку пойдет.

Пока он, кряхтя, укладывался, я снял с ремня лядунку, посыпал из пороховницы его рану и запалил трут.

— Будет очень больно. Зато и кровь уймется, и зараза не прицепится.

— Давайте, Олексин.

Я поджег порох. Поручик вскрикнул, задергался, заскрипел зубами:

— Черт вас возьми с вашими способами…

— Не мои это способы. — Я налил вина. — Выпейте, поручик. Средство я применил зверское, но действенное, поверьте. Теперь у вас — просто ожог, а не кровоточащая рана.

— Ох!..

Лицо Моллера покрылось крупными каплями пота. Он жадно выпил кружку до дна, тут же потребовал вторую, осушил ее и только тогда обрел силы полюбопытствовать:

— Солдаты научили?

— Солдаты много чего знают и умеют, но научил меня этому прижиганию старый моздокский врач Матвей Матвеевич. И спасибо ему, иначе в солдатчине не выживешь. Выпейте еще и постарайтесь уснуть. День поболит, и о ране

позабудете.

— Сейчас мой денщик вам форму принесет, — ротный говорил с трудом, сквозь зубы. — Надо его с запиской в обоз послать. За вашим цивильным нарядом. Возьмите бумагу, я продиктую официальный запрос, пока силы есть.

Поручик продиктовал, выпил еще кружку вина и уснул еще до того, как денщик вернулся с новой солдатской формой для меня. Он нисколько не удивился, когда я тут же направил его в обоз за своими вещами. Все солдаты в нашем полку знали, что я — разжалованный офицер, и все воспринимали это как явление того же несерьезного порядка, что и барский каприз.

Денщик ушел, а я завалился на ковер рядом с постанывающим во сне поручиком, но мне не спалось. Несмотря на ночной марш, рассветное карабканье над пропастью, тупую боль в затылке и ломоту во всем теле. Пережитой ужас, небывалое перенапряжение и тяжкая надорванность души изгнали сон мой. Тело требовало его, но душа отвергала, и я маялся между физическим изнеможением и духовной истеричностью своей настолько, что даже не ощущал и краешка радости, что вскоре, даст бог, украшу свой мундир знаком самого весомого ордена Российской им-

перии — ордена Святого Георгия.

Вместо радости мне почему-то грустное виделось. Прощание с молочным братом Савкой. Верным Клитом моим…

— Сохрани тебя Бог, Александр Ильич, сохрани тебя Бог. — Савка плакал в голос, громко всхлипывая. — О поместьях своих не думай, не береди душу свою: я теперь за них в ответе полном. Ведь дразнил же я тебя, когда говорил, что извозным промыслом займусь, злил со зла собственного, уж прости ты меня, ради Христа. Рукой твоею там остаюся, Господом Богом тебе клянусь…

Уехал наконец на почтовую станцию в тарантасе своем. А я стоял у трактира, пока пыль за ним не осела. И очень жалел, что зареветь не могу…

А потом пошел в воинскую управу и отдал все бумаги, получив взамен солдатскую казарму.

И клетка захлопнулась.

Четвертый марш

До Пятигорска мы добрались, пристроившись к испуганно напряженному ревизору-полковнику, неторопливо, с оглядкой поспешавшему из Петербурга в Тифлис. Я, естественно, поспешал

в обозном арьергарде, но это обстоятельство куда больше смущало моего милого командира, нежели меня самого, поскольку поручик ехал в офицерском окружении полковника. Силы наши были значительны, и разрозненные отряды разбитых в Чечне горцев не решались нас тревожить. Миновав опасные места, мы расстались с конвоем полковника и остановились на ночевку в перегоне от Пятигорска.

— Надевайте ваш цивильный костюм, Олексин, — сказал поручик. — Мои приятели, местные офицеры, жаждут отужинать с участниками штурма Ахульго.

— Мне выдать себя за скупщика краденых ковров?

— Оставьте вы, право, у меня и так бок ноет от вашего первобытного лечения, — поморщился Моллер. — Весь положенный нам отпуск вы в прихожей все равно не отсидитесь. О вас уже знают и, поверьте, не удивляются: на Кавказе разжалованных хватает.

— Простите фанфаронство мое. Так сказать, рецидивы детской болезни. Много ли будет местных офицеров?

— Двое. Я разборчив в знакомствах.

— Как мне отнестись к вашим словам?

— О господи, — вздохнул поручик. — За вами тянется пренеприятнейший шлейф светских гостиных, но на Кавказе он быстро рассеивается.

— Еще раз прощения прошу. Видимо, мой шлейф еще недостаточно рассеян.

Поручик вздохнул:

— Я понимаю вас, Олексин. Вы превратились из бабочки в гусеницу, а это ох как и непросто, и неприятно. Но приглашают нас не ради приятельской попойки, а ради свидания с человеком неожиданным. Мне твердо обещали, что он непременно появится, и я, признаться, жду этого с нетерпением.

— Он в большом чине?

— Он такой же разжалованный, как и вы. — Моллер неожиданно оживился. — Можете представить себе пожилого декабриста? И никто не может, а он — есть, хотя на Сенатской площади не выступал, поскольку в начале того же года был арестован. Потом судим, разжалован и сослан на Кавказ. Любопытно? Мне тоже, а потому — переодевайтесь к дружескому застолью.

Костюм был изрядно помят, но Моллер не позволил мне его погладить, сказав, что дам не ожидается, а время не ждет. Отсутствие дам, прямо скажем, произвело на меня большее впе-

чатление, нежели отсутствие времени. Я напялил цивильную оболочку, мы пересекли очень грязную улицу и сразу же, без передней, попали в небольшую горницу, где нас ожидали два молодых офицера. Нездорово румяный подпоручик и худой носатый прапорщик. Мздолевский и Шустрин соответственно, встретившие нас без малейшей аффектации, что, признаться, было для меня весьма приятно.

— К столу, господа.

И никто ни о чем не расспрашивал. Ни о тяготах солдатской службы, ни о штурме аула Ахульго. Предложили вина и ужин, завели разговор о литературе, упоминая какого-то разжалованного в солдаты Полежаева, о котором я слышал впервые.

— Говорят, он разжалован за поэму «Сашка».

— Вполне возможно, но я здесь ни при чем, господа. Хотя и кличут Сашкой.

Признаться, самолюбие мое все же чуточку оказалось уязвленным: я ведь все-таки по карнизу над пропастью прошел, редут штурмовал, к «Георгию» представлен. Но это так, мельком. Я своевременно опомнился и умерил свои тщеславные судороги. Поболтали еще немного, и наконец послышался шум у двери.

— Игнатий Дормидонтович Затуралов, — сказал Шустрин и тут же бросился встречать нового гостя.

И вошел старик лет за сорок. Старик потому, что был сед как лунь, имел огромный, морщинами изборожденный лоб и пронзительный, пророческий, как мне показалось, взгляд. И ношеная солдатская форма смотрелась на нем как порфира.

> ...Я позабыл все светские отступления, но не каюсь в этом. Все затмилось его парадоксальными размышлениями, кои и постараюсь передать в меру того, насколько понял и усвоил их.

— Вы спрашиваете, что движет людьми образованными на общественном поприще, молодой человек? Полагаю, что в первую очередь — несогласие, ощущаемое как тщеславная потребность равенства.

— Разве равенство не самоценно само по себе? — спросил Мздолевский.

— Равенства вообще нет и быть не может, если не понимать под ним равное право на кусок хлеба и справедливый суд. Все остальное есть всего лишь отзвуки основных христианских постула-

тов, вложенные в наши представления с детства. Вспомните, именно равенство было основным лозунгом первых христиан, причем лозунгом, рассчитанным на рабскую психологию, лозунгом рабов. Всеобщее равенство и осталось лозунгом черни во Французской революции и обречено оставаться лозунгами всех последующих революций для толпы, потому что само по себе понятие равенства не содержит никакого позитивного смысла. И следовательно, претендовать на самоценность никак не может.

— Но революция, Игнатий Дормидонтович? — спросил Моллер. — Что же тогда есть революция, если из нее вычесть лозунги свободы, равенства и братства?

— Революция — всего лишь победивший мятеж, восстание, бунт, если угодно.

— Бунт — это что-то морское, — неуверенно улыбнулся румяный Мздолевский.

— Прекрасное уточнение, возьмем его для наглядности. Корабль в море для простоты уподобим государству, где капитан — император, господа офицеры — правящая каста, а матросы — рабочая сила, питающая этот корабль за счет собственного недоедания. Неравенство вопиющее, но оно же и движет этим кораблем. Убрать

его — все равно что спустить все паруса разом.

— Простите, Игнатий Дормидонтович, не усматриваю аналогии при последнем вашем сравнении.

Я, признаться, помалкивал. Не потому, что ощущал себя рядовым — это чувство пропало сразу же, как только я напялил на себя статский костюм. А потому, что смутно улавливал мысль, но упорно не терял надежды ее в конце концов понять.

— Аналогия — в разнице культуры палубы и культуры трюма, поручик. А культура вмещает в себя все, что обеспечивает человечеству существование в природе. Субъективно — потребность в питании, безопасном сне, тепле, удобствах. Объективно — необходимость в законах, понятиях морали и нравственности, жажде любви и семьи, ее защите и опоре. И наконец, абсолютно — в общей религии, общем — в национальных истоках, разумеется, — искусстве, языке, истории, традициях, философии. Все это, совместно взятое, — то есть культура палубы и культура трюма — несовместимо друг с другом, как несовместимы сами уровни палубы и трюма. До поры до времени это противоречие, эта несовместимость сдержива-

ется послушанием, привычкой, равнодушием, психологической инерцией, столь свойственной человечеству вообще. Но разные культуры тесно соприкасаются, трутся друг о друга, цепляются, дышат друг на друга и…

— Переход количества в качество? — неуверенно попытался угадать Моллер.

— Величайшее заблуждение, — вздохнул Затуралов. — Близко лежит, потому и хватаемся. Нет, тут действовать начинает другой закон диалектики: закон отрицания отрицания. Помните, в Евангелии от Иоанна сказано: «Если зерно, павшее на землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плодов…» То есть закон утверждает, что развитие как в природе, так и в особенности в человеческом обществе невозможно без гибели прежних форм. Конечно, трюмная массовая культура не знает законов диалектики, но законы ее объективны, они действуют вне зависимости от наших знаний. Действуют в обществе, и трюм рано или поздно начинает ощущать жажду отрицания более высокой, более развитой, а потому и более избирательной палубной культуры, чувствуя в ней некую силу, тормозящую его развитие. И, осознав эту жажду как непреодолимый позыв

к действию, носители трюмной культуры ополчаются против обитателей палубы под ясным и понятным им лозунгом равенства. Вспыхивает бунт, меняются флаги, капитанам отрубают головы, офицеров выбрасывают за борт, а обитатели трюма с восторженным ликованием занимают места на палубе. Удачный бунт есть революция в миниатюре, господа.

— Ну и слава богу, — сказал молчавший доселе прапорщик. — Если нет победы равенства, то есть по крайней мере торжество справедливости.

— Беда в том, что трюмные не знают навигации, — невесело усмехнулся Игнатий Дормидонтович. — А посему корабль обречен сбиться с курса, угодить в жестокий шторм, а то и вообще кануть в пучину морскую.

— И что же, эти трюмные не способны обучаться управлять захваченными кораблями?

— Отчего же, вполне способны, только обучение предусматривает непременное освоение хотя бы азбучных основ более высокой культуры. А столкновение культур, послужившее поводом к бунту, признает лишь одно: полное господство победителя, что означает торжество его представлений. И полетят за борт не только господа офицеры, но и непонятные трюмным книги и ноты, картины

и статуи, виолончели, рояли, арфы и скрипки, расчищая место для новых представлений и вкусов. Низшая культура всегда чрезвычайно беспощадна к высшей просто потому, что не в состоянии ее постичь. Непонятное всегда чуждо, а следовательно, и враждебно. Вспомните гибель Древнего Рима, господа, и воспоследовавший за ним почти тысячелетний мрак Средневековья.

— Это отрицание понятно, — согласился Моллер. — Но откуда же возьмутся последующие отрицания?

— Победители приносят их с собою, не понимая, что несут. Высшая культура, включающая в себя не только высокое искусство, но и более высокий, а значит, и более привлекательный образ жизни, становится — сначала, естественно, чисто формально — как бы собственностью новых обитателей капитанского мостика. Она весьма соблазнительна, почему новые правители и приспосабливают ее под себя в усеченном и упрощенном виде. И как бы ни старались тщательно делить кусок хлеба и рубище, культура останется неделимой благодаря своей целостной законченности. Плесневелый сухарь, съеденный на палубе, вовсе не равен такому же сухарю, съеденному на капитанском мостике, и никогда равным

не будет, вызывая зависть и обиду. А зависть и обида — первые весточки грядущего отрицания. Все начинается со споров и недовольства, но в конце концов на каждого Марата находится своя Шарлотта Корде, а доктор Гильотен всегда готов услужить побеждающей стороне. Закон отрицания неумолимо начинает действовать в обществе победившей низкой культуры, с холодной последовательностью перемалывая героев восторжествовавшего бунта. И все возвращается на круги своя.

— А если попытаться перейти с бунтующего корабля на твердую часть суши?

Не помню, кто это спросил. Не помню потому, что Затуралов говорил о том же, о чем Пушкин в «Андрее Шенье», которого я знал наизусть…

— Именуемую Россией? Что же, в ней целых два «если бы». Одно — полувековой давности, второе — для нас, так сказать, — как бы вчерашнее. Допустим, что Пугачев въехал в Первопрестольную нашу не в железной клетке, а верхом на белом коне. Короновался бы на царство под именем Петра Третьего, назначил бы своих неграмотных есаулов министрами, губернаторами и генералами и тем исполнил бы закон отрица-

ния отрицания, не подозревая об этом. Пример уничтожения вождей Французской революции настолько нагляден, что не извлечь из него уроков может только тот, кто наивно полагает, будто общество может развиваться неким особым путем, на котором якобы не действуют законы диалектики. Но такого «особого пути» нет и быть не может ни для каких народов и государств…

Словно что-то сверкнуло пред моими глазами, что-то чуть высветило одну загадку, долго терзавшую меня. И я спросил:

— И поэтому вожди декабристов так сузили круг посвященных?

— Совершенно верно, молодой человек, именно поэтому, — строго сказал Игнатий Дормидонтович. — Нет ничего опаснее для нации, нежели забвение вершин собственной культуры. Такой народ неминуемо повторит судьбу древних египтян, греков, персов, римлян и многих, многих иных народов, канувших в Лету мировой цивилизации…

(Приписка на полях: *…Я гордился своей прозорливостью, но понимал ли я все, о чем не без нервного сумбура говорил почтенный и – от себя добавлю – навсегда*

потрясенный Игнатий Дормидонтович Затуралов? Я уж не поминаю о других собеседниках: они – кроме, кажется, Моллера – вообще ничего не поняли, поскольку Гегеля и в руках не держали. Но мой ротный был натуральным старательным немцем, а немец немца чутьем воспринимает. А коли не совсем воспринимает, то чутьем же и догадывается, что' тот имел в виду: у всех немцев неодолимая тяга не только к порядку в собственном доме, но и во всей Вселенной с материнским молоком впитывается. Ну а я? Тогда скорее почувствовал, потом – старался уверовать, но понять... Нет, даже не пытался. Мне важнее было подтвердить самому себе причину гордой кастовой замкнутости заговорщиков: они больше собственной гибели страшились нарушения внутренних законов развития общества при смелом посягательстве на законы внешние. Прекрасно зная неумолимость основополагающих постулатов диалектики, они боялись русского бунта. Бессмысленного и беспощадного бунта трюмной культуры...)

Осознание пришло потом. Потом, уже значительно позже, когда я перечитал Гегеля, держа в уме практический разговор в применении к России, не причесанной европейским куафером…

Потом мы пили вино и толковали о Кавказской войне как форме столкновения двух далеких друг от друга культур. А после определенного количества бокалов беседа, как водится, перешла на взаимоотношения двух других сверхкультур — мужчины и женщины. И здесь гарнизонные приятели моего ротного чувствовали себя явно в своей тарелке. И закончилось все тем, что Моллер вместе с подпоручиком и прапорщиком пошли провожать седого декабриста. А мне ротный сказал, чтобы я ложился спать, утром действовал по собственному разумению, но вечером непременно прибыл бы в гостеприимный дом генеральши Феоктистовой, где он будет меня с нетерпением ждать.

— Понимаете, Олексин, стоит мне промыть глаза вином, как я сразу же начинаю видеть только прелести моей модисточки, — несколько смущаясь, пояснил он. — Субъективно, объективно и абсолютно. Потому что она и есть очаровательная объективная реальность, а прочее все гиль.

И все ушли, а я завалился спать.

Спал я мало, но зато без разногласий тела и души. Проснулся бодрым, нашел хозяев, велел, чтобы все прибрали, и пошел в город пешком.

Господи, как же я мечтал о такой прогулке! Сбросить солдатский мундир, облечь себя в модное — по крайней мере для Кавказа — платье и фланировать по улицам, помахивая тростью. Да существовала ли тогда для меня иная форма высшего ощущения своего «я», несмотря на все казематы и марши по тропам над пропастью!..

Вероятно, я странно выглядел. Франт, блуждающий в одиночестве по не очень ранним, но все же утренне-пустынным улицам незнакомого города. Да, шумел базар, открывались лавки, сновали люди, но, как разъяснил мне почтенный Игнатий Дормидонтович, вторая культура России просыпалась существенно раньше первой, и я ощущал себя в полном одиночестве. Как Робинзон Крузо.

> …Кстати, почему именно о Робинзоне я вспомнил в то пятигорское утро? Не потому ли, что Дефо ясно обозначил в бессмертном творении своем мирное сосуществование не понимающих друг друга культур, их путь к пониманию и последующее слияние?..

Эта мысль показалась мне занятной, и я настолько углубился в нее, что очнулся лишь от удивленного возгласа:

— Сразу Господь на месте, если это не Олексин! Камо грядеши, патриций?

Дорохов. Сам Руфин Иванович Дорохов из остановившейся передо мною коляски — навстречу…

Обнялись, расцеловались, долго друг друга из объятий выпустить не могли.

— Да что же это творится в мире, патриций? Болтали, будто сгноили вас в темницах мрачных и сырых? Как же объяснить сию встречу, если не чудом?

— Чудом, дорогой Руфин Иванович, истинным чудом! Хоть и в солдатском мундире обретается ныне чудо спасения моего.

— Помилуйте, на вас вполне еще модное платье.

— Пред вами — рядовой стрелок Апшеронского полка. Пардон, вы куда-то спешите?

Расхохотался Дорохов:

— Спать! Я — от стола, с известной вам работы, и никуда не спешу. А вы?

— Ну, я-то — тем более.

— Поехали!..

И — поехали. На какую-то роскошную квартиру с шампанским, одалисками, нукерами, цветами и музыкой. Боже мой, как я был счастлив этой встрече!

Говорили и пили, пили и снова говорили. Нет-нет, ничего я не сказал Дорохову об истинной причине своих злоключений: он полагал, что я пострадал в связи с причастностью к декабристам, и я не стал его разуверять. Это объясняло все мои казематы и даже личное свидание с самим Бенкендорфом.

— Однако разболтался я, Руфин Иванович. Вам отдохнуть необходимо.

— Не стану отрицать, патриций, у меня — страда. Только за зеленым сукном вы мне не нужны, а расставаться не хочу. Сделаем так. Я одолжу вам своего человека…

— Я — солдат, Дорохов.

— Спина и у солдата есть. А кроме того, нам ниточка нужна, и мой Ванюшка станет этой ниточкой.

И я ушел с его Ванюшкой, очень непосредственным и живым пареньком, с глазами скорее лукавыми, нежели хитрыми. Он неторопливо и обстоятельно познакомил меня с городом, оказавшись вполне толковым чичероне, а затем

проводил в дом, где мы с поручиком Моллером условились встретиться…

Этот день оказался воистину днем неожиданных встреч. И первым, с кем я столкнулся в том доме, был мой человекообразный командир батальона. Майор Афанасьев.

— Какая неожиданность, Олексин, — сказал он, ухмыляясь. — Удивлены?

Я молча пожал плечами, хотя все во мне как бы оборвалось. Все праздничные фейерверки разом.

— А я, признаться, был весьма неприятно удивлен, обнаружив вашу фамилию в списке на «Георгия», — продолжал он. — Разумеется, я немедля ее похерил, но с помарками наградные списки сдавать не положено, вот я и бросился Моллера искать. А тут — вы, к нечаянной радости моей.

— Не боитесь в следующем бою нечаянную пулю получить?

> …Зря я это сказал, фанфаронство дурацкое вылезло. Поверите, до сей поры совестливое неуютство испытываю…

— Так вы, Олексин, ни в каких боях более участвовать не будете, чего же мне бояться? — Майор

прямо-таки изнутри светился от прилива какого-то особенно злого восторга. — Я уж постараюсь и себя сберечь, и вас упечь. В тылы, чтобы ни в какие победные реляции вы никогда впредь и не попадали. Будете двадцать лет скот пасти вместе с трусами, ворами и дезертирами.

Это была не угроза сгоряча — это был продуманный план, как вынудить меня отслужить весь солдатский срок без всяких скидок. Подобная гуртовая служба засчитывалась день за день, в ней не предусматривался ни отпуск, ни отдых. Не говоря уже о льготах за боевые ранения, личную отвагу, за участие в сражениях, в поисках и захвате пленных. Тыловые скотопасы были армейскими париями, получая из солдатского довольствия лишь гнилую муку да кое-как застиранное обмундирование третьего срока годности…

И мне вдруг стало так страшно, как никогда доселе. Настолько, что я залепетал совсем уж позорно:

— Вы не сделаете этого, майор. Нет-нет, не сделаете. Это… это невозможно!..

Афанасьев торжествующе расхохотался:

— Где же ваша бретерская заносчивость, Олек-

син? Где дуэлянтское бесстрашие и картежный кураж? Я ведь ничего не позабыл и забывать не намерен. И с наслаждением через год приеду поглядеть, как вы там в навозе копаетесь. Да вы сапоги мои прилюдно лизать будете, лишь бы я дозволил вам хотя бы в баню сходить!

Вот это преждевременное торжество его меня тогда и образумило. Не вызови он дикого гнева во мне, неизвестно еще, как бы судьба моя обернулась. Вполне вероятно, что именно так, как о ней он и размечтался…

Я размахнулся и отпустил Афанасьеву очередную пощечину. Вторую за истекшее полугодие. Ударил собственного командира батальона, за что мне, рядовому стрелку, полагался военно-полевой суд во всей его военно-полевой суровости. Правда, дворянину, даже разжалованному в солдаты, шпицрутены не грозили, но бессрочная каторга, если не расстрел с учетом военного положения, в арсенале суда вполне могли оказаться.

Но человекоподобный майор и в этот раз поступил точно так же, как и в предыдущий. Дернулся, схватился волосатой дланью своей за щеку и… И улыбнулся:

— На скандал рассчитываешь? Не будет скандала. Пострашнее тебе будет, чем любой суд,

Олексин!..

И ушел в гостиную, пред входом в которую и состоялось наше нежданное рандеву. На миг оттуда веселый шум донесся, женский смех, оживленные голоса. И все опять смолкло, когда майор дверь за собою закрыл.

А я, поверите ли, вроде как бы в себя вернулся, что ли. Вроде как успокоился даже. И тут только заметил, что приданный мне Ванюшка замер в углу.

— Все видел?

Он почему-то только кивнул тогда.

— Расскажешь барину. Обожди, записку отнесешь.

Я отыскал в карманах листок бумаги и написал:

«Я ПОГИБ, ДОРОХОВ, ЕСЛИ НЕ СЫЩЕШЬ СПОСОБА ИЗБАВИТЬ МЕНЯ ОТ МАЙОРА АФАНАСЬЕВА».

Написал было еще слово «УМОЛЯЮ», но зачеркнул его и отдал листочек Ванюшке. Он сразу же умчался, а я почему-то с особой старательностью оправил свой статский костюм и, вздохнув, решительно шагнул в гостиную.

— А вот и мой припоздившийся друг! — радостно воскликнул Моллер. — Позвольте, дамы и

господа, рекомендовать…

— Рекомендовать буду я, — перебил Афанасьев. — И — с полной откровенностью. Так вот, как командир батальона, я НЕ рекомендую вам, дамы и господа, сего мелкого фрондера, бахвала и картежника-перехвата. Впрочем, разбирайтесь с ним сами, поскольку у нас с поручиком Моллером есть небольшое служебное дело. Может быть, нас проводят в другую комнату?

— Пожалуйте сюда, господа офицеры, — сказала хорошенькая брюнеточка.

Мои командиры куда-то вышли, а все оставшиеся молча смотрели на меня. И среди этих оставшихся не было ни одного хоть сколько-нибудь знакомого мне лица: майор безошибочно просчитал момент моего первого появления в совершенно стороннем для меня обществе, уведя с собою Моллера. И все сейчас настороженно смотрели на неизвестного им статского господина, весьма красноречиво представленного волосатым моим командиром батальона.

— Полагаю, что этот странный майор столь же странно и шутит? — спросила некая миловидная белокурая особа, неуверенно при этом улыбнувшись.

— Вы совершенно правы, мадам, — сказал

я. — При столь крупной игре, которая идет на Кавказе, кого удивишь картами? Здесь, куда ни глянь, казаки — с пиками, оркестры — с бубнами, кладбища — с крестами да раны с червями. А если при этом учесть, что милые дамы хлестко бьют незадачливых королей удачливыми валетами…

Слова мои утонули в хохоте, чему я был весьма рад, поскольку никак не мог самостоятельно выпутаться из собственной болтовни. Особенно оживленно смеялись дамы, а полненькая брюнеточка — хозяйка дома, как потом выяснилось, — кокетливо погрозила мне пальчиком:

— Вы опасно дерзки, милостивый государь!

Ничто так не разряжает обстановку, как вовремя прозвучавшая грубоватая шутка. Все сразу же ощущают себя умнее ее содержания, переполняются собственной самоуверенностью, и затянувшаяся страница угасших было бесед переворачивается чистой стороной. Несколько заскучавшее общество, уже готовое разбиться на изолированные осколки, сплачивается вновь, вдруг обретя новые центростремительные силы. Я со всей возможной оживленностью рассказывал петербургские анекдоты полуторагодичной давности, милые дамы и офицеры помоложе с интересом слушали меня, и все вернулось в свою

колею. И не вылезло из нее, когда в гостиную возвратились мои непосредственные командиры: ротный и батальонный, причем последний был явно обескуражен тем обстоятельством, что я стал центром весьма улыбчивого внимания. При этом я заметил, что оба моих командира выглядят одинаково напряженно: мне показалось, что они откровенно объяснились друг с другом, но общего языка так и не нашли. Майор сразу же прошел к мужчинам постарше, где и принялся за кизлярское, а поручик при первой же возможности отозвал меня в сторону:

— Скверное дело, Олексин. Он не желает ни оставлять вас в полку, ни тем более уходить из него сам. Надо что-то немедленно предпринимать.

Я не успел ответить, как пригласили в столовую. Полагаю, что к счастью, потому что сказать поручику мне было решительно нечего.

После обеда, когда вино в гостиной, как водится, уже лилось рекой, неожиданно вошел Руфин Иванович Дорохов. Дамы и большинство офицерской молодежи встретили его почти восторженно, пожилые — куда более сдержанно, но не это меня удивило. Меня удивило… Нет, меня неприятно поразило, что Дорохов упорно и весь-

ма подчеркнуто меня не замечал.

И — глупо, разумеется, — я страшно разобиделся. Я вдруг решил, что этим подчеркнутым невниманием к моей особе он дает мне понять, что исполнять изложенную в записке отчаянную просьбу мою не намерен. И явился для того лишь, чтобы продемонстрировать мне свой категорический отказ. И я тут же решил уйти, и ушел бы, если бы милая хозяйка не сказала, понизив голос:

— А наша очаровательная Элен так надеялась, что вы проводите ее. У нас в Пятигорске не принято, чтобы дамы ходили в одиночестве, а ее супруг — такая незадача! — отбыл в Тифлис по служебным надобностям.

Я проводил уже, признаться, отмеченную мною прелестную блондиночку, выразил горячее желание выпить с нею чашечку шоколада, обождал в саду, пока она отпустит на покой прислугу («У нас обожают всяческие сплетни!..»), и… И напрочь позабыл о человекообразном майоре, а заодно и о всех своих страхах…

Но — вот странное свойство натуры человеческой! — при этом отлично помнил, как обидел меня Дорохов своим дерзким невниманием. И прямо из страстных объятий помчался к нему за разъяснениями, не отряхнув, так сказать, поце-

луев с лица.

Руфин Иванович недавно вернулся «со страды» и еще почивал. Но я поднял крик, и его разбудили.

— Вы бестолково настойчивы, патриций, — недовольно сказал он, зевая. — Майор Афанасьев проигрался вдрызг и в счет проигрыша обязался немедля подать рапорт о переводе из Апшеронского полка. Так что спите спокойно и, бога ради, дайте выспаться мне…

Пятый марш

Майора Афанасьева я более так и не увидел. Правда, заодно я не увидел и Знака ордена Святого Георгия: горилла все-таки вычеркнула из списка мою фамилию. Однако перспектива угодить в скотские тылы была куда страшнее, и я быстро утешился в объятьях обворожительной блондиночки.

У поручика Моллера кончился краткий официальный отпуск, и мы отбыли в свой полк, разбросанный для отдыха и пополнения по крепостям и станицам вокруг Кизляра. Нашей роте досталась самая удаленная от города местность — крепость Внезапная, выстроенная недавно на

пепелище древнего чеченского аула.

Аборигенов здесь уж почти что и не встречалось. Заселив эти земли в незапамятные времена, они были частью перебиты, частью оттеснены в непригодные для земледелия горы, а на их нивы и пастбища уже переселялись казаки. Служба казалась пустячной после дела под аулом Ахульго, если, конечно, не сравнивать ее с размеренными и привычными обязанностями солдат в собственно России. Порою нас поднимали по тревоге, мы куда-то бежали, занимали позиции, стреляли по гарцующим вдали джигитам, которые упрямо прятались в горах, не желая ни замиряться, ни отходить в Дагестан.

— Нет, не уйдут они сами отсюдова, Александр Ильич, — рассуждал Сурмил, готовя на костре варево на двоих. — Знаешь почему? Потому что землица эта — ихняя. Какая ни есть, а — родимая. Ну и кто же добровольно родимую землицу свою отдаст?

— Ты бы не отдал?

— Не было у меня никогда ничего своего, окромя драного зипуна. Но так скажу, что и зипун без драки не отдам.

Он окончательно оттеснил меня от костра и котелка, сурово обвинив в том, что я только пере-

вожу добро. На мне осталась заготовка дровишек да мытье нашей общей посуды, и нас обоих это вполне устраивало.

— Еще до тебя наша рота как-то чеченца в плен взяла. Немолодой уж, по-нашему понимает и говорить может. Да-а…

Это неожиданное «да-а…» означало, что Сурмил по какой-то причине раздумал продолжать рассказ. Мужиком он оказался сообразительным, хотя безулыбчивым и хмурым, в солдатских вечерних беседах за словом в карман не лез, но со мною — осторожничал. Сидорка был куда попроще, зато Сурмил размышлял и умел сравнивать, чем и выделялся из основной солдатской массы.

— Ну и что же чеченец?

— Чеченец-то? — Сурмил помолчал. — Чеченец говорил, что у них, мол, крепостных нет и никогда не было. Не знаю, может, соврал.

Осторожничал мой товарищ. Тема эта очень солдат волновала, рассуждали о воле они часто, но при мне особенно не распространялись. Я для них оставался барином и в солдатском мундире.

— Нет, не соврал, — сказал я.

— А кто же их князей да богачей кормит?

— Нанимают. Десятый сноп, двадцатый баран.

— А у нас так нельзя?

— У нас — держава, Сурмил. Государь, армия, чиновники. Тут казна нужна, без нее не обойдешься.

— А их благородие ротный командир поручик Моллер как-то сказал, что и у немцев, мол, крепостных тоже нет. А держава — есть. Это как же — тоже за двадцатого барана нанимают?

— За деньги. Европа деньгами расплачивается, а мы — по старинке, землицей. Матушка Екатерина Великая все завоеванные земли генералам раздала.

— Все раздала, и погнали солдат на Кавказ за новой землицей, — вздохнул Сурмил. — Кто, стало быть, баранами расплачивается, кто — денежкой, а кто и солдатской кровушкой. Для России это, конечное дело, куда дешевше… Ну, давай хлебать, Александр Ильич, пока горячее…

На том тогда этот разговор и закончился. Хлебали мы с моим напарником варево, и оба почему-то молчали. О чем думал Сурмил, не знаю, но меня разговор этот почему-то зацепил, и я долго не мог уснуть в ту прохладную весеннюю ночь…

…Да, в Европе свободные земли кончились быстро, а вместе с ними кончились и пожалования за службу. Колумбы с

Магелланами устремились за океан в поисках новых земель и новых рабов. Корабли, пушки, якоря, паруса да порох требовали денег, и они завертелись в Европе, отбросив крепостное право на самые глухие окраины. А мы открыли Сибирь, из которой хлебушка не привезешь, и ринулись отвоевывать жирные куски у соседей, чтобы было чем питать привычное крепостное свое существование. И прав Сурмил: солдатская кровь – самое дешевое из всего, чем располагает Россия и по сей день…

Только когда-нибудь это солдатам надоест. И вспыхнет бунт, бессмысленный и беспощадный, которого так боялись декабристы. И в пламени этого бунта сгорит дворянская культура, выпестованная тысячелетними страданиями всего народа. И Россия разделит судьбу всех древних великих империй под грохот цимбал и торжествующие клики собственных варваров…

Моллер порою изыскивал способы выдернуть меня из строя, чтобы мог я дух перевести, вновь

человеком себя почувствовать и сил новых набраться. Тогда я сбрасывал опостылевший мундир, блаженствовал в баньке, и мы усаживались длинными весенними вечерами за доброй бутылкой вина. Обычно он заранее предупреждал меня об этом, но однажды я был востребован им без предупреждения.

Поручик был не один. На веранде за накрытым столом сидел пожилой чеченец, угощавший виноградом шустрого черноглазого мальчика лет шести. Я вытянулся и отдал рапорт по всей форме.

— Здравствуйте, Олексин. — Моллер дружески пожал мне руку. — Позвольте представить вам, Амирбек, моего друга, о котором я вам рассказывал.

Чеченец поднялся, с уважением, двумя руками долго тряс мою руку. Затем мы с Моллером отправились в баню, где поручик мне все и объяснил.

— Амирбек — мирный чеченец, помогает нам, как может, не предавая своих при этом. Однако многим умудрился насолить, после разгрома имама у Ахульго ему начали угрожать, а вскоре, в подтверждение нешуточности угроз, убили двух сыновей. Остался последний мальчонка, которого он и задумал перевезти в Кизляр. Уж как он

до Внезапной добрался, не знаю, но я решил дать ему охрану до поста Сухой Окоп. Не согласитесь прогуляться вместе с Сурмилом? Все интереснее, чем тут уныло прозябать.

Я согласился сразу же. Это и впрямь было определенной разрядкой в опостылевшей гарнизонной службе, да и — что уж греха-то таить! — засчитывалось в качестве боевой службы, ради чего, собственно, Моллер и остановил на мне свой выбор.

Выступили через сутки, ранним утром. Амирбек вместе с сыном ехали на скрипучей арбе, запряженной двумя ленивыми буйволами, а мы с Сурмилом сопровождали его пешком, в полной амуниции и снаряженные ружьями.

Этому предшествовал дружеский ужин. Амирбек вполне сносно говорил по-русски, рассказывал о чеченских обычаях и своем понимании сложившегося в Чечне положения.

— Кавказ раздроблен на ханства и княжества, а в каждом ущелье — свой народ, свой язык, свои обычаи, свое понимание, свои упрямые старейшины и свои застарелые обиды. Кровавые ссоры, грабежи, угон скота, умыкание девиц — вот в какой атмосфере вырастало каждое новое поколение, и кинжал всегда оказывался последней

точкой в наших разногласиях. Мы либо слишком молоды, либо слишком древны для того, чтобы замечать, как изменилось время вокруг нас.

— Если и существовал когда-либо гордиев узел, то он — на Кавказе, — сказал Моллер. — Не знаю только, стоит ли его разрубать по примеру Александра Македонского.

— В молодости я воевал против вас. А потом понял, что сопротивление бесполезно. Не только потому, что вы, русские, упорны и своего добьетесь; все узлы развязывает только торговля. Мужчины гибнут, дети гибнут, женщины гибнут. Лучше договориться о мире, чем подстерегать друг друга за каждой скалой…

Относительно скалы он сказал тогда правду. Может, предчувствовал, может, характер собственных джигитов знал, а только так у нас и случилось.

На горной площадке остановились перекусить, а заодно и дать передохнуть буйволам. Отсюда начинался спуск в узкую долину, за которой и располагался военный пост Сухой Окоп, охраняемый дюжиной казаков. Самый опасный участок мы уже миновали, нам оставалось пройти совсем немного, передать Амирбека вместе с мальчонкой казакам и, переночевав у них, возвратиться

к своим.

Итак, мы остановились на отдых, поскольку крутой спуск для подъяремных животных всегда тяжелее подъема. Пока Амирбек хлопотал с припасами, мальчик играл у арбы, а Сурмил разводил костер, я решил оглядеться, уже свыкнувшись с мыслью, что на этой войне своевременная оглядка жизнь бережет.

Крутая, каменистая и на редкость извилистая дорога уходила вниз, в долину, но вправо от нее я заметил заросшую сухобыльем малозаметную тропу, ведущую неизвестно куда. Она просматривалась только до невысокой обрывистой скалы, огибала ее и скрывалась с глаз. Это почему-то меня встревожило, и я пошел поглядеть, куда же ведет тропинка за утесом.

Шел я настороженно, с ружьем наперевес, часто останавливаясь и прислушиваясь. Однако ничего опасного не замечалось, тропка старательно огибала скалу почти по всему ее обводу и круто уходила к долине. Я решил, что это всего-навсего более короткий путь для конника к тому же Сухому Окопу, но, вместо того чтобы повернуть назад, к нашему походному стану, вздумал вдруг взобраться на утес. Лез и думал, черт, что ли, меня понес…

Но выяснилось, что не черт. Провидение…

Едва взобравшись на вершину, я услышал крик. Еще не вскочив на ноги — к счастью, как потом выяснилось, — глянул в сторону нашего лагеря, сначала ничего не понял, а потом разглядел, что Амирбек лежит на земле, Сурмил с карабином в руках бежит в мою сторону, но почему-то не стреляет, а ко мне, победно потрясая ружьем, мчится на коне чеченец в черной папахе. И перед ним, почти на шее лошади, — шестилетний мальчонка, сын Амирбека…

Как потом выяснилось, абрек незаметно подобрался к арбе, возле которой играл ребенок, когда его отец мирно беседовал с Сурмилом у костра. Амирбек оглянулся на крик сына, бросился к нему, но чеченец огрел его прикладом по голове, забросил на коня мальчишку, вскочил сам и был таков…

Был бы таков, если бы я вовремя не сообразил, что скачет он по тропе и, значит, вынужден будет огибать скалу.

Здесь следует кое-что объяснить. Наш главный мучитель во время обучения в Корпусе, капитан Пидгорный — о котором я уже рассказывал, — был помешан на одной идее. В войнах с

Наполеоном он лично познакомился с действиями вольтижеров — легкой французской пехоты, действующей в сражениях на флангах егерских полков. Вольтижеры были обучены вскакивать во время боя на круп лошади противника и мгновенно вышибать его из седла. Капитан считал, что вольтижеры необходимы и нашей армии, писал записки на Высочайшее Имя, а в ожидании ответов беспощадно гонял нас, отрабатывая особые приемы спешивания противника. Ответов он, насколько мне известно, так и не получил, но свирепые его тренировки даром для нас не прошли.

Во всяком случае, для меня. Я ведь даже и не вспомнил о воинском мастерстве французских вольтижеров: я просто знал способы, какими можно спешить любого кавалериста. И когда чеченец появился под скалой, прыгнул сверху на его лошадь. От вдруг свалившейся тяжести она присела, сбившись с аллюра, а всадник ничего сообразить так и не успел. Согнув в локте левую руку, я ухватил его за горло, одновременно заведя вперед обе ноги и каблуками с силой ударив абрека по носкам его сапог, чтобы вышибить их из стремян. Тут же упал спиной на круп и обеими руками сбросил чеченца с собственной груди, а

заодно, естественно, и с лошади.

Все это произошло мгновенно и должно было произойти мгновенно, потому что успех обеспечивался только стремительной внезапностью. Все было отработано до мелочей на собственных синяках да шишках, и единственное, чего я боялся, так того, усидит ли мальчишка в седле…

Но он был настоящий чеченский парнишка, с младенчества сидящий на коне куда увереннее, чем на стуле. Он насмерть вцепился ручонками в гриву лошади, я перепрыгнул в седло, на ощупь сунул ноги в стремена, подобрал повод и стал осторожно придерживать перепуганного аргамака, прочно зажав его шенкелями. Конь почувствовал их, перестал рвать узду и смирился, перейдя на мягкую рысь. Сын Амирбека оглянулся, затравленно глянув, но, узнав меня, заулыбался во весь рот.

— Ты смелый мальчик, — сказал я ему.

Развернул коня и на той же мягкой рыси повел его к месту нашей стоянки.

И — остановился, потому что из-за скалы на тропу шагнул абрек. Из-под папахи на лоб текла струйка крови — видно, ударился о камень, вылетев из седла, — но он улыбался в черную бороду, поскольку держал в руках ружье, а я был

безоружен.

И мы — молчали.

— Почему ты не убил меня? — наконец спросил он по-русски, невероятно корежа слова.

— Джигитов не убивают в спину.

Сердце мое неистово колотилось, но я — улыбался. Улыбка и почти дружеский разговор были сейчас моим единственным оружием.

— Хорошие слова. Как твое имя, джигит?

— Сашка.

Чеченец по-прежнему стоял на дороге, дуло его ружья по-прежнему смотрело мне в грудь, кровь по-прежнему сочилась по его лбу, и он по-прежнему улыбался в густую черную бороду.

И неожиданно шагнул в сторону, уступая тропинку:

— Проезжай.

Я тронул коня: другого выбора у меня просто не было, равно как не было и оружия, а Сурмил куда-то подевался. И остановился, когда голова лошади поравнялась с абреком. А он погладил ее по морде и сказал:

— Старики учат верить хорошим словам.

— «Сын» — хорошее слово. — Почему-то ничего другого в этот миг не пришло мне в голову.

— «Конь» — тоже хорошее слово, — усмехнулся

джигит. — Я меняю коня на мальчишку.

Я спрыгнул с седла, взял мальчика на руки. Мы стояли лицом к лицу с чеченцем, и, если бы не ребенок на руках, я, пожалуй, полез бы сейчас в драку даже безоружным. Уж слишком сильным было напряжение, и я с огромным трудом удерживал себя от всяческих действий. Видимо, я что-то позабыл из наставлений капитана Пидгорного, поскольку попался в собственный капкан.

— Зачем стоишь? — спросил он. — Обмен есть обмен.

И еще раз уступил мне дорогу. Я протиснулся между ним и конем, и мальчик что-то сказал. Абрек рассмеялся:

— Хороший волчонок! Иди, чего ты ждешь еще?

— Ты не назвал своего имени.

Почему я произнес именно эти слова? Может быть, потому, что начал чуточку понимать кавказцев?

— Беслан.

— Я запомню твое имя.

И пошел. Не скажу, что ноги мои не дрожали, но я старался ступать легко и твердо. И очень боялся, что он прочитает мой страх на моей спине.

— Стой!

Я остановился. Опустил мальчика на землю, шепнул ему:

— Беги к отцу…

Мальчик помчался, юрко петляя меж обломков скал. А я медленно повернулся лицом к Беслану:

— Разве мы не кончили наш разговор, Беслан?

— Я подумал, что тебя, может быть, следует застрелить. Одним джигитом у русских будет меньше.

— Держу на мушке!..

За спиною абрека неожиданно появился Сурмил с карабином у плеча. Беслан тоже услышал этот крик, прозвучавший за его спиной, но не обернулся.

— Не стреляй, Сурмил!..

Я почему-то закричал очень громко. Что было сил закричал.

— Червонец для меня — большие деньги, Александр Ильич.

— Дам четвертной, если отпустишь его живым!

Мы перекрикивались через голову чеченца, замершего возле коня. Если бы он стоял, отступя хотя бы на полшага, он, пожалуй, рискнул бы вскочить в седло, а далее уже можно было надеяться на четыре ноги аргамака. Но сейчас, при

столь неосторожно занятой позиции, оказался практически беспомощным: Сурмил держал его спину на мушке. А мы продолжали перекрикиваться.

— Они все — разбойники и бандиты…

— Этот отпустил меня с мальчишкой, когда мы были полностью в его руках.

— Воля твоя, Александр Ильич, — с неудовольствием согласился наконец мой напарник, опуская карабин. — Воля твоя, а четвертной мой.

— Твой, твой, — подтвердил я с огромным облегчением. — Ты свободен, Беслан.

Абрек, не сводя с меня глаз, сделал полшага назад и мгновенно оказался в седле. Поскольку оба конца тропинки были заняты нами, он развернул коня поперек. Спуск был весьма крут, но я знал выучку кавказских лошадей и искусство их всадников.

— Твой должник, Сашка! — крикнул он, вдруг придержав коня. — Лови!..

Бросил мне кинжал в черных потертых ножнах, отдал повод и с гиком помчался вниз по крутому откосу…

Шестой марш

Весна цвела, жужжала и чирикала на все лады, а мы все еще стояли во Внезапной. Пополнение не подходило, все наступления вдруг замерли, а солдаты поговаривали, что горцы потеснили нас в Дагестане. Не знаю, так ли это было, но что-то где-то складывалось явно не по нашему желанию. Я хотел поговорить об этом с Моллером, а он, словно почувствовав, сам вызвал меня к себе.

— Есть возможность поехать в Кизляр дней на десять-двенадцать. Коли не против, готовьте статский костюм.

Костюм был у меня наготове. Поскольку поручик Моллер оказался во Внезапной старшим воинским начальником, я держал чемодан с цивильной одеждой при себе. Сурмил разыскал утюг, я самолично отпарил свои статские наряды и с нетерпением ожидал, когда Моллер сочтет возможным распорядиться о выезде. Но время шло, мой ротный командир помалкивал, и я начал вертеться у него на глазах.

— Так случилось, что мне пришлось отпустить на краткий отдых своих субалтерн-офицеров, — несколько виновато признался он, когда я прямо

спросил его, не спрятать ли мне свою статскую одежду в чемодан до лучших времен.

…Ничего нет хуже несостоявшегося нетерпения!..

Внезапно прибыл подпоручик из Кизляра в сопровождении пятерых казаков-кубанцев. Я видел, как они прибыли, как подпоручик тотчас же прошел к Моллеру. И как только казаки подвесили торбы на лошадиные морды, подошел полюбопытствовать:

— С чем прибыли, служивые?

— С депешей. — Урядник, старший конвоя, оглядел меня и добавил, усмехнувшись: — Слух такой, что вам, пехота, ружья чистить — самая пора.

Солдатские слухи чаще всего оказывались основанными на действительно важных событиях. Не потому, что солдатские уши и глаза были такими уж всеслышащими и всевидящими, а по той причине, что ни от вестовых, ни от рассыльных, ни от писарей из старых солдат, ни тем более от собственных денщиков никакой офицер отгородиться не мог. Что-то просачивалось, накапливалось, осмыслялось вечно ждущей только неприятностей солдатской массой, складывалось воедино и неминуемо порождало невеселый вы-

вод: «Готовьтесь, ребята. По наши души депеша пришла…»

Я еще болтал с казаками, надеясь выведать что-либо более определенное, когда из своего дома вышел мой ротный и подпоручик, доставивший депешу. Моллер попрощался, молча обождал, когда за порученцем и казаками уляжется поднятая пыль, и недовольно буркнул, чтобы я прошел к нему.

— Кизляр отменяется, Олексин, — очень серьезно сказал он. — Немирные захватили жену самого Павла Христофоровича Граббе. Нам приказано найти ее и отбить, поскольку ни на какой выкуп чеченцы не согласны.

— Может быть, вопрос — только в сумме выкупа?

— Скорее, это похоже на месть, — вздохнул поручик. — Граббе взял Ахульго и чудом не пленил имама. Да, к приказу приложена записка. Ознакомьтесь.

Он протянул мне листок бумаги. Я развернул и прочитал:

«ОТВАГА АПШЕРОНЦЕВ ПОД АХУЛЬГО СПАСЛА МОЮ ЧЕСТЬ. ВЕРЮ, ЧТО ЕСЛИ КТО И СПОСОБЕН СПАСТИ МОЮ ЖЕНУ, ТАК ТОЛЬКО ВЫ, МОЛЛЕР. ВЫ И ВАШИ СОЛДАТЫ. ПО СЛУХАМ, ОНА — В АУЛЕ

АДЖИ-ЮРТ».

И — генеральская закорючка вместо подписи.

— Он немногословен. — Я возвратил записку.

— Чеченцы, безусловно, перекрыли все дороги и тропы к аулу, — вслух рассуждал поручик, не слушая меня. — Вы рассказывали, что будто бы подружились с неким абреком. Может быть, он проведет нас к Аджи-Юрту без всяких троп?

— Вряд ли он пойдет против своих соплеменников.

— Вряд ли, — согласился Моллер. — Но попытаться все же следует.

— Для того чтобы попытаться, мне сначала надо хотя бы встретиться с ним.

— Хорошо бы найти его сегодня, Олексин. Завтра нам необходимо выступить, пока немирные не спрятали свою добычу в горах. Возьмите моего коня. А главное, будьте очень осторожны.

— Не думаю, что в этих краях может оказаться кто-либо еще, кроме моего приятеля. У каждого абрека — свой участок охоты. А за коня — спасибо.

Признаться, я с большой неохотой отправился выполнять эту то ли дружескую просьбу, то ли приказ. Я понимал, что мой ротный пытается использовать все возможности, чтобы испол-

нить как можно быстрее (и лучше — бескровнее) личную просьбу генерала Граббе, попавшего в беду. Понимал, но… Как бы это потолковее объяснить?.. Мне было неприятно, что ли. Неприятно обращаться за помощью к отъявленному чеченскому головорезу, отстреливающему из хорошего укрытия наших солдат и казаков. Что-то в этом было почти неприемлемым для меня…

Но, повторяю, понимал Моллера, а потому и выехал.

И представьте, нашел Беслана. Часа полтора проторчал возле скалы, где мы с ним впервые столкнулись, даже взобрался на нее, покрасовавшись на вершине. Хотел было уже возвращаться в крепость, но обратил внимание, как вдруг вытянула морду и запрядала ушами лошадь, одолженная мне поручиком. Я завертел головой и увидел черного всадника на черном коне.

— Беслан!..

Он подъехал, кивнул, сказал неодобрительно:

— Час смотрел, как ты искал свою пулю.

— Пулю? — растерянно спросил я.

— Только хранимые Аллахом да ваши начальники ездят на белых конях. И тогда подумал: может, ты ищешь меня?

— Я искал тебя, Беслан.

Мне трудно было начинать этот разговор. Настолько, что я даже не подумал, как начну его. И сказал:

— Мы — джигиты. Разве к лицу джигитам сводить счеты с неповинными женщинами?

— Я не трогаю женщин.

И будто в доказательство собственных слов сдвинул на затылок папаху, обычно нависающую над его бровями, показав мне зеленую повязку. Я увидел арабскую вязь, выведенную черной краской.

— Что там написано?

— Имя моего сына.

— Он погиб?

— Нет. Он исчез, когда русские заняли мой аул. Вы называете это зачисткой.

— Ты хотел украсть мальчишку Амирбека вместо своего сына?

— Вместо ничего не бывает. Я хотел получить за него тысячу рублей, чтобы выкупить своего Лечу. Верный человек сказал, что видел его у казаков в станице Червленой.

— Казаки крадут детей ради выкупа?

— Всякая война имеет две стороны. Кто-то делается богаче, кто-то — еще беднее.

Он сам предложил начало трудного разговора.

Правда, случайно и бесхитростно, но я вцепился в него:

— Я дам тебе пять тысяч.

Беслан посмотрел на меня с укоризной. И расстроенно поцокал языком:

— У тебя — два желания, которые я должен выполнить. Два, — для убедительности он показал два пальца. — Ты дважды спас мою жизнь. Говори, что тебе надо, и не обижай понапрасну.

— У генерала украли жену, — решительно сказал я. — Почтенную женщину, мать двоих сыновей.

Беслан чуть пожал плечами:

— Какой-то мюрид очень хочет заслужить одобрение имама. Только женщина была не одна.

— Не одна?

— Две, — абрек опять показал два пальца. — Их увезли в Аджи-Юрт.

— Нам приказано освободить их. Проведи нас к Аджи-Юрту какой-либо незаметной дорогой.

Беслан отрицательно покачал головой и горестно вздохнул:

— Тогда мне не спасти своего сына.

— Почему?

— Потому что меня убьют, а кто же его выкупит?

Я молчал, лихорадочно размышляя, как мне убедить его. Он снова вздохнул. На сей раз виновато:

— Извини, я — твой должник. Но мальчик — последний мужчина в нашем роду. Извини.

Он уже тронул лошадь, но я придержал ее за повод.

— Ты сказал, что твой сын в станице Червленой? Я даю тебе слово, что найду его, если ты поможешь нам, Беслан.

Он помолчал.

— Я дал слово, Беслан.

— Это твое слово или слово твоего генерала?

— Это мое слово.

Он долго молчал, размышляя. Наконец решился:

— Сегодня после захода солнца — у переправы.

Чуть приподнял коня перед первым прыжком, отдал ему повод и понесся вниз по крутому обрыву.

Я не сомневался в его слове, о чем и доложил поручику.

— Но мои помощники не успеют вернуться, Олексин.

Они и впрямь не успели — и к своему счастью. Почти никто из того похода целым не вернулся,

уж не говорю о погибших…

Моллер хмурился, но после обеда неожиданно подошло подкрепление: видимо, генерал все же помнил, что рота у нас далека от списочного состава. И своей властью снял из-под Пятигорска двадцать восемь стрелков, которых и привел к нам, во Внезапную, подпоручик Мздолевский.

Моллер очень обрадовался этому неожиданному везенью нашему. А я — даже вдвойне, потому что среди прибывших стрелков оказался мой давний знакомец по Москве. Пров Сколышев, заботливо обучавший меня солдатским наукам на гауптвахте.

— Рад тебя видеть, Пров. Как до Кавказа добрался?

— Широка Россия, Александр Ильич. Две пары сапог стоптал до самых до портянок.

Так у поручика оказался хотя и один помощник, да зато добрый малый. Этого было, конечно же, маловато для похода, и он негласно назначил вторым помощником меня, поручив командовать авангардом, а заодно и приглядывать за проводником. Если он, конечно, объявится на переправе.

Беслан появился, по брови замотанный черным башлыком. Я хотел представить его поручику, но

он отказался:

— Я тебе служу, а не русским. Скажи, чтоб шли тихо и чтоб офицеры коней оставили там, где я оставлю своего.

Я передал это командиру роты. Солдаты обмотали тряпьем все, что только могло звякать или брякать, попрыгали для проверки перед Моллером, и мы наконец тронулись к аулу Аджи-Юрт.

Трудно было назвать тропинкой те ужиные изгибы вверх по крутому склону. Но Беслан вел уверенно, я шагал следом, за мною — десятка, отряженная поручиком в авангард, а уж потом — остальные. И этих остальных было семьдесят два человека. Восемьдесят три всего, если с нами вместе считать.

Перевалив через невысокий, но весьма крутой хребет, Беслан спешился.

— Дальше — пешком.

Он не стал привязывать своего коня. Просто что-то шепнул ему на ухо, и конь послушно отошел в тень. Но лошадей Моллера и Мздолевского привязать велел и сказал:

— За этой горой — сады. Там будете ждать. Я покажу, где прячут женщин, только Сашке, и уйду.

До границы садов мы добрались уже в густых сумерках: думаю, что абрек и вел нас сюда с этим

расчетом. Шепотом предупредив поручика, чтобы не было никакого шума, кивнул мне, и мы беззвучно исчезли в безмолвном саду.

Беслан тенью скользил впереди, не задумываясь над тем, куда и как ставить ногу. На нем были мягкие кавказские сапоги, а на мне — грубые солдатские, и мне приходилось задумываться. Кроме того, стало совсем темно, и я скорее угадывал гибкий силуэт чеченца, чем видел его фигуру.

И неожиданно силуэт этот внезапно исчез. Я остановился, напряженно вглядываясь, ровнехонько ничего не заметил, но казематным, что ли, опытом определил, что сад кончился, потому что впереди было чуточку светлее. И понял, что Беслан прячется в кустах, чтобы не рисоваться на опушке. Осторожно прошел несколько шагов, заметил его и прилег рядом.

— Сначала смотри. Слушать будешь потом.

Я осторожно раздвинул кусты. Впереди тянулась узкая полоска баштана, за ним — невысокая ограда, сложенная из каменного сланца, за которой смутно виднелась глухая, без единого оконца, стена дома.

— Я готов слушать тебя, Беслан.

— Вход один, с той стороны дома. На входе — часовой. Может быть, один; может быть — два. В

доме — ваши женщины, но может быть и кто-то из чеченок. Тогда скверно, только решать — не мне. Я сделал свое дело?

— Да, Беслан. Спасибо.

— Теперь ты — мой должник. — Мне показалось, что он улыбнулся. — Отходи тихо и всегда помни о кинжале за поясом.

Он исчез, бесшумно растворившись в темноте. А я помнил не столько о кинжале за поясом, сколько о чеченках, которые могли оказаться в доме, и не знал, как поступить. Они сразу же завопят, как только мы появимся на пороге…

Правда, для того чтобы там появиться, необходимо убрать часовых. Однако они — наверняка мужчины, и нравственные затруднения наши начнутся не при входе…

Словом, я решил проверить, кто в доме и сколько их. В окно, конечно, не заглянешь, но можно услышать голоса, а по ним разобраться, что нас ожидает внутри. Пригнувшись, перебежал баштан и упал возле стены дома. Никто меня не окликнул, никто не заметил, но на этой стене тоже не оказалось ни одного окна. Я дополз до угла и осторожно заглянул за него.

Вдоль лицевой стороны дома тянулась узкая веранда. У двери, опершись спиной о косяк, сиде-

ла темная мужская фигура. Я долго всматривался и вслушивался, но никого более не обнаружил.

«Один, слава тебе господи. Но сколько может оказаться в доме?.. Даже одна чеченка — почти непреодолимое препятствие…»

Вероятно, дом стоял на окраине аула, потому что никаких иных строений нигде видно не было, но собачий лай откуда-то все же доносился…

Внезапно раздался скрип двери, и я поспешно втянул свою голову за угол.

— Куда?.. — спросил грубый гортанный голос.

— Господи, — вздохнула женщина. — Я же тебе уже говорила, что у вас ужас сколько блох. Ужас. Приходится выбивать одеяло, которое я забыла. Забыла одеяло, понимаешь? Одеяло!.. А твоя подруга-надсмотрщица не пришла, вот я и иду за ним. Ну, холодно моей госпоже, можешь ты это понять?..

Женщина говорила громко, но не потому, что собеседник плохо ее понимал, а, как мне показалось, для кого-то иного…

Мужской голос что-то весьма недовольно пробурчал. Но — тоном ниже.

— Давно бы так, — с облегчением сказала женщина.

Вы не поверите, но я догадался, кому принадле-

жит этот женский голос. Не очень мелодичный, прямо скажем, но — знакомый. Просто вспомнил его…

— …Хозяйка добыла для меня письмо к генералу Граббе… Мой отец служил у него…

* * *

Я вжался в стену. А когда легкая фигурка появилась из-за угла, шепнул наудачу:

— Вера…

И — угадал. Угадал!..

— Боже мой, мы знали, знали, что вы придете…

— В доме никого?

— К счастью, сегодня нет. У нее заболел ребенок…

— К черту подробности. Сторож один?

— Один. Я возьму одеяло и отвлеку его, а вы…

— А я — это я. Действуйте!

— Только возьму одеяло…

Вера куда-то на мгновение скрылась, но тут же возникла вновь, на ходу складывая одеяло.

— Поверните его спиной ко мне…

Кажется, она кивнула. Темнота уже сгустилась. Южная, почти черная темнотища…

Я осторожно выпрямился, обнажил кинжал и выглянул.

Вера что-то говорила, даже неуместно хихикала, но я уже ничего не слышал. Я прикидывал шаги…

И — шагнул. Доски лежали почти на земле и поэтому только прогнулись под моей тяжестью, не заскрипев. Шаг, еще шаг… Вера все еще болтает, а он уже стоит ко мне спиной… В конечном итоге женщины всегда делают с нами то, что хотят сделать…

Ах, Корпус, который мы в детстве так проклинали! Старые седые унтеры учили нас, как снимать часовых. Локтевым сгибом левой руки захватываешь противника за горло, резкий рывок на себя, чтобы не успел закричать, и — удар в сердце. В данном случае — кинжалом. У чеченцев отличные кинжалы. Лучшие на Кавказе…

Он даже не застонал. Я осторожно, чтобы не было никакого шума, опустил его на пол.

— Господи… — прошептала Вера и перекрестилась.

— Бери генеральшу, и через баштан — в сад. Я нагоню.

Вера юркнула в дверь и — следует отдать

должное этим дамам, не потерявшим головы и в плену, — почти тотчас же вышла вместе с полной особой, заботливо укутанной в одеяло.

— Благодарю вас, спаситель…

— Быстро и — молча!

Дамы исчезли за углом. Я закрыл распахнутую настежь дверь, подтащил к ней обмякшее тело чеченца и кое-как усадил его у притолоки. Тело все время заваливалось на бок, и мне пришлось помучиться, пока я не нашел для него некоего равновесного положения. И уже открыто помчался вслед за дамами…

Я нашел их в кустах на окраине сада, и, как только мы добрались до отряда, Моллер приказал немедленно выступать. Поручик и Мздолевский уступили дамам своих лошадей, мы шли с быстротой, на которую только были способны, но чеченцы все равно нагнали нас еще до полудня. Пока арьергард во главе с Мздолевским отбивался от них залпами, мы с поручиком отыскали узкую расселину в скалах, куда и упрятали наших дам.

Холм, на котором нам пришлось оборонять-ся, господствовал над местностью и был усеян скальными обломками. Его затруднительно было атаковать в лоб, зато отстреливаться было

удобно, пока не кончатся патроны. Великолепно приспособившийся к этой странной войне, Моллер не пугался полного окружения и атаки со всех направлений, по опыту зная, что чеченцы никогда не замыкают кольцо, давая противнику возможность отступить. Делают они так, во-первых, для того, чтобы не доводить неприятеля до отчаяния, которое всегда сплачивает окруженных единством судеб, а во-вторых, они — редкие мастера конного боя и в особенности стремительного преследования.

— Стрелять из-за укрытий и только по моей команде, — сказал он солдатам. — Буду очень недоволен, если кто пальнет раньше времени. Мздолевский, держите левый фланг, Олексин — правый, а я уцеплюсь за центр. Повторяю, у нас мало патронов, поэтому стрелять только по команде и по возможности в неприятеля, а не ради шума и успокоения нервной системы.

Я нарочно так подробно записал его обычный разговор перед боем, потому что в нем, как мне кажется, звучит то продуманное немецкое занудство, которое сберегло России не одну солдатскую жизнь. Мой ротный был занудой и остался занудой, но как же я люблю навещать его хотя бы раз в два года…

Мы успели рассредоточиться и укрыться только потому, что чеченцы решили вначале попытаться решить дело переговорами. Вскоре после того, как они дугой оцепили наш пригорок, из их отряда выделился молодой чеченец в черкеске с богатыми серебряными газырями и помчался к нам, размахивая белым башлыком.

— Хотят вначале побеседовать, — сказал поручик. — Олексин, отберите самого смекалистого солдата, готового добраться до нашего первого поста.

— Дать ему лошадь?

— Всадника чеченцы немедленно начнут преследовать, а пеший все же имеет шанс ускользнуть.

Из всех немногочисленных добровольцев я выбрал Сурмила. Он девять лет воевал на Кавказе, привык к горам, научился в них разбираться и был достаточно сметлив и осторожен.

— Пойду на Грозную, — сказал он. — Там добрый гарнизон, а ближе — только наша Внезапная, так она и так вся тут.

— Дорогу знаешь?

— Разберусь. Попросите ротного, пусть подольше парламентера задержит. Чеченцы любознательны, на него будут глядеть.

Оставил нам ружье с лядункой («Все одно не отстреляюсь, коли догонят») и незаметно соскользнул в кусты с обратного ската нашего холма.

Моллер выехал на переговоры верхом, на встречу не спешил, а чеченцы, выстроившиеся полукругом перед нами на расстоянии ружейного выстрела, и впрямь глазели только на него. Старые кавказские вояки хорошо изучили слабости своего противника.

С этой же целью поручик явно не торопился заканчивать беседу. Голоса его я не слышал, но сужу по жестам и спокойной неспешности. Наконец молодому чеченскому парламентеру, видимо, надоели эти пустопорожние переговоры. Всадники развернули коней и разъехались в противоположные стороны, но — разными аллюрами. Чеченец гнал галопом, а Моллер трусил манежной рысью. Однако наши противники терпеливо дождались, пока он не спешился и не отвел лошадь за скалу. Тогда они дружно заорали и помчались на нас со всех трех сторон.

— По моей команде! — успел предупредить ротный, укрывшись за своим камнем.

Признаться, исполнение этого приказа требовало выдержки. Я уже видел не только блеск

чеченских шашек, но и бородатые лица передовых конников и слышал не только их рев, не только согласный грохот копыт, втянувшихся в общий ритм, но и отдельные возгласы особо распаленных глоток…

— Пли!..

По-моему, до атакующих было менее пяти десятков шагов, когда прозвучала эта команда: железной выдержке нашего поручика можно было позавидовать. Зато большинство солдат успело разобраться в своих целях, и залп прозвучи впечатляюще. Не менее дюжины всадников оказалось на земле.

Вероятно, это была разведка боем, так как нападающие тут же развернулись и помчались на прежние позиции. Однако по пути добрая четверть из них на скаку попадала на землю.

— Неужто пулями мы их посшибали? — удивленно спросил Пров, он расположился за соседним камнем.

— Это, скорее, лучшие стрелки, — сказал я. — Заметь, ни один из них своей винтовки не бросил.

Я был прав: вскоре они накрыли нас частым прицельным огнем. И сразу же закричали первые раненые.

— Раненых — в расселину, к женщинам, — рас-

порядился Моллер. — Глядите внимательнее, ребята, сейчас опять пойдут!..

И вторую атаку нам удалось отбить ружейными залпами. Чеченцы вновь откатились, и вновь их стрелки начали обстрел, не давая нам пошевелиться…

Бой превратился в какую-то чересполосицу: прицельный обстрел сменялся стремительной конной атакой, конная атака — обстрелом. Уже убили Мздолевского, неосторожно выглянувшего из-за камня, еще двоих или троих, что ли, да ранили с добрый десяток. У нашего противника оказалось не только численное, но и тактическое преимущество, что говорило не просто об опытном, но и о думающем их командире. Чеченцы вели переменный бой, не давая нам при этом передышки и привязав нас к укрытиям, тогда как сами получали возможность хоть чуточку да передохнуть: когда шла пальба — отдыхали конники, когда атаковали конники — отдыхали стрелки. А мы не имели никакой возможности перевести дух, дать успокоиться нервному напряжению, хотя бы на миг отвести глаза от противника.

Не знаю, сколько времени так продолжалось.

Потом выяснилось, что весь тот бой шел всего-то два часа восемь минут: Моллер засек время по своему брегету. А через полчаса после его начала противник изменил тактику — ох, толковый нам достался командир с той, вражеской стороны! Он приказал своим стрелкам вести огонь и во время конной атаки — до тех пор, пока свои всадники не перекроют им цели. Он сократил нам и без того считаные мгновения, когда мы могли хотя бы оглядеться, подбодрить друг друга, оттащить раненых в укрытие, отдать команды, наконец. Он как бы изолировал нас друг от друга, заставил каждого из нас драться только за себя, рассчитывать только на себя и бороться за собственную жизнь.

Теперь нам пришлось встречать атакующих всадников, едва выскочив из-за личного укрытия, не получив ясной команды, практически не ощущая плеча соседа. Так долго продолжаться не могло: каждый человек имеет предел личной выдержки и боевой выносливости. В конце концов слабое звено должно было лопнуть, и какой-либо из солдат, отупев от бесконечного напряжения собственных сил и собственного внимания, мог либо не успеть укрыться при обстреле, либо кинуться бежать в момент начала атаки…

— Патроны!.. — Я с трудом расслышал крик Моллера: чеченцы пошли в атаку, и конский топот вместе с их дикими криками заглушал слова. — Последний ящик… у расселины…

Я бросился к центру нашего холма, где прятались женщины и раненые. За мною почему-то сорвался с места Пров, но ранило меня, а не его. Ранило пустячно: зацепило бок, надломив ребро. Боли я не почувствовал, но кровь потекла обильно…

— Укройся и перевяжись!.. — кричал мне Пров. — Рану перевяжи!.. Я отнесу патроны!..

Он волоком потащил ящик за собою, а я нырнул в расселину меж двух колючих скал.

К сожалению, там уже было тесно от выбитых чеченскими пулями и раненных чеченскими шашками. Я оценил это мельком, успев подумать, что долго нам не продержаться. Сел у входа, торопливо сорвал с себя мундир, окровавленную рубаху. У кого-то попросил пороховницу, кто-то протянул мне ее. Я начал сыпать порох на рану: помню, дрожали руки. И я не глядел, как сыплю, а озирался с некоторым изумлением, что ли, если в той обстановке уместно употребить это слово. С изумлением потому, что в тесной этой щели всем распоряжалась Вера Прокофьевна, когда-то

показавшаяся мне перепуганной до конца дней своих. Она споро и умело перевязывала раненых лоскутами их же рубах и остатками своих нижних юбок, не забывая бормотать притом такие женские и такие нужные солдатам слова:

— Потерпи, миленький, потерпи…

Генеральша тоже не сидела сложа руки. Она рвала на полосы остатки солдатского исподнего и собственных одежд, кому-то давала пить, кого-то утешала… Я успел подумать, что она — образец офицерской жены, да и Вера в скором будущем таковой станет, поджег трутом (вот кто мне его запалил, напрочь не помню…) порох на ране, взвыл от дикой боли, и тут в щель втащили Моллера.

— Принимай роту, Сашка… — прохрипел он сквозь зубы. — Расселся тут…

Не поверите, но я забыл о боли. То есть забыть о ней, конечно, было невозможно, но не воспринимать ее, что ли, я себя заставил. И выбежал из расселины.

На холме шла рукопашная. С криками, хрипами, стонами, проклятиями, матерщиной, лошадиным ржанием… Я подхватил чье-то ружье, в кого-то всадил штык, кого-то огрел прикладом — все уже как в тумане, как в тумане…

Мы и в этот раз отбросили чеченцев. Не потому,

что я подоспел вовремя и заорал что-то воодушевляющее: атака и без меня уже захлебывалась, чеченцы начали откатываться. Я успел упасть за свой камень, обнаружил по соседству Прова. Спросил, помню:

— Цел?

— И не зацепило. Патроны я ребятам раскидал…

— Хорошо…

Опять начался обстрел, и мы примолкли, вжавшись в сухую, колючую землю, из-за которой, по убеждению Сурмила, и шла вся эта странная война. Мы выдержали пальбу и даже устояли в еще одной атаке, но устояли из отчаянных, последних сил, и я обреченно понял, что они — последние…

Залп громыхнул неожиданно и довольно близко. Добрый залп из двух горных орудий. Следом за ним еще один, еще, еще… Не знаю, откуда стреляли, где рвались ядра, а только чеченцы начали разворачивать коней…

Седьмой марш

Отдых. И душа, и тело заслужили его, а я — да и не только я! — все никак не мог заглушить в

себе пальбу, крики, лошадиное ржание, предсмертные стоны. Может быть, потому, что к нам ходят как на экскурсию, только не с билетами, а с подарками.

Восемьдесят три стрелка вышли из Внезапной с двумя офицерами. А вернулось всего два десятка с половиной при одном, да и то раненом командире. Мы потеряли девятнадцать убитыми, да еще пятеро скончались от ран и потери крови. Дорого нам стало освобождение генеральской жены и ее компаньонки, но спасение женщин равно спасению солдатской чести, да к тому же спасли мы три жизни вместо двух. Три потому, что супруга генерала Граббе ожидала ребенка, хотя я узнал об этом позже. Да, мы стали героями, и о нас разговоров сегодня — во всех линейных крепостях.

Кусками, обрывками какими-то — да и то чаще в забытьи, чем в яви, — вспоминаю, как брели мы, чудом спасенные, к крепости Грозная по неласковой кавказской земле. Не брели — ползли, еле волоча ноги. Солдаты из Грозной тащили на себе наших обессилевших раненых, я тащился сам… Нет, нет, я на Прова опирался, счастливчика Прова, которого ни разу так и не зацепило. Ни клинком, ни пулей. А Сурмил с кем-то из грознен-

цев нес потерявшего сознание Моллера, голову которого бережно поддерживала Вера. В оборванном, окровавленном платье, с растрепанными и спутанными волосами… И генеральша — тоже оборванная и тоже почему-то окровавленная — шла пешком, опираясь на кого-то из офицеров грозненского гарнизона…

А потом нас всех отправили в лазарет. Всех, даже целехонького Прова. Смутно помню, как меня осматривали врачи, как кто-то из них ворчал неодобрительно:

— Кровь остановить — это еще понятно. Но зачем он весь бок себе обжег?..

Бок и вправду горел как в аду. Чем-то они его помазали, и я уснул. Провалился часов на четырнадцать…

— Братцы, да ни при чем тут я!.. Я до Грозной и добежать-то не успел, глядь — батальон с артиллерией!..

Слова помню: я от них проснулся. А может, очнулся… Сурмил с побитым видом бродил по огромной нашей палате и виновато оправдывался:

— Да ни при чем я, братцы. Совсем ни при чем: кто-то другой Грозную по тревоге поднял…

«Беслан…» — подумал я. И опять провалился…

— Олексин! Господин Олексин…

Открыл глаза. Надо мною — черноусое незнакомое лицо. Тонкое, по-мужски жесткое и… и по-кавказски строго красивое.

— Очнулись? Павел Христофорович хочет задать вам несколько вопросов.

Увидел генерала Граббе за спиной черноусого подпоручика, попытался привстать, да боль подвела. Весь бок скрючило.

— Лежите, Александр Ильич, лежите спокойно, — поспешно сказал Граббе. — Всего несколько вопросов. Можете ответить? Меня наместник вызвал для подробного отчета, а поручику Моллеру врачи говорить запретили.

— Так точно, ваше превосходительство.

Он коротко расспросил о нашем поиске. Как шли, кто провел к Аджи-Юрту, как удалось освободить женщин без боя. Многое он уже знал — думаю, что со слов Веры Прокофьевны, потому что упорно полагал меня главным героем. Затем — о том, как нас настигли чеченцы, как Моллер выбрал единственное место, где можно было укрыть женщин от пуль и хоть как-то держаться. Тут мне стало полегче, потому что я начал рассказывать не о себе, а о поручике, о его хладнокровии

и предусмотрительности. Вспомнил, как послали Сурмила в Грозную, как Моллер, сколько мог, тянул переговоры, как начались атаки.

— Сурмил все равно не успел бы…

— Знаю, Олексин. Он встретил батальон уже на марше. Командир батальона капитан Оскоцкий доложил, что о вашем положении рассказал постам какой-то чеченец. И тут же умчался без подробностей.

— Это Беслан, наш проводник. — Я вдруг все вспомнил и поспешил с добавлением: — Его единственного сына захватили казаки из станицы Червленой. Он собирает деньги на выкуп, ваше превосходительство, и я ему обещал…

— Как зовут сына?

— Леча. Так он его называл.

— Займись, Борзоев, — бросил через плечо генерал своему то ли переводчику, то ли порученцу.

— Будет исполнено, Павел Христофорович.

— Кто из солдат наиболее отличился?

— Все достойны, ваше превосходительство. Понимаю, всех не наградишь: Сурмил в сражении не участвовал, а Прова Сколышева даже не ранило…

— Никого не забуду, — улыбнулся Граббе и чуть наклонился ко мне. — Но вам — моя особая благо-

дарность, Александр Ильич, совершенно особая. Вы мне не только супругу, но и будущего ребенка спасли. Как только врачи разрешат, прошу быть моим гостем. До окончательной поправки, а может, и решения судьбы вашей.

Пожал мне руку и ушел. А я, окончательно придя в себя, узнал, что пятеро из тяжко раненных уже здесь богу душу отдали, и, признаться, обрадовался, что сознание мое это не восприняло. И подивился, чему это солдаты так рады. Оказалось, каждый по червонцу получил из рук генеральского черноусого порученца…

К вечеру того же дня пришла Вера. Подошла к моей койке, встала на колени и неожиданно поцеловала мне руку.

— Что вы, Вера Прокофьевна!..

— Вы дважды спасли меня. Дважды!.. И для вас, дорогой мой Александр Ильич, я — просто Вера. Всегда — Вера.

— Спасибо. Как мой ротный, Вера? Знаю, что подле него вы днюете и ночуете.

— Он тяжело ранен. Пуля попала в плечо, но и рану разворотила, и крови он много потерял. Я гранатовым соком его отпаиваю, врачи посоветовали.

— Гранатовый сок для боевого офицера — луч-

шее лекарство. А что слышно о человекоподобном майоре Афанасьеве?

— Ничего, но я его теперь не боюсь.

Я усмехнулся:

— Повзрослели?

— Нашла семью, которая не даст меня в обиду. Аглая Ипполитовна — чудный человек. И Павел Христофорович тоже, хотя я его побаиваюсь. После всех событий они объявили, что считают меня дочерью. По крайней мере до той поры, пока не выдадут замуж.

— Ну, за этим дело не станет, я полагаю?

Вера очень смутилась, порозовела, поцеловала меня в лоб и сказала:

— До завтра.

Но на следующий день первым появился подпоручик Борзоев, порученец генерала Граббе.

— Я нашел Лечу.

— Дорого запросили?

— Ну какой же линейный казак не исполнит просьбы генерала Граббе, Олексин? Леча уже под крылышком Аглаи Ипполитовны. Как мне передать его Беслану?

— Беслан выйдет на встречу только ко мне, поручик.

Борзоев улыбнулся:

— Мы с ним — из одного тейпа, Олексин. Следовательно, почти родственники.

— Я дал Беслану слово. И исполню его, как только сумею взгромоздиться на лошадь. Желательно белую.

— Завтра можете начать тренировки, поскольку врачи разрешили перевезти вас в генеральский особняк.

* * *

И вот я — в просторном генеральском особняке, расположенном в садах на окраине города. Меня встретили как родного, генеральша всплакнула и расцеловала в обе щеки, Вера засияла и по-сестрински прикоснулась губами, попав в порядком отросшие бакенбарды. Тут же проводили в просторную, всю в коврах, на восточный манер, комнату с прямым выходом в сад и в помощь отрядили смекалистого паренька-армянина. Паренька звали Суреном, он показал мне дом и сад и торжественно обещал содержать в порядке мою обувь и одежду.

Потом он привел ко мне Лечу. Мальчик глядел настороженно, но без всякого страха, по-русски понимал почти все, но говорить стеснялся. Я рассказал ему — без деталей, разумеется, — что

мы подружились с его отцом, и обещал свидание в ближайшие дни.

Вечером хозяйка устроила пир в мою честь. Не скрою, мне было весьма приятно, хотя и несколько стеснительно, что ли. Не привык я выслушивать бесконечные благодарности.

А через день из Тифлиса вернулся генерал. Воодушевленный, хотя и весьма озабоченный.

— Уделите мне десять минут, Олексин. Меня внезапно вызвали в Петербург для доклада государю, и я должен кое-что уточнить.

— Когда вам будет угодно, Павел Христофорович.

Мы уединились в его кабинете перед обедом. Я полагал, что речь опять пойдет о нашем рейде в Аджи-Юрт, но генерал начал беседу несколько неожиданно:

— В тысяча восемьсот четвертом году я принял Дубенский гусарский полк, а уже через восемь месяцев был освобожден от должности его командира с пренеприятнейшей формулировкой: «за явное несоблюдение порядка службы». Через год обвинение было полностью снято, но нервов я потратил немало. Это первое, Олексин. Второе. Во время Смоленского сражения я имел честь состоять офицером для поручений при вашем

батюшке, бригадире Илье Ивановиче, вечная ему память. Все это вместе, а также моя искренняя вечная благодарность вам, позволяет мне спросить вас о причинах вашего разжалования. Не скрою, что надеюсь быть принятым лично государем, где вполне уместно будет вспомнить о вашем героическом деянии. А посему слушаю вас, Александр Ильич, со всем вниманием.

Я понимал искреннее желание генерала помочь мне, мало верил в успех, но рассказал все о своих казематах, крысах и допросах. Естественно, в той версии, которой придерживался сам: был пьян, играл в карты с поручиком коннопионерского полка, чуть не проиграл собственного человека и в конце концов выиграл полный список пушкинского «Андрея Шенье». Затем — офицерский суд, обвинивший меня в недопустимых разговорах с солдатами, и — утвержденный государем приговор о разжаловании с ссылкой на Кавказ.

— Моллер сказал мне, что вы были представлены к Знаку ордена Святого Георгия за взятие аула Ахульго?

— Совершенно верно, Павел Христофорович.

— Почему же командир батальона вычеркнул вашу фамилию из поданной Моллером реляции?

— Когда-то он посмел оскорбить девицу, и я

вынужден был образумить его пощечиной.

— А девицу зовут Верой Прокофьевной, — усмехнулся Граббе. — События порою пересекаются весьма забавно… Отдыхайте, Олексин, набирайтесь сил. Вы и поручик Моллер — мои гости.

Генерал уехал в Санкт-Петербург, я достаточно окреп на добрых харчах, вине и фруктах, и мы с подпоручиком Борзоевым решили выехать в крепость Внезапную. Борзоев прихватил на всякий случай десяток казаков, посадил Лечу впереди себя, а я взял в генеральской конюшне белого жеребца, и мы двинулись воссоединять отца с сыном.

Удивительное дело, но солдаты — естественно, те, которые не ходили с нами в Аджи-Юрт, — встретили меня с какой-то странной завистливой неприязнью. «Вот, дескать, повезло: и червонец получил, и в генеральском особняке бока отлеживает…» Ну есть, есть это дурное чувство в русской душе, тлеет оно до времени, словно выжидая: а чем риск-то обернется? И коли ты цел остался, значит счастливчик, бога за бороду ухватил и сам жив при этом. А то, что не на прогулку тогда ходили, что погибли многие, что ранены почти все, это все потом как бы отсеивается, исчезает,

и остается одна зависть в глазах. И одно в них читается: «Ну хитрован ты, Александр Ильич…»

А Пров и Сурмил чуть на шею не бросились. И радость, что видят меня, искренней была…

Ну, это я так. Разворчался, иного ожидая и не получив и грана того, что ожидал. И не от солдат, честно говоря, а от господ офицеров, помощников ротного Моллера, опоздавших из отпуска к той внезапной тревоге…

— Искать Беслана поеду один, — сказал я порученцу Борзоеву чуть резче, чем хотелось.

— Я головой отвечаю за вас перед генералом, Александр Ильич.

— Ничего со мною не случится, подпоручик. Мальчика пока покормите, растрясло его по дороге.

Взгромоздился на белого жеребца и погнал его к знакомому месту со знакомой скалой.

Все было в точности как тогда, перед самым нашим походом. Только куда быстрее: всего около часу мне возле скалы верхом красоваться пришлось.

— Опять пулю ищешь?

Оглянулся — Беслан за спиной. Усмехается в бороду:

— Не бережешь ты свою спину, Сашка. Рад, что живым вижу тебя.

— Твоей милостью, Беслан. Ты предупредил посты под Грозной, что нас держат в кольце?

— Нет, — сказал, как отрезал: коротко, жестко и сурово. — Если только ради этих слов приехал, давай лучше разъедемся.

— Я нашел Лечу.

— Где? — Он резко повернулся в седле. — В Червленой? Как зовут казака и сколько он просит за мальчишку?

— Твой сын — во Внезапной. С твоим родственником Борзоевым, порученцем генерала Граббе.

— У меня нет родственников на русской службе!

— Он спас твоего Лечу.

— Да, слава Аллаху, у меня теперь есть сын. И поэтому у меня не должно быть никаких знакомых из тех, кто служит рус-ским!

— Не горячись, Беслан. Если ты так беспокоишься за судьбу сына, может быть, стоит оставить его в генеральском доме? Его обучат грамоте, отдадут в учение, в конце концов он может стать офицером…

— Нет, друг, — вздохнул Беслан. — Мой сын пойдет по тропе своих предков, чтобы тропа эта

никогда не кончалась…

Через полтора часа я привез ему сына. Надо было видеть их встречу, их суровую сдержанность, при которой сияли только глаза мальчишки да чуть вздрагивали руки отца, чтобы понять крутизну тропы, по которой они намеревались идти до конца.

— Прощай, брат, — сказал Беслан. — На всю жизнь остаюсь твоим должником.

Перегнулся с седла, обнял меня. Потом усадил Лечу перед собою, развернул коня к обрыву…

— Будь свободен!..

И с гиканьем помчался вниз…

Не люблю гордых людей, но люблю гордые народы, желающие тебе при встрече не личного здоровья, а личной свободы. Когда они исчезнут с лица земли, исчезнет и их благородный пример и человечество неминуемо превратится в одну гигантскую людскую барского дома средней руки, набитую толпой послушных завистливых обывателей…

* * *

Мы с Борзоевым вернулись в Кизляр, а вскоре в генеральский особняк пожаловал неизвестный

мне художник. Он носил итальянский берет, французскую широчайшую блузу, длинные волосы и бородку à la кардинал Ришелье. Художник рисовал выздоравливающего Моллера — кстати, совсем недурно, надо отдать ему должное, — а я во время сеанса обязан был рассказывать ему о сражении со всеми деталями. Кто где стоял, что делал, как лежал, как стрелял и как погибал. Когда мне это надоедало, меня сменяла Вера.

Потом наступила моя очередь позировать, но теперь художник развлекался рассказами Аглаи Ипполитовны. Затем пришла очередь самих дам, которых он после долгих уговоров заставил-таки обрядиться в то тряпье, в которое превратились их платья во время нашего сражения. Покончив с ними, он объявил, что ему необходима дюжина солдат, побывавших в том походе, и исполнительный Борзоев вновь помчался во Внезапную. Кстати, и сам преданный порученец не ушел от бдительного творческого глаза: художник именно с него писал портрет свирепого предводителя супостатов.

— Он вам еще не надоел? — спросил я в конце концов Аглаю Ипполитовну.

— Смертельно! — рассмеялась она. — Но картину заказал сам наместник.

Единственным моим утешением было то обстоятельство, что в солдатской дюжине оказались Пров и Сурмил, и это несколько примирило меня с искусством. По крайней мере я получил возможность по-дружески угостить их в саду. И с помощью Сурена и Веры осуществил эту возможность с допустимым размахом: вином, шашлыком и фруктами. Мы услаждались солдатской беседой о глупом начальстве и добром везении, но тут опять принесло живописца, которому вздумалось запечатлеть для потомства и это скромное мужское удовольствие. Для чего, я так и не понял. По-моему, про запас, поскольку в картину самого сражения дружеская солдатская пирушка никак не могла влезть при всех художественных условностях.

* * *

Да, представьте себе, картина в конце концов была нарисована, но я ее не видел. Я видел множество снятых с нее плохих литографий на стенах всех без исключения почтовых станций южнее земель Всевеликого войска Донского. И если бы я не знал, что я — это я, то ни за что не угадал бы самого себя. С окровавленной повязкой на голове и почему-то с обнаженной саблей в руке.

О, творческое воображение, где же обретаются пределы твои!

Лето вместе с солнцем быстро катилось под уклон, а генерал Граббе все еще пребывал в столице. Моллер уже бродил по саду, отдаляясь от юбок Веры только на расстояние видимости. Вечерами они усаживались на веранде друг против друга: Вера вязала, а геройский поручик послушно сидел — хотя и в весьма напряженной позе — перед нею, держа перед собою обе руки, опутанные шерстяными нитками. Ему было очень хорошо, а мне — смешно, но веселье приходилось скрывать изо всех сил, потому что я искренне любил своего ротного. Правда, порою, когда Вера оказывалась занятой домашними делами, мы с Моллером играли в шахматы, но это тоже не утешало, поскольку я проигрывал ему то ли от раздражения, то ли потому, что влюбленность придавала ему дополнительное соображение.

Потом пришла пора ягод, и поручик покорно носил корзинку за Верой. Аглая Ипполитовна варила варенья одновременно в трех тазах и на трех кострах, и по всему саду разносился густой приторный аромат. Вероятно, я несправедлив в отношении своих милых хозяев, но попробуйте поставить себя на мое место.

Я перечитал по два раза все, что разыскал в генеральской библиотеке, трижды обсудил с Моллером библейскую проблему, кто кому первым протянул яблоко, с помощью Сурена выяснил, что Армения не только древнейшее место обитания человечества, но и самое прекрасное на свете, и окончательно угнездился на бурке под старым ореховым деревом с комплектом старых французских журналов.

Вероятно, наблюдательная Аглая Ипполитовна верно представила себе как мое одиночество, так и неопределенность моего положения в кругу милых друзей. Сужу по тому, что передо мною как-то возник подпоручик Борзоев с предложением поохотиться. Я воспрял духом, и на следующее утро мы выехали на лошадях из генеральской конюшни в сопровождении непременных казаков, поскольку отчаянных абреков побаивались даже вдали от зоны непосредственных боевых действий.

Края там были охотниками не истоптанные, дичь — охотниками не пуганная, куропатки взлетали прямо из-под ног, и мы постреляли в полное удовольствие. Хандра моя куда-то испарилась, и мы тут же договорились, что непременно повторим наше громкое мужское удовольствие через

два-три дня.

Вот тогда-то и состоялась неожиданная встреча, ради которой, собственно, я и принялся рассказывать о своих охотничьих развлечениях.

Обычно казаки, сопровождающие нас, разводили костер, выставляли наблюдение и ждали, когда мы возвратимся к огоньку с добычей. До сей поры все было тихо и мирно, но в тот день колючий кустарник передо мною внезапно раздался, и оттуда появился незнакомый мне вооруженный человек.

— Не пальни, барин, свой я. Русский.

Одежда возникшего из кустов субъекта была весьма живописной, хотя и несколько неопределенной, что ли. Изодранная черкеска, прикрытая широким брезентовым балахоном, косматая папаха, кинжал за поясом, ружье в правой руке и мокрый грязный мешок в левой. Добавьте к этому по брови заросший лик, и картина станет полной.

— Я тоже охотник, — сказал он. — Только дичь у меня погрознее твоей, барин. Промок по кустам лазить. Дозволишь у костра обсушиться?

— Федулыч! — радостно загомонили казаки, когда мы с незнакомцем подошли к огоньку. — С добычей или зазря опять?

— Считай, червонец в кармане, — самодовольно улыбнулся в бороду таинственный охотник, с глухим стуком опустив мешок на землю в стороне от костра. — Доброго зверя подстрелил сегодня. Покажу, может, и узнаете.

И вывалил из мокрого мешка отрубленную голову чеченца. И я сел. Ноги у меня подкосились.

Беслана то была голова…

— А, неуловимого на мушку поймал? — сказал кто-то из казаков. — Верный червонец, да еще и с благодарностью.

А я смотрел на мертвую голову моего друга, нашего проводника и спасителя, счастливого отца и… И смутно мне было. Все вдруг в душе смешалось: боль, омерзение, гнев…

Еле протиснул сквозь зубы:

— Два дам, если мне ее оставишь.

— С нашим полным удовольствием, барин! Два завсегда одного лучше.

Оставил. Похоронили мы с Борзоевым голову Беслана, даже из ружей над малой той могилкой пальнули. А потом долго сидели в стороне от казаков и молча пили крепкое кизлярское…

— Где же Леча-то теперь, Борзоев?

— Попробую поискать, но вряд ли. Попробую. А

поискать попробую, попробую, попробую…

Он твердил это слово бесконечно…

> …Всякая война – кровь и убийства, но не всякая власть деньги за скальп из казны выплачивает. Не всякая, а та лишь, которая сама бесчестье своей войны поняла. И отковала невыносимо тяжкий меч жестокости. Одинаково тяжкий для обеих сторон…

Больше не выезжал я на охоту. Не мог. Ничего мы с Борзоевым о той встрече с охотником за головами дома не сказали, и милая Аглая Ипполитовна вынуждена была списать мой отказ на мой же каприз да дурной характер…

И опять я валялся целыми днями на бурке под орехом и с трудом сдерживал раздражение вечерами, глядя на спятивших от счастья влюбленных и слушая их бессмысленные разговоры. В строй просился у кого только мог: то у Моллера, то у Борзоева. Но генеральского распоряжения никто из них отменить не рискнул.

Не знаю, чем бы все кончилось, если бы однажды пламенным полуднем не крикнула вдруг Аглая Ипполитовна:

— А к вам — гость, Александр Ильич!..

Я и вскочить на ноги не успел…

— Аве, патриций!..

Дорохов. Руфин Иванович.

Обнялись мы. Кажется, даже расцеловались. А в душе у меня — будто солнышко выглянуло.

— Какими судьбами, Руфин Иванович?

— Шествовал следами героев к новой ниве своей, Олексин.

— Надолго в наши края?

Усмехнулся Дорохов:

— Сие зависит только от состояния карманов моих партнеров.

Стараниями Верочки мой армянский парнишка расторопно соорудил нам добрую скатерть-самобранку. Руфин Иванович опустился на бурку, поднял бокал:

— За благословенный орех, патриций!

— Почему — за орех?

— Именно под его живительной сенью состоялось наше первое свидание в Бессарабии. Такой далекой отсюда как во времени, так и в пространстве.

Мы торжественно чокнулись, осушили рюмки и опять почему-то улыбнулись друг другу.

— Кстати, перед самым отъездом сюда я по-

лучил весточку от вашего волосатого недруга. Весточка включала в себя официальную справку о том, что в настоящее время господин майор Афанасьев имеет честь проходить службу на Черноморском побережье. И записку от руки в два слова: «НАДЕЮСЬ, В РАСЧЕТЕ». Так что служите спокойно.

— И рад бы, да заперт в золоченой генеральской клетке. Хозяин вызван в Санкт-Петербург, и до его возвращения я обречен на полнейшее безделье. Созрел для того, чтобы усесться за стол супротив вас, Дорохов.

— Увы, Олексин, но я всегда проигрываю друзьям. Чудовищный недостаток для профессионального игрока, вы не находите?

— И часто же вам приходится проигрывать?

— Нет. Приятелей да знакомцев у нашего брата предостаточно, а друзей я держу на дистанции от зеленого сукна. А в общем-то урожай оказался неплохим, но должен сознаться, что однажды проиграл. Хотя и в доброй компании.

— Вы и проигрыш — две вещи несовместные.

— И тем не менее. В пушкинском окружении оказались два моих ученика. Точнее, один ученик и один учитель.

— В пушкинском окружении?

— Вы не читаете газет? Александру Сергеевичу наконец-то разрешили выезд за границу, если заграницей считать взятый нашими войсками Арзрум.

Это известие упорно не укладывалось в моей голове, почему я с прежней отупелостью уточнил:

— Пушкин на Кавказе?

— Он уже миновал его, увезя с собою три сотни моих денег, заработанных тяжкими ночными трудами. Наливайте, Олексин, что вы замерли с бутылкой в руках?

— Жаль, что я не знал. — Я вздохнул и наполнил бокалы. — У меня тяжелый приступ меланхолии, Дорохов.

— За его заграничный вояж. — Руфин Иванович отхлебнул добрый глоток. — Мне показалось, что Александр Сергеевич путешествует не в лучшей компании.

— Почему вы так решили?

— Потому что знаю как минимум троих из его окружения по прежним встречам. Это шулера, патриций, которых давно не пускают в приличное общество. И я вполне допускаю, что они-то и устроили ему эту поездку.

— Каким образом?

— А каким образом я отправил волосатого

майора на Черноморское побережье? Карты — явление мистическое, Олексин.

— Помилуйте, для чего шулерам Александр Сергеевич?

— Увы, ему отведена всего лишь роль свадебного генерала, патриций. Его окружение поет ему дифирамбы, угощает живой стерлядкой, поит французским шампанским и умело проигрывает на путевые расходы. Взамен получает возможность сесть за стол с такими людьми, которые их в упор не замечают на улице, но готовы потерпеть ради знакомства с самим Пушкиным. А знакомиться проще всего за зеленым сукном, за которым сопровождающие поэта обдиралы быстренько возвращают все расходы с хорошим наваром.

— Господи, но Александру Сергеевичу это зачем?

— А он этого и не замечает. Он счастлив удрать из-под бдительного ока, увидеть нечто новое собственными глазами, почувствовать себя, хотя бы в мечтах своих, за границами Отечества — да мало ли искушений! Удивительно, но истинно талантливые русские люди — совершеннейшие дети в той большой игре, которая называется жизнью, Олексин.

Последний марш

В ту осень рано начались дожди, и шли они воистину с южной щедростью. Унылость моего растительного существования утроилась, и неизвестно, как бы обернулось дело, если бы однажды вечером мой дорогой ротный командир, войдя в столовую, не взял Веру Прокофьевну за руку и не объявил бы нам во всеуслышанье:

— Поздравьте нас, дорогие друзья. Верочка дала согласие стать моей супругой, и я счастлив, как никогда доселе.

Мы кинулись поздравлять и целовать, Верочка краснела и мило смущалась, а Моллер был чудовищно горд. И я люто завидовал ему в тот вечер. Его настигла первая любовь, а мою первую насильно отторгли от меня и увезли в Италию…

На следующее утро мы вместе с Борзоевым отправились в Кизляр покупать молодым подарки. Господи, подобной грязи я еще никогда не видывал и, надеюсь, более уж не увижу: рослая генеральская лошадь с трудом вытаскивала из нее копыта. Все кругом сочилось влагой и грязью, уже как бы не смешиваясь друг с другом, а существуя

по отдельности. И все это сопровождалось таким торговым ажиотажем, таким гвалтом, криком, воплями верблюдов, лаем собак, смехом детей и ревом ишаков, что я окончательно одурел.

А вечером того дня наконец-то возвратился генерал Граббе.

Я уже готовился к перевариванию праздничного ужина в своей комнате, когда был востребован в гостиную. Прибыл, испросил разрешения, от души поздравил, а Павел Христофорович не по-генеральски крепко пожал мне руку и с торжественной звонкостью сказал:

— По личному поручению государя императора Николая Павловича имею честь наградить вас, героя Ахульго и дерзкого набега на Аджи-Юрт, Знаком ордена Святого Георгия Победоносца!

И лично прикрепил Знак сей на мой статский сюртук. Тут все кинулись было поздравлять меня, но генерал строго поднял руку, и окружающие примолкли.

— Дорогой мой Александр Ильич, я получил редкую возможность рассказать государю о ваших подвигах и в высшей степени достойном поведении. Не скажу, что я был первым: почва уже была достаточно подготовлена. А посему государь изволил милостиво выслушать меня и…

Павел Христофорович сделал паузу на манер греческих трагедий, а я обмер, и сердце мое обмерло тоже. Граббе улыбнулся и достал из портфеля некую плотную бумагу.

— Рескриптом сим с вас снимаются все прежние последствия дознаний и все приговоры и возвращается вам офицерское звание поручика гвардии…

Очнулся я уж на диване с означенным рескриптом в руках…

Сбываются все предсказания, коль силы остались для встреч и потерь…

Вот написал сие и — прослезился. И — слава богу! — значит, отмякла душа моя, раз слезы к ней вернулись…

Как прощался с дорогими сердцу моему друзьями, как нетерпеливо в Россию стремился — опущу. Да и собственно марш свой последний — тоже. Одно лишь в дороге произошло, достойное внимания. Еще в почтовой тройке трясясь, я твердо решил сначала в Санкт-Петербург явиться и попросить назначения все-таки в армию. В заштатный Псковской пехотный полк, из которого был изгнан с нетерпимым для чести моей позором и унижением.

Так и сделал. Просьбу мою поняли и уважили ее, представив меня с учетом военных действий, полученных ранений и боевой награды в чин капитана армии.

Я тут же вернулся во Псков, представился командиру полка и написал рапорт об отставке ради устроения семейных дел.

Кончились марши мои.

И начались встречи…

Встреча первая

Грустной она была. На семейном нашем участке городского Псковского кладбища. Там батюшка мой, кавалер российских орденов и боевых ранений, бригадир Илья Иванович Олексин, и матушка Наталья Филипповна навеки неразлучимо уж покоились рядышком…

— Да заплачь же ты, барин, Александр Ильич! — тряс меня, помнится, Савва Игнатьич.

Савка мой, молочный брат, Клит мой верный, управитель всех сел, земель и деревень моих. Матерым он стал мужиком, степенным, строгим и солидным. И совсем недавно счастливо женился на премилой псковской мещаночке.

А я не мог тогда зареветь, пыль кавказских троп с сапог еще не отряхнув.

Поминали мы родителей своих у Саввы Игнатьича в семейном кругу в его новом псковском доме. Супруга Настасья, милая и скромная, нам никак не мешала, а лишь скрашивала грустную трапезу ту. Я совсем было в думы свои влез, да

Савка, почувствовав отсутствие мое за собственным столом, начал неспешно и толково о делах докладывать: жить-то мне еще предстояло…

— Урожай два года подряд добрый выдался, и я выгодно продал его. Сейчас бумаги посмотрите или на завтра оставим?

— Потом, Савва Игнатьич, потом все.

— Народу у нас прибавилось, сказки ревизские я вам тоже опосля покажу. Одно скажу: рожали больше, чем помирали, так что с прибылью вас, Александр Ильич…

Я слушал, а думал о своем. Я думал, что один остался на всем белом свете, совсем один. В молодости не возникает этого чувства, в юные годы мы все — Робинзоны на не обитаемом еще острове. Строим свою крепость, обрабатываем свое поле, засевая его добрыми намерениями, мечтаем и надеемся, надеемся и мечтаем. А потом находим Пятницу, и жизнь приобретает смысл. Не философский — свой, личный, собою ощущаемый, как лично возделанное поле.

И ничего этого у меня не было. Ни поля, ни дома, ни Пятницы…

Впрочем, Пятница была. Полиночкой ее звали.

Странно, может быть, неприлично даже, но

я о Полиночке, о невесте своей, почти не вспоминал. Разве что по утрам, с похмелья. Это-то я потом понял, почему не вспоминал, потом, а тогда казалось, что не думаю о ней просто потому, что не могу представить ее рядом с собою на Кавказе. Я — солдат, без прав и фамилии, при должности «куда пошлют». И вдруг рядом — околостоличная Полиночка, единственная генеральская внучка. И что же, у начальства мне отпрашиваться на семейные свидания или самовольно на них бегать? Нет-нет, солдатская любовь должна быть где-то подальше от солдатской казармы. Где-то на киоте, что ли, чтоб молиться на нее, верить ей и мечтать о свидании. А подле солдатчины — только легкие влюбленности. Необременительные.

Были у меня такие? Ну а как же. Дело телесное, земное. А любовь всегда неземной быть обязана. Тогда ты всю жизнь к ней тянешься, растешь из самого себя. А к скучающей в Пятигорске чьей-то офицерской жене всю жизнь тянуться не станешь. Равно как и к чернобровой вдовушке-казачке в Кизляре…

Вот потому-то я и не вспоминал о Полиночке своей. Не было ей места в грубой, потной, а главное, очень уж гласной солдатской жизни, в которой все настолько на виду, что и себя-то

самого подчас не видно. Поначалу писал, а потом… Когда к вам ответ на письмо через полгода приходит, не о чем писать становится. Солдат в России — всегда круглый сирота, собственной судьбы не имеющий…

— …Жить, понятное дело, в господском доме, в Опенках, — толковал тем временем Савка, уже решивший за меня мою судьбу. — Но в Антоновку все же заедем, Александр Ильич? И сам я давненько в ней не был, а ведь там — могилка матушки Серафимы Кондратьевны…

Очнулся я. И сказал:

— Сначала — к Полиночке, Савка. К невесте моей…

Встреча вторая

После обязательных посещений, визитов и встреч во Пскове выехали мы с ним на доброй тройке в генеральское именье.

Может, странным вам покажется, но я не торопился. Объяснить неторопливости своей не берусь, только — учтите, что ли, — многое меж нами пролегло. Целая Кавказская война…

— Александр Ильич?!

Бабушка Полиночки, Прасковья Васильевна, мне навстречу бросилась. И — разрыдалась:

— Стало быть, чуяло сердце твое? Чуяло?..

Чахотка с кровохарканьем у невесты моей. Уж два месяца с постели не вставала, в сад подышать на руках выносили. И за жизнь держалась только того ради, чтобы меня увидеть.

— Сашенька, свет мой…

Еле шепчет, кружевного платочка от губ не отрывая…

— Прости меня, что не встречаю так, как мечтала. Не даровал мне Господь здоровья. Единственно, что даровал щедро, так любовь… Это великое счастье…

— Молчи, умоляю тебя, молчи…

Я на колени стал у ее изголовья, шептал почему-то, вместо того чтобы в полный голос… Обвалилось все во мне. Или — мимо меня сейчас все летело, шелковым покрывалом лица касаясь. В пропасть все летело, в пропасть…

— Лучше я говорить буду. О Кавказе, о том, что случилось со мною, как ждал я…

Забилась моя Полиночка в приступе. Страшный кашель сотрясал ее сухое маленькое тельце, аж подпрыгивало оно. И платочек. Платочек батистовый, на моих глазах меняющий цвет свой.

Промок один, бросила она его, другой взяла…

— Я с тобой жила. Все время с тобой и — тобою. И в казематах, и в боях… Сил не хватило. Прости, любовь моя единственная. Прости меня…

— Я выдержал. Все выдержал, Полиночка. И крест получил, и офицерское звание. Вот поправишься ты…

Бормотал я слова, потому что в душе ничего, кроме страха, не было. Не было любви, признаюсь, не ощущал я ее. Один страх ощущал. За себя…

> …Невозможно лгать, когда в душе – пустота. Когда не о невесте своей думаешь, а о себе лишь, о своем одиночестве завтрашнем, а не о ее – сегодняшнем. Уже сегодняшнем, потому что отходила она, летела в черную пропасть, а я скорее растерянность ощущал в себе, нежели отчаяние. И значит, не было во мне любви, а был только страх… Страх очередного одиночного каземата.
>
> Нет, не было во мне любви. Не было…

Двенадцать дней она на моих глазах в эту пропасть летела, и я был подле нее. Подле, но не рядом. Точно стоял, как тогда, в отвесную стену

вжавшись, а она — мимо меня, мимо, мимо…

А кругом уже какие-то приживалки да тихие дальние родственницы суетились. Как мухи, что ли, мед почуяв. Генерал уже помер к тому времени, генеральша Прасковья Васильевна вместе со своей единственной внучкой в ту же пропасть летела, вот и зароились дальние наследницы в надежде урвать свой кусочек. А не урвать, так вымолить, выпросить, выклянчить, стащить, в конце концов.

Что же, и мне так помирать придется? Среди мелких актеришек, неумело, бездарно и бестактно скорбь изображающих? Шушукающих по углам, поспешно карнавальные маски горя и печали на лики свои натягивая, тебя едва завидев?..

О себе я думал. О себе.

* * *

Я даже с Прасковьей Васильевной ни о чем говорить не мог. Ни о чем решительно. Она в своем великом горе пребывала, а я — в своем. Личном. Не о Кавказе же с ней толковать…

А с Полиночкой дважды, а когда и трижды в день виделся и говорил. Правда, чаще слушал, не

было слов. То ли не было, то ли не мог я выговорить их, то ли стеснялся чего-то…

— Все для любви рождаются. Только женщины не скрывают в себе главного закона своего, а вы, мужчины, не самой любовью восторгаетесь, а способами ее достижения. Слава, богатство, честь, подвиги, отвага куда важнее оказываются, нежели само великое чувство это. Средства для вас всегда важнее цели…

И все это с улыбкой. Сквозь приступы кашля, сквозь кровь, сквозь алые батистовые платочки. Это я потом понял, что она пыталась от горестных дум меня отвлечь. В последний раз пыталась спасти, помочь и рассеять.

Но однажды — утром то было, она от завтрака отказалась, кое-как чашку чаю выпив, — сказала вдруг, мучительно задыхаясь на каждом слове:

— Женись, Сашенька, непременно женись, и — поскорее. Прислониться тебе надо, устал ты от одиночества. И серебряное блюдо никак забыть не можешь. Найди его. Серебро не ржавеет, Сашенька, любовь моя единственная, счастье мое. Не ржавеет, только патиной покрывается. Такая любовь — до последней седины…

И — отошла тихо, в последний раз руку мне

сжав…

И еще девять дней я там прожил. Прожил?.. Нет, просуществовал. Три — пока прощались с нею, отпевали да хоронили, и еще — шесть. До первых поминок…

А потом тепло, по-родственному распрощался с осиротевшей Прасковьей Васильевной, обещал навещать. Она даже не рыдала. Сил у нее не было отрыдаться, потому что жизнь смысл потеряла.

Вышла провожать меня, и тут только я увидел, что на козлах тройки моей — Савка. Как-то не замечал до этого, что тут он, рядом, что не оставил меня.

Спросил:

— Куда править-то, Александр Ильич?

— В Антоновку.

Не задумываясь сказал. О последнем завете Полиночки вспомнив. О серебряном блюде.

И помчались мы в Антоновку…

Встреча третья. С серебряным блюдом

Старостой в Антоновке оказался мой сын Иван, только не Александрович, а Матвеевич. Это был рослый, красивый юноша с уже чуть заметной

рыжеватой бородкой и умными глазами. Молодец мама Луша, что настояла на его учении, молодец и Савва Игнатьич, сделавший для меня маленький, а все же — подарок.

— Как живешь, Ваня?

— В хлопотах, Александр Ильич.

А глаза — улыбаются. Знает, чертенок, что я ему родным отцом довожусь, недаром ведь не барином назвал, а по имени-отчеству обратился.

И — после толкового доклада о деревенских делах — тоже далеко не случайно, хотя и как бы между прочим:

— Оживают наши края, Александр Ильич. В графском доме полный ремонт произвели, я им лесу отпустил. Сейчас вовсю по вечерам огнями светится.

— Графинюшка приехать изволила?

И я тоже как бы между прочим спросил, хотя у самого-то сердце екнуло.

— С полным семейством.

— С мужем?

— Нет, мужа не видел. С сыном приехала.

Замолчал я, новость обдумывая. А Иван продолжил, и опять — как бы между прочим:

— Лулу ваша постарела, конечно, но под седлом старается. Я ее ежедень прогуливал.

— Спасибо, Ваня.

Он поклонился и вышел. А я на Савку посмотрел. И почему-то беспомощно посмотрел, что ли.

— Проверю. — Савва Игнатьич меня со взгляда понимал. — Вы сегодня отдохните, а завтра — поглядим, как оно получается.

Какое там — отдохните, когда я места себе не находил! С сыном приехала, а где же муж? Жив еще или уже помер? А коли жив, так в Италии остался или расстались они насовсем? И как же фамилия-то его, как фамилия?.. Затрясский?.. Затусский?.. Помню, что «ЗА». Он всегда за чем-то был. Зачем-то…

Засядский!.. Аннет Засядская. Мадам Засядская теперь. Мадам Засядская с сыночком Засядским. Весь в отца, поди. Любопытно, как его зовут? Как деда или как отца?..

Представляете, какой идиотизм залез вдруг в мою голову? И никак не вылезал. Так и метался я с ним по дому, пока… Пока не блеснула в свихнувшихся мозгах моих некая мысль: я же Полиночку, невесту свою, только что похоронил. И первое, что узнал, — графинюшка вернулась. Значит, она, она, Полиночка, оттуда ее вызвала, из-за границы, чтобы я в окончательном одино-

честве не остался.

Напился я от этой мысли. Нет бы пред иконою пасть и Бога возблагодарить да Полиночку помянуть… Нет, напился. Вдвоем с бутылкой, по-гусарски. Окосел, и в пьяную голову первая трезвая мысль пришла: а чего это я разбегался? Ну не моя Аннет, давно уж не моя, а косноязычного этого Засядского. И Полиночка теперь не моя, а — Божья. И никого у меня нет. Один я, как перст. В отставке.

И уснул с этим открытием. Легко уснул, потому что осознал наконец собственное единоприсутствие свое в многоприсутственном и шумном мире сем. И проснулся с этим осознанием, а потому горьким было мое пробуждение. Не от горечи с похмелья, а от горечи в душе.

Не рано проснулся. Савки нигде не было, и я сел завтракать сам-один. Подумав при этом, что пора к этому привыкать. Спокойно подумал и неторопливо завтракал, когда объявился наконец мой молочный брат и управитель.

— Был у графинюшки. В трауре она: месяц назад батюшка ее преставился.

— А Засядский?

— Какой Засядский?

— Ну, муж, муж! Должен же муж быть, коли

сын есть.

— А… Не знаю. Никого, кроме молодой барыни, не видел, а разговор наш к этому не пришел.

— Обо мне сказал?

— Она считает, что вы — на Кавказе. Так что надевайте мундир свой капитанский, цепляйте все ордена и скачите представляться заново. Иван вон с утра велел Лулу вычистить и подседлать.

— Как снег на голову?

— Ага. Сразу проверите, где ваша шашка. В дамки выходит или, пардон, в сортире навсегда заперта.

Трезвый этот подход слегка похмельной голове моей почему-то понравился. Особенно в части капитанского мундира. К тому же Лулу и впрямь была вычищена, выгуляна и подседлана. Заржала радостно, башкой замотала, меня увидев. Расцеловались мы с ней, подтянул я подпругу, вскочил в седло и отдал поводья.

— Помнишь ли еще дорожку, старушка?

Вспомнила. Все вспомнила и потрусила к графскому особняку, радостно головой встряхивая. А я думал… Нет, ни о чем я тогда не думал. Сердце мое в том же аллюре трепыхалось…

Ворота в усадьбу были настежь распахнуты. Как объятья. Будто ждали меня. Мальчик какой-

то в голубой рубашке у подъезда стоял, на меня во все глаза глядя. Я спрыгнул с седла, бросил ему поводья и — бегом через две ступени.

Вбежал в дом и — заорал:

— Аннет!..

Не помню, откуда она выбежала. То ли с одного из двух лестничных маршей на второй этаж, то ли из залы, то ли… Помню, что на шее у меня оказалась. Как в юности.

— Знала, что придет это мгновение. Придет!.. Знала. Знала. Знала! И — ждала. Как я ждала!..

И – последняя встреча

Последняя потому, что больше люди нас никогда не разлучали. Да и не в силах были разлучить.

Поначалу какой-то уж очень бестолковой казалась она. Помню, что перебивали мы друг друга, а вот почему перебивали и о чем говорили — напрочь из головы выскочило. И начались-то эти воспоминания — не начались, а выстроились, что ли, — с моего вопроса:

— Ты замужем?

— Увы. — Она лукаво глянула снизу вверх, в

мои глаза. — Мой нареченный в России остался. Говорят, в Кавказской войне участвовал не без успеха.

— А как же… Сказали мне, сын у тебя…

Она расхохоталась. Даже руками всплеснула, на миг от меня их оторвав:

— Дитя любви!

Вероятно, что-то на моем лице все же отразилось, потому что Аничка опять засмеялась и позвала:

— Ванечка!

И вошел мальчик в голубой рубашке. Поклонился мне и сказал на отличном французском языке:

— Не беспокойтесь, сударь, о лошади. Я передал ее лакею.

И наступила какая-то странная пауза. Я что-то понимал — и ничего не понимал, во что-то хотел поверить — и не верилось мне. И Аничка почему-то молчала, а потом сказала вдруг. Негромко и очень серьезно. Как-то даже чуточку торжественно, что ли.

— Это твой батюшка, Ванечка. Твой родной батюшка Александр Ильич Олексин, о котором я тебе столько рассказывала. Герой Кавказской войны.

И сын, мой родной сын, истинное дитя истинной любви нашей, на шею мне бросился. Уж потом, потом, когда Аничка отослала его к обеду переодеваться, узнал я, чего нас с нею лишили. Вернее, пытались лишить, но так и не смогли.

— Я без твоего согласия и слова бы единого никому не сказала, душа моя, да только… Только шевельнулся в душе моей ребеночек наш. — Аничка порозовела, почему-то вдруг засмущавшись. — Еще не в теле моем, еще в душе только, но молчать об этом я уже не могла. Я за дитя отвечала, гордилась им, и нами тоже гордилась. И во всем призналась маменьке. Поплакали мы, как водится, и пошли батюшке признаваться. Маменька успокаивала меня, убеждая, что он все поймет, простит и соединит нас с тобою, душа моя. А он ничего не пожелал понимать и помчался в Петербург.

Она замолчала, а я виска коснулся.

— Вот, — сказал. — След последней встречи нашей. А я в воздух выстрелил. Не посмел, не мог иначе, любовью нашей кля-нусь.

Аничка поднялась на цыпочки, притянула голову, поцеловала меня в седую прядь, вздохнула:

— Знаю теперь во всех подробностях, только подробности эти батюшка мне перед кончиной

своей рассказал. Тогда же и простил нас с тобою окончательно и — благословил.

— Почему же он промахнулся? — спросил я. — Прости меня, Аничка, только я и сейчас этого понять не могу. Он же в лоб мне целился, и взгляд у него был…

Я опять про зубра в молдаванских кодрах вспомнил, но — промолчал. А Аничка опять вздохнула:

— Он убить тебя хотел, Саша. И ехал убивать. И к барьеру пошел убивать. И пистолет поднял — только не смог.

— Рука дрогнула?

— Нет. — Аничка решительно тряхнула головой. — У таких руки не дрожат. Я много раз спрашивала его, а он одно отвечал: промахнулся, и все. И только на смертном одре уж признался. «Знаешь, — сказал, — почему я промахнулся? Я на его лице вдруг твое личико увидел, доченька. И будто пронзило меня: да я же в тебя, в дочь собственную стреляю, в счастье твое, во внука собственного!.. И в последний миг, уже на курок нажав, успел ствол отвести. Чудом успел, милостию Божией…»

— Истинно, что милостию Божией, — вздохнул я. — Нет, ни в чем не виню его и обид никаких не

держу: в полном праве своем он был, в полном праве. Да если бы у меня такая дочь была и прощелыга какой посмел бы…

Закрыла она рот мой поцелуем. Таким, что оба мы вздрогнули, точно одной молнией пронзенные. Стиснул ее ручищами своими, к себе прижал, а она шепнула на ухо:

— Потом, потом, все — потом. У нас ведь вся жизнь впереди. И ждать мы научились оба.

Какой-то последней трезвой мыслью понял, что права она, что навеки мы теперь, что спешить-то нам некуда. И обвенчаемся после сороковин по Полиночке, чтобы совесть чиста была.

— Я об обеде распоряжусь.

Аничка вышла, и что-то долго ее не было. Или казалось мне, что долго. Устал я ждать, устал…

Потом вернулась, но — одна, без сыночка нашего, Ванечки. Мы сели с ней друг против друга в гостиной, она полного отчета потребовала, и я ей все рассказал и про Полиночку, и про «Андрея Шенье», и про надпись «На 14 декабря», и про казематы, и про войну. Ничего не скрыл, потому что не должно было быть тайн между нами.

— Одного я не могу понять, Аничка, — сказал под конец. — Кто же разрешение выхлопотал, чтобы я самостоятельно до Кавказа добирался, а

не в общем строю.

— Батюшка, — вздохнула Аничка. — Как дошел до нас слух, что ты арестован, так мы сразу же в Санкт-Петербург выехали. Но поздно: государь уже утвердил приговор офицерского суда, и единственное, что батюшка выхлопотал, так то разрешение для тебя. Но продолжал упорно хлопотать, почему мы сюда и не переезжали. А ты, упрямый, не писал ни родителям своим, ни моей кузине.

— Не мог я никому писать, — сказал я. — Убежден был, что ты за этого косноязычного Засядского замуж вышла, и весь смысл жизни моей пропал.

— Господи, какой там Засядский. — Она досадливо отмахнулась. — Просил он руки моей, назойливо просил и у меня, и у маменьки с батюшкой, но у всех отказ получил и в Россию тут же уехал. Батюшка наказал ему за нашим домом приглядеть, вот тогда он с досады и наплел тебе о грядущей свадьбе. А ты и поверил, глупый.

— Не знал я ничего, Аничка, ну ничего решительно. Тут любому поверишь…

— Я горничную свою домой отпустила и велела ей твоей кормилице Серафиме Кондратьевне сообщить, что сыночек у тебя родился. Неужели не передала?

— На смертном одре уж. Два слова всего: «Ванечка… внучек…» Невозможно было ничего понять, в бреду уж.

— Внучек… — грустно повторила Аничка и вздохнула. — Все же ясно: она тебя ведь сынком своим считала всю жизнь. Любая бы женщина поняла, но у вас, мужчин, наоборотная какая-то логика…

Вошел мажордом. Поклонился, доложил, что кушать подано.

— Ванечку сюда, к нам пришли, — сказала моя графинюшка и встала. — Будем праздновать, душа моя. По-семейному.

Тут появился сын. Белокурый, на меня похожий как две капли крови. И как я его сразу не узнал?..

— Подковы гнешь?

— Учусь, — серьезно ответил он. — Орехи в ладони колоть уже научился, батюшка.

Батюшкой меня назвать пока нелегко ему было. Но он улыбнулся при этом совсем как я. Аничка внимательно поглядела на нас и сказала сыну:

— Будь добр, сделай то, о чем мы с тобой, дружок, давно условились. Помнишь?

— Уж все приготовлено, маменька! — с радостью сообщил он и тут же выбежал.

— Пойдем к столу? — предложил я, подавая

ей руку.

— Обожди, душа моя, — сказала Аничка. — Сейчас Иван Гаврилович нас с тобою пригласит.

— Иван Гаврилович? Почему же вдруг — Гаврилович? У вас что же, игра такая?

— Судьба, а не игра, — пояснила Аннет. — Я — грешница, сын — безотцовщина, и при крещении мальчику дал отчество его крестный, Гавриил Алексеевич Негожин, батюшкин приятель. Если хочешь, можем похлопотать о восстановлении твоего отцовства.

— Нет, не хочу, — сказал я. — Иван Гаврилович ничем не хуже Ивана Александровича. Сохраним это в нашем роду как память о нашей разлуке.

И вошел Ванечка. С тяжелым серебряным блюдом, на котором лежали эклеры…

…Серебро не ржавеет, даже пролежав два десятка лет в тине лебединого пруда…

Утоли моя печали…

Глава первая

1

— Ну как, Наденька, прошел первый день в гимназии? — спросил Роман Трифонович сестру жены. Втайне он считал девочку своей воспитанницей. — Какие сделала открытия?

— Открытие одно, но зато огорчительное, — очень серьезно ответила восьмилетняя гимназистка.

— И что же тебя огорчило?

— Нам задали выдумать пример на сложение. Все девочки складывали яблоки, конфеты или плюшевых зайчиков с куклами, а я, дядя Роман, взяла да и сложила всех своих пятерых братьев и одну сестру. Знаешь, сколько им всем вместе лет? Сто сорок три года ровнехонько, можешь себе представить? А потом, когда я разделила общую сумму на свои восемь лет, получилось, что семья старше меня в семнадцать с половиной раз. В семнадцать с половиной! Это же ужас какой-то…

Наденька была так потрясена собственным открытием, что тяжело вздохнула и угнетенно покачала головой. А Роман Трифонович с трудом

спрятал улыбку.

— И как же оценили твой титанический труд?

— Меня похвалили и поставили «пять», но я все равно очень и очень расстроена.

— Отчего же, Надюша?

— Как же трудно быть младшей в большущей семье, если бы ты только знал, дядя Роман! В семнадцать с половиной раз труднее, чем обычной девочке с одним братом.

— И в самом деле. — Хомяков удивленно пожал плечами. — Как же теперь быть?

— Надо поступать по-своему, вот и все.

Наденька и впрямь оказалась самой младшей во всей рано осиротевшей семье Олексиных — даже Георгий родился на четыре года раньше, хотя остальные братья и сестры были погодками. И явилась-то Наденька на свет нежданно-негаданно, получив все шансы стать балованной игрушкой для всей огромной семьи, если бы не чреда последовавших трагедий.

Наденьке исполнилось всего два года, когда внезапно скончалась мама. Умерла вдруг, мгновенно, упав лицом в грядку, которую так упрямо любила полоть на рассвете. Умерла одна, а осиротели все одиннадцать: десять детей и отец, оставшийся без нежного всепрощения и предан-

ной негромкой любви. А через год, защищая честь девушки, на дуэли погиб брат, портупей-юнкер Владимир. За ним вскоре последовал отец, потрясенный и этой потерей, и сообщением, что его тайная гордость и надежда старший сын Гавриил Олексин угодил в турецкий плен, сражаясь за свободу Сербии. Из того плена Гавриил бежал сам, а вот из плена собственной чести убежать не смог и пустил себе пулю в сердце, не пожелав разделить с императором Александром Вторым политического предательства болгарского народа. А спустя два года сестра Маша прикрыла собственным телом бомбу, которую сама же и намеревалась метнуть в уфимского губернатора. Только в тот морозный солнечный день в санях рядом с губернатором оказались дети, а бомба уже была приведена в действие, и у Машеньки не оказалось иного выбора…

Так уж случилось в их семье: пять смертей за четыре года. Но семейные трагедии Наденьку, в общем-то, пощадили. И потому, что она была еще очень мала, и потому, что старшие берегли ее как могли и умели. Для них Наденька навсегда осталась маленькой: обстоятельство, способное беспредельно избаловать натуру бездеятельную, но вселяющее непреодолимую потребность дока-

зательств самостоятельности в натуре активной и весьма самолюбивой.

Из десяти братьев и сестер в живых осталось семеро, и шестеро из них покинули родимое гнездо. В родовом имении Высоком теперь жил только Ваня, ныне — Иван Иванович, с успехом закончивший петербургскую «Техноложку» сразу же после Русско-турецкой войны. Он получил весьма выгодное казенное место в Варшаве, но затем ушел со службы из-за трагедии уже личного свойства. Служил землемером при Ельнинской управе, учительствовал, а выезжал редко и, как говорили, начал попивать.

А воспитывала Наденьку старшая сестра Варвара, супруга миллионщика Романа Трифоновича Хомякова. Впрочем, она всех воспитывала, кроме Гавриила да, пожалуй, Василия, но всех — со строго сведенными бровями, а Надю — с улыбкой, просто потому, что Наденька попала в ее властные руки еще во младенчестве. Дело в том, что Варвара внушила себе сразу же после кончины маменьки, что ответственна за семью отныне и навсегда, что это ее крест, и несла этот добровольно принятый крест с достоинством, но не без гордости. Она обладала редким даром не предлагать помощь, а помогать. Подставлять

плечо под чужую ношу как-то само собою, без громких фраз, а тем паче — просьб. И когда ее единственная любовь — обобранный сановными казнокрадами Роман Трифонович Хомяков (еще в ту войну, двадцать лет назад!) явился к ней в Бухарест без копейки, сказав, что отныне она свободна от всех своих слов и обещаний, Варя не оставила его, не бросила одного в чужой стране и в чужом городе. Не просто потому, что любила, любила не по-олексински, не очертя голову, а так, как способна была любить только маменька, одна маменька, простая крепостная девочка — раз и на всю жизнь, до гробовой доски, — но и потому, что вдруг ощутила себя сильнее самого Романа Трифоновича и со счастливым, полным ответственности и надежд сердцем взвалила на свою душу и его судьбу. Тут же сама, не торгуясь, распродала то, на что еще не успели наложить лапы вчерашние компаньоны, и увезла Хомякова в спасительное родовое гнездо. В Высокое.

Тихим был тогда повелительно громкий, неутомимо азартный и преданно влюбленный в нее бывший миллионщик. Только глаза ни на миг не угасали.

— Встанем, Варенька, поднимемся. Врешь, нас и с ног не собьешь, и скулить не заставишь!

Заложили имение в селе Высоком, всего-то год назад выкупленное из прежнего, первого заклада тем же Романом Трифоновичем. Переписали заводик племянника на Варю, продали в Москве отцовский дом и все драгоценности — свои и маменькины, — купили задешево, по случаю, большую партию хлопка у разорившегося поставщика — сработали старые связи и прежние миллионные обороты удачливого доселе предпринимателя Хомякова, — и лишь тогда Роман Трифонович предложил Варе не только любящее сердце, но и супружескую руку.

— Раньше не мог, права не имел, ты уж прости меня. А за веру в меня и терпение твое я тебе такой дворец отгрохаю, что на наши вечера и великие князья в очередь записываться будут.

Обвенчались в старинной церкви села Уварова: мама очень любила эту тихую церковь, и Варя выбрала ее для самого счастливого дня своей жизни. Гостей было немного, только родные, но Варю это не огорчило. Она была на седьмом небе, да и Роман Трифонович прочно становился на ноги.

— Придется, Варенька, нам в мой городишко перебираться, в старый дом, — сказал он вскоре после свадьбы. — К фабрикам поближе: им глаз да глаз нужен, дела в гору пошли.

К тому времени уже тихо отошла тетушка Софья Гавриловна, в их московском доме всем заправляла верная Дуняша, а Высокое можно было оставить без особых тревог на Леночку. И Хомяковы уехали к своим во все трубы дымящим заводам.

2

О Леночке Надя знала только то, что ее в последнюю войну спас Иван, а Маша переправила смертельно перепуганную девочку в Высокое. Только это, и ничего более. Никаких подробностей никто и никогда ей не сообщал, да Надя и сама не расспрашивала, сразу влюбившись в черноглазую гречанку, упрямо осваивающую русский язык. Была в Леночке какая-то притягательная тайна: она почти никогда не улыбалась, а в присутствии своего спасителя Ванички Олексина странно замыкалась, внутренне мучительно съеживаясь. Это, впрочем, не помешало ей стать хорошей заменой Варваре: она помнила и знала, что, как и в каком порядке следует делать в имении, и, не обладая Вариной непререкаемой волей, восполняла ее неустанным вниманием. От ее огромных темных глазищ никогда ничего не ускользало, напоминания были тихими, точны-

ми и на редкость своевременными, и к ее голосу все почему-то стали вдруг прислушиваться.

«Очаровательная книга приходов и расходов» — так определил ее Георгий, к тому времени уже юнкер Александровского училища. И попытался было за нею приволокнуться, но получил от Ивана такую отповедь, что тут же и угомонился…

Наденька любила листать семейный альбом и вспоминать детство. С толстых глянцевых паспарту на нее смотрели добрые, умные юные лица ее братьев и сестер — живых и уже покойных. Нет, не покойных. Беспокойных погибших.

«Олексины не умирают в постелях», — говорил отец. Она не помнила его, но ясно представляла по рассказам. Отставной гвардейский офицер, богатый помещик, родовитый дворянин, до безумия влюбившийся в крестьянскую девочку. Настолько, что, презрев свет и все его условности, обвенчался с нею, заперев самого себя в гордыне полного одиночества. Никуда не выезжал, никого не принимал, ни с кем не приятельствовал и никого не признавал, кроме своей Анички и овдовевшей сестры Софьи Гавриловны. И мама любила его таким, каков он был, в любви и нежности родив ему десять детей: семь мальчиков и

трех девочек. И она, Наденька Олексина, завершила эту мамину щедрость.

Отец и мама тоже умерли не в постелях, но их фотографий в альбоме не оказалось: отец терпеть не мог новомодных штучек. Было два портрета хорошей кисти в большой гостиной их двухэтажного барского дома в Высоком. Суровый мужчина с горделиво вскинутым подбородком и милая синеглазая крестьяночка с ямочками на тугих, как антоновка, щеках. А фотографии братьев и сестер были все до единой: за этим очень следила Варя. Даже фотография Владимира, раньше всех погибшего на дуэли…

А потом Наденька переехала в Москву, и ее тут же отправили в самую дорогую частную гимназию мадам Гельбиг: на этом настояла Варя. В ней учились на целый год дольше, чем в обычных, и каждый день — два раза по получасу — занимались противной немецкой гимнастикой. Надя ее терпеть не могла, но старалась изо всех сил, потому что Николай — к тому времени уже юнкер — сказал:

— Гимнастика — тренировка воли, а не тела. Через «не могу», «не хочу», «не желаю».

— А зачем женщинам воля? — Наденька безмятежно пожала плечиком. — Женская сила в

нежности.

— Воля — основа культуры. Животные ею не обладают, Наденька, потому что им незачем обуздывать свои страсти.

До страстей было, правда, еще далеко, но Надя совета послушалась. Может быть, потому, что любила Колю чуть-чуть, самую чуточку больше остальных братьев. За подкупающую непосредственность.

— Это у него от мамы, — говорила Варвара. — Наша мама, царствие ей небесное, была непосредственна, как сама природа.

Ваня тоже был непосредственным и увлекающимся, но… Все в нем сгорело, когда Леночка, уже дав согласие стать его женой, внезапно сбежала чуть ли не с первым встречным, и Иван недолго продержался после этого. Стал попивать, потом оставил службу, заперся в Высоком, как когда-то отец в Москве. Только отец за жизнь в добровольном затворе получил любовь и детей, а Иван — тоску и пьянство, постепенно превращаясь в «шута горохового».

Так называл Ивана Федор, и Наденька относилась к преуспевающему братцу Федору с прохладцей. О нем вообще избегали говорить в семье, и она понимала почему. Федор Олексин

определил смысл собственной жизни как восхождение по лестнице чинов и званий, полагая карьеру единственной высокой целью. Прочие же полагали целью жизни служение народу, личное достоинство или незапятнанную честь, хотя об этом и не говорили. А о карьере говорить приходилось, поскольку такая цель не выглядела самодостаточной в умах и настроениях общества и, следовательно, требовала объяснений. И Федор неустанно толковал о собственных успехах, скорее оправдываясь, нежели объясняясь.

— Понимаешь, товарищ министра попросил. Именно попросил ради пользы государства. Можно ли отказать было?

Карьера всегда оправдывалась только делами государственными, а все остальное — даже служба в армии — в оправданиях не нуждалось, воспринимаясь естественно, как воспринимался долг. Наденьке как-то сказал Василий, что отец очень любил повторять старшим — ему, Гавриилу, Владимиру и Федору:

— Занятия, достойные дворянина, — шпага, крест да книга.

Шпагу избрало большинство ее братьев: погибшие Владимир и Гавриил, теперь — Георгий и Николай. А Федор, поначалу цепко ухватившись

за нее, вскоре, однако, заменил шпагу мундиром, но Олексины внутренне не восприняли этой замены. И не могли воспринять.

Впрочем, не все одинаково. Николай скорее жалел брата, углядев в его выборе роковую ошибку, и всячески старался растопить образовавшийся семейный ледок:

— А так ли уж волен человек в своих желаниях? Иногда обман зрения манит ярче, нежели то, что есть на самом деле.

Генерал Федор Иванович изо всех сил сдерживал личные обиды, но от тесных семейных связей все же как-то отошел. Исключение было одно: теплее всех он относился к Николаю. И не только потому, что тот искренне стремился хоть как-то оправдать его карьерную целеустремленность, а скорее за саму искренность. И когда Николай, отнюдь не шедший под первым номером в училище, лишен был права выбора места службы по выпуску и довольствовался заштатным гарнизоном, Федор сделал все, чтобы через положенные два года службы по распределению перевести его в Москву.

Правда, с точки зрения Вари, это было сделано поздно. Николай успел жениться в той тьмутаракани, где служил, и привез с собою

очаровательную провинциалочку из мещан. Ко времени возвращения этого семейства Хомяков уже успел отгрохать в центре Москвы особняк, поразивший своей оригинальностью не только горожан. И в светском обществе зашептались:

— Какая безвкусица!

— Что ж вы хотите, миллионы демонстрируются.

— Демонстрируется золотой зуб в белоснежной улыбке Первопрестольной.

— Фо па[1], господа. Фо па!

А мещаночка Анна Михайловна потеряла голову в первое же посещение:

— Я деткам своим буду рассказывать про ваше великолепие!

Варю это сразило наповал, однако брат оставался братом. Анна Михайловна приехала в Первопрестольную, как говорится, в интересном положении, но роды оказались не совсем удачными. Девочка Оленька получила легкую хромоту на всю жизнь, а ее родители — тяжкое ощущение вины.

А крест, о котором говорил отец — как о достойном дворянина занятии, достался Василию.

---

[1] Notes: 1
Напрасно, зря *(фр.)*.

Вольнодумцу, идеалисту, деятельному народнику в прошлом, искренне пытавшемуся заменить веру в Бога верой в людей. Замена не удалась, он вернулся к Богу, но иной, неофициальной тропой. Познакомившись и сблизившись с графом Толстым, уверовал в его учение и строго следовал ему примером личной жизни, без проповедей и колокольного звона утверждая заветы гениального своего друга и Учителя. И все в семье понимали, что избранный Василием крест был куда тяжелее всех прочих.

— Понимаешь, Церковь взвалила крест на плечи Господа и стрижет купоны, пока Христос в муках тащит крест на Голгофу. А наш Вася взвалил этот крест на собственную спину и сам несет его на свою Голгофу.

Так сказал Наденьке Иван, умница Ваничка, когда она приехала в Высокое помечтать и подумать перед началом последнего гимназического года. Он и тогда выпивал, но еще не спился с круга и, как показалось Наде, еще способен был верить в чудо. Во внезапное, как в сказке, возвращение Леночки. Наденька поняла это ожидание и, зная, что чуда не будет, почему-то начала готовить брата с несколько необычной стороны:

— А зачем Бог, когда все пружины заведены?

— Извини, сестренка, что-то я не очень тебя понял.

— Дядя Роман подарил мне часы с фигурками: от одной до двенадцати. Когда я завожу пружину, они каждый час начинают вальсировать. А жизнь — это же и есть заведенный Божьей пружинкой вальс. И когда подходит твой час, ты просто начинаешь танцевать, и тебе уже не нужен никакой Бог.

— Батюшки, как же изящно ты мне все объяснила, — улыбнулся Иван.

Наденька была рада, что он улыбнулся. Уж очень редко теперь появлялась улыбка на его заросшем исхудалом лице.

А вот с книгой — в отцовском понимании — никто из Олексиных так и не встретился. Не стал ни писателем, ни мемуаристом, ни журналистом, ни даже книгоиздателем. И тогда, в Высоком, Надя часто думала об этом, хотя подружки по гимназии думали совсем о другом.

3

— А он что сказал?

— А он так посмотрел, так посмотрел!

Все девичьи интересы вертелись вокруг «что сказал» и «так посмотрел», и Наденькины тоже.

Но на нее почему-то никто из мальчиков «так» не смотрел, и это было обидно до слез.

Еще в четвертом, что ли, классе подружка пригласила ее погостить в их подмосковном имении, и Варя разрешила. Там было много детей, но самое главное — там был «Он». Тот, который просто обязан был, по ее разумению, «так посмотреть». Наденька томно вздыхала, кокетливо обмахивалась веером, закатывала глаза и даже мелко-мелко рассыпала смешок, как то советовали подружки.

— Ах, как это забавно! Право забавно!

А он не смотрел. Приносил по ее просьбе лимонад, шоколад, зонтик, специально забытую книжку, но смотрел на другую девочку. Этакую толстую дылду, совершенно неинтересную, с Надиной точки зрения. Она отревывалась по ночам, а с утра начинала все сначала.

— Как вам нравится «Манон Леско»?

— Неопределенно, мадемуазель.

— Помните, там…

— Извините, не помню. И позвольте откланяться.

И тут же устремлялся на вызывающий хохот дылды. Катал ее на качелях, а Наденьку не катал. Ни разу. Причем не катал именно «Он» — другие

катали. Но другие, они другие и есть.

Требовалось предпринять нечто экстраординарное, и Наденька решила пропасть, потеряться. Пусть побегают, тогда заметят. И после ужина спряталась в саду.

Вечер был теплым, комары кусались как оглашенные, но Наденька терпела. Стали звать — все равно молчала. Темнело быстро, поднялся ветер, зашелестел сад, и все бросились на поиски.

Когда тебя ищут, значит, беспокоятся, и это приятно. Сразу делаешься центром внимания без особых хлопот, если хорошо спряталась. А спряталась она очень даже хорошо, правда, к большому сожалению, не от комаров.

— Надя!.. Наденька!..

— Мадемуазель Надя!..

Надя терпела, пока возле ее куста не оказался «Он».

Тогда воскликнула: «Ах!..» — и вывалилась прямо к его ногам.

— Боже, вы — мой спаситель!..

А спаситель, вместо того чтобы нежно поднять ее с земли, отскочил в сторону и стал кричать. Как паровоз:

— Тут! Тут! Тут! Тут!..

На другой день Наденьку отправили в Москву,

но она не долго расстраивалась. Как-то очень просто и быстро поняла, что подобные забавы не для нее, что в них она успеха не добьется и, следовательно, нужен иной путь для самоутверждения. Не общий для всех девочек, а личный. Путь Надежды Олексиной, а не истоптанная вседевичья дорога. И вскоре нашла этот свой, особый путь.

— Но высший балл за домашнее сочинение «Мотивы Чарльза Диккенса в творчестве раннего Достоевского», как всегда, у Надин Олексиной, — почти торжественно начал вскоре провозглашать преподаватель русской словесности Константин Фролович Березанский.

А тет-а-тет убеждал:

— У вас явные способности к сочинительству, мадемуазель Олексина. И, как ни странно для вашего возраста, к прозе, а не к поэзии. Но прозе поэтической. Трудитесь на этом поприще, испытайте его. Оно потребует много труда, может быть, столько, сколько не требуют иные сферы приложения духовных сил, но я верю в вас, Надин.

Надя много писала в последних классах гимназии. Девочки тоже писали, но — стихи, и непременно читали их вслух, а потом переписывали друг другу в альбомы. Альбомы стихов

— собственных и посвященных — были непременным атрибутом женских гимназий, доброй старой традицией закрытых пансионов и институтов, и Наде пришлось-таки сочинить нечто, чтобы не обижать подружек. Но поскольку она не признавала рифм вроде «пошел — нашел» или «грозы — морозы», а искать новые не было времени, то и обошлась белыми стихами. Это произвело впечатление, и стихи старательно переписывали в каждый девичий альбом, особенно восхищаясь заключительными строками:

А соцветия черемух, Точно гроздья винограда… Может, лучше: «Винодара»? Ведь вино надежды дарит. Май в кипении черемух!..

Но альбомные стихи и оставались альбомными, а потому Надю удовлетворить не могли. Да и сочинялись уж очень легко и просто. А проза — трудно и медленно, с бесконечными помарками и переписываниями. И Наденька боготворила прозу, поскольку была самолюбива и жаждала достойной этого самолюбия победы.

В выпускном классе она в одну ночь неожиданно сочинила рождественскую сказку про бедного мальчика, потерявшего шапку в лютый мороз. В изначальном варианте мальчику помогла добрая фея, но через неделю Надя решительно

сожгла в камине свое первое творение, никому, к счастью, его не показав. И трудно, с бессонными ночами, слезами и напряжением до головной боли переделала благостную сказочку в суровый рассказ. Как загулявшие бездельники на пари на всем скаку кнутом сбили с мальчика шапку. Как мальчик бежал за ними, умоляя вернуть эту шапку, на беду свою попал в незнакомые богатые кварталы, где за каждым окном сверкали нарядные елки, а вокруг весело и беззаботно танцевали сытые карнавальные маски, и мальчик напрасно искал между ними обыкновенное человеческое лицо. Как мальчик, замерзая, робко стучался в равнодушные парадные подъезды, а самодовольные лакеи ругали его и гнали прочь. Как в конце концов он оказался в городском саду и заснул под елью в сугробе. И какой прекрасный рождественский сон снился ему в этой смертной постели. Какой мягкий, нежный, волшебный снег беззвучно сыпался на него всю ночь, и как нашли несчастного мальчика только через три дня, и как все удивлялись доброй улыбке, застывшей на его ледяных устах…

Конечно, Наденька понимала, что за ее плечом незримо присутствовал сам Некрасов: «А Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне…», но

найти собственный финал не смогла и в таком виде рискнула показать рассказ Березанскому. И пока он читал, сердце ее стучало так часто и, как ей казалось, так громко, что она чуть не шлепнулась в обморок.

— Позвольте, мадемуазель, взять этот рассказ с собой, — как-то озадаченно, что ли, сказал Березанский. — Здесь есть над чем подумать.

— Сделайте милость, Константин Фролович, — сдавленным голосом еле выговорила Наденька.

— Благодарю вас, Надин. Верну в понедельник непременнейшим образом.

Вероятно, так бы оно и случилось, только от всех трудов и волнений Наденька заболела. Домашний врач определил очень модное в те времена нервное истощение, прописал успокоительное, рекомендовал отдых и даже постельный режим. Варвара тут же уложила в постель, отобрала книги и читала Наде сама. А вечерами ее сменял всегда по горло занятый Хомяков.

К Роману Трифоновичу у Нади было совсем особое, не родственное, что ли, а почти восторженное отношение. Она отлично представляла себе, что Хомяков создал не просто капитал — это не считалось в семье Олексиных каким-то особенным достижением, о котором стоило бы

упоминать, — нет, он создал нечто несоизмеримо большее. Роман Трифонович Хомяков создал самого себя практически без всякого трамплина. С нуля. А к подобным людям Наденька относилась не только с огромным пиететом, но с трепетом и восторгом. Вчерашний мужик обладал столь неординарными способностями, столь несгибаемой волей и жаждой триумфа, что, по девичьему разумению, являл собою образец нового Героя нашего времени. Втайне она мечтала когда-нибудь (разумеется, когда подчинит себе непокорный, как степной аргамак, русский язык и станет настоящей писательницей) написать о нем роман. Иными словами, Роман Трифонович Хомяков уже оказался героем девичьего ненаписанного романа, не подозревая об этом ни сном ни духом. И еще он оказался единственным, кого Надя с детских лет называла дядей. А он сам — единственным, кто звал ее почти по-крестьянски: Надюшей, а не Наденькой, как то было принято в их кругу.

Самая крупная размолвка произошла между ними, когда Роман Трифонович решил отправить сыновей-погодков учиться в Германию, вместо того чтобы подыскать им хорошую частную гимназию в Москве. Варвара умоляла и плакала, плакала и умоляла, а Наденька взорвалась и

обозвала Хомякова бессердечным мужланом.

— Насчет мужлана это, Надюша, точно сказано, — вздохнул он. — Только ведь потому и отсылаю, чтобы ребята мои в свой адрес такого слова никогда не слыхали. А здесь — в Москве ли, в Петербурге ли — услышат, да и не раз. Я души их сберечь хочу, потому и от своей и от Варенькиной их отрываю.

И Надя все поняла. Принесла Роману Трифоновичу свои извинения, как могла утешила Варвару, и погодки Хомяковы уехали в Германию с гувернером и двумя слугами. И в огромном хомяковском особняке опять воцарился мир.

— Русская литература, Надюша, оказала России неоценимую услугу. Она подготовила нас, как плебеев, так и патрициев, к реформам государя Александра Второго. Смелые начинания пошли сравнительно легко только потому, что Россия была готова к ним духовно. Литература приучила дворянство к мысли, что крепостной тоже человек, а простой люд — к пониманию, что дворянин не просто барин с плетью, а такой же русский страдалец, только образованный и в мундире. Поэтому бородачу в сапогах, — Хомяков только так именовал императора Александра Третьего в приватных разговорах, — и не удалось повернуть

Россию вспять, а лишь придержать ее развитие. Он, так сказать, взял Россию под уздцы, что сама Россия, по своему крестьянскому представлению о строгом барине, любит и всегда будет любить.

Как правило, Варя читала Наденьке прозу, а Роман Трифонович — только стихи. Он их очень любил (в особенности Некрасова), знал во множестве.

Вынесет все – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только – жить в эту пору прекрасную
Уж не придется – ни мне, ни тебе…

Надя вернулась в гимназию лишь через десять дней: в обществе тогда любили болеть со вкусом. И Константин Фролович Березанский с улыбкой сказал:

— А рассказ «На пари» я верну вам, мадемуазель, в напечатанном виде.

Оказалось, что он показал ее первое творение редактору «Задушевного слова». И через некоторое время Наденька с невероятным торжеством притащила журнал домой. Он был еще не разрезан и хранил в себе необыкновенный, ни с чем не сравнимый аромат свежей типографской

краски.

— Вот гонорар, — сказала Надя, высыпав из кулака на стол тринадцать рублей с копейками.

— Прокутить! — воскликнул Хомяков, сияя пуще Наденьки. — Сегодня же! Выбирай ресторан, Надюша!..

— «Эрмитаж»! Там собирается вся богема!

Покатили в «Эрмитаж», а на другой день Хомяков велел скупить сто двадцать пять экземпляров журнала. Одарили всю родню и всех знакомых, а двадцать пять номеров Роман Трифонович оставил у себя и вручал особо приятным ему людям.

— Приемная дочь написала. Жорж Санд растет, господа!

4

На волне этого внезапного успеха, успеха «вдруг», вроде бы ничем не подготовленного, Наденьку понесло со счастливой головокружительной быстротой. Она как-то очень поспешно, но тем не менее первым номером закончила в гимназии (и в аттестате официально отметили, что закончила она именно «первым номером») и с невероятным подъемом принялась строчить рассказы. Ей казалось, что идей у нее — великое множество, что стоит только их занимательно

записать — и успех обеспечен. И увлеченно писала то, что ей представлялось идеями, и сама потащила восемь таким образом сочиненных рассказов по редакциям, ничего, естественно, не сказав родным.

А рассказы не приняли. Где — вежливо, где — резко, не очень церемонясь. Обескураженная Наденька рыдала два дня, наотрез отказалась поехать в Высокое, чтобы развеяться и отдохнуть, и на четвертый день к ней заглянул Роман Трифонович, отменив три очень важных деловых встречи.

— Знаешь, почему это случилось? Потому что ты использовала в своем первом рассказе весь накопленный багаж. Литература — не сюжетики, литература — а русская в особенности — запас идей. А он тобою, Надюша, извини, исчерпан. Новые идеи ты можешь обрести только в жизни или мучительным путем самообразования. Не торопись, закончи курсы, и все образуется.

— Я лучше пойду в народ!

Хомяков грустно улыбнулся:

— Народ — это не миф, это живые люди, и я — один из представителей. Но я учился. Сам. Мучительно, до головокружения, чтобы выйти из той массы, которую мы именуем народом.

Выйти, Надюша, потому что масса эта закоснела и способна жить только по инерции. Чтобы понять причины этой закоснелости, необходимо получить хорошее образование — с налета, по интуиции ни в чем не разберешься, ничего не поймешь, и суждения заведомо окажутся неверными. И мой тебе совет: иди-ка ты на курсы, девочка.

Но Наденька была упряма и так просто, по первому совету, изменить свою жизнь не могла. Все сожгла, пострадала, помучилась и в конце концов сочинила сказку, которую напечатал уж совсем малоавторитетный журнал.

А сказка была о том, как в половодье на сухой остров перебрались маленькие звереныши. Так сказать, дети взрослых. Медвежонок и Лисенок, Барсучонок и Зайчок, Волчонок и Сорока. И как ради выживания они решили, что у них будет справедливое содружество, чтобы никто никого не съел. Президентом выбрали Мишу-медвежонка, Лизонька-лисичка сама напросилась на должность главного поставщика продуктов, Боря-барсук взял на себя строительство нор и убежищ, Зойка-зайчишка обещала доставлять овощи, Вовка-волчонок решил отвечать за всеобщую безопасность, а Серафима-сорока заверила

всех, что будет регулярно сообщать, что творится в мире.

Естественно, ничего доброго из этого не вышло. Медведь спал и сосал лапу. Лисичка приносила четверть необходимого, лично съедая остальное. Барсук старательно рыл глубокие норы, в которые никак не могли влезть ни медведь, ни волк, а сорока влезать просто не пожелала. Зайчонок лопал всю морковку, которую должен был доставлять к общему столу. Волчонок гонял всех пришлых зайцев, с аппетитом похрустывая косточками тех, кто не смог от него увернуться, а сорока разносила только сплетни. Кончилось тем, чем и должно было кончиться: островная демократия перестала существовать, сожрав саму себя.

Эту сказку напечатали в «Гусляре», самолюбие было удовлетворено, и Наденька послушно поступила на курсы.

И эти курсы оказались частными по настоянию Варвары, и там учили на год дольше всех остальных. Учили по европейской системе, требуя собственных рефератов, и у Нади не оставалось времени на сочинения просто потому, что она не желала да и не умела быть второй. И закончила первой, что и было отмечено в свидетельстве о ее

праве преподавать русскую словесность в городских училищах и прочих им соответствующих учебных заведениях.

Но на курсах Надежда прослушала обширный цикл лекций о журналистике, и это произвело на нее огромное впечатление. Эти лекции подводили логический фундамент под слова авторитетнейшего ее советчика Хомякова о постижении народной души. И Наденька твердо решила, что сначала станет известной журналисткой, а уж потом, набравшись идей, и писательницей.

Выбор был сделан.

Выбор был сделан — только не сердцем, а умом, потому что сердце оказалось занятым приятелем Георгия еще по юнкерскому училищу. Доселе Наденьке не случалось влюбляться — не считать же объектом влюбленности «паровоз», закричавший «Тут! Тут!», вместо того чтобы бережно поднять с земли обретенную пропажу. Ну, были, конечно, девичьи увлечения, легкие и приятные флирты, кокетливые, ни к чему не обязывающие свидания. А тут вдруг — усы, шпоры, сабля, и к тому времени уже золотые офицерские погоны. Голова пошла кругом, и все мечты о сочинительстве мгновенно из нее выветрились. Осталась одна мечта, но зато вполне практическая — на-

конец-то впервые в жизни услышать самые главные, самые заветные слова: «Надин, дорогая моя Надин, я люблю вас!..»

Выражаясь девичьим альбомным стилем, Наденька впервые ощутила стрелу Амура на выпускном балу. Курсы, естественно, были женскими, но бал женским быть никак не мог, и поэтому курсовое начальство рекомендовало каждой курсистке самой позаботиться о танцевальных партнерах. Надя пригласила Георгия, а он притащил с собой приятеля, что в результате и привело к некоторым серьезным осложнениям. Как внешним, так и внутренним.

Бал, как и полагалось, открылся вальсом, и Наденька, как и полагалось, первый тур танцевала с приглашенным ею кавалером, в данном случае — с Георгием. Зато три последующих — с его приятелем, и это было восхитительно. Молодой офицер оказался живым и остроумным, легко шутил и легко болтал, и Наденькино сердце от тура к туру билось все чаще, а щеки горели все ярче. Но апофеозом бала, как и полагалось, должна была стать мазурка, в которой Надя — все сокурсницы признавали это (естественно, не без столь же естественной зависти) — не знала себе равных.

По желанию раскрасневшихся курсисток была

объявлена большая мазурка, предусматривающая выбор партнерши из двух предложенных «качеств» перед третьей фигурой. И Наденька подвела свою подругу к двум приятелям — подпоручикам.

— Вечная разлука или вечное одиночество? — чуть ли не хором спросили они.

Георгий, разумеется, вежливо уступил право выбора своему гостю, на что, собственно, и рассчитывала Надя. А гость не задумываясь брякнул:

— Вечное одиночество!

А это самое «вечное одиночество» было «качеством» подружки Катрин, особы довольно ветреной, но весьма симпатичной. И Наденька была вынуждена отплясывать с родным братом. Правда, Георгий танцевал отменно, и все же это оказалось первым уколом.

И второй не замедлил воспоследовать — во время выбора «качества» среди кавалеров. Офицеры пошушукались и дружно шагнули к девушкам:

— Награда или удача?

Более шустрый приятель опередил Георгия с вопросом и задал его Катрин, которой поэтому и надлежало выбирать.

— Удача!

И Наденьке вновь пришлось танцевать с братом, что было уж совсем обидно. Настолько, что она вдруг припомнила, как прозвучал сам выбор «качества»: неожиданный гость задал вопрос первым, не согласовав очередности с Георгием, что в известной мере противоречило общепринятым правилам, хотя и не возбранялось.

— Почему ты уступил своему приятелю право на выбор? — сердито спросила Наденька.

— Да просто потому, что меня твоя подружка не заинтересовала, а его, кажется, наоборот.

И Надя получила третий удар по самолюбию, уже от родного брата. Это было чувствительно настолько, что она даже сбилась с шага. К счастью, музыка смолкла, перед второй частью большой мазурки объявили перерыв, чтобы девушки могли поправить прически и туалеты, и Наденька сразу же прошла в дамские комнаты.

А симпатичная — ну, это, как говорится, дело вкуса — подружка Катрин появилась в них с непозволительным опозданием. Влетела, переполненная восторгом, так и сияя.

— Он угощал меня в буфете!..

— Волосы поправь, — суховато посоветовала Надя.

— А как он танцует, как танцует!

— Возможно, — сказала Наденька и вышла в зал. Во второй части мазурки выбора «по качеству» уже не было. Надя оттанцевала две фигуры с братом, а от третьей отказалась, сославшись на усталость, и весь бал приобрел вкус лимона без сахара.

Вероятно, Георгий что-то все же сообразил, потому что уже на следующий день притащил своего приятеля на ужин к Хомяковым. И Наденька распустила перышки, намереваясь во что бы то ни стало взять реванш. Болтала, шутила, смеялась — словом, флиртовала вовсю.

А он молчал. Противный подпоручик Сергей Одоевский. Да, да, из тех самых князей Одоевских, только не князь, поскольку происходил из боковой ветви огромного развесистого генеалогического древа знаменитых потомков самого Рюрика. Молчал весь первый вечер и мало говорил в последующие. И Наденька частенько рыдала в подушку, вместо того чтобы размышлять о журналистской карьере.

— Наконец-то счастливые слезы, — с удовлетворением сказала Варвара, не вовремя войдя в спальню младшей сестры. — Слава Тебе, Господи. Все естественное — разумно.

— Я его ненавижу!

— Ну и правильно делаешь.

— Он… Он — пшют и фанфарон!

— И здесь все правильно. Природа играет по отработанным правилам, сестричка.

— Идиотские правила!

— Возможно. Но, право, будет жаль, если их отменят. Для всех — жаль, а для девушек — катастрофа.

— Господи, о чем ты, о чем…

— Девушки все одинаковы, потому что они — дочери естества, самой природы, а юноши — продукт цивилизации, только и всего. Отсюда — женские моды: наша попытка подать свое естество в оболочке современности. И брак на небесах — это равновесие природы и цивилизации, гарантирующее его прочность и неуязвимость.

— А как же… — Надя всхлипнула. — Как же любовь? Хочешь сказать, что ее нет?

— Не хочу, потому что она есть. И слава богу, что есть. Только… Как бы тебе объяснить? Любовь — это всего лишь увлечение. В легкой форме — увлечение, в тяжелой — ослепление. А строить семью на ослеплении по меньшей мере глупо. Семья, построенная на ослеплении, подобна плоскодонному кораблю, который непременно перевернется при первой же буре. Любовь есть

невероятное по мощи влечение душ друг к другу. Душ, а не взыгравшей плоти, Наденька. Прости меня за столь грубое сравнение, но ты уже взрослая и должна понимать, что я имею в виду.

— А я не понимаю!

— Для плотского влечения существуют гетеры, а в просторечии — прости господи. Еще раз извини.

— Но я же…

— Не стоит утолять голод зелеными яблоками, лучше и полезнее погодить, пока они созреют. Воля, Надежда, только воля и одна лишь воля есть основа лучшей части человеческого общества. Умейте властвовать собой, мадемуазель.

— Но я не желаю…

— Воля и желание — антиподы. Необходимость и воля — синонимы. Об этом нельзя забывать людям, считающим себя образованными, если образование для них не просто набор знаний, а повышенная обязанность перед обществом.

На этом тогда и закончился разговор двух сестер, старшей и младшей. Сказать, что Наденька во всем согласилась с Варварой, было бы неправдой: наоборот, она почти все отвергла, с легкостью отнеся Варю к возрасту, который просто не в состоянии понять современную мо-

лодежь. Но так случилось, что дней через пять, что ли, как-то сама по себе завязалась беседа с Романом Трифоновичем.

— Подпоручик Одоевский? — настороженно переспросил Хомяков, когда Наденька — естественно, вскользь, разумеется, между прочим — упомянула о Рюриковиче в разговоре. — Мне что-то днями рассказывал о нем наш Жорж. Что-то скверное, из-за чего Жорж и перестал с ним приятельствовать. Кажется, речь шла о передергивании в картишки.

— Неправда! — Надежда залилась гневным румянцем. — Это… это гнусная клевета. Георгий просто завидует ему, вот и все!

— Пылу много, а логики явно недостаточно. Из твоих слов вытекает, что твой брат способен на ложь?

— Вероятно, он проиграл Одоевскому крупную сумму и теперь чернит его на каждом шагу.

— Вероятно или достоверно?

— Оставьте меня! Вы все просто несовременные люди! Вы отстали, понимаете? Отстали на полвека с вашей моралью!..

Аргументов больше не оказалось, и Надежда прибегла к последнему, закатив громкую истерику с падением на пол. Это было так на нее не

похоже, что Роман Трифонович очень испугался и позвал горничную Наденьки.

Об этой горничной, которую все в доме звали почему-то Грапой, а не Груней, следует рассказать особо. Она заменила долго служившую у них Полю, поскольку Поля вышла замуж, и в признание ее несомненных заслуг Хомяков купил молодым домик на окраине Москвы. Замена произошла как-то очень уж стремительно, по рекомендации через третьи руки; новая горничная казалась торопливо приветливой и поспешно услужливой, никто на нее не жаловался, почему она и прижилась в доме. Варвара считала, что Грапа способна оказать на Наденьку благотворное влияние, потому что ей было уже за тридцать, а Роман Трифонович ориентировался на отзывы Надежды, всегда находившей добрые слова о своей горничной. И все шло хорошо, пока через несколько дней после Надиной демонстративной истерики дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо — старый и проверенный помощник Хомякова еще со времен последней войны — не доложил своему патрону с глазу на глаз:

— Сегодня в пятом часу утра из нашего дома тайно вышел подпоручик Одоевский. Полагаю, что от Надежды Ивановны.

— Сам видел?

— Лично. А Мустафа ему ворота открывал.

Роман Трифонович переполошился не на шутку.

Отправил Варвару к Надежде с категорическим приказом добиться разъяснений и лично допросил горничную Грапу. Горничная избегала смотреть в глаза, однако на все вопросы отвечала без запинки:

— Знать ничего не знаю. Спала я, барин.

Варе повезло больше, поскольку Наденька, быстро осознав, что она натворила, безостановочно плакала, тихо бормоча:

— Я преступница, преступница, но теперь он непременно женится на мне.

Выяснение отношений с бесчестным соблазнителем и проблематичным женихом решено было поручить подпоручику Георгию. Он ввел его в дом, он представил его Надежде, ему и должно было расхлебывать кашу. И пока Варвара всячески урезонивала грешницу, Георгий, бледный от накатившего бешенства, разыскивал бывшего приятеля.

5

Разыскать подпоручика оказалось непросто, поскольку своего дома он не имел, а квартировал у многочисленных родственников, чередуя их по одному ему известной системе. В полку его тоже не оказалось, потому что он числился в краткосрочном отпуску по болезни. В конце концов Георгий, впустую потратив три дня, разыскал его в низкого пошиба бильярдной на Ильинке.

— А, Жорж! Рад тебя…

— Извольте выйти со мною, Одоевский.

— Боже, как торжественно!

— Извольте выйти со мной, — сквозь зубы повторил Георгий.

— А собственно, ради чего? — Одоевский нагловато улыбнулся. — Твоя сестра, насколько мне известно, достаточно взрослая, чтобы решать, с кем и зачем…

Георгий молча ударил его в лицо. Это была не принятая в обществе пощечина, а увесистый удар кулаком сына крепостной крестьянки. Одоевский отлетел в угол, лицо его залила кровь.

— Присылай секундантов, подлец. Если струсишь, изобью до полусмерти.

Дуэли были запрещены, и Георгий отлично

представлял, что рискует карьерой. Но он не только любил Надежду, но и отвечал сейчас за фамильную честь.

Секунданты — мало знакомый Георгию капитан и совсем незнакомый подпоручик — явились на следующий день. Сухо, но вполне корректно, как то и предусматривал дуэльный кодекс, договорились о месте и времени: речка Сходня, в полуверсте от Черной Грязи, шесть утра. Подпоручик Одоевский, как лицо оскорбленное, в качестве оружия избрал револьверы служебного образца.

— Чтобы труднее было найти следы дуэлянтов, если чья-то рана вынудит обратиться в госпиталь, — пояснил капитан.

Это было разумно: револьверная пуля относительно дуэльной оставляла иные последствия, которые к тому же легко было объяснить неосторожным обращением со служебным оружием. Кроме того, оскорбленная сторона брала на себя заботы о докторе, что выглядело не совсем обычно, но Георгий объяснил себе эту необычность заботливостью немолодого капитана.

Георгий ни словом не обмолвился о дуэли домашним, чтобы Николай — к тому времени уже штабс-капитан — упаси бог, не оказался заме-

шанным в противуправном поступке. Поэтому и секундантов нашел среди полковых приятелей, попросил их заехать за ним в старый олексинский дом, а вечером навестил Хомяковых. Затея была рискованной, но он чувствовал потребность побыть среди родных накануне пальбы боевыми патронами. Варвара оказалась у Нади, и Георгия встретил один Роман Трифонович.

— Нашел его?

— Нашел.

— Когда?

— Что — когда?

— Ну зачем же меня-то обманывать, Жорж? — усмехнулся Хомяков.

— Завтра. Смотри, Роман Трифонович, ни полслова.

— Завещание будешь писать?

— Нет.

— Правильно. Дурная примета.

К тому времени Роман Трифонович уже выгнал Грапу взашей и без рекомендаций: он был беспощаден к нечестным слугам. Но без горничной, а особенно сейчас, Надя обойтись не могла, и Хомяков нанял таковую лично, не прибегая к услугам даже верного когда-то помощника, а теперь дворецкого Евстафия Селиверстовича.

Взял сразу и без колебаний, потому что искомая горничная понравилась ему с первого взгляда: миловидная девушка, скромная и понятливая и — с толстой, пшеничного цвета косой ниже пояса. Звали ее Феничкой, она уже имела некоторый опыт, послужив в весьма приличном доме, из которого ее и сманил Роман Трифонович, предложив чуть ли не двойное жалованье. И как ни странно, главным в его решении оказалась коса, хотя в этом Хомяков не признавался даже самому себе: он питал невероятную слабость к девичьим косам пшеничного цвета.

Утром следующего дня секунданты заехали за Георгием в назначенное время. Он молча трясся в наемной пролетке, и мысль о Владимире назойливо преследовала его, как осенняя муха. Вот так же точно, как сейчас, представлялось ему, двадцать лет назад его брат портупей-юнкер Владимир спешил на дуэль, с которой ему не суждено было вернуться. Мысли были не из приятных, но не пугали: Георгий думал не о сходстве ситуаций, а об их принципиальной разнице. Он мучительно размышлял, как же отвести от Наденьки все светские сплетни и пересуды. Застрелить Одоевского? Но это только подогреет слухи, заставит сплетниц копать глубже, через прислугу, подку-

пы, посулы. Кроме того, ему придется поставить на военной карьере жирный крест — крест, который перечеркнет все его мечты. Нет, убивать соблазнителя не следует ни в коем случае. Но тогда — что? Что?.. Как отвести позор от сестры? Как?.. Он думал и поэтому был спокоен, но разговаривать ему не хотелось.

— Господа, — сказал капитан. — Пока не случилось ничего непоправимого, прошу вас принести друг другу извинения, пожать руки и разойтись с миром.

— Это сложно, капитан, — криво усмехнулся Одоевский. — Я оскорбил Олексина нравственно, а Олексин меня — физически. Никакие извинения приняты не будут, хотя я со своей стороны готов признать, что был не прав.

— Только и всего? — спросил Георгий.

— Только и всего, Олексин, но первый выстрел — за мной. Надеюсь, вы не оспариваете моего права?

Олексин пожал плечами и молча пошел на свой номер, держа врученный ему револьвер в опущенной руке. «А ведь у него дрожал голос, — подумал он, заняв позицию и не поднимая револьвера. — Трусишь, Одоевский?..»

— Жорж, прикрой грудь! — крикнул кто-то из

его секундантов.

— К черту! Командуйте, капитан!..

И не поднял револьвера, ожидая выстрела. Одоевский опустил револьвер, который держал у плеча, и начал медленно целиться. «Долго, дьявольски долго…» — успел подумать Георгий, когда наконец-таки сухо ударил выстрел. Пуля порвала погон на левом плече мундира, и секунданты шумно вздохнули.

— Выстрел за мной, Одоевский! — громко выкрикнул Георгий. — Живи и мучайся!..

Подошел к капитану, протянул револьвер.

— Браво, Олексин, — с огромным облегчением сказал капитан. — Вы поступили в высшей степени благородно.

Хотя дуэль прошла без кровопролития, санкции последовали незамедлительно. Дуэлянты — каждый, естественно, в своем полку — были преданы судам офицерской чести и решением их уволены из армии. Однако рекомендации судов вступали в силу только после утверждения государем, дуэлянтам-офицерам полагалось служить в прежних должностях до монаршего волеизъявления, но Одоевский сразу же подал рапорт об отставке. Этого ожидали, потому что на дуэли он выстрелил отнюдь не в воздух. А подпоручик

Олексин от своего выстрела отказался, и его благородство покрывало Одоевского несмываемым позором.

Георгий ни словом не обмолвился о дуэли, но о ней узнало все московское светское общество. Подробности дуэли живо обсуждали в полках, клубах и салонах, неизменно восхищаясь мужеством и выдержкой подпоручика Олексина. Московский дворянский клуб послал петицию государю с нижайшей просьбой не гневаться на подпоручика Олексина, поступившего столь благородно да при этом еще и выказавшего личную смелость и отменное хладнокровие. Аристократические старцы, хранители традиций офицерской чести, писали знакомым генералам и сановникам при дворе, заклиная изыскать все способы воздействия на решение государя, а Хомяков тут же отправил курьера в Петербург к генералу Федору Олексину с письмом, в котором подробно рассказал о дуэли, не касаясь, однако, ее основной причины, но требуя использовать все свое влияние ради спасения офицерской карьеры Георгия.

Впрочем, об этой основной причине не упоминали даже записные кумушки из высшего московского света. Не только потому, что не зна-

ли, — даже Одоевский помалкивал, — а потому, что поступок Георгия затмил причины вообще. Уж слишком мелкими казались все возможные поводы ссоры двух офицеров: ну, приревновали друг друга, ну, не сошлись во мнениях, ну, карточные недоразумения, ну… Да какая разница, господа, разве дело в причине, когда следствие этих причин несоизмеримо благороднее всех их, вместе взятых?.. И двери самых заветных московских домов широко распахнулись перед никому доселе не известным армейским подпоручиком, хотя сам подпоручик Олексин не пересек порога ни одного из них.

Но решение государь принять был обязан, и оно воспоследствовало. Всемилостивейшим распоряжением подпоручик Олексин переводился из Москвы в Ковно с повышением в чине, но запрещением служить в обеих столицах сроком на десять лет.

Хомяков устроил прощальный вечер лишь для своих. Надежда появилась, как только приехал Георгий. Печальная, виноватая, какая-то съеженная. Сказала тихо:

— Прости меня, брат. Бога ради.

— Да что ты, сестренка! — Георгий крепко обнял ее, прижал к груди. — Тебе же все приснилось.

Приснилось, понимаешь?.. Вот и улыбайся, как всегда.

А чуть запоздавший Николай — только что по совершенно уж необъяснимой причине пожалованный полным капитанским чином (а причина была проста: генерал Федор Олексин шепнул кому-то могущественному, что-де «родной брат того самого, который в воздух...») — первым делом бросился к подпоручику, облапил его, затормошил:

— Всем нам пример! Всем пример!.. Ура, господа, ура!..

— Почему бы тебе не раздеться? — с привычной строгостью поинтересовалась Варвара.

— Извини, но мне, к сожалению, пора бежать. С дежурства на полчаса улизнул. А бежать — добрых сорок минут.

— А как же... — начал было Георгий.

— Думай, герой, думай! — весело прокричал Николай и тут же умчался.

— Все Олексины малость с придурью, — добродушно проворчал Роман Трифонович. — Рвутся куда-то без расчета и логики.

Глава вторая

1

Надя и ее новая горничная Феничка не просто привыкли друг к другу, не только, как говорится, сошлись характерами, но и в определенной степени подружились, если в те времена можно было представить дружбу хозяйки и служанки. Отрыдавшись и отказнившись, Наденька растеряла прежний пыл, стала спокойнее и уравновешеннее. Однако Варваре это смирение показалось несколько подозрительным:

— В тихом омуте черти водятся.

— Стало быть, дружно молиться начнем, — буркнул Роман Трифонович.

Ему категорически не нравилась подозрительность супруги. Он верил своей любимице безоговорочно, зная основательность ее характера и его глубину. Происшедшее с нею он считал воплем угнетенной плоти, которой по всем возрастным меркам положено было познать свое естество. «В девках засиделась, только и всего, — как всегда грубовато, думал он. — Стало быть, наша вина, а более всего — Варенькина. Она ей мать заменила,

с нее и спрос». Из этого размышления само собой напрашивался вывод: пора знакомить Надежду с достойными женихами. Следовательно, пора устраивать балы, приемы, рауты, музыкальные вечера и тому подобное, поскольку выезжать в свет ему, одному из самых богатых людей Москвы, но не дворянину, было как-то не с руки.

И принять могли далеко не все, и сам он далеко не у всех желал показываться. В высшем свете должников хватало, и здесь следовало пять раз оглянуться, прежде чем шагнуть. Кроме того, старое московское дворянство, а в особенности дворянство титулованное, упорно видело в Олексиных губернских провинциалов, в лучшем случае относясь к ним с покровительственным снисхождением, что болезненно воспринималось Варварой. И это следовало учитывать с особым вниманием. Роман Трифонович знал не только свое место, но и свою цену, обладал собственным достоинством и не желал попадать в неуютные положения.

— Несколько преждевременно, — сказала Варвара, когда он изложил ей свою тщательно продуманную программу. — Ты совершенно прав, но Надя еще не успокоилась. Дадим ей время, дорогой.

— До конца года, что ли?

— Конец года — это прекрасная пора, Роман. Рождество, Святки — очень естественно для разного рода приглашений, и никто в этом ничего нарочитого не усмотрит.

— Пожалуй, ты права, Варенька, — согласился, основательно, правда, все взвесив, Хомяков. — Ничего нарочитого — это хорошо, достойно.

А тем временем в комнатах Надежды — спальне, будуаре и личном кабинете — шли долгие девичьи разговоры. Они, как правило, не имели определенной темы, как и все девичьи беседы, и часто возникали вдруг, без видимого повода, но всегда — только по инициативе хозяйки, как и полагалось в те времена.

— Ты когда-нибудь влюблялась, что называется, очертя голову?

— Не знаю, барышня. Влюбляться — барское занятие, а жених у меня есть. Тимофеем звать. На «Гужоне» подмастерьем работает. Говорит, на каком-то стане, что ли. Огнедышащем, говорит. Уж и родителей мы познакомили, и сговор был.

— А чего же не обвенчаетесь?

— Семьи у нас небогатые, барышня. За мною ничего дать не могут, вот я сама себе на приданое и зарабатываю.

— Я тебе на приданое дам, но с условием, что ты меня никогда не бросишь.

— Нет, барышня, спасибо вам, конечно. Только семья — это муж да детишки, сколь Бог пошлет. А я детишек страсть как люблю!

— Часто с женихом видишься?

— Да ведь как… Прежняя хозяйка два раза в месяц на целый день отпускала.

— Скажи, когда надо, и ступай целоваться.

— Ой, барышня!.. — Феничка зарделась больше от радости, нежели от смущения. — Спаси вас Христос, барышня.

— А мне с тобой хорошо, Феничка, — улыбнулась Надя. — Друг друга мы понимаем.

— И мне с вами очень даже распрекрасно, барышня. Дом — чаша полная, а все — уважительные. Даже сам Роман Трифонович очень уважительный мужчина, а ведь при каком капитале-то огромном!

— Мне сейчас трудно, Феничка, — вдруг призналась Наденька. — Трудно и на душе смутно. Уехать бы нам из Москвы этой опостылевшей куда-нибудь в тишину, покой…

— Так куда пожелаете, туда вас и отправят. Хоть в заграничные страны.

— Бывала я за границей, — вздохнула Надя. —

Суета там, чужая праздность и… и сытые все.

— Ну и слава богу, — сказала Феничка, умело приступая к прическе своей хозяйки. — Нам, русским, до сытости далеко.

— Другая у них сытость, Феничка. Не тела, а духа. Выучили правила и не желают более ни о чем ни знать, ни думать. Скука немыслимая, порой выть хочется.

— У нас пол-России воет, а вы не слышите.

— Как ты сказала, Феничка?

— Пол-России, говорю, воет, кто с обиды, кто с голоду. А господа и вполуха того воя не слышат.

— Как замечательно ты сказала, Феничка. Как просто и как замечательно!.. Заставить господ вой этот услышать — вот цель, достойная жизни. Если русская литература заставила понять, что есть холоп и есть барин, то русская журналистика обязана заставить господ народный вой услышать. Заставить, понимаешь?..

— Не-а, барышня, уж не обижайтесь. Неученая я.

— А ты подумай, подумай, Феничка. Ты отлично умеешь думать, когда хочешь.

— Ну, если желаете, то так сказать могу. Никогда вы господ не заставите беду народную прочувствовать. Кто же сам себя добровольно

огорчать станет? Разве что дурачок какой юродивый… Нет, барышня, жизнь — она ведь колесом катится, чему быть, того не миновать.

— И это верное заключение, Феничка, — покровительственно улыбнулась Надя. — Только колесо-то ведь подпрыгивает иногда…

Разные у них случались беседы — с выводами и без, и не в них, в сущности, дело. Главное заключалось не в беседах, а в том, что под влиянием этих бесед душа Наденьки рубцевалась, а рубцы рассасывались.

Согрешить всегда легче, чем избавиться от ощущения собственного греха. О своей обиде она сейчас уже и не думала, разобравшись наконец, что вся эта история с Одоевским случилась совсем не по любви, а только лишь из-за очередного приступа самоутверждения. Теперь ее мучило другое: понимание, что своим поступком она поставила родного брата на край гибели. Ведь Одоевский целился в сердце Георгия и лишь чудом, Божьим провидением, промахнулся, прострелив погон на левом плече. Этот простреленный погон она вымолила у Георгия, когда он заехал попрощаться перед отъездом в Ковно. Вымолила, и подпоручик на следующее утро за час до отъезда принес его. И она при всех опустилась перед братом на

колени, поцеловала этот продырявленный погон и спрятала на груди.

— Ну что ты, что ты, Наденька! — Георгий поднял ее с пола, обнял. — Забудь об этом, забудь! Пустое это. Пустое.

А Наденька впервые разрыдалась облегчающими слезами, и все ее утешали и целовали.

Но это при всех. А ужас, что брат чудом не погиб, продолжал жить в ее душе. Продолжал истязать ночами, не давая уснуть.

2

Распрощавшись с сестрами и Хомяковым, Георгий направился не домой, как все полагали, а к Николаю. Он узнал, что капитан задерживается на службе, а поговорить на прощанье было необходимо. Кроме того, ему хотелось попрощаться и с Анной Михайловной, которую скорее жалел, чем любил.

Жалел не потому, что супруга брата выглядела белой вороной не только у Хомяковых, но и в московском офицерском обществе. Анна Михайловна частенько неприятно поражала и его присущей ей на удивление естественной бестактностью, но это подпоручик научился сразу же прощать после рождения крохотной хромонож-

ки Оленьки. Отчаяние матери оказалось столь безграничным, а убежденность, что в несчастии виновата только она, столь искренней, что он — тайком от Николая, разумеется, — бросился тогда к Варваре.

— Только не ставь Николая в щекотливое положение!

— Об этом ты мог бы меня и не предупреждать, Жорж.

Варя деликатно начала с того, что нанесла визит молодой чете. Вопреки ее опасениям Анна Михайловна не раскудахталась по поводу неожиданно нагрянувших миллионщиков-родственников, а чисто по-женски показала несчастного младенца и поведала о своих горестях с глазу на глаз.

— В покаяние она ударилась, — говорил тем временем Николай, угощая Романа Трифоновича чем бог послал. — А это уж совсем ни к чему, мы второго ребенка ждем.

— Не убивайся преждевременно, Коля. Тут главное, что врачи скажут. Есть в Москве два больших знатока.

— Большие знатоки офицеру не по карману.

— Кабы такую глупость твоя супружница ляпнула, то и бог с ней, — рассердился Хомяков. —

Твоя дочка нам, между прочим, племянницей доводится, ты что, позабыл? Стыдно, Колька.

Вот это крестьянское «Колька» и умилило тогда Николая чуть не до слез. До поцелуев, правда, он не дошел, но от неожиданной просьбы не удержался:

— Если мальчик родится, будешь крестным?

— А если девочка? — улыбнулся Хомяков.

— Если опять девочка, Варю о том же попрошу.

— Столковались, Коля! — рассмеялся Роман Трифонович. — И чтоб все ладно было.

Но ладно не получилось. Самые известные в Москве (и самые, естественно, дорогие) детские хирурги в один голос заявили, что при подобных травмах медицина бессильна. Дали кучу рекомендаций, как разрабатывать, массировать и нагружать больную ножку Оленьки, и Анна Михайловна вновь осталась наедине со своим покаянием.

Это-то и послужило основной причиной позднего визита Георгия. Супруги искренне ему обрадовались, Анна Михайловна показала спящую дочку, посидела немного с братьями и ушла к себе, сославшись на усталость.

Молодые офицеры обменялись полковыми новостями, Николай вспомнил о дуэли, тут же

помянули портупей-юнкера Владимира и как-то само собой, незаметно перешли на воспоминания детства.

— Ты был, когда какая-то подчиненная Маше дама привезла в Высокое Леночку? Что-то, Коля, я тебя там не припоминаю.

— Я, младенец мой прекрасный, вступительные экзамены в гимназию сдавал.

— Да, да! — почему-то обрадовался Георгий. — И получил еле-еле тройку по арифметике. И Варя тебя пилила дня четыре.

— Неделю. Не бывать мне генералом, Жорж.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала. Кто в семье ожидал, что непутевый Федор, которого, как тебе известно, жандармы искали по всей России, в тридцать лет наденет эполеты?

— В тридцать лет у Федора орденов целая грудь была. В том числе и солдатский «Георгий», который на офицерском мундире светится совершенно особым светом.

— Его очень любил Михаил Дмитриевич Скобелев, — тихо сказал Георгий и вздохнул.

— Да! — коротко бросил Николай, решительно обрывая этот разговор.

Неожиданно всплывшая тема была весьма щекотливой и даже в известной мере опасной.

Русский национальный герой, славы которого хватало на весь мир, внезапно скончался в Москве в возрасте тридцати девяти лет. По этому поводу бродило множество как слухов, так и домыслов, а поскольку Михаил Дмитриевич умер через два часа после доброй офицерской попойки, на которой присутствовал и Федор, то и слухи, и домыслы в определенной мере коснулись и семьи. Тем более что государь Александр Третий, сурово наказав многих соучастников дружеского ужина с обильными возлияниями в «Славянском базаре», полковника Федора Ивановича Олексина не только не тронул, но, наоборот, перевел из Москвы в Петербург и приблизил ко двору. Никто этого тогда объяснить не мог, в том числе и сам Федор, и всё списали на свойственную императору непредсказуемость. Но всем Олексиным стало неприятно тогда. Было неприятно и сегодня. И молодые офицеры, задумчиво помолчав, просто дружно выпили за одно и то же, ни словом при этом не обмолвившись.

— А генералом мне не бывать вовсе не из-за арифметики, — улыбнулся Николай. — В Академию Генерального штаба мне теперь дорога заказана. С чистыми капитанскими погонами туда не принимают, как тебе известно.

— Это я тебя подвел, Коля, — вздохнул Георгий.

— Тем, что я досрочно чином пожалован? — усмехнулся Николай. — Бог с тобой, брат, мне все офицеры в полку завидуют. Не успел приехать из глухого провинциального гарнизона, и вдруг — здравствуйте, беззвездочные капитанские погоны.

— Думаешь, Федор расстарался?

— Не спрашивал, не спрашиваю и спрашивать не буду, — резче, чем хотелось, сказал Николай.

Помолчали.

— Ты прости, Жорж, за резкость, — неуверенно улыбнулся капитан. — Порою мне кажется, что мы несправедливы к Федору. Особенно почему-то Варя и Роман. Не находишь?

Георгий неопределенно пожал плечами:

— Может быть, Варвара считает его виноватым в том, что Хомяков потерял все свои капиталы в Болгарии?

— Не думаю. Варенька у нас мыслит логически. — Капитан помолчал. — Что-то тут посерьезнее, Жорж. А серьезное, как говорится, штаб-офицерам не по погонам. Давай еще по рюмке.

— За службу, брат?

— Скучно сказал, — улыбнулся Николай. — А

что же та девица, которой ты меня как-то представил? Грозит расставание навеки?

— Обещала ждать! — самодовольно улыбнулся подпоручик.

— Десять лет, что ли?

— Нет, собственного совершеннолетия.

— И велик ли срок?

— Через два года надеюсь встречать ее на вокзале в Ковно.

— Веришь в эту встречу?

— А я всегда верю, Коля. Я не умею не верить. Иначе жить скучно, понимаешь?

— Вот за это и выпьем. За веру во встречи через десять лет!

Братья улыбнулись друг другу и чокнулись полными рюмками.

3

Приближалось Рождество, а за ним и новый, тысяча восемьсот девяносто шестой год. Москва уже начала украшаться, на базарах появились первые елки. Год этот был совершенно особенным, потому что в мае намечалась коронация государя императора Николая Второго и государыни императрицы Александры Федоровны. Этот торжественный акт всегда происходил в

Успенском соборе Кремля, и москвичи ожидали Новый год с особым радостным нетерпением.

Однако Рождество Христово оставалось и при грядущих исторических событиях главным церковным праздником, и к нему, естественно, готовились заранее. Расписывали балы, рождественские благотворительные базары, маскарады, званые вечера, катание на тройках и санках с Воробьевых гор, а отцы города подумывали еще и о народных гуляньях. Москва полнилась слухами — что, когда, где и у кого именно, — и с этими пока еще черновыми списками слухов и намеков Варвара однажды пришла к Наденьке.

— Вот список. У кого бы ты хотела побывать?

— Ни у кого.

— Тогда давай решать, кого пригласим к себе. Роман Трифонович закатит бал с ночным катанием на тройках…

— Извини, Варенька, я понимаю, вы хотите, как лучше. А я хочу тишины и покоя.

— Но это же невозможно, Наденька. Это могут неверно истолковать, а нам совсем ни к чему…

— Так отправьте меня из Москвы, и толковать будет не о чем.

— Куда? — строго спросила Варвара, уже начиная сердиться. — Куда ты хочешь убежать? От

себя самой?

— Ох, если бы это было возможно…

— Пойми, тебе просто необходимо начать появляться в свете. А рождественские праздники — лучшее время для новых знакомств.

— Я поеду в Высокое, — неожиданно решила Надежда. — Да, да, к Ивану, в наше Высокое.

— Но там же… — растерялась Варвара. — Там же никого нет, кроме Ивана, который, ты это знаешь, вечно подшофе.

— Есть, Варенька, — грустно улыбнулась Надя. — Там два белых креста. Исповедуюсь маменьке, отрыдаюсь на ее могилке и вернусь другой. Верю в это!..

— Очередной каприз, Надежда?

— Скорее внеочередная необходимость.

— А ты знаешь, она права, — сказал Роман Трифонович, когда Варвара с возмущением поведала ему об «очередном капризе». — И это не каприз, это поиски спасения души.

— Но я не могу отправиться с нею в эти поиски, — резко возразила Варя. — У Николая днями ожидается прибавление семейства, он просил меня стать крестной матерью ребенка, и ты, кстати, об этом давно знаешь.

— Может быть, это и к лучшему, что мы не

можем поехать к Ивану, — поразмыслив, сказал Хомяков. — Надюша сейчас нуждается в одиночестве. Во всяком случае, на какое-то время мы с тобой ей, извини, не нужны. Но ты не тревожься, я все устрою.

Он все основательно продумал, поговорил с Надеждой и — отдельно — с ее горничной, а потом вызвал к себе верного и пунктуально исполнительного Евстафия Селиверстовича.

— Поедешь в Высокое, к Ивану. Передашь ему мое письмо и обеспечишь все, что потребуется для отдыха Надежде Ивановне. Хорошего повара, хорошую прислугу, тройку с умелым ямщиком на все время Надюшиного проживания, ну… Словом, не мне тебя учить, сам все знаешь и без моих советов.

И через неделю дворецкий, помощник и особо доверенное лицо Хомякова Евстафий Селиверстович Зализо выехал в Смоленск.

4

А за сутки до его выезда в Высоком ночью зло разбрехались собаки, и сторож Афанасий разбудил хозяина Ивана Ивановича.

— Гость к вам, барин.

— Проси.

Иван поспешно оделся, накинул теплый халат, спустился вниз. В прихожей стоял мужчина в далеко не модном, но явно заграничном костюме. Левый рукав старого, немецкого покроя сюртука был подшит по локоть, на что Иван сразу же обратил внимание.

— Аверьян Леонидович?

— Здравствуйте, Иван Иванович. Извините, что потревожил в столь неурочный час.

Иван молча, со странным щемящим чувством разглядывал мужа собственной, давно погибшей сестры Маши Аверьяна Леонидовича Беневоленского. Правда, Аверьян Леонидович Беневоленский должен был отбывать бессрочную ссылку в Сибири за противоправительственную пропаганду, но сейчас почему-то стоял в прихожей. Со сна, отягощенного похмельем, голова была пустой, и Иван соображал туго.

— А как вы добрались?

— Пешком. Устал, замерз, два дня не ел. Проводите в столовую да велите подать водки да закуски поплотнее. Или пост соблюдать начали, Олексин? Тогда прошу прощения.

— Пешком из Сибири? — тупо спросил Иван.

— Из Ельни! — сердито ответил Беневоленский. — Я вас из дамской постели выдернул?

Виноват, простите великодушно. Обогреюсь, перекушу и уйду.

Иван крепко обнял Аверьяна Леонидовича.

— Это вы извините меня, дорогой мой, выпил вчера лишнего. Как всегда, впрочем. Рад, всем сердцем рад. И встрече рад, и что живой вы и… Признаться, спиваюсь помаленьку от одиночества.

— А где же Леночка? Девочка-гречанка, которую спасли вы с Машей?

— Лена вышла замуж, — помолчав, глухо сказал Иван. — Живет с мужем где-то… В Харькове, что ли.

— Извините, не знал.

— Никого в доме, кроме прислуги за все. Фекла!.. Фекла, спишь, что ли? Гостя встречай!..

Появилась немолодая заспанная служанка, накрыла на стол, раздула самовар, недовольно ворча:

— Сало жрут в Филиппов пост, безбожники…

На сало и ветчину налегал Аверьян Леонидович. Изголодался, промерз, устал до изнеможения. Ивану кусок не лез в горло, и закусывал он кислой капусткой. После того как опрокинули по второй, не выдержал молчания:

— Как же вы здесь-то оказались, Беневолен-

ский? Неужели помиловали?

— Черта с два они помилуют кого.

— В отпуске, что ли? — похлопал глазами ничего пока не соображающий Иван.

— Бежал.

— Из Сибири?

— Из Сибири. Точнее — из Якутии. Обождите, наемся — сам расскажу.

— Это ж через всю Россию?..

— Кругом. Да дайте же мне поесть наконец!

Выпив еще две рюмки и основательно закусив, Аверьян Леонидович вздохнул с великим облегчением. Закурил, откинулся на спинку стула. Пускал кольцами дым, о чем-то размышляя. Фекла притащила самовар, накрывала к чаю, несогласно гремя посудой.

— Коли расположены слушать, Олексин, готов объяснить свое появление середь ночи и зимы.

— Может, поспите сперва? — с жалостью поглядев на него, вздохнул Иван. — На вас лица нет — одна борода.

— Не усну, пока все не расскажу. Вы знать должны, Олексин, чтобы решить, как вам поступать в отношении беглого ссыльного.

— Ну, это уж извините…

— Извиняться будете, когда выслушаете и, воз-

можно, укажете мне на дверь. Я — бессрочный ссыльнопоселенец, как вам, должно быть, известно. Определен был на жительство в якутский поселок, место жительства менять, естественно, права не имел, а раз в десять дней туда наезжал урядник для контроля за ссыльными. Вот так все и шло из года в год лет восемь, что ли, как вдруг — вспышка дифтерии. Да в самой глухомани, почти на границе с Чукоткой. Врачей нет, и меня как медика мобилизуют для борьбы с эпидемией среди местного населения. Лекарств, сами догадываетесь, никаких, лечи, как сам разумеешь. А тут у шамана — якуты хоть и православные, а в глубинке шаман по-прежнему большая сила — внуки заболели, и шаманский сын сам за мной приехал: «Спаси, мол, детей, ничего не пожалею!» — «Коли, говорю, уладишь с урядником, то поеду с тобой». Уладил: в той глухомани уряднику ссориться с шаманом совсем не с руки, да и куда я зимой денусь? Расстояния — тысячи верст в любую сторону. Поехал, жил с ними в яранге, от заразы спиртом да квашеной черемшой спасался. Больных четверо: два мальчика и две девочки. Одну девочку спасти не удалось… — Аверьян Леонидович вздохнул, покачал головой. — Тяжелая форма, не смог. А остальных вылечил.

— Без лекарств?

— Пленки отсасывал, чудом не заболел. Шаман, дед их, на седьмом небе от счастья. «Вот, — говорит, — тебе за спасение». И три золотых самородка мне протягивает. «Бери, — говорит, — для нашего народа это страшное зло, а для вашего — богатство». Я ему: «Ты лучше бежать мне помоги». — «Ладно, — говорит, — к морю наши люди тебя выведут, а там — сам выходить должен. А золото возьми, в дороге пригодится». Взял я самородки, поскольку нищ был как церковная крыса. Якуты меня в свою одежду обрядили, перебросили своими тропами на берег Охотского моря и уехали. А уж весна была. Побродил я с опаской вокруг да около, пока на японских рыбаков не наткнулся. И за один самородок столковался, что они меня в Японию отвезут.

— А ведь могли и все отобрать да и в море выбросить, — сокрушенно вздохнул Иван.

— Могли, конечно, но… до Японии довезли. Там я на голландский корабль пересел, который и доставил меня в Амстердам за два последних самородка. Ну а дальше — пешком через всю Европу.

— Без гроша?

— Подрабатывал где мог и как мог. Я ведь

немецким и французским владею, так что не очень это было сложно. На родине куда сложнее: документов-то у меня никаких. Крался как тать в нощи, но до родимых мест дополз. В родном сельце, правда, показаться не решился, а в Высоком — рискнул.

— Одиссея…

— Сразу скажу, что мне нужно, а вы уж решайте. Мне нужно отдохнуть и в себя прийти. Полагаю, это несложно, поскольку вы тут в тягостном одиночестве пребываете и я вас не стесню. Второе посложнее, Олексин. Мне паспорт нужен. Позарез, что называется, или опять — в Сибирь по этапу. Поможете?

— Все, что в моих силах, друг мой. Все, что в моих силах.

— Тогда еще по рюмке, да и спать. Как, Иван Иванович? Продрог я до костей на теплой чужбине…

— Давай Машу помянем, Аверьян? — вдруг тихо сказал Иван, перейдя на «ты» неожиданно для самого себя. — Царствие ей небесное, Машеньке нашей…

— Светлая ей память, Иван, — дрогнувшим голосом сказал Беневоленский.

И оба встали, со строгой торжественностью

подняв рюмки.

Через несколько дней из Смоленска на тройке, за которой следовал небольшой обоз, приехал Евстафий Селиверстович. Прибыл он весьма скромно — на тройке был подвязан колокольчик, а бубенцы вообще сняты, — гонца вперед не посылал, держался с подчеркнутой почтительностью, полагая господами Ивана и Беневоленского, а себя — лишь представителем Хомякова, но привез с собою дыхание живой жизни, от которой в Высоком почти отвыкли. Сообщил, что на Рождество приедет Надежда Ивановна со своей горничной, и передал Ивану письмо от Романа Трифоновича. В коротком, по-хомяковски деловом письме, в сущности, содержалась лишь просьба хотя бы немного поосторожничать с питьем, учитывая прибытие гостей и плохое здоровье Надежды. Никаких причин ухудшения этого здоровья Роман Трифонович не сообщал, но рекомендовал во всем положиться на своего управляющего господина Зализу, а самому весело и беззаботно встречать Рождество и Новый год вместе с младшей сестрой. И письмо Ивана очень обрадовало, потому что он глубоко и искренне — впрочем, он все делал на редкость искренне, даже спивался, — любил Наденьку.

— Надя на Рождество приезжает, — немедленно сообщил он Беневоленскому.

— Надя? — озадаченно переспросил Аверьян Леонидович. — Это кроха такая, что за коленки меня теребила?

— Наша кроха уж курсы кончила и, что главнее, писательницей стала. У меня рассказ ее имеется. «На пари» называется. Хочешь, дам почитать?

— Непременно. А что это за господин, который стал всем распоряжаться?

— Управляющий Хомякова, мужа Варвары. Между прочим, миллионщика… — Иван вдруг примолк, а потом, понизив голос, добавил: — Вот кто тебе, Аверьян, паспорт сделает. Фамилия у него такая, что в любую щель пролезет. Зализо его фамилия.

— А он не…

— Не, — сказал Иван. — За ним — сам Хомяков, который эту власть больше тебя ненавидит. Вот и выход. Выход, Аверьян! Пойдем по этому поводу…

Тут Иван замолчал, глубоко и не без сожаления вздохнул и сказал:

— Ферботен[2]. Только за столом, только вино

---

[2] Notes: 2
Запрещено *(нем.)*.

и только два… нет, три бокала. Этот Зализо воз шампанского привез. Да не нашего, российского, а настоящего.

— Кому с ним лучше поговорить? Тебе или мне? — спросил Беневоленский, которого мало интересовало шампанское, а новый паспорт — весьма и весьма.

— Сам поговорю. Вот пригляжусь два денька…

Евстафий Селиверстович, испросив разрешения у Ивана, развил бурную деятельность. Приказал выскрести весь дом от чердака до подвалов, предупредив, что сам будет проверять чистоту. Велел разместить дорожки в саду, установить в зале елку и украсить ее игрушками и мишурой, которые привез из Смоленска. Распорядился вырубить пушистую ель, вкопать ее в центре села Высокого и увешать игрушками и свечами. Указал, какие именно дороги расчистить для безопасного катания на тройке, и велел привести в порядок могилы под двумя мраморными крестами и дорожки к ним. И все проверял лично. Однако Иван на третий день сумел вытащить его из вороха дел.

— Серьезная просьба, Евстафий Селиверстович. Очень и очень. Наш родственник господин Беневоленский, которого хорошо знает Роман

Трифонович, прибыл из-за границы… мм… Не совсем легально, а посему необходим паспорт.

— Сделайте милость указать, на какое имя.

— Он… — Иван растерялся от такого простого решения вопроса, казавшегося неразрешимым. — Он сам скажет.

— Завтра же выеду в Смоленск, чтобы успеть до Рождества, потому как далее воспоследствуют каникулярные дни.

— Благодарю…

— Польщен доверием вашим, Иван Иванович. Весьма польщен. Не откажите в любезности попросить господина Беневоленского передать мне все необходимые данные непременнейшим образом сегодня же. Если не затруднит вас просьба сия.

Все было сделано буквально в один день, и господин Аверьян Леонидович Беневоленский, бывший смутьян и вечный ссыльнопоселенец, стал мещанином Прохоровым Аркадием Петровичем. Зализо знал, как разговаривать с чиновниками, а хомяковские миллионы творили чудеса и почудеснее паспортных.

Заодно Евстафий Селиверстович привез фрачную пару, три приличных костюма для внезапного гостя и телеграмму от Варвары: «НАДЕЖДА

ВЫЕЗЖАЕТ 22 ВСТРЕЧАЙТЕ НЕПРЕМЕННО ВАРЯ».

5

Встречать любимую сестру Иван выехал вместе с неутомимым господином Зализо в закрытой карете, учитывая рождественские морозы. Поезд пришел вовремя, Надя степенно вышла из вагона первого класса, но, увидев Ивана, совсем по-девичьи повисла у него на шее.

— Ваничка, дорогой! Я так рада… Это ведь я к тебе на Рождество напросилась, не сердишься?.. А это Феничка.

Феничка церемонно присела, а Иван, зайдясь от счастья, чуть было не обнял и ее, но опомнился и почему-то погладил по голове. Евстафий Селиверстович почтительно поклонился, приказал кучеру взять вещи и повел всех к карете.

— Ты, Наденька, знаешь этого господина, — сказал Иван, представляя Беневоленского. — Это Аверьян Леонидович, муж нашей покойной Маши.

Потом был обед по случаю приезда — в доме не придерживались строгого поста, как и в большинстве дворянских домов того времени, но рыбные блюда и деликатесы, естественно, преобладали, а привезенный Евстафием Сели-

верстовичем повар в грязь лицом не ударил. Расспрашивали Наденьку, шутили, пили легкое мозельское вино, однако даже его Иван позволил себе ровно два бокала.

— У вас, Надя, бесспорное литературное дарование, — говорил Беневоленский. — Я читал ваш рассказ «На пари», и мне он понравился, несмотря на кричащую сентиментальность. Он остро социален, что делает его не только гражданско значительным, но и современным в лучшем смысле. Каковы ваши планы на будущее?

— Я… Я скверно себя чувствовала, но очень надеюсь окончательно выздороветь здесь, где прошло детство. А что касается планов на будущее… Мечтаю заняться журналистикой.

— Прекрасная мечта. Россия вступает в новое столетие, которое обещает резкое обострение классовой борьбы, и роль журналистики трудно переоценить.

— Смена веков есть смена знамен. — Иван печально улыбнулся. — Так любил говорить наш отец. Поклонимся ему и маменьке на второй день Рождества Христова, Наденька.

— Я… Да, конечно, Ваня.

Вечером Надя притащила из кладовой множество елочных игрушек и украшений, которые

скопились за добрых двадцать лет. Затем Феничка с помощью Аверьяна Леонидовича и Ивана заново перевешивали игрушки и украшения, а Наденька вслух читала им любопытные известия столичных газет и журналов, которые привезла с собой.

— «Во Франции вошла в большую моду забава, известная под именем bataille de confetti. Публика забавляется, забрасывая друг друга разноцветными фигурками из бумаги и лентами».

— Хорошо французам, — проворчал Беневоленский. — У них даже Сибирь — в тропиках.

— «В распоряжение московского Комитета грамотности поступило крупное пожертвование от лица, пожелавшего остаться неизвестным, — продолжала Наденька. — Согласно воле пожертвователя вся сумма в сто тысяч рублей должна быть употреблена на покупку библиотек для воскресных школ…»

— Интересно было бы узнать имя щедрого жертвователя, — улыбнулся Иван.

— А будто вы не знаете? — живо откликнулась Феничка. — Так то ж Роман Трифонович, не сойти мне с этого места!

Все рассмеялись, и Надя начала читать дальше:

— «В Москве открыты две столовые, в которых будут бесплатно обедать пятьсот малоимущих студентов».

— Вот это славно, — сказал Аверьян Леонидович. — Ты много по урокам бегал, Иван?

— Достаточно. Хотя официально и не считался малоимущим. Как-то и времени вроде хватало, и сил.

И вздохнул вдруг, нахмурившись. Беневоленский посмотрел на Надю, и она тотчас же продолжила:

— «Весь мир облетело известие из Иркутска о том, что знаменитый норвежский исследователь Фритьоф Нансен, отправившийся три года назад на Север на корабле „Фрам“, достиг Северного полюса, где и открыл новую землю».

— Вот куда в двадцатом столетии Россия своих каторжан ссылать будет, — сказал Иван. — Оттуда уж не убежишь. Ни при какой дифтерии с эпидемией.

— Невыгодно, — усмехнулся Аверьян Леонидович. — Проще всю Сибирь заборами огородить.

Так они шутили и смеялись допоздна, а на следующий день рано утром, еще до завтрака, Надя исчезла. Феничка тут же призналась, что знает, куда подевалась ее барышня, и для тревог реши-

тельно нет никаких оснований. Но все дружно решили погодить с завтраком, пока Наденька не вернется.

А Наденька рыдала на могилах под двумя белыми мраморными крестами.

— Маменька, батюшка, простите меня, простите… Ради бога, простите меня…

Ей необходимо было покаяние, но не пред иконным ликом, а над прахом родителей своих, вспомнить которых живыми она так и не смогла. Но это, как выяснилось, было не столь уж важным. Важным оказалось откровение и искренние слезы.

Вечером в канун Рождества Надя и Феничка принесли из дома все оставшиеся игрушки и вместе с крестьянскими ребятишками по-своему перевесили украшения, цепи и мишуру на высокой елке, вкопанной в центре села Высокого. А потом все — и Беневоленский с Иваном в том числе — пошли по традиции в церковь. Тем же днем к детям в Высокое приехали на санях Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Правда, Дед Мороз оказался без левой руки, но зато у Снегурочки была самая настоящая коса пшеничного цвета…

И начались Святки. До четвертого января — естественно, отметив дома Новый год с шам-

панским, — катались на тройке и на санках, по просьбе Наденьки расчистили снег на ближнем пруду, где и чертили лед коньками. И все это вместе с молодежью и детворой, с шутками, снежками, смехом и весельем.

В канун Крещенья Наденьке вздумалось погадать. Руководством к гаданию она избрала балладу Жуковского «Светлана» и велела Феничке раздобыть все, что упоминалось в ней в качестве подспорья для девичьего крещенского обряда. Башмачок, воск, зерно и курицу: драгоценности она решила попросить у Ивана.

— Вот уж не думал, что вас, образованного человека да еще и писательницу, могут увлечь девичьи гаданья. — Беневоленский явно разыгрывал удивление: просто хотелось поговорить.

— Я такая же девица, как и те, кто сотнями лет гадал в этот вечер, — улыбнулась Надежда.

— И вы верите столь же искренне, сколь верили ваши прапрабабки?

— Мне тоже интересно знать, что меня ожидает в девяносто шестом году. Разница лишь в том, что мои прапрабабки боялись играть с судьбой в открытую, а я не боюсь.

— Не боитесь потому, что знаете беспредельную ничтожность совпадений, или в силу собствен-

ного характера?

— Точнее, просто из любопытства. — Наденька помолчала и спросила вдруг: — Я похожа на Машу?

— Скорее нет, чем да. Вас это огорчило?

— Если разъясните, не огорчит.

Беневоленский грустно улыбнулся. Вздохнул, взгляд стал печальным и — строгим.

— Маша погибла в вашем возрасте, Наденька. Вы позволите называть вас просто по имени?

— Безусловно, Аверьян Леонидович. Мне это приятно.

— Обаяния в вас, пожалуй, столько же, но у вас оно озорное, а у Машеньки — скромное. Я вас не обидел?

— Отнюдь.

— Обидел, конечно обидел, — расстроился Аверьян Леонидович. — Но вы спросили прямо, и ответ должен быть прямым. Условились?

— Условились.

— Маша рано осознала свой долг и исполнила его до конца. Броситься на бомбу во имя спасения детей… Не каждый мужчина решится на такое, далеко не каждый.

— Мы преклоняемся перед ее мужеством, но…

— Преклонение через «но»?

— Бомба остается бомбой.

— Судите по нравственности того времени.

— Всегда и всё?

— Всегда и всё. И никогда — по нравственности сегодняшнего дня. Тогда это считалось героизмом, теперь — терроризмом, но людям не дано жить чувствами будущих поколений.

— А вы способны сегодня бросить бомбу?

— Я и тогда понимал бессмысленность подобных актов, почему и порвал с народовольцами. И… и с Машенькой, если быть до конца откровенным.

— Порвали с Машей? — тихо спросила Наденька.

— Точнее, мы разошлись по идейным соображениям. Я очень любил ее. Очень. И все время надеялся, что она поймет меня и вернется. — Беневоленский тяжело вздохнул. — А потом узнал, что она не вернется уже никогда…

— А у вас не возникало ощущения, что вы предали ее?

— Вот сейчас в вас заговорила Маша, — невесело усмехнулся Аверьян Леонидович. — Бескомпромиссная Маша…

— Вы не ответили на вопрос.

— Видите ли, Надин, мы с Машенькой занима-

лись революционной деятельностью, но пошли разными дорогами не из-за семейной ссоры, моды или каприза, а следуя только собственным убеждениям. Если предательством вы называете то, что я не смог ее переубедить, то по женской логике вы абсолютно правы. Муж обязан удерживать жену от опрометчивых, а тем паче от роковых шагов. Но революционная борьба не имеет права ориентироваться на семейные отношения. Когда речь идет о судьбе народа…

— Господи, да при чем тут народ? — как-то очень по-взрослому вздохнула Надя. — При чем народ и вся ваша революционная деятельность, когда погибла моя сестра?.. Извините, Аверьян Леонидович, у меня… Меня ждет моя деятельность.

И вышла. А Беневоленский, сломав голландскую сигару, запас которых доставил в Высокое заботливый Евстафий Селиверстович, прошел в буфетную, налил большую рюмку водки и выпил ее одним глотком на глазах изумленной прислуги.

6

За ужином оживленным казался только Иван, даже как-то излишне оживленным. Надя и Бе-

неволенский отвечали односложно, разговоров не поддерживали и улыбались несколько напряженно. «Что это с ними стряслось? — тревожно думал Иван, упорно пытаясь шутить. — Надутые и какие-то очень уж серьезные…»

— Петр Первый заменил славянский дуб колючей германской елью под новый, тысяча семисотый год. Может быть, он имел в виду, что нашего брата-русака следует гладить только по шерстке?

— Ваня, среди бабушкиных драгоценностей найдется перстень и изумрудные серьги? — неожиданно спросила Надежда, никак не отреагировав на довольно неуклюжую шутку.

— Бабушкиных драгоценностей вообще нет. Варвара продала их с нашего общего согласия, чтобы помочь Роману стать на ноги.

— И не выкупила? — ахнула Наденька.

— Так они же проданы, а не заложены, Наденька. Где их теперь искать?

— Какая жалость…

— «В чашу с чистою водой клали перстень золотой, серьги изумрудны…» — вдруг процитировал Аверьян Леонидович. — А обручальное кольцо, Надин, вас не устроит? Когда-то Машенька надела его мне на палец, и с той поры я его не снимал. —

Он протянул через стол руку. — Тяните, Наденька, тяните изо всех сил, оно срослось со мной.

Надя посмотрела ему в глаза, улыбнулась:

— А вы извините меня за резкость?

— Не было никакой резкости. Забудьте и тащите кольцо.

— Надо палец намылить! Палец!

Обрадованный явным улучшением погоды за столом, Иван сам принес мыло, намылил кожу вокруг кольца и наконец с большим трудом стянул его.

— Не больно, Аверьян?

— Терпимо.

— Благодарю, Аверьян Леонидович, — сказала Надя. — Утром верну в целости и сохранности. А сейчас сыграю для вас, пока вы будете курить свои противные сигары.

Они перешли в гостиную. Мужчины неспешно, со вкусом курили, а Надя села к роялю и по памяти, без нот, играла им, пока в дверь осторожно не заглянула Феничка.

— Пора, барышня!.. — загробным шепотом возвестила она.

— Пора девичьих забав, — пояснила Наденька. — Извините нас, господа.

Девушки поднялись в спальню Нади, зажгли

свечи, потушили яркую керосиновую лампу. Сразу почему-то стало тревожно, и Надя сказала приглушенно:

— Зеркала надо завесить.

— Как при покойнике, что ли?

— Не знаю, но так полагается.

— Ой, не нравится мне все это, — вздохнула Феничка, занавешивая оба зеркала. — Ну а теперь что?

— Ждать, когда полночь пробьет.

— Страсть-то какая…

Девушки уселись рядом и примолкли. Чуть потрескивая, горели свечи, тени дрожали на стенах. Было жутковато, и Феничка вцепилась в руку своей хозяйки. Наконец снизу, из гостиной, донеслись гулкие удары напольных часов.

— Нечистой силы время пробило, — прошептала Феничка. — А теперь что?

— Теперь?.. За ворота — башмачок. Ты принесла башмачок?

— Принесла. Во двор, что ли, с ним выходить? Обсмеют.

— Давай в окно выкинем.

— Так окна на зиму заклеены.

— Тогда… — Наденька задумалась. — В форточку бросай.

— Я?

— Ну у нас же один башмак.

Феничка покорно влезла на подоконник, открыла форточку. Надя подала старый башмак, и горничная тут же вышвырнула его.

— За ворота бросила?

— В сад. Окна-то ваши в сад выходят, а двор эвона с другой стороны совсем.

— Ну ладно, — согласилась Наденька и забормотала: — «За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…» Тут у нас не совсем так, как у Жуковского. Дальше — «снег пололи». Ты умеешь снег полоть?

— А зачем его полоть? — удивилась Феничка и наставительно пояснила: — Полют грядки, барышня.

— Что-то пока у нас плохо получается, — вздохнула Надя. — После этого… После этого нам придется все равно выходить во двор.

— Зачем?

— Под окнами слушать.

— А, это интересно! — оживилась Феничка.

Девушки быстро оделись и через черный ход осторожно, боясь скрипнуть ступенькой, спустились во двор.

— Слушай очень внимательно, это важно, —

прошептала Надя. — За мной к первому окну, где виден свет.

Они прокрались к освещенному окошку и замерли, навострив уши.

— Молчат там…

— Тихо!.. — зашипела Наденька.

— На круг — две тысячи, — вдруг еле слышно донесся мужской голос. — Не мало, не мало…

— Это Евстафий Селиверстович, — почти беззвучно пояснила Надя. — Отчет пишет…

— Чего пишет?

— Тише!..

— Конечно, ради праздника ничего не жаль, однако… — бормотал тем временем Зализо.

Наденька оттащила Феничку от окна:

— Отчет — это неинтересно. Пойдем к следующему окну.

В следующем окне была открыта форточка и распахнуты шторы. Девушки подкрались, осторожно заглянули.

Это была гостиная. В креслах уютно покуривали Беневоленский и Иван.

— При семидневной обороне Шипки я окончательно понял, сколь опасна революция для России. Представь себе обезумевшую толпу под зеленым знаменем Пророка и столь же обезумев-

шую — под русским знаменем. Я все время видел перед глазами эти толпы вооруженных людей, когда залечивал отпиленную по локоть руку.

— Ты не прав, Аверьян. То была война за свободу.

— Я не говорю об оценках, поскольку то, что одна сторона считает плюсом, противоположная считает минусом, и наоборот. Я говорю об ожесточении людей. Безумном, неуправляемом ожесточении… Великая Французская революция тоже была борьбой за свободу, но сколь же кровава и жестока она была. А революция в России обречена на еще большую кровь.

— Мы, по-твоему, более жестоки?

— Три четверти нашего народа обижали, угнетали и держали в нищете добрые полтысячи лет. Такое не забывается, Иван, вспомни разинщину и пугачевщину.

— Когда это было…

— Вчера, — строго сказал Беневоленский. — Народ не знает истории, для него существует только вчера и сегодня. И — завтра, если в этом «завтра» ему пообещают молочные реки и кисельные берега.

Феничка разочарованно вздохнула:

— Скушно, барышня…

— Подожди, — строго шепнула Надя.

— …В городах станут вешать генералов и сановников, в деревнях — помещиков, в российской глухомани — офицеров и чиновников. Россия не просто огромна и косматa, как мамонт, — Россия раздроблена. Две столицы и сотни губернских городов, губернские города и уезды, уезды и миллионы деревень, хуторов, аулов, кишлаков. И в каждом — свой уклад, свои отношения, свои начальники, чиновники, богачи и бедняки. И везде, везде решительно господство произвола, а не закона. Произвола, Иван, а произвол порождает обиженных. И толпы этих обиженных ринутся давить обидчиков, как только почувствуют безнаказанность. Поэтому бороться за свободу у нас можно только постепенно, только парламентским путем…

— При отсутствии парламента? — усмехнулся Иван.

— Вот! — громко сказал Аверьян Леонидович. — Ты сам обозначил первый пункт программы: борьба за конституционную монархию как первую ступень буржуазной демократической революции. А далее — только через Государственную думу, или как там еще будет называться этот выборный орган. Иначе — неминуемый бунт. Бес-

смысленный и беспощадный, как бессмысленна и беспощадна сама толпа…

Устраиваясь поудобнее — ноги затекли, — Наденька не устояла и съехала вниз. Беневоленский замолчал, встал с кресла.

— Под окном кто-то…

— Бежим!.. — еле слышно скомандовала Надя и первой бросилась бежать.

Девушки влетели в дом, по черной лестнице через две ступеньки помчались наверх и перевели дух только в комнате, где горели свечи.

— Хватит с нас, — задыхаясь, сказала Наденька.

— А как же курица? — спросила Феничка. — Я черную принесла, у меня в корзинке сидит.

— Мы узнали то, что нас ожидает, — строго пояснила Надя. — Осталось разгадать. Ступай к себе и разгадывай. Только сначала зажги лампу и погаси свечки.

— Покойной ночи, барышня, — радостно сказала горничная, видевшая в гадании очередную барскую причуду.

— Спокойной ночи.

Наденька разделась, накинула ночную рубашку, забралась под одеяло и начала размышлять над услышанным. Но мысли разбегались и пу-

тались, и через несколько минут она уже сладко спала.

Утром она спустилась в столовую несколько настороженной, но никто о гадании и не вспомнил. Даже Аверьян Леонидович, когда Надя надела ему на палец обручальное кольцо. Может быть, ждали, что она сама расскажет, но тут бесшумно вошел Евстафий Селиверстович, смешав все ожидания.

— Доброго утречка и приятного аппетита. Иван Иванович, вас староста из Высокого спрашивает. Говорит, мол, на минуточку, так что извините великодушно.

Иван тотчас же вышел, отсутствовал недолго, а вернулся явно огорченным.

— Что-то случилось? — спросил Беневоленский.

— Да так, ерунда. — Иван невесело усмехнулся. — С елки в селе ночью кто-то все украшения снял. Частью побил, частью унес. Мелочь, конечно, а неприятно.

— Какая гадость! — громко сказала Надежда.

— Раньше этого не водилось.

— Там же мамины подарки. Ты помнишь мамины подарки? Она же сама, собственными руками делала их, мне Варя рассказывала!.. Мы им празд-

ник устроили, а они…

— Смена веков есть смена знамен, — усмехнулся Аверьян Леонидович. — Так, кажется, говаривал ваш батюшка?

— Прости, Ваня, но я уеду. — Надежда бросила вилку. — Вот они, счета. Две тысячи… Две тысячи воров и хамов, видеть их не могу!

И быстро вышла из комнаты, почувствовав, что слезы вот-вот потекут по щекам.

Мужчины продолжали завтрак в молчании. Потом Иван вдруг встал, вышел в буфетную и принес графинчик с двумя рюмками. Молча налил.

— Водка? — насторожился Беневоленский.

— Ты прав, Аверьян. И отец прав. Смена знамен!

И залпом выпил рюмку.

Через сутки они тихо и грустно провожали Наденьку. Феничка уже прошла в вагон, распаковывалась в купе, а Надя смотрела на Ивана в упор, уже не скрывая слез.

— Береги себя, Ваничка. Умоляю тебя.

— Я поживу здесь немного, Наденька, — со значением сказал Беневоленский.

— Приезжайте к нам, Аверьян Леонидович. Мы будем очень рады вас видеть. И Варя, и дядя Роман, и я. Вы же Машина любовь, это больше,

чем просто родственник.

— Непременно приеду, Наденька. Только, если позволите, после коронации. Когда в Москве потише станет. Мой поклон всем Олексиным и Хомяковым.

Девушки приехали в Москву на следующий день. В первый же вечер, за ужином, Надю подробно расспрашивали о житье в Высоком. Но отвечала она скованно и неохотно, а о разоренной елке вообще умолчала. Но после ужина уединилась с Варварой.

— Я покаялась на маминой могиле. Теперь хочу покаяться перед тобой.

— Стоит ли ворошить старое?

— Стоит. Я вас всех обманула. Обманула, понимаешь? Не знаю почему и зачем. Ради самоутверждения, что ли.

— Что значит, обманула? Поясни.

— А то значит, что подпоручик Одоевский просидел до четырех утра в моем будуаре в присутствии Грапы, которой я запретила говорить правду.

Варвара молча смотрела на сестру потемневшими от гнева глазами.

— Что ты сказала?

— Твоя сестра — сама невинность, Варвара,

маменькой клянусь, — неуверенно улыбнулась Наденька.

— Ты… Ты — сквернавка! Насквозь испорченная сквернавка! Ты же поставила под пулю Георгия!..

— Мама простила меня, — тихо сказала Надежда. — И велела сказать тебе всю правду. Я слышала ее голос, Варенька, слышала…

И, покачнувшись, стала медленно оседать на пол. Варя подхватила ее, закричала:

— Врача! Врача, Роман, немедленно врача!..

Глава третья

1

В конце января в Москву прибыл министр императорского двора граф Воронцов-Дашков. Двадцать седьмого он посетил Ходынское поле, где осмотрел работы по возведению царского павильона в русском стиле, и в тот же день уехал в Петербург, оставив своим представителем генерала Федора Ивановича Олексина.

— В Рескрипте государя генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу указано оказывать полное содействие нам, то есть Министерству двора, в коронационных приготовлениях, — с удовольствием рассказывал Федор, сразу же по отбытию непосредственного начальства навестивший родственников. — Чтобы ты, Роман Трифонович, имел представление об их размахе, скажу, что, например, колокольню Ивана Великого и кремлевские башни осветят четырнадцать тысяч лампочек. Четырнадцать тысяч!.. Во всех башенных пролетах зажгут разноцветные бенгальские огни, а стены Кремля унижут лампионами со стеариновыми свечами.

И все не на глазок, не на русский авось, а по рисункам Каразина, Прокофьева и Бенуа.

Надя слушала с интересом, Варвара вежливо удивлялась, а Роман Трифонович невозмутимо посасывал незажженную сигару.

— Идут немыслимые расходы, немыслимые! Граф приказал мне проверить кое-какие счета, и я выяснил, что, например, кумачу уже закупили свыше миллиона аршин по цене семьдесят пять копеек за аршин, тогда как нормальная цена — двадцать копеек!

— Двадцать две, — уточнил Хомяков.

— Это ж сколько денег застрянет у откупщиков в карманах!

— Я обошелся без откупщиков.

— Ты?..

— Ну а чего ж мелочиться-то? — усмехнулся в аккуратную надушенную бороду Роман Трифонович. — Казна платит напрямую, Федор Иванович, грех такой случай упускать.

— Но как тебе удалось?

— Еще до твоего приезда меня вызвал великий князь и укорил, что купцы мало жертвуют. Я говорю: «Совсем не жертвуют, ваше высочество, потому как не ведают, достигнет ли их жертва намеченной цели. А люди они — практические». —

«Но это же непатриотично!» — возмутился Сергей Александрович. «А откупщиков меж нами и вами ставить патриотично, ваше высочество? — спрашиваю я тогда. — Коли сойдемся на прямых поставках, так, глядишь, и жертвовать начнем».

— И он?.. — с замиранием сердца спросил Федор Иванович.

— Сошлись, генерал, сошлись. И не только на кумаче.

— Это же миллионы…

— Если позволишь, Варенька, мы бы прошли в курительную. Вели туда десерт подать. Благодарю, дорогие мои, обед был чудным. Идем, генерал.

В уютной, обтянутой тисненой кожей курительной они уселись в большие кожаные кресла и молча курили, пока накрывали на стол. Два лакея в расшитой галунами униформе принесли фрукты, сыр, французский коньяк, ирландское виски, голландский джин и удалились.

— Н-да, — протянул Федор Иванович, не сумев скрыть завистливого вздоха. — Деньга к деньге…

— Как тебе служится при третьем государе? — спросил Хомяков, напрочь проигнорировав подвздошную интонацию родственника.

— Дед и отец благоволили ко мне, а этот… Не

знаешь, с какой ноги танцевать.

— Это при твоем-то опыте?

В тоне Романа Трифоновича слышалась неприкрытая насмешка. Генерал нахмурился, даже посопел. Раскочегарил длинную голландскую сигару, сказал приглушенно:

— Кшесинская и ее компания до женитьбы спаивали государя ежедневно. Алиса взяла его в руки, до смерти напугав отцовской внезапной кончиной, но прошлое распутство даром не прошло. То ли увлечение горячительными напитками, то ли — между нами, Роман Трифонович, только между нами! — удар самурайским мечом по голове. Царь слушается всех родственников одновременно. — Федор Иванович помолчал, пригубил коньяк. — Великий князь Павел говорил своим конногвардейским приятелям, что в семье постоянные ссоры и царя никто не боится. Ты можешь себе представить, чтобы на Святой Руси не боялись помазанника Божьего? Он бесхребетен. Может быть, пока.

— Однако в своем обращении к дворянам — так сказать, при заступлении в должность — Николай был достаточно суров. Я запомнил его выражение: «Свободы — бессмысленные мечтания».

— В первом тексте было — «преждевременные».

Документ проходил через наше министерство.

— И вы, следовательно, его несколько поправили.

— Слово «преждевременные» заменил на «бессмысленные» лично дядя царя. Великий князь Сергей Александрович, ваш генерал-губернатор, дорогие москвичи.

Роман Трифонович задумчиво жевал сочную грушу, не потрудившись очистить ее от кожуры. Генерал усмехнулся:

— Почему тебя заинтересовала эта замена одного прилагательного на другое? Какая, в сущности, разница? Слова есть слова.

— В устах государя всея Руси слова есть программа.

— У него нет никакой программы.

— Тогда он поступил необдуманно. Паровоз остановить невозможно. Раздавит.

— Это наши-то бомбисты-революционеры? Господь с тобой, Роман Трифонович.

— Я имею в виду промышленный капитал, Федор Иванович. Он не может нормально развиваться в условиях старой формы правления. А ведь только этот паровоз способен тащить Россию вперед. Казенные заводы делают пушки, но сталь для них поставляют частные фирмы и товари-

щества, следовательно, им нужно предоставить те же права, что и казенным предприятиям. И в первую голову уравнять в налогах, а для малых и развивающихся частных фабрик непременнейшим образом ввести налог льготный.

— Чтобы хозяева гребли миллионы?

— Чтобы поскорее дали продукцию и увеличили число рабочих. Разбогатеют — сами миллионы вернут.

— Страждуете вы своим, Роман Трифонович, — усмехнулся Олексин. — А казна пустеет. Одна коронация сколько миллионов вашему брату отвалит?

— Жить надо по карману, — буркнул Хомяков. — А мы — по амбициям. Великая держава, великая держава! Великая держава не та, что может моим кумачом всю страну завесить, а та, в которой народ достойно живет.

— А традиции?

— А традиции, генерал, не в византийской пышности дворцов да церквей. Они — в скрытой теплоте патриотизма, как сказал граф Толстой. Скрытой, подчеркиваю, русской. Застенчивой, если угодно. Кстати, где Василий Иванович?

— В Казани. Толстовщину проповедует. Совсем некстати, между прочим.

— Чем скромнее вера, тем больше от нее проку.

— Вера у нас — православная.

— Вера не нуждается в прилагательных, если она вера, а не суесловие, Федор Иванович.

— Уж не толстовец ли ты, Роман Трифонович?

— Я человек практический. — Хомяков раскурил новую сигару, усмехнулся: — Опять пикируемся.

— По семейной традиции, — улыбнулся Олексин.

— Скорее по способу передвижения. Я еду на своем паровозе, а ты трясешься на казенной тройке с бубенцами.

— У меня же нет твоих миллионов.

— Свои миллионы я сделал сам, дважды начиная с нуля. Впрочем, дело не за миллионами и не за казенными тройками. Дело за людьми, способными к самостоятельным решениям и личной ответственности. И они придут. Придут в грядущем веке, Федор Иванович. Вот за них и содвинем бокалы.

И звонко чокнулся с генералом.

2

После признания сестре, обморока и слез Надя окончательно пришла в себя, вернув и прежнюю улыбку, и лукавые глаза. Самая пора была приступать к ранее оговоренной программе: приемы, званые вечера, балы. Однако Надежда категорически от всего отказалась:

— Я начала роман. Сейчас не до развлечений.

И впрямь допоздна засиживалась в своем кабинете, что-то писала, но что — не говорила и тем более не показывала. Варвара пыталась расспросить горничную, но Феничка, таинственно округлив глаза, строго твердила одно и то же:

— Говорит, созрел. Этот… замысел.

Особо доверительные отношения, сложившиеся между Наденькой и Романом Трифоновичем, предполагали искренность, и Хомяков пошел к Наде за разъяснениями.

— Никакой роман ты не пишешь, не обманывай меня, Надюша. Если дело и впрямь в новом романе — житейском, я имею в виду, — так скажи. Я пойму и отстану.

Надя невесело улыбнулась:

— Вероятно, дело не в романах, а в их отсутствии, если уж говорить правду. Только не посвя-

щай в этот разговор Варю, очень тебя прошу.

— Так разговор-то как раз пока и не получается.

Наденька молчала, покусывая губки и не поднимая глаз. Роман Трифонович обождал, вздохнул, погладил ее по голове и сказал:

— Маменьки с батюшкой у тебя нет, Надюша, и выходит, что я твой самый близкий друг. А другу в жилетку принято плакаться.

— Плакаться я не собираюсь, дядя Роман.

— Прости, не то словечко выскочило. Но поделиться тем, что тебя тревожит, ты можешь?

— Это как-то… — Надя беспомощно улыбнулась. — Странно прозвучит.

— Я постараюсь понять.

Наденька долго не решалась, избегала смотреть в глаза, неуверенно улыбалась. Потом вдруг постучала правым кулаком в левую ладонь, собралась с духом и выпалила:

— Почему влюбляются не в меня, а в моих подруг?

Роману Трифоновичу понадобилось немалое усилие, чтобы сохранить серьезное выражение лица. Но он сразу понял, что огорчает его любимицу, сообразил, как проще всего развеять эти огорчения, но начал почему-то как бы издалека:

— Твоя матушка влюбилась в своего барина, твоего отца, когда ей было четырнадцать, а ему — за тридцать. Машенька, царствие ей небесное, была младше своего избранника Аверьяна Леонидовича Беневоленского на добрых десять лет. Да и я, сама знаешь, тоже на десяток постарше Вареньки. Стало быть, это у вас в крови, дорогие сестрички Олексины. Ты ведь тоже не теряла головы от подпоручика Одоевского. Так, самолюбие тешила, разве я не прав?

Надя пожала плечами и улыбнулась.

— А причина в том, что ты просто умнее своих сверстников. Их сейчас на глупышек тянет, что тоже понятно, потому что самолюбие щекочет.

— Ждать, пока поумнеют?

— И слава богу. Каждому цветку — свое время цветения. Плюнь на все и жди своего часа. По рукам, что ли?

— По рукам, дядя Роман. — Наденька невесело вздохнула. — Только Варе ни слова.

— Ни полслова, Надюша, — улыбнулся Хомяков. Однако полслова жене все же сказать пришлось, поскольку о беседе наедине Варя узнала от своей горничной Алевтины. Женщины преданной, но довольно пронырливой и постной.

— Что сказала Надя?

— Не получился у нас разговор.

— Даже у тебя? — Варвара озабоченно вздохнула. — Может быть, Николая попросить?

Однако призвать на помощь Николая оказалось делом затруднительным, да и не совсем корректным. Мало того что он был по горло занят по службе, в семье родилась вторая дочь, названная Варенькой в честь крестной матери. А первая, Оленька, часто болела, и тут уж было не до развлекательных программ Варвары.

Однако Хомяков, прекратив лобовые атаки, неожиданно предпринял обходной маневр, и добровольный затвор разочарованной писательницы все же удалось нарушить.

— Во вторник Федор просил принять весьма нужного ему господина, Варенька, — сообщил как-то Роман Трифонович. — Я рад этому обстоятельству, поскольку немного знаком с ним.

— Чем же он тебя очаровал?

Муж с женой разговаривали наедине, но Роман Трифонович счел необходимым оглянуться и понизить голос:

— Ему очень понравился Надюшин рассказ.

— Он издатель? — оживилась Варвара.

— Нет. Он действительный статский советник, но Федор связан с ним какими-то служебными

отношениями. Человек весьма и весьма достойный. Даже более чем.

Последний аргумент был настолько несвойствен Хомякову, что Варвара приподняла брови:

— Он пожалует с супругой?

— Представь себе, он старый холостяк.

— Очень старый?

— Когда о мужчине говорят «старый холостяк», имеют в виду не возраст, а семейное положение. Умен, образован, с приличным состоянием и отменно воспитан.

— Боюсь, Надежда заартачится, — сокрушенно вздохнула Варя.

— Уговорю! — заверил Хомяков.

Роман Трифонович уговорил Наденьку довольно просто, потому что знал безотказный аргумент:

— Мне этот визит нужен, Надюша.

— Ради тебя, дядя Роман, я готова на любые знакомства, — улыбнулась Надя.

В назначенный вторник в уютной малой гостиной собрались старшие: Варя, Хомяков, генерал Федор Иванович. Ждали семи, и с боем часов в гостиную вошел дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо.

— Его превосходительство господин Вологодов

Викентий Корнелиевич! — торжественно возвестил он.

— Проси, — сказал Роман Трифонович. — И сообщи Надежде Ивановне, что у нас гость.

— Не придет, — вздохнула Варвара.

— Придет! — отрезал Хомяков.

И встал, поскольку в распахнутую дверь вошел еще достаточно стройный господин лет сорока пяти с посеребренными легкой сединой висками. Молча поклонился, приветливо улыбнувшись.

— Искренне рад, Викентий Корнелиевич, — сказал Хомяков, пожимая руку гостю. — Моя супруга Варвара Ивановна.

Вологодов учтиво поцеловал хозяйке руку, дружески раскланялся с генералом и сел в предложенное кресло.

— От вашего дворца снаружи веет очарованием Мавритании, а внутри — искренностью русского гостеприимства.

— Благодарю, — улыбнулась Варя.

— Мы старались, — проворчал Роман Трифонович: ему не понравился заранее сочиненный комплимент. — Слава богу, сюда перестали ходить ротозеи.

— Американцы утверждают, что реклама — двигатель торговли, — сказал Федор Ива-

нович. — Признайся, ты думал об этом, Роман Трифонович.

— Просто был счастлив, что наконец-то могу исполнить обещание. — Хомяков весьма озорно подмигнул супруге. — Что слышно в высших московских сферах, Викентий Корнелиевич?

— Кажется, Петербург намеревается переселиться в Москву. Так что самое время учиться играть в белот.

— Любимая игра петербуржцев?

— Любимая игра государя. Говорят, он ежевечерне играет с Александрой Федоровной хотя бы одну партию.

— Нашествие Петербурга создаст огромные трудности не только для вас, Викентий Корнелиевич, но и для меня. — Генерал решил, что пришла пора брать быка за рога. — Достойно разместить великих князей, иностранных царствующих особ, многочисленных послов, сановников, петербургскую знать, не говоря уж о представителях дворянства, земств, иноверцев, — задача неблагодарная и весьма сложная. Есть над чем поломать голову.

— Может быть, мы начнем ломать наши головы завтра, в присутствиях? — улыбнулся Вологодов.

Появилась Надежда. Ее представили гостю,

вежливо прикоснувшемуся к протянутой ею руке. После чего она села, слушала внимательно, вовремя улыбалась, но помалкивала. Вскоре попросили в столовую, где разговор несколько оживился.

— Я всегда побаивалась толпы, — говорила Варя. — Может быть, потому, что выросла в тихой, спокойной, патриархальной провинции. Мне просто страшно представить, что будет твориться в Москве во время коронационных торжеств, бесконечных парадов и любопытствующих толп на улицах. И… и, признаться, мне как-то не по себе.

— В Москве будет сплошной карнавал, сестра, — сказал Федор Иванович. — А карнавал всегда праздник. Не так ли, Викентий Корнелиевич?

— Если он в замкнутом пространстве. Во дворце, в саду. Уличные карнавалы не в традиции России. Мне посчастливилось побывать на карнавале в Риме, и я получил огромное удовольствие. Но мы не итальянцы. Вам приходилось бывать в Италии, Надежда Ивановна?

— Да, но не на карнавале. Может быть, поэтому итальянцы показались мне такими же русскими, только более экспансивными.

— Согласен, но позвольте добавить: и привыкшими к уличному общению. Мягкий климат

приучил их к жизни на площадях, дома они лишь ночуют.

— Вероятно, вы правы, — с ноткой вежливого равнодушия согласилась Наденька.

— А у нас — девять месяцев зима, — проворчал Хомяков. — Какие уж там карнавалы. Напьются, наорутся да передерутся — вот и весь карнавал.

— Для народа будет организован праздник на Ходынском поле, — сказал генерал Олексин. — С раздачей подарков, бесплатными развлечениями и под надзором полиции.

— Праздник под надзором, — усмехнулся Вологодов. — Это действительно в русских традициях: веселись, но оглядывайся.

— Русским оглядываться полезно, — солидно вставил Федор Иванович. — Уж очень натура у нас безоглядная.

— Дядя Роман, а давайте маскарад устроим? — вдруг предложила Наденька, но тут же смутилась, начала краснеть и сердито сдвинула брови.

— Прекрасная мысль, Надюша! — подхватил Роман Трифонович. — Да на Масленицу, а? Варенька, как ты на это смотришь?

— Мне очень по душе Наденькина идея.

— Решено! — воскликнул Хомяков, хлопнув ладонью по столу.

— В каком же костюме вы пред нами предстанете? — улыбнулся Викентий Корнелиевич. — Таинственной Семирамиды или очаровательной испанки?

— Сделаю все возможное, чтобы вы меня не узнали, — отпарировала Надежда.

— А если узнаю?

— Преподнесете цветок.

— Считайте, что он уже у вас, Надежда Ивановна.

Вечером, когда все разошлись, Варвара осторожно спросила:

— Ну как тебе Викентий Корнелиевич?

— Старик! — отрезала Надежда. — А маскарад все равно будет. Вот посмотришь.

— Если уж Роман сказал…

— Только знаешь что? — перебила Наденька. — Он ни в коем случае не должен меня узнать.

— Кто не должен узнать?

— Ну, этот… старик.

— Допустим. Но что из этого следует?

— А то, что я должна что-то придумать. Никаких Семирамид и испанок! Ты поможешь мне, Варенька?

— Обещаю. — Варя поцеловала Надежду в лоб. — Пусть тебе приснится необыкновенный

костюм.

3

Костюм не приснился, но Наденька все же кое-что придумала. Во-первых, глухие маски вместо общепринятых полумасок, а во-вторых, номера в виде броши на левом плече для всех участниц.

— Номера каждая маска должна тянуть сама.

— Зачем такие сложности? — удивилась Варя.

— Для того, чтобы победительница была неизвестна до решения жюри и получила хороший приз. — Хомяков улыбнулся. — Я угадал ваше желание, мадемуазель Фронда?

— Дядя, ты — чудо!

— Представляю, как же тебе будет обидно, если приз уплывет в чужие ручки.

— Не уплывет! — хвастливо сказала Надежда.

— А вдруг?

— Не знаю, не знаю, — проворчала Варвара. — Согласятся ли гостьи участвовать в подобной лотерее?

— Тряхнем мошной! — усмехнулся Роман Трифонович. — Приз будет от Фаберже, а броши с номерами включат в свои драгоценности даже проигравшие дамы.

— Нет, сударь, вы все-таки купчина, — вздох-

нула Варя.

Дамы с энтузиазмом откликнулись на приглашение участвовать в маскараде с заранее оговоренными условиями и призом победительнице. Проигрывать в такой ситуации было чересчур уж обидно, и как только определился круг соискательниц, Наденька устроила тайное совещание со своей горничной.

— Феничка, ты сможешь разузнать, какие костюмы появятся на нашем маскараде?

— Так у них, поди, тоже горничные есть.

— И все расскажут?

— Обязательно даже, — уверенно сказала Феничка. — Если я про вас расскажу, то и они никак не удержатся. Вы кем сама-то будете, барышня?

— Семирамидой.

— А как она выглядит-то, эта Семирамида?

— Таинственно, — округлив глаза, прошептала Надя. — Настолько, что и сама не знаю.

На следующий день Феничка отправилась на разведку, а Наденька принялась размышлять о костюме. Никакой Семирамидой она, естественно, быть не собиралась, но не хотела ни с кем советоваться, потому что ее костюм должен был оказаться сюрпризом для всех. Но в голову, как на грех, ничего путного не лезло. А к вечеру явилась

Феничка и чуть ли не с порога отбарабанила:

— Цыганки, испанки, турчанки, мавританки, Клеопатры, Карменки.

— Кто?

— Так сказали. Госпожа, мол, решила быть Карменкой и костюм уже заказала.

— Ах, Кармен, — сообразила Наденька. — Еще кто?

— Миледи, что ли. Потом японка, черкешенка и китайка…

Феничка замолчала, спросила удивленно:

— Что это вы так на меня смотрите, барышня?

— Раздевайся, — вдруг скомандовала Наденька.

— Чего?..

— А того, что мы с тобой одного роста, и фигуры у нас одинаковые. И я хочу примерить твое платье.

— Капризов у вас… — недовольно сказала Феничка, но платье сняла.

Платье оказалось впору, требовалось лишь чуть убрать в боках. Надя повертелась перед зеркалом, с каждым поворотом делаясь все серьезнее.

— Семирамидой будешь ты, — твердо сказала она. — А я буду горничной.

— Не буду я никакой…

— Будешь!

— Это же обман, а никакой не маскарад.

— Маскарад и есть обман. Обман зрения.

— Вы же темно-русая. А у меня коса вона какая.

— Спрячем под короной.

— А номера как же?

— Номера… — Наденька задумалась. — А номера выдадут в самом конце, на параде-алле! И я дядю уговорю.

— Вы-то уговорите, а мне дура дурой быть, да? — обиженно спросила Феничка. — А ну как скажут чего по-французски?

— Улыбнись и пальчик к губкам прижми. Мол, боюсь, что узнаете по голосу.

— А если, не дай бог, кто танцевать пригласит? Тоже пальчик к губкам, что ли?

— Не верю, что танцевать не умеешь. Не верю, и все.

— Да что я умею-то? Кадриль с вальсом?

— Вальс — это замечательно. Кадрили не будет, от мазурки откажешься, а остальному я тебя научу.

— Ох, барышня, да не выйдет у нас ничего! Чтоб горничной стать, это ж сколько учиться надо.

— Вот ты меня своему искусству и обучишь. И

все у нас будет замечательно, Феничка, все-все, вот увидишь! Главное, как нам дядю уговорить…

— И горничные в масках? — недовольно спросил Роман Трифонович. — Ну, Надюша, это уж слишком. Это уж ни в какие ворота не лезет…

— А Наденька права, — сказала Варвара. — Все горничные — симпатичные милашки, и вы, сударь, на них пялиться будете, забыв про дам в масках.

— Да здравствует равенство! — воскликнула Надя. — Дядя, милый, двадцатый век в Россию стучится!

— Хорошо, хорошо, допустим. Что еще выдумала?

— Во имя грядущего равенства номеров не выдавать до самого конца. До парада-алле.

— И это правильно, — улыбнулась Варя. — Мы первыми введем в Москве соперничество без поддавков.

— Обложили! — Роман Трифонович беспомощно развел руками и расхохотался. — Правильно, мои дорогие, пусть играют по нашим правилам!..

— Я все уладила, — объявила Надя Феничке. — Теперь — курсы взаимного обучения. Я преподам тебе кое-какие манеры, а ты мне — уроки искус-

ства хорошей горничной.

— Стало быть, так, — важно начала Феничка. — Самое главное — быть внимательной. Ну, скажем, крючочек случайно расстегнулся, поясок развязался или, там, волосок на плечи упал. Так сразу же подойти незаметно и тихо сказать: «Мадам, позвольте поправлю». И тут же быстренько поправить.

— Ну, это просто.

— А это уж как справитесь, — наставительно сказала Феничка. — В кармашках фартучка надо иметь две щетки, волосяную и платяную, и гребень. Подходить всегда сзади и останавливаться в полшаге за правым плечом. Если что-то важное случилось — ну, шов разошелся, — так надо сказать шепотом: «Мадам, извольте пройти в дамскую». А коли спросит: «А что?», надо просто повторить: «Извольте пройти в дамскую».

— Извольте пройти в дамскую, — послушно повторяла Наденька, загибая пальцы.

— И стоять в сторонке.

— И стоять в сторонке.

— И глядеть во все глаза.

— И глядеть во все глаза.

— Вот тогда, может быть, из вас толк выйдет, — важно сказала Феничка, еще раз придирчиво

осмотрев свою хозяйку.

4

Костюм Семирамиды — якобы для Нади — взяли в костюмерной Большого театра. Он был слегка великоват, но Наденька сказала, что ради конспирации подгонит его сама, и тут же нарядила в него свою горничную.

— Сроду таких нарядов не носила! — Феничка была в восторге. — Да я в царском платье ничего уже не боюсь!

В назначенный день — выпало на Большой четверток, на Широкую Масленицу — к вызывающему как интерес, так и зависть особняку Хомякова начали один за другим подкатывать экипажи. Большие и малые кареты, открытые ландо и наемные пролетки разных калибров. Высадив пассажиров, они сразу отъезжали, саженного роста швейцар провожал прибывших внутрь, где молчаливые лакеи в ливреях тут же быстро сортировали их, провожая участниц маскарада в дамские гардеробные, а мужей, отцов и мамаш передавали на руки дворецкому, который и вел их дальше. А гостей оказалось столько, что Евстафий Селиверстович охрип, выкрикивая титулы и имена. Варвара перебрасывалась с при-

бывшими несколькими вежливыми словами, но тут же оставляла их, как только появлялись новые гости.

А Роман Трифонович вынужден был расхаживать меж карточных столов, поскольку солидные отцы и азартные мамаши легкомысленных девиц, лихорадочно влезавших сейчас в маскарадные костюмы, умели коротать время только за игрой в винт. Хомяков считал карты пустым занятием, однако в данной ситуации отстаивать свои принципы было по меньшей мере неуместно, а вот свои дела — уместно вполне.

— Роман Трифонович, дорогой, вы игрок высокого полета, — жеманно обратилась к нему, в общем-то, малознакомая, но известная весьма влиятельным мужем, из последних сил молодящаяся дама. — Посоветуйте, что мне объявить?

— Назначьте четыре леве.

— Вы оч-чень рисковый мужчина.

— Риск — пятый туз в любой колоде, уважаемая Татьяна Кузьминишна, — усмехнулся Хомяков.

— Так вот в чем секрет ваших миллионов?

— Нет, мадам. Секрет — в градуснике.

— Каком градуснике?

— Которым я измеряю температуру риска.

— И что же он сейчас показывает?

— Около сорока по Цельсию.

— Тогда — четыре леве, господа! — громко объявила Татьяна Кузьминишна.

— Если выиграете, скажите о моем градуснике своему мужу, — улыбнулся Хомяков.

— А вы хитрец! — Дама погрозила пальчиком.

— Все дело в градуснике, Татьяна Кузьминишна, только в градуснике!.. — Роман Трифонович не терял времени даром. — Хитрость даст тысяч пять, не более того. А градусник способен умножить эту цифру на десять. Ваш супруг, я полагаю, хорошо разбирается в подобной арифметике?

— Какое лукавство!

Хомяков получил игривый удар веером по руке, ознаменовавший собою полное понимание. Супруг молодящейся дамы был осторожен и неинтересен решительно во всех отношениях, но обладал подписью, открывавшей замки армейских подрядов. До сей поры он ловко уклонялся от личных свиданий, однако решился-таки выслать в разведку кокетливую и весьма догадливую жену, и Роман Трифонович был доволен началом сегодняшнего вечера. Обещанная взятка в пятьдесят тысяч приносила двадцатикратный доход, по самым скромным расчетам.

Викентий Корнелиевич прибыл не первым,

но в первой десятке. Карточные игры его не интересовали, почему он сразу же и угодил в руки генерала Олексина, тут же усадившего Вологодова в кресла у огромного окна.

— Вопрос размещения, дорогой Викентий Корнелиевич, есть одновременно и вопрос политический, — сразу же начал Федор Иванович. — Назову лишь несколько имен прибывающих на коронацию особ, и все вам станет ясным. Его Императорское Высочество эрцгерцог Людвиг-Виктор. Ее Величество королева эллинов Ольга Константиновна. Его Королевское Высочество наследный принц Датский. Его Королевское Высочество принц Неаполитанский Виктор-Эммануил. Его Королевское Высочество принц Георг Саксонский…

«Господи, как нудно, но с каким придыханием…» — уныло думалось Вологодову.

— Его Императорское Высочество принц Садана-ру-Фушими…

— Разместим, всех разместим, Федор Иванович.

Меж гостями ловко сновали черно-белые вышколенные официанты с напитками, легкой закуской, фруктами. При этом вручалось тисненное золотом меню торжественного обеда в честь

победительниц маскарада, имеющего быть в субботу, в шесть часов вечера.

— Я не сомневаюсь, поскольку обязаны, Викентий Корнелиевич. Мой вопрос в том, как разместим? Как? Где? Вопрос максимальных удобств…

— Прекрасный обед, — сказал Викентий Корнелиевич, раскрыв внушительный переплет и просматривая меню. — Послушайте, генерал. «Первая перемена. Черепаший суп и перепелиный бульон со слоеными пирожками. К нему — мадера и херес. Вторая перемена. Рыбное тюрбо с голландским соусом. Рейнские вина „Ронталь“ и „Редюсгейм“. Третья перемена. Бараний бок. Вина французские „Леовиль“, „Понтекане“. Двойной английский портер. Жаркое из кур с зеленью, к нему шампанское „Редерер“. Спаржа отварная с байонской подливой. Пудинг, сыры. Фрукты, мороженое, черный кофе „Маланг“, „Тьерибон“. Ликеры». Бог мой, придется сутки поголодать ради такого лукуллова пиршества.

— Вы — чревоугодник, Вологодов, — расстроился Олексин. — А у меня — хомут на шее.

— Грешен, Федор Иванович, грешен, — несокрушимо улыбался Викентий Корнелиевич. — Вкусно поесть — единственная утеха холостяка.

А хомут ваш рассупоним, не терзайте себя понапрасну.

Уж чем-чем, а чревоугодником Вологодов никогда не был. Он был скорее аскетом, но надо же было как-то отвлечь генерала Олексина от скучных служебных разговоров…

Дирижер на хорах постучал палочкой, и оркестр заиграл полонез. Роман Трифонович, попросив извинения, вышел. За ним потянулись остальные, кроме совсем уж азартных игроков да старого генерала, задремавшего в кресле.

Распахнулись двери, и в зал из дамской половины торжественно вступили дамы в самых разнообразных костюмах и легких шелковых масках, полностью закрывавших лица. Они шли парами, а горничная, появившаяся следом за ними — тоже в маске, — осталась у входа. Дамы плавно, строго под музыку совершили неторопливый круг, и ожидающие у стен заскучавшие молодые люди тотчас же шагнули к ним.

Маскарад начался вальсом, и скромно стоявшая у входа в зал Наденька с любопытством наблюдала в основном за Семирамидой. Но вавилонская царица, танцевавшая с корнетом, вальсировала легко, непринужденно и с огромным удовольствием.

После первого танца маскарад считался открытым, дамы и молодые люди распались на пары и группы, по залу пронесся легкий говор. Наденька осторожно пробралась к своей Семирамиде, которой что-то весело рассказывал корнет, стала в полушаге за правым плечом, достала из кармана фартучка платяную щеточку, смахнула воображаемый волосок и шепнула:

— Ты — прелесть!

Викентий Корнелиевич тоже посматривал на Семирамиду, а когда возле нее очутилась горничная, принялся изучать царицу еще более пристально.

— Это не ваша очаровательная сестра, Федор Иванович?

— Не думаю. Слишком много блеска, а она у нас эмансипе не хуже покойной Маши.

— Эмансипе? — протянул Вологодов, переводя взгляд на отходившую от Семирамиды горничную. — Может быть, нигилистка?

— Фантазерка и выдумщица может быть кем угодно. Это она настояла на сплошных масках, мне по секрету сказала об этом Варвара. А в них все дамы одинаковы, как в преисподней. Вообще нынешние девицы, должен вам сказать, решительно отбиваются от рук. Моя дочь Ольга,

например…

Оркестр заиграл контрданс, дамы и кавалеры тотчас же разошлись по противоположным шеренгам. Наденька, обучившая сообразительную и весьма способную Феничку нескольким простым танцам с изящными позами и поклонами, а также основным движениям «языка веера», была убеждена, что ловкая горничная с этим справится, а потому решила усиливать собственные позиции. Ловко маневрируя по залу, подходила к не принимающим участия в маскараде немолодым дамам, оказывая им мелкие услуги, проводила какую-то матрону в дамскую комнату…

— Спасибо, милочка.

Наденька кланялась, стараясь помалкивать. Ее душил смех, поскольку роль некоего одушевленного предмета для услуг очень быстро позволила ей убедиться, что горничным часто приходится слышать то, от чего старательно оберегают ушки господские:

— Говорят, он даже маскарадные значки велел усыпать драгоценными камнями…

— Варвар…

— Рекомендую говорить проще: муж Варвары…

— Дивно, князь, дивно сказано!..

— А сколько вызывающих новшеств, обратили внимание? Маски даже для прислуги!..

— И все ради хамского самоутверждения…

— Не скажите, баронесса, полагаю, что не только для этого. Нас завоевывают новые гунны. В веке грядущем они намереваются стать господами…

Снова наступил перерыв. Наденька тут же пробралась к ловко обмахивающейся веером Феничке, оказала невесомую услугу, услышала не без ехидства сказанное «спасибо, милочка» и весело подумала: «Вот нахалка!..» И, чтобы не мешать, решила обойти маскарадную толкотню стороной.

— Простите, милочка, — вдруг сказал Вологодов, когда она поравнялась с креслами, где сидели ее брат и Викентий Корнелиевич. — Вас не затруднит принести нам коньяку?

«Не узнал!» — с торжеством подумала Надя. Молча поклонилась, прошла к ближайшему официанту и, вернувшись, поставила на стол два бокала.

— Благодарю. — Вологодов выдернул из букета розу и с улыбкой протянул ей.

«Узнал, — с огорчением решила Наденька. — Нет, нет, этого не может быть. Просто он старый

ловелас, только и всего. Увидел очередную мордашку…»

Здесь было мало логики, поскольку спрятанную под глухую маску «очередную мордашку» никто увидеть не мог. Но так уж Наденька почему-то тогда подумала.

Вскоре последовала мазурка, от которой, как показалось внимательно наблюдавшей Наденьке, ее Феничка довольно мило отказалась. На этом бал-маскарад заканчивался, занятые в нем дамы под музыку покинули зал, молодые люди бросились утолять жажду, а Федор Иванович с облегчением вздохнул:

— Люблю хорошие финалы.

— Убеждены, что финал будет хорошим?

— Я не о призах. Я — о шумихе.

— Господа, минуточку внимания, — громко сказал Роман Трифонович, вставая. — Сейчас очаровательные участницы нашего маскарада в последний раз продефилируют перед нами, но уже с номерами на левом плече. От вашего решения зависит присуждение первого приза, посему очень прошу быть внимательными. Оркестр, парад-алле!

Оркестр заиграл марш, и в зал вышли все участницы. Испанки и мавританки, черкешенки и

цыганки, турчанки, китаянки, римские матроны, Клеопатры и Марии-Антуанетты. Они по-прежнему были в масках, но теперь на левом плечике каждой участницы сверкал значок с номером. И последней шла горничная с номером «27», появление которой вызвало в зале удивленный шум. Маски, как было условлено, трижды обошли зал и остановились перед гостями.

— Все маски прекрасны, обаятельны и очаровательны настолько, что вопрос первенства не способно решить никакое жюри, — продолжал Хомяков. — Решать придется всем нам, так сказать, всем миром. Во время ужина, на который нас позовут, как только переоденутся участницы маскарада, каждый опустит в чашу, стоящую в центре столовой, тот номер, который он лично считает номером победительницы. Результат подсчета будет оглашен послезавтра, в субботу, во время торжественного обеда, на который приглашаются все присутствующие. Тогда же состоится вручение призов и подарков.

— А где же номера?

— Полный комплект номеров, от единицы до двадцати семи, уже лежит возле вашего прибора в столовой.

Затем дамы в масках удалились, возникло

некое оживление, забегали официанты, разнося напитки.

— Пойдемте в курительную, — сказал генерал Олексин, вставая. — С чего это вы впали в задумчивость, Викентий Корнелиевич?

— Признайтесь, номер «двадцать семь» в костюме горничной — ваша сестра?

— Понятия не имею, — проворчал Федор Иванович. — Но свой жетон опущу за нее, потому что обожаю дерзость. Если, конечно, она демонстрируется не в моем доме.

Наденька к ужину не вышла, но получила первый приз в субботу на торжественном обеде. Где-то между жареными цыплятами и шампанским «Редерер».

Глава четвертая

1

Наденька торжествовала, еще раз самоутвердившись в собственных глазах. Наденька торжествовала, Феничка радовалась, от веселого смеха и радостных воспоминаний звенел весь второй этаж. Доносилось и до первого, и Варвара решила направить восторг победительницы в разумное русло. Однако развивать свой первый светский успех младшая сестра отказалась наотрез:

— Прости, Варенька, понимаю твою озабоченность, но строить свое будущее я попытаюсь сама.

— Надя, это твой круг, в который ты практически уже сделала первый и весьма удачный шаг. Круг воспитанных, образованных, в конце концов, состоятельных людей…

— Я очень хочу стать состоятельной. Но для меня состоятельной является только состоявшаяся личность, а не чужое богатство, доставшееся по наследству. Вот дядя Роман — человек состоятельный, даже если из него вычесть все миллионы.

Вся писательская деятельность была забыта

и заброшена. Чем Надя занималась, никто из домашних толком не знал, а ее наперсница-горничная помалкивала, делая круглые глаза.

— Не понимаю, что с ней происходит, — сердилась Варя.

— Дай девчонке перебеситься, — грубовато советовал Роман Трифонович. — Перебесится, и все вернется на круги своя.

Однако все обернулось совсем другими кругами. Как только спали морозы, Наденька неожиданно зачастила на улицу вместе с верной Феничкой, щедро одаренной Хомяковым за отважную роль подсадной утки на маскараде.

С первым весенним солнцем Москва бурно воспряла от затяжной зимней спячки. Перекрашивали фасады зданий на тех улицах, по которым, согласно высочайшему Рескрипту, должен был проследовать государь. Сооружали триумфальные арки и обелиски, полные русской исторической символики. Провели электрическое освещение по всей Тверской от Брестского вокзала, который москвичи упорно называли Смоленским, до Красной площади. Повсюду развешивали яркие панно и транспаранты, заколачивали, приколачивали и переколачивали заново, и перестук топоров не умолкал уже ни

днем ни ночью.

В традиционно неспешной, почти сонной Первопрестольной разом вскипела невиданно активная деятельность. И Наденька не могла, просто не имела права не увидеть внезапного и очень азартного взрыва искреннего энтузиазма москвичей.

«Третьего апреля состоялось торжественное перевезение Императорских регалий из Зимнего дворца в Москву, в Оружейную палату, перед священным коронованием Их Императорских Величеств.

По высочайше утвержденному церемониалу в Зимнем дворце в третьем часу дня собрались высшие чины Двора и сановники, назначенные для принятия и перевезения Императорских регалий. В Бриллиантовой комнате дворца регалии были выданы сановникам министром Императорского двора графом Воронцовым-Дашковым и чинами главного дворцового управления и Кабинета Его Величества. Блестящий кортеж двинулся из Бриллиантовой комнаты через дворцовые залы на посольский подъезд.

При выходе кортежа на посольский подъезд караул главной гауптвахты встал под ружье и отдал честь. У подъезда находились придворные

парадные кареты, запряженные цугом в четыре лошади каждая.

Парадный кортеж выехал из дворцовых ворот в предшествии трубачей эскадрона Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полка. За ними следовали два ряда кавалергардов, конюшенный офицер и три конюха верхом. Далее: две четырехместные кареты, запряженные четверкою лошадей цугом, с камер-юнкерами и камергерами, назначенными предшествовать Императорским регалиям; парадный фаэтон с двумя церемониймейстерами и фаэтон с верховным церемониймейстером. В предшествии парадных экипажей, в которых везли Императорские регалии, ехали верхом конюшенный офицер, два младших берейтора и три придворных конюха. Всех карет с Императорскими регалиями было шесть. В первой везли малую цепь ордена Святаго Андрея Первозванного Государыни Императрицы Александры Феодоровны; во второй — большую цепь ордена Святаго Андрея Первозванного Государя Императора; в третьей — Державу; в четвертой — Скипетр; в пятой — малую Корону Государыни Императрицы Александры Феодоровны и в шестой — большую Корону Государя Императора.

Впереди каждой кареты ехали верхом по два вершника, а по сторонам — по два кавалергарда с обнаженными палашами. Шествие замыкал взвод кавалергардов в блестящих кирасах с белыми орлами. Красивою длинною лентой тянулось это шествие по всему Невскому проспекту среди многочисленной толпы, стоявшей непрерывными шпалерами на всем протяжении кортежа.

В три часа тридцать минут дня парадный кортеж вступил в ворота Николаевского вокзала. Войска взяли на караул. Регалии были внесены в Императорские покои и затем были уложены в особые ящики командированными от Кабинета Его Величества чинами. В семь часов тридцать минут вечера особым экстренным поездом регалии были отправлены в Москву в сопровождении генерал-адъютанта Гершельмана».

— Уфф!..

Этот газетный отчет прочитал вслух Варваре, Роману Трифоновичу и забежавшему выкурить сигару да перевести дух Федору Ивановичу капитан Николай Олексин.

— Представляю это волнующее зрелище, — задумчиво улыбнулась Варя. — С детства любила парады.

— Высокоторжественный акт, — строго поднял

палец генерал. — Мы еще раз поразим мир мощью и блеском России.

— Красивая обертка совсем не означает, что внутри непременно должно находиться нечто высококачественное, — усмехнулся Хомяков. — У каждого века свой блеск и своя мощь. И мне думается, что в грядущем двадцатом столетии блеск и мощь России будут измеряться совершенно иными качествами.

— Как всегда, уповаешь на революцию?

— Уповаю единственно на разум человеческий, Федор Иванович. То, что с таким восторгом живописует газета, есть всего-навсего последние судороги давно состарившегося русского самодержавия. Ты можешь себе представить нечто подобное, скажем, в Америке? Нет, разумеется, потому что Америке повезло обойтись без Средневековья. И она войдет в век двадцатый без ржавых кандалов прошлого и побежит, побежит!.. А мы поплетемся за нею. С форейторами, берейторами и кирасами с белыми орлами.

— У России — свой путь, — строго сказал Олексин. — Свой, Роман Трифонович, особый и осиянный.

— Опять сказка про белого бычка на осиянном лугу, — вздохнул Хомяков. — Бог с тобой, генерал,

ты же не на сборище записных патриотов. Это тропинки бывают особыми, а магистральное направление прогресса — одно для всех народов.

— Но национальные традиции, Роман, — сказал Николай. — Народ без исторических традиций превращается в толпу ванек, не помнящих родства своего.

— А что считать традициями, капитан? Форму или содержание? Форму проще и нагляднее: понимания не требует. Гавриил, светлая ему память, пустил себе пулю в сердце, потому что не мог ни понять, ни тем более простить государя Александра Второго, предавшего, с его точки зрения, болгарский народ. Это традиция чести. Содержания, а не формы. Любимый порученец Михаила Дмитриевича Скобелева — перед тобою сидящий Федор — чуть мне физиономию не расквасил за то, что мои компаньоны, в аду бы они сгорели, моим именем скобелевских солдат червивой мукой кормили, пока я в отъезде был, и для него это оказалось вопросом чести. «Солдатский рацион есть честь всей России!» — так он мне тогда заявил и был абсолютно прав. Забота о подданных своих есть великая честь и великая традиция, а не парады с иллюминацией.

— Да кто же с тобой спорит, кто спорит, —

вздохнул Федор Иванович: упоминание о «белом генерале», кажется, не очень-то пришлось ему по душе. — Ты сказал то, что само собой разумеется, зачем же сотрясением воздухов заниматься?

— Знаешь, порою это просто необходимо. В застойном воздухе уж и дышать-то нечем стало. Реформы тихохонько свернули, а что получили? Забыл голод девяносто первого? Вот чем оказался весь наш «особый путь».

— Ну, это, так сказать, случайное явление, — проворчал Федор Иванович. — Это крайность, зачем же ее принимать в расчет?

— А голод был страшным, — вздохнула Варвара. — Я знаю, в Комитете помощи голодающим работала.

— Зато кирасир с гусарами развели, — непримиримо проворчал Хомяков.

Беззвучно вошел Евстафий Селиверстович.

— Кушать подано, господа.

За обедом поначалу все чувствовали себя несколько неуютно, как то всегда бывает даже после незначительных семейных размолвок. Однако за десертом поднаторевший в сглаживании острых углов когда-то боевой, знаменитой скобелевской выучки офицер, а ныне — придворный генерал Олексин первым решился взять разговор

в свои руки.

— Вчера на совещании великий князь Сергей Александрович наконец-таки утвердил план сооружений на Ходынском поле для народного гулянья. Будет построено сто пятьдесят буфетов для раздачи подарков, двадцать бараков для бесплатного распития пива и вина, два балагана для представлений, а также эстрады для оркестров, карусели, качели и прочее.

— Что же входит в царский подарок? — спросил Николай.

— Обливная кружка с царским вензелем и датой коронации, сайка, кусок колбасы, немного конфет и орехов.

— Негусто, — усмехнулся Роман Трифонович.

— Да, но ты умножь это на четыреста тысяч.

— Уже умножил. Платочки, во что дар сей щедрый завернут будет, я поставлял.

— Господа, вы опять начинаете? — безнадежно вздохнула Варвара.

— А хватит ли четырехсот тысяч подарков? — спросил Николай. — Москва велика.

— С избытком, — уверенно сказал Федор Иванович. — Для народа главное — развлечения.

— Хлеба и зрелищ требовал еще плебс в Риме, насколько мне помнится, — заметил капи-

тан. — Отсюда следует, что мы просто шествуем проверенным классическим путем?

— Традиционное заблуждение русских правителей — в перестановке этих требований: «зрелищ и хлеба!» — несогласно проворчал Роман Трифонович. — Не в этом ли заключается пресловутый особый путь России, генерал?

— О господи! — сказала Варвара и встала. — Извините, но я удаляюсь, господа.

Она вышла.

— Вот и Варенька не выдержала, — вздохнул Николай.

Хомяков поднял палец, и два шустрых молодца в униформе, расшитой галунами, тут же наполнили бокалы.

— У меня несносный характер, — сказал Роман Трифонович. — Но что поделать, когда испытываешь постоянный зуд в душе? Где реформы, друзья мои? Где реформы? Россия топчется на месте, как бегемот в клетке.

— Россия медленно запрягает, — улыбнулся Николай.

— Так сначала извольте научить ее запрягать! — не выдержал Хомяков. — Примите необходимые законы, обеспечьте их исполнение, прижмите к ногтю мздоимство чиновников,

начиная с первого класса по четырнадцатый включительно. Ну есть же пример, есть: Европа. Нет, кому-то очень выгодно, чтобы Россия сидела в собственном болоте. Очень выгодно!

— Двадцатый век все расставит по местам, Роман Трифонович, — улыбнулся генерал Олексин. — Решительно и бесповоротно. Ты не учитываешь инерционной мощи русского народа, а напрасно, она весьма и весьма велика. И бомба Гриневицкого, убившая государя императора Александра Второго в день, когда на его столе лежала Конституция, тому пример. Естественно, это между нами, господа.

— Ты веришь в некие знамения, Федор?

— В предопределения, Коля. В предопределения самой истории. И сам факт священной коронации Их Императорских Величеств накануне грядущего века есть великое предопределение. Великое божественное предзнаменование для Святой Руси!

2

Москва продолжала прихорашивать свой парадный подъезд. Каменщики перебирали мостовую на Тверской, кровельщики меняли водосточные трубы, маляры перекрашивали

фасады домов, плотники усердно сколачивали многочисленные обелиски, арки и трибуны. Это привлекало великое множество праздношатающихся зевак, карманных воров и полиции, следящей, впрочем, куда больше за любопытствующей публикой, нежели за любознательными карманниками.

— Злые языки утверждают, что обер-полицмейстер Власовский собирал всех московских воров, так сказать, на совещание, — рассказывал Викентий Корнелиевич. — И очень просил их тщательно ощупывать карманы москвичей на предмет нахождения револьверов, обещая за это закрыть глаза на все прочие проделки.

Вологодов был очень занят, но старался посещать Хомяковых при малейшей возможности. Умный сановник нравился как Роману Трифоновичу, так и в особенности Варваре, но с той, ради кого Викентий Корнелиевич столь настойчиво стремился в этот особняк, ему никак не удавалось встретиться. Вечерами она упорно отказывалась выходить, ссылаясь на усталость, а днями пропадала на московских улицах почти все светлое время.

— Наденька, в конце концов, это становится неприличным и, извини, смешным.

— Этот старый ловелас попытался приволокнуться за мной, когда я служила в горничных.

Естественно, Вологодов не знал об этом разговоре, равно как и о причинах столь демонстративного остракизма. Впрочем, об этих причинах не ведала и сама Наденька, действовавшая по древнему девичьему принципу «А вот так!..». Викентий Корнелиевич очень огорчался, но упорно продолжал наносить визиты, пользуясь дружеским дозволением хозяев не церемониться. Не потому, что на что-то надеялся — ни на что он давно уже не надеялся! — а потому, что до горькой тоски и глухой боли стал ощущать свое холостяцкое одиночество. Особенно — вне стен этого дома.

Теперь он частенько думал, что сам себя обрек на это тягостное одиночество в жизни. Не в домашнем кругу, не среди друзей, не в компании сослуживцев, наконец. Нет, в самом существовании своем во всех его проявлениях. Семейных, личных, дружеских, служебных. Последнее время — он избегал начинать этот грустный отсчет со дня знакомства с Наденькой Олексиной, хотя это было именно так — он стал с трудом засыпать, выискивая причины собственной самоизоляции чуть ли не с дней собственного детства.

Он родился в весьма состоятельной семье видного дипломата, вскоре после его рождения отъехавшего в Лондон по долгу службы. Там, в Англии, он получил прекрасное, но чисто английское образование, в корне отличавшееся от образования русского не по объему предлагаемых знаний, не по способу преподавания, а по первенствующей роли воспитания в каждом молодом человеке истинного джентльмена. Корректного, суховатого, неизменно вежливого и не позволяющего себе внешних проявлений чувств ни при каких обстоятельствах. Он стал скорее замкнутым, нежели неразговорчивым, скорее сдержанным, нежели флегматичным, не то чтобы совсем лишенным темперамента, скорее как бы вмороженным в ледяную глыбу. Именно это бросающееся в глаза английское воспитание, столь отличное от привычного русского, и обеспечило ему стремительное продвижение по чиновничьей лестнице, поскольку ко времени его возмужания отец уже скончался, а дипломатическое его поприще сын наследовать не пожелал по сугубо личным причинам.

Не пожелал, потому что дул на воду, ожегшись на молоке. Еще будучи студентом Оксфорда, он безоглядно влюбился в девушку из старой и уже

обедневшей аристократической семьи. Однако он был достаточно богат, чтобы чисто по-русски о такой мелочи не задумываться, и все шло без сучка без задоринки, включая официальную помолвку. Добившись ее и донельзя обрадовавшись, он решил немедленно поехать в Россию, поскольку родители вернулись к родным пенатам по завершении отцом дипломатической службы. Однако родня официальной, сговоренной и оглашенной невесты не пожелала отпускать ее до венца вместе с женихом, заменив далекую Россию на близкий Париж.

Из Парижа английская невеста не вернулась. Родители предпочли пожилого французского графа молодому русскому студенту, не вдаваясь в объяснения. Викентий Корнелиевич Вологодов бросился за ними во Францию, желая хотя бы получить разъяснения от бывшей невесты и одновременно боясь этих разъяснений. В Париже он никого не нашел и поехал по следам сначала в Италию, затем в Швейцарию, Австрию и снова во Францию, где наконец-таки некий доверенный представитель счастливого графа настоятельно порекомендовал ему прекратить все попытки добиться свидания с бывшей невестой, пригрозив в противном случае официально обвинить его в

преследовании с дурными намерениями.

— Вы ведете себя не по-джентльменски, месье, что дает графу право искать защиты от вашей назойливости у полиции.

Вологодов немедленно выехал на родину, месяц выжигал в себе не только любовь, но и саму память о ней, поступил на службу, в которой нашел если не утешение, то забвение. Жил одиноко, появлялся в обществе только в случае необходимости, и женщин для него более не существовало.

Он заново открыл их, повстречавшись с Наденькой Олексиной.

А Наденька вместе со своей горничной бродила по шумной, многолюдной Москве с горящими глазами и ликованием в сердце и не подозревая, что стала необыкновенно желанной и, увы, недоступной принцессой последней сказки суховатого и — еще раз увы! — уже немолодого одинокого мужчины. Сейчас ее интересовало совсем иное — степенно обедающие из общего котла артельщики, чумазые трубочисты, звонкий выезд пожарных…

— Смотри, смотри, Феничка, гнедые понеслись!

— Стало быть, Арбатская часть выехала, ба-

рышня, — важно поясняла горничная. — Это у них гнедые битюги.

Темно-русая головка и толстая пшеничная коса, выглядывающие из-под двух одинаковых шляпок, постоянно мелькали в самых людных местах. Обладательницы их вместе с артельным людом весело хохотали над мальчишкой-штукатуром, неосторожно шагнувшим в известковый раствор; старательно перевязывали голову бородачу-плотнику, не успевшему увернуться от упавшей доски; с радостной готовностью относили записку подрядчика, которому ну никак невозможно было отлучиться даже на соседний участок. К ним скоро настолько привыкли, что стали приветливо здороваться, меж собой называя их «Феничкой с барышней».

— Варенька, там такие замечательные люди, такие интересные! Я непременно напишу о них, непременно! И нисколько не хуже, чем господин Гиляровский, вот увидишь. Дядя Роман, ты ведь меня понимаешь, правда?

Хомяков понимал, озорно подмигивая.

— Вот у них — идеи, — говорил он. — А у нас — некая сумма смутных мечтаний и туманных представлений, далеко не всегда правильная к тому же.

— Идей много, — строго предупреждала Варвара. — Только, пожалуйста, не старайся запоминать непереводимой игры слов. Даже во имя жизненной правды.

Впрочем, она беспокоилась напрасно. При девушках никогда и никто не позволял себе ни одного дурного слова. Даже когда доска упала на плотника, он только прорычал:

— Ах, чтоб тебя!..

Так что гуляний их ничто не омрачало. И бродили они до изнеможения.

— Барышня, за нами ктой-то следит, — зловещим шепотом сообщила как-то Феничка.

— Кто следит?

— Да вон, тощий такой. В гимназической фуражке.

Наденька оглянулась. Действительно, позади стоял совсем еще юный господин в далеко не новой гимназической фуражке, из-под которой во все стороны лезли упрямые завитки белокурых волос. Заметив, что на него смотрят, юноша тотчас же отвел глаза.

— Весь день бродит след в след, — пояснила Феничка. — Может, бомбист какой?

— Почему же непременно бомбист?

— Не знаю.

— Проверим. Иди не оглядываясь.

— Куда идти?

— За мной.

Наденька быстро пошла от Триумфальной к дому генерал-губернатора. Однако на подходе к Скобелевской площади народу оказалось столько, что шаг пришлось существенно укоротить. Может быть, поэтому Надя не выдержала и снова оглянулась. Белокурый юноша упорно шел сзади.

— Прилип как банный лист, — недовольно шептала Феничка. — Может, городового позвать?

— А в чем он провинился? В том, что на тебя смотрит?

— Он на вас смотрит, барышня.

— Ну и что? И пусть себе смотрит. Вот сейчас подойду к нему и спрошу…

Наденька остановилась, повернулась лицом к преследователю и решительно уставилась ему в глаза. Юноша засмущался, опустил голову, но не ушел, и толпа толкала их почти одновременно.

«Сейчас я ему все выложу! — сердито подумала Надя. — Наглость какая!..»

Она и впрямь шагнула к нему, но гимназист вдруг странно изогнулся, словно пытаясь то ли от кого-то отбиться, то ли кого-то схватить. Возникла

некая дополнительная толчея, шум, почти тотчас же раздался свисток, и к этому месту устремился рослый городовой, доселе почему-то невидимый.

— Р-разойдись! Что за крик?.. Прошу предъявить пачпорт.

— У меня нет паспорта, — растерянно сказал гимназист, поскольку последние слова городового относились к нему.

— Тогда пожалуйте в участок!

— Но ко мне залезли в карман…

— Пожалуйте в участок!..

— На каком основании? — строго спросила Наденька, к тому времени уже пробившаяся к ним. — К этому господину действительно залезли в карман.

— А вы кто такая будете, мамзель?

— Я — племянница Романа Трифоновича Хомякова. А этот господин приехал к нему из… из Костромы.

— Верно! — закричали с лесов артельщики. — Ты вон лучше карманника лови, селедка!..

— Что творится? — заворчали в толпе. — Честных людей хватают средь бела дня, а ворье что хочет, то и делает.

— И в такое знаменательное для всей Святой Руси время!

— Нет, надо искать на них управу. У меня, знаете ли, третьего дня семь рублей из кармана увели…

— Из кармана, говорите?.. — растерянно спросил городовой, не зная, что предпринять для приличного отступления.

— Держи вора! — завопили с лесов.

— Держи вора! — тотчас же откликнулся городовой.

Подхватив шашку, он засвистел и кинулся куда-то в толпу. Сверху, с лесов, заулюлюкали, засвистели, захохотали. Прохожие как ни в чем не бывало тут же двинулись по своим делам, и молодые люди остались вдвоем. Но только на мгновение, потому что к ним наконец-то пробралась Феничка.

— Детина какой-то растопырился, ни тебе ходу, ни проходу, — недовольно сообщила она.

— У вас и вправду что-то украли? — строго спросила Наденька нескладного гимназиста.

— Украсть не успели, но в карман залезли. Я хотел было схватить вора за руку, только он вырвался.

— А зачем вы нас преследовали?

— Я… — Юноша очень смутился, опустил голову, и уши его начали краснеть. — Извините.

— А кто ты есть? — сердито спросила Феничка. — Почему ты из Костромы?

— Я не из Костромы.

— А барышня сказала, что из Костромы!

— Это ошибка. — Гимназист в явно тесном мундирчике снял фуражку, застенчиво поклонился. — Еще раз прошу меня извинить за назойливость, с которой я…

Он окончательно смутился и угнетенно замолчал, не решаясь поднять голову. Надя улыбнулась.

— Почему же вы вдруг замолчали?

— Позвольте представиться, — вдруг сказал молодой человек, с отчаянной решимостью подняв голову. — Нижегородский дворянин Иван Каляев.

3

И дальше они пошли втроем.

— Я только что досрочно закончил в гимназии, — рассказывал Ваня, все еще немного смущаясь. — Потому досрочно, что очень уж хотел увидеть коронацию.

— Сбежали из дома?

— Нет, что вы, Надежда Ивановна. Я к тете приехал, у меня тетя в Москве живет. На Неглин-

ке. А осенью поеду поступать в Петербургский университет.

— А почему же не в Московский?

— Н-не знаю. Может быть, и в Московский. — Ваня помолчал, добавил решительно: — Я Москвы совершенно не знаю. А в Петербурге бывал два раза.

— Тетю, значит, до сей поры не навещал? — подозрительно отметила Феничка.

— Нет, что вы, — смутился недавний гимназист. — Как можно, остановился у нее…

— Мы вам покажем Москву, — улыбнулась Надя. — И начнем с Кремля.

На Красной площади и в Кремле шли особенно напряженные работы, поскольку именно здесь и должно было происходить таинство священного коронования. Строили помосты и переходы, готовили иллюминацию, громоздили деревянный слив в Москву-реку с Тайницкой башни. В некоторые места вообще не пропускали, но главное показать Ване Каляеву все же удалось. А когда вышли к Манежу через Троицкие ворота, Наденька решительно объявила:

— Сегодня вы обедаете у нас, Ваня.

— Что вы! — растерялся юноша. — Мы так мало знакомы и… и мундир у меня…

— У нас принимают не по мундиру, — улыбнулась Надя. — Феничка, возьми лихача.

Лихач и особняк, возле которого Наденька велела остановиться, настолько потрясли Ваню, что он окончательно сник. А тут еще — швейцар, дворецкий, прислуга в ливреях…

— Я представлю гостя сама, Евстафий Селиверстович.

Зализо невозмутимо принял потрепанную фуражку, предупредительно открыл двери.

— Мой друг, нижегородский дворянин Иван Каляев, — с некоторым вызовом объявила Надежда.

— Рад познакомиться, — серьезно сказал Роман Трифонович, крепко, как всегда, пожимая руку молодому человеку. — Иван… простите, не знаю отчества.

— Ваня.

— Здравствуйте, Ваня, — чересчур вежливо улыбнулась Варвара. — Извините, отдам кое-какие распоряжения.

И вышла, полоснув взглядом по лицу сестры, сияющему непонятным озорным торжеством.

— Садитесь, Ваня, садитесь, — с искренним радушием говорил Хомяков. — Вина, сигару?

— Нет… То есть… нет.

— Позвольте оставить вас одних, — сказала Наденька. — Встретимся за обедом.

— Да вы не смущайтесь, Ваня, — добродушно улыбнулся Роман Трифонович, когда Надя ушла. — Здесь не кусаются, а лишних за столом не будет, так что располагайтесь как дома. Признаться, люблю ваш Нижний, ежегодно бываю на ярмарке…

Пока в гостиной происходил мужской разговор, на втором этаже особняка состоялся разговор женский.

— Мне надоело это беспрерывное и, извини, бестактное фраппирование, Надежда. Ты бесконечно избалована и непозволительно эгоистична.

— Бог мой, сколько ненужных эпитетов!

— Полагаешь, что тебе все дозволено? Так знай, что тебе не дозволено бросать тень на мой дом!

— Тощая тень бездомного гимназиста никак не отразится на твоем величии, сестра.

— На моем — да! А на деловой репутации Романа?

— При чем здесь деловая репутация? Господин Каляев — не делец, не светский прощелыга, а просто большой ребенок.

— Мы живем под увеличительным стеклом, потому что вся Москва люто завидует нам и нена-

видит нас за собственную зависть! Это, надеюсь, тебе понятно?.. — Варвара помолчала, давая сестре возможность усвоить сказанное. — Марш переодеваться к обеду!

Роман Трифонович сумел несколько расковать гостя от тяжких вериг первого смущения, а за столом Ваня освоился окончательно. Он был скромен, умен и достаточно воспитан, для того чтобы справиться с природной застенчивостью, и обед прошел почти непринужденно. Настолько, что даже Варвара в конце концов начала улыбаться без всякой натянутости.

— Я оказалась права? — спросила Наденька, когда дамы удалились на свою половину.

— Он непосредственен и очень мил. И все же помни, что я тебе сказала.

Следующий день начался дождем. Не звонким весенним, а тусклым, унылым и безнадежным. Все небо затянули тучи, тяжелые и однообразные, как солдатские шинели. Порывы резкого холодного ветра гоняли по улицам стружки, обрывки рогож, ветошь и паклю. Но Москва уже ни на что не обращала внимания, продолжая пилить, рубить, стучать, красить и грохотать.

— Не придет он, барышня, — сказала Феничка, вручая Наде раскрытый зонтик.

Но Ваня пришел и терпеливо ждал именно там, где вчера условились: под аркой городской думы.

— Не промокли?

— Нет. Я бегом, Надежда Ивановна.

И улыбнулся с такой счастливой готовностью, что Наденька впервые ощутила в душе доселе незнакомое ей, странное, какое-то очень взрослое чувство. И сказала:

— Подождем, пока Феничка сбегает в лавку.

— Зачем? — удивилась Феничка.

— Мужской, — кратко пояснила Наденька.

— Ага!..

Феничка убежала, и молодые люди остались одни. И молчали, но — по-разному. Ваня маялся в поисках начала беседы, а Наденька спокойно улыбалась доброй взрослой улыбкой.

— Я… То есть вы себя чувствуете?

— Чувствую, — несколько удивленно подтвердила Надя. — А вы себя?

— Я забыл спросить как?

— Замечательно. А вы, Ваня?

— И я замечательно.

Феничка принесла большой мужской зонтик.

— Держите крышу, господин Ваня.

— Что вы! Что вы! — Иван замахал руками и

даже попятился. — Это совершенно невозможно.

— А болеть возможно? — спросила Наденька. — Простудитесь, и тетя не пустит вас на коронацию.

— Но я не могу…

— …гулять под дождем, — закончила Надя. — Но посмотреть, как Москва готовится к великому торжеству, просто необходимо. Берите зонтик, берите, берите. И за мной, поскольку я ваш чичероне на все дни вашего пребывания в Москве.

Сначала они осмотрели четыре обелиска перед городской думой. Огромные сооружения с декоративными позолоченными щитами и гербами на вершинах. Затем декорационную арку у Большого театра, убранную шкаликами для свечной иллюминации, и обелиск с Императорской колонной на углу Охотного ряда и Тверской.

— Ну и каково впечатление, Ваня?

— Да… — Юноша помолчал, потом добавил со смущенной решимостью: — Много.

— Чего много?

— Не знаю. Теса много, краски. Много формы, она само содержание задавила. Может быть, в этом и заключается русский стиль, Надежда Ивановна?

— Ого! — Наденька с удивлением посмотрела

на него. — Да вы, оказывается, совсем не так просты, каким изо всех сил стремитесь выглядеть.

— Я не стремлюсь, — сказал Каляев. — Я…

И замолчал, начав неудержимо краснеть.

Глава пятая

1

В тот день Надя опоздала с приглашением на обед, потому что Ваня успел отказаться раньше, сославшись на данное тете обещание. Наденька подозревала, что в Москве никакой тети у Каляева нет, но встретила его отказ с известным облегчением, не желая раздражать Варвару ежедневно. Но это облегчение вызвало в ней досаду и какое-то кисловатое, что ли, презрение к себе самой, и домой она пришла в весьма дурном настроении.

— У нас дорогой гость, — по-свойски шепнул Евстафий Селиверстович.

— Кто?

— Громкий.

— Я приду прямо в столовую.

— Нет, нет, Роман Трифонович непременнейшим образом просил пожаловать сначала в гостиную. Обед все равно задержится, господина Вологодова ждем.

«Этого еще не хватало», — скорее по привычке, нежели с огорчением подумала Наденька, под-

нимаясь к себе.

С помощью Фенички она быстро переоделась, размышляя, кого дворецкий подразумевает под псевдонимом Громкий. Поправила прическу и, сердито повздыхав, спустилась вниз.

— А вот и наша Надежда Ивановна! — объявил Хомяков.

С кресла поднялся коренастый немолодой господин с аккуратно подстриженной бородкой, но Наденька смотрела не на него. Она не могла оторвать глаз от бронзового жетона с вензелями государя императора и императрицы в центре на голубой эмали. «Это же корреспондентский значок!..» — мелькнуло в голове.

— Василий Иванович Немирович-Данченко, — представил гостя Роман Трифонович. — Наш старый друг.

— Старинный, — улыбнувшись, поправила Варвара.

— Слышал о вас давно, читал вас недавно, — сказал известный всей России беллетрист и знаменитый еще по Русско-турецкой войне корреспондент. — Очень рад знакомству. Позвольте пожать вашу руку, коллега. Гуляли по Москве?

— Мне нравится, когда работают с энтузиазмом. Это ведь тоже праздник, не правда ли?

— И самый искренний, заметьте. А как вам понравилось убранство нашей Первопрестольной?

— Кажется… — Наденька на мгновение запнулась, — больше формы, чем содержания.

— Очень точное замечание, Надежда Ивановна, бьющее в цель, что называется. Очевидно, черта внешней неуклюжести — в самом характере всей русской природы. И не задавить ее никакими изобретениями американского технического гения. Пройдет, господа, девятнадцатый век, наступит век двадцатый, а наш Микула Селянинович останется все тем же мощным и добросердечным, но неповоротливым и корявым героем русской фантазии. Наденут на него фрак английского покроя и перчатки не существующего по размерам номера из французского магазина Кордье, научат и говорить на всех двунадесяти языках, а все-таки в самую вдохновенную минуту свою он вдруг так двинет плечом, что английский фрак расползется по всем швам и откроет миру все ту же скромную русскую косоворотку.

— Признайся, Василий Иванович, что ты только что цитировал самого себя, — усмехнулся Роман Трифонович. — Уж слишком вычурно, под стать московским декорациям.

— Не пропадать же хорошим сравнениям

втуне! — весело рассмеялся корреспондент. — Надежда Ивановна меня понимает. Не правда ли, коллега?

Наденька кивнула и улыбнулась. Ей сразу же понравился неожиданный гость. Живой и непосредственный, хотя явно тяготеющий к монологам.

— В самом деле, что такое наша Первопрестольная? — Василий Иванович испытал новый приступ красноречия, получив девичье благословение. — Холмы да холмы, кривые и узкие улочки да переулочки, примитивные мостовые, которые ремонтируют по два раза в год, а то и почаще. Ужасные, в полном смысле слова, азиатско-отчаянные пролетки с еще более отчаянными лихачами, а сюда вся Европа нагрянула да плюс еще и старый соперник — строгий и чинный Петербург. И чем же прикажете прикрыть средневековость Первопрестольной? Проще всего — русско-византийским сочетанием красок. Синей да красной, да сусального золота побольше. А от всего, вместе взятого, возникает какой-то пряничный… — он пощелкал пальцами, подыскивая сравнение позабористее, — запах, знаете ли…

В дверях неожиданно появился Зализо.

— Господин Вологодов!

— Как раз к обеду, — сказала Варвара. — Распорядитесь, Евстафий Селиверстович.

Разговор возник за десертом, когда Хомяков спросил Викентия Корнелиевича о московских новостях.

— Расселение — моя головная боль, поскольку поручено именно им и заниматься. Посольства и представительства прибывают целыми поездами, все, естественно, требуют удобств, но, надо отдать им должное, за деньгами не стоят, платят, сколько запрашивают. Французское посольство, например, сняло Охотничий клуб на весь май за двадцать две тысячи рублей.

— А рыбешку помельче в какой вентерь загоняете? — поинтересовался Василий Иванович.

— Сняли гостиницы. Кроме «Большой Московской» — «Славянский базар», «Континенталь», «Метрополь», «Петергоф». Меблированные комнаты ангажировали — «Кремль», «Княжий двор», «Свет», «Надежда». Сложнее с людьми, которые там проживали, а теперь оказались вынужденными переселяться на частные квартиры. Представляете, насколько в Москве сразу же взлетели цены на жилье?

— Да, уж москвичи охулки на руку не положат, — усмехнулся Роман Трифонович.

— К сожалению, владельцев охватила горячка — сдают квартиры по такой цене, чтоб она за месяц покрыла двухгодовой обычный платеж, — сказал Вологодов. — Разумеется, сразу же пошли жалобы, но что мы можем поделать?

— Верно ли говорят, Викентий Корнелиевич, что за комнату на Тверской, за которую до этого платили двадцать пять рублей в месяц, теперь требуют никак не меньше двухсот пятидесяти? — спросил Немирович-Данченко.

— Совершенно верно, Василий Иванович. Да что там! Представьте, что только за право смотреть из окна на проезд государя берут не менее пятнадцати рублей.

— Совсем народ обнаглел, — вздохнула Варвара.

Роман Трифонович рассмеялся:

— Первичный капитал сам в руки идет, ну и слава богу! Разумно распорядятся — новые рабочие места получим, новых коммерсантов, а то и новых предпринимателей.

— А как же с духовностью?

— Духовность, Варенька, не в том, чтобы медяки нищим разбрасывать да бесплатными обедами неимущих старичков со старушками кормить. Истинная духовность, с моей точки зрения, в

том, чтобы для бедных строить школы, дешевые дома, да хотя бы просто богадельни. А мы предпочитаем вместо этого церкви громоздить, хотя в Москве их и так уж сорок сороков.

— Да, Европа куда разумнее вкладывает деньги, нежели мы, — согласился Викентий Корнелиевич. — Что поделать, господа, такова традиция. Благодарю, Варвара Ивановна, благодарю, господа, обед был отменным. Впрочем, как и всегда. А меня извините. — Он отложил салфетку и поднялся. — Шестого мая, следовательно, уже в понедельник, Их Императорские Величества прибывают в Москву на Брестский вокзал. И уж оттуда экипажами — в Петровский дворец, а посему дел у меня — выше головы, как говорится.

— Как это, должно быть, интересно, — вздохнула Наденька.

— Что именно, Надежда Ивановна? — живо откликнулся Викентий Корнелиевич.

— Переезд императора с императрицей в Петровский дворец. — Надя искоса бросила на Вологодова проверяющий взгляд. — Любопытно было бы посмотреть, такое случается раз в жизни.

— Это невозможно, Надя, — сказала Варвара. — Государя встречают только члены импера-

торской фамилии и особо приглашенные на эту церемонию.

— Это действительно невозможно, — улыбнулся Вологодов. — Но для вас, Надежда Ивановна, я сделаю и невозможное.

И, поклонившись, тут же вышел. Точно вдруг застеснялся собственных высокопарных слов.

2

Утром Надя и Феничка опять встретились с Ваней Каляевым на условленном месте. Опять сеял мелкий нескончаемый дождик, было ветрено и прохладно, однако народу на улицах если и стало поменьше, то ненамного. А работы продолжались едва ли не еще энергичнее, нежели прежде, только что грязи изрядно прибавилось, да доски, через которые то и дело приходилось перебираться, стали теперь скользкими и неустойчивыми.

Молодые люди неторопливо двигались вместе с любопытствующими вверх по Тверской. Многочисленные разносчики лимонада и сбитня, пряников и конфет, пирожков и пышек, груш, яблок, лимонов и апельсинов перебрались с тротуаров под навесы крыш, а то и под леса, но зазывали еще настойчивее, чем прежде.

— Ладно хоть не пристают сегодня, — говорила

Феничка. — А то ведь прямо за рукава хватали.

— Не простудитесь, Ваня? — беспокоилась Наденька. — Весенний дождь прилипчив и холоден.

— Нет, что вы, Надежда Ивановна, я ведь всего лишь выгляжу хилым, а на самом-то деле совершенно здоров, — обстоятельно объяснил Ваня. — А Москва, оказывается, и в дождь интересна. Знаете, только теперь и понял, что имел в виду Пушкин.

Они как раз вышли на Страстную. Вероятно, поэтому Иван и вспомнил о каких-то пушкинских словах.

— Что же именно?

— Он говорил, что Петербург — прихожая, а Москва — девичья. В девичьей и в дождь весело, а в прихожей и при солнышке неуютно. В его дневниках есть такая запись, а я домашнее сочинение по этим дневникам писал, когда сдавал экстерном в гимназии.

— И как же вы назвали свое сочинение?

Каляев застенчиво помолчал. Но решился:

— «Неспетые песни». Глупо, конечно. — Он поднял голову, глянул на памятник. — Вы уж простите, Александр Сергеевич.

— Совсем не глупо.

— Вы так считаете? — оживился Каляев. — Знаете, Надежда Ивановна, я из того исходил, что гений никогда не успевает пропеть всего, что рождается в его душе. Он оставляет нам лишь незначительную долю того, чем был переполнен, как море. Может быть, отсюда и последние слова Гамлета: «Дальнейшее — молчание»? Ведь принц Датский не смерти боялся, а — безгласия.

— Грустно, — вздохнула Надя.

— Очень грустно, — согласился Иван. — Конечно, гений — это недосягаемый пример, но я думаю, что любой человек, даже самый обыкновенный, самый ничтожный, уносит с собою в небытие свои неспетые песни. Ах, как бы сделать так, чтобы все Акакии Акакиевичи и Макары Девушкины успели бы спеть…

— Ой! — вдруг вскрикнула Наденька. Она шла по мокрым доскам, нога соскользнула, и каблучок провалился в щель между ними.

— Сейчас, сейчас! — всполошился Каляев. — Феничка, пожалуйста, поддержите барышню.

Он раздвинул доски, осторожно вытащил Наденькину ногу вместе с туфелькой. Спросил озабоченно:

— Не больно?

— Не больно. А каблук — пополам.

— А все потому, что на меня не опираетесь! — рассердилась Феничка. — Самостоятельная какая!

— Так это ж нам в пустяк! — раздался веселый мальчишеский голос.

Рядом с ними вдруг оказался паренек в насквозь мокрой сатиновой рубахе, подпоясанной витым поясом с кистями. Из-под лихо сдвинутой набекрень фуражки лезли черные кудри.

— Позвольте туфельку. Только присядьте сперва. Вот сюда, под леса, здесь не каплет. Господин гимназист, подсобите барышне.

Надя не успела опомниться, как ее усадили на сухие доски под строительными лесами, предупредительно подстелив мешковину. Рядом оказался артельщик в картузе:

— Из-за нас неудобство потерпели, барышня. Но ничего, коль нога цела. Мой Николка на все руки мастер. На совесть сделать, Николка!

— А мы завсегда на совесть. — Николка сверкнул зубами и куда-то умчался, захватив Наденькину туфлю.

— Сынок мой, — с гордостью пояснил артельщик. — К любой работе приспособность имеет. Что тебе, понимаешь, башмак починить, что по плотницкому делу, что по малярному…

— Дорогу! Дорогу!

— Гляньте-ка! — вдруг воскликнула Феничка. — Чудо какое везут-то!..

Мимо них по Тверской медленно и несколько торжественно проезжала огромная грузовая платформа, запряженная парой мохнатых битюгов. На платформе лежала неправдоподобно большая белужья голова, на сцепленной с нею второй такой же платформе размещалось гигантское, покрытое слизью черное тело, а на третьей — и сам хвост, возвышающийся, будто кусок недостроенного обелиска. Впереди ехал верховой, выкрикивая:

— Посторонись, православные! Посторонись!..

А вокруг бежали мальчишки с восторженными криками, спешили взрослые с гомоном и смехом.

— Чудо-юдо, рыба-кит… — сказал Ваня Каляев.

— Белугу везут, — удивленно заметил артельщик. — К царскому столу, поди. Живую вроде.

— Без воды? — усомнилась Надя.

— Снулую везут-то. Водкой опоили, чуете, барышня?

Вокруг огромной рыбины витал не только речной, но и впрямь водочный запах.

— Ей под зебры тины напихали и водкой поли-

вают, — пояснил артельщик. — К царскому столу, никак не иначе…

— Вот так встреча! Надежда Ивановна, вы ли это?

Перед Надей остановился сопровождавший обоз коренастый мужчина в распахнутом макфарлане, из-под которого выглядывал клетчатый американский пиджак со значком корреспондента на лацкане.

— Василий Иванович?

— Он самый, — улыбнулся в бородку Немирович-Данченко. — Рыбкой заинтересовался. Точнее, не столько чудом этим волжским, сколько реакцией москвичей, непосредственных, как дети. И, как дети, прямо упивающихся сенсациями!

— А куда ее везут?

— В Петровский дворец. Прямиком из баржи на Москве-реке.

— А что, господин хороший, в нетрезвом виде, верно? — спросил артельщик.

— Да уж водки не жалеют! — Василий Иванович наклонился, спросил обеспокоенно: — Что случилось, Надежда Ивановна? Почему здесь сидите?

— Каблук сломала, — вздохнула Наденька. —

Надо же такое невезенье. Это наш друг Иван Платонович Каляев.

— Ваня, — скромно уточнил Каляев, с поклоном пожимая протянутую руку.

— И моя верная Феничка.

— Наслышан, рад познакомиться, — улыбнулся Василий Иванович. — Ну и коса у тебя, Феничка! Можно потрогать?

— Трогайте, если желательно, — чуть зарумянившись, согласилась Феничка.

— Коса — девичья краса, — сказал Немирович-Данченко, осторожно взвесив на руке Феничкину косу.

— Готово, барышня! — Откуда-то появился сияющий Николка с туфелькой в руке. — Извольте примерить.

— Как новенькая. — Надя притопнула каблучком. — Спасибо тебе, Николка.

— Чудо-юдо ты пропустил, Николка, — сказал отец. — Рыбину провезли пудов на сто с гаком.

— Где? — встрепенулся Николка.

— Вон, к Трухмальной подъезжают. Поспеешь еще.

Николка тут же сорвался с места, помчавшись вослед обозу. Артельщик решительно отказался от предложенной платы, но перед дюжиной пива

не устоял:

— Это с нашим удовольствием. Спасибо, барин.

— Куда направляетесь? — спросил Василий Иванович, рассчитавшись с артельщиком. — Может, вместе пойдем? Меня волостные старшины на обед пригласили. Вам, коллега, было бы весьма полезно с ними познакомиться.

— С огромным удовольствием, Василий Иванович!

Представители волостей России были размещены в театре Корша — любимом театре москвичей. Повсюду, даже в гардеробе, одна к одной стояли простые железные койки, застеленные байковыми солдатскими одеялами. А столовая размещалась в зрительном зале: волостных старшин кормили бесплатно два раза в день обедом из двух блюд, к которому полагался стакан водки, а пива и чаю — сколько душа запросит. Степенные, аккуратные мужики сидели все вместе, плечом к плечу — вятские и таврические, иркутские и смоленские, русские и нерусские: черноусые причерноморские греки, рыжеватые, крепкие — один в один, как желуди, — немцы, рослые латыши и литовцы, светловолосые худощавые белорусы, поляки и русины, болгары и сербы, румыны, венгры, молдаване. Здесь бы-

ли те из подданных России, кто исповедовал христианство: представители иных конфессий размещались отдельно.

— Хлеб да соль! — сказал Василий Иванович, поклонившись общему столу.

— Сделайте милость откушать с нами, господа хорошие.

Дружно потеснились, сдвигая оловянные миски. Кто-то помоложе мигом принес чистые приборы для незваных гостей.

— Ласкава просимо! — пригласил старый, заросший белой до желтизны бородой белорус.

— Здесь следует слушать, — тихо объяснил Наденьке бывалый корреспондент. — Отвечать, только если спросят.

Им тут же наложили по полной миске густых щей, поднесли по стакану водки. От водки молодежь, поблагодарив, отказалась, а Немирович-Данченко со вкусом употребил свою порцию в два приема.

На них деликатно не обращали внимания, чтобы не смущать, продолжая степенный хозяйственный разговор.

— Три десятины, а маю с них четырех коней, трех коров, овец десятка два.

— И все — с трех десятин?

— Да вот-те крест!

— Да что ж за земля у вас такая?

— А такая, что хоть на хлебушек ее мажь. При деде родила, при отце родила, при мне родит и при внуках моих родить будет.

— Чудеса прямо! У меня — я сам вятский буду — восемь десятин наделу, а боле одного коня да коровки поднять не могу.

— Надо правильный севооборот, — с немецким акцентом сказали через стол. — Земля отдыхать должна. Хлеб убрал — клевер посеял. А еще можно горох или люпин.

— Чего?

— Цветок такой. Синий. Земле хорошо помогает. Потом скосишь, скотине скормишь.

— Скотину цветком не накормишь…

— Барышня, — вдруг, собравшись с духом, обратился к Наде немолодой рослый мужик. — Очень извиняюсь, конечно. Мир наказал блюдо резное для государя императора купить. Девятьсот шестьдесят восемь рубликов собрали. Вы, по всему видать, благородная, магазины знаете. А я в Москве как в звонком лесу, ей-богу! — Мужик широко перекрестился. — Одни дятлы кругом стучат.

— С большим удовольствием вам помогу, —

обрадовалась Наденька. — Прямо после обеда и пойдем на Кузнецкий, если вы, конечно, не заняты.

— Вот спасибо, барышня, вот спасибо, вот уважила! — обрадовался волостной представитель.

— А деньги у тебя, дяденька, не стащат? — обеспокоенно спросила Феничка. — В Москве народ шустрый.

— Так мои капиталы вона где! — Мужик звучно хлопнул ладонью по голенищу. — А сапог я только в магазине и сыму, когда барышня укажет, чего покупать.

Они хлебали щи старательно, выскребав миски до дна, чтобы не обижать добродушных хозяев. А вышли из театра Корша целой группой, потому что многие волостные депутаты побаивались шумных московских магазинов.

— Поздравляю, мадемуазель, первый экзамен на журналиста вы сдали, — улыбнулся Василий Иванович. — Сейчас вам предстоит второй, и я вам тут не помощник. «Смело гребите навстречу прекрасному против течения!..»

Молодые люди долго, до самого вечера, водили волостных старшин по магазинам, подбирая не только то, что надо было купить, но и за приемлемые для крестьян цены. И блюдо для царского

подарка удалось разыскать очень приличное: резное, отменной работы. Правда, стоило оно дороже собранных всем миром девятисот шестидесяти восьми рублей, но Ваня умудрился с глазу на глаз переговорить с хозяином, и тот ради такого случая согласился ровнехонько на спрятанную в сапоге сумму. Однако не без вздоха.

Потом они проводили довольных покупками волостных представителей к театру Корша, где долго и шумно прощались с ними, потому что всем хотелось в знак благодарности непременно пожать им руки и непременно — со всем чувством. А когда наконец прощание закончилось, условились с Ваней Каляевым, где встречаются следующим утром, и разошлись в разные стороны.

— Дядя Роман, с какими добрыми людьми я сегодня познакомилась! — с восторгом выпалила Надя, едва переступив порог.

И с подробностями изложила события этого необыкновенного и — верила — незабываемого дня.

— Дай тебе бог, Надюша, не скоро разочароваться, — невесело улыбнулся Хомяков.

3

Дожди шли беспрестанно, будто не май стоял на дворе, а гнилой, холодный октябрь. Лужи сверкали на мостовых и тротуарах, уже не впитываясь в мокрую землю, было ветрено, сыро и промозгло.

Шли дожди, но шли и работы. Москва продолжала украшать себя, и никто, в общем-то, не жаловался, кроме разве что маляров. Наденька, Ваня Каляев и Феничка ежедневно бродили под зонтиками по этой гигантской и очень оживленной строительной площадке, не забывая заглядывать в артель, где работал мастер на все руки Николка, если, конечно, было по пути.

Вологодов не появлялся, занятый по службе выше головы, и Надя уже подумывала, что не заглядывает он потому, что ему стыдно за пышные свои обещания. Но от этих мыслей ей почему-то было немножко грустно.

Но он пришел. Точнее, заглянул буквально на минуточку, «на одну сигару», как называл Роман Трифонович такие визиты. Однако, кроме выкуренной с Хомяковым сигары, Викентий Корнелиевич успел сказать Наде самое главное:

— Государь прибывает на Брестский вокзал поездом с Николаевского вокзала в пять тридцать

пополудни. Мне выделен кабинет для служебных надобностей, куда я готов провести вас, Надежда Ивановна, а также ваших друзей, но не менее чем за полтора часа до прибытия царского поезда. Так что, бога ради, извините за все неудобства разом: и ждать придется долго, и выходить из того кабинета не… не рекомендуется.

— Благодарю вас, Викентий Корнелиевич, — тепло улыбнулась Наденька. — Очень вам признательна, в указанное время мы будем перед вокзалом.

И покраснела вдруг, но отнюдь не от смущения, а от обжигающего чувства горделивости. Взрослый, занятой человек все-таки свершил для нее невозможное…

Вокзал западных направлений, официально именуемый Брестским, а москвичами — Смоленским, считался самым красивым вокзалом Первопрестольной. Конечно, не по этой причине государь затеял дополнительный переезд с Николаевской на Брестскую железную дорогу. Просто отсюда было значительно ближе до избранной им на время коронации резиденции — Петровского путевого дворца, в котором останавливались царствующие особы еще в те времена, когда не существовало железнодорожного сообщения

Санкт-Петербург — Москва.

По этой дороге государь и следовал в Москву на собственную коронацию. В Клину к нему присоединился прибывший на специальном поезде его дядя великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор второй российской столицы. И пока они там официально и неофициально приветствовали друг друга, Вологодов проводил Наденьку, Ивана Каляева и Феничку во временно отданный в его распоряжение служебный кабинет на втором этаже вокзального здания, окна которого выходили как на перрон, так и на привокзальную площадь.

— Прощения прошу, но вынужден вас запереть, — виновато улыбнулся Викентий Корнелиевич. — Ключ только у меня, вас никто не потревожит.

Он вышел, и молодые люди тотчас же бросились к наружным окнам, чтобы успеть как следует разглядеть площадь, пока не прибыл царский поезд.

Огромная толпа народа терпеливо мокла под косым холодным дождем. Перед нею на одинаковом расстоянии друг от друга стояли полицейские чины в потемневших от влаги белых мундирах.

А вся площадь, куда только ни достигал взор,

была увешана яркими полотнищами, флагами и русскими гербами. Прямо перед ними высились две колонны, с которых спускались огромные трехцветные стяги. По синему полю каждого полотнища золотом были вышиты инициалы Их Императорских Величеств: «Н» и «А». Рядом с ними расположился конвой из офицеров шефских полков: лейб-казаки в красных мундирах; гусары — в белых, с опушенными ментиками; уланы в круглых черных касках с черным четырехугольным навершием, подбитым алым сукном; конногвардейцы с золотыми орлами, увенчанными коронами; кавалергарды с серебряными орлами; кирасиры в блестящих кирасах; павловцы в высоких, наклоненных вперед касках. Все они совершенно неподвижно сидели под мелко сеющим дождем в седлах, пока позволяя своим лошадям всхрапывать и мотать мокрыми мордами.

А чуть в стороне от них у центрального подъезда стояли два экипажа: закрытая карета в паре серых в яблоках рысаков и открытая русская тройка.

— Государь с государыней поедут на тройке, если не будет дождя, — шепнула Надя.

Молодые люди смотрели жадно, стремясь уло-

вить и запомнить мельчайшие подробности. Все представлялось настолько необычным, интересным и значительным, что обмениваться впечатлениями пока казалось попросту недопустимой тратой драгоценного времени. А в пять часов с платформы донеслись крики, и они бросились к противоположному окну, выходящему на подъездные пути.

В крытой галерее центрального перрона был выстроен эскадрон почетного караула лейб-гвардии уланского Ее Императорского Величества Александры Феодоровны полка со штандартом и трубачами под начальствованием великого князя Георгия Михайловича. И вскоре стало слышно, как кричат махальщики:

— Едет! Едет!

Из павильона на платформу, к которой ожидалось прибытие царского поезда, начали выходить встречающие. Великие князья Владимир Александрович с сыновьями, Константин Константинович, Дмитрий Константинович, Николай Николаевич, Михаил Николаевич. Князья Романовские, принцы Ольденбургские, герцоги Мекленбург-Стрелицкие, принц Генрих Прусский. Генералы, сановники, члены Государственного совета, министры, свита Его

Величества, московский губернатор, губернский предводитель дворянства и городской голова.

— А генералов-то, генералов!.. — шептала пораженная многоцветием мундиров Феничка.

С торжественной медлительностью подошел поезд и так мягко, так плавно остановился, что казалось, будто он причалил. Открылись двери, и после императора и императрицы в строгой очередности начали выходить прибывшие. Августейшая дочь Их Величеств малютка великая княжна Ольга Николаевна впервые появилась в Москве на руках камер-фрейлины, следом шли великий князь Александр Михайлович, великая княжна Ксения Александровна и московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович.

Государь в форме гренадерского Екатеринославского Императора Александра Третьего полка принял рапорт главного начальника войск великого князя Владимира Александровича, поздоровался со встречающими и обошел фронт почетного караула. Оркестр заиграл гимн, и церемониал встречи был закончен.

А дождь продолжал идти, и императорская чета отбыла в Петровский дворец в закрытой карете, на запятках которой стоял до костей промокший

лейб-казак. Офицерский конвой, блеск которого тоже слегка полинял под беспрерывным дождем, сопровождал карету от Брестского вокзала до путевого Петровского дворца.

Молодые люди дружно вздохнули. Впервые с того момента, когда Вологодов деликатно повернул ключ в дверях.

— Красота-то какая! — восторженно сказала Феничка. — Нарядные все такие.

— Знаете, я ощутила почти священный трепет, — призналась Наденька.

— От лицезрения первых особ государства Российского? — улыбнулся Каляев.

— Это же — сама история. Олицетворение истории.

— Это всего-навсего немецкие курфюрсты, дорвавшиеся до русского престола.

— Ну как же можно так говорить, Ваня?

— А что для вас история, Надежда Ивановна? Перечень знаменательных дат? Героические биографии выдающихся личностей? Запас знаний, почерпнутых из учебника? Может быть, кафтаны, опашни, горлатные шапки да гридни с серебряными топориками?

— А для вас, Иван Платонович? — сухо спросила Надя.

— История — душа народа. Дух его, как утверждал Гегель. Дух, а не форма. А у нас — форма, но уж никак не дух. В таком выражении история делается безнравственной, Надежда Ивановна. Безнравственной, лживой и мертвой.

— Вы переполнены злым и фальшивым революционным пафосом, господин Каляев, — сухо отпарировала Надежда, неожиданно горделиво вскинув подбородок. — В конце концов, это наша история. Наша.

— Наша история — дворянское сочинение. — Каляев покраснел как помидор, но не сдавался. — Ее переписывали, переписывают и будут переписывать в угоду правящему классу.

— История — прежде всего наука.

— Только не в России, Надежда Ивановна, только не в России, забудьте об этом. Может быть, где-то, у кого-то — не исключаю, хотя и в этом не уверен. Но у нас она — до сей поры искусство, как у древних греков. Разница лишь в том, что они об этом говорили откровенно, вспомните музу Клио. Какая еще наука имеет музу-покровительницу? Только одна. История. — Каляев неожиданно мягко улыбнулся. — Извините меня, но вам снятся волшебные сны.

— А вам мятежные, господин мятежник?..

Бесшумно повернулся ключ, открылась дверь, и в кабинет вошел Викентий Корнелиевич.

Глава шестая

1

На другой день дождь прекратился, в рваных облаках изредка уже начало появляться солнце, но Наденька решительно отказалась от прогулки, и Ваня напрасно ждал ее на Страстной под памятником Пушкину. Объявила, что плохо себя чувствует, закрылась в своих комнатах, пыталась читать, музицировать, даже рисовать, но все бросала, едва начав. Ее терзала какая-то не очень понятная ей самой обида. Не потому, что вчерашний гимназист осмелился ей противоречить, отстаивая собственную точку зрения, а потому… «Это все фанфаронство какое-то, плохо переваренные чужие идеи. Мальчишка, а гонору!.. И как он смеет так говорить о великой русской истории! Как он смеет говорить о государе!.. Волшебникам снятся волшебные сны, мятежникам снятся мятежные сны… Нет, я не хочу с ним больше встречаться. Я просто не должна этого делать. Это… Это непозволительно, в конце концов!..»

Непозволительным во вчерашнем поведении вчерашнего гимназиста Вани Каляева было толь-

ко одно: влюбленный отрок — а то, что он вдруг влюбился и… и потащился за нею, как шлейф, Наденька чувствовала интуитивно — осмелился перечить предмету своей влюбленности. Вот что оказалось пороховым запалом ее возмущения, но думать об этом Надя не желала, категорически отвергая даже самые робкие попытки своей собственной разумной логики.

А в Москве набирала силу увертюра к грядущему знаменательному событию: акту священного коронования государя императора и государыни императрицы. В среду, восьмого мая, лучшие артисты московских и петербургских театров пели серенаду у Петровского дворца, и государь изволил лично поблагодарить их. В четверг состоялся торжественный переезд Их Императорских Величеств в Александрийский дворец. Великолепное шествие, начавшись у Петровского дворца, неспешно продолжилось по Тверской вплоть до Кремля под беспрерывное «Ура!» и восторженные клики народа. И в том, что Наденьке не удалось увидеть государя и государыню собственными глазами, конечно же, виноватым был только дерзкий господин гимназист.

Капитан Николай Олексин стоял во главе своих солдат в живом коридоре, сквозь который про-

мчался блестящий царский кортеж, после чего сразу же навестил Хомяковых, поручив отвести роту в казармы своему субалтерн-офицеру. И Наденька, не устояв, спустилась вниз, но слушала любимого брата молча.

— Государь показался мне очень усталым, — рассказывал Николай. — Какая-то нездоровая, почти землистая бледность просвечивала даже сквозь его рыжеватую бородку.

— В государственную лямку с разбега впрягся, а Россия — баржа тяжелая, — усмехнулся Роман Трифонович.

И это замечание почему-то не понравилось Наде, но и здесь она промолчала.

А на следующее утро решила все же выйти из дома. Уж очень заманчиво светило солнышко после затяжных холодных дождей.

— Погуляем у Патриарших прудов, — сказала она Феничке. — Там, слава богу, народу поменьше.

«Туда Ваничка дорожки не знает!..» — догадалась Феничка.

Патриаршьи пруды находились совсем рядом со Страстной площадью, но там и вправду было тихо. Грелись на солнышке отставные полковники, пожилые матроны торжественно восседали в

тени вместе с приживалками, няни прогуливали детишек. Девушки немного погуляли по аллеям, а затем, выбрав уединенную скамейку на берегу, чинно уселись рядышком.

— Тихо-то как, — вздохнула не умеющая долго молчать Феничка. — Будто за сто верст…

— Ну и очень хорошо.

— Скучно, барышня, — помолчав, вновь начала неугомонная горничная. — Может, мне на Тверскую сбегать, а вы пока почитаете? Книжку вашу я захватила. Вы не беспокойтесь, вон городовой стоит. Я его предупрежу, чтоб поглядывал.

Она говорила с определенной целью и готовилась убеждать свою барышню, чтобы та разрешила ей недолгую отлучку. Но, к ее удивлению, Наденька согласилась тотчас же:

— Ступай, Феничка. Я почитаю пока.

Феничка сорвалась с места тут же. По дороге не забыла подойти к городовому, что-то строго — даже пальчиком погрозила — наказать ему, после чего умчалась. А городовой развернулся к Наде лицом и замер как изваяние.

Надя раскрыла книжку, но смотрела мимо страниц. Она сразу же поняла, куда так настойчиво рвется ее горничная, и сейчас думала, удастся ли Феничке найти возмутительно дерзкого господи-

на Каляева и что именно Феничка ему скажет.

— Здравствуйте, барышня.

Наденька вздрогнула, подняла голову. Перед нею стояла немолодая нянька, в заметно поношенном платье и темном платочке, с детской коляской.

— Грапа?..

— Теперь обратно Аграфена, — грустно улыбнулась ее прежняя горничная. — Теперь я не у господ служу, а поденно чиновничье дитя прогуливаю. По два часа, кроме воскресений. Уж и не поверите даже, до чего же я рада, что вижу вас.

— Садись, садись рядышком, Гра… Малыш спит?

— Спит. Хорошее дите, тихое. — Грапа осторожно присела на скамью. — Вы-то как, барышня? Не хвораете?

— Нет, нет. Грапа, милая… Ничего, что я так называю? Так привычнее. — Наденька решительно глянула в глаза. — Я очень виновата перед тобой, ты уж прости меня.

— Ни в чем вы не виноваты, барышня, — вздохнула нянька. — Яблочко само наливается, своими соками. Само и вкус свой попробовать должно.

— Дядя Роман из-за меня тогда тебя выгнал.

— Не держу я на него сердца, вот-те крест,

барышня, — очень серьезно сказала Грапа и перекрестилась. — Верно он поступил, как настоящий хозяин поступил, и я на него не в обиде. Ну сами посудите, можно ли врунью-прислугу держать? Это что ж за хозяйство будет, коли слуги господ обманывать начнут? Порушится все. Нет, большой хозяин за всех смотреть должен, барышня. И мыслить за всех.

— Но ведь я же тебе солгать тогда велела, я, — сокрушенно вздохнула Наденька.

— Кабы велели, так еще неизвестно, что было бы, — ласково улыбнулась горничная. — Нет, барышня, вы не велели, вы попросили меня. Двадцать лет я в услужении, и за двадцать этих годов только вы одна меня попросили. Будто просто старшую…

— Грапа!..

Наденька, расплакавшись вдруг и, казалось бы, ни с того ни с сего, упала на грудь своей бывшей горничной.

— Ну успокойся, успокойся, девочка. — Грапа осторожно гладила Надю по голове, сдвинув шляпку куда-то на сторону. — Ну кто ж знал, что так оно все обернется? Молодая брага всегда из кадушки лезет. Как Феничка-то твоя? Добро ли тебя обихаживает?

— И про Феничку знаешь? — улыбнулась Наденька, подняв зареванное лицо.

— Слезки-то вытрите, барышня, на нас вон городовой смотрит. А про вас я все знаю, мне Евстафий Селиверстович всегда все рассказывает, встречаемся мы с ним.

— Я дядю упрошу, Грапа…

— А вот этого делать нельзя ни в коем разе, — строго сказала нянька. — Хозяин правильно поступил, а правильные слова обратно не берут.

— Он добрый. Он все поймет.

— Хозяин не только добрым быть должен, но обязательно даже строгим. Иначе какой же с того прок, что он хозяин? У такого и разворуют все, и слуги от рук отобьются. Вы об этом и не думайте вовсе, тут все по совести Романом Трифоновичем сделано. Вы лучше про жениха своего расскажите.

— Какого жениха? — Надя сурово сдвинула брови.

— Видного да солидного, при хорошей службе. Мне Евстафий Селиверстович говорил, кто к цветочку моему повадился.

— Уж не господин ли Вологодов? — Наденька как-то не очень естественно рассмеялась. — Да какой же он жених, Грапа милая? Он же старик.

— Он в летах, — строго поправила Грапа. — Жених вызревший. А уж любить-то вас как будет!..

— Это совершенно невозможно, — очень серьезно сказала Надя, начав тем не менее краснеть. — Это…

— Это на небесах решают, — неожиданно перебила горничная и встала. — Феничка ваша бежит. Приходите сюда, барышня, чтоб могла я хоть изредка полюбоваться на вас. Я по будням тут с дитем гуляю. Спаси вас Христос.

Она ушла в противоположную сторону, толкая перед собой старенькую коляску. Подлетела Феничка и рухнула на скамейку, обмахиваясь платочком.

— Поклон вам.

— Что ты сказала? — спросила Наденька, продолжая думать о неожиданном свидании с прежней горничной.

— Сказала, что болеете вы, но ко дню коронации непременно поправитесь. Мы с вами на Страстную придем к памятнику Пушкину, вы и встретитесь.

— Не знаю, Феничка. Ничего я сейчас не знаю, — вздохнула Надя и встала. — Бывают ведь встречи…

— Бывают, барышня! — радостно засмеялась

Феничка. — И непременно будут, потому что Ваничка наш с лица спал, хотя дальше вроде и некуда ему.

— А… а что говорил?

Зачем спросила, Надя и сама не знала. Неожиданное свидание с прежней горничной сейчас полностью занимало ее. Особенно многозначительные последние слова.

— Врал, как всегда. — Феничка беспечно рассмеялась. — Я, мол, у тетушки проживаю, и сплю там, и столуюсь там. А у самого руки в занозах да ссадинах.

— А почему в занозах?

— Вот и я спросила, почему, мол, в занозах. А он: печку, дескать, тетке растапливал! И опять, вражина, врет: кто же в Москве печки в мае растапливает, когда погода на лето перевалилась? И черемуха расцвела, и дуб распустился.

— Да, — задумчиво сказала Наденька. — Дуб распустился. Пойдем домой, Феничка.

— Так ведь и не погуляли еще.

— Нет, нет, пора. — Надя поднялась со скамьи. — Интересно, его пригласят на коронацию?

— Кого? — оторопело спросила Феничка. — Ваничку Каляева, что ли? Да кому он нужен там, барышня?

2

Девушкам не удалось ни встретиться с Ваней Каляевым, ни самим увидеть весь торжественный церемониал коронации. Однако, учитывая, что эта коронация оказалась последней в истории России, автору представляется, что об этом событии следует рассказать подробно. Так, как оно было описано в газетах и журналах того времени, ничего не прибавляя, но ничего и не убавляя.

СВЯЩЕННАЯ КОРОНАЦИЯ ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ

«Ко дню, назначенному для коронации, двор между Кремлевским дворцом и соборами и внутренность Успенского собора приняли совершенно особый, своеобразный вид. От Красного крыльца к Успенскому собору и от Успенского собора к Архангельскому, вокруг колокольни Ивана Великого, а из Архангельского собора к Благовещенскому устроены были особые широкие (в рост человека поднятые над землей) помосты, с перилами, крытые красным сукном. Внутри собора, на средине, возвышенное место, обитое также красным сукном, и на том месте поставлены два древних царских трона, к которым из алтарного амвона ведут двенадцать

ступеней, устланные бархатом и богатейшими коврами. Сверху, над этими царскими тронами, из коих один предназначается для Императора, а другой для Императрицы, опускается обширный, висячий, великолепно разукрашенный золотом бархатный балдахин, подвешенный на особых связях к цепи, укрепленной в сводах собора. Около Императорского трона ставится на том же возвышении стол для возложения на нем регалий во время самого „чина величания".

Эти регалии в канун коронования переносились торжественно из Оружейной палаты сначала во дворец, а потом в Успенский собор.

В день, назначенный для коронации, съезд и сбор лиц, назначенных к участию в коронационных церемониях или допущенных к присутствованию в Успенском соборе, начинался в семь часов утра и ранее. Торжественный благовест во всех церквах и определенное число выстрелов из орудий в девятом часу утра возвещали всему городу о начале высокознаменательных торжеств.

В девять часов утра Император и Императрица, сопровождаемые своими ближайшими родственниками и окруженные свитою из первейших сановников государства, направляются из Кремлевского дворца Красным крыльцом и помостом

к Успенскому собору.

Высшие представители духовенства — митрополиты и архиереи, с соборным духовенством и клиром, встречают Государя и Государыню на рундуке собора у входных дверей. Старший из митрополитов приветствует Императора краткою речью, после чего подносит Ему крест и кропит св. водою. Певчие поют в это время 100-й псалом: „Милость и суд воспою Тебе, Господи!“

Затем Император и Императрица троекратно преклоняются перед Царскими вратами, прикладываются к местным иконам и восходят на тронное место, около которого все лица, участвующие в церемонии, располагаются в строгом порядке, по церемониалу.

Тогда старший из митрополитов, приступая к Государю, произносит:

„Понеже благоволением Божиим и действием Святаго и Всеосвящающаго Духа и Вашим изволением, имеет ныне в сем первопрестольном храме совершитися Императорское Вашего Величества Коронование и от святаго мира помазание; того ради, по обычаю древних христианских Монархов и Благовенчанных Ваших Предков, да благоволит Величество Ваше, в слуг верных подданных Ваших, исповедати Православно-Ка-

фолическую Веру — како веруеши?“

В ответ на это Император по книге, поданной митрополитом, читает „Символ Веры“.

Митрополит по прочтении Государем „Символа Веры“ возглашает:

„Благодать Пресвятаго Духа да будет с тобою. Аминь“.

И сходит с тронного места, а протодиакон после обычного начала приступает к великой ектении.

Когда пропоют тропарь: „Спаси, Господи, люди Твоя“, — следует чтение пророчества Исаии:

„Тако глаголет Господь: радуйтеся небеса, и веселися земле, да отверзут горы веселие и холми радость, яко помилова Господь люди Своя, и смиренныя людей Своих утеши“ и т. д.

Затем, после прокимна: „Господи, силою Твоею возвеселится Царь“, читается Послание св. Апостола Павла к римлянам (глава Тринадцатая, 1–7: о повиновении властям).

За чтением Послания следует чтение св. Евангелия от Матфея (глава Двадцать первая, 15–22: „воздадите убо Кесарево — Кесареви, Божие — Богови“).

Затем два митрополита всходят на тронное место, Император снимает с себя простую цепь Андрея Первозваннаго и повелевает возложить

на себя Императорскую порфиру с принадлежащей к ней алмазной цепью того же ордена. По возложении порфиры Император преклоняет голову. Митрополит осеняет верх главы Государя крестным знамением, крестообразно возлагает на оную руки и произносит во всеуслышание, по положению, две молитвы:

1. „Господи Боже наш, Царю царствующих и Господи господствующих, иже чрез Самуила пророка избравый раба своего Давида и помазавый в цари над людом Твоим Израилем. Сам и ныне услыши моление нас недостойных и призри от Святаго Жилища Твоего на верного раба Твоего Великаго Государя Николая Александровича“.

2. „Тебе Единому Царю человеков поклони выю с нами, Благоверный Государь, Ему же земное Царство от тебе вверено“.

По прочтении второй молитвы Император повелевает подать себе большую Императорскую корону. Митрополит принимает корону от ассистентов и представляет ее Его Величеству. Государь Император берет корону в обе руки и возлагает ее на главу Свою, при чем митрополит произносит:

„Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь“.

И засим митрополит читает по книге установ-

ленную следующую речь:

„Видимое сие и вещественное Главы Твоея украшение явный образ есть, яко Тебя, Главу Всероссийского народа, венчает невидимо Царь славы Христос, благословением Своим благостынным утверждая Тебе Владычественную и Верховную власть над людьми Своими“.

По окончании этой речи Государь повелевает подать Ему скипетр и державу, и митрополит подает Ему в правую руку скипетр, а в левую — державу, произнося то же, что и при поднесении короны, и вновь произносит по книге следующую речь:

„О, Богом Венчанный, и Богом Дарованный, и Богом Преукрашенный, Благочестивейший Самодержавнейший Великий Государь Император Всероссийский, приими Скипетр и Державу, еже есть видимый образ данного Тебе от Всевышняго над людьми Своими Самодержавия к управлению их и ко устроению всякого желаемого им благополучия“.

По окончании этой речи Государь, приняв скипетр и державу, садится на престол.

Немного спустя Государь откладывает скипетр и державу на поданныя Ему подушки и призывает к Себе Государыню Императрицу. Государыня

преклоняет колена на подушке, положенной у трона Государева, а Он, сняв с Себя корону, прикасается ею к голове Императрицы и снова возлагает корону на Себя. Тогда Государю подносят меньшую корону, которую Он возлагает на голову Своей Августейшей Супруги.

После того Государю подносят на подушках порфиру и алмазную цепь ордена Св. Андрея Первозваннаго, и Государь возлагает обе эти регалии на Государыню. Государыня, облеченная в порфиру и с короною на голове, поднимается, приближается к Государю, и Государь целует Свою Августейшую Супругу.

Затем Государыня возвращается к Своему престолу; Государь опять принимает скипетр и державу и садится на престоле, а протодиакон возглашает полный титул Государя Императора и заканчивает „многолетием“. Певчие тотчас же подхватывают „Многая лета“.

„Многолетие“ сопровождается торжественным трезвоном и положенным салютом орудий. После „многолетия“ Государь принимает поздравления от Членов Августейшей Семьи и от духовенства.

Когда звон и пальба прекратятся и в соборе вновь воцарится тишина, Государь поднимается с престола, отлагает скипетр и державу, прекло-

няет колена и по книге, поданной митрополитом, читает следующую установленную молитву:

„Господи Боже отцев и Царю царствующих, сотворивый вся словом Твоим, и премудростию Твоею устроивый человека, да управляет мир в преподобии и правде! Ты избрал Мя еси Царя и Судию людем Твоим. Исповедую неизследимое Твое о Мне смотрение и, благодаря, величеству Твоему поклоняюся. Ты же, Владыко и Господи Мой, настави Мя в деле, на неже послал Мя еси, вразуми и управи Мя в великом служении сем. Да будет со Мною приседящая престолу Твоему премудрость. Поелику с небес святых Твоих, да разумею, что есть угодно пред очима Твоима, и что есть право по заповедей Твоим. Буди сердце Мое в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных Мне людей, и ко славе Твоей, яко да и в день суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово: милостию и щедротами единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен еси со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, во веки, аминь“.

После этой молитвы Государь становится перед троном, а митрополит и все присутствующие в храме, кроме Государя, преклоняют колени, и митрополит от лица всего народа произносит

молитву за здравие Государя, прося Ему у Бога дарования всех благ. Вслед за этою молитвою митрополит обращается к Государю с краткою приветственною речью.

Певчие поют: „Тебе Бога хвалим“ — и этим чин священного коронования заканчивается.

Начинается Божественная литургия. В начале ея Государь Император снимает с Себя корону, отлагает скипетр и державу. По прочтении Евангелия архиереи подносят его к Их Императорским Величествам: Государь и Государыня прикладываются. Затем, когда архиереи, взойдя на тронное место, возвещают Государю, что „миропомазания и Святых Божественных Тайн приобщения приближается время“ — Государь и Государыня торжественно шествуют к царским вратам, а высшие государственные и придворные чины, согласно церемониалу, становятся против царских дверей, поодаль, полукружием.

Митрополит помазывает Государя на челе, на очах, ноздрях, устах, ушах, персях и руках (по обе стороны). Приняв святое миропомазание, Государь отходит в сторону, к иконе Спасителя, а Государыня подходит к митрополиту, который помазывает Ея на челе, после чего Государыня отходит к иконе Божьей Матери.

Святых тайн Государь приобщается в алтаре, перед святой Трапезою, по „чину царскому“, как священнослужители, то есть особо Тела и особо Крови Христовой. Государыня приобщается у царских врат, обычным порядком.

После приобщения и Государь, и Государыня возвращаются на тронное место, к престолам Своим. Следуют благодарственныя причастныя молитвы, отпуск и многолетие. В заключение литургии митрополит подносит Их Императорским Величествам крест, и Государь, и Государыня к нему прикладываются. После этого Государь возлагает на Себя корону, берет скипетр и державу. Все присутствующие в соборе, не сходя со своих мест, троекратным поклоном приносят Их Величествам поздравление с благополучно совершившимся коронованием и святым миропомазанием.

После этого Государь выходит из собора северными дверьми и шествует под балдахином, облеченный в порфиру, с короною на главе, со скипетром и державою в руках, из Успенскаго собора в Архангельский. С Ним, под тем же балдахином, шествует и Государыня (но не рядом, а несколько позади), также облеченная в порфиру и с короною на голове.

В Архангельском соборе, встреченные и провожаемые духовенством, Их Величества поклоняются гробам Своих царственных предков и переходят в собор Благовещенский, а оттуда направляются на Красное крыльцо, с котораго кланяются народу, и удаляются на время во внутренние апартаменты.

В тот же день имеет быть торжественное пиршество в Грановитой палате, во время котораго Государь и Государыня сидят за столом на тронах, облеченные всеми знаками царскаго достоинства, под великолепным балдахином, а высшие чины Двора прислуживают Государю и Государыне. За трапезой было произнесено пять тостов за здравие:

1. Государя Императора — за рыбой.

2. Государыни Императрицы Марии Феодоровны — за барашком.

3. Государыни Императрицы Александры Феодоровны — за заливным из фазанов.

4. Всего Императорского Дома — за жарким.

5. Духовных Особ и всех верноподданных — за сладким.

В самый день коронации, вечером, зажигается великолепная иллюминация, которая нынче обещает быть особенно блестящею благодаря

преобладающему значению, приобретенному электричеством в освещении наших столиц».

Так торжественно и благостно звучало описание коронации в журналах и газетах того времени. Но в дневниках и письмах свидетели были куда откровеннее:

«…Корона царя так была велика, что ему приходилось ее поддерживать, чтобы она совсем не свалилась…»

«…Бледный, утомленный, с большой императорской короной, нахлобученной до ушей, придавленный тяжелой парчовой, подбитой горностаем, неуклюжею порфирою, Николай Второй казался не величавым императором всея Руси, не центром грандиозной процессии, состоявшей из бесчисленных представителей всевозможных учреждений, классов, сословий, народностей громадного государства, а жалким провинциальным актером в роли императора…»

3

Надя и Феничка бегали посмотреть если не на коронацию, то хотя бы на коронационную суету Москвы. Народу оказалось много, протолкались весь день, устали, но с Ваней Каляевым так нигде и не встретились. Ни случайно, ни нарочно.

Вечером Роман Трифонович вывез семейство полюбоваться иллюминацией. На отличной паре вороных — сначала по центру города, где парные экипажи пропускали беспрепятственно, а затем и на Воробьевы горы, откуда залитая огнями Москва была как на ладони. И они радостно узнавали знакомые очертания церквей, башен и ворот.

— Первопрестольной любуетесь?

Гора с горой не сходится, но с Василием Ивановичем Немировичем-Данченко в тот вечер пути сошлись. И Хомяков весьма этому случаю обрадовался, поскольку гостей из гордости не приглашал, а Николай и ставший уже почти своим Викентий Корнелиевич отсутствовали по делам служебным.

— Ужинаем у нас, Василий Иванович. Отказов не принимаю.

— Помилуй, друг мой, мне статью писать.

— Ночью напишешь.

— Вот в Петербурге никогда бы не встретились, ни на каком гулянии, — говорил Немирович-Данченко на обратном пути. — Хоть там и улицы пошире, и площади попросторнее.

— Почему ж так?

— Петербуржец, Роман Трифонович, только

перед собой и смотрит, точно на препятствие какое налететь боится, а москвич — всегда по сторонам зыркает. И если на другой стороне Тверской приятеля увидит, то тут же непременно остановится и заорет на всю улицу: «Иван Иваныч, а я-то вчера банчок у Петрова все-таки сорвал!» Это же принципиальная и чрезвычайно характерная разница, господа, а потому — да здравствует Москва!

— Только в этом и отличие? — спросила Варвара, скорее поддерживая разговор, чем и впрямь интересуясь.

— Не только, Варвара Ивановна, не только. Петербуржец вежлив и прохладен, как первый морозец, а москвич грубоват и аппетитен, как тертый калач с пылу с жару. Крепенький, теплый и ароматный. Не отсюда ли и поговорка пошла?

— Глаз у тебя, Василий Иванович, по-журналистски пристрелян, — улыбнулся Хомяков.

— Глаз обязательно пристрелянным должен быть. Верно, Надежда Ивановна? Кстати, поклон вам и благодарность от волостных старшин. Очень вы им помогли.

— Знаете, мне хотелось им помочь.

— И они это вмиг почувствовали. Простые люди нашу господскую искренность чувствуют сразу,

потому как исключительно редко с душевной искренностью в жизни встречаются. Чувствуют и очень ценят. Очень. Учтите это, коллега.

Наде было приятно до смущения. Хорошо, был вечер, улица, по которой сыто рысили кони, не освещена, и румянца ее никто не успел заметить.

— Значит, второй экзамен я тоже сдала?

— Сдали, мадемуазель, сдали, но сколько их еще впереди!

— Сколько же?

— У журналиста каждый день — новый экзамен. Такая уж у нас с вами профессия.

Наденька слушала, чистосердечно полагая, что и впрямь уже сдала некий экзамен, что известный корреспондент оценил ее способности, что отныне ей требуется только опыт и — ну, чуть-чуть, совсем немного! — протекции авторитетного лица. Конечно, само словцо-то звучало довольно омерзительно, но Надя утешала себя тем, что ее цель выглядела вполне достойно. И после ужина, когда все способствовало приятному отдыху за коньяком, кофе и ликерами, рискнула продолжить этот разговор:

— Василий Иванович, смею ли я рассчитывать на вашу протекцию, если вы одобрите то, что я

когда-нибудь напишу?

— Нет, еще раз — нет, и ни в коем случае, — не задумываясь и весьма сурово отрезал Немирович-Данченко. — Есть профессии, в которых это не просто невозможно или неэтично, а которым это противопоказано категорически. Нельзя по протекции стать артистом, художником, писателем или журналистом, к примеру. Такие профессии штурмуют в одиночку, водружая победное знамя без посторонней помощи. Тогда вам обеспечена не только карьера, но и признание коллег. Впрочем, место признания может занять и остракизм, и открытая недоброжелательность, но это уже нечто напоминающее орден Святаго Андрея Первозванного: признание вашей несомненной исключительности.

— Недоброжелательное признание? — переспросил Хомяков. — Некое доказательство от противного существует не только в богемной среде. Зависть — черта общечеловеческая, почему она никогда не бывает инстинктивной. А за журналистикой — будущее, так что готовься к житейским неприятностям, Надюша.

— Тут мы с тобой, Роман Трифонович, сходимся полностью, — оживился Василий Иванович. — Я тоже считаю, что при развитии цивилизации

журналистика обречена превратиться в простую передачу фактов, в информацию о текущих событиях, если угодно. Журналистам уже некогда будет ни размышлять, ни сравнивать, потому что их затопят факты. Сейчас уже опробуется искровой способ связи, насколько мне известно. Я безгранично верю в прогресс и убежден, что вскоре этот способ станет простым, надежным и, главное, быстрым. И тогда информация получит возможность идти в ногу с событиями и даже, вероятно, предсказывать их. И тут уж кто успел, тот и победитель.

— И что же в этом дурного? — спросила Варвара: она пыталась поддерживать разговор, хотя ей было совсем неинтересно и очень хотелось спать.

— Дурное — в лавине фактов, предполагающих их отбор и дозировку. С чем ознакомить почтеннейшую публику, на что намекнуть, а о чем и вовсе промолчать.

— Да, политики двадцатого века получат могучее оружие воздействия на людские души, — сказал Хомяков. — Если под политикой разуметь ее сущность, то есть один из способов достижения власти, то господа политики будущего приобретут воистину огромные возможности.

Диктаторский приоритет формы над содержанием.

— Форма и содержание — диалектические понятия, — возразила Наденька. — А вы, господа, рассуждаете о реальной будущей жизни. О практике, но не о теории.

— Ты права, если подразумеваешь природу, Надюша. Да, в ней все подчинено диалектическому равновесию формы и содержания, а если оно где-то нарушается, вступают в действие законы, открытые Дарвином, и все опять на какое-то время приходит в равновесие, потому что в природе господствует инстинкт. Но в человеческом обществе господствует воля. Одного ли человека, группы людей или определенного класса — это не столь уж важно. Важно, что эта воля подкреплена силой. Армией, полицией, капиталом.

— И что же далее, дядя Роман?

— А далее — как прикажете. Прикажете, и форма будет сохранена вопреки требованиям содержания. Или, наоборот, разрушим форму во имя сохранения устаревшего содержания. В человеческом обществе все в руках людей, а не мудрой, неспешной и оглядчивой матушки-природы, Надюша.

— Отсюда — бунты, мятежи, революции, кото-

рые всегда есть сигнал воспаленных противоречий между формой и содержанием, — добавил Василий Иванович. — И всегда только через кровь, через муки людские.

— А у нас, в России, есть равновесие между формой и содержанием?

— Увы, Надежда Ивановна. — Немирович-Данченко беспомощно развел руками.

— Есть упоение формой, — проворчал Хомяков. — Восторг перед нею. Ради этого неуемного восторга заново возродили кирасы, ментики, закоснелые ритуалы, которые мы упорно выдаем за исторические традиции. А главное — значимость мундира как такового. Он заменяет собою природную смекалку, инициативу, ум, совесть и нравственность. В России до сей поры куда лучше родиться в поношенном отцовском мундире, нежели в собственной богоданной рубашке.

— Браво, Роман Трифонович, — рассмеялся Василий Иванович. — Прекрасный спич. Между прочим, Европа это давно поняла и сейчас прилагает все усилия, чтобы разумно и спокойно уменьшить разрыв между формой и содержанием. Но, к сожалению, у нас — свой путь. Особый. Непонятно, правда, куда.

— Прямиком в революцию, — убежденно ска-

зал Хомяков. — В бунт беспощадный, но, даст Бог, в грядущий раз не слишком уж бессмысленный.

— Какое мрачное предсказание, — вздохнула Варвара. — Бог с вами, господа.

— Мрачное — может быть, не спорю. Но не такое уж необоснованное, коли вспомнить, о чем мы начали этот разговор. Если в двадцатом веке искровой способ передачи известий, о котором говорил Василий Иванович, и впрямь станет массовым, правители получат страшное оружие воздействия на темные людские массы. При полной безграмотности нашего народа это особенно опасно: русский человек приучен верить словам, как ребенок.

— Поэтому его очень легко превратить в толпу, — вздохнул Немирович-Данченко. — А толпа — всегда зверь. Скопище вмиг потерявших рассудок людей. Потерявших разум, заветы Нагорной проповеди, элементарные приличия, общечеловеческую мораль, нравственность, сострадание к ближнему своему. Человек в толпе возвращается туда, откуда вырвался с неимоверным трудом, — в первозданную дикость, живущую инстинктами.

— Мне кажется, что вы слегка преувеличиваете, Василий Иванович, — улыбнулась Варвара. —

Русский человек прежде всего совестлив, добр, отзывчив, великодушен. Вспомните любимых им былинных богатырей, его внутренний идеал.

— Дай-то Бог, Варвара Ивановна. Дай-то Бог…

На том и закончился тогда этот очень важный для Наденьки разговор. Посидели еще немного, потолковали о пустяках, но тут неожиданно каким-то образом вновь всплыла тема Наденькиных надежд и мечтаний, и Василий Иванович позволил себе легкую шутку:

— Дамы берут интервью только в Америке, мне Макгахан рассказывал, так что не забивайте этим свою прелестную головку. Вы — сказочница и по письму, и по натуре. Смотрите волшебные сны и пишите деткам сказки.

Надежда вспыхнула, но сдержалась, и Немирович-Данченко вскоре распрощался. А Наденька, поднявшись к себе, разбудила задремавшую Феничку.

— Смотрела иллюминацию?

— Красота-то какая, барышня! Ну будто в сказке…

— Господина Каляева нигде не видела?

— Толкотня такая, барышня, где уж там.

— Знаешь, кажется, он тогда был прав. И я зря его обидела. И мне очень стыдно.

— Завтра же разыщем. Куда он от нас денется?

Но Ваня Каляев все же куда-то делся. Правда, Феничке в конце концов удалось с ним встретиться, но — одной. Вечером, на который как раз выпал званый ужин в честь коронации государя. Хомяковы давали его, естественно, ради Наденьки, почему Феничке и пришлось идти одной.

— Разыскала я господина Ванечку! — радостно сообщила она. — Условились мы с ним, что послезавтра, в одиннадцать, встречаемся на Страстной, у памятника.

— А почему же не завтра?

— Тетка, говорит, у него заболела. Три дня подле нее сиднем сидел.

— Что ж, это даже лучше. На народное гулянье пойдем.

Но было, наверно, хуже, потому что Наденьке вдруг взгрустнулось перед сном…

Глава седьмая

1

В следующий вечер имело место быть торжественное представление в Большом театре в присутствии коронованных особ. Роман Трифонович снимал постоянную ложу на весь театральный сезон, но безропотно уплатил разницу ради особой торжественности предстоящего вечера. Хомяковы уже деятельно готовились к походу в театр — в особенности, естественно, Варвара, — когда Надежда вдруг решительно отказалась их сопровождать.

— Нет, Варенька. Извини, но я никуда не пойду.

— Роман, может, ты на нее воздействуешь? Это же так важно прежде всего для нее самой.

— Стоит ли, Варенька, воздействовать? Суета, мундиры, глупейшие светские условности. Пусть решает сама.

— Но она хотела идти с нами! Это же просто очередной каприз, как ты не можешь понять.

— Ветер в голове переменился. С девицами это случается, сама знаешь.

Наденька и вправду очень хотела идти в театр, но утром вдруг вспомнила шутливую эскападу Василия Ивановича и — взъерошилась. Понимая, что маститый журналист во многом прав, она тем не менее запоздало начала с ним спорить, хотя и спора-то никакого тогда не было, равно как и самого Василия Ивановича в данный момент. Это был как бы спор за захлопнувшейся дверью, он происходил только в ее воображении, но столь живо, столь реально, что Надя очень сердилась, стучала по курсистской привычке правым кулачком в левую ладонь, чтобы заново собраться с мыслями и начать спор по-иному, с новыми и — конечно же! — неотразимыми аргументами. Растратив попусту день, не сумела ровно ничего добиться, расстроилась, уморила себя, отказалась от театра, а когда все уехали, вдруг поняла, что спорить вообще бессмысленно. Что на любой ее довод поднаторевший в спорах Василий Иванович тут же найдет очередной убийственный контраргумент, да еще непременно и позлит ее при этом. «Я лучше уж напишу, — сердито решила она. — Я такой соберу материал, выведу таких оригинальных типов, подслушаю такие разговоры, что вы… Вы покраснеете с досады…» И тут же вспомнила о завтрашнем народном празднике

на Ходынском поле, где будет множество простых москвичей, чьим мнением о коронации государя единодушно пренебрегла вся московская пресса. «Ах, вы расспрашивали представителей народа? — с долей злорадства подумалось ей. — Ну а я сам народ спрошу».

— Не скажут они вам ничего, барышня, — возразила Феничка, когда Надя с торжеством изложила ей свою идею. — Не приучены мы с господами разговаривать.

— Даже просто? По-людски?

— Да какое же просто между нами быть может? Вы — люди благородные, сразу видно. И по-людски не получится. Мужики молчать будут да ухмыляться, девки — хихикать, а бабы — на житье жаловаться. Негодная ваша мысль, уж поверьте.

— А как же я на маскараде первый приз получила? С твоей, Феничка, между прочим, помощью, ты из меня тогда горничную сделала.

Феничка весело рассмеялась:

— Так тогда ж вы для господ горничную изображали, они и поверили! А попади на ваш маскарад кто-либо из прислуги, вас бы тут же и опростоволосили. Простой народ, он своих чует.

— Значит, не поверят? — упавшим голосом

спросила Наденька.

— Да ни в жисть! — убежденно сказала Феничка. — Только зря время потратите да ноги убьете.

— А мне так хотелось великому корреспонденту нос утереть…

— Никак такое не получится, барышня. Это господ обмануть легко, а нашу сестру…

Феничка неожиданно замолчала. Осторожно повернула свою барышню вправо-влево, задумалась.

— Что это ты меня вертишь?

— Нет, горничной никак невозможно. А вот ежели гувернанткой… Они ведь тоже люди подневольные.

— Господи, ну давай гувернанткой, — сказала Надя, по-олексински больше почему-то сердясь на себя самою за собственную бестолковость. — Юбка да блузка.

— Попроще, барышня. И кофтенку попроще. Ночи-то и по сю пору холодные стоят.

— Кофточку так кофточку.

— Я подберу вам.

— Я сама! Сама, жди здесь.

— Ох, напрасно все это, барышня, — вздохнула Феничка. — Напрасно выдумываете, мы без маскарадов живем.

Неодобрительное то ли согласие, то ли несогласие горничной еще больше раззадорило Наденьку. Поспешно пройдя в свою гардеробную, она дважды переворошила собственные туалеты, но все же разыскала нечто и скромненькое, и как бы уж не слишком, подумав, что возвращаться придется при свете дня и при народе на улицах. Так, серединка на половинку, чтобы не выглядеть уж совсем скучно. Торопливо переоделась, вылетела в будуар, повертелась перед Феничкой.

— Ну, как?

— Сойдет, — решила Феничка. — Юбка на резинке? Тогда повыше подобрать надо, как у меня.

Тут только Надя обратила внимание, что ее горничная тоже готова к походу. И даже повязала платочек.

— Куда собралась?

— Одну не отпущу, — строго сказала Феничка. — Ночь на дворе, а в Москву шушеры охочей слетелось, что воронья. Нет-нет, и не спорьте. Я за вас в ответе, стало быть, и дело решено.

Такому обороту Наденька очень обрадовалась. Она побаивалась и ночного путешествия по гулким от пустоты городским улицам, и предстоящих разговоров «по душам» с незнакомыми,

совершенно чуждыми ей людьми, ради чего, собственно, все и затевалось. И это было главным, потому что внутренне она все время ощущала робость «первого слова», поскольку не могла представить, как оно должно прозвучать. Ну в самом деле, как? «Здравствуйте, как поживаете?» Или, может быть: «Откуда сами-то? Не из Смоленска?» Кроме Смоленска, Москвы да Петербурга, Наденька не знала ни одного русского города, разговоров с незнакомыми людьми не своего круга ей вести не доводилось, да и в своем, привычном кругу ей, по молодости, начинать беседы тоже не приходилось, и это пугало больше ночного похода. Поэтому она с огромным облегчением расцеловала Феничку и тут же привычно перешла к распоряжениям.

— Выходим сейчас же. Подарки раздавать начнут в десять утра, а мы до этого наговоримся и уйдем, пока толкотня не начнется. Возьмем лихача…

— Ну уж нет, — решительно заявила Феничка. — Гувернантка с горничной — да на лихаче? Да как же такое может быть, когда они, живодеры, знаете, как цены вздули?

— Вот. — Наденька вынула из кармана юбки с десяток червонцев и с торжеством потрясла

ими. — Мне Варя дала на всякую мелочь для удовольствия, а лихач ночью и есть удовольствие.

— Дайте-ка сюда. — Феничка отобрала деньги, сказала с укоризной: — Ишь какая транжирка нашлась. С ними торговаться надо, а торговаться вы не умеете, и потому платить буду я.

2

Было около одиннадцати, когда они незаметно выскользнули из вызывающе вычурного особняка Хомякова. Через заднюю калитку для прислуги вышли за кованую ограду и дворами пробрались на Никитский бульвар. Быстро темнело, небо не подсвечивало, потому что было новолуние, а расставленные на тротуарных тумбах по распоряжению начальства стеариновые плошки освещали только самих себя.

— Ветерок, — сказала Наденька, поеживаясь.

— Какая же я беспамятная! — Феничка всплеснула руками. — Хотела же теплый платок захватить. Может, сбегать за ним?

— А если Мустафа увидит?

— Увидит, — со вздохом согласилась Феничка. Возвращаться ей не хотелось точно так же, как Наде не хотелось оставаться одной. Шумели темные деревья бульвара, пляшущие под легким

ветерком желтые язычки плошек отбрасывали пугающие тени, людей нигде не было видно, и девушки разговаривали приглушенными воровскими голосами. Весь их кураж остался в теплом, уютном, залитом электрическим светом доме.

— Может, вернемся, барышня? — робким шепотом предложила верная Феничка.

Вот как раз этого ей и не следовало говорить. Еще бы три, от силы пять минут перепуганного молчания, и Наденька сама убедила бы себя, что разумнее, а главное, логичнее всего возвратиться домой, попить с Феничкой чайку со свежим шоколадом из набора «Эйнем», поболтать ни о чем и ждать Варю с Романом Трифоновичем из Большого театра, где сейчас давали торжественное представление в честь коронации государя и государыни в присутствии высочайших особ. Все Олексины были склонны к действиям импульсивным, под влиянием внутреннего порыва, но порыв этот еще не созрел в душе, а потому и реакция Нади была прямо ему противоположна:

— Возвращайся. А я не меняю своих решений.

И гордо двинулась вперед, хотя очень хотелось назад.

— Барышня, да с вами я! С вами!

— И больше никаких «барышень» чтоб я не

слышала, — строго сказала Надя. — Изволь называть меня по имени, иначе мы провалим все наше предприятие.

Неизвестно, чем бы закончился этот приступ фамильной гордости. Может быть, темнота и пустынность, однообразный шелест молодой листвы на бульваре и внутреннее ощущение, что по нему все время кто-то куда-то беззвучно движется, в конце концов заставили бы Наденьку найти достойный предлог для возвращения (ну, нога подвернулась, в конце концов!), но вдруг послышался цокот копыт по мостовой, мягкий скрип рессор, и подле них остановилась извозчичья пролетка.

— И куда это, любопытно мне, барышни спешат?

Надя слегка растерялась, не имея привычки к уличному заигрыванию, но Феничка нашлась сразу:

— А на Ходынское поле. Уж очень желательно нам царский подарок получить.

— Это пехом-то? Аккурат к десяти и дойдете, ежели, конечно, сил хватит.

Голос был хоть и насмешливо-приветливым, но молодым, и Феничка поинтересовалась:

— А сам-то куда едешь?

— А во Всехсвятское.

— Ну так подвези по дороге.

— Ишь ты какая ловкая. Подвоз денежек стоит. А денежки ноне — в большой цене.

— И не совестно тебе бедных девушек грабить?

— Эх!.. — Парень сдвинул картуз на нос, почесал затылок, вздохнул и вернул картуз в исходное положение. — И то верно, чего уж своих обижать, когда господ в Москве хватает. Садитесь, девки, пока я добрый!

Наденька опять задержалась, потому что обращение «девки» неприятно резануло слух. Но для ее горничной оно было привычным, даже дружелюбным, а потому она, шепнув своей барышне: «Лезьте, пока не передумал!..», первой взобралась на пружинное сиденье. И Надя сердито полезла следом за ней.

— Но, милая!

И коляска тронулась.

— Я чего добрый? — с каким-то торжествующе-усталым удовольствием говорил парень. — Думаешь, натура у меня такая? Да на-кась выкуси, мы в дурачках сызмальства не ходили. Я того, девки, добрый сегодня, что трое суток не спал ни с полкусочка. Хозяин Демьян Фаддеич мне еще загодя сказал: бар, мол, будет много, так что гоняй, Степ-

ка, пока кишка выдержит! Сотня в сутки — моя, а сколь лишнего зацепишь — твоей личности. Уговор дороже денег! Ну, велел я братку у крестного вторую лошаденку выпросить. Крестный у него добрый. Сына единственного Господь прибрал, так он в братке моем души не чает. Ну и сглупу лошадь дал. А я, не будь дурачком, лошадок-то и менял трое дней да трое ночей. Когда господа гуляют, у них из карманов завсегда шалые деньги сыплются…

Парень говорил и говорил не переставая. «Оказывается, их и не надо ни о чем расспрашивать! — вдруг с огромным облегчением поняла Надя. — Они, как дети, сами с упоением рассказывают о себе. Надо просто молча слушать и запоминать. Это же готовый репортаж!..»

— …один — важный такой, с медалью, что ли, на цепке золотой — полста мне отвалил! Ехать-то было — всего ничего, с Пречистенки на Большую Никитскую, но я сразу смекнул, что не москвич он, да еще с мамзелью, так что верещать не станет. Ну и покатал их по переулочкам. Он мамзель свою шоколадками кормит, она — хи-хи да ха-ха, — а я, почитай, на одном месте верчусь да верчусь. И — полусотенная в кармане. Нет, когда такой случай, что вся Москва дыбом, грех свое

упускать. Три сотенные Демьяну Фаддеичу отдал, как уговорено, а остальное — мое. Мое, девки, мое! Полночи посплю, и снова на эту, как ее? На люминацию. Глядишь, и на лошаденку наскребу, а даст Бог, так и на пролетку останется.

Лихач неожиданно примолк, вглядываясь. Сказал удивленно:

— Москва тронулась, глянь-ка, народ поспешает. За царскими подарками, видать.

Надя чуть приподнялась — сиденье было глубоким, давно просиженным — и увидела множество серых теней, спешащих в одну сторону. Мужчин и женщин, больше — молодых, которые шли группами, по-семейному, кое-кто и с детьми.

— Ох, опоздали мы, — вздохнула Феничка.

— Опоздали, говоришь? — весело откликнулся парень. — Да ни в коем разе!

Он шевельнул вожжами, причмокнул, и усталая лошадь послушно перешла на легкую рысь.

— Спасибо, — застенчиво сказала Надя.

— Со спасиба шубы не кроят, — добродушно заметил лихач. — Добрый я сегодня, да и девки вы свои. Услужающие, они ведь навроде меня. Тоже, поди, на одном месте вертитесь, чтоб деньгу зашибить, так что уж тут. Тут уж не считать, а, как бы сказать, наоборот. Друг дружке подсоблять

надо, коли себе не в убыток.

— А если в убыток? — с забившимся вдруг сердцем спросила Наденька.

Степан рассмеялся:

— А ты востра, с подковырочкой! Мне такие нравятся, прямо скажу. Мне постное не по душе, а которое с горчичкой, то по нраву. Так что, ежели не против ты, конечно, завтра ввечеру на том же месте, на Никитском, значит, бульваре. Но, кормилица!.. Не для глупости какой говорю, не подумай. Я парень строгий, озорства не признаю и как есть холостой.

— Во повезло! — чуть слышно хихикнула Феничка.

Они уже миновали Брестский вокзал и катили сейчас по Петербургскому шоссе. Народу здесь прибавилось, но шел он неторопливо и степенно.

— Семья наша крепкая, — продолжал Степан. — Отец еще в силе и — при мастерстве. Браток за крестным, считай, пристроенный. Сеструху хорошо выдали — повезло, почти что без приданого. Красотой взяла, женишок-то лет на пятнадцать постарше будет, вдовец с дочкой, но при своем деле. Красильня у него в Коптеве, а мастерство — в руках. Из Москвы с поклонами приезжают,

такие, стало быть, секреты у него.

— Остановите здесь, пожалуйста, — вдруг сказала Наденька.

Слова вырвались сами собой, по привычке, и Степан повернулся на козлах к ним лицом.

— Чего?..

— Скажи кобыле «тпру», — весело пояснила Феничка. — И завтрева на Никитский не опаздывай, а то уйдем, не дождавшись.

— Вдвоем, что ли, придете? — с некоторой настороженностью спросил парень, придержав лошадь.

— Будет кого выбирать, — резонно заметила Феничка, спрыгивая на обочину. — Дай бог тебе полусотенных седоков, Степан.

— Ну, глядите, девки, уговор дороже денег. Счастливо погулять да подарки получить.

— Интересно он рассказывал, — сказала Наденька, когда пролетка отъехала.

— Хвастун!

— Думаешь, выдумал все?

— Может, так оно и было, только хвастался уж очень. А теперь-то куда?

— Вперед. Теперь — только вперед!

3

Девушки пересекли шоссе и подлезли под канаты, которыми было огорожено Ходынское поле со стороны Петровского парка. Слева виднелся освещенный царский павильон и темные трибуны для гостей, а впереди — огромное пустынное пространство, на котором что-то чернело, но что именно, разглядеть было невозможно. Людей здесь почему-то не оказалось — мелькали лишь отдельные фигуры, — небо было темным, новолунным, рассветные лучи еще не подсвечивали его, и девушки, подобрав юбки, шли осторожно, потому что поле оказалось уж очень неровным.

— Вы глядите, куда шагаете-то, — наставляла внимательная горничная.

— Гляжу, но ничегошеньки не вижу…

— Поют вроде? — удивилась Феничка. Надя прислушалась. Где-то впереди — почему-то казалось, что из-под земли, — негромко, но очень серьезно, будто молитву, и в самом деле пели: «Очаровательные глазки, очаровали вы меня…», и слышались переборы гитары. «Молодые приказчики, — подумалось Наденьке. — И песня по их вкусу, и гитара — любимый инструмент». И сказала:

— Хорошо поют. С чувством.

— У нас народ — с пониманием, — с ноткой непонятной гордости отметила Феничка.

Она решительно обогнала свою спутницу, прошла немного и остановилась.

— Да вон где поют. Под обрывом, барышня.

— Никаких барышень, — еще раз строго сказала Надя, подойдя к обрыву.

Внизу, под обрывом, повсюду светились огоньки костров, в свете которых смутно виднелись людские фигуры. Возле самого яркого их было значительно больше, и именно оттуда доносилось слаженное пение.

— Люди, — с удивлением отметила Надя. — А почему — здесь? Прячутся, что ли?

— В затишке, — пояснила Феничка. — Ветерок-то прохладненький. И от солдат подальше.

— Каких солдат?

— А тех, которые подарки охраняют. Народ московский боек. Нам без солдат никак невозможно, озорничать начнем.

— Спустимся к ним, Феничка.

У Наденьки было радостное ощущение, что ей уже удалось заполучить материал для рассказа об извозчике Степане, трое суток не слезавшем с облучка, и очень хотелось послушать дру-

гих людей с другими историями. «Вот Василий Иванович удивится! — весело думала она, осторожно, с помощью горничной спускаясь вниз, под обрыв. — И никаких вопросов задавать не придется, сами все расскажут. Утру нос великому корреспонденту!..»

— Здравствуйте, — сказала она, приблизившись к костру.

Ей никто не ответил, потому что звучали завершающие аккорды незамысловатого мещанского романса. Но как только песня закончилась и исполнители удовлетворенно вздохнули, к девушкам обернулся гитарист, сидевший на перевернутой вверх дном ивовой корзине. В отсветах пламени мелькнули фатовские усики и лихо сбитая набекрень суконная фуражка, украшенная аляповатой бумажной розочкой.

— С доброй ночью вас, девушки любезные. — Он сверкнул белоснежной улыбкой. — И вы, стало быть, за царскими кружками? Так милости просим к нашему огоньку.

— Поиграй еще, Ванюша Петрович, — донесся женский голос из темноты. — Задушевное да сердечное.

— С нашим полным удовольствием, — отозвался гитарист, тут же выдав ловкий гитарный

перебор: ему, видимо, нравилось быть в центре внимания. — Ну-с…

Снова переборы струн, два-три аккорда…

Она придет, неслышно и незримо,

И встанет мрачно у одра,

И скажет мне с тоской неумолимой:

«Пора! Пора. Пора…»

Она дохнет в лицо прохладой ночи,

Холодною рукой мою придавит грудь,

Закроет навсегда тускнеющие очи,

И в путь! И в путь…

И буду я молить таинственную гостью:

Я жить хочу, оставь мне этот свет,

И буду я молить с слезою и со злостью…

Но нет! Но нет. Но нет…

И в жизни той, когда меня пробудят,

Где может быть неведома печаль,

Но дней земных, печальных жаль мне будет…

Да, жаль! Да, жаль. Так жаль…

Голос у Ванюши Петровича был небольшим, но слух отменным. Он не выкрикивал слов, не фальшивил, умело держал паузу и знал, что его слушают благодарно. Аплодисментов тут не признавали, да они были и не нужны: слушатели словно вбирали в себя и наивные слова, и простенький мотивчик, дышали одним дыханием с певцом, и казалось, что все сердца их бьются сейчас в едином ритме. «Как же непосредственно они умеют слушать! — поразилась Надя. — И как благодарно, с каким искренним чувством...» И это ее радовало и трогало, и она твердо решила описать и эту сценку, чтобы показать самодовольным циникам, как простой московский люд умеет ценить и любить собственное искусство или то, что он разумеет под этим мудреным словом.

Но здесь внимали певцу, а потому и не вели задушевных бесед, которые ей так хотелось послушать. Вероятно, эти беседы звучали у других костров, поскольку, по ее мнению, простой народ не способен был предаваться молчаливым размышлениям вообще. Два очерка — об извозчике и о способности московского люда в строгом уважении внимать песне — у нее уже были, но хотелось еще. О жизни этих простых людей, об

их мечтах, любви, отношениях к семье, к жене, к детям.

— Пойдем, — шепнула она, когда приказчик, закончив душещипательный романс и выслушав одобрительные возгласы, снова начал подстраивать гитару.

— Куда? — с неудовольствием спросила Феничка. — Здесь славно. И песни хорошие. Душевно поют и душевно слушают.

— Посмотрим, что наверху, — сказала Надя, поняв, что уговорить Феничку перейти к другим кострам, где не пели, а беседовали, было бы сложно. — Видишь, сколько тут народу? На рассвете все наверх полезут, и нам подарков не достанется.

Этот аргумент подействовал, и когда приказчик с бумажной розой начал новую песню, а окружавшие его уже настроились слушать, девушки тихо выскользнули из освещенного костром круга.

— Не чуете вы песен, барышня, — с укоризной вздохнула Феничка. — Нет, не чуете.

— Давай к другому костру подойдем, — деловито сказала Надя. — Может, послушаем что-нибудь любопытное.

Феничка недовольно фыркнула, но спорить не стала. Народу в овраге скопилось много, но

располагался он кучками, между которыми еще можно было пройти.

Здесь мало разговаривали, а больше дремали, уронив головы на колени, или просто спали на голой земле. Тихий говор и негромкий храп разносился по всему оврагу, и девушки шли осторожно, чтобы не наступить ненароком на спящих.

— Охальник ты, — вдруг ясно сказал женский голос. — Как есть охальник!..

Размытая темнотой юркая девичья фигурка шмыгнула мимо. И почти тотчас же перед Надей и Феничкой вырос некто куда более рослый.

— Нюш?.. — задыхающимся шепотом окликнул он. — Нюш, слышь, не обижайся…

Тут плохо различимый парень наткнулся на девушек и замолчал. Надя сразу же остановилась, испуганно прижав руки к груди, а Феничка воинственно шагнула вперед.

— Нюшу свою потерял, молодец? Так там и ищи, куда побежала.

И махнула рукой совсем уж в противоположную сторону.

— Эх! — отчаянно выдохнул парень и сразу же исчез в темноте.

— Какое бесстыдство!.. — презрительно сказала

Наденька.

— А где же им еще помиловаться? — резонно заметила Феничка. — Тут самое и есть.

Надя ничего не ответила. Может быть, потому, что внутренне признала Феничкину правоту.

— Я еще на том празднике был, когда на прежнего государя корону надевали, — сказал кто-то от малого костерка. — Тоже гулянье с подарками устроено было, да не всем в радость. Тридцать две души пред Господом за нас, грешных, предстали, в тесноте задохнувшись насмерть. И пряник тот сладкий многим соленым показался.

— А я так тебе скажу, что неверно ты судишь, будто сладко — от дьявола, а солоно да горько — от Христа, — неторопливо и уверенно возразил худощавый, средних лет мужчина в дешевенькой шляпе. — Скажешь, мол, что по Писанию говорю, что, мол, через страдания душа в рай пробивается, а я тебе так отвечу, что Писание нас о том предупреждает. Предупреждает только, потому как, заметь, примеры у него старые. А жизнь — она движется. У дедов — одна, у внуков — другая, почему Господь примеры эти и подновляет. Все — от Господа, и сладкое и соленое, так уж Он жизнь для человеков устроил.

У костерка сидели несколько немолодых

мужчин и две женщины. Над огнем висел закопченный жестяной чайник, а у каждого имелась кружка, кусок ситного, бублик или сайка. Здесь пили чай по-московски, неторопливо и со вкусом, осушив, вероятно, уже не один чайник. Пили и степенно говорили о душе и страдании как о спасении этой души. В рассуждениях не было никакой логики, Наде эта беседа показалась малоинтересной, она хотела было незаметно отойти, но тут заговорил второй бородач в новом картузе, на твердом козырьке которого играли глянцевые отблески огня.

— Утешения мы себе ищем. Утешения и оправдания, а не правды. А оправдание без правды есть ложь. И ложь эту от дедов к сынам, от сынов к внукам сами же и перекатываем, будто жернов какой, чтоб только мир не менялся. На лжи мир стоит, а не на правде. Стоит и будет стоять, потому и правда никому не нужна.

— А правда, она в чем? — спросил кто-то невидимый.

— А правда в том, что года проходят обидно. Молод я был, так думал, отделюсь вот от батюшки и по-своему, по-другому, значит, жить стану. Жена — чтоб по любви, а не по выгоде, дети — чтоб грамоте не по Псалтирю учились, дом — чтоб не

одними лампадами светился. А вошел в возраст — и сызнова на том самом кругу. И женился вроде по любви, и парни — двое их у меня — в городском училище грамоту проходили, а правды все одно нет. К мастерству я их определил, да что толку-то? Младшего сапожник шпандырем охаживает, старшего — каретник спицей. Младший плачет: «Уйду я, тятенька, сил моих нет!» А я говорю: «Терпи, пока мастером не стал». Старший в ногах валяется: не хочу, мол, за себя кривую дочку каретника брать! А я ему: «Соглашайся, дурак, он тебе мастерскую свою отдаст!» А ты говоришь, соленое, мол, от Христа. Не-ет, от Христа уважение идти должно, Он за то наше уважение муки претерпел немыслимые. А слезьми солеными мы сами мир заливаем да горем засеиваем.

— Почему человек жив? — вдруг спросил кто-то из темноты да сам же и ответил: — А по привычке и жив, потому что смысла никакого нет. Родился с криком, вырос в побоях, женился с дракой и состарится со злостью. Привычка натурой стала, а мы все на Господа киваем. Мол, не того Он хотел, что на Руси получилось.

— Он казнь лютую еще тогда принял, когда и Руси-то никакой не было.

— Значит, о нас Он и думать не мог. Думать

наперед никому не дадено.

— Не богохульствуй. Не люблю этого.

— Упаси Господи, не богохульствую я. Я так мыслю, потому что не учен. Бога тот хулит, кто науки превзошел, потому как знает, чего не по Писанию. Знает и народ нарочно смущает. Давить таких надо.

— А Христос учил всех прощать.

— Это не про нас сказано. Народ у нас воровской да бездельный. За рюмку сестру родную продаст.

— Но-но, ты не очень-то!

— А ты зачем здесь ночуешь, ровно бродяга какой? А затем, что пива да водки дармовой тебе обещали, вот зачем. Ну и где правда-то твоя, где?

— Я за государевой кружкой…

— Ан и обратно врешь. За государевой кружкой ты бы бабу свою послал.

— Нет, не вру! — заорал вдруг владелец нового картуза. — Я за государя императора, Богом России данного…

— Уйдем, барышня, — тревожно шепнула Феничка. — Сейчас разругаются, хоть уши затыкай…

Они юркнули в темноту, впопыхах наступили на чью-то руку, услышали в ответ сонную матерную брань и, оступаясь, поспешно полезли

на обрыв.

— Ну и слава богу, — задыхаясь, сказала Феничка, когда они выбрались на ровное место. — И темно там, и страшно, и выражаться вот-вот начнут. Пойдемте лучше к солдатам. Может, господ офицеров найдем, с ними спокойнее.

С задней, выходящей к обрыву стороны буфетов людей поначалу нигде видно не было, но они появились, как только девушки приблизились к дощатым, наскоро сколоченным постройкам. Темные их фигуры молчаливо жались к тылам буфетов, тесно набившись в узкие проходы между ними.

— Не клейся тут, не клейся, — зло зашипел женский голос. — Из-за вас, пронырь, и нас разгонят.

— Вы напрасно беспокоитесь, — сказала Надя. — Мы так, посмотреть только.

— На нищету нашу поглядеть пришла?

— Что вы, мы уходим, уходим, — поспешно заверила Наденька. — Уже уходим, не волнуйтесь.

Девушки отошли подальше от злобной темной очереди. И остановились, не зная, что предпринять.

— Ну и дальше куда? — недовольно спросила Феничка.

— Светает, — тихо сказала Надя. — А на небе

— ни облачка. Славный будет денек!

— Глянь-ка, барышня, вроде дымок над обрывом? Горят они там, в овраге, что ли?

Наденька оглянулась. Над обрывом, ведущим в глубокий овраг, из которого они недавно вылезли, легкой пеленой висел пар от дыхания десятков тысяч людей. Дрожал, будто живой, и освещенное первыми лучами еще не вылезшего из-за горизонта солнца небо причудливо переливалось в нем.

— Как красиво! Нет, ты только посмотри…

— Недосуг смотреть, — сурово оборвала Феничка. — Уходить отсюдова надо.

Наденька тоже ощущала какое-то внутреннее беспокойство, но хорохорилась. Даже начала что-то говорить, что, мол, неплохо было бы взять царскую кружку для Вани Каляева, но тут же замолчала, испуганно вслушиваясь.

Из оврага вместе с паром поднимался странный гул, пугающий, как стихия. И нарастающий, как стихия. И со стороны Петербургского шоссе, и со стороны Москвы тоже слышался тот же гул. Еще далекий, но уже несущий в себе что-то грозное.

— Бежим! — крикнула она, ощутив вдруг возникшую в ней неосознанную панику. — Бежим отсюда, Феничка!..

Высоко подобрав юбки, девушки, спотыкаясь, добежали до последних буфетов и… И замерли.

4

Перед ними стояла толпа. Стояла молча, странно раскачиваясь, и из глубины ее то и дело раздавались стоны и крики. По головам тесно — плечом к плечу, руками не шевельнешь — зажатых, сдавленных людей порою уже лезли мальчишки, а то и вполне взрослые парни, упираясь сапогами во что придется. В беззащитные лица, затылки, спины, плечи. А толпа стонала и раскачивалась, раскачивалась и стонала, не двигаясь с места.

— Назад! — крикнула Феничка. — Назад, барышня! В овраге спрячемся, беда будет, беда…

Они повернули назад, но пробежали немного, потому что из оврага выросла вдруг задыхающаяся, распаренная крутым подъемом живая человеческая волна. Девушки сразу остановились, но увернуться от людского потока им уже не удалось. Овражная масса подхватила их, втянула, всосала в себя и помчала туда, куда рвалась сама. Их закружило, оторвало друг от друга…

— Барышня-а!.. — отчаянно, изо всех сил закричала Феничка, но Надя уже не видела ее.

Потом говорили, что как раз в этот момент раздались револьверные выстрелы. Полицейский офицер, заметив обе толпы — стоявшую и бегущую от оврага, — выпалил для острастки несколько раз в воздух, заорав во всю мочь:

— Выдавай подарки! Выдавай! Сомнут!..

Этот выкрик послужил командой не столько буфетчикам, сколько тесно спрессованной, стонущей, топчущейся на месте толпе. Она ринулась вперед, разбрасывая полицейскую шеренгу. И полицейские со всех ног бросились врассыпную, спасая собственные жизни. Буфетчики начали разбрасывать узелки с подарками прямо в наседающую массу, раздались дикие крики, затрещали доски самих буфетов.

А солдат, от которых прятались в овраге и под защиту которых так хотела пробраться Феничка, вообще не было. Они еще не успели подойти к началу официальной раздачи, потому что было только шесть часов утра…

Надю разворачивало и вертело в стремнине еще не утрамбованной толпы. Внутри ее пока еще сохранялась крохотная свобода, позволявшая шевелить руками и даже чуть сдвигаться из одного ревущего ряда в другой, но уже не дававшая никакой возможности вырваться наружу.

Пока все — красные, с распаренными лицами — еще дышали полной грудью, жадно хватая воздух широко разинутыми ртами. И при этой относительной свободе овражная толпа, захватившая Надю и набравшая изрядную инерцию движения, врезалась в толпу, появившуюся из Петровского парка. Долго топтавшуюся на месте, долго терпевшую немыслимую тесноту и только-только начавшую двигаться после полицейской команды начать раздачу царских подарков. Удар свежей волны вызвал давку и суматоху, Надю опять куда-то развернуло, прижало к чему-то странно податливому, почти мягкому…

— Мертвая!.. — дико закричала она, скошенным взглядом на миг единый увидев багрово-синее, раздутое женское лицо с вытаращенными глазами, с запекшейся в ноздрях и на подбородке кровью. — Мертвая тут! Мертвая!..

Рванулась изо всех сил, вцепилась в чью-то синюю чуйку.

— Держись за мной, девка, — хрипло выдохнула чуйка, не оглядываясь. — Руки в кулаки сожми, упри их перед животом. И не опускай! И ногами семени, не отрывай от земли, семени ногами. Споткнешься — затопчут…

Двое парнишек быстро-быстро проползли по-

верх стиснутой людской массы, упираясь босыми ногами в головы, лица, плечи. Голая нога лягнула Надю, сбив шляпку, и тут же исчезла, торопясь туда, где буфетчики, не глядя, торопливо метали узелки с подарками прямо в народ, увеличивая толкотню, сумятицу и острое желание во что бы то ни стало ухватить заветный царский дар.

Их несло на цепочку дощатых буфетов, на трупы, что уже копились перед ними, куда все так стремились, где совсем недавно так строго блюли очередь, грубо прогнав Надю с Феничкой. Теперь эта очередь, вжатая в нестроганый тес буфетов, притиснутая к ним, расплющенная, задушенная, истоптанная и раздавленная, лежала на земле. Напор сзади был столь велик, столь зверино безжалостен и неодолим, что в одурманенной ужасом голове Нади с чистой, пронзительной ясностью мелькнуло вдруг: «Вот и все…»

Но тут слева от них — то ли от линии буфетов, то ли со стороны Москвы — возник новый поток, такой же орущий, стонущий, хрипящий, звериный и неуправляемый. Он врезался с припасенной где-то силой в их движение, задержался на мгновение от удара о него, вызвав смертные вопли тех, кто попал меж двух потоков, но их волну развернуло вправо, пронесло мимо буфе-

тов и с удвоенной скоростью погнало в сторону балаганов. Надя, уже давно потерявшая туфли и быстро-быстро семенившая маленькими шажками, не ощущая боли сбитых в кровь ступней, вдруг почувствовала, как рванули сзади за юбку, споткнулась, но чудом устояла на ногах, поддернув юбку до того, как каблуки семенивших позади успели вторично на нее наступить.

Поток, в который попала Надя, — а таких отдельных потоков образовалось много, семенил, точнее, бежал, семеня изо всех сил, молча. Слышалось только громкое, единое по вдохам и выдохам дыхание, точно бежали не люди, даже не стадо, а — зверь. Косматый и беспощадный зверь, сотворенный растерявшими облик человеческий и уже озверевшими людьми.

«…по образу и подобию Божьему…»

Уже не было этого. Не было ни образа, ни подобия, уже зачалось иное создание по иному образу и по иному подобию. Еще дико кричали, рыдали, стонали последними стонами, хрипели последними хрипами и ругались последними словами где-то в головах этой гигантской гидры, рвущейся к самоубийству…

Но Надя слышала только единое, короткое, частое, как у загнанной лошади, дыхание толпы.

И еще — стоны. Такие же короткие, как вдох и выдох, и поэтому Надя порою слышала слова бегущей впереди спины:

— Кулаки… Кулаки топорщи, девка… И никого вперед не пускай…

Пустить кого-либо было невозможно ни вперед, ни назад. Все бежали тело к телу, и Надя бежала как все, уткнувшись лицом в широкую, как телега, спину, вдыхая резкий запах насквозь пропотевшей чуйки и уже не ощущая, ее пот течет по лицу, разъедая глаза, или того, что семенил впереди. Слезы и пот не давали смотреть, перед нею была только спина и ничего более. Ни головы, ни рук, ни ног. Только мокрая, липкая от пота спина…

А за нею бежало тело, то прижимаясь вдруг и вдавливая в чуйку, то на миг отлипая, чтобы снова врезаться в нее. У этого тела были руки, которыми оно упиралось в Надину спину, колени, ощутимо бившие ее в бедра, голова с твердым подбородком и короткой бородой, жесткой щеткой проезжавшей по ее волосам при внезапных, непонятно почему возникавших содроганиях их единого потока. Надя была плотно зажата между неизвестной спиной и неизвестным телом, но остатками судорожно удерживаемого сознания

понимала, что если «спина» — ее защита и надежда на жизнь, то «тело» — ее смерть, потому что ноги этого тела первыми пройдутся по ней, если вдруг она оступится и упадет. Падать было нельзя, падение означало гибель, но это не было сигналом разума. Это был единый безмолвный вопль всего ее существа, каждой ткани, каждого нерва и каждой клеточки…

Густое облако желтой пыли уже поднялось над десятками тысяч людей, вовлеченных в единый семенящий бег по бесконечным кругам между разгромленными буфетами, за которыми начинался никем не огороженный овраг на юге; крепкими балаганами, построенными для народного увеселения, на востоке; потоком людей, все еще двигавшимся из Воскресенской рощи, на севере и Петербургским шоссе, огороженным канатами, на западе. Но и с юга, из Москвы, и с севера, из Всехсвятского, и с запада, из Петровского парка, безостановочно шли толпы, жаждущие царских подарков и дармового пива. И если первые ряды и могли разглядеть в густом облаке пыли, что происходит на предназначенной для народного гулянья площадке Ходынского поля, то остановиться они уже не могли. Сзади напирала толпа, которая ничего не видела, ничего

не понимала и ничего не желала понимать. И здесь образовывались свои потоки, часть которых смогла увернуться до того, как врезаться в безумное кружение, а часть не смогла, была подхвачена, вовлечена, свежим напором сбивая уже образовавшиеся круги. Это стало причиной внезапно возникавших людских коловращений, изменений движения, а то и вращающихся живых воронок, всасывающих в себя вращения тех, кто оказывался по краям.

А пыль, поднятая топчущимися на малом пространстве ногами, была столь густа и невесома, что и в полутора аршинах ничего нельзя было разглядеть. Легкая сама по себе, она легко взмывала над землей, но тут же пропитывалась испарениями пота и дыхания десятков тысяч разинутых ртов, утяжелялась, не относилась легким, почти неощутимым ветерком и непроницаемым облаком зависала над головами. Это облако перекрыло солнце, которое лишь тускло просвечивало сквозь желтую поволоку, и Надя смотрела на него в упор, не моргая. Огромный оранжевый диск солнца без лучей, висящий где-то за сплошной желтой пеленой глинистой пыли. Будто солнце чужой планеты, еще не заселенной человеком разумным.

— Карусели!.. — вдруг дико закричали впереди. — Карусели тут, люди добрые! Карусели!..

Яркое полотнище карусельной крыши закачалось перед Надей. Раздались нечеловеческие вопли, с треском рушились надломленные людским напором столбы, цветной шатер пополз вниз и рухнул, накрыв тех, кто оказался рядом. Край его, утяжеленный толстой пеньковой веревкой, с силой ударил по лицу, но Надя не почувствовала боли. Ужас был настолько бесчувственно огромен, настолько объял всю душу ее, что она рванулась из-под полотнища в отчаянном последнем усилии. И спина в промокшей чуйке рванулась туда же, и они выскользнули оба, и та же спина вновь оказалась перед нею. И даже хрипло выдохнула:

— Цела, девка?..

Сил отвечать не было, да и ответа не требовалось. Они вклинились в другой ряд, семенивший в том же потоке, но чуть в стороне от каруселей. Но ряд неожиданно затоптался, замысловато изгибаясь, и они оба — и Надя и чуйка — затоптались вместе с ним, потому что ряд этот пытался миновать свалку, образовавшуюся перед ним, когда правую часть потока вынесло на карусель. Сокрушив ее телами тех, кто оказался впереди

и упал под ноги напирающим в спины, уцелевшие изо всех сил пытались обойти павших не из сострадания к ним, а во спасение собственных жизней. А слева напирали ряды иного потока, оказавшегося в опасной близости от полуразбитых, заваленных трупами дощатых буфетов, а места не было, и началась очередная смертная круговерть в пыли, тяжкой и липкой от людских испарений, в тупом топоте десятков тысяч ног.

Хуже всего здесь приходилось тем, кто оказывался в крайних рядах. За них, как за зубья шестерен, невольно цеплялись из сопредельного ряда, выбивая из гнезда, увлекая за собой. И Надю зацепило это встречное движение, выворотило из ее строя, ее потока, ее ряда, оторвало от спасительной пропотевшей чуйки, завертело на одном месте, но кулаков, сжатых перед животом, она не убирала, несмотря на то что и вертели-то ее те, кто натыкался на них. Не потому, что помнила слова «кулаки упри, девка!» — ничего она сейчас уже не помнила и ничего не соображала, — а потому, что инстинкт самосохранения повелевал действовать именно так. И он же категорически запрещал самостоятельно предпринимать что бы то ни было. Пытаться вырваться, развернуться в иную сторону, выбрать свою скорость и свое на-

правление. Нет, нет, она должна была, обречена была подчиняться только общим законам, тем, по которым существовала вся эта обезумевшая толпа: поворачиваться вместе со всеми, дышать вместе со всеми и покорно семенить туда, куда в данный момент семенило все это огромное, потное, жадно хватавшее широко разинутыми ртами пропыленный воздух людское скопище. Нельзя было кричать, потому что от крика срывалось дыхание, нельзя было шевелиться, потому что ломался единый ритм, нельзя было даже плакать, потому что давка и ужас давно превратили ее слезы в обильный пот, который коркой застывал на лице, ручьями тек по груди, по спине, по животу, по бедрам.

Она не помнила, сколько раз ее развернули вокруг самой себя, но на одном из разворотов вдруг сквозь пот и пыль увидела страшное, распухшее женское лицо с широко раскрытыми, выдавленными из орбит, навеки остановившимися глазами. Они смотрели прямо на нее, в упор на нее… Та ли это была несчастная, с которой судьба столкнула ее в начале этого бешеного круговорота, или другая — иное мелькнуло в голове: «Господи, это же я!.. Я, Господи…» Но на страх уже не осталось сил, мертвое лицо с выпученными

глазами уплыло в желтый глинистый туман, а когда с очередным разворотом вернулось вновь, то показалось выше, чем прежде. Заметно выше, потому что над людскими головами теперь торчали плечи. Мертвые, изломанные и опущенные, как и все ее тело, которое, вместо того чтобы обрушить на землю, толпа выжимала вверх, в небо, в единственное пространство, оставшееся свободным…

Наконец какой-то из рядов зацепил Надю и потащил за собой, потому что она упорно не опускала сжатых перед животом кулаков. К счастью, ее поволокло, развернув лицом в сторону нового движения, и Надя тут же покорно подчинилась ему, торопливо на семенящем ходу встраиваясь в его ритм. И засеменила неизвестно куда, то утыкаясь лицом в мокрую от пота рубаху впереди, то ощущая тычки в собственную спину.

Кто-то кричал. Боже, как кричал!.. Последним криком. Самым последним в жизни…

Но те, у кого оставался хоть какой-то остаток сил, а с ним и надежда на спасение, не кричали. Они бежали молча, мелко-мелко семеня ногами и стараясь не отрывать их от земли. Многие скользили на собственных ступнях, как на лыжах, и кровавый след их истерзанных ступней втап-

тывался в пыль поспешавшими следом, потому что здесь не было и не могло быть последних. В толпе не бывает ни первых, ни последних, в ней нет концов и нет начал, в ней все равны великим равенством перед смертью. Единственным всеобъемлющим равенством для всего сущего на земле. Об этом знал каждый, попавший в гущу живых, об этом знала и безмолвно вопила каждая живая косточка. И все это вместе помалу копилось и в человеке, и в каждой его клеточке, а накопившись до предела, приобретало иное качество. Масса людей со своими характерами, походкой, лицом, темпераментом, возрастом, наконец, превратилась в Живое Безголовое Чудовище, клеточкой которого стал каждый человек: в толпу, повязанную единой волей самоуничтожения. Мыслящее начало растворилось в тупом коловращении, в скольжении без смысла и цели, в движении ради движения, потому что остановка всегда означала чью-то мучительную смерть.

И такая остановка вдруг случилась в том потоке, в котором покорно двигалась Надя. Где-то впереди, в желтой мгле пыли и сознания. Личной воли уже не существовало, она уже перетекла, растворившись в общей воле толпы. Остались одни ощущения, главным из которых стал ужас.

Не осмысленный страх, а дикий, животный ужас детства, сна, внезапного падения в пропасть. Это было ощущение неминуемого конца, и Надя восчувствовала его, увидев вдруг под самыми ногами груду бьющихся на земле и друг на друге еще живых человеков. Вероятно, она бессознательно остановилась, потому что ее сильно толкнули в спину. Она упала на еще копошившихся, еще живых людей и тут же быстро-быстро поползла по ним куда-то вперед от того последнего толчка, уже решительно ничего не ощущая и не чувствуя. Ни живой плоти под собою, ни ударов, ни рук, ни ног. Ее схватили за юбку, но она выскользнула из нее, поползла дальше, а ее хватали за руки, за ноги, за остатки белья, за волосы, цеплялись, рвали, а она ползла и ползла, вырываясь из цепких умирающих рук тех, по которым она ползла. Ползла со всей мыслимой быстротой, пока не ударилась головой о нижний брус балагана. Между брусом и землей была узкая щель, и она, распластавшись, втиснулась, пролезла под пол балагана, и на нее сразу обрушилась беспросветная тьма.

Прошло всего пятнадцать, от силы — двадцать минут с того момента, когда разом поднявшаяся из оврага толпа ринулась к буфетам, захватив своим мощным потоком Надю и Феничку. Вта-

щила их внутрь, отрезала Надю от Фенички с ее последним криком «Барышня-а!..», повлекла своим путем, счастливо обвела стороной от буфетов с их темными очередями и вытолкнула на площадку, где стояли карусели, гладко отполированные столбы с парой сапог наверху, качели, эстрады и балаганы для выступлений артистов на веселом народном гулянье.

А Феничку задавили в узком — всего-то с аршин шириной — проходе между соседними буфетами еще тогда, когда Надю только-только выволокла толпа на площадку, в первый круг ее ада.

Глава восьмая

1

Вечером 17 мая, накануне народного гулянья на Ходынском поле, в Большом театре давали торжественное представление, на котором должны были присутствовать государь с государыней и все великие князья, съехавшиеся в Москву на коронацию. Их оказалось столько, что пришлось существенно расширить царскую ложу за счет соседних лож, доведя количество мест в ней до шестидесяти трех. Партер сверкал мундирами, аксельбантами, эполетами и орденами, среди которых совсем затерялись немногочисленные фраки. Ложи ослепляли бриллиантами, прикрывавшими весьма смелые декольте. Платья дам, заказанные загодя специально ради этого вечера у самых модных портных Москвы, Петербурга, а то и Парижа, поражали своей изысканностью и тонко подобранными оттенками тканей, но и при этом великолепии нарядов весьма многие дамские глазки с досадой и острой завистью оглядывали ложу, в которой сидела статная особа в прямо-таки немыслимом, сказочно скромном

наряде, стоившем, по оценкам записных модниц, целое состояние.

Перешептывались:

— Супруга миллионщика.

— Говорят, у него откуп на все убранство Москвы.

— Что вы говорите? Это же…

— Да уж, нагрел руки…

Варвара изо всех сил старалась казаться равнодушной, и ей это удавалось. Они были вдвоем с Романом Трифоновичем, со вздохом и отвращением втиснувшим свою коренастую мужицкую фигуру во фрак. Надя идти решительно отказалась, Николай и Вологодов были заняты по службе, а генерал Федор Иванович появлялся временами, поскольку и в торжественные вечера продолжал исполнять обязанности при министре двора графе Воронцове-Дашкове, и ложа их в до отказа переполненном зрительном зале вызывающе зияла пустыми креслами.

— Из мужиков ведь, — зло шипели усыпанные бриллиантами светские кумушки, равно как и их обвешанные орденами мужья.

После появления в несуразно длинной царской ложе императорской фамилии, после грома аплодисментов, криков «Ура!» и дважды ис-

полненного гимна раздались первые такты увертюры и наконец-то поднялся занавес. Давали первое действие и финал оперы «Жизнь за царя» и балет Петипа «Жемчужина».

— Прочитать тебе, кто исполняет?

— Ну прочитай, — со вздохом согласился Хомяков.

Ему было скучно и тошно, поскольку на роль статиста он решительно не годился, а партия сегодня была не его. Хотелось выпить добрую рюмку коньяка и закурить сигару, но сейчас об этом не могло быть и речи.

Варвара раскрыла толстую — с добрую тетрадь — программу с тисненным на белой обложке золотым двуглавым орлом, полистала страницы в изящных виньетках с рисунками Самокиш-Судковской и Первухина.

— Антониду поет госпожа Маркова, Сабинина — Донской, Сусанина — Трезвинский. Запевала — сам господин Кошиц.

— Весьма рад, — буркнул Роман Трифонович.

— Затем балет…

Дрогнула штора, и в ложу скользнул Федор Иванович. В парадном генеральском мундире, со всеми орденами, бантами и лентами и распаренным лицом.

— Фу, кажется, всех рассадил.

— Ты сегодня — в роли капельдинера? — усмехнулся Хомяков.

— Сегодня, дорогой мой, день воскрешения местничества: даже члены Государственного совета сидят не ближе пятого ряда кресел. А уж обид, обид!.. Пропустим по глотку, Роман Трифонович? В горле першит от их неудовольствий.

— Куда же вы? Второй занавес пошел… — с досадой заметила Варвара.

— Вот и мы пойдем, — сказал Хомяков, выбираясь. — Им — петь, нам — пить. Каждому свое, дорогая.

В гардеробной ложи, скрытой тяжелой портьерой от зрительного зала, размещались четыре кресла, столик и дамское трюмо с пуфиком перед ним. На столике уже стояли бутылки и бокалы, вазы с фруктами и сладостями. Федор Иванович промокнул лоб платком и рухнул в кресло, позволив себе даже расстегнуть тугой воротник мундира. Роман Трифонович разливал коньяк.

— Хочешь, развеселю? — усмехнулся Федор Иванович. — Мне доподлинно известно, что обер-полицмейстер Власовский заменил добрую половину капельдинеров на своих агентов именно на это представление. Так сказать, усердие не

по разуму.

— Отчего же не по разуму? — пожал плечами Роман Трифонович. — Чиновники в России размножаются, как хрен. Одного выкорчуют — пять на его месте вырастает, а службы не прибавляется, вот и приходится усердствовать. Лучше скажи, что тебе о Петербурге известно. Стачки продолжаются?

— На Резиновой мануфактуре и Обводном канале. У тебя как, не балуют?

— Балуют, когда выгодно. А сейчас невыгодно. Еле с заказами управляются, а я сверхурочные ввел.

Генерал сделал добрый глоток, пожевал губами, подумал, прикрыв глаза набрякшими веками. Потом, вдруг решившись, наклонился к Хомякову, зашептал:

— Знаешь, государь при незнакомых конфузится. Говорить начинает отрывисто, а глаза бегают. А великого князя Сергея Александровича так просто слушается. Сам тому свидетель.

— Кто слушается, тот и боится.

— Тише! Тут ушей кругом… Знаешь, как у него глаза бегают?.. — Федор Иванович неопределенно помахал кистью, изображая бегающий взгляд государя, одним глотком допил коньяк и протянул

рюмку за новой порцией.

— Духа не боишься?

— У меня орешек припасен. Зажую.

— Дух не выдаст, свинья не съест, — философски заметил Хомяков, вручая родственнику вторую рюмку. — Полно в нас азиатчины, Федор Иванович. Колупни ногтем, она и посыплется.

— Варварски торжества выглядят, согласен. Пышностью давим, Роман Трифонович, аляповатостью, грубыми красками. А Европа улыбается. Ехидно улыбается Европа. Ехидно и снисходительно.

— Может, завидуют? — с еле уловимой насмешкой спросил Хомяков, раскуривая сигару.

— Чему? Чему у нас завидовать, Роман Трифонович? Что деньги горстями на ветер бросаем?

— Что бросаем? Нет, генерал. Что воруем без страха и трепета — да. Они тоже воруют, но все же опасаются…

— Господа! — В щель портьеры выглянуло сердитое лицо Варвары. — Не пора ли и честь знать?

Федор Иванович тут же торопливо стал застегивать мундир, а Роман Трифонович с сожалением потушил сигару и встал.

— Ну, идем, генерал. Приобщимся к искусству.

Следует отметить, что Роман Трифонович недолюбливал как оперу, так и балет, хотя много читал, высоко ценил живопись и с удовольствием слушал симфоническую музыку. Он не объяснял себе причин этого — просто одно любил, другое не любил, и все тут, — но причина имелась. Хомяков был настолько «человеком практическим», что совершенно не воспринимал открытой условности искусства. Он вырос в строгой старообрядческой семье, сумел преодолеть ее жесткие каноны, упрямо и очень увлеченно занимался самообразованием, умел размышлять, многое знал и многое понимал, но пробелов домашнего воспитания преодолеть не смог, да и не стремился к этому.

— Погладьте нас суконными, а шелковыми нас всяк погладит!

Они попали к финалу первого действия, после которого вместо тяжелого парчового занавеса с видом на Кремль опустился легкий, в тонко подобранных палевых тонах, и свет в зале не зажегся. Зрители остались на своих местах, промежуточный занавес взмыл ввысь, и на сцене предстала живая картина старой Москвы. Бояре и боярыни, стрельцы и посадские девушки, торговцы-лотошники, священники и черноризцы и

прочий московский люд. Костюмированное действо жило на сцене восторженно-оживленной жизнью, которую непринужденно имитировали уже не оперные, а драматические артисты. Среди них зрители радостно узнавали Ермолову и Федотову, Ленского и Южина, Музиля и Рыбакова. Обозначив быт некоего усредненного русского Средневековья, все артисты, как драматические, так и Большого театра, вышли на авансцену и с воодушевлением исполнили гимн под оркестр и безостановочные крики «Ура!» зрительного зала.

Потом опера продолжилась торжественным финалом с колокольными звонами, после чего был антракт с бокалами, чаями и конфетами. И антрактов таких Роман Трифонович терпеть не мог, но — надо было. Миллионные его дела требовали как укрепления старых знакомств, так и завязывания новых, почтительных поклонов, вежливых слов и целования ручек. Обряд сей был отработан в форме неукоснительной, не допускающей ни дерзкой самостоятельности, ни легкомысленного фрондерства. Хомяков вежливо улыбался, почтительно кланялся и целовал дамские ручки. Благо петербургский родственник генерал Федор Олексин хорошо изучил как двор, так и его задворки, а потому представлял могу-

чего воротилу Хомякова согласно собственным, проверенным и просеянным знаниям кабинетов, коридоров, гостиных и будуаров, в которых вращались сильные мира сего. Во всей этой необходимой, но такой неприятной для Романа Трифоновича своей фальшью суетливости, столь не соответствующей его характеру, было по крайней мере две отрадные минутки. Появился вдруг по горло занятой, но такой свой, все понимающий ироничный Вологодов. Поулыбался, сказал несколько только им понятных слов и вновь исчез по делам. А под конец как на грех затянувшегося антракта возник шумный, никогда не унывающий старый друг:

— Трудимся, Роман Трифонович?

— Так ведь без труда, Василий Иванович, и аппетита не нагуляешь. Заглянешь к нам после театра?

— Не смогу, ты уж прости, дружище. Отчет писать надо, а ночь коротка. Завтра в обед, если не возражаешь.

— Буду ждать, Василий Иванович.

На том и разошлись. К счастью, вскоре прозвенел звонок, все потянулись в зал и ложи, и мука кончилась. После нее остался в душе раздражающий осадок, но утешало, что не зря кланялся.

И познакомился, с кем хотел познакомиться, и о встречах условился, и даже на взаимный интерес удалось вполне корректно намекнуть.

А после начала балета Петипа «Жемчужина» с госпожами Леньяни, Кшесинской-второй, Джури и Рославлевой и господами Аистовым и Гердтом в ложу опять заглянул Федор Иванович. Вытащил на рюмку коньяку, сказал как бы между прочим:

— Власовский в антракте доложил великому князю Сергею Александровичу, что на Ходынском поле уже тысяч триста, а народ идет и идет.

— Для статистики, что ли, доложил?

— Нет. Солдат просил.

— И что же великий князь?

— А великий князь сказал, что сейчас лично поедет и всех пересчитает. И если на Ходынке окажется хотя бы на одного человека меньше, уволит господина обер-полицмейстера без мундира и пенсии.

— Тут-то Власовский ни с чем и удалился.

— Как бы не так. Нудил, нудил, а все же взвод казаков из него вынудил.

— Зачем обер-полицмейстеру генерал-губернатора раздражать? Великий князь злопамятен.

— Вот потому-то и раздражал.

— Загадочное поведение, — сказал Хомяков. — Заглянешь после представления?

— Не смогу, — вздохнул генерал. — Приказано к французскому послу ехать. Завтра он для государя бал устраивает. Может быть, в обед вырвусь на часок.

Покурили, помолчали. Роман Трифонович вздохнул:

— А ну как на Ходынке и впрямь столпотворение?

— Не думаю, — неуверенно пожал плечами генерал. — Конечно, намнут бока, нашего брата проще простого за бесплатно купить. В данном случае Власовский просто перестраховывается. Если что, не дай бог, и случится, то и ответ готов: «Я же докладывал, ваше высочество, казаков у вас просил, а вы мне всего-навсего один взвод выделили. Что же я мог поделать?..»

2

А Власовский из театра немедленно послал за казачьим взводом, выпрошенным с таким унижением, а заодно и за своим заместителем полковником Рудневым. Заехал домой выпить чашку кофе и предупредить жену, чтобы не ждала к завтраку, а возможно, и к обеду, и уже

при первом солнышке отправился на Ходынское поле.

Коляска его с огромным трудом и запозданием прорвалась к Ходынке в объезд, через Всехсвятское. Вопли и стоны, треск ломаемых сооружений, грозный гул, топот тысяч ног и поднятая ими пыль сразу дали опытному полицейскому представление о размерах катастрофы. Не теряя времени, он приказал Рудневу осадить толпу, сколь только это возможно, озаботиться о раненых и разогнать зевак. Послал казака объявить тревогу во всех пожарных командах и направить обозы для перевозки раненых и пострадавших, после чего мчаться в больницы и предупредить, чтоб готовились к оказанию помощи и приемке трупов. А сам — опять кругом, только на сей раз через Хорошево — поспешил к генерал-губернатору с кратким докладом и просьбой об экстренной и весьма серьезной помощи.

Сергея Александровича удалось разбудить только в восьмом часу: адъютант стоял насмерть, и никакие доводы не помогали. А Москва уже грохотала сотнями ошипованных колес: все двенадцать пожарных команд города мчались на Ходынское поле. Желто-пегие битюги Тверской части были первыми. За ними летели вороно-

пегие Рогожской команды, соловые с черными хвостами — из Хамовников, соловые с белыми хвостами — со Сретенки, вороные в белых чулках — Пятницкой части, белые без отметин — Городской, серые в яблоках — с Якиманки, Таганские чалые, гнедые битюги Арбатской, лимонно-золотистые — Сущевской команды, рыжие — Мясницкой и караковые — с Лефортова. Феничка знала все расцветки пожарных лошадей назубок и очень гордилась своими знаниями…

Великий князь вышел к назойливому неурочному посетителю в халате и с весьма помятым, очень недовольным лицом. Власовский начал доклад, не теряя времени, но генерал-губернатор, жестом остановив его, сказал адъютанту:

— Кофе и… и виши. Виши — в кружке.

Как только адъютант вышел, обер-полицмейстер продолжил заранее продуманный доклад. Только самое главное, только энергично и только кратко, чтоб усвоила невыспавшаяся похмельная голова царского родного дядюшки.

— Самоубийцы! — таково было первое, сказанное сквозь зубы слово генерал-губернатора Москвы Его Высочества Сергея Александровича. — Велено было к десяти утра являться. Велено было?

— Так точно, ваше высочество.

— Почему кордоны не выставили?

— Вся полиция — как в форме, так и в партикулярном платье — на охране мест проживания высочайших гостей Москвы согласно устному распоряжению ваше…

Адъютант внес поднос с чашкой кофе и большой кружкой. Великий князь первым делом схватился за кружку, и натренированный нос обер-полицмейстера уловил знакомый аромат ядреного огуречного рассола. «Виши», — усмехнулся он про себя.

— Так что же полиция? — спросил генерал-губернатор, гулко проглотив последнюю порцию.

— У меня более нет под рукою полиции, — вспыхнув, сказал Власовский. — У меня — три десятка полицейских на весь город, коими я могу распоряжаться. Толпа попросту смяла их…

— Что же это за полицейские, которых можно смять!

— А что это за народ, который можно затоптать, ваше высочество?

Власовский сознательно ответил дерзко, чтобы хоть таким образом привлечь внимание великого князя к сути произошедшего. И это ему удалось. Генерал-губернатор нахмурился:

— Известно число… гм… пострадавших?

— Подсчитывается.

— Считайте только опознанных, родственникам будет выдано пособие. А неопознанных в списки не вносить. Вы поняли меня, Власовский?

— Так точно, ваше высочество.

— А что это за грохот в городе? — После доброй кружки «виши» и чашки крепкого кофе у генерал-губернатора прорезался слух.

— Я приказал поднять все пожарные команды и послать на Ходынское поле для вывозки раненых и… и трупов, ваше высочество.

— Вы с ума сошли, Власовский? Это же грохот на всю Европу! Немедленно отзовите, скажите, что репети…

— Но у меня нет под рукою ни подчиненных, ни подвод, ваше высочество. Прошу разрешения выделить солдатские команды в мое распоряжение.

— Солдаты нужны для парадов! — отрезал Сергей Александрович. — Именно сегодня и именно на Ходынском поле должен состояться смотр частей гарнизона… Нет, не смотр, а народный праздник. И он состоится!

— Но мы не успеем вывезти даже раненых…

— Раненых вывезти! До одиннадцати у вас еще есть время. Но ни в коем случае не везти по Петербургскому шоссе: в Москве иностранцев полно. Везите кругом, через Хорошево.

— Ваше высочество, у меня нет людей. Дайте солдат, ваше высочество. Умоляю…

— Вот прицепился… — в сердцах сказал генерал-губернатор.

— Умоляю, ваше высочество. Без солдатских команд с подводами мы не в силах управиться. Это катастрофа.

— Не болтайте лишнего, Власовский! Государю доложу лично, когда изволит проснуться.

— Солдат, ваше…

Сергей Александрович так глянул, что обер-полицмейстер проглотил половину предписанного обращения. Великий князь пометался по приемной, хмуро, через плечо бросил адъютанту:

— Дежурного офицера.

Адъютант сразу же вышел.

— Установленный порядок не должен быть сорван ни в коем случае, — отчеканил генерал-губернатор. — У государя каждая минута на счету.

— Слухи не остановишь, ваше высочество, и народ вот-вот двинется к Ходынскому полю. — Власовский лихорадочно соображал, не упустил

ли он чего-либо важного. — Дозвольте хоть на час перекрыть Петербургское шоссе…

— Ни на минуту, Власовский! Чего нет в утвержденном государем императором расписании коронационных торжеств, того нет вообще. Не существует…

Вошел адъютант:

— Дежурный офицер по вашему повелению.

Посторонился, и в комнату шагнул дежурный офицер:

— Дежурный офицер капитан Олексин, ваше высочество! — звякнув шпорами, доложил он.

— Соберите три роты солдат в распоряжение обер-полицмейстера. Брать только из нестроевых частей, капитан. Только из нестроевых, а парадных расчетов не трогать ни под каким видом. Командовать ими будете лично по указаниям обер-полицмейстера.

— Слушаюсь, ваше высочество.

— Ступайте, капитан. — Сергей Александрович дождался, когда выйдет Николай Олексин, сурово глянул на Власовского: — Не болтать. Вы поняли меня? Не болтать! Действуйте.

3

В десять утра хлопнула дверь, донесся не то вздох, не то всхлип, и Василий Иванович Немирович-Данченко понял, что кухарка вернулась с Ходынского поля. Закрыв рукопись статьи о торжественном представлении в Большом театре — писать пришлось допоздна, а доделывать уже с рассвета — и сменив халат на домашнюю куртку, он прошел в кухню. Кухарка готовила завтрак на таганке и — странно — не отозвалась на его пожелание доброго утра.

— Ну что же, получила кружку? — спросил Василий Иванович, когда она стала молча накрывать на стол.

— Какая уж там кружка, барин! — судорожно всхлипнула она. — Не до кружки тут. Еле ноги уволокла, спаси господи!

— Что ж, давка?

— Господи боже ты мой! — Кухарка перекрестилась. — Задавили, батюшка-барин, столько… Царствие им небесное!

— Сама видела?

— Да передо мной, как вот у порога, бабу вытащили как есть мертвую, всю как есть в клочьях…

— Ну уж…

— Тысячи людей подавили, барин! — выкрикнула кухарка и вновь истово перекрестилась. — Такая свалка, что только и думала я, как бы живой оттудова выбраться…

Она бормотала что-то еще, но Василий Иванович уже не слушал ее, без вкуса прихлебывая кофе. Беспокойное, муторное чувство уже закралось в душу, и он уговаривал себя, что погибшие, по всей вероятности, есть, но есть и обычное преувеличение трагедии, столь свойственное простому народу.

С этим чувством он и вышел из дома. Во двор только что въехал водовоз с большой водовозной бочкой.

— Ты что, не ходил на гулянье?

— Ходил.

— Что ж так быстро вернулся? Или неинтересно тебе?

— Я давно вернулся. А в себя так час назад только пришел.

Водовоз говорил неохотно, каждое слово приходилось тащить из него клещами.

— А что так?

— Так в толпу попал, барин, — вздохнул водовоз. — Понял, что ждать придется долго, решил выбраться, а она вдруг двинулась. Толпа-то. Я

назад, я вправо, я влево, ан нет мне места нигде. Да Бог, видно, спас. Уперся я против движения-то и стою. Уж и били меня, и давили, и ругмя ругали, а я все одно — как столб. Вытерпел, а поредело малость, так и в Москву поплелся.

— Задавленных видел?

— Троих самолично. Одному на спину наступил, прости Ты меня, Господи…

— Когда толпа, говоришь, двинулась?

— Кто его знает. Солнце еще низкое было. Может, часов в пять или в шесть.

— Так ведь раздача угощения была на десять назначена!

— Не знаю, барин. — Водовоз глубоко, медленно вздохнул. — Я и сейчас ничего не знаю. В голове у меня мутит…

И снова принялся наполнять ведра, думая о чем-то другом и видя перед собой что-то совершенно иное.

Василию Ивановичу нужно было заехать в корреспондентский пункт и на телеграф, чтобы отправить две статьи в Петербург. В этих официальных местах о трагедии на Ходынке ничего толком не знали, но слухи докатились и сюда:

— Слышали?

— Тысячи, говорят…

— Да бросьте вы!

У телеграфа подметал тротуар дворник без шапки, хотя не принято то было, непозволительно даже. Но он, как показалось Немировичу-Данченко, даже не понимал, что на нем нет шапки. Он плакал.

— Что с тобой?

— Да бабы моей все нету и нету. — Дворник ладонью вытер залитое слезами лицо. — Все, кто с нею ходил, вернулись, а ее — нету. Потерялась, говорят. Ах господи, да как же человек потеряться-то может? Ведь не пятак же…

Василий Иванович постарался побыстрее переделать все свои неотложные дела, потому что беспокойство в душе росло. Источник этого беспокойства был сейчас далеко от него, увидеть что-либо собственными глазами не представлялось пока возможным, а к слухам он, опытный корреспондент, давно уже относился с большим недоверием.

Это профессиональное недоверие смущало, многое ставило под сомнение, мешало непосредственным ощущениям. Он обратил внимание на большое движение в городе, странное для праздничного дня, когда не работали даже мелкие лавки. Навстречу все время шли люди, навстречу,

с Ходынки, а не к ней. Шли молча, со строгими безулыбчивыми лицами, не глядя по сторонам, а чаще уставясь в землю. Ситцевые узелочки с подарками он заметил у двух-трех, не более, может быть, потому, что в глаза бросалась какая-то измятость, что ли. Измятость одежд, фигур, лиц, походок, наконец. «Пьяные, что ли?.. — размышлял Василий Иванович, еще не решаясь представить себе возможные размеры трагедии. — Да нет, непохоже. Может, праздник отменили?.. Конечно, давка там вполне возможна, и большая давка, но...» Но следовало увидеть все собственными глазами, побеседовать с непосредственными участниками возможной трагедии, а времени не было. По корреспондентским своим обязанностям он должен был лично присутствовать при всех выходах государя в народ, а именно таковое предусматривал сегодняшний распорядок.

Вот почему он избегал теперь расспросов, а то, что видел с пролетки, немедленно подвергал всесторонней критике не потому, что этого как бы «не могло быть», а потому, что не хотел создавать некий образ события до того, как мог детально с ним ознакомиться. Мысленно он все время твердил себе, что все слухи — невольное, вполне естественное, но в то же время и бессо-

вестное преувеличение реального несчастья, столь свойственное русскому человеку, особенно в торжественные дни: он называл это «компенсацией за личное неучастие». Так, встреченные им на Тверской пожарные дроги и бочки, а также несколько закрытых брезентом обозных военных фур с нестроевыми солдатами на козлах он тут же объяснил самому себе как спешную вывозку не убранного вовремя строительного мусора с государевых глаз, упорно твердя себе: «Все пока объяснимо логически, все объяснимо».

Где-то около часу дня Василию Ивановичу удалось пробиться к царскому павильону, расположенному напротив Петровского дворца, да и то только с помощью демонстрации корреспондентского значка. Подъехать к трибуне, где были определены места для корреспондентов, не удалось, пролетку остановили, и Немирович-Данченко встал в ней, чтобы сойти.

И… задержался, увидев вдалеке Ходынское поле.

Оно было закрыто сплошной стеной народа. Народ стоял и на обочинах Петербургского шоссе, куда только хватало глаз: и в сторону Москвы, и дальше, к селу Всехсвятскому, подковой охватывая Ходынское поле. И душа его словно вдруг

съежилась в предчувствии неминуемого страшного удара.

С этим ощущением нарастающей тревоги он и прошел на свою трибуну. Ранее прибывшие коллеги тут же окружили его.

— Знаете, что там, на Ходынке?

— Нет. А что?

— Несколько тысяч раздавлено.

— Ах, господа, господа, — вздохнул Василий Иванович. — Нам по долгу своей профессии по пальцам считать надобно, прежде чем такое говорить.

— Ну хорошо, но всмотритесь в лица простонародья. На лица внимания не обращали, Василий Иванович? — наседал бородатый экспансивный корреспондент «Московского листка». — Они же все измученные, угнетенные какие-то. Ни одного веселого не встретил! И это в праздничный день!

— Можно подумать, коллеги, что вы вчера прибыли из Парижа. — Немирович-Данченко опять вздохнул: не дышалось ему что-то, не дышалось. — Я веселых лиц тоже не видел, но измученных, угнетенных… Помилуйте, коллеги, русский человек гораздо глубже такого европейского определения. Он настолько вынослив, настолько терпелив и способен долго и упорно

сдерживать все свои чувства, что даже в трагические минуты выглядит равнодушным. А что в этот момент в душе его творится, одному богу ведомо. Ему куда более свойственна азиатская невозмутимость, нежели галльская темпераментная непосредственность, которой грешат многие из нас.

Трибуны были уже почти заполнены публикой. Пестрели нежными пастельными тонами дамских нарядов, ярко выделявшихся на фоне темных фраков, сюртуков и парадных мундиров. Легкий говор колыхался над ними, как ветерок, перед трибунами стояла молчаливая толпа, а позади нее — три оркестра и тысячеголосый хор. На вышку перед павильоном уже поднялся дирижер — директор Московской консерватории Сафонов, — отдававший в рупор последние распоряжения. А еще дальше — опять народ, но уже стоящий спинами к трибунам и павильону. И над ним — густое облако пыли, сквозь которое смутно проглядывали очертания балаганов и эстрад.

— Здравствуйте, Василий Иванович, — тихо сказали сзади.

Немирович-Данченко оглянулся. Перед ним стоял весьма пожилой знакомый фельетонист с непривычно серым, измученным и каким-то

потерянным лицом.

— Что с вами, Егор Платонович? Нездоровится?

— Час назад от буфетов вернулся. Они — левее, не видны отсюда. Вот беда-то, вот беда!..

От этих слов, произнесенных просто и искренне, Василия Ивановича обдало морозом по спине.

— Много погибших?

— И до сей поры более полутысячи возле тех буфетов лежат. — Фельетонист достал платок, отер вдруг выступивший на лице пот.

— Полутысячи?..

— Не до счета мне было, не мог я счета вынести.

От Москвы донеслось далекое «Ура!». Оно делалось все громче, перекатами приближаясь к Петровскому дворцу. На трибунах все встали и тоже подхватили «Ура!», но царский поезд свернул с шоссе на боковой проезд, ведущий к Петровскому дворцу.

— Прибыл, — вздохнул фельетонист и начал пробираться к своему месту.

Император и императрица появились на балконе второго яруса царского павильона минут через десять. Тотчас же с новой силой грянуло «Ура!», оркестр заиграл гимн, подхваченный

тысячегласным хором и повторенный дважды. Когда гимн закончился, государь как-то не очень уверенно поднял руку, но так ничего и не промолвил, и дирижер Сафонов тут же отдал команду исполнить «Славься».

— Он не будет говорить, — шепнул сзади коллега. — Идемте к Петровскому дворцу.

Корреспонденты осторожно, по одному пробирались к воротам Петровского дворца, где уже выстроились депутации. Тихо переговаривались, переминаясь с ноги на ногу. Минут через пятнадцать появилась открытая коляска, из которой вышел государь.

Василий Иванович не вслушивался в речи депутатов. Он стоял близко, за их спинами, не отрывая глаз от императора. Видел землистый, нездоровый цвет его лица, растерянные, совершенно отсутствующие глаза, неуверенные, словно кукольные жесты. «Не по размеру тебе шапка Мономаха…» — вдруг подумалось ему, и он испуганно оглянулся, точно кто-то мог прочесть его мысли.

— Императрица и я сердечно благодарим… Не сомневаюсь… Наше спасибо…

Тихий голос государя еле доносился до корреспондентов, которые, впрочем, и не слушали его,

потому что все сегодняшние речи, как всегда, были выданы им на руки в корреспондентском пункте вместе с пропусками во двор Петровского дворца, где должен был состояться обед для волостных старшин в присутствии Их Императорских Величеств. Часть корреспондентов уже потянулась туда, а Василий Иванович задержался. Ему вдруг стало неинтересно ни слушать, ни смотреть. И как только государь пошел к дворцовым воротам, незаметно отступил назад, а потом быстро вернулся к трибунам.

Трибуны практически опустели, шел усиленный разъезд экипажей. Ощущение расстроенного праздника уже охватило Немировича-Данченко, окончательно лишив его всех иллюзий. Он прошел на поле, молча показал полицейскому чину на свой корреспондентский значок и, взяв чуть левее, перелез через канаты.

4

Василий Иванович оказался на самом гулянье, о котором, впрочем, напоминал лишь хор цыган, с визгом исполнявших что-то надрывное, да — правее, ближе к Всехсвятскому, — полковой оркестр, безостановочно игравший вальсы. Слушателей было немного. Большей частью они

сидели небольшими группами на пыльной траве, скорее с отсутствующими, нежели заинтересованными лицами. Впереди, на площадке перед балаганами, людей было достаточно, там тоже гремела музыка. А левее, где начинался ряд буфетов, народу, как казалось, и вовсе мало, больше — солдат, и Василий Иванович свернул туда, помня слова фельетониста, в которых не усомнился. И чем ближе подходил, тем отчетливее видел, что дощатые буфеты эти порядком изломаны.

На подходе к ним ему встретилась группа из двух мужчин и женщины. Они выглядели усталыми и помятыми, на женщине было разорвано платье, а рослый мужчина оказался без шапки. Все трое скучно жевали ситный, запивая квасом, и никакого «гуляльного» настроения в них не чувствовалось.

— За подарками ходили?

— Что проку-то? — вздохнула баба. — Только бока намяли.

— Кабы не он, — худой мужик указал на рослого, без шапки, — не видать бы мне бабы своей. Как завертело нас, как понесло, так я ее и потерял. Ну, думаю, как-то выбираться надо. Как выбрался, не помню, барин, упал вот тут, недалече, замертво. И болит все, ну все нутро болит, и дышать не могу.

Очухался, а надо мною, значит, жена, баба моя. И — вот, Федор. Спас он ее, значит.

— Хорошо, нас на буфеты не понесло, а то бы и не выбрались, — хрипло пояснил рослый. — Стал обратно выдираться — на ее вон нанесло. Уж и не орет, стонет баба, совсем, видать, задавили ее. Как ее меж собственных рук сунул, уж и не помню, а только руки у меня здоровые, ломовой извозчик буду. Слава богу, выткнулись как-то и на землю попадали.

— Порознь возьми каждого — человек, как все люди, — сказал худой. — А в такой численности нам без управы нельзя оставаться. Никак невозможно нам без управы.

— И что это с людьми только делается, господи?.. — опять горестно вздохнула баба.

— Звереем, — угнетенно покачал непокрытой головой ломовик и тяжело вздохнул.

— И с той поры здесь сидите?

— Так сил покуда нет, барин. Хлебушка пожуем да поспим, поспим да пожуем. Спасибо добрым людям, хлебушка да квасу дали.

— Что ж, совсем без денег на гулянье шли?

— Да была мелочь какая-никакая, так упокойникам отдали. Им теперь все, что только отдать можно.

— И потому еще не уходим, — сказал ломовик. — У буфетов вона сколько еще неприбранных, что за нас погибель приняли. Совесть нам уйти не дозволяет, покуда не определят их.

Василий Иванович достал три рубля, протянул бабе:

— Купи мужикам водки, хлеба да колбасы. Обессилели они.

— Спасибо тебе, барин хороший, — всхлипнул худой. — Спасибо, добрый ты человек…

Вокруг — редко, небольшими кучками — сидели такие же. Помятые, изодранные, обессилевшие. И чувствующие себя виноватыми перед теми, кто все еще лежал у буфетов. Не могли они их оставить, никак не могли, совесть им не позволяла оставить покойников, «покуда не определили их».

— Пришла голубка-богомолка, может, за сто верст, смерть свою мученическую, стало быть, найти…

— А помнишь, одна, худенькая такая, кричит: «Не могу больше, сил моих нету!..»

— И доселе крик ее слышу.

— А кто виноват? Да я, видать, и виноват! Мне бы хоть на палец сдвинуться, так некуда же. Некуда!..

— Живые завсегда виноваты, живые. Те, что лежат, те ни в чем не виноваты. За нас всех, стало быть, смерть лютую приняли.

«Господи, господи, — с отчаянием думал Василий Иванович, шагая мимо них к буфетам. — Ну в какой стране, в каком царстве, в народе каком такое возможно?..»

— Кто, стало быть, споткнулся, тот и пропал.

— Как в жизни, брат.

— В жизни оно не так, в жизни выбор есть. А в толпе… Я вон кого-то локтем оттолкнул, что было силы оттолкнул и, может, погубил. По гроб тычка этого не забуду, по гроб собственный…

У буфетов народу стояло погуще, но — тихо. Слышались только всхлипывания да шепот. Василий Иванович осторожно протолкался вперед и — замер.

У самых ног его лежало до двух десятков трупов.

С темно-багровыми, почти фиолетовыми лицами, с дыбом поднятыми волосами. Запекшаяся, прибитая глинистой пылью кровь виднелась под ноздрями, в ушах, у уголков рта, но глаза у всех были уже закрыты. Платье на всех без исключения было изодрано в клочья, в пыли и грязи, почему все и выглядели одинаково нищими.

И у каждого трупа на груди — кучки медных денег, последняя жертва. Василий Иванович порылся в карманах, достал горсть монет, низко склонившись в поклоне, высыпал на чью-то продавленную грудь…

— Господи… — судорожно выдохнул за его спиной женский голос. — За что ж Ты нас, за что, Господи…

Василий Иванович тихо подался назад, вышел из толпы, оглянулся на линию буфетов. Длинную, с добрую версту… «Что же, у каждого буфета такое?..» И только подумал, как в его от ужаса заложенные уши вновь ударил цыганский надрывный мотив. «Праздник, — припомнилось ему. — Народное гулянье в городе Москве».

Он прошел с десяток буфетов и подле каждого встречал груды трупов. Те же черно-фиолетовые лица, та же изодранная одежда, те же последние медяки на груди. Считать было ни к чему да и не нужно: то, что он увидел, выходило за рамки статистики, не умещалось в ее столбцах. Через разбитый буфет он вылез на другую сторону, тыльную, обращенную к длинному оврагу. И здесь были люди и трупы, и все пространство усеяно клочьями рубах, платьев, чуек, изорванными сапогами, шляпками, зонтиками. Василий

Иванович подошел к краю обрыва, заглянул в него и обомлел.

Овраг был заполнен трупами. Может быть, до него еще не добрались похоронные команды, потому что он был не виден с царского павильона и трибун для публики, может быть, в него даже сбрасывали покойников, торопливо очищая площадь для гулянья, а только было там как на поле только что отгремевшего сражения. И живые, как похоронная команда, бродили среди мертвых, с ужасом заглядывая в лица, робко надеясь, что их близких здесь нет.

Он не смог спуститься в овраг. Не смог, и заставлять себя не стал. У него уже сложилась общая картина, да и деталей к ней было вполне достаточно. Он думал, что достаточно, а потому и решил вернуться на площадь, к балаганам, где играла музыка и неутомимо выступали артисты. Нашел свободный проход между буфетами, шагнул в него и… и остановился вдруг, точно наткнувшись на стену.

Под его ногами, в пыли лежала толстая пшеничная коса. Василий Иванович с трудом присел в тесном проходе, поднял ее… и вместе с нею из притоптанной пыли появился кусок кожи с головы, уже высохшей на жаре.

Это был скальп. Скальп, сорванный с живого человека. Скальп, который он узнал, вспомнив, как совсем недавно взвешивал косу на ладони. «Ты одна тут, Феничка? — Кажется, он произнес эти слова вслух. — А барышня твоя где? С тобой была барышня?..»

Никто ему не ответил. Он выпрямился с косой в руке, но пошел не вперед, а попятился назад, к оврагу, точно тело Фенички все еще лежало перед ним в узком промежутке между буфетами. А выбравшись, бережно завернул косу в газету и спрятал во внутреннем кармане широкого американского пиджака.

И вовремя, потому что сзади раздался глухой стон. Василий Иванович оглянулся и увидел мужчину лет сорока, по всей видимости артельщика, в фуражке.

Он только что вытащил из соседнего межбуфетного проема тело молодого парня, перевернул его…

— Нет, не он, не он. — Артельщик глянул на Василия Ивановича, жалко, потерянно улыбнулся. — Сына ищу. Николку… — Он вгляделся. — Барин, никак, это вы? Николка мой вашей барышне каблук чинил, помните? Дюжину пива вы…

Корреспондент шагнул к нему:

— Ты?..

Крепко обнял, прижал к груди:

— Ищи, отец, ищи. Не может так быть, не может. Хватит с нас, хватит…

— Значит, тоже ищешь? — шепотом спросил артельщик. — Дай тебе Бог. Дай тебе Бог…

И пошел. А Василий Иванович вдруг ощутил ослепительный взрыв в душе. От этого безмолвного взрыва хотелось орать что только было сил, ломать все вокруг, выпустить в небо все пять патронов из «бульдога», который он всегда носил с собой, учитывая особенности профессии. И еще — боль. Сначала острую, будто пронзившую насквозь, а потом тупую, ноющую. Он пошарил в карманах, но папирос не было: он вообще курил редко. Увидел впереди мужиков, подошел:

— Нет ли закурить, братцы?

— Так махорки разве?

— Спасибо. Только сверни сам, руки у меня дрожат что-то.

— С нашим удовольствием, барин.

Свернули и прикурили даже. И отдали горящую, стреляющую во все стороны… Василий Иванович несколько раз глубоко затянулся, и боль отпустила. И направился к балаганам.

5

Здесь выступали жонглеры, акробаты, гимнасты, силовики жонглировали двухпудовыми гирями. Время от времени появлялся клоун Дуров смешить публику, уходил передохнуть и вновь возвращался. А публика все не смеялась. Сидела большей частью на земле, тихая, оборванная, помятая, а Дурову так хотелось, чтобы хоть кто-то отвлекся от виденного и слышанного, чтобы хоть кто-то улыбнулся.

Василий Иванович знал клоуна Анатолия Леонидовича. Хотел перемолвиться с ним, расспросить, что он застал, когда пришел сюда, что видел, что слышал. Еще на подходе он понял, что Дуров работает из последних сил, почему часто и уходит в балаган перевести дух. И остановился чуть в стороне, чтобы не мешать артисту, а пройти за ним, когда он закончит очередное выступление.

И Дуров его приметил, но вида не подал: номер следовало закончить чисто, профессионально. Но, работая, постепенно сдвигался к нему, а потом уронил надутый, ярко раскрашенный бычий пузырь, стал смешно ловить его, кувыркаясь и падая, и подобрался к Василию Ивановичу.

Промахнулся с пузырем в очередной раз, схватил вместо него Василия Ивановича за ногу, стиснул.

— Здравствуй, Анатолий Леонидович, — шепнул Немирович-Данченко, наклонившись к нему.

— Под балаганом — женское тело… — задыхаясь, тихо сказал клоун. — В неглиже. Белье кружевное, Василий Иванович. Сейчас не глядите, я публику в другой конец отвлеку…

И дурашливо заверещал, гоня размалеванный пузырь в противоположную сторону.

Василий Иванович, сделав вид, что поправляет смятые клоуном брюки, нагнулся, заглянул под нижний венец балагана и сразу же увидел маленькое, жалкое тело в кружевных панталончиках. Что-то вновь ударило его в сердце — может, Феничкина коса. Он задохнулся, выпрямился, оглянулся кругом и увидел двух солдат поодаль: что-то они сгребали с земли на носилки.

— Офицера ко мне! — крикнул он. — Живо!..

Один из солдат послушно побежал за офицером, а оставшегося Немирович-Данченко поманил к себе:

— Двуручную пилу, лом, лопаты. Быстро!..

И второй убежал. А к Василию Ивановичу уже спешил молоденький, исполненный чрезвычай-

ной важности подпоручик.

— Женщина под балаганом. Прикажите немедленно достать и пошлите за врачом.

— Тут под каждым балаганом… Да что там, под каждым ларем мертвые попрятаны, господин… Прощения прошу, не знаю, с кем имею честь. Кончится гулянье, всех в морги развезем.

— Я прошу немедленно…

— Не мешайте работать.

— Служить надоело? — У Василия Ивановича вдруг перехватило горло. — Так я помогу вам из армии вылететь. С треском, ко всем чертям!.. Старшего сюда!

— Господин капитан! — закричал подпоручик, вмиг став испуганно-серьезным. — Господин капитан, сюда пожалуйте!..

К ним уже бежал, гремя шанцевым инструментом, солдат. Следом устало поспешал молодой капитан в насквозь пропыленном парадном мундире.

— В чем… Господи, Василий Иванович?

— Здравствуй, Коля. Там… — Василий Иванович ткнул в балаган задрожавшим вдруг пальцем. — Там — женщина. Кажется, это… Она это, Николай. Она, по боли чую.

Капитан странно посмотрел на него, присел,

заглянул. Выпрямился, запыленное лицо бледнело на глазах.

— Что же это, Василий Иванович? Да почему же здесь?..

— Вели вытащить. Пошли за врачом и пролеткой. Может, жива еще. Может, жива…

Немирович-Данченко без сил опустился на землю. Он смотрел, как солдаты споро расширяют лаз, как Николай, отодвинув их, протискивается под нижний венец балагана. Смотрел и не видел: плыло все перед глазами. Увидел только тогда, когда из-под балагана показалась женская голова со спутанными, дыбом стоящими, забитыми желтой глинистой пылью когда-то темно-русыми волосами…

К тому времени как Надю вытащили, подоспевшие солдаты уже стали в заслон перед публикой и прибежал пожилой усатый фельдшер. Рванул на девичьей груди остатки кружевной рубашки, припал мохнатым ухом.

— Что? — задыхаясь, спрашивал Николай. — Жива ли? Чего молчишь?..

— В больницу, — сказал фельдшер, поднимаясь. — Жива покуда, ваше благородие. Сердечко бьется. Еле-еле, но бьется.

Василий Иванович тяжело поднялся, снял

пиджак, прикрыл избитое, все в синяках и кровоподтеках, почти обнаженное тело. Николай глянул на него странным отсутствующим взглядом, метнулся к разрушенной карусели, обломки которой были накрыты остатками цветного шатра, в два взмаха вырубил саблей большой лоскут. Воротясь, завернул в лоскут сестру и, подхватив на руки, побежал навстречу пылившей от Петербургского шоссе пролетке.

Глава девятая

1

Поздно ложась спать, Варя поздно и вставала: завтрак ей подавали в постель не раньше двенадцати. И Роман Трифонович позволил себе подняться на час позже: в восемь вместо обычных семи. Попивая крепкий кофе, просматривал бумаги, которые по утрам лично доставлял старший конторщик. Так уж было заведено: Хомяков на работе не щадил ни себя, ни своих служащих. А дворецкий Евстафий Селиверстович Зализо обычно стоял рядом, опытно — не под руку, не в момент чтения — докладывая дела домашние.

— Барышню и ее горничную с вечера не видел, не спускались они, Роман Трифонович.

— Не буди, пусть обе отоспятся, молодые еще. Набегались в коронацию.

Евстафий Селиверстович степенно склонил голову.

— Видать, крепко спят с устатку-то. И грохот не разбудил.

— Ну, я-то как раз от грохота и проснулся.

— В семь часов сорок пять минут все пожарные

части подняли по общей тревоге.

— Пожар, что ли?

— Узнавал. Пожаров нет, на Ходынское поле помчались. Говорят…

— Чего замолчал? — усмехнулся Хомяков.

— Слух непроверенный, потому и замолчал. Так что как изволите.

— Ну и что за слух?

— Говорят, несчастье там большое, — понизив голос, сказал Зализо. — Людей подавили, говорят.

— Много?

— Говорят, небывало как.

— Любим мы преувеличивать. — Роман Трифонович подписал три письма, вложил в конверты. — Скажешь посыльному, чтобы развез по адресам. У меня — две деловые встречи. Вернусь к четырем.

Встречи были следствием вчерашних антрактных знакомств, которые следовало закрепить. Обе прошли удачно, Хомяков был доволен и возвращался домой в начале пятого с улыбкой.

У особняка растерянно топтался молодой человек в тесноватом гимназическом мундирчике.

— Ваня? Добрый день. Надюшу ждете?

— Мы утром условились встретиться, но их нет

до сих пор.

— Проспала, вероятно. Проходите, сейчас разыщем.

— Трупы видел, Роман Трифонович, — тихо и очень озабоченно сказал Ваня, когда они шли к подъезду. — Целый воз трупов. Синие все. И оборванные какие-то.

— Целый воз?

— Говорили, что с Ходынского поля.

— Не сообщайте этого дамам.

— Как можно, Роман Трифонович…

— Нади нигде нет, — вместо приветствия сказала Варя, едва заметив почтительно поклонившегося Каляева. — Ни ее, ни Фенички.

— И не завтракала?

— Их никто не видел. — В голосе Вари уже слышались нотки тревожного раздражения. — Понимаешь, никто.

— Проходите в гостиную, Ваня. — Роман Трифонович проводил неожиданного гостя и тотчас же вернулся. — Она говорила, куда собирается идти?

— Она ничего мне не говорит. — Варя нервно ходила из угла в угол. — Избаловал девчонку. Непозволительно избаловал.

— Где же она может быть? — озадаченно спро-

сил Хомяков.

— Да где угодно. Даже на Ходынском поле.

— Ну уж… Уж это слишком. — Роман Трифонович, не глядя, нащупал кресло и обессиленно опустился в него. — Нет, нет, Варенька, этого не может быть. Не может…

Они глянули друг на друга, столкнувшись ищущими ответа напряженными глазами. И сразу поняли: может. Может и так быть. Вполне укладывается в ее характер. Захотела — и пошла. Просто под воздействием вдруг возникшего желания. Поняли и замолчали. Варя села в кресло напротив, и молчали они долго. Потом Хомяков вдруг сорвался с места и ринулся в малую гостиную, где в одиночестве маялся Каляев.

— Надя не говорила, куда намеревалась сегодня пойти?

— Нет, — несколько растерянно сказал Ваня. — Я с нею давно не виделся. А Феничка сказала, чтобы я ждал их у памятника Пушкину. Я с одиннадцати жду. А почему вы спрашиваете?

— Нету ее нигде, — растерянно сказал Роман Трифонович. — С утра никто не видел…

Распахнулась дверь, и в малую гостиную без доклада вошел Василий Иванович в пыльных брюках, пыльном пиджаке.

— Надя в больнице Пирогова, — сказал он. — В хирургическом отделении. Передал с рук на руки старшему врачу Чернышеву Степану Петровичу.

— Жива?.. — сдавленно и почему-то очень тихо спросил Хомяков.

— Без сознания. — Немирович-Данченко рухнул в кресло. — Врач просил Варю приехать, кое-что привезти. Список я ей вручил, помчалась переодеваться. Дай закурить, Роман.

Роман Трифонович бросил на стол золотой портсигар и быстро вышел. Василий Иванович достал сигару, прикурил. Посмотрел на замершего, побелевшего, как простыня, Каляева, сказал резко:

— Сядь! Не маячь перед глазами.

Ваня послушно сел напротив, не отрывая взгляда от хмурого усталого корреспондента. Василий Иванович курил сигару как папиросу, по всей вероятности даже не замечая, что он курит.

— Это вы ее нашли? — робко спросил Каляев.

— Что?.. Да.

— В больнице?

— Нет.

Бесшумно вошел Евстафий Селиверстович:

— Роман Трифонович и Варвара Ивановна уехали. Просили их обождать.

— Вели водки подать да чего-нибудь перекусить.

Зализо молча поклонился и вышел.

— В куске балаганного брезента, — вдруг сказал Василий Иванович. — А больницы переполнены, раненые в коридорах лежат. Символ какой-то, что ли? Знамение?..

— Прошу, — сказал дворецкий, открыв двери, ведущие в буфетную.

В буфетной на столе уже стояли холодные закуски и графин водки. Они сели, и Зализо сам наполнил рюмки, поскольку ни буфетчика, ни кого-либо из прислуги не было.

— Принеси рюмку и налей себе, — хмуро сказал Немирович-Данченко.

— Я на службе, Василий Иванович, — с достоинством отказался Евстафий Селиверстович.

— Ты на службе, а Надежда — при смерти!

Зализо послушно принес такую же рюмку. Корреспондент лично наполнил ее и встал. И молчал. И остальные тоже встали и тоже молчали.

— Господи, не верил я в Тебя как должно, в гордыне своей и суете! — с надрывом выкрикнул вдруг Василий Иванович. — Но если Ты есть, Господи, не допусти! Не допусти, Господи, гибели ее. Лучше нас, нас троих порази громом своим,

не ее!..

Одним махом опрокинул рюмку, рухнул в кресло, закрыл лицо ладонями. И Зализо с Каляевым выпили до дна водку и тоже молчали. Потом Василий Иванович отер лицо, вздохнул:

— Простите и за театральность, и за экстаз. Только я ее на руках вез, ухом к груди припав, а сердечка ее так и не услышал. А теперь слушайте, как нашел, мне выговориться надо, а то изнутри разорвет. И ты не уходи, Евстафий.

Он не мог рассказывать без подробностей, потому что подробности тоже рвали душу его. Но говорил живо и емко, кончив тем, как гнал лихача по Москве, держа в объятьях маленькое, почти невесомое тело, завернутое в балаганный лоскут.

— А больницы переполнены, не берут нигде. А если берут, так разве что в коридор. Слава богу, в Пироговке палату нашел. Ешь, Ваня, ешь. Из белого в красного превратился, а есть надо. И мне надо, хотя не хочется. — Немирович-Данченко наполнил рюмки. — За то, чтобы верить. Верить. Всегда, чтобы верить даже в то, во что уж и не верится.

— Простите, господа, — тихо сказал Евстафий Селиверстович и вышел.

— Ешь, Иван, ешь, — бормотал Василий Иванович. — Но больше не пей. Молод еще.

Евстафий Селиверстович очень любил Наденьку и очень не любил, когда в доме нарушался порядок, созданный в основном его руками. От этого противоречия ему было вдвойне не по себе, и все же он куда больше страдал и терзался из-за несчастья с Надей, нежели из-за нарушенного порядка, следить за которым надлежало именно ему. И еще он думал о Феничке, о которой так никто пока и не вспомнил, но которая — Зализо был убежден в этом — сопровождала свою барышню на Ходынское поле. Спросить о ней Немировича-Данченко он постеснялся — да и не время было, совсем не время! — но судьба молоденькой горничной очень его тревожила.

Хомяков вернулся без Варвары, но с Викентием Корнелиевичем, с которым столкнулся у подъезда. Там же он и выложил о Наденьке все, что знал («Жива, слава богу, жива, но пока без сознания…»). Вологодов выслушал молча, только странно вздернул подбородок да еще больше выпрямил спину, и без того прямую, как казачья пика. Молча прошел в дом вместе с хозяином.

— А где Варвара?

— Там осталась, — сказал Роман Трифонович. —

В палате торчать будет, пока врач не прогонит. Олексины все такие.

Потом все почему-то оказались в буфетной. Пили водку, закусывая тем, что было, и никому в голову не пришло спросить что-нибудь иное. Василий Иванович еще раз с совершенно ненужными сейчас подробностями рассказал, каким чудом нашел Наденьку, а о Феничке опять так никто и не вспомнил.

— Надеюсь, государь отменит сегодняшний бал у французского посла, — сказал он, подведя тем итог Ходынской трагедии.

— Как бы не так, — судорожно, с усилием усмехнулся Викентий Корнелиевич, упорно молчавший до сих пор. — Я имею некоторое служебное касательство именно к этому балу. Два часа назад докладывал о порядке его великому князю Сергею Александровичу и позволил себе попросить Его Высочество осторожно порекомендовать государю отменить на сегодня и завтра все коронационные торжества и объявить общероссийский траур. Заорал великий князь, чуть ногами на меня не затопал: «Ничто не может помешать отрадному празднованию священного коронования!»

— Я… Я убью его! — вдруг закричал Ваня. — Я

убью это бессердечное ничтожество, убью!..

По раскрасневшемуся лицу текли слезы. Роман Трифонович обнял его за плечи, ласково приговаривая:

— Убьешь, Ваня, непременно убьешь, а сейчас успокойся. Евстафий, уложи его спать.

Евстафий Селиверстович увел разрыдавшегося Каляева. Мужчины продолжали сидеть в буфетной. Каждый сам себе наливал водку и пил сам, думая о чем-то своем или пытаясь что-то понять.

Вошел Николай в пыльном парадном мундире, едва успев сдать суточное дежурство.

— Всех погибших вывезли? — спросил Василий Иванович.

— Какое там, и до утра хватит. Как Надя?

Хомяков заново начал рассказывать, и все молча и очень внимательно слушали его.

— Куда тела свозят? В морги? — продолжал упорно расспрашивать Николая Немирович-Данченко.

— Приказано — в полицейские участки. В морги только тех, кто в больнице умер. Мне указано было в Пресненский участок возить, через Хорошево. Мой субалтерн-офицер доложил, что там уж два сарая набили до крыши.

— Поезжай домой, Коля, ты же еле на ногах

держишься, — вздохнул Роман Трифонович. — Скажи, чтобы коляску тебе заложили.

— Да не до этого сейчас…

— Делай, что велят, — перебил Хомяков. — Деток целуй, супруге привет.

Капитан распрощался и ушел. Все устало перебрасывались словами, пили водку, нещадно курили. Дым висел в воздухе, но не он мешал дышать. Совсем не он…

Неожиданно распахнулась дверь: в проеме стояла, напряженно выпрямившись, бледная Варвара.

— А мужчины, конечно же, пьют водку. Хлещут, как гусары, благо предлог появился.

Хомяков, краснея, начал медленно подниматься с кресла, но Василий Иванович опередил его. Успел и вскочить, и подойти к Варваре, и достать из внутреннего кармана навсегда, казалось, пропыленного пиджака газетный кулек. Развернул его перед Варей.

— Вот наш предлог. Узнаешь?.. Все, что от Фенички осталось. Все, что осталось, видишь?

— Простите меня… — Шепот еле вырвался из перехваченного спазмами горла Вареньки. — Простите, господа. Нервы.

И сразу же вышла. И все бы кончилось спокой-

но, да Хомяков взревел вдруг:

— К черту! Евстафий, вели в бильярдную водки побольше! На зеленое сукно! Там моя территория!

Его пытались урезонить, но Роман Трифонович продолжал орать, расшвыривая кресла. Тогда все пошли вниз, полагая, что там он, может быть, успокоится.

— Извините его, Викентий Корнелиевич, — тихо сказал Зализо. — Уж очень сильно Наденьку любит.

— Я его понимаю, — горько улыбнулся Викентий Корнелиевич. — Я и сам закричать готов. Застенчивость не позволяет…

2

А коронационные торжества продолжались в полном соответствии с высочайше утвержденным расписанием. На следующий день после развеселого народного гулянья на Ходынском поле государь и государыня почтили своим присутствием обед для сословных представителей, имеющий быть в Александровском зале Кремлевского дворца, где изволили пригубить шампанского, а вечером посетили временную резиденцию австрийского посла, дававшего бал

в честь Их Величеств. Это почти маниакальное следование предписанным расписанием празднествам озадачило Европу, и в дерзкой французской прессе («Что же вы хотите, господа, республика…») даже промелькнули статьи о загадочной русской душе, как ни в чем не бывало продолжающей отплясывать при забитых до отказа московских моргах. Ну а на что, собственно, иное можно было списать свинцовое равнодушие российского венценосца, кроме как на загадочность, не требующую ни нравственных размышлений, ни моральных оценок? Загадочность, она и есть загадочность, только и всего. Этого европейскому обывателю оказалось вполне достаточно, и ничто более никого не смущало.

Никого, кроме москвичей. Отцы, матери, братья и сестры, тихие от испаряющейся с каждой минутой надежды, молчаливыми толпами бродили по больничным моргам да полицейским участкам, упорно разыскивая меж растоптанными, задушенными и раздавленными трупами то, что осталось от их родных, близких и просто знакомых.

А Роман Трифонович пил всю ночь на зеленом бильярдном сукне. Запоями он не страдал, да это, конечно, и не было запоем, хотя пил он в полном

одиночестве, так сказать, сам с собой, отправив Василия Ивановича вслед за Ваней Каляевым спать; Вологодов ушел домой, обещав появиться утром. Это было никчемной попыткой унять боль и страх за Надежду, утопить их в очередной рюмке, а не выйдет в этой, так уж в следующей непременно. И Хомяков понимал, что пьянка — безнадежная попытка, но ничего уже не мог с собой поделать. И упорно пил один, хотя верный Евстафий Селиверстович сидел тут же, ни на минуту не оставляя своего хозяина, которого искренне любил и которым столь же искренне восхищался.

— Я же Надюшку за доченьку считаю, Евстафий… — Слез не было, по душе они капали, не из глаз, и Хомяков только скрипел зубами. — С трех лет карапузиком у ног вилась, я ей каждый вечер сказки пушкинские читал.

Отлично постигший своего друга и благодетеля Зализо слушал молча, то и дело подсовывая Хомякову под руку то ветчину, то сыр, то хоть хлеба кусок. Подобное нечасто, но все же случалось, начавшись в Болгарии добрых двадцать лет назад, когда Роман Трифонович в кровь избил собственного компаньона, поставившего под шумок в Скобелевскую дивизию гнилую муку. Но тогда

Хомяков пил со злым непрощающим смехом, а ныне — со слезами, которые никак не желали литься из глаз. И это особенно пугало Евстафия Селиверстовича.

— Избаловал, говоришь? Да я души в ней не чаю…

Наконец Роман Трифонович напился до краев и рухнул лицом в щедро политое водкой зеленое сукно. Дворецкий принес подушку и тулуп, оттащил вмиг провалившегося в сон хозяина на диван, уложил, укутал тулупом. А сам сдвинул два кресла и улегся в них передремать. Но сон не шел, потому что Евстафий Селиверстович все время с огромной тревогой думал о Наденьке и с глубокой скорбью — о Феничке, судьбу которой уже знал.

Около семи сквозь дрему он расслышал тихие голоса в прихожей и тотчас же поднялся наверх. Там Варвара с личной горничной Алевтиной готовились идти в больницу.

— Барыня завтракала? — тихо спросил он горничную.

— Разве что кофе пила.

— Захвати что-нибудь с собой.

— Вон, корзинка целая.

— Чего шушукаетесь? — не оглядываясь, спро-

сила Варвара.

— Напрасно поспешаете, Варвара Ивановна, — осторожно сказал Евстафий Селиверстович. — Не пустят вас в такую рань в палату никоим образом.

— Лучше там ждать, чем здесь маяться, — вздохнула Варя. — Как Роман?

— К завтраму протрезвеет, так полагаю.

— Присмотри, чтоб горячего поел.

— Уговорю. Когда вернетесь, если он спросит?

— Сегодня не спросит, ты же сам сказал.

Проводив хозяйку и потолковав с Мустафой о Феничке, Евстафий Селиверстович вернулся в бильярдную. Как ни осторожно он шел, а Хомяков все же проснулся: чуток второй пьяный сон в отличие от первого. Выполз из-под тулупа, прошел к столу, хватанул добрый глоток прямо из графина.

— Черт, теплая…

— Надо поесть.

— Сам знаю, что мне надо.

— Поесть, — негромко, но весьма упрямо наседал Зализо.

— Вот пристал. — Роман Трифонович схватился за сигару. — Ну давай. Что там у тебя?

— Миска щей сутошных.

— К черту!

— Съедите, тогда и к черту пойду.

— Ладно. И огурцов соленых. Кадушку!..

Евстафий Селиверстович не настаивал ни на столовой, ни даже на буфетной: у Хомякова внезапно «взыграл ндрав», и «ндрав» этот приходилось учитывать. Наверху встретил Немировича-Данченко с Каляевым: оба были в халатах, прямо с постелей.

— Где наша одежда?

— Должно быть, уже почистили. Ступайте в бильярдную, там он. Щи сутошные подать?

— Щи — всегда хорошо.

Зализо велел все принести в бильярдную и спустился туда вместе с гостями.

— Доброе утро, — робко сказал Ваня, увидев хозяина.

— Водку пить будете? — хмуро спросил Хомяков вместо ответного приветствия.

— Я — да, он — нет, — сказал Василий Иванович, имея в виду Каляева. — У нас с Иваном тяжелый сегодня денек. Феничку пойдем искать по участкам.

— Феничку… — горько вздохнул Евстафий Селиверстович.

— Не надо бы ему, — буркнул Роман Трифо-

нович.

— Надо, — упрямо обронил Каляев.

— Ну гляди, паренек…

Варя тихо сидела на стуле у изголовья сестры, не отрывая глаз от ее бледного, осунувшегося — кожа да кости — лица. «Увезу я ее, — думала она, напряженно прислушиваясь к тихому дыханию Наденьки. — Как только поправится, как только разрешат врачи, сразу увезу. В Швейцарию, в горы. Тишина, чистый воздух, люди за грошовыми подарками не давятся. Купим там домик…»

Бесшумно открылась дверь, и вошли двое. Старший врач отделения Степан Петрович Чернышев и второй, Варе неизвестный. Беззвучно приблизившись, долго слушали, как Наденька дышит. Потом Степан Петрович поманил Варвару, и все трое вышли в коридор.

— Спит, — с облегчением сказал Чернышев. — Слава Тебе, Господи.

— Ночью не спала, — пояснил второй, помоложе. — Я раза четыре заходил: глаза закрыты, но, вижу, не спит. А к утру молодость свое все же взяла.

— Когда вы мне ее отдадите, Степан Петрович?

— Через недельку возобновим этот разговор, Варвара Ивановна. Очень важно по возможности

восстановить ей сон, ну и подлечить немного. Косточки у нее целы, но чудом истинным, так все в ней натружено и перемято.

— Дома мы создадим все условия…

— Нет, Варвара Ивановна, — сухо перебил Чернышев. — Здесь сама обстановка лечит, а дома она, не дай бог, о горничной своей думать начнет, и я не знаю, куда это может завести ее психику. Ни в коем случае не будите ее, а когда сама проснется, попробуйте осторожно поговорить. Очень осторожно. Только не о Ходынке и не о горничной… Как ее звали?

— Феничка, — вздохнула Варя.

— Феничка… — почему-то эхом отозвался Чернышев и тоже вздохнул.

3

На заднем дворе Пресненской части ворота двух вместительных сараев были распахнуты настежь, а за деревянным столиком сидели двое степенных, уже в летах, городовых. И тотчас же дисциплинированно встали, как только Василий Иванович и Каляев приблизились к ним.

— Мы ищем девушку…

— Не отыщете вы у нас никого, господин хороший, — вздохнул выглядевший старшим. — Хоть

и распахнули мы ворота всем ищущим, а найти кого нет никакой возможности.

— Навалом лежат, — пояснил второй.

— Можно посмотреть? — вдруг спросил Ваня, собрав для этого всю свою решительность.

— Смотрите, коли желательно.

Каляев пошел к ближайшему сараю и остановился у порога, потому что шагать было некуда. По обе стороны прохода трехъярусные нары, предназначенные для ночевки загулявших фабричных и отсидки беспаспортных бродяг до установления их личности, были забиты трупами. Они плотно лежали друг на друге, и в проход свешивались только ноги, в большинстве — босые, в пыли и засохшей крови. Мертвые лежали и в проходе, и тоже друг на друге, и Ваня попятился к выходу.

— Там все забито.

— В каждом участке так, — вздохнул городовой.

— Что же нам делать? — спросил Василий Иванович.

— Через час-другой гробы сюда доставят согласно заявкам, — пояснил старший. — Мы их тут… кхм… заполним, а потом отвезем на Ваганьково кладбище, как приказано. Там их в ряд выставят,

тогда и опознать можно будет.

— При двух свидетелях, — подсказал второй.

— Желательно при двух свидетелях, — подтвердил старший. — Чтоб и в списки занести, и документ на похороны выдать по всей форме, как положено.

— Когда там процедура эта начнется?

— Аккурат к полудню мы должны управиться.

— Спасибо, служивые.

Они молча вышли с полицейского двора. Василий Иванович достал часы, щелкнул крышкой.

— Девять. Поехали в Пироговскую больницу. Надю навестим, с врачами, может, поговорить удастся.

Наденька проснулась около девяти: Варя поняла это по вздрагивающим ресницам. Но молчала, потому что молчала и сестра, по-прежнему не открывая глаз. «Не хочет со мной говорить? — с тревогой думала Варвара. — Или… или голос пропал?..» И, не выдержав неизвестности, тихо спросила:

— Наденька, ты меня слышишь? — Ресницы чуть дрогнули, Варя поняла, что сестра ее слышит, и очень обрадовалась. — Ты в больнице, Наденька, все позади. В Пироговке, в отдельной палате…

— Две тысячи, — вдруг еле слышно произнесла Надя. — Это просто для отчета. Это неинтересно, Феничка…

«Бред! — с ужасом решила Варвара. — У нее воспален мозг. Мозг… О Феничке тревожится, о Феничке!..»

— Наденька, родная моя…

Распахнулась дверь, и в палату друг за другом вошли врачи. Их было много, Чернышев явно решил устроить консилиум, и Варвара поспешно встала.

— Прошу вас выйти, — официально сказал Степан Петрович. — Необходимо посоветоваться с коллегами.

Варя вышла в коридор, где сидела горничная с корзиночкой на коленях.

— Как встали да забегали, забегали!.. — шепотом поведала она. — Кто в бинтах весь, кто йодом измазан… Может, перекусите, Варвара Ивановна?

— Потом. — Варя не могла сидеть и ходила по коридору взад и вперед. — Кажется, он психиатра на консилиум пригласил.

— Знать, прогневили мы Господа нашего, барыня, — вздохнула Алевтина и перекрестилась.

— Не болтай чепухи. Чем Наденька прогневить

могла? Еще и жить-то не начинала.

— Да не барышня. Россия. Пьем, ругаемся, деремся… Прошлый раз вы в Германию меня брали, так там нету такого. Нету. И Ходынки этой нету.

Наконец открылись двери палаты, вышли врачи. Чернышев проводил их, вернулся.

— Пройдемте в мой кабинет.

— Что-нибудь… неблагоприятное? — встревожилась Варя.

— Не в коридоре же нам разговаривать.

В кабинете Степан Петрович обстоятельно растолковал Варваре вердикт высокого консилиума: общая подавленность вследствие тяжелой травмы. Более психического и нервного свойства, нежели физического. Покой, уход, никаких волнений, врачебное наблюдение, общие успокаивающие.

— Может быть, увезти ее за границу?

— Пока преждевременно.

В коридоре подле Алевтины сидели Василий Иванович и Ваня. Варя пересказала им разговор со старшим врачом, вздохнула:

— Психика восстанавливается медленно, он предупредил. А если вообще полностью не восстановится?

— Окстись, Варвара, — недовольно проворчал

Василий Иванович. — Характер у Наденьки легкий, веселый, озорной даже…

Он говорил что-то еще, но Варя не слушала. Она в упор смотрела на Каляева, а потом вдруг перебила Немировича-Данченко:

— Ванечка, может, вы к Наденьке пройдете? На пять минут. Может, вас услышав, она глаза откроет?

Но и этот опыт не удался, хотя Ваня нашел и правильный тон, и нужные слова. Глаз Наденька так и не открыла, но прошептала еле слышно:

— Форма задавила содержание. Форма.

— Что это значит? — допытывалась Варвара. — Что значит эта фраза: «Форма задавила содержание»?

— Не знаю. — Каляев растерянно пожал плечами. — Говорили мы с Надеждой Ивановной о равновесии формы и содержания, но как-то походя, что ли. Просто к слову пришлось.

Из больницы Немирович-Данченко и Ваня поехали на Ваганьково кладбище. Народу там оказалось много, полиции — тоже: полицейские чины ретиво выстраивали тихих, подавленных людей длинной змеей по два человека в ряду. Василий Иванович поговорил с полицейским офицером, козырнув корреспондентской ак-

кредитацией, и им разрешили идти не в общем скорбном строю, а по дорожке за гробами, со стороны голов погибших. И они медленно шли вдоль этих нескончаемых гробов.

Господи, сколько же их было! И какая стояла тишина. Мертвая. Ни криков, ни стонов, ни всхлипов не слышалось даже тогда, когда родители узнавали сына или дочь. А узнать было непросто, потому что никто не удосужился хотя бы омыть распухшие темно-синие лица, покрытые засохшей кровью. Слишком велик был размах этой трагедии даже для необъятной России…

— Вот она, — тихо сказал Ваня. Раздутое лицо Фенички было сплошь залеплено точно такой же коркой засохшей, забитой желтой глинистой пылью крови. А череп, покрытый той же смесью крови и пыли, оказался совсем голым, круглым, костяным, и Феничка стала похожа на совсем еще юного мальчика. К этому маленькому жалкому черепу присохли обрывки оборванной кожи, и Василий Иванович надеялся сейчас почему-то только на то, что скальп сорвали с нее уже после смерти. Опустился на колени, поцеловал Феничку в лоб, бережно прикрыл голый череп толстой пшеничной косой. Выпрямился, глянул на Каляева.

Ваня не отрываясь смотрел на мертвую Феничку, крепко — даже побелела — закусив нижнюю губу. И что-то во взгляде Каляева было таким неистово напряженным, что корреспондент осторожно положил руку ему на плечо:

— Ты что, Ваня?

— Запоминаю, — выдохнул Каляев.

Глубоко и горько вздохнули совсем близко. Они подняли головы и увидели молодого парня в рабочей одежде, стоявшего прямо против них в ногах Феничкиного гроба. В правой руке парень сжимал мятую кожаную фуражку.

— Невеста моя, — глухо сказал он, поймав их взгляды.

— Феничка? — тихо спросил Василий Иванович.

— Осенью повенчаться хотели, да — не судьба. Отец с матерью свалились оба, весь вчерашний день да полночи искавши ее. Одна она у них была, как свет в окошке. Поди, говорят, ты, Тимофей, может, тебе повезет. Вот. Повезло, стало быть…

Василий Иванович чудом протиснулся между тесно стоявшими гробами, перешел на противоположную сторону, обнял парня.

— Мы тоже ее здесь искали, Тимофей.

— С первого прохода ее нашел, — сказал Тимо-

фей, будто и не расслышав Немировича-Данченко. — Уж все бумаги получил. Жду, когда очередь дойдет, чтоб в церковь ее определить. Не определяют туда, не всем положено, говорят.

— Сейчас определим, — сказал Василий Иванович. — А потом пойдем куда-нибудь, помянем Феничку?

— Не смогу, вы уж простите, барин. На работу мне. Мастер только до обеда и отпустил.

Немирович-Данченко с парнем шли по одной дорожке, у ног погибших, а Ваня — по противоположной, у голов. Шел и ни о чем не мог думать. Только почему-то твердил про себя: «Запомню. Уж это я запомню…»

Кого он при этом имел в виду, было неясно. Тогда, может быть, даже для него самого.

4

Надя жила в состоянии какого-то съеженного, не существующего вне, а угнездившегося в душу ее неопределенного, смутного ужаса. Она догадывалась, что ужас этот возник потому, что органы чувств вдруг разом предали ее, начали действовать самостоятельно и более уже ей не подчинялись. И ужас как раз и заключался в том, что они более ей не подчиняются.

Глаза теперь были обращены внутрь, в нее самое, и не сообщали ей о том, что видят, а показывали только прошлое. Они словно бы стали обладать памятью, постоянно находясь в готовности продемонстрировать ей то, на что она до отчаяния, до панического страха не хотела смотреть: четкие, фотографические сцены дикой толчеи ходынского рассвета, налитые кровью, распухшие лица, тупое, бесконечное, навязанное всем топтание в чудовищно тесном, почти замкнутом пространстве, бессмысленное кружение, кружение, кружение. Иссиня-черный труп женщины, теснотой вознесенный над людскими головами. Изодранную одежду, исцарапанные лица с широко разинутыми ртами. Безумные, вытаращенные глаза… Неимоверным усилием воли она переключала эти кошмарные видения на картины из собственной жизни, из собственного детства, и когда это удавалось, испытывала огромное облегчение покойного отдыха. Но удавалось это редко и длилось недолго.

А уши продолжали слышать нечеловеческие крики. Нет, не животные даже — Надя твердо была уверена, что животные не способны так кричать, — а чудовищный вопль самой плоти, восчувствовавшей собственную кончину. Вопли,

стоны, крики, густую матерную брань хрипящих мужских надорванных глоток, женские визги — слава богу, детей она, кажется, не слышала. Да не она, не она! Ее взбунтовавшиеся уши, запомнившие все и теперь бесконечно воспроизводящие ей то, что они запомнили. И самым страшным были не крики и вопли, не отчаянный женский визг и последние отлетающие стопы. Самым страшным был топот десятков тысяч босых ног. Дробный, семенящий, беспомощный, послушный и покорный. Просто — топот по сухому глинистому полю. Бесконечный, бессмысленный топот, в котором она участвовала и не участвовать не могла. Неучастие означало смерть, и она это понимала. И семенила, семенила, семенила… Семенила куда-то без цели и смысла.

Даже ноздри до физической боли резало воспоминание о запахе толпы. Это был не просто запах пота насквозь пропотевшей чуйки, который бережно хранило ее обоняние. Это был непередаваемый и необъяснимый чудовищный запах объятой ужасом толпы, и Надя не могла разобраться, из чего он состоит. Просто пахло ужасом, общим ужасом тысяч отчаявшихся людей, и она была жалкой, беспомощной единичкой этого всеобъемлющего ужаса.

И кожа продолжала упорно помнить все прикосновения, слияния мокрых, липких тел, мокрых спин, насквозь промокшей коротко стриженной колючей бороды, столько раз проезжавшей по ее волосам. Ручьи стекавшего по телу пота, мокрых вздыбленных волос, твердость сухой почвы под ногами. Тверди, пасть на которую было нельзя ни в коем случае, невозможно было пасть, потому что падение означало смерть. Натруженная кожа головы упрямо хранила в своей собственной памяти, как ее тащили за волосы и как это было больно и страшно. Ноги помнили, как судорожно за них цеплялись, когда она ползла по еще живым, еще шевелящимся, стонущим умирающим. Как они щипали, царапали, кусали ее. А грудь до сей поры чувствовала, как ее беспощадно давили, тискали, сжимали, и Надя боялась дышать глубоко, потому что ей было очень больно.

Даже органы вкуса все сохранили в памяти, порою — особенно часто ночами — возвращая ей мучительную сухость рта, языка, губ. Ощущение мельчайшей, горько-солоноватой пыли, комом стоявшей в горле. Крепчайший соляной раствор пота и слез, разъедавший глаза, нос, губы, затекавший в рот. Это был вкус страха, вкус неми-

нуемой гибели, вкус предсмертной минуты.

Все органы чувств предали ее, не подчинялись ей более и всячески напоминали ей, их хозяйке, о своих оскорбленных ощущениях. И наверное, были правы: это ведь она, она по собственному капризу подвергла их такому жестокому испытанию.

И Наде все время хотелось закрыться от них, уйти в какую-то несуществующую раковину, захлопнуть створки и больше ничего не видеть, не слышать, не ощущать, не чувствовать и, главное, не вспоминать более ни о чем. Такой спасительной раковиной могла быть только смерть, и Надя подумала о ней, как только вернулись все ощущения. Подумала совершенно спокойно, как о чем-то неприятном, но необходимом, способном разорвать этот страшный круг взбунтовавшихся чувств. Подумала как о спасении и покое. Вечном покое. И если бы не мелькнуло это слово — «вечный», — как знать, может быть, и утвердилась бы она тогда в этой мысли. Но слово потянуло за собой одну из ее самых любимых картин — горькое левитановское полотно «Над вечным покоем».

Осевшая могилка на краю обрыва, покосившийся крест, согбенная ветром березка и — спокойный волжский простор вдали. «Покой не для

них, — отрывочно подумала она, разумея под „ними“ лежащих в могиле. — Покой там, там, вдали…» И мысли о спасении в некой раковине постепенно куда-то исчезли, растворились, навсегда покинув ее.

Надя очень боялась уснуть, потому что ожидала, будто ей непременно приснится Ходынка. Из всех сил боролась с подступающим сном, пока не проваливалась в глухое забытье. А возвращалась из него вдруг, прыжком из бесчувственной пропасти в мучительную явь, и все начиналось сначала. Но не говорила о бунте собственных чувств даже врачам. Она вообще не разговаривала, отвечая на все их вопросы либо «да», либо «нет». Она хотела сама разобраться в себе, без посторонней помощи и, главное, постороннего вмешательства, потому что чувства были ее, ее личные, собственные, и она сама обязана была обуздать их. Это осознание долга перед собственным телом появилось у нее уже утром следующего дня, и она судорожно цеплялась за него, подсознательно ощущая в нем путь к спасению.

А с Варей ей говорить не хотелось, почему она и не открывала глаз, прикидываясь спящей. Ей вообще ни с кем сейчас не хотелось говорить. При этом Надя побаивалась, что ее сочтут невме-

няемой, а то и отправят в психиатрическую лечебницу, и дабы этого не случилось, бормотала фразы, намекающие на ясную оценку обстановки. Варе — о Высоком, хотя и не вполне удачно, поскольку Варя ничего не поняла, а Ване Каляеву — о его же собственных словах. И Ваня — она была убеждена в этом — понял ее тогда.

А несколько второпях сказанную Варе фразу Наденька произнесла случайно, почти автоматически. Несмотря на борьбу с собственными органами чувств, Надя все время думала о Феничке, при этом ясно представляя себе, что Фенички больше нет. Что не могла она вынести того, что вынесла ее барышня, и потому, что не встретилась ей на той страшной дороге в чистилище синяя, насквозь пропотевшая чуйка, и потому, что не поднесло ее к балагану, под который удалось залезть, прорвавшись сквозь мертвые руки и зубы, но главным образом потому, что Феничка была небольшого росточка и не умела дышать животом, как дышат дети, звери и мужчины. А грудь ее сдавили со всех сторон, тисками зажав легкие, и слабые мышцы уже не могли их раздвинуть. Не было в ее жизни противной настойчивой немки фрау Пфальцберг, резким голосом выкрикивающей на занятиях по гимнастике:

— Легли все на маты! На маты! Восстанавливаем дыхание, дышим только животом! Вдо-ох — выдох! Вдо-ох — выдох!

И ставившей на грудь каждой гимназистки блюдечки, полные воды, для проверки глубины и правильности дыхания. Как-то Наденька рассказала об этом Феничке, и Феничка тогда очень удивилась:

— А как это, барышня?

И Наденька показала, как правильно дышать животом, чтобы при этом не шелохнулась водная поверхность в поставленном на грудь блюдечке. Этого у Фенички ни разу не получилось, грудь упорно вздымалась при вдохе, и вода из блюдечка лилась через край. И Феничка звонко хохотала…

Нет, она не терзала себя за то, что горничная пошла на Ходынское поле, в сущности, по ее капризу. Просто потому, что время терзаний еще не пришло. Сил не хватало на запоздалые укоры совести. Очень уж их было мало даже для борьбы за жизнь.

Глаза упорно смотрели внутрь, уши по-прежнему вслушивались в крики, вопли и семенящий топот ног, ноздри настойчиво хранили запах беспредельного ужаса. И Надя отчетливо понимала, что это надолго. Может быть, и на всю жизнь.

Глава десятая

1

Викентий Корнелиевич пришел утром, сразу же после отъезда Немировича-Данченко и Каляева на поиски Фенички. Роман Трифонович упорно продолжал пить в бильярдной, куда Евстафий Селиверстович и проводил Вологодова.

— Я взял десятидневный отпуск по болезни, — сказал он. — Располагайте мною. Только, если позволите, я сначала хотел бы навестить Надежду Ивановну.

— Не надо, — буркнул Хомяков. — Девицы стремятся выглядеть по крайней мере не несчастными.

— Вы совершенно правы, Роман Трифонович. Извините, об этом не подумал.

— Давайте лучше водку пить.

— Благодарю вас, мне пока не хочется.

— Учту ваше «пока».

Хомяков пил меньше, чем ночью, не опрокидывая более полных рюмок. Евстафий Селиверстович соорудил на втором бильярде нечто вроде шведского стола, но в углу стояла востребованная

кадушка с крупными желто-зелеными огурцами. С похмелья Роман Трифонович всегда предпочитал употреблять их, запивая рассолом, а Зализо давно изучил привычки своего хозяина.

Забегал Николай. На минуту: его опять отрядили где-то почетно торчать при выходах императора.

А вот генерал Федор Иванович что-то не появлялся. Романа Трифоновича это сейчас не беспокоило, но Вологодов спросил о нем.

— Раскланивается, — проворчал Хомяков. — Знаете, о чем подумалось вдруг? Накануне нашего, девятнадцатого, века родился Пушкин. И все столетие, заметьте, все девятнадцатое столетие прошло под знаком его рождения. И русская литература поразила своей мощью весь мир, и разгром Наполеона, и Сенатская площадь, и великая слава Шамиля, воспринятая и разделенная всей Россией, и славная война за освобождение болгар… Золотой век, потому что родился самоцвет гигантской величины и эманации. А век двадцатый встречаем Ходынкой. Бессмысленной самоубийственной бойней, Викентий Корнелиевич. Каким же должен быть двадцатый век с такой вот, с позволения сказать, визитной карточкой?

— Я — чиновник, Роман Трифонович. Не пророк.

— Я — чиновник, ты — чиновник, он — чиновник, мы — чиновники, — забормотал Хомяков, смачно откусив добрый кусок соленого огурца. — Не слишком ли много чиновников для России? Хрен хорош только к доброму поросенку, без него — живот схватит. Может, так оно и будет? Побегает Россия по сортирам…

— Кабы знать — соломки бы подстелил.

— Кабы знать… — угрюмо продолжал ворчать Роман Трифонович. — Бородач в сапогах реформы похерил, к едрене матери. Как это на детях отзовется, думали?

— Я — холостяк.

— А Россия — разве не наши дети, господин действительный статский советник?

— Наверно, вы правы. Не думал об этом, признаться.

— А России вообще думать несвойственно. Россия — материк женского рода, он чувствами живет. Чувствами, слухами да сплетнями, почему и толкует все время о своем особом пути, где чувств, сплетен да слухов будет вдосталь. Тютчев верно сказал, что умом нас не понять, а мы и возрадовались: вот какие мы загадочные!

А боли его не поняли. Точнее, не приняли. Тоже, заметьте, чисто дамское стремление превращать неприятную истину в приятный комплимент.

— Вы — западник?

— И западник, и славянофил в каждой русской душе соседствуют, поскольку душу эту татарская сабля надвое рассекла. Далее действует процент содержания этой субстанции, а не результат размышления. Чувственное восприятие, а не разумно-рациональное решение. Что, не согласны, Викентий Корнелиевич?

— Не совсем так, Роман Трифонович. Как та, так и другая идеи естественны, поскольку Россия лежит на рубеже двух культур. И обе эти культуры уживаются в ней.

— Брак не предполагаете?

— Какой брак? — насторожился Вологодов.

— Меж естественными культурами? Россия — невеста на выданье, Европа — солидный и состоятельный жених. Может, наконец-то и породнимся.

— А ну как мезальянс? — улыбнулся Викентий Корнелиевич.

— Это вряд ли. — Роман Трифонович тоже улыбнулся. — Московскую промышленную выставку помните? Кстати, тоже на Ходынском поле. По-

сещал я ее и потому, что в совете учредителей оказался, и из любопытства, признаться. И возле павильона кустарной промышленности обнаружил как-то двух интереснейших типов. Один — донской казак, матерый, в летах — шашкой гвозди в полено загонял по шляпку с одного удара. Натычет с десяток гвоздей, взмахнет десять раз — и десять шляпок к полному восторгу публики, в складчину платившей рубль за каждый лихо вколоченный гвоздь.

— Молодец казак, — сказал Вологодов. — Сумел найти временный приработок.

— Гвозди куда как сподручнее молотком заколачивать, тогда приработок будет не временным, а постоянным, — недовольно проворчал Роман Трифонович. — А это, извините, азиатское начало: раззудись, рука, размахнись, плечо. Проку в этом, как в подкованной блохе, но нам ведь не прок, нам удаль куда дороже. Но не было бы у меня второй половиночки российской народной медали, кабы не встретил я возле того же павильона еще одного частного предпринимателя. Правда, у него витринка имелась в самом павильоне кустарного промысла — «Драгоценные камни Подмосковья» называлась. В витринке той была яшма всех оттенков, агат, сердолик,

хрусталь, даже друзы гранатов, в том числе и редчайших, зеленых. Заинтересовало меня это, и познакомился я с хозяином и составителем этой коллекции. Мужик — бывший каменщик — уже в годах, серьезный, степенный, бородатый. Рассказал мне, что еще в каменщиках, мостовые ремонтируя, случалось ему находить кристаллы редкой красоты в простых булыжниках, предназначенных для мощения дорог. Ну, он заинтересовался — человек любознательный — и выяснил, что ледник притащил в Подмосковье друзы в каменных окатышах. И тогда он начал эту коллекцию собирать и в конце концов столько насобирал, что им университет заинтересовался.

— Некорректный пример для сравнения с удалым казаком, — заметил Викентий Корнелиевич.

— Не спешите с выводами. Кабы дело одной коллекцией закончилось, я бы о нем и не вспомнил. Но он-то рядом с выставкой плакат разместил: «Каждый может найти алмаз в подмосковном булыжнике!» И у входа в павильон — груда камней, колода и добрая кувалда. Вы покупаете за рубль булыжник и тут же кувалдой самостоятельно его разваливаете на части. Если внутри оказался кристалл — он ваш, если нет — извините. А

кристалл встречается один на десять тысяч булыжников — беспроигрышная лотерея! Каждое утро на рассвете ему привозили десять возов окатышей и увозили десять возов осколков вчерашнего азарта. Простите, дорогой друг, это дело, как предприниматель вам говорю. Он продает не собственную удаль, как донской казак, а ваш собственный азарт — вам же. Это уже европейский подход, европейское понимание души человеческой и европейская реализация возникающих возможностей. Так появилась у меня вторая сторона российской медали: европейская. Вот ведь что браком ко всеобщему счастью сочетать необходимо, а вокруг кричат: «Мезальянс!» Полно, господа, молиться надо, чтобы случилось сие, и не будет России равных во всем цивилизованном мире. Не будет, господин действительный статский советник, в этом ее будущее. Мощь и слава ее. Не надо более российский азарт продавать — куда лучше и выгоднее заставить покупателя собственный кураж оплачивать. Как вам такая модель, Викентий Корнелиевич?

— Признаться, вы заставили меня задуматься.

В бильярдную спустился Евстафий Селиверстович. Постоял в ожидании, когда допустимо было бы прервать господ.

— Что тебе? — с неудовольствием спросил Хомяков: сегодня его вдруг потянуло на разговоры.

— Очень прошу подняться в прихожую, — сказал Зализо, и в тоне его неожиданно прозвучала нотка личной просьбы.

— Кто-то пришел? Так проси сюда.

— Это невозможно, Роман Трифонович. Посетитель неожиданный.

— Извините, Викентий Корнелиевич.

Хомяков с весьма недовольным лицом поднялся в прихожую. У дверей скромно ожидала бедно одетая женщина, тут же низко поклонившаяся ему.

— Грапа?..

— Простите великодушно, что потревожила, Роман Трифонович. Только знаю, что барышня пострадала, а Феничка погибла, царствие ей небесное.

— На место, что ли, претендуешь?

— Я без претензий всяких пришла. Я просить вас пришла.

— Я своих решений не меняю.

— Не место мне надо, барин, мне Наденька нужна! — вдруг со слезами выкрикнула Грапа. — И я ей нужна, знаю, нужна. Ей со мной покойнее будет, а покой сейчас — лекарство для души ее.

Хомяков угрюмо молчал. Он не просто не любил отменять однажды принятых решений, но и считал это недопустимым вообще. Как бы умаляющим его самого.

— Я банки накидывать умею, компрессы делать, растирать, клизмы ставить, — торопливо перечисляла Грапа. — И Варваре Ивановне смена нужна, чтоб Наденьку одну в больнице не оставлять.

— Варвара Ивановна устает очень, — осторожно заметил Евстафий Селиверстович. — Сама мне жаловалась, а Алевтина в этом деле — не помощница, сами знаете.

Молчал хозяин. Но уже как-то по-иному, без угрюмости.

— Я солгала вам тогда потому только, что барышня так велела, — тихо и уже с некоторой безнадежностью продолжала Грапа. — Так простите меня за ради Христа, барин! Не за себя молю, за Наденьку мою!

— Что скажешь? — озадаченно, но все еще недовольно спросил Роман Трифонович.

— Скажу, что лучше Грапы нам для Надежды Ивановны горничной не найти, — решительно сказал Евстафий Селиверстович. — Привыкать им друг к дружке не придется, вот ведь что глав-

ное.

— Это верно. — Хомяков страдальчески поморщился. — Считай, что погорячился я, Грапа. Спасибо, что сама с помощью пришла. Оформи со вчерашнего дня, Евстафий. Со дня Феничкиной гибели.

И тут же спустился в бильярдную, не желая слушать никаких благодарственных слов.

2

К обеду вернулись Василий Иванович и молчаливый, хмурый — даже морщинка появилась на безусом лице — Каляев. Немирович-Данченко рассказал, как отыскали Феничку среди двух тысяч гробов, как познакомились с ее женихом, как потом долго пришлось уговаривать священника найти место и для Феничкиного гроба в переполненной церкви.

— Тихо ходят, тихо плачут, — вздохнул Василий Иванович. — Без русского размаха.

— Зато Ходынка — с русским размахом, — угрюмо сказал Каляев.

— А ты лучше молчи, — отмахнулся корреспондент. — Ты у меня в обманщиках числишься.

Обращение на «ты» к малознакомому человеку звучало весьма неприлично, и Вологодов с удив-

лением посмотрел на Немировича-Данченко.

— Провинился он, как мальчишка, значит мальчишка и есть, — добродушно проворчал Василий Иванович. — Тетя у меня в Москве! Тетя на Неглинке в собственном доме!.. Нет никакой у него тети, проговорился в конце концов. Угол снимал в самых дешевых номерах, что в переулках за Трубной. И из Нижнего сбежал с тремя рублями в кармане, а когда капитал этот кончился, подрядился на Театральной мусор убирать по полтине за ночь.

— Это мне нравится, — улыбнулся Хомяков. — Это по-нашему.

— Когда похороны Фенички? — спросил Вологодов.

— Завтра первую партию отпевать будут. Тех, кто в церкви и на площадке перед нею. — Василий Иванович помолчал. — Государь с государыней изволили посетить на полчаса Ваганьково кладбище. В обзорах, естественно, время пребывания опустят.

— А виноватого так и не найдут. — Каляев нервно усмехнулся, неприятно осклабившись. — Ну не может быть на Руси повинного чиновника второго, а уж тем паче — первого класса.

— А вы кого считаете повинным, Ваня? — спро-

сил Викентий Корнелиевич.

— Генерал-губернатора Москвы.

— Вот так, сразу, без суда? А как же быть с презумпцией невиновности?

— Презумпция невиновности для общенациональных трагедий существовать не должна.

— Милый юноша, вы единым махом отменили римское право.

— А заодно и русское «не пойман — не вор», — усмехнулся Роман Трифонович.

— А как насчет того, что «на воре шапка горит»? — поинтересовался Василий Иванович.

— А вот завтра и проверим, — вдруг вновь ворвался в разговор доселе такой застенчивый Ваня Каляев. — Завтра — первая, так сказать, порция похорон, и великий князь Сергей Александрович наверняка изволят прибыть. Не по зову совести, так по зову службы.

— Злым ты становишься, Ваня, — тихо сказал Хомяков. — Нехорошо это, обидно нехорошо. Простейшие решения чрезвычайно редко бывают правильными. Это я тебе из личного опыта говорю.

— Простите, Роман Трифонович. Только я в Бога больше не верю. Ходынка теперь между нами.

— Да при чем тут Бог…

— Он же прощать велит. Кстати, самое что ни на есть простейшее решение.

— Ошибаетесь, Ваня, — вздохнул Викентий Корнелиевич. — Как раз — одно из сложнейших. Воли требует, а не импульсивных действий. Воли, размышлений и осознания.

Как всегда, тихо и незаметно вошел Евстафий Селиверстович. Выждав деликатную паузу, негромко доложил Хомякову, что отправил Грапу в больницу.

— Велел ей Варвару Ивановну уговорить домой вернуться. На той же коляске.

— Заупрямится Варвара.

— Грапы вы не знаете. — Зализо позволил себе чуть улыбнуться. — Как с обедом прикажете? Обождем Варвару Ивановну?

— До вечера, что ли? — буркнул Роман Трифонович: ему не понравилось замечание насчет Грапы. — Сюда вели подавать. Прямо на зеленое сукно.

— Борта не помешают? — улыбнулся Василий Иванович.

— Мимо рта не пронесете.

Евстафий Селиверстович сам доставил обед и посуду: не хотел, чтобы прислуга видела загулявшего хозяина. Накрыл, как велено было, прямо

на зеленом бильярдном поле.

— Прошу.

И все невозмутимо уселись за бильярд с лицами вполне серьезными, хотя серьезность эта троим давалась нелегко. Викентий Корнелиевич был достаточно воспитан для того, чтобы не соваться в чужой монастырь со своим уставом; Василия Ивановича душил совершенно неподходящий для этого дня смех; Ваня Каляев настолько погрузился в себя, что уже и не замечал нелепости происходящего, а Роман Трифонович злился, что загнал самого себя в ловушку, лихорадочно искал возможность достойного отступления и не находил ее. А Евстафий Селиверстович просто исполнял служебные обязанности. Все это, естественно, мешало светской беседе за столом, хотя вежливый Вологодов и пытался ее поддерживать:

— Любопытная история происходит с ежегодными Пушкинскими премиями. В высочайшем указе не оговаривалась система выдвижения кандидатов, почему этот вопрос никто и не рискнул прорабатывать. В результате получилось, что шанс быть выдвинутым на соискание самой заветной премии оказался в руках чиновников от искусства, и приятельские отношения разом

заменили собою истинное достоинство литературного произведения.

— А зачем чиновнику читать, если вопрос можно решить… за бильярдом? — невозмутимо спросил Василий Иванович.

Хомяков полоснул свирепым взглядом, но так и не успел ничего сказать, потому что вошла Варвара. Все встали, и Роман Трифонович спросил:

— Как Надежда?

— Почти все время спит. Здравствуйте, господа. — Варвара села рядом с Каляевым. — По-моему, я хочу есть.

— Изволите щей, Варвара Ивановна?

— С удовольствием… Кажется, она чувствует себя лучше, чем вчера, но почти не говорит. Отвечает односложно и… как-то нехотя, что ли. Но дыхание стало глубже, заметно глубже, врачи особенно подчеркнули это.

Она настолько была поглощена состоянием Нади, что не обратила никакого внимания ни на не приспособленное для обедов помещение, ни на залитое водкой и рассолом зеленое сукно, ни даже на кадушку с солеными огурцами, источавшую ядреный аромат. Все мысли ее были сейчас там, в отдельной палате Пироговской больницы, рядом с постелью неузнаваемо изменившейся

сестры.

— Почти не ест, но, слава богу, много пьет, и это обнадеживает врачей. Говорят, обезвоживание организма. Алевтина принесла все соки, какие только могла сыскать, но Степан Петрович рекомендовал клюквенный. И боржом.

— Ей нужна строгая диета, — сказал Немирович-Данченко.

— Да, да. — Варвара почему-то оживилась. — Я присутствовала на консилиуме, где обсуждалась особо щадящая диета, потому что в Наденьке же все…

Варвара замолчала, прикрыв глаза ладонью. Плечи ее судорожно вздрогнули.

— Ну-ну, Варенька, — тихо вздохнул Хомяков. И все примолкли. Осторожно, боясь звякнуть ложками, хлебали щи, опустив глаза.

Наденька спала. Грапа неподвижно сидела подле, осторожно подсунув руку под ее ладонь, и смотрела на бледное, покрытое синяками и подсохшими царапинами осунувшееся лицо. «Господи, — мучительно думалось ей. — Зачем же девочки страдают? Они же безвинны еще, как цветочки, безвинны…»

Длинные ресницы чуть заметно дрогнули. Надя глаз не открыла, но Грапа поняла, что она уже

проснулась, и чуть пожала маленькую сухую ладонь.

— Здравствуй, барышня моя, — почти беззвучно шепнула Грапа. — Здравствуй, девочка…

— Грапа… — еле слышно произнесла Наденька. И две жалкие, крохотные слезинки выкатились из-под век на серые проваленные щеки.

3

Варя легла рано, внезапно почувствовав не только безмерную усталость, но и странное ощущение расслабленности. Будто туго натянутые струны вдруг отпустили с подвинченных до предела колков, и она понимала, что так оно и было на самом деле, потому что рядом с Наденькой вновь появилась Грапа. Теперь можно было хотя бы чуточку передохнуть.

Она лежала на спине, положив на одеяло так и не разрезанный журнал. Журнал был взят скорее по привычке, читать Варе не хотелось, потому что все мысли были заняты сестрой. Физическое состояние Нади сейчас ее не столько беспокоило: она верила врачам, окончательно и единогласно пришедшим к выводу, что нет ни переломов, ни вывихов, а остальное вполне поправимо. Но Варя очень тревожилась о ее психике, пото-

му что знала свою Наденьку с раннего детства, знала до мельчайших подробностей, перебирала эти подробности в памяти и — не узнавала собственной сестры. Никакие врачи не имели возможности сравнивать то, что видели, с тем, что было когда-то, и рассказы Вари здесь мало чем могли помочь. Врачебные представления в данном случае опирались на некий абсолют, некую общечеловеческую усредненность, а Варины воспоминания хранили дорогой и вполне конкретный, вполне живой образ любимого существа. С его смехом, капризами, привычками, радостями и обидами. И она все время размышляла, что же сохранилось, выстояло, выжило в ее вечно маленькой сестренке. Вечно маленькой потому, что Варя была старше почти на четверть века и, не давая себе отчета, всегда воспринимала Наденьку только как собственную дочь.

«Нет, нет, никакие психиатры не в состоянии ей помочь, — думала она. — Они же совершенно не представляют, какой она была. Здесь нужен кто-то иной, который смог бы проникнуть в ее душу, а не подгонять эту душу под хоть и здоровую, но не ее. Иначе мы потеряем Наденьку, потеряем...»

— Есть блаженный, барыня, — шептала ей

Алевтина. — Святостью, говорят, обладает великой…

От блаженных и юродивых Варя только отмахивалась, считая их шарлатанами, потому что так однажды, еще в далеком детстве, сказал отец. Правда, мама тогда осторожно засомневалась в его столь категорическом определении («Доброе слово и кошке понятно…»), но Варваре отцовские слова были яснее и ближе просто в силу трезвости собственного характера.

— Может быть, попробовать гипноз? — предложила женщина, врач Пироговской больницы (Варя в отчаянии советовалась со всеми). — Правда, этот врач пользует в Петербурге.

— Это не имеет значения.

— Доктор Фельдман. Я слышала, что он излечил сына начальника Морской тюрьмы от серьезного недуга.

Недуг оказался эпилепсией, но Варя все же запомнила совет для будущего. Когда — не дай бог! — медицина исчерпает все свои средства и распишется в собственной беспомощности…

Все двери в особняке открывались абсолютно бесшумно, поскольку Роман Трифонович не терпел никаких скрипов, и Варя скорее почувствовала, что в ее спальню кто-то вошел.

Повернула голову, всмотрелась.

У портьеры стоял муж. В халате и домашних ковровых шлепанцах. И было очень похоже, что вид у него виноватый.

— Я принял Грапу на службу, — почему-то сообщил он. — Со вчерашнего дня.

— Ты очень правильно поступил.

— Думаю, Надюше будет легче.

— Очень надеюсь на это. Чего ты стоишь у дверей? Ты куда-то торопишься?

— Нет. — Роман Трифонович как-то не очень уверенно приблизился к семейному ложу, присел на пуфик у ног Вари. — Завтра Феничку хоронят. Я пойду на похороны.

Варя вздохнула, вытерла набежавшие слезы.

— Поклонись ей от меня.

Хомяков молча покивал. Помолчали.

— Может быть, следует как-то деликатно помочь родителям? Наденька говорила, что Феничка была единственным ребенком.

— Да. — Роман Трифонович тяжело, медленно вздохнул. — Ты прости меня, Варенька. Прости.

— И ты меня прости, Роман.

Хомяков покивал, неуверенно поднялся.

— Куда же ты? Когда так страшно, надо быть вместе.

Варя улыбнулась и, выпростав из-под одеяла руку, протянула ему.

— Варенька…

Роман Трифонович упал на колени, схватил ее руку, поцеловал, прижал к груди.

— Занесло меня, Варенька. Занесло…

4

Грапа не вернулась домой ни в эту ночь, ни в последующие. По ее просьбе в палате поставили раскладную койку, и горничная чутко дремала на ней, ловя каждый вздох Наденьки.

— Так для барышни спокойнее будет, Варвара Ивановна. А спокой сейчас — главное для нее.

— Как ночь прошла?

— Раз только прошептала. Тихо так, но я расслышала.

— Что ты расслышала?

Грапа помолчала, точно припоминая. Потом вздохнула:

— Устала, говорит. «Боже мой, как я устала». Вот так, слово в слово.

Варя горько покачала головой.

— Вызволим мы ее из болезни, Варвара Ивановна. Верьте мне, вызволим.

Они тихо разговаривали в больничном коридо-

ре, боясь обеспокоить Надю. И напрасно, потому что Наденька в то утро уснула сразу после врачебного обхода, и сон ее впервые был глубоким, лишенным тревог и кошмаров.

А до этого очень боялась уснуть. Особенно по ночам, когда оставалась одна, без помощи и поддержки и боролась с подступающим сном, из последних сил боролась, пока не проваливалась в забытье без всяких сновидений. А спать очень хотелось, сна требовало натруженное, перемятое тело, перенапряженные нервы и всё запомнившие органы чувств, оскорбленные собственными страданиями и теперь взбунтовавшиеся против нее. И Надя изо всех сил старалась бодрствовать ночью, а спать днем, когда рядом сидела Варя и в душе возникало робкое ощущение надежности. А потом вдруг появилась Грапа, и робкое ощущение сменилось спокойной уверенностью.

Куда страшнее снов были воспоминания о совсем недавних, по сути, вчерашних событиях. Но сны нельзя было ни контролировать, ни обрывать, ни убегать от них, а от вчерашних воспоминаний убегать Надя вскоре научилась. Когда поняла, что убегать надо непременно в прошлое и непременно из Москвы. В другое время, другую обстановку, в иные координаты существования

собственного «я». Это не всегда получалось, требовало сосредоточенности и усилий, но если получалось, Наденька ощущала состояние тихого, покойного счастья.

Труднее всего было представить себя в раннем детстве и погрузиться в него. Раннее детство мелькало короткими видениями, которые быстро рвались и выскальзывали из памяти, но два раза ей все же удалось ненадолго оказаться в нем…

…Большая липовая аллея по обе стороны каменных ворот. Очень молодая девушка в белой татьянке бежит за ней, хлопая в ладоши:

— Ой, поймаю!.. Сейчас поймаю!..

И обе радостно, до счастья радостно смеются. И нежный запах зацветающих лип…

— Девочки, пора пить молоко!..

Кто звал их тогда? Удивительно знакомый и — незнакомый голос.

— Вот поймаю и отнесу прямо на веранду!..

И Наденька понимала — не разумом, а всем существом своим понимала, что ловила ее тогда — Маша.

Что это ее последнее воспоминание о живой сестре. Всплывшее из таких глубоких недр памяти, где, вероятно, хранится все. Вся ее жизнь.

Трижды ей удалось вызывать это воспомина-

ние. И так хотелось продлить его, продлить хотя бы на мгновение… Но виделось только то, что привиделось в первый раз.

…И большущая форменная фуражка. Тяжелая. В ней совсем утонула ее голова, и необъятная эта фуражка, которую можно было удержать только двумя руками, сползла на глаза и уши. Но Наденька все-таки куда-то очень спешила, ничего не опасаясь, потому что видела из-под фуражки кусочек пола. С разбега треснулась о дверной косяк, отлетела и села на собственное мягкое место. Фуражка смягчила удар, но козырек лопнул пополам…

— Варя, Надька сломала мою фуражку!..

— Не Надька, а Наденька.

— А в чем я в гимназию пойду?..

Чей разобиженный мальчишеский голос она тогда слышала? Николая или Георгия? Наверное, все-таки Георгия, потому что Николай никогда не называл ее так грубо…

…И еще помнилось, как заблудилась в лесу. Вдвоем с подружкой… Как же ее звали, как?.. Они приехали в Высокое после второго… Да, кажется, второго класса, потому что обе носили еще короткие платьица, из-под которых выглядывали кружева панталончиков. И очень любили

собирать грибы, но им разрешалось искать их только в старом саду. Но там грибов было не так уж много, и она сманила подружку… Как же ее все-таки звали?.. В лес. Там они, завывая от восторга, быстро набрали полные корзинки и… и примолкли, не зная, где дом и куда идти. И заметались, заметались среди берез и елок, но корзинок пока еще не бросали.

— Надо искать мох, — сказала Надя. — Ваня говорил, что мох растет с северной стороны.

Но мох рос со всех сторон. Да и зачем он вообще был нужен, если они не знали, куда идти: на север, юг, восток или запад?..

Вот тогда Наденька впервые ощутила ужас. Безотчетный, все подчиняющий себе ужас, лишающий соображения. Подружка уже жалобно пищала, бросив корзинку, да и Надя готова была вот-вот запищать, завыть, упасть на землю…

«Я во всем виновата, значит мне решать», — вдруг подумала она и, зажав в кулачок остатки воли, сумела заставить себя почти успокоиться.

— Перестань скулить, — сказала она. — Ты мешаешь мне вспомнить, куда нам идти.

Наденька не знала, куда им идти, но подружка притихла, с верой и ожиданием глядя на нее. А небо было таким безоблачным, так ярко светило в

глаза… «Так оно светит, когда я спускаюсь с веранды в сад, — вдруг припомнилось Наде. — А когда мы убегали, оно светило мне в затылок. Значит… Значит, надо идти прямо, чтобы солнце било в лицо!» И вздохнула с огромным облегчением:

— Иди за мной. Подними корзинку.

— Не нужны мне эти противные…

— Подними корзинку, я сказала. Ради чего, интересно, мы с тобой заблуждались?..

«Я тогда победила ужас. И на Ходынском поле тоже победила, не ударилась в панику. Ужас пришел сейчас, когда для него нет никаких причин. Значит, нельзя ему поддаваться, а нужно копить силы. Просто копить силы, только и всего…»

Так думала она ночью, лежа без сна. Это были очень утешительные думы, Наденька изо всех сил цеплялась за них, но где-то изнутри, что ли, подсознательно понимала, что просто утешает саму себя. И упорно перелистывала собственные воспоминания в поисках новых порций утешения.

…И еще раз она приезжала в Высокое с одноклассницей. Уже постарше, после шестого, а то и седьмого класса. И подружка была другой, ее имя она хорошо помнила: Вера. Да, да, Вера, потому что сочетание их имен вызывало много шуток,

острот и даже каких-то обобщений.

В Высоком в то лето было шумно и весело. В отпуск из Варшавы приехал Ваня. Очень счастливый Ваня, потому что Леночка еще не исчезла из его жизни. И были два студента-медика из Смоленска, приехавших делать какие-то прививки крестьянским ребятишкам. Они жили в имении и ежедневно выезжали в села. Один носил волосы до плеч, а второй — французскую бородку, и девочки между собой называли его Французом, а длинноволосого — Итальянцем…

— Переселение душ скорее из области надежд, нежели веры, — говорил Француз, покачиваясь в качалке на веранде. — Подсознательная жажда бессмертия существует только в среде полуобразованной. Среди крестьян — а я сам из них буду — и уж тем паче среди интеллигенции эта гипотеза успехом не пользуется.

— А вы, девочки, верите в переселение душ? — не без лукавства спросил Итальянец.

— Безусловно, — тотчас же ответила Наденька. — Всем известно, что женщины всегда переселяются в кошечек, а мужчины — в собачек.

Все рассмеялись. Даже безулыбчивая Леночка улыбнулась.

— Тебя встретили неплохим финтом, колле-

га! — басом хохотал Француз.

— Так их, сестренка! — смеялся Иван. Наденьке очень нравился Итальянец, почему она и сердилась даже на его вполне безобидные шутки, усматривая в них выпад лично против себя. Нравился настолько, что она начала подозревать опасную дозу вдруг вспыхнувшей влюбленности, забеспокоилась и решила поговорить на столь волнующую тему с Леночкой.

— Скажи, ты влюблялась когда-нибудь?

— Конечно.

— А как это начинается?

Леночка пожала плечами:

— Вероятно, у каждой девушки по-разному.

— А влюбленность и любовь — различные понятия?

— Мне кажется, что противоположные. Женщина способна влюбляться множество раз, но любить — только одного. На всю жизнь. К несчастью, очень многие путают эти состояния, и отсюда исходят все женские трагедии.

— А ты любишь нашего Ваню?

— Очень.

— Какая же ты счастливая!.. — с откровенной завистью вздохнула Наденька.

И наступило молчание. Длинное-длинное…

— Нет, — вдруг тихо сказала Леночка и тут же вышла…

«Леночка призналась, что очень любила Ивана, и при этом считала себя несчастной, — думала Надя. — А потом вообще сбежала. Сбежала накануне свадьбы с любимым человеком. Но почему же, почему?..»

Наденька изо всех сил пыталась спастись бессонницей ночью и почти спокойно спала днем. Когда преданная Грапа держала ее за руку.

Глава одиннадцатая

1

На Ваганьково кладбище выехали заведомо рано, в девять утра, потому что не знали, когда начнется отпевание в церкви. Однако народу оказалось там уже много, и он все шел и шел.

— Неужто столько родственников? — поразился Хомяков, не представлявший размаха московской трагедии.

— Соседей прибавь, друзей, знакомых, — сказал Немирович-Данченко, сменивший американский клетчатый пиджак на темный костюм. — Заодно и студентов не забудь, да и просто восчувствовавших, что значит Ходынка для России. Смотри, сколько их.

Спешивший на кладбище народ был в массе своей бедным. Мастеровые, приказчики, мелкие торговцы, дворовая прислуга, мещане, артельщики, разнорабочие, разносчики, многочисленная рать не имеющих постоянной работы и перебивавшихся случайной поденкой. Шли молча, группами по пять-десять человек, и все — в темном. Темная эта масса в жаркое солнечное утро

выглядела не столько угнетающе, сколько строго. Настолько, что даже чины многочисленной полиции старались говорить вполголоса.

— Не напирайте, не напирайте. По два человека, по два человека. Всех пропустим, всех…

Венков не было. Были цветы. Скромненькие букетики в женских руках. Исключение составлял Ваня с огромным букетом белых роз. Он ощущал свою исключительность, хмурился и невольно злился на Хомякова, распорядившегося доставить этот букет в особняк.

Они терпеливо отстояли очередь — в Москве был негласный День равенства, и никто не осмеливался его нарушать, — пока не попали на само кладбище, где люди, едва войдя, разбивались на два потока. Направо — к гробам с еще не опознанными покойниками, и прямо — к церкви.

— Направо, — сквозь зубы привычно скомандовал Хомяков. — Служба еще не началась.

— Не надо, Роман…

— Нет, надо! Своими глазами надо смотреть, что натворили.

Обнажив головы, медленно прошли вдоль заметно укоротившегося, но все еще непомерно длинного ряда одинаковых казенных гробов. Кое-где слышались приглушенные женские

всхлипы, кое-где вдруг застывали мужчины, но скорбная процессия продолжала медленно двигаться дальше. Тяжкий запах крови и тлена сегодня ощущался куда явственнее, чем вчера.

— Я ситцевые платочки поставлял, я, — вдруг тихо признался Роман Трифонович. — Ровно четыреста тысяч косынок для царских подарков. Гордился даже: барыш! А вон он где — мой барыш…

— Оставь это, Роман, — поморщился Немирович-Данченко. — Нашел, чем душу свою травить? Ни к чему это сейчас, совершенно ни к чему.

— И не омыли их, — горестно вздохнул Хомяков, когда они вернулись к воротам.

— Копейки берегут, — проворчал Василий Иванович.

— Копейки? — взъерепенился Роман Трифонович. — Копейки беречь мы сроду не умели. Собственное спокойствие берегут. А наипаче спокойствия — место, которым кормятся. Чиновничье место — самая твердая валюта России, запиши это в книжечку будущим корреспондентам в назидание.

— Пойдемте в церковь, — тихо сказал Ваня. — Потом не протолкаемся, народ подходит.

В церковь они попали уже с трудом, на папер-

ти и в дверях пришлось протискиваться. Гроб с телом Фенички стоял справа, близко от выхода, потому что Василию Ивановичу накануне стоило немалых усилий добиться разрешения хотя бы на это место.

— Омыли, — со вздохом облегчения отметил Хомяков.

Немирович-Данченко промолчал. И Каляев молча рассыпал белые розы по маленькому, странно съеженному телу.

Им еще повезло, потому что от дверей тянуло свежестью: в переполненной церкви было душно. Пахло горящим воском, тленом, людскими телами. Заупокойная служба еще не начиналась, а теснота возрастала. Небольшая кладбищенская церковь ни разу за всю свою историю не вмещала такого количества живых и мертвых, да и не была на это рассчитана. Трагедии потому и трагедии, что их и по сей день не удается предусмотреть, а тем паче — просчитать.

— Потеснитесь. Хоть на шаг. Мать с отцом тут, — шепнули Василию Ивановичу в самое ухо, он оглянулся и увидел Тимофея в дешевеньком темном пиджаке. А за плечом его — согнутых страшным несчастьем, как-то сразу — не лицами даже, а всем обликом и существом своим

— постаревших женщину и мужчину. И спиной отодвинул стоявших позади, освобождая малое место у гроба Фенички.

— Вот и нашли мы тебя, доченька… — выдохнув, еле слышно сказала мать, и отец обнял ее за плечи.

— Не одни мы нашли дите свое, мать…

Слава богу, они успели, потому что почти сразу же началась заупокойная служба по безвинно погибшим. Чин был соблюден полностью, но — скороговоркой, потому что перед входом в церковь стояли точно такие же гробы, и точно такие же безвинно погибшие ждали своей очереди. А как пропели «Вечную память», Хомяков обнял журналиста за плечи, зашептав в самое ухо:

— Сам передай им, сам. Не могу я… Скажи, что это жалованье Фенички.

И сунул ему в руки конверт.

Кое-как пропустив на площадку перед церковью клир, люди начали выходить сами. Кто — поклониться покойникам у входа, кто — передохнуть, глотнуть свежего воздуха, а кто и порыдать в сторонке. В церкви стало просторнее, но она не опустела, потому что еще предстояли похороны. Родители Фенички и Тимофей не тронулись с места, а Роман Трифонович не

вытерпел:

— Я покурить. Покурить только.

Василий Иванович остался, а вслед за Хомяковым выбрался на воздух Ваня Каляев.

— Может, угостите?

— Ты же не куришь, Иван.

— Надо мне сейчас.

Закурили оба. Иван задыхался, кашлял, но продолжал тянуть голубоватый сигарный дым.

— Не по годам тебе испытание, — вздохнул Хомяков.

— В самый раз.

— Что это значит — в самый раз?

— Для понимания. Понял я, на что жизнь положить должен. Задачу свою понял.

— И на что же ты положишь ее?

— Законы для всех должны быть одинаковыми. Без всяких исключений. С этого начинается справедливость. С чего-то она должна же начинаться, правда? Ведь не с нуля?

Роман Трифонович промолчал. Ни уговаривать, ни объяснять что-либо, даже расспрашивать было не время. Отпевали погибших рядом. Только вздохнул:

— Вот так, стало быть. Вот так.

— Преступление без наказания, — вдруг криво

усмехнулся Каляев. — Разве может быть преступление без наказания?

И опять Хомяков промолчал. Он понимал, что юноша задает вопрос не ему, а то ли самому себе, то ли — Богу.

— Когда одного убивают, это — убийство. А когда тысячу? Как это тогда называется? Как? Скажите мне, я не знаю.

— Статистика, — буркнул Роман Трифонович, тут же пожалел о сказанном, но было уже поздно.

— Значит, статистика — государственное отпущение грехов? Этакая индульгенция? Значит, власть ни за что не отвечает? Сами себя подавили, ну так вам и надо? А то, что родители без кормильцев остались, что на паперть пойдут или с голоду подохнут, на это наплевать? Ведь молодежь в основном погибла, молодежь, стариков мало, я специально смотрел. Значит, двойная это потеря… Нет, что я — тройное, тройное это убийство! Сами погибли, родителей погубили и детей будущих. Тройное убийство, а виноватых нет. Нет и не будет, и суда никакого не будет, потому что убийцы в содеянном добровольно никогда не признаются!

— Успокойся, Ваня.

— Я спокоен. — Каляев неприятно осклабился. — Я спокоен, Роман Трифонович. Я — подданный этого государства, следовательно, обязан быть спокойным. Велено нам быть спокойными.

Пели «Вечную память», тихо плакали женщины. Здесь, на воздухе, можно было и поплакать.

А Хомяков слушал «Вечную память» с тревогой в душе о живом. Он понял, что в Каляеве вчера что-то сдвинулось, а сегодня это сдвинутое встало не на свои места. Если бы не встало, если бы Ваня продолжал пребывать в растерянности, он бы не беспокоился: молодо-зелено, все зарастет и все забудется. Но в юноше уже образовалось нечто новое, что так просто зарубцеваться не могло. «Поговорить надо с парнем, — думал Роман Трифонович. — Непременно поговорить. Камень стронуть с его души...»

Кого в первую очередь отпели, того в последнюю хоронили, потому что выход из церкви был заставлен гробами. И гробы эти стали взмывать над толпой на руках провожающих.

— Пойдем, Ваня. Нам Феничку выносить.

Вынесли, когда настала очередь. Крышку — двое парнишек, то ли родственников, то ли соседей; гроб — Хомяков с Немировичем-Данченко и Тимофей с Каляевым. Следом шли родители Фе-

нички, несколько женщин разного возраста, трое стариков. У одной из ряда вырытых могил поставили гроб на землю, обождали, пока отрыдается мать, отдали последний поцелуй. Потом пришлось дожидаться, когда подойдет могильщик. А могильщик лишь заколотил крышку, помог опустить гроб в яму, оставил бирку с номером да две лопаты.

— Сами зароете. Работы у нас сегодня…

Сами зарыли.

2

Возвращались молча.

— Варвара Ивановна уехала в больницу, — доложил Евстафий Селиверстович.

На его голос из малой гостиной вышел Викентий Корнелиевич. Молча поклонился.

— Стол накрыт? — спросил Роман Трифонович дворецкого, кивнув Вологодову.

— Как велено.

— Для прислуги тоже?

— Как велено.

— Зови всех сюда. — Хомяков говорил отрывисто, слов не тратил. — Помянем.

Зализо вышел. Роман Трифонович жестом пригласил всех в столовую, сам налил водку в

бокалы для вина, не отвечая на тихие приветствия входившей прислуги. Спросил, не глядя, у вошедшего последним дворецкого:

— Все собрались?

— Все, Роман Трифонович.

Хомяков поднял рюмку, медленным взглядом обвел стол.

— Одно место опустело у нас. — Голос его дрогнул, но он справился с волнением. — Погибла наша Феничка мученической смертью. Запомним ее живой. И детям о ней расскажем. Вечная ей память.

Все молча выпили. Прислуга пошла к дверям, женщины прижимали к глазам платочки, Зализо шел последним.

— Вот так. — Хомяков глубоко вздохнул. — Садитесь за печальную трапезу. И сами за собой поухаживайте, пусть прислуга достойно с Феничкой простится.

Василий Иванович наполнил рюмки, поднял свою:

— Прощай, Феничка. Пухом тебе земля московская.

Едва успели выпить, как вошли Евстафий Селиверстович и генерал Олексин.

— Добрый день, господа.

— На поминки успел, — проворчал Хомяков, поспешно закусывая: ощутил вдруг, как проголодался. — Не промах мужик.

— Какие поминки?

— Феничка погибла на Ходынском поле, — суховато пояснил Викентий Корнелиевич.

— Господи, а она-то зачем туда пошла?

— Пей свою поминальную, — угрюмо сказал Роман Трифонович.

— Что ж… Упокой, Господи, душу ее. — Федор Иванович опрокинул рюмку, сел. — А я совсем замотался, господа, даже не поверите, как замотался. Министр двора захворал, и все на меня обрушилось, все — на меня…

В голосе его слышалась странная похвальба, приличествующая разве что субалтерн-офицеру, на час заменившему батальонного командира. Но на это никто не обратил внимания, все были в своих думах.

— Государь очень близко к сердцу воспринял этот несчастный случай, очень. Повелел выделить по тысяче рублей родственникам каждого, кто погиб в этой толчее…

— Толчее? — переспросил Василий Иванович. — Весьма своеобразное определение. Постараюсь запомнить, как оценил двор московскую

трагедию.

— По тысяче за труп, — угрюмо буркнул Хомяков.

— Ну… — Генерал развел руками. — Трудно подобрать слово, когда давятся за дармовую рюмку водки. Россия — это стихия, господа. Стихия!

— Эти поминки могли быть по твоей сестре, — вдруг сказал Роман Трифонович: ему претила придворная болтовня, от которой генерал Олексин сегодня почему-то никак не мог избавиться.

— И я бы этому не удивился! Кстати, где она?

— Кто?

Вопрос Хомякова прозвучал как выстрел.

— Как — кто? — Федор Иванович улыбнулся несколько настороженно. — Естественно, Надежда.

— Надежда неестественно в больнице, — медленно, выделив каждое слово, сказал Хомяков. — Мы имели все шансы получить тысячу рублей от казны, если бы не Василий Иванович.

— Что? — растерянно переспросил генерал и неожиданно размашисто перекрестился. — Господи! Там же… Там же только для простонародья!

— Может быть, ваше превосходительство хотели сказать — просто для народа?

Голос Каляева звенел от внутреннего напряжения. Вологодов прикоснулся к его плечу и мягко улыбнулся:

— Спокойнее, Ваня, спокойнее.

— Я спокоен.

— Это… Это чудовищно, — с трудом выговорил Федор Иванович. — Там же погибло около полутора тысяч!

— Уже сосчитали? — поинтересовался Василий Иванович.

— Конечно, пока в общих чертах, только опознанных.

— А что же с неопознанными?

— Неопознанных невозможно внести в списки, уважаемый Василий Иванович. Сами понимаете, сложность и… неопределенность. Их похоронят в братской могиле. Но всех — в гробах и с отпеванием. И все, заметьте, за счет казны. Представляете, какая трата…

— Что для народа — утрата, для властей всегда только трата, — невесело усмехнулся Роман Трифонович. — О, великий и могучий русский язык!

— Государь не был сегодня на кладбище? — спросил Немирович-Данченко.

— Сегодня согласно высочайше утвержденному расписанию — церковный парад. Почему

вы спрашиваете, был ли государь на кладбище? Никакого кладбища в расписании нет.

Федор Иванович уже начал нервничать и заметно злиться. Василий Иванович пожал плечами.

— Я — корреспондент. Мне статью писать.

— Прощения прошу, нервы. — Генерал вздохнул. — Встретили, как постороннего врага.

— Слава богу, хоть не внутреннего, — усмехнулся Хомяков.

— Да будет тебе, право. Ну сам посуди, как я был занят. Сегодня — церковный парад. Вечером — бал московского дворянства. Завтра, в среду, — день кончины государыни императрицы Марии Александровны, в связи с чем Их Величества отъедут в Сергиеву лавру. А послезавтра — большой бал в Александровском зале Кремлевского дворца. Ты только представь объем моей ответственности.

— И впрямь кладбище никуда не влезает, — серьезно сказал Роман Трифонович. — Вот ведь какая оказия.

— …из-за чего я, собственно, и зашел. — Федор Иванович решительно проигнорировал хомяковское замечание. — Я принес три пригласительных билета на бал в Александровском зале. Но кажется, не ко времени. Надежда очень

напугана?

— Напугана? — спросила Варвара, появившись в дверях. — Что ты, братец. Она произнесла сегодня целых три слова.

— Что она сказала? — живо откликнулся Хомяков.

— Все то же. «Я устала, устала, устала». — Варя села к столу. — Я, признаться, тоже устала. Счастье, что вернулась Грапа.

— Что прикажете? — спросил Зализо. — Бульон, суп-кресси…

— Только чаю. Есть «Черный лянсин»? Покрепче, Евстафий Селиверстович.

— Сам заварю, — сказал дворецкий и вышел.

— Я утром заезжал к психиатру, — тихо сказал Викентий Корнелиевич.

— Вы имеете в виду Авраамия Ильича? Спасибо, Викентий Корнелиевич, он был сегодня. Смотрел Наденьку, провел консультацию с врачами, поговорил со мной.

— Каков его вывод?

— Неутешителен. Считает, что Надя все еще ощущает себя на Ходынском поле. Фиксация ужаса, сказал он. Однако надеется, что Надя перейдет в состояние депрессии, с которой, по его словам, бороться проще.

— С депрессией бороться проще, он сказал?

— Да, друг мой. Сегодняшнее ее состояние Авраамий Ильич назвал состоянием активного самотерзания. Он считает, что Наденька винит себя в гибели Фенички. Может быть, даже подсознательно.

— Но как же так? — растерянно спросил Ваня. — Надежда Ивановна не может знать, что Феничка погибла. Никак не может знать.

— Представьте, Ваня, я задала тот же вопрос. Врач на это ответил, что мы недооцениваем голоса совести.

Евстафий Селиверстович принес чай и любимое Варино песочное печенье.

— Спасибо. Замечательный чай.

— Голос совести, — тихо, словно про себя повторил Каляев, но все его услышали в наступившей вдруг тишине.

— Самый громкий из голосов безгласной России, — вздохнул Василий Иванович.

— Мы простились сегодня с Феничкой, — сказал Роман Трифонович. — Завтра, послезавтра, на девятый день наконец станет легче, все знают это по личному опыту. Может… Может быть, сказать Надюше о сегодняшних похоронах?

— А не слишком ли это жестоко? — усомнился

Викентий Корнелиевич.

— Жестоко, не спорю. Однако от этой жестокости может начаться отсчет девяти дней. И придет окончательное прощание.

— А если ей нужно прощение, а не прощание? — спросил Василий Иванович. — Представляете, что тогда будет?

— А кто способен дать прощение? — решился сказать свое слово генерал. — Горничной нет в живых, тогда — кто? Ее родители? Господь Бог? Какой высший судия?

Все промолчали.

— Не знаю, — сказала наконец Варя, и всем было ясно, что она отвечает не на патетические вопросы брата, а на неожиданное предложение Романа Трифоновича. — Авраамий Ильич обещал прийти послезавтра. Я спрошу у него.

— Спроси, Варенька, спроси. Клин клином вышибают.

— Возможно, что ты прав, Роман. Вполне возможно. — Варя встала. — Прошу извинить, господа.

И вышла. Все молчали.

— Что-то Николая нет сегодня, — вздохнул Хомяков.

— Служба! — со значением произнес Федор

Иванович.

И неожиданно не к месту улыбнулся.

3

За сутки до этой неуместной генеральской улыбки капитан Николай Олексин был неожиданно востребован к командиру полка.

— Полку приказано выставить почетный полуэскадрон для встречи в Сергиевом Посаде Их Императорских Величеств. По повелению свыше полуэскадроном будете командовать вы, Олексин.

— По повелению свыше, господин полковник? — искренне удивился капитан.

— Именно-с. — Для гарнизонного полка это была высокая честь, но командира она почему-то не радовала. — Людей и лошадей отберете сами, как те, так и другие должны быть рослыми и выглядеть браво. Амуницию и все прочее начистить, чтоб глаза слезились.

— Будет исполнено, господин полковник.

— Да уж постарайтесь. — Командир полка помолчал, барабаня пальцами по канцелярскому столу. — Вас когда-нибудь представляли государю?

— Такой чести удостоен не был.

— Значит, в Сергиевом Посаде представят, — буркнул полковник: ему смертельно не хотелось гонять усталых от бесконечных почетных построений солдат. — Если в грязь лицом не ударите.

— Постараюсь не допустить такой оплошности, господин полковник. Разрешите предупредить домашних?

— Непременнейшим образом, капитан.

Услышав о царской командировке, Анна Михайловна неожиданно пришла в восторг.

— Милый, это такое счастье! Это выигрыш по лотерейному билету. Может быть, государь даже заговорит с тобой!

— Ну, Аничка, это вряд ли. — Николай был взволнован, но волнение ощущалось радостно. — Ночевать буду в полку, завтра — день на переезд, не менее суток в Сергиевом Посаде. Хлопотное дело. Молись за меня.

Весь день и вечер он отбирал солдат в полуэскадрон, придирчиво осматривал лошадей, приглядывал за подгонкой и чисткой амуниции. Помощников ему выделили опытных, но он стремился проверять каждую мелочь лично, и на сон времени почти не осталось.

Утром получили фураж и довольствие, погрузились в воинский эшелон из теплушек и одного

классного вагона. Николай старался зря не суетиться, понимая, что помощники сделают все как надо, но все же суетился, и это было неприятно. Когда наконец-таки тронулись в Сергиев Посад, он сразу же ушел в свое купе, чтобы выспаться, но долго не мог уснуть. Столь придворное поручение выпало на его долю впервые, и это тревожило. Кроме того, было немного совестно из-за досадного ощущения, что он несколько пересуетился.

Эшелон шел по специальному графику, что, впрочем, не помешало ему застревать на станциях по дороге. Добрались только к вечеру, но пока разместили полуэскадрон, накормили солдат и лошадей, уже почти стемнело. Командирам — Николай попросил у полковника двух субалтерн-офицеров — предоставили монастырскую гостиницу, но едва они после всех хлопот уселись за дружеский ужин, как явился немолодой черноризец:

— Отец Феофан настоятельно просит господ офицеров пожаловать к нему.

— По какому, собственно, делу? — не скрывая неудовольствия, спросил Николай. — Все исполнено согласно повелению, неясностей нет. Кроме того, извините, но мы устали.

— Настоятельно просит.

Исполнительный монах не имел иных аргументов, но упорно твердил одно: «настоятельно», и все тут. Пришлось тащиться в лавру. Молодые офицеры недовольно ворчали:

— Капустку жевать будем.

— Ну, брось. Монахи поесть любят.

— В понедельник Петров пост начался. Или забыл?

Капустка была, но вполне уравновешивалась рыбными разносолами. Гостеприимные хозяева предложили офицерам и вино, хотя сами к нему не прикоснулись, блюдя строгий пост.

— Великая честь выпала обители нашей, — плавно говорил почтенный седой настоятель. — Царствующие особы не забывают о святой лавре преподобного Сергия, чин давно отработан, но, возможно, произошли какие-то изменения?

— Мне приказано выстроить полуэскадрон у центральных ворот для торжественной встречи государя императора без отдачи рапорта, — сказал Николай.

Последнее условие он узнал утром от командира полка. Оно одновременно и огорчало и радовало, и Николай никак не мог решить, огорчается он или радуется, что рапорта не будет. Чувства спорили в нем, сменяя друг друга, и он

предпочитал слушать журчащую речь настоятеля молча, без вопросов.

А отец Феофан ударился в историю знаменитой обители, с удовольствием рассказывая о святом Сергии Радонежском, о его пастырской роли в жизни великого московского князя Дмитрия Донского и особо — о Куликовской битве.

— Поле Куликово — колыбель Руси.

Николай изредка поддакивал, но ему было скучно.

Старец оказался влюбленным в собственное красноречие и токовал, как глухарь. Субалтерн-офицеры изо всех сил таращили глаза и с огромным трудом боролись с зевотой.

— И чего он нас к себе вытащил? — удивлялись они на обратном пути. — Историю обители рассказать не терпелось?

— Не думаю, что только для этого, — сказал Николай.

— А тогда для чего? Мы бутылку коньяку в складчину купили ради доброго ужина, а причаститься довелось церковным винцом.

«А в самом деле, для чего мы настоятелю понадобились? — лениво размышлял капитан. — Ради вежливости? Так мы — не в тех чинах, перед которыми расшаркиваются. Обычные гарнизонные

офицеры… Не потому ли старец и спросил, не претерпел ли чин посещения Лавры царствующими особами каких-либо изменений? А ведь претерпел: к кавалергардам да конногвардейцам гарнизонных служак вдруг присоединили, и это братию насторожило… А в самом деле, зачем и почему нас в этот древний чин вклеили?..»

Вклеили потому, что занемог министр двора граф Воронцов-Дашков, а временно заменивший его генерал Олексин вдруг решил порадеть родному человеку. Но Николай этого не знал и не узнал никогда, поскольку Федор Иванович никого и никогда не посвящал в свои далеко идущие замыслы. Правда, осуществились эти замыслы в весьма усеченном виде, потому что кто-то где-то успел отменить личный рапорт безвестного армейского капитана Олексина самому государю императору.

Впрочем, все обошлось гладко. Уставший от бесчисленных встреч, бесконечных депутаций и ежевечерних балов, государь просто не обратил никакого внимания, что у ворот Сергиевой лавры его встретил совсем не придворный полуэскадрон, а посему капитан Олексин и не был ему представлен. Что уж скрывать, некоторая доля самолюбивого огорчения в этом, конечно, была,

но чувство облегчения, что все уже позади, разом утопило всю горечь.

— Уф, пронесло!..

4

Теперь Наденька почти спокойно спала днем, да и ночей боялась уже значительно меньше. Ей казалось, что она перехитрила самою себя, но дело заключалось совсем не в этом. Молодость, покой и уход вершили сейчас ее судьбу, потому что сама Надя властвовать собой еще не могла, даже если бы и осознавала это.

Но как раз этого она и не осознавала. Разум, воля и чувства отказались от ее власти, разбежавшись во все стороны. Их предстояло еще собрать воедино, успокоить, уговорить вновь стать послушными ее желаниям.

Так объяснил Варе Авраамий Ильич. Тихий немолодой человек, куда лучше умеющий слушать, чем говорить.

— Я бы не рекомендовал сейчас сообщать больной о смерти ее подруги. Это может быть чревато последствиями непредсказуемыми. Мы не знаем, в какой мере она убеждена в ее гибели.

— Но вы говорили о состоянии самотерзаемости.

— Самотерзаемость — внутренняя борьба натур нравственных. Рано ли, поздно ли, но она кончится победой, как и всякая борьба. А раны победителей заживают скорее, чем раны побежденных, как со всей непреложностью установил великий Пирогов.

— Но физически моя сестра, к великому счастью, не очень… Степан Петрович уверяет, что…

Варя что-то говорила, но Авраамий Ильич ее не слушал. Он размышлял, а спросил неожиданно:

— Скажите, Варвара Ивановна, к кому ваша сестра относится с наибольшим доверием и… и с наибольшей теплотой? Кроме вас, разумеется.

— К… к моему мужу. К Роману Трифоновичу.

— Я испрошу разрешения у Степана Петровича на посещение больной вашим супругом, если не возражаете.

— Вы рассчитываете, что Наденька улыбнется?

— Я надеюсь, что ваша сестра разрыдается, Варвара Ивановна, — строго сказал знаменитый психиатр. — День, когда это случится, смело можно будет считать поворотным днем ее болезни.

После похорон Фенички хомяковский особняк опустел. Василий Иванович бегал по своим корреспондентским делам, Ваня Каляев куда-то исчез, заверив Романа Трифоновича, что непременно

зайдет попрощаться перед отъездом в Нижний, Варя каждый день ходила в больницу, а Хомяков с головой ушел в дела. Братья Олексины — как генерал, так и капитан — были заняты по службе, поскольку коронационные торжества еще продолжались, и только Викентий Корнелиевич, по-прежнему числившийся в отпуску по болезни, каждое утро с регулярностью хорошо отлаженного автомата посещал цветочный магазин, отдавал распоряжение отослать корзину цветов в Пироговскую больницу, к завтраку появлялся в особняке и сидел допоздна.

Странно, но только он понимал всю тяжесть и глубину Надиной болезни. Остальные мужчины считали ее просто следствием крайнего испуга, который, по их разумению, обязан был пройти сам собою, поскольку, как говорится, руки-ноги были целы. Варвара, в общем верно оценивая психическое состояние сестры, склонна была безоговорочно верить врачам, если они говорили обнадеживающие слова, да и вообще изо всех сил надеяться на лучшее.

А Вологодов жил эти дни в постоянной тревоге. Беспокойно спал, ел по привычке к определенному распорядку и все время думал о Наденьке, только сейчас почувствовав и глубоко, всем серд-

цем осознав, насколько она дорога ему. И целыми днями пропадал в хомяковском доме, потому что отсюда ушла и сюда должна была вернуться его вторая и последняя любовь.

Теперь он встречал Варю каждый день одними и теми же словами:

— Что нового?

Нового было мало. Да, Наденька стала спокойнее, начала понемногу есть и столь же понемногу лежать с открытыми глазами. Но глаза эти по-прежнему были повернуты внутрь.

— В себя вглядывается, Варвара Ивановна, — говорила Грапа. — Пять раз позвать надо, чтоб меня увидела.

Она старательно записывала все Наденькины слова, число вздохов и количество проглоченных ложек размазни из тщательно перемолотой отборной гречки. Эти листочки с ее каракулями Варя приносила домой, и Викентий Корнелиевич по их данным построил график. Кривая вздохов имела тенденцию к понижению, число проглоченных ложек каши росло, но количество сказанных слов практически держалось на одном уровне. Вологодов и Роман Трифонович изучали график, когда Варя, вернувшись из больницы, сказала, что Степан Петрович разрешил Хомяко-

ву навестить Наденьку.

— Только очень ненадолго, Роман. Ей противопоказаны любые волнения, врач специально предупредил.

— Да, да, разумеется. — Роман Трифонович почему-то очень разволновался.

— И подумай, о чем завести разговор.

— Безусловно, Варенька. Безусловно.

На следующий день он поехал в больницу вместе с Варей. Поначалу решил было надеть чуть ли не визитку, но вовремя одумался и влез в тот костюм, который Надя знала. И всю дорогу думал не о разговоре, а о первых словах. Перебрав множество вариантов, остановился на самом жизнерадостном, но, увидев Наденьку, все позабыл, опустился на стул и сказал одно слово:

— Доченька…

У Нади дрогнули губы, но улыбки так и не получилось. Она протянула Роману Трифоновичу руку и слабо сжала его пальцы.

— Хорошо…

Кажется, они больше ничего друг другу так и не сказали. Хомяков держал ее руку, чувствовал, как она изредка, точно подавая знак, пожимает его пальцы, и не мог ни о чем говорить. А Наденька выразила все свои чувства в одном слове и спо-

койно прикрыла глаза.

— Спокойно прикрыла. — Роман Трифонович говорил это Варе, Вологодову, тихому, так умеющему слушать психиатру. — И губы у нее дрогнули. Почти как в улыбке. Вы сделаете что-нибудь, Авраамий Ильич? Сделаете?

— Попытаюсь собрать. Уже говорил об этом вашей супруге.

— Что собрать? — Хомяков несколько оторопел. — Про то, чтоб собрать, Варя ничего мне не говорила.

— Психику ее собрать. Разбежалась она у больной.

— Тогда собирайте. И вы ее соберете. Соберете, верю! — Роман Трифонович крепко пожал врачу руку, добавил таинственным шепотом: — Если по прежним чертежам соберете — клинику вам построю!

— Не построите, — печально улыбнулся Авраамий Ильич.

— Это почему же?

— Потому, уважаемый Роман Трифонович, что по прежним чертежам ее и сам Бог не соберет. Не говорите этого никому, а особенно — Варваре Ивановне, но будьте к этому готовы.

5

Ваня Каляев ушел из хомяковского особняка вполне легально, поскольку бегство было ниже его достоинства. Еще неделю назад он вполне мог бы задать стрекача, легко обманув как дворецкого, так и бдительного дворника Мустафу, но ныне предпочел честно предупредить о своем желании Евстафия Селиверстовича.

— Не хочу, чтобы Роман Трифонович топал на вас ногами.

— Я вас вполне понимаю, господин Каляев. Только, прощения прошу за вопрос, что делать намерены?

— Денег на билет до Нижнего заработать. Домой пора возвращаться, а одалживаться не хочу.

— Даже у меня?

— Даже у вас.

Зализо помолчал, раздумывая. Юноша ему нравился, а гордое желание избегать одолжений было даже приятно.

— Двадцать лет назад выгнали меня из чиновничьего сословия, и поехал я в город Кишинев, — с неожиданной обстоятельностью начал он. — Семья была хоть и небольшая, но без средств к существованию. Письма писал, прошения — дело

знакомое, а народу в Кишинев понаехало большое множество, потому как военные действия начинались. Хитрил как мог, лукавил, за чужой счет поесть норовил, даже в картишки передергивал, что уж там. Гнусно существовал, понимал, что гнусно существую, а выхода не видел. Вам не скучно?

— Нет, что вы. А почему бы вам не присесть, Евстафий Селиверстович?

— Благодарствую, если позволите, господин Каляев. — Зализо опустился на краешек кресла, вздохнул. — Из поповского сословия происхожу, но третьего сына батюшке в бурсу пристроить не удалось, и пошел я по чиновничьей части. Без протекции, без знакомств, с одним только хорошим почерком. И почерк этот меня спас, из небытия вытащил и семейству пропасть не дал. Понравился он начинающему откупщику, умному, прикидистому, с размахом. «Если, — говорит, — слово мне дашь, что честно служить будешь…» Ну, я — в ноги ему. «Нет, — говорит, — не поклонов от тебя жду, а слова человеческого…»

— Роман Трифонович? — улыбнулся Иван.

— Он, — строго сказал Евстафий Селиверстович. — И слово то мною дадено. На всю жизнь — одно.

— Значит, не отпустите меня?

— Препятствовать не могу и очень благодарен вам, господин Каляев, что предупредили о своем уходе. Вы — человек благородный, издалека видно.

— Так что же мне делать? — Ваня опять улыбнулся, потому что ему нравились топтания Зализо между честным словом и пониманием, что он, Иван Каляев, имеет право поступать, как ему заблагорассудится. — Не зайцем же ехать до Нижнего?

— Если позволите, я вам письмо к сыну своему дам. Он в университете закончил, помощником присяжного поверенного служит. Курьером согласны поработать?

— С удовольствием, Евстафий Селиверстович. Только Роман Трифонович все равно на вас разгневается.

— Так ведь знаю я, где вы обретаться будете. И что непременно попрощаться перед отъездом сюда придете. Так что для гнева матерьялу нет. — Зализо встал. — С вашего позволения, господин Каляев, я сыну сейчас напишу.

И, поклонившись, вышел.

Василий Иванович, ночь просидев за статьей, утром поехал на телеграф и в корреспондент-

ский пункт за новостями. Смотрел с извозчичьей пролетки на московскую праздничную шумиху, удивлялся, что Ходынка уже забыта, но скорее воспринимал это как данность, нежели огорчался. «До чего же мы раны легко зализываем, — думал он. — Что это — здоровье народа или бесчувствие его?..»

Завершив все срочные дела, Немирович-Данченко решил никуда не спешить. Государь с государыней были в Сергиевом Посаде, он мог располагать собственным временем и неторопливо двигался по московским улицам. От Лубянки свернул к Театральной, Охотным рядом вышел к Тверской и сейчас поднимался по ней.

Народу здесь было побольше. Горланили лотошники, расхваливая товар, фланировали любопытствующие зеваки, в магазинах стало заметно оживленнее. Василий Иванович пригляделся и понял, что нагрянувшие в Москву провинциалы уже начали считать дни до отъезда и озабочены сейчас выбором гостинцев из Первопрестольной. «Землетрясение, которое забывается. — Он опять подумал о Ходынской трагедии. — Все правильно, не горе же по весям развозить».

Он миновал Страстную площадь и остановился подле ничем не примечательного углового

дома. Леса с него были давно сняты, фасад сиял свежими красками, равно как и герб, который устанавливали с лесов артельщики. Здесь когда-то провозили гигантскую белугу, здесь он встретил Наденьку, сломавшую каблук, здесь дал артельщику денег на дюжину пива, а потом столкнулся с ним же на Ходынском поле возле разбитых буфетов. Артельщик искал сына, Николку, и Василий Иванович очень сейчас надеялся, что он нашел своего веселого, по-московски разбитного сына целым и невредимым.

А на Триумфальной опять остановился. Огромный деревянный обелиск, сооруженный по случаю коронационных торжеств, снова оказался в лесах, на которых трудились рабочие.

— Что они там делают? — спросил он у городового, почему-то наблюдавшего больше за работой, чем за порядком на улицах. — Подкрашивают, что ли?

— Никак нет, ваше благородие. — Городовой зыркнул по сторонам отточенным взглядом, шепнул доверительно: — Орла меняют.

— Какого орла?

— Который есть герб. Злоумышленники матерное слово на его животе дегтем написали. Да так, что и не смывается.

«Нет, ходынское землетрясение Москва не забыла, — неожиданно подумалось Василию Ивановичу, и подумалось-то с каким-то злым торжеством. — И, видать, не скоро забудет… Господи, да что это из меня вдруг Иван Каляев полез?..»

Вечером Немирович-Данченко вновь посетил телеграф, потому что несколько задолжал со статьями. Здесь его ожидала легкая неприятность: редакция одного из видных петербургских журналов выразила неудовольствие по поводу статьи о Ходынской трагедии: «О подобных событиях следует упоминать мельком, не расстраивая читателей ужасными подробностями». Обычно Василий Иванович относился к редакционным замечаниям вполне равнодушно, исходя из принципа «не угодно — не печатайте», но на этот раз вдруг рассвирепел и тут же, на телеграфе, написал ответ:

«Только душевно близоруким может быть свойственно утверждать, что необходимо употребить все усилия, чтобы поскорее забыть о Ходынке или, по крайней мере, смягчить ужасные воспоминания. Зачем? Почему? Кому это вдруг понадобилось? Неужели жить — значит закрывать глаза на горе и открывать их только при радостях? Не наоборот ли? Может ли искренне

радоваться тот, кто никогда не познал чужого горя и даже не посочувствовал ему?»

Он отложил ручку, подумал и дописал: «Если ваш уважаемый журнал не напечатает вышенаписанных строк, я буду вынужден прекратить наше сотрудничество».

Отправил по телеграфу второпях написанный ответ, добавление, взял извозчика и поехал домой. И долго возмущался трусливо-благостной позицией редакции, долго вздыхал. Пока не уснул.

6

26 мая день выдался на редкость жарким. Однако трибуны у царского павильона на Ходынском поле были переполнены, и сотни разноцветных дамских зонтиков кокетливо колыхались над ними. Все ждали высочайшего смотра войскам, уже выстроенным для парада в восемь линий, шутили, оживленно переговаривались.

Ровно в одиннадцать государь верхом, а государыня в экипаже в шесть белых лошадей цугом, с камер-казаком на запятках и двумя жокеями впереди выехали к войскам. Вместе с государыней в экипаже находились гессенская и румынская принцессы.

Объезд войск продолжался точно по регламенту: ровно сорок минут. Войсковые оркестры играли «встречу», а хоры музыки — гимн, но все заглушали перекатные крики «Ура!..». Позднее газеты сообщили, что в параде приняло участие восемьдесят семь батальонов, тридцать восемь эскадронов, три казачьи сотни, девяносто шесть пеших и двадцать четыре конных орудия. Тридцатью восемью с половиной тысячами солдат руководили шестьдесят семь генералов и тысяча девятьсот шестьдесят штаб– и обер-офицеров. А всем парадом командовал Его Императорское Высочество Главный начальник войск, собранных в Москве, великий князь Владимир Александрович.

Завершив объезд, царствующие особы вернулись к царскому павильону, где государыня изволила пройти на верхний балкон, а государь остался перед ним, сидя в седле.

Пропели фанфары, донеслась протяжная команда: «Побатальонно!..» И грянул марш сводного оркестра.

Парад открыли сотни конвоя Его Императорского Величества в красных мундирах. За ними старательно протопали кадеты, начиная с самых маленьких, что вызвало приступы острого уми-

ления у дам на трибунах.

Следом двинулись и войска. Первым сводным гвардейским полком командовал великий князь Константин Константинович, Вторым — великий князь Павел Александрович, причем в роте Его Величества Измайловского полка находился великий князь Андрей Владимирович, а во главе 1-го батальона лейб-гвардии Литовского полка — великий князь Николай Николаевич. За ними с грохотом, на рысях проследовала гвардейская артиллерия, поднявшая тучи въедливой ходынской пыли, из-за чего государь был вынужден повелеть немного обождать, чтобы марш кавалерии окончательно не утонул в желтом облаке. Во время вынужденного перерыва он дважды крикнул «Молодцы!» и единожды «Спасибо!», но кому именно, осталось неясным.

Наконец пыль немного рассеялась, и кавалерия немедленно начала прохождение на рысях и в галопе, чтобы поднять ее заново. Шедшие первыми кавалергарды еще блеснули своими кирасами, но конногвардейцы, кирасиры, гвардейские драгуны во главе с великим князем Борисом Владимировичем промелькнули в пылище, как тени. В конце концов легкий ветерок приволок эту пыль к трибунам. Государь неожиданно

чихнул, почему и был вынужден спешиться и скрыться в помещении царского павильона еще до окончания парада.

Впрочем, его любимые войска, а главное, записанные в них многочисленные родственники, уже продемонстрировали свою мощь и силу, и глотать пыль ради замыкающего парад сборного полка московского гарнизона не имело никакого смысла. Ни политического, ни тем более семейного.

Впереди сводного московского полка рысил бравый полуэскадрон под командой капитана Николая Олексина. Но в густой пыли ни он никого не разглядел, ни его никто не увидел. Но, как позже выяснилось, для того чтобы быть замеченным, вовсе не обязательно, чтобы ты что-то разглядел или тебя кто-то увидел.

Затем был дан обед для московских сословных представителей, после которого генерал Федор Олексин заехал к Хомяковым.

— Попрощаться, — пояснил он. — Отъезжаю сегодня же вослед за государем.

— Вот как? — Варвара подняла брови. — Я полагала, что ты уедешь во вторник.

— Служба, Варенька, служба, — вздохнул Федор Иванович. — Да и загостился я в Первопрестоль-

ной.

— Во вторник — годовщина смерти нашей матушки. Двадцать лет, Федор. И приедут все, кто об этом не позабыл.

— Я помню, — с некоторой досадой сказал генерал. — Но служба есть служба. Как там Надежда?

— Все еще — там.

Варя ответила сухо, и Федор Иванович сразу заторопился:

— К сожалению, я не смогу дождаться Романа Трифоновича, кланяйся ему. И братьям — мой поклон. И… Наденьку целуй.

— Благодарю. Ты очень любезен.

— Да, чуть не позабыл. — Генерал усмехнулся не без некоторого самодовольства. — Николая поздравь.

— С чем же?

— С орденом Святого Владимира четвертой степени. Рескрипт о сем уже подписан государем.

И наскоро облобызав сестру в обе щеки, вышел с несколько излишней поспешностью.

В десять часов тридцать минут вечера того же дня государь и государыня изволили отбыть из Москвы в село Ильинское…

Глава двенадцатая

1

28 мая, во вторник, исполнялось ровно двадцать лет со дня кончины матушки Анны Тихоновны. Много лет по традиции семья собиралась в Высоком, но с бегством Леночки и утратой Иваном «собственного лица», как однажды в сердцах выразился Федор, место поминания было изменено. Все обычно приезжали в Москву, к Хомяковым, заказывали панихиду, поминали, а на следующий день выезжали в Смоленск и уж оттуда — к родным могилам под белыми мраморными крестами. Не все, разумеется, поскольку многие уже служили, но старались все, кто мог.

Этот год был особым: ровно двадцать лет. Однако и обстоятельства тоже оказались особыми. Несчастье с Надеждой, ссылка Георгия и коронационная суета заставили пересмотреть сложившийся ритуал. Поразмышляв и отплакавшись, Варя вынуждена была отменить посещение Высокого, ограничившись лишь общим сбором в Москве. Она разослала длинные телеграммы по всем адресам, заказала панихиду и стала ждать

братьев в собственном доме.

И мечтала, что в этот особенный для семьи день врачи разрешат Наденьке хотя бы на два-три часа вернуться домой. Однако Степан Петрович оказался непреклонным:

— Преждевременно, Варвара Ивановна.

— Даже просто повидаться с родными?

— Возобновим этот разговор через неделю. И непременно в присутствии Авраамия Ильича.

* * *

На следующее утро после отъезда государя императора Москва пробудилась в ином качестве. Азартная работа по украшению второй столицы к коронационным празднествам да и сами празднества были уже позади вместе с коронацией и Ходынкой, надеждами и разочарованиями, приобретениями и утратами. Наступала обычная жизнь, а посему, по мнению властей, ничто уже не должно было напоминать москвичам о трехнедельной суетности. Многочисленные гости начали разъезжаться со всех вокзалов, а в центре — и прежде всего на Тверской — снова застучали топоры и отвратительно заскрежетали гвозди, выдираемые из гнезд. Звуки созидания и разрушения порождаются одними инструмен-

тами, отличаясь лишь чисто эмоциональным восприятием.

Город разбирал декорации.

В семь утра Хомяков уже сосредоточенно просматривал бумаги, слушая домашние новости, которые считал нужным доложить Евстафий Селиверстович.

— Варвара Ивановна приказала подать завтрак в постель к девяти.

— В больницу поедет?

— Так точно.

— Надо бы Грапу хоть на день отпустить.

— Предлагал. Отказалась. Сказала, что Надежде Ивановне с нею спокойнее.

— Что спокойнее?

— Спать, Роман Трифонович. Надежда Ивановна только днем и спит, сама Грапе призналась.

— Худо, Евстафий, — вздохнул Хомяков.

— Худо, — согласился Зализо, украдкой глянув на кабинетные часы. — Господин Каляев просил принять его утром. Поезд у него в десять часов сорок пять минут. Должен вскоре подойти.

— Проси сюда.

Евстафий Селиверстович вышел.

Хомяков сделал выписки из двух документов, доставленных лично старшим конторщиком,

перечеркнул их красным карандашом, отложил в сторону, когда в дверь негромко постучали.

— Входи, Ваня, — сказал он, встав навстречу раннему гостю.

Пожал Каляеву руку, кивнул на кресло.

— Я только попрощаться, Роман Трифонович. И поблагодарить от всей души.

— Где ночевал?

— В адвокатской конторе. Днем рассыльным работал, ночью — дежурным. Там — диван, удобно.

— Что делать думаешь?

— Осенью в университет пойду. В петербургский.

Ваня отвечал коротко, не вдаваясь в подробности и не ожидая расспросов. А выглядел повзрослевшим. Безулыбчивым и серьезным, и Хомяков понял, что перед ним — не вчерашний гимназист, а молодой человек, уже определивший свою судьбу. И вздохнул:

— Не закончишь ты в университете.

— Возможно. Но единомышленников найду.

— Найдешь, знаю. — Роман Трифонович помолчал, сказал, понизив голос: — Если деньги понадобятся…

— Извините, нет.

Отказ Ивана прозвучал столь резко, что Хомя-

ков рассердился:

— Да не тебе, не тебе!..

Похмурился, посопел, уточнил:

— Единомышленникам.

— Каким единомышленникам?

— Можешь на меня рассчитывать.

Каляев отрицательно покачал головой. Роман Трифонович усмехнулся:

— Это лучше, чем кареты грабить. Концы — в воду. А единомышленники обязательно появятся, Ваня, так что ищи. Непременно появятся и магнитом притянут.

— Может быть. Я ведь и шага еще не сделал.

— Первый шаг, Иван, человек в душе делает. И этот шаг ты уже совершил.

— Спасибо, Роман Трифонович. — Каляев невесело улыбнулся. — Очень боялся я, что вы все мои выкрики за детскую истерику посчитаете.

— Нет, Иван Каляев, человек ты — серьезный. Весьма и весьма, — вздохнул Роман Трифонович. — Ты ведь программу целую мне успел изложить. Не бывает виноватых чиновников, презумпция невиновности для общенациональных трагедий существовать не имеет права, дырки в законах, справедливость одна на всех. Признаться, хотел я с тобой поговорить, как бы

со своим сыном поговорил: мой старший — тебе ровесник. А потом понял, что нет, не ровесник. Возмужал ты, Иван, в два дня возмужал, и разговор мой опоздал на эти два дня.

— Даст Бог, еще поговорим.

— Богу отмщение дано, Он и воздаст, — вдруг хмуро сказал Хомяков.

— Это вопрос теологический, а следовательно, не… не очень доказуемый, Роман Трифонович.

— Это вопрос совести, Иван.

— Вот тут я с вами почти согласен.

— Почти?

— Одна проблема мне покоя не дает, — помолчав, сказал Каляев. — Где сейчас Феничкина совесть? В кого вселилась? В осиротевших родителей? В Тимофея? Может быть, в меня?.. Знаете, с чем я из Москвы уезжаю? С чувством, что все две тысячи раздавленных на Ходынке мне свою совесть вручили. Мне, Роман Трифонович, мне лично. И в Петербург с этим же чувством осенью поеду. А засим, как говорится, разрешите откланяться.

— Ох, Ваня, Ваня… — Хомяков обнял Ивана, прижал к груди. — С перегруженной совестью трудно на свете жить.

— Полагаете, что без нее легче? — усмехнулся

Каляев.

— Да не о том я!

— Простите, Роман Трифонович, с языка сорвалось, — вздохнул Иван. — Надежде Ивановне — низкий поклон. Жаль, что повидать ее более не пришлось, но последние слова ее помню. «Форма раздавила содержание». Точнее, мысль, а не слова. Отсюда следует, что форму надо менять. Вполне диалектический вывод. Наденька — умница, Роман Трифонович. Умница.

Он впервые назвал младшую Олексину просто Наденькой, словно был старше. И Хомяков понял: «Не был — стал старше». Подавил вздох, покивал головой.

— Расцелую нашу умницу за тебя, Ваня, когда поправится. А вот денег под грядущую вендетту не дам. Ни тебе, ни будущим сотоварищам твоим. Извини, погорячился.

— Я слишком уважаю вас, Роман Трифонович, чтобы принять деньги. Какие бы то ни было.

— Обещай, что заглянешь, коли в Москве побывать случится.

— Непременно, Роман Трифонович. Прощайте. Спасибо за все.

— Прощай, Ваня. Побереги себя.

Каляев вышел, и дверь за ним беззвучно закры-

лась. Навсегда.

2

А Хомяков сел за стол, начал читать какие-то бумаги и упорно читал, пока не понял, что ничего сейчас в них не понимает и понимать не способен. Из головы не выходил Каляев, его внезапное возмужание, странный разговор о совести, которую якобы завещали ему мученики Ходынской трагедии. И, как вывод, — последние слова: «Форму надо менять». «Ну менять, согласен, — с непонятным раздражением думал Роман Трифонович. — Но ведь ты, Иван, нетерпелив, ты — как Маша: уж коли менять, так сейчас же, сразу, вдруг, немедленно, бомбой в губернатора. А там — дети. Существа бесформенные, их-то зачем и за что?.. Нет, не пожалеют они детей, не пожалеют. Не каждое столетие Маши рождаются…»

— Василий Иванович приехали!.. — распахнув дверь, радостно объявил Зализо.

Старший Олексин был благообразен, спокоен и бородат. Никогда не позволял себе сердиться, хмуриться, даже повышать голоса: его и так всегда было слышно. Ни на что не претендуя, он тем не менее стал нравственным судией всей семьи, приговор которого никогда и никем не

обжаловался.

Причина особого положения Василия Ивановича в семье заключалась отнюдь не в добровольно взваленном на себя тяжком кресте настойчивых поисков путей к совести человеческой. В молодости он был видным народником, одним из основателей наиболее авторитетного и исторически значимого кружка этого движения русской интеллигенции. И не в том, что вследствие этого попал в поле зрения полиции, был вынужден бежать в Америку, где продолжал упорные поиски все того же всеобщего равенства и братства, для чего организовал коммуну по образцу Фурье в штате Канзас. Не в том, наконец, что нашел в себе силы отказаться от социалистических фантазий, искренне разуверившись в них, вернулся на родину, где долгое время перебивался с хлеба на квас, пока не был приглашен графом Львом Николаевичем Толстым в качестве домашнего учителя для старшего сына Сергея. И даже не в том, что, уверовав в богоискательство Толстого, стал одним из первых адептов его нового учения: Олексины не отличались религиозностью, относясь к религии скорее как к привычной и приятной традиции. Нет, главное в отношении семьи к ищущему брату заключалось в том,

что сам ищущий брат негромко, но неуклонно демонстрировал в поисках своих на редкость принципиальную честность, твердость и постоянство. А эти качества все Олексины ценили превыше всего.

— Зачем же гневаться? — говорил он спорящим братьям. — Рассудите спокойно, и сами поймете, что не вы сейчас спорите, а пустые амбиции ваши.

— Здравствуй, дорогой мой.

Хомяков троекратно облобызался с Василием Ивановичем, отодвинул его от себя, улыбнулся.

— Рад. Знаешь о нашем несчастии?

— О Наденьке Варя рассказала, пока ты с юношей беседовал. Счастье, Роман, что жива осталась, дар Господень. Остальное в руках Божьих.

— Надеюсь на это, — буркнул Роман Трифонович: не любил ссылок на Господа. — Из Казани или из Тулы?

— Из Казани. К Льву Николаевичу из Москвы заеду. Списались мы с ним заранее.

— Если не возражаешь, с завтраком чуть обождем. Викентий Корнелиевич вот-вот подойти должен.

— Я стакан чаю на вокзале выпил. Так что не голоден.

— Пост соблюдаешь? — улыбнулся Хомяков.

— Скорее образ жизни.

— Суровая у графа религия.

— Добровольное суровым не бывает, Роман.

Усадив гостя, Роман Трифонович на скорую руку познакомил его с московскими и семейными новостями. Рассказал о гибели Фенички и спасении Наденьки, о генерале Федоре Ивановиче, успешно строившем карьеру, о Николае с его дочками и Георгии, практически сосланном за дуэль в Ковно.

— Правильно поступил Георгий. Не взял греха на душу.

— А узел разрубил, — усмехнулся Хомяков.

— Жаль только, что не повидаю его.

Вошла Варвара.

— Вася, знаешь, что мне в голову пришло? — с какой-то напряженной внутренней озабоченностью сказала она. — Может быть, мы вместе к Наденьке поедем?

— С удовольствием, но… Не очень себе представляю свою роль. Мы так долго не виделись.

— Она не просто любит тебя, она тебя чтит.

— Готов хоть сейчас, Варя.

— Нет, нет, после завтрака. Я панихиду по маменьке в храме закажу и за тобой заеду.

Улыбнулась и вышла.

— Варя права, — помолчав, сказал Роман Трифонович. — Не получилось у меня разговора с Наденькой. Растерялся я, ее увидев, и все слова из головы повылетели. Может, ты ее разговоришь.

— Молчит?

— Одно слово мне сказала. «Хорошо». Ровно одно… — Хомяков прислушался. — Кажется, Викентий Корнелиевич пожаловал. Пойдем в столовую, Вася.

Они прошли в столовую, где Роман Трифонович представил мужчин друг другу. За завтраком шла общая беседа ни о чем, почти светская, а потом вновь появилась Варвара и увезла Василия Ивановича с собой прямо из-за стола.

— Самотерзания? — переспросил Василий, выслушав весьма подробный и весьма сумбурный отчет Варвары о состоянии младшей сестры. — Я понял тебя, Варя. Душевный разговор Наденьке необходим, искренний и доверительный. Смогу ли?

— Сможешь, Вася. Кто же, если не ты?

— Не знаю, не знаю, — сомневался Василий. — Здесь откровение нужно. Или мудрость Льва Николаевича. Мудрости нет, до откровения не поднялся…

А войдя в палату, с горечью понял, что здесь и откровения недостаточно. Озарение нужно. Святость…

— Вася…

И опять Наденька попыталась улыбнуться. И опять улыбки не получилось.

— Души слушайся, Наденька. Не хочется улыбаться — не улыбайся, не хочется говорить — не говори. Отринь всякое насилие над нею. Насилие — самый страшный грех. Очень дурные люди его придумали, естеству оно неведомо.

— Душа моя… разбежалась.

— Просто странички в ней перепутались.

— Мя…

Надя замолчала. Пожевала губами, прикрыла глаза.

— Что ты хотела сказать?

— Мятеж.

— Понимаю, душа бунтует. Только в клетку, как Пугачева, ее не посадишь. Приласкать ее надо.

— Кусает.

— Поссорилась ты с ней, — вздохнул Василий. — На Ходынку потащила, унижениям подвергла, вот она и… Тело — форма. Душа — содержание. И прекрасная форма может оказаться пустой, и великая душа прозябать в гнилом срубе.

Наденька вдруг открыла глаза, странно посмотрела на него.

— Ты… все знаешь?

— Всего знать никому не дано.

— Содержание может быть больше. Больше формы.

— Возможно, это не содержание, Наденька? — Василий почему-то очень заволновался, стал терять мысль. — Возможно, это просто опухоль? Перетрудила ты душу свою.

— Взорвется. Вот-вот взорвется. Знаю.

— Значит, на бомбу надо броситься. Как Маша. Ведь дети кругом. Дети.

Василий сказал это внезапно, не подумав. Сказал и вдруг испугался.

— Не так живи, как хочется, а как долг велит. — Наденька впервые ясно произнесла столь длинную фразу. — Так батюшка говорил?

— Да. И матушка. Только для него это был дворянский символ веры, а для матушки — крестьянский. Завтра двадцать лет.

— Поставь за меня свечку.

— И поставлю, и помолюсь.

— Молиться за меня нельзя, — вздохнула Надя. — Я сама должна молиться.

— Да, посредников между человеком и Богом

быть не должно. В этом и есть смысл учения графа Льва Николаевича.

— Не надо о смысле. Нет его. Нет никакого смысла. Обещай, что придешь. После маминого дня.

— Приду, Наденька.

— А сейчас иди. Устала я. Я устала, устала, устала…

Василий поцеловал сестру в лоб и тут же вышел.

— Ну как? Она заплакала? — с ожиданием спросила Варя, бросившись к нему.

— Что?.. Нет, Варя, Наденька не заплакала.

— Жаль, — огорченно сказала Варя.

— Жаль, — вздохнул Василий.

Он был очень недоволен собой, что не смог как должно поговорить с Наденькой, утешить ее, успокоить, вселить веру. «Поучал, — с мучительным стыдом думал он. — Несчастную душу, спасения жаждущую, суконными сентенциями пичкал. Все до последнего словечка Льву Николаевичу расскажу, ничего не утаю, ничего. И не отпущения попрошу, а суда. Праведного суда за неискренность свою…»

3

Дома Василий Олексин рассказал о свидании с Надей в самых общих чертах. Он все еще терзался совестливыми воспоминаниями, которые так мучительно жгли сейчас душу. Но сослался на то, что пока еще не разобрался в собственных впечатлениях. Вероятно, его поняли, потому что никто не допрашивал с пристрастием. А он со стыдом думал, что и сейчас лжет, и сейчас не может отыскать в себе сил, чтобы признаться, что неискренность все еще унижает душу его, а справиться с нею он никак не может по ничтожности своей.

— Душа у нее съежилась, — бормотал он, а ему внимали, внимали с надеждой и верой. — Хотя она утверждает, что наоборот. Не съежилась, а разбежалась.

— Что человеку известно о душе? — тихо спросил Викентий Корнелиевич. И сам же себе ответил: — Ничего.

— Душа — это воля, — уверенно объявил Хомяков. — То есть способность человека ставить перед собой цель и добиваться ее через «не могу». Согласен, Вася?

— Немцев ты начитался, Роман, — вздохнул

Василий.

Не хотелось ему вникать в пустой разговор, ох как не хотелось. Хотелось молчать, но он и тут не удержался от поучений:

— Немцам свойственно прямолинейное понимание.

— А нам, славянам, кривоколенное, — усмехнулся Роман Трифонович. — Господин Достоевский тому примером. А жить надо проще: цель — средство — результат.

— А где же тогда совесть? — спросил Вологодов.

— Совесть?.. — переспросил Хомяков, вдруг вспомнив разговор с Каляевым. — Совесть, это что, по-вашему, результат домашнего воспитания или часть души?

— Для человека русского — часть души, — сказал Василий. — Иногда огромная часть. Все поглощающая в себя.

Впервые сказал искренне. И вздохнул с облегчением.

— А душа — бессмертна. Так, во всяком случае, считает религия, — продолжал Роман Трифонович. — Следовательно, совесть — тоже бессмертна? В какой же форме она продолжает существование? И кто ее наследует, если можно

так выразиться?

— В какой-то мере — все мы.

— В какой-то мере, Викентий Корнелиевич? И что же, мы стали совестливее за последние сто лет?

— Полагаю, что совестливее. Во всяком случае, солдат сквозь строй не гоняем.

— Но в бессмысленные атаки гоняем, войну вспомните. Михаил Дмитриевич Скобелев как-то сказал мне, что поштучно помнит всех, кого пришлось зарубить в бою, но не знает, сколько человек пало от его приказов в сражениях. Какие грандиозные перспективы для совести, господа! Забрасывай бомбами, убивай издалека — и совесть твоя будет покойна.

— Совесть — это запрос Бога, — сказал Василий. — Не вопрос, подчеркиваю, а — запрос. Требование отчета. И тогда человек начинает страдать и маяться.

— И тут же утешает себя всеми способами, — подхватил Роман Трифонович. — Необходимостью, приказом начальства, роковой случайностью, приступом патриотизма, наконец. Нет, господа, у совести всегда найдется увесистый противовес — самооправдание. Защита и обвинение сосуществуют в нас, увы, без суда присяжных. И

— как правило, заметьте — побеждает защита. Человек — существо самовлюбленное, в отличие от животного.

— Однако нарциссизм — отклонение от нормы, — заметил Викентий Корнелиевич. — В массе своей человек нравственно здоров.

— Если верует, — сказал Василий. — Искренняя вера — фундамент нравственности, только она способна удержать человеческую совесть от кривых тропинок. От семейных и клановых заветов, государственной необходимости, политических уловок, торгашеских обязательств, жажды мести и гнева с любыми прилагательными.

«Господи, да что же со мною творится! — почти с отчаянием думал он, а дежурные слова как бы сами собой продолжали слетать с языка. — Как же отравлен я всем обществом, если евангельских заветов исполнять не могу…»

— И это говорит вчерашний неистовый материалист! — насмешливо воскликнул Роман Трифонович.

— Убежденность, что материализм непременно атеистичен, есть величайшее заблуждение, Роман. Мировоззрение и миропонимание не противоречат, а скорее дополняют друг друга.

— При двух непременных условиях, — заметил

Викентий Корнелиевич. — Надо уметь зрить и уметь понимать.

— И зрить непременно в корень, как то рекомендовал Козьма Прутков, — усмехнулся Хомяков. — Мы утратили тему, господа. И вопрос к тебе, Вася, как к материалисту-богоискателю. Мучает ли человека совесть за чужие грехи?

— Порою значительно больше, нежели за собственные.

— Всегда и всех?

— Должна всегда и всех, но, увы, Роман, человек весьма несовершенен.

— И что же мешает его совершенствованию?

— У нас, в России? «Две напасти: внизу — власть тьмы, вверху — тьма власти», — серьезно продекламировал Вологодов.

— И это говорит чиновник четвертого класса с титулом превосходительства! — тотчас же откликнулся Роман Трифонович. — Нет, господа, уж извините, но человек несовершенен исключительно по лености своей, а потому и нет ему оправдания. Всего тридцать пять лет назад государь Александр Второй отменил крепостное право, пять веков растлевавшее как плебеев, так и патрициев. За эти века скулить да челом бить научили всех, а вот трудиться — только из-под

палки. И что же? Большинство затосковало не только о барских подачках, но и о барской плетке: «Раньше порядок был!» Порядок на Руси — всегда из-под батога, сверху, а не снизу — мы-де люди маленькие! И тоска у нас — именно по такому порядку, порядку с плетью в руках, а не с законом.

— Пылу в твоих речах, Роман, всегда больше, чем резону, — миролюбиво улыбнулся в бороду Василий. — Но пыл — не аргумент. Человек и стал-то человеком разумным только тогда, когда научился управлять своими страстями.

— Не следует ли из ваших слов, Василий Иванович, что идеальным обществом вы полагаете общество, состоящее из людей бесстрастных? — улыбнулся Вологодов.

В его тоне скрывалась некая ирония, но Олексин предпочел ее не заметить.

— Никоим образом, Викентий Корнелиевич, страсть — ключ к творческому началу, если она управляема совестью. И к разрушению, а то и преступлению, если совесть заменяется сиюминутной необходимостью. Умозрительной политической идеей или жаждой личного обогащения — разницы нет. Как то, так и другое направлено против общества, почему между идейным бомбистом и безыдейным разбойником

я и не усматриваю никакой принципиальной разницы.

— Цель оправдывает средства, — проворчал Хомяков. — Лозунг Игнатия Лойолы, если не ошибаюсь.

— Невозможно достигнуть благородной цели преступными средствами, тут я с Василием Ивановичем полностью согласен, — заметил Викентий Корнелиевич. — Поэтому и Робин Гуд есть всего-навсего протест против догматического германского орднунга, выраженный в романтической легенде.

— Вот как? — усмехнулся Роман Трифонович. — А я-то, наивный, предполагал в его образе вопль о справедливости.

— Экспроприация не может быть справедливой хотя бы потому, что любая форма насилия несправедлива изначально, — сказал Вологодов. — Общество, которое откажется от этого постулата, рано или поздно захлебнется в разгуле преступности. И прежде всего в воровстве, поскольку воровство — простейший и доступнейший способ экспроприации. К тому же не требующий знания французского языка.

— Вряд ли возможно столь безнравственное общество, — сказал Василий. — Здравый ин-

стинкт народного самосохранения его попросту отринет.

— Стало быть, ты восчувствовал недостаточность веры, Вася, коли уповаешь на инстинкт, — усмехнулся Хомяков.

— Этот инстинкт воспитала вера во Христа, Роман. И тому гипотетическому обществу, о котором в предположительном смысле упомянул Викентий Корнелиевич, придется столкнуться с государственно-православной русской церковью. А она этого не допустит.

— С помощью креста и молитвы?

— С помощью миллионов верующих, и прежде всего — крестьянства. А крестьянство — это вся Русь, Роман. Вся Русь с ее могучими, по сути средневековыми, традициями.

В гостиную, где за беседой коротали время мужчины, заглянула Варя.

— Наденька практически проспала весь день. Даже когда мы с Грапой кормили ее, она не открыла глаз. И не отвечала ни слова. Причем на самые простые вопросы.

— Что говорит Степан Петрович?

— Все то же: к физическому состоянию у него претензий нет. — Варя вздохнула. — В конце концов я уговорила его выписать Наденьку домой в

начале следующей недели.

— Вот это правильно, — оживился Роман Трифонович. — Дома и стены помогают.

— Конечно, Авраамий Ильич будет ее наблюдать и дома, но… — Варвара как-то очень растерянно пожала плечами и беспомощно улыбнулась. — Что же мне делать, господа, посоветуйте. Может быть, попробовать гипноз?

— Не убежден, — тихо сказал Викентий Корнелиевич. — Форма Надежды Ивановны прекрасна, а душа… Душу гипнозом не вылечишь, Варвара Ивановна.

— Душа… — вздохнул Василий и замолчал. Все ждали его слов, но их не последовало.

— С вашего позволения, господа, я вас оставлю до обеда, — сказала Варя и вышла.

Вопрос о совести, который так беспокоил Романа Трифоновича после утреннего разговора с Каляевым, не всплывал более, потонув в длинных разговорах о Руси и России, о будущем, о грядущем столетии. Что и говорить, любила русская интеллигенция со вкусом потолковать о судьбах отечества…

4

К обеду подоспел Николай.

— Вася!.. — Он долго тискал брата, хлопал по плечам, обнимал и целовал и даже почему-то потрепал за бороду. — Ну, рад я, как я рад, что ты приехал. К нам заглянешь?

— Когда же, Коля? Сегодня Варя не пустит, завтра — сам знаешь, а следующим днем мне уезжать. Со Львом Николаевичем условлено, никак не могу отложить. Ты уж прости меня и Анне Михайловне извинения мои передай вместе с сердечным поклоном.

— А заодно скажи, чтобы готовила пир на весь мир, — улыбнулась Варвара.

— Это по какому же поводу?

— Слух прошел, что ее супруга, некоего капитана Николая Олексина, государь изволил пожаловать орденом Святого Владимира четвертой степени.

— Кто это тебе сказал?

— Наш семейный генерал.

— Вот в чем дело, оказывается… — Николай неожиданно рассмеялся. — Теперь мне все ясно.

— Что тебе ясно, Коля? — спросил Хомяков. — Что Федор тебе протежирует?

— Ну и память у первых дворян России, — удивленно протянул капитан, словно не расслышав вопроса.

— Что ты загадками заговорил вдруг? — проворчал Роман Трифонович. — Каких первых дворян?

— Романовых, естественно. — Николай озадаченно покрутил головой. — Утром я по долгу службы на Петербургском шоссе оказался: получил приказ сопровождать фуры с коронационными подарками из Петровского путевого дворца в Кремль. Вроде почетного эскорта. Стою с полуэскадроном, жду, когда фуры погрузят. Вдруг на шоссе — шум, крики. «Князь Ходынский!..» и — далее непереводимо. И подлетает ко мне на коне полицейский полковник Руднев, как потом выяснилось. «Приказываю немедленно обеспечить проезд во дворец для Его Высочества великого князя Сергея Александровича!» Я ему сердечно объясняю, что, во-первых, приказывать мне могут только три человека во всей России: либо мой непосредственный начальник, либо военный министр, либо сам государь. Во-вторых, я нахожусь здесь со вполне определенной задачей, и в-третьих, полицейские обязанности как-то не совсем гармонируют с моей офицерской честью. Тут полковник покрывается пятнами и начинает

повышать тон, а я начинаю демонстративно стаскивать с руки перчатку. Он выпаливает коронную фразу: «Я буду жаловаться!» — и ретируется. Такова, в общих чертах, завязка.

— И что же было далее? — В глазах Вологодова появился неподдельный интерес.

— А далее генерал-губернатор Москвы поворачивает назад, полицейский полковник Руднев глотает пыль, следуя за его коляской, а толпа вдогонку орет «Князь Ходынский!..» с соответствующими толпе эпитетами. Затем я спокойно сопровождаю фуры с подарками в Кремль, где меня уже поджидает дежурный адъютант Его Высочества с приказом немедленно пожаловать. Еду, проводят в кабинет. Успеваю заметить, что великий князь в великом гневе, но четко и ясно рапортую, что-де капитан Олексин прибыл по вашему повелению… «Ах это ты, Олексин? — вдруг приятно удивляется Его Высочество. — Хорошо послужил во время народного гулянья. А также впоследствии. Молодец!» С тем мы и расстаемся, ко взаимному удовольствию. — Николай громко расхохотался: он был смешлив и всегда смеялся с наслаждением. — Ну и память у них! Кабы Федор не порадел своевременно, мчаться бы мне в очередной гарнизон со всем семейством.

— А мы все Федором недовольны, — вздохнула Варвара.

— Одно доброе дело доброты не посеет, — по-прежнему непримиримо проворчал Хомяков.

— Нехорошо ты сказал, Роман. — Василий укоризненно покачал головой. — Если бы Федора просили об этом и он сделал, и тогда бы спасибо ему. А когда добро — по велению души да втайне творится — это поступок достойный. Слова добро не сеют, а поступок — даже один — сеет. И хвала сеятелю.

Вошел Зализо:

— Василий Иванович Немирович-Данченко.

И отступил, пропуская корреспондента, одетого по-дорожному, что сразу всем бросилось в глаза.

— Добрый вечер, господа. Попрощаться зашел буквально на минуту, даже извозчика не отпустил… — Немирович-Данченко замолчал, заулыбался, шагнул, протянув обе руки: — Василий Иванович! Тезка ты мой двойной!.. Ну, здравствуй, дорогой, здравствуй.

Они троекратно поцеловались, путаясь бородами.

— Как всегда — в суете? — спросил Василий.

— Извини уж, — развел руками журналист. — Да, насчет суеты. Государь повелел возбудить

следствие о Ходынской трагедии. Вести дело поручено следователю по особым делам Кейзеру. Скажите Каляеву об этом, когда увидите его.

— Каляев утром в Нижний укатил.

— Ну а я — в Петербург. Кляузы начались в редакции. Отповедь моя им не понравилась. Ну, обнимаю всех, целую и — скачу.

И вышел, поклонившись.

— Суетой газетчики живут, — неодобрительно вздохнул Василий. — А суетой души не спасешь.

Помолчали.

— Надо насчет обеда распорядиться. — Варвара встала. — Готовьтесь, господа.

Она ушла.

— А спасти необходимо, — вдруг сказал Вологодов.

— Что спасти?

— Надежду Ивановну. — Викентий Корнелиевич поднялся с кресла, зашагал по гостиной с непривычным для него волнением. — Который день наши разговоры слушаю и жалею, что нет с нами Надежды Ивановны. Пусть скучны наши споры, пусть — болтовня, но она бы слушала. Она бы себя слушать перестала.

— Правильно! — громко сказал Николай. — Она там в заточении. В узилище!..

— А врачи как же? — растерянно спросил Роман Трифонович. — Они же отказали…

— Для врачей она больная, а для нас — Наденька! — выпалил капитан.

— Святые слова сказал, Коля, — вдруг заволновался всегда внешне спокойный Василий. — Душу ее спасать надо. Душу, а не тело! А все норовят тело, тело!..

И поспешно вышел. Николай бросился за ним:

— Обожди, Вася! Вместе…

— Что скажете, Викентий Корнелиевич? — с некоторой растерянностью спросил Роман Трифонович, когда за братьями захлопнулась дверь. — Не натворим ли бед самовольством?

— Знаете, дорогой друг, я рад. Мне кажется, что дома ей будет лучше. Во всяком случае, должно быть лучше.

— Дай-то Бог…

В дверь заглянул Николай:

— Едем за Наденькой! Решено!..

И скрылся. Вологодов встал, перекрестился.

— Ну и слава богу, — вздохнул с облегчением и с некоторой долей печали одновременно. — А мне разрешите откланяться.

— Куда же вы? Сейчас Надюшу привезут.

— Значит, мне следует идти домой. Следует,

Роман Трифонович, хотя, видит Бог… — Викентий Корнелиевич осекся, сказал, помолчав: — Завтра я должен посетить присутствие по неотложным делам. Стало быть, до послезавтра. Если позволите и… и если Надежда Ивановна не будет возражать.

И, поклонившись, вышел.

— Непременно, непременно, — пробормотал занятый своими мыслями Хомяков.

Он не мог прийти в себя от простоты, с которой вдруг разрешился столь мучивший его вопрос. Но он — разрешился, и сейчас Роман Трифонович пребывал в некоем неустойчивом состоянии, потому что все решилось без него. И это было и непривычно, и досадно.

В гостиную заглянул улыбающийся — что тоже было совсем уж непривычно — Евстафий Селиверстович.

— Все уехали. Викентий Корнелиевич — домой, а наши — за Надеждой Ивановной.

— Комнаты ее готовы?

— Лично проверю. Радость-то какая, Роман Трифонович!

— Как же это меня с седла-то ссадили? — удивленно сказал Хомяков. — А ведь ссадили. Ссадили — и правильно сделали.

Самолюбие его было уязвлено, но он утешился тем, что сам внес Наденьку в ее комнаты. И поцеловал, положив на кровать.

— Радость ты наша…

Глава тринадцатая

1

Наденька отнеслась к внезапному переезду из больничной палаты домой безразлично. Одевая ее, Грапа с жаром говорила, что, слава богу, теперь все будет хорошо, а на своей постельке, глядишь, и дело пойдет на поправку. Надя послушно подставляла руки, поворачивалась, как просила Грапа, вставала, если было нужно, и — молчала. Глаза ее, синева которых стала теперь еще гуще и еще глубже, безучастно смотрели куда-то мимо одевавшей ее горничной.

«Господи… — смятенно думала Грапа. — Неужто не понимает, что из больницы увозят?.. Неужто разума лишилась?..»

Наденька все слышала и все понимала и ничего не могла с собой поделать. Невероятный ужас вдруг обрушился на нее, как только Варя ворвалась в палату с ликующим криком:

— Домой едем, Наденька! Домой!..

И Наденьке внезапно стало так страшно, что полная апатия оказалась единственным средством защиты от этого страха. «К Феничке ве-

зут… — в панике думалось ей. — Там же Феничка, моя Феничка… Они туда всех свозят…»

Безмолвие и неподвижность были сейчас единственным ее спасением. Она ясно понимала, что все эти громкие, такие веселые и такие здоровые люди попросту не поймут ее, если она попытается объяснить им, чего именно она боится. Не поймут, а не поняв, решат, что она сошла с ума.

А вот то, что она испугалась собственного воображения, которое непременно должно было вспыхнуть с неудержимой силой именно там, откуда они с горничной так радостно спешили на свою Голгофу, Наденька понять не могла. Некогда было понимать, все случилось внезапно, лишив ее возможности самой избрать тот час, когда позволительно будет думать о Феничке. Времени, которое она сознательно оттягивала, чтобы накопить достаточно сил для своих самых трудных, самых мучительных воспоминаний, теперь у нее не оказалось. У нее вдруг украли это время. Плотина, лихорадочно построенная ею, рухнула, и беспощадный поток уже уносил ее в ад, переполненный стонами, воплями, криками, просьбами и проклятиями…

С ней заговаривали, ей ласково улыбались, ее нежно целовали, а Николай даже восторженно

обнял («Сестренка ты моя!.. Дорогая, любимая и единственная!..»), но Наденька упорно продолжала молчать. Молчание оказалось последним редутом ее обороны против всех, против всего мира. И во всем мире только она, одна она понимала, что с ней происходит. Себя понимала. Наденьку Олексину.

— Что с ней? — тревожным шепотом спросил Николай.

— Растерялась, — неуверенно объяснила Варя. — До сих пор говорили, что раньше чем через неделю не выпишут, и вдруг… Ты бы тоже растерялся.

«Душа в ней переменам встревожилась, — с горечью думал Василий. — Футляр починили, а скрипка разлетелась. И нет музыки больше. Не звучит она в ней, не звучит…»

Даже Роману Трифоновичу Наденька не обрадовалась. И веки не дрогнули, когда он сказал:

— Радость ты наша…

— Ну, слава богу, Наденька дома, — удовлетворенно сказал Николай, успокаивая, впрочем, больше себя. — Я — к семейству. Завтра прибудем.

И ушел. А они — остались. Сидели в малой гостиной и молчали. И Варя, и Хомяков, и Василий,

и вскоре присоединившийся к ним Евстафий Селиверстович.

— Скрипка, — вздохнул Василий. — Никакой врач скрипичного мастера не заменит. Тут другой специалист нужен.

Туманными были его размышления, но никто ни о чем даже не спросил. Молчали как молчали. Вольным молчанием.

А потом без разрешения и даже без стука вошла Грапа. И все уставились на нее, не задав ни одного вопроса.

— Кажется, уснула. Или глазками прикрылась. От нас, здоровых.

— Считаешь, напрасно мы ее потревожили?

— Да, барыня, напрасно. — Губы у горничной задрожали, но она сдержала слезы. — В привычном месте Бога всегда легче найти.

— Хорошо ты сказала. — Василий встал с кресла, прошелся, снова сел. — Очень точно сказала, Грапа.

— А дом — место непривычное для нее, что ли? — тихо, без обычного напористого тона спросил Роман Трифонович. — Она здесь выросла, она здесь всех богов наперечет знает.

— Надежда Ивановна в доме здоровой была, — вздохнул Евстафий Селиверстович. — А в

больнице — больной. И больной воротилась. В здоровый дом.

— Что же, назад ее? — растерянно спросила Варвара. — Снова в больничную палату?

— Нет уж, Варвара Ивановна, хватит, потешили себя, — с неожиданной резкостью сказала Грапа. — Два раза переезд Наденьке не перенести.

И вышла.

— Даст Бог, утром все на свои места встанет, — вздохнул Роман Трифонович, не веря ни единому сказанному своему слову.

Утром все встало на другие места. Наденька послушно, но явно без аппетита ела свою кашу, пила сок и чай, а от сладкого отказалась. Не словами — просто закрыла глаза. Такой или почти такой она проснулась в больнице в первое после Ходынки утро. Варя сама кормила ее завтраком, а выйдя из ее комнаты, рухнула на козетку и разрыдалась, изо всех сил зажимая рот.

— Что же это, Грапа? Что же это?..

— А то, что входить к Наденьке не будете, пока я не позволю, — сурово сказала горничная. — Можете хоть сейчас выгнать меня, но девочку мучить я не позволю.

— Хорошо, Грапа, милая, хорошо, — вытирая слезы трясущимися руками, бормотала Варва-

ра. — Только спаси ее, Христом Богом умоляю, спаси!..

— Ступайте к себе, Варвара Ивановна, — вздохнула Грапа. — И господам накажите, чтоб зазря сюда не совались.

— Да. Да, да… — послушно кивала Варя. Грапа ушла к Наде. Варя посидела немного, вымыла залитое слезами лицо и спустилась вниз.

— Как Надюша?

— Я сама покормила ее, — почти спокойно ответила Варя. — И нам пора.

Принесли телеграмму из Ковно: «ПОМНЮ СКОРБЛЮ НАД ОДИНОКОЙ ПОМИНАЛЬНОЙ РЮМКОЙ ЦЕЛУЮ ВСЕХ БЕРЕГИТЕ НАДЕНЬКУ ГЕОРГИЙ».

А после завтрака из Смоленска приехали Иван и Беневоленский. Варя сразу же рассказала им о Наденьке, ничего не утаивая и не щадя себя.

— Это я во всем виновата, я. Говорили же мне врачи, что рано ее перевозить, что…

— За что же вы ее так?.. — с болью спросил Иван. — По принципу «сытый голодного не разумеет»…

— Не надо так убиваться, Варя, — вздохнул Беневоленский, укоризненно посмотрев на Ивана. — Сделанного не вернешь, а там — само время

покажет.

Варя отправила мужчин в курительную, чтоб и голосов их не было слышно, металась по всему особняку, не находя места.

Из Надиных комнат спустилась Грапа.

— Вы простите меня за давешнее…

— Ты права, Грапа, совершенно права. Мы — бесчувственные скоты, здоровые бесчувственные скоты. Как?..

— Уснула.

— Так ничего и не сказала?

— Сказала.

— Что?..

Грапа помолчала. Уж очень не хотелось ей говорить.

— Что, Грапа? Скажи.

— «За что они так?»

— И Ваня те же слова… — вздохнула Варя. — Те же самые, слово в слово.

— Иван Иванович приехал? — спросила Грапа. — Обождите, обождите, Варвара Ивановна, Наденька в больнице вспоминала о нем. Рождество вспоминала…

И бросилась наверх, шагая через две ступеньки.

Варя ждала ее, нервно прохаживаясь. Зачем

ждала, и сама не понимала, и прождала бы бог весть сколько времени, но заглянул Евстафий Селиверстович:

— Младшие Олексины пожаловали, Варвара Ивановна.

Так он всегда называл семью капитана Николая. Следовало встретить, деликатно намекнуть Анне Михайловне, чтобы не говорила слишком громко и вообще… И Варя вышла к ним.

— Она призрака боится, — убежденно сказала Анна Михайловна, когда Варвара объяснила непонятное поведение больной.

— Чего боится?..

Варвара с трудом сдержалась: очередная глупость уже вылезла, причем на редкость не к месту. Господи, что эта гарнизонная дама еще ляпнет?..

— Фенички боится, понимаете? Она для нее здесь живет.

— Феничка умерла, — резко сказала Варя.

— Нет, Варвара Ивановна. — Анна Михайловна улыбнулась, как, вероятно, улыбалась своим девочкам. — Чтобы согласиться, что кто-то умер, надо его похоронить. Чувства наши так устроены, мне мамочка рассказывала.

Брат с сестрой переглянулись.

— А ведь и верно, Наденька Феничку мертвой не видела, — удивленно сказал Николай. — Ай да Аничка… А у Наденьки все чувства обострены особо. А мы — обормоты.

— Ее нельзя сейчас одну оставлять. С ней говорить нужно. Чтоб думам ее мешать.

Варя неожиданно шагнула к Анне Михайловне, обняла, поцеловала, впервые сказав просто и — по-родственному:

— Спасибо, Аничка.

2

— Что-то господин Вологодов сегодня не появился, — сказал вдруг, перебив негромкий общий разговор, Василий.

Он думал о чем-то своем. Но думал все время, почему иногда и произносил фразы, непонятные для окружающих.

— Служебные дела, — рассеянно пояснил Хомяков.

Варвара улыбнулась:

— Викентий Корнелиевич на редкость деликатный человек. Сегодня — день маминой памяти, день — для родных. Вот он и сослался на службу. Кстати, панихида в двенадцать, пора одеваться. — Она встала, вздохнула неожиданно: — А

Грапы все нет…

Потом поехали на панихиду, отстояли ее, поставили свечки от себя и от Наденьки. А когда выходили из храма, Варя вдруг вспомнила, что ни разу не подумала о маменьке во время всего богослужения. Вспомнила со стыдом и болью и даже прошептала про себя: «Прости меня, маменька, прости, но ты же все понимаешь…»

Дома уже ожидал обед, но едва успели поднять поминальную, как в столовую бесшумно вошел Зализо. Нагнулся к Варе:

— Грапа спрашивает, когда велите прийти.

Варвара тотчас же поднялась из-за стола:

— Простите, господа.

Грапа ожидала в холле у лестницы, ведущей в комнаты Наденьки. Точно и сейчас охраняла ее.

— Заговорила она. Чуть-чуть, но заговорила.

— Господи!.. — Варя перекрестилась.

— Я ей про Рождество, про Ивана Ивановича. А она вдруг спрашивает: «Аверьян Леонидович приехал?» — «Приехал», — говорю. А она: «Я сейчас — Маша с бомбой».

— Маша с бомбой?

— Так сказала.

— Почему же так сказала?

— Не знаю, Варвара Ивановна. — Грапа удив-

ленно пожала плечами. — Но в больнице и такого не было.

— Да?..

— То есть совсем без интересов. «Да» — «нет», вот и вся беседа. А тут — разговор целый! Потому вас и потревожила.

— И очень правильно сделала, спасибо тебе.

— Задремала она, я и спустилась. Когда проснется, я вам скажу, если что новенькое замечу.

Грапа стала подниматься по лестнице, а Варвара тотчас же поспешила в столовую.

— Наденька разговаривала! — с торжеством объявила она. — Вами интересовалась, Аверьян Леонидович. И Машей.

— Мной и Машей? — Беневоленский был очень удивлен.

— Прав был Викентий Корнелиевич, сердце у него — вещун, — взволнованно объявил Роман Трифонович. — И ты, Коля, прав. И... и все мы правы, что вытащили ее из больницы. Она здесь скорее окрепнет, оглядится...

— И вспомнит о своей горничной, — вздохнул Василий. — Разбередит душу свою.

— Да. — Иван грустно покачал головой. — Только не горничной она была для Наденьки, она ее подружкой была. Помнишь елку в Высоком,

Аверьян, Рождество…

— Гадания их, — напомнил Беневоленский. — Подруга, конечно, девичья подружка. Но Наденька почему-то вспомнила о Маше. О Маше и обо мне…

— Знаете… — вдруг робко сказала Анна Михайловна. — Извиняюсь, конечно, только подумала я, что отвлекать ее надо. Все время отвлекать. Ну как с детьми, понимаете? Ребенок к ножницам тянется, а вы ему вместо ножниц — погремушку. Погремит она, дитя заслушается и про ножницы забудет.

— Наденька — не ребенок, — с досадой заметил Николай. — У тебя все примеры — из детской.

— Это и хорошо, — одобрил Василий. — У дитяти душа чистая, ничем еще не замутненная. Божья естественная душа.

— А у Надюши — Божья замутненная, — проворчал Хомяков. — Интересы — что ростки в марте. Один чудом прорвался, а как все обрадовались! Как знамению.

— Не согласен я с тобою, Роман. — Иван вздохнул, отрицательно покачав головой. — А с Васей — согласен.

— Как именно Наденька вспомнила о Маше? — неожиданно, почти докторским тоном спросил

Беневоленский.

— Как вспомнила? — Варя на секунду задумалась, припоминая, что говорила Грапа. — Она сказала: «Я сейчас — Маша с бомбой». Да, да, так и сказала.

— Маша с бомбой…

Аверьян Леонидович до сей поры в разговоре не участвовал. Нехотя ел, нехотя пил и все время о чем-то напряженно думал, сведя брови на переносице. А после ответа Вари вдруг отложил салфетку и решительно поднялся из-за стола.

— Извините, господа. — Он помолчал, будто еще раз проверял уже принятое решение. — Я должен… Нет, я обязан, как врач обязан поговорить с больной.

— Как?.. — растерялась Варя.

— Серьезно, как с абсолютно здоровым человеком. Не о том, как она себя чувствует — это Наденьку, боюсь, уже начало раздражать, а о… о Маше. О справедливости не для себя.

— Но Наденька спит…

— У дверей обожду! — резко ответил Аверьян Леонидович и быстро вышел из столовой.

Все молчали.

— Может быть, он прав, — тихо сказал Иван. — Очень может быть, что Аверьян прав…

— Ох, боюсь я этого разговора, — вздохнула Варя. — Опять о трагедии, опять о гибели.

— Наденька Маши не знала, — напомнил Николай. — Для нее она — легенда. Возвышенная гордая легенда, не более того. Как и для всех нас, впрочем.

— Заново, стало быть, опыты над живым человеком ставим? — нахмурился Хомяков. — Врачей, врачей надо завтра же собрать. А лучше — сегодня. Прямо сейчас!

— Неправильно вы говорите, неправильно! — вдруг торопливо заговорила Анна Михайловна, точно боялась, что ее вот-вот перебьют. — С детьми надо по-взрослому разговаривать, только по-взрослому. Потому что они и есть взрослые, только что — маленькие еще.

— Наденька у нас достаточно большая, — усмехнулся Николай. — Тут твои рецепты не подходят, Аничка.

— Ты не прав, Коля, — строго сказал Василий. — Душа возраста не имеет, она Господом на всю жизнь вложена. И когда мать с ребенком говорит, она к душе его обращается, а не к разуму. И душа дитяти ей откликается. А все остальные — и отец в том числе — к разуму апеллируют, почему малые дети без матери — круглые сироты. Одинокие

в миру. Мама — первое слово, которое человек произносит. И наверное, последнее, когда душа его отлетает. Альфа и омега жизни человеческой, вот что такое — Мать.

— Нас вспомни, Коля, нашу маменьку, к душам нашим обращавшуюся, — вздохнул Иван.

— Вспомнил, Ваня, — тихо сказал Николай и встал. — Вечная память маменьке нашей и вечная ей благодарность.

И все поднялись, низко склонив головы…

3

Аверьян Леонидович терпеливо сидел в будуаре, ожидая, когда Грапа скажет, что Наденька проснулась, и позволит войти в спальню. Он понимал, что разговор должен быть серьезным, но при этом не забывал, что форма этой предстоящей серьезной беседы одновременно должна была быть занимательной. Очень занимательной и по возможности короткой, потому что на длительное внимание рассчитывать было нельзя. Запас внимания в Наденьке был сейчас весьма ограничен, но пределов этой ограниченности Беневоленский не знал, а потому продумывал каждое свое слово. Особенно — первое, ключевое. «Ключевое, — думал он. — Но всякий ключ несет

в себе две функции: отпирать и запирать. И если я поверну его неправильно, если ошибусь, Наденькина душа замкнется передо мной. И может быть, замкнется навсегда…»

— Проснулась, — сказала горничная, выйдя из спальни и тщательно прикрыв за собою дверь. — Я сказала о вас, Аверьян Леонидович.

— Она ждет?

— Она долго молчала, а потом говорит: «Если надо».

— Могу пройти к ней?

— Обождите. — Грапа помолчала. — Она может не отвечать, но все слышит, понимаете? Я к тому, чтоб терпенье у вас было. И не повторяйте сказанного, нервничать она начинает.

— Вы — замечательная сиделка, Грапа, — улыбнулся Беневоленский. — Остановите меня, если я ненароком не то брякну.

Горничная искренне обрадовалась:

— Дозволяете мне при разговоре вашем?

— Без вас ничего у меня не выйдет, — серьезно сказал Беневоленский. — Ну что, с Богом?

Грапа кивнула и молча перекрестилась.

Наденька лежала, привычно прикрыв глаза. И в ответ на приветствие Аверьяна Леонидовича не открыла их, но губы ее чуть заметно дрогнули.

«Хорошо бы ей глазки открыть», — подумал он, садясь у ног.

— А Машино колечко опять со мною срослось. — Он повертел ладонью единственной правой руки. — Будто и не снимали мы его для ваших крещенских гаданий.

Наденька распахнула глаза, дрогнув длинными ресницами. Посмотрела, выпростала из-под одеяла руку, указательным пальцем дотронулась до обручального кольца, с которым намеревалась когда-то гадать. В Высоком, давным-давно. В другой жизни.

— Маша упала на бомбу.

Она не спрашивала. Просто докладывала, что знает и помнит. Чтобы не сочли безнадежной.

— Она не упала, она закрыла ее, чтобы не пострадали дети. И дети не пострадали. Совсем не пострадали. Машенька спасла их ценою собственной жизни.

— Жизнь важнее.

— Детская — безусловно.

— Нет. Своя.

«Она борется за свою жизнь, — промелькнуло в голове Беневоленского. — Только за свою, а потому все отбросила. Все нравственные надстройки. Надо о них, непременно о них. Она должна вспом-

нить…» И сказал:

— Если бы каждый берег только свою жизнь, человечество давно бы погибло.

— Человечество топчет людей. — Наденька произнесла эту фразу раздельно, жестко выделив каждое слово.

«Неправильно, не то говорю! — тотчас же спохватился Аверьян Леонидович. — Логически сейчас ничего ей не докажешь. Нужен пример, пример…»

— Топчет, не спорю. Конкистадоров помните, Наденька? Свирепо-жестокие были господа. За горсть золота пытали, мучили, истязали до смерти несчастных индейцев, не понимающих, за что их убивают целыми племенами.

Он сознательно помолчал, чтобы проверить, слушает ли его больная.

— Кортес, Писарро, — с некоторым напряжением сказала она.

«Слушает!» — почти с ликованием понял он. И с огромным облегчением продолжал:

— Мне как-то попались любопытнейшие воспоминания одного из этих молодцов. Никак не могу припомнить имя… Но не в имени суть. Он с подобными себе товарищами поймал как-то индейца, знающего дорогу к богатейшему храму.

Они начали его допрашивать — индеец молчал. Бить — молчал. Пытать — молчал. Подвесили над костром, начали поджаривать его, живого, — все равно молчит. Устали палачи, и один из них потянулся к неведомым красным ягодам. Сорвал кисть, поднес ко рту…

Аверьян Леонидович сделал вид, что закашлялся, пробормотал «извините». Только чтобы проверить, слушают ли его…

— Точно кисти винограда, — прошептала Наденька, и горькая улыбка чуть скользнула по губам.

— Точно кисть винограда, — тут же подхватил Беневоленский. — И вдруг доселе молчавший, почти до смерти замученный индеец что-то сказал. «Что он сказал?» — спросил тот, который соблазнился красивой кистью. «Он просит тебя не есть этих ягод, — сказал автор воспоминаний, знавший местный язык. — Они очень ядовиты, и ты умрешь в мучениях». Почти замученный жестокими пытками индеец сберег жизнь своему мучителю, представляете, Наденька? Извергу рода человеческого, палачу, только что пытавшему его!

Наденька медленно закрыла глаза. И молчала. Аверьян Леонидович вытер внезапно высту-

пивший на лбу пот, беспомощно оглянулся на горничную.

— Все слышала… — беззвучно шепнула Грапа. Прошло не менее пяти тягостно бесконечных минут, прежде чем Надя открыла глаза.

— Почему индеец его пожалел?

— Потому что обладал великим, вселенским чувством долга. И такое чувство долга существует, Наденька. Да, не всем дано им обладать, но всем надо к этому стремиться. Когда большинство поймет, что любая человеческая жизнь бесценна, на Земле воцарится рай. Люди станут беречь друг друга, исчезнут вендетты, мщение, прекратятся все войны, и люди наконец-таки обретут счастье.

— Человек не нужен человечеству.

— Да, но человечеству нужен человек, Наденька. Просто необходим, оно погибнет без него.

— Вы рассказали красивую легенду. Всего лишь легенду.

— Отнюдь, Наденька. Записавший эту быль конкистадор был так потрясен увиденным, что вернулся в Испанию, постригся в монахи и стал писать правду о конкисте.

— И был сожжен на костре в Толедо как еретик, — неожиданно громко и ясно произнесла

Надя.

— Вы… Вы знали эту легенду? — изумился Беневоленский.

— Нет. Но я знаю, что было именно так, потому что правда никому не нужна. Жестокость, ложь и хищная, звериная, ненасытная жадность — вот три кита, на которых стоит мир. И стоять будет, пока сам себя не растопчет.

Всю эту тираду Наденька выпалила на одном дыхании. А выпалив, обессиленно откинулась и закрыла глаза.

— Уходите, Аверьян Леонидович, уходите, — решительно зашептала Грапа.

— Не надо, — не открывая глаз, тихо сказала Надя. И наступило молчание.

— Маша тоже хотела растоптать, но — не смогла, — по-прежнему не открывая глаз, сказала Наденька. — А Ваня Каляев сможет. Он — сможет, удержите его.

— Я не знаю, кто такой господин Каляев, но Маша обладала тем самым вселенским запасом долга…

— Удержите его…

Надя произнесла эти два слова еле слышно, с огромным напряжением и с огромной мольбой. Грапа тут же молча обхватила Аверьяна Леонидо-

вича за плечи и весьма бесцеремонно вытолкала его за дверь.

4

— Ну, что Наденька? — спросила Варя, едва Беневоленский вошел в столовую.

Все почему-то продолжали сидеть за накрытым столом, хотя традиционный поминальный обед уже закончился. И Евстафий Селиверстович то и дело многозначительно заглядывал в дверь, не решаясь, однако, в такой день беспокоить господ.

— Кто такой Каляев?

— Каляев? — переспросил Роман Трифонович. — Надюша вспомнила о Ване Каляеве?

— Кажется, он был в нее влюблен, — сказала Варя. — Естественно, она могла заговорить о нем.

— Надя почему-то связала его с Машей и дважды просила удержать. От чего нужно удерживать этого господина?

Все молчали. Хомяков невесело усмехнулся:

— Полагаю, от мщения.

— От мщения? — настороженно переспросил Василий. — Это серьезно? Кому же он намеревается мстить, Роман?

— Он — максималист. А цель максималиста

— все или ничего. Иного ему просто не дано.

— Ваня Каляев — всего-навсего влюбленный гимназист, — мягко улыбнулась Варя.

— Это он сегодня — влюбленный гимназист, — сказал Николай. — Но любой влюбленный гимназист может завтра стать ненавидящим террористом.

— Ну, уж это слишком, — усомнился Иван. — Терроризм всегда — идейное деяние. В отличие, скажем, от бандитизма. Ты согласен с этим, Вася?

— Не совсем, — помолчав, сказал Василий. — Великий грех всегда требует внутреннего оправдания, и если под идеей террора подразумевать просто попытку самооправдания, то в этом ты, Ваня, прав. Но это всего-навсего подмена одного понятия другим. Оправдание средства даже самой высокой целью не может быть названо идеей ни при каких обстоятельствах.

— Что же в таком случае ты понимаешь под идеей?

— Ненасильственное служение людям во имя блага их.

— Это уж слишком… по-христиански, — проворчал Хомяков, посасывая незажженную сигару.

— А что выдумало человечество за все время

своего существования гуманнее христианства, Роман? Утопию Томмазо Кампанеллы? Сен-Симона? Социальную гармонию Фурье? Или, может быть, новомодного Маркса с его призывами к непримиримой классовой борьбе во имя перераспределения материальных благ? Что, позвольте спросить? Нет, вы не сможете ответить на этот вопрос, не упомянув при этом о насилии хотя бы и в скрытой форме.

— Любовь, — округлив глаза, вдруг сказала Анна Михайловна. — Любовь, господа. И не надо ничего выдумывать.

— Мы с тобою влюблены: ты — в хозяйку, я — в блины, — с усмешкой сказал Роман Трифонович.

Все заулыбались, утратив внутреннюю напряженность. А Иван наклонился к капитану, шепнул на ухо:

— Коля, жена у тебя — чудо! Счастливчик ты наш…

— Да?.. — растерянно спросил Николай, уже изготовившийся ляпнуть своей Анне Михайловне что-то очень сердитое.

— Вы абсолютно правы, дорогая Анна Михайловна, — сказал Василий, тепло улыбнувшись. — Возлюби ближнего своего — основной тезис христианства.

Все заговорили о христианстве, о множественном толковании самого глагола «любить» в русском языке, о… Только Беневоленский хмуро молчал и, кажется, даже не слышал этого весьма оживленного разговора. Но так только казалось.

— Попробуйте поговорить с Надей, Василий Иванович, — неожиданно сказал он.

Василий вздрогнул, почти с испугом глянул на Аверьяна Леонидовича и отрицательно покачал головой.

— Недостоин я. Одну душу спасти труднее, чем все человечество разом. Вот что я открыл горьким опытом своим. Очень горьким, потому что выяснил… Ничтожность свою выяснил.

— Что ты выяснил? — с недоверчивой улыбкой спросил Николай.

Василий встал, склонив голову и строго глядя в стол. Помолчав, сказал негромко:

— Извините, господа. Позвольте мне помолиться. Наедине с Господом побыть.

И быстро вышел.

— Ну дела… — растерянно протянул Хомяков. Все молчали, ощущая неуютность и почему-то тревогу. Безадресную внутреннюю тревогу.

— Позвольте мне Наденьку навестить, — внезапно сказала Анна Михайловна, покраснев чуть

ли не до слез. — Пожалуйста, позвольте. Меня маменька моя научила, как с детьми разговаривать. И, право слово, я научилась.

И пошла к дверям, не ожидая никаких разрешений.

5

Наденька по-прежнему неподвижно лежала в кровати. Грапа изредка осторожно пыталась заговаривать с нею, но Надя либо молчала, либо отделывалась короткими ответами, ясно давая понять, что не желает никакого разговора. Горничная тут же замолкала, тихонько вздыхая, а выждав время, вновь упорно продолжала безуспешные попытки расшевелить свою барышню.

Надя не сердилась на нее, чувствуя ее искреннюю озабоченность и тревогу. Но именно сейчас ей было не до бесед, пусть даже и очень коротких. Она думала, и поводом к ее совсем невеселым думам послужило посещение Беневоленского. Оно заставило ее вспомнить все прежние попытки врачей, Вари, Василия завязать с ней беседу, потому что, говоря о разном, каждый — свое, они, по сути, сходились в одном: во что бы то ни стало хотели заставить ее слушать себя, навязывали ей

— пусть неосознанно, мягко, из самых лучших побуждений — свое понимание, свои мысли, свои чувства. Свои, а не ее! И Аверьян Леонидович с самыми наилучшими пожеланиями тоже говорил только о своем, искренне полагая, что это его «свое» сейчас необходимо ей. Необходимо как лекарство, как спасение, необходимо, что называется, прямо позарез. И всем, всем без исключения казалось, что их примеры, намеки, иносказания, аллегории и есть единственная панацея, столь необходимая ей во спасение ее самой.

«Они хотели, чтобы я их слушала, — с горечью думала она. — И никто, ни один человек, не пожелал выслушать меня. Ни один, даже — Варя… Все спешили высказаться, едва переступив порог. Зачем? Почему?.. Почему они приходили с одним-единственным упорным желанием заставить меня слушать их заранее сочиненные рассказы?.. Да просто потому, что все они считают меня тяжелобольной. Все!.. Все как один, будто сговорившись, протягивают мне одну и ту же ложку с приторным лекарством и насильно заставляют меня это лекарство глотать. Пей, Наденька, пей, это тебе полезно… И никто так и не вспомнил о Феничке, побоялся вспомнить, словно и не было ее на свете. А ведь они знали и любили ее. И ко-

нечно же, помнят, но — молчат. Молчат, чтобы уберечь меня. Значит, я для всех — тяжелобольной человек. Неизлечимо, навсегда больной…»

— Всем нельзя, а мне можно!

Голос раздался у дверей, и Надя открыла глаза.

И увидела Анну Михайловну, входившую в спальню, решительно тесня Грапу.

«О господи!.. — с усталым отчаянием подумала она. — Ее еще не хватало…»

— Что это они тебя охраняют, будто больную? — с искренним возмущением сказала Анна Михайловна, усаживаясь у изголовья постели. — Ну, понимаю, недомогание, но это же естественно, правда? А все разахались, раскудахтались, рассерьезничались. Представляю, как это тебя раздражает.

Наденька смотрела на прежде всегда такую робкую гарнизонную даму с огромным удивлением, широко раскрыв глаза.

— Знаешь, я, пока выросла, стольких обид нахлебалась, стольких обид. И самое ужасное, что некому пожаловаться, потому что тебя никто не желает слушать. Знаешь, маменька как-то сшила мне очень миленькое платьице. Здесь — оборочки, оборочки, а тут — чуть приталено. А цвет! Ну, ты же понимаешь, Наденька, что такое для

девочки цветастый цвет! Любая девочка мечтает выглядеть как принцесса, ведь правда? И я очень, ну просто невероятно очень хотела его надеть! А мне запрещали, потому что хотели, чтобы я надела его в гости. А как можно запретить девочке выглядеть не как все? Смешно, но никто этого не понимает. И знаешь, как только все куда-то ушли… уж не помню куда, но — все до одного… я достала это платьице, надела его, повертелась перед зеркалом… Ну, ты меня прекрасно понимаешь, надо же собой полюбоваться, если другие тобой не любуются, правда? И решила… Ну как по-твоему, что я решила?

— Сбежать, — сказала Наденька, впервые широко, даже лукаво улыбнувшись.

— И сбежала! — с торжеством объявила Анна Михайловна. — И не куда-нибудь, а — на улицу, чтобы покрасоваться. Боже мой, я была принцесса двора! Все девочки сбежались, все мальчики столпились, и даже те, которые постарше, тоже подошли. И я всех повела, и все пошли за мной.

— Куда? — с неподдельным интересом спросила Наденька.

Она вдруг забыла о всех своих мыслях и муках, терзаниях и воспоминаниях. И чувства ее все сейчас забыли. Глаза смотрели на Анну Михай-

ловну и видели только ее. И уши слушали Анну Михайловну, отбросив все остальное. И даже нос ощущал аромат духов Анны Михайловны, и Наденька вспомнила эти духи, хотя сама ими не пользовалась: «Царский виолет».

— В городской сад, куда ходить мне воспрещалось, — округлив глаза, призналась Анна Михайловна. — В нашем городе был такой большой сад, он спускался к реке. И мы там бегали взапуски, играли в прятки и пятнашки и даже… — Она наклонилась к Наденьке, таинственно понизила голос: — Даже в горелки, где полагалось целоваться с мальчиками, представляешь?

— И ты целовалась?

— Я одаривала поцелуями. Не всех. Если всех подряд, твои поцелуи ничего не будут стоить.

— И была на седьмом небе от счастья?

— Я не чуяла под собой ног, Наденька! Пока не загремела с обрыва в речку. И представь себе, все мои придворные со страху разбежались. А я барахталась в противной тине, пока меня не вытащил какой-то случайный дяденька. Я уже не могла говорить, а только булькала, но он знал, где я живу, и отнес меня домой. Меня тут же посчитали больной и уложили в постель на целых две недели. И все по очереди приходили

и рассказывали мне какие-то ужасные назидательные примеры. А мне совсем не хотелось их слушать. Мне хотелось рассказать им, как я была принцессой.

— Как я была принцессой… — тихо повторила Наденька, и огонек угас в ее глазах.

— Для того чтобы стать принцессой, нужны три вещи, — таинственно зашептала Анна Михайловна. — Платьице, зеркало и — восторг. Платьице ты подберешь, зеркало имеется, а о восторге я подумаю. Завтра же наденешь платьице, велишь Грапе тебя причесать да припомадить, повертишься перед зеркалом и будешь с нетерпением ждать встречи с восторгом. А сейчас отдыхай и думай только о завтрашнем восторге. Ты же совершенно здоровая девочка, а это просто недомогание. Нам ли, женщинам, не понимать, что это такое!

Анна Михайловна крепко расцеловала Надю и тотчас же вышла, чтобы с Наденькой остались ее последние слова. А спустившись, тяжело вздохнула, сокрушенно покачала головой, но тут же постаралась придать себе неунывающий вид и направилась в гостиную.

В гостиной все набросились с вопросами, но она твердо сказала, не забыв об улыбке:

— Извините, господа, но дамы имеют право на свои маленькие секреты.

— Но Надюша хотя бы улыбнулась? — спросил Хомяков.

— И улыбалась, и целовалась, и слушала меня со вниманием, Роман Трифонович. Но о чем мы с Надей говорили, я расскажу только Варе. Уж извините, пожалуйста.

Сказав это, Анна Михайловна взяла Варвару под руку и вывела ее из гостиной.

— Что, Аня? — с тревогой спросила Варя. — Почему ты решила рассказать все только мне?

— Потому что мужчины ни в чем не разбираются, а нам необходимо немедленно разыскать господина Вологодова. Завтра утром он во что бы то ни стало должен встретиться с Наденькой наедине.

— Надя не примет Вологодова, Аня. Не примет!

— Наденька будет его ждать. Или я ничего не понимаю в обиженных девочках!

6

Чтобы не посвящать мужчин в секрет завтрашнего дня, Варя доверила тайну только Евстафию Селиверстовичу и тут же написала Вологодову короткую записку.

— Лично передашь Викентию Корнелиевичу.

— Непременнейшим образом, Варвара Ивановна.

Зализо выехал немедленно, но передать записку лично ему не удалось, потому что Вологодова дома не оказалось. Ожидали его только к ночи, и исполнительный Евстафий Селиверстович, тут же вернувшись, все доложил Варе.

— Боже мой, что же нам делать?

— Не беспокойтесь, Варвара Ивановна, я обо всем договорился. В полночь подъеду еще раз, в связи с чем попросил особо предупредить господина Вологодова.

Однако Викентий Корнелиевич не явился и к полуночи, но Евстафий Селиверстович упрямо решил ждать. Но дождался только в начале второго.

— Извините, что пришлось ждать, Евстафий Селиверстович, искренне вам благодарен, — сказал Вологодов, внимательно прочитав Варину записку. — Передайте Варваре Ивановне, что все будет исполнено.

Вологодов прекрасно умел владеть собою, но в тот момент не выдержал. Что-то вдруг высветило его всегда замкнутое лицо, к немалому удивлению старого дворецкого.

— У господина Вологодова вроде как румянец выступил, Варвара Ивановна, — счел нужным добавить он, доложив об исполнении.

Евстафия Селиверстовича ожидала не только Варя, но и Хомяков, в конце концов посвященный в тайну Анны Михайловны, потому что Варвара вдруг начала сомневаться.

— Боюсь, Роман, что мы рискуем поставить и Наденьку, и Викентия Корнелиевича в ложное положение. Надя насмешливо называла его стариком.

— Это еще ни о чем не говорит, Варенька, — улыбнулся Роман Трифонович. — Помнится, точно так же ты именовала и меня двадцать лет назад. В самом начале нашего знакомства.

В половине девятого рассыльный из цветочного магазина доставил корзину роз, а к завтраку прибыл и Викентий Корнелиевич. Он ни о чем не расспрашивал, лишь изредка поглядывая на Варю, был представлен гостям, вежливо поддерживал разговор. После завтрака Василий ушел готовиться к отъезду в Ясную Поляну, мужчины перешли в курительную, и все надолго как-то замерло, что ли. Неторопливо курили, неторопливо беседовали, и Вологодов уже устал бороться с нарастающим внутренним напряжением.

И причины для этого были весьма существенными. Во-первых, он приехал с очень важной новостью, сообщить которую воздержался, чтобы ничем не помешать обещанному и такому дорогому для него свиданию, а во-вторых, чувствовал, что не все получается, как задумывалось, что произошло нечто неожиданное, и терялся в догадках, ничего толком не понимая.

А дело заключалось в том, что утром Надя категорически отказалась не только одеваться, но и вообще вставать с постели. Грапе не удалось уговорить ее, она вызвала на помощь Варвару, и когда Вологодов маялся в обществе курящих, Варя горячо убеждала Наденьку. Но пока у нее ничего не получалось.

— Она вообще не желает меня слушать, — расстроенно призналась Варя, выйдя из спальни.

— Говорите с ней, как прежде говорили, — посоветовала Грапа. — Как старшая с младшей.

— Ох, Грапа…

— Вы умеете заставлять, Варвара Ивановна.

— Но она же все-таки больна.

— А вы — как со здоровой.

— Ох, Грапа, я не смогу.

— Сможете, Варвара Ивановна. Сможете, потому что это необходимо самой Наденьке.

— Попробую, — нехотя согласилась Варя. Возвратилась в спальню. Наденька лежала на боку, свернувшись клубочком и натянув одеяло на голову.

— Хватит прикидываться немощной, Надежда. — Ох, чего стоили Варваре эти четыре слова. — Изволь тотчас же встать, одеться и привести себя в порядок.

— Зачем?

Варя возблагодарила Бога, что сестра произнесла именно это слово.

— Затем, что через полчаса тебя навестит Викентий Корнелиевич. Если тебе так угодно, принимай его в спальне, но он придет вопреки всем твоим капризам.

— Викентий Корнелиевич?..

Наденька сбросила с лица одеяло и перевернулась на спину. Кажется, она скорее испытывала удивление, чем испуг. И Варе показалось, что удивление это было… было приятным. «Сюрприз!.. — пронеслось у нее в голове. — Приятный сюрприз…»

— В будуаре тебя ожидает корзина роз. Точно таких же, какие ты ежедневно получала в больнице. И я полагаю, что этим знаком внимания господин Вологодов заслужил пять минут твоего

драгоценного времени. Грапа, помоги ей одеться.

И тут же вышла, чувствуя, что еще немного — и она беспомощно расплачется. Спустилась вниз, бесцельно бродила по холлу, до боли стискивая руки. «Все будет хорошо, хорошо, — уговаривала она себя. — Анна нашла верный ход, Наденька встанет, непременно встанет. Просто обязана встать, если в ней еще не погибла женщина…»

На лестнице послышались шаги.

— Прихорашивается, — взволнованным шепотом поведала Грапа. — Велела мне провести господина Вологодова в свой кабинет.

— Слава богу, — с облегчением вздохнула Варвара. — А почему именно в кабинет?

— Господи, ну как же вы не понимаете! — всплеснула руками горничная. — Она же хочет принять господина Вологодова. Принять, а не просто выйти к нему из спальни.

— Проси Викентия Корнелиевича, Грапа, — тотчас же распорядилась Варя, с радостью оценив чисто девичий расчет младшей сестры. — Мужчины — в курительной комнате. При всех проси, громко, чтоб никаких отступлений больше не было!

Через пять минут Викентий Корнелиевич был препровожден горничной в личный кабинет

Наденьки. Грапа предложила ему присесть и обождать, пока она не пригласит, и оставила его одного.

Но сидеть Вологодов уже не мог: вдруг зачастившее сердце почувствовало реальное дыхание любимой женщины. Она была здесь, в этом кабинете, незримо наблюдая за ним. Здесь Наденька делала заданные в гимназии уроки — вот здесь, за этим столом, и он легко представил себе ее гимназисткой с косичками. Здесь она писала свои сказки и рассказы, которые он знал наизусть. В этом камине беспощадно сжигала черновые записи своих творческих неудач, потому что всегда стремилась к собственному потолку и билась об этот потолок, поднимая его все выше и выше. На этом пианино играла для самой себя то, на что откликалась в данный момент ее душа, и он тихонечко открыл крышку и осторожно погладил клавиши. За этим мольбертом она стояла, и он за ним постоял, а потом погладил засохшие краски на палитре и оглянулся на стены кабинета.

Да, на них были ее рисунки и акварели. И неплохие, со вкусом и настроением, но — незаконченные. «Ее всегда тянуло к бумаге и перу, — подумал он. — В них она видела свой долг, который во что бы то ни стало надо было вернуть людям…»

И пошел вдоль стены, не отрывая глаз от рисунков и акварелей, пока что-то не остановило его продвижение.

На мраморной подставке стояла ваза без воды. А в вазе — давно засохшая красная роза. Лепестки ее почему-то не осыпались, роза выглядела почти живой и только странно поблескивала. Викентий Корнелиевич наклонился, всматриваясь… «Гуммиарабик, — догадался он. — Наденька подклеила каждый лепесток, чтобы он не осыпался…»

И тотчас же узнал эту розу. Маскарад. Горничная принесла коньяк ему и Федору Ивановичу. Он сказал: «Спасибо, милочка» — и протянул ей розу как знак того, что узнал, кто скрывается под глухой маской из тончайшего шелка. Наденька тогда взяла ее, вот эту самую розу, сделав книксен, и… и сохранила на память.

Не пожалев времени и труда, тщательно и осторожно приклеив каждый невесомый лепесток…

Внезапно с ним что-то произошло. Будто какой-то сдвиг пластов, будто землетрясение в душе — он даже услышал внутренний грохот этого землетрясения. На миг сгустилась мгла, но лишь на миг один, засияв вдруг небывалыми красками и небывалым светом. В миг этот

странно замерло сердце, но забилось вместе с новыми красками и новым светом. Забилось мощно и ритмично, упруго разгоняя усталую сорокапятилетнюю кровь. И внутри во всю силу неожиданно зазвучала великая, никем еще не написанная патетическая симфония небывалой любви и небывалого счастья…

— Надежда Ивановна просит вас, Викентий Корнелиевич, пожаловать, — почти торжественно возвестила Грапа.

Дальнейшее он помнил лишь в каких-то феерических обрывках. Помнил, как вошел в будуар, но не помнил, где именно сидела Наденька, как она выглядела, в каком была платье. Помнил, что стремительно прошел прямо к ней, что опустился на колено, что бережно взял обеими руками ее руку, надолго припал к ней губами и сказал:

— Я люблю вас, Надежда Ивановна. Я не могу больше жить без вас. Вы — моя жизнь, вы. Только — вы.

Глава четырнадцатая

1

Вскоре после того, как Вологодов поспешно вышел вслед за горничной, из своей комнаты появился одетый по-дорожному Василий Алексин. Сказал, что уезжает, немного посидел для приличия и распрощался, троекратно расцеловавшись. Роман Трифонович и Иван поехали вместе с Василием на вокзал, и в малой гостиной остались Варвара и Аверьян Леонидович. И молчали, поскольку Варя все время настороженно прислушивалась, а Беневоленский размышлял о чем-то своем.

— Господи, что же так долго-то?.. — не выдержав, вздохнула Варя.

Аверьян Леонидович очнулся от дум, посмотрел на нее. Спросил неожиданно:

— Господин Вологодов влюблен без взаимности?

— Вот это сейчас и выяснится. Наденька всегда была непредсказуема как в чувствах, так и в поступках. Но Аня права, сказав, что любовь творит чудеса. И я… Я уповаю на чудо, Аверьян

Леонидович. Только на чудо.

— А я — на молодость, Варвара Ивановна, что, впрочем, в конкретном случае одно и то же. Человеческий организм использует любые резервы, пока…

— Почему вы замолчали, Аверьян Леонидович? Сказали — «пока». Пока — что?

— Пока не утратил смысла собственного существования, — помолчав, сказал Беневоленский. — Чем выше эмоциональное развитие человека, тем больше он зависим от внешних раздражителей.

— Простите, но я ничего не поняла. Вы щадите меня, Аверьян Леонидович?

— Я не психолог, Варвара Ивановна, я — обычный медик, умеющий лечить то, что он видит. Но мне кажется, что любому человеку необходима вера в собственную самоценность. Обычно женщины подкрепляют эту уверенность в себе жаждой любви или хотя бы мечтою о ней. Вот почему я и позволил себе спросить вас, есть ли у господина Вологодова хоть какая-то надежда на взаимность.

— Кто знает, какова сейчас моя сестра? — тяжело вздохнула Варвара.

В гостиную вошел Иван.

— Проводили Васю. Роман поехал по делам, обещал быть к обеду. Что нового?

— Пока… — начал было Аверьян Леонидович. Но тут же замолчал, потому что в гостиной вдруг появился Викентий Корнелиевич. Со странной, будто застывшей в глазах улыбкой, которую он, как всем показалось, бережно донес и очень боялся потерять. И никто не решался что-либо сказать, даже Варя. Все просто смотрели на него.

— Господа, я…

Вологодов вдруг решительно шагнул к Варваре и склонился, надолго припав к ее руке.

— Что, друг мой? — тихо спросила Варя.

— Господа, я счастлив, — впервые широко улыбнувшись, сказал он. — Я безмерно счастлив, господа, я… Я признался в любви Надежде Ивановне, и она… Она приняла мое признание. Она даже поцеловала меня. Вот сюда, в щеку. И тогда я… Я осмелился предложить Надежде Ивановне не только свое сердце, но и свою руку.

Викентий Корнелиевич опять замолчал, по-прежнему счастливо улыбаясь.

— И что же Наденька? — напряженно спросила Варвара, — Она ответила вам?

— Совершенно разумно, господа, в высшей степени разумно! — Счастье буквально распирало

Вологодова. — Наденька… То есть, извините, Надежда Ивановна выразила естественное желание подумать. Это ее право, господа, ее неотъемлемое право! «Я глубоко благодарна вам, — сказала она. — Позвольте же мне самой сделать ответный шаг, когда я найду в себе силы для этого».

— Найдет в себе силы? — переспросил Аверьян Леонидович. — Так и сказала?

— Именно так! — Викентий Корнелиевич воинственно выпрямился. — Вы усматриваете в этом…

— Я усматриваю в этом первый звоночек на пути к окончательному выздоровлению, — улыбнулся Беневоленский. — Это добрый знак. Очень добрый и обещающий знак.

— Я почувствовал это! — Вологодов благодарно пожал руку Аверьяну Леонидовичу, а заодно и Ивану. — Мы довольно долго разговаривали с Надеждой Ивановной, и я пришел к выводу, что это просто потрясение. Да, это огромное нервное потрясение…

«Он успокаивает нас, — думала Варвара, слушая Вологодова и не забывая сохранять на лице улыбку. — А заодно и себя. Господи, он действительно любит эту несчастную девочку, но что-то не так. Что-то его очень тревожит. Очень трево-

жит… Он же места себе не находит, пребывая в счастье и страхе одновременно…» И сказала:

— Извините, господа, я вас ненадолго покину.

А выйдя, тут же поднялась к Надежде. Чуть приоткрыла дверь спальни — слава богу, что Роман не выносил никаких скрипов! — увидела сидевшую подле Наденькиной кровати Грапу и поманила ее.

— И хорошо, и как бы не очень, — зашептала Грапа, не ожидая вопросов. — Что хорошо, поди, и сами знаете, господин Вологодов счастливым ушел. А она серьезной осталась. Уж такой серьезной, что глаза — в одну точку, и будто меня не слышит. А я говорю, говорю — надо же было говорить, чтобы отвлечь ее.

— Она сказала хоть что-нибудь? — нетерпеливо перебила Варвара.

— Сказала. — Горничная помолчала, припоминая каждое сказанное Наденькой слово. — «Форму он любит», так сказала. Закрыла глаза, себя слушала, а не меня. — Грапа вздохнула. — Потом… Я уж думала, что она уснула, а она вдруг: «Значит, меня нет».

— Что?..

— «Значит, меня нет», — старательно повторила горничная.

— Вот почему Вологодов такой, — задумчиво сказала Варя. — Счастье со страхом пополам. Он почувствовал это. Господи, что же нам делать-то, Грапа?

— Утро вечера мудренее. Только не надо больше ее мучить, Варвара Ивановна. Оставьте нас двоих, будто в больнице мы. Придет завтрашний день, там и поглядим.

— Там и поглядим, — вздохнув, согласилась Варвара.

«Все разумно, но как же не по-девичьи жестоко. — Обе короткие фразы, сказанные Надеждой, не переставали звучать в голове. — Она дает себе полный отчет во всем и при этом беспокоится о других. О Ване Каляеве, о Вологодове. О тех, чье поклонение она ощущала. Теперь она боится, что может принести им несчастье. Как Феничке… Да, да, как принесла это несчастье Феничке. Боже мой, насколько же безмерно благородство души твоей истоптанной, Наденька моя, Наденька…»

— Ждал вас, Варвара Ивановна, — тихо сказал Викентий Корнелиевич, подойдя к ней в холле. — Знал, куда вы пойдете, и — ждал.

— Она уснула. — Варвара решила не говорить Вологодову о сказанных Надей словах.

— Я хочу верить в чудо, Варвара Ивановна.

Странно, не правда ли? Трезвый, рассудочный, на все пуговицы застегнутый немолодой мужчина жаждет поверить в чудо.

— Вера в чудо — последняя вера, — вздохнула Варя. — Мы для этого слишком рациональны.

— Я верю в чудо, которое избавит Надежду Ивановну от вериг рациональности, оставив крест веры. Извините за пышность этой формулировки, но именно так сказал мне старый друг, к которому я вчера ездил за советом. Он принял постриг во имя спасения собственной души, когда ощутил ее надлом. Нет, он не фанатик, Варвара Ивановна, он скорее философ, нашедший спасение в иррациональности.

— Простите, Викентий Корнелиевич, — сказала Варвара. — Мысли мои настолько заняты сейчас сестрой, что я, признаться, пока плохо вас понимаю.

— Его наставил на этот путь некий старец Епифаний в Симоновском монастыре. Старец проповедовал прямое Божественное откровение, исповедь пред Господом без церковных посредников, за что и был сослан в Соловецкий монастырь на вечное покаяние. Когда я рассказал о Надежде Ивановне, мой друг настоятельно рекомендовал найти этого отца Епифания. Он заклинал меня

всесторонне обдумать его предложение, обещал дать письмо к старцу.

— С какой же целью?

— Чтобы упросить его побеседовать с Надеждой Ивановной наедине. Мне представляется это чрезвычайно важным.

— Но как же его найти?

— Только в Соловках, Варвара Ивановна. Старцу запрещено покидать пределы обители.

— В Соловки так в Соловки, — тихо сказала Варя, думая, как показалось Вологодову, совсем о другом. — Мне уже рекомендовали какую-то пророчицу.

— В данном свидании нет решительно никакой мистики, так настораживающей вас, — вздохнул он. — Душа человека — целое мироздание, а в мироздании далеко не все рационально. Я готов поехать с вами и Надеждой Ивановной в Соловецкий монастырь, чтобы разыскать этого старца и упросить его.

— Вероятно, вы правы, Викентий Корнелиевич, почему бы нам не испытать и этой возможности, — вздохнула Варя. — К обеду придет Роман, мы поговорим…

— Непременно, Варвара Ивановна, непременно поговорите, — сказал Вологодов. — А меня

извините. Сегодня я все должен уточнить, с тем чтобы завтра мы могли обсудить эту поездку уже в плане практическом. Я цепляюсь за чудо, Варвара Ивановна, отчаянно цепляюсь за чудо, потому что где-то подле него бродит угнетенная жестокой реальностью душа нашей Наденьки.

Склонился к Вариной руке, поцеловал ее и вышел.

2

К обеду Роман Трифонович не появился, прислав посыльного с запиской, что придет к ужину. Так случалось частенько, потому что для Хомякова существовало прежде всего дело, а уж потом все остальное. И Варя размышляла об этом, пока Беневоленский развлекал ее и Ивана рассказами о житье ссыльнопоселенцев.

— Человек поразительно вынослив и может приспособиться в принципе к любым условиям. Однако наша европейская культура там годна, только чтобы не сойти с ума. А для того чтобы жить, необходима бытовая культура местного населения: их одежда, жилища, национальная кухня. И возникает закономерный вопрос: а не является ли культура вообще всего лишь тысячелетиями отработанным способом выживания

данного народа в предложенных судьбою природных условиях?

Варвара слушала вполуха, поскольку было о чем подумать. Она согласилась повстречаться с таинственным старцем не столько потому, что Вологодов убедил ее, сколько ради себя самой. Чтобы не терзаться угрызениями совести даже в том случае, если и старец не поможет. Чувство было эгоистичным, Варя понимала, что в данном случае куда больше думает о своем личном спокойствии, нежели о возможном чуде, но ничего не могла поделать с собственными логичными и весьма трезвыми мыслями. Разумом она понимала, что нельзя упускать и такой, почти мистической возможности, понимала тревоги и надежды Викентия Корнелиевича и полагала, что ей удастся уговорить мужа, отлично представляя себе, что разговор будет нелегким.

Трудность заключалась в том, что в начале июня Варя непременнейшим образом должна была выехать к сыновьям в Лейпциг, где они вот уже десять лет обучались в дорогом частном пансионе. В начале лета начинались каникулы, и вплоть до занятий, до сентября, Варя с детьми не расставалась. Возила их в Париж и Венецию, Рим и Лондон, неторопливо знакомила с обычаями,

музеями и природой, а затем вместе с ними уезжала в Швейцарию, где Хомяковы из года в год снимали уютную виллу в Альпах. На месяц туда приезжал Роман Трифонович, дружно и весело ходил с сыновьями в горы, ловил с ними форель в журчащих ручьях, читал вечерами вслух русскую классику. Так было принято, так они проводили время до сентября, а уж затем разъезжались до следующего лета. В этом году мальчикам была обещана Испания, но теперь из-за вологодовской надежды на чудо Варвара ехать уже не могла. А сыновья ждали встречи и Испании, и обмануть их ожидания было недопустимо. Оставалось одно: уговорить упрямого Романа Трифоновича бросить все дела и отправиться вместо нее к детям. Хотя бы на время, пока Варвара не сможет его заменить, еще раз с горечью убедившись, что чудеса бывают только в сказках.

Еще во время обеда Иван заявил, что хочет вечером навестить Николая, а потому просил не ждать его к ужину. Беневоленский деликатно отказался сопровождать его, сославшись на необходимость серьезного разговора с Хомяковым тет-а-тет, но согласился на совместную прогулку после обеда. Варя поднялась к себе передохнуть, подумать, немного почитать, чтобы развеяться.

Но ей не читалось и даже не думалось, а вдруг захотелось спать, и она еле успела предупредить Алевтину, чтобы та разбудила ее, как только вернется муж.

Однако горничной не пришлось будить свою хозяйку: Варвара проснулась сама с тревожным чувством, что ее супруг ни за что не согласится менять установленного порядка. Даже не из приверженности к нему, не из свойственного порою упрямства, а просто по причинам объективным. Коронационные торжества закончились, жизнь вернулась в свою колею, а работа оставалась работой. И испугалась этого предчувствия, потому что уже уверила себя, что Викентий Корнелиевич прав в самом главном. Измученная душа Наденьки и впрямь бродила сейчас где-то совсем рядом с верой в чудо.

«Только спокойно, — твердила она про себя. — Сначала о главном. О разумной реакции Нади на предложение руки и сердца. О первом звоночке, как выразился Беневоленский». И отловила мужа, как только услышала, что он вернулся.

— Что нового, Варенька?

Хомяков просматривал какие-то бумаги и определил присутствие жены, вероятнее всего, по шелесту платья.

— Первый звоночек, Роман.

Это подействовало: муж оставил бумаги в покое.

— Садись и рассказывай подробно.

Варвара обстоятельно доложила, так сказать, первую часть: объяснение Вологодова и предложение им руки и сердца. Роман Трифонович довольно улыбался, потирал руки, в паузах повторяя: «Я же говорил тебе, говорил!..» — не уточняя, впрочем, что он говорил и когда.

— Разумный и взвешенный ответ девицы. Она какой-либо срок обозначила?

— Нет. Но, к сожалению, не в этом дело, Роман.

— В этом, Варенька. В этом, этом. Против природы, как говорится, не попрешь. Не позволишь ли мне закурить? Я как-то очень радостно разволновался.

— Конечно, Роман, конечно.

Хомяков закурил, разогнал рукой дым, улыбнулся:

— Ты говорила с Надюшей после признания Вологодова?

— С ней пыталась поговорить Грапа.

— И что же?

— Надя сказала две фразы.

Варя повторила слова, сказанные сестрой, сло-

во в слово и замолчала.

— «Значит, меня нет», — повторил Роман Трифонович и вздохнул. — Это либо слишком разумно, либо слишком…

— Это «слишком», ты правильно заметил, — сказала Варвара. — Викентий Корнелиевич уповает только на чудо.

Она рассказала мужу о соловецком старце, не вдаваясь в подробности. Хомяков долго молчал, попыхивая сигарой. Потом сказал:

— Ты прекрасно знаешь мое отношение к чудесам и прочей иррациональной чепухе. Но если, не дай бог, старец в этом году помрет, а Надюша не оправится, мы истерзаем себя, что не послушались этого совета.

— Я тоже так думаю, но тебе придется пересмотреть свои планы. Я не могу не поехать с Надей в Соловки, следовательно, в Лейпциг придется ехать тебе.

— Видимо, так, — вздохнул Роман Трифонович. — Видимо, мы так и сделаем.

Ужинали втроем, поскольку Иван отправился в гости к брату. Аверьян Леонидович поддерживал застольную беседу, супруги пребывали в собственных размышлениях. После ужина Варвара сразу же ушла к себе, а Хомяков вызвал Евстафия

Селиверстовича.

— Закажешь четыре билета в Архангельск для Варвары Ивановны, Надюши, Грапы и господина Вологодова. И один билет — для меня. В Лейпциг.

— На какие числа?

— Завтра уточню.

— Билеты без даты. — Зализо старательно записал все распоряжения в записную книжку. — Ваш паспорт действителен до конца текущего года.

— Я знаю. Спасибо.

Евстафий Селиверстович вышел.

— Значит, в Германию? — спросил Беневоленский.

— Да, в Лейпциг. У сыновей начинаются каникулы, а Варя поехать не сможет.

Аверьян Леонидович помолчал, поглядывая на задумчиво курившего Хомякова. Ситуация в известной мере позволяла обратиться с просьбой, но просить Беневоленский не любил и — маялся. Однако упускать такую возможность было по меньшей мере неразумно, и в конце концов, вдосталь помаявшись, он решился:

— Прошу простить, Роман Трифонович, за крайне бестактную просьбу, но положение у меня — птичье, коли уж начистоту.

— Ну так и давайте начистоту.

— Вы не могли бы взять меня с собой, в Германию? Я вас не обременю, мне бы только за рубеж перебраться под вашим прикрытием. Документы у меня липовые, по ним я выезда не получу, да и в московской охранке лежит на меня «Дело», поскольку я когда-то был ею же и арестован. Старых друзей в Москве искать не решился, потому как здесь по инерции все еще очень бдительны, но косвенно установил, что кое-кто из них сейчас проживает в Швейцарии.

— От России не убежишь. «Из» — можно, «от» — не получается. Страна лесов, степей да перелесков, почему в ней так часто и «заблуждаются».

— Я не собираюсь бежать! — вспыхнул Беневоленский. — Я собираюсь работать ради ее блага. Извините за просьбу, коли отяжелила она вас. Говорил откровенно.

— Тогда и вопрос мой будет откровенным. — Хомяков, прищурившись, в упор смотрел на Аверьяна Леонидовича сквозь сигарный дым. — Ваши друзья — террористы?

— Нет, — сказал Беневоленский. — С террористами была связана Маша. Я исповедую иные взгляды.

— Какие же?

— Поэтапное разрушение существующего

строя. На первом этапе — конституционная монархия, на втором — буржуазная республика. Без бомб, револьверов и террора, а по-английски, путем парламентской борьбы.

— Когда говели?

— Вот это уже деловой разговор, — улыбнулся Аверьян Леонидович. — Говел, как говорится, давно и пока не собираюсь, Роман Трифонович. Не из вздорного каприза, а по той причине, что две трети священнослужителей активно трудятся на охранку.

Роман Трифонович молча пускал в потолок кольца сизого дыма. Беневоленский помолчал, сказал виновато:

— Если без говения невозможно…

— Возможно, все возможно, Аверьян Леонидович, — добродушно проворчал Хомяков. — Просто размышляю, какое прикрытие для вас выгоднее. То ли вы — коммерсант, то ли гувернер моих сыновей. Пожалуй, лучше всего — представитель моей фирмы. Справку о сем завтра же сотворим, а вы сегодня же передайте все документы Зализо. Я объясню ему, что и как он должен сделать, с вашего разрешения, с глазу на глаз.

— Благодарю, Роман Трифонович. — Беневоленский встал. — Сейчас принесу документы.

— Доброй ночи, — буркнул Хомяков и неожиданно улыбнулся. — Ох и знатно напьемся же мы с вами, Аверьян Леонидович, когда границу пересечем!..

3

Поезда ползали медленно, то ли еще развивая силы свои, то ли уже нащупывая путь. Да и куда было спешить, если за окном по утрам возникал тот же пейзаж, в который с тоской вглядывался пассажир еще на вечерней зорьке. И ползущий по географии, вырванный из дней и семьи, из времени и житейских забот российский гражданин обязан был стать самым терпеливым существом из всего сущего на земле, только бы не сойти с ума от бесконечного пространства за окном.

— Вам случалось ездить поездами по Европе, Надежда Ивановна?

— Случалось, Викентий Корнелиевич.

— Тогда, возможно, обратили внимание, что европеец никогда не смотрит в окно? А ведь он не лишен нормальной человеческой любознательности. Но — не смотрит. Либо ест, либо спит, либо уткнулся в книгу, но чаще — в газету или журнал.

— И при этом крайне редко заговаривает с со-

седом, — уточнила Варвара. — А у нас в третьих классах гомон стоит, настолько все горят желанием выговориться.

Они беседовали в вагоне-ресторане, ожидая, когда подадут заказ. Вагон катился солидно и неторопливо, никуда не торопясь. Как и официант с обедом. В полосе отчуждения никто никогда никуда не торопится.

— Европа выстроена по единому образцу. — Вологодов продолжал изо всех сил отвлекать дам от размышлений. — В Христиании и Праге цветут одни и те же каштаны, хотя, правда, и в разное время. В австрийской пивной или в английском пабе вам сразу же нальют пива, не спросив даже, хотите вы его или нет, уж коли подошли к стойке. А в греческой таверне или в парижском бистро вас непременно встретит грифельная доска с названием блюда, которое сегодня особенно удалось. Ничто так не упрощает жизнь, как общая скука. Я обратил внимание, что вы не отрываетесь от созерцания ландшафтов за окном, Надежда Ивановна.

— Да. Трудно.

— Завораживает, — сказала Варя. — Хотя каждый час видишь одно и то же.

— Завораживает само пространство. Леса да

перелески, редкие поля да еще более редкие деревеньки, а глаз не оторвешь. Русские — созерцатели по натуре своей. Выйдет мужик вечером, после адских трудов своих за околицу и смотрит. На поля, на лес вдали. Смотрит на Божий мир и успокаивается. Мы, русские, счастливые люди: нам есть куда смотреть.

Тащился поезд, погромыхивая всеми своими суставами, вздрагивая на стыках, согласно раскачивая вагоны. Вздыхал паровоз, отдуваясь клубами густого, будто молочного пара, часто громыхали железные мосты над бесчисленными малыми речками, и тут же, словно в ответ, начинали дребезжать оконные стекла. И пассажиры почему-то с беспокойством поглядывали на них особенно тогда, когда ночная темнота подступала вплотную к окнам.

Поезда часто останавливались. На разъездах, где терпеливо ожидали встречного состава, на полустанках, редко ссаживая пассажиров и еще реже встречая их. Но с особым усталым выдохом — на станциях. Тогда проводники, заранее оповещая путешествующих, открывали двери тамбуров, и пассажиры радостно вываливались на перрон. Третий класс, гремя чайниками, сразу же бежал за кипятком, второй и первый неспеш-

но шли в буфет, а то и в ресторан, причем первый класс шел заметно солиднее второго.

Наденька редко покидала вагон, даже на крупных станциях. Смотрела в окно на вдруг оживающие вокзальные платформы, на людей, вмиг ощутивших порыв не очень определенной деятельности, на непременную суету, толкотню, стремления куда-то, что-то, зачем-то делать, спешить, смотреть, приценяться, но редко покупать. На степенно разминавших ноги пассажиров первого и второго классов, на возню и беготню засидевшихся в вагонах детей. Слушала шумы продолжающейся особой жизни самого поезда: перестук молоточков по ободам, скрип открываемых бутс, толчок вновь прицепленного паровоза, голоса проводников и кондукторов, предупреждающих пассажиров о скорой отправке, и наконец свисток главного кондуктора и два удара станционного колокола, возвещающего об отправлении через минуту. После этого удара начиналась суматоха на платформе, как в хвост, так и в голову поезда начинали бежать люди с чайниками, из буфета спешили последние пассажиры первых двух классов, дожевывая на ходу.

— Вот и поехали, барышня, — непременно поясняла Грапа.

Они ехали в купе вдвоем. Как только тронулись из Москвы, горничная привела проводника, который детально объяснил ей, как пользоваться умывальником и уборной и как при этом следует запирать дверь в смежное купе.

— Как прикажете подавать чай? По запросу или по времени?

— По запросу, — важно сказала Грапа. — Только чтоб горячий был, я сама завариваю. «Черный лянсин» у нас.

Наденька не могла оторваться от окна и смотрела, смотрела, положив на колени захваченную в дорогу книгу, так и оставшуюся неразрезанной. Смотрела, хотя за окном ничего не менялось: те же леса и перелески, рощицы да луга, зеленеющие обрезки полей, бедные деревни да крохотные полустанки, на которых порою чуть притормаживал поезд, то ли кого-то высаживая, то ли кого-то подбирая. Всюду была своя, очень неторопливая, устоявшаяся и будто подмороженная жизнь. «Как же у них много места, — думала она. — Тут человек с человеком только случайно может столкнуться, тут никогда не бывает тесноты. А уж тем более давки. Какая просторная страна… Наверно, говорят друг другу: знаете, а я третьего дня чужого мужика на дороге встретил… Чужой

— здесь событие...»

Варвара и Вологодов занимали купе по обе стороны от Наденьки, и, кроме них, в вагоне ехали всего двое. Пожилая дама, с горничной и злющей старой болонкой, и солидный господин, даже в коридор выходивший в котелке. Он оказался весьма общительным, нашел повод представиться Вологодову, оказать мелкую услугу даме и наладил взаимные визиты. Пили чай то у дамы, то у Варвары, убивая время в разговорах, но Надя никогда не принимала в них участия. А Грапа болтала с горничной, а потом рассказывала Наде, что дама — чиновничья вдова из Вологды, а господин в жестком котелке — коммерсант из Архангельска. И слава богу, что было с кем поболтать, потому что Грапа изнывала от полного безделья.

— А вам не скучно, барышня?

— Я путешествую, Грапа. Путешествую по России, как Генри Мортон Стенли по джунглям Африки.

— Генри Стенли. — Горничная почему-то вздохнула. — Ничего, если подремлю немного? Коли надо что будет...

— Окликну, если надо.

Грапа забиралась на свою вторую полку, тихо

похрапывала там. А Наденька не отрывалась от окна…

«Феничка бы не дремала, — грустно думалось ей. — Феничка бы всех людей пересчитала. И людей, и собак, и даже гусей…»

«А сколько было гусей, барышня? Столько, полстолько, четверть столько да ты один гусь. Это как узнать-то, сколько их было?»

«Я же тебе показывала, как составляются уравнения и как их надо решать».

«Так неученая я…»

«Обучу, Феничка. У нас с тобой — лето впереди…»

«А впереди — Ходынка. — Хотелось вздохнуть, но Наде не дышалось. — Здесь бы не было никакой Ходынки, хоть сто бочек водки привези… А в Москве — была. В Первопрестольной, как любил называть ее Василий Иванович…»

Наконец прибыли в Вологду, где поезд стоял очень долго, никак не меньше часа. Варя и Викентий Корнелиевич вместе с коммерсантом в котелке вышли провожать вологодскую вдову — Надя видела их из окна. Поговорили, поулыбались, дама и Варвара даже расцеловались и — распрощались. Мужчины прошли в вокзал — то ли в буфет, то ли в ресторан, а Варя вернулась

в вагон и заглянула к ним.

— Не хочешь немного пройтись, Наденька? Ты совсем у нас засиделась.

— Не хочется, Варя. Я смотрю в окно, как из театральной ложи на сцену.

— Не наскучило тебе?

— Там — свои драмы и свои комедии.

— Господин Герхардсен… наш вагонный знакомец — очень занятно комментирует заоконные пейзажи. Он — весьма обрусевший норвежец с совершенно непередаваемым акцентом.

— Рада, что он скрасил вам поездку.

— Не навестишь нас?

— Извини, Варя.

Наденька не собиралась заводить знакомство с норвежским коммерсантом, однако познакомиться все же пришлось. После обеда зашла к Варваре за какими-то порошками, а тут постучали в дверь, и вошли Вологодов и господин из соседнего купе. Его представили Наде, сразу уходить было неприлично, пришлось остаться на чашку чая…

— Британцы гордо именуют свою страну Империей незаходящего солнца, но она больше похожа на лоскутное одеяло. И наоборот, Российская империя представляется сегодня на

редкость прочно сшитой. Ваш государь правильно поступил, отдав американцам ее последний лоскуток — Аляску. И в грядущий двадцатый век Россия входит не только единым и неделимым, как у вас принято говорить, но и самым богатым государством мира.

— К сожалению, три четверти нашей территории требуют освоения, — заметил Викентий Корнелиевич. — Уж которые сутки мы с вами едем по необжитой пустыне, а это, заметьте, еще до Уральского хребта. Представляете, что ожидает путешественников за ним.

— Конечно, дороги, города, рудники, шахты строить придется, но есть под что вкладывать капиталы. Так что молодежи вы оставляете доброе наследство.

Норвежец вежливо улыбнулся, приглашая Наденьку принять участие в разговоре, который ее совершенно не интересовал. Она помолчала, надеясь, что либо Варя, либо Вологодов придут к ней на помощь, но вышло еще хуже, потому что Викентий Корнелиевич не понял ее выжидательного молчания.

— От молодежи потребуются абсолютно новые знания. Если гуманитарные науки, на которые Россия всегда делала упор, необходимы были

для создания единой идеи нашего отечества, то теперь черед наук реалистических. Нужны инженеры, строители, грамотные коммерсанты. Игра стоит свеч, вы правы.

— А если нет? — негромко спросила Надя. Видит бог, ей было неинтересно, и если бы Вологодов перевел разговор на что-либо иное, она бы промолчала. Но он потащил за ту же суконную ниточку, и Надежде это не понравилось.

— Вы сомневаетесь, Надежда Ивановна? — живо откликнулся Викентий Корнелиевич. — И у вас есть определенные резоны?

— Биологи утверждают, что большие звери бесследно исчезают при первых же катаклизмах. С мышками, зайками и прочими белочками при этом ровно ничего не происходит.

— Какие катаклизмы вы имеете в виду, Надежда Ивановна? — с некоторым недоумением улыбнулся Вологодов. — Природные или социальные?

— При грандиозных масштабах природное способно перетекать в социальное, а социальное — потрясать, как землетрясение. Извержение Везувия и восстание Спартака одинаково потрясли Рим.

— Ну, это слишком мрачное предсказание, —

сказала Варвара. — Слава богу, в России нет ни Везувиев, ни Спартаков.

— А колокол тем не менее прозвучал. — Наденька встала. — Извините меня, господа, дорога далека, еще набеседуемся.

Мило улыбнулась коммерсанту, шагнула к дверям. Остановилась, уже держась за ручку, подумала, сказала вдруг:

— Ходынский колокол был колоколом по России. Извините, господа, но я почему-то это знаю.

И вышла.

4

Два дня до поездки в Соловецкий монастырь Наденька провела в Архангельске, однако города так и не увидела, не считая вечерней короткой прогулки в городской сад накануне отъезда на острова. Основное время она провела в гостиничном номере вместе с Варварой и Грапой, пока Вологодов ходил по присутствиям, уточняя с городскими и церковными властями детали их посещения островов. Опытный чиновник отлично понимал, насколько может пригодиться согласие и поддержка губернских властей для разговоров на суверенной монастырской территории.

В хождении по губернским присутствиям Викентию Корнелиевичу очень помог господин Герхардсен. Встреченный в поезде коммерсант оказался крупным архангельским предпринимателем в третьем поколении, которого местные власти не только знали, но от которого и многого ожидали: в руках норвежца вертелись большие деньги, от которых в значительной степени зависело как благоустройство города, так и рабочие места, а значит, и собственное спокойствие. Поэтому при нем и двери открывались беспрепятственно, и стороны хорошо понимали друг друга.

На второй день перед обедом все было оговорено и согласовано, в том числе и свидание с глазу на глаз с так раздражившим церковь старцем Епифанием. А последнее весьма серьезно беспокоило Вологодова, потому что церковные иерархи очень уж ретиво охраняли свои суверенные права.

— Завтра в девять утра мы должны быть на пароходе, — сказал Викентий Корнелиевич, воротившись из последнего круга чиновничьего кружения. — Я заручился необходимыми согласиями и письмом на имя архимандрита и должен откровенно сказать, что в этом мне очень помог

господин Герхардсен.

— Мне пора готовить Наденьку к морскому путешествию?

— С некоторой оговоркой, Варвара Ивановна, — смущенно улыбнулся Вологодов. — Я обязан был дать господину Герхардсену обещание, что мы навестим его накануне отъезда.

— Будет много гостей?

— Не очень, но гости будут.

— Надеюсь, вы предупредили…

— Не беспокойтесь, Варвара Ивановна, — несколько поспешно перебил Викентий Корнелиевич. — Ни одного вопроса о Ходынке.

Варя готова была к тому, что ей придется уговаривать сестру, но, на ее удивление, Надя согласилась сразу. Вероятно, она заметила это удивление — она теперь вообще замечала все, даже малейшие заминки в разговоре, — позволив себе лишь улыбнуться.

— Мир, в котором за все приходится платить.

— Столичный гость — редкость в этой глухомани. С точки зрения местного общества, мы, москвичи, — почти участники коронации государя, Наденька.

— Я понимаю, Варя. — Надежда помолчала. — Ты напрасно беспокоилась, потому что я

решилась еще в Москве.

— Решилась? На что ты решилась?

— На все.

Наденька грустно усмехнулась. Помолчала, подавила вздох:

— Я признаюсь тебе, чтобы ты все поняла и… и не удивлялась более. Не беспокойся, пожалуйста, обо мне. Я сохранила разум, заплатив за это всеми амбициями и всеми желаниями. Не вздыхай столь сокрушенно: взамен я получила иное. Может быть, куда более естественное для молодой женщины.

— Я запуталась в аллегориях.

— У меня осталась одна мечта, Варя. Я мечтаю о хорошем муже, дружной семье и здоровых детях. Твоя сестра стала обыкновенной русской мещанкой.

— Неправда, Наденька! — горячо возразила Варвара. — Это естественная и прекрасная в своем естестве мечта каждой нормальной женщины. Я… Я рада за тебя.

— Я позаимствовала эту мечту у Фенички. — Надя вздохнула. — Я долго думала и наконец поняла, что Феничка абсолютно была права, когда так восторженно мечтала о детях.

Вечер у господина Герхардсена прошел очень

мило и непринужденно. А еще до вечера норвежец заехал за ними на паре отличных рысаков, запряженных в нарядное ландо с ливрейным кучером на козлах. Прокатил по городу, проводил в сад, рассказал много интересного. В саду полковой оркестр играл добрые старые вальсы, и Наденькины каблучки звонко стучали по гулким деревянным тротуарам…

В девять утра следующего дня выехали на острова на маленьком, сердитом, как шмель, ворчавшем пароходике. С моря дул ветер, но Надя долго не уходила с палубы, завернувшись в плед, который захватила предусмотрительная Грапа. Море и впрямь было белым, непохожим ни на синее Средиземное, ни на темное, всегда чуть пугающее Черное. Это был край ойкумены, шагнуть за который было уже невозможно, и, вероятно, поэтому Наденьке стало немного тревожно.

Особенно когда внезапно и, казалось, прямо из моря выросли серые кряжистые стены монастыря. И почему-то подумалось вдруг:

«Вот моя пристань…»

5

Ни встречи на пристани, ни самого архимандрита Наденька не запомнила: тревога как-то сама

собой переросла в непонятное беспокойство, поглотившее все ее внимание. Правда, от нее ничего особого и не требовалось: только приветливо улыбаться. Все делал Викентий Корнелиевич и, вероятно, успешно, потому что они довольно скоро оказались в каких-то мало похожих на монастырские покоях, куда их провел приветливый немолодой келарь.

— Сейчас придет, — сказал он.

И почти сразу же вошел старец Епифаний. Маленького росточка, седенький, тихий, в себя погруженный, умеющий слушать, не моргая, как слушают дети. Из-под островерхого, странного клобука торчал седой клин бороды, а глаза — бледно-голубые, как незабудки, — смотрели, то вдруг светясь, то угасая, но всегда с доверчивостью и наивностью, от которых почему-то становилось не по себе. Он низко поклонился у порога, потом, старчески семеня, приблизился к ним и снова неторопливо отвесил поклон.

— Благословите, святой отец, — сказал Вологодов.

— Грешен, за что права лишен, — тихо ответил старец. — Но душа моя с вами пребывает сейчас. С вами и с девочкой этой — особенно.

«Вычислил, — с неприязнью подумала Вар-

вара. — И глазами вроде бы не шарил, а — вычислил».

— Как во святом крещении наречена?

— Надеждой.

— Нужное имя, — покивал старец. — Нужное и трепетное, и потому, что себе не принадлежит, и потому, что без имени этого ни единого деяния люди не творят. Даже когда обижают. Люди больно обидеть умеют, обиды надолго в душе оседают и мутят ее. На зверей душа обид не хранит, на людей только.

Тихий голос журчал плавно, без интонаций и пауз. Старец, не моргая, смотрел в лицо Наденьки и говорил, говорил, ни о чем не спрашивая.

— Душа человеческая от любого зверя Господом прикрыта, а пред человеком распахнута настежь и — беззащитна. Ни слон могучий, ни лев рыкающий, ни наш русский медведь не могут души ранить ни силой своей, ни клыком, ни когтем, а слово человека и обидеть может, и ранить, и убить даже. Бессмертную душу человеческую только слово человеческое и надрывает. Тебя ведь люди обидели, Надежда наша?

— Много, — еле слышно выговорила Надя.

— Много, — вздохнув, повторил старец. — Поведай мне обиды свои. Все поведай. Исчерпай до

дна муть души своей.

Наденька молчала, плотно сжав губы. Варя с тревогой смотрела, как густеет синева ее глаз. «Сейчас взорвется», — подумала она и поспешно сказала:

— Позвольте мне изложить обстоятельства, святой отец.

— Не всякая доброта дело доброе творит, — тихо сказал старец, не отрывая взгляда от Нади. — Откровение — там, а не здесь. Там, в синих омутах. Стало быть, непомерно велика тяжесть виденного и слышанного тобою, неподъемно велика.

Он замолчал, глаза его будто угасли, будто внутрь оборотились. Только острый клин седой бороды чуть шевелился, словно старец то ли кому-то что-то объяснял, то ли кого-то упрашивал. Потом вздохнул, горестно покивав островерхой скуфейкой:

— Печаль. Печаль твоя мир от тебя занавесила. Обождите здесь, господа. В молчании. Молчание — сила ваша.

И шустро вышел. Он вообще двигался скорее шустро, чем быстро. Значительно шустрее собственного возраста, хотя возраст этот определить было весьма затруднительно.

А они молчали, как и было велено, и даже взды-

хали осторожно. Варя то и дело поглядывала на сестру, но Наденька, казалось, вся ушла в себя. Даже глаза словно перевернулись, утратив блеск и ясность. Ожидание затягивалось, становилось уже невмоготу, и Варвара не выдержала первой:

— Как вы считаете, Викентий Кор…

— Барыня!.. — грозно прошипела Грапа.

— Молчу, молчу… — почти беззвучно произнесла Варя, прижав для убедительности ладонь к губам.

Наконец появился старец, торжественно неся перед собой, на груди, завернутую в полотенце икону. Приблизившись, отмахнул верхнее полотнище, и в ленивых лучах низкого солнца высветился задумчивый лик Божьей Матери.

— Пресвятая Ярославская Заступница и Утешительница «Утоли моя печали». Ступай за мной, она откровения твоего требует. А вы — здесь ожидайте.

Надежда тотчас же встала и вышла вслед за старцем. Оставшиеся осторожно перевели дух, Грапа перекрестилась:

— Господи, спаси и сохрани…

— Вы верите в его святость, Викентий Корнелиевич?

— Я смотрел на Надежду Ивановну. Сначала она

насторожилась, но потом строго внимала ему.

— А куда он ее потащил? — недовольно спросила Грапа.

— В церковь, по всей видимости.

— Монахам на потеху, — непримиримо вздохнула горничная.

Наденька и старец долго шли сводчатыми гулкими переходами и коридорами. Старец семенил впереди, торжественно неся перед грудью открытый образ Богоматери, Надя, опустив голову, поспешала следом. Редкие монахи и послушники, что иногда попадались на пути, истово осеняли себя крестным знамением и тотчас же куда-то скрывались или вжимались в стены, низко склонив головы и всегда уступая дорогу. Никто с ними не заговаривал, все спешили по своим делам, и Наденька не испытывала никакой тревоги. Просто шла и шла, куда вели, а в голове замедленно крутилась одна мысль: «Надежда себе не принадлежит. Не принадлежит. Как прилагательное».

Наконец в каком-то совсем уж глухом пустынном тупике старец остановился. Молча передал Наде икону, с трудом, двумя руками открыл дверь кельи (пахнуло нежилой сыростью), обозначенную черным замшелым валуном у входа. Взял икону и посторонился, пропуская Наденьку.

В келье стояла тьма. Не темнота, а именно — тьма, что невольно отметила Надя: даже под потолком не было ни единого продуха. Не закрывая двери, старец вошел первым, бережно поставил икону на низкий, вделанный в стену столик и молча вздул свечу. Не прибег к шведским спичкам, а — вздул, и Наденька обратила на это внимание. Достал трут и огниво, почиркал кресалом, высек искру, запалил трут, а от его жара — и обгорелый фитилек толстого свечного огарка.

— Затвор, — пояснил он. — Святые старцы, мир презрев, здесь откровения достигали. Молчанием, постом и молитвой. Ты готова к искусу сему?

— Готова, — тихо ответила Надя.

— Ей все расскажешь, — строго сказал старец. — Ей, Заступнице нашей, все беды, боли и обиды свои поведаешь. Коли откровенна будешь, Она все постигнет и утолит печали твои.

Осторожно погладил ее по голове, вздохнул, покивал в задумчивости. Потом добавил:

— Стены аршинные, дверь глухая, никто тебя не услышит, кроме Пречистой Матери Божьей. Я за дверью обожду.

Поцеловал в лоб и вышел. Раздался скрип проржавевших петель, дверь закрылась, и Наденька

осталась одна.

Тускло светил ни разу не вздрогнувший фитилек свечного огарка, освещая задумчивый и строгий лик Пресвятой Богородицы. Стояла мертвая тишина — стены и вправду были аршинными, дверь и вправду была глухой — и Надя ощутила вдруг постепенно растущее в ней состояние полной отрешенности от всего мирского. От всех страстей, семейных забот, житейских тревог, ежедневной суеты, обыденной суетливости, пошлой обязательной прилюдности и столь же пошлого, неестественного собственного поведения в людности той — все, все осталось там. За глухой дверью в мир. И еще ничего не осознав, еще только почувствовав это, опустилась на колени, сложив на груди руки, как учила маменька. Маменька?.. Может быть, Варя? Нет, нет, конечно маменька — еще там, в тишине и покое святого чрева своего.

Надо было что-то говорить, хотя бы про себя, но слов пока не было. Был твердый и холодный каменный пол монашеского затвора, и Наденька поняла, что слова придут тогда, когда она забудет про твердь и холод.

— Помоги мне, маменька, — в голос тихо сказала она.

И тотчас же услышала фальшь собственных слов и почувствовала неискренность собственных мыслей. И подумала с горечью: «Опять — спешка, опять — суета. Усмехается во мне гордыня моя. Значит, не готова я еще к откровению. Не готова…»

«Феничка?.. — то ли послышалось ей, то ли подумалось. — Нет, нет, Феничка, не тревожь душу свою, не вспоминай и не рассказывай ничего. Я сама все расскажу, я еще в чистилище земном, меж прошлым и будущим своим…»

— Я очень виновата, — вдруг как-то само собой тихо сказала она и не удивилась прозвучавшим под глухими сводами словам. — Я повинна в гибели дорогого мне человека, ласковой и верной подружки моей. Я прислушивалась только к гордыне своей, я подчинялась ей, как раба, и она в конце концов увела на Ходынское поле не только меня, но и Феничку мою. И куда теперь уведет Ваню Каляева, влюбленного в меня первой любовью своей, не знаю, но боюсь, боюсь за него. И смогу ли я быть заботливой и преданной женою Викентию Корнелиевичу, так вовремя протянувшего мне руку свою? Сумею ли родить ему детей или раздавлено все во мне? Сумею ли воспитать их такими же честными перед

совестью своей и такими же скромными перед людьми, как он, или все сожжено во мне в том ходынском аду? Я ничего не хочу для себя, я уже поняла, что человек только для себя — не человек, а волк в стаде людском. Эгоистичный, лютый зверь, без колебаний грызущий ближних своих во имя своего благополучия. Своего, не людского, не человеческого. Я знаю, что говорю сейчас, я была в шкуре волчицы той. И что спасает меня сейчас, что право мне дает надеяться на милость Твою, так только благодарность моя синей той чуйке, которую я благословляла душою своей страдающей…

Чуть слышно потрескивал фитилек в беззвучной той тишине. Тихо шептала Надежда надежду свою последнюю…

А у входа в старый монастырский затвор, в котором могучие духом, избранные старцы монастырские когда-то молились в снизошедшем на них откровении за весь грешный русский народ, на черном замшелом валуне недвижимо сидел маленький старичок в островерхой скуфейке. Как крохотный добрый гном из добрых детских сказок.

— …повинны ли люди в страхе своем? Я спросила себя и ответила, когда чуточку самую окреп

дух мой: нет. Не повинны они, как неповинны дети, провалившиеся в полынью и в ужасе топящие друг друга, вместо того чтобы друг другу помочь. Нет у меня ни зла, ни обиды на них. Не мне их судить, но мне их прощать, и боль моя пусть и каплей единой не упадет на черную чашу весов. Я, я одна повинна во всем, пред Тобою в этом клянусь, Матерь Божия. И ничего не прошу у Тебя, кроме прощения за содеянное мною вольно или невольно…

Что-то теплое пробежало сначала по одной ее щеке, потом — по другой, и Наденька ладонями накрыла это тепло. Влажное, густое и такое жданное ею. И, рухнув на пол, впервые с того ходынского утра зарыдала в голос…

Как маленький старый гномик услышал рыдания ее — тайна. Чудес нет, но есть Тайны. И пока мы верим в них — они есть. А значит, всегда есть надежда на спасение. Всегда.

А услышав, духом своим услышав рыдания ее, старец встал, снял скуфейку, точно определил, где восходит солнце, низко поклонился ему, широко перекрестившись, и выдохнул с великим облегчением:

— Слава Тебе, Заступница наша. Слава Тебе, Матерь Божия и человеков земных!..

Наденька не помнила обратной дороги, потому что продолжала рыдать. Рыдать громко, беззастенчиво, с надрывом, и долгожданные слезы текли по ее лицу. И от них с каждым шагом на душе становилось все легче и легче.

А войдя в покои, где ее с нетерпением ждали, рухнула на стул, не переставая рыдать.

— Не утешайте ее, — тихо сказал старец. — То слезы спасения ее. И о молчании помните.

И бесшумно вышел, а никто и не заметил его ухода. Все смотрели сейчас на Наденьку, боясь приблизиться к ней, боясь нарушить принесенное ею великое одиночество.

Она сама справилась с тихим приступом великого счастья. Вдруг решительно отерла слезы, встала, шагнула к Викентию Корнелиевичу и протянула ему руку:

— Вы просили моего согласия стать вашей супругой. Если ничего не изменилось в ваших планах, то вот вам моя рука. До гроба, друг мой. До гроба.

Викентий Корнелиевич Вологодов и Надежда Ивановна Олексина обвенчались в маленькой церкви села Уварово, что неподалеку от Высокого Ельнинского уезда Смоленской губернии. Эту церковь очень любила маменька за древность ее,

да и Варвара когда-то венчалась в ней. И как тогда, были только свои: видно, у сестер Олексиных скромные свадьбы оказались написаны на роду, что, впрочем, ни в коей мере не мешало их семейному счастью. Правда, исключая Машеньку, но бомба есть бомба, даже тогда, когда ее накрывают собственным телом.

Викентий Корнелиевич ни в чем и никогда не перечил своей молчаливой, редко улыбающейся красавице-жене, все время втайне надеясь, что когда-нибудь воскреснет и ее тихая, как бабье лето, душа. Может быть, когда станет супругой и хозяйкой; может быть, когда родит детей; может быть, когда, наконец… Нет, до внуков дожить им было не суждено: другой суд выносил свои приговоры в новом, двадцатом веке, которого они так ждали…

Вологодов всю жизнь упорно верил в чудо, но чудес не бывает. Ни медовый месяц в Высоком, ни спокойная, ровная, замкнутая только на родственников жизнь в Москве, ни даже рождение первенца, названного Кириллом, ничего не изменили в Надежде Ивановне Вологодовой: то, что погибло на Ходынском поле в Наденьке Олексиной, погибло, увы, навсегда. Уменье видеть волшебные сны, сочинять рассказы и

сказки, мечтать о журналистской работе — все, все решительно осталось в прошлом и без всяких воспоминаний. Возродилась прекрасная форма, но не яркое содержание: содержание оказалось стертым, и место его заняла почти фанатичная вера. Надежда Ивановна, к счастью, не превратилась в ханжу и кликушу, но начала весьма истово молиться, свято соблюдать все посты и обряды и регулярно посещать церковь. Это не мешало ей читать и музицировать, но читала она теперь, увы, только легкую беллетристику и играла только простенькие сочинения.

Викентий Корнелиевич тревожился, что изменившиеся вкусы и ценности искренне любимой им супруги могут как-то сами собой, исподволь перетечь в систему домашнего воспитания, но этого не произошло. Надежда старательно и умело воспитывала детей так, как когда-то воспитывали и учили ее, и они не складывали кукол с плюшевыми зайчиками. Они вырастали на добротной литературе, настоящей музыке и хорошей живописи. Таинственная преемственность поколений не прервалась, а как бы перешагнула через ее собственную смятенную душу, и дети доказали мощь этой великой преемственности русской интеллигенции. Правда, легче им от

этого не стало…

А Роман Трифонович Хомяков так и не смог воспринять своей Надюши, собранной не по старым чертежам. Нет, конечно же, он по-прежнему любил ее, но теперь в этом куда более проглядывало древнее народное понимание этого чувства: он скорее жалел, нежели восхищался. Это чувство жалости постоянно жило в нем, его невозможно было похоронить и, с горечью отметив девятый день, начать новый отсчет. Оно жило само собой, вне зависимости от него, как чудовищное воспоминание и — горькая насмешка. Воспоминание его кипучая и очень практичная натура еще могла перенести, но — насмешку… Насмешку можно было утешить только в бильярдной, залив зеленое сукно водкой пополам с крепким огуречным рассолом, и тут не могли помешать ни громкие упреки Варвары, ни тихие просьбы Евстафия Селиверстовича…

Через границу Роман Трифонович и Аверьян Леонидович Беневоленский перебрались вполне благополучно, но путь до нее зависел от скорости поезда, и они успели не только понять друг друга, но и подружиться. Дружба оказалась прочной, в хомяковском особняке вскоре стали появляться странные гости из Швейцарии, Франции, Гер-

мании, которые выходили только по вечерам, днями отсиживаясь все в той же бильярдной — личной «территории» Хомякова. Варвара негодовала, но Роман Трифонович ограничился тем, что приказал прорубить выход со двора непосредственно в пресловутую бильярдную.

Так образовалась трещина, которая росла, вместо того чтобы затянуться. Варвара начала не доверять мужу, через подкупленного конторщика следить за движением его капиталов и вскоре обнаружила перевод полутора миллионов в швейцарский банк. Выяснение привело лишь к ссоре, ссора — к исчезновению из оборота еще полумиллиона, и разрыв меж супругами оказался неминуемым. Подросшие и очень практичные сыновья приняли сторону матери, верный Зализо умер на руках домоправительницы Вологодовых Грапы, и Роман Трифонович остался один. Без любимых сыновей, верных друзей, азартной работы и — даже без Наденьки. Перебрался в Швейцарию, страдал, пил по-русски, один, вмертвую, и как-то дождливым вечером в женевской гостинице пустил себе пулю в сердце…

А в канун ухода в историю девятнадцатого века (тогда Россия еще не догадывалась, что век этот окажется единственным золотым веком ее мно-

готрудной истории) к подполковнику Николаю Олексину неожиданно приехал капитан Георгий Олексин. Неожиданно потому, что еще не прошли десять лет царского неудовольствия.

— Я подал рапорт об отставке, Коля.

— Тебя вынудили?

— И да и нет, все проще, как всегда. Началось с того, что корпусной командир приревновал меня к своей молодой супруге, в результате чего я оказался в совсем уж глухой литовской провинции. Полагаю, что тебе такая даже не снилась.

— Надеюсь, ты хотя бы утешался тем, что генеральская ревность была небезосновательной? — улыбнулся Николай.

— Весьма слабое утешение, брат.

— А что же твоя московская пассия, которая только и ожидала, что собственного совершеннолетия, Жорж?

— Увы. В той глухомани не оказалось даже перрона, на котором я мог бы ее встретить. Там вообще ничего не было, кроме звериной тоски, Николай, и я понял, что армия исчезает, растворяясь в застойных провинциальных болотах. Гарнизоны гниют в них, полковник. Офицеры пьют водку, как когда-то пили «Вдову Клико», манкируют службой, передоверив ее унтерам, и

начинают предпочитать пощечины приглашению к барьеру. Среди них появилось множество подпоручиков с длинными руками и сутулыми спинами, напрочь забывшими, что такое честь, но неустанно толкующими о патриотизме.

— Ах, Жорж, Жорж!.. — вздохнул Николай. — И что же ты думаешь делать? Пойдешь в университет?

— Нет, Коля, я хочу остаться потомственным русским офицером и в отставке.

— И что это означает?

— Это означает, что я не могу оставаться бесстрастным, когда могучая держава уничтожает маленький народ только за то, что он не хочет входить в состав этой державы.

— Я не совсем понял тебя, Жорж.

— Скажем конкретнее. Я намерен уехать за границу.

— И куда же ты нацелился?

— К бурам, Коля, к бурам! «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…»

Отставной капитан русской армии Георгий Иванович Олексин благополучно добрался до Южной Африки. Командовал отрядом волонтеров в армии генерала Девета и пал смертью храбрых в Реддерсбургском бою. И в благодарность, и

в знак особых заслуг был с почестями похоронен в центре Претории, столице свободной республики буров. Об этом собственноручно написал его родным в далекую Россию первый президент республики господин Крюгер в открытке, на которой была изображена могила русского капитана в сквере перед президентским дворцом.

Олексины не умирали в постелях.

А Иван Иванович Олексин в конце того же века неожиданно получил письмо, и очень огорчившее, и очень обрадовавшее его.

«Дорогой мой Иван Иванович, дорогой спаситель Ваничка! Как хотелось мне написать Вам, дорогой друг мой, как хотелось объясниться, попросить прощения и, кто знает, может быть, и оказаться понятой. Я очень любила Вас, любила всю жизнь и люблю сейчас, но… Но меж нами было проклятое „НО“, через которое я не смогла перешагнуть. Надеялась, что смогу, когда давала согласие стать вашей женой, плакала счастливыми слезами, считала дни до свадьбы, а потом поняла, что нет у меня на это сил, и — сбежала. Мне трудно объяснить это, но я долго копила свои силы.

Вы опоздали тогда, в Болгарии. После убийства моего отца казаки схватили меня, сорвали

одежду, бросили на землю. От ужаса я потеряла сознание и очнулась уже в Вашем обозе, завернутой в одеяло. Увы, но Вы опоздали тогда, мой витязь.

Вот почему я сбежала, дорогой Иван Иванович, вечный Ваничка мой. Я не могла, не могла быть Вашей женой. Но своего первого сына я назвала Иваном.

Прощайте. Да поможет Вам Бог.

Спасенная когда-то Вами

Елена».

Очередные столетия начинаются календарной датой только в календарях, учебниках да в мертвых официальных документах. Обыкновенные современники отсчитывают начало каждого нового века, а уж тем паче — столетия — сообразуясь с собственной точкой отсчета.

Для России такой точкой отсчета стала священная коронация царствующего монарха. Подданные ждали от Николая Второго каких-то решений, действий, разумных шагов. И считали, загибая корявые пальцы:

«Уж четвертый год, как Богом помазанный».

Однако у жителей второй русской столицы и особенно у московской интеллигенции точкой отсчета стала не коронация, а Ходынская

трагедия. Может быть, потому, что роковое сие событие было тихо-тихо спущено на тормозах вскоре после громкого решения начать следствие «по факту многочисленных безвинно пострадавших», может, по иной какой причине. Никто ничего, естественно, не объяснял, однако само «Следственное дело» вдруг было приостановлено, а постояв в бездействии, вновь лихо понеслось вскачь, но уже с другим ямщиком на облучке.

А замерло оно по той причине, что дотошный и весьма старательный следователь по особым делам Кейзер нашел главного обвиняемого без особых хлопот, испросив у государя разрешение допросить генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича. Вот тут-то и случилась заминка, так как прознавшие про законную просьбу следователя великие князья братья Александр, Алексей и Павел Александровичи тут же привезли царю свои отставки на случай, если их брата великого князя Сергея Александровича вздумают допросить хотя бы в качестве официального лица.

Естественно, отставленным оказался Кейзер. А спешно подобранный на замену весьма оглядчивый следователь был скорее специалистом по делам не столько особым, сколько особенным.

В результате его деятельности великий князь Сергей Александрович был освобожден от необходимости давать показания, однако, учитывая настроения жителей второй столицы, назначен на другую должность с повышением, став одновременно не только генерал-губернатором Москвы, но и Московской губернии и командующим войсками.

А виновными быстро объявили роковые стечения обстоятельств, неразумное поведение народа и персонально — обер-полицмейстера Власовского вместе с его заместителем полковником Рудневым. Как должностных лиц, не сумевших учесть все перечисленные следствием объективные причины трагедии. Но даже в этом, весьма облегченном варианте до суда дело так и не дошло, ограничившись служебным разбирательством с последующей отставкой без мундиров обоих стрелочников. И «Дело о трагических последствиях вследствие недостаточного соблюдения порядка при раздаче подарков на Ходынском поле» было списано в архив.

Персоны первого и второго классов табели о рангах никогда не были, да и не могли быть повинными в чем бы то ни было. Ваня Каляев оказался прав…

Последнее свидание выступающего под видом извозчика члена боевой организации эсеров Ивана Каляева с руководителем боевиков Борисом Викторовичем Савинковым произошло в грязном и полутемном трактире Замоскворечья.

— Я очень устал, Борис, устал нервами, — беспрестанно потирая руки, говорил Каляев. — Ты знаешь, я не могу больше ждать. Я буду спокоен только тогда, когда Сергей будет казнен.

— Семнадцатого января, Иван, — тихо сказал Савинков. — Семнадцатого в Большом театре торжественный спектакль. Будешь ждать великого князя по дороге в театр на Воскресенской площади, у здания городской Думы. Тебя прикрывает Куликовский.

Вечером того же дня Иван Платонович написал последнее письмо:

«Вокруг меня, со мной и во мне ласковое, сияющее солнце. Сегодня мне хочется только тихо-сверкающего неба, немножко тепла и безотчетной радости для изголодавшейся души… Здравствуйте же, все дорогие друзья, строгие и приветливые, бранящие нас и болеющие с нами!..»

Был сильный мороз, начиналась вьюга. Каляев, кутаясь в потертый полушубок, стоял на угото-

ванном ему первом номере. В начале 9-го часа от Никольских ворот Кремля показалась карета, которую Каляев узнал по белым и очень ярким огням фонарей. Бросился наперерез карете, уже поднял руку и…

В ярко освещенной карете рядом с великим князем сидела его жена и двое детей…

«Маша Олексина!..» — вспомнилось вдруг Каляеву, и он отступил в сторону.

Карета Сергея Александровича благополучно проехала к подъезду Большого театра…

— Ты поступил правильно, Ваня, — сказал Савинков. — Обождем до лучших времен. Ты успокоишься…

— Ни в коем случае, Борис! — возмутился Каляев. — Я дал слово казнить великого князя, ты знаешь, при каких обстоятельствах и за что именно.

— Хорошо, — подумав, согласился Борис Викторович. — Второго февраля, в Кремле, когда великий князь поедет в свою канцелярию. Прощай, Янек.

— Прощай, Борис.

Они расцеловались и разошлись.

Каляев (письмо из Бутырской тюрьмы):

«Я бросил бомбу с разбега… Я был подхвачен

вихрем взрыва. После того как дым рассеялся, я оказался у разбитых задних колес кареты. Я был ранен и обожжен, но встал… Мог ли я убежать? Мог. Но тогда это было бы убийством великого князя, а не казнью за Ходынку…»

Жена убитого великого князя Сергея Александровича Елисавета Федоровна пожелала навестить убийцу мужа. Ее свидание с Иваном Каляевым произошло в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы.

— Мне очень больно, что я причинил вам горе, — тихо сказал Каляев. — Но я исполнил свой долг.

— Кто оценит долги наши? Люди? Бог? Будущее?.. — Елисавета Федоровна помолчала. — Примите от меня на память иконку Божьей Матери «Утоли моя печали». Я буду молиться за вас.

— Мне больно, что я причинил вам горе, — повторил Иван. — Но совесть моя чиста. Прошу вас, ваше высочество, не ходатайствовать перед государем о даровании мне жизни. Я не приму помилования. Нас разделяют горы трупов Ходынки и сотни тысяч разбитых человеческих сердец.

В ночь на десятое мая 1905 года в Шлиссельбургской крепости палач Филипьев завязал петлю на шее Ивана Платоновича Каляева. Он отверг испо-

ведь и последнее целование креста, успев сказать перед тем, как Филипьев вышиб под ним опору:

— Я счастлив, что исполнил приговор главному виновнику Ходынской трагедии. Учитесь смотреть в лицо истории, люди. Учитесь смотреть в ее лицо!..

Дочери Надежды Ивановны Олексиной Калерии, Лерочке Вологодовой, как раз в этот день исполнилось ровно пять лет…

И был вечер, и было утро

Пролог

Отца привезли с фронта в самом конце сорок третьего, как рассказывала сестра. Отвалявшись в госпиталях, он был признан негодным к строевой, оставлен в Москве при политуправлении, ходил с палочкой на службу, а через год родился я. Это событие пришлось на дни победных салютов, но, измученная ожиданиями, недоеданиями, гибелью родных, близких и знакомых, мама не успела толком порадоваться, и моим первым детским впечатлением стало мокрое Ваганьковское кладбище, черная осень да ветер в голых деревьях. И еще растерянные слова отца:

— Как же так? Ведь в меня стреляли. В меня ведь…

Хозяйничать пришлось сестре. Она была старше на семь лет, но между нами лежали не годы, а война: для меня эта война оказалась историей, а для нее — жизнью, что и сделало сестру старше собственного возраста. Кроме того, отец упорно не желал приводить в дом новую хозяйку, несмотря на все сватовства, советы и знакомства, и сестра досыта хлебнула горяченького в свои школьные годы. Потом я как-то спросил у отца, почему он

решил все взвалить на девчоночьи плечи.

— Это ведь для меня жена, — невесело усмехнулся он. — А для вас мачеха, для друзей — всегда посторонняя. Видишь, сколько неудобств?

Мы и друзья были отцовским миром, островом в океане, кораблем, на котором он, как и всякий человек, пересекал реку от берега, где ему даровали жизнь, до берега, где ему даруют смерть. Но мне тогда исполнилось семнадцать, я впервые влюбился и считал отца абсолютно неправым. А отец опять лежал в госпитале, и из него опять извлекали немецкое железо…

Но первый главный вопрос я задал не отцу, которому всегда было чуточку не до нас, а сестре. Я спросил, почему это у меня нет бабушки. У всех есть, а у меня…

— Наша бабушка погибла в оккупации. Она ведь папина мама, а фашисты убивали семьи комиссаров.

— А где тогда мамина мама?

Сестра промолчала, но так, что я более этого вопроса не задавал: в те времена даже первоклашки были на редкость сообразительны. И еще три года жил в неведении, пока отец с какой-то неуверенной гордостью не поведал вдруг:

— Твои дед и бабка по маминой линии — герои

Гражданской войны. Дед командовал дивизией, а потом… В общем, он погиб. А бабушка — она с дедом прошла войну, участвовала в боях и даже имела награды, — так она уцелела. Значит, бабка у тебя имеется и скоро должна приехать. Вот, сын, какие дела.

Через добрый десяток лет после памятной осени на Ваганьковском кладбище в нашей семье появилась бабушка. Молчаливая, очень сдержанная, совершенно седая и очень красивая, потому что была похожа на маму, которой я уже не помнил. Я сразу в нее влюбился, а бабушка не приставала ко мне с ненужными вопросами вроде тех, которые задавали моим приятелям: «Ты где порвал штаны?», «Кто тебе разбил нос?», «Почему ты гоняешь мяч, вместо того чтобы учить уроки?». Нет, я был избавлен от этого, я рос счастливчиком, и никто не лез в мою личную жизнь.

После отцовских слов я усиленно наблюдал за бабушкой. И все никак не мог вообразить, что эта сухая, белая, как наволочка, и прямая, как жердь, старуха была в самом деле героиней той, уже почти легендарной, Гражданской войны. И очень быстро заприметил привычку, которая резко выделяла бабушку: за столом она непременно стелила рядом с тарелкой чистую тряпочку и

бережно клала на нее личный кусочек хлеба…

— Об этом не спрашивай! — сердито оборвал отец. — За восемнадцать лет и не к такому привыкнешь, понял меня? Ты лучше о Гражданской ее расспроси, если тебе не все равно, как это твои деды в двадцать два года дивизиями командовали.

Мне было не все равно, но бабушка предпочитала отмалчиваться. И очень может быть, что я так ничего бы и не узнал, не рассказал бы впоследствии своим детям, и тогда оборвалась бы цепочка из капелек родной крови. Личная история каждого человека, генетический код его памяти, тоже ведь вырождается, если не питать ее своевременно.

— Я-то многое знаю, — продолжал отец. Он постепенно становился все более раздражительным, то ли от фронтовых ран, которые никак не желали оставить в покое его, то ли от ран душевных, которые не оставлял в покое он сам. — Нам с мамой в молодости выпало столько бессонных ночей, что хватило на все воспоминания. Вплоть до прадедушек с прабабушками. Я добавлю, что знаю, но ты все-таки начни расспрашивать сам.

Но подступиться мне все никак не удавалось, потому что бабушка упрямо не желала ничего

вспоминать. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы однажды не…

Знаете пруд у Новоспасского монастыря? Мы жили неподалеку, на Краснохолмской, а на пруду том каждую зиму расчищали хоккейную площадку. Это всех устраивало: мы не мозолили глаза взрослым, а взрослые не мозолили глаза нам, и все шло отлично. Пока не провалился Андрюшка. Он был очень толстый, считался абсолютно непробиваемым вратарем, но тащить его из полыньи было делом нелегким. Кончилось тем, что мы его благополучно спасли, а я благополучно схватил воспаление легких, поскольку спрыгнул в воду, чтобы подталкивать вратаря сзади. Естественно, мы об этом не хотели распространяться, так как взрослые всегда делают не те выводы, но температуру скрыть не удалось, и меня уложили.

Короче, я доходил вполне основательно, но это давало известные преимущества. Я требовал забот и взамен получил индульгенцию на некоторые капризы, вследствие чего бабушке пришлось нарушить привычное молчание.

— Хорошо, только я начну издалека, чтобы ты все понял, — вздохнув, согласилась она. — Перед тем как прыгнуть, надо разбежаться.

Так начались ее рассказы, которые потом прокомментировал и дополнил отец. Это случилось, когда он в последний раз лег в госпиталь, откуда домой уже не вернулся. Я каждый день ездил в Лефортово, развлекал его бабушкиными рассказами, а он подправлял, уточнял и корректировал их, так как бабушки уже не было на свете. Она умерла за день до полета Гагарина, и ей исполнился ровно шестьдесят один год, поскольку она оказалась ровесницей нашего столетия. Отец пережил ее на два года, а после его смерти мне некому стало рассказывать. Сестра вышла замуж, и будущее интересовало ее куда больше прошлого. А я после школы пошел в военное училище: как-никак я ведь был сыном комиссара и внуком героев Гражданской войны.

Так замолчало мое личное прошлое, генетический код моего «я». Разумеется, оно продолжало жить во мне, смещаясь и перемешиваясь, теряя детали и приобретая обобщения. И жило, в общем, спокойно, не бунтуя и не требуя немедленного обнародования, даже когда я женился. А потом пошли дети — сначала мальчик, следом девочка; мы кончили мотаться по гарнизонам, осели, повзрослели, обросли заботами, и тут тоже было не до рассказов. Но рассказы уже забродили

во мне, как бродит виноградное вино, меняя букет, вкус и крепость, но оставаясь тем же в основе своей. Я ждал, когда подрастут дети, потому что, в отличие от меня, они никогда не спрашивали о столь далеком прошлом. Это, впрочем, вполне нормально: если твой отец в двадцать два года командует дивизией — ты станешь хвастаться любому, кто окажется рядом; если твой дед преуспел на этом поприще — тебе самому будет любопытно до крайности; но если это твой прадед, у памяти истекает срок давности. Все естественно, все логично, но эстафета требует передачи, если бегун донес ее до финиша, не упав по дороге, а прошлое требует воскрешения. И я все время думал о форме своих будущих рассказов: ведь воскрешение — это скорее легенда, чем реальность, скорее романтика, чем бытовой реализм. Все это постепенно зрело, копилось и накалялось во мне, пока я не осознал, что дети мои выросли и что пришла пора. И в ближайший отпуск погрузил в машину семейство, забыл дома магнитофон, проложил маршрут подальше от туристских центров и каждый вечер рассказывал далекую историю, как и бабушка, начав ее с разбега.

«И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО» — как сказано в

одной мудрой книге…

Глава первая

Мои предки жили в городе Прославле. Был такой древний городишко на пути из варяг в греки, из Руси в Литву, из великого Московского княжества в Речь Посполитую, с востока на запад и с севера на юг. Он торчал у всех на дороге, все в него утыкались, перепрягали лошадей, спали, ели, отдыхали, а дальше — как повезет. Везло — ехали, куда стремились, не везло — возвращались или оседали, и постепенно старая Крепость со всех сторон оказалась облепленной всеми племенами и народами. Ну а поскольку в городе оказалась такая смесь, то там издревле власти национальностью не интересовались. Дескать, никакой на вас географии не хватит, чтобы упомнить откуда, прикинуть куда и вычислить зачем. И писали всех чохом: житель города Прославля. А если короче, то прославчанин или прославчанка. Вот как обстояло дело, когда мои дедушка и бабушка еще не успели родиться. Тогда все было старым. Старые города, старые люди, старые взгляды, старая география и старая история. А теперь новое. Новые города, новые люди, новые взгляды, новая география и новая история. И по

этой новой истории с географией выходит, что никакого города Прославля на свете нет.

Все поречные города наши исстари делятся на две части: либо на правую и левую (это если река — через город), либо на верхнюю и нижнюю, на Подол и Гору. А вот наш Прославль делился на три: на Крепость, Успенку и Пристенье, и здесь придется объяснить топографию, а то будет путаница. Ну, Крепость — это понятно. Это лучшая часть города на холмах правого берега, обнесенная стеной, построенной еще аккурат перед Смутным временем. Там жили богатые, чиновники да гимназисты, а остальным житье было не по карману, да и не по чину, как тогда говаривали. До реки Крепость не доходила, потому как строитель ставил ее по холмам, а между холмами и берегом лежала широкая луговина. Вот ее-то и стали заселять в первую очередь, поскольку, если враг покажется, можно всегда удрать в Крепость. Так образовалось Пристенье, жители которого постепенно прибрали к рукам торговлишку, ловко перехватывая мужиков, нацелившихся с возами в Крепость. Здесь оказались со временем главная торговая площадь, главные торговые склады, главные базары, лабазы, лавки и магазины и вообще центр торговли всего города, вследствие

чего и жили в Пристенье купцы и лабазники, приказчики да ворье, потому что какие же торги без ворья или приказчик без жулика? Таких не бывает, а коли так, то и жители Пристенья посторонних не жаловали, к себе подселяли без охоты, а прогоняли с удовольствием и всегда в одну сторону: за реку. Там была гора, на которой когда-то в древности стоял мужской монастырь Успения Божьей Матери, в древности же и захиревший, но успевший обрасти хатенками, что опятами. С той поры это место и называлось Успенкой, где жил люд мастеровой, изгнанный аристократией из Крепости и перекупщиками — с Пристенья и редко с ними общавшийся, да и то лишь по делу. Стачать сапоги, привезти дровишек, сшить одежонку, построить, доставить, починить, донести, поднести, дотащить, оттащить — ну и так далее. Тогда вспоминали про Успенку, которая всегда есть хочет, как прорва ненасытная. И посылали — за.

Но раз в году — на Крещение — Успенка приходила сама. Она шла через реку на Пристенье, на ходу сбрасывая полушубки и засучивая рукава. А навстречу в полной готовности двигалась противная сторона: купчики, лабазники, приказчики да мелкое ворье. В центре сходились

и ругались, пока из Пристенья и из Успенки не подходили выборные судьи: по пять с каждой стороны. За ними мальчишки тащили лавки; судьи усаживались рядком и давали сигнал. И начиналась знаменитая крещенская драка до тех пор, покуда противник не побежит, а судьи следили, чтобы дрались по чести, без железа и дреколья.

Крепость в побоище не участвовала, но выходящая на реку стена ее была полна зрителей, а особенно зрительниц. Ведь именно здесь, на крещенском льду, рождались не книжные, не былинные, не песенные даже, а реальные, во плоти и крови (особенно во крови), герои города Прославля. Полуголые удальцы дрались в лютый мороз с такой яростью, что их жар обжигал восторженных барышень на высокой стене. Они наблюдали, так сказать, из лож, но юное поколение Успенки и Пристенья было совсем рядом, на расстоянии, указанном высокими судьями, не только поддерживая своих воплями и восторгом, но и вытаскивая из кулачной свалки павших для оказания посильной помощи. Выражаясь современным языком, они-то и были болельщиками, в то время как любопытные жители Крепости оставались всего-навсего зрителями.

— Ломи, Успенка!

— Не выдавай, Пристенье!..

И ломили, и не выдавали, но я тут маленько поспешил. Прадед, по словам отца, любил размяться и хоть раз в году да отделать какого-нибудь особо противного торгаша без риска оказаться в участке. Поэтому он с пристрастным азартом толковал про порядок кулачного боя, опуская, так сказать, действие первое: водосвятие. Это когда бойцы стояли по своим берегам, а попы молились у проруби, насколько я в этом деле разобрался. Прорубь была в стороне от поля битвы, и в нее после освящения лезли окунаться желающие. Ну, моржей в ту пору в нашем городе не водилось, а дурачки и тогда случались, и в прорубь первым (и чаще всего единственным) с верой и трепетом кидался Филя Кубырь. Истово крестился, бухался в ледяную воду, окунался с головой, а потом драл во все лопатки до ближайшей баньки, где ждала его сердобольная старуха Монеиха с полным стаканчиком. Филя громко верещал, трясясь и синея, успенские и пристеночные ржали и улюлюкали, а барышни на стене стыдливо отводили глазки. А после Филиной пробежки стенка приближалась к стенке и начинались ор и веселая ругань, пока не появлялись степенные судьи.

Как я уже говорил, судей было по пять от каждого войска, и победа, таким образом, зависела от того, с чьей стороны найдется наиболее справедливый человек, потому что высшая справедливость не в том, чтобы драть глотку воплем: «Мы победили!» — а в том, чтобы с достоинством признать собственное поражение. Это трудный подвиг, и много лет на крещенском льду царствовала свирепая ничья. А потом на Успенке появился Мой Сей, и здесь сначала придется рассказать, кто он был, чем занимался и почему так прославился в славном городе Прославле, в котором имелось все, кроме справедливости, почему, даже не зная географии, можно смело утверждать, что это был истинно русский город.

Я так и не смог установить, когда же возник в памяти прославчан Мой Сей. Отец мне говорил одно, бабушка — другое, а чудом уцелевшие до наших дней бывшие жители города Прославля — третье, четвертое, пятое, шестое и так далее. Но все при этом связывали Мой Сея с чернилами, из чего я заключил, что он был всегда. А с чернилами потому, что он варил чернила в своем крохотном, пропахшем натуральной грамотой домишке и снабжал ими гимназии и присутствия, училища и канцелярии, школы, конторы и вообще всех

грамотеев города Прославля. Известно, что для разных целей употребляются разные чернила: нельзя же писать черными любовное письмо или зелеными — запись в конторской книге, правда? И Мой Сей не просто изготовлял чернила: он делал те чернила, которые нужны, то есть разные. Черные из чернильного орешка, закиси железа, лимонной кислоты и сахара; канцелярские с добавкой отвара сандалового дерева и кое-чего еще; красные из раствора кармина в гуммиарабике на уксусной основе; синие из берлинской лазури в том же растворе плюс мед и один секретный компонент; фиолетовые из каменноугольных смол на яблочном сиропе и зеленые из йодистой зеленки с каплей липового сока. Он мог изготовить любые чернила, на все вкусы, что и доказал однажды, создав для атамана Безъяишного небывалые по красоте золотые чернила, которые невозможно было стереть ни с какой бумаги никакими ластиками, и я очень жалею, что секрет их исчез вместе с исчезновением Мой Сея, хотя тогда золотые чернила и спасли ему жизнь. Но всему свое время, как говорила моя бабушка.

А теперь спросите, почему я везде говорю: «Мой Сей» да «Мой Сей», а не Моисей, как полагается? А потому я так говорю, что Моисеев много, а Мой

Сей один. Один был и больше никогда не будет, и в том, что его так звала вся Успенка, нет ничего зазорного или обидного. Так всегда кричала его жена Шпринца, когда ее супруга забирали в участок, а случалось это нередко, потому что чернильный Мой Сей не умел кривить душой даже по настоянию полиции. И тогда его забирали, а Шпринца немедленно срывала с себя платок, распускала по плечам волосы, бегала по Успенке и вопила так, что кузнецы переставали ковать свое железо:

— Ой, Мой Сей! Ой! Мой! Сей!

Она выкрикивала каждый слог как отдельное слово до тех пор, пока не лопалось терпение у наиболее уважаемых граждан. Тогда они надевали черные сюртуки, брали в руки посохи (прощения прошу, но трости носили в Крепости, палки — в Пристенье, и на долю стариков Успенки оставались только посохи) и шли к подходящему начальству.

— Мы очень извиняемся, ваше высокое превосходительство, но чем будут писать в тетрадках ваши детки, если чернильному мастеру поломают ребра, голову или, упаси бог, руки?

Это действовало, но спустя какое-то время все повторялось, и весь город Прославль слышал про

Мой Сея и видел, как постепенно седеют пышные волосы его жены, сперва черные, как лучшие чернила для казенных бумаг, а в конце — белые, как те чернила, которые отказался однажды сварить великий чернильный мастер для… Ну да об этом впереди.

Мой Сей не любил драк, но ввязывался в каждую непременно, потому что любил справедливость. Однако известно, что далеко не все драки на свете возникают на этой основе, и чернильному мастеру куда реже доставались благодарности, чем оплеухи, но унять его было немыслимо. Жажда справедливого суда, мучившая Россию со дня ее зачатия, мучила его тоже, но, в отличие от России, Мой Сей удовлетворял эту жажду раз в году. На Крещенье.

По вполне объяснимым причинам Успенка не могла полностью оценить выдающихся достоинств продукции Мой Сея, но она быстро оценила его потребность в справедливости, включив мастера в состав судейской бригады еще в том возрасте, когда ему полагалось быть совсем в иных рядах. Однако к тому времени Шпринца пронзила все уши своими воплями, и споров по поводу возраста не возникало. Возникло иное осложнение.

— Выходит, этот чернильный жид будет нашим судьей? — возопило Пристенье.

С их стороны на лавке всегда сидело пятеро православных, а вот со стороны Успенки оказался интернационал, который я должен перечислить, а то мы потом не разберемся. С точки зрения племенной успенская скамья была представлена русским, поляком, татарином, финном и вот теперь еще и евреем, а с позиции вероисповедания — православным, католиком, мусульманином, лютеранином и иудеем. В этой каше запутался бы любой, и, чтобы этого не случилось, я отступлю от рассказа и по порядку познакомлю вас с каждым судьей — с тем уважением, с которым меня знакомила с ними моя бабушка. Итак, слева направо.

Данила Прохорович Самохлёбов делал такие колеса, что заказчики приезжали из самого Валдая, а уж там-то, да еще, пожалуй, в Твери, понимали, что такое настоящее тележное колесо. С таким талантом и при такой славе жить бы Даниле Прохоровичу в достатке да в Пристенье, ходить бы каждый день в сапогах гармошкой, выпятив живот из-под пяти жилеток, да покрикивать себе на работников, а он жил на Успенке, долгов не любил, но и лишнего не имел и ходил в сапогах только в церковь по воскресеньям, а в прочие

дни шлепал в опорках по двору, заваленному материалом, начатыми работами да неудачными колесными парами, которые сам же браковал по одному ему известным признакам и никогда никому не продавал ни за какие деньги.

— Данила Прохорыч, уступи ты эту пару. Ну, глянулась она мне, художество в ней, понимаешь.

— Непродажная, — хмуро говорил мастер, обычно улыбчивый, но сердитый на собственные неудачи.

— Да почему же непродажная, Прохорыч, помилуй? Я к тебе за триста верст приехал, ты говоришь: нету колес, а во дворе вона какая пара. Да такая пара, ежели не соврать, так до самого Иркутска доедет и обратно вернется. Уважь, Прохорыч!

— Я труд свой поболе всего уважаю. А труд уважать — значит огрехи не скрывать. Видишь, куда сучок попал? Недоглядел я его, такое дело.

— Да что он, в глазу, что ли, сучок этот? Да я с таким сучком…

— Непродажная пара, вот тебе последнее слово. Хочешь — жди, когда новую сделаю, хочешь — к другому мастеру ступай.

Из этого следовало, что Данила Прохорович Са-

мохлёбов был не просто колесником, а колесных дел мастером; он не просто делал свои колеса — он творил и смысл жизни своей видел в создании колесных пар, вечных и звонких, как песня. Он никогда не закупал материал ни саженями, ни возами, как бы дешево этот материал ни шел в его руки. Он бродил по лесам в тихие дни бабьего лета и присматривал матерые деревья, которые метил собственным клеймом и покупал поштучно, а если владелец артачился, то и воровал, чего уж греха-то таить, раз материал того стоил. Он выискивал вязы с узловатым здоровым ядром для ступиц, ясень для спиц, витые дубы на обода, рубил их поздней осенью, вывозил весною, а сушил только ему известным способом. Он питал пристрастие к цельным ободам, которые гнул из выдержанного дуба в горячем масле, а если уж заказывали особо тяжелую пару, то составлял обод не из шести косяков, как все мастера, а из четырех, которые соединял шипами своей, самохлёбовской формы и стягивал горячей шиной всегда только у одного кузнеца — у старого Павлюченки, который пропил все, кроме неистовой любви к саням и телегам.

Таков был главный судья Успенки, в прошлом лихой кулачный боец Данила Прохорович Са-

мохлёбов, а пишу я о нем так подробно потому, что был он, кроме всего прочего, еще и моим прадедом, на колесах которого катили не коляски и брички, не кареты и телеги, не тарантасы и лесовозные роспуски — на них сама Россия катила из тех времен в эти, из века девятнадцатого в век двадцатый.

Следующим — слева от Самохлёбова — непременно усаживался Юзеф Янович Замора, широко известный никому не нужными женскими козловыми сапожками с ушками не слева и справа, а спереди и сзади. Сапожки были на наборном каблучке, колодка — удобной, работа — честной, но, увы, Юзеф Янович не признавал моды, а потому в конце концов в его добротно сшитых сапожках с ушками спереди и сзади щеголяли только на Успенке. А какой может быть заработок у сапожника на Успенке, если там со времен первопоселенцев сапоги носят исключительно в долг? И у Юзефа Заморы было множество долгов — своих и чужих, а денег не было никогда, что и увело в результате его младшенькую Малгожатку, которую он звал «малпочкой», в дом мадам Переглядовой… Но всему свое время, как говорила моя бабушка.

Кроме долгов и непутевой малпочки, Бог на-

градил Юзефа Замору невероятной честностью. Если он говорил «да», он делал «да», а если он говорил «нет», его можно было четвертовать, но он не ударил бы пальцем о палец. Если он брал в долг стакан пшена и девятнадцать спичек, он возвращал стакан со жменей и двадцать спичек, хотя для этого ему приходилось занимать то и другое у третьего лица. Он был настолько честен, что при всей своей католической, а это значит сверхнормальной, религиозности признал существование Аллаха и Магомета, поскольку иначе не мог объяснить, почему на свете живет такой хороший человек, как Байрулла Мухиддинов, его друг и сосед по судейской скамье.

Байрулла Мухиддинов знал всех лошадей города, а все лошади знали Байруллу и — так уверяла меня бабушка — при встрече непременно кивали тяжелыми головами. Байрулла при одном взгляде на годовалого стригунка мог определить его способности, силу, характер, судьбу, любимый аллюр и день смерти. Он учил молодых рысаков рыси и скаковых — галопу; он советовал, в какую телегу запрячь битюга и какая оглобля при этом должна быть толще, потому что необъяснимо предугадывал, на какую сторону будет заваливать конь на обледенелых спусках Прославля. Он

определял возраст жеребца, не заглядывая в зубы, и знал, сколько следует заплатить за кобылу, которую по дешевке продавал невероятно орущий цыганский табор. Он предсказывал, скольких жеребчиков принесет молодая кобылка и где следует подбирать ей пару. Он лечил от запала и засечек, от лишаев и сапа, от задыха и екающей селезенки настоями и мазями, которые делал сам. Байруллу приглашали не только в Пристенье, но и в саму Крепость, если заболевала, трудно рожала или вдруг начинала дурить какая-нибудь лошадь, и он шел пешком с Успенской горы через Пристенье, крепостные ворота и порою за Соборный холм, потому что у него никогда не было собственного коня, а было восемь детей от своей жены и шестеро от умершего брата. И еще Байрулла никогда не брал денег за то, что лечил лошадей: он считал, что доброе дело нельзя оскорблять расчетом. Над ним громко потешалось Пристенье, его сдержанно уважала Крепость, и его открыто и горячо любила Успенка. И конечно же все лошади города Прославля — от глупых жеребят до седых жеребцов.

— Слушай, пожалуйста, не зови коня Абреком. Он добрый, он послушный, он ласковый. Какой он Абрек, пожалуйста?

И хозяин — даже если это был сам пан Вонмерзкий из Крепости или сам господин Мочульский из Пристенья — тут же менял кличку, ибо все знали, что Байрулла Мухиддинов никогда не говорит понапрасну. А когда проезжий офицер пренебрег его предупреждением и не подтянул подпругу перед спуском с Большой Дворянской, то и остался навсегда на Крепостном кладбище нашего города, убитый собственной лошадью и упрямством.

— Слушайтесь Байруллу, господа, — сказал на похоронах сам господин губернатор.

Но однажды Байрулле подарили-таки молодую кобылку, и он не смог отказаться. Трудно рожала лошадь у ломовика Солдатова, единственная кормилица большого семейства коренных успенцев. Байрулла сутки просидел с нею рядом, все время оглаживая и говоря ласковые, добрые слова, и кобылка поднатужилась и родила двойню.

— Это Бог тебе второго за доброту послал, Байрулла, — сказал Солдатов, вытерев бородой слезы. — Выбирай, какого желаешь.

— Слушай, пожалуйста, зачем меня обижаешь? Ты мой друг, мой сосед, а я и с чужого за добрые дела полушки не возьму.

— Я не плачу, Байрулла, я делюсь. Чем богат,

тем и делюсь.

Задумался лошадиный мастер после этих слов. Час молчал, время пришло — намаз сотворил и сказал:

— Спасибо тебе, пожалуйста, сосед. Я беру вон того, со звездочкой: у Теппо Раасекколы через два года лошадь помирать начнет, понимаешь, а откуда же у него деньги на новую?

Знаете, что такое ломовик? Ломовик — это грузовой извозчик. Летом на огромных тележных платформах, зимой — на огромных санных он от темна до темна возит самые разные грузы со станции в Крепость, из Крепости — в Пристенье, из Пристенья — в любую часть города, кроме разве Успенки, которая свои грузы всю жизнь носит на собственных плечах. А в Крепости и на Успенке такие горы, такие подъемы и кручи, что зимой груженые сани задушат лошадь на спуске, если зазевается извозчик. И чтобы этого не случилось, чтобы оберечь свою кормилицу, возчик всегда имеет с собою лом, которым удерживает, направляет и притормаживает как сани, так и телеги. Потому-то извозчики эти и назывались в Прославле ломовиками, что всегда были при ломе или лом был при них.

Теппо Раасеккола был знаменитым ломовиком,

поскольку мог завязать свой лом на шее на манер галстука, какой носили в Крепости чиновники и старики. А однажды он внес на собственной спине концертный рояль в зал Благородного собрания, что на втором этаже, чинно спросил, куда ставить, а ему ответили, что не сюда, а в зал Дворянского собрания, что на третьем этаже, только двумя кварталами дальше. Теппо молча развернулся, отволок рояль вниз, на ходу решил, что не стоит ради двух кварталов беспокоить лошадь, и неспешно доставил инструмент туда, куда требовалось, успев по дороге переговорить со знаменитым адвокатом Перемысловым о пользе физического труда. Вероятно, какая-то польза от этого труда была, поскольку от удара Теппо у быка шла кровь из ушей и сразу подгибались все четыре ноги, в связи с чем решением общего судейского совета ему запрещено было драться на Крещенье, но избрали его судьей не только в утешение: Теппо безошибочно определял, был удар чистым или в кулаке находилась свинчатка, наносили его спереди или подло подкрадывались сзади. Тогда он молча шел в самую свалку, раздвигая бойцов, как волны, брал нарушителя запретов за грудки и так его встряхивал, что тот уже никогда более не выходил на кулачный кре-

щенский лед.

А еще Теппо не любил полицию, потому что она упорно именовала его Дровосековым, недолюбливал Пристенье, называвшее его — за спиной, разумеется! — белоглазой чухной, и любил свою Успенку, которая запросто звала его Степой, а фамилию выговаривать так и не выучилась. Да и зачем человеку фамилия, если он пока еще не в участке? Но из всей Успенки он больше всего любил Кузьму Солдатова, которого почитал, как отца, и… Впрочем, всему свое время.

Ну а пятым судьей стал Мой Сей, заменив Евсея Амосыча Сидорова. Евсей Амосыч всю жизнь проработал наборщиком в «Прославльских ведомостях», всю жизнь кашлял, ругал власть, пил водку, а потом вдруг увлекся совсем даже иным, пить перестал и отошел от крещенских забав. Он был хорошим человеком, оставил добрую память и добрую дюжину детей вопреки чахотке, водке и адской работе, и его долго не могла забыть Крепость, а еще дольше Успенка, но…

Но дело в том, что я никак не могу перейти ни к судьям противной (это уж точно!) стороны, ни к зрителям, ни к болельщикам, ни к самой крещенской битве, пока не расскажу еще об одном человеке. Жительствовал он, естественно, на

Успенке, добывал хлеб насущный честным кузнечным молотом, арендовал кузню у пьяницы Павлюченки, жил у названой матери, имел от роду боевой возраст и дружил с Теппо Раасекколой, хотя Теппо был старше его по меньшей мере лет на пятнадцать. Звали его Колей Третьяком, и был он натуральным таборным цыганом, десять лет назад забытым, а точнее, брошенным родичами на Успенке по причине совершенно неизлечимой горячки, с которой не могли совладать даже всеведущие цыганские старухи. Они лишь признали болезнь заразной, табор во спасение остальных детей сунул обеспамятевшего Колю на паперть популярнейшей (впрочем, и единственной) на Успенке церкви Варвары-великомученицы, что напротив синагоги, левее костела, сразу же за мечетью, и с причитаниями и воплями сгинул в неизвестности. А совсем было преставившегося великомученице Колю нашла бабка Монеиха, сочла находку Божьим знамением и выходила мальца одной ей известными травами. Да так выходила, что Коля стал лучшим кулачным бойцом не только Успенки, но и всего города Прославля, чему есть сохранившееся в устных преданиях любопытное свидетельство.

В Крепости на Большой Дворянской прожи-

вала коренная прославльская семья, ведущая поименно дворянский свой род от стремянного князя Романа, некогда владевшего нашим славным городом. От стремянного до времен Коли Третьяка путь был тернист и грешен, а потому потомки славного предка обзавелись массой чудачеств, о которых мне еще рассказывать да рассказывать. А пока лишь сообщу, что одного из них занесло то ли в Кембридж, то ли в Оксфорд, откуда он, как гласит предание, и приехал на очередные вакации в родной город. Был он человеком общительным, веселым, много повидавшим и о многом говорившим (а потому и подозрительным), и звали его Сергеем Петровичем Белобрыковым. Появление его в родном городе особой сенсации не вызвало, поскольку девы города Прославля, как и все девы на свете, любили сегодняшних героев, а не завтрашних бакалавров, а ведь именно им, девам, всегда точно известно, кого надо встречать с шумом, а кого не надо. Однако наглотавшийся английского своеволия Белобрыков на крепостных дев внимания не обратил, но сотворил такое, что все вдруг лишились дара речи, когда он — аристократ и англоман — по собственному желанию возник в Пристенье в довольно темном во всех отно-

шениях трактире Афанасия Пуганова и спросил Колю Третьяка. Сбитые с толку завсегдатаи и два штатных осведомителя — полиции и охранки — добровольно сбегали за кузнецом, умолили и доставили.

— Ты и в самом деле лучший кулачный боец? Хочешь выйти со мной на ринг? Если ты выдержишь пять раундов, я плачу полсотни: по десять рублей за раунд.

— Не, — вздохнул Коля. — Зашибу еще, не дай бог.

— И по пятнадцать за каждый последующий раунд! — громко возвестил будущий бакалавр и будущий бессрочный каторжник.

Белобрыков уехал, весь трактир орал, и Коля пошел за советом к самому Самохлёбову.

— Данила Прохорыч, — сказал он, войдя и степенно, как и положено уважающему себя мастеру, перекрестив лоб. — Барин Белобрыков на драку нарывается. Что делать, ума не приложу.

— А делать вот что, Коля. Первое: драться только при самом господине полицмейстере. Второе: три барских удара стерпеть. И третье: вдарить один раз, спросив у полиции разрешения.

Коля выложил условия. Сергей Петрович согласился. Назначили день, площадку оцепили

канатами, приехал полицмейстер, и судья из Крепости — кстати, вполне натуральный мировой судья Кустов Аполлон Венедиктович — брякнул колотушкой в натуральный гонг. Белобрыков вылетел на площадку в полосатом трико и огромных перчатках, помахал ими, влепил настороженному Коле первую серию и отскочил.

— А ничего, барин! — радостно объявил Коля, утирая разбитый нос.

Воодушевленный похвалой англоман повторил серию, эффектно засветив противнику под глаз.

— Ну, хорош, барин! — еще радостнее удивился Коля.

— Защищайся! — крикнул первый в городе Прославле боксер, бросаясь в новую атаку.

— А можно? — спросил Третьяк самого господина полицмейстера.

— Можно, братец, можно, — милостиво улыбнулся сам. — Попробуй.

«Братец» попробовал. Сергея Петровича увезли в больницу. Полиция хотела тут же забрать Колю, но за него вступились все зрители, взывая к полицмейстерской совести. В конце концов забрали не Колю, а Мой Сея, и все угомонились, кроме Шпринцы. Впрочем, Мой Сея выпустили к вечеру того же дня целехонького, а еще через

месяц господин Белобрыков в торжественной тишине полутемного во всех отношениях трактира Афанасия Пуганова вручил Коле Третьяку сто рублей, бутылку натурального английского джина и клятву на вечную дружбу. Бутылка была распита незамедлительно, и, как это ни покажется странным, клятву Сергей Петрович сдержал и исполнил.

Сто рублей жгли Колину душу, а потому решено было прогулять их немедленно, но с шиком, какой редко могли себе позволить мастера Успенки. Да в общем-то и не стремились к нему, но душа Коли все же была цыганской, и кровь в нем бурлила, как кипяток в самоваре.

— К мадам Переглядовой!

Мадам Переглядова держала заведение мощностью в пять девочек в Пристенье неподалеку от базарной площади. Три девочки обслуживали местную клиентуру, двух мадам приберегала для гостей из Крепости, а на долю Успенки ничего не оставалось, поскольку Успенка издавна привыкла обходиться своими силами. В заведении успенцев не знали и знать не желали, а поэтому с Колей пошел непьющий и спокойный Теппо. На случай, если вышибала Колю не пустит, перенести невежливого этого вышибалу, к примеру, на

паперть Варваринской церкви. Но предосторожности оказались излишними: мадам встретила героя дня почти на уровне градоначальника, приказав зажечь все свечи и свистать всех наверх. И одна за другой мимо Коли, трех его приятелей и флегматичного Теппо продефилировали Эмма, Ляля, Геся, Рося и Дуняша.

— Огонь девочки! — причмокивала мадам. — Парижские тайны!

Однако Коля оставался холоден и неприступен. В другое время Переглядова послала бы его подальше, но цыган стал знаменитостью, и обижать его не следовало.

— Коля, только для вас! — шепнула Переглядова, вдруг решившись. — Идемте, Коля.

И, заведя в тайные покои, продемонстрировала девчонку лет пятнадцати: рыжую, с белой кожей и змеиными глазами. И так девчонка была необыкновенно зла, беззащитна и хороша, что Коля только свистнул.

— Потолкуйте с ней, Коля, — сказала мадам. — Она чуть не выцарапала глаза одному клиенту из Крепости, но вы можете ее укротить, если хочете.

И ушла. А девчонка сказала:

— Только попробуй.

И показала фруктовый ножичек.

А Коля строго спросил:

— Ты зачем здесь? И откуда? И как тебя зовут?

Девчонку звали Песей, была она из еврейской слободки, называемой Садками, а из дома ее прогнал отец, когда застал с женатым соседом. Сосед поспешно сунул ей три рубля и адрес заведения, но трех рублей уже нет, а в заведении Песя быть не желает.

— Все равно в Москву убегу!

— Это разговор, — сказал Коля и достал дворянскую сотню. — Держи и сквози в те двери. Часок я тебе обеспечу, а дальше поглядим, такая ли ты умная, как думал твой папа, когда выгонял тебя из дома…

Я пишу непоследовательно, и у вас, наверно, все перепуталось в голове. Ну, во-первых, никто последовательно не вспоминает, за исключением, конечно, старых генералов, а во-вторых, кто вам мешает бросить эту книжку? Я понимаю, за кино вы платите деньги, и их надо досидеть, даже если вам давно ясно, что никто никого не убил, не убьет и убивать не собирается, но чтение-то у нас пока еще бесплатное, правильно? Так швырните книжку и включайте телевизор. На здоровье.

А для тех, кто не бросил, маленький мате-

матический парадокс. Если взять человека за исходную точку, то эта точка сама по себе ничего породить не может. Ни одной линии, именно потому, что она одна; рождают линию две точки. И не только геометрическая линия, но и линия человеческой жизни проходит минимум через две точки, расположенные в одной плоскости. Таким образом, человек прямолинеен изначально, если под плоскостью разуметь общество, где суждено было встретиться тем двум точкам, которые и определили линию всей его жизни, то есть его родителей.

Так обстоит дело в будущем. А вот с прошлым значительно серьезнее, ибо корневая система каждого человека без всякого исключения бесконечно велика, представляя собой арифметическую прогрессию с множителем «2». У каждого из нас ДВА родителя (отец и мать), ЧЕТЫРЕ (2 × 2) деда плюс бабки, ВОСЕМЬ пра… ШЕСТНАДЦАТЬ прапра… ТРИДЦАТЬ ДВА прапрапра… и так далее. Поняли, куда я гну? Я гну в землю, стремясь напомнить, что корни человека заведомо больше его кроны хотя бы потому, что в кроне своей он волен, а в корнях нет. Он может не иметь детей, если не хочет, но ему некуда деваться от дедов и прадедов, бабок и прабабок во всей их прогрессив-

но-арифметической мощи. А это значит, что из всех живых существ только человек есть фактор исторического развития, исторического отбора, исторического прогресса или регресса — это уж кому как повезет. И когда я это все осознал, меня оглушило, и я понял, что не могу начать рассказ иначе, чем начал, то есть от времен пра…

Ведь человек связан с прошлым, как коренной зуб. И связан, естественно, кровью и плотью, а не только памятью, потому-то невольно думается и думается о нем — о прошлом, о собственных корнях, о миллионах личных предков, которые взрастили тебя, удобрив собою почву, на которой и проросло твое собственное «я». Если существует история у твоего народа, ты не случайный каприз судьбы, не результат спаривания, женской оплошности или мужской настойчивости; ты фокус поколений, что жили до тебя, самим своим существованием обеспечив именно твое появление. Ты сумма всего лучшего, что скопили они, их осознанный или неосознанный идеал, мечта, вера и надежда. Тогда ты закономерен в мире сем, если это так; тогда ты вписываешься в бесстрастные арифметические пропорции на основании непреложности самого твоего появления. Иными словами, если у тебя есть прошлое, есть твои

прапра, есть твой личный город Прославль, ты явление истории, ты дитя истории, ее непременное составляющее, ступенька в завтра. Ты мечта ушедших поколений, зеленый листок на древе жизни, а не мертвое свидетельство о рождении. И давайте вспоминать, иначе мы просто так и не поймем, кто же такие — мы…

Однако вернемся на минуточку в приличное заведение мадам Переглядовой, куда, случалось, заглядывал и сам… кхм… предварительно выслав наряд полиции, чтобы обеспечить полную тайну. Этот наряд с таким рвением спешил к месту приложения старания, что о предстоящем визите… кхм… знало все Пристенье вкупе с Успенкой. Но я все равно не смогу миновать ни девочек, ни самой мадам, а потому пока опущу намеки. А что, собственно, изложу? А то, что Коля и его приятели славно гульнули в ту ночь на деньги Теппо Раасекколы, девчонка как в воду канула, а мадам, выкричавшись и нагрозившись, затаила против Коли некоторую толику яда в своей груди, на которой так любил отдыхать сам… кхм… И Колина слава загремела на весь Прославль.

Подогретый странным исчезновением таинственной девицы из заведения, дамско-девичий безгрешный интерес вскоре достиг небывалой

высоты. Благонравные барышни из Крепости в сопровождении строгих дуэний замелькали на Успенке, заинтересовавшись вдруг бытом мастеровых; изведавшие Париж и Вену дамы катались новым затяжным маршрутом в собственных и даже наемных экипажах; пышные купеческие дочки с Пристенья мотались с угрюмыми тетками по кривым тропочкам Успенки, весьма часто вступая в хлесткие перепалки с бойкими местными девушками, которые при малейшей возможности оказывались там же, где барышни, дамы и дочки, — у раскрытых настежь ворот кузницы. Такого признания не добивался еще ни один прославльский герой, и естественно, что у Коли объявилась масса тайных завистников и явных соперников. Одного из завистников мне придется коснуться: звали его Борисом Прибытковым, и был он единственным сыном мелкой успенской лавочницы Маруси, что держала лавочку со всякой всячиной за Варваринской церковью, наискосок от дома Теппо Раасекколы.

Лет… сколько-то там назад, когда покойная мама мадам Переглядовой доучивала высшему обхождению свою очень способную дочь, никто и слыхом не слыхивал о Марусе Прибытковой, но зато многие почтенные отцы семейств, офицеры

и кое-кто из чиновников были весьма коротко знакомы со страстной турчанкой Зарой. Правда, в заведении она пробыла недолго, а потом вдруг объявилась на Успенке под нормальным христианским именем, на которое и приобрела маленький домик с двумя старыми грушами и лавчонку со всяким женским товаром: иголками, нитками, наперстками, пуговицами, тесемочками и прочим, вплоть до лоскутков на всякий цвет и на всякий вид. Откуда у нее взялись деньги на дом, лавку и товар, никто не знал и никто не спрашивал (Успенка имела понятие), а только после всех торговых сделок молодая владелица взяла да и родила парнишку исключительно с божьей помощью. Парнишку крестили в Варваринской церкви, нарекли Борисом, а запомнилось это крещение потому, что в церкви почему-то оказался один из наиболее уважаемых коренных прославчан Петр Петрович Белобрыков: я же говорил вам, что род сей успел обзавестись массой чудачеств. И это чудачество стало первым чудом в биографии Бориски Прибыткова. А потом…

Лет этак с пяти за Бориской стал трижды в неделю прибывать экипаж из Крепости, за крепкими стенами которой мальчишка исчезал на добрых шесть часов. Так продолжалось долго, и

тянулось бы, может, и еще столь же долго, если бы Бориска вдруг не взбрыкнул ни с того ни с сего. Конечно, ни я, ни тем более в высшей степени благородная Успенка никак не связываем прогулки в коляске с посещением Петром Петровичем Белобрыковым Варваринской церкви: это всего лишь совпадение, но совпадение это очень даже отразилось на судьбе Бориски Прибыткова. Детство, проведенное вне общения с родной ему Успенкой, таинственный экипаж и странное — ну, будто барчонок, ей-богу! — поведение самого Бориса встали непреодолимой преградой между ним и успенской вольницей. Признавая в нем своего, Успенка, однако, не стремилась к дружеским контактам, и Бориске Прибыткову суждено было расти без друзей, без учителей, без покровителей и без покровительниц. И вероятно, именно это и воспитало в конечном счете из Бориса Прибыткова классического гордеца. Он избегал сверстников, стремился к одиночеству и — что очень настораживало не столько Успенку, сколько полицию — много читал. Конечно, Успенка читала тоже — те, кто умел и хотел, — но Бориска читал совсем не жития святых и даже не «Прекрасную магометанку, умирающую на гробе собственного мужа», он читал Лермонтова

по-русски, Шиллера — по-немецки и Гюго — по-французски, для чего регулярно брал книги в Крепости, в библиотеке Дворянского собрания по именному разрешению самого вице-губернатора.

Но без друзей, говорят, и Агасфер не обходился, и Бориска очень скоро и очень близко сошелся с Филей Кубырем — знаменитым успенским дурачком, нырявшим в прорубь в водокрещи за кое-какое добровольное подаяние. Известно, что каждая деревня имеет своего дурака: Крепость, к примеру, обзавелась Гусарием Улановичем, имевшим счастье сражаться с турками за святой крест и свободу христианских народов, но обойденным высочайшими милостями исключительно благодаря козням генерала Лошкарева; Пристенье содержало бабку Палашку, на которую порой нападал стих пророчества, и тогда все сбегались ее слушать, бросив лавки, конторы и мастерские; ну а на Успенке проживал Филя Кубырь, валявший дурака столь дерзко, а порой и безответственно, что семижды был препровождаем в участок по подозрению, но отпускаем по причине вполне дурацкой реакции на полицейские кулаки.

— Гляди, Филя, забьют они тебя до смерти, — вздыхала бабка Монеиха, любившая всех на

свете, но больше всего найденного сынка Колю Третьяка да своего постояльца Филю Кубыря.

— Да ничто! — отмахивался Филя. — Они же смеются, когда бьют, а кто смеется, тот не забьет.

Филя был абсолютным бессребреником, но поскольку есть-пить требовалось и ему, то приходилось изыскивать. То, что собирало ледяное ныряние — Пристенье особо любило утереть Успенке нос жертвенной крещенской рублевкой, — он отдавал Монеихе, а в течение года перебивался ловлей певчих птиц, лягушек и мелкой рыбешки. Птиц он сбывал в Пристенье, лягушек — в Крепости для ученых целей, а из мелкой рыбешки варил ушицу для собственного прокорма. Зимой, как я уже говорил, жил у бабки Монеихи и по дням святых великомучеников посещал Варваринскую церковь исключительно босиком, не обращая внимания на лютый мороз, а с мая объявлял, что идет по святым местам, и исчезал из города до холодов. О тех святых местах был осведомлен только Бориска: это была пещерка в речном обрыве, где, случалось, друзья жили месяцами, питаясь рыбкой, раками да всякого рода съедобными травами, которых Филя знал великое множество.

— Вот это, Бориска, и есть Божий рай, — умилял-

ся Филя. — Когда сыт от трудов своих. И ничего-то человеку больше не надобно, кроме чистой совести. Ничего!..

И вот здесь самое время рассказать об одной странности Бориса Прибыткова, странности, которую не могли понять — а значит, и простить — ни Успенка, ни тем паче Пристенье, и только Крепость понимающе улыбалась, поминая при этом яблочко с яблонькой: Борис Прибытков не только не являлся, но и не стремился стать мастером. Он умел делать все: чинить часы и музыкальные шкатулки, писать стихотворные мадригалы по заказам юных чиновников, репетировать гимназистов-второгодников и малевать яркие вывески купеческим династиям Пристенья. Он зарабатывал вполне прилично, но, с точки зрения работящей Успенки, как-то несолидно — у него не было мастеровой профессии, социального статуса Успенки, лица на ее групповом портрете. А если к этому добавить, что работал Борис только до собственных именин — это до Соловьиного дня, стало быть, — а потом исчезал вплоть до Покрова, то понятно, что никто из уважающих себя мастеров никогда не называл его иначе чем Бориской и никогда не подавал ему руки. Никто, кроме Мой Сея, потому

что Мой Сей громко считал такое отношение несправедливым.

— Ой, Мой Сей, Мой Сей, перестань ручкаться с сынком этой галантерейной лавочки, — опасливо вздыхала Шпринца. — Или ты хочешь, чтобы тебя колотили не только в участке?

— Бог определил лишь одну награду за справедливость, надежда моя, — улыбался в бороду великий чернильный мастер. — Правда, у людей всегда есть выбор: или терпи несправедливость, или терпи побои.

Вот так обстояли дела, когда Коля Третьяк побил Сергея Петровича Белобрыкова, заработал сотню, отдал ее неизвестной девчонке и прогремел на весь город Прославль. И если прежде Бориска не обращал особого внимания на отношение к себе, то теперь вдруг взревновал и дал Филе Кубырю слово, что не позже чем через полгода отберет у Коли Третьяка лавровый венок героя. Но так как это произошло и в самом деле через полгода, то мне придется прервать плавность повествования, поскольку я представил почти всех действующих лиц, а действие не сдвинулось ни на йоту. Так, может, хоть во второй главе оно стронется с места?..

Глава вторая

Мне часто снится город моих предков. Суровая, аристократичная и неприступная Крепость с чисто подметенными улицами в каштанах и кленах; с аккуратными особнячками, равными не тщеславию владельца, а его возможностям; с рессорными экипажами на резиновом ходу; с всадниками на таких лошадях, какие могут только присниться Байрулле; с тихими, малолюдными и очень торжественными церквами и соборами, с чинными гимназистками и бахвалами-гимназистами, с франтами-офицерами и старательными чиновниками, с благолепием прошлого, благополучием настоящего и отсутствием будущего. Это Крепость. Цитадель традиций, аристократизма, чести, благородства, презрения, холода, надменности и чудачества. Она не стоит над Прославлем — она парит над ним.

Если Крепость — вершина, то Пристенье — подножие. Солидное, неспешное, сытое, хитрое, а потому и недоверчивое. Мощенные крупным булыжником улицы подметены, но как-то неопрятно смотрятся — может быть, потому, что голы: здесь деревья на улицах заменяются

георгинами в палисадниках и геранью на окнах. Дома пусты, высоки, длинны, широки и вообще неестественны, ибо выявляют не вкус владельца, а его кредит; маленькие — и не очень маленькие — деревянные дома и домишки служат фоном купеческим замкам Пристенья, а также убежищем второсортности, вдовства, начинающих, услужающих, доживающих и ворья, которого тут что воробьев. Церквей здесь что лавок, но лавки жизнеспособнее церквей, потому что они служат живым, тогда как церковь Пристенья существует с отпеваний да посмертного отпущения грехов, и рынок куда священнее для жителя Пристенья, чем храм Господень. Здесь торгуют хлебом и девочками, скотом и своднями, колониальным товаром и порнографией из Одессы, выдаваемой за парижскую. Можно было бы сказать, что жизнь здесь кипит, если бы могло кипеть ведро с тараканами. Оно кишит, и жизнь в Пристенье тоже. Кишит жизнь: скрипят бесконечные обозы и бесконечные засовы, грохочут сгружаемые товары и отпираемые лавки, визжат свиньи в мясных рядах, дешевые девочки вокзалов и ножи на точильных камнях. И непременно где-то кого-то бьют: то ли приказчики вора, то ли воры приказчика, то ли те и другие вместе цыгана,

поляка или студента. Это Пристенье. Чрево города, его жратва и его отбросы, его наслаждения и его отрава, его сегодняшняя сытость, его похоть и его равнодушие. Оно ненавидит прошлое, ибо прошлое его темно и преступно, сочно живет настоящим и недоверчиво поглядывает в будущее, уповая на бессмертный рубль куда больше, чем на бессмертную душу.

Если Крепость потребляет, Пристенье поставляет, то должен же кто-то делать то, что можно потреблять и поставлять? Должен. И есть. И пребудет во веки веков: это Успенка.

Здесь улицы заросли травой, куры шарахаются из-под ног, голубки воркуют на дырявых крышах, а собаки по совместительству охраняют все дома разом. Я сказал, что улицы заросли, но, строго говоря, здесь и нет-то никаких улиц. Здесь исстари строились, как хотели, и если окна Данилы Прохоровича смотрят на дом Байруллы Мухиддинова, то окна Байруллы смотрят вообще черт-те куда, но совсем не в окна Самохлёбова; а для того чтобы завезти дрова во двор Юзефа Яновича, надо сперва въехать во двор Теппо Раасекколы, пересечь его под углом, снять кусок забора, разделяющего владения Теппо от владений Маруси Прибытковой, миновать ее двор, выбраться на

какую-то, никому не известную и никуда не ведущую улицу и только потом дотащиться до пана Заморы через угол сада Кузьмы Солдатова. Но это никого не смущает, люди сообщаются друг с другом по кратчайшим расстояниям, не принимая во внимание ни заборов, ни оград, ни чужих дворов, ни общих собак, а гроб с покойником передают на руках по такой прямой линии, которой позавидовал бы сам великий градостроитель Росси. Здесь от зари до зари вздыхают кузнечные мехи, орут младенцы, ржут лошади, смеются женщины, стучат молотки, визжат пилы и бурлят котлы, в которых стирают, варят, кипятят и готовят клей, чернила или гуталин для всего города. И все рядом, все плечом к плечу, в тесноте, да не в обиде; и если чихнули в одном краю, «Будь здоров!» кричат со всех сторон. Кричат весело и громко, даже если идет дождь, потому что Успенка, хорошо помня, что было вчера, и надеясь, что завтра будет не хуже, в поте трудов своих не замечает дня сегодняшнего. И, не зная ни снобизма Крепости, ни завистливости Пристенья, знает только то, что жить, просто жить — не самое скучное занятие на свете.

Когда я думаю об этом городе, я почему-то представляю огромного, старого, невозмутимого

верблюда, неторопливо бредущего сквозь пустыню Истории, волоча все свое достояние в двух своих горбах. Один горб — Крепость, другой — Успенка, а Пристенье — просто прогалина между ними. Ровное место.

Конечно, все три центра, три пупа города Прославля намеревались встречать грядущее столетие по-своему, одинаково не ведая, что оно им готовит, но по-разному уповая на его щедроты. Ждали и жаждали всего, что вмещается в спектр человеческих надежд от социальной революции до севрюжинки с хреном, и только в доме колесного мастера Данилы Прохоровича Самохлёбова ожидания носили вполне конкретный, понятный и радостный характер, поскольку супруга Данилы Прохоровича грозилась разрешиться третьим по счету отпрыском аккурат в ночь под Новый, одна тысяча девятисотый, год. Поэтому в доме царила лихорадочная, но не совсем, что ли, новогодняя суета. Всезнающая бабка Монеиха при очередном освидетельствовании роженицы обнаружила ей одной ведомую остропузость, объявила роды мальчиковыми, вызвала саму мадам Переглядову-старшую (по каким-то мистическим законам эти две почтенные специалистки всегда стремились друг к другу на помощь, несмотря на

то что одна всю жизнь жила на Успенке, а другая — в Пристенье) и выгнала из дома мужчин. А вместо них напустила женщин: делать им было нечего, поскольку никто еще не рожал, и они дружно молились во здравие матери и младенца всем популярным на Успенке богам: мадам Переглядова — Божьей Матери, Фатима Мухиддинова — Аллаху, а Шпринца — Иегове. И ровно в двенадцать ночи, когда отчаливал век девятнадцатый, а причаливал век двадцатый, никто и ахнуть не успел — в том числе и сама роженица, — как на весь самохлёбовский дом отчаянно заверещал ребенок, родившийся с первым боем часов нового столетия. То была моя бабушка, но об этом не знал ни один человек на земле: добрые боги Успенки, которые помогли ей так своевременно встретить очередной век человеческого безумия, умели хранить свои маленькие тайны.

— Караул! — возопил, узнав о прибавлении семейства, колесный мастер. А все потому, что баб много было! Все бабы да бабы!..

В гневе он схватил любовно сделанную им для ожидаемого младенца колясочку из самого лучшего материала и спустил с Успенской горы. Покачиваясь, чудо-коляска все быстрее мчалась с крутизны, а перед рекою почему-то подпрыгнула

и исчезла далеко от берега: ее нашли ровнехонько через восемьдесят пять лет, когда чистили русло. За это время коляска помрачнела и подревнела; ее объявили личной игрушкой легендарного князя Романа и установили на почетном месте в городском музее.

Рождение очередного ребенка в семье колесного мастера прошло не замеченным в Крепости, где победно гремели полковые оркестры, а небо было ярко расцвечено фейерверками. Не обратили на это событие должного внимания и в Пристенье, хмельно рыгающем в век двадцатый тем, что оно сожрало в веке девятнадцатом. И только одна Успенка, верная дружбе в счастье и в несчастье, утешала Данилу Самохлёбова, как могла:

— Крепись, Прохорыч, девка, она тоже человек.

— Кому секреты передам? — убивался пьяный во все ступицы Данила. — Девке баба моя секреты передаст, а я кому? Ну кому, спрашиваю? Филе Кубырю или, может, Бориске Прибыткову? Это ж надо такое наказание Господне: три девки подряд баба выстрелила!

— Четвертый надо пробовать, — сказал Теппо, долго и вдумчиво сосавший свою трубочку ради этих трех слов.

— Четвертый — хорошее число, — подтвердил Байрулла. — Лошадь четыре ноги, курица до четырех считает, собака — четыре щенка. Делай четвертый, пожалуйста.

— Может, оно так, может, оно этак. — Мой Сей с сомнением покачал головой. — Бог считает по своим пальцам, я так скажу.

— Не путай сюда Бога, — строго заметил Юзеф Замора. — Сырой патрон всегда дает осечку, холера ясна. Иди до доктора Оглоблина, Данила, и проверь свои патроны.

— И с каких это пор доктора стали понимать в этих патронах? — визгливо (когда начиналась борьба за справедливость, он всегда подпускал визгу) закричал Мой Сей. — Пан Замора, вы же умный человек, зачем вы даете дурацкие советы? В этих вопросах есть один специалист — мадам Переглядова, и провалиться мне на этом месте, если я вру!

Мастера примолкли, озадаченные простой и, как всегда, несокрушимой логикой чернильного мастера. И молчали долго, так долго, что Данила и Теппо успели осушить по три стопочки. Потом Раасеккола раскурил свою трубочку, посопел ею и с величайшим усилием выдавил из себя еще одно — четвертое! — слово за этот вечер:

— Пробуй.

Грех сказать, что Данила Самохлёбов был завсегдатаем заведения. Когда-то, правда, он заворачивал туда, движимый скорее безгрешной любознательностью, чем грешной плотью, но ему всегда не нравился плюш. И еще визг и бенедиктин, и ходить он перестал, но тут пришлось. Во исполнение совета.

— Здрасте, — сказал он. — Тут вот какое дело…

— Тебе нужна Рося. — Кое в каких вопросах мадам была на диво догадлива. — У нее такой темперамент, после которого тебе собственная супруга покажется огнедышащим Везувием.

Мастер мужественно перетерпел ночь и зарекся на всю жизнь. В конце концов у него все же родился сын, но то ли от этого средства, то ли вопреки ему — непонятно. Мой Сей считал, что помог исключительно его совет, и хвастался этим до конца дней своих, а Данила заранее звал его кумом.

Канун Нового года всегда сопровождался неистовым свинячьим визгом, а первые дни после Рождества и новогодье — обильным мясожором. Вообще если заглянуть в календарь, по которому жили тогда, то современного усредненного едока нашего возьмет сильное уныние

и даже оторопь: почти полтораста дней в году наши предки не ели ни мяса, ни молока, ни того, что из них делают, а четыре поста блюли в особой строгости — Великий сорокаднев, Петров, Успенский и уже упомянутый Филиппов, или Рождественский, поскольку кончался он Рождеством Христовым. Вот тогда-то на радостях и кололи доброго порося, тем паче что Новый год приходился на день Василия Великого, именуемого в просторечии Василием Свинятником, и потные мастера-свинобойцы ходили по дворам с личным холодным оружием. Естественно, никакая свинья не омрачала своими предсмертными воплями покой дворянских особняков Крепости, хотя свежую свининку ценили и там, но мясники Пристенья и кабановладельцы Успенки наводили страху на все живое и без участия чистоплюев-аристократов. И в этом горячем деле героем дня вот уж два года подряд неизменно оказывался племянник торговой фирмы «Безъяичнов и дядя. Мясо, мануфактура и колониальные товары». Что Пристенье понимало под «колониальными товарами», за давностью лет затуманилось полной неясностью, но достоверно известно, что звучное это выражение красовалось на многих вывесках вне зависимости от того, что являлось предметом

продажи — керосин или мука, ситец или квашеная капуста. Колониального племянника звали Изотом, а знаменит он был тем, что любил колоть хряков, и чем внушительнее выглядел этот хряк, тем в больший азарт входил Изот. Делал он свою работу артистически, денег за нее не брал, но требовал сковороду кровянки и бутылку, которую распивал пополам с хозяином.

— Главное дело — это поставить удар, — объяснял он. — Уж если у меня поставлен удар, я тебя и во сне заколю. И ты у меня и не пикнешь!

Однако именно под этот особо знаменитый Новый год у Изота произошла досадная осечка, и доброй половине жителей Успенки, а заодно и почти всем хряковладельцам Пристенья пришлось либо управляться самим, либо звать на помощь других специалистов. Случилось это прискорбное событие потому, что в день свиного Страшного суда Изот, спозаранку выйдя на резню, добрался до бабки Монеихи только к вечеру, заметно при этом пошатываясь. Однако уложил он бабкиного кабана без осложнений, кое-как умылся и пришел в дом, где аппетитно шкварчала большая сковорода с кашей, кровью и ливером. В доме, кроме хозяйки, оказался Коля Третьяк (Филя Кубырь торчал в церкви, переступая босыми ногами

на холодном полу и истово молясь); мужчины уселись у бутылки, бабка подала им сковороду и ушла в закут, где висел разделанный кабан, чтоб там прибраться. Коля налил стакашки, собутыльники выпили, и много повидавший в тот день водки и крови Изот сказал:

— Только из нашего уважения. Ты понял, да? Только из уважения хожу я на вашу вонючую Успенку. Тьфу на нее, чтоб она сгорела, мне свиней и в Пристенье хватает.

— А чем же наши хуже? — спросил Коля из вежливости.

— А тем хуже, что мало их. Мало, понял, да? Татарва да жиды свинину едят? Не едят. А ты, цыганская мор…

Когда бабка Монеиха вернулась в дом, Коля допивал бутылку в одиночестве.

— Ушел, — лаконично ответил он на вопрос, куда же подевался гость-свинобоец.

А гость Изот Безъяичнов месяц отлеживался у дяди, выйдя с перебитым, как у боксера, носом уже после Крещения, а потому и пропустив одно из самых невероятных событий за всю предыдущую историю города Прославля. И все же, прежде чем перейти к этому событию, достойно увенчавшему собою девятнадцатый век романтики и

предзнаменовавшему в то же время наступление двадцатого века точного расчета, я не должен спешить. И потому, что у нас в запасе еще дней двадцать или около того; и потому, что до этого события Прославль встречал не что-нибудь, а смену веков; и потому, наконец, что человека можно сразу определить по трем основным положениям: каков он сидя, стоя и лежа. То есть как человек ест, как он смотрит парад, пожар или драку и как он спит — не в смысле сна, а в смысле любовного бодрствования. Вот это-то и есть исчерпывающий триптих человеческого характера, но живописцы так ни разу и не нацелились в это триединство своими кистями. А жизнь прекрасна, надо жить и уважать тех, кто вкусно ест и умело пьет; лихо шагает в парадном строю или с упоением врывается в чью-то постороннюю потасовку; и с великим пылом сокрушает мебель, перед тем как уснуть на ней усталым и благодатным сном, забыв руку на обнаженной груди той, с которой только-только яростно сражался за право все взять и все отдать одновременно. Ура, человечище, ура!

Итак, пришел новый век с иллюминацией и балами в Крепости, с молебствием и мордобитием в Пристенье, с основательной выпивкой и

рождением внеплановой третьей дочери у мастера Данилы Прохоровича на Успенке. В Крепости пенилось шампанское; в Пристенье пили мадеру, бенедиктин с шартрезом и самогон двойной очистки, который по-тихому гнал Афоня Пуганов (и гнал, говорят, замечательно, со слезой и вишневой косточкой!); Успенка потребляла казенную водку, имея в запасе самоделочки разных видов, цветов и градусов. И лишь одно было общим для всего Прославля в эту ночь: мясожор. Жареная свинина и гречневая каша с кровью, ветчина и холодец, колбасы и ливер во всех видах, сало, и грудинка, и шкварки, и снова мясо, мясо, мясо. Кусками, ломтями, кусищами, оковалками, окороками, боками, ногами, задами и целыми боровами. Вареное, жареное, холодное, горячее, свежемороженое, чуть присоленное, копченое, печеное, пареное и даже сырое — сочное, с луком, перцем и чесночком: ах, какая закуска! Объеденье, упоение в еде, экстаз, великое торжество плоти, ее праздник и радость этого праздника. Будь здоров, земляк, пей, жри — это ведь такая нормальная, такая простая и естественная радость жизни человеческой…

Потом приходило похмелье. В Крепости от него лечились микстурами, каплями, мазями и арома-

тическими солями; Пристенье дрожащей рукой спешило опрокинуть первый стакашек, чтоб мир перестал вращаться, а Успенка с кряхтеньем бралась за работу по дому: чинила, пилила, строгала, колола, мыла и чистила, мечтая об обеде и честно заработанной чарочке. Успенка привычно трудилась. Пристенье столь же привычно лечилось, а Крепость каталась из гостей в гости и с бала на бал. Наступали рождественские праздники, рождественские морозы и рождественские парады.

Они, естественно, происходили в Крепости на Офицерском плацу у чугунного памятника героям Отечественной войны 1812 года, открытого в полувековой юбилей Бородинского сражения в присутствии самого губернатора, главных войсковых чинов, отставных генералов — их всегда почему-то куда больше, чем находящихся при деле, — и многочисленной публики, четко разделенной на три категории и в соответствии с этими категориями располагающейся на крытых трибунах, открытых трибунах и «местах для зрителей». Солидные мастера, как правило, на парады уже не ходили, но девочки с Успенки мчались в Крепость спозаранку, чтобы захватить лучшие места у канатов, а за ними, естественно, ревность влекла и молодых людей. И поэтому

огороженные канатами и городовыми «места для зрителей» заполнялись куда раньше трибун; наступал час внимательнейшего разглядывания уже выстроенных для парада частей.

Рассказывают, что в те времена было куда холоднее, чем сейчас. Конечно, самыми лютыми были крещенские морозы, но и Рождество не баловало теплом, да к тому же рождественские морозы всегда почему-то сопровождались ветерком, а потому седоусые полковые командиры традиционно требовали, чтобы солдат для парада одевали особо тепло, приказывая выдавать парадным расчетам по паре теплых портянок, паре теплого белья и паре шерстяных перчаток дополнительно сверх всяких норм: обмороженный солдат считался самым большим пятном для чести полка.

Офицеров это не касалось. Та же традиция, которая предписывала утеплять солдат елико возможно, создавала все необходимые предпосылки, чтобы заморозить офицера. Лайковые — по руке! — перчатки, хромовые — в обтяжку, на тонкий носок! — сапоги, парадная шинель тончайшего сукна, шелковый шарф, леденящий кожу, — и при этом изволь выглядеть бравым, гордым, обаятельным и очаровательным! А твои

обмороженные ноги и руки завтра будут лечить доктора и мамы, дорогой поручик, и никто никогда не узнает — и ни в коем случае не должен знать! — чего стоил тебе этот рождественский парад и какие боли ты претерпел во имя девичьего восторга трибун и канатного стойла «для зрителей». Минуты казались тебе часами; пританцовывали успенские девочки в валенках, кутались в меха гостьи на трибунах, а ты ходил перед своей ротой с примерзшей к губам улыбкой, ничего уже не соображая от боли и думая только о том, чтобы не упасть. И какой музыкой звучало для твоих обмороженных ушей:

— Парад, смирно! К церемониальному маршу… поротно… дистанция на одного линейного… первая рота прямо, остальные напра-во!.. Равнение направо, шагом… марш!

И ревущая медь оркестра, и согласный грохот сапог за твоей спиной, и ты впереди, с победно сверкнувшим клинком, печатал шаг. И завороженный девичий вздох, единый как для трибун, так и для «мест», и рвущиеся к тебе обещающие, обволакивающие, обвораживающие женские улыбки: ты триумфатор, ты вознагражден, это твой час, поручик!

Парады любят все, но Прославль любил их

особенно. Он любил и любовался, гордился и торжествовал, упивался бравым видом солдат, заледенелой обаятельностью офицеров и — конечно же! — всеми своими победами одновременно. Не могу понять, но мой родной и горячо любимый город среди множества других забывчивостей обладал и одной весьма странной: он помнил только победы и не желал вспоминать о поражениях, хотя история преподнесла и того и другого в общем поровну. Это, конечно, не значит, что кто-то там смел не любить парадов. Петр Петрович Белобрыков, например (папаша англомана Сергея Петровича и… и не будем заниматься распространением всяческих слухов!), весьма любил парады, сидел в ряду самых почетных гостей, но при этом склонен был к рассуждениям.

— Самое опасное для Отечества, господа, есть генерал, выигравший войну, даже если и солдат положил бессчетно. Он начинает в себя верить, как в самого Ганнибала Великого, учиться более ничему не желает, а противника полагает за дурака и труса.

— Преувеличиваете, батюшка Петр Петрович, преувеличиваете, — вельможно рокотал самый родовитый в городе Прославле аристократ Вонмерзкий.

Легенда гласила, что некогда его предки носили более благозвучную фамилию. Однако один из них чем-то прогневил великого князя литовского Витовта, который затопал на него ногами и закричал: «Вон, мерзкий! Вон, мерзкий!..» Провинившийся тотчас же убрался в наш Прославль, где и стал Вонмерзким в память о державном гневе Витовта. Почему при этом литовец Витовт кричал на польского шляхетного пана по-русски, легенда умалчивала.

— Нет-с, не преувеличиваю! — сердился старший Белобрыков. — Извольте историю посмотреть: чересполосица. Раз выиграли кампанию — раз проиграли, раз проиграли — раз выиграли: почему же после выигрыша непременный проигрыш? А вот потому именно, как Александр Васильевич Суворов говаривал, да-с, именно по тому самому. А мы — «ура-ура» да все «ура». А что с Прославлем станется, если ему сплошь «ура»?

Господину Белобрыкову подобные непатриотические эскапады прощались, поскольку род этот славился чудачествами. А парады тем временем гремели, солдаты краснели, офицеры белели (вон когда это началось!), а восторженные зрительницы хорошели на глазах. Ах, парады, ах, пушки, ах, душки, ах, воинская доблесть славного города

Прославля!

Ну а что касается третьего кита, на котором держится человечество, то есть любви, то в Прославле (как, вероятно, и повсюду, а?) она существовала в трех ипостасях: освященной, грешной и тайной, и я совсем не случайно поставил грешную форму в центр. На этом месте ее утвердила сама история мировой цивилизации, о чем неоспоримо свидетельствует такой авторитет, как Фома Аквинский, торжественно возвестивший: «Уничтожьте проституцию, и всюду воцарится безнравственность». Ту же мысль, но более конкретно выразил и пан Станислав Вонмерзкий в столь узком кругу, что это сразу стало достоянием всего города Прославля:

— Ничто доселе не могло сокрушить нашего Прославля за всю историю его существования, господа. Ни печенеги, ни половцы, ни голод, ни пожары, ни монгольское нашествие, ни боярское засилье, ни гений Наполеона, ни идиотизм наших градоначальников: Прославль возрождался из руин, как птица феникс из пепла, что и нашло отражение в его гербе. Но известно ли вам, в чем таится его кончина? О господа, господа, она зреет, она наливается трупным ядом, она грядет, эта неотвратимая погибель града Прославля! Как

только наши прекрасные дамы добьются всеобщего равенства, знаете, что они сделают прежде всего? Они закроют все заведения! А посему, пока еще не поздно, давайте поднимем бокалы за наших очаровательниц — за Эмму, Лялю, Гесю, Росю и Дуняшу — и с особым вдохновением — за их наставницу и настоятельницу, за саму мадам Переглядову!

Пророческий тост сей был провозглашен где-то в узком промежутке между Новым годом и Рождеством; затем у девочек наступали каникулы, ибо в Святки, то есть от Рождества Христова до Крещения, невнятная народная традиция запрещала прославчанам навещать их. Девочки отдыхали, отсыпались и замаливали грешки, а мужчины копили силы для освященного веками крещенского побоища с допущения полиции и даже в присутствии оной.

Как и положено, ровно за три дня до Крещения судьи собрались в полутемном во всех отношениях трактире Афанасия Пуганова для обсуждения процедурных вопросов и подтверждения запретных методов, способов и орудий. Судей Успенки я уже представил, а со стороны Пристенья подбор их исстари производился не по личным качествам, а по весу кошелька, почему мне и остается

лишь перечислить их поименно, вкратце указав, кто есть кто, а не кто есть каков, как на Успенке, где нищий Мой Сей сидел рядом с весьма состоятельным Самохлёбовым.

Итак, за три дня до Крещения в чистой половине пугановского трактира собрались все десять выборных судей. На столе кипел самовар, стояло ровно десять стаканов, столько же заварных чайников, два блюдца колотого сахару и баранок бессчетно: Афанасий Пуганов угощал судейскую команду, сидевшую по обе стороны длинного стола. И сторона Пристенья была представлена Иваном Матвеевичем Кругловым (три мельницы, из них две паровые), Степаном Фроловичем Басовым («Мануфактура, галантерея и колониальная торговля»), Провом Сидоровичем Безъяичновым-дядей, Михайлой Романычем Перемыкой («Кожи, овчины, кожаные изделия и хомуты») и Ильей Фомичом Конобоевым («Скобяные товары, кровельное железо»). За каждым стояли солидное — как минимум дедовское — дело, весомый кредит и живой капитал, а значит, и судейская честность. Судьи неторопливо выпили четыре самовара, подтвердили все прежние запреты и дозволения и степенно поговорили о погоде, о делах, о лошадях (Байрулла присутствовал, как

же такое упустить!) и о семьях. И здесь мельник Круглов позволил себе сокрушенно вздохнуть и сказать, что-де, судя по Пристенью, бабы начали сплошь рожать мальцов, а это, как известно, к войне, и значит, свеженькое — всего-то полмесяца от роду — двадцатое столетие грозит Прославлю нешуточным кровопусканием. Данила Прохорович при этих словах потемнел, но дело было совсем не в его девках, поскольку остальные судьи важно закачали головами, а Юзеф Замора сказал, что слепой Ядзе Господь послал видение.

— Сперва будто в реке, говорит, купалась, а потом, глянь, напротив старичок. Ну, она девчонка да голая: ой, говорит, стыд-то какой! А старичок горестно так покивал да и говорит: то, говорит, не стыд, то слезы твои. И верно, в слезах вся проснулась, а это уж точно к войне, панове, потому что Ядзя слепая от рождения.

Обсудили видение, повздыхали, помолчали, распрощались и разошлись. А уже на следующий день Бориска Прибытков вместе с Филей Кубырем явились на реку с мальчишками, пешнями и лопатами. Мальчишки начали сгребать со льда снег. Филя, перекрестившись, затюкал пешней, а Бориска принялся что-то отмерять вниз по течению. Мерил он весьма старательно и шагами, и

веревками, и не один раз, а отмерив, скинул полушубок, поплевал на руки и начал долбить вторую прорубь. Вот этого прежде не водилось, чтоб в двух прорубях иордань устраивать, это уж было вызовом, дерзостью даже, и к усердно долбившим толстенный январский лед стали стягиваться любознательные. Смотрели, расспрашивали, подсмеивались, даже помогать начали то Филе, то Бориске, но ничего не добились. Кубырь молчал, как сова, а Прибытков ловко отделывался шуточками да прибауточками. А известно, что лучший способ заинтересовать — это напустить побольше туману, не сказать ни «да» ни «нет», уходить от ответов и похохатывать над чужими догадками. И потому к вечеру были готовы не только обе проруби, но и с полдюжины версий от двусвятия, то есть двух одинаковых церковных служб над двумя прорубями, до насильственного в связи с наступлением нового двадцатого века крещения всех нехристей города Прославля: татар, цыган и евреев. Татары с цыганами эти слухи оставили без внимания, но евреи очень почему-то забеспокоились и решили обратиться к властям, избрав, как всегда, Мой Сея делегатом. Мой Сей прямиком пошел в полицию — уж очень хорошо он знал туда дорогу, — что-то им там на-

говорил, а они сгоряча накостыляли ему по шее и сунули в кутузку. И Шпринца опять бегала по Успенке, распустив волосы:

— Ой! Мой Сей! Ой! Мой! Сей!

На следующий день Данила Самохлёбов вкупе с Байруллой выручили злосчастного делегата, но вопрос с предстоящим Крещением запутался еще больше. Проруби были уже готовы, но Бориска не ограничился тем, что широкой лентой расчистил снег между ними: он собрал парнишек со всей Успенки и велел им шлифовать лед. И мальчишки на коленках ползали по речному льду, старательно полируя его соломенными жгутами, тряпками, старыми мешками и собственными штанами. Терли до тех пор, пока лед не стал сверкающим, как зеркало, и прозрачным, как стекло, и сквозь его толщу стали видны быстротекучие воды, спящие рыбы и камешки на дне. Тогда Бориска объявил шабаш и честно наградил гривенником каждого труженика.

— Чудишь, стало быть, Бориска Прибытков? — спросил вечно пьяный Павлюченко, любивший на свете только три вещи: водку, сани и телеги. — Нет, не мастер ты, Бориска Прибытков. Не вжилось в тебя уважение.

— Вживется. Вот приходи завтра трезвым на

водокрещи, сам увидишь.

— Трезвым? — Павлюченко подумал и сокрушенно вздохнул. — Не. Трезвым не дойду.

Крещение у прославчан исстари было очень важным днем. Не потому, что входило в церковные «двунадесятые праздники», не потому, что в этот день святили воду и можно было хоть упиться ею, и даже не потому, что день этот венчал собою Святки, игры, катания на санях и девичьи посиделки до полуночи с истовыми гаданиями на женихов. Нет, Крещение знаменовало действительный приход нового года, нового отсчета времени, новых радостей и новых горестей, новых забот и новых хлопот, новых свадеб и новых похорон. «С Крещением год расти начинает», — говаривали в те неспешные времена, когда время измерялось не минутами и секундами, а постами, рождествами да пасхами. А еще говорили, что Крещение год крестит и что каково Крещение, таков, значит, и год, а так как в описываемый период дело касалось начала нового века, то все невольно распространяли это и на грядущее двадцатое столетие.

Всем известно, что дурачкам небо всегда открыто, но мало кто знает, что, если в предутреннюю стылую крещенскую синь облаков не окажется,

надо тут же молиться Иоанну Крестителю, поскольку небо открыто, и о чем помолишься, то и сбудется. Говорили мне, что это миг один, что угадать его трудно, да и дано не каждому, а то бы Иоанну задали на весь год работенки. Нет, фокус весь в точности попадания, во мгновении внезапного озарения души и в чем-то еще, чего уж и не упомнить за давностью, но, видать, не простом, потому что из всех дураков города Прославля мигом озарения одарены были только Филя Кубырь да бабка Палашка, а Гусарий Уланович этим даром отмечен не был. Но Филе куда ближе была ледяная крещенская купель, чем предутренняя лютая просинь, а потому единственным провидцем города оказалась бабка Палашка. Говорят, что была она когда-то — с полвека назад — честной купеческой дочерью, да сбежала с проезжим чиновником для особых поручений, пропадала лет пятнадцать, если не больше, и вернулась уже бабкой Палашкой — кликушей, припадочной, юродивой, убогой и заговаривающейся, но с озарением. Вдруг нападало на нее это озарение, и дурости тогда в ней как и не бывало, и язык молол без передыху, и пророчества сыпались, как из куля, и все в точку. И за это Пристенье ее кормило, поило, хранило и побаивалось: бабка

Палашка порой умела подшутить зло, а искренне жалела только девок, гадала им на Святках, а накануне Крещения поучала:

— Собаку завтра утром увидишь, гляди, как хвостом вертит. Ежели понизу — девчонку еще в этом году родишь. А коли в полдень синие облаки узришь — жить тебе богато в дому купеческом, а коли золотые — офицер умчит без венчания.

Девки испуганно крестились, шептали: «Спаси и помилуй, Царица Небесная», но врали, потому что втайне каждой хотелось офицера без венчания вместо богатства в дому купеческом. Бабка Палашка видела их насквозь, но стремление это уважала.

— И упаси господь какую из вас завтра до петушиного крику, хотя и по нужде великой, из дому выйти. Ежели кто нарушит, тому в девках век вековать.

Вот этого любая девка пуще мышей боялась, и бабка Палашка могла не опасаться, что кто-то обгонит ее во встрече с той предрассветной крещенской синью, по которой раз в году можно было безошибочно прочесть истину в Божьих небесах. Всегда она первой в Прославле встречала Крещение, но рта не раскрывала до водосвятия, а после того, как Филя, приняв свою иордань,

мчался с дурашливым верещанием в баньку, испивала святой воды и громко предрекала события. Урожай гороха, петушиную мощь, рождения и радости. Что не сбывалось, то и забывалось, но уж если гороху и вправду рожало невпроворот, а куры неслись по яйцу в день, все поминали Палашку и благодарили — на всякий случай, купечество предусмотрительно — не только добрым словом. Вот почему кое-кто и утверждал, что юродивая бабка чуть ли уж и не миллионщица, а как соберет миллион, так и откупит себе право на деток того чиновника для особых поручений, которые числились доселе в безродных его племянниках. Ну, это, может, и не так вовсе, может, и злобствовали насчет утерянных Палашкой деток вредные купеческие старухи, но денежки у нее водились, и скоро об этом стало известно абсолютно точно.

Однако той крещенской зарею, о которой я толкую — зарею нашего столетия, — не только Пристенье, но и весь город Прославль был разбужен самым невероятным, путаным и страшным образом. Говорили потом, будто в Крепости сам собою пальнул единорог семнадцатого века, в Успенке явственно зазвучали колокола давно сгинувшего монастыря, а в Пристенье задолго до

водосвятия возопила вдруг бабка Палашка:

— Кровь! Кровь вижу! Кровь! Кровью крещены будем в веру Антихристову! Плачьте, бабы прославчанские!

К этому воплю досужие кумушки тут же прицепили множество всяких всячин и несуразиц. И петухи заорали не вовремя, и жена Степана Фроловича Басова («Мануфактура, галантерея и колониальная торговля») скинула мертвенького, и у знаменитого налетчика Сеньки Живоглота сперли новые кожаные калоши, и сам собою взорвался самогонный аппарат в подвале трактира Афанасия Пуганова. Это достоверно известно: о самовольном же выстреле древнего единорога поведал впервые Гусарий Уланович, а о колокольном звоне на Успенке — Бориска Прибытков. Правда, их быстро поддержали другие востроухие, но за это бабушка поручиться не могла, не то что за калоши Сени Живоглота или за взрыв в подвале полутемного во всех отношениях трактира Афони Пуганова.

Вот как встретил город Прославль Крещение неведомого двадцатого века: криком дурочки с Пристенья, бабки Палашки, с которого, как потом уверяли, все и началось. И мертвенькие младенцы, и звон таинственных колоколов, и взрывы,

и грабеж, и запоздалая пальба состарившихся единорогов. А еще много лаяли и выли собаки, а собачий лай да собачий вой на крещенскую просинь всегда предрекал городу Прославлю мужские смерти и женские слезы. И вы можете сомневаться по поводу пророчеств и всяческих там знамений, но насчет собачьего воя и лая спросите у стариков, и всяк подтвердит, что это одна святая правда.

Ох-хо-хо, но будем последовательны. Никто ведь в то свирепо-морозное, хоть и безветренное, крещенское утро и знать не знал, и ведать не ведал, чем все впоследствии обернется, никто не загадывал, никто не мечтал, кроме девушек, а потому, если в целом брать, Прославль встретил этот день бодро. И над Палашкой посмеялся, и над Сеней Живоглотом, и над Афоней Пугановым с его самовзорвавшимся тайным аппаратом. Парни и молодые мужики очень радостно готовились к драке, девки суетились и прихорашивались, бабы жарили и парили, а деды да бабки топили баньки, где предполагалось оказывать первую — а кому и последнюю — помощь после крещенского мордобития.

Поначалу все шло как положено: войска вышли на исходные рубежи, пока еще только разминая

кулаки и плечи; на крепостной стене появились зрители и зрительницы, которых было заведомо больше; возле первой — верхней — проруби церковный клир готовился к службе, а рядом, на брошенной на лед соломе, стояли Филя Кубырь и Бориска Прибытков, и оба почему-то в тулупах до пят. А от верхней проруби до нижней шла идеально отполированная полоса льда, сквозь который было отчетливо видно и воды, и дно, и сонных рыб, и сонные водоросли, и зрители Крепости любовались этим неожиданным сюрпризом, недоумевая, кому и зачем понадобилось расчищать и начищать речной лед. Потом началась служба, и все торжественно примолкли: люди (кто по привычке, кто с верой) крестились, шептали — кто в голос, а кто про себя — молитвы. Затем верховный жрец сунул крест в прорубь, сказал слова, окропил окружающих и все четыре стороны, и ритуал был завершен. Все завздыхали, задвигались, даже засмеялись, предвкушая ежегодное представление, которое Филя Кубырь давал своему родному городу за счет добровольных купеческих пожертвований «на водку». Священник с клиром отошли в сторону, Филя шагнул к проруби, истово перекрестился, скинул тулуп и сиганул в ледяную купель. Окунулся,

выпрыгнул на лед и, заверещав, голым — играть, так всю роль до конца! — ринулся в баньку, синея на бегу под восторженное улюлюканье изготовившихся к бою кулачных бойцов. Сейчас, по обычаю, наступало время взаимного обмена остротами, шутками, частушками, намеками и прочим фольклором, который заранее готовился в глубокой тайне от противника. Перепалке этой надлежало длиться до прихода судей, и те, кому положено было начинать ее, уже шагнули из рядов навстречу друг другу, уже набрали полные груди воздуха, острот и ругани, как вдруг…

Вдруг все заметили, что к первой, верхней, проруби подошел Бориска Прибытков в длинном тулупе. Заметили и примолкли в недоумении, поскольку это было нечто новое, необычное, непривычное, а следовательно, дерзкое. С минуту Бориска наслаждался этим молчанием, а затем, шевельнув плечами, скинул тулуп и оказался на глазах всего города — Успенки, Пристенья и зрительниц Крепости — в одних вызывающе красных шелковых дворянских кальсонах. Никто и ахнуть не успел, как наглец Прибытков головой вниз ушел в ледяную гладь проруби.

Говорят, тишина стояла торжественнее, чем в церкви. Все словно онемели: под прозрачным,

как стекло, льдом от верхней проруби к нижней быстро скользила ловкая фигура молодца в алых, как кровь, кальсонах. Это были мгновения великой солидарности прославчан: никто не дышал вместе с Бориской, и все шумно, облегченно и радостно перевели дух, когда пловец благополучно вынырнул из нижней проруби. Выскочил на лед, отсалютовал далеким крепостным зрительницам и легко, играючи побежал к той же баньке, в которой до него скрылся Филя Кубырь.

Это уж потом — крики, хохот, топот, возмущения и восхищения. Все прорвалось в воплях.

«Арестовать! — кричал негодующий полицмейстер. — За нарушения… За покушения…»

«Ура, Бориска!» — орала восторженная Успенка.

«Ах, нахал, ах, бесстыдник!» — щебетали зрительницы.

«Богохульство!» — грозно рокотал священнослужитель.

Шумели, смеялись, грозились, восторгались, но главного Бориска Прибытков все же добился, став героем города Прославля во всех трех его частях, и у дам в особенности.

Потом это тоже припомнили купно с пророчеством, звоном колоколов и выстрелом ржавого

единорога: двадцатый век входил в город Прославль, богохульствуя, дерзая и глумясь.

Глава третья

Одним из нежданных подарков двадцатого века городу Прославлю оказалась песня. Грустная этакая баллада про непонятные края и неизвестных людей, но зато про те чувства, которые очень скоро с особой силой ощутили все прославчане, почему и эту бесхитростную песню тоже зачислили по разряду пророчеств и знамений. Убей бог, я так и не смог выяснить, кто ее сочинил, но точно знаю, что возникла и распространилась она по городу именно тогда, когда из очень дальних краев нежданно-негаданно объявился Сергей Петрович Белобрыков, еще в канун нового века мирно учившийся то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, а в конце первого — тысяча девятьсот первого — года вдруг вернувшийся к родным пенатам с пулевым ранением и сабельным шрамом. И потрясенный город Прославль дружно (особенно после двух-трех стаканчиков) запел:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Горишь ты вся в огне.
Под деревцем развесистым
Задумчив бур сидел…

Странный все-таки народ мои земляки. Ну, будут там, скажем, англичане петь у себя в туманном Альбионе: «Сибирь, Сибирь, страна моя…»? Или французы: «Урал, Урал, страна моя…»? Или американцы?.. А прославчане со слезою пели про Трансвааль, хотя только в Крепости — да и то не все! — знали, где он находится, этот Трансвааль. У черта на куличках он находится, а прославчане — пели и плакали, и очень жалели старого бура, у которого англичане подло постреляли сынов.

Опытный читатель уже сообразил, что я намереваюсь поведать о третьем герое города Прославля. И если первый снискал симпатии земляков удалью и великодушием, второй — небывалой дерзостью и риском, то Сергей Петрович Белобрыков добыл свою славу так, как исстари добывали ее его предки: дворянской шпагой на поле брани. И шпага та сверкала на яростном африканском солнце за правое дело, за оскорбленный народ и попранную справедливость, хотя ныне при слове «бур» у нас возникают совсем иные ассоциации. Они ведь разуму неподотчетны, эти самые ассоциации, тайна их возникновения покрыта мраком, развитие непредсказуемо, но они существуют, они данность нашего бытия, а потому и учитывать их приходится. И вся эта тирада пона-

добилась мне для того лишь, чтобы рассказать, что печальная песня про бура под развесистым деревцем максимум слез и ассоциаций вызывала в душе Гусария Улановича, уже не единожды поминаемого мною.

Сущность Гусария Улановича была убедительно обнажена Петром Петровичем Белобрыковым в краткой характеристике:

— Гусарий Уланович — человек, сочетающий несочетаемое, господа. Это мы с вами скроены по евклидовой геометрии, а над ним сам господин Лобачевский потрудился, вот ведь каков казус.

Действительно, неевклидова логика начиналась уже с прозвища, смело соединившего в себе столь разные рода кавалерии, особенно если принять в соображение, что сам Гусарий Уланович отродясь в кавалерии не служил. Да и в самом характере знаменитого чудака Крепости было множество полярностей: к примеру, он был чрезвычайно громким… тихим человеком — это ведь не требует пояснений, поскольку является чертой национальной, не правда ли? И в речи Гусария Улановича все всегда доводилось до крайности, а так как крайности, как известно, пограничны, то изъяснялся он следующим манером:

— Вода — лед, господа, право, я обжегся.

Или:

— А красива она была, господа, столь чудовищно, что испугался я ужасно и влюбился навсегда.

И еще:

— Грохот такой стоял, что я его не слышал. Чувствую, земля дрожит, а звуков нет. И солдатики мои рты разевают, а «ура!» будто в животах у них осталось вместе с утренней порцией.

Поручик в отставке… имя его кануло в Лету, а посему я, испросив прощения у светлой души его, буду всегда называть его так, как называл его город Прославль… Поручик в отставке Гусарий Уланович, дважды оросивший своею кровью истоптанную сапогами и исковерканную взрывами плевневскую землю, в последний раз был особенно сильно контужен. Пал он практически бездыханным, и цвести бы памяти о нем в числе тридцати восьми тысяч роз в Долине Мертвых, да уланы генерала Лашкарева вытащили его буквально у турок из-под носа и доставили в свой лазарет. А поскольку Гусарий Уланович терял сознание среди родной пехоты, а очнулся среди кавалерии, то с туману решил, будто попал в плен к туркам, и окончательно разнервничался. А тут нелегкая принесла самого командира кавалерийской дивизии генерала Лашкарева, который

решил лично справиться о здоровье геройского поручика, спасенного его молодцами. Вошел в госпитальную палатку он по-генеральски, то есть на два корпуса впереди докторов, и с христианским милосердием склонился над героем, не обратив внимания на некий блеск в очах его. Ну а Гусарий Уланович, увидев над собою вместо родимых солдатиков чужую черную бороду, решил, что это и есть сам турецкий военачальник Осман-паша, и вцепился в нее двумя пехотными своими ручищами с штурмовым криком:

— Проси пардону, басурман! Не выдавай, братцы!

Когда их наконец-таки расцепили, две трети старательно и любовно взращенной генеральской бороды осталось в цепких руках командира заштатной роты. Генерал орал и грохал шпорами, но совершенно напрасно, поскольку поручик вдруг уснул крепчайшим целительным сном. А проспав тридцать семь часов, все позабыл начисто, объяснить личной неприязни к нему самого генерала Лашкарева никак не мог и твердо усвоил, что последующая отставка без пенсиона и мундира — его, Лашкарева, жалкая месть, хотя и непонятно за что. Все в нем перепуталось, все сдвинулось: он забыл, например, как его зовут,

есть ли у него семья и родные и откуда он родом, а вспоминал только об уланах, которых, впрочем, часто путал с гусарами, чем и объясняется его звучное прозвище. И погибать бы ему на огромных, холодных и вечно пустынных просторах империи, если бы командир батальона не разыскал его еще в госпитале и не увез бы с собою в город Прославль. Этим командиром батальона был Петр Петрович Белобрыков, в доме которого и жил с той поры отставной поручик Гусарий Уланович почти четверть века.

Многое позабыл бывший поручик после двух ранений и тяжелейшей контузии, навеки изменившей его собственное «я». Все вычеркнуло из памяти турецкое ядро, но одного не смогло уничтожить: святой убежденности старого воина в божественной справедливости того дела, которому он беззаветно служил душою и телом. И эта убежденность в конце концов убедила и его самого, что святее, чище и благороднее борьбы за справедливость нет и не может быть ничего. Гусарий Уланович был живой, ходячей совестью города Прославля, об этом догадывались все, знали многие, а признавал за Гусарием Улановичем право на святую миссию только его бывший командир батальона, отставной майор Петр Пет-

рович Белобрыков.

— Над Гусарием Улановичем сам господин Лобачевский потрудился, господа, он по-иному скроен.

Можно с уверенностью сказать, что судьба Сергея Петровича Белобрыкова была откована в странном мире ультрасправедливости, в котором его пестун и наиболее авторитетный воспитатель Гусарий Уланович пребывал весь остаток жизни своей. Справедливость для прославчанина вообще нечто, стоящее как бы «НАД»: над пользой, практичностью, безопасностью, карьерой, а то и любовью. Прославчане были навеки контужены ею, как Гусарий Уланович турецким ядром; справедливость для них стала тем, чем, к примеру, долг для британца, честь для француза, орднунг для немца или бизнес для американца, — она стала самоцелью, высшим проявлением человеческого духа, принципиально отличаясь при этом от общепринятой справедливости. Если воспользоваться иносказаниями Петра Петровича, то общую справедливость можно представить себе выстроенной в постулатах Евклида; справедливость же прославчанина сидела, так сказать, в седле Лобачевского, с высоты которого было прекрасно видно, что там делается, скажем, в

Трансваале и на чьей стороне следует стать в строй. Поэтому стоило англичанам развязать эту малопочтенную войну, как Сергей Петрович тут же сделал свой выбор, так и недоучившись то ли в Кембридже, то ли в Оксфорде. Добравшись до Южной Африки, он вступил волонтером в отряд знаменитого бурского генерала Девета, был дважды ранен в реддесбургском бою, чудом спасся и… И угодил в плен, причем, в отличие от его воспитателя, плен самый натуральный. К счастью, победители, выяснив, что пленный не является их соотечественником, решили вдруг проявить человеколюбие, и Сергея Петровича направили во вполне приличный для тех чересчур жарких стран и тех чересчур мрачных лет госпиталь. Однако британского великодушия хватило ровнехонько до выздоровления пленного волонтера: стоило врачам с удовлетворением улыбнуться, как некий багроволицый полковник приказал вышвырнуть иностранца не только за двери госпиталя, но и за пределы покровительства британской короны.

А денег было… Прощения прошу, денег у Сергея Петровича не было. Ни пенни, выражаясь тем еще языком. Был, правда, русский паспорт, но в Кейптауне, где оказался бывший студент, не

оказалось русского представительства. А есть после ранений и госпиталей хотелось с такой неистовой силой, что юный Белобрыков смог не только познать, но и досконально постичь на практике такое до сей поры отвлеченное понятие, как голод: выяснилось, чтобы с ним бороться, надо есть хотя бы раз в сутки, а чтобы есть, надо иметь деньги, а чтобы иметь деньги…

Нет, не теория, не жажда познания жизни, а сама жизнь привела дворянского отпрыска в порт, заставила вымаливать работу, трудиться от восхода до заката, понимать, что тебя облапошивают на каждом шагу, копить злость и мечтать о возмездии. Но больше всякого возмездия Сергей Петрович все-таки мечтал о возвращении в родной Прославль. Может быть, по той причине, что ни бои, ни ранения, ни госпитали, ни голод не вышибли из него романтического начала.

А где он был, этот родной Прославль? Он был «ЗА». За материком, за экватором, за океаном, за горизонтом и вообще в другой части света, достичь которой на те поденные пенсы нечего было и думать: одно письмо сжирало дневной заработок. Сергей Петрович экономил, писал и отправлял, а ответа все не было и не было. Ни ответа, ни привета, ни денег на дорогу.

Выручил некий француз — трюмный матрос, по болезни списанный с проходящего корабля. Ему тоже повезло не помереть, и теперь он вкалывал рядом с русским волонтером, уважая в нем не только вчерашнюю отвагу, но и сегодняшний характер.

— В порту стоит торговая лоханка до Марселя, — как-то сказал он. — Я замолвил словечко, будто ты моряк, но пропил свою матросскую книжку. У них на борту нехватка, и они согласились взять меня кочегаром, а тебя — подручным. Поверь, это единственная возможность вырваться отсюда: я моряк, я знаю, что говорю.

Так ли все было, не совсем так или совсем не так — бабушка ни на чем не настаивала. Однако свято веровала, что урок практической эксплуатации человека человеком Сергей Петрович получил именно в трюме торговой лоханки и с того незабываемого путешествия из Кейптауна в Марсель о прибавочной стоимости знал не только из трудов теоретических.

Путь, которым он выбирался из ада, проходил через ад. И прямому потомку стремянного самого князя Романа вряд ли удалось бы выжить, если бы не те, кто дышал рядом, страдал рядом, стонал рядом, ел с ним из одного котла и спал в одном

кубрике. Эти «трюмные черти», как звали их на всех судах того времени, сразу определили, что парню не по плечу (не по раненому плечу, они и это видели) совковая лопата, и подставили свои плечи.

— Ты лучше читай нам. А главное, растолковывай: черти трюмные — люди темные.

И Сергей Петрович читал: в жарких и темных трюмах уже хотели слышать, почему же эти трюмы такие жаркие и такие темные и что надо сделать, чтобы тебя хотя бы не каждый день обсчитывал хозяин. Книги были серьезны, место было серьезным, и вчерашний студент старался объяснить сегодняшним товарищам все очень серьезно. А давно известно, что лучший способ разобраться самому — это начать учить других.

Когда он добрался до Марселя, почему вскоре нелегально укатил не в родной Прославль, куда так стремился, а в туманный Лондон, с кем он там встречался — этого бабушка мне не рассказывала. Зато достоверно известно из сохранившихся печатных изданий, что летом того же года в газете «Прославльские ведомости» появилось вдруг очень крупно набранное обращение «КО ВСЕМ ИСТИННЫМ ПРОСЛАВЧАНАМ». Далее — и тоже весьма крупно — восхвалялись волонтерские

подвиги коренного прославчанина Сергея Петровича Белобрыкова, приумножившего славу родного города в справедливой войне, и содержался горячий призыв к согражданам не только достойно отметить прибытие героя в Прославль, но и выслать представительную делегацию для встречи его на самой границе империи, дабы с почетом сопроводить в родное гнездо.

Это обращение к согражданам было набрано и напечатано полным тиражом без всяких там приказаний, распоряжений, советов и даже без разрешения, а исключительно по доброму порыву старшего наборщика Евсея Амосыча Сидорова. Эффект же оказался столь всепрославльским, что Амосыч вместо заслуженного нагоняя за самодеятельность получил прочувствованное «спасибо, братец» и червонец «на чай».

— Совершенно справедливо, совершенно, — солидно рокотал губернатор. — Голос народа — глас Божий. Необходимо встретить, необходимо сопроводить, необходимо отметить. Всенепременнейше!

Делегация для встречи героя именно на границе империи была демократично избрана самим его превосходительством. В нее включил он не только отца волонтера Петра Петровича Белобры-

кова и представителя общественности адвоката Перемыслова, но и собственного личного адъютанта. Адъютант назначен был недавно, весьма польщен доверием, молод и здоров, как жеребец, и с готовностью проволок сквозь все границы и все взгляды английский чемодан бурского героя.

— Однако же вес… — прохрипел он, совершив этот переход.

— Книги, — пояснил Сергей Петрович. — Сам я ранен, как известно; батюшка и господин Перемыслов в возрасте, так что весьма обяжете, коли лично доставите имеющие вес знания.

Адъютант доставил. Поезд в Прославль приходил утром, чемодан тут же благополучно оказался в комнате Сергея Петровича, и Сергей Петрович на глазах у всех извлек из него самые натуральные и вполне классические фолианты. А ночью английский чемодан исчез из фамильного особняка Белобрыковых, обнаружился в совершенно другом месте, затем переселился к Амосычу, а тот варварски изломал его да и сжег. Правда, не без искр: оные сверкнули на всех заводах и фабриках Прославля в ближайшие дни.

— «Искра»! — ахнули в Крепости. — Как? Кто? Откуда? Когда?

Ринулись, но не туда; искали, но не там; хвата-

ли, но не тех. И как бы там ни было, а несостоявшийся бакалавр Сергей Белобрыков вернулся в родной город героем великодушным, отважным, романтическим и несколько таинственным, что привело девичье население города в состояние сильнейшей ажиотации. А Крепость отметила прибытие героя обедом у губернатора в честь волонтера, победы справедливости и президента Крюгера, балом по этому же поводу и шествием к памятнику героям 1812 года. Во время этого шествия герой ехал на белом коне, которого вели под уздцы два офицера, а дамы бросали цветы на мостовую. Все было бы восторженно, умилительно и прекрасно, кабы дьявол не подтолкнул под руку возбужденного Гусария Улановича. Он взобрался на цоколь памятника и прокричал оттуда нечто вроде речи, о содержании которой не подозревали не только губернатор или там полицмейстер, но даже те, которые обязаны подозревать согласно должности своей. Пока бывший пехотинец нес околесицу, все благосклонно улыбались, но когда он выкрикнул: «Мы с Сережей не с той стороны, где картечь и победы!» — улыбки пристыли, поскольку многие уловили в этом кличе нечто не совсем прославчанское. А состоящий при губернаторе чиновник для особых

поручений почти беззвучно выдохнул в ухо своего непосредственного начальника:

— Герцен.

— Проверить.

— Будет исполнено!

— Впрочем, отставить, — вздохнул его высокопревосходительство. — Тут «Искра», говорят, в Прославле объявилась, а вы все по старинке Герценом нас пугаете.

— Можем и на «Искру» проверить.

— Это кого ж, Гусария Улановича?

— Сергея Петровича, английского студента. «Искра»-то, между прочим, ваше высокопревосходительство, и из Лондона долетает.

Двадцатый век сдвигал пласты и в сановных головах, в которых привычный — русский все-таки! — Герцен с неохотой уступал место заграничному марксизму. Особые службы были в этом отношении куда более гибкими и на запрос бдительного чиновника касательно студента то ли Кембриджа, то ли Оксфорда Сергея Петрова Белобрыкова ответили быстро и недвусмысленно:

«Дворянский сын Белобрыков Сергей Петрович во время пребывания в Англии, а также Германии и Франции (последнее — проездом) неоднократно встречался с русскими политическими эмиган-

тами, интересовался работами Маркса, Энгельса, Бакунина, Лаврова, Кропоткина и других и подозревается в принадлежности к запрещенной партии социалистов…»

В мирном, уравновешенном, древнем, благонамеренном и многотерпеливом городе Прославле запахло революцией, и запах сей принес в него свежий, крепкий, сухой и студеный ветер нового столетия. Однако, прежде чем повести речь о революции, сходках, знаменах, маевках, листовках и выстрелах, я просто обязан рассказать все, что знаю, о мадам Переглядовой. Не занимательности ради и не клубнички для, а потому, что и сама мадам Переглядова, и ее заведение были продуктами ушедшего девятнадцатого столетия; в новом веке требовались иные методы, способы и темпераменты, а посему дни переглядовского заведения оказались сочтенными самой Историей. Но поскольку как мадам, так и ее заведение оказали известное влияние на молодое поколение города Прославля, на его взгляды, культуру, просвещение и женский вопрос, то не поведать об этом было бы просто несправедливо.

Следует пояснить, что мадамов Переглядовых было две: мать и дочь, но Переглядова-старшая ничем не повлияла на город Прославль. Начала

она горничной у самого господина Мочульского, владевшего двумя ресторанами («Бристоль» и «Грезы») в Крепости и одним («Париж») в Пристенье, а кроме того, гостиницами и ночлежными домами, которые и являлись основой его дивидендов. Так вот, начав с горничной, Переглядова-старшая родила дочь и умудрилась при этом сохранить расположение хозяина и даже хозяйки. Таков был обычный путь наиболее сообразительных девочек с Успенки — Переглядовы когда-то жили там, а потому не маме суждено было удивить город, произведя некоторое усовершенствование в сфере самой древней профессии. Это сделала Переглядова-младшая, получившая от господина Мочульского вместо фамилии некоторое образование и небольшой основной капитал. Дочка не блистала особой фантазией, но кое-чего начиталась, кое-что повидала, кое-чему научилась и основала в Пристенье кое-какое заведение с девочками без претензий.

Увы, мир меняется. Когда поезд уходит, пустеет перрон, а когда приходит, то это уже другой поезд, как мудро заметил однажды Мой Сей. Двадцатый век предложил свои скорости, и об этом первой узнала Крепость, когда пан Вонмерзкий явился в Благородное собрание, улыбаясь куда глупее

обычного.

— Чудо свершилось, господа, — поведал он странно блаженным голосом. — Сегодня я расстался с бриллиантовым колье моей прабабки, урожденной Радзвилл, и подмахнул Мочульскому вексель на пятнадцать тысяч из расчета семь процентов годовых, но я ни о чем не жалею. Я счастлив, господа, счастлив, как гимназист, впервые погладивший дамскую ножку: я удостоился тайны «Дилижанса»!

«Что? Где? Когда?» — закричали и зашумели все, надеясь на рассказ, а также и на имя той, которая владела этой тайной. Но Вонмерзкий обвел всех высокомерным шляхетским взглядом и сказал тоном коммивояжера:

— Следите за рекламой, господа. Следите за рекламой — это единственное, что мне дозволено сообщить вам.

И очень скоро — и не где-нибудь, а в самой Крепости, да, да! — со всех тумб засверкали, заиграли, забили в глаза типографские красочные афиши:

УВИДЕТЬ И УМЕРЕТЬ!
ТАЙНА «ДИЛИЖАНСА»
ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН!
НОЧНОЕ КАБАРЕ «ДИЛИЖАНС»
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЙ

РОЗЫ ТРЕФ!

Оплата по парижской таксе согласно официального курса

С дозволения ГУБЕРНАТОРА, ПОЛИЦИИ
и ВОИНСКОГО НАЧАЛЬНИКА

Утверждают, что указанные три должностных лица самолично изволили присутствовать на генеральной репетиции, после чего и появилась указанная афиша. А само кабаре заняло весьма укромно расположенный особнячок на тихой Садовой улице, перед которым днем и ночью бессменно дежурил рослый городовой. Открытие было приурочено к дням благопристойным, дабы не оскорбить ни церковь, ни присутствия, ни — боже упаси — царствующую фамилию; в доме шла капитальная перестройка, а саму всемирно известную не видел никто, кроме пана Вонмерзкого и трех должностных лиц. Так считал изнывающий от тайны город Прославль, хотя было еще два человека — один в Пристенье, другой на Успенке, — которые знали больше, но предпочитали помалкивать, исходя, правда, из разных предпосылок.

Несмотря на чреду сверхгероев, открытую Колей Третьяком, подхваченную Бориской Прибытковым и продолженную волонтером генерала

Девета Сергеем Петровичем Белобрыковым, они не затмили друг друга, а лишь как бы дополнили. По-прежнему весь город восхищался подвигами Сергея Петровича, гимназистки пылали при одном воспоминании о Бориске, а модные экипажи и наемные кареты притормаживали у настежь распахнутых ворот кузницы, в которой звонко ворочал пудовой кувалдой Коля. Дамы под вуалями жадно всматривались в черноту, где, освещенный багровым светом горна и раскаленного железа, играл стальными мускулами до пояса обнаженный цыган. «Ах!..» — почти беззвучно шептали прекрасные незнакомки и велели кучеру трогать. И всем было хорошо: дамы любовались, а Коля ковал железо. Но как-то сложившийся ритуал поклонения был нарушен: очень юная особа без вуалетки спрыгнула с коляски и смело шагнула в грохочущий ад.

— Вы Коля Третьяк? Велено передать.

Сунула в загрубелые чумазые руки глянцевый голубой конверт и исчезла, как дым. Коля извлек из конверта плотную бумагу, развернул и прочитал тут же при свете горна: «КОЛЯ, В ПОЛОВИНЕ ВОСЬМОГО У ПРОЛОМА ВАС ЖДЕТ СЕГОДНЯ ЭКИПАЖ». Записка полетела в огонь, а Коля снова взялся за молот, ибо решил, что это послание —

запоздалый вопль вдовьего сердца, которое грех обманывать. Но вместе со стуком и грохотом одна здравая мысль стала постепенно вытесняться другой: а не желает ли таким хитрым манером Изот Безъяичнов (племянник) свести с ним счеты за перебитый нос? Вот этого Коля уже вынести не мог, а потому, загодя побрившись, помывшись и переодевшись, явился в указанное место тютелька в тютельку, как сам граф Монте-Кристо.

За Проломом на Благовещенской и вправду ждала извозчичья коляска. Коля осведомился, его ли ждут, получил подтверждение и бестрепетно уселся на пружинное сиденье. Сытый рысак лихо взял с места, а Коля начал размышлять, сколько его может поджидать народу и кого первого следует бить, дабы не посрамить чести Успенки и уцелеть самому. Он полагал, что его с шиком промчат вдоль крепостной стены, а там вывернут либо к темным воровским притонам Пристенья, либо в глухую и безлюдную Чертову пустошь за Крепостью, где летом останавливались цыганские таборы, устраивались пикники и попойки и где ничего не стоило вечерком пристукнуть человека. Однако рысак круто свернул к центру, перейдя на шаг при подъеме, и вскоре остановился у небольшого, вполне мещанского домика

с геранью на окнах и георгинами в палисаднике. Из домика вышла девица, что доставляла Коле весточку, молча проводила в гостиную, обстановка которой была уютной, привычной и обычной, усадила в кресло и удалилась. И тотчас же ей на смену вошла очень молодая особа с медными, разбросанными по плечам волосами, белой кожей, зелеными глазами и с такой змеиной, с такой соблазнительной и пугающей грацией, что Коля расплылся в улыбке:

— Песя?!

— Увы. Песя умерла от горя, обиды и людского равнодушия, и если бы не вы, Коля, то не родилась бы и Роза Треф. Я знаю, что вы не Мочульский, вы не берете процентов, и вот вам ровнехонько ваши сто рублей, но к ним — я.

— Но, Песя…

— Роза.

— Но, Роза, я как-то не очень люблю такие благодарности.

— Я продаюсь только за деньги, а отдаюсь только по любви, Коля, и потому я имела в виду не себя, а своих девочек.

— Понимаешь, Роза, твои девочки — шик, но в Пристенье завелась некая Шурочка, которая так вертелась возле моей кузни, что у меня появи-

лись серьезные намерения.

— Коля, разве оттого, что Шурочка, даст бог, будет каждый день кормить тебя обедом, ты не можешь разок сходить в ресторацию? Это только улучшает аппетит, что я тебе сейчас и продемонстрирую. Девочки, шампанского и полный набор для спасителя маленькой Песи!

Девочки доставили шампанское и полный набор. Коля вернулся домой под утро, но никому никогда ничего не рассказывал, унеся из маленького домика самые прекрасные воспоминания и синюю, с золотым обрезом карточку, дающую право бесплатного обслуживания в кабаре «Дилижанс» в любое время суток по наивысшему разряду.

А тремя днями позже лучшие рысаки города, принадлежавшие пану Вонмерзкому, доставили его личный закрытый экипаж к дверям заведения мадам Переглядовой. Однако вместо ожидаемого пана из экипажа вышла очень молодая особа в очень дорогих мехах, и мадам ахнула — ну совершенно так, как давеча ахнул Коля:

— Песя?!

— Мадам Переглядова, — холодно сказала гостья, — мое имя Роза Треф, и я прибыла в этот город с единственной целью — разорить вас. Не

будем обсуждать причин этой причуды: примите ее, как удар молнии. Однако у вас есть шанс уцелеть. Вам интересно узнать об этом шансе?

— Ты мерзавка и нахалка, — шепотом ответствовала мадам. — Я прикажу выбросить тебя.

— И ровно через час ваше заведение будет опечатано: распоряжение о сем, подписанное самим губернатором, лежит у меня и ждет движения. — Не ожидая приглашения, Роза уселась в кресло, достала из сака коробку пахитосок «Клеопатра» и прикурила. — Думайте, мадам, думайте.

— Чего ты хочешь? — задыхаясь от бессилия, спросила наконец Переглядова.

— Девочек. Вы будете абсолютно безвозмездно уступать мне самых красивых, умненьких, а главное, случайно оступившихся девочек до того, как ваши завсегдатаи испортят их. Если откажетесь, я гарантирую вам скорое и полное разорение, нищету и гнусную старость. Если да, зовите Дуняшу: я увезу ее в знак утверждения нашего договора.

— Дуняша — самая красивая? — с презрением протянула мадам. — Или, может, самая…

— Дуняша — единственное существо в вашем борделе, которое когда-то пожалело несчастную Песю. Я, мадам, никогда не забываю своих долгов. Ни плохих, ни хороших. И учтите, плохие долги я

всегда плачу с очень большим походом.

Это был лихой гусарский налет, разведка боем, присущее Розе безграничное нахальство. У нее не было никакого письма губернатора, и мадам Переглядова знала об этом, но натиск был столь дерзок, что мадам решила не искушать судьбы. Рыжая красавица была пугающе похожа на змею…

— Как тебе удалось это предприятие, Роза? — спросил тот единственный, которого Роза полюбила раз и навсегда. — Я не говорю о Переглядовой: это старая клушка. Но ведь ты вернулась в город без гроша, а через полгода завладела всем, чем можно удивить мужчину и выкачать из его кармана деньги.

Роза лежала, разбросав по подушкам свои необыкновенные медные волосы.

— Вы все большие дети, — сказала она, ласково перебирая черные кудри. — А что нужно детям? Детям нужна игра. А игра — это ж фантазия, это тайна, это всегда чуть-чуть новенькое в старенькое. Капля меда, немного перца, имбирь, гвоздика и полутьма — разве мадам Переглядовой мог прийти в голову такой рецепт?

Очень хочется во всех подробностях рассказать, как открывался «Дилижанс», что увидели его

первые посетители, какое потрясение умов и состояний последовало за этим вечером. Но, увы, прежде чем рассказать о вторжении двадцатого века в эту сферу, придется сначала поведать мелодраматическую историю из века девятнадцатого.

Я уже говорил, что Юзеф Янович Замора всю жизнь тачал никому не нужные женские козловые сапожки с ушками не справа-слева, а спереди-сзади. Точно такие же сапожки тачали его отец и его дед, а если покопаться, то и все его прадеды по заморовской линии. Пан Юзеф видел в этом постоянстве основание своего мастерства, не желая признавать права ножек на самоопределение. Но ножки, для коих он тачал свою добротную обувку, вскоре добились этого права, которое выразилось, в частности, и в категорическом отказе носить сапожки с ушками вдоль, а не поперек. Замора счел это капризом, не постигнув, что женский каприз обладает свойством закона, когда дело касается нарядов, тачал себе свои обувки времен Марины Мнишек, складывал их в сарай, а семья жила с огорода, оборотистости пани Заморовой и тех упрямых старух, которые раз в три года покупали-таки изделия Юзефа Яновича. Но сапожки, как на грех, были сработаны на совесть, старухи ходили

мало, и долги сапожного мастера росли быстрее всех его трех дочерей. Со средней — слепой от рождения Ядзей — я уже вас познакомил, хотя и вскользь, но, как говорится, все еще впереди. А сейчас пришла пора встретиться с младшей, отцовской любимицей Малгожаткой, которую, если помните, он звал малпочкой.

Зря он так ее звал: бабушке говорили, что Малгожатка была скорее чертенком, чем обезьянкой. Природа наделила ее немыслимым для степенного города Прославля кокетством, выдала ей всю польскую живость с походом, вдосталь снабдила обаянием, но обделила по части телесной. В те почти уж гомеровские времена мужчины предпочитали античные формы, а малпочка пана Юзефа по всем статьям была худа, как мальчишка, и ее долгое время никто не воспринимал всерьез. Вот это-то долгое время и погубило младшую дочь сапожного мастера, поскольку женщины никогда не любили, не любят и не будут любить ждать. А тут еще вечные долги, горе средней сестры, склоки со старшей, слезы матери, вздохи отца, — короче, Малгожатка не выдержала. Старшая сестра уже работала белошвейкой, уже колола себе пальцы, сутулила спину, портила глаза и теряла женихов и однажды с горькой обидой

подсчитала младшей сестре, во сколько она ей лично обходится. Малгожатка молча выслушала попреки, ушла вечером, вернулась утром, бросила на стол два червонца и хотела гордо удалиться, но отец перехватил, отодрал шпандырем и запер в верхнем чуланчике. Чертенок сутки бушевал и лечил кровоподтеки, а через ночь вышиб окно, спрыгнул на мамины грядки — и был таков.

Однако улицы Пристенья — а Малгожатка удрала туда, поскольку на родной Успенке не то что червонца — полтинничка таким путем не заработать, — эти рыночные и вокзальные улицы, имели свой товар и свои законы. И чертенка предупредили точно и недвусмысленно: или заводи себе хозяина, или сматывайся, пока цела. Оставался единственный выход, и Малгожатка без промедления предстала перед мадам Переглядовой.

— Придется тебе еще раз навестить заведение, — сказал он. — Дочка Юзефа Заморы попала в плюшевые альковы.

— Дружок мой, из-за какой-то сопливой девчонки…

— Не какой-то, а дочки мастера с Успенки. — В его голосе зазвучали жесткие нотки, и сердце Розы сладко заныло от возможности подчиниться

сию же секунду. — Мы своих не бросаем в беде, и тебе это следует запомнить.

— Какой же ты им свой, сердце мое?

— Я все сказал. Чтобы завтра девчонка была у тебя!

Ах, как не хотелось Розе еще раз искушать судьбу и как хотелось исполнить повеление повелителя! И утром уже не экипаж с потускневшими гербами Вонмерзких на дверцах, а обычная извозчичья пролетка доставила ее к знакомому крыльцу.

— Мадам, я прибыла за товаром. — Роза без приглашения уселась в кресло и достала свою «Клеопатру». — Распорядитесь насчет чашечки какао и позовите польскую девчонку.

— Песя, я терпелива, как всякая женщина, но…

— Разорю, — почти нежно пропела Роза, — если еще раз помянете загубленную вами Песю. Зовите девчонку!

Да, каждый век диктует свои законы, и мадам Переглядова это отлично понимала. В таком тонком деле, как мужское внимание, все козыри были на руках дерзкой молодости: следовало выжидать, поступаясь, а наступать, выждав. Только поэтому состоялся задушевный — точнее, почти задушевный — разговор при совместном

распитии какао, после чего польский чертенок укатил с новой хозяйкой.

— Покажи ножки. — Роза бесцеремонно задрала юбки малпочке. — Стройненько, миленько и с намеком. Будешь пажом, гусаром, эросом, и вообще твоя сила в твоей слабости. Девчонка, которая прикидывается мальчишкой, всегда пикантна и неясна. Старайся, слушайся и учись: выведу в люди.

Вскоре после этого состоялось открытие. В фойе, освещаемом далеко расположенными друг от друга фонарями в темно-красных абажурах, гостей встречали стройные гусары в алых ментиках, отделанных золотом, в чикчирах телесного цвета.

— Аукцион рабынь! Продается юная наперсница самой Клеопатры, познавшая все тайны своей египетской госпожи. Объявленная цена — двадцать пять серебром. Кто больше?

Нет, такого Прославль еще не видывал. Если в плюшевом заведении мадам Переглядовой жажду утоляли пресноватой водицей, то здесь вам предлагали черт знает что. Вино, бьющую в нос зельтерскую, пенистое шампанское, искристое, игристое, настоянное на любви и страсти, на безумии и полумраке, на змеях, крови, ведьмах,

дьяволицах, огне и бешенстве.

— Продано! Продано! Продано!

Да, это был воистину Валтасаров пир, и только полумрак да огонь, девочки да шампанское помешали гостям разглядеть грозное «МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС», адресованное совсем еще крохотному, еще только-только начавшему жить двадцатому веку. А все плясали и безумствовали, пили шампанское и звенели золотом, не подозревая, что дни их сочтены.

Глава четвертая

В одной мудрой книге сказано, что всему свое время. Время сеять и время пожинать плоды, время собирать камни и время разбрасывать их, время брать и время отдавать. А Крепость во все времена только брала, ничего не отдавая, а Успенка только отдавала, но ничего не брала, и только Пристенье всегда думало, что взять и что отдать и как бы взять побольше, а отдать поменьше. И если Крепость умела витийствовать, Успенка — работать, то Пристенье научилось выжидать. Выжидать своего часа, а уж там… Там считать, что отдать и сколько получить. Выжидать — глагол звериный: это ведь человек ждет, а зверь ждать не способен. Зверь всегда выжидает.

В то время как Крепость с карнавальным неистовством и весельем встречала свой смертный век, Пристенье пило, жрало и блудило с обычным внешним смирением, под сурдинку. Под сурдинку спалили у купца Ильи Фомича Конобоева баньку, под сурдинку свистнули у богатой старухи Дюжевой серебряный самовар, под сурдинку кому-то задрали юбчонку, кому-то набили физиономию, кого-то ограбили, а кого-то

и пришили в глухом подвале ночлежного дома господина Мочульского. Все было тихо и пристойно, как у людей, не то что у этих, в Крепости, где, известное дело, все господа безбожники, смутьяны, студенты да охальники. Пристенье истово плевалось, истово крестилось, истово проклинало и неистово завидовало. Вот как обстояли дела, когда начался век. Он ведь не в один день начался и даже не в один год, потому что столетие — это все-таки ровно сто лет, это этап, эпоха, как позднее выяснилось, а эпоха не может начаться точно с какого-то часа или с такого-то дня. Эпохе нужен разбег, чтобы в конце этого почти незаметного для современников разбега превратиться в иное качество, в точку отсчета, в дату, которую будут зубрить ученики. Ни бурская война с героем Сергеем Петровичем, ни появление Розы Треф, ни даже феерическое открытие «Дилижанса» так и не стали исторической вехой, да и не могли ею стать. Век грядущий оказался веком ошеломительным, веком потрясений и ураганов, каких еще не знала история, и город Прославль ощутил начало этой эпохи, первое горячее дыхание нового столетия лишь на четвертом календарном году существования века как понятия временного.

Но ведь начал-то я с рассказа о традиционной крещенской драке. И хотя не стремлюсь я ни к сюжету, ни даже к последовательности, я не могу не продолжить истории о последнем кулачном побоище между Успенкой и Пристеньем на глазах любителей (а любительниц — в особенности) из самой Крепости. Первую ледовую битву нового столетия испортил, если помните, Бориска Прибытков своим нырянием из проруби в прорубь в красных кальсонах, после чего стороны тузили друг друга в некотором изумлении без должного азарта и даже как бы и без удовольствия. Второе Крещение совпало с триумфом бурского волонтера Сергея Петровича, третье скисло еще по какой-то причине, и застоявшиеся бойцы точили кулаки… можно так сказать? а что с ними делают, готовясь к бою? смазывают, что ли? в ожидании очередного Крещения, моля Бога, чтоб хоть на этот раз никто не помешал подраться от души.

Все было как и тысячу лет назад. Святые отцы поколдовали у проруби, окропили начальство и окрестности и удалились с должной степенностью; успенский дурачок Филя Кубырь бултыхнулся в привычную купель, выскочил на лед и, вереща на все жертвенные рубли, побежал в свою баньку; публика поулюлюкала, посмея-

лась, и стенка начала медленно сближаться со стенкой, выталкивая вперед застрельщиков, чтобы взъяриться и довести себя до кондиционной злости, пока подойдут и рассядутся важные и невозмутимые выборные судьи.

— Эй, смазные рожи, кто кулака спрашивал?

— Эй, синебрюхие, когда последний раз у Бога прощенья просили?

— Бей своих, Пристенье, — чужие бояться будут!

— Будет вам сегодня, успенцы, пирог во весь бок!

Это начало, запев: в нем обычно пробовали силы свеженькие, впервые вышедшие на крещенский лед. Опытные ждали, когда же начнут злиться, а именитые бойцы в перебранках участия вообще не принимали. Негромко пересмеивались друг с другом и ждали своего часа. А горлохваты тем временем продолжали накалять атмосферу:

— Ух, и пришла мне охота съездить в Харьковскую губернию, в город Рыльск, в Мордасовский уезд!

— Сальну рожу растворожу, зубы на зубы помножу!

— Сам из рубахи вылезу, а тебя из порток вы-

тряхну!

— Я свищу да верещу, а обиды не спущу!

— Наткнись, Успенка, на мой кулак рылом!

— Бей, но гляди, что ждет впереди! Да держись за небось, покуда не сорвалось!

— Говорят, ваши только летом да на печи со страху не дрожат?

— Братцы, чем зря ругаться, не лучше ли подраться?

Так и шел пустой этот перебрех («Ну что за праздник и без дразников?» — как говаривали на Успенке), покуда не появлялись судьи. Не обращая внимания на зубоскалов, гомон, хохот и выкрики — матерщина воспрещалась категорически под страхом дисквалификации до конца жизни! — степенно кланялись друг другу, неторопливо, чинно жали руки и усаживались на скамьи, которые подтаскивали старательные парнишки. Усмехались в бороды, шутили, поглядывали на бойцов, поскольку и сами бывали когда-то и драчунами, и брехунами.

— Как жизнь на Успенке, господа мастера?

— Говорят, кто много дерется, тот смирно живет.

— Твоя правда, Данила Прохорыч.

— А я уж и не драться — мне бы судить да ми-

ровую запить.

— Хитер ты, Степан Фролович.

— Хитер бобер, да шуба его подвела…

— Ну, господа судьи, не застыли бы бойцы на холоду?

— С Богом, Пристенье!

— В добрый час, Успенка!

— Ломи-и!..

— Не выдавай!..

И шла Успенка на Пристенье, а Пристенье на Успенку, заранее, еще во время переругивания, для чего, собственно, таковое и было заведено, подбирая себе соперников по силам и злости. Били, не шутили, вполне серьезно били да и целили куда следует, но в этой схватке, как правило, не было ни злобы, ни ненависти. Были азарт, спортивная злость, упорство и та лихость, за которую так любили прославчане эту битву на льду. Молодецкая удаль людей бесхитростных, отходчивых, выходивших на бой без камня за пазухой и без желания мстить, но самолюбиво — хоть морда в крови, да сам не побит! — не уступавших ни шагу. В схватке можно и нужно было помогать товарищу, коли ему приходилось туго, но помогать открыто, взяв на себя его противника и тем самым давая ему возможность либо

передохнуть, либо сменить врага по силенкам. Если же кто нарушал эти неписаные рыцарские правила, нападал на неприятеля при численном превосходстве (все на одного!) или бил сзади, над дерущимися вырастал молчаливый Теппо Раасеккола, и бойцы обмирали:

— Братцы, Степа кого-то заприметил…

— Погоди, Пристенье, отмахиваться, дай судье пройти!..

В этот раз, однако, Теппо долго сидел без дела: обе стороны бились упорно, жестоко, кроваво, но — в рамках правил. Даже друг дружку, случалось, останавливали:

— Пособи, Успенка, Федьку вытащить, уже потом додеремся!

Вытаскивали павшего Федьку, передавали добровольным санитаркам, а потом возвращались — и додирались. Но, несмотря на славное начало, несмотря на рыцарство соперников, восторг зрителей и одобрение судей, тот годок, то Крещение не обошлось без неожиданного, чрезвычайного даже для таких молодецких состязаний происшествия. Настолько дикого, настолько необычного, что оно потребовало не просто немедленного прекращения битвы, но и вмешательства полиции. В первый и последний раз: больше Успенка

и Пристенье никогда уже не выходили на крещенский лед.

Признанным вожаком успенских кулачных бойцов был Коля Третьяк — краса и гордость Успенки, предмет воздыхания бессчетного числа как девиц, так и вдовиц с молодицами. Сильный, удачливый, веселый, работящий парень, державшийся ровно и приветливо со всеми, преданно — с Успенкой, независимо — с Крепостью, почему все его и любили, даже Пристенье. Известно было (бабка Монеиха расстаралась) о столкновении Коли с Изотом-племянником при заклании кабана, но в той крещенской схватке Изот не участвовал, а Коля привычно и азартно вел своих в бой, и пристенковцы приседали (если не падали) от его ударов.

— Молодец, Коля! — подбадривал бывший студент и волонтер Сергей Петрович, демократично наблюдавший побоище не с крепостной стены, а в непосредственной близости, с извозчичьих саней. — У тебя удачен хук с правой: готовь удар заранее и не спеши ее использовать.

— Науськиваете? — насмешливо осведомился третий герой Прославля, Бориска Прибытков, никогда не принимавший участия в коллективных потасовках из принципиальных соображений. —

Ату его, ату? Очень барственно, знаете.

— Да оставьте! — с неудовольствием отмахнулся Белобрыков. — Это есть вид спорта, здоровое народное увлечение.

— А вам известно, как оценивает это народное увлечение самый авторитетный мастер Успенки Данила Прохорович Самохлёбов? «Кто много дерется, тот смирно живет» — вот каков его афоризм. Не предполагал, что аристократ, волонтер, социалист и эстет Белобрыков разделяет эту точку зрения.

— Перестаньте, Прибытков, наконец. Право, это уж и не скепсис, а старческое…

Сергей Петрович замолчал, потому что вдруг рухнул Коля Третьяк. Теппо с несвойственной ему порывистостью встал со скамьи судей и, раскидывая еще ничего не успевших сообразить бойцов, ринулся к упавшему. И волонтер, соскочив с расписных пятирублевых санок, бросился в самую гущу, умело и не без щегольства раздавая хуки и апперкоты тем, кто еще находился во власти боевой инерции. И даже скептик, гордец и принципиальный одиночка Прибытков не выдержал и тоже кинулся следом. Втроем они расшвыряли дерущихся, утихомирили азартных, расчистили проход и отнесли потерявшего сознание Колю

к извозчику. И тогда стало очень тихо: замерли кулачные бойцы, изо всех сил сдерживая бурное дыхание; окаменели судьи, пытаясь сообразить, как это могло случиться; примолкли шумные болельщики вокруг и даже далекие зрительницы Крепости. И все молча глядели на окровавленную голову Коли Третьяка.

— Гирькой, — сказал Прибытков. — Гирька на ремешке — оружие приказчиков. Било Пристенье, Степа.

— Так, — уронил финн. — Гони.

— Я с ним! — звонко выкрикнул в тишине девичий голос.

Из кучи пристенковских болельщиков, решительно вырвав руку из лап пронзительно цепкой старухи, выбежала полненькая, румяная и прехорошенькая девица в нарядной шубке. Прыгнула в санки, приподняла Колю, уселась и положила его окровавленную голову на свои колени.

Прилюдно!

Ахнуло Пристенье, заулыбалась Успенка, зааплодировала Крепость, а с судейской скамьи вскочил — да-да, не поднялся степенно и чинно, а именно что вскочил! — владелец всех мукомольных мощностей города Прославля Иван Матвеевич Круглов.

— Александра! — грозно закричал он. — Шурка! Вернись сей секунд!

Какое там! Только снег взвихрился за санями, что мчал застоявшийся рысак в Крепость.

Зрительницам с крепостной стены было отлично все видно, и поэтому многие спустились и поспешили к Пролому, чтобы в непосредственной близи и собственными глазами узреть и двух героев города (одного окровавленного и бездыханного, ах!..) одновременно, и отчаянную девочку с Пристенья, не побоявшуюся на глазах у всего Прославля удрать с тяжко раненным красавцем-цыганом. Тут было от чего всполошиться, куда поспешить и на что посмотреть даже барышням, но Сергей Петрович заметил только стройную девушку с большой беличьей муфтой: в начале подъема на Благовещенской, когда рысак пошел шагом. Заметил ее очень серьезные и очень синие глаза еще до того, как она громко воскликнула:

— Белобрыков, я сомневалась, но теперь я горжусь вами. Да, горжусь, знайте это!

— Кто такая? — оторопело спросил волонтер.

— С муфтой? — Шурочка Круглова на миг оглянулась. — Ольга, что ли.

Сергей Петрович и Шурочка доставили обеспа-

мятевшего Колю в Градскую больницу, в связи с чем о происшествии узнала полиция. Узнала официально, так как неофициально уже была осведомлена о нападении на кузнеца во время разрешенного народного развлечения, и выслала следователя на место происшествия. Но пока высылала да пока следователь добирался, там уж никого не оказалось, и следователь обнаружил лишь кровь на утоптанном снегу. Однако принадлежала ли та кровь пострадавшему или являлась естественным следствием разрешенного народного развлечения, установить с достоверностью не удалось.

Теппо Раасеккола и Бориска Прибытков тоже ничего не смогли установить. Они провели расследование тут же, по горячим следам, призвав на помощь судей и подвергнув всех участников крещенского побоища тщательному обыску и придирчивому допросу. Однако никто не видел, кто, как и когда ударил Колю запретным орудием, а самого орудия — гирьки на ремешке — так нигде и не нашли. И дело это заглохло, тем более что через трое суток Сергей Петрович доставил абсолютно здорового Колю домой, к великой радости Успенки.

Шурочка вернулась в отцовский дом еще к

вечеру того дня, когда сгоряча и всенародно призналась в своих симпатиях. За это время она успокоилась, все осознала, пришла в ужас и явилась с повинной вся в слезах, что, впрочем, не помешало отцу оттаскать ее за волосы по всем залам и комнатам. Коля ничего не знал о выволочке, но все знал о подвиге, и сердце его переполнилось любовью и счастьем. А вот Сергей Петрович потерял покой и сон, пытаясь найти общих знакомых и быть представленным стройной девушке с очень серьезными и очень синими глазами.

Никто — ни Крепость, ни Успенка, ни Пристенье — пока еще не знал и даже не догадывался, что этот неоконченный крещенский бой был последним в истории города Прославля. Не потому, разумеется, что едва не пристукнули какого-то цыгана — мало ли их, цыган этих, пристукивают? — а потому, что наступал новый этап: двадцатый век именно с этого года превратился в принципиально иную эпоху. Новое время рождает новые песни, и очень скоро Прославль запел не о несчастье старого бура из Трансвааля, а о своих бедах и горестях:

Мы пред врагом не спустили

Гордый Андреевский флаг:
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен «Варяг»…

Но я опять хочу отмотать события назад, как ленту в кинематографе. Я должен вернуться на крещенский лед в то время, когда Теппо, Прибытков, судьи и другие заинтересованные лица проводили дознание и обыск собственными силами. Активнее всех были Раасеккола и Бориска: один во что бы то ни стало хотел разыскать мерзавца, покушавшегося на жизнь друга, второй — искренне возмущен подлостью, с какой нанесен был удар, лишь чудом не оказавшийся смертельным. Поэтому они старались больше всех, все время советовались друг с другом, сообща размышляли и сообща устали. А когда опомнились и поняли, что и им пора уходить с опустевшего льда — задолго до прибытия полицейского следователя, — рядом оказалась только тихая и застенчивая Борискина матушка Маруся Прибыткова, которая, запинаясь, и пригласила дорогого соседа отужинать.

— Вот это исключительно своевременно, майне либер муттер. — Бориска был всего на семнадцать лет младше собственной матери, мучительно

стеснялся ее прошлого и усвоил в разговорах с нею тон покровительственный и слегка насмешливый. — Идемте к нам, Степа, муттер печет изумительные пироги.

Так за одним столом встретились два застенчивых человека; и если бы в тот вечер Бориска поменьше болтал, он бы непременно заметил, что они удивительно подходят друг другу. Подходят и, еще не догадываясь об этом, уже неосознанно тянутся навстречу, еще боясь даже помечтать, что встреча эта может и вправду когда-нибудь состояться. И пусть Бориска молотит себе за столом на четырех языках вперемешку, пусть Маруся изредка из-под черных ресниц взглядывает на гостя, и пусть молчаливый гость пока с удивлением прислушивается к ритму собственного сердца — я вернусь к Русско-японской войне.

Прославль встретил известие о ней неодинаково: Крепость была озадачена, Успенка равнодушна, а Пристенье выразило небывалый восторг и патриотизм. В трактирах ораторствовали опившиеся семинаристы, проворовавшиеся присяжные поверенные и недавно освоившие газету приказчики и лабазники. На площадях митинговали, били стекла и физиономии и бойко торговали лубочными картинками и га-

зетенками ура-патриотического направления. Народ прибывал после приема горячительных напитков, кто-то выволок с десяток портретов государя императора, появились иконы, хоругви и Изот-племянничек. И, как мне рассказывали, именно тогда и прозвучали ставшие историческими слова:

— Да мы их шапками закидаем!..

А Крепость, повторяю, была весьма озадачена.

— Помилуйте, господа, где Мукден, а где — коренной Прославль!

— Япошкам до фронта — пролив переплыть, а нам — четверть мира проехать.

— И это при одной-единственной ниточке снабжения. Нет, они там с ума посходили, ей-богу!

— А во имя чего? Концессий на Ялу? Кореи? Желтороссии? Нонсенс, господа!

— Не надо было Аляску американцам продавать. Еще пожалеем об этом, ох как пожалеем!

— Да, господа, влипли мы с вами в историю…

Последнее замечание было изумительно точным: Прославль влип в историю, как муха. Даже воинственный Гусарий Уланович не одобрял этой затеи. Вздыхал сокрушенно:

— Это же никакого куражу не хватит. Никакого решительно и навсегда!

Куражу и впрямь не хватило, и новая эпоха началась с целой серии тяжких поражений: поражение на реке Ялу, проигранное сражение под Мукденом, падение Порт-Артура, позорный разгром эскадры Рожественского в Цусимском проливе. Таковы были вехи, ступени, точки отсчета нового периода в жизни города Прославля, но никто не дал себе труда задуматься, изучить, проанализировать причины и сделать выводы. И все — из-за внушенной с колыбели привычки исследовать только победы. Впрочем, если помните, именно об этом, хотя и другими словами, говорил Петр Петрович Белобрыков.

Внешне жизнь в городе поначалу текла своим чередом и в новой эпохе. Правда, кого-то призвали, но это касалось в основном офицеров из Крепости. Правда, кого-то убили, но это в основном солдат с Успенки. Правда, что-то где-то подорожало, а что-то подешевело, кто-то разорился, а кто-то разбогател, но это в основном касалось Пристенья. А так все шло по накатанной колее в силу присущей всем народам исторической инерции. И пока оно так идет, мне самое время рассказать о потрясшем город Прославль небывалом, дерзком до наглости ограблении средь бела дня.

В тот самый белый день (для банка и полиции, как впоследствии выяснилось, он оказался черным) на прославльский вокзал в почтовом вагоне обычного поезда прибыл необычный груз, за которым была наряжена закрытая карета с вооруженным кучером, вооруженной охраной в пять человек, вооруженным офицером и безоружным банковским чиновником. Чиновник в присутствии караульного офицера и железнодорожного начальства получил опечатанный со всех сторон мешок, который с великими предосторожностями был перенесен в карету, где разместились и офицер с чиновником, тщательно закрыв за собою дверь изнутри. Один из охранников вскочил на козлы рядом с кучером, остальные, сев на лошадей, выстроились по двое с боков, и карета направилась в Государственный банк, находившийся в Крепости. Золотая карета благополучно миновала Пристенье с его воровскими притонами, мост, крепостной Пролом и начала шагом подниматься по крутой Благовещенской улице. Здесь, в тихой, благопристойной Крепости, охрана решила, что самое опасное позади, ослабила бдительность, начала разговаривать, а ехавший внутри экипажа офицер открыл дверь, поскольку там стало душно. Но как только карета, шагом

поднимавшаяся в гору, поравнялась с глухой стеной церкви Иоакима и Анны, из-за угла вылетели две бомбы одновременно. Одна разорвалась впереди, покалечив лошадей, убив кучера и опрокинув карету; вторая — сзади, частично поранив охранников, частично рассеяв и обратив их в бегство. И тут же появились двое в масках: один был отвлечен перестрелкой с лежавшим под павшей лошадью охранником, что прежде сидел на козлах, а второй треснул вылезавшего из опрокинутой кареты офицера по голове, вырвал из рук обеспамятевшего чиновника — с той поры бедняга начал заикаться — запечатанный мешок и, не дожидаясь товарища, исчез где-то в бесконечных городских ручьях: Зеленом, Козьем, Рачьем, Овражном и каком-то еще. Видимо, в этом и заключался план: одному отстреливаться, отвлекая на себя охрану, второму без шума уходить через ручьи к стене и за нее — в Чертову пустошь, где найти человека хоть с деньгами, хоть без них нечего было и мечтать. Так оно и случилось: тот, второй, сгинул в неизвестности вместе с тремястами двадцатью тремя тысячами казенных рублей, и мне не удалось выяснить даже его имени. А вот первый…

Первый был смел, ловок, нахален и вооружен,

как выяснилось, двумя револьверами системы «смит-вессон». Он редко отстреливался, заставляя полицию (которой в Крепости было невпроворот, больше, чем во всех остальных частях города, вместе взятых) и жандармскую охрану держаться обдуманно и на расстоянии, им предписанном, но сам уходить не спешил. Перебегал, дразнил противников, подзадоривал их и откровенно играл в подкидного со смертью. И решил уходить только тогда, когда время было выиграно и настичь сообщника с денежным мешком стало уже делом немыслимым. Тогда он начал отрываться, но разъяренная полиция вкупе с жандармами уже взяли бомбиста в полукольцо, отрезав отход к ручьям и Пристенью и упорно тесня в чинные, безлюдные и безупречные со всех точек зрения кварталы аристократического центра.

Однако боевик, видать, отлично знал Крепость, поскольку сразу понял, что отступление в центр равносильно самоубийству, и решился на отчаянный прорыв. Он хорошо выбрал момент, неожиданно вылетев навстречу преследователям и открыв частую стрельбу с колена. Полицейские бросились в укрытия, образовалась брешь, но вела она не к спасительной Чертовой пустоши, а в мещанское царство чиновничье-вдовьего люда.

И он ринулся в эту щель, на какое-то мгновение ушел с полицейских глаз, но еще где-то шумел. Где-то будоражил собак, топал по мощенным кирпичами тротуарам, рушил прогнившие заборы, и полиция шла по звуку. Но затем вдруг все исчезло: и звуки, и сам вооруженный молодец. Полиция заметалась, забегала, занервничала, а потом начала прочесывать домик за домиком и садик за садиком, пока не вышла к мещанскому гнездышку с геранью на окнах и георгинами в палисаднике.

— О мадемуазель Роза! — приятно удивился запыхавшийся офицер с большой шишкой на темечке. — Пардон, мы ищем вооруженного преступника…

— У меня в доме? Очень мило! — Роза Треф звонко расхохоталась. — Пожалуйста, хоть выверните его наизнанку. Только, господин ротмистр, что об этом подумают у его высокопревосходительства? А сам господин полицмейстер? Я уж не говорю о моем покровителе пане Вонмерзком: он такой вспыльчивый… Нет-нет, я понимаю, что вы всего лишь исполняете свой долг, но ведь у меня в доме полно девочек. А они так невоздержанны на язычок…

— Что вы, мадемуазель, — кисло улыбнулся

офицер. — Обыск в вашем доме? Это даже не смешно.

— Это скорее плачевно.

— Честь имею, — сказал ротмистр. — Ну что, морды? За мной! Ловить, хватать, чесать и прочесывать!

Роза обождала, пока он не увел подальше распаренных беготней подручных, и заперла все двери. Неторопливо, посмотревшись во все зеркала, прошла в гостиную, в углу которой стоял бледный юноша в маске с черными, прилипшими к мокрому лбу кудрями. В руке он держал «смит-вессон».

— Неужели пронесло?

Роза молча подошла вплотную, сняла маску, отбросила ее, положила руки ему на плечи, и ноздри ее затрепетали.

— Ты пахнешь порохом, отвагой и безумством. Хотела бы я увидеть женщину, которая способна устоять перед таким букетом!

И поцеловала в запекшиеся, почерневшие губы. А потом, когда он — все еще в пороховой гари, в поту и засохшей крови — утомленно раскинулся на взбитых, как сливки, простынях, вздохнула, и в ее вздохе впервые прозвучали умоляющие нотки:

— Мой герой, пожалуйста, не нападай больше на золотые кареты. Если тебе понадобятся деньги — только прикажи.

— Деньги мне не нужны. Деньги нужны организации.

— Я достану их даже для организации, если ты прикажешь.

— Олл райт! — Он усмехнулся. — Я вздремну часа три, а ты за это время придумаешь, как мне проще всего оказаться сегодня дома.

Вот так Роза полюбила раз и навсегда и, бессчетно отдаваясь за деньги или по соображениям, никогда не изменяла этой святой для нее любви. Увы, женщины столь же прекрасны, сколь и непоследовательны, и, может быть, прекрасны именно потому, что пути их неисповедимы, как пути самой Судьбы.

Странно, а только ни Пристенье, ни тем паче Успенка по поводу налета среди бела дня, стрельбы, беготни и таинственного исчезновения как денег, так и бомбометателей особо не шебуршились. Ну, поговорили, повздыхали, поахали, поцокали языками, покачали головами и забыли об этом. Правда, знаменитый налетчик Сеня Живоглот вздыхал глубже прочих:

— Какой кусманчик оторвали эти дилетанты!

А вот Крепость жила этими воспоминаниями куда дольше. Но совсем не потому, что все произошло на ее территории, а потому, что к тому времени Крепость как-то сама собой обзавелась множеством критически мыслящих молодых людей и молодых особ. Они оценили не сам факт налета, не взбалмошную пальбу и даже не ограбление как таковое: они восприняли дерзость свершившегося, усмотрев в этом вызов всей монархии в целом, от караульного офицера с шишкой на голове до государя императора.

— Нет, но каков демарш!

— Какой блистательный тур де форс!

— Это не тур де форс, это пуэн д'онёр, если угодно.

— А сколько в этом бравады! Господа блюстители порядка выглядят дряхлыми старцами рядом с этой отчаянной дерзостью.

— Безумству храбрых поем мы славу!

— Это акция людей смелых и благородных, — ораторствовала Оленька из Москвы, что ли. — Это пощечина самодержавию, господа!

— Если это не просто грабеж, — улыбался Сергей Петрович, в ажиотаже свершившегося не упустивший случая быть представленным. — Подобное безрассудство свойственно либо анархи-

стам, либо эсеровским боевикам.

— Вам, Сергей Петрович, безрассудство, конечно же, несвойственно, — тотчас подхватила Оленька. — Вы израсходовали все его запасы в отряде генерала Девета, не так ли? Тогда не судите истинных героев!

Волонтеру оставалось лишь развести руками, но все же он был счастлив, что неизвестный авантюрист дал ему возможность бывать в обществе прекрасной максималистки с синими глазами. А она почему-то особенно часто шпыняла именно его, и он безропотно терпел и радовался, что оказывается объектом ее иронии или сарказма. Как мало (и как много!) нам нужно, когда приходит наш час: воистину любовь не терпит обыкновенности!

Вскоре подступили иные интересы. Японцы били неповоротливого и нерешительного Куропаткина так, что летели перья, просьбы о подмоге и длинные списки убитых, раненых и пропавших без вести. Госпиталей в Прославле, правда, не разворачивали, но все чаще на улицах города начали появляться безногие, безрукие, слепые, глухие, немые — одним словом, повоевавшие. Война, гремевшая где-то на далекой окраине, уже давала ощутимую отдачу.

Шло последнее лето совместной робинзонады Бориски Прибыткова и Фили Кубаря, но никто еще не знал, что оно для них — последнее. Филя, как обычно, торжественно помолясь, всенародно объявил о своем страстном желании посетить киевские святые места и сбежал в пещерку на берегу. Ловили раков и рыбу, собирали ягоды, травы, грибы и коренья; Филя промышлял птиц, а Бориска в это лето что-то зачастил в город. Но, несмотря на ночные отлучки, друзьям было хорошо, как всегда, хотя Филя не мог не заметить, насколько вдруг повзрослел его Робинзон, насколько он стал задумчив и какая мужская складочка появилась меж его бровей.

— Не кручинься, Бориска! — С круглого лица Кубаря никогда не сходила добрая детская улыбка. — Что нужно человеку, кроме верного дружка? Тишь, да ветерок, да ушицы котелок…

Странное дело, но после удара гирькой и пребывания в больнице Коля Третьяк утратил покой и сон. Он по-прежнему ковал свое железо, но, во-первых, ковал как-то не так, а во-вторых, все время блаженно улыбался. Приемная матушка его, многоопытная бабка Монеиха, понаблюдав, повздыхала и как-то осторожненько повела разговор, что не худо бы де Коле развлечься и

заглянуть к мадам Переглядовой. Но Коля только улыбнулся в ответ на этот намек и исчез из дому в ту же ночь. «Слава те господи!» — обрадовалась бабка Монеиха, решив, что приемный ее сынок внял совету и голосу плоти. Но Коля явился под утро весь в волдырях от крапивы и с еще более безумными глазами.

— Не вышла, — сокрушенно поведал он Теппо Раасекколе. — Четыре часа в крапиве соловьем надрывался, а она и в окошко не выглянула.

Выглянула Шурочка потом, дня через три, что ли. И выглянула, и вышла, но дело не в этом. Дело в том, что в городе Прославле что-то как-то менялось — сам воздух, что ли. Что-то носилось в нем тревожное и обещающее, а что именно — никто тогда не понимал. Это мы с вами — умные, мы знаем, что носилось: новая эпоха. Новая эпоха медленно, но уже неудержимо вливалась в полноводную историю города Прославля, а ее все еще упрямо путали с обычным течением времени.

Я уж совсем было намеревался ставить точку в этой главе, да случайно наткнулся на записи юных лет, где вдруг обнаружил неизвестно кем рассказанное о еще одном весьма даже действующем лице того времени. Каюсь, не собирался я о нем писать, поскольку очень уж он мне несим-

патичен, но и несимпатичные сплошь да рядом оказываются двигателями самых невероятных исторических событий и распорядителями судеб многих симпатичных.

Речь идет об Изоте — племяннике своего дяди. Когда-то их общий предок уличен был в клевете и поклепе и по суровым законам тех наивных времен нещадно бит батогами и лишен богомерзкого своего языка, дабы не возводил напраслину на добрых людей. Тогда — по темности тогдашнего правосудия — действовал закон «доносчику — первый кнут» во всей своей детской непосредственности; предок сполна получил то, что ему причиталось, почему его ближайшие потомки и стали значиться Безъязычновыми. Таковое прозвище и закрепилось за ними в веках, но дядя, открывший в Пристенье «Колониальную торговлю», счел ее неблагозвучной для фирмы и вывески и с дозволения полиции чуть облагородился, назвавшись уже Безъяичновым. Вот что стояло не столько за дядей, сколько за племянником, а почему именно — выяснилось несколько позднее.

Тогда, в канун двадцатого столетия, Коля неплохо ударил. Так неплохо, что не только перешиб Изоту нос, отчего тот до гробовой доски стал по-

ходить на старого мопса, но и заставил, видать, лязгнуть зубами, вследствие чего Изот сам себе откусил кончик языка и из-за этого самого не только начал шепелявить и причмокивать ни с того ни с сего, но и почти вернул себе облик древнего основателя фамилии. Это внезапное двойное изменение, превратившее человеческое… ну, почти что человеческое лицо в песью морду, а человеческую… ну, почти человеческую речь в нечто косноязычное, сильно повлияло и на мир внутренний. Изот стал нелюдимым, перестал колоть свиней, расстался с прежними друзьями, завел множество собутыльников и очень привязался к полутемному во всех отношениях трактиру Афони Пуганова. И всей своей оскорбленной душою возлюбил три вещи: водку, отечество и речи в его защиту. И пока он их там произносит, немыслимо присвистывая, причмокивая и шепелявя, нам самое время перейти к изложению событий следующей главы.

Глава пятая

И снова мне придется круто изменить аллюр повествования. Я все спешу, а спешить-то надо разумно и последовательно, иначе у вас создастся то впечатление, какое возникает у человека, глядящего в окно вагона метро. Что-то грохочет, гремит, воет, стучит, мелькает; кажется, что скорость безумно велика, небывало велика, а на следующей станции выясняется, что проехали вы всего ничего. Нет, не уподоблюсь я мчащемуся в туннеле, а распахну настежь все, что можно распахнуть, и даже приторможу немного: глядите, люди добрые, мы ведь едем по стране, где совсем еще недавно жили ваши предки, где все началось, где спрятаны кончики всех ниточек и причины всех последующих следствий.

В ноябре… или в октябре, что ли, 1904-го завалился на классном деле Сеня Живоглот — знаменитый налетчик, у которого аккурат под Новый год злоумышленники сперли новые кожаные калоши. Сеня тихо брал себе приличную кассу, когда налетели, заорали, засвистели, начали стрелять и окружать. Сеня уложил из личного шпалера какого-то особо усердного, в темноте

сумел прорваться, но не вдоль реки, не к Чертовой пустоши, а на Успенку, где и заметался среди дворов, поскольку был человеком пришлым, а профессиональные его интересы лежали вне успенской территории. Он метался, фараоны, изредка постреливая, стягивали кольцо, и Сеня уже прикидывал, что выгоднее: подлезть под их пулю или хлопнуться самому, потому как все равно ведь забьют. И тут открылась дверь сарая, Сеня нырнул в темь, дверь закрылась, кто-то молча схватил его за руку и быстро потащил за собой. Кончился один сарай, начался другой, кончился другой — пошел третий или снова первый: черт их в темнотище разберет. Кругом еще шумели фараоны, стреляли для острастки, крутились, еще опасность не миновала, но тут, на Сенькино счастье, вынесло Мой Сея, который вдруг заорал на всю спящую Успенку:

— Сатрапы! Рабочему люду и спать уже нельзя, да, по-вашему? Зачем вы поднимаете шум и гам?

— Это ты поднимаешь…

— Я поднимаю? Нет, вы слышите, успенцы, как фараоны валят с больной своей головы на мою здоровую?

Тут уж было не до сна: где-то зажглись окна, застучали двери, кто-то вышел, послышались

недовольные голоса. Полиция вынуждена была в этих условиях свернуть операцию, арестовала в утешение Мой Сея и под дикие вопли Шпринцы направилась в пристенковский участок. А Сеня Живоглот отдышался и сказал в темноту сарая:

— Спасибо, Бориска.

Темнота ответила абсолютным молчанием, но Сеня знал, кому, когда и что говорить. Сказав, тотчас же и ушел, растаял во тьме, а явился в Пристенье через два месяца, когда убитого не только похоронили, но и позабыли о нем навсегда. Сеня Живоглот и Бориска Прибытков не встречались, а если и встречались, то еле кивали друг другу, как люди хотя и знакомые, но весьма далекие, и так продолжалось еще почти что полгода, а через те полгода…

Через полгода молодые приказчики, купчики, лабазники и прочая полупочтенная шантрапа возлюбили сборища в трактире Афони Пуганова, который к тому времени сумел восстановить так некстати взорвавшийся самогонный аппарат. Пили, орали «Боже, царя храни», снова пили и снова орали, и больше всех старался Изот Безъяичнов. Крики эти никто всерьез не воспринимал (не до того было: с Японией воевали), но как-то вечером постучали в дверь домика Маруси Прибытковой.

— Добрый вечер, мадам. — Сеня был вежлив и одет, как в лучших домах Большой Дворянской. — Как идет торговля? Как здоровьице? Извиняюсь, что нарушаю покой, но имею дело до вашего сына, и дело важное.

— Гостям рады, — с чисто успенским радушием сказала Прибыткова.

Сеня внес в дом объемистый баул, из которого вначале достал мятый букет нежнейших роз («Лично вам, мадам»), а затем уж пошли разнокалиберные бутылки, омары в банках, анчоусы, малосольная зернистая, маслины и головка натурального швейцарского сыра. В этот момент появился Бориска; припасы были отправлены на кухню, а гость с хозяином уединились в самой дальней комнате, в которой Борис зачем-то прорубил небольшой и укромный выход в соседний двор.

— Какие новости, Сеня? — вежливо осведомился Прибытков.

— Дерьмо, — кратко квалифицировал новости самый профессиональный налетчик Пристенья. — Я ушел из родимой Одессы-мамы в лучших намеках, хотя проходил православным по всем полицейским протоколам.

— Из Афонькиного кабака несет тухленьким?

— Знаешь, когда начинают пить под «Боже, царя храни», то похмеляются под «Бей жидов, спасай Россию», а они во главе с шепелявым Изотом запели именно эту песенку. Конечно, тебе, возможно, все равно, но мне показалось, что тебе не все равно. Если я ошибся, извини. Выпьем, закусим, и пусть они себе спасают Россию.

— Мы выпьем, и закусим, и посидим, и поговорим, но мне все же хотелось бы знать, что там болтают Изот и его ублюдки.

— Там ошивается пара моих охламонов, Бориска. Я принесу все на блюдечке, но решать тебе придется самому, потому что я играю во все игры, кроме политики.

Бориска задумчиво покивал, и деловая сторона встречи на этом была исчерпана. Вежливо поговорили о погоде и девочках, а там мама Прибыткова пригласила к столу, и полилось веселое вино, какое только и пили на Успенке, правда под разными названиями. Гость ушел перед рассветом, а Бориска, поспав три часа, надел свой лучший костюм, взял тросточку с золотой змейкой и фланирующей походкой направился в Пристенье. Выпил бокал шампанского в «Париже» господина Мочульского, сыграл три партии на бильярде, пошутил с завсегдатаями и

взял рысака в Крепость. Там рысаку пришлось пометаться в лабиринтах Дворянских, Кирочных, Кадетских, Офицерских и снова Кирочных, пока седок не нашел того, кого искал.

— Здравствуйте, Сергей Петрович.

— Здравствуйте, Борис Петрович.

Два героя города Прославля пожали друг другу руки несколько торжественнее, чем того требовала неофициальная встреча. А затем уединились в кабинете шикарного «Бристоля», где неспешно пообедали и негромко поговорили.

— Погром — дело нешуточное.

— С хоругвями и царским портретом проглотят и погром. Кроме того, с ними намереваются идти агенты охранки в котелках и со шпалерами, как выражается мой лучший друг Сеня Живоглот.

— Об охранке — его слова?

— Об охранке мне наболтали в бильярдной. Их неплохо натаскивают на этот погром: уже готов список, и первым в нем значится чернильный Мой Сей. Вы учились на его чернилах?

— Нет, я провел детство в Петербурге.

— А я — на его, и мне совсем не все равно, какими чернилами я буду писать завтра. Вы понимаете мою тревогу, господин волонтер? Или буры вам ближе, чем земляки-евреи?

Сергей Петрович долго попыхивал сигарой, размышляя. Потом с сожалением стряхнул пепел и сказал:

— Завтра вам доставят десяток револьверов и ящик патронов к ним. Но двумя револьверами нам не перекрыть всех улиц, ведущих в еврейские Садки, Борис Петрович.

— Ваше дело — револьверы. В отличие от вас, я — с Успенки, а там еще люди не перевелись. И у них есть неплохой шанс дать Пристенью крещенский бой по своему календарю.

— Не спешите давать бой, хотя я не сомневаюсь ни в вашей отваге, ни в вашем уменье стрелять. — Сергей Петрович поднял бокал. — У вас чудные глаза: полагаю, матушкины? Вы член партии эсеров, судя по грохоту бомб на Благовещенской?

— Какое это имеет сейчас значение? — улыбнулся Борис и тоже поднял бокал. — За глаза, Сергей Петрович.

— Вы правы, это не имеет значения, — сказал волонтер, вежливо пригубив. — Однако до пальбы и прочих звуковых эффектов я бы очень хотел навестить вместе с вами одного человека. Если не возражаете, встретимся в среду в семь.

В среду их оказалось трое: присоединился тяжело дышащий и затяжно кашляющий Евсей

Амосыч. Сидели в полутьме в какой-то хибаре на окраине Пристенья, хозяина которой осторожный Амосыч выслал в охранение.

— Шебуршатся черносотенцы, — хрипло подтвердил он, выслушав скупой доклад Сергея Петровича. — И бой им, гадам, мы, безусловно, дадим. Время, думается мне, я узнаю: наборщик все-таки. Адрес нам известен: еврейская слободка Садки. Нижние улицы мы перекроем, а вот Верхнюю — это тебе, Прибытков. С эсерами пойдешь?

— Эсеры устранились, — сказал Сергей Петрович. — Сказали, что готовят грандиозное покушение, которое должно наконец-то всколыхнуть дремлющий народ. Вы на каком номере стоять там будете, Борис Петрович?

— А кто это — «мы», которые перекроют Нижние улицы? — спросил Бориска, проигнорировав вопрос Белобрыкова.

— Боевая дружина Российской социал-демократической рабочей партии, — пространно и не без пафоса пояснил Амосыч. — Шел бы ты к нам, Прибытков. Парень ты боевой, грамотный, а связался с говорунами да динамитчиками.

— Разберемся, — сухо сказал Борис. — Верхнюю улицу удержим.

— В воскресенье приглашаю вас и ваших дру-

зей на пикник, — сказал на прощание бурский доброволец. — Револьверы не забудьте.

Тройка с Успенки, которую для начала подобрал Прибытков, состояла из одного нам известного, а другого — нет, и я опять вынужден остановиться, чтобы немного представить его. Звали его Василием, был он старшим сыном ломовика Кузьмы Солдатова, а известен стал тогда, когда за два года закончил четырехклассное народное училище и учитель специально показывал его городским властям в Крепости, чтобы они помогли мальцу с дальнейшим учением. Власти поудивлялись, поцокали языками, покачали головами, со слезою поговорили об огромной талантливости простого народа — и отказали. И паренек пошел в ученики к колесных дел мастеру Даниле Прохоровичу Самохлёбову, а Бориска Прибытков — в то время еще регулярно посещавший Крепость — стал учить его тому, что усвоил сам. Через некоторое время Василий наловчился точить спицы и гнуть обода, постиг основы математики, физики и химии, разбирался в литературе, ознакомился с историей и неплохо болтал с Бориской по-французски, поскольку обоим нужна была практика. Из сказанного можно смело делать вывод, что Вася Солдатов был верным… нет, не другом: такого

друга не могла признать заносчивая Борькина натура… верным оруженосцем, так будет точнее. И когда пришла пора испытаний, Прибытков просто свистнул.

С третьим дело не могло ограничиться свистом. С третьим требовался разговор, который состоялся еще в тот день, когда Прибытков имел свидание с Сергеем Петровичем. Вот после этого свидания он и подъехал на извозчике прямиком из ресторации «Бристоль» к распахнутым настежь воротам кузницы, где сипели мехи и пламенел горн.

— Я хочу выпить с тобою, Коля.

— Такой барин, как Борька Прибытков, хочет выпить с чумазым кузнецом? Не гони коней вскачь, парень.

— Мне надо выпить с тобой, Коля, и непременно сегодня.

— Надо? На Успенке это слово значит больше, чем долг для Крепости или барыш для Пристенья. Обожди, я умоюсь и надену чистую рубаху.

Свидание состоялось в месте неожиданном, но знакомом каждому в отдельности. Встретили их, как самого градоначальника, провели в дальний кабинет, куда с двумя бутылками вина вошла и хозяйка.

— Что произошло, мальчики?

— Здравствуй, Роза, — с некоторым смущением сказал Коля.

— Я взял Колю от наковальни, а ты несешь ему орешки, — недовольно заметил Прибытков. — Зажарь добрый кусок мяса и доставь его сама.

Роза одарила их улыбкой и послушно вышла. А Коля вздохнул:

— С мясом ты угодил в самую точку, Борис.

— Иногда мне это удается. — Прибытков налил вино. — Давай сначала утолим жажду.

Они выпили и помолчали, потому что Коля из гордости не задавал вопросов, а Прибытков размышлял, как ловчее перейти к сути. Но голова была нечистой, поскольку пил он с утра, и Борис, ничего толкового не придумав, спросил напрямик:

— Ты умеешь стрелять из револьвера?

— Как-то я стрелял из «монтекристо» в тире и, помнится, один раз во что-то попал.

— Не так плохо для начала. У тебя верный глаз, Коля, и, если ты хоть полденька потренируешься, я думаю, будет толк.

— А стоит ли этот толк патронов и тренировки?

Борис долго молчал, прихлебывая вино. Потом

сказал, понизив голос:

— Если бы кто-нибудь — ну, допустим, Изот — стал насмерть избивать нашего Мой Сея или валить на кровать его Шпринцу, что бы ты сделал?

— То же, что и однажды, только теперь бил бы дольше и серьезнее. — Коля осторожно положил на стол огромный кулак. — Ты сомневаешься во мне?

— Я знаю про твою беседу с Изотом, потому и заговорил о револьверах. Кажется, нам придется немножко пострелять. Это дело пахнет каторгой, и я не посчитаю тебя трусом, если ты скажешь «нет». Просто в два револьвера я боюсь не отстреляться.

— От кого тебе надо отстреливаться на этот раз?

— От Изота и его компании.

— А, от тех парней, которые вот уже три недели орут, что пришла пора спасать Россию? Тогда я говорю «да», Бориска, и считай, что у тебя три револьвера плюс два моих кулака.

Было крепкое рукопожатие, две бутылки вина, а потом и ужин с ослепительной Розой. И два молодца, два героя с Успенки, потрясшие каждый в отдельности весь город Прославль, радовались женскому обаянию, дружеской беседе, вину и

доброй закуске, нимало не заботясь более о том, о чем только что говорили. А на следующий день у мелочной лавчонки Маруси Прибытковой остановился лихач, и натуральный черкес, одолженный Сергеем Петровичем у самого пана Вонмерзкого, втащил в помещение тяжелый ящик.

— Для хозяина, — мрачно предупредил он. — Сама не трогай, женщина.

Гордые бобыли Успенки и проверенные огнем аристократы Крепости тихо готовились защищать чужих дочерей, чужое имущество, чужие жизни и чужое достоинство, а ставшее последнее время чересчур горластым Пристенье вопило, орало, пило и блевало, готовя кровавое развлечение.

— И цыган с цыганятами! — пришептывая и причмокивая, орал потный от водки и возбуждения Изот. — Воруют они и обманывают русский народ! Бей цыган, спасай Россию!

Среди хрипатых знакомых рыл приказчиков, лабазников, мелкой шушеры и мелкого ворья выделялись официальные лица в неофициальных костюмах. Они особо не орали, не пили, не спорили: они смотрели, слушали и роняли:

— И студентов…

— Бей студентов, спасай Россию! — вопил кабак, и лампы, чадя, раскачивались под низким сводчатым потолком.

— И социалистов…

— Бей! Спасай!..

— И полячишек…

— Бей!.. Спа-а…

— И кавказцев…

— Бе-е-е-с!..

— Боже, царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу… Кто там не встает? А ну, поднять!.. На славу нам! На страх врагам!

В каждой системе, где возможен рост избыточного давления, инженерная мысль издавна предусмотрела предохранительный клапан, дабы вовремя стравить излишние атмосферы и уберечь машину от взрыва. А государство — та же машина с неконтролируемым подчас ростом внутреннего недовольства. Конечно, оно может прибегнуть к старому, испытанному способу: ввязаться в войну. Но иногда старые, веками проверенные способы оказывались недостаточными, и давление продолжало расти. Тогда срочно приоткрывались предохранительные клапаны и начинали бить евреев, цыган или студентов.

Начали с евреев.

В Прославле они исстари селились в слободке, названной Садками, вероятно, потому, что ни у одного тамошнего еврея не было средств на полновесный сад. Конечно, случались среди них и богатые, так сказать, Ротшильды местного розлива, но таковым Ротшильдам уже нечего было делать в Садках. Такие переселялись в Пристенье и заводили солидную торговлю, как, например, фирма «Соловейчик и сыновья», торговавшая самоварами, котлами, паровыми молотилками и насосами всех систем, или даже в Крепость, где существовали «Аптекарские товары» Рабиновича и известнейшие танцевальные классы госпожи Цибульник. Но это были единицы, а основная масса, повторяю, сидела в своих Садках, которые вплотную примыкали к Успенке через три Нижних и одну Верхнюю улицы, являясь ее неотъемлемой частью, почему, скажем, Мой Сей и жил на собственно успенской территории, а не на слободской. Чем занимались в Садках? Гнули, паяли, лудили, чинили, шили, штопали, варили тянучки, а еще снабжали овощами с собственных крохотных огородов, откуда и пошло название их слободки. В отличие от Успенки и Пристенья, Садки не имели ни одного производ-

ства с законченным циклом и ни одной торговой точки, и если, предположим, они гнули орех для спинок стульев и ножек столов, то поставляли эти спинки и ножки в Пристенье на мебельную фабрику братьев Панкратовых. В зеленные лавки Пристенья шла и огородная продукция Садков, в связи с чем становится ясным, что Садки получали сколько им дадут, а Пристенье — сколько оно запросит. Казалось бы, из-за такой явной несправедливости Садки должны были бы громить Пристенье, но в жизни громит не тот, кто должен, а тот, кто может. И не просто может, а может безнаказанно. Иными словами, Садки оказались запасным предохранительным клапаном для властей города Прославля, и участь их казалась предрешенной, почему об этом знали решительно все. Крепость возмущалась («Это ужасно, господа, нельзя же так, мы же культурная нация…»), Пристенье пило и готовилось, а Успенка приглашала к себе жителей Садков («Детей хоть приведите вовремя!»). И никто не помышлял, что в ответ можно хотя бы набить пьяное мурло погромщику, не потому, что силы были неравны, а потому, что погром негласно был санкционирован сверху, а против властей дружно выступать еще не решались. Еще было

время одиночек — своеобразный реликт девятнадцатого века. Было время одиночек — были и сами одиночки.

— Коля, не рви спуск. Все у тебя хорошо, но ты ждешь выстрела, а ты его не жди. И нажимай на спусковой крючок спокойно и плавно.

— Вася, учитесь взводить курок ладонью левой руки, это резко увеличивает скорострельность. Смотрите и считайте: я расстреляю барабан в одну мишень.

В то воскресенье, когда на глухом берегу реки за великими курганами успенский дурачок Филя Кубырь варил в котелке ушицу, а неподалеку происходил этот разговор, прерываемый то одиночными выстрелами, то сериями этих выстрелов, к аккуратному дому колесного мастера Данилы Прохоровича Самохлёбова неторопливо и не гуртом, не скопом, не все вперемешку, а строго по очереди подходили гости. Данила Прохорович праздновал свои именины на Данилу летнего, и гость в тот день шел к нему уважаемый: пан Юзеф Замора с супругой Вандой Казимировной, Байрулла Мухиддинов с Фатимой, Мой Сей со своей Шпринцей, Теппо Раасеккола сам-один и Мария Прибыткова, приглашенная по старой дружбе, доброму соседству, а также и потому, что дом ее

примыкал к дому Теппо. Бориска не только летом, но и зимой ночевал черт-те где, и Теппо — он же Степа, — случалось, теперь навещал изредка одинокую женщину, чтобы помочь ей по-соседски, как то издавна водилось на Успенке. А кроме этих особо уважаемых гостей, присутствовали и обычные: Кузьма Солдатов и бабка Монеиха, являвшаяся не только знаменитой стряпухой, но и родной теткой жены дорогого именинника, уж в который раз упорно рожавшей дочерей вместо долгожданного сыночка. Гости степенно входили, степенно здоровались, поздравляли именинника и распадались, если были парой: жены следовали на кухню и в залу, где накрывали столы, а мужчины оседали в передней горнице возле хозяина, тут же включаясь в общий разговор. О несомненных преимуществах лошади перед новомодной штуковиной автомобилем и просвещенной монархии перед непросвещенной, под которой, конечно же, понималась желтоликая Япония; о ценах на материал и о материальном положении; о дороговизне и о социализме; о чести рабочего человека и о позорном поражении в Русско-японской войне. Словом, уважаемым мастерам было о чем потолковать, пока Пристенье орало, а одиночки учились стрелять.

— Что нужно рабочему человеку? — спрашивал именинник и сам же загибал пальцы. — Ему нужно, чтоб никто не мешал работать. Ему нужно, чтоб труд его приносил людям пользу, а мастеру — прибыток. Ему нужно, чтоб его уважали за труды и старания. Вот что нужно рабочему человеку.

— То так, панове. Рабочему человеку нужен матерьял, кусок хлеба и покой.

— Всякому человеку нужно, чтобы полиция и начальники видели в нем человека и уважали бы этого человека, — вздохнул Мой Сей. — Я так думаю, что я не доживу до этих времен, как тот Бог, про которого рассказывал старый ребе Ицхок, который живет в Садках, хотя по своей голове он мог бы жить и в самой Крепости.

— А что рассказывал ребе Ицхок? — заинтересовался Кузьма Солдатов.

— Слушайте сюда! — Мой Сей очень оживился, потому что любил пересказывать разные истории, за что его тоже нередко водили в участок. — Дело было так, что к самому Господу Богу — называйте его Саваофом или Иеговой, это же ему совершенно все равно! — так вот, к самому Господу Богу пришел германский император и спросил:

«Ответь мне, Господи, когда обретет счастье мой германский народ?»

Бог полистал Книгу Судеб и сказал:

«Через сто семь лет».

«Не дожить мне», — сказал германский император и заплакал.

Потом пришел английский король:

«Через сколько лет обретет счастье мой английский народ?»

Господь надел очки, заглянул в Книгу:

«Через семьдесят семь лет, король».

«Не дожить мне!» — сказал английский король и заплакал.

Тогда пришел американский президент и спросил о своем народе.

«Через сорок три года», — сказал Господь.

«Не дожить мне!» — заплакал президент.

И наконец явился сам русский царь:

«Скажи, Господи, когда же Россия будет счастливой?»

«Не дожить мне!» — сказал Господь и заплакал самыми горючими слезами.

И я так думаю, что сказал он истинную правду.

— Я тоже так думаю, — сказал Данила Прохорович. — А коли мы оба так думаем, то не поживешь ли ты у меня вместе со своей Шпринцей и ма-

лыми детьми? Дом у меня большой, места всем хватит.

— Мой дом пуст, — выговорил Теппо, вынув трубку изо рта. — Живи, Мой Сей.

— Слушай, Аллах дал мне много детей, но для тебя мы потеснимся, пожалуйста.

— Спасибо вам, мастера, спасибо, люди добрые, — тихо сказал Мой Сей и смахнул слезу бородой. — Только у вас не хватит домов, чтобы спрятать в них весь мой народ, а чем я лучше своего народа? Что я варю чернила, а он не умеет писать?

— Ты хорошо сказал, Мой Сей, — вздохнул Кузьма Солдатов. — Ты правильно сказал свое слово, а только я думаю, мастера, когда же мы с вами скажем свое слово? Когда мы перестанем трястись за свои семьи, за свою шкуру, когда мы перестанем прятать тех, кого бьют, а начнем бить тех, кто бьет? Когда, Успенка?

— То не твои слова, Кузьма, — закачал головой Замора. — Ой, то не твои слова!

— То слова твоего свояка Евсея Амосыча, — подтвердил Данила Самохлёбов. — Да, мы боимся за своих детей, за свои семьи, за их будущее: того, кто ничего не имеет, легче всего лишить надежды на хлеб. И все мы держимся за эту надежду двумя

руками и потому можем только предложить свою крышу, а не свои кулаки. Но ты очень правильно ответил нам, Мой Сей, и мы за это уважаем тебя еще больше. Да, нельзя бросать свой народ, а себе искать местечко потеплее.

— Аллах всемогущ, — сказал миролюбивый Байрулла, коснувшись обеими руками жиденькой бороденки. — Может быть, и ничего не случится, может быть, что-нибудь и случится. Никто ничего никогда не знает о следующем часе своей жизни, но, слушай, пожалуйста, у тебя есть друзья.

— Друзья, — подтвердил Теппо Раасеккола. — Есть.

— Пора и к столу, — сказал хозяин и встал. — Прошу, гости дорогие, прошу закусить чем бог послал.

На этом кончился не только разговор о помощи и друзьях — этим вечером кончился период мирного сосуществования трех единств города Прославля и началась затяжная пора междоусобиц, пожаров, предательств, убийств, казней, пыток, жестокостей, заложников, расстрелов и неистовых поисков справедливости. А когда люди ищут справедливость? Тогда, когда теряют ее или думают, что потеряли. Или решают

вдруг, что вчерашняя справедливость не годится для сегодняшнего дня, а завтра станет совсем враждебной всему прославчанскому племени. И начинают искать, причем каждый ищет со своим фонарем, уверяя, что только он и способен высветить истину во мраке исторических заблуждений. Но это начнется завтра, а сегодня еще все на что-то надеются, и абсолютно прав был тихий лошадиный эксперт, знахарь и знаток Байрулла Мухиддинов, сказав, что никто ничего никогда не знает о следующем часе своей жизни.

Пристенье думало, когда идти громить Садки, таскать за бороды стариков, грабить все, что имеет хоть какую-то цену, брать откуп казенной водкой либо местной пейсаховкой и свободно и безнаказанно валять садковских девчат и молодух, задирая им юбки на головы и завязывая их над головой припасенной бечевкой. Именно об этом долго и смачно рассказывали в трактире Афони Пуганова невесть откуда объявившиеся специшгисты.

— Главное дело — руки им на волосья, а потом юбкой накрыть вместе с головой и завязать мешком. И все, понял? И делай с ей, что душа пожелает: и руки связаны, и тебя не видит. Понял, как надо? Понял, спрашиваю?

— У-ух!.. — сладострастно обмирал кабак, где каждый уже ощущал себя всемогущим беем.

Уехали все очень дружно, однако ближе к ночи в среднем трое из каждого десятка дословно пересказывали услышанное трем взаимоисключающим представителям: полиции, боевой дружине и — это уже лично — Сене Живоглоту. И когда кончились сладострастные мечтания завсегдатаев трактира и началась выработка диспозиции, все три пункта сбора донесений точно и одновременно узнали срок: во вторник, в четыре утра.

— К трем утра боевая дружина перекрывает Нижние улицы Садков, — распорядился представитель комитета. — Товарищ Белобрыков с добровольцами-эсерами занимает Верхнюю улицу. Евсей Амосыч осуществляет связь между отрядами. Сначала предъявите погромщикам требование разойтись, потом — огонь в воздух. Если это их не отрезвит, приказываем смело применять оружие. Цельтесь в котелки — они из охранного, и в картузы — они из полиции.

Все было хорошо, и все бы обошлось хорошо, как мне говорили чудом уцелевшие прославчане. Да, все бы случилось иначе, если бы на Успенке не проживал некий Павлюченко, пропивший все

на свете, кроме неистовой любви к экипажам и водке. Не знаю, откуда ему стало известно про секретную диспозицию боевой дружины, — я так думаю, что Павлюченке проболтался наивный Коля Третьяк, — не знаю, но, мучимый жаждой, кузнец тут же оттащил эту тайну в полутемный во всех отношениях трактир Афанасия Пуганова и продал ее там за полбутылки казенной и пару пива. Пуганов послал за Изотом, и план наступления на Садки был пересмотрен за час до выхода, то есть тогда, когда никакие «свои» никому ничего сообщить уже не могли.

— Значит, на Верхней улице — цыган с Бориской? — (Говорили, что именно в тот момент Изот родил улыбку, которой суждено было сыграть зловещую роль в истории города Прославля.) — Вот мы туда и двинем на час раньше. А на Нижних пусть тоже пошумят, не помешает.

Конечно, это Коля сказал Павлюченке: ведь Коля у него арендовал кузницу и когда-то этот Павлюченко учил Колю кое-чему полезному в звонком и горячем кузнечном ремесле. А потом продал своего ученика, друга и арендатора за полбутылки казенной водки и пару пива. И выпил эту казенную и это пиво, но кончил все равно скверно. Утопился. Сам залез в мешок, сам

завязался и сам же утоп в Поганом ручье. Да еще табличку на шею прицепил: «ИЮДА Я ДЕШЕВАЯ». Говорили, что почерк на дощечке сильно смахивал на почерк Сени Живоглота, но кто сейчас это может проверить? Да и тогда следователь удивлялся совсем по другому поводу:

— Как же так: речка у вас — девчонке по юбчонку, а человек утоп?

— Не знаем, — пожимали плечами успенцы. — Был бы человек, так, может, и не утоп бы…

Кроме пьяницы Павлюченки, на Успенке существовала традиция, о которой тоже придется помянуть: по понедельникам все четыре пастыря разноплеменного успенского населения собирались друг у друга. То у священника церкви Варвары-великомученицы отца Гервасия, то у муллы успенской мечети, то у ксендза, то у раввина из соседней синагоги. Говорили об общих делах, обсуждали новости, ужинали, а потом азартно резались в «шлепанку» (была такая копеечная игра в карты, завезенная на Успенку бог весть из каких краев) до первого крика муэдзина. Но в канун того вторника «шлепанки» не было, а была приглушенная вечеря:

— Значит, раным-рано ведете в церковь девушек и женщин.

— В костел — детей и старух.

— В мечеть — почтенных старцев, хвала Аллаху.

Но этим божеским намерениям святых отцов не суждено было сбыться по двум причинам. Во-первых, о всех своих благих намерениях пастыри всегда аккуратно и неизменно ставили в известность полицию. А во-вторых, пристенковцы во главе с Изотом уже успели перекрыть ведущую к Успенке Верхнюю улицу Садков.

Человек размышляет, мечтает, предполагает, строит планы или козни, в зависимости от характера, но вмешивается Бог, рок, судьба (называйте, как хотите), и все летит в тартарары. Этот «деус экс махина» может оказаться в облике неглупого налетчика, спившегося кузнеца или даже городского сумасшедшего.

Несмотря на то что Сергея Петровича Белобрыкова вполне заслуженно называли ветераном, в душе он оставался неисправимым романтиком. И в канун сражения постарался исполнить все, что исполняли его предки в ночь перед боем или перед дуэлью. Поразмышлял о прожитой жизни, тщательно отметив про себя все те случаи, когда был не прав, когда кого-либо обидел или подвел ненароком, и внутренне попросил прощения.

Затем написал письмо отцу, разъяснявшее его решение, запечатал его в конверт и пометил: «ПЕРЕДАТЬ МОЕМУ БАТЮШКЕ ПЕТРУ ПЕТРОВИЧУ БЕЛОБРЫКОВУ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ ПОСЛЕ МОЕЙ СМЕРТИ». Никакого имущества у него не было, что освобождало его от завещаний и иной деловой суеты, но Сергей Петрович тем не менее продолжал сидеть за столом. Сердце его билось спокойно, когда он писал прощальное письмо, но сейчас сердце зачастило, а потом и вообще понеслось вскачь. И это неудивительно, если припомнить, что без пяти минут бакалавр, волонтер и ветеран был еще очень молод и думал он — о девушке.

В то лето Оленьке… простите, Ольге Федоровне Олексиной минуло восемнадцать, но за этот очень небольшой срок она натворила много любопытного и тоже числилась героиней Прославля. Во-первых, она успела с блеском закончить гимназию; во-вторых, попасть в какие-то серьезные неприятности то ли с полицией, то ли с охранкой; в-третьих, из-за этих неприятностей она принципиально разошлась во взглядах с отцом (между прочим, отставным генералом); в-четвертых, ушла из дома, уехала в Прославль, где и проживала отныне со свирепой дуэньей

Евдокией Кирилловной. Давала уроки музыки, училась на каких-то курсах, была независима, свободна (если не считать опеки Евдокии Кирилловны) и прекрасна. И вполне естественно, что вся молодежь Крепости была от нее без ума, и Сергей Петрович тоже, но… Но понадобилось ощущение, что завтра встанешь под пистолет, чтобы понять, ощутить, прочувствовать и написать: «Ольга Федоровна, милая, милая моя Оленька, я люблю Вас. Я люблю Вас так, как и должно любить, то есть безгранично, преданно и на всю жизнь. Я смею написать „на всю жизнь“, и в этом не будет пошлости, ибо когда Вы узнаете о чувстве моем, меня уже не будет в живых…» Ну и в таком же духе девять страниц мелким почерком фиолетовыми мойсеевскими чернилами, перед которыми время оказалось бессильным, и я держу в руках пожелтевшие девять страничек с будто вчера еще написанными строчками: «Любимая моя, будьте счастливы!» Из этого вы можете сделать вывод, что адресат получил письмо, которому полагалось быть посмертным, но, как я уже говорил, человек предполагает, а судьба располагает. И еще я говорил о том, что случай выступает в разных обличьях, и, когда Сергей Петрович закончил это послание, случай пред-

стал пред ним в облике весьма воодушевленного и до зубов вооруженного Гусария Улановича.

— Что с вами, дядюшка?

Во всем Прославле только отец и сын Белобрыковы обращались к старому чудаку по-человечески, но Петр Петрович неизменно величал его поручиком, а Сергей Петрович — дядюшкой.

— Сергей Петрович, Серж, Сереженька, — возвышенным, но дрогнувшим голосом возвестил Гусарий Уланович. — Я всю жизнь внушал тебе идеалы добра и благородства, чувства чести и самоотверженности, коими одними и надлежит руководствоваться в делах с неприятелем или дамами. Скажи мне: я был не прав? Скажи мне: человек может обойтись без этих святых чувств, если он человек? Скажи мне: «Это багаж, сдайте его на станции». Скажи мне все это откровенно, и я застрелюсь.

На плече дядюшки висела добрая русская бердана, на боку — офицерская сабля, а за ремнем торчали рукоятки двух старых пятизарядных кольтов, и бывший поручик вполне мог застрелиться. Учитывая его решимость и арсенал, Сергей Петрович сказал поспешно:

— Вы абсолютно правы, дорогой дядюшка. Но что, однако же, случилось?

— Ты забыл обо мне, и я вспомнил свой долг, — туманно пояснил старый воин. — Священный долг русского дворянина есть защита Отечества своего не только от врагов внешних, кои именуются противником, но и от врагов внутренних, кои именуются неприятелем. А кто есть враг внутренний? Тот, кто позорит Отечество свое, кто отдает на поругание его честь, кто обижает его подданных, кто осмеливается сеять рознь меж едиными братьями. И низость его превосходительства генерала Лашкарева…

— Дядюшка, дядюшка! — отчаянно закричал Сергей Петрович, стремясь отвлечь старого ветерана от опасных воспоминаний. — Не желаете ли джину, дядюшка?

В то время как Сергей Петрович вспоминал грехи, писал отцу, любимой и ублажал старого чудака, Борис Петрович попросту не ночевал дома. Матушка его уже привыкла к подобным поступкам — Бориска не ночевал дома с двенадцати лет, — тем более что в ту ночь не была одинокой. Застенчивый Теппо Раасеккола, навестив ее в понедельник, все никак не решался уйти, выпил два самовара и окончательно затосковал, когда Маруся сказала, старательно глядя мимо него в черное, как казенные мойсеевские чернила,

окно:

— Сказать по правде, так мне одной страшно, тебе одному грустно, Бориска придет к завтраку, и я, Степа, ты уж прости меня, постелила нам постель…

Ах, какая сказочная ночь была у могучего ломовика Теппо Раасекколы! Теппо нырял то в кипящие страсти, то в ледяной бездонный омут, выныривал, захлебывался от благодарной нежности и нырял снова. «Как она смеется! — с восторгом думал он. — Нет, так никто не умеет смеяться, и мне очень нужно, чтобы она всегда смеялась рядом со мной по утрам. И я сейчас скажу ей об этом…»

Решившись сказать женщине, как он любит ее, Теппо долго вздыхал, разевал рот, сопел и снова вздыхал. Маруся все давно поняла, и сердце ее умирало от счастья, потому что в ее маленькой жизни было все, кроме любви.

— Сват — Данила Прохорович, — сказал наконец Теппо. — Самый лучший.

Он замолчал, решив, что этим сказано все, о чем он думал и думает. И она поняла его.

— У меня почти взрослый сын, Степа, и я даже старше тебя, но, если ты хочешь, я всегда буду рядом. И плакать, и смеяться, и просто молчать

от счастья.

Невероятно обрадованный Теппо снова оказался на дне омута, а вынырнув, ощутил, что у него уже нет сил, и стал еще счастливее. И заснул сном настолько глубоким, что не расслышал предутреннего стука в дверь, которую открыла Маруся. За дверью стоял незнакомый молодой парень.

— А где Борис?

— А где ваше «здрасте», молодой человек?

— Наше вам, — буркнул парень. — Сеня велел передать, что кодло прет прямо.

— Кто куда прет и какое кодло?

— Дело пахнет могилой или нарами, так мне велено передать. И еще. — Неизвестный извлек из-за пазухи револьвер. — Сеня предупреждает, что у этого шпалера подпилена собачка и что поэтому он стреляет как сумасшедший и в два раза быстрее любого полицейского пугача. Это мне велено.

Таинственный посланец Сени Живоглота сунул подпиленный револьвер в руки все еще обретавшейся в нежной истоме Маруси Прибытковой и растворился в предрассветном сумраке. Маруся вернулась в спаленку, где могуче похрапывал Теппо, сняла платок, в который кутала плечи, но поглядела на револьвер и задумалась. Ей очень

хотелось юркнуть под одеяло, прижаться к сонному телу, приласкать его, приласкаться самой, нырнуть и… Женщина в ней спорила с матерью, и, как всегда, победила мать. И вместо того чтобы раздеться, она оделась и завернула в платок подарок знаменитого налетчика.

— Сваты… — сонно сказал на секунду проснувшийся Теппо.

— Спи. — Маруся поправила одеяло и поцеловала финна в лоб. — Я знаю, у какой девчонки ночует сегодня мой сын.

Но в ту ночь сын ночевал совсем не у той девчонки. И как раз в тот самый миг отдирал от себя цепкие руки рыдающей женщины.

— Не пущу! Не пущу! Не пущу!

Женщина отчаянно выкрикивала те слова, которые всегда выкрикивают женщины, провожая любимых на бой, дуэль, поножовщину и прочие мужские забавы. А Бориска, мягко отдирая ее, говорил те слова, которые всегда говорят мужчины в подобных случаях:

— Я вернусь, слышишь? Я вернусь!

Не найдя сына у предполагаемой девицы, Маруся не стала возвращаться, а кинулась искать, испытывая все растущее беспокойство. На соседних, еще темных улицах ей все время чудились

шаги, приглушенные голоса, дыхание множества людей. И, занятая собственным волнением, непонятными страхами и слуховыми иллюзиями, она так и не встретилась с сыном, секундой раньше свернувшим на Верхнюю улицу.

На сборном пункте уже были послушный Вася Солдатов и Коля. Вася отлично выспался, был оживлен и весел, может быть, чуть более, чем требовали обстоятельства. А Коля, наоборот, не спал ночь и выглядел весьма огорошенным, что и заставило Бориса поинтересоваться причиной.

— Готов помочь, если в силах.

— Спасибо. — Коля тяжело вздохнул. — Не буду морочить голову в такое утро, но завтра скажу. Кто знает, может, ты и в силах, Борис.

Коля провел ночь в саду самого Ивана Матвеевича Круглова (три мельницы, из коих две паровые). Сам Иван Матвеевич был в отъезде, что и позволило его набалованной Шурочке выбраться из дома прямо в цыганские объятия. Если бы об этом узнали пристенковские парни, Колю бы забили насмерть, но то, что он уцелел, его совсем не радовало.

— Батюшка о тебе и слышать не хочет. «Чтоб я, — говорит, — за безродного цыгана единственную дочь отдал? Не бывать этому никогда!» — без

особого огорчения, скорее с любопытством, сказала Шурочка.

Коля стал умолять, и это ее огорчило. Коля, фигурально выражаясь, бился лбом, а Шурочка все больше дула чрезвычайно увлекательные губки. Ей хотелось, чтобы цыган проявил свой дикий нрав, чтобы угрожал, скрежетал зубами, рвал все в клочья и, может быть, даже побил. Несильно. А он просил. Будто гимназист, а не герой города Прославля.

— Ничегой-то вы, Коля, в чувствах не понимаете, — горько вздохнула она и хотела уйти навсегда.

И тут случилось то, за что Коля себя проклинал. Он туманно помнил, как схватил ее в объятия, сжал, упал с нею вместе на клумбу, и там, среди зацветающих георгинов, сотворил то, что — если по чести и совести — мог сотворить лишь после венчанья. Шурочка, правда, не крикнула, но и кричать-то ей было нельзя, если подумать: зато она так тяпнула его за плечо, что Коля до сей поры болезненно морщился. А как только он выпустил ее, вскочила и бросилась в дом. Коля, прислушавшись, уловил рыдания и в полном расстройстве отправился в Садки, так и не успев выяснить, что Шурочка плакала совсем не по той причине.

«Дурак какой! — сквозь слезы шептала она. — Не мог утерпеть, пока подниму все аккуратненько. Цыганская страсть, а платья нет, и что я батюшке скажу?!» Ничего этого Коля не знал, называл себя бессердечным животным и очень боялся, что Шурочка никогда и ни за что его уже не простит.

— Кто знает, может, только ты и в силах, Борис.

Три героя города Прославля встретили решающее утро своей жизни почти одинаково: двое — в женских объятиях, один — в мечтах. И это не штамп, не авторский повтор, не однообразие — это возраст. Возраст любви требует любви и не хочет никаких замен, и поэтому вполне понятно, что три судьбы и в этом оказались схожи. Тем более что всем трем женщинам суждено было сыграть далеко не последнюю роль в дальнейших событиях. В частности, именно сейчас мне необходимо напомнить о знаменитой в Пристенье дурочке, бабке Палашке, переполошившей мрачными пророчествами весь город Прославль. Она имела дурную привычку вставать ни свет ни заря и шляться в поисках как небесных, так и земных знамений. И, шляясь той зарей, услышала за забором у самого Ивана Матвеевича Круглова столь знакомые ей когда-то звуки. То было зна-

мение — да еще какое! — и бабка, подкравшись, высмотрела все: кто, где, когда. И растворилась в сумраке, когда Шурочка ринулась в дом рыдать по поводу изодранного платья и сиять по поводу всего остального. И получилось так, что бабка Палашка знала все, а о ней никто не знал. У причин всегда больше следствий, чем следствий у причин, хотя часто бывает наоборот.

Вот сколько событий произошло в городе в одну короткую ночь, а Оленька Олексина спала спокойно, ни о чем не подозревая, хотя именно ей в эти часы судьба готовила самый тяжелый крест. Как хорошо, что мы не ведаем, что с нами случится! Это великое благо, и я люблю читать историю и размышлять о ней именно потому, что я-то знаю, какая заваруха вышла из того, к примеру, что некий студент прихлопнул некоего эрцгерцога. А если бы он промахнулся?..

И что, если бы Сергей Петрович опоздал на Верхнюю улицу? Но опоздал не он, а Евсей Амосыч, и это опоздание тоже породило свою цепочку событий. А Сергей Петрович Белобрыков, недоучившийся студент, несостоявшийся бакалавр, волонтер и ветеран бурской войны, потомственный дворянин города Прославля и член РСДРП, пришел вовремя, и не один: за ним, пыхтя под тя-

жестью оружия и амуниции, поспешал отставной поручик, которого все знали только под именем Гусария Улановича, что лишний раз подтвердило известный афоризм, будто историю творят герои и сумасшедшие.

— Вот и мы, — сказал Сергей Петрович. — Прошу извинить за…

И замолчал: в предутренней тишине послышался нарастающий гул, в котором сливались топот, говор и дыхание доброй сотни мужчин, злых с утра и похмелья.

Старый бог надел очки, послюнил пальцы и неторопливо перевернул еще одну страницу в Книге Судеб прекрасного города Прославля.

Глава шестая

Живущие настоящим не ведают, что творят, если им свойственно непонимание столь простой истины, что если спичка вызывает пожар, то причина — непредсказуемые следствия. И тогда может прогреметь выстрел в Сараево, сгореть рейхстаг в Берлине или в небе над Хиросимой взорваться бомба № 1. А в городе Прославле, судя по рассказам отца и вздохам бабушки, таковое непонимание было распространено, как насморк в октябре: подумаешь, пух из еврейских перин! Но умудренная жизнью и смертями бабушка считала тот день началом всех начал, нашпигованный немецким железом отец называл его исходным рубежом прославльской заварушки, а беспристрастная история отнесла по рубрике «ряда волнений в губернских городах». Как бы там ни было, а мы-то теперь знаем, что для всего на свете — большого и маленького, частного и общего, исторического и не очень — есть свое собственное, присущее только ему НАЧАЛО.

— Частность, — сказал отец. Он еще был жив, когда я додумался до исключительности всех начал. — Она не оказала решающего влияния на

развитие истории.

Да, до великого революционного толчка было еще далеко. Но до начала в городе Прославле оставались уже считаные минуты…

Прежде чем писать дальше, я заглянул в Даля. Я не стал искать слова «ПОГРОМ»: во-первых, знаю, что оно означает, а во-вторых, до результата надо еще добраться. Я искал тех, кто тогда пытался добраться до этого результата. И вот что сказано у Владимира Даля по их поводу:

«ТОЛПА — скопище, сборище, сходбище, толкотня, множество сошедшихся вместе людей; орда, орава, ватага».

И вот это скопище, сборище, эта орда и орава, это множество сошедшихся вместе, подогретых посулами и ложью, затуманенных водкой и ложью, обалдевших от тяжкого похмелья и еще более тяжкой лжи, двинулось на замершую в страхе божьем нищую еврейскую слободку. Любопытно, что все единицы этого скопища, то есть те, кто был еще способен хоть что-то соображать, усиленно вдалбливали сами себе, что путь спасения города Прославля лежит точнехонько через эту злосчастную слободку и что иного пути у них нет, потому что он наипростейший, наикратчайший и безопаснейший из всех путей. Но то единицы:

в толпе, как известно, нулей неизмеримо больше, чем единиц, а нули круглы и соображают только «на троих» и чтоб без наказания.

А те несколько одиночек, которые сами выбрали свою судьбу именно потому, что знали цену лжи и жаждали истины, не просто считали («считать» — глагол пристенковский применительно к событиям), но веровали, что честь их родного города, честь всей России, ее будущее, ее спасение и все ее надежды лежат точнехонько между тяжко шагавшей ордой и притихшими Садками. Веровали и ждали, вслушиваясь в семенящий, похмельный, разнобойный, но неудержимо нарастающий топот сапог с коваными каблуками. Встреча была предопределена велением горячих сердец и чистой совести тех, кто ждал.

— Разговаривать буду я, — сказал Белобрыков. — Остальных прошу пока держаться в тени.

— Я прикрою тебя, Сереженька, — гулким шепотом оповестил окрестности Гусарий Уланович.

— Благодарю вас, дядюшка. Полагаю, однако, что надобности в этом не возник…

И тут из утренней сини возникло нечто темное, аморфное, не имеющее ни голов, ни хвостов. Возникло и враз остановилось, натолкнувшись на одного-единственного человека.

— Ну и что? — негромко и даже несколько ворчливо спросил Сергей Петрович.

Перед ним в застенчивой нерешительности топталось десятка четыре молодцов с Пристенья, вооруженных ножами и ломиками, топорами и плетьми, дубинами и кастетами, гирьками на ремешке и натуральными кистенями. Огнестрельного оружия видно не было, но никто не сомневался, что прихватить его не позабыли, а прячут до времени по совету многоопытной полиции. Конечно, все это сходбище, выражаясь далевским языком, прекрасно знало, кого именно и где именно оно встретит: Павлюченко честно заработал как свою бутылку с парой пива, так и свою смерть в Поганом ручье. Но одно дело — знать, что встретишь, а другое — встретить. Встретиться лицом к лицу и глаза в глаза.

— Идите-ка по домам, — посоветовал Белобрыков. — И всем будет хорошо, поверьте.

Мгновение неустойчивого равновесия нарушилось внезапным появлением действующего лица, которое никак не должно было здесь появляться. Все в мире подчиняется определенным законам, все им послушно и покорно, и, однако, всегда находится некая группа лиц, для которых законы не писаны. Они поступают вопреки ло-

гике, вопреки причинам и следствиям, вопреки фактам и предположениям, что и позволяет мне еще раз категорически подтвердить неизвестно кому принадлежащий афоризм, будто историю делают герои и сумасшедшие. Филя Кубырь, правда, не был сумасшедшим (между нами, он и дураком-то стал не по призванию, а по желанию), и тем не менее именно ему суждено было внести посильный вклад в первый кульбит истории города Прославля.

Мне много рассказывали о Филе, и я достаточно ясно представляю его. Круглый, подвижный, дурашливо не унывающий, с добрыми, наивными глазами, которые и к почтенным годам (говорили, будто было ему уже за сорок) не утратили младенческой чистоты и способности глядеть на мир, не моргая. Он любил детей, собак и птиц; дети никогда не дразнили его, собаки не кусали, а птицы сами шли в руки, почему он и слыл лучшим птицеловом города. А ходить словно и не ходил, а катился на коротких толстых ногах; он почти всегда бегал босиком, а ноги мерзли, вот он и приловчился семенить мелко и быстро: катиться, а не шагать. И выкатился вдруг из чужого, затаенно примолкшего двора как раз между ордой и Сергеем Петровичем.

Вряд ли он выкатился именно в то время и именно в это место случайно. Правда, тогда никто не поинтересовался, почему Кубырь объявился на Верхней улице, но я убежден, что знаю по крайней мере две причины: бабка Монеиха, которая души не чаяла в Коле Третьяке, и сам Филя, который души не чаял в Бориске Прибыткове. А когда две такие причины одновременно воздействуют на большое и доброе сердце, оно оказывается там, где должно оказаться.

— Ай, мужиков-то сколько, мужиков-то сколько! — дурашливо заверещал он, радостно всплеснув толстыми короткими руками. — Чегой-то вы разом, а? Вот уж девкам красным радости-то, на вас глядючи-то! Ай, разбужу их, а? Эй, девки, девки, нареченных своих проспите!.. Сейчас повскочут: то-то славно, то-то весело! А мы просо сеяли-сеяли, а мы просо вытопчем-вытопчем! У кого гармошка есть, у кого? Неужто ни у кого? Столько вас — и без гармони? А я так спляшу, я так…

С Нижних улиц раздался залп. Как потом выяснилось, стреляли в воздух, требуя, чтобы защитники разошлись по домам: туда погромщики и не сунулись, зная о боевой дружине, туда сразу же направились усиленные наряды полиции.

Все вздрогнули, напряженно прислушиваясь; Филя замолчал тоже, но тут же затарахтел с еще большим оживлением и еще большей дурашливостью:

— А вот и гром, а мы лоб крестить! Лоб крестить — в рай дорожку мостить. Отложим-ка картузы и кепки да перекрестимся радостно да крепко: здравствуй, день божий, всем нам пригожий! А потом меня сватать пойдем. Все, дружно! Я, ребятки, жениться хочу. На бабке Палашке. А что? Сегодня — сговор, завтра — свадебка. Всем городом гулять…

Железный шкворень с шорохом вспорол воздух и ударил в голову. В висок. Собственно, целились-то не в успенского дурачка — целились в студента и социалиста Белобрыкова, но Филя Кубырь всегда оказывался там, где нужно оказаться в нужный момент. Таково уж свойство дураков всех времен и народов…

Тело Фили Кубыря еще не успело осесть, рухнуть (его подхватил Сергей Петрович), как Борис, вырвав револьвер, бросился вперед.

— Кто? — Он выкрикнул так громко, что его услышала мать и рванулась на крик, но об этом после. — Все равно узнаю! — Он выстрелил в воздух. — Все равно найду! Все равно докопаюсь! Все

равно убью!.. Слышите вы, крысы трактирные? Убью! Честью клянусь, убью!..

Он шел на толпу, размахивая револьвером, и толпа, угрюмо ворча, медленно и неохотно пятилась перед ним. А потом раз за разом громыхнули три выстрела, но руки у стреляющих дрожали то ли с похмелья, то ли от страха, то ли с непривычки.

— Назад! — Сергей Петрович поспешно передал тело Кубыря Васе Солдатову. — Назад, Борис! Приказываю, назад!

Неизвестно, послушался бы Белобрыкова впавший в неистовство Прибытков, выстрелил бы сам по толпе или оттуда успели бы выстрелить раньше и на сей раз уже не промахнулись бы, а только над всей Верхней улицей, над испуганно притихшими домишками и уже зловеще гудящей толпой, над мертвым Филей и еще пока живыми героями Успенки и Крепости взревел вдруг хриплый, прокуренный бас отставного поручика:

— Р-рота, к бою! Стрелкам рассыпаться! По басурманам пополувзводно! Не выдавай, братцы! Не посрамим же имени русского!..

В жизни великое множество действий и событий совершается одновременно, но рассказчики всегда рассказывают их последовательно, цепляя

друг за друга, как вагоны в поезде. И я, как ни бился, не смог придумать иной возможности, посему и вынужден временно оставить Верхнюю улицу и после команды Гусария Улановича напомнить об отчаянном крике Бориса: «Кто?» Крике, который услышала мать и рванулась на него. И здесь опять следует остановиться, чтобы потом не запутаться. Чтобы все понять, придется начать с Нижних улиц Садков и объяснить, почему Амосыч на них задержался.

Боевая дружина прибыла на место вовремя, но оказалась куда малочисленнее, чем рассчитывали, поскольку анархисты и сочувствующие отказались браться за оружие. Учитывая это, а заодно и местность (если Верхняя улица была одна, то Нижних — целых три), Амосыч со своими дружинниками начали поспешно строить баррикады и к появлению полиции успели перегородить дорогу и спрятаться. В этих условиях орать привычное «Р-разойдись!» оказалось некому, почему командовавший усиленными нарядами офицер и приказал пальнуть в воздух. На дружинников этот грохот не произвел никакого впечатления, но метавшаяся в поисках блудного сына по всем бабенкам Успенки Маруся Прибыткова со всех ног рванулась к баррикаде.

От прогремевшего спозаранку залпа, кроме всех прочих жителей Успенки, проснулись еще двое, один из которых имеет отношение ко мне, а другой — к моему рассказу. Это моя бабка, которой исполнилось пять лет, и револьверная пальба оказалась тем первым звуком большого мира, который она запомнила. А вторым был Теппо Раасеккола, проснувшийся в приятной усталости, но без только-только обретенной подруги. Это обстоятельство разрушило свойственную ему флегматическую неторопливость; с небывалой быстротой нацепив одежду, финн помчался напрямки к Нижним улицам, справедливо рассудив, что, где стрельба, там Борис, а где сын, там и мать. И таким образом получилось, что Теппо Раасеккола и Маруся Прибыткова бежали навстречу друг другу, и встреча эта не могла миновать баррикад на стыке трех Нижних улиц, ведущих в замершие от ужаса Садки. И пока они бегут, я немного расскажу о них, потому что люблю людей, спешащих спасти и помочь.

Помните холеру 1882 года? Говорят, ее занесли в Прославль пленные турки, хотя никто из вас, конечно, и слыхом не слыхивал об этой напасти. Ей не дали особо развернуться, она промчалась, как метеор, но все же успела унести в могилу отца,

мать, сестру и брата Теппо Раасекколы, оставив его в полном одиночестве. «Пропадет парнишка один», — сказал Кузьма Солдатов, хотя любая церковная крыса была богаче его. В большой семье все время кто-то рождался и кто-то умирал, но Степа оставался старшим; чем мог, помогал приемному отцу, а потом и сам стал ломовиком. Неплохо зарабатывал, но ему не везло с любовью: те, кто ему нравился, не замечали его, а тех, кому он нравился, не замечал он. А потом появилась Маруся Прибыткова.

А вот откуда она появилась, никто не знал. Успенка не расспрашивала женщину о ее прошлом, если эта женщина побывала у мадам Переглядовой: с радости туда не попадали, а о горе человек должен рассказывать сам, если вдруг ему захочется. Но Маруся захотеть не успела, и тайна ее происхождения осталась покрытой мраком. Единственное, что я установил, так это, во-первых, что была она жгучей брюнеткой с густо-карими глазами и, во-вторых, смягчала «г», из чего можно заключить, что прибыла она в наш город с юга. Южанки бывают либо очень большими, либо очень маленькими, и Маруся была гибка и изящна, что оценили многие, и первой — мадам Переглядова. Но огромный белоголо-

вый финн любил не знойную турчанку, а тихую, работящую и скромную Марусю, мучительно стеснявшуюся своего «турчанского» прошлого, а потому и никогда не говорившую о нем.

— Понимаешь, старуха, она — как звездная ночь, — объяснял Теппо своей лошади, поскольку с людьми разговаривать не умел. — И у нас были бы черные девочки и белые мальчики: что может быть лучше, а? Но я же не могу вот так, за здорово живешь, прийти к ней и сказать: «Будь моей женой». Почему не могу? Да потому, что боюсь, как бы она в этом не увидела намека на мадам, — это во-первых. А во-вторых, ну кто я такой? Белоглазый финн, который с лошадью только и может разговаривать…

Да, они давно бежали навстречу друг другу…

На первый залп баррикада не ответила: Амосыч приказал не стрелять до его команды, поскольку не хотел обнаруживать слабость собственных сил. Он все время прислушивался к шумам на Верхней улице, но после криков, нескольких разрозненных выстрелов и древней боевой команды там было тихо. Амосыч очень хотел бы знать, как обстоят дела, но оставить отряд не мог: народу на его баррикаде оказалось немногим больше, чем у Сергея Петровича на Верхней улице. И он прислу-

шивался и выжидал, выжидал и прислушивался, но действия разворачивались поначалу как-то уж очень неопределенно.

Усиленными нарядами полиции командовал недавно прибывший в Прославль офицер. Он был молод, но поскольку до этого служил в Польском генерал-губернаторстве, то уже обладал вполне достаточным опытом: не стал ни призывать нарушителей спокойствия разойтись, ни тем более атаковать баррикаду. Он приказал своим укрыться, направил местному высокому начальству донесение и просьбу о безотлагательной помощи войсками, а кроме того, разослал патрули, чтобы лишить баррикаду связи поелику возможно. Он знал о Верхней улице и то, что обороняют ее небольшие силы, и то, что именно туда отправилась толпа во главе с Изотом-племянничком, а потому, услыхав выстрелы, крики и боевую команду, с пятью полицейскими лично выдвинулся левее, чтобы захватить угол, мимо которого пролегали пути между Верхней и всеми тремя Нижними улицами. И только успел подойти к этому углу, как из-за него выбежала задыхающаяся и окончательно сбитая с толку пальбой и криками Маруся Прибыткова.

— Стой! Кто такая?

— Прибыткова я, с Успенки. Меня все знают.

— Куда и откуда следуешь?

— Домой иду. — Маруся инстинктивно понимала, что во время криков, перестрелок и баррикад правду полицейским не говорят. — Куда же еще? Домой, конечно.

— Что несешь?

— Это? Утюг это. За утюгом к соседке бегала.

— В три утра? — Офицер усмехнулся. — Покажи, что это за утюг.

И протянул руку. Возникла очень короткая пауза, и неожиданно загремел выстрел.

В этой части рассказа мнения прославчан распадаются на три лагеря. Согласно версии первого, выстрел был делом рук самого полицейского офицера, взявшего сверток, ощутившего тяжесть и прикинувшего на руке: утюг это или нет? А утюг возьми да и выстрели… Согласно второй версии, Маруся сама нажала на спусковой крючок — естественно, случайно, — когда передавала подарок Сени Живоглота опытному чину полиции, но я убежден, что все произошло совсем не так, и в этом смысле примыкаю к третьему лагерю.

Все было очень просто: перепугавшаяся Маруся (она-то знала, что за «утюг» у нее в руках!) неожиданно бросила сверток и побежала куда

глаза глядят. От удара о землю «сверток» выстрелил; пуля ни в кого не попала, но кто-то из нервных полицейских по собственной инициативе пальнул в спину бегущей женщины. Знаете эти охотничьи инстинкты палить в спину? Из-за них раз в году, как говорят, стреляет незаряженное оружие, из-за них порой попадают в спину бегущему даже полицейские служаки, которые, случалось, выпускали по три-четыре барабана в одного лихого налетчика, доброе дело которого обернулось такой бедой в то раннее утро.

— Бо-о-о!..

Нет, не «больно» она хотела крикнуть, а «Боря», но не крикнула: из горла хлынула кровь. И все остолбенели, все замерли, и никто ничего не успел сказать, как возле Маруси Прибытковой, бившейся в последних конвульсиях, оказался Теппо Раасеккола: они давно бежали навстречу друг другу…

Он поднял ее с земли, поглядел в глаза, прижал к себе и бережно положил на то же место. Медленно выпрямился в полный рост и был столь страшен, что опытный полицейский офицер начал в ужасе пятиться, забыв о личном оружии. А Теппо шел и шел, грузно, неторопливо и неотвратимо; в него уже стреляли все, кроме офицера, но

то ли руки у них тряслись, то ли заговоренным был финн в белой нижней сорочке с алым пятном крови Маруси Прибытковой на широкой, как ломовая телега, груди. Стреляли в упор в самом прямом смысле, а Теппо Раасеккола, приемный сын Кузьмы Солдатова, Степа с Успенки, продолжал идти, глядя только на офицера и вытянув в его сторону длинные, перевитые мускулами могучие руки. Он просто взял этими руками офицера за голову и сжал. Раздался дикий, нечеловеческий… — господи, как часто придется мне теперь писать это слово! — крик; череп лопнул, как арбуз, и серые полицейские мозги брызнули на траву.

Теппо сразу же отпустил безжизненное тело, молча вернулся к Марусе и сел рядом. Он не смотрел вокруг — а если бы и смотрел, то все равно ничего бы не видел, — он не отрывал глаз от единственной своей женщины, дрожащей рукой нежно перебирая ее длинные черные волосы. Вокруг с оружием на изготовку стояли полицейские, но никто не решался его тронуть. И лишь когда подошли солдаты, чуть ли не взвод кинулся на него. И напрасно: Теппо не сопротивлялся.

— Сам. Пустите.

— Отпустите, — сказал случившийся здесь ар-

мейский капитан. — Я знаю этого финна.

Теппо поднял Марусю на руки, прижал, как ребенка, и пошел посреди ощетиненной штыками солдатской команды. С Нижних улиц Садков мимо вокзалов, через Пристенье, мост и реку, Пролом и далее вверх по длинной и крутой Благовещенской. До самого подъезда морга тюремной больницы. Он был очень сильным, этот ломовой извозчик. Очень.

О случившемся невдалеке от баррикады — о гибели Маруси Прибытковой, убийстве полицейского офицера и аресте Теппо Раасекколы — еще никто не знал. Ни замершие, как в осаде, дружинники Амосыча, ни рассыпавшиеся по укрытиям волонтеры Сергея Петровича. Еще только начиналось утро, еще не сошли туманы, еще никто не продвинулся ни на шаг, а трое уже вскрикнули в последний раз. Крик уже родился, уже заявил о себе, хотя был еще маленьким, разрозненным, еле слышным. Но он объявился, начало было положено: крику предопределено было расти, становиться все громче, все мощнее, все яростнее, все ужаснее.

— Приказываю разойтись!

Начальствующие всех степеней и рангов еще уповали на собственные команды, убеждения,

предостережения, на крайний случай — выстрелы в воздух. Жандармский офицер — а после убийства полицейского офицера, открытого сопротивления и скрытого непослушания дело всегда берет в свои руки лицо соответствующее — трижды прокричал этот призыв, но баррикада молчала. Еще час назад эта баррикада была лишь неким символом, обозначением сопротивления, но за время бездействия выросла как бы сама собой и теперь довольно основательно перегораживала истоки всех трех Нижних улиц. Собственно, с таким же успехом она могла перегораживать любые улицы: о цели продвижения в Садки уже все забыли. Знавшие об этом полиция и переодетые агенты затерялись среди солдатских рядов и жандармских офицеров, которым было совсем не до погромов: охранно-карательные подразделения издревле видели свою задачу не в том, чтобы выпускать пух из перин и дух из евреев, а чтобы «держать и не пущать» всех, кто вышел, вырвался, выпал или выкатился из общего строя народонаселения.

— Командуйте атаку, капитан, — сказал порядком охрипший жандармский полковник командиру армейской роты.

— Я исполняю приказы своего непосредственно-

го начальника, губернатора, военного министра и государя, — сухо напомнил капитан. — Ваши приказания ни к моим подчиненным, ни тем более ко мне лично не имеют никакого отношения.

— Но губернатор еще почивает, а ваш начальник вообще неизвестно где находится!

— Следовательно, будем ждать, пока проснется губернатор или отыщется мой начальник.

— Господин капитан!

— Господин полковник!

Здесь самое время поведать факт, казалось бы совершенно непонятный, невероятный и предерзостный. Дело в том, что традицией армейского офицерства было открытое, демонстративное презрение к офицерам охранно-карательного направления, будь то жандармерия или полиция. Любой сопливый армейский прапорщик ни при каких обстоятельствах не подавал руки чинам в голубых мундирах, а если бы подал, то в тот же день вынужден был бы подать и рапорт об отчислении из полка, ибо тут же подвергнут был бы жесточайшему бойкоту со стороны всех полковых офицеров. Эта традиция блюлась неукоснительно, и жандармскому полковнику оставалось только наливаться желчью: он

действительно не мог приказать армейскому капитану двинуть роту на штурм баррикады. Оставалось ждать, и Нижние улицы, плотно оцепленные армией, полицией и жандармами, погрузились в состояние полнейшей неопределенности, изредка прерываемой умоляющими криками жандармского начальства:

— Приказываю разойтись! Ну, приказываю же!..

Баррикада хранила глубокое молчание, продолжая медленно, осторожно, беззвучно, но неотвратимо расти вверх, вглубь и вширь: тихие жители Садков подтаскивали бревна, мешки с песком, кирпичный бой и всякую рухлядь, не отвлекая от основного занятия дружинников Евсея Амосыча. Две силы замерли друг против друга, и Амосыч маялся, не решаясь покинуть баррикаду и все время думая, что же происходит на Верхней улице.

А там произошли-таки знаменательные события, в том числе и пальба, совпавшая с полицейской стрельбой по Теппо Раасекколе. Эти выстрелы наложились друг на друга, взаимно заглушив себя: добровольцы Верхней улицы не подозревали о стрельбе на Нижних, а дружинники не слышали перестрелки на Верхней. Вместо

того чтобы действовать согласованно, атакующие и обороняющиеся изначально распались на два изолированных участка, ведущих свой отсчет событий, жертв, времени и крика.

После громовой команды героя давно отшумевшей битвы Сергею Петровичу удалось увести Бориса в укрытие, куда к тому времени Вася Солдатов оттащил тело Фили Кубыря. И вовремя, потому что боевой клич отставного поручика странно подействовал на толпу: она взроптала, если матерщину можно назвать ропотом, и обрушила на устье Верхней улицы, где только что стояли Борис и Сергей, град камней, железа, дроби и пуль. Вслед за этим толпа рванулась из-за угла…

— Пли! — воодушевленно гаркнул Гусарий Уланович.

И, подавая пример, первым пальнул из доброго старого кольта. Вслед за ним выстрелили оба успенских героя: Сергей Петрович стрелять пока не торопился, а Вася все еще занимался Филей, по молодости упорно не веря в смерть. Неизвестно, кого задели четыре встречные пули (четыре потому, что, ослепленный яростью, Борис выстрелил дважды), но полкирпича, вылетевших из толпы, попали в окно соседнего дома, испуганно зата-

ившегося в шумном этом рассвете; звон стекол всегда почему-то озадачивает (к нему нужно привыкнуть, с ним нужно освоиться и перестать вздрагивать), и толпа вдруг дружно рванула назад. Поле боя опустело, волонтеры не стреляли, но противник продолжал метать в их сторону всякого рода снаряды, оснащенные увесистой матерщиной, и один из этих снарядов угодил в живот Мой Сею, появившемуся за спинами волонтеров совсем некстати. Впрочем, он всегда появлялся некстати, о чем свидетельствуют регистрации о задержаниях в полиции, но обычно его колотили после ареста, а тут — до, почему он сразу же сел на землю.

— Странные люди, — сказал он. — Я ничего еще не успел нарушить, а меня уже побили.

— Сквозите отсюда, — посоветовал Коля. — Из пороха чернил не сварганите даже вы, Мой Сей.

— Я хотел объяснить им, чтобы они шли себе домой.

— Не вздумайте выходить, они забьют вас камнями, — сказал Сергей Петрович. — Если хотите беседовать о мире, ступайте к местному попу и уговорите его выйти к этой банде с иконою Божьей Матери Прославльской. Идите, идите и уговаривайте!

— Оказывается, у меня болит живот.

Поддерживая руками ушибленный живот, Мой Сей поплелся к Варваринской церкви. А Вася сказал с сомнением:

— Не пойдет поп. Он хитрый и трусливый и очень уж часто бегает в полицию.

— Главное — вовремя поставить перед миротворцем неразрешимую задачу, — улыбнулся Сергей Петрович.

Толпа более не шла на приступ, осыпая укрывшихся защитников Верхней улицы каменьями и руганью. На Нижних улицах дело ограничивалось загадочным ростом баррикады, периодическими призывами разойтись да столь же периодической отправкой посыльных в Крепость. Таким образом, к утру все замерло, хотя в городе давно уже никто не спал, в том числе и сам губернатор.

Тут следует пояснить, что его высокопревосходительство принадлежал к тому стилю высочайше утвержденных руководителей, которые с неистовым желанием и пугающей отвагой готовы бороться с врагом, как бы это сказать… неодушевленным, что ли. С непослушанием, дерзостью или с чьим-то личным мнением. Здесь господин губернатор проявлял изумительную

предусмотрительность, смелость, прозорливость и массу иных достоинств, но стоило произойти чему-то непредусмотренному, как его высокопревосходительство закрылся в спальне, не велел беспокоить и начал решать вопросы. Действовать или бездействовать? Докладывать или умолчать? Сначала доложить, а потом действовать или сначала подействовать — немного, а потом доложить? И напрасно мчались посыльные в губернаторский особняк: личный адъютант перехватывал их и всем твердил одно:

— Не смею беспокоить, поскольку не приказано будить.

Если губернатор мог прикидываться спящим, а Крепость пока еще делать вид, будто ничего не произошло и не происходит, то Успенка вкупе с Садками такой роскоши себе позволить не могла. И не столько потому, что на их исконной территории толкались трактирные завсегдатаи, полицейские чины, жандармские филеры и натуральные солдаты, сколько из-за хлеба насущного. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Это, конечно, хорошо, но не бесплатно же, правда? А тут — подозрительные морды, ругань, пальба, солдаты: как быть? А так, как исстари, еще с домонгольских времен, поступали, высылая

вперед разведку. Не мужиков, понятное дело, — а ну как ввяжутся они во что или заберут их ни за что? — и не девок (уж больно рож охочих кругом объявилось), а вполне созревших для этой задачи бабенок: их и забрать не заберут, и обидеть их — себе дороже. И, гордые от сознания исторической миссии, молодухи сыпанули на успенские тропки, прошуршали юбками, перекинулись прибаутками и донесли, кто где стоит, кто кого сторожит, а главное — кого уж нет и кто далече от Успенки.

— Мама?.. — Бориска Прибытков побелел еще больше, а губы стали будто два лезвия.

— Степа?.. — тихо ахнул Вася и тайком, стесняясь, долго вытирал слезы.

Да, дружно вздохнула Успенка, кое-кто из баб голосить начал, а поп Варваринской церкви, отец Гервасий, сказал Мой Сею:

— Кровь христианская из-за вас, христопродавцев, пролилась, а ты — мир да мир! Ступай с глаз моих, я на колени паду в молитве святой о душах праведных!

Мой Сей очень уважал всех богов, а потому тотчас же и ушел, но отец Гервасий отнюдь не пал на колени, а ринулся из собственного дома в благом намерении поставить в известность

начальство разного калибра и разного рода службы. Однако в Садках стреляли, где-то орали, а вся Успенка высыпала на свои дворы и, вытянув шеи, слушала, хмурилась и ворчала, и отец Гервасий тут же присоединился к пастве, решив доложить в обстановке более благоприятной, то есть менее людной.

— Марусю убили… Будто штыком, что ли… А Степу прикладами будто до смерти… Ну, скажешь! Кто это нашего Степу забьет?

— Что деется, что деется, господи! — возопил поп, наслушавшись. — Это что же такое деется?..

Как раз-то ничего такого еще и не деялось. Все выжидали, ругались, как на крещенских драках, изредка стреляли — в воздух, для острастки и бодрости. Баррикада росла сама собой, жандармский полковник охрип уговаривать и впал в молчаливое отчаяние, а Амосыч рискнул пробраться на Верхнюю улицу.

— Солдат пригнали, — сказал он. — Стройте баррикады, братцы, пока время есть.

Времени оставалось еще много, поскольку его высокопревосходительство начал изображать пробуждение в десятом часу. Он пил кофе, выслушивал рапорты, возмущался, совещался, диктовал приказы, письма и донесения, а устно

уронил одно слово:

— Р-разогнать!

Историки утверждают, что первое восстание началось в ночь со вторника на среду, но это совсем не так. Первое восстание в моем родном городе началось в десять часов тридцать семь минут следующего дня, а «Р-разогнать!» всего лишь достигло ушей жандармского полковника.

— Надеюсь, теперь-то вы начнете действовать? — не без ехидства осведомился он.

— Теперь начну, — сказал капитан. — Поручик, потрудитесь принять командование, а я, пардон, в лазарет. Знобит с ночи, — должно, опять малярия.

С тем капитан и поторопился улизнуть с поля битвы прямехонько в Крепость, где разыскал Петра Петровича Белобрыкова и сухо обрисовал обстановку.

— Позор! — закричал либеральный Петр Петрович. — Делегацию! Тотчас же делегацию к губернатору!

— Вы — к губернатору, а я — в лазарет, — сказал многоопытный капитан. — Чувствую, что наступает время, когда самое здоровое — болеть.

С тем он и направился в лазарет, после чего написал рапорт с просьбой немедленно предо-

ставить ему трехмесячный отпуск по состоянию здоровья. И поскольку нам не миновать знакомства, то я позволю себе отрекомендовать его со всей симпатией: Иван Андреевич Куропасов, из дворян, женат; на иждивении жена Вера Дмитриевна, дочь Анна пятнадцати лет, гимназистка, и сын Андрей из реального, десяти лет. Вот этот Андрей из реального училища и есть та причина, из-за которой мне и пришлось знакомить вас с внезапно захворавшим капитаном, потому что волею судеб он оказался моим дедом.

Но вернемся назад часа на три, то есть во времена относительного затишья, когда еще губернатор изображал спящего, жандарм был растерян, а капитан совершенно здоров. Тогда, как вы помните, разбитные молодки уже закончили разведку, поп выгнал ни в чем не повинного Мой Сея, Амосыч добрался до Верхней улицы, а Успенка высыпала в свои дворы, потрясенная первыми жертвами, слушая, вздыхая, наблюдая и размышляя. Отец Гервасий провякал что-то о христианском смирении, его послали, он примолк, смятенно соображая, как же донести, чтобы паства этого не узнала. Но придумать не успел, как подошла скорбная Монеиха, черная и печальная.

— Филя-то там лежит, — сказала она. — Разве это по-божески? А мне одной не донести.

— Пошли, мастера, — сказал Кузьма Солдатов. — Кто над кем смеется, тому над тем и плакать.

— Верно говоришь, — вздохнул Данила Самохлёбов. — Ну, батюшка, айда с нами. Мир упокойнику обеспечить — это по твоей части.

Отец Гервасий был двуличен, лжив, суетлив, труслив, но ума у него хватило, чтобы понять, как поступить. И хотя ему до дрожи было страшно впутываться в беспорядки (и это вместо того, чтобы чин чином доложить о них кому следует!..), но отказать мастерам он не посмел. И покорно поплелся за телом убогонького, лежавшим, как на грех, совсем не на той стороне, к которой льнуло его пастырское сердце.

Успенка, как я уже сообщал, пользовалась не улицей или там переулками, а своими тропами да перелазами, и мастера вместе с озадаченным попом и печальной Монеихой оказались на Верхней улице почти одновременно с Амосычем.

— Вот вам, ребята, и подмога, — улыбнулся Амосыч. — Здорово, мастера!

— Мы в политику не ввязываемся, — хмуро пояснил Самохлёбов.

— Да какая там политика! Ненужная рухлядь найдется? Ну и побросайте ее поперек улицы. А чтобы пристенковское отродье не помешало, ты, отец Гервасий, поди да пристыди их, что ни за понюх человека убили. А я вниз побежал, пока не жарко.

Амосыч отбыл. Мастера тихо совещались насчет рухляди и прочего ненужного скарба. Моней иха потрясенно плакала над мертвым успенским дурачком, а отец Гервасий хотел своевременно улизнуть, да его перехватил Борис Прибытков. И не как-нибудь, а как положено. За грудки.

— Ты понял все, что тебе сказал Амосыч? Теперь слушай меня очень внимательно, поп. Если сбежишь к ним, не исполнишь приказа или как-то схитришь — на Успенку лучше не возвращайся.

— Сын мой, не стращай слугу Господа…

— Не скули! — оборвал Прибытков. — Завтра же архиепископ Хризостом узнает, что ты жандармского ротмистра Расторгуева посещаешь чаще, чем его канцелярию, а архиепископ, между прочим, очень дружен с Петром Петровичем Белобрыковым. Сергей Петрович, я правильно излагаю?

Сергей Петрович в это время объяснял мастерам, где, как и из чего именно лучше всего воз-

водить баррикаду. Он не слышал, о чем толковал Прибытков с перепуганным попом Варваринской церкви, но подтвердил из принципиальной ненависти ко всякого рода религиям:

— Безусловно и очень быстро. Только сначала оттесните их за угол второго дома, а то мы простреливаемся.

Не знаю, что так подействовало на отца Гервасия — то ли угрозы, то ли упоминание о дружбе Белобрыкова-старшего с архиепископом, то ли неузнаваемо изменившееся лицо Бориса Прибыткова: белое, дергающееся, с черными материнскими глазами, горевшими грозно и неистово. Мне кажется, что все-таки эти черные исступленные глаза на белом, без единой кровинки лице: таким еще не раз увидит город Прославль Бориса Прибыткова и содрогнется от ужаса. И вероятно, попу суждено было испытать страх пред ликом сим первым, ибо он безропотно пошел прямо на толпу, потрясая нательным крестиком:

— Братья во Христе, к вам взываю я!

Пока он взывал, тело Фили Кубыря плыло к Варваринской церкви, минуя запутанные уличные и дворовые лабиринты Успенки по идеально прямой линии. А навстречу ему уже тащили пустые и полные бочки, старые сани, бревна,

мешки с землей и саму землю. Мастера молча и сноровисто (будто всю жизнь только этим и занимались!) громоздили баррикаду под руководством Сергея Петровича и Коли Третьяка, а вооруженный до зубов Гусарий Уланович, белый Прибытков и верный Вася Солдатов на всякий случай прикрывали их. Но, по счастью, напрасно: перепуганный отец Гервасий говорил столь вдохновенно о послушании, грехе, повиновении и истинно христианском долге, что напрочь запутал далекие от ясности головы. А пока они приходили в себя, как-то незаметно отошел, попятился, растворился вроде бы и материализовался вновь только пред белым ликом со страшными черными очами.

— Исполнил, сын мой.

Борис отправил его в церковь, куда вот-вот должны были доставить омытого и приодетого, невинно убиенного Филимона Кубыря. А когда опомнившиеся пристенковские громилы сунулись из-за угла, их встретили внушительная баррикада и громовой бас отставного поручика:

— Постоим и мы за славу русскую!

На Нижних улицах те же часы прошли спокойно и бездеятельно со стороны ожидающих приказа и спокойно, но весьма деятельно со сто-

роны ожидающих приступа. Капитан Куропасов молча саботировал, жандармский полковник молча злился, а баррикада тем временем росла и крепла. Жители ближайших домишек покинули их вместе с тем, что можно было унести, но попрятать то, что унесли, оказалось непросто. Все это делалось беззвучно и невидимо, хотя наиболее ретивые полицейско-жандармские активисты обо всем докладывали неоднократно («Утекают, ваше высокоблагородие!»), но полковник отмахивался. А потом пришел приказ разогнать, у капитана начался приступ малярии, а оставшийся за него поручик очень хотел заполучить орденишко, не побывав на Русско-японской, где, как он слышал, пуль было куда больше, чем наград. И ради этого готов был на что угодно: ордена, как известно, тоже не пахнут.

— Что прикажете, господин полковник?

— Три залпа, поручик, после трех моих обращений. Первый — в небеса, второй — над головами, третий — по бунтовщикам. Затем общий штурм. Все — по моей команде. Вам ясно?

— По вашей команде.

— Р-разойдись, открываю огонь! — приосанившись, заорал полковник заметно надорванным уже голосом. — Зачинщикам выйти вперед! Раз!

Два! Предупреждаю! Три! Залп!

Дружный ружейный залп заскучавших солдат разорвал воздух над баррикадой, над Садками, над Успенкой — над самим доселе тихим и мирным городом Прославлем. И было ровно десять часов тридцать семь минут.

Глава седьмая

Достоверно известно, что в момент, когда прогремел первый залп, по мосту от крепостного Пролома двигалась армейская рота, брошенная в помощь для скорейшего урегулирования разногласий. Вел эту подмогу немолодой поручик, который, услышав залп, остановил солдат над рекой между Крепостью и Пристеньем и сказал слова, ставшие впоследствии знаменитыми:

— Пальба в городе отрицательно сказывается на желании и возможностях.

Тут грохнул второй залп; поручик разделил роту, отправив половину на Верхнюю улицу, а со второй половиной явившись в распоряжение жандарма, воодушевленного грохотом, собственным рвением и полным молчанием неприятеля.

— В последний раз приказываю… Раз! Два!.. По баррикаде, дружно… Залп!

Громыхнули и по баррикаде с тем же успехом: пули гулко били в пустые бочки и бессильно замирали в мешках с песком. И никто не появился, никто никуда не побежал, а главное, зачинщики не торопились на свидание с господином полковником. Слегка обескураженный этим несветским

поведением, жандарм снял фуражку, размашисто перекрестился на купол мечети и сказал сорванным голосом:

— Командуйте общий штурм, поручик.

И тут возникла небольшая заминка, поскольку к этому времени поручиков оказалось двое. Любитель наград обладал тем преимуществом, что прибыл на место сражения первым, но зато любитель афоризмов имел утвержденное государем старшинство в чине и исполнял обязанности командира роты, а не замещал такового на время болезни.

— Извините, Степан Сергеевич, но я получил полномочия от капитана Куропасова.

— Пардон, Григорий Никанорович, как старший в чине…

— Извините, но мне ясна обстановка…

— Пардон, но я никому не позволю узурпировать…

Знакомая картина для любого прославчанина: мы можем с радостью и даже с приплатой отдать права первородства и вдруг начать дуться, обижаться и лелеять права служебные из-за сущего пустяка. Увы, это местничество, это вечное выяснение, кто первым сказал «э!», есть черта природная, обусловленная, как я полагаю,

особыми сквозняками, свойственными городу Прославлю со дня основания его.

— Извините, но…

— Нет уж, это вы, пардон, но…

— Но я уполномочен своим командиром…

— …Обладая старшинством в чине и являясь таковым и в должности…

— Господа офицеры, я приказываю! — багровел жандармский полковник. — Когда враг не сдается, его…

Не столь важно, что он хотел этим сказать, сколь то, что два поручика настолько взаимно разобиделись, что, повернувшись спиной к жандарму, а заодно и к баррикаде, направились выяснять отношения с глазу на глаз. Полковник в отчаянии сунулся было к солдатам; те глядели преданно согласно уставу, но согласно тому же уставу и бровью не повели, поскольку их собственные командиры никаких команд не подавали.

— Ваше высокоблагородие, да там, за рухлядью, поди, и нет уж никого, — сказал немолодой, но старательный жандармский унтер. — Разбежались они, поди, после первого залпа. Дозвольте с охотниками…

— Вперед, братец! — с облегчением выдохнул

полковник.

Двадцать два братца — в голубом, серо-полицейском и даже в цивильном — с револьверами в руках решительно двинулись к баррикаде. Когда до нее оставалось шагов пятнадцать и полковник уже начал радостно улыбаться, репетируя про себя ту ядовитую, полную горького сарказма и убийственного остроумия фразу, которую он непременно должен был сказать сейчас идиотам-поручикам, молчаливая преграда вспыхнула вдруг короткими огоньками и сухая револьверная дробь рассыпалась в воздухе. Шестнадцать братцев с непостижимой быстротой очутились за углом ближайшего сарая, трое ринулись в разные стороны, а еще столько же уже и не рыпались.

— Сидят, ваше высокоблагородие! — прохрипел унтер, прискакавший на одной ноге. — Дозвольте в лазарет, как я есть раненный на службе государю императору.

— Господа офицеры! — в отчаянии закричал жандарм. — Это что же такое, господа? Не заставляйте меня писать на имя его высокопревосходи…

Он обнаружил поручиков возле бочки, на днище которой старший в чине ловко метал карты.

— Штосс, — пояснил он. — Соперник загадал на

двух брюнеток.

— На Розу Треф и Гесю, что у мадам Переглядовой, — вздохнул младший. — Если повезет, я командую всеми армейскими силами. Кстати, полковник, кто это стрелял сейчас? Маневрируете, что ли?

Так обстояли дела внизу; полурота же, приведенная фельдфебелем на Верхнюю улицу, невероятно вдохновила застоявшихся жеребцов Изота: толпе, то бишь сходбищу, потребны не командиры и вожди, а сила и безнаказанность. Пристенковские жеребчики поперли на баррикаду, едва завидев солдат; фельдфебель и Изот благоразумно отстали, почему и сохранили свои жизни: защитников было очень мало, но Сергей Петрович заранее приказал стрелять только прицельно.

— Толпу можно остановить двумя способами: либо залпом на авось, но залп должен прозвучать впечатляюще, либо огнем наповал — по самым шустрым и горластым. Это наш способ, а поэтому прошу заранее выбрать цель и стрелять без промаха: времени на перезарядку нам не дадут и в живых, судя по всему, не оставят.

Из пятерых защитников промахнулись двое: неопытный Вася, рванувший спусковой крючок,

и многоопытный отставной поручик, наделавший своим древним оружием много дыма и шума. Прибытков и Белобрыков уложили своих мгновенно, а Коля чуть завалил ствол: его жертва корчилась на земле и орала.

— Эй, банда! — крикнул бурский волонтер. — Заберите раненого. Даю слово, что не будем стрелять!

Трое доброхотов, пригнувшись, добежали до подбитого, волоком оттащили за угол.

Борис презрительно усмехнулся:

— Играем в благородство буров, Сергей Петрович?

— Никогда не берите на вооружение жестокость, Борис Петрович. Революция должна быть милосердной.

— И особый урок милосердия нам преподала Великая французская революция на примере, скажем, мадам Ламбаль, не так ли?

Коля не принимал участия в диспуте. Молчал, невпопад улыбался и скверно стрелял, потому что никак не мог выбросить из памяти клумбу с георгинами. «Жаркая ты моя, — думал он, тихо улыбаясь. — Наплевать нам на батюшку: жена ты мне перед Богом, и увезу я тебя по-цыгански, если старик заартачится… А с другой стороны,

может, я насильник? С одной стороны, она не отбивалась и целовалась, а с другой — ревела белугой: это как понимать? И может, послать Бориску на переговоры с чертовым мельником, когда окончится вся эта заварушка?..» Понятное дело, что при таких мыслях было совсем не до прицельной стрельбы, и Коля регулярно заваливал ствол, виновато посматривая при этом на строгого командира.

Но и командир был сегодня весьма рассеян. Нет, он все замечал, все удерживал во внимании, но в то же время испытывал странное чувство раздвоенности. Стреляя, он думал, что напрасно написал столь откровенно Оленьке Олексиной; распоряжаясь обороной, вспоминал о ее рассудительности; распределяя людей, подсчитывал, сколько раз видел ее и чем была замечательна каждая встреча. Особенно одно свидание. Весной: на Пушкинской цвели каштаны. После литературного вечера, где разгорелся спор между ним и остальными, потому что он тогда позволил себе зло высмеять наивность доброго русского либерализма, умеющего красиво и прочувствованно говорить слова и решительно не желающего заниматься делом. Оля молчала во время спора, а он хотел понравиться и говорил красиво и

иронично. А кончилось тем, что она впервые попросила проводить ее, но попросила, приказав, и он с радостью подчинился. И был вечер, и цвели каштаны, и шуршали шелка.

— У меня была тетя Мария Ивановна, она погибла еще до моего рождения. Знаете, как она погибла? Она ждала губернатора с бомбой. Дурной был губернатор, приказывал избивать политических, преследовал их семьи. И она ждала его, а когда показались сани, швырнула бомбу. А в санях рядом с губернатором в тот день ехали внуки, мальчик и девочка. И тетя, увидев их, упала на бомбу сама.

— Это благородно.

— А вы утверждаете, будто нашу интеллигенцию надо учить действовать. Она умеет действовать, когда это необходимо.

— А кто же определяет необходимость?

— Кто? — Оленька нахмурилась, а Сергей Петрович почувствовал, что у него есть сердце. — Честь. Благородство. Чувство долга. Мой сановный отец запретил упоминать имя своей собственной сестры в нашем доме, а я как-то пробралась в его кабинет и увидела там портрет моей тети Марии Ивановны Олексиной. Она была красавица!

— Она была народоволка.

— Господи, господи, как вы любите ярлыки! — Оля остановилась специально только для того, чтобы сердито топнуть каблучком. — А люди — всегда люди, и они хотят…

— …Есть.

— Это вы так считаете, вы, социал-демократы! И это совершенно неправильно, потому что люди прежде всего хотят справедливости. Человек потому и человек, что страдает от отсутствия справедливости больше, чем от отсутствия хлеба.

— Если при этом у него есть мясо. Или, по крайности, рыба.

— Вы… вы несносный. Несносный!..

Боже мой, ему доставляло гигантское наслаждение злить ее. Зачем? Почему? «Боже мой, как несовершенен человек!» — угнетенно думал несостоявшийся бакалавр, без промаха всаживая пулю в какой-то котелок, бегущий на него с револьвером явно служебного образца.

Из всех молодых защитников баррикады двое думали о возлюбленных, а двое о них не думали. У Васи Солдатова таковой не было, а у Бориса Прибыткова была, но в то роковое утро любовь в душе его потеснилась, уступая дорогу ненависти. И вместо прекрасного женского облика ему ви-

делась круглая, добродушная и всегда небритая физиономия и слышался знакомый с детства голос: «Гляди, Бориска, червячок ползет. Не трожь: все мы на что-то нужны, все кому-то пригодимся, и нам друг без дружки никак невозможно».

Филя Кубырь был единственным, кого любил Прибытков. Конечно, он любил и свою тихую, работящую мать, но любил с оттенком скрытого презрения и жалости, поскольку еще в детстве узнал и о ее прошлом — естественно, не на Успенке, — и о собственном незаконном появлении на свет. Он всегда боялся, что ему укажут и на мать, и на собственное происхождение, все время ожидал тыкающих перстов и улюлюканья в спину и поэтому всех сторонился. Всех, кроме Фили, сказавшего ему, еще совсем маленькому: «Все люди — родные родственники, Бориска. Все — что в Крепости, что у нас, на Успенке, что в Пристенье — друг другу сестрички и братики. Это они играют, будто чужие, и я с ними играю. Они любят играть, люди-то, как все равно что дети. В чины да в звания, в денежки да в почет, в чужих да в незнакомых; и жалко мне их всех. Жалко!»

Убили самого доброго, самого бесхитростного и самого незлобивого человека, какого только встречал в своей короткой жизни Борис При-

бытков. Он был готов допустить, что встретит и бесхитростных, и незлобивых, но твердо знал, что такого, как Филя Кубырь, не встретит никогда, мечтал о мести и сам себе давал слово беспощадно и жестоко мстить за бессмысленное это убийство. В сердце его и так было мало места для любви, но и то крохотное местечко он отныне уступал ненависти навсегда.

Любопытно, что в тот первый день Крепость вела себя так, будто ничего не происходит. Впоследствии досужие умы усмотрят в этом знак угасания исторического духа Крепости, ее усталостный надлом и даже духовное вырождение, но это не так. На самом-то деле все было куда как просто: Крепость не поняла происходящего. Не могла еще представить себе, что какой-то шум на глухой окраине способен потрясти сами основы города Прославля, в том числе и основу основ — саму Крепость. И губернатор старательно изображал спящего по этой же причине, и сама Крепость целые сутки изображала спящую — если не дремала и в самом натуральном виде, — хотя к вечеру, правда, начала говорить. К вечеру потому, что, несмотря на все негодующие крики («Позор!»), Петр Петрович встретился с губернатором — кстати, без всякой делегации — на

торжественном ужине по поводу рассмотрения проекта возведения в городе Триумфальной арки в связи с трехсотлетием правящей династии. Не проекта самой арки, а проекта возведения, то есть проекта проекта, так сказать. Этот проект проекта обсуждался в небольшом кругу за легким ужином с французским вином, поставленным господином Мочульским прямиком из собственных подвалов, но зато с натуральными этикетками то ли из Шабли, то ли из Совиньона. В открытые окна вливались приятная прохлада и далекая пальба, что придавало дружескому застолью особую пикантность.

— Право, господа, будто на охоте, — как всегда, остроумно и жизнерадостно отметил пан Вонмерзкий. — Выстрелы будоражат аппетит и способствуют току крови. Право, совсем как на охоте.

— Дичь несем и вправду как на охоте, — нахмурился вдруг Белобрыков, вспомнив утренний негодующий крик, рванувшийся из собственных уст. — Но ведь не половцы на сей раз льют прославчанскую кровь, не монголы и даже не турки! Что на это скажет его высокопревосходительство? Как трактует он причины сего вопиющего инцидента и какие выводы в связи с этим напра-

шиваются сами собой? Негоже прозябать нам на задворках истории, господа! Хватит, хватит и хватит! Если началась стрельба, значит кто-то взвел курок. Вы задумывались над этим, ваше высокопревосходительство? Не пора ли нам вспомнить, что мы отстаем от Европы как в сфере технического прогресса, так и в сфере чистого разума? Позорное поражение от азиатов доказало этот тезис, господа! Увы, доказало!

Поняли, о чем говорил уважаемый Петр Петрович? И я нет. Это и означает ныне позабытый глагол «витийствовать». Витийствовать — значит переливать из пустого настоящего в порожнее будущее, а что переливать и зачем — этого не знает и сам витийствующий. Во всяком случае, тогда еще не знал: переливали вполне чистосердечно. Тогда наши предки и впрямь жили, как на охоте: несли дичь и с удовольствием слушали выстрелы.

Не так уж важно, что ответил взволнованному Петру Петровичу его высокопревосходительство: важно, что ничего не сделал. Отдав свирепое приказание («Р-разогнать!»), он опять словно бы задремал, предоставив событиям идти своим чередом. Сейчас трудно понять его логику, но если представить себя руководителем целой губернии,

в которой вдруг возникли какие-то там беспорядки, то кое в чем можно разобраться. В самом деле: доложить в верха? А если обвинят в отсутствии личной инициативы? Не докладывать в верха? А если спросят: «Почему это вы не докладываете, когда почти уж бунт?» Подавить все и всех на свой страх и риск? А ну как там, на верхах, углядят в этом стремление к самостоятельности? Нет, что ни говорите, а власть — дело коварное. И в ней главное — говорить и ничего не делать: само все образуется. Тем более что граф Толстой Лев Николаевич утверждает, что исторические процессы не зависят от исторических личностей, и это его утверждение, между прочим, разрешено цензурой.

Вот почему все само собой и отложилось до утра. И на Нижних улицах, и в губернаторской голове, и на Верхней баррикаде, и во всем городе Прославле. Изот увел свою ораву в пристенские кабаки и притоны, жандармский полковник, люто переругавшись с двумя поручиками, уехал домой; командиры рот приказали фельдфебелям бдеть и тайными тропами направились в «Дилижанс», дальновидно послав денщиков сказать домашним, что ночевать они не придут в связи с открытием боевых действий. Однако кабаре ока-

залось закрытым, и поручикам теми же тропами пришлось перебазироваться в полное пыли, плюша, бенедиктина, скуки и зависти заведение мадам Переглядовой.

— Эта Розка много о себе воображает, — сказала мадам, выйдя к дорогим гостям. — Вы думаете, она закрылась на Святки, Пасху или на уборку? Она закрылась из какой-то солидарности, сама так сказала. От нее была Дуняша, и через Дуняшу эта нахалка сказала, что мы должны закрыться тоже и не обслуживать из солидарности. Как вам это все нравится?

— Гесю, — сказал любитель брюнеток.

— Я думаю, завтра все рассеется само собой, — сказал старший в чине. — С Верхней улицы ушли возмущенные обыватели. Если бунтовщики догадаются к утру разбежаться, я спокойно отведу свою роту в казармы.

— Куда это они вам разбегутся? — пренебрежительно спросила Переглядова. — Это же все друзья-приятели Розки. Арестуйте ее — и она вам все выложит про солидарность. И про бандита Прибыткова, и про цыгана, и про студента…

— Росю, — решительно перебил старший. — Мадам, вы ничего не говорили, а то, боюсь, вам придется прикрыть заведение за отсутствием

приличной клиентуры. Шлите Росю, Гесю, шампанское и забудьте о фамилиях. Армия не любит доносчиков.

Уязвленная мадам пошла исполнить заказ. И — кто знает! — может, наутро и впрямь все бы завершилось так, как предполагал старший в чине, да аккурат в это время судьба привела в заведение разобиженного Изота с кучей приятелей в разной степени опьянения. Они шумно расположились в большой зале, через которую лежал путь мадам, сопровождающей заказ.

— Вот кто мне нужен! — заявил Изот и схватил Росю за руку.

— Это невозможно, Рося занята. — И хозяйка объяснила, кем именно занята Рося.

— И это вместо того, значит, чтоб защищать отечество от врага внутреннего! — возмутился Изот, потерявший сегодня друга исключительно из-за армейского равнодушия. — Вон их отсюда! Они с цыганами, студентами и евреями бороться государю императору присягали, а не с Гесей и Росей! На передовые позиции их! Силой доставим!

— На позиции! — рявкнули приятели, находящиеся в разной степени опьянения. — Силой!

Напрасно перепуганная мадам и решившие заплакать девочки умоляли изотовских дружков,

хватая их за руки и даже норовя сесть на колени. Яростной волной женщины были сметены, и к офицерам вместо ожидаемых Геси да Роси вошли совсем не ожидаемые и далеко не роси да геси. Как на грех, сабли и револьверы были сданы вышибале; офицеры отважно оборонялись мебелью, подсвечниками да бутылками шампанского, но силы были неравны. Побоище, вошедшее в историю города под названием «Битва за Гесю и Росю» (истинная причина, как мы видим, осталась для исследователей невыясненной), закончилось тем, что порядком помятых поручиков выбросили в окно на темную пристенковскую улицу. Лаяли бездомные собаки и цепные псы, пилила пьяная гармонь, вопила нетрезвая баба, и где-то кто-то кого-то бил. Офицеры поднялись с земли и одновременно воскликнули:

— Мщения!

И без оружия, фуражек и портупей помчались к своим отрядам: младший — к Нижним улицам, старший — к Верхней. Их вела чистая, ясная, холодная и сверкающая, как горный хрусталь, идея: во главе солдат взять штурмом заведение и жестоко, беспощадно наказать Изота и его приятелей. Они рисовали в головах картины пыток, изощренных допросов и жалких, унизительных

слез, с чем и добежали каждый до своих солдат.

— Братцы, на помощь! Фельдфебель, общая тревога!

И с тем… И здесь следует сказать о некой почти мистической особенности прославчанской души, которую просвещенная Европа так и не смогла постичь, уразуметь или понять хотя бы на двадцать процентов. Тайне души прославчанина и абсолютной непредсказуемости его поступков посвящали бессонные ночи и прекрасные книги светлые гении отечественной литературы, о них писали монографии философы и психологи, юристы и историки, богословы и искусствоведы, но и по сей день загадочная прославчанская душа остается таковой для всего просвещенного мира, в том числе и для нас, прямых потомков легендарных прославчан. Сейчас поступки их уже не поддаются логическому толкованию, поскольку поступки остались, но логика давно изменилась, давно уж не та, какой была на заре нашего усталого столетия.

— Фельдфебель, общая тревога! Вперед, братцы! — заорали независимо друг от друга оба битых поручика и… И вместо того чтобы спешить к заведению мадам Переглядовой, повели своих солдат на штурм мирно дремавших баррикад.

Представляете, ночью? Представляете, без всякого повода? Представляете, атакуя, так сказать, в обратном желанию направлении? Есть тут логика? Есть, но прославчанская. Ныне забытая настолько, что выглядит уже как бы и не логикой, а черт знает чем. Самодурством самодержавия выглядит или — и того хуже — самодержавием самодурства.

Поднялась пальба, кутерьма и суматоха. Улицы Успенки сроду не освещались, тьма стояла египетская, а солдаты были издалека, чуть ли не из Самарской губернии. Говорят, что на Нижних улицах вообще никого не было: дружинники Амосыча давно уже сладко спали в своих постелях. Но уличная баррикада начала века — это всякая дрянь, наваленная поперек улицы. Если вы вздумаете в кромешной мгле с полной солдатской выкладкой да еще и с ружьем в руках лезть на нее, то защиты она не потребует. Она в темноте, так сказать, самозащитна: наступите, к примеру, во тьме на зубья грабель — что вы получите? Вы получите шишку на лбу величиной с картофелину и фейерверк из глаз. Вот это и получили солдаты младшего поручика при штурме Нижней баррикады. Куда-то проваливались ноги, что-то падало на голову, сосед, оступив-

шись, ширял соседа штыком под ребро, и сами собой стреляли винтовки. Добавьте к этому треск, грохот, вопли перепуганных солдат, на которых вдруг сваливается старый рыдван размером с баню, стоны покалеченных и бестолковую пальбу, и вам станет ясно, что семнадцать раненых, четверо пропавших без вести и один убитый неизвестно кем — еще сравнительно небольшие потери. Могло быть хуже.

Рота, атакующая Нижнюю баррикаду, продвинулась до старого шкафа, то есть приблизительно на одну четверть высоты, и отступила на прежние позиции. Рота старшего поручика оказалась более удачливой (или неудачливой): преодолев невероятный хлам и потеряв в нем треть личного состава, она взобралась-таки на вершину, но ее победное «ура!» заглохло во внезапном, а потому и стократно возросшем грохоте. Бессонный Гусарий Уланович подстерег-таки басурманскую ночную вылазку и шарахнул по супостатам из древней своей берданы.

— Орлы, к бою! Не посрамим…

Остатки роты выбыли из строя при паническом бегстве с вершины баррикады: говорят, что подобного треска, матерщины и грохота Успенка не слышала никогда. Разгром был полным и

окончательным, о чем оба командира и донесли вышестоящему начальству с армейской прямолинейной правдивостью: «…при внезапной ночной атаке противника силами, далеко превосходящими те, что были в моем распоряжении…» Потери требовали красноречия и аргументов; красноречие еще можно было сыскать, но что касается аргументов, то далее «всеобщего бунта черни» дело у битого офицерства не пошло. Но именно этот почти суворовский лаконизм и пробудил наконец власти от сладостной дремы, и ровнехонько через сутки перед каждой из баррикад было сосредоточено уже по батальону: дальновидный капитан Куропасов вовремя ушел в долгосрочный отпуск «по болезни Отечества своего», как говорила бабушка.

Однако если вооруженным силам порядка требовался приказ, то вооруженным силам беспорядка никакого приказа не требовалось. Дружинники тотчас же вернулись на Нижнюю баррикаду, а боевые соратники бравого Гусария Улановича заняли свои места на Верхней. Кроме того, ночной штурм перебудил округу, а грохот солдатских батальонов поднял на ноги вообще весь город Прославль. Короче говоря, оставаясь на своих местах, все возросло многократно, мно-

гошумно и многоярусно, и при этом раскладе здоровым патриотическим силам Пристенья места уже не нашлось. Не потому, что им указали не соваться, а потому, что они сами больше никуда не совались, — события запахли порохом.

Но что любопытно: в первый день всеобщей мобилизации боевых сил никаких боевых действий не произошло. Командиры прибывших батальонов, озадаченные немыслимыми потерями в таинственном ночном побоище, полдня изучали обстановку, а еще полдня передвигали вверенные им войска для полнейшего охвата противника. Передвижение, естественно, происходило в густонаселенном районе, в связи с чем то и дело возникало множество непредвиденных осложнений. То кто-то решительно отказывался пропустить солдат через собственный дом, то где-то солдаты неожиданно натыкались на несговорчивых (то есть чересчур разговорчивых) женщин, то ломали чей-то забор, топтали чьи-то грядки, давили чьих-то кур, — словом, гвалт стоял такой, что ни о каком секретном маневре не могло быть и речи.

— Соседи, солдаты забор рушат!

— Кума, поросенка твоего придавили!

— Куда, ирод, в картошку лезешь!

— Козу отвязали!
— А у меня в бане — девчонка моется…
— Караул!
— Давят!
— Жмут!
— Топчут!
— Ломи, Успенка!..

Ломили в основном бойкие успенские бабы, поскольку в те наивные времена никакого равенства еще не существовало и женщин арестовывать было как-то не принято. Солдаты и не пытались этого делать, отбрехивались вяло, а пробиваться силой не решались, потому что там, где на это решались, поднимался такой крик, в котором глохли даже унтер-офицерские команды. Из бани полуголые бабенки выплеснули ведро кипятка прямо в чью-то старательную физиономию; где-то кого-то огрели колом, троим порвал шаровары цепной кобель, на фельдфебеля шестой роты напал бодливый козел, а унтер из девятой заблудился на сеновале, откуда вылез через два часа сорок минут без ружья, ремня и левого сапога. И все кругом визжало, хрипело, лаяло, мяукало, трещало, ахало, охало, стонало и вопило на всю Успенскую гору.

Солдаты несли потери, переругиваясь с бабами,

отбивались от собак, падали в ямы, но все же медленно продвигались к цели. Вот-вот должны были пасть последние оплоты — два порядка успенских домишек с сараюшками, собаками, бабами и пристройками, и войска выходили в тыл баррикаде, что позволило бы взять ее защитников буквально голыми руками. Нельзя сказать, чтобы защитники этого не понимали: все они понимали и, не теряя времени, лихорадочно достраивали баррикаду со всех сторон. Им деятельно помогали успенцы мужского пола, в то время как успенцы пола прекрасного всеми силами тормозили продвижение противника. И все же, повторяю, солдатам удалось — с потерями, но без пальбы — преодолеть сопротивление успенских амазонок: оставалось два порядка домов, последнее усилие, чуть-чуть…

— Солдаты, остановитесь! С кем это вы связались, я у вас интересуюсь? В чьи это дома вы врываетесь без спросу, кого это вы толкаете и даже угрожаете оружием? Может, это турки или японцы? Нет, это даже не евреи, солдаты! Это мирные люди, совсем даже такие, как вы, вы меня слышите, обормоты? Или что на вас надели форму, вы перестали быть людьми? А где же тогда вы оставили свою совесть? У себя дома, у

папы с мамой? Так лучше сбегайте за ней, пока не поздно!

Никогда — ни до, ни после — не произносил Мой Сей столь пламенных речей. Он взывал к совести мужчин в военной форме, к справедливости солдат и благородству офицеров. Он гневно обличал жестокость, он требовал беспристрастного расследования. Наконец, он стыдил, и, как это ни покажется сегодня странным, именно призывы к совести, запихнутой в мундир, сыграли решающую роль. Солдаты остановились, а пока доложили командирам, пока пришел категорический приказ «Вперед!», пока он добрался до каждого солдата и этот солдат угрюмо и неодобрительно принял его к исполнению, за спиной на редкость в тот день красноречивого чернильного мастера выросла двойная женская цепь.

— Взялись под руки, сестрички! Все крепко взялись под руки!

Распоряжалась женской преградой медноволосая красавица с такими злыми зелеными глазищами, что все слушались беспрекословно, хотя никто ее не знал. Только молодая жена столяра Парамошина, которую он насмотрел себе в Садках и из Гундессы перекрестил в Галю, чтоб ребеночек родился законным, ахнула:

— Песя?! Откуда ты взялась, Песя?

— Под ручки! Тесно! Плечиком к плечику! — продолжала медноволосая, не обратив внимания на подружку не очень еще далекого детства.

А в самом деле, откуда она здесь, эта Песя или Роза, кто ее теперь разберет? Она же там, в Крепости, в обители неги и утонченного разврата или в мещанской тиши собственного уютного гнездышка. Она же… Да и рядом с нею уж не Дуняша ли с малпочкой Юзефа Заморы? Этого же не может быть, скажете вы.

И однако, если припоминаете, «Дилижанс» аккурат накануне оказался закрытым, из-за чего двоим нетерпеливым поручикам и пришлось (в конце концов!) начать весь этот сыр-бор. А закрытым он был потому, что его хозяйка всю жизнь действовала только под влиянием двух чувств, понимала только их, признавала только их и поклонялась только им: Любви и Ненависти. И так, как она умела любить и ненавидеть, любить и ненавидеть не умел уже никто. В этом и заключалась ее удивительная, магическая притягательность и невероятная женская сила.

— Что же вы стали, солдаты? — яростно и весело кричала она. — Колите штыками в груди вашим сестрам, невестам, матерям! Смелее колите нас,

смелее, герои!

— Вот чертова девочка! — в полном восхищении воскликнул Сеня Живоглот, пришедший на крик полюбопытствовать: может, грабят кого?

А солдаты встали. Встали перед живой преградой, насмешливо колышущей упакованными в ситчик плечами, грудями, животами, бедрами, и никакие команды, никакие окрики, никакая унтер-офицерская брань уже не могли заставить их сделать шаг навстречу этой живой, горячей, упругой, хохочущей и дразнящей стене.

Пришлось вызывать полицию. Пока ее собрали, пока перебросили да пока сама полиция — уж она-то имела опыт, не то что солдатики! — ручищами не разорвала женскую цепь, ушло немало времени. Да тут еще какому-то полицейскому чину вздумалось непременно арестовать коноводов, то есть Мой Сея вкупе с зеленоглазой, но Шпринца, а за нею и все успенские бабы подняли такой крик, визг, вой и плач, затеяли такую толкотню и несуразицу, что с ними не смогли управиться и до вечера, а когда управились, коноводов и след простыл.

След простыл, а сумерки настали. И хотя с помощью полиции войскам и удалось выйти на оперативный простор, но штурмовать было

поздно. Сыграли отбой, полицию поблагодарили, солдат накормили, и все вновь затихло до утра.

А зеленоглазая нашла того, ради которого оставила уют, покой и удовольствия.

— Счастье мое, почему ты бледен, как маркизет? Ты цел? Ты здоров, жизнь моя?

— Погибла мама, и убили Филю Кубыря. — Он пребывал точно в ином измерении, он даже не удивился, увидев ее, даже ни о чем не спросил. — Ты найдешь, кто его убил. Ты найдешь мне эту сволочь, Роза.

— Да, мой генерал. Дуняша, ты навестишь Переглядиху и будешь у нее гостить, пока не узнаешь имя.

— Я найду его, Роза.

— Если прикажешь, мои девочки разорвут его на части. Пальчиками, мой генерал.

— Мне нравится эта мысль, Роза. Он должен умирать медленно. Так медленно, чтобы успеть проклясть день собственного рождения.

— Он проклянет весь белый свет, мой генерал.

Вошел Сергей Петрович. Он всегда входил не тогда, когда его ждали, а потому быстро догадывался, о чем шла речь. Поцеловал руку Розе Треф, усмехнулся в белые глаза Прибыткова:

— Лелеете мечты о мщении? Глядите, друг мой,

мечты о мщении иссушают душу. Ее возвышает лишь мечта о прощении, в чем столь блистательно разобралось христианство.

— Я полагал, что вы, Сергей Петрович, убежденный атеист.

— Вот потому-то я и проповедую убеждение, что мщение принадлежит лишь Господу Богу. — Белобрыков посчитал вопрос исчерпанным и демонстративно повернулся к медноволосой. — Роза, не найдется ли у вас куска красной материи?

Роза соображала мгновенно, что и обеспечило невероятный взлет ее карьеры. И соображала, и действовала, и вообще, как мне говорили, иметь ее во врагах мог только круглый идиот.

— Малпочка, лети в Пристенье. В лавке Безъяичнова, дяди, есть на редкость алый кумач. Бери всю штуку, не торгуясь.

— Роза, я сомневаюсь, чтобы Безъяичнов согласился, в то время как его племянник…

— Еще не родился торгаш, который добровольно уступил бы соседу идущий в руки барыш. Мы зальем Прославль цветом нашей страсти, ярости и надежды, Сергей Петрович!

Утром над Верхней баррикадой развевалось три кумачовых полотнища. Обычно указав, что флаг

развевался, писатель, как правило, никогда не указывает, откуда он взялся. Поэтому у читающих зачастую создается впечатление, что подобные флаги войска возят с собой, как, скажем, второе ватное одеяло для командующего. Так вот, чтобы не появилось у вас этакой мыслишки о запасливой предусмотрительности наших предков на все случаи жизни — мыслишки опасной, ибо она разъедает правду, как царская водка золото, — я откровенно признаюсь, что самые первые красные флаги, поднятые в моем родном Прославле, были сделаны руками жен и дочерей мастеров с Успенки из кумача, купленного у противника. И возможно, именно это обстоятельство вызвало в правительственных кругах не только негодование, но и реальное представление об истинном размахе крушения принципов, предстоящего Прославлю в обозримом будущем.

Бабушку восхищал этот нравственный кульбит, этакое абсолютное и безусловное доказательство торжества оголтелого практицизма над этическими отвлеченностями. В самом деле, в то время как шепелявый племянничек неутомимо науськивал скопища да сборища на таких работящих людей, деловитый дядюшка готов был украсить каждый дом Успенки, Пристенья и даже самой

Крепости красными провозвестниками революции, лишь бы кумач для такого убранства был куплен в его лавке за наличные деньги и, главное, не торгуясь. Отец тоже отдавал дань этому парадоксу, но считал, что мне не следует особо подчеркивать его, дабы потомки Изота не воспользовались публикацией для упрочения своего политического фундамента во дни сегодняшние. Я размышлял, взвешивал и долго ничего не писал, пока бабушкино насмешливое удивление окончательно не заглушило во мне столь же насмешливой отцовской предусмотрительности.

Ну как бы там ни было, а в Прославле на следующий день в глаза вершителям судеб города с первыми лучами солнца ударил алый цвет баррикадных флагов. Пять мулет одновременно — три на Верхней баррикаде и две на Нижней — затрепетали пред туповатым прославчанским быком, что и вызвало к жизни столь хорошо известный всем нам рев:

— Патронов не жалеть!

Правда, по первости жалели не столько патроны, сколько собственную совесть, доселе как-то сосуществовавшую со всеми прославчанами без различия крови, веры и достатка. Даже полиция с жандармерией из пяти залпов три объявляла

предупреждающими, четвертый пуляла мимо, и только последний мог быть направлен в цель, хотя и этого чаще всего не происходило. Но полиция и жандармы были отозваны уже на второй день, против Успенки — какие уж там Садки, когда все забыли, с чего весь этот сыр-бор разгорелся! — были нацелены самые что ни на есть боевые войска, но провести в жизнь указание начальства в смысле бесконтрольной траты боеприпасов командиры долго еще не решались. Вот каким путем образовалась некоторая передышка, которая, по сути, являлась пробуксовкой шестерен, колес, маховиков и приводных ремней громоздкой государственной машины. С капитанского мостика давно уж прозвучало: «Полный вперед!» — а чудовищно неповоротливый дредноут самовластия преспокойно стоял себе и стоял, если вообще не пятился: таково уж свойство всех автократических государственных систем.

Эта передышка дала возможность Кузьме Солдатову навестить очень справедливого, но и очень осторожного Данилу Самохлёбова. К тому времени, как рассказывали, Юзеф Янович Замора воткнул в колодку шило, велел слепой Ядзе не подходить к окнам, а остальным не высовываться и опоясал себя ржавой драгунской саблей

(хотел бы я найти поляка, у которого не оказалось бы сабли!). Байрулла Мухиддинов командовал сбором борон, какие только можно было сыскать, и лично загораживал ими подходы к баррикаде: уж кто-кто, а он знал повадки не только коней, но и всадников. А Мой Сей аккурат в этот момент надевал свой старый, но еще вполне сносный лапсердак, готовясь вновь выступить перед солдатами; одновременно он отодвигал Шпринцу, которая уже голосила на всю Успенку:

— Чтоб я так жива была, если ты уйдешь! Чтоб закрылись мои глаза, если откроется твой рот! Чтоб у меня отнялась рука, нога и голова, если ты…

— Надежда моя, у женщины есть вечный страх за мужчину, а у мужчины есть вечный долг перед женщиной, — терпеливо втолковывал муж, всякий раз нежно перенося ее от дверей в угол и заворачивая там в перину, из которой Шпринца немедленно выворачивалась и снова оказывалась на его пути. — Ты знаешь, что происходит, когда солдаты с оружием врываются в дома, где мирно живут мирные люди? Они забывают закон и справедливость, а это очень опасно, и я должен объяснить им, что куда лучше забыть дома ружье, чем свою совесть.

Обратили внимание, как я тяну? Я все время вроде бы отодвигаю начало кровавых боев, хотя трубач уже поднес к губам ярко надраенный медный мундштук. Но я ничего не отодвигаю, потому что только в книжках и кино действия нанизаны друг на друга, как мясо на шампур: в жизни все перевито, перепутано, перевязано и перемотано таким количеством причин и следствий, что у нас не хватит самой вечности, если мы вздумаем детально рассмотреть хотя бы один день из биографии любого человека. А кроме того, я очень хочу еще раз обратить ваше внимание на судей Успенки. Их выбирали не в силу традиции, не по приказу и не по весу кошелька, их выбирали за обостренное чувство справедливости, и если это чувство заставило их выйти из домов, значит справедливость в те времена была на баррикадах.

— Они ворвутся на Успенку, и пострадают невинные, — сказал Кузьма Солдатов.

Данила Прохорович пил чай, с хрустом грызя сахар. Он указал глазами, и перед Солдатовым оказалась чашка.

— До этого, Кузьма, мы успеем напиться чаю.

Кузьма взывал к совести, толковал о справедливости, стращал карами и жестокостями, а

колесный мастер невозмутимо пил чай. Потом отодвинул свою чашку, молча прошел в чулан и вынес оттуда два охотничьих ружья.

— Патронов у нас маловато. Придется беречь.

— Байрулла отгораживается боронами. Ни один казак на бороны коня не погонит, хоть сам император ему прикажи.

— Что же это такое делается в мире, Кузьма? — вздохнул Самохлёбов. — Что же это такое творится, если сам Байрулла бороны лошадям ставит, чтобы они ноги переломали?

— Что же это за такое творится в мире? — кричал в это время чернильный мастер, выйдя к солдатам в своем почти что нестаром лапсердаке, пока Шпринцу держали соседки. — Что же это за такое, если приказывают стрелять в живой народ? Власть сошла с ума, солдаты! А если она сошла с ума, так вяжите ее, и давайте вместе разойдемся!

— Арестовать, — негромко распорядился чиновник для особых поручений, прибывший для наблюдения и общего руководства.

И до всяких штурмов, атак и обстрелов, до всех тех почти недельных боев, о которых мне еще рассказывать да рассказывать, чернильного Мой Сея схватили под руки и уволокли быстро, четко

и молчаливо. Совесть была заглушена на глазах, рот ей, так сказать, заткнули физически, и командиры всех рангов вздохнули с облегчением. Теперь все стало так понятно, так просто и легко, что осталось только скомандовать:

— Вперед! За веру, царя и Отечество!

Вот когда все началось, если под началом разуметь не временное, а фактическое, то есть вполне серьезное, начало. И дело не в том, что крови пролилось куда больше, чем до сего момента, — и Успенка, и Пристенье, и сама Крепость (хоть, правда, и в меньшей степени в последние сто лет) давно уже привыкли к виду, цвету, запаху и вкусу крови как на ежегодных кулачных боях, так и не при столь регулярных драках, дуэлях и убийствах. Дело заключалось в том, что, плоть от плоти народа своего, бывшая доселе защитником его наполненной трудами и заботами жизни, а потому и образцом мужества, отваги, бравого вида и бравого духа, — его армия выступила против собственных братьев, сестер, отцов и матерей. Свершилось — и с того времени парады в городе Прославле уж никого не собирали, кроме отставных бездельников, а в девичьих сердцах надолго померк образ звонкого и блестящего душки-военного. В глазах народа армия словно

бы повернулась кругом, превратив собственных передовых в отставших и сделав собственный арьергард своим авангардом. Таков был один из первых непредсказуемых парадоксов свершившегося.

Медленно, неохотно, с надсадным тяжким скрипом повернулось колесо Вечности, предлагая не только иной отсчет времени, но и новую шкалу ценностей мира сего.

Глава восьмая

Бабушка уверяла, что ровнехонько сто одиннадцать офицеров, служивших в городе Прославле, тогда же и подали в отставку. Я никогда не сомневался, если дело касалось цифр и бабушки, ибо почти мистическое совпадение ее возраста с возрастом нашего столетия действовало на меня убедительно. Но в этом случае позволил себе усомниться, поскольку три единички кряду казались началом легенды. Обычно молчаливо уступчивая бабушка моя в данном вопросе проявила исключительное упорство, и я сдал назад, почувствовав, что где-то начали сгущаться тучи.

— Отцепись ты со своей точностью, — ворчливо сказал отец: из него на свет божий опять полезло немецкое железо. — Ну не сто одиннадцать их было, а девяносто три, какая разница? Важна не статистика, а то, что среди тех офицеров был отец бабкиной единственной любви и, следовательно, твой родной прадед. Уразумел?

Я уразумел: сто одиннадцать офицеров — от подпоручиков до подполковников, цвет прославчанского гарнизона и действительно наиболее достойные и порядочные люди, покинули армию

после этого ее подвига. Тридцать семь подали рапорт об отставке, откровенно назвав причину («Нападение на собственный народ» — как выразился подпоручик Семибантов, дальний родственник пана Вонмерзкого); остальные изыскали менее дерзкие поводы, вроде, скажем, затяжной болезни капитана Куропасова. Дело ведь заключалось не во внешней стороне действия, а во внутреннем его содержании: впервые за всю историю служба в армии стала делом почти неприличным. Для того чтобы эта принципиально новая идея овладела ста одиннадцатью офицерскими и не поддающимися учету иными мозгами, понадобился рекордно короткий срок: шесть дней боев в предместьях родного города.

— Патронов не жалеть!

Впрочем, в первые дни буквальное исполнение этого скорее исторического афоризма, чем воинской команды, ни к чему не привело. Градом посыпавшиеся на баррикаду пули так в ней и остались, не причинив никому никакого вреда, а безостановочная пальба взбудоражила не только Успенку — она уже была взбудоражена, — но и весь остальной Прославль. Настолько смутила умы, что в церкви Космы и Дамиана священник перед службой обратил внимание прихожан на

веселую эту трескотню и призвал помолиться за мир в родном городе и за просветление умов у властей предержащих. А церковь-то эта находилась не где-нибудь, а в самой Крепости, отчего призыв пастыря прозвучал с особой внятностью. И вся Крепость заворчала, заговорила, завозмущалась:

— Слышали? Отец Аполлинарий…

— А как же! Сам, говорят, владыко похвалил его за истинно пастырское слово о мире и спокойствии…

— Студенты демонстративно занятия бросили…

— Абсолютно правильно!

— Говорят, в старших классах гимназии и реального уже черт знает что творится…

— Абсолютно правильно!

Да, стрельба в черте города в условиях новой эпохи разносилась куда дальше и звучала куда громче, чем то издревле предполагали законы распространения звука. Ее слышали даже тогда, когда вообще никто не стрелял: эхо грохотало внутри каждого — или почти каждого — жителя. И, взвесив непредусмотренные эти осложнения, начальство разъяснило, что, конечно, патронов по-прежнему жалеть не надо, но с умом.

Так закончился второй этап штурма, если первым считать бестолковое кружение войск, исполнивших тайную надежду командиров как-нибудь да обойтись без кровопролития. Второй этап по бессмысленному грохоту и трате пороха напоминал артподготовку, за которой вопреки канонам никакого приступа не последовало. Вместо ожидаемого приступа наступил перерыв в боевых действиях и полная тишина.

Мне мало рассказывали о боях на Нижней баррикаде, которой руководил Амосыч. Поначалу ее защищали добровольцы-дружинники, но уже на третий день к ним присоединились рабочие кожевенного и маслобойного заводов, железнодорожных мастерских, мельниц и двух текстильных фабрик, и производственная жизнь города Прославля заглохла. Таковы весьма общие, похожие на хрестоматийные сведения, поскольку конкретными фактами я не располагаю. Нижнюю баррикаду — а точнее, баррикады — защищали в основном те, которые жили не на Успенке, а в рабочих слободках, лепившихся к мастерским, заводам и фабрикам. А вот Верхнюю баррикаду — и здесь точнее употребить число множественное — обороняли коренные прославчане; о них мне рассказывали с массой

подробностей, вроде того, к примеру, что Шпринца велела вывернуть в канаву перед баррикадой по бочке превосходных зеленых и синих чернил, совсем недавно сваренных арестованным Мой Сеем. Успенские парни исполнили ее распоряжение; атакующие солдаты, оскользаясь, падали в чернильную жижу, откуда вылезали расписными — пятнистыми, полосатыми, сине-зелеными и даже в крапинку, а ведь чернила, изготовленные Мой Сеем, были абсолютно несмываемыми, и бабушка утверждала, что штурмовавших Верхнюю баррикаду безошибочно узнавали и через тридцать три года.

Третьим этапом была лихая кавалерийская атака, закончившаяся полным пшиком. Дело в том, что во время некоторого затишья — это после, стало быть, ураганной пальбы по тюфякам, горшкам, мешкам и черт знает чему еще — командиры дальновидно запросили подкреплений. Пока высшее начальство собирало и перегоняло эти подкрепления, в звонкую голову чиновника для особых поручений пришла мысль бросить болтавшихся без дела казачков во фланговые атаки. Казаки загикали, засвистели и бросились, но, вылетев из-за углов на ведущие к баррикаде, пустынные, мирно заросшие гусиной травой

переулочки, поспешно стали осаживать, углядев в ласковой травке острые зубья борон. Казаков вернули, а вместо них послали солдат, чтобы они расчистили коннице путь в самом прямом смысле. Солдаты высыпали в переулки, поспешно схватили бороны и… а Байрулла сковал их цепями, поскольку был настоящим мастером и имел под рукой достаточно кузнецов. И солдаты только бестолково дергали скованные друг с другом (а для усиления еще и с плугами) бороны, отложив винтовки и изогнувшись для упора.

— По задницам, мастера, — сказал Данила Прохорович. — Бекасинником… Готов, Кузьма? Пли!..

К тому времени в распоряжении защитников (в распоряжении Сергея Петровича, так будет точнее) насчитывалось девятнадцать охотничьих ружей. Экс-бур разбил их на два отряда, поручил командование Самохлёбову и Солдатову-старшему, и эти девятнадцать стволов пальнули в солдатские зады. Опытные люди утверждают, что получить, скажем, восемь дробин в зад больнее, а главное, несравненно обиднее, чем пулю в плечо; раздался дружный вопль, солдат как ветром сдуло, а на земле осталось несколько винтовок, которые мгновенно стащили верткие гавроши

Успенки.

— Вперед! — разъярились командиры. — Под прикрытием интенсивного огня…

Легко сказать — «интенсивный огонь», а куда стрелять, когда в глазах рябит от старых комодов, колес, саней, дровней и прочего барахла? Противника не видно, где он и в кого сейчас целит — неизвестно, и поэтому на всякий случай никто особо не высовывался. Стреляли куда ни попадя; остальные уже без винтовок — чтоб больше не бросали — побежали к боронам, схватились за них…

— Готов, Кузьма Иваныч? Ну, тогда обратно же по тем же местам!

Третьей попытки атакующие уже не предпринимали, вопрос с лихим казачьим налетом отпал сам собой, и казаков, к великой их радости, вернули на зимние квартиры. А вместо них прислали еще по батальону: против баррикад Успенки действовал весь расквартированный в городе пехотный полк, пока, правда, без артиллерии. Впрочем, прихватили еще кое-какую команду, но об этом баррикада узнала только на следующий день, когда осаждающие закончили передислокацию войск.

Ровно в полдень по баррикаде ударили два пу-

лемета. Сначала пулеметчики били посередине, выверяя прицел, потом верная точка была нащупана, пулеметы ударили по верхнему обрезу, и защитникам пришлось прятаться внизу.

— Готовят атаку, — вздохнул Сергей Петрович. — Скверное дело, товарищи.

— Мне нужен час, — сказал Прибытков. — Час продержитесь?

— А что изменится?

— Держитесь! — сквозь зубы бросил Прибытков.

И ушел. Он был с Успенки, хотя гордо не желал принимать участия ни в ее трудах, ни в ее весельях. И все же он с Успенки и точно знал, чем занимаются ее многочисленные мастера. Он искал азотную и серную кислоту у красильщиков и кожевенников, селитру, древесный уголь и парафин — у специалиста по фейерверкам и шутихам, глицерин — у аптекаря. Борис работал один на пустыре, очень спешил, взмокнув от огромного внутреннего напряжения; пот градом катился по лицу, ему все время казалось, что температура адской смеси вот-вот перевалит за критические двадцать пять градусов Цельсия и он громко и весело взлетит на воздух. Медленно и очень тщательно перемешивая жидкость, он

не спускал глаз с паров, которые исторгала она: если пары станут буреть, надо успеть вывернуть котелок в яму и упасть на землю самому. Во мгновение ока, хотя шансов спастись практически, увы, не будет…

— Спокойно, мой герой, я рядом. Всегда рядом.

— Роза, какого дьявола? Немедленно уходи отсюда!

— Я знаю, мое солнце, что за пунш ты готовишь. Я кое-что и кое-как читаю, чтобы ты не так быстро разлюбил меня. И никуда не уйду. Если уж так повезет, мы взорвемся вместе. Это масло сверху и есть нитроглицерин?

— Отойди, я соберу его. Отойди, Роза, одно резкое движение…

— Женщины имеют больший опыт в нежных движениях, сердце мое.

Через полтора часа Борис доставил на баррикаду бомбы в бельевой корзине. Запалы к ним несла Роза. К тому времени пулеметчики прочно завладели как верхом, так и всеми амбразурами, разглядев их и пристрелявшись. Однако со штурмом враг медлил, видимо готовя штурмовые группы, чтобы действовать наверняка.

— Нужен второй метальщик, — сказал Прибытков.

— Попробую. — Белобрыков взял бомбу. — По рецепту эсеровских боевиков?

— Попробуете или… — Про боевиков он слышать не желал.

— Чему не научишься на чужой войне! — Сергей Петрович сунул бомбу под мышку. Роза протянула запал, и он небрежно затолкал его в нагрудный карман студенческой тужурки. — Я возьму левого, уж очень он мне надоел. Пошли, Борис Петрович?

— Прошу, Сергей Петрович. — Прибытков впервые за эти дни улыбнулся. — Какое братское единодушие, Белобрыков!

Два взрыва громыхнули один за другим. Борис оказался точнее, уничтожив не только пулеметчиков, но и пулемет. Баррикада закричала «Ура!» (особенно выделялся хриплый бас отставного поручика), а власти в этот день так и не рискнули перейти к активным действиям. Впрочем, и на следующий тоже: вяло постреливали, нехотя обходили, где-то передвигались, скорее демонстрируя, чем действуя. Защитники уж начали робко радоваться («Не иначе сам царь-батюшка узнал, что за безобразия власти у нас творят», — убежденно высказался Данила Прохорович, а на самом-то деле все было очень даже просто).

— Артиллерию в городе? — целую ночь возмущался губернатор. — Да вы что, господа офицеры, не выспались или плохо закусывали? А шум? Газеты? Голос просвещенной Европы, наконец? Резонанс? Нет, нет и нет! Извольте изыскивать не столь громкие способы.

— Противник вооружен сильнодействующими взрывчатыми веществами, ваше высокопревосходительство, — упорствовали господа офицеры. — Их бомбисты выводят из строя как пулеметчиков, так и пулеметы, коих, как известно, не так уж у нас много.

— Не жалейте патронов!

— Не помогает.

— Не жалейте солдат, в конце концов!

— Увы, пробовали. Единственный выход — разметать баррикады артиллерийским огнем.

— Но, господа, это же грохот на всю Европу!

— Но, ваше высоко…

Спорили весь день, а тут еще принесло подряд четыре делегации: от почетных граждан во главе с паном Вонмерзким, от либеральной интеллигенции во главе с адвокатом Перемысловым, от потомственного дворянства во главе с Петром Петровичем Белобрыковым («Ну, этот-то, ясное дело, о сыне хлопочет, знаете, где сейчас бурский

волонтер? Нет-с, батенька, Европа до добра не доводит!..») и от предпринимателей с господином Мочульским. И все они просили покончить с неприятностями как можно тише и как можно быстрее. И всех надо принять, наулыбаться, наобещать, каждому руку пожать (а в Астрахани, говорят, опять холера...), а тут еще эти, со шпорами.

— Нет!

— Но...

Давно известно, что каким бы решительным ни казалось «Нет!», если заводится хотя бы маленькое «но», победа будет за ним. «Но» — это термин нашего благородства, честности, чистосердечия и самого горячего, самого искреннего желания поступать только по совести. «Но» — замедленная мина самых наилучших побуждений, принципов и обещаний. «Но» — смертельная болезнь руководителей всех калибров «ОТ» и «ДО», козырный туз ордена Игнатия Лойолы. «Но...» — своевременно внушали офицеры, и через ночь батарея с грохотом и скрипом двинулась на позиции. Миновав Пристенье, разделилась соответственно баррикадам, и к Верхней два орудия подвел лично ее командир полковник Постушин. Добравшись до указанной позиции и увидев предназначенные

цели, вызвал заместителя.

— Определите места орудиям и исполняйте, как сочтете.

— А вы, господин полковник?

— А я уже исполнил почти все, что велит долг русскому офицеру. Остались сущие пустяки. — Полковник достал револьвер и взвел курок. — Честно говоря, не завидую вам.

И раздробил собственную седую голову. С этого выстрела и начался пятый, предпоследний день боев, и им же практически и была поставлена последняя точка в явно архаичной традиции русского потомственного офицерства. Во всяком случае, уже через час заместитель бодро скомандовал:

— Ор-рудия, готовьсь! По заграждениям… — он еще стеснялся нерусского слова «баррикада», — пять снарядов…

Я много думал, копался в книгах, расспрашивал старых людей, пытаясь понять, как и когда зачах в сердце русского офицера робкий огонек особого чувства к народу своему. Ведь существовал же он, этот зажженный еще декабристами огонь, — пусть горел он не так уж ярко и далеко не под каждым мундиром, но горел! Он был неосознанным, невыраженным пониманием того, что

офицер присягает не государю, а народу своему или, чтоб не столь уж радикально, — народу в лице государя. Так когда же погасла она, эта свеча родства, свеча единства нации и армии? В пулеметных безумиях Русско-японской? В соленой купели Цусимы? В жестоких карательных боях первой революции? А может, в негромких выстрелах в собственный висок?.. Известно, что честь нельзя убить: можно лишь убить честного человека. Зато честь можно отнять. Силой или обманом. Заменить пустопорожним постулатом или вообще не взращивать ее с детства. И тогда появляется армия, способная воевать против собственного народа с куда большей яростью и жестокостью, чем против врагов Отечества. Ах, Максимы Максимовичи и капитаны Тушины, как же не вовремя вы стрелялись…

— Ор-рудия, огонь!..

Залп, вспышки, оглушительный грохот разрывов, и вот уже чей-то изгрызенный мышами шкафчик вместе с древней люлькой парят в воздухе. Пыль, пламя, обломки, фонтаны земли и чего-то очень близкого, знакомого, родного — стулья и столы, чугуны и ухваты, перины и подушки. Скарб. Вы прятались за ним, за своим скарбом, за барахлишком своим, еще теплым от

тепла ваших домов и ваших трудов, а все вздыбилось, взбунтовалось, взлетело — и обрушилось на ваши головы.

— Бабы, тряпок!

— Фельдшера!.. Фельдшера сюда!

— Вася! Солдатов! Беги к аптекарю!

— И фельдшера! Фельдшера-а!..

Вот и пришло время немного рассказать о фельдшере Курте Иоганновиче (по-успенски, естественно, Ивановиче) — человеке добром, ворчливом, честном и чересчур принципиальном. Почему чересчур? Да потому, что Курт Иванович, например, не терпел крещенских драк: тридцать пять лет он, как умел и мог, лечил Успенку и тридцать пять лет аккуратно ровно 25 января, в Татьянин день, из года в год подавал прошение о категорическом запрещении всяческих драк, непременно прилагая к оному прошению поименный список пострадавших с обстоятельным указанием вида пострадания. Заодно он не любил и купания в ледяной воде, находя его безнравственным, а вот самого покойного Филю Кубыря любил за его нежность к птицам и цветам.

— Что есть внешний благо? Благо есть: у человека — матушка, у зверей — птичка, у растений

— цветок.

Курт Иванович был оригиналом: холостяком, ворчуном и трезвенником, что особенно умиляло Успенку. Он боролся за народную трезвость, народную благопристойность и народную нравственность против пьянства, драк, ругани, прелюбодейства, обмана, проституции, воровства, то есть против всего и со всеми. Боролся шумно, гласно, прилюдно, считая всех неразумными независимо от возраста, почему у него не было друзей и все его любили. Но не слушались, как дети не слушаются старших, искренне любя их при этом.

— Кто вас просил лезть в эта катавасия? Вам мало свободы? Вам мешают пить водка, драться, ругаться и спать с чужой женой?

— Курт Иванович, пригнись!

Пламя, грохот, дым, треск, пыль столбом. Все в пыли, ничего не видать. Господи, сколько же пыли скопили успенцы в жалком скарбе своем и как беспощадно выколачивают из них эту древнюю пыль…

— Ор-рудия…

— Борис, нельзя ли еще бомбу?

— Поздно. Руки дрожат.

Грохот. Что-то воспарило, рассыпаюсь, упало.

Пыль на всю Успенку. С Курта Ивановича сшибло очки, и он вместе с добровольцами шарит в пыли…

— Сергей Петрович, бегут…

Кто это черный, как негр, одни белки да зубы?

— Вы, Коля? Уговорите, встряхните как следует. Бомбардировка не может продолжаться долго.

— Ор-рудия!

Грохот. Крики и вообще все на крике. Криком выражают боль, криком спрашивают, жив ли ты, криком отдают команды, просят о помощи, жалуются на судьбу. Крик — это боль, гнев, жалость, ненависть, обида, страх, беспомощность и надежда. Крик стал универсальным способом общения, вторгся в жизнь, завладел ею, угнездился, пустил корни. Неужели мы когда-то разговаривали нормальными голосами? Нет, этого не может быть, мы всю жизнь кричали, кричим и отныне будем кричать вечно. Покой взорван, и вообще все взорвано, даже время. Какое оно сейчас: настоящее, прошедшее, будущее?.. Безвременье.

— Ор-рудия!

Грохот. С развороченного верха, растопырившись, падает труп. Кто посылал туда наблюдателя? Кто? За каким чертом… Спокойнее, Сергей Петрович, это все — грохот да нервы, нервы да

грохот. Вот и на крик сорвался, ай, как скверно.

— Курт Иванович!

И вдруг тишина. Может быть, обвал тишины? Может. После ада и райская тишь воспринимается пугающе. Все слушают напряженно, до звона в ушах. Это ведь тоже крик, только вбитый внутрь. И вдруг хриплый рев:

— По местам, молодцы! Не посрамим…

Ай да отставной поручик, ай да чудак из Крепости Гусарий Уланович! Все из него турецкое ядро вышибло, даже само представление, где свои, где чужие. Но главного вышибить так и не смогло: Россия там, где воюют за справедливость. Неевклидова геометрия логики истинно благородного человека и заключается в том, что из него невозможно вышибить понятие чести: ему легче умереть с нею, чем жить без нее.

— Спасибо, дядюшка! — крикнул опомнившийся волонтер. — По местам, товарищи, сейчас пойдут!

Баррикаду разворотило и расшвыряло расстрелом в упор. У нее уже не было верха, не было амбразур и укрытий: теперь она и в самом деле представляла собой груду кое-как набросанного хлама. Теперь за нею можно было укрываться от глаз, но не от пуль. «Если они дадут хотя бы

два-три залпа...» — с безнадежным отчаянием подумал Белобрыков.

Но армия и не думала стрелять. Она еще воевала по старинке и ударила не залпом по баррикаде, а палочками в барабаны. И молоденький офицерик впереди с обнаженной саблей — прямо-таки Бородино, а не штурм баррикады в родимом городе. За ним, развернувшись в три шеренги, шли солдаты, выставив штыки и топая под барабанный рокот.

— Подпустить поближе, — сказал Белобрыков, представил, что сейчас придется застрелить этого офицера, и ему стало невесело.

— Офицера беру на себя, — предупредил Прибытков.

— Хорошо, — с облегчением согласился Сергей Петрович и неожиданно для себя добавил: — Прострелите ему ногу — этот подпоручик вел под уздцы того белого жеребца, на котором я...

— Жалко стало своих? — зло усмехнулся Борис. — Нет уж, Сергей Петрович, либо мы играем в революцию, либо сражаемся за нее.

Белобрыков промолчал, подумав, что этот эсеровский боевик, пожалуй, прав: все игры кончились. На языке властей восстание именуется бунтом, а лица, взятые с оружием в руках, подле-

жат военно-полевому суду. И, подумав так, взял на мушку рослого фельдфебеля, ретиво вышагивавшего под барабанный треск.

— Пли!

Залпа не получилось, стреляли вразнобой, торопясь: сухие револьверные хлопки мешались с резкими выстрелами винтовок и тяжелым грохотом охотничьих ружей. Рухнули офицерик с саблей, старательный фельдфебель, трое солдат, а остальные поспешно повернули назад. Кто-то нетерпеливый — Вася Солдатов, что ли? — азартно пальнул вдогонку, подбил еще кого-то. Подбитый закричал, и крик его услышали на баррикаде.

— Зря, — неодобрительно сказал Юзеф Замора. — Стрелять в спину нечестно.

Сергей Петрович тоже считал, что стрелять в спину нечестно, но ему уже напомнили, что игра кончилась, и он ту же мысль выразил иначе:

— Патроны беречь! И приготовьтесь укрыться: они сейчас начнут стрелять.

Но они с поразительной тупостью еще трижды ходили в атаку. Результат был тот же: солдаты доходили до разрушенной баррикады, натыкались на частый огонь, теряли с десяток ранеными и убитыми и поспешно откатывались назад. За-

тем наступила пауза, все замерло, и Самохлёбов высказал предположение, что сейчас выкатят пушки. Но вместо пушек вышел пожилой подполковник, снял фуражку и, размахивая ею, направился к баррикаде.

— Парламентер. — Сергей Петрович торопливо отряхнул пропыленную тужурку. — Борис Петрович, остаетесь за меня.

И с грохотом, поскольку баррикада была порядком потрепана, стал спускаться навстречу подполковнику. Спускался он с некоторым сердечным замиранием, но никто не стрелял. Было тихо, и отчетливо слышались стоны раненых.

— Подполковник Раздорный, — хмуро представился парламентер. — Между прочим, это стонут русские люди.

— С той стороны баррикады тоже стонут, и тоже русские люди.

— Опомнитесь, Сергей Петрович, — вдруг тихо сказал офицер. — Вы же благородный человек, потомственный дворянин, ну что у вас общего с этим сбродом?

— Родина, Федор Федорович.

— Начитались книжонок? А чем все кончится, знаете? Разгромом. Уцелевших выдерем, чтоб надолго запомнили, а вас придется расстрелять.

Так-то, Сергей Петрович, игра кончилась.

— Вы шли, чтобы сообщить об этом? Напрасно: мне уже сказали, что игра кончилась. Засим давайте откланяемся…

— Прошу прощения, я лицо официальное. Если не желаете слушать советов, давайте разговаривать, как предписывает порядок. Я пришел уведомить, что мы просим не стрелять, пока наши раненые и убитые не будут убраны с поля боя. По законам христианского милосердия.

— Это не условие, — сказал Сергей Петрович. — Если вам угодно перемирие, извольте точно оговорить его срок.

— Два часа. — Офицер вынул часы, щелкнул крышкой. — Сейчас пять часов двадцать шесть минут. Следовательно…

— Извините, но у нас тоже есть раненые и убитые. Мы предлагаем три часа жизни по законам христианского милосердия.

— Согласен. Стало быть, ни одна из сторон не предпринимает никаких военных действий до восьми часов двадцати шести минут. Надеюсь, вы все же подумаете и о своей судьбе, и о своем отце, Сергей Петрович.

— Передайте ему, что я жив и здоров, — с некоторым смущением попросил Белобрыков.

— Будет исполнено. Честь имею.

Подполковник Раздорный откозырял и пошел к своим, а Сергей Петрович стал подниматься на баррикаду. При этом он с удовольствием думал, как ловко провел противника, навязав ему трехчасовое перемирие: в половине девятого будет, пожалуй, уже поздно громить баррикаду артиллерийским огнем.

— Бревна нужны, — сказал Кузьма Солдатов. — Бревна хорошо держат. Пошли, мастера, старые баньки разваливать.

Мастера собрали добрую команду и отправились разбирать старые бани, амбары да сараи. И не только они — вся Успенка, уже вовлеченная в схватку с властями, деятельно укреплялась, как могла и чем могла, и только один человек делал все с явным стремлением удрать. А потом не выдержал и честно сказал командиру, что ему и вправду позарез необходимо удрать до утра.

— Куда, Коля?

— В Пристенье, Сергей Петрович.

— Да там же войска!

— Надо, — вздохнул Коля и виновато развел руками.

Этот вздох напомнил Белобрыкову о существовании — где-то, где-то, в мире, живущем без

крика, — синеглазой Оленьки Олексиной. Он погрустнел и махнул рукой.

За время баррикадных боев я почти не упоминал о Коле не потому, что он в них не участвовал. Нет, с первого часа он был там и старательно делал все: стрелял, строил баррикаду, оттаскивал убитых, успокаивал овдовевших, но все так, будто старалось одно его тело, без души и азарта. Будто и душа, и азарт, столь свойственные ему в драке или в работе, находились в эти дни отдельно от него, и при первой же возможности ему нетерпеливо захотелось слиться с ними, вновь стать цельным, перестав быть раздвоенным. Сергей Петрович так его и понял.

— Только осторожнее, Коля. Если схватят, в лучшем случае каторга.

— Так ведь я огородами, — улыбнулся Коля.

В это время заместитель командира полка Федор Федорович Раздорный выслушивал свирепый разнос от главного воинского начальника, состоящего в генеральском чине. Тут же присутствовали командир полка, чиновник для особых и глава делегации потомственного либерального дворянства Петр Петрович Белобрыков, но генерала это не смущало.

— Перемирие с бунтовщиками! — орал он и

топал одной ногой вместо восклицательного знака. — Парламентер-волонтер… мать, мать, мать! Да они же вам к утру заново баррикаду, заново! Что же — опять бомбы на всю Европу? Не-ет-с! Извольте штурм! Под покровом!

— Под покровом невозможно-с, — робко воспротивился командир полка. — Пробовали. Конфуз под покровом.

— Печень, — вдруг сказал генерал, подумав. — Приступ и постель. Извольте быть свободным.

И ушел вместе с чиновником. А оставшиеся окружили красного подполковника, и его командир вздохнул виновато:

— Ну что же делать, голубчик? Я все понимаю, но генерал!

— И я понимаю. — Петр Петрович пожал его руку. — Хотели сына мне спасти, Федор Федорович?

— Да он не хочет, вот ведь беда где, — расстроенно сказал подполковник.

Коля хорошо знал сады, дворы и огороды Пристенья. Без помех добравшись до знакомой крапивы, он укрылся в ней и начал высвистывать Шурочку. В доме горел свет, и разливаться соловьем ему пришлось долго. Достоверно неизвестно, когда его услышала Шурочка, а только кое-кто услышал его трели (кстати, непонятно, от-

куда взявшиеся в это совсем не соловьиное время года), тихо вышел на них и затаился в непосредственной близости. А Шура все не появлялась, свет в доме не гас, и Коля продолжал свистеть. Он так сосредоточился на ожидании, так старательно высвистывал и так прислушивался, что ничего уж и не слышал. Ни крадущихся шагов, ни сдерживаемого дыхания, ни даже шепота: «Обходи его слева…» И очнулся, когда вдруг со звоном распахнулось окно и раздался отчаянный крик:

— Уходи, тебя Изот ловит! Уходи, Коля!..

Чьи-то руки тотчас же втащили Шурочку внутрь, окно закрыли, но Коля все уже услышал. Услышал и оценил, где враги, а где спасение, и со всех ног рванулся в последнюю лазейку. А там кто-то оказался, в этой единственной его лазейке. Какое-то затаившееся существо, и Коля, налетев, шарахнул его со всей своей силой. Существо обмякло, и цыган помчался дальше, а вслед ему улюлюкали, орали и свистели, но он успел унести ноги.

А бабка Палашка все же осталась жива. Чудом уцелела, месяц провалявшись в постели и ежедень по многу раз отдавая богу душу. Коля так и не узнал, кого он шарахнул, вырываясь из кольца, но этот удар основательно укрепил память

дурочке, и осталась она жива не столько потому, что Богу не понадобилась, сколько очень уж возжелала рассчитаться с Колей, тайной любви которого ей так хотелось покровительствовать.

Коля вернулся на баррикаду еще затемно; там шла горячка, и он включился со всем нерастраченным пылом, со сладким восторгом вспоминая отчаянный крик: «Уходи, Коля!..» Таскал бревна, укладывал, крепил скобами, заваливал мешками с землей — и вспоминал. А баррикада тем временем росла и крепла, но, когда рассвело, против нее оказалось уже не два орудия, а шесть. Полубатарея.

— Полубатарея, беглым! По двенадцать снарядов...

Нет нужды описывать расстрел баррикады в шестой день: он отличался от предыдущего количеством стволов, выпущенных снарядов, раненых и убитых. Когда количество орудий, изрыгающих огонь, грохот и смерть, увеличивается втрое, раненые и убитые возводятся в квадрат: арифметика войны рождает алгебру смерти. И к вчерашнему крику прибавился сегодняшний огонь, ибо накануне прозвучал приказ:

— К вечеру покончить с бунтом любой ценой!

Войска выполнили приказ, к вечеру отчаянное

сопротивление защитников было сломлено; горящая Успенка тушила свои пожары, а немногочисленная группа повстанцев была блокирована в развалинах древнего монастыря. Правда, атакующим удалось захватить только двоих, а остальные исчезли таинственно и необъяснимо, но победа тем не менее была полной и блистательной: редко кому удавалось расправляться со своим народом с такой прямолинейной жестокостью.

Падение баррикады, пожары на Успенке и гибель ее защитников потрясли жителей, положив начало неисчислимым легендам.

Бабушка утверждала, что после этого обстрела и последовавшего за ним подавления на Успенке не осталось Мастеров. Мастеров с большой буквы, как я и написал; началась эпоха подмастерьев, которая затем развилась в эпоху шабашников, то есть людей, скверно делающих все что придется, чтоб только зашибить деньгу. Деньга для шабашника стала той целью и тем смыслом, каким для Мастера являлся конечный результат его труда. И плач по Мастерам был плачем по Успенке, а плач по Успенке — плачем по Мастерам.

Когда взрывами снарядов разбросало баррикаду, а кругом запылали дома и дым, смешавшись с

пылью и порохом, пополз по дворам, на приступ двинулись солдаты, ожесточенные сопротивлением, грохотом, воем, кровью и криком. Они шли в дыму и копоти и кололи все, что напоминало человека, — даже тела уже убитых и еще раненых. Защитники отступали расходящимся веером, тяготея к собственным домам, потому что в тех домах оставались их дочери, малые дети и жены. Рядовые защитники, молодежь, ученики, сыновья и подмастерья льнули к своим мастерам, невольно распадаясь на изолированные группы: враг резал единую оборону на куски, как пирог.

У Юзефа Яновича Заморы не было учеников, потому что никто не хотел учиться шить женские козловые сапожки с ушками спереди и сзади. Места подмастерьев у него занимали жена и три дочери, из которых одна была грешная малпочка, вторая — слепая Ядзя, видевшая иногда странные сны, а старшая — исколовшая все пальцы белошвейка. О них все время думал чудаковатый успенский сапожник, отступая под солдатским напором к воротам собственного жилища.

— Не пущу, не можу пускать! — кричал он, мешая все славянские языки. — Не можно, жолнежи, не можно, то есть мой маёнок…

Его сшибли с ног и забили прикладами, а он все

еще что-то кричал, пытаясь прикрыть голову загрубелыми, изрезанными дратвой руками. Ванда Казимировна со старшей дочерью прятались в погребе, но Ядзя была бесстрашной, потому что очень любила отца, и выбежала на его крик… Что-то белое с распущенными волосами вынырнуло из дыма и смрада, и обезумевший от убийств и крови солдат длинным выпадом, как на ученье, проткнул ее штыком. А Ядзя ухватилась за ствол, с рождения закрытые глаза ее вдруг распахнулись, и она ясно и звонко крикнула:

— Вижу! Небеса вижу!.. Дзенькую пана бардзо…

Говорят, солдат, заколовший слепую Ядзю, ни разу более не уснул. Когда наступала темнота, он начинал ходить, и все ходил и ходил, пока не помер. А бабушка мне говорила, будто не ходил он, а сразу ослеп, бросил винтовку и слепой пошел в свою деревню. Он брел, растопырив руки, и кричал: «Дзенькую пана бардзо! Дзенькую пана бардзо!..» А потом помер, конечно, но дело ведь не в этом. Дело в крике, который, однажды родившись, уже не замирает в нас никогда…

А Данила Прохорович Самохлёбов отстреливался из винтовки, а когда расстрелял все патроны, с нею наперевес бросился на солдат, и тогда на-

чали стрелять в него. Он падал, поднимался, в него снова стреляли, и он снова падал и снова поднимался. Из него вытекло столько крови, что двадцать лет на том месте ничего не росло, а потом сам собою появился куст шиповника. Он и сейчас цел, этот куст (бабушка мне показывала): при перепланировке он попал в черту городского сквера. Шиповник разросся, возле него стоит скамейка, и там зимой и летом после работы соображают на троих работяги из авторемонтных мастерских — колесных дел мастера нашего времени.

Мне кажется — да, признаться, и бабушка так думала, — что Данила Прохорович перед смертью услыхал крик из собственного дома. Слабенький писк новой жизни: его супруга от грохота, огня и криков разрешилась преждевременно, но младенец выжил. Мальчик, о котором так мечтал мой прадед. Его душа пробудилась, когда душа Данилы Самохлёбова отлетела в небытие, и в семье всегда верили, что сын станет отцовской копией.

А на Нижней баррикаде упорно отстреливался Амосыч. Он обложился револьверами и, громко ругаясь, держал солдат на расстоянии, давая возможность остальным защитникам разбежаться. И они разбежались, пока Амосыч отстреливался,

и солдаты взяли только его, и то когда кончились патроны. Его чудом не забили насмерть: спасло то, что кому-то позарез понадобился фарс с громким процессом. И Евсей Амосыч, оклемавшись, выступил с последним словом на этом процессе, да так, что речь его еще при мне изучали в школах.

Дольше всех — даже дольше Амосыча — держалась группа с Верхней баррикады, отошедшая в развалины Успенского монастыря. Они умолкли только на следующий день, и, строго говоря, восстание продолжалось не шесть суток, а ровно неделю, да и умолкли-то потому, что у них уже не было ни сил, ни патронов. И вот о них, об этой центральной группе, мне следует рассказать подробнее, потому что именно там и оказались все три героя города Прославля.

Они, отстреливаясь, отступали прямо вверх через единственную площадь Успенки, где, если припоминаете, была сосредоточена вся религия: Варваринская церковь, костел, мечеть, синагога и чей-то молельный дом. Этот путь сразу оторвал коренных успенцев — Прибыткова, Третьяка и Васю Солдатова — от родных домов, но они с детства прекрасно знали заросшие бузиной и крапивой развалины с остатками фундаментов,

переходов и даже подвалов. Здесь, в этих не очень просторных, но очень заросших катакомбах, они могли с легкостью оторваться от преследования, затеряться и исчезнуть, но они не сделали этого. Они зацепились за руины, навязывая бой и давая тем самым возможность затеряться и уйти другим. В составе этой группы были три отличных стрелка — Сергей Петрович, Гусарий Уланович и Борис Прибытков, да и Коля с Василием уже набили руку, и солдаты вскоре прекратили атаки, осыпая последнюю пятерку беспрерывным ружейным огнем.

— Сдавайтесь! — через каждый час кричали офицеры и даже сам чиновник для особых поручений. — Вы окружены! Сдавайтесь!

Они и вправду вскоре оказались в полном окружении — полном, с точки зрения офицерства. Коренные успенцы знали десятки тайных лазов, троп и переходов, и грозное «Вы окружены!» на них не действовало.

— Уйдем, — сказал Вася. — Тут ход есть и огороды, что за красильней. Ползком, правда.

— Вам нравится ползком, Сергей Петрович? — спросил Борис. В глазах его, в движениях и в самом вопросе появилось что-то лихорадочно-возбужденное, что, правда, пока на стрельбе не

отражалось. — Как ползучесть уживается у вас с гордостью, любопытно?

— У меня не гордость, Борис Петрович, у меня достоинство, — усмехнулся Белобрыков. — Люди часто путают эти свойства характера, но, если однажды перепутают навсегда, будет весьма прискорбно.

— Почему?

— Почему? Потому что гордость чаще всего есть форма презрения к людям, а чувство достоинства — уважения к ним. Вы не находите, что в этом и состоит принципиальная разница между нами, товарищ эсер?

— Принципиальная разница между нами заключается в том, что, когда вас торжественно везли на белой лошади господа офицеры, я стоял за канатами среди прочей публики.

— И начали люто ненавидеть меня.

— Вас? Нет, Сергей Петрович, все сложнее: порядок вещей. Такой порядок хотелось взорвать немедленно, почему уже на следующий день после вашего триумфа я вступил в боевую организацию партии социал-революционеров.

— Что это вы сегодня разоткровенничались, Борис Петрович?

— А это потому, что нам отсюда не выбраться.

Тот подземный ход, на который надеется мой оруженосец, узок, как крысиная нора. Нам просто не дадут времени, чтобы воспользоваться им.

«Неужели они спорили во время боя? — скептически спросил я. — И о чем? О том, что и так ясно каждому?»

«Каждый субъективно прав даже в своих заблуждениях, — сказала бабушка накануне полета Гагарина и собственной смерти. — Но, кроме правды человека, есть правда истории, и вот об этой правде они могли только догадываться, и то каждый по-своему».

Там, в развалинах старого монастыря Успения Божьей Матери Прославльской, не знали ни того, как ими распорядится судьба, ни того, как будут оценены их действия в будущем. Для них существовала данность, которая стреляла в них и в которую стреляли они. Но — странное дело, не так ли? — отстрелявшись, они ни на мгновение не прекращали спора: единство, которое привело их на баррикады, по непреложным законам диалектики превращалось в свою противоположность, ибо человеку свойственно считать себя правым даже в собственных заблуждениях.

— Мышеловка, — вздохнул Прибытков. — Мы влипли в мышеловку, Белобрыков.

— Вы имеете в виду эти катакомбы?

— Я имею в виду мышеловку истории, товарищ большевик. Вы принимаете такую формулировку?

— Следует понимать, что вы сожалеете о собственном благородном порыве?

— В результате наших порывов победило Пристенье, а мы оказались в роли мартышек, таскающих каштаны из огня. Все бессмысленно, Сергей: Пристенье непобедимо во веки веков.

— Поразительно, до чего отвага эсеров легко превращается в панику, — усмехнулся Сергей Петрович. — Нет, Борис, победило не Пристенье, потому что в разведке боем нет победителей. А разведку провели мы, и поэтому завтра победим мы. Завтра, Борис, грядут великие бои за справедливость, и следует готовиться к ним, анализируя причины наших неудач, а не впадая от них в отчаяние.

Рядовые бойцы, казалось, не обращали внимания на своих лидеров. Гусарий Уланович, утомленный бессонницей и слегка очумевший от грохота и пальбы, окончательно решил, что он под Плевной, а басурманы наседают. Бедный ум его наконец-таки прояснился, пелена ирреальности начала рассеиваться; отставной поручик как

бы проснулся, но проснулся тридцать лет назад.

Коля Третьяк все время думал о Шурочке. О том ночном свидании, о клумбе и слезах и о свидании несостоявшемся, когда любимая лишь на миг мелькнула в окне, чтобы крикнуть: «Уходи, Коля!» Он не пытался понять, почему Изот ловил его именно возле заветного дома — сам ли он в том был виноват, неаккуратно пробираясь, или кто-то заранее знал, что он непременно появится там? Коля не только не думал об этом — он даже не вспоминал, кого он треснул на бегу своим полупудовым кулачищем. Он был весь сосредоточен на своей любви и на своей любимой и даже стрелял, улыбаясь.

А секрет тут был: за сутки до Колиной попытки увидеть Шурочку баба Палашка навестила только что вернувшегося из отлучки мельничного магната. Он не пожелал ее видеть, но она намекнула на семейную тайну и была допущена. При этом сам Иван Матвеевич пил чай с московскими пряниками, а Палашка торчала, как водится, у порога.

— Ну, сорока, что на хвосте принесла?

— Я-то ничего не принесла, а вот как бы дочка твоя не принесла.

Эх, если бы Круглов не пил тогда чай или — что

еще лучше — пригласил бы к столу бабку Палашку! Но этого не случилось, бабку ожгла обида, и она сболтнула всю тайну с порога.

— Что-о?.. Ты гляди, болезная, говори, да не заговаривайся!

— Эх! — Дурочка смело протопала к столу и уселась напротив. — Обгулял твою девку Коля-цыган. Погоди, погоди, не надувайся, сама видела, вот те крест святой. Любовь у них, а любовь благословлять надо.

— Что? За подзаборного цыгана…

— А коли бы у этого подзаборного да тысчонки три?

— Не бывать!

— В дело твое войдет, парень работящий. А уж внуки-то красивенькие да ладненькие пойдут: цыганская кровь сильная.

— Чтоб моя Шурка да без мово разрешения…

— На это, Матвеич, девки разрешения не спрашивают. Шурка твоя с марципаном девка, цыган долго не выдержит. Вот тут хватай его, и сразу под венец…

Вот что было до той ночи, вот почему Колю ждала засада, и вот почему закричала Шурочка. А потом Коля треснул на бегу свою единственную заступницу, и от удара все у нее перевернулось в

полупустой голове. И когда ее утром нашли в беспамятстве, внесли в дом и она очухалась, первые ее слова прозвучали погребальным звоном для всех Шурочкиных надежд:

— Убивец он! Собаками его, Матвеич! Собаками!

Напрасно Шурочка, рыдая, объясняла, что Коля ненароком налетел на нее, — бабка была неумолима. Любовь в ней вдруг переключилась на ненависть, и она теперь без конца обличала Колю. Но бог с ним, с обличением: у дурочки водились деньги, и, говорят, немалые, и если прежде она желала употребить их на дело доброе, то теперь намеревалась на злое. Что и исполнила вскорости.

А Вася думал о семье. Об отце и матери, о братьях и сестрах, о Степе, арестованном в первое утро всей этой кровавой неразберихи, которую сначала официально именовали бунтом, а потом — и тоже официально — восстанием. И еще он очень много думал, почему же их так быстро разгромили. Он был очень вдумчивым, умел докапываться до корней и в данном случае выяснил для себя три основные причины: отсутствие ясной цели, скверная организация и единичность выступления. И выяснял Василий

эти причины не из теоретического интереса, а из вполне практической задачи, дабы не повторить их впоследствии. Ибо он был единственным из пятерки, кто рассчитывал дожить и до завтрашних баррикад.

Они были надежно укрыты, стреляли, появляясь внезапно, и солдатские медлительные винтовки долго не могли засечь их. Все были сосредоточены на бое, даже думая о другом, и только один был сосредоточен на любви, и вот ему-то и угодила в грудь весомая винтовочная пуля. Борис и Вася оттащили его в укрытие, вернулись отстреливаться, а отставной поручик перевязал Колю. И сказал:

— Кровью истечет. Уносить надо.

— Куда? — зло крикнул Борис.

— За красильню, — пояснил Вася. — А там река.

— Вот и тащи его!

— Я? — Солдатов подумал. — Одному там не протащить. Тяжелый.

— Вместе с Сергеем Петровичем! — Прибытков обернулся к Белобрыкову; лицо его было мокрым от пота и каким-то перекошенным. — Сергей, уходи вместе с Васькой. Мы задержим солдат.

— Вот уж нет! — Сергей Петрович внешне дер-

жался спокойно, хотя побледнел и осунулся за эти дни. — Если тебя схватят, то непременно повесят, ты это учел, Борис?

— Почему это меня повесят, а тебя — нет? Потому что дворянский сын?

— Потому что тебе припомнят карету на Благовещенской. А кроме того, я и в самом деле потомственный дворянин, и мне все же будет легче. Наконец, я ваш командир и знаю, что патронов почти не осталось. И приказываю Прибыткову и Солдатову вытащить раненого с поля боя, укрыть понадежнее и уходить из города.

— Идем, — сказал Вася, положив револьвер рядом с Белобрыковым и шаря по карманам в поисках патронов. — Ничего нет. Прощайте, Сергей Петрович.

— Прощай, Василий. Чего ждете, Прибытков? Пули или атаки?

— Иду. — Борис, однако, не стал выкладывать оружие, как Солдатов. Сунул за пазуху револьвер, сказал, не глядя: — Домишко и лавка были на мать записаны. Попроси отца, чтобы помог сделать на имя Розы. Я там Колю спрячу.

— Хорошо. Уходи, они готовят атаку.

Прибытков и Солдатов подняли потерявшего сознание Колю, потащили к кустам. Возле них

Борис остановился, поймал прощальный взгляд командира, крикнул вдруг:

— Прощай, брат!

— Прощай, Борис!

Сергей Петрович больше не оглянулся: солдаты поднимались в атаку. И ободряюще улыбнулся Гусарию Улановичу:

— А ведь нам, дядюшка, не отбить этого штурма, пожалуй.

— Я горжусь тобой, Серж, — дрогнувшим голосом сказал отставной поручик. — У тебя великое сердце, если ты в силах постичь, что нет ничего прекраснее, чем смерть за честь Отечества своего!

Через полчаса они расстреляли последние патроны и были схвачены с оружием в руках. Но дворянский сын Сергей Белобрыков и отставной поручик без имени оказались единственными, кого взяли после двенадцатичасового боя: солдаты тщательно прочесали вдоль и поперек развалины, но никого более так и не нашли.

Глава девятая

Прибытков и Солдатов с огромным трудом протащили раненого сквозь узкий лаз и вышли в пустые, заросшие огороды за красильней. Здесь Борис спрятал Колю и Василия, а сам — где сквозь чердаки и сараи, где сквозь бурьян и крапиву — пробрался в собственный дом через предусмотрительно прорубленную вторую дверь. Там, как это и было условлено, прятались Роза с малпочкой, которая еще не знала, что уже лишилась отца и сестры. Вчетвером они тем же путем пронесли Колю и уложили в постель. Роза заново перебинтовала его, послав Малгожатку за сердитым Куртом Ивановичем.

— Говори всем, что нашла Колю на улице. А мы уходим, — сказал Борис. — Дом Петр Петрович перепишет на тебя, я просил об этом брата.

— А ты? — с оборвавшимся сердцем прошептала Роза. — Навсегда?

— Когда осяду, сообщу. Прощай, Колю сбереги!

— Солнце мое…

Борис поцеловал Розу, отцепил от себя и вместе с молчаливым Василием исчез за таинственной дверью. Роза долго стояла перед нею, а когда

наконец оглянулась, увидела взгляд глубоко запавших лихорадочных глаз.

— Иди за ним, — тихо проговорил Коля, и кровь запузырилась в уголках серых губ. — Иди. Ты потеряешь его.

— Я уже потеряла, — безжизненно сказала она и, уронив руки, пошла встречать фельдшера Курта Ивановича.

После падения баррикад солдаты взяли много пленных. Сгоряча еще убивали, сгоряча добивали, сгоряча виновных и невиновных, целых и раненых гнали в тюрьму. Все камеры двух тюремных замков были переполнены, лечь было негде, и, случалось, люди умирали стоя. И только на четвертый день по окончании всех донесений, докладов, рапортов и победных реляций назначенная губернатором комиссия начала допросы.

— Арестовать Байруллу? — Губернатор поморщился. — Ах, господа, господа, какова нелепость! А лошади?

— Лошади, ваше высокопревосходительство?

— Да-да, лошади! Кто мне посоветует, как их называть? Может быть, это возьмет на себя жандармерия или полиция?

— Но, ваше высоко…

— Прославль не может существовать без Бай-

руллы, господа, — вздохнул губернатор. — Впрочем, как и без чернил, ибо чем-то подписывать надо. Но лошади важнее всеобщей грамотности, вы поняли мою мысль, господа?

Господа поняли. Вкатив без суда и следствия Байрулле Мухиддинову полсотни плетей, они в тот же вечер отпустили его, вычеркнув имя из списков и приказав молчать. Байрулла поплелся домой, бережно неся поротый зад, а чернильного Мой Сея пока еще только били, не отпуская. Думаю, что карающие органы поступали так потому, что подписывать еще было нечего: суды только готовились к действию, а на следствие много чернил в то время не тратили. Правда, следует отметить, что полиция (по привычке, что ли?) держала Мой Сея при себе, и поэтому ни в какие списки он не попал.

Кузьма Солдатов во всех списках значился, никакой ценности из себя не представлял, и его били на всех допросах, по дороге на допросы и просто так и, вероятно, либо забили бы до смерти, либо загнали на каторгу. При любом варианте его очень многочисленная семья лишилась всех кормильцев разом: самого главы, Василия и воспитанника Теппо Раасекколы, который считал своим святым долгом отдавать половину зара-

ботка тем, кто заменил ему отца, мать, братьев и сестер. Вся эта тройка кормильцев в то время была еще жива. Вася — в бегах, Кузьма — в общей камере, Теппо — в одиночке для особо важных преступников, но вернуться домой суждено было одному Кузьме, да и то по чистой случайности, поскольку либеральный Петр Петрович Белобрыков находился в дружеских отношениях с архипастырем города Прославля отцом Хризостомом.

— Церкви не успевают отпевать убиенных, Петр Петрович.

— Добавьте к этому морги, забитые до отказа, — сокрушенно вздохнул Белобрыков.

— Ничто так не подрывает религиозные чувства, как оскорбление последних минут жизни сей и осквернение первых минут блаженства вечного, друг мой.

— А зараза? — спросил реально мыслящий Петр Петрович. — А, пардон, амбре? В церкви уж и живые не ходят, столько там мертвых. К сожалению, я лишен возможности лично поставить в известность его высокопревосходительство, поскольку скомпрометирован как порывом сына, так и увлеченным им старым полковым другом. А вас, отец Хризостом, убедительно прошу вкупе

с медициной осветить сей прискорбный факт пред властями во всей наготе.

Отец Хризостом был не только князем церкви, не только человеком высокообразованным, но и совестливым, справедливым, заботящимся о малых сих, то есть тем, что в те времена определялось одним словом: богобоязненный. «Богобоязненно жить» — по-прославчански вовсе не означало лишь аккуратно ходить в церковь да блюсти ее заповеди, а толковалось, как жить по совести и быть с нею в ладах. Архиепископ жил по совести и хотел быть с нею в ладах, а потому тут же постарался встретиться с крупнейшим хирургом города Никитой Антоновичем Оглоблиным — фигурой настолько известной, что его регулярно приглашали в Петербург и Москву, а он регулярно отказывался, поскольку был коренным прославчанином. И, как истый прославчанин, искренне негодовал и возмущался в семье и в тесном кругу небывалым разгулом опричнины: «Цепные псы должны сидеть на цепи, иначе они получают огромные шансы стать псами бешеными!» Архипастырь и прима-хирург давно знали друг друга и быстро нашли общий язык. Подтолкнули их и студенческие беспорядки, во время которых полиция забрала некую Олексину, ко-

торую, впрочем, тут же и отпустила по личному распоряжению свыше. И через два дня после этого губернатор был вынужден принять делегацию, состоящую из служителей церкви, медиков, адвокатов, литераторов и даже предпринимателей города, вручивших ему официальную петицию и на словах потребовавших немедленных мер для оздоровления духа и атмосферы.

— Знаю, господа, знаю, — вздохнул его высокопревосходительство. — Но где транспорт?

— Транспорт в тюрьме, — сказал Оглоблин. — Ваши опричники хватали на Успенке всех без разбора, а ведь ломовые извозчики живут только там.

— Не могу поверить, что все виноваты, — осторожно вставил архиепископ. — Это добрые, работящие и глубоко верующие люди, что мне известно досконально. И если вы освободите их под надзор полиции, обязав прежде всего обеспокоиться санитарным состоянием города, то…

Поартачившись больше для формы, губернатор согласился, что в этом предложении имеется рациональное зерно, и тут же отдал распоряжение о передаче всех заключенных ломовиков впредь до… До чего именно — упоминать смысла не имеет, поскольку власть исполнительная никогда

еще не исполняла буквально того, что предписывала ей власть законодательная, и отданный под надзор полиции ломовой извозчик Кузьма Солдатов так под надзором и жил еще лет пятнадцать, что ли, был опять схвачен и водворен в тюрьму, но уже не полицией, а властью в те времена, когда власти в городе Прославле менялись по три раза на дню.

Обрадованная успехом, делегация поторопилась откланяться, выразив его высокопревосходительству самую горячую признательность. Но не в полном составе, ибо ее вдохновитель архиепископ отец Хризостом испросил личной аудиенции. Губернатор весьма высоко ценил святого отца и почти искренне был рад «оказаться полезным», как сам же и воскликнул. Это давало отцу Хризостому повод считать беседу особо доверительной, почему он и отбросил все титулы, учтя, что в табели о рангах они проходили по одному параграфу.

— Весьма прискорбно, что в студенческих беспорядках оказалась замешанной Ольга Олексина. — Губернатор горестно и одновременно с осуждением пожевал губами. — Будучи хорошо знакомым с ее батюшкой Федором Ивановичем и глубоко чтя его, вынужден закрыть глаза. Да-да,

вынужден, хотя барышня фраппирует и компрометирует. Потомственная дворянка Софья Перовская, потомственная дворянка Мария Олексина, потомственная дворянка Ольга Олексина — что все сие означает, ваше высокопреосвященство?

— Потомственный дворянин Сергей Белобрыков, — задумчиво продолжил список отец Хризостом, будто и не слыша риторического вопроса.

Он замолчал, представляя губернатору возможность самому искать аналогий между Ольгой Олексиной, на которую уже закрыли глаза, и Сергеем Белобрыковым, на которого глаз пока не закрывали. Но его высокопревосходительство молчал тоже, сердито двигая седыми бровями.

— Да! — согласился он наконец, но с чем именно согласился, осталось невыясненным.

— Со времен князя Романа Белобрыковы в каждом поколении проливали кровь за наш город и други своя, — осторожно продолжил архиепископ: он хорошо знал вспыльчивый и крайне непоследовательный нрав его высокопревосходительства. — Эта фамилия, бесспорно, достойна представлять Прославль в Белокаменной на торжественном молебствии в связи с трехсотлетием

дома Романовых, и из достоверных источников знаю, что они предусмотрены в церемонии, что является большой честью для нашего города. Может быть, ваше высокопревосходительство имеет желание поручить пану Вонмерзкому сию почетную миссию?

— Нет! — решительно отрекся губернатор. — Селадон в исключительных обстоятельствах хуже либерала.

— А ведь придется селадона, — тихо сказал отец Хризостом. — Представлять государю селадона в качестве руководителя городского дворянства — обязанность тяжкая, Игнатий Иванович. И сам прискорбный факт сей может быть истолкован…

— Кем? — насторожился губернатор.

— Достоинство и истинная значимость мужей государственных стоит в прямой зависимости от количества тайных и явных врагов.

— Да-а, — протянул Игнатий Иванович. — Натворил нам бурский волонтер.

— В заблуждении. В искреннем молодом заблуждении сотворил он грех сей, ибо отважен, азартен и честен есмь. И если государю осторожно доложат о честном заблуждении благородного юноши, то смею ожидать понимания.

— А… доложат?

— Петра Петровича знают… и весьма благосклонны, — не очень вразумительно ответил архиепископ. — Но в городе вот-вот приступит к исполнению обязанностей военно-полевой суд, и тогда уже будет поздно.

— Что же делать, святой отец? — обеспокоенным шепотом осведомился губернатор. — Сергей Белобрыков проходит коноводом во всех сысках, списках и донесениях.

— Вы считаете нормальным, что благородный молодой человек стал предводителем взбунтовавшейся черни? Медицина в этом сомневается и готова взять Сергея Белобрыкова в психиатрическую лечебницу для самого беспристрастного обследования.

— Ох-хо-хо, как беспокоюсь! — вздохнул губернатор. — Надолго?

— Все имеет свой конец, — вздохнул и отец Хризостом. — И военное положение в городе Прославле тоже когда-нибудь кончится, Игнатий Иванович. И восторжествует суд, и каждому воздастся по грехам его.

Об их разговоре никто никогда не узнал: церковь и власть умели хранить свои тайны. В результате Сергей Петрович избежал участи, какая была уготована предводителю бунта (ему,

впрочем, тут же нашли замену), обвинил в происшедшем отца, не поверил его честному слову и рассорился с ним навсегда. Ну, навсегда, правда, рассориться не удалось, но в этом уже не было вины Сергея Петровича.

Не успели волонтера упрятать в психиатричку, как в город понаехало множество военных, на время отодвинувших на задний план даже самого губернатора. Историки отмечают, что в городе «свирепствовал военно-полевой суд», но это не совсем точно, поскольку в нашем Прославле всегда что-то свирепствовало. То мор, то глад, то пожары, то морозы. Свирепствовали борьба идей и полная безыдейность, свирепствовали война с пьянством и само пьянство, свирепствовали холера, полиция, неурожаи, метели, временщики, ханжеская мораль… Впрочем, она свирепствует постоянно и несменяемо; я сделал это отступление, чтобы показать, какою любовью у прославчан пользовалось само словцо «свирепствовать», но в данном случае, увы, оно было уместно. Суды действительно свирепствовали, товарные составы были забиты партиями каторжан, в глухих тюремных дворах на рассвете гремели залпы, и поднадзорный ломовик Кузьма Солдатов, ежедневно до отказа нагружая телегу

трупами, ежедневно с ужасом ожидал увидеть среди них своих сыновей. Но родной сын был далеко, а приемный все еще сидел в одиночке, поскольку его дело решено было прицепить к шумному процессу главарей.

Все послушные города похожи друг на друга, каждый бунтующий город имеет свою судьбу. И это не игра слов и не парафраза: если законопослушание опирается на закон, то расправа зависит от характера того, кто ее творит. А в городе Прославле расправой руководил генерал-адъютант Опричникс: человек желчный, выпученный, занятый делами настолько, что разговаривать почти разучился и все писал на бумажке. От смертных приговоров («подвергнуть через расстреляние») до указаний собственной жене («прошу быть ласковой от… часов… минут до… часов… минут»). Он с детства болел несварением идей, радостным трепетом перед начальством, убеждением в недозволенности всего, что не дозволено, и отсутствием юмора. В соответствии с таким набором он закрыл все развлечения в городе, вплоть до синематографа Б. Г. Вольфа «Французское чудо», не говоря уже об оперетке, опере, театре, «Дилижансе» и заведении мадам Переглядовой. Жизнь в городе

Прославле перевернулась с «орла» на «решку» в самом прямом смысле.

Впрочем, «Дилижанс» был закрыт уже три недели: со дня первой хмари на Успенке. Дуняша и Малгожатка ушли вместе с хозяйкой, кое-кто из девочек сбежал: остальные бродили по пустым комнатам, нечесаные и неодетые. Лениво сучили языками, играли в карты, ругали хозяйку и пили ее вино. Два раза к ним заглядывал пан Вонмерзкий, спрашивал Розу; они очень хотели его затащить (один раз — даже силой), но он сумел каким-то чудом уйти. Он искал свою Розу, а не дурно причесанных полупьяных девок.

Роза жила в домишке покойной Маруси Прибытковой тихо, как мышка. Коле делалось то хуже, то лучше, ночами тайно приходил Курт Иванович и то громко и весело ругался, то озабоченно шептал; вокруг вертелись фигуры, агенты, жандармы, полиция; почти в каждом доме голосили по покойнику, и Роза старалась не выходить. Узнав о смерти Юзефа Заморы и слепой Ядзи, она тут же отпустила малпочку, но, к ее удивлению, Малгожатка вернулась к ней, как только схоронили отца и сестру.

— Как это ни смешно, а им стало легче. Раньше эти две иголки зарабатывали на четыре рта, а

теперь — только на самих себя, и мой рот им совсем ни к чему.

Малпочка была своей, успенской, дочерью сапожного мастера Заморы, сестрой слепенькой Ядзи и могла ходить по улицам, не привлекая внимания. Она осталась таким же чертенком, но возле Коли этот чертенок терял рожки. Он превращался в заботливую, хлопотливую, нежную маленькую женщину, ухаживающую за раненым столь самоотверженно, что Коля вскоре перестал испытывать чувство стыда от собственного бессилия, хотя при Розе все еще испытывал его. Но это понятно: для Малгожатки раненый был единственной заботой, а у Розы забот хватало и, помимо всего, сердце было не на месте. Они ни разу не заговорили о Борисе, но в воздухе постоянно звучало: «Зря ты не пошла с ним, Роза». Да, ей следовало бежать за любимым хоть на край света, но он приказал выходить Колю, а Роза умела любить, только подчиняясь. И плакала по ночам, а днем улыбалась.

— Роза, возле дома бродит пан Вонмерзкий!

Малпочка вернулась из Пристенья, где раз в три-четыре дня осторожно — в разных лавках, на рынке, возле вокзалов — покупала все необходимое для Коли и для дома. Влетела в комнату, где

лежал раненый и сидела Роза, выпалила известие, и Роза испугалась.

— В экипаже?

— Бродит!

— А где стоит извозчик?

— Я сказала: бродит. Ножками. С тростью.

— Он так не уйдет, — решила Роза, подумав. — Проведи в большую комнату, поболтай, пока я переоденусь. Коля, молчок.

Малгожатка исполнила все, и через полчаса Роза предстала перед старым повесой столь ослепительно великолепной, злой и женственной, что Станислав Иосифович заплакал. Плакал он аристократично, мучительно стесняясь этой слабости и стараясь улыбаться, но старые губы слушались плохо.

— Ах, Роза, моя Роза, — вздохнул он, обретя наконец такую возможность. — Я брожу по миру и не узнаю предметов: с ним что-то случилось непоправимое.

— Поезжайте в Париж.

— Разве можно уехать в Париж от самого себя? Кроме того, в Париж можно было уехать только в твоем «Дилижансе», а он закрыт, и я все понимаю. Я понимаю, что я никчемный бездельник, но ведь и бездельники могут сгодиться хотя бы для зве-

ринцев, как утверждает новомодная философия. Я понимаю, что я легкомысленный человек, но разве можно представить себе мир, лишенный легкомыслия? Этакий добротно суконный мир, где все так серьезно, что нет места даже вдохновению, ибо — и я прав, дитя мое! — легкомыслие есть грешная мать вдохновения. Все говорят, что я старый селадон, чуть ли не развратник и совратитель, но ведь ты знаешь, что в клевете нет ни грана правды. Я любил женщину в женщине, и в этом была моя радость и — смею надеяться — радость той, в которой я любил женщину.

— Я не вернусь, Станислав Иосифович, — тихо сказала Роза, не найдя смелости посмотреть в когда-то синие глаза. — Я очень благодарна вам, безмерно благодарна, но я уже не та Роза Треф, которая умела возвращать молодость.

— Мне уже не нужна молодость, только живи рядом со мной! — В голосе вельможного пана было столько тоски и мольбы, что теперь Розе пришлось тайком вытирать слезы. — Я выдам тебя замуж, за кого ты пожелаешь, и буду счастлив, видя, как ты расцветаешь от любви.

— Не надо мучить ни себя, ни меня.

— Да-да, извини, — тихо сказал он. — Сейчас ты решишь, что мне пора уходить, и я уйду, а

мой мир опустел, и мне некуда больше идти. Мой дилижанс сломался, Роза, у него отлетели колеса и сбежали лошади, и я боюсь открыть дверцу, потому что за нею пустота. Это удивительно, но ведь это мой мир был расстрелян на баррикадах Успенки. Последний отпрыск польских магнатов захлебнулся в холопской крови. Это очень смешно, панове, но это так есть. Потому что единственное достояние аристократии — это ее честь; и когда опричнина становится элитой, аристократы должны уйти на другую сторону баррикады, если они действительно аристократы. Роза, умоляю тебя, дай мне руку. Мой мир разлетелся вдребезги, как хрустальный шарик, упавший с рождественской елки. Спаси меня, Роза.

— Мне очень больно, дорогой Станислав Иосифович, говорить вам «нет», но я не могу сказать «да».

Настала долгая пауза, одинаково мучительная для старика и молодой женщины, ибо что-то невидимое умирало на их глазах. Потом пан Вонмерзкий с трудом опустился на колено, надолго прижал к губам край ее ситцевого домашнего платья, с еще большим трудом поднялся и, не оглядываясь, вышел, забыв свою тяжелую трость.

Малпочка догнала его на спуске к Пристенью, отдала трость.

— Я позову вам извозчика.

Он отрицательно покачал головой, привычно потрепал по щечке и пошел — старый и прямой, как древко полкового знамени. Ни на кого не глядя, ни разу не остановившись и решительно никого не заметив, он миновал Пристенье, мост и Пролом, прошагал по крутой Благовещенской, свернул на Дворянскую и вошел в древний особняк. Поднялся в свой кабинет, достал из бюро револьвер и выстрелил в старое, больное сердце, не только забыв о завещании, но даже не выпустив трости из рук.

Ни церковь, ни власти издревле не уважали самоубийц, и хоронили пана Станислава Вонмерзского скромно, не отказав ему, правда, ни в приличествующем католику обряде, ни в чести быть похороненным в родовом склепе. Народу было мало, а Роза оказалась единственной женщиной, и все ее заметили и узнали, несмотря на траур и похожую на чачван вуаль. Соболезнования принимал единственный родственник покойного, подпоручик — отставку ему еще не утвердили — Семибантов. Роза поклонилась ему издали и пошла к выходу, а уже на улице ее на-

гнал крупнейший юрист города.

— Извините, мадемуазель Роза, но юристы говорят о делах даже в день похорон. Мне весьма прискорбно сообщить вам, что покойный не оставил завещания. Может быть, у вас имеются какие-либо документы, векселя, закладные письма, подтверждающие ваши претензии на наследство? Правда, там больше долгов, но…

— У меня нет никаких претензий, господин Перемыслов.

— Да, но ваше кабаре. Наследник покойного, Андрей Федорович Семибантов, желал бы…

— Повторяю, у меня нет претензий, а заодно и желаний.

Роза сказала громко и резко, чтобы навсегда положить конец: ей было грустно, и всякие разговоры об имуществе казались почти кощунственными. Перемыслов понял и молча откланялся, а садившийся неподалеку на лихача Петр Петрович Белобрыков велел подъехать.

— Позвольте отвезти вас, куда прикажете!

Роза не отказалась и потому, что ей предложил отец бывшего командира баррикады, и потому, что Борис, прощаясь, советовал просить у него помощи. Она чувствовала — а чувствам Роза верила куда больше, чем мыслям, — что может доверить-

ся, и по дороге призналась, что негласно живет в домишке покойной Марии Прибытковой.

— Борис скрывается, он ведь был на баррикадах вместе с Сергеем Петровичем, — вовремя ввернула она. — Он хотел бы сохранить дом, но как тут уладить с полицией?

— Не беспокойтесь, я все сделаю. — Петр Петрович горестно вздохнул. — Какая жестокая нелепость!

Петр Петрович переживал трудные дни, но сегодняшнее утро встретило его особо тягостным известием. Белобрыков собирался на похороны, когда сообщили, что его сын, его надежда и гордость (несмотря на принципиальные расхождения в политических симпатиях), его Сережа по настоянию крупнейших медицинских авторитетов переведен из каталажки в психиатрическую лечебницу. И Петр Петрович, скорбя у гроба старого друга, все время думал о сыне, сверял его поступки с собственной логикой, находил абсолютно нормальным, не понимал, при чем тут психиатричка, и очень тревожился. И, даже разговаривая с молодой женщиной, даже вспомнив о той (увы, погибшей), в которой он принимал большое участие, Петр Петрович продолжал упорно думать о Сергее. «Нет-нет, этого не может

быть, это какая-то чудовищная ошибка, нелепость какая-то, и в роду у нас все нормальные…»

Душевные терзания не помешали ему, проводив Розу, поехать не домой, а по ее делам, поскольку в просьбе соединились вдруг столько близких ему людей — и Маруся Прибыткова с Бориской, и Сереженька, и Роза, бывшая содержанкой покойного друга и возлюбленной кого-то из… Сергея или Бориса? Словом, это уже было несущественно: существенное заключалось в сохранении домишки с двумя грушами не за полицией, а за Розой, и в конце концов это удалось, хотя и не совсем законным путем. Петр Петрович выправил необходимые бумаги и с тревожным сердцем вернулся в свой опустевший дом, из которого почти четыре недели назад перед рассветом вышли его сын вместе с его старым полковым другом, и, как выяснилось, вышли навсегда…

Но Белобрыков тогда еще этого не знал. Он знал только, что его старый чудаковатый друг в тюрьме, а сын — в «палате № 6», и последнее обстоятельство тревожило его куда сильнее. И в поисках ответа на страшный вопрос (а не упрятали они в сумасшедший дом здорового?) Петр Петрович после долгих терзаний решился на поступок почти бесчестный: вошел в комнату

сына без его дозволения. Он искал доказательств абсолютной вменяемости, а нашел два письма: себе и Ольге Федоровне Олексиной. И хотя на конвертах стояла помета: «Передать после моей смерти», вскрыл адресованное ему, ибо впервые ясно понял серьезность положения собственного сына, взятого на баррикаде и с оружием в руках.

А прочитав, кинулся за советом к отцу Хризостому, но лукавый служитель Господа ушел от ответа, дав понять, что лежать в сумасшедшем доме все же лучше, чем стоять перед военно-полевым судом. Петр Петрович уразумел, обрадовался и на радостях передал письмо сына Ольге Олексиной, уверив ее, что она может смело вскрывать его, поскольку Сергей Петрович все равно человек конченый.

Все изложенное заняло, естественно, не один день, и параллельно переживаниям Белобрыкова развивались и иные события. И развитие этих событий с неумолимой логикой привело господина Мочульского в маленький домик на Успенке.

— Прошу четверть часа для конфиденциального разговора.

Мочульский был толст, лыс, коротконог и мокрогуб. Возрастом он уступал покойному пану Вонмерзкому, но если Станислав Иосифович

прожил жизнь в убеждении, что возле него любая женщина должна стать еще красивее, то владелец ночлежек всегда мечтал о такой, рядом с которой проглотили бы и его запыхавшуюся обыкновенность. Один знал, что он сед, строен и импозантен, другой — что неуклюж, вислозад и словно бы покрыт ржавчиной; пан Вонмерзкий поклонялся даме бескорыстно, даже если отдавал ей все, что имел, — господин Мочульский за собственный червонец требовал, чтобы ему, по крайности, показывали коленки. Иными словами, если один тратил деньги, то другой их вкладывал; не знаю, как обстоят дела сейчас, но в те времена в городе Прославле женщины любили первых и с трудом терпели вторых.

— Мы закончили дела по наследству покойного Вонмерзкого с господином Семибантовым. В обеспечение векселя мне отошло кабаре «Дилижанс» и ваше гнездышко на Мещанской со всей обстановкой, поскольку Станислав Иосифович, как всегда, думал об удовольствии, а не о делах и на ваше имя перевести так ничего и не удосужился. Извольте поглядеть документы.

— Вы умеете отплясывать канкан?

— Я?

— Может быть, вам лучше удается танец жи-

вота?

Коле опять стало хуже, Курт Иванович обеспокоенно пыхтел и ругался. Роза не спала ночь и язвила с особым наслаждением. Мочульский не привык пикироваться, злился, потел, но старался улыбаться.

— Лучше всего мне удается платить деньги. А женщины пляшут под ту музыку, которую я заказываю.

— Под чужую музыку женщины лишь исполняют танцы. А танцуют только под свою. Вы хлебнете горя с «Дилижансом» при таких задатках.

— Мы отвлекаемся. — Мочульский аккуратно промокнул пот с большого заржавленного лба. — Я пришел совсем не для шуток.

— Вы пришли сообщить, что я не хозяйка в своем доме.

— Наоборот, что вы… наоборот! — Мочульский положил на стол какие-то бумаги, старательно расправил их и придвинул к Розе. — Наоборот. Я пришел, чтобы предложить вам стать более полноправной хозяйкой, чем ранее. И домика на Мещанской, и даже кабаре.

— Даже кабаре! — Роза не удержалась от вздоха. — Под какое обеспечение? Я бедна, господин

Мочульский.

— И прекрасно. И прекрасно! — Он все совал и совал ей бумаги. — Я сделаю вас состоятельной женщиной. Собственный домик с дарственной — вот она, эта дарственная, я не такой забывчивый, как покойный пан, — плюс гарантированное участие в прибылях кабаре. Гарантия обеспечена будет юридически…

— И за все это?

— Два раза в неделю. Всего лишь. Я хочу не только одевать вас, но и раздевать…

— Это вашими вечно потными руками? Да ведь я разорюсь на мыле! — Роза вдруг вскочила. — Малгожатка! Тащи два ухвата для проводов господина Мочульского!

Через минуту Мочульский был уже на тихой, заросшей улице, а вдогонку еще слышался веселый хохот.

— Поплачешь! — крикнул он с опозданием. — Ты у меня поплачешь!

— Кто у тебя поплачет? — тихо спросили за спиной. Мочульский обернулся: перед ним стояла бабка Палашка.

— Кто поплачет? Розка? А с кем она?

— Пшла вон, ворона! — Мочульский брезгливо отстранился и заспешил вниз: за углом его под-

жидал наемный лихач.

А Палашка осталась. Судьба распорядилась весьма необдуманно, лишив ее здоровой конкуренции, и бабка, оказавшись единственной дурочкой на весь город, приобрела головокружение от безграничных возможностей. Если прежде она осаждала только Пристенье, то теперь шаталась и по Крепости, и по Успенке, предпочитая, впрочем, Успенку всем остальным маршрутам. Правда, поговаривали, что головокружение и не столь давно появившаяся кособокость у нее вовсе не от возможностей, а от хорошего удара неизвестным кулаком, но, однако, удар не мешал бабке шастать да высматривать. И она кружила по Успенке, все суживая и суживая круги у тихого домика, когда-то принадлежавшего Марусе Прибытковой, а теперь — Розе. И виноватой в этих хищных кругах оказалась Малгожатка, сама не зная о своей невольной вине.

Дело в том, что малпочка начала напевать, а если никто не видел, то и скакать на одной ножке. Ей пришлось отдаваться раньше, чем влюбляться, женщина вызрела в ней прежде девушки; это случается сплошь да рядом и обычно порождает горько циничных особ, презирающих мужчин для всех и себя — для себя. И Малгожатка шла по

тому же пути, но, к счастью, не успела зайти далеко, потому что влюбилась. Влюбилась впервые в своей короткой жизни совершенно по-девчоночьи, несмотря на привокзальные улицы, мадам Переглядову и амплуа пажа в «Дилижансе». И начала петь, беспричинно грустить, хохотать, плакать и скакать на одной ножке. Что вы скажете, увидев девчонку, у которой смех переходит в слезы, а слезы высыхают от хохота? То, что я уже сказал, не так ли? А бабка Палашка кружила рядом и не только сказала себе то же самое, но и задала вопрос: а в кого же она влюбилась? И в поисках ответа начала сужать круги.

Господи, сколько же все-таки причин у следствия? Когда над этим начинаешь задумываться, руки опускаются, поскольку никогда и никто не в силах собрать в единый узел все нити, обусловившие то или иное событие. И возникает прямолинейность построения, элементарность сюжета, обедненность творческой фантазии автора, а на самом-то деле весь вопрос в том, сколько же причин у следствий. Ведь даже то, что Коля по характеру был застенчив и никому никогда не рассказывал о своей любви, — тоже одна из причин того, что случилось впоследствии.

Но пока рана его никак не желала затягивать-

ся, хотя Курт Иванович извлек пулю и хорошо обработал дырку. Ночами цыган метался в жару, днем, обессиленный, приходил в себя, и старый фельдшер все настоятельнее требовал консультации самого Оглоблина.

— Никита Антонович — три средних медицинских головы, — сердито внушал он. — Ты умеешь считать? Тогда зови Оглоблина, потому что у меня только одна половина медицинской головы.

А Роза все не решалась, все колебалась; она не была знакома со знаменитым хирургом, а просить еще раз Петра Петровича считала неудобным. Малгожатка сердилась, настаивала, даже плакала. Роза все соображала, кто в Крепости может уговорить доктора осмотреть Колю при условии нарушения им служебного долга: недонесении в полицию о пулевом ранении. Циркуляр, обязывающий всех медицинских служителей, от профессора до сиделки, непременнейшим образом доносить в ближайший участок о раненых, подписанный генерал-адъютантом Опричниксом, был известен всему городу.

— Если ты не пригласишь Оглоблина, я сама пойду к нему! — Малгожатка уже стучала ножками.

— И возьмешь с него слово нарушить служеб-

ный долг? Нет, так не годится. Я должна найти способ, должна!

Помощь прибыла сама на пятирублевом лихаче, которого, правда, оставили за углом, поскольку подъезда к домику не было. Состояла эта помощь из синеглазой девушки и почтенной матроны чрезвычайно строгого вида.

— Меня зовут Ольгой Федоровной Олексиной, — волнуясь, отрекомендовалась синеглазая. — Это моя няня Евдокия Кирилловна.

— Прошу, — настороженно сказала Роза.

Малгожатка тоже смотрела недружелюбно, и возникла очень напряженная пауза, которую нарушила суровая Евдокия Кирилловна:

— В доме нет мужчин?

— Нет! — одновременно, поспешно и так испуганно воскликнули обе хозяйки, что всем стало ясно: где-то мужчина прячется.

— Прекрасно, — сказала нянечка, не желая ни о чем догадываться. — Пусть меня напоят чаем, а барышня все объяснит.

Малпочка, помирая от любопытства, увела Евдокию Кирилловну, а Оленька, покраснев, достала девять мелко исписанных листочков.

— Это письмо передал мне Петр Петрович. Когда вы ознакомитесь с ним — а мне необходимо,

чтобы вы ознакомились! — вы поймете, почему я снова бросилась к господину Белобрыкову. Я хотела знать все о Сергее Петровиче, я была очень настойчива, и тогда он назвал ваше имя. Он сказал, что вы были вместе с Сергеем Петровичем на баррикаде…

Оля растерянно замолчала, потому что молчала хозяйка. Молчала враждебно, недоверчиво, и в малахитовых ее глазах появился змеиный блеск.

— Прочтите, — поспешно сказала Оля, протягивая письмо. — Я умоляю вас.

Роза внимательно и неспешно прочитала письмо. Аккуратно сложила, подошла к Оле и крепко поцеловала ее.

— Ты любишь Сергея?

— Да! — выпалила Оля, покраснев.

— А я люблю Бориса, — грустно улыбнулась Роза. — Мы с тобой любим братьев, и, значит, мы — сестры.

Теперь понятно, каким образом и по чьей просьбе появился у постели Коли Третьяка знаменитый прославльский хирург? Но ведь Оля тоже не могла сей секунд бежать к нему, брать слово, что он пренебрежет циркуляром, тормошить и требовать. Это все достоинства современные,

завоеванные дамами в тяжкой борьбе за эмансипацию, а в те времена барышню прежде всего украшала скромность. Сначала необходимо было, дабы кто-то представил Олю Никите Антоновичу, отрекомендовал, кто она, откуда и является ли человеком, достойным всяческого доверия; лишь после этой процедуры можно было обращаться со столь деликатной просьбой. Оля взялась за дело со всем свойственным ей вдохновенным пылом, но требовалось время. И пока идет это время, я потяну еще за одну ниточку.

Как ни легко лишилась Роза имущества, а хлопот это лишение требовало немалых. Следовало уплатить девчонкам, устроить их судьбы, договориться, чтобы их не выбросили на улицу. Роза металась по нотариусам, учреждениям, конторам, адвокатам, старым знакомым; уходила с утра, появлялась под вечер, и все это время с Колей оставалась одна малпочка. И вот то ли на раненого повлияло постоянное отсутствие разумной Розы и постоянное присутствие влюбленной Малгожатки, то ли он понял, что дело его плохо, а только он рассказал влюбленному чертенку все. И про Шурочку, и про клумбу, и про свою тоску. Представляю, что стоило малпочке выслушать все это, но она и вправду уже люби-

ла, а это значит, что, как бы ей ни было больно, думала она о его боли. И так как он хотел, чтобы она привела Шурочку, бедная влюбленная обезьянка помчалась в дом мельничного владыки, отчаянно всхлипывая и шумно глотая слезы. А за нею устремилась и бабка Палашка.

Шурочка сидела под тремя замками, и добраться до нее Малгожатке не удалось. А вот пристенковской дурочке все удалось: проследив путь малпочки, она сделала совершенно правильный вывод и, не дожидаясь, чем там закончатся попытки польской девчонки, помчалась. Думаете, в полицию? Полиция никуда не денется, а сладость мщения присвоить может, и поэтому бабка заспешила в полутемный во всех отношениях трактир Афони Пуганова.

— Изот? — громко переспросил недолюбливающий шуструю старуху Афанасий. — Чего шепчешь? Нету его, покуда не приходил.

Великое дело — случай. Не в литературе — в самой что ни на есть суровой действительности. Настолько великое, что мне хочется с трепетом упоминать о нем, как о Его Величестве. И по воле Его Величества Случая в трактире тихо гулял Сеня Живоглот, запивая удачно провернутое дельце. И еще не настолько отяжелел, чтобы не заинтере-

соваться таинственным шепотком Палашки.

— Что крыса напищала?

Вопрос был отнюдь не праздным, если учесть специфику Сениной профессии. Афанасий это и учел, а поскольку был не только целовальником, но и по дешевке кое-что приобретал у лихого налетчика, то и весьма ценил его расположение.

— Не за тобой. Изота ищет, к нему и зашустрила. Велела, если разойдется по дороге, сказать, что в доме покойной Маруси Прибытковой он может кое с кем посчитаться, если поспешит.

— Ну что ж, скажи, коли велела, — зевнул Сеня. — Только не сразу. Пусть сперва выпьет человек, закусит…

Неизвестно, кто уведомил Изота о Коле, но достоверно известно, что, когда Изот с дружками вывалились из извозчичьей пролетки, их встретил знаменитый налетчик.

— Не советую, — сказал он, лихо сплюнув сквозь зубы.

— Да ты! Да мы! Да… — заорали воодушевленные молодцы.

— Не советую, — почти ласково повторил Сеня и изящно откинул полу пиджака: за ремень был засунут добрый шпалер. — Ты же умный племянник, Изот: ты же все можешь понять, когда тебе

что-то не советуют.

Изот вместе с матерщиной погрузил свою компанию на извозчика и отбыл. А Сеня без стука вошел в дом.

— В Борискиной комнате есть второй выход, — сказал он перепуганной Малгожатке. — Забирай цыгана и сквози отсюда.

— Но Роза поехала за самим Оглоблиным…

— А Изот — за полицией, почему я должен смыться. Дура, спасай парня, пока есть полчаса в загашнике.

И тут подкатила Роза и сам Никита Антонович. Сеня смылся. Роза не отходила от доктора и только отмахивалась, когда малпочка пыталась что-то сказать. Пока Оглоблин мыл руки, пока в присутствии Розы осматривал Колю, Малгожатка с неистовым жаром молила Бога, чтобы полиция переломала ноги. От ужаса она даже не плакала, а только тряслась. А потом опустилась на колени.

— Малгожатка, горячей воды, — сказала Роза, выглянув из комнаты, где лежал Коля. — Что с тобой?

— Полиция… — лязгая зубами, прошептала малпочка. — Изот пошел за полицией…

— Задержи, — тоном Клеопатры приказала Роза.

— Как? Как я задержу?

— Не знаю. Умри, отдайся, подожги дом. Живо!

Получив ясный приказ и несколько расплывчатые пояснения, малпочка помчалась навстречу ожидаемой полиции, не представляя, как будет действовать. Когда женщиной движет ненависть, голова ее ясна, как морозный день, а планы нижутся легко, словно бусины; но если женщиной руководит любовь, желания заменяют мысли, нетерпение лишает ее логики, а страх за любимого толкает на безрассудство. Теперь припомните, что Коля был первой любовью чертенка, что до этого чертенок прошел не только огни и воды, но и привокзальные улицы, что, наконец, Малгожатка была полькой, и умножьте все сказанное выше на соответствующие коэффициенты.

Я долго не мог понять, почему так возилась полиция. Основные герои баррикад («зачинщики», как они официально именовались) давно уже были названы поименно. Запросы по исчезнувшим Прибыткову, Солдатову и Третьяку были разосланы по всей империи с приложением подробнейших словесных портретов. Все было известно досконально. Изот сообщил без задержки, а полиция проканителилась час, пока выехали. Рассказывавшие мне об этом сообщали

факты, но не время: я сам расставил эти факты по минутам, чтобы они не натыкались друг на друга. И никак не мог понять, почему полиция действовала столь неторопливо, хотя получила известие о местонахождении государственного преступника вполне своевременно.

— Чудак-человек, а Сенька Живоглот? — спросил отец: он еще был жив, когда я поделился с ним своим недоумением.

Действительно, ведь Изот появился в участке не просто так. Он примчался чрезвычайно злым, поскольку Сеня лишил его возможности расправиться с цыганом, и, вероятно, очень горячился в полиции, поминая проклятого бандита с его шпалером. И подозреваю, что шпалер в его рассказе переместился из-за ремня в руку, а за спиною выросло трое вооруженных до зубов сподвижников, иначе Изот не мог оправдать собственной трусости. И врал, преувеличивая, а полиция вынуждена была принимать меры. И пока она стягивала эти меры, время шло своим чередом.

Вот почему Малгожата Замора, беспутная (и любимая!) дочь покойного сапожного мастера, бесценная его малпочка, в поисках полиции промчалась и через Успенку, и через Пристенье и встретила ее только на мосту: две пролетки с

полицейскими, рысак с офицером и извозчик с Изотом со товарищи как раз выезжали из крепостного Пролома. Полиция двигалась навстречу, за спиной в беспамятстве лежал ее единственный, символ ее чистоты и надежды, а вчерашняя хозяйка и старшая подруга приказала умереть, отдаться или поджечь дом. Поджигать на мосту было нечего, отдаваться некому, и преданная обезьянка выбрала то, что еще можно было сделать. И без малейшего колебания бросилась через перила в реку прямо перед оскаленными мордами спешащих за Колей полицейских жеребцов.

— Спасите-е!..

Нет, она закричала не от ужаса, не в надежде, что ее и вправду спасут, она кричала с той же целью, с какой бросалась с моста: задержать полицию. Сколь возможно, ценою собственной жизни, которая еще и не начиналась.

Малгожатка была в светлом платье, и сверху, с моста, видели, куда тащит ее стремительное течение. Народ бросился к перилам, запрудив дорогу; проехать все равно было уже невозможно, да полицейский офицер и не решался ехать, не приняв всех мер по спасению неизвестной. Пока принимали меры, пока вытаскивали девушку, пока пытались привести ее в чувство… Увы, ее

так и не привели в чувство, но, когда полиция наконец-таки достигла домика с жалкой лавчонкой и двумя грушами, там уже было пусто. В гневе полицейские перевернули все вверх дном, никого не обнаружили и отбыли несолоно хлебавши.

Обо всем этом в тот же день заговорил весь город. Самые разные люди приходили к Розе выразить сочувствие, а похороны малпочки вылились в настоящую демонстрацию.

— Это убийство! — звонко кричала поднятая студенческими руками на цоколь памятника героям Отечественной войны синеглазая девушка. — Долой полицейский террор! Да здравствует свобода!

Ее арестовали, но уже к вечеру отпустили, поскольку давление либеральных кругов Крепости стало весьма ощутимым. А тут еще «Варшавянка» вместо заупокойной мессы, возмущения студентов, забастовка на Механическом… А через сутки — иск хозяйки разгромленного домика этим идиотам из полиции, и поддерживает истицу сам господин Перемыслов. Да заплатить немедленно! Отремонтировать! Восстановить лучше прежнего!

Не подумайте, что расчетливая Роза беспокоилась за имущество, выбросив из сердца жертву

подружки. Надо было отвлечь полицию от поисков Коли Третьяка, скомпрометировать ее, заставить город говорить, а газеты — писать, иронизировать, возмущаться. Судьба подбросила случай, и Роза отлично воспользовалась им, рыдая бессонными ночами.

— Не реви! — сказал Сеня, навестив ее в сумерки. — Жалко девчонку, но старуха у меня потанцует. Или я дешевый фраер.

— Какая еще старуха?

— Колю заложила ведьма с Пристенья, бабка Палашка.

— Убей ее! — дико выкрикнула Роза, и глаза ее блеснули змеиным холодом. — За малпочку, Сеня! За Колю!

— Ша, женщина! — Налетчик так улыбнулся, что Роза сразу примолкла. — Убить — тьфу, важно деньжата взять. И я возьму, Роза, а ворона удавится сама.

— Нет, мой не удавится сам, — тихо и весомо, как клятву, сказала Роза. — Мой будет умирать очень медленно. За Филю. За мою малпочку. За ее отца и слепую Ядзиньку. За всех нас!

Знаменитый бандит молча выслушал ее, вздохнул и неодобрительно покачал головой:

— Сдается мне, ты палишь не в ту цель, Роза.

Ой, не в ту!

Глава десятая

Коля был слишком известной фигурой, чтобы можно было долго прятать его в больнице. Через неделю после шумных похорон Малгожаты в Градскую явился наряд полиции с предписанием об аресте. Однако главный врач и самый знаменитый хирург города Оглоблин решительно воспротивился:

— Для меня, господа, нет государственных преступников, для меня есть больные. А тот, чьей выдачи вы требуете, балансирует на грани жизни и смерти.

— Тюремная больница, Никита Антонович…

— Я немедля обращусь не только к властям, но и к прессе, господа. Не думаю, чтобы скандал…

Полиция тоже не думала, а посему, получив вместо государственного преступника расписку и оставив некую личность, отбыла, донеся по команде. Напуганный событиями полицмейстер доложил еще выше, но и сам временный вершитель судеб города генерал-адъютант Опричникс счел за благо не обострять ситуации. Уж очень непривычные дни переживал Прославль, и, сколь ни странным покажется это, виною тому

оказалась высокая жертва Малгожатки. Это опять житейская диалектика: живем, не замечая, что погреба наполняются порохом и что достаточно искорки, чтобы нежданный гром грянул в доселе безоблачном небе, и, несмотря на то что суть — в порохе, в людской памяти всегда остается искра. Так было, так есть, так будет: так уж устроено человечество, что без героев ему не прожить, хотя чаще всего герои и не подозревают, что они герои, что творимое в какой-то момент и есть героическое, есть искра, поджигающая тяжко давящий порох обыденности. И тогда рабочие бросают работу, машинисты останавливают поезда, либералы начинают говорить громче обычного, а молодежь выходит на улицы, поет песни и хохочет в лицо жандармам. Их забирают в участки и тюрьмы, их бьют и объявляют сумасшедшими, а молодежь знай себе смеется над порядком, и тогда у наиболее прозорливых лизоблюдов по спине пробегает холодок. И они вдруг умнеют, эти лизоблюды: даже Опричникс приказал оставить Третьяка в больнице, но приставить двоих: одного — в явном, другого — в штатском. Так, на всякий случай.

Оля Олексина вовремя договорилась с Оглоблиным, Роза вовремя за ним отправилась, и

Малгожата Замора вовремя пожертвовала собой ради его здоровья. Три прекрасные молодые женщины сражались за Колину жизнь, и Никите Антоновичу оставалось только лечить, ибо жизнь уже была спасена. И он лечил, выведя Колю из лихорадки, приостановив начавшееся заражение и с каждым днем все активнее наступая на болезнь. Коля был спасен, но хирург по-прежнему озабоченно вздыхал, качал головой и назначал новые процедуры. И сопровождавшие его во время утренних обходов врачи тоже вздыхали и качали головами, что и позволяло как явному, так и тайному стражам ежевечерне сообщать куда положено, что-де раненый преступник все еще обретается где-то рядом со смертью. Там, где положено, подшивали донесения в «Дело» и тоже вздыхали, но не озабоченно, а с облегчением.

Навещать раненого было категорически запрещено, и Роза, не желая подвергать Оглоблина риску, ни разу более не беспокоила его. Она все время помнила об особом интересе бабки Палашки, а потому вообще избегала появляться возле больницы, довольствуясь слухами. А слухи были одни: плохо. Рана не затягивается, воспаление продолжается, и лихорадка не проходит. Роза принимала все за чистую монету и терзалась.

И, истерзавшись, изыскала способ повидаться с Олей Олексиной.

— Хорошо, что нашли меня, мадемуазель Олексина, — сказал Оглоблин, когда Оля явилась к нему. — Ваш протеже здоровее нас с вами, и теперь задача, как его вытащить из больницы. И не просто вытащить, а чтоб исчез он, как дым, как утренний туман. Вы поняли меня, мадемуазель? Поломайте вашу головку, учитывая, что через три дня я буду вынужден выписать молодого человека прямехонько в жандармские объятия.

— Он совершенно здоров, и Никита Антонович через три дня выпишет его, — скорее испуганно, чем радостно, рассказывала Оля, зайдя в успенскую лавочку за тесьмой. — Необходимо устроить побег, но не это самое сложное. Главное, он должен исчезнуть из города, но как и куда исчезнуть? Дороги перекрыты, поезда досматриваются, а Коля такой заметный.

— Цыгане! — выпалила Роза. — Цыганский табор стоит в Чертовой пустоши, и своему они не откажут. Я берусь с ними условиться, а ты, сестричка, организуешь побег.

— Я? — растерялась Оля, куда более привыкшая говорить, нежели действовать.

— Ты! — Голос Розы звучал жестко, а глаза

налились малахитом. — Через студентов, либералов, Петра Петровича, литературный салон, черта с дьяволом — через кого хочешь. Сутки на размышление, сутки на подготовку, и мы вытащим Колю из петли. Зря, что ли, моя малпочка бросилась с моста?

Расставшись с озадаченной Олей, Роза тут же отправилась в табор. Однако повидать вожака оказалось совсем не просто: цыганки в широченных цветастых юбках не желали ни о чем слушать, предлагая погадать, купить сережки, полечиться от сглазу, приобрести приворотное зелье и опять — погадать. И так продолжалось до той поры, пока Роза не заорала, перекрывая женский галдеж. Тогда цыганки вдруг разом умолкли, а из драного шатра вылез молодой цыган в красной косоворотке и шевровых щегольских сапожках.

— Зачем кричишь, женщина?

— Мне надо видеть старшего.

— Зачем тебе ром-баро?

— У меня к нему серьезное дело.

— Женские дела решают женщины.

Он собирался снова нырнуть в шатер, и Роза вынуждена была рискнуть. Сказала, понизив голос:

— Речь идет о жизни человека.

— Цыганам нет дела до людей.

— Но он цыган! — крикнула Роза. — Самый настоящий, из табора.

Молодой в косоворотке долго испытующе смотрел на нее. Потом сказал:

— Подожди здесь, женщина.

Ушел. Цыганки больше не интересовались ею: теперь мужчины отвечали за все дальнейшее. Но ждать пришлось недолго: молодой цыган откинул полог и жестом пригласил ее в шатер.

Ром-баро был сед, коренаст и медлителен. Молча пригласил Розу сесть напротив, долго разглядывая ее.

— Чья ты, красавица?

— В городе меня зовут Розой Треф. Я… Я танцую и тем зарабатываю себе на хлеб.

— У тебя есть возлюбленный?

— Да.

Цыгане были очень недоверчивы, и Роза старалась отвечать как можно проще и короче, чтобы пробиться сквозь это недоверие.

— Он кого-нибудь убил?

— Он защищал мою честь, и его ранили жандармы.

— С властями надо жить в мире.

— Но он цыган! — уже с отчаянием воскликну-

ла Роза. — Если вы не укроете его, они повесят…

— Откуда цыган в городе? Ты что-то путаешь, красавица?

Роза, уже злясь и не скрывая этой злости, рассказала, как когда-то табор оставил на паперти Варваринской церкви умирающего мальчонку, как Монеиха выходила его, как он стал кузнецом…

— Его зовут Колей? — неожиданно спросил женский голос.

Роза живо обернулась: в глубине шатра сидела старая цыганка, посасывая давно погасшую трубку.

— Да. Коля Третьяк: он сам назвал себя.

Ром-баро и старуха заговорили по-цыгански, а Роза уже несмело улыбалась, расценив вопрос как воспоминание: она была уверена, что именно этот табор и оставил когда-то маленького Колю. «Может, он внук этой старухи?» — подумала она.

— Твои зеленые глаза сказали больше, чем твой язык, красавица, — усмехнулся вожак. — Мы знаем об этом случае, потому что знаем табор Третьяка, где с детьми приключилась хворь. Мы поверим тебе, но, если твой возлюбленный не заговорит на нашем языке, я сам отведу его в участок.

— Заговорит, — улыбнулась Роза, и слезы вдруг сами собой хлынули из глаз. Она не любила плакать и никогда на людях не плакала, но, видно, стали сдавать даже ее нервы. — И заговорит, и споет, и спляшет, только, ради бога, увезите его подальше!

Как ни сложно было Розе пробиться сквозь цыганскую многовековую недоверчивость, Оле было и сложнее, и труднее. И потому, что, по сути, она оставалась чужой в городе, и потому, что была куда наивнее и неопытнее, и потому, что ей надлежало организовать сам побег. Причем организовать так, чтобы разобиженная охранка не стала бы никого хватать в больнице. И единственным человеком, кому она могла довериться, оказался доктор Оглоблин.

— Цыгане — это весьма остроумный ход, — одобрил он, когда Оля откровенно рассказала как о том, что уже придумано, так и о том, чего никак не могла придумать. — А вашу задачу разделим пополам. Итак, вас страшит физическое исполнение и моральная ответственность за возможные последствия. Теперь считайте, что одной половины нет: моральную сторону я беру на себя.

— А циркуляр? А ваша расписка за Колю? И потом, кто-то ведь будет дежурить ночью? И их

обвинят как сообщников.

— И прекрасно сделают! — улыбнулся Оглоблин. — В каждом учреждении непременно имеются господа, от которых следует избавляться, как от дурной болезни. Есть они и в Градской больнице, но случится так, что как раз они-то и будут дежурить в указанную вами ночь.

— Ура, Никита Антонович!

— Погодите радоваться, сначала попытаемся решить вторую половину. Наш бунтарь лежит в отдельной палате с зарешеченным окном. Под этим окном снаружи установлен круглосуточный жандармский пост. На ночь палату лично запирает переодетый охранник, который коротает время за столиком ночной сестры милосердия. Страдает изжогой и… И допустим, что в назначенный час он уснет, а сестру позовут к больному в дальнюю палату. Остается в эти десять-пятнадцать минут проникнуть в мужской корпус, выкрасть ключ, открыть дверь палаты, выпустить цыгана, вновь запереть палату, положить ключ на место и удрать, как Гаврош… Гаврош, я сказал? Гаврош!.. — Знаменитый хирург вскочил с легкостью корнета. — Едем, мадемуазель Олексина!

Через полчаса удивленная мадемуазель Олек-

сина была представлена капитану Куропасову Ивану Андреевичу, находящемуся в долгосрочном отпуску по болезни, его супруге Вере Дмитриевне, а также детям Ане и Андрею. Встретили Олю как свою, поскольку влюбленная в ее пламенные филиппики Аня много и восторженно рассказывала о ней. Синеглазую крамольницу повели в гостиную, а доктор уединился с капитаном в тесном кабинетике.

— Как сын? — спросил Оглоблин. — Не разлюбил еще фокусы?

— Какое там! — вздохнул капитан. — С картами орудует, шельмец, почище столичного шулера. А уж в пальцах ловкость такую развил, что хоть в цирке его показывай. Поверите ли — за обедом на глазах у всего семейства часы у меня вынул!

— Замечательно! — сказал хирург. — Очень талантливый мальчуган. Очень!

Но вот, скажете, не удержался: приключения начались, «Пещера Лейхтвейса», а ведь все, поди, выглядело совсем не так. Все наверняка было очень просто, но, когда дело касается собственных дедов, мы почему-то теряем чувство меры и начинаются такие залихватские перестрелки, побеги, драки да погони, что диву даешься, когда же деды успевали ухаживать за нашими

бабушками, справлять свадьбы да еще и детей заводить? Все это верно, когда речь идет о кино или беллетристике, и неверно, когда касается действительности, по той простой причине, что нет, не было и не может быть лучшего романиста, чем сама Жизнь. Я, к сожалению, не застал в живых деда, но бабушка, отец и даже какой-то древний его приятель много раз рассказывали мне об одной темной ночке…

По мужскому корпусу в ту ночь дежурила пожилая занудная сестра, которую дружно не любила вся больница, и даже охранник заскучал, увидев ее унылую физиономию. Он обычно проводил покойное свое дежурство в удобном кресле-каталке за чаем и болтовней, часто прерываемой короткой дремотой для бодрости. Но с этой постной особой говорить было решительно не о чем: филер выпил чаю, проглотил рекомендованный самим Оглоблиным порошок от изжоги и решил бодрствовать молча. А через полчаса уже спал коротким, но глубоким сном, привычно прерывая всхрапывания неясным бормотанием. Сестра копошилась в ящике с лекарствами, которые получила вперед на неделю, сверяя записи в книге больных с сигнатурами, когда позвали к астматику в дальнюю палату.

— Меня вызывают. — Сестра брезгливо тронула агента за плечо. — Слышите?

— Брю! — ясно сказал филер, что сестра сочла производным от глагола «бдеть» и спокойно направилась к больному.

А в сводчатом, скверно освещенном коридоре появилась худенькая мальчишеская фигурка в длинном больничном халате. В этом не было ничего неожиданного, так как в корпусе лежало несколько сорванцов с Успенки, да и входная дверь надежно закрывалась на ключ, каковой имелся только у персонала. Впрочем, мальчишкой никто не интересовался, а он весьма заинтересованно задержался подле столика сестры и спящего в штатском. Передвинул коробочки, легко коснулся пальцами одежды охранника, вытащил ключ, метнулся к соседней двери, бесшумно открыл заранее смазанный замок.

— Быстро в парадное! Дверь открыта!

Коля ждал этого шепота, был готов; как он пролетел эти десять сажен до поворота на лестницу, он и сам толком не помнил. Мальчик же довольно хладнокровно (возможно, не ведая еще, что творит) закрыл дверь его палаты, шмыгнул к филеру, сунул ключ в тот карман, из которого вытаскивал, и исчез следом за Колей. Чуть слыш-

но хлопнула входная дверь; вернувшаяся вскоре сестра ничего не заметила и до конца дней своих не могла понять, когда, куда и каким образом подевался столь интересующий господ жандармов раненый бунтовщик.

— И что любопытно, ваше высокопревосходительство, сестра милосердия — совершеннейшим образом наш человек! — удивленно докладывал временщику Опричниксу жандармский полковник. — Всю жизнь, можно сказать, самоотверженно рапортовала о всех врачах, и вдруг именно у нее в аптечке мы находим снотворный порошок.

— Выслать, выслать! — распорядился генерал-адъютант. — В Нижний, в Арзамас. Никому нельзя верить. Никому!

А табор был уже далеко, и Коля впервые за много лет пел на родном языке, хотя ему было совсем не так уж весело и от цыганской песни, и от цыганской воли. Он оставлял за спиной свою первую любовь и необъяснимо знал, что никогда более не встретится с нею.

— Лучше качаться в седле, чем в петле, парень!

Эту мысль — правда, в несколько упрощенной форме — Сеня Живоглот полагал своим кредо,

хотя и не подозревал, что на свете существует такое мудреное слово. Полусерьезно сказав Розе, что лучший способ рассчитаться с бабкой Палашкой — это лишить ее нажитого капитала, Сеня стал об этом думать и постепенно пришел к выводу, что дело вполне стоящее. Деньги у дурочки водились, о чем знало все Пристенье, хранила она их отнюдь не в банковских сейфах, и взять их без шума представлялось Сене деянием не просто выгодным, но и справедливым. Исходил он, естественно, из чисто личных побуждений, хотя относился к бунтарям с уважением, а Прибыткову был обязан жизнью.

— Хошь, бабка, Колю Цыгана тебе заложу? — спросил Палашку вертлявый парень из мелкого пристенковского ворья.

— Зачем он мне? Зачем? — перепугалась бабка.

— Ша! Ты мне — «катеньку» на ручку, я тебе — адресок цыгана, и мы квиты.

— Да-а. Сто возьмешь, сам не скажешь.

— Делаем дело, поняла, убогая? Ты отдаешь сотнягу Афоне Пуганову, я тебе — адресок. Ты проверяешь и, раз адресок точный, велишь Афоне вручить «катеньку».

Расчет был как в аптеке: таких денег бабка Палашка при себе иметь не могла и мщения ради

должна была кинуться туда, где хранила. Вертлявый завел волчка и отстал: за Палашкой в шесть глаз следили теперь особо доверенные наводчицы. Ослепленная жаждой мести, последняя дура города и впрямь ринулась в свои закрома… к Афанасию Пуганову. Круг замкнулся, брать Афоню за глотку было несвоевременно, и Сене Живоглоту пришлось отложить наказание. Но зато теперь он точно знал, где хранится золотой запас, и ждал лишь случая, чтобы завладеть им, а заодно и выполнить слово, данное Розе под горячую руку.

Впрочем, всем вдруг стало не до налетчика, не до пристенковской дурочки и даже не до невесть куда и как сгинувшего цыгана: в городе начался судебный процесс над главными государственными преступниками. По процессу проходило трое, и прокурор так сформулировал обвинение:

— Степан Дровосеков, он же Теппо Раасеккола, как сам себя именует, лютеранин, мещанин города Прославля. Обвиняется в зверском убиении находящегося при исполнении должностных обязанностей полицейского офицера, а также в подстрекательстве к мятежу и сопротивлении властям.

Евсей Амосов Сидоров, он же Амосыч, Наборщик, Старик; мещанин города Прославля,

православного вероисповедания. Один из основных зачинщиков бунта, руководитель баррикад на Нижних улицах, член Российской социал-демократической рабочей партии.

— Большевиков! — крикнул Амосыч, но прокурор продолжал далее:

— Обвиняемый по кличке Гусарий Уланович, настоящие имя и фамилию сообщить отказался. Вероисповедания православного, из служилых дворян, поручик в отставке без мундира и пенсиона. Основной военный организатор вооруженного заговора против спокойствия и власти, руководитель боев на баррикадах Верхней улицы…

Вот так и нашли замену Сергею Петровичу Белобрыкову. Свято место не должно быть пусто.

Странный это был процесс, на котором один из обвиняемых не сказал ни единого слова в ответ на вопросы прокурора, защитника, членов суда, присяжных и даже приглашенного врача; второй вместо точных ответов по существу ссылался на покойного генерала Лашкарева, обвиняя его в кознях и сведении счетов; а третий… Третий отвечал столь пространно, что суду приходилось то и дело прерывать его речи.

— Обвиняемый Евсей Сидоров, где вы достали

оружие?

— В любом современном государстве суд защищает честь и достоинство своего гражданина, и только у нас суд прежде всего защищает интересы правящей верхушки…

— Обвиняемый, прекратите агитацию! Отвечайте на прямо поставленный вопрос.

— Отвечаю: в стране неправого суда и неправой власти защита личного достоинства не преступление, а необходимость…

— Суд лишает вас слова, подсудимый Сидоров!

— Значит, ваш суд боится правды!

И так — на каждый вопрос. Амосыч использовал любую возможность, чтобы высказаться, открыть глаза людям, объяснить, в какой стране они живут. И не важно, что в зал суда по специальным билетам пропускали избранных, проверенных и благонамеренных: непонятным образом слова старого наборщика прорывались сквозь стены, закрытые двери и часовых, за ночь приводились в систему, комментировались и разъяснялись, распечатывались на гектографе и с эпидемической силой заполоняли город. Ответы Амосыча наизусть знали студенчество и либеральная интеллигенция, ремесленники Успенки и рабочие окраин, Крепость и Пристенье

и вообще весь город. Бывший судья крещенских драк, выпивоха и весельчак Евсей Амосыч стал самым знаменитым гражданином Прославля: его знали, его поминали, его цитировали и им восхищались все. Двадцатый век рождал новых героев, и старый наборщик оказался первым представителем этой когорты, ибо город вызывающе ждал и демонстративно требовал именно такого героя. Власти никак не могли предусмотреть подобного варианта: хотели добиться всеобщего осуждения и презрения, а добились всеобщего признания и восторга. Но суд шел своим чередом, закрывать его или менять процедуру было уже поздно; обвинение поменялось местами с обвиняемыми, и это был еще один парадокс новой эпохи. И прокурор стал избегать вопросов, процесс съеживался, как шагреневая кожа, чах и хирел, а в городе по-прежнему печатались листовки, и уже не только студенты с либералами да рабочие с социалистами — все, решительно все насмешливо улыбались властям. Суд начали торопить, комкать, пробалтывать — только бы поскорее! И наконец-таки догнали его до заключительной части: остались последние слова подсудимых да приговор, который давно уже был известен и согласован на самом верху. Власти и судейские

чины вздохнули с облегчением, но, как потом выяснилось, с облегчением вздыхать как раз и не следовало.

— Подсудимый Дровосеков, ваше последнее слово!

Теппо промолчал весь процесс, не общаясь ни с адвокатами, ни с товарищами по скамье подсудимых. Суду он всегда отвечал бессловесно, просто мотая головой в отрицательном или положительном смысле. И все — не только суд — считали, что угрюмый молчун откажется от последнего слова, а он встал.

— Я — маленький народ, но я — отдельный народ, — не очень понятно начал Теппо. — Я всю жизнь прожил на Успенке, где все жили как одна семья; и когда у меня все померли от холеры, меня взял Кузьма Иванович Солдатов, и я ему низко кланяюсь. Успенка называла меня Степой, но она знала, что я — финн Теппо Раасеккола, и уважала этого финна. Почему же вы, власти, не уважаете маленькие народы? Почему же вы не судите самих себя, а судите меня за то, что я убил убийцу моей любимой? Я тихо жил свою жизнь. Я носил рояли на плечах, следил, чтобы люди честно мерились своей силой, и мечтал, что у меня будут белые мальчики и черные де-

вочки. Я защищал свое право на такую мечту, а вы обвиняете меня за то, что я не хотел мечтать, как вы. Можно силой заставить повиноваться, силой заставить кричать «Ура!», может быть, даже любить можно заставить силой, но мечтать заставить нельзя. Это же невозможно, просто никак невозможно заставить других мечтать о том, о чем мечтаете вы…

Вы, конечно, поняли, что это не буквальная речь Теппо Раасекколы: это листовка с его речью, выпущенная на следующее утро. Теппо говорил медленно и скверно, но он высказал именно эти мысли, и их всего лишь складно изложили. В то время не было магнитофонов, стенографисты не потрудились записать последние слова подсудимых, в протоколе суда обозначена лишь сама суть, и поэтому сохранились они только в листовках, выпущенных по горячим следам. Я не знаю, кто выпускал эти листовки, но мне точно известно, кто редактировал их, облекая в логическую форму взволнованную и чаще всего рваную речь подсудимых. Ольга Федоровна Олексина. И я с глубокой благодарностью склоняю голову и пред ее светлой памятью, и пред ее трагической судьбой.

Теппо Раасеккола скорее удивил, чем устыдил,

а тем паче заставил призадуматься: высокий суд еще не понимал, что судить следует человека, а не должность, что, кроме русских, французов, немцев да англичан, есть еще люди — такие же, не лучше и не хуже, — которые живут и даже, представьте себе, желают, чтобы к ним обращались по-человечески. Нет, еще угар Великой Державы кружил головы, и горькая речь финна не была воспринята теми, кто вершит судьбу, но те, кто от нее страдает, прекрасно поняли чужие страдания: листовка слегка отредактированного последнего слова Степы с Успенки ходила по рукам. И суд, ничего не поняв, очень тем не менее обиделся: смотрите, какая черная неблагодарность! Вот и предоставляй им после этого последнее слово.

Однако, как говорится, дура лекс сед лекс, а потому на следующем заседании это же Слово (которое, по словам Мудрости, должно быть вначале, а его дозволили в конце) получил отставной поручик, отказавшийся сообщить свое имя. «Ну, уж это вам не финн, этот скажет! — перешептывались и пересмеивались. — Этот отчудит!..» И в зале возник легкомысленный шумок вроде июньского ветерка.

— Господа, — ясно, громко и твердо начал под-

судимый и обвел и суд, и зал таким строгим, таким седым взглядом, что сразу наступила гробовая тишина. — Шесть дней Бог творил мир, в седьмой — отдыхал от трудов: шесть дней вы разрушали мир, в седьмой — развлекаетесь фарсом. «О темпора, о морес!» — как говаривали у нас в полку, отпуская подпоручиков в тыловые бордели. Шесть дней божественный эфир содрогался от грохота снарядов, свиста пуль, крика умирающих и стона раненых. Шесть дней трудилась Смерть, востребованная властями, дабы женщины и дети поняли их могущество. Ваша победа столь страшна и ужасна, что младенцы возопят во чреве, коли мать увидит ее во сне. Вы подвергли разгрому не разбойников, не бунтарей, не вольнодумцев и даже не безвинных обывателей. Вы раскололи монолит, на котором стояло Отечество наше. Вы расстреляли собственную веру, господа, вы взорвали свою честь, растоптали достоинство, забили прикладами благородство. Вы спустили с цепи бешеного пса ненависти, и он, разбрызгивая пену с клыков, уже вцепился в горло Добру. Нет, он не загрызет его — он заразит его бешенством, превратив Добро для всех в Добро для себя, в Добро исключительности, Добро избранности, в Добро, на право обладания которым станут

вскорости требовать квиток о благонадежности. Бешеное Добро — да может ли быть что-либо омерзительнее и лживее тебя! Я военный человек, я привык к грому орудий, но гром ваших орудий возвещает не победу, не торжество — он возвещает начало конца тысячелетней Отчизны нашей, и моя старая душа рыдает сегодня над могилой, которую столь яростно начали копать ваши заступы для земли своей. И не завидую я ни детям, ни внукам, которые наследуют кладбище на том месте, где некогда процветала одна из самых духовно могучих держав мира сего. Я плачу над их судьбой, украденной сегодня вами. Ни один камень, брошенный в мою Родину, да не останется без проклятия моего!

Так сказал человек без имени — безымянный дворянин города Прославля, которого все, кроме Белобрыковых, звали Гусарием Улановичем, и речь его очень обидела как суд, так и зал. Его множество раз прерывали возгласами, топотом, криками, но он досказал до конца свое Слово. В листовке, которая, естественно, вышла уже на следующее утро, все эти крики с мест были опущены, равным образом как и весьма длинное отступление отставного поручика, посвященное коварству генерала Лашкарева, которое впервые

признавалось ничтожно малым по сравнению с коварством временщиков многострадального города нашего.

Подряд два последних слова прозвучали с такой незапланированной убедительностью, наделали столь много шума, породили столько ненужных разговоров, что власти решили объявить трехдневный перерыв в судебном разбирательстве, дабы утихомирить страсти. Донельзя разгневанный речью Гусария Улановича (дворянин называется!), временщик Опричникс вообще потребовал запрещения всяких последних слов: к чему, в самом деле, этот гнилой либерализм? Но губернатор, а также влиятельные и даже консервативно настроенные граждане уговорили его высокопревосходительство повременить со столь радикальной реформой, сумев втолковать опасение пред еще более громким хохотом всего народа. Власти вообще, а временщики в особенности почему-то побаиваются смеха, замечали? Это железная закономерность, и я, например, давно уже определяю реальную прочность государства количеством и качеством комедий, ибо только сильные способны от души хохотать над собой (слабые хихикают над другими, но это к слову). Только боязнь смеха и смогла приостано-

вить ретивость генерал-адъютанта Опричникса, а в конечном счете и позволила через три дня выступить с последним словом Евсею Амосовичу Сидорову.

Говорят, что звучало оно в полнейшей тишине: члены суда изо всех сил играли в невозмутимость, а публика не решалась шуметь и что-либо выкрикивать, поскольку не без оснований боялась как смеха слева, так и гнева справа. Это вообще свойственно любой публике: она обречена ощущать себя между Сциллой и Харибдой, а коли кому-то наплевать и на гнев, и на хохот, если он сам способен смеяться от души и негодовать во весь голос, то он уже и не публика. Ведь, как известно, человек рождается дважды: один раз как публика, второй — как личность, как субъект, как «я», и то, что события пятого года помогли второму рождению многим из моих земляков, было еще одним парадоксом нового времени.

— Не обольщайтесь, я выступаю не с последним словом. Я выступаю перед вами с первым словом, потому что говорю от имени тех, кто завтра задаст вам простейший вопрос: что вы наделали? Как могли вы совершенно добровольно отрезать себя от своего народа, запереться в особняках за глухими заборами, окружить каждый свой шаг

цепями явных и тайных охранников и упрямо верить при этом, что тем самым вы сохраните власть над народом своим? Потеряв опору в земле и народе, вы опираетесь на штыки и тюрьмы: удобно ли вам сидеть в председательских креслах, чужеземцы собственной страны? Вы хорошо усвоили древнейший способ властвования: террор и угрозы, беззастенчивая ложь лакеев и немота всех остальных, подкармливание избранных и беспощадная эксплуатация большинства и еще раз — террор и обман, обман и террор. Да, кнутом и каторгой можно добиться повиновения, но это повиновение действует до тех пор, пока нас меньше, чем плетей и тюрем. Но наши ряды растут, а батоги и застенки изнашиваются, и рано или поздно наступит час, когда нас станет больше, чем могут вместить все ваши ссылки и камеры. Как назовете вы этот час? Последним? Не обманывайтесь: для вас он будет смертным, ибо народ есть наивернейший банк обид, проценты с которых порождают гнев. А гнев народа во столько же раз страшнее вашего гнева, во сколько нас больше, чем вас, правители и охранники. Посчитайте и ужаснитесь.

Вероятно, в этом месте Амосыч сделал паузу, потому что в листовке обозначен абзац. Точно

знаю, что в то время, когда он замолчал, в зале сохранялась напряженнейшая тишина: мы учили его речь по учебнику, и там особо подчеркивалось это. Не знаю, учат ли сейчас: мне давно не случалось заглядывать в новые учебники новой истории.

— Не думайте, что я призываю кары будущего на ваши головы. Я призываю ваши головы задуматься над будущим. От него никому не уйти и никому не спрятаться, и надо мужественно глядеть в его даль. Пропасть, которую вы вырыли между собой и народом, не спасет вас от завтрашнего дня, вы смертны и без наших баррикад. Да, вы думаете о своей смене, воспитывая детей в привилегированных заведениях, заранее готовя из них распорядителей и командиров, дипломатов и иезуитов. Вы расчищаете перед ними поприще, обеспечивая карьеру не по способностям, а по протекции, и все же будущее не за вашими детьми. Будущее всегда за разумом, и вы это знаете. Не за расчетом, не за хитростью или ловкостью, а за ростом народного самосознания. Рост этот неотвратим, хотя процесс подчас и незаметен, и однажды до подавляющего большинства дойдет простая истина: мы живем как рабы. Наступит прозрение, пробежит искра, и вся эта

кошмарная тюрьма народов взлетит на воздух. Вы завоеватели собственной родины, ваше иго куда темнее, мрачнее и свирепее монгольского. Вам не миновать новой Куликовской битвы, но подумайте о ваших внуках и правнуках. Найдется ли им место в освобожденной стране? Не падут ли они под обломками завтрашних Бастилий? Не пресекаете ли вы род свой, бездумно повторяя: «После нас — хоть потоп»? Скоро, очень скоро поднимется мозолистая рука рабочего класса, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!

После речи Евсея Амосыча суд важно удалился на совещание и делал вид, что совещается, еще сутки. На следующее утро был объявлен приговор: смертная казнь через повешение. Власти и лично генерал-адъютант Опричникс были весьма довольны, что конец близко, но внезапное осложнение едва не испортило этого долгожданного конца.

Случилось так — а вот как случилось, то никому не ведомо, — что сидевший (или лежавший?) в отдельной палате психиатрической лечебницы Сергей Петрович подробнейшим образом узнал и о последних словах, и о смертном приговоре. Бабушка говорила, что он якобы даже читал все

листовки, но за это я поручиться не могу. А вот то, что вскорости после объявления приговора больной Белобрыков бежал из лечебницы, — это известно всем. Сбежал в сером больничном халате и тапочках на босу ногу и явился не домой, не к Оленьке Олексиной и даже не к друзьям-нелегальщикам — явился прямехонько к временщику и в приемной доложил дежурному адъютанту:

— Я, Сергей Петрович Белобрыков, содержащийся по недоразумению в психиатрической лечебнице, являюсь активным членом РСДРП и действительным руководителем Верхней баррикады. Осужденный на смертную казнь известный городской чудак, называющий себя Гусарием Улановичем, ни в чем решительно не виноват, поскольку лишь исполнял мою волю. А посему я категорически требую немедленно освободить его, как абсолютно невменяемого, и осудить меня, как действительного руководителя Верхней баррикады, взятого с оружием в руках.

— Подождите здесь, — сказал ошарашенный адъютант.

Мигнул часовому, чтоб глаз не спускал, прошел к генерал-адъютанту Опричниксу и строго, по-адъютантски (то есть слово в слово) передал то, что наговорил посетитель в больничном халате.

— Просит заменить его в петле? — Его высокопревосходительство басовито расхохотался. — Значит, сбежал из сумасшедшего дома и категорически требует, чтобы его повесили? Ну и кто он есть после такового деяния? Вот именно! Возвратить в лечебницу, как явно сумасшедшего!

И негодующего Сергея Петровича силой отправили обратно, но заперли уже в более строгой палате. Но напрасно он бушевал и горячился: врачи только радостно потирали руки.

— А вы беспокоились, Игнатий Иванович, — сказал губернатору архиепископ. — Сам генерал-адъютант Опричникс признал нашего протеже сумасшедшим, куда же выше? Выше и светил нет.

Со времен Екатерины Второй в России стеснялись казней. Прятали их подальше от глаз людских, а сообщали заведомо после того, как все свершилось. Громко произнеся приговор, приводили его в исполнение тайно, стыдливо и очень поспешно. И непременно стремились упрятать тела казненных не только от родных и близких, но и от самих себя. Где могилы декабристов или народовольцев? Историки лишь беспомощно разводят руками, недобрым словом поминая

традиционную застенчивость палачей.

В силу этой застенчивой традиции приговоренных казнили в глухом, обстроенном безоконными корпусами, дальнем дворе внутренней тюрьмы охранного отделения. При казни дозволялось присутствовать только трем «исполняющим» (а как иначе назвать должность, давно упраздненную, но существующую?); считанной охране под командой дежурного офицера да чиновнику особых поручений, сочетающему в себе власть законодательную, исполнительную и прокурорский надзор. Не допускались даже лица духовного звания и врачи: первые навещали приговоренных до, вторые — после. Мне сдается, что такая повышенная стыдливость была результатом ясного понимания, что именем закона вершится дело довольно гнусное.

Традиция традицией, а крохотный дворик никак не вмешал трех виселиц зараз: две еще как-то втискивались, а третья — ни в какую; чья-то исполнительская голова даже предложила одну из них сделать двухэтажной, но после некоторого размышления сей дерзкий проект отвергли за сложностью исполнения (не виселицы, разумеется, а того, ради чего их создают). И начальство распорядилось «исполнять» поочередно.

— Не выдержит, — сказал Теппо, когда усиленный конвой вывел приговоренных в тесный дворик.

— Не выдумывать! — нервно закричал чиновник для особых. — Выдержит!

Раасеккола пожал плечами, а дежурный офицер зашептал в чиновничье чуткое ухо. Чиновник громко переспросил: «Да?» — и с сомнением оглядел финна.

— Сколько весишь? Пудов шесть?

— Семь, — уточнил Теппо.

Начальство вновь зашепталось, посматривая то на виселицу, то на негабаритного смертника. («Плотник не предусмотрен…», «Умеет…», «Позвольте, это же чушь какая-то!», «А что делать, если не предусмотрен?..» — доносились отдельные фразы.) Потом чиновник распорядился:

— Выдать Дровосекову топор, гвозди и доски для укрепления собственной виселицы. Остальных исполнять поочередно, пока идет укрепление.

Принесли приказанное. Теппо буднично застучал топором, неторопливо и основательно, как истый мастер с Успенки, усиливая созданную жандармскими дилетантами конструкцию. А Гусарий Уланович крепко обнял Амосыча:

— Прощай, братец. Не посрамим?

— Не посрамим, товарищ поручик.

Гусарий Уланович взобрался на шаткую доску и встал под петлей. Он хотел сам надеть ее на себя, но ему не дали, а, исполняя неизвестно кем утвержденный церемониал, связали за спиной руки и натянули через голову саван. Из-под него донеслось негодующее: «Я не трус, генерал Лашкарев!..» — но исполняющие уже накинули петлю поверх савана. А Теппо все тюкал топором.

— Вышибай! — приказал чиновник.

Вышибли доску, и отставной поручик в длинном саване задергался, затрясся, закачался; веревка натянулась, как гитарная струна, а виселица угрожающе заскрипела. Теппо прекратил работу и перекрестился, ожидая, когда остановится страшный маятник по соседству. На него кто-то прикрикнул, и он снова старательно застучал топором.

— Запаздываем. — Чиновник посмотрел на часы. — Снимайте первого, исполняйте второго. Ты скоро там, Дровосеков?

— Укосина, — пояснил Теппо.

— Ну, давай, давай, не задерживай. Надо, братец, совесть иметь.

Тем временем тело в длинном саване вынули из петли и отнесли к наглухо закрытым воротам.

Теперь исполняющие устанавливали на помосте доски, которые потом полагалось вышибить. Доски почему-то никак не устанавливались, исполняющие нервничали. Амосыч ждал, а Теппо приколачивал последнюю укосину. Наконец доски уложили. Евсей Амосыч сказал: «Прощай, Степа!» — и пошел к виселице, и тут вдруг страшно закричал дежурный офицер:

— Сидит! Сидит! Оно сидит!

Все оглянулись: у ворот, опершись спиной о запертую створку, сидел белый саван, только что вынутый из петли. Сидел и хрипел, то ли пытаясь что-то сказать, то ли просто вздохнуть.

— Исполнить его! — дико заорал чиновник, тыча рукой в белый призрак. — Исполнить на месте! Исполнить!

— Прикажете из?.. — спросил белый, как саван, офицер.

— Из! Из! Из!

Дежурный офицер подбежал к укутанному в смертное, хрипящему Гусарию Улановичу и, вытащив револьвер, начал в упор расстреливать его. Офицерская рука плясала, смертник хрипел и бился, белый саван быстро окрашивался кровью, и все замерли: даже Теппо перестал махать топором. А Амосыч, свирепо выругавшись, сказал

с горечью:

— Ну куда вам державой-то управлять, когда повесить по-людски не можете? Эх, недотепы!

Евсея Амосовича Сидорова и Теппо Раасекколу повесили без неожиданностей: укрепленная укосинами виселица выдержала семипудового финна, и веревка не лопнула под Амосычем при повторном испытании на разрыв. Три тела — одно в окровавленном саване — были тайком вывезены и где-то столь же тайно зарыты. А вся история с нелепой казнью неведомо как выпорхнула из глухого дворика, с чудодейственной быстротой став достоянием города. И Петр Петрович Белобрыков, утирая слезы, отметил:

— А все же от пули погиб мой поручик. Значит, есть высшая справедливость, господа, и палачам воздастся сторицей.

Воздаваться начало раньше: по всей империи прокатились волны забастовок, протестов, митингов и демонстраций, захвативших не только рабочих, студентов да социалистов, а буквально все население всех классов и состояний. Не одни лишь нелегальные да полулегальные, но и вполне респектабельные газеты напечатали сообщения о мрачных событиях в глухом дворике внутренней тюрьмы. Ряд иностранных газет — в

Германии, Австро-Венгрии, Франции, Англии, США — перепечатали эти статьи под заголовком «Зверства палачей XX века», снабдив их уничтожающими комментариями. Неприятный инцидент как бы поджег бикфордов шнур; взрыва, правда, еще не последовало, но предвзрывная вспышка оказалась устрашающе ослепительной. Отмалчиваться стало уже немыслимо, и правительство вынуждено было даровать народу своему некое подобие конституционных свобод, отменить военное положение, объявить амнистию и снять ограничения вроде запрета на зрелища и игрища. Генерал-адъютант Опричникс тихо уехал в столицу, а город Прославль торжествовал первую, пусть маленькую, но победу над самодержавием. Сергей Петрович под амнистию не подпадал, но, поскольку военно-полевую спешку отменили, мог не считаться более умалишенным и был переведен в обычную тюрьму в ожидании обычного суда. Защиту его взял на себя сам Перемыслов, и он же через неделю добился для политического заключенного пятиминутного свидания с… невестой.

— У меня нет никакой невесты, — решительно отрекся волонтер, когда за ним явились, чтобы сопроводить.

— Ждут, — лаконично пояснил ко всему привыкший надзиратель.

Удивленный Белобрыков прошел в комнату свиданий, где ему на шею немедленно бросилась синеглазая.

— Дорогой! — И шепотом, деловито, в самое ухо: — Извините, единственный способ увидеться — это объявить, что мы обручены. Если вы согласны, я пойду за вами, как княгиня Волконская.

А вот Мой Сей подпал под амнистию и однажды приплелся домой, волоча перебитую ломом ногу. Он стал седым, ему вышибли все зубы, сломали три ребра, и с того времени вплоть до кончины он уже не переставал кашлять кровью. Шпринца заголосила от счастья и горя, а он прижал ее к искалеченной груди, и глаза его сверкнули, как сверкали когда-то.

— Надежда моя, полиция существует, чтобы ломать ребра, а человек — чтобы говорить правду. И я существую для этого, и мы еще посмотрим, кто кого пересуществует.

Как ни странно, а наибольший ажиотаж возник в заведении мадам Переглядовой. Там энергично выколачивали пыль, мыли окна, чистили, скребли, терли и вытирали под наблюдением неулыбчивой Дуняши. Ее измена Розе Треф и

добровольное возвращение в плюшевый рай настолько потрясли хозяйку, что она тут же возвела бывшую девочку в ранг подруги, освободив от трудов обязательных и предоставив право выбора. И Дуняша надзирала за прислугой, девицами и хозяйством.

— Через неделю мы громыхнем, и Розка удавится от зависти! — потирала руки мадам Переглядова.

Через неделю громыхнули. Переглядовой всегда недоставало размаха и фантазии; плюш, красный фонарь да бенедиктин с визгом были пределом ее творческих возможностей, но Пристенье именно это и устраивало. «Абы бабы», — любили говаривать там, и глазки при этом непременно становились маслеными. И еще там любили выражать любовные чувства звучным междометием «гы».

Наконец настал вечер, о котором так мечтала мадам и которого уже с нетерпением ждало Пристенье. Как раз тогда, когда почти во всех домах Успенки отмечался скорбный сорокаднев, жеребчики Пристенья с гиком и ором прискакали в заведение. Ржание заливалось бенедиктином, женский визг перемежался хлесткими шлепками по задам, сальные анекдоты комментировались

откровенной похабщиной; это и было верхом эстетических утех Пристенья — все, что выпадало из этой жизнерадостной жеребятины, объявлялось развратом, извращением, совращением и распутством.

— Хорошо гуляем!

Наблюдая за порядком, Дуняша прохаживалась меж гуляющих от столика к столику, от компании к компании, не отказываясь пригубить рюмочку и с удовольствием поддерживая разговоры о недавних событиях. Ее попытались было хватать, тащить и шлепать, но она сумела быстро расставить по местам все отношения. А пьянство продолжалось, кто-то уходил с очередной девицей, кто-то возвращался и снова принимался пить. Крепчали смех, визг, матерщина и разговоры. А Дуняша ходила и слушала, слушала и ходила. И рано утром постучала в дверь домика на Успенке. Сонная Роза открыла и обо всем догадалась с порога.

— Кто?

— Мишка Разуваев, приказчик купца Конобоева.

— Точно?

— Сам хвастал, божился, и Изот подтвердил. Мишка, мол, шкворнем Кубыря убил, и он же

гирькой ударил Колю Третьяка в последней крещенской драке. А гирьку в сапоге спрятал.

— Надо бы его заманить хоть в Чертову пустошь.

— В лес меня приглашал. Будто за грибами.

— Вот там мы с ним и рассчитаемся! — Роза крепко поцеловала Дуняшу, и в глазах ее вспыхнул беспощадный, змеиный огонь. — И разыщи мне Сеню Живоглота.

А в заведении еще гуляли. Пили и визжали, матерились и пили, пили и бахвалились. И в самом заведении, и в прилежащих к нему улицах пьяное торжество выплескивалось через край.

Казалось, что и впрямь прав Борис Прибытков и что в первой кровавой схватке Крепости и Успенки победило Пристенье. Но это только так казалось: им ведь неведомо было то, что знаем сегодня мы.

Эпилог

Вскоре после вакханалии в Пристенье бледный молодой человек с докторским саквояжем в руке вошел в дом по Неопалимовскому переулку города Москвы, поднялся на третий этаж и условным стуком постучал в дверь. Ее открыли без вопросов: молодой человек миновал прихожую и остановился на пороге гостиной, по-прежнему держа в руках саквояж.

— Мне надоело стрелять, — сказал он хозяину, шагнувшему навстречу. — Считаю, что заслужил как отдых, так и десять тысяч.

— Вы сошли с ума, Прибытков?

— В саквояже — бомба. — Борис приподнял саквояж. — Десять тысяч, или я выпушу его из рук. Раз…

— Немедленно пре…

— Два.

— Черт с вами! — Хозяин открыл бюро и стал метать из него на стол червонцы и сотенные в банковских упаковках. — Если вы проболтаетесь…

— Цена молчания. — Борис кое-как рассовал пачки по карманам и начал пятиться, все еще

держа саквояж на весу. — Расходимся по-мирному, не так ли?

Он миновал прихожую, захлопнул за собой дверь, выбежал на улицу и вскочил в ожидавшую его пролетку с поднятым верхом. Лихач помчался по запутанным Садовым; Борис открыл пустой саквояж и начал складывать в него деньги. Пролетка доставила его на Брянский; Борис сошел, купил газету и сел в поезд. Положил саквояж, устроился у окна с тщательно задернутыми занавесками и раскрыл газету. И первым, что бросилось в глаза, было экстренное сообщение о суде над социал-демократом Белобрыковым: лишение всех прав состояния и двадцатилетняя ссылка на каторжные работы.

А через две недели отставной подпоручик Семибантов, будучи с приятелями на охоте, обнаружил полуразложившийся труп, опознать который так и не удалось (предполагали, что им мог быть исчезнувший из города приказчик купца Конобоева).

— Я исполнила твою волю, солнце мое, но Сеня просил передать, что отныне вы квиты.

Борис с саквояжем в руке стоял на пороге собственного дома: в гостиной сидела синеглазая девушка. Что-то подсказывало ему, что она своя,

что тут решительно нечего опасаться, но привычная настороженность (она уже поселилась в нем, сменив безрассудную отвагу, и Прибытков медленно приноравливался к этому новому для него чувству) держала у дверей.

— Это невеста твоего брата Ольга Федоровна Олексина, — сказала Роза. — Завтра Оля уезжает в Сибирь вслед за Сергеем Петровичем. Что прикажешь: чаю или немного закусить с дороги?

— Я за тобою, Роза. Собирайся.

— Куда?

— Все равно, Россия большая.

— Россия большая, любовь моя, но Прославль один.

— Никакого Прославля нет, это мираж. Миф о трогательном единении, гармонии и победе добра над злом.

Говоря, он смотрел на Олю. Смотрел на невесту своего брата, позавчерашнего соперника, вчерашнего друга и — он чувствовал это — завтрашнего врага. И милое девичье лицо сливалось в его глазах с опаленным ликом баррикады.

— Вы говорите так, будто зло уже победило, — сказала она.

— Не закрывайте прекрасных глаз на правду: зло — это Пристенье. А его можно разгромить

только в союзе с Крепостью.

— Вот как? — Оля неожиданно улыбнулась, и в этой улыбке было нечто куда более обидное, чем насмешка. — Скажите об этом моему отцу, генералу Олексину: он будет в восторге. Его заветная мечта — заполучить на государеву службу вчерашних Робин Гудов. Могу отрекомендовать ему вас как перебежчика номер один. Глядишь, и орденом пожалуют.

— Мадемуазель, вы очаровательны и очарованы. Первое да пребудет с вами вечно, а от второго избавьтесь, и как можно скорее. И тогда, может быть, поймете то, что я никак не мог втемяшить в голову своему брату, — зря. Все — зря, понимаете? Бессмысленно лезть поперек истории…

— Зря? — вдруг тихо переспросила Роза. — Значит, зря погибли твоя мама, Филя Кубырь, моя малпочка, мастера с Успенки? Зря? Их гибель бессмысленна? Скажи, что я ослышалась, скажи, что ты говорил совсем о другом, скажи, заклинаю тебя…

— Ступай собирать вещи. Тебе никогда не понять того, что произошло.

— Произошло именно то, что сказала Роза, — ледяным тоном отчеканила Ольга Олексина. — Ваша предусмотрительность оплевывает смерть

мучеников, а к этому уже нечего добавить.

— Благодарю за откровенность, кланяйтесь своему жениху. — Борис встал. — Роза, почему ты не собираешь вещи? Впрочем, плевать. Идем.

Роза отрицательно покачала головой. Зеленые глаза ее потухли, словно уже подернувшись серым пеплом прощания навсегда.

— А кто же будет ухаживать за могилой твоей матери, Борис?

— Надо жить, Роза, а не кланяться могилам.

— Надо кланяться могилам, чтобы однажды не возопить в пустыне.

— Оставь истеричную белиберду и изволь идти за мною!

— Боже мой, как сладко подчиняться любимому, — тихо вздохнула Роза. — Боже мой, как я завидую Оле, которой есть кому подчиняться и куда ехать. И боже ты мой, как пусто и страшно, когда некуда больше идти. Некуда и не за кем.

— Мы обвенчаемся, Роза. Я даю слово при свидетеле.

— Уходи.

— Что?.. — опешив, с длинной паузой спросил Прибытков.

— Уходи, — со стоном выдохнула Роза. — Больше нет моего героя, пропахшего порохом и

отвагой. Он погиб на баррикадах, а в его обличье влез предусмотрительный господин, которому очень хочется жить. Даже ценою забвения.

— Истеричка…

— Мы квиты, Борис. Это просил передать тебе Сеня, и это же говорю тебе я, бывшая Роза Треф. Мы квиты, и не забудь в прихожей свою шляпу.

Борис постоял в полной растерянности, хотел что-то сказать и даже плямкнул губами, но слово не родилось. И он вышел без слов, не позабыв ни шляпы, ни саквояжа.

Багровое небо нависало над Прославлем, потому что в Пристенье горел полутемный кабак Афони Пуганова. И опять кого-то били, кто-то кричал, кто-то свистел, кого-то ловили, и дико вопила то ли окончательно выздоровевшая, то ли окончательно рехнувшаяся бабка Палашка: под шум и гам у нее увели-таки все ее тайные капиталы.

Да, город жил своей обычной жизнью, словно у него не было вчерашнего дня. Ни крови, ни выстрелов, ни убийств, ни казней. Отныне он жил только сегодняшним днем и был уверен, что этот вечно сегодняшний день дан ему навсегда. Но шли часы, каждым ударом отсчитывая последние двенадцать лет. Те двенадцать лет, которые еще

оставалось прожить городу Прославлю в сладком неведении личных катастроф и общественных катаклизмов.

Шли часы.

Дом, который построил Дед

Часть первая
Глава первая

1

Я давно собирался написать эту книгу — книгу о Доме, который построил Дед. Я пишу с заглавных букв потому, что Дом, о котором намереваюсь рассказывать, — не просто стены, пол да потолок, но и семья, которая тоже являлась Домом. Да и сам Дед был не просто родоначальником, а основателем, строителем, столпом и фундаментом как семьи, которую строил со дня свадьбы до дня смерти, так и дома, который сгорел после него в одну бедственную ночь, оставив после себя пепел надежд, ожог отчаяния и горький осадок горя. А все это — пепел, отчаяние и горе — не существует и не может существовать само по себе: они суть отпечатки любви, радостей, смеха, слез, восторгов, терпения и нетерпения — то есть всего того, что начинается жизнью и заканчивается смертью и, являясь трагедией, именуется комедией, чтобы не пугать в материнских утробах еще не родившихся младенцев. И я тоже не собираюсь никого пугать, но не собираюсь и вычеркивать

из жизни страницы, которые могут омрачить читателя, ибо солнце без тени светит только в пустыне.

Жить — значит страдать, обмирая ли от счастья или каменея от горя, рыдая от наслаждения или рыча от гнева, задыхаясь от нежности или бледнея от боли, но страдать, за себя или за других, ибо жизнь, лишенная страдания, превращается в способ существования белковых тел. Дед выстрадал свой Дом, и мне придется в большей степени рассказывать о страданиях, чем о столярных или плотницких работах, о процессе, а не о результате, о медленных количественных накоплениях, способных вдруг, помимо нашей воли или нашего желания, переходить в иное качество. Например, в груду тлеющих головешек. И рассказывать тихо, ибо прошлому не нужны фанфары, а маршировать куда удобнее по дорогам, чем по кладбищам. Однако эта элементарная истина порою усваивается с огромным трудом, и многим так и не хватает жизни на то, чтобы понять, что даже самая прекрасная Триумфальная арка есть всего-навсего ворота во вчерашний день.

Из всякой человеческой жизни можно сделать роман, но — из жизни, а не из существования. А для того, чтобы превратить свое существование в

жизнь, человеку приходится рождаться дважды: как существу и как личности, и если в первом случае за него страдает мать, то во втором — он сам, лично, и далеко не у всех хватает на это отчаянности. Стать личностью означает определить себя во времени и пространстве, выйти из толпы, не выходя из нее, вытянуться колоском на длинном стебельке, подверженном всем невзгодам изменчивой погоды нашей, всегда рискуя оказаться первой жертвой жнеца, традиционно изображаемого в виде старухи с косой в костлявых руках. Вопреки древним заветам, человечество всегда спешило положить на алтарь не первенцев, но *первых,* будь то костер Джордано Бруно, расстрел Гарсиа Лорки или еще какое-либо схожее деяние: вспоминать можно до бесконечности. Нанося раны себе самому, подобно фанатикам во время шахсей-вахсея, человечество, обливаясь кровью больше, чем потом, продолжало тем не менее двигаться вперед, ибо добровольцев всегда хватало. Однако в последнее время в этом торжественно-кровавом шествии наметился некоторый сбой: мир затоптался, засуетился и вот-вот, потеряв ориентировку, ударится в панику, рискуя повторить смрадный ужас Ходынки. И я должен успеть написать, пока еще есть время на то, чтобы хоть

раз перечесть написанное и порадоваться за тех, кто не побоялся родиться вторично в самое неподходящее для этого время.

Это не пустословие — это разгон. Я еще помню паровозы, которые гремели, пыхтели, окутывали себя паром и непременно пробуксовывали на месте, прежде чем двинуться в путь. Конечно, современные локомотивы не испытывают нужды в подобном ритуале, но ведь старый, неуклюжий паровоз сам рождал энергию для собственных путешествий, а электричкам она подается со стороны, и мне, честно говоря, куда ближе чумазый мастодонт, ушедший на слом силою собственного пара. Прогресс есть всего лишь логарифм возраста человечества, и не следует так уж ликовать, ощущая приближение собственной старости.

Итак, подобно старому паровозу, таскавшему и составы из вагонов всех классов, и единообразные демократические теплушки, и бронечудовища, что до сей поры все еще отстаиваются на запасных путях, я начну рассказ с разгона. С того времени, когда Дед еще не был дедом, не знал, что станет им, да и не помышлял об этом, ибо молодым свойственны совсем иные помыслы, нежели те, которые мы додумываем за них.

2

— Жизнь начинается с любви.

Под старость Дед все чаще склонялся к афоризмам, используя для собственных идей замшелые формы. И, сказав эту фразу, вовсе не думал о зачатии и рождении, а имел в виду, что с того момента, как мужчина начинает понимать, что влюбился, он перестает существовать для себя и стремится жить для других. И все вокруг наполняется смыслом, человек начинает видеть *человеков,* ощущать их тепло, слышать их стоны и терзаться их тоской. Бессмысленность наполняется смыслом.

— Я испытал звериный восторг бытия, надев военную форму, но постиг ее содержание, когда влюбился, — пояснил он. — Молодость ощущает себя с поверхности.

Тогда он тоже «ощущал себя с поверхности», поскольку был двадцатилетним юнкером пехотного училища ускоренного выпуска. Уже прогремел выстрел в Сараеве, уже эхо этого выстрела материализовалось в рев сотен тысяч орудийных стволов, уже Россия всем своим непомерным телом тяжко ворочалась в кровавом месиве мировой войны, куда плюхнулась с разбега, еле-

еле успев объявить всеобщую мобилизацию да ввести сухой закон. А трое юнкеров катались на лодке в городском саду: на носу развалился хитрый черноглазый Лекарев, с веслами управлялся крепкий рыжевато-конопатый тугодум фон Гроссе, а на корме сидел сухощавый, чуть ниже среднего роста синеглазый Леонид Старшов, еще не знающий, что станет Дедом. По собственному признанию, он еще переживал звериный восторг формы, не ведая, что именно с этого дня форма начнет наполняться содержанием, менее чем через полгода переведя его в совершенно иное качество навеки женатого человека.

Случай есть пересечение двух или более причинных рядов, и в то самое осеннее воскресенье по тому самому осеннему пруду плыла еще одна лодка. Крепенькая, хорошенькая, а потому и очень сердитая девушка не очень ловко размахивала веслами, куда с большим усердием слушая стихи, которые читала ей сидевшая на корме чернокосая и темноглазая барышня («Кажется, это был Гумилев, — скажет она спустя семь десятков лет. — Мы все в ту пору чем-то увлекались…»). Парк был небольшим, и пруд был небольшим, и мир был таким еще юным, что встретиться в нем было очень трудно, а разминуться еще труднее.

Неумолимые причинные ряды упорно стремились друг к другу, случай готовился постучаться в две судьбы одновременно — и постучался, но слишком громко для той воскресно-осенней идиллии: юнкерская лодка врезалась в девичью, барышни вскрикнули, Гумилев упал в воду, но — так, по крайней мере, всегда говорила бабушка — даже не успел намокнуть, поскольку следом за ним бросился юнкер Леонид Старшов. Каким-то чудом он не уткнулся головой в ил, сумел перевернуться, встать на ноги, поймать книгу и с максимальным изяществом протянуть ее испуганной владелице:

— Вот ваша книга, мадемуазель.

С головы его свисали сизые водоросли, донная грязь неторопливо ползла по лицу: юнкер был похож на водяного, но водяного-юнкера, что сразу же отметили обе барышни. Потом с криками и смехом ловили фуражку, потом Леонид залезал в лодку, потом обе лодки поспешно плыли к берегу («Ведь уже холодно, и вы можете простудиться!»), потом пристали и вышли на берег и опять начали хохотать, потому что мокрый Старшов оказался на кого-то похож, но опять — на кого-то очень молодого. И в общем веселье Лекарев счел возможным представиться, а познакомившись с

барышнями, тут же представил им своих друзей — сухого и мокрого.

— Варвара Николаевна Олексина.

Спустя пять месяцев они обвенчались. Дед пребывал уже в прапорщиках, а бабка, естественно, в белом платье, которое ей суждено было надеть еще раз в ожидании расстрела. Но до того она успела родить, чуть располнеть, и платье треснуло по шву, когда гаркнули: «Первая десятка, к исполнению!», подруги по камере кое-как закололи лопнувший шов. А кума, входившая в ту же «первую десятку», сказала: «Умирать надо красивой, Варенька…»

Впрочем, тогда ничего еще не трещало, мундир был чист как причастие, в погонах отражалась солнечная надежда, и прапорщик Старшов сдержанно радовался первому кирпичу, заложенному им в основание собственного дома. Правда, радость была несколько омрачена тестем, отставным генерал-майором, возвратившимся с русско-японской войны с тяжелым ранением и весьма ворчливым характером. То ли по чистой случайности, то ли по стечениям обстоятельств, а только из довольно обширной родни генерала никто так и не пожаловал на свадьбу его средней дочери. Ни ее крестная мать, вдовая

миллионерша Варвара Ивановна, живущая в подмосковном городишке, сплошь заселенном рабочими и работницами ее ткацких фабрик. Ни сановный братец Федор Иванович, свитский генерал и кавалер российских орденов, уж много лет проживавший в Петер… виноват, велено теперь говорить: Петрограде. Так вот, в Петрограде, поближе к государю: он, Федор, был любимцем покойного царя Александра III, но и сын тоже не обделял его своим высочайшим вниманием, глянув сквозь пальцы даже на демонстративную выходку младшей дочери Федора Ивановича Ольги, сбежавшей в Сибирь вослед осужденному на каторгу возлюбленному, будто новоявленная княгиня Трубецкая. Не явился, заметьте, и старший брат Василий Иванович, когда-то учивший детей графа Льва Николаевича Толстого, а ныне доживающий свой век в Казани верным адептом своего великого друга. Не пожаловала и младшая, Надежда Ивановна, ныне Вологодова, проживающая в Москве с детьми (слава богу, хорошие, говорят, дети!) и весьма даже важным супругом. Этакий Каренин, знаете ли… Да что там перечислять, когда даже ближайший сосед и брат, уволенный с государственной службы по личному прошению, Иван Иванович, жив-

ший одиноко в фамильном имении Высокое, тоже, так сказать, не соизволил, не почтил, так сказать. Н-да. И никто не почтил, изволите ли видеть. И выкручивайся перед этими… поспешно испеченными прапорщиками военного лихолетья. Обидно. Нестерпимо. И генерал в сердцах объявил свадьбу возмутительно поспешной, но поскольку дочерей у него было, как у чеховского Прозорова, жена скончалась год назад, а Варвара (средняя) выходила замуж первой, то до венчания он ворчал про себя. Тем более что за свадебным столом больше всех говорил черноглазый, длинный и хитрый прапорщик Лекарев, новенький, как пятиалтынный.

— И еще раз — за любовь, господа! Ах, любовь, любовь, недосягаемая мечта и недосягаемое счастье горемычных окопных офицеров…

Он считал себя окопником с момента получения личного оружия, столь эффектно оттягивающего еще не успевшую пропотеть портупею. При этом он не сводил томных глаз с сердитой подружки невесты, которую звали Сусанной, и вздыхал. Громко. Второй представитель жениха, прапорщик фон Гроссе, молчал, но веснушки его стали еще крупнее и еще краснее, потому что он уж точно знал, что Сусанна нравится ему куда

больше, чем этому болтуну Лекареву. Все эти взгляды и вздохи вызывали подчеркнуто веселый смех у родных сестер невесты Оли и Тани (брат Владимир старался казаться солидным и в смехе участия не принимал). При столь однобоком оживлении жених Леонид Старшов счел своевременным разыскать невесть куда исчезнувшего тестя. И разыскал…

— Коли рассчитываете на протекцию, то оной я не оказывал, не оказываю и не буду оказывать никому и никогда. Так-с!

— Это прекрасный пример для меня, — тотчас же откликнулся молодой супруг. — Я женился на вашей дочери только потому, что рассчитываю на полагающийся мне свадебный отпуск. Лучше две недели нежиться в кровати с генеральской дочкой, чем валяться в окопах с вшивой солдатней.

Генерал секунду моргал, а потом хрипло расхохотался, задирая бороду а-ля Александр III. После ранения он лишился ноги, приобрел нервный тик и избегал застолий. Поздравив молодых, тут же удалился в свой кабинет, заполненный книгами, табачным дымом и изнуряющими сожалениями проигравшего войну полководца. Совесть ныла сильнее искалеченной ноги, но он жаловался на

ногу и глушил боль водкой.

— И эту войну мы проиграем к чертям собачьим. — Он налил зятю водки, которую втридорога заказывал в ресторанах, так как в нормальных лавках продажа ее была запрещена в связи с военными действиями; это донельзя перенапрягало семейный бюджет, поскольку все — сын, три дочери, прислуга и он сам — жили на отставной генеральский пенсион. — Победа достается тому народу, у которого судьба между жизнью и смертью ставит знак равенства. Надо не только хотеть убивать, но и хотеть умирать, и последнее для победы важнее.

— Я хочу жить, — улыбнулся прапорщик. — Любить вашу дочь и время от времени дарить вам внуков.

— Бедная Россия, до чего же ты быстро состарилась. — Генерал хлопнул изрядную толику водки и пожевал собственную бороду. — Ты думаешь, Леонид, зазнайство — признак молодости? Зазнайство — признак дряхлости: когда мы были юны, мы уважали силу шведов и восторгались гением Наполеона. А потом стали вопить, что закидаем япошек шапками, и получили Мукден и Цусиму. И в этой войне мы получим и Мукден, и Цусиму, и что-нибудь еще обиднее, но ты по-

старайся оставить мне внука, прежде чем тебя убьют.

Прапорщик Старшов старался две недели, если восторг требует старания. Это были дни и ночи небывалого, немыслимого света и тепла: весна за окнами казалась лишь жалкой копией их страсти. Муж худел и темнел, а жена светлела и светилась и бегала на цыпочках, будто каждое мгновение готовилась улететь: под конец у него вдруг буйно начали расти усы, а ей пришлось срочно перешивать лиф. Каждое утро Варя встречала смехом и щебетанием, в котором было куда больше чувства, чем смысла, а Леонид — пением: именно тогда, в свой медовый полумесяц, он начал петь по утрам и пел всю жизнь, даже в утро собственной смерти.

А потом он уехал. Его провожали всей семьей — генеральской, поскольку родные Леонида жили далеко от города, где сталкиваются лодки на городском пруду. Плакали сестры Оля и Таня, говорил что-то глупое брат Владимир, а хромой генерал и Варя смотрели строго и скорбно, ибо только им открылось вдруг, что поезд, увозящий прапорщика Леонида Старшова, идет не на фронт, а в другую эпоху и что фронт — просто долгая пересадка.

3

Мнение, будто Россия — страна равнин, есть географическая мистификация, настолько прочно въевшаяся в сознание людей, что ее исповедует поколение за поколением. Мы, русские, охотно поддерживаем это всеобщее заблуждение из чувства патриотизма, поскольку лишь нам одним ведомо, что страна наша состоит из бесчисленного количества изломанных хребтов, вывернутых скул, вывихнутых рук, вырванных ребер, а выбитых зубов уж и просто не счесть: они засеяли всю Русь, от финских хладных скал до пламенной Колхиды. Об эти зубы тупятся стальные лемеха на самых тучных черноземах, а поезда, скользящие по гладким рельсам, вдруг ни с того ни с сего начинают подпрыгивать и трястись, наехав на очередной череп, позвонок или забытый осколок сердца. Мы обладатели самых разухабистых дорог в мире, будь то в августовской пылище, февральских снегах, весеннем разливе или осенней грязюке; доехать до нас никто не может, да и мы сами с огромным трудом добираемся до заграничных задворок, и всегда только с благословения начальства.

И тем не менее уж какое столетие с грохотом,

звоном и стоном мчатся по Руси поезда. Они взяли разгон задолго до изобретения самого первого рельса, и в этом нет ничего фантастического, если вспомнить слова незабвенного штабс-капитана Лебядкина, что Россия есть игра природы, но не ума. Ее и впрямь никаким умом не понять и никаким аршином не измерить, и чудо не в том, что поезда ее сорвались с тормозов по совершеннейшему бездорожью, а в том, что они никогда не достигнут станции назначения. В этом есть нечто мистическое, чего объяснить я не берусь, но твердо убежден, что никто из моих соотечественников не сомневается в этой чертовщине с момента своего рождения. Да, перед нами и вправду расступаются страны и народы, глядя на нас с изумлением, и мы глядим на них с изумлением, думая при этом: как же, должно быть, уютно никуда не мчаться, не ютиться в общих вагонах, не жевать всю дорогу засохшие бутерброды и не созерцать с утра и до вечера непреклонные физиономии вагонных проводников, считающих себя пастырями только на том основании, что едут они в служебных купе.

И тогда, в пятнадцатом, поезд мчал прапорщиков Старшова, Лекарева и фон Гроссе к месту столкновения с историей Государства Российско-

го. Они начали свой жизненный путь в одном составе, но двоим причудливая судьба уготовила множество пересадок, а всем троим — множество встреч. Это было то редчайшее время, когда параллельные прямые пересекались в реальном пространстве и в реальной конечности, вопреки всем евклидовым постулатам. Друзья покидали Леонида первыми, поодиночке высаживаясь на неизвестных станциях и растворяясь среди серых шинелей в столь же серой неизвестности: сначала Лекарев, сердито ткнувший кулаком в грудь и постаравшийся вовремя отвернуться; потом фон Гроссе, долго, преданно и больно тискавший Леонида. Но места их не оставались пусты: тотчас же появлялся кто-то другой, то ли по своей, то ли по чужой воле ехавший в ту же сторону. А потом пришел черед и Леонида Старшова: поезд изрыгнул его на полустанке и исчез, разбрасывая дымы и искры, а прапорщик, подоткнув шинель под ремень, запрыгал по весенней грязи навстречу собственной судьбе. Она предстала перед ним в виде полуроты усталых, грязных, угрюмых солдат, которых прапорщику надлежало довести до позиций. Он довел их не только до окопов, но и до верного берега, что в те времена значило больше, чем спасение жизни. Путь от окопов

пятнадцатого до митингов семнадцатого определил всю дальнейшую жизнь как его самого, так и его семьи, явившись тем фундаментом, на котором через три десятка лет он начал строить собственный Дом в прямом смысле слова.

— Мне довелось уцелеть, потому что я начал войну влюбленным, — сказал он за полгода до смерти младшему сыну, единственному существу, которому доверял. — На фронте офицер либо любит собственную карьеру — и тогда не щадит собственных солдат; либо себя самого — и тогда прячется за солдатские спины. А я любил твою матушку и больше всего на свете боялся, что она сочтет меня недостойным.

Сегодня мы назвали бы это заслуженным солдатским авторитетом. Но Дед не очень-то жаловал подобные понятия, несмотря на пристрастие к замшелым формам. Может быть, потому, что авторитеты столько раз за его службу меняли окраску, а заряд — с плюса на минус и с минуса на плюс, что он ощущал оскомину от самого слова.

— Все началось с журнала «Природа и люди». Когда мои друзья приехали на свои станции, в поезде началась скука смертная. В карты я умел только проигрывать, на попойки всегда недоставало денег, и я выпросил у попутчика журнал.

И читал его с уважением и простодушием, и ты всегда поступай так, когда будешь читать научно-популярную литературу. Ибо ничто так не облегчает жизнь, как вера в наипростейшие способы ее спасения.

В поезде прапорщик Старшов с особым вниманием читал статью о применении германцами первых газов на Западном фронте. Это был бесхитростный хлор, от которого, как уверяла статья, так просто было бы спастись, если бы французы вовремя подписались на журнал «Природа и люди». Но они не подписались, и смерть их оказалась мучительной, а агония — долгой. И прапорщик, подпрыгивая на второй полке, люто негодовал, не подозревая, что ему самому уготована мучительная смерть от удушья с еще более мучительной агонией.

Негодуя, мы запоминаем лучше, чем любя: не знаю, это всеобщее свойство или индивидуальное, дарованное от природы Леониду Старшову. Он все время думал об этой адской тевтонской выдумке; он про себя произносил горячие филиппики с требованием навсегда запретить столь варварское оружие: он во сне видел ползущие на него клубы желтого дыма и задыхался, репетируя собственную смерть. А наутро заново перечитал

статью «Ядовитые газы — новое злодеяние германцев».

А потом приехал. Выгрузился на полустанке, доложил, получил полуроту и потащился на позиции.

4

«Из действующей армии.
Его Превосходительству
генерал-майору Николаю Ивановичу Олексину
для Варвары Николаевны (лично).
Угол Кирочной и Ильинской, собственный дом.
г. Смоленск».

Получив письмо, генерал, не вскрывая, отдавал его дочери. Варвара тотчас же убегала к себе, зачем-то закрывала дверь, лихорадочно вскрывала конверт и читала всегда стоя. Как на картине Вермеера Делфтского.

«10 мая 15 года.
Письмо № 3.
Варенька, дорогая моя!
Вчера с полуротою солдат выступил на передовые линии. До них еще верст 40, а уж нигде нет ни одного мирного жителя, и канонада уже слышна более или менее ясно. Аэропланы частенько пролетают над головами; в середине дня германский

аэроплан, летевший сравнительно низко, открыл было по нашей колонне пулеметный огонь, но живо удрал, как только появились два наших аэроплана.

А война, оказывается, видна издалека. В том местечке, из которого мы выступили походным порядком, не было германцев, но дальнобойная артиллерия и бомбы, которые сбрасывают с аэропланов, сказали и здесь свое слово. Снесены многие крыши, в стенах — огромные бреши, повыбиты стекла, а по улицам словно кто прошелся чудовищной сохой — так все исковеркано и изрыто.

Не хотел поначалу писать об одном небольшом столкновении, но вспомнил, что дал тебе слово ни о чем не умалчивать. Только, Бога ради, Варенька, не волнуйся: все уже позади, да и случай пустячный.

Вчера перед самым походом вызывает меня к себе командир запасного батальона и предлагает мне включить в состав моей полуроты до пункта назначения вольноопределяющегося нижнего чина Соколова. Глянул я на этого Соколова: ну гимназистик, мальчишка лет шестнадцати! Сероглазый, круглолицый, румянец во всю щеку, а сам тоненький и напуганный. Приказал я этому юнцу от себя не отлучаться, и — шагом марш!

Я — впереди, чуть сзади вольноопределяющийся Соколов, за ним — полурота, а позади нее — мой унтер Семен Масягин, чтобы подгонять отстающих. Вот так и плетемся в жаре, за аэропланами поглядываем да канонаду слушаем.

Через два часа в небольшой роще командую привал. Сажусь, расстегиваю портупею, сапоги долой: блаженствую себе в тенечке. Вдруг слышу крик: „Помогите!“ Женщина кричит, сомнений никаких нет, что женщина, и я босиком, как лежал, на тот крик бросился. Выбежал из кустов и вижу, как здоровенный детина, прибывший после легкого ранения, валяет по земле вольноопределяющегося Соколова. Тискает его, хватает, а головной убор сбил, и я вижу… Нет, Варенька, ты зажмурься, отвлекись и заново читать начни, чтобы представить мое состояние, когда я, вместо юнца гимназиста, увидел коротко стриженную молодую девицу! А тот мерзавец (извини, Бога ради!) уже под гимнастерку ей залез. Что было делать? Вытащил револьвер и пальнул у него над ухом. „Встать!“ Он встал, красный, распаренный, и смотрит дико. „Я, говорит, ваше благородие, выстрелов не опасаюсь, а вот ты их в первом бою поопасайся“. Я и ответить ему не успел, как подбегает мой унтер Семен Масягин да

как двинет этого хама кулаком в физиономию.

Потом разобрались. Девица „Соколов“ оказалась не девицей, а законной супругой командира батальона нашего полка капитана Павла Владимировича Соколова. Настоящее ее имя Полина Венедиктовна, и она всеми правдами и неправдами пробирается к своему мужу. Ты сейчас скажешь, предчувствую, что это пример самопожертвования и великой любви. Марию Волконскую вспомнишь вкупе с Трубецкой, а по мне — безнравственность. Да, да, уважаемая моя женушка, допустить, чтобы тебя тискала солдатня, платить благосклонностью господам тыловым крысам за их разрешения следовать далее — непристойно и в высшей степени аморально.

А с унтером Масягиным я сошелся во взглядах и характерах. Он — человек бывалый, семь месяцев на передовых позициях, заслужил Георгия за личную храбрость. А главное — справедливый и рассудительный и за тем солдатом (его зовут Прохором Антиповым) обещал присматривать.

Вот какое пикантное приключение выпало мне в первый день пребывания на передовых позициях. Не удивлюсь, если война окажется сплошным водевилем.

Ну до свидания, моя дорогая Варенька. Береги себя и всегда помни, как я люблю тебя.

Поклон Николаю Ивановичу, Оле, Тане и Володе. Не начал ли он испытывать желание пополнить собою ряды наивного русского офицерства?

Крепко, крепко целую тебя и твои ручки.

Твой царь Леонид.

P. S. Помнишь, как ты шепнула мне во мраке прекраснейшей из ночей: „Ты — мой царь Леонид…“ Я этого никогда не забуду, клянусь тебе, любимая. И еще клянусь, что, уж коли ты избрала меня царем Леонидом, я скорее умру, чем пропущу врагов сквозь Фермопильское ущелье.

Сейчас полночь. Я сижу в землянке своего командира роты поручика Незваного Викентия Ильича и заканчиваю это письмо при огарке свечи, целуя черные кудри твои.

А впереди — война».

Да, впереди была война, но в первую ночь прапорщику Старшову так и не удалось уснуть в ее липких объятьях. Закончив письмо, он лег, укрылся шинелью и до утра думал о том, что его непременно убьют в первом бою. Он презирал себя за трусость, не подозревая, что всякий мужчина испытывает изнуряющий, неописуемый, почти мистический ужас два раза в жизни: перед

первой брачной ночью и перед первым боем.

5

Дед провел с немцами три войны: мировую («германскую») в качестве офицера царской армии; революционную в качестве командира Красной армии и Великую Отечественную в качестве офицера Советской армии. Столь богатый опыт, накопленный одним поколением под разными вывесками, не мог в конечном итоге не вылиться в некие закономерности. Выйдя в отставку в сорок шестом, Дед начал не только строить Дом в прямом смысле, но и писать нечто вроде Памятки для будущей четвертой войны. Писал он ее кратко и столь искренне, что, несмотря, по крайней мере, на две победы из трех возможных, назвать ее следовало не «Наука побеждать», а «Наука не быть побежденным». Вывод озадачил Деда, почему он, основываясь, правда, уже на ином опыте, сжег свое творение, подобно Николаю Васильевичу. Случайно уцелел клочок, половина листочка, которую я и приведу здесь так, как когда-то написал Дед. Слово в слово:

«1. Немцы никогда не стремились к захвату

территории как таковой, но всегда рвались к высотам. Следовательно, первую закономерность можно сформулировать так:

„Мы — в низинке, немец — на вершинке“.

2. Немцы никогда не стремились, условно говоря, „перевыполнять план“: если было приказано занять деревню, они, заняв ее, в ней и закреплялись, не преследуя нас. Отсюда вторая закономерность:

„Мы — в чистом поле, немец — в теплой хате“.

3. Немцы избегали ночных боев, справедливо полагая, что в темноте офицерам трудно командовать, а солдатам — исполнять команды, что, в свою очередь, всегда ведет к бессмысленным потерям. И третья закономерность звучит так:

„Мы — воюем, немец — спит“».

Тогда, в мае пятнадцатого, до этих формулировок было еще далеко, но рота, в которой служил прапорщик Старшов, оказалась в самой что ни на есть низине из низин. Она занимала позиции на Варшавском направлении возле реки Равки на макушке Болимовского выступа. В окопах хлюпала грязь, ноги были постоянно мокрыми, озноб колошматил, невзирая на чины и звания, а розовые, как ветчина, немцы, скинув мундиры, блаженствовали на солнышке, которое загля-

дывало в русские окопы только на сорок три минуты, как установил прапорщик Старшов в первый же день своей трехступенчатой германской войны.

— Простудим солдат, Викентий Ильич, — озабоченно сообщил он свои выводы командиру роты. — Может быть, испросив разрешения, вышибить противника с господствующей высоты?

— К праотцам захотелось? — усмехнулся Незваный. — У германцев четыре пулемета, а у меня сто тридцать восемь «ура!» да два наших с вами нагана. Лучше жить с бронхитом, чем лежать убитым: преподношу вам, прапорщик, основную заповедь этой вшивой войны. Запишите в книжечку.

Ни в первый, ни во второй, ни даже в третий день никаких боев не случилось; прапорщик осмелел и деятельно исследовал все, что доступно было исследованию: периодичность смены германских пулеметчиков и розу ветров; расстояние до характерных ориентиров и длительность рассветных туманов, что тянулись от реки Равки; содержание солдатских каш и влияние фаз луны на извечное солдатское желание дрыхнуть. Он почти уже вывел формулу, но тут сменился ветер, и исследования пришлось прекратить.

— Ветер действует на солдатские нервы, — сообщил он ротному.

— Вас убьют в первом бою, Леонид, — зевнул Викентий Ильич. — Уж не посетуйте на предчувствие. Во-первых, нервы у нижних чинов уставом не предусмотрены, а во-вторых, передовая не выносит гумбольдтов, дарвинов и всяких там аристотелей.

— Но вы же сами скверно спите от этого ветра, — не унимался упрямый прапорщик.

— У меня ноги болят, — впервые по-человечески просто признался ротный. — Я ведь из осколков армии Самсонова. Набегался по болотам.

Тот день, на который судьбою было возложено личное клеймо с именем прапорщика Леонида Старшова, начинался на редкость уныло. Западный ветер лениво волочил обрывки речных туманов на отсыревшую роту. Первые солнечные лучи уже касались германских окопов, но в низине было по-прежнему глухо и мрачно, и невыспавшиеся солдаты материли противника с особой, завистливой злостью. А поскольку германец, вопреки обыкновению, начал шебуршиться спозаранку, задолго до завтрака, то все, кто топтался в гнилых окопах, любознательно на

них пялились.

— Гля-ко, туман вроде загустел.

— И будто течет, а? Будто тяжелый.

— Чего-то он какой-то зеленый вроде, братцы…

— Не, желтый он.

— Бурый, дура, — солидно поправил унтер Масягин и покосился на хмурого ротного. — Туман вроде как крашеный ползет, ваше благородие.

Поручик хотел ответить сразу, но не успел: рот свело вялой утренней зевотой. Пока он управлялся с нею, из землянки вылез Леонид.

— Доброе утро, господа.

— Дымовая завеса, — совладав наконец-таки с челюстями, сказал ротный. — Германцы решили дымовой завесой побаловаться, видите, прапорщик? Учение, что ли…

Прапорщик не ответил. Он уже видел однажды эти тяжелые, медленно и неотвратимо стекающие в низину желто-зеленые, переполненные смертью клубы, но спросонок никак не мог вспомнить, где же он их видел. А это почему-то представлялось невероятно важным, прямо-таки жизненно необходимым, и он напряженно вспоминал, тупо уставясь на ползущие, завивающиеся языки… «Сон! — вдруг осенило его. — В поезде я видел во сне газовую атаку…»

— Газы! — Кажется, он крикнул, если можно кричать шепотом. — Это газовая атака, Викентий Ильич. Отводите роту.

— Что вы плетете? Какие, к черту, газы, когда я почти год воюю и никаких газов, кроме…

— Хлор! — Забыв о субординации, прапорщик двумя руками схватил поручика за отвороты наброшенной на плечи шинели и затряс так, что голова Незваного заболталась, как недозрелая груша. — Уводите людей. Смерть. Удушье. Как только до нас доползет, всем нам конец. Конец! Спасайте людей!

— Ку…да? — с трудом вымолвил ротный, поскольку его помощник продолжал вдалбливать идею посредством взбалтывания. — Оставь т…трясти, черт…

— Как можно дальше! Как можно дальше, пока подъем не начнется.

— Рота, слушай команду! Бегом в тыл! Бегом!..

Солдаты покинули окопы, в общем, организованно и без всякой паники, а скорее с усмешкой: «Ну дают господа офицеры!..» Сам Дед и по прошествии времени не мог вспомнить, сколько верст он драпал от желтого германского облака. Сдавалось ему, что много, но он всегда точно помнил, что обратный путь оказался короче.

— Охранение! — вдруг закричал Масягин. — Охранение забыли!

В панике (а скорее не в панике, а в несерьезном к ней отношении, что тоже есть одна из сторон паники) напрочь забыли о четырех солдатах, еще затемно выдвинутых в передовые секреты. Кто, как, почему — выяснять было некогда: прапорщик Старшов сорвал с себя портупею вместе с оружием, гимнастерку, нательную рубаху. Он совал эту скомканную, волглую от пота рубаху солдатам и кричал, а его не понимали:

— Мочитесь на нее. Мочитесь. Мочитесь!

Наконец сообразили. Он стиснул мокрую рубаху в руке и, полуголый, помчался обратно. Навстречу неотвратимой смерти, медленно наползающей на позиции. К забытым солдатам.

Это так ему тогда казалось, так оно было на самом деле, так все и воспринимали. Но существовала и другая, невидимая и тоже неотвратимая, как смерть, сторона этого порыва: двадцатилетний Дед бежал тогда навстречу собственной судьбе. Не думая об этом, не зная, не гадая и не выбирая.

Когда прапорщик добежал до оставленных ротой окопов, первые волны газов уже были совсем рядом. Он почувствовал жжение в горле,

нехватку воздуха и резь в глазах, прижал ко рту мокрую рубаху и, задыхаясь, лихорадочно заспешил дальше, к секретам, что были выдвинуты вперед. Эта сотня саженей дорого досталась ему: внезапные приступы кашля не оставляли уже до смерти, да и умер-то он от того же удушья, от которого гибли все его сверстники, счастливо избежавшие сабель, пуль и осколков. По щекам ручьями текли слезы, он блуждал в ядовитых парах и никак не мог найти своих солдат. «Я выл, — скупо признался он через шесть десятков лет. — Знаешь, как воют перед смертью? Выл и искал». И нашел все по тому же судорожному, раздирающему грудь кашлю.

— Снять рубахи! Обмочить! Дышать только сквозь материю!

От волнения, опасности, приступов кашля и слез он не видел тех, кого спасал. Что-то красное, натужно кашляющее, в слезах, в мокроте, в соплях…

— Снять рубахи! Снять! Обмочить!

Он наглотался газов, растворенных в тяжелом речном тумане, больше всего тогда, когда втолковывал им, уже плохо соображающим, уже обреченным, обессиленным, растерянным, как можно спастись. Он умирал вместе с ними, и

через два года именно это переважило все его золотые погоны.

— Дышать только сквозь ткань!

Уже за второй линией своих окопов, когда вырвались из ядовитых речных туманов, а склон начал заметно повышаться, солдаты попадали на землю. Он кричал, угрожал, просил, умолял и снова угрожал, но поднялись они тогда, когда прапорщик в ярости начал бить их ногами.

— Знаешь почему? Я верил, что только бурное дыхание очистит наши легкие.

— И ты бил, отец? Бил измученных, отравленных, ослабевших солдат?

— Еще как! — самодовольно признался Дед. Он гулял по госпитальному саду вместе с младшим сыном, через каждые семь-десять шагов заходясь в изнуряющем кашле. На следующее утро ему суждено было умереть, но сын не знал об этом, а Дед знал.

— А старшим, знаешь, кто оказался? Тот мерзавец Прохор Антипов, что пытался изнасиловать дуру-суфражистку…

Тогда прапорщик все же поднял солдат и снова погнал, не давая ни малейшей передышки, пока не добежали до своих. Там попадали. Все пятеро.

Через месяц прапорщик вернулся из лазарета

целым и невредимым, только иногда покашливал ни с того ни с сего. А еще через полтора месяца был востребован в штаб полка, где представитель Думы георгиевских кавалеров в присутствии офицеров штаба вручил прапорщику Леониду Старшову первую боевую награду — орден Святого Георгия Победоносца четвертой степени.

— Сто пятьдесят рублей годового пенсиона и право ношения мундира в отставке — это, брат, не шутка, — говаривал он, посмеиваясь в седой ус. — И чего я, дурак, его в двадцать втором году сдал, спрашивается?

И остался в награду кашель. Навсегда.

Глава вторая

1

Генерал глядел в исчерченную стрелками карту Маньчжурии, жевал бороду и невесело размышлял о роковой инертности русских штабов. Чем выше штаб, тем больше неповоротливости. Бумаг прорва, дела нет. Ведь стоило тогда вовремя доложить…

— Варвара Ивановна пожаловали! — крикнула из-за двери Домна Фотиевна, или, по-домашнему,

Фотишна.

— Варвара? — Николай Иванович поспешно одернул домашнюю куртку, заковылял к дверям. — Зачем? Почему вдруг? По какому вопросу?

Он с детства побаивался старшей сестры, заменившей ему мать в те давние-давние времена. Потом, правда, появилась тетушка Софья Гавриловна. Варя уехала ловить свое счастье, но как внезапная смерть матери, так и властная рука Варвары запали в память навсегда. Не страхом, а благодарностью: даже среднюю дочь (вторую, здоровенькую) он назвал в честь старшей сестры: Варвара Ивановна была весьма польщена, приехала на крестины вместе с супругом Романом Трифоновичем Хомяковым (он тогда еще был жив…).

— Варя? Что случилось?

Сестра заметно постарела после смерти мужа. Впрочем, Варвара всегда выглядела так, словно только что постарела: и в двадцать, и в шестьдесят. Но то — изнутри, а ныне изменения коснулись внешности: она стала рыхлой, одышливой и какой-то смиренно готовой к очередным несчастьям, несмотря на все еще вызывающе прямую отцовскую спину. Она троекратно рас-

целовалась с братом и отстранилась, не снимая руки с его плеча. Точнее, отстранила его:

— И ты пьешь?

— Это звучит, как «и ты, Брут!» — улыбнулся Николай Иванович. — Нет, я не пью, не беспокойся. Просто все мои лекарства отныне на спирту, отсюда, пардон, амбре.

— Амбре, — недовольно повторила Варвара Ивановна, усаживаясь. — Как дети? Знаю, что моя крестница счастливо вышла замуж, но после кончины Романа Трифоновича я никуда не выезжаю: на мои плечи легло столько забот. Вы получили телеграмму с поздравлениями?

— И телеграмму, и подарок. Варя очень благодарна тебе.

— Пустяки. Я была одинокой в молодости и оказалась одинокой в старости: сыновья мои не могли выбраться из Парижа из-за боевых действий даже на похороны собственного отца. Странную судьбу мне уготовил Господь.

Николай Иванович сочувственно покивал, отметив про себя, что сестрица-миллионщица называет эту идиотскую войну всего лишь «боевыми действиями» даже в столь горестном случае.

— Письма от них идут ко мне через полсвета. И

когда же все это кончится?

Вздох был фальшивым, и генерал разозлился: «Врешь, ты не хочешь мира! Ты хочешь денег, денег…» И сказал весьма недовольно:

— Ты приехала посоветоваться со мной относительно окончания войны? Узнай лучше у Федора: он ближе к царю.

Варвара Ивановна молча полоснула его недобрым взглядом. Достала из ридикюля телеграмму, бросила через стол:

— Прочти.

Генерал развернул: «ДОРОГАЯ СЕСТРА Я СЕМЕЙНОЕ НЕСЧАСТИЕ И НЕТ МНЕ ПРОЩЕНИЯ ВЫСОКОЕ ПРОДАНО МОЧУЛЬСКОМУ ИВАН».

— Он продал наше Высокое?

Николай Иванович нечасто бывал в семейном имении, молчаливо признав, как, впрочем, и остальные, что право прямого владения принадлежит тому, кто там постоянно живет, то есть ушедшему со службы Ивану Ивановичу. Но при этом не представлял, что когда-нибудь дом и сад его детства уйдут в чужие руки. Слишком многое связывало с той землей всех Олексиных, слишком многое…

— Давным-давно, когда ты ходил в начальные классы гимназии, а Иван ее заканчивал, я обна-

ружила его пьяным. Он только что вернулся от какой-то девки и влез в окно. В старом доме, на Кадетской, который тетушке пришлось продать за долги.

— Я не хожу по той улице, — сухо доложил генерал.

Варвара Ивановна понимающе покивала. И вздохнула:

— Таковы были цветочки. Он, что же, окончательно спился?

— Я давно не видел Ивана: мы крупно повздорили два года назад. Но если судить по этой телеграмме…

Вошла Фотишна. Даже она, фактическая домоправительница, испытывала необъяснимый страх в присутствии Варвары Ивановны Хомяковой.

— Чай подан.

— Сначала дела, — отрезала Варвара Ивановна. — Ступай. — Дождалась, когда Фотишна закроет дверь, пояснила: — Я еду к Мочульскому. Иван продал не только наше имение, он продал наши могилы. Два креста из белого мрамора. Ты помнишь мамины похороны?

— Я все помню, — сказал Николай Иванович. — Даже разговор на веранде. Иван тогда увел нас,

младших, но я был старше этих младших.

— Старше тебя был Георгий, — тихо поправила Варвара Ивановна и перекрестилась.

— И тем не менее я помню, как ты ратовала за единство семьи.

Он сказал эти слова без всякой задней мысли: просто с горечью припомнив, что было время единения. Но Варвара Ивановна услышала в них упрек и не просто покраснела, а апоплексически налилась кровью.

— Благодари эту Елену, эту маркитантскую девку, которую твой братец приволок в наш дом: у него всегда была страстишка выискивать непременно что-то самое грязное. Она неплохо отблагодарила нас всех…

— Да при чем тут Лена…

— Непорядочные люди неспособны даже на благодарность, — отчеканила старшая сестра, вставая. — Я — к Мочульскому.

— Елена имела право влюбиться в кого угодно, — упрямо продолжал Николай Иванович. — В данном случае Ивану просто не повезло.

— Я ночую у тебя. — Варвара Ивановна привычно не слушала младших, когда не желала их слышать. — Распорядись доставить мой багаж и, будь любезен, повремени сегодня с обедом.

Она вышла столь стремительно, что генерал не успел встать, чтобы проводить ее. И остался сидеть, слушая, как за окнами зацокали копыта рысаков наемного экипажа. Ему стало грустно и горько, но не из-за свидания с сестрой и даже не из-за выходки спившегося с круга брата, а от воспоминаний. О детстве в этом старом городе, но в другом доме, проданном за долги, мимо которого он старался никогда не ходить, хотя новый дом оказался совсем рядом со старым. А старый продали тогда, когда Хомяков приехал с войны полным банкротом. Варвара, сыграв в Смоленске скромную свадьбу, укатила вместе с ним, и тетушке пришлось выкручиваться самой. А в доме за старшую оставалась привезенная с войны Леночка. Это для Варвары она выглядела маркитантской девкой, а для них — богоданной, живой, черноглазой сестричкой, в которую они все были влюблены — и он, и Георгий, и вернувшийся с боевыми наградами ее спаситель Иван. Только они влюблялись по-мальчишески, а Иван все делал очень серьезно. Он вообще был очень серьезным и основательным: закончил в университете, подождал, пока Леночка подрастет, и лишь тогда сделал официальное предложение. Она приняла его, и полгода они считались

женихом и невестой, а потом Лена совершенно неожиданно и необъяснимо уехала из их дома, а Иван начал метаться по службам и пить, пить и метаться, пока из этих двух деяний не избрал одного. Оставил службу и осел в Высоком, а Лена так и затерялась в бесконечных провинциях гигантской империи. Генерал тяжело вздохнул, тяжело поднялся, тяжело захромал в привычный кабинет.

Он открыт дверь и замер: у его стола сидел высокий, худой и, что выглядело абсолютно несуразным, сутулый старик в старомодном поношенном костюме, с костлявой лошадиной физиономией и редкими желтовато-седыми волосами.

— Иван?

— Извини, брат, — потухшим голосом сказал Иван Иванович, который был всего-то на четыре года старше, а уже выглядел стариком. — Ждал, когда наша мегера уйдет. А сюда меня Фотишна провела. Мы не обнимемся?

— Я читал твою телеграмму, — сказал Николай Иванович, обходя стол с другой стороны.

— Понятно. А выпить нет ли? — Иван Иванович зябко передернул плечами, зябко потер руки. — Мне все равно, что дашь, все равно.

— Опять запьешь, Иван.

— Муторно, — тихо и покорно вздохнул брат. — Не на душе, нет. Жить муторно, Коля. Не хочется. Я, наверно, повешусь.

— Дурак, — по-генеральски пророкотал Николай Иванович, доставая бутылку и рюмки. — А ведь был Ваня. Надежда семьи.

— Водка? — Иван Иванович осклабился, обнажая редкие и совершенно уж лошадиные зубы. — Казенная? Хорошо русские генералы живут, хорошо. А я самогоночку пью, мне баба варит. Жалостливая, жалеет меня. — Задрожавшей рукой он схватил наполненную братом рюмку, торопливо выпил, давясь и всхлипывая. — Чудо! Чудо! Самогонка — дрянь, а я, знаешь, как пить приловчился? Я ведь, брат, химик, да, химик. И я самогонку с шампанским мешаю. Папочку с мамочкой, так сказать.

— Перестань ёрничать, Иван, — тихо сказал Николай Иванович.

— Перестал, перестал. — Иван Иванович поспешно покивал головой, сказал вдруг совсем иным, прежним, уж и им-то самим почти позабытым тоном: — Гавриила во сне видел, первый плод с древа нашего. Самый скороспелый и самый зрелый плод. Часто вспоминаешь его, Коля?

— Нет, — вздохнул генерал. И виновато добавил: — Я почти и не помню его.

— Я подразумевал не воспоминания, а думы. Он своим выстрелом думать нам завещал. Не только близким, а всем русским порядочным людям.

Иван Иванович замолчал, умоляюще, но бегло, искоса поглядывая на брата. Со значением погладил рюмку уже твердыми, недрожащими пальцами, кашлянул выразительно.

— Знаешь, а я мартиролог нашей семье составил. Вот если нальешь еще рюмочку…

Генерал наполнил рюмки, вздохнул неодобрительно:

— Дурацкая у нас семья.

— Не-ет, — несогласно протянул Иван Иванович и мягко, застенчиво улыбнулся. — Извините, ваше превосходительство, но я когда-то кое-что читал, кое о чем думал и кое-что знал. Я закончил в университете и прослушал трехгодичный курс в петербурж… ах да, теперь приказано обрусеть… в петроградской техноложке. Я и в университете, и в техноложке проходил первым номером, я очень старался, Коля, я втемяшил себе в башку, что меня непременно полюбят за мой разум и мои знания. И, знаешь, отчего я пью? Я выжигаю разум самогонкой.

Он торопливо опрокинул рюмку в заросший рот, и генерал отвернулся, незаметно смахнув слезинку.

— Ах, Ваня, Ваня…

— Пролил, — сказал Иван Иванович, перевернув пустую рюмку и дурашливо улыбаясь. — И не хватило на семейный мартиролог.

Николай Иванович молча налил ему еще. Брат, посерьезнев и погрустнев, принял рюмку спокойно, с неторопливым достоинством.

— Начнем с матушки нашей, Коля: ты помнишь ее лицо? Нет, ты был еще очень мал, а я — помню. На ее щеках остались точечки, потому что она упала лицом в землю. Она поклонилась земле за всех нас, потому что была крестьянкой и твердо веровала, что все — оттуда, из земли. А батюшка рухнул навзничь, глядя в небо, как и положено потомку честных воинов, ибо знал, куда должен обращать взор свой человек чести и долга. И эти два последних взгляда наших родителей радугой сияют над нами, их детьми…

— Хороша радуга, — угрюмо перебил генерал.

— Да, не для веселья, а для раздумья, осеняя, а не развлекая. — Иван Иванович важно поднял длинный, сухой палец. — У русской интеллигенции отец — дворянин, но мать все-таки крестьянка,

и об этом никогда не следует забывать, ибо в этом сокрыты и ее долг, и ее проклятье. Русская интеллигенция оказалась в ответе за все — от земных нужд до небесных мечтаний, от прошлого до будущего, от чести государства до бесчестия государя. И наша семья — живая тому картина. Пойдем сверху вниз не только потому, что Гавриил старший по возрасту, а потому, что чаша, кою испил он, оказалась самой весомой.

Иван Иванович замолчал. Похмурился, посмотрел на рюмку, окунул язык в водку, но пить не стал и рюмку отодвинул.

— Пей, если хочешь, — вздохнул младший. — Я тебе еще налью.

— Я не пьяница, Николай, — строго сказал старший. — Я болен, я просто очень болен, и тебе вскорости придется отвезти меня в психиатрическую лечебницу. Но продолжим. Итак, лощеный офицер, пшют и фат, фразер и позер в считанные месяцы вырастает до понимания, что не только моя честь есть честь государства, но и бесчестие государства есть мое бесчестие. И, искупая это всеобщее бесчестие, пускает пулю в сердце. Не думай, что я сочиняю: князь Цертелев рассказал об этом Федору. Пойдем далее. Народник, один из основателей коммуны в Америке, принципи-

альный атеист, чудом не поплатившийся за свои убеждения жизнью, ныне является идеологом толстовства, жрет сено с соломой и уныло проповедует непротивление злу. Как ты уже догадался, я говорю о Василии, совершившем кульбит, обратный смертельному броску Гавриила.

— Ты забыл о Владимире.

— Я помню Володю, но его отважная гибель — иллюстрация к общему, частность, а не сущность. Погибнуть на дуэли за честь девушки — благородство, но благородство естественное, как спасение утопающего, так сказать, благородство масштаба один к одному… Ты помнишь Таю, из-за которой он встал под пистолет? Она мне очень нравилась когда-то. Когда я был влюбчив. — На сей раз он глотнул водки и нервно потер ладонью о ладонь. — Где Тая, там и Маша, а Маша бросилась на бомбу, предназначенную для губернатора.

— В губернаторских санях ехали дети.

— Ехали дети, и Мария закрыла собственную бомбу собственным телом: поступок, характернейший для русской интеллигенции. Сначала мы бросаем бомбы, а потом сами же падаем на них — браво, господа, браво, подобный поступок никогда не придет в голову ни тевтонам, ни галлам, ни британцам. Британцам, сказал я? Тогда впишем

имя Георгия, отставного капитана русской армии, командира отряда волонтеров в далекой Африке, павшего в бою от британской пули и с почестями похороненного в столице Бурской республики. Трансвааль, Трансвааль, страна моя… Прекрасные жизни и прекрасные смерти вписываются в радугу, Николай. А вот последующие — не вписываются. Гордая эмансипе Надежда умудряется попасть в ходынское столпотворение, уцелеть телом и погибнуть душой: тоже ведь поэма, брат, да еще какая! А Федор, начинавший едва ли не нечаевцем, а кончивший полным генералом и любимцем покойного государя?

— Его дочь, увы, на каторге.

— Я не исследую второе поколение, брат. У нас еще есть Варвара — не твоя дочь, а наша сестра, — ставшая миллионщицей и ханжой. Я, пропивший родное гнездо, и ты, проигравший свою войну, — что, мало?

— И каков же твой вывод? — спросил Николай Иванович, помолчав.

— Вывод? — Иван Иванович посмотрел на него пьяненькими, красными, слезящимися глазками. — Вывод каждый порядочный человек обязан делать самостоятельно, только выродки и холопы жаждут выводов со стороны.

— Я холоп! — сердито буркнул генерал. — Я жду пенсий и выводов.

— Вывод справедлив, как приговор: путь под радугой приводит к гибели лучших. Оставшиеся преуспевают или спиваются в зависимости от коэффициента собственного достоинства. Вот! — Он неожиданно вскрикнул: — Коэффициент собственного достоинства определяет личную порядочность человека, брат. Эта мысль…

Приоткрылась дверь, в щели показалось озабоченное лицо Фотишны.

— Кричите, а Варвара Ивановна едут. Я вас, Иван Иванович, садом провожу, там калитка есть.

— Да, да! — Старший брат торопливо вскочил, поблекший, растерянный, ссутулившийся. — Прощай, Коля, прощай. Коэффициент собственного достоинства, а?

— Обожди! — Генерал шагнул к шкафчику, достал две бутылки казенной водки и, конфузясь, протянул брату.

2

Как раз в то время, когда прапорщик Старшов зарабатывал пожизненный кашель, его супругу Варвару Николаевну, Вареньку, потянуло

на солененькое, слезы и обиды. Из суеверных соображений, мужчин — то есть отца, мужа и бестолкового брата — в эти обещающие странности не посвящали, но женское окружение — сестра Оля, крепыш-подруга Сусанна и прислуга за все (она же домоправительница) Фотишна — обсуждало назревающие события горячо, подолгу и с удовольствием.

— Тащи три карты. Коли две красных — девочка, коли две черных — мальчик.

Варя таскала, но никто ни к какому выводу прийти не мог, потому что карты упорно предсказывали раз — одно, раз — другое. И за всей этой суматохой, гаданьями, огурчиками, секретами и прочей женской кутерьмой забыли про самую младшую. Про Таню, только-только закончившую в Мариинской гимназии. Она всегда была хохотушкой и трещоткой, но в последние дни примолкла. И пока Варенька решала вопрос, когда сообщить батюшке о некоторых надеждах, явилась в прокуренный кабинет вместе с полуночным боем часов.

— Татьяна, — отец скорее констатировал факт, чем удивлялся ему.

— Мне надо поговорить под большим секретом, — понизив голос, сказала младшая. — В

нашей семье все болтуны, даже Володя, а у меня будет ребенок.

Выпалив это девичьей скороговоркой, дочь замолчала, и наступила тишина, поскольку генерал молчал тоже. Вообще-то он соображал достаточно быстро, но в предложенной ситуации растерялся бы и самый сообразительный человек. Перед ним стояла не только самая младшая, но и самая некрасивая из всех его детей: дочь в несколько уменьшенном масштабе копировала его самого, являя собой шестнадцатилетнее существо женского рода с лошадиным, уже сейчас генеральским лицом и широкой мужицкой спиной. Он всегда жалел, что не сын, а Татьяна продолжила его породу, а потому и любил ее больше остальных.

— Это у Вари будет ребенок, — объяснил он, признаваясь тем самым, что в их семье болтунов и впрямь было предостаточно.

— У Вари и у меня. Слава богу, если мальчик и девочка.

Перед генеральскими очами засверкало что-то вроде полудюжины самурайских мечей. Чтобы вернуть нормальный взгляд на жизнь, пришлось открыть шкаф и выпить водки.

— Ты хотя бы в общих чертах представляешь,

от чего бывают дети?

— Их приносят аисты. — Дочь потыкала в свой еще совершенно невидимый животик. — Он безотцовщина, понимаешь? На тебя будет указывать пальцем весь город.

Николай Иванович сел, озадаченно покусывая бороду. Дочь стояла свободно, не шевелясь и не напрягаясь, как совсем еще недавно их учили стоять строгие классные дамы. В лице ее не читалось ни растерянности, ни стыда, ни страха: она глядела на него его же глазами и терпеливо ждала решения.

— Подожди, подожди, ни черта не понимаю… — Он начал растерянным бормотанием, а кончил беспомощным криком: — Но он же был?! Этот. Аист.

— Улетел, — кратко пояснила Таня. — Кроме того, он обвенчан со своей аистихой.

— Теперь тебе ясно, почему умерла мама? Она просто дезертировала, а я изволь разбираться. Как, как ты могла?..

— Ох, папа, не надо, — очень серьезно, как взрослая ребенку, сказала дочь. — Ты же не госпожа Вербицкая, правда? Лучше объяви всем, что у твоей дочери чахотка, а меня отправь в Высокое, к дяде Ване, хотя это звучит странно.

— Иван пьет. Самогонку.

— Да? — Таня на мгновение задумалась. — Тогда «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов».

— Куда?

— Есть же у меня тетка, у которой мы гостили прошлым летом. Как ее… Руфина Эрастовна, что ли? Ну та, у которой дядя умер… то есть муж. У нее имение по Киевскому шоссе.

— В Княжое! — Генеральский палец уперся в грешницу, как в стратегический пункт, который надлежало оборонять. — И то, что у нее нет детей, есть наше боевое преимущество.

— Пиши письмо тете Руфине. Меня нужно отправить поскорее, а то в доме слишком много женщин.

— Я это уже чувствую, — сквозь зубы проворчал отец, садясь к столу. — В качестве дезинформации противника используем чахотку.

— Это мужчины верят в любую чушь, а женщинам нужны доказательства. И если мы затянем, они их получат, но совсем про иное.

На другой день Таня начала покашливать, жаловаться на недомогание и отсутствие аппетита. Освидетельствовавший ее доктор — между прочим, старый друг семьи и отца — заподозрил начинающийся туберкулез легких; через неделю

Татьяна уехала к дальней родственнице Руфине Эрастовне Слухачевой в село Княжое, генерал вздохнул с облегчением, но семья уже выбилась из колеи и, ковыляя, скрипя и вздрагивая, потащилась по неизведанной дороге. И главная опасность таилась не в том, что одновременно забеременели две дочери — законно и дерзновенно, — и даже не в том, что шалопай и болтун Владимир глупо проигрался в пух и прах в какой-то темной компании, а в случайном знакомстве старшей дочери Ольги. И то и другое важно для дальнейшего, ибо влияло на судьбы семьи, хотя далеко не в равной степени, а потому все следует рассказывать по порядку.

Более всего Владимир любил вращаться, а менее всего — что-либо делать. Окончив два года назад гимназию и год кое-как перестрадав в Московском университете, он вернулся домой с твердым намерением нигде более не учиться и не служить, но исправно получать жалованье. Занятый мучительным анализом проигранных сражений, генерал, не раскусив наследника, пристроил его в канцелярию губернатора по доброму знакомству. Здесь за что-то платили, обещали чины и освобождали от службы в армии, но главное, новое положение давало возможность

вращаться. На балах, раутах, вечерах, благотворительных базарах, в домах, салонах, гостиных, клубах — словом, в центре губернского города. И Владимир, с грехом пополам заучив дюжину бородатых анекдотов, кучу затертых шуточек, набор комплиментов и три особо модных стихотворения, с упоением вращался, не досаждая отцу просьбой о деньгах, но и ни копейки не отдавая в дом из своего чиновничьего заработка. Фотишна ворчала, генерал ругал командующего 2-й армией Каульбарса, опоздавшего в решительный момент Мукденского сражения, сестры мечтали о том, чтобы влюбиться без памяти, и Владимир был счастлив. Ежевечерне он околачивался то в Благородном, то в Дворянском, то в Военном собраниях, но вскоре особенно возлюбил Купеческий клуб. Здесь, среди подгулявших купчиков, он чувствовал себя куда увереннее: слыл остроумным, образованным и неотразимым. А потом познакомился с не очень определенными людьми, куда-то поехал с пьяных глаз и где-то с тех же глаз проиграл около пяти тысяч, которых у него отродясь не было, да и быть не могло.

— В армию! — гаркнул генерал, одолжив деньги у губернатора. — На передовую! Немедля!

Владимира сунули вольноопределяющимся в

запасной полк, и он тихо исчез, испуганно шепнув в приоткрытую дверь кабинета: «Прощай, папа». Генерал слышал, и то, что единственный сын сказал «прощай», а не «до свидания», причинило ему боль, но он даже не кивнул в ответ. Владимир, при всей тогдашней пришибленности (а может быть, как раз благодаря ей), запомнил это отцовское небрежение и через пять лет взял реванш. Но эти пять лет надо было еще прожить, учитывая их особую, ни с чем доселе не сравнимую протяженность.

— Кучнов Василий Парамонович, дозвольте представиться.

Перед Николаем Ивановичем стоял кургузый господин лет тридцати, с длинными и вроде бы даже смазанными конопляным маслицем волосами, но — бритый и во вполне европейском платье. Его приволокла в дом старшая, которой уже перевалило за двадцать пять, и выбирать было некогда.

— Мукой, что ли, торгуете? — неприязненно предположил генерал.

— Никак нет. Батюшка торговал железом, скобяным товаром и орудиями труда. Фирма «Кучнов и сын». Я — сын. Осиротел.

— Василий Парамонович вдовый, — с медовой

тоскою в голосе пояснила вдруг Ольга. — И есть сыночек Петя. Очаровательное создание, папа. Очаровательное!

— Ясно, — сказал генерал, потоптавшись. — Кучин сын. И не мукой.

И почему-то особенно остро вспомнил об окопном офицере, прапорщике Леониде Старшове, хотя, как вскоре выяснилось, вспоминать следовало о беспутной Татьяне.

— Прошу, — сказал. — К столу. А у меня — живот. Доктор диету прописал, не обессудьте.

— Варя тоже капризничает, так что мы вдвоем пообедаем, — обворожительно улыбнулась Ольга, но при этом так полоснула отца взглядом, что тому опять замерещились самурайские мечи.

3

Порою генерал-майору в отставке Николаю Ивановичу Олексину представлялось, что его такой привычный, такой объезженный век вдруг закусил удила и помчался, не ведая цели и не разбирая дороги. Течение века обгоняло течение его жизни: у них не совпадали не только годы, но и секунды, и генерал физически чувствовал, что отстает. Сперва он связывал это непонятное ускорение времени с позором русско-японской

войны, с Цусимой, Порт-Артуром и Мукденом, с тысячами понапрасну загубленных жизней и потным, старческим бессилием России. «Но Куропаткин-то, Куропаткин? — мучительно думалось ему. — Скобелевская школа, хладнокровие, личная отвага, друг семьи, в конце концов, — куда все делось? Куда вообще все девается, куда, в какую прорву ненасытную?» Однако выстрел Гаврилы Принципа и наступивший вслед за ним резкий скол времени, превращение его в иное качественное состояние, в ЭПОХУ, сбило Николая Ивановича с толку. Он по привычке все еще ковырялся в давно отгремевших сражениях, еще рассылал связных, отдавал приказы и вовремя исполнял вышестоящие указания: он еще терзался невозможностью заново провести бой или хотя бы день, но уже понимал, что играет в некую игру, в некий военный пасьянс в то время, когда Отечество и в самом деле вляпалось в новую бойню, не отмолив старой. Он никогда не был религиозен и, когда иконы помешали новому книжному шкафу, к ужасу Фотишны, выбросил их из кабинета, но при этом считал, что, если существует совесть, значит, существует и грех, а коли есть грех, следовательно, имеется и нечто свыше, но представлял себе это не в виде

Бога, а в виде деятельного Генерального штаба, которому следовало не столько курить фимиам, сколько честно и определенно докладывать обстановку. Короче говоря, в голове Николая Ивановича Олексина существовала полная путаница, вызванная наложением двух войн на одну совестливую душу.

— Современная война не есть война армий, а есть война народов, — рассуждал он с губернатором, которого посещал время от времени по старой памяти: вместе учились в корпусе. — Снаряды рвутся не в мускулистом теле войска, а в безвинном теле народа.

— Настоящая война есть Вторая Отечественная война России, Николай Иванович.

— Спешим, — строго не соглашался генерал. — Спешим, ваше высокопревосходительство. Столь многозначащее название должно употреблять не во времени будущем и даже не в настоящем, а только лишь в историческом аспекте. Слова ныне стали бежать впереди дел.

Дела тоже бежали впереди чего-то — рассудка ли, привычек или приличий? Генерал не пытался понять, но чувствовал, как все бежит и спешит, спешит и бежит не только в вопросах мировой или государственной политики, но и

в обычной семейной жизни. И здесь все стало шустрее, короче, скоротечнее и, главное, проще. Если сам Николай Иванович ухаживал за своей Анной Михайловной год да еще полгода ходил в качестве официально оглашенного жениха, то Варваре на это понадобилось всего пять месяцев, Татьяна вообще обошла всякие формальности, а Ольга… И этот… скобяной товар с очаровательным сыночком Петей. Генерал никогда не кичился ни званием, ни происхождением, был в меру либерален и всегда помнил, что его матушка была крепостной его собственного батюшки. Нет, Николай Иванович никогда не страдал сословной крапивницей, женившись по любви на разночинке, хотя преуспевший в жизни родной брат Федор намечал для него весьма породистую девицу. А он все-таки предпочел свою Анну Михайловну, повергнув в изумление всю родню и всех знакомых и ни разу не пожалев об этом, но купчик был… Николай Иванович затруднялся определить, кем он был, но точно знал, кем он не был: он не был великодушным. А великодушие генерал ставил превыше всех иных человеческих качеств.

А тут еще Варвара окончательно раскапризничалась. То ли у нее и вправду тяжко проходила

беременность, то ли она боялась первых родов, то ли тосковала по мужу — он не знал. Он не мог, не умел да и не хотел расспрашивать своих дочерей и очень сердился на свою Анну Михайловну, все чаще ворчливо именуя ее дезертиром, свалившим на него одного тяжелое бремя одинокого отцовства. Варвара куксилась, бледнела, плакала и не могла ничего есть; Ольга целыми днями носилась по портнихам и приятельницам, а если не носилась, то громко хихикала по всякому поводу, и только Таня, тихо и серьезно несущая свой грех, представлялась сейчас единственным островком надежды, простоты и уединения. И чаще всего генерал думал о младшей, тем более что она была так похожа на него и внешне и внутренне.

Да, время становилось чужим: он чувствовал, как оно превращается в не его время прямо на глазах. Исчезали желания, потому что, как он полагал, они тоже были связаны с тем, безнадежно отставшим прошлым; генерал уже ничего не хотел, часто раздражался и, чувствуя, что раздражает собственных детей, старался не покидать кабинет, куда Фотишна приносила завтрак, обед и вечерний чай с булкой. «В мой склеп прошу без особой надобности не заглядывать», — объявил он как-то в раздражении, и никто более не

заглядывал, а ему было обидно и пусто. И все вот так вертелось на одном месте, а время шло себе и шло, не обращая никакого внимания на пятидесятитрехлетнего отставного калеку-генерала.

Поэтому сообщение Варвары, забывшей в этот миг все свои недуги разом, доставило такую радость, что он даже прослезился, выдав эту слабость за явление простудного характера. В то утро он получил почту, а с нею и письмо с пометкой «Из действующей армии». Отдал дочери, стал просматривать газеты, и тут ворвалась Варвара. Сияющая, как покойница Анна Михайловна («дезертир»).

— Леонид «Георгия» получил!

Читали вместе, вслух, генерал часто сморкался («Черт, продуло меня не вовремя…»), а сам думал, что и Вареньке повезло, и ему повезло: сын — пустозвон, зато зять — герой. Роту спас от германских вандалов.

— От меня ему поздравление. Непременно напиши, что от всей души счастлив и горд и… Вот простуда, будь она неладна!

И тут вошла Ольга. Торжественно-благостная, как лотерея в пользу раненых нижних чинов.

— Его бывшая теща благословила наш союз, через две недели — свадьба. Но его дом требует

ремонта, и поэтому мы с Василием Парамоновичем и Петенькой поживем пока у нас, если ты не возражаешь.

— На здоровье! — сказал резче, чем собирался, а потом жалел. — Я как раз намеревался навестить Татьяну.

Он часто думал о младшей дочери, но совсем не собирался ее навещать. Однако решение выскочило, и он тут же стал уверять себя, что и впрямь готовился ехать в Княжое. И уехал, наскоро собравшись. И никогда не пожалел об этом внезапном решении, а все его книги, записи, карты и схемы проигранных сражений через месяц перевез в то же Княжое неразговорчивый мужик, на все вопросы отвечавший исчерпывающей фразой:

— Тама у их кабинет, а не тута.

Там, в Княжом, принадлежавшем дальней и, в сущности, малознакомой родственнице Руфине Эрастовне, был теперь его кабинет. Последний, потому что там же оказалась и могила.

4

«27 января 1916 года.
Мой любимый и единственный царь Леонид!
Тебе пишет письмо самая счастливая женщина

на свете — твоя жена и мать твоего дитя. Да, да, дорогой мой папочка, у тебя отныне есть сын. Вылитый Леонид Старшов: синеглазый, упрямый, крепенький и уже сейчас способный вскружить голову любой женщине (сужу по себе, Фотишне и Мане, прислуге молодых Кучновых, которые все еще живут у нас). У него отменный (твой) аппетит и непомерные требования внимания к своей особе (точная копия папы). Доктор говорит, что мальчик здоров и развивается нормально, так что я горячо поздравляю тебя, папочка!

Вчера малыша крестили в церкви Преображения Господня, где венчались папа и мама. Воспреемниками были (стать смирно!) его высокопревосходительство господин губернатор и его родственница госпожа Анна Павловна Вонвонлярская, внучка известного беллетриста. Между прочим, она всего на три года старше меня, а уже успела скандально развестись, а теперь мы с ней ближе, чем с Олей, которая совсем погрязла в своем Петеньке и в своем Васеньке. На крестины приезжал папа (тебе поклон, и поцелуй, и поздравление с производством, и вообще он тобою гордится, и я тоже!), и по его настоянию младенца нарекли Михаилом. Михаил Леонидович Старшов — тебе нравится? По-моему, прелестно

звучит!

Крестины отмечали у нас, и это было — ох! Как только „Кучнов и сын“ узрели губернатора и обворожительную аристократку Анну Вонвонлярскую, так тут же-с и онемели-с и зашаркали ножкой-с.

Представляешь всю пошлость прорвавшегося холуйства? И, несмотря на то, что все были чрезвычайно милы, мне стало жаль бедную нашу Олю. И еще — отца. Он тяжко принял к сердцу этот мезальянс, — а Татьяша не приехала вообще (они ведь с папой живут теперь в Княжом у тети Руфины Эрастовны, хотя какая она там тетя, так, седьмая вода на киселе). Папа говорит, что Таня все еще плохо себя чувствует и что при этом намеревается взять на воспитание крохотную сиротку! Нет, ты только вообрази: девица семнадцати лет от роду, да еще с тяжелой чахоткой, берет из приюта ребенка! А замуж кто ее возьмет, интересно? И вообще все это странно и непонятно, и папа ничего не говорит. Но сбежал в это Княжое при первой же возможности, едва отдав визиты губернатору и Анне Вонвонлярской. И знаешь, что мне пришло в голову? Мне показалось, что он стал бояться нашего многолюдства. Семья наша разрослась,

приобрела разнородность, в связи с чем в ней, естественно, появились свои ежедневные проблемы, которые приходится решать. А папа ничего решать не желает и даже страшится каких бы то ни было решений, а потому и бежит в чужое имение к несчастной Татьяше, которой вдруг взбрело в голову взять на воспитание маленького чужого человечка. Странно все это, господин подпоручик… (Боже мой, знал бы ты, как приятно твоей жене писать „подпоручик“ вместо „прапорщик“, который, как известно, не птица! Папа считает, что ты непременно дослужишься до генерала.) А вот наш лоботряс Владимир ни до чего не дослужится. Сидит себе в Вязьме в запасном батальоне и ни в училище, ни в школу прапорщиков идти не желает. На крестины он не попал, хотя мечтал вырваться из казармы. Но папа ходатайствовать отказался, а без этого нижних чинов к родственникам не отпускают.

Ну-с, Ваше Величество, обо всех написала, пора уж и о себе. Во-первых, как выяснилось, я исключительно здоровая женщина, которой, как сказал доктор, рожать да рожать (мужайтесь, государь мой!). Родила я и вправду легко и быстро, и не было у меня никаких неприятностей, и молока у меня — на тройню, и (слава Богу!) грудница меня

миновала. А еще позвольте доложить, что ваша супруга сама кормит вашего ребенка, потому что таким путем передается не только здоровье, но и невосприимчивость к заболеваниям. А во-вторых, я чуточку располнела и пришлось кое-что расставлять, но в моде (еще раз, слава Богу!) полненькие женщины, и твоя женушка налита, как яблочко (ты любишь яблоки? Тогда бери отпуск). И, в-третьих, я тебя ужасно люблю, я по тебе ужасно тоскую, я вижу тебя во сне и целую миллион раз.

Твоя, всегда твоя!

Мама Варенька.

Целую! Обожаю! Обнимаю! И никому не отдам! Сиди в окопах и не высовывайся.

А Сусанна мне так завидует, что специально уехала в Москву, чтобы не оставаться на крестинах. Я у тебя дурная, да? Я больше не буду. Я всех люблю! (А тебя все равно больше всех.)

Твоя, твоя, твоя

Варенька.

Надо бы как-нибудь съездить в Княжое. Папа говорил, что до него 25 верст по Старо-Киевскому шоссе. Конечно, когда подрастет Мишка, правда? Я очень беспокоюсь за бедняжку-Татьяшку: чахотка в таком возрасте часто развивается

очень стремительно. Ей необходимо лечиться, может быть, поехать в Крым или на кумыс, а она собирается брать на воспитание малышку. И папа ей во всем потакает!

А Руфину Эрастовну я совершенно не помню и потому боюсь. И Княжое совершенно не помню и потому беспокоюсь за папу и Татьяшу. А вот Высокое помню, потому что там бабушка и дедушка под двумя мраморными крестами.

Ох! Где ты, мой царь Леонид? Поскорее разгроми всех врагов и возвращайся к нам целым и невредимым. И храни тебя Господь!

Целую и не могу оторваться. Варька».

5

Поскольку Варя Старшова совершенно не помнила ни своей родственницы Руфины Эрастовны, ни ее имения в селе Княжом, то придется об этом кое-что рассказать. Не из-за вдовы единственного двоюродного брата покойной супруги генерала Олексина, действительного статского советника: из-за старого барского дома в селе Княжом, который достался в приданое за Руфиной Эрастовной. Мы бываем куда теснее связаны с домом, чем с людьми, хотя из привитых с колыбели табуистических соображений всегда утверждаем

обратное. Сейчас само это понятие «Дом» уходит из нашей жизни, повсеместно заменяясь ничего не выражающим словом «жилплощадь», которую легче представить себе изолированной пещерой в многопещерном комплексе, норой или берлогой, но никак не островом в океане, гнездом, где не только появляются на свет, но и учатся летать, единственным местом на земле, где помогают стены. Такой дом строят сами от фундамента до крыши, строят с верой, любовью и надеждой, с терпением и страстью, с каждодневной усталостью и ежечасным восторгом. Такой дом строят не для себя, а для семьи, не для дня сегодняшнего, а для дня завтрашнего, не для того, чтобы было где поставить кровать, стол да телевизор, а для того, чтобы иметь свое место под хмурыми тучами бытия. Такой дом всегда обладает своим собственным климатом и своей собственной атмосферой, своей историей и своими законами, своими традициями и своими легендами, своей прозой и поэзией, своими богами и привидениями, своей иерархией, своим нравом и своей судьбою. Если жилплощадь есть всего лишь площадь отпущенного вам жилья, то Дом есть маленькая копия отечества, в которой умещаются рождение и младенчество, детство и юность, зрелость и старость,

дряхлость и смерть. В наши дни все эти ступени человеческого восхождения вынесены за скобки: спят в «жилплощади», младенцев несут в ясли, детишек ведут в детсад, юности рекомендуются все четыре стороны, а старость списывают в дома престарелых. Говорят, таковы издержки цивилизации, плата за прогресс, за бурное развитие общества. Но если это так, то платят фальшивой монетой: жилплощадь можно и разменять, а Дом может только погибнуть.

Это отступление необходимо, чтобы напомнить о главном герое: о Доме. Однако ничего не возникает из ничего и не исчезает без следа, и у Дома, который построил Дед, оказался отдаленный предшественник.

Руфина Эрастовна стала законной супругой действительного статского советника в семнадцать, тогда как он уже отпраздновал свое сорокалетие. Рвалась она в замужество не по причине влюбленности, а от непонятно как проросшей в ней цыганской тоски по воле. То ли ей осточертели бонны и дуэньи, то ли институт и институтские регламенты, а только девица задавала загадки чуть ли не с пятнадцати лет, хотя была из вполне приличной семьи, связанной с цыганами (во всяком случае, по женской линии) лишь посред-

ством зрения да слуха. И тем не менее что-то в ней бушевало, но сначала подспудно, а потом взорвалось, как вулкан Кракатау. А вот ДСС (так в те времена письменно обозначались чины 4-го класса с титулом превосходительства и так всегда называла своего супруга Руфина Эрастовна) влюбился в семнадцатилетнюю институтку без памяти, хотя отличался отменным хладнокровием, уравновешенностью и здравым смыслом. Он таял от ее обаяния, живости, кокетства, хрупкости, детскости и женственности одновременно — Руфина мгновенно сориентировалась и через полгода сбежала с душкой-офицером за границу. ДСС потратил уйму сил, знакомств и связей и в конце концов разыскал законную супругу на парижских подмостках, где она демонстрировала очень даже стройненькие ножки, поскольку душка-военный скрылся в неизвестном направлении. Муж заплатил все долги и привез беглянку домой, ни словом, ни тоном, ни жестом не укорив ее ни в чем.

— О, ты — великая душа! — рыдая, признала Руфина. Год она без устали твердила это, а потом исчезла вторично. ДСС вновь нашел ее — на сей раз в Вене, — вновь заплатил все долги, вновь вернул в родные стены и вновь, естественно,

простил. Это вторичное отпущение грехов так потрясло бродяжью душу Руфины, что она, омываясь слезами, повысила присвоенный ею титул:

— Ты — величайшая душа!

Не стоит перечислять все дальнейшие похождения молодой особы, по странному капризу судьбы родившейся с цыганской тягой к жизни кочевой; достаточно упомянуть, что ставший еще более молчаливым супруг извлекал ее из Неаполя и Мадрида, из Венеции и Женевы. И все сносил совершенно безропотно — дальние дороги и очередные увлечения, лавиноподобные долги и поджатые губы знакомых дам, рой трутней и вредную для его желудка железнодорожную еду. Только раз вырвалось:

— Вы никогда не станете бабушкой, мадам.

Руфина расхохоталась звонко и безмятежно: какая еще бабушка, когда от одного ее взгляда сходят с ума две дюжины мужчин? Она расхохоталась, и он больно пожалел о сорвавшемся горьком предостережении, которого не поняла, да и не могла понять его сказочно молодая жена. Пожалел, и зарекся, и замолчал, и все дальнейшие поиски и находки происходили в молчании.

Однако ничто так не изнашивается при погонях, как здоровье, и вскоре после извлечения

супруги из гущи масок римского карнавала ДСС благопристойно скончался на руках у горестно рыдавшей жены, успев перед смертью улыбнуться то ли от этих запоздалых слез, то ли оттого, что некуда больше спешить, то ли от последней фразы, которую расслышал в мире сем:

— О, великодушная душа…

Руфине Эрастовне исполнилось в ту горестную осень тридцать семь; она приобрела женскую опытность, но сохранила девичью фигурку. Получив безграничную свободу, она могла бы, казалось, вдосталь насытить свою страсть к путешествиям, но — странное дело! — как только исчезли все препоны, иссякли и все желания. Не следует полагать, что Руфина Эрастовна начала терзаться приступами совести: чего не случилось, того не случилось. Но она никуда уже не рвалась, не покидала более барского особняка в селе Княжом и впервые вспомнила, что у нее должны быть родственники. Правда, очень дальние, зато близко живущие. Она разыскала их, познакомилась, пригласила на лето, а через год к ней явилась новая Магдалина, и Руфина Эрастовна зарыдала от неописуемого восторга, убедившись, что жизнь упорно раскручивается по спирали, невзирая ни на какие запреты, законы, каноны и

своры ханжей.

— Ты — сама отвага и великая душа, Таточка. Ты смело играешь ва-банк, а я всю жизнь передергивала карты. В результате у тебя будет дитя, а я одинока, как веник.

— Тетя, как не стыдно? Вы же скоро станете бабушкой.

Дом — собственно, сам дом как строение — был достаточно стар, чтобы заслужить искреннее уважение изб села Княжого. Строили его из материала подручного, то есть бревен да теса, но хорошо выдержанных. В архитектуре же не содержалось ничего примечательного: особняк как особняк, с большой гостиной, вокруг которой, собственно, и было выстроено все остальное. В гостиной имелся камин, который никогда не топили, и интимного цвета концертный рояль, поспешно приобретенный ДСС после извлечения супруги из первого побега, поскольку он узрел в ее каскадах потребность в музицировании. Руфина Эрастовна и вправду музицировала, но обычно на огромном, как балкон, рояле стояла фарфоровая ваза, в которой хозяйка художественно размещала наиболее красивые и крупные яблоки. Они дополняли интерьер, были как бы его частью, и поэтому на них никто не покушал-

ся. Прошлым летом Николай Иванович Олексин побывал в Княжом дважды, но то ли не обратил внимания на вызывающую вазу, то ли не прельстился ее содержимым, а только заведенных порядков не нарушал. Но в этот приезд, напуганный дочерьми, сыном, войной и временем, которое убегало от него, прямиком протопал к роялю, выбрал самое вызывающее яблоко и начал тут же вгрызаться в него со вкусом, но без ножа. Руфина Эрастовна что-то рассказывала, но вынуждена была замолчать, поскольку яблоко оказалось сочным и звучным.

— Белый налив, — объявил генерал, отправив в рот очередной кусок. — Люблю.

Кусок с трудом умещался во рту, и Николай Иванович произнес последнее слово в два приема с каким-то сладостным всхлипом. А слово это числилось за номером один в лексиконе бывшей беглянки, и она впервые посмотрела на генерала заинтересованно.

— И вы всегда берете то, что любите?

— Непременно.

— И — без спроса?

— Какой уж тут спрос…

— Бесподобно! — всплеснула руками вдова, которой еще предстояло отмечать свое сорока-

летие. — Мне везло всю жизнь, но я не выношу послушных мужчин.

Не прошло и месяца, как личный посланец хозяйки прибыл в город на угол Кирочной и Ильинской и из собственного дома генерала Олексина увез все книги, схемы, карты, тетради, папки и записки, пояснив:

— Тама у их кабинет, а не тута.

«Тама» Николая Ивановича ждало еще нечто, кроме кабинета и могилы. Но в то время он об этом не догадывался, а если бы догадался, то, кто его знает, может, и задал бы стрекача, как некий господин Подколесин.

6

На войне, естественно, убивали: в последних боях полк понес ощутимые потери, но недавно произведенного подпоручика Старшова судьба пока оберегала. После недельной бестолковой суеты с атаками, отходами, обходами и бросками, которую оплатили очередные братские могилы, начальство успокоилось, и окопная жизнь свернула в привычную колею. Мерзли, жались к печуркам, били вшей, накуривались до одури и ругались с промозглых рассветов до морозных закатов. Заковыристо, хрипло и злобно.

— Три месяца назад за все беды крыли германца, а теперь и своим начало перепадать, — отметил Незваный, легко раненный в суете, но отказавшийся от лазарета. — Учтите, Старшов, вам роту принимать.

— А вы куда же?

— Надеюсь, потому и в строю остался. Кому убыль, кому прибыль, а коли желаете по-французски, то а-ля герр, ком а-ля герр.

Старый окопник оказался прав: наверху уже раскладывали пасьянс заново, и вскоре, пользуясь затишьем, офицеров востребовали в штаб. Поручик Незваный и в самом деле получил желанный батальон, командир которого капитан Павел Владимирович Соколов уходил начальником штаба полка. Он не скрывал своей радости по поводу замены батальонной землянки на штабную избу, но — стеснялся и, чтобы как-то убаюкать совесть, пригласил к себе Незваного и Старшова.

— Водка? — приятно удивился Викентий Ильич. — Можно подумать, что мы на маневрах.

— Первый тост — за несправедливость, — с напыщенной нервозностью провозгласил новый начштаба. — Увы, мы не на маневрах, а в обстоятельствах торжествующей несправедливости,

которую мы ощущаем как движущую силу, но с которой ничего…

Соколов замялся, взмок, окончательно утерял нить, и неизвестно, как выкарабкался бы на поверхность из тоста номер один, если бы не вошла коротко стриженная молодая женщина, похожая на румяного гимназиста.

— Моя супруга, — очень недовольно объявил капитан. — Полина Венедиктовна. Я, кажется, просил, дорогая, у нас встреча боевых друзей и…

— Не заикайтесь, — пренебрежительно сказала Полина. — Женщины бывают необходимы для утоления животной страсти или для метания бомб. Рада видеть вас, отважный мой спаситель, хотя должна откровенно признаться, что глубоко презираю себя за тот постыдный бабий вопль. Во мне воскричал инстинктивный ужас самки.

С этими словами она протянула руку Старшову, но не для поцелуя, а для братского рукопожатия. Что подпоручик и совершил, подивившись, как же это он умудрился не угадать в ней женщину.

— Налейте мне водки. — Полина села, закинула ногу на ногу и закурила; узкая юбка плотно обтянула бедро, и Леонид со стыдом обнаружил, что все время пялится на это бедро. — Ленивая женщина абсурдна, как непорочное зачатие,

ленивый мужчина обыкновенен, как рыба: вы ретивы — для нас, учтивы — для нас, трудолюбивы — для нас, и даже ваша пресловутая храбрость — тоже для нас. Ну а если все для нас, тогда почему же вы владеете нами, а не наоборот? Мы не претендуем на власть: в конце концов, любая жена — император, любая невеста — наследный принц и любая любовница — пиратский флаг, — мы жаждем равноправия в любви. За равноправие и справедливость, господа мужчины!

— Эта мадам — щучка, — говорил Незваный, когда они возвращались. — Приехала глотать сонных рыбок вдали от шума городского. Между прочим, имеете шанс, Леонид.

— Я сонная рыба?

— Сонная рыба — ее супруг. По-моему, он импотент, и ей это надоело. Дерзайте, юноша.

— Я люблю, Викентий Ильич.

— На здоровье. Изменить женщине — значит изменить данному ей слову, а не врученному ей телу.

— Казуистика. Слово и дело должны быть неразделимы.

Они шутили с легкой душой, еще не ведая, сколь многозначительны их шутки. Но тогда они только подходили к порогу познания, время

разбрасывать камни еще не наступило, зло было только снаружи, а внутри берегли добро, как тепло в стужу, не предполагая и в самом горячечном воображении, что скоро добро и зло сплетутся в единый клубок и остервенелое ослепление будет с легкостью приговаривать к расстрелу и за то и за другое, и вместе и порознь. И вообще человеческая жизнь станет дешевле патронов, и наиболее экономные предпочтут вешать, рубить или топить, и смерть многим и многим покажется прекраснее жизни, а главное, неизмеримо короче ее.

Поручик Незваный оставил подпоручику Старшову не только роту, но и собственного денщика Ивана Гущина. Это был молчаливый и очень старательный парень, но Леонид относился к нему настороженно, поскольку Викентий Ильич все же почему-то не взял его с собой.

— Социалисты его распропагандили, — пояснил Масягин. — И прежний ротный его благородие Викентий Ильич приказал ему про это молчать.

— Что за чушь, унтер!

— Вы прежний приказ ему отмените.

Леонид ничего отменять не стал, но вечером спросил Гущина. Денщик помялся, но честно сказал, что перед войной год жил у дядьки, ра-

бочего металлического завода, на котором и сам работал грузчиком. А потом дядьку арестовали, а его отправили на передовую.

— В чем же тебя обвиняли?

— Не могу знать, ваше благородие.

— А дядьку в чем обвиняли?

— Тоже не могу знать!

— Значит, провокатора мне подсунули? — спросил Леонид у Незваного вскоре после этого разговора.

— Мелковат Гущин для провокатора, — лениво пояснил батальонный. — Он типичный, понимаете? А типичные начальству врать не решаются, вот он всю правду про родного дядю и выложил. Дядю — на каторгу, а его — к нам.

— Завтра же пойдет в строй!

— Другого пришлют. Этот честен и глуп, а может объявиться подлый и умный и продаст вас, Старшов, как Иуда, с братским поцелуем.

— Что же вы мне ни слова об этом Гущине?

— Такие явления познают личным опытом, — назидательно сказал Незваный.

И тихий, старательный доносчик Иван Гущин остался денщиком командира роты. Война шла своим чередом: кто-то убывал, кто-то прибывал, состав роты менялся, у подпоручика Старшова

появились два новых помощника — прапорщик Масягин, произведенный из унтеров за усердие, и прапорщик Дольский, в недавнем эсер и народный учитель. Рота меняла свою физиономию, возраст и настроение; меняла личный состав и позиции, меняла дожди на снег и солнце на мороз; и лишь одно в ней оставалось неизменным: вера в своего командира. Он, естественно, по-прежнему оставался для солдат «их благородием», офицером и золотопогонником, но живая история роты встречала каждого новенького красочным рассказом о рассветной газовой атаке. А поскольку везучий Прохор Антипов никуда из роты не девался, то посвящение в ротный эпос всегда заканчивалось одинаково:

— Слышишь, ротный кашляет? Это он за меня кашляет, ясно тебе? И кто об этом позабудет, тот со мной повстречается.

Он произносил «кашляет» с ударением на втором слоге, на «я», что звучало особенно взвешенно. И вдобавок красноречиво клал на острое колено весомый жилистый кулак.

Эти гомеровские беседы происходили втайне от ротного, и, хотя все об этом знали, обычай требовал соблюдения определенных правил. Конечно, Старшову ничего не стоило услышать рассказ о

себе самом, но он был страстно любознательным и абсолютно нелюбопытным: его, как и в первые дни, куда больше интересовал распорядок противника, ориентиры, направление ветров и тому подобное. И узнать об этих разговорах ему пришлось не совсем обычным образом.

После мартовских боев — бестолковых и бесполезных — потеряли обжитые окопы, отошли, зацепились, начали зарываться вновь, твердо усвоив, что в этой проклятой войне уповать лучше всего не на Господа Бога, а на собственную саперную лопатку. Зарывались в уже грязную и еще мерзлую землю с куда большим рвением, чем ходили в атаки, торопясь укрыться с головой, пока германцы не подтянули тяжелую артиллерию. Дорожили каждой минутой, и Старшов был весьма недоволен, когда пришел вызов в штаб полка. Ругаясь («нашли время!»), уведомил Незваного и взял в батальоне лошадь, поскольку до полковых тылов было теперь не близко.

— Зря не беспокоим, — сказал ему подполковник Соколов (при штабах исстари росли быстрее, чем в окопах). — Во-первых, достоверно известно, что вы «Станиславом» пожалованы, а во-вторых, ждет вас приятное свидание. Вестовой проводит.

Пока шли с вестовым к избе, где ожидалось

«приятное свидание», подпоручик измаялся вконец. Ему все время казалось, что его Варенька, не стерпев разлуки, повторила сомнительный подвиг стриженой эмансипе Полины Соколовой и сейчас собирается его осчастливить. «Ну, я ей покажу свидания! — свирепея, думал Леонид. — Пулей в тыл помчится…»

— Пришли, ваше благородие, — сказал вестовой. — Мне входить не велено.

«Ах не велено!» — подпоручик рванул дверь с такой яростью, что с потолка посыпались тараканы. И остановился у порога, оглядывая тесное нутро бедной избенки.

— Полегче, — хмуро сказал поручик, вставая. — И здравствуй.

— Лекарев?!

Они обнялись. Леонид растроганно покашливал, разглядывая старого однокашника. Лекарев обогнал его чином и солидностью, приобрел неторопливо усталый баритон и ровно ничего не выражающий взгляд, но встречей был доволен. Он служил при штабе фронта, о чем сразу же поведал Леониду, а когда тот начал было говорить о своей роте, солидно поднял руку:

— О тебе знаю все, Старшов. Больше, чем ты о себе знаешь.

— Ну, это уж типичное штабное хвастовство, — улыбнулся подпоручик.

— Я ведь не со «Станиславом» тебя поздравить заехал, — все так же солидно продолжал Лекарев. — Садись. Известно тебе, сколько офицеров гибнет от подлой пули в спину? Мы проанализировали факты: действует некая зловещая противопатриотическая организация. Штаб разослал офицеров для проверки неблагополучных частей.

— У меня неблагополучная рота?

— У тебя благополучная, я просто случаем воспользовался, чтобы повидаться, — Лекарев на мгновение стал прежним: шустрым и хитроватым. — О тебе вон солдаты былины слагают, но тем не менее надлежит тебе, Старшов, быть начеку. Враги престола и отечества…

— Перестань! — отмахнулся Леонид. — Говори дело, не надо пропагандировать. Мой денщик о роте осведомляет?

— Не знай об этом. Случайно проговоришься, его убьют, а тебе пришлют взамен куда более хитрого.

— Кто его убьет? Что у вас, штабных, за манера запугивать?

— Ах, Старшов, Старшов, умеешь ты ничего не

видеть. — Лекарев вдруг резко подался к нему: — Трон шатается. Трон шатается, а господа офицеры изо всех сил с солдатней либеральничают! Считай, что я тебя предупредил, и хватит об этом, а то будет как с фон Гроссе. — Он встал, принес саквояж. — Я водки захватил, Старшов. Настоящей, казенной.

— А что с фон-бароном?

— Фон-барон определен под стражу, — нехотя сказал поручик Лекарев. — За переговоры с противником на чистом немецком языке. О бессмысленности войны, всеобщем братстве и прочей социальной чуши. Его ожидает суд, и дай Бог, чтобы дело кончилось разжалованием, а не Петропавловскими казематами. Выпьем за его заблудшую сентиментальную душу. Он отбил у меня Сусанну, но, видит Бог, я не держу на него зла.

— Ах, барон, барон… — вздохнул Леонид.

И они чокнулись. В последний раз, не подозревая, впрочем, об этом.

Глава третья

1

Руфина Эрастовна сделала все, чтобы прикрыть Танин грех. Предостаточно хлебнув светского остракизма, она пыталась облегчить жизнь юной грешнице, чем только могла. Для этого была разработана система молчания прислуги и исчезновения Татьяши для всех. И за три месяца до родов, когда животик уже невозможно было скрыть никакими покроями, Руфина Эрастовна увезла Татьяну в Ельню к своей настолько дальней родственнице, что та и слыхом не слыхивала о существовании каких-то там Олексиных.

— Дезертиры, — недовольно определил генерал, оставшись один в большом гулком доме.

Все его карты, книги, схемы и записи были при нем, кабинет оказался в два раза просторнее городского, рядом находилась библиотека, заботливо собранная покойным ДСС, и даже казенной водки тут хватало по горло, но воевать Николаю Ивановичу почему-то больше не хотелось. Вместо того чтобы окончательно разгромить японцев наличествующими в сей момент силами и тем доказать всему миру, что русский солдат ни в чем не повинен, генерал решил написать книгу об абсурдности всякой войны и о полном равенстве

между победами и поражениями. Мысль была дерзка и вдохновенна, но Николай Иванович в нетерпении начал с оглавления и как только завершил его, так и отложил ручку: все вдруг стало настолько ясным, что писать уже и не требовалось. Генерал каждое утро садился к столу, открывал чернильницу, часто прикладывался к рюмочке, жевал бороду и глядел в потолок.

Он почти не выходил из дома, страдая от сознания, что надо же что-то делать. Эти терзания занимали все его время; генерал лишь на полчаса перед сном появлялся в громадном и совершенно запущенном саду. Он тяготился бездействием, но не находил в себе желания бороться с ним и все основательнее прикладывался к рюмке. Может быть, он бы и спился с круга, как брат Иван, несмотря на ясную голову и отменное здоровье, но случившийся в селе пожар отвлек его от этого занятия.

Кажется, школа в селе Княжом сгорела в ту ночь, когда Татьяна разрешилась младенцем женского пола. Во всяком случае, она упорно настаивала на этом, хотя, убей бог, никто не мог понять, что же следует из подобного совпадения. Вот какие совпадения последовали для генерала, он узнал после ночи, озвученной набатом, трес-

ком пламени и людскими воплями. Утром вошла Нюша — весьма симпатичная молодая особа при Руфине Эрастовне, которая, вопреки естеству, любила молоденьких и хорошеньких.

— Депутация, Николай Иванович.

Депутация состояла из учителя, старосты и священника. Учитель был тощ, как хвощ, староста озабочен, а священник отец Лонгин громоздок и демократичен.

— Ваше превосходительство, — собравшись с духом, начал хвощ. — Мы…

— Я — в отставке, и вы — не солдаты, — ворчливо остановил генерал. — Зовите естественно. Что школа сгорела, знаю, однако беден, как бедуин, и на пособие не рассчитывайте.

— У нас не простая школа, Николай Иванович, а первая в уезде и третья в губернии. Благодаря неусыпным хлопотам учителя Федоса Платоновича в селе, поверите ли, неграмотных нет совершенно, исключая пьяниц Герасима и Сазона, пастуха Филиппа и дурачка Яваньки.

— Прекрасно, — отметил генерал.

— За последние годы школа подготовила семерых в гимназию, из коих шестеро и по сей день постигают науки коштом глубокочтимой Руфины Эрастовны.

— Вон как? — удивился Николай Иванович.

— Нам бы лесу, — мучительно вздохнул староста. — Сами поставим.

— А дальше? — робко спросил учитель. — Учебники сгорели, и пособия сгорели, и у детей даже тетрадей нет.

— Управляющего! — распорядился генерал.

Пока искали, Николай Иванович высказывался в смысле непременного всеобщего образования, упирая, что грамотный солдат сообразительнее неграмотного. Потом пришел управляющий — гибкий молодой человек в пенсне с простыми стеклами.

— Просили зайти?

— Вызывал, — поправил Олексин: ему не нравился этот субъект. — У нас есть лес?

— Что есть у вас, мне неизвестно, а вот что касаемо владелицы…

— Смирно! — побагровев, вдруг заорал генерал, да так, что не только управляющий, учитель и староста вытянулись во фрунт, но и отец Лонгин дисциплинированно выпятил живот. — Лес — ему. — Николай Иванович трясущимся от гнева пальцем потыкал в старосту. — Сколько запросит. Две тысячи рублей изыскать и передать попечителям не позднее двух дней.

— Без разрешения владелицы я…

— Сгною! В арестантские роты! На передовую! Вон отсюда, шагом марш!

Гибкий управляющий разыскал, что требовалось, но не преминул пожаловаться Руфине Эрастовне, как только она воротилась. Но вернулась она не одна, а с богоданной внучкой и потому ни во что вникать не хотела.

— Разбирайтесь сами, господа.

— Отлично! — Генерал лихо приосанился. — Грубияна — вон, таково первое положение. А второе — управлять вашим хозяйством буду я. Никакого жалованья мне не надо, и, следовательно, это обойдется дешевле.

— Это обойдется дороже, — улыбнулась Руфина Эрастовна. — Но что делать, если я всю жизнь обожала подчиняться?

— Отныне все пойдет по-другому! — громогласно возвестил Николай Иванович.

Все действительно пошло по-другому, но совсем не потому, что генерал оказался толковым управляющим. Как раз управляющим-то он был никудышным, хотя и громким, но слава о его решительности и бодрый стук топоров пока еще с лихвой перекрывали его хозяйственные ляпсусы. Тем более что отныне солнечный зайчик забот

дрожал не на нем, а на крохотной девочке, которую неведомо откуда привезли барышня Татьяна Николаевна и барыня Руфина Эрастовна. И то, что девочку доставили в имение уже окрещенной именем Анна, убедило и самых пронырливых, что генеральская дочь и вправду взяла приютского младенца. Во имя этой легенды из села Княжого была взята кормилица, и Таня, рыдая, мучительно пережгла собственное молоко.

2

Тем летом исполнилось сорок лет со дня смерти матери Анны Тимофеевны. Генерал последнее время часто думал о ней, вспоминал, грустил и умилялся, а за неделю до печальной даты сказал Татьяне, чтоб собиралась в Смоленск.

— А как же девочка?

— Кормилица есть, нянька. Да и Руфина Эрастовна приглядит.

Через два дня они выехали. Николай Иванович ожидал прибытия братьев и сестер, думал, как их разместить, и хмурился. Предстоял неприятный разговор с Ольгой и ее мучным супругом, а генерал побаивался всяких неприятных разговоров. И поэтому, едва добравшись до Смоленска, выпалил чуть ли не с порога вышедшему поздо-

роваться зятю:

— Вас прошу вернуться в свой дом. Ожидаю множество родственников.

— А мы уже не родственники, — ядовито констатировала Ольга, и генерал впервые подумал, что дал маху с именами дочерей: Ольгу следовало назвать Варварой, а Варвару — Ольгой.

— Перемещения временны, отношения постоянны, — невразумительно пояснил он. — Однако, коли очень захотите, будет наоборот.

Молодые Кучновы наоборот не хотели, и Ольга, поджав губы, переехала со всем своим семейством в купеческий дом, который, к счастью, еще не очень начали ломать. Она сделала это не только в угоду отцу, но и для того, чтобы спрятать собственного супруга: ей оказалось совсем непросто даже на собственной свадьбе, что и подметила счастливая Варя. В Ольге самолюбие решительно перевешивало достоинство, а потому само представление о возможном шепоте: «Бедная Оля!» — было для нее невыносимо.

— Так, — удовлетворенно сказал Николай Иванович, перешагнув через первую неприятность. — Теперь начнутся явления.

Съезд родственников открыла Надежда — самая младшая из Олексиных, по мужу Вологодова,

и генерал радостно отметил, что и в их семье есть задумчивые красавицы. Он помнил Машу, но Мария Олексина была милой, славной, духовно прекрасной, а до красавицы все же не дотягивала. А Надя — правда, она всегда жила в Москве, он забыл ее лицо, — Надя казалась трагически прекрасной еще и потому, что на нее до сих пор падал кровавый отсвет ходынской трагедии. Ей не исполнилось и двух лет, когда умерла мама, а в ходынскую катастрофу она угодила в двадцать; сейчас ей было чуть более сорока, фигура осталась почти девичьей, и собственная дочь-гимназистка рядом с нею казалась не дочерью, а младшей сестрой.

— Моя Калерия. Есть еще сын Кирилл. Уже офицер и уже в окопах.

Девочка была на редкость хороша. Все они хороши в пятнадцать, но далеко не все умны, а эта светилась спокойствием завтрашней мудрости. И глазки оказались лукавыми, и спросила не без лукавства:

— Генералам ведь не говорят «дядя Коля», правда?

— Зови попросту: «Ваше превосходительство дядя Коля».

— А вы меня за это зовите Лера Викентьевна,

ваше превосходительство дядя Коля.

Этим знакомством генерал был весьма доволен. Отправив Леру к кузинам Варе и Тане (Ольга еще не прибыла из своего купеческого замка), уединился с младшей сестрой.

— У тебя замечательная дочь, Надя.

— Господь вознаградил меня детьми.

Ее густо-синие глаза были абсолютно безжизненны, при всей их совершенной красоте. Казалось, что они до сих пор видят Ходынку, ощущают Ходынку и смотрят оттуда, из двадцатилетней дали, с Ходынского поля, полного криков, стонов, проклятий, крови и смерти. Николай Иванович знал, как долго, как настойчиво возила Варвара младшую сестру по врачам, клиникам и монастырям, надеясь возродить прошлую Наденьку. Но возродила форму; эта форма счастливо вышла замуж, счастливо родила прекрасных детей, но так и осталась формой. И сидела перед братом чинно, сдержанно и спокойно-холодно, как музейная статуя.

— Варя распорядилась заказать две панихиды. В Успенском соборе и в Высоком.

— Сама не пожалует?

— Варя выедет завтра. Она списалась с Федором, и они решили приехать вместе.

— Н-да, понятно. Миллионы и погоны едут первым классом, — недовольно забубнил генерал, но тут же оборвал: — Как ты чувствуешь себя, Надя?

— Я молюсь, пощусь, часто говею, и Господь не оставляет меня.

— Да, разумеется, Господь весьма заботлив. — Николай Иванович опять сердито забормотал, огорчаясь и расстраиваясь: — Ты, конечно, извини. Я солдат, и как-то не очень привык… гм… уповать.

— У каждого свой крест, брат, — тихо сказала она.

В подобных разговорах генерал промыкался весь вечер. А утром следующего дня начали прибывать остальные: Варвара Ивановна и генерал Федор Иванович с сыном Александром, подполковником Генерального штаба; степенный, белый как снег, тихо говорящий Василий Иванович и потертый, мучительно трезвый Иван Иванович. Они появились друг за другом, и Варвара Ивановна, отправив племянника к молодым кузинам, собрала всех в гостиной, распоряжаясь привычно и властно, как распоряжалась все эти сорок лет без мамы.

— Мы встретились по поводу печальному и торжественному. Панихида в Успенском соборе

назначена на полдень. Затем мы пообедаем и сразу же выедем в Высокое. Именно завтра исполняется сорок лет, и весь завтрашний день мы обязаны посвятить маме. Экипажи, а также обед в ресторации Благородного собрания уже заказаны.

— Узнаю коней ретивых, — сановно усмехнулся Федор Иванович.

— Я полагал, что я хозяин, а вы мои гости, — багровея, начал генерал.

— Здесь нет ни гостей, ни хозяев! — отрезала Варвара Ивановна. — Здесь — сестры и братья. Не так ли, Василий?

— Будет так, коли умеришь гордыню свою, — тихо сказал бывший принципиальный атеист.

— Позволь, сестра, я прочту поминания. — Надежда Ивановна встала с монашеской покорностью. — Возможно, я кого-либо упустила.

Она начала читать скорбный список убиенных, погибших и умерших, коих надлежало помянуть на богослужении в Успенском соборе. Произносила каждое имя ясно и благоговейно, старательно отделяя их почтительными паузами.

— Ну что же, все на месте, — отметил Федор Иванович, когда сестра закончила перечисление. — Даже тетушку Софью Гавриловну не

позабыли.

— Зато позабыли дядюшку. — Иван Иванович вскочил; руки у него дрожали, голос ломался от волнения. — В поминальном списке нет маминого родного брата Захара Тимофеевича.

— А ты вспомнил обстоятельства его гибели? — насмешливо улыбнулся сановник. — Маркитантскую повозку, наших доблестных казачков…

— Глупо! — не выдержав, повысил голос генерал. — Это глупо и низко, Федор!

— Захар никогда не был членом нашей семьи, — сказала Варвара Ивановна. — Он был всего лишь денщиком…

— Ложь! — выкрикнул Иван Иванович. — Господи, какая низость! Какая пошлая мелочность!

— Ну уж не тебе судить, — весомо перебил Федор Иванович. — А уж упрекать нас…

— Это низко! Низко! — со слезами выкрикивал Иван Иванович. — Это же мамин брат, мамин, вы, сановники и миллионщики. Вы уже забыли, что ваша мать — простая крестьянка?

— Не смей нам указывать…

— Тихо, сестра.

Василий Иванович сказал так негромко, что никто не мог понять, почему вдруг все замолчали. А бывший учитель старшего сына Льва Толстого

встал с кресла и вышел из угла к столу, в центр гостиной.

— Не гневайтесь, прошу вас, — спокойно и по-прежнему очень тихо продолжал он. — Что вы пытаетесь оспорить: право на благодарственную память? Право на родственные отношения? Они существуют по Божьей воле, а не по вашему желанию — зачем же изо всех сил будить в себе то дурное, которое всегда противоестественно? Мне стыдно за вас. Мне очень стыдно пред светлой памятью нашей матери и нашего родного дяди.

Он ни разу не повысил голоса, лишь чуть подчеркнул два слова в конце. Улыбнулся покрывшемуся багровыми пятнами, вздрагивающему Ивану и сел. И все пристыженно молчали, и Николай Иванович тихо торжествовал.

— И впрямь ерунда какая-то, — вздохнул Федор Иванович. — И стыдно. Право, мне очень стыдно, простите.

— Я не права, и мне следует просить прощения у всех вас, — чеканя слова, сказала Варвара Ивановна. — Надежда, впиши в поминание Захара Тимофеевича, вечная ему память.

И широко («по-купечески», как не без ехидства определил Николай Иванович) перекрестилась.

3

На панихиде в Успенском соборе Божьей Матери Смоленской (знаменитой тем, что сопровождала русскую армию в Отечественную войну 1812 года на тернистом пути от Смоленска и на победном — от Тарутина) присутствовали генерал-губернатор и внучка известного беллетриста Анна Вонвонлярская. Последнее обстоятельство окончательно вышибло Ольгу из равновесия, она сразу же объявила себя больной, отказалась (со вздохами и слезами, естественно) от поездки в Высокое и увезла своего перестаравшегося супруга в его купеческое стойло. И как ни пыталась скрыть, а все заметили, Варе стало неуютно. Николай Иванович с досады ляпнул что-то абсолютно несоответствующее, из всех присутствующих только Василий Иванович тепло расцеловался с Олей и сердечно пожал руку Кучнову. И сказал:

— Помни только добро, а зло забывай. И тогда Божьего добра станет в мире больше, а людского зла меньше.

А Варвара Ивановна распорядилась, не удостоив взглядом:

— Отобедаешь с нами.

Отобедать предстояло в ресторации Благород-

ного собрания; Ольга сразу же вспомнила треск разгрызаемых мужем костей (он обожал грызть мозговые кости), пришла в полное смятение и дерзко сбежала вместе с богоданным в сумятице выхода из собора. Отсутствия этой пары никто не заметил, исключая ободренного дерзостью дочери генерала и искренне огорчившегося Василия Ивановича.

— Ах, напрасно, напрасно. Гордыня обуяла…

— Коэффициент собственного достоинства, а не гордыня, Васенька, — важно отметил Николай Иванович.

Экипажи были поданы тотчас после обеда. Варе очень хотелось поехать, но оставить ребенка на столь длительное время она все же не решилась. Ее поняли, прощались подчеркнуто тепло (клан демонстрировал родственную любовь всему городу Смоленску), и вся молодежь разместилась в одной коляске: Таня и юная Лера Вологодова, а напротив, спиной к лошадям, — подполковник Александр, преуспевающий сын Федора Ивановича и брат полулегендарной семейной фрондерки, уехавшей на каторгу за осужденным возлюбленным. Это было романтично и необыкновенно, но подполковник Генерального штаба не стремился к необыкновенной романтике, демонстративно

предпочитая ей природные сплетни.

— Россия уже проиграла кампанию. — Он чуть грассировал, привычно кому-то подражая. — Весь вопрос отныне в том лишь, чтобы от этого не пострадали союзники.

Он говорил воспитанно, ни к кому как бы и не адресуясь, но при этом совершенно невоспитанно поглядывал на Леру Вологодову. Лера сердилась и краснела совершенно так, как и полагалось пятнадцатилетней гимназистке; Таня была всего-то на два года старше, но уже все видела, все слышала и все понимала. Не только потому, что познала материнство, а и потому, что не обманывалась более относительно собственной внешности, но и особо не расстраивалась. Она не прислушивалась специально к журчащим речам Александра, спокойно думала об Анечке, и ей было хорошо.

— Зачем мне ваши союзники, зачем, зачем? — звонко возмущалась Лера, хорошея с каждым словом. — Почему вас, господин офицер, беспокоят союзники, а не собственная сестра, страдающая на каторге?

— Кстати, вы, кузина, удивительно похожи сейчас на мою сестру.

— Потому что я тоже мечтаю страдать, слышите вы, прорицатель? Да, да, мечтаю страдать, как

моя дорогая кузина-каторжанка, как моя тетя Мария Ивановна Олексина…

Впереди всех, а главное, впереди пыли ехал экипаж с Варварой Ивановной и Федором Ивановичем. Солидным был экипаж, солидно держались в этом мире преуспевшие брат и сестра, и разговоры их тоже были солидными.

— Россию губит не война, а группировки, — говорил Федор Иванович, солидно покачиваясь на солидных рессорах. — Государственная дума орет о патриотизме и гонит государя в бессмысленные и кровавые наступления. Великие князья, к которым он так прислушивается, пьют вместе с генералитетом и тянут в разные стороны, а генералы нерешительны и робки за небольшим исключением. И только царица Александра Федоровна, мудро наставляемая Старцем, еще способна оказывать хоть какое-то влияние на судьбы нашего несчастного Отечества.

— Ты поклонник Григория Распутина?

— Я? — Федор Иванович политично помолчал: осторожничал даже со старшей сестрой. — В свое время я отдал дань этому удивительному человеку.

— А теперь?

— Теперь все сложнее, сестра. Практически

проигранная война, голод города, недовольство деревни — не это должно нас страшить. Цвет русского общества начал искать источник всех бед в будуаре Алисы Гессенской. А что говорит Москва?

— Москва, как всегда, радикальна, практична и богомольна. — Варвара Ивановна тоже разучилась говорить искренне. — Покойный Роман Трифонович утверждал, что роковое имя «Григорий» способно приносить России только одни несчастья.

— Твой супруг был умнейшим человеком. Умнейшим.

Федор Иванович сделал вид, что скорбно задумался, хотя на самом-то деле хотел уйти от разговора, опасного уже тем, что в нем зазвучали некие имена. Сестра прекрасно поняла его, но и ей не нравилось направление, которое приняла дорожная беседа. Она тоже скорбно примолкла, перекрестилась и не отреагировала даже на многозначительный вздох сановного брата.

— После неудачного побега с каторги моя блудная дочь обвенчалась в остроге со своим теперь уже бессрочным каторжником Сергеем Петровичем Белобрыковым. Единственно, что хоть немного утешает, так это то, что мой новояв-

ленный зять — потомственный дворянин. У нас с тобою появилась опаснейшая родня, дорогая сестра, которая, правда, пока еще не ложится на бомбу.

— Бедная Маша! — Варвара Ивановна еще раз истово перекрестилась. — Упокой, Господи, мятежную душу ее.

Странно, но о Марии Ивановне, погибшей более тридцати лет назад, прикрыв собственную бомбу собственным телом, шел разговор и в следующем экипаже, где ехали Василий Иванович с младшей Олексиной. Как возник этот разговор, они уж и не помнили, а сейчас говорил один Василий Иванович. Надежда Ивановна после Ходынки предпочитала слушать.

— Наша дворянская спесь заставляет нас гордиться Машей и ее великой жертвой. Любовь к ближнему победила в ней зло, но мой великий учитель и, смею сказать, друг Лев Николаевич Толстой, отдавая должное ее мужественному порыву (а ведь он знал ее!), сказал — я записал и выучил его слова, Наденька: «Мы склонны всегда восторгаться следствиями, отрывая их от причин. А злая причина превращает доброе следствие всего лишь в искупление вины». Сила в мире, а не в войне, в прощении, а не в возмездии, в любви,

а не в ненависти.

Надежда Ивановна молчала, мертвыми и прекрасными глазами (дочь Калерия унаследовала их, но — полными жизни, а не скорби) глядя строго перед собой. Она слышала слова старшего брата и понимала, о чем он говорит, но слышала и понимала на фоне безумных криков, воплей, стонов, проклятий и неистовых требований к Богу. Фоне, который никогда не оставлял ее ни днем, ни ночью, ни во сне, ни наяву. От этого наваждения ее спасала только молитва, только исступленное откровение глушило исступленные вопли в ее раздавленной душе.

— Знаешь, Ваня, честно говоря, я не помню ни мамы, ни отца, — говорил тем временем генерал Николай Иванович в следующей коляске. — То есть я смутно что-то припоминаю, но если уж со всей прямотой, то воспитали меня все вы вместе. В основном, конечно, Варвара и ты.

— Чепуха, — сказал Иван Иванович, все еще мучительно страдая от трезвости (он не позволил себе выпить даже на семейном обеде). — Я иногда отпускал тебе подзатыльники, а Варвара регулярно скрипела, как следует вести себя за столом. Воспитывают не личности, воспитывает атмосфера, то есть то, чем дышит семья в целом.

— Да, да, ты абсолютно прав, Ваня, абсолютно. Мы впитывали в себя подвиги Гавриила, благородство Владимира, самопожертвование Марии. Мы, Олексины, последние романтики…

— Романтики? — Иван Иванович осклабился в лошадиной улыбке. — Главные романтики едут в первом экипаже: миллионы, опирающиеся на генералитет. За ними следуют их философские фундаменты: модная теософия вкупе с несчастной фанатичкой. Засим, как и положено, черед неудачников: спившегося химика и разгромленного генерала. А вот кто идет следом за нами, Николай, этого я не знаю. Но думаю, что и в той коляске романтика соседствует с откровенным практическим карьеризмом… — Он вдруг вздохнул: — Господи, скорее бы в баньку попасть…

В Высокое приехали поздно, однако было по-июньски светло и тихо. Дом казался заброшенным, зашторенные окна, зачехленная мебель. Варвара Ивановна тут же начала громко распоряжаться немногочисленной прислугой, а Иван Иванович незаметно потянул за рукав младшего брата:

— Баньку покажу.

— Париться решил, что ли?

— Идем, генерал, идем. Пока суматоха…

Пользуясь всеобщей неразберихой, Иван Иванович незаметно вывел генерала за конюшни, цветниками провел к новой баньке, дверь которой оказалась запертой на висячий замок. Впрочем, ключ был спрятан тут же, в щели меж бревен; братья вошли в чистенькую, пропахшую березовым духом баньку.

— Ну и дальше что? — недовольно спросил генерал.

— Она меня от всех обязанностей отстранила, — глухо и невпопад сказал Иван Иванович, ныряя под широкий полок. — Выдает в месяц четвертной, будто конторщику, так что самогонку теперь приходится употреблять а натюрель. Уж не обессудьте, ваше превосходительство.

С этими словами он вынырнул на свет Божий с четвертью мутной жидкости. Зубами вытащил пробку — в баньке враз запахло сивухой, — плеснул в два ковшика.

— За романтиков, Коля, то есть за тебя. Ты последний в нашем ряду. Как мамонт, но, кажется, уже без бивней.

Братья хлестко чокнулись оловянными ковшиками и выпили. Николай Иванович оглушительно крякнул от неожиданной крепости, а Иван Иванович только сладостно причмокнул.

И, помолчав, тихо сказал вдруг:

— Четвертной в месяц, а? А у меня ведь — только не проговорись, а? А то Варвара совсем житья не даст — дочка у меня от солдатки одной. Да, Марфушей звать, хорошая девочка, а знакомить не буду, не жди. Не надо вам знаться с нами, не надо.

...Таня проснулась с рассветом. Встала — она привыкла вставать рано, — поправила одеяло на разрумянившейся во сне Лерочке, оделась и тихо спустилась в сад. Она бывала в Высоком, хорошо знала и село, и усадьбу, и церковь на горе за речкой и любила все это нисколько не меньше Княжого, так неожиданно ставшего ей родным. Нарвав в цветнике махровых пионов — их любила бабушка, Тане рассказывали, — тропинкой вышла к речушке, миновала мостик и начала медленно подниматься к церкви. После завтрака сюда собирались все, а ей хотелось поклониться могилам одной, без сухих распоряжений тети Вари и команд дяди Федора.

Она прошла мимо церкви, обогнув ее, и сразу увидела два белых креста (сестру деда Софью Гавриловну похоронили в Смоленске), и направилась к ним. И остановилась: возле крестов виднелась фигурка — крестьянская девчушка

лет двенадцати, стоя на коленях, старательно раскладывала по могильным холмикам полевые цветы.

— Ты кто такая, девочка?

Девочка молча выпрямилась, молча и очень серьезно посмотрела на Татьяну и неожиданно широко и радостно заулыбалась:

— Здравствуйте, барышня, меня Марфушей звать. А вы — Татьяна Николаевна, я вас сразу узнала. Уж больно вы на… на Ивана Ивановича похожи…

4

В июльском наступлении Леониду Старшову повезло, как не везло за весь год окопной жизни. Его занесло под германский пулемет, но дырка оказалась сквозной; отвалявшись в лазарете, он наконец-таки получил законный отпуск и через неделю без предупреждения ввалился в дом собственной жены.

— Кого вам угодно?

В родном доме вдруг не оказалось ни родственников, ни знакомых: жена гуляла в городском саду с Мишкой, Фотишна ушла по хозяйским делам, генерал и Татьяна находились в Княжом, Владимир — в армии, а Ольга отсутствовала.

Дверь открыла незнакомая горничная: сказав «сейчас доложу», ушла, и подпоручик несколько опешил от такого приема. А тут появился некто с прилизанными волосами и с непонятной спесивостью осведомился, кого ему угодно.

«Каждое явление излучает свою волну. — Для того чтобы сформулировать сей постулат, Деду пришлось прожить полвека и уцелеть в гражданскую. — Холуи и гордецы работают в разных диапазонах, почему опытное начальство и определяет их во мгновение ока и на весьма значительном расстоянии».

Подпоручик Старшов и Василий Парамонович, выяснив родственные узы и имущественные права, изо всех сил цеплялись за вежливость, только у Леонида она отдавала холодком, а у Кучнова была липкой на ощупь. Однако оба не хотели огорчать жен и вели разговоры на общие темы.

— Доблесть русских солдатиков есть наиважнейший пример и наипервейшая помощь доблестным союзникам, — разглагольствовал за обедом Василий Парамонович, со вкусом дробя кости могучими челюстями.

— Наиважнейший — это абсолютная правда, а вот помощь я бы назвал наивторейшей.

— Как-с? — насторожился Кучнов.

— Леонид, — беззвучно предостерегла счастливая Варвара.

— Абсолютно с вами согласен, — тотчас же отозвался подпоручик. — Доблесть примера у нас подкреплена примером доблести, что с лихвой перекрывает недостаток пулеметов.

— Вы хотите сказать, что наша армия плохо снабжается оружием?

— Я не хочу этого говорить, но снабжается она из рук вон.

— Вы не патриот…

С того сентябрьского дня они разговаривали только таким образом. Это злило Василия Парамоновича, обижало Олю, смешило Варвару и доставляло некоторое удовлетворение Старшову. И происходило это не оттого, что характеры их были прямо противоположны, а потому, что Кучнов неизменно умилялся при виде мундира, а Леонид знал ему цену.

— Он мне отравит отпуск.

В первый приезд мужа с фронта Варя поняла, как она любит и как она счастлива. У нее был прекрасный медовый полумесяц, и ей казалось, что ничего лучше быть уже не может, но то, что она ощутила, перечувствовала и пережила, не с чем было сравнивать: она и представить не

могла всей ослепительной ярости собственной страсти. Она всю ночь не сомкнула глаз, обмирая от нежности, преданности и благодарности, она стремилась угадать ему самому неясные желания, она молила Бога, чтобы Леонид что-либо приказал ей, чтобы причинил боль еще более острую, чем самая первая, причиненная им. И это произошло не потому, что она стосковалась, и не потому, что он стосковался, а потому, что сама их любовь неизмеримо повзрослела, проведя одного через смерть и фронт, а другую — через материнство и ожидание.

— Уедем, Варенька. Хоть к черту на рога.

— Хоть завтра. Только у нас нет денег.

— Поедем к Николаю Ивановичу. Странно, меня совсем не тянет к собственным родным, но с твоим отцом я спорю постоянно. Как с самим собой.

— Это потому, что я люблю тебя. Все происходит только потому, что я люблю тебя и буду каждый день молить Господа, чтобы он сохранил от пуль и бед повелителя и царя моего Леонида.

Выехали с неприличной поспешностью, вызвавшей слезы у Ольги и радость у ее супруга. Старо-Киевский большак был разбит и заброшен, а от него к Княжому вела совсем уж скверная проселочная дорога, и подряженный извозчик ру-

гался, беспокоясь за рессоры. А Варя беспокоилась за Мишку, и из-за этих боязней ехали медленно, а темнело быстро, и к барскому дому добрались в густой мгле. Залаяли собаки, засуетились люди; на крыльце зажгли все фонари, и из дома вышел Николай Иванович.

— Дети мои!

Генерал носил теперь косоворотку, плетеный шелковый пояс с кистями, полосатые брюки и старые сапоги, поскольку в один из них был вделан протез. Он непривычно обрадовался и непривычно засуетился, в доме тотчас же зажгли лампы, а в гостиной — все свечи, которые еще сохранились. Извозчика спровадили во флигель с приказом накормить, напоить и уложить спать, а он потребовал расчета, и пока Николай Иванович и Леонид спорили, кому платить, в гостиную прибежали Таня и Руфина Эрастовна.

— И это тоже мой внук! — объявила хозяйка. — Варя, поручик, вы слышите? Он будет называть меня бабушкой.

Несмотря на поздний час, распорядились подать праздничный ужин. Уложили детей, пили вино, много смеялись. Потом обе мамы и бабушка заговорили о детях с такой прорвой подробностей, что генерал увел Старшова к себе.

— Пусть щебечут. Велеть что-нибудь…

— Велеть? — Подпоручик улыбнулся. — Вы прибрали к рукам очаровательную бабку?

— Я всего лишь командующий. — Николай Иванович насупился, и Леонид сообразил, что фривольностей он решительно не одобряет. — Ну, что фронт? Кто кому мылит шею? Говори правду, потому что газеты врут совсем уж бестолково.

— Правда в том, что армии у нас нет, — вздохнул подпоручик. — Есть миллионы вооруженных мужиков, распределенных поротно, но единой боеспособной армии нет, кроме казачьих и, может быть, сибирских частей. Солдаты ненавидят офицеров, случаи выстрелов в офицерские спины стали заурядным явлением. Нет пулеметов, патронов, обмундирования, хлеба. Все рушится, Николай Иванович, без всяких усилий со стороны противника: германцы просто ждут, когда все окончательно развалится и они без единого залпа получат и хлеб, и уголь, и руду.

— Считаешь, что Россия на краю пропасти?

— Я всего лишь окопный офицер, а из окопа видна только собственная могила. — Леонид вздохнул: — Знаю, что все прогнило и держится по инерции, как волчок.

— России везло на самодержцев. Судьба убе-

регла ее от круглых идиотов или злобных сумасшедших, исключая Ивана Грозного. Алексей Михайлович был подозрителен, но гениален во внешней политике. Петр Великий не знал жалости, но не щадил и себя для блага отечества. Трех дам оставим в покое, но четвертая, то бишь Екатерина Вторая, была исполнена благих намерений и умудрилась увеличить население России почти на двадцать пять процентов. Павел не успел развернуться, но Александр Павлович способствовал единению отечества пред нашествием гениального злодея. Его брат на все века запятнал себя отсутствием великодушия, но нельзя не признать, что его мелочное правление навело порядок в расстроенных финансах, что и позволило его сыну начать свое царствование с широкого жеста всеобщего освобождения. И даже о вечно пьяном солдафоне Александре Третьем я могу сказать, что он был последователен. А что мне сказать о его сыне? Подкаблучник масштаба командира полка. Большего доверить ему не могу, не управится. Нет, не управится, Леонид, а вот счастье это наше или несчастье, я не знаю. Я не знаю, что нужно такому монстру, как Русь-матушка. Она чудовищно велика, косматa, темна, богата и… жестока. Никогда не думал, что спосо-

бен на монолог, и у меня пересохло в глотке.

— Я тоже не знаю, что нужно России, но я твердо знаю, что ей не нужно, — задумчиво сказал Старшов. — Ей не нужна пугачевщина.

— Считаешь, что зашло столь далеко?

— Когда нет уважения к власти, власть должна опираться на силу. А какая уж тут сила, когда в России вооружен каждый третий? У меня в роте есть некто Прохор Антипов. Так вот, он свою винтовку ни за что не отдаст. Он увезет ее в деревню и там при первом же осложнении пропорет штыком живот становому, жандарму, а заодно и помещику. Россия у порога крови, Николай Иванович. У порога крови.

Из своего первого посещения Княжого Леонид запомнил этот разговор, а Варя — яблоки. Собственно, не столько сами яблоки, которыми был переполнен сад, обе веранды, дом, сколько яблоневый дух. Он витал над старой усадьбой, и в этом заключалось что-то необъяснимо печальное. Это был дух прощания, полный густоты и грусти, и Варя запомнила эту последнюю осень прошлого именно такой. Опавшей, с горьковатым ароматом увядания, тоски и безвозвратности. Но тогда и ей, и неожиданно повзрослевшей Татьяше казалось, что плачут они от встречи, но плакали

они от грядущих расставаний, и только Руфина Эрастовна искренне роняла слезы от радости:

— Я бабушка. Я все-таки стала бабушкой, мой великодушный и действительный статский советник!

5

Для них это был месяц затишья: до смерча, вверх дном перевернувшего Россию, оставалось менее полугода. Но смерчи приходят непредсказуемо, а потому никто и не гадал о сроках, хотя все слышали надрывный скрип качающегося трона. И все говорили, говорили, говорили.

— Триста лет гнило, вот и прогнило. Труха под ногами, ощущаете?

— Единственный выход — победоносная война…

— Пора нам взять пример со стран цивилизованных, господа, пора.

— Конституционная монархия…

— Отречемся от старого мира…

— Да здравствует республика, господа!

— Хлеба!

— Земли…

— Мира!..

Кричали город, деревня и фронт. И именно их

надсадный, как последний выдох, хрипатый рев и определял собою силу, задачи, возможности, стратегию и тактику. Все остальное оказалось типично русской болтовней — слабостью, свойственной России во все времена и во всех ипостасях. Во время приступов этой слабости население ее начинает говорить куда больше, а делать куда меньше, чем народы любого иного государства, стремясь вознаградить себя за протяжно долгие и глухие, как куртины Петропавловской крепости, периоды запуганного молчания. Время говорения, естественно, созидало говорильни и рождало говорунов всех слоев, оттенков и направлений, и они созидались, и рождались, и росли, как опята на обреченном дереве.

Запасные батальоны издавна делились не на офицеров и рядовых, а на постоянный и переменный составы, причем постоянный состав отправлял на передовые состав переменный. Поскольку любая романтическая иллюзия испаряется со скоростью эфира, а начала и концы войны уже затерялись в грохоте и зловонии, то воевать расхотелось даже вчерашним гимназистам. Все стремились пристроиться если не при снабжении, то при штабе, если не в лазарете, то хотя бы в запасном батальоне, где, конечно же,

оказаться не в составе переменном. Офицеры столь привлекательных на исходе третьего года войны частей были, как правило, немолодыми, семейными, а значит, цеплялись за свои должности зубами и когтями. Старослужащие унтеры трезво предпочитали каптерки и цейхгаузы окопам и блиндажам, а потому для нижних чинов ничего не оставалось, как заделаться составом переменным, который с чьей-то легкой руки уже давно именовался пушечным мясом.

Вольноопределяющийся Владимир Олексин умудрился зацепиться за Вяземский запасной батальон только потому, что присущее ему желание вращаться неожиданно было подкреплено объективными историческими обстоятельствами — жаждой говорить. Осторожные офицеры запасного батальона говорить, правда, не решались, дорожа местом, но пароксизмы болтовни предполагают и пароксизмы слушания, и офицеры восполняли неутоленную ораторскую страсть чутким слухом, а говорил Владимир. Он витийствовал упоенно и, как казалось господам запасным командирам, весьма радикально, громогласно требуя свобод, но уповая на победу в войне. Все ждали, что пламенного трибуна вот-вот арестуют, а потому и особо благоволили

ему, неизменно оставляя при батальоне, а не отправляя на передовые позиции с очередными маршевыми ротами.

— Таких агитаторов, господа, следует держать подальше от фронта, — сказал командир запасного батальона подполковник Савелий Дмитриевич Нетребин, формулируя тем самым объяснение, если кто-то вдруг поинтересуется, почему это вольноопределяющийся Олексин околачивается подле господ офицеров, периодически переходя из роты подготовленной в роту формируемую.

— Русский народ истово верует в Бога и государя, — разглагольствовал тем говорливым временем вольноопределяющийся. — Сохранить в чистоте идею Господа нашего и лик его императорского величества есть первейшая и святейшая обязанность русского цивилизованного общества. Однако при этом мы должны широко раскрытыми глазами видеть нищету деревни и голод рабочих окраин, господа. Вопль обездоленных да будет услышан нашими сердцами, и пусть наполнятся они святой верой в победу славного русского оружия, которая принесет долгожданные европейские свободы в зараженную деспотическим дыханием Азии матушку Россию!

Так он мог токовать часами. Мужчины помал-

кивали, дамы умилялись, барышни постреливали глазками. Владимир упивался собственными речами, вольнодумством и вниманием как господ командиров, так и их жен, и в особенности дочерей. А поскольку он привык жить, не ведая утром, что натворит к вечеру, то вскоре старшая дочь самого командира запасного батальона подполковника Нетребина, Лидочка, в счастливых слезах призналась маменьке. Маменька не разделила ее радостей, пролив куда более горькие слезы, и уже на следующее утро Савелий Дмитриевич вызвал к себе вольноопределяющегося Владимира Олексина.

— Милостивый государь, дочь моя совращена вами, и я намерен узнать, на какое именно число желательно определить венчание.

Легкомысленность упряма не вследствие нрава, а вследствие нежелания и неумения предполагать. Унылая великопостная девица была столь пугающа, что Владимир тупо отрекся от всего. От страстных признаний, жарких объятий и двух часов, проведенных в девичьей постели. Лидочка рыдала и твердила: «Да!», а он угрюмо злобился и твердил: «Нет!». Ситуация сложилась невероятная: наглый обольститель в глаза отрекался от предмета страсти, ставя тем самым этот

несчастный предмет в положение двусмысленное и оскорбительное. Ни увещевания отца, ни мольбы матери, ни горькие слезы жертвы, ни даже дружное осуждение дам и бойкот офицеров ничего не могли поделать с трусом, растерявшим остатки чести и приличий в купеческих попойках. Угрозы также ни к чему не привели, дуэли были запрещены категорически, да подполковник Нетребин и не рискнул бы на дуэль, дорожа местом больше, чем честью. Вольноопределяющемуся решительно указали на дверь во всех офицерских семьях, с частной квартиры ему предписано было немедленно перебраться в казарму; он перебрался, в казарме его кто-то серьезно избил, и с первой же маршевой командой он был отправлен на передовые позиции. Добиваться долгожданных европейских свобод путем достижения победы славного русского оружия.

Вечером 17 декабря 1916 года команда грузилась в вагон на станции Вязьма. Как раз в это время в Петрограде возле дома № 94 по набережной Мойки остановилось авто, из которого вышел некий господин, и князь Феликс Феликсович Юсупов граф Сумароков-Эльстон гостеприимно распахнул перед ним двери собственного дома.

Известно, что история склонна к повторе-

нию собственных ошибок, и в этом смысле она весьма смахивает на двоечника, добросовестно пытающегося заново сдать экзамен, что в свою очередь превращает первоначальную трагедию во вторичный фарс. Три сотни лет назад у истоков Смутного времени оказался беглый монах именем Григорий, и в описываемое время это же имя замельтешило вдруг в сферах сильных мира сего, не предвещая, увы, фарса, а грозя еще более страшными трагедиями. Напуганные не столько историческими аналогиями, сколько реальными деяниями новоявленного возмутителя спокойствия, наиболее энергичные представители высшего света травили его цианистым калием, били по голове, дырявили из револьвера и в конце концов еле-еле утопили в Невке. Насильственно лишенный жизни, подобно своему анафемскому тезке, Распутин и после смерти разделил участь Гришки Отрепьева: вырытый солдатами из могилы в Царском Селе, труп его был сожжен на костре, а пепел развеяли по ветру.

— Правда, это не спасло нас от Смутного времени, — заметил Дед много лет спустя. — Хотя Распутин тут абсолютно ни при чем. Гришка — приправа к Истории, чуть-чуть тухлятинки к пиру во время чумы, и я бы не поминал о нем,

если бы не получил поручика в том самом месяце, в котором этот пророчествующий жеребец вдосталь нахлебался ледяной воды.

6

Ольга Олексина была самым тихим и незаметным человеком в семье. Она не отличалась ни красотою Вареньки, ни некрасивостью Татьяшки, ни смешливостью первой, ни твердостью второй; может быть, таковым оказался каприз природы, а может быть, здесь сыграло роль то, что Оля чуть приволакивала ногу в память о родовой травме. Эта нога отравила все Олино существо, переплавив задатки прирожденного олексинского юмора в тяжеловесную серьезность. Оля разучилась понимать шутки, считала их неприличествующими девице, не шутила сама и неодобрительно поджимала губы, когда шутили другие. Живость ловкой, сметливой и сильной Татьяны ее всегда раздражала, обаяние, страстность и звонкость Варвары с детства вызывали зависть, и Оле ближе всех в семье оказались не сестры, а глуповатый индюк Владимир. И он относился к ней благосклоннее, чем к другим сестрам, так сказать, взаимообразно: она не хохотала в ответ на его глубокомысленные

пошлости, как Варвара, и не умела убийственно иронизировать, как Танечка. Оля слушала его если не с восхищением, то с участием, которое он усилием воображения превращал во внимание, а потому и любил оттачивать на старшей сестре свои спичи, остроты и экспромты. Так повелось с детства, и это был единственный тандем в семье, остальные катили на своих велосипедах. И, кроме того, Владимир не оказался конкурентом, когда сестры начали зреть и искать.

Младшие искали неосознанно и несуетливо, а нашли раньше старшей. Собственно, нашла одна Варя, но Ольга не считала, что Татьяна потеряла: она была единственной (кроме отца, разумеется), кто не поверил в легенду о чахотке. Своевременное исчезновение Татьяши из дома уберегло ее от Олиного яда, но из разности сестринских успехов Оля сделала общий вывод: надо действовать. И с тайной помощью Владимира, имевшего обширные связи в купечестве, познакомилась с некой говорливой и шустрой особой, имя которой не имеет никакого значения. Товар, правда, был не ахти — не молода, не красотка, не стрекоза и, увы, бесприданница, — но особа имела в запасе некоторые варианты.

Можно только себе представить, что было бы с

генералом Олексиным, узнай он о столь замшелом способе не остаться в девицах. Всякого рода свахи у него прочно ассоциировались с Островским, купцов и купечества он вообще терпеть не мог, но, на счастье, абсолютно не интересовался, каким именно образом его старшая дочь извлекла из житейских пучин Василия Парамоновича Кучнова вкупе с сыночком-ангелочком. Николай Иванович воспринял это как стихийное бедствие, сбежал при первой же возможности и до конца дней своих прилагал все усилия, чтобы встречаться с дочерью без ее супруга. Чаще всего ему это удавалось, хотя Василий Парамонович в то время считал генеральскую родню законным приданым своей Ольги Николаевны и, следовательно, своею личной собственностью.

Приобретя мужа, Оля тем не менее не ощутила ожидаемого если не счастья, то хотя бы удовольствия. Разница между мешковатым (не потому ли генерал вообразил насчет муки?) Василием Парамоновичем и ловким, при шпорах и сабле, Леонидом Старшовым оказалась столь разительной, что червь точил Ольгу денно и нощно. Чахоточная Татьяша жила в настоящем имении, Варин муж получал чины и ордена, и у Оли оставалось единственное преимущество, которое, к

слову сказать, остальными Олексиными, и в том числе и самой Олей, преимуществом не считалось, — деньги. И она, а совсем не бережливый Василий Парамонович, затеяла полную перестройку старого купеческого дома. Она мечтала превратить его в красивейший и популярнейший особняк, приучить к его уюту и широко распахнутым дверям наиболее уважаемые фамилии города, организовать салон по примеру княгини Тенишевой, скажем, по четвергам, и тем самым навсегда раздавить червя, точащего ее душу. «Кучновские четверги» — Господи, какой музыкой звучало в ее ушах! Она сумела проиграть эту музыку и в природно недоверчивых ушах супруга: завороженный генеральской родней и четверговыми перспективами, Василий Парамонович крякнул, но денежкой брякнул. Кучновы влезли в олексинский дом, потеснили Варвару Старшову, выжили генерала, но дело с превращением мирной купеческой обители в некое пристанище городского бомонда завертелось. Правда, в связи с войной вертелось оно медленно.

— Подвалы расчистить и углубить, — неутомимо распоряжалась Ольга. — Там будет винный погребок и, может быть, грот. Грот мечтателей и

поэзии в свете свечей.

— Как ни смешон был сей прожект, а в этом особняке и впрямь побывало много представителей самых громких фамилий, — невесело иронизировал Дед много лет спустя. — Подвалы с «гротом мечтаний и поэзии» весьма понравились губчека.

Дом перестраивался хоть и неторопливо, но основательно, питаемый злой фантазией Ольги и деньгами Василия Парамоновича, а пока Кучновы жили в доме Олексиных. Собственно, и Олексиных уже не осталось: генерал удрал к Татьяше, Владимир служил в армии, а Варенька стала Старшовой, но покуда существовала Фотишна, существовал и олексинский дом, и никакие Кучновы поколебать его не могли. Домна Фотиевна упорно считала их жильцами временными, с временными, а потому и ограниченными правами. Василий Парамонович принял эту позицию, Ольга кое-как согласилась, и прислуге Кучновых было приказано считать Фотишну хозяйкой дома. Возможный конфликт таким образом был ликвидирован, а поскольку места на всех хватало, то и жильцы дома обитали отныне как бы в разных временных поясах.

— Не люблю тишины, — ворчала Фотишна. —

Тишком, Варюшка, грабить сподручно.

А потом и Варенька исчезла из дома в неведомое Княжое, и Фотишна осталась одна. Следила за порядком, требовала уважения, пила чай с Ольгой по старой памяти да ворчала на тишину, которой уж и в помине не было в Государстве Российском.

Приближался 1917 год, и никто, никто решительно, ни один человек не знал, что год этот записан в Книге Судеб огненными цифрами, знаменуя собой Конец и Начало.

7

— Семнадцатый год начался не первого января, а первого марта, — рассуждал Дед, когда стало можно и порассуждать. — А мы, помнится, встречали его довольно шумно. К Рождеству пожаловали поручика и… Между прочим, я оказался в списке, который утвердил сам государь, хотя обычно такую мелочь с легкостью раздавал главнокомандующий. Через два десятка лет мне долго пришлось объяснять этот монарший каприз. Долго и дорого.

Встречали в батальоне у Незваного, которого опять царапнуло, опять легко, и опять он не воспользовался отпуском. Кроме Старшова, при-

сутствовали и другие командиры рот; Леонид хорошо знал их, и компания была бы своей, если бы каждый ротный не притащил с собой новоиспеченных прапорщиков.

— Понимаешь, они уже кичились, а мы еще кичились, и это нас не сближало.

Первый офицерский чин без специальной подготовки присваивали либо за отчаянную храбрость, либо за отчаянную верность; к представителям первой категории окопное офицерство относилось с должным уважением, а произведенных по причине номер два, естественно, опасались. Вообще осторожность, столь несвойственная русскому офицерству, в последнее время начала приобретать все большее число последователей, превращаясь постепенно в некий стиль окопного поведения. Опасались германских пулеметов и собственных солдат, тяжелой артиллерии и глупых приказов, аэропланов и доносчиков, ставших обычными, как вши. Дед считал, что как раз на втором году этой бессмысленной войны и рухнуло то удивительное взаимное доверие, которое скрепляло сословную русскую армию в единую военную силу, обладающую непостижимым упорством и стойкостью.

— Солдат переставал видеть в офицере командира и начинал ощущать в нем только золотопогонника, — говорил он. — Вот это и явилось началом гибели русской армии. Впрочем, мне и тогда везло.

Дед всю жизнь по-детски упрямо верил, что ему всегда и везде везло. Везло в германскую на солдат, в гражданскую — на коня, в мирное время — на друзей и в Великую Отечественную — на средства связи. Он искренне ни в грош не ставил собственный талант офицера-тактика, способного мгновенно оценить обстановку и найти единственно верное решение. С него вполне хватало того, что никто и никогда не упрекнул его в трусости. Ни солдаты, ни соседи слева и справа, ни друзья, ни враги, ни начальство, ни противник. Дед был самолюбив и напрочь лишен честолюбия.

— Карабкаться вверх, чтобы однажды сорваться не по своей воле, — занятие для обезьян.

А его прапорщики были пока еще и вправду ничего. Масягин преданно любил за тот рассветный порыв в низине реки Равки. Дольский ценил за окопный опыт и демократизм, но как-то молчаливо и отстраненно. Он вообще был молчалив, умел держаться со всеми на дистанции,

не вызывая обид, а внушая уважение, отличался отменным хладнокровием и командирской хваткой. Эта непонятно каким образом зародившаяся в душе учителя командная жилка казалась вполне профессиональной; Старшов, сразу почувствовавший холодное отчуждение нового прапорщика, с огромным облегчением доверился всем его хваткам и жилкам, и это вполне устраивало как одного, так и другого, — первый разговор не по службе случился в ночь под Новый год.

— Вы пьете воду даже за здравие государя, Дольский?

— Я всегда пью воду.

— Вы оригинал!

— Я каторжанин. Позднее — ссыльнопоселенец.

— Я полагал, что вы учитель.

— Я им числился для жандармов, полиции и любопытствующих родственников.

— А как же каторга? Простите, может быть, мой вопрос нескромен…

— На передовых нет нескромных вопросов. Я был приговорен к смертной казни, которую заменили сначала бессрочной каторгой, а впоследствии — ссылкой.

— Вам на редкость повезло.

— Повезло — дамское определение, поручик. — Дольский неприятно усмехнулся. — В борьбе нельзя рассчитывать на везенье, в борьбе надо рассчитывать только на победу.

Рыжеватый коренастый прапорщик отрубал слова, как полешки: каждое существовало вроде бы само по себе, но это не только не разрушало фразу, а придавало ей особо весомый смысл. «Очень неплохой оратор, но, бог мой, какой же скучный оратор!» — подумал Старшов, а где-то внутри самого себя под этим определением старшего по чину не столько понял, сколько почувствовал, что перед ним не просто оратор, но вождь. Наполеон, Магомет, Пизарро, Пугачев. Он невольно робел, но робел не потому, что Дольский был на десять лет старше, не потому, что за его плечами смутно проглядывала трагическая судьба, а потому, что Леонид не выдерживал взгляда серых, холодных и мертвых глаз.

— Вы имеете в виду победу в этой войне?

— Я имею в виду победу в борьбе.

— В борьбе за что?

— Борьба отличается от войны тем, что в борьбе каждый сам определяет свое место. Не опоздайте определиться, Старшов.

С тем он и отошел, коротко кивнув, будто был

старше чином и мог отойти, когда ему хотелось. Но поручик был не обижен, а озадачен; озадаченность без труда читалась на его лице (на котором, к слову сказать, всегда все читалось), и Незваный сразу залюбопытствовал:

— У вас выражение, будто вы решаете детскую загвоздку: почему у коровки и лошадки разные каки, хотя едят они одно и то же?

— А в самом деле, почему?

— А черт его знает, спросите своего прапорщика Масягина. Говорят, есть время вопросов и время ответов: вы в какое желали бы жить, коли был бы выбор?

— Вопросы — признак детства, ответы — признак старости. Послушайте, Викентий Ильич, Дольский не без кокетства назвал себя каторжанином. Сколько здесь правды?

— Кое-что до меня доходило. — Чувствовалось, что Незваному не хочется откровенничать, но не хочется и отмалчиваться: он по-доброму относился к Леониду. — Его револьвер не знал ни промахов, ни пощады: говорят, при налете на банк пристрелил трех человек без всякой видимой причины. За это полагалась виселица, однако для Дольского исключение почему-то было сделано.

— Почему же?

— Слухи, — нехотя сказал командир батальона. — Что вы скажете о человеке, который во всех своих действиях неизменно руководствуется одним принципом: цель оправдывает средства?

— Таких людей следует держать изолированно от общества. Значит, целью было ограбление?

— Целью было избежать виселицы, — понизив голос, сказал Викентий Ильич. — И он избежал. О средствах можете догадываться, но поостерегитесь говорить о них вслух.

Прошло много лет и много войн, было зачато множество новых жизней и завершено множество молодых; мир вертелся, как вертелся всегда, миллионы и миллионы лет, и только самая громадная страна этого мира — скорее, не страна, а часть света — рванулась вдруг из этого размеренного, равномерного вращения, позабыв о великом Законе Инерции. И вздыбилась гигантской плитой вопреки всему и вся, круша людей и скотов, народы и страны, города и деревни, церкви и веру, семьи и сострадание, милосердие и благоразумие. За считанные годы одна из богатейших стран мира стала нищенкой, в безумном угаре промотав состояние, нажитое тысячелетним недоеданием всего народа, и жизнь опять

началась с нуля.

— Знаешь, каждый год имеет свой собственный девиз: можно было бы попытаться составить календарь из девизов на манер восточного из животных. Ну, к примеру, год Великого Голода, год Великого Перелома или год Победы и так далее. Так вот, семнадцатый вошел в историю под девизом «Цель оправдывает средства».

Так сказал Дед незадолго до смерти.

Глава четвертая

1

Древних весьма занимал вопрос, который нам кажется неинтересным не потому, что мы знаем ответ, а потому, что нас перестала терзать любознательность. Вообще человечество с каждым веком увеличивает не количество ответов, а количество вопросов: то, на что мы не в силах ответить, мы либо объявляем несуществующим, либо отвергаем, либо стараемся забыть, либо постепенно разлагаем на составляющие столь элементарно простые, что и отвечать-то на них уже нет никакой необходимости. Что же касается проблемы, над которой бились ясные и трезвые

умы античности, то она заключается в зерне. В том последнем зернышке, добавление которого вдруг превращает «столько-то зерен» в кучу зерен. А сколько дней необходимо, чтобы количество терпения перевесило страх перед расплатой и традиционный трепет пред властями? Когда это случается, на площади выходят не только те, которым нечего терять, и не только те, которые надеются что-то приобрести, а все, весь народ, хотя под этим понятием у нас подразумевают кого угодно, только не интеллигенцию. Но в тот день «икс», когда количество обид переходит в качество возмущения, никто не отъединяет интеллигенцию от народа, никто не противопоставляет их друг другу, и скромный учитель чистописания надевает тот же алый бант, что и грузчик, металлист или горновой. Население страны вскипает, как магма: деревня, похватав топоры, спешит жечь усадьбы и крушить павловскую мебель; город выплескивается на улицы столь единодушно, что жандармы и полиция добровольно отказываются от сопротивления, войска не желают стрелять даже в воздух, министры забывают свои портфели, и власти ничего не остается, как отречься от самой себя.

Стихийная всеобщность определяется степе-

нью разогрева: недаром один из весьма известных в то время писателей назвал революцию расплавленной государственностью. Естественно, он имел в виду не заранее спланированное восстание, а всенародный порыв, свидетелем которого оказался. Этот порыв взорвался столь внезапно и единодушно, что ни одна из многочисленных партий России так и не смогла записать его в свой актив; революция явилась воистину творением всего населения, а потому оказалась краткой, бескровной и бесспорной, не выволочив за собою кроваво-дымного шлейфа гражданской войны. Начавшись песнями вместо выстрелов, она долго еще сохраняла радостные признаки праздника и братского единства. Братались все, на всех палубах гигантского дредноута, именуемого ныне Россией Демократической: «Да здравствует революция, господа, либертэ, эгалитэ, фратернитэ!»

При всей неуправляемости и неожиданности диалектического антраша, исполненного Россией к вящему удивлению всего мира, кто-то что-то все же знал, а если и не знал, то чуял звериным сверхчутьем. Во всяком случае, Дед именно этому сверхчутью приписывал таинственное исчезновение прапорщика Дольского за неделю до исторического события, называемого ныне

февральской революцией. Это не было случайной гибелью, от которой никто не застрахован на передовой, но и не казалось дезертирством, потому что прапорщик имел на руках некое предписание, которое позволяло ему передвигаться вполне легально. Словом, никто не знал, когда и по чьему распоряжению фронтовой офицер оставил вдруг окопы и, никому не докладывая, но и не таясь, исчез в гнилой рассветной мгле. Поручик Старшов пошумел, повозмущался, написал рапорт, но тут наступили события столь неудержимые, что он забыл о Дольском очень надолго. Пока однажды Дольский не вспомнил о нем.

Наступали времена исчезновений без всплесков и появлений без корней; в разгар всеобщих восторгов по поводу долгожданного братства и почти детских свобод как-то незаметно, без шума и словно бы даже без пламени, сгорели архивы Охранных отделений в обеих столицах одновременно. Что кануло в огонь, какие преступления, имена, расписки в благонадежности или в неблагонадежности — все отныне оказалось прикрыто пеплом куда прочнее, чем крепостным железобетоном. Кому-то было жизненно необходимо, чтобы История Государства Российского вновь отсчитывалась от нуля.

— Свобода, господа! Ур-ра!..

Кричали искренне, со слезою во взоре и оттепелью в груди. Кричали возвышенно, с горящими глазами и готовностью к эшафотам не только для других. Кричали с яростью, еще не успев полюбить, но уже научившись ненавидеть. Кричали, кричали, кричали на всех углах и во всех полках, на всех сходках и на всех палубах, на всех митингах и по каждому поводу, каждый кричавший вкладывал свое понимание в заветное слово, но все внимавшие ораторам понимали одинаково. Понимали так, как понимала Русь, которая испокон веков, в отличие от Европы, под словом «свобода» понимала не ряд законов, ограждающих личность от произвола, а полное отсутствие всяких ограничений, законов и порядка. Свобода для России всегда была, так сказать, с пугачевским дымком: свобода для толпы и безусловное подчинение личности этой толпе.

— Для нас свобода — не право каждого на пряник, а право каждого на кнут, — подытожил Дед через четыре десятилетия. — Врежут мужику пару горячих, а он и рад-радешенек: «Барину тоже врезали!» Вот что значат для нас свобода, равенство и братство.

Армия растрачивала революционный пыл в

бесконечных митингах. Войну никто не прекращал, все оставалось вроде бы без изменений, только вместо «их благородий» ввели общее для всех обращение «господин». «Господин прапорщик, господин полковник, господин генерал», а в некоторых полках и «господин солдат». А больше ничего не изменилось, не считая известных потерь в офицерском составе: кого-то стрельнули под революционный шумок, кто-то сбежал сам. Армия галдела, требовала мира или отпусков, сапог и мира, мира и новых шинелей, и снова того же мира с чем-то еще на бесконечных митингах. Противник относился к этому с добродушным выжиданием: не стреляли, а кое-где, как утверждали всезнающие солдаты, началось и братание.

— Штык в землю! — орал Прохор Антипов, охрипший на ежедневных говорильнях. — Немец такой же мужик, как и мы! У него тоже баба есть! И хозяйство! Долой!..

Вскоре стали доходить слухи о каком-то приказе № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Что это был за приказ, каково было его содержание и кого он касался, никто толком не знал, но на всякий случай все чего-то требовали. В полку ожидали прибытия депутата Государ-

ственной думы; за неделю до предполагаемого события к Старшову явилась делегация во главе с главным крикуном Антиповым.

— В Петрограде рабочие и солдаты установили свою власть, — как всегда угрюмо, не глядя в глаза, сказал Антипов. — Чтоб не было к старому никакого поворота, надо и нам тоже. Чтоб, значит, господа офицеры не захапали революционные достижения.

— Вы хороший солдат, Антипов. — Леонид понимал, как важен сейчас правильный тон, но этот проклятый правильный тон с подчиненными давался ему с огромным напряжением. — Власть меняется, а родина остается, и мы ее защищаем на этих позициях. Я знаю, что вам хочется мира и вы за него агитируете. Мне тоже хочется мира, но я не хочу отдавать Россию германцам. Поэтому можете меня убить, можете потребовать, чтобы меня убрали, но, пока я вам командир, в роте ничего не изменится. Мы будем исполнять свой долг и…

— Да не о том речь! — раздраженно крикнул Прохор. — Заладил свое, как пономарь, а мы — от общества. В армию депутат Государственной думы прибывает, и полковой комитет распорядился, чтоб от каждой роты было по два

представителя. Вот нас с вами и выбрали.

— Нас? — опешил Старшов.

— Ну, вас и меня, понятно? Сдайте роту Масягину, завтра с утречка и потопаем.

«В те времена я был мало знаком с наглостью, — рассказывал Дед, добродушно посмеиваясь над самим собой (тем, молодым). — И поэтому мы потопали…»

2

На встречу с депутатом собралось свыше тысячи солдат — офицеров Старшов поначалу вообще не заметил в единообразной серой солдатской массе, решил, что их сюда не допустили, и насторожился. Сам он, несмотря на погоны и форму, проходил как солдатский делегат; это создавало неудобства на каждом шагу: незнакомые солдаты смотрели недружелюбно, часто требовали мандат, и тогда Антипов горячо и матерно объяснял, что поручик единогласно избран ротой в качестве именно солдатского представителя. Словом, Леониду было на редкость неуютно; он еще не умел разговаривать с солдатами на их языке, еще не утратил офицерского тона и предпочитал отмалчиваться. Грубый и настырный Прохор Антипов не отходил от него ни на шаг, бегал за

кипятком, кормил, защищал и развлекал, как мог и умел.

Наконец прибыл специальный состав из трех классных вагонов, и тотчас же из здания вокзала, охраняемого пулеметной командой, высыпало множество офицеров. Они окружили прибывших и направились было к вокзалу, но солдатская масса, запрудившая перрон, подъездные пути, привокзальную площадь и прилегающие улицы, подняла такой шум и крик, так внушительно затрясла винтовками, что встречающим пришлось подчиниться, и депутата вместе с сопровождающими его лицами прямиком провели на площадь, где уже была сооружена дощатая трибуна. Возникла людская коловерть; Антипов, энергично толкаясь и еще более энергично матерясь, устремился вперед. Леонид кое-как поспевал за ним, и к тому времени, как гости поднялись на трибуну, Старшов и его солдат сумели пробиться в первые ряды.

— Мне здорово намяли бока, но зато я понял, для чего человеку локти, — хмуро комментировал Дед этот первый в своей жизни митинг.

Депутат Государственной думы был солиден, как депутат, бородат, как старовер, и лобаст, как старательный присяжный поверенный. Его со-

провождали молодой вольноопределяющийся с огромным красным бантом, молчаливый сумрачный офицер из штаба армии и апоплексически пыхтящий тылового типа генерал. Кроме них, на трибуну поднялись и другие офицеры. Вся компания держалась вместе у дальнего края помоста, стараясь сохранять определенную дистанцию между собой и оживленной, взвинченной, пугающе незнакомой солдатской массой. Может быть, поэтому они тянули с началом митинга, шептались, рассылали связных, а забитая солдатами площадь орала все нетерпеливее. Наконец на трибуне решились; депутат оторвался от компании, пересек помост и остановился у края, над толпой, крепко вцепившись в перила.

— Господа! — крикнул он сиплым, сорванным голосом, и все затихли. — Граждане свободной России! Друзья и соратники мои во дни великой очистительной бури…

В конце фразы голос его окончательно сорвался. Толпа добродушно засмеялась, и кто-то крикнул:

— Видать, много уговаривал!

Депутат закашлялся, замахал руками. Отдышавшись, прохрипел окончательно севшим голосом:

— Осип, господа, неделю говорю по шести раз в

сутки. Почему и просил выступить юного члена партии конституционных демократов, чьи прогрессивные мысли я полностью разделяю.

Он отошел, а на его месте оказался вольноопределяющийся с бантом на шинели. Театрально воздев руки, ясно и четко прокричал:

— Братья-солдаты! От всего пламенного сердца поздравляю вас с обретенной свободой! Сотни лет великая родина наша…

«Володька! — ахнул Старшов. — Ах, болтун, недоучка, тыловой лизоблюд…» Он уже не слышал, о чем говорит беспутный родственник: настолько велики были его недоумение, досада и непонятно в чей адрес поднявшаяся вдруг обида. Он не стал ничего объяснять Прохору Антипову, но про себя подумал, что с господами, которые, не брезгуя, нанимают прощелыг подобного толка, ему как-то не по дороге.

— Новая серьезнейшая эпоха жизни государства нашего требует дружной работы! — с пафосом продолжал выкрикивать Владимир. — Офицеру и солдату предстоит слиться в единое могучее целое, а для этого прежде всего необходимо проникнуться доверием друг к другу, ощутить себя братьями свободной России, понять обоюдные нужды. Каждый день жизнь предъявляет и

будет предъявлять все новые и новые проблемы, которые надо научиться решать без болезненных эксцессов и осложнений. Необходимо повсеместно разъяснять смысл новых начинаний, которые всегда должны иметь девиз: честь и достоинство великой России…

По толпе прошелестел легкий шумок недовольства; она переставала понимать и вот-вот должна была взорваться ревом возмущения. Оратор, упоенный собственными словами, не чувствовал возникшего отчуждения, но сумрачный офицер, сопровождавший депутата, подошел и зашептал на ухо.

— Чего шепчешь? — заорали солдаты. — Говори народу, слышь, оратор! Долой шептунов!.. Не желаем! Слазь к нам, тут и пошепчемся!

— Господа, господа! — Владимир позволил себе по-свойски хохотнуть, но вовремя остановился. — К примеру, возьмем два насущных вопроса: вопрос мира и вопрос земельного обеспечения. Это есть коренные вопросы настоящей русской жизни, их нельзя решать второпях, нельзя решать временно. Верно я говорю?

Он сделал паузу, и все недовольство солдат, все их раздраженное непонимание вылилось в дружных криках:

— Верно! Правильно говорит! И чего тянут?..

— А тянут не потому, что хотят все оставить по-старому, и не потому, что собираются вас обмануть, а потому, что наше сегодняшнее правительство есть правительство временное. Оно так и называется — Временное правительство! Оно просто не имеет права решать вопросы такого исторического масштаба и значения. Только правительство, избранное Учредительным собранием всех граждан России…

Гул, крики, шум перекрыли его слова, и до Леонида долетали какие-то обрывки: «…первейшая задача — победить злобного врага. Не допустить разложения армии… Выявлять германских шпионов и других преступных элементов и передавать их в руки командиров, которые ныне работают в тесном контакте с полковыми солдатскими комитетами…» Он был так возмущен самодовольным пустомельством непутевого родственника, что уже с трудом удерживал себя от выкриков. «Еще заметит, обнимать бросится — вот позору-то будет», — хмуро подумалось ему.

— Идемте отсюда, Антипов.

— А выборы? — Прохор выглядел не просто возбужденным, но и весьма озабоченным. — Я поручение имею от общества, ясно? Вот и жди,

сколько надобно.

После выступления вольноопределяющегося Олексина к собравшимся с напутственной речью обратился неожиданно прибывший командующий армией. Он говорил коротко, с отеческим добродушием, и солдаты слушали его с привычным уважением. А потом он уехал, и начались выборы в Армейский совет. Вновь поднялся отчаянный шум и крик, и Старшов с удивлением расслышал вдруг собственную фамилию: Антипов и группа солдат их полка громко требовали включения в члены Совета выборных поручика Старшова.

— Вот и славно, — радовался Прохор, когда они возвращались в роту. — Ты, господин поручик, человек нашенский, тебе солдатская жизнь не дешевле своей, вот общество и поручило мне тебя выдвинуть для контроля.

— Я окопный офицер, — злился Леонид. — Я командовать должен, а вы что предлагаете? Заседать да горланить?

— И это нам сейчас нужно, а то объегорят господа офицеры нашего брата. Они, паразиты, все грамотные и все друг за дружку. А за роту ты не бойся, там и Масягин управится.

В роте, куда прибыли поздней ночью, их встре-

тил растерянный прапорщик Масягин: сутки назад во время попытки по-дружески потолковать с противником, чтоб не стрелял без предупреждения, германцы взяли заложниками трех парламентеров.

3

Хвощеобразный учитель вновь отстроенной школы был болезненно застенчив и тем не менее поднял генерала ни свет ни заря.

— Государь отрекся от престола, Николай Иванович, — шепотом сообщил он. — Вот, извольте, газета. Только что из Смоленска привезли, старостa коня чудом не загнал.

— Ну и слава богу, скучный царишка был. Ни рыку ни брыку, ни даже фигуры. Палить нас когда намерены?

— Палить? Из чего палить? — не понял учитель, полагавший, что генералы всегда из чего-нибудь непременно палят.

— Ну, жечь, жечь. Испепелять, так сказать.

— Вон что, — учитель нахмурился; он был добр и терпелив, но не выносил дурацких шуток. — Завтра.

— Завтра? — озадаченно переспросил Николай Иванович, поскольку в ответе ничего шутливого

не содержалось.

— Ну да. Сегодня недосуг.

Неизвестно, как далее развивалось бы это взаимное непонимание, если бы не появились три дамы одновременно: Руфина Эрастовна, заметно повзрослевшая Татьяна и девочка Аннушка, считавшаяся приемной и спавшая у матери на руках.

— Что случилось, друг мой? — обеспокоенно спросила хозяйка, ставшая весьма наблюдательной, когда дело касалось ее нового управляющего. — Вы злы, как махровый пион.

— Полковник сдал свое хозяйство, и Россия более не монархия, а черт ее знает что. Сбылась, так сказать, вековая мечта.

— Господи, а я испугалась. Опять, подумала, у вас печень пошаливает.

— Моей печенью можно гвозди ковать.

— Эта ваша милая манера искушать всех подряд к добру не приведет. Мед пили?

— Мед пили. По усам текло, а в рот не попало.

— Увеличу дозу, чтобы попадало.

Препирались они по сто раз на дню голубиными голосами и при этом и слушали только друг друга, и глядели только друг на друга. А глядеть бы — как, впрочем, и всегда — следовало на греш-

ную дочь. К этому времени она как-то незаметно оттеснила учителя к окну (а может, это он ее оттеснил?), и беседа их тоже имела впоследствии вполне серьезные продолжения.

— А глазки у нее ваши, Татьяна Николаевна.

— Говорят. Мне трудно судить.

— Ваши, ваши: глубина-то какая — и дна не сыщешь.

— Да? А ведь она мне не… — Татьяна спохватилась. — То есть, она мне, безусловно, да, но и как бы и… и нет. Понимаете?

— Я вас без всяких слов понимаю, Татьяна Николаевна. Природа мудра, куда мудрее людей с их правилами, привычками и условностями, и уж если она так распорядилась, чтоб, значит, глубина, то это вы, безусловно, абсолютно правы.

— Да. Вы знаете, она все понимает.

— Чувства, Татьяна Николаевна. Чувства — язык природы, и если один человек начинает понимать другого без всяких слов, то…

— Да, да, конечно, конечно. Вы совершенно правы, совершенно, Федосий Платонович. Смотрите, она и к вам ручки тянет!

Так отметили исторический день крушения Империи четверо в именье Княжое. Сдается мне, что не только там, а и во всем гигантском про-

винциальном государстве нашем это событие отмечалось не как событие, а как повод к иным событиям, которым надлежало воспоследствовать за отречением государя Николая Александровича. Плод перезрел; все это видели, понимали, чувствовали, осязали и обоняли, а потому и самопроизвольное отделение плода от могучего дерева, именуемого Россией, Отечеством нашим, Родиной, падение его не вызвало потрясения. Мертвое падает естественно — убитое вызывает неуправляемые волны эмоций, столкновения которых именуются восстаниями, мятежами, бунтами, волнениями, спорами, поножовщиной, пальбой, гульбой, стрельбой или гражданской войной в зависимости от высот, размахов и тяжести этих волн.

— Никакой человек не в состоянии ощутить начало той веревки, на которой его в конце концов поведут на бойню, — горько пошутил Федосий Платонович Минин ровно через двадцать лет, когда в нищей квартирке их на Покровке шел молчаливый обыск, а у дома стояла глухая черная машина, готовая отвезти бывшего сельского учителя в далекое никуда.

Дед всегда относился к Федосию Платоновичу с подчеркнутым уважением, считая, что только

истинно народные учителя и есть самые определенные коэффициенты Добра, в отличие, скажем, от профессионального офицерства, которое тоже есть коэффициент, но со знаком минус. Вообще у Деда был свой взгляд на алгебру, и в особенности на ее применение.

— Мы чаще всего учим, чтобы забывать, — сказал он однажды по поводу, ныне прочно забытому. — Скажем, вся служилая и учащаяся орава с отвращением зубрит диалектику, которую тут же и выбрасывает из головы, как только получает зачет. А ведь это есть единственная наука, способная превращать наше удрученное прессой и телевидением монокулярное зрение в зрение бинокулярное. Но Россия ленива от дикой природы и диких расстояний, ленива и нелюбознательна, а лишь любопытна. Вот это ее посиделковское любопытство и удовлетворяют, изготовляя полузнаек торопливо и в массовом масштабе.

Так в начале марта 1917 года стояли в большой гостиной две изолированные парочки, толкуя о своем и воркуя о своем, когда распахнулась дверь и ворвался маленький вихрь. Вихрь ударил тяжелой дверью Федосия Платоновича, с грохотом опрокинул стул и сотворил еще нечто физически

почти необъяснимое, что качнуло вдруг молодую бабку и нестарого деда навстречу друг другу.

Этим вихрем был Мишка, оставленный Варенькой в Княжом, потому что в последнее время ее что-то снова потянуло на плаксивое настроение и соленые огурчики.

4

Вызволять задержанных германцами солдат Старшов направился сам. Делал он это вопреки решению роты и полкового комитета, после долгой надсадной ругани, не из желания повторить собственный порыв у реки Равки, а исключительно из боязни спровоцировать противника на активные действия. До сего дня они мирно существовали окоп к окопу, ходили, не страшась внезапного выстрела, грелись на неярком солнце, периодически устраивали баньки и даже весьма дружелюбно заговаривали друг с другом. Как всякий окопник, Леонид дорожил затишьем более, нежели возможными наградами, и шел в германское расположение прежде всего во имя этого затишья. Кроме того, он хорошо знал немецкий, почему и позволил себе нарушить приказ входящего в силу полкового комитета, о чем, правда, предупредил Антипова.

— Во-во, кажи им свое офицерское нутро, — с неудовольствием сказал Прохор и глубокомысленно выматерился. — Пентюхи рязанские, вовремя удрать не могли, язви их… С кем пойдем?

— Пойдем?

— Ну одного я тебя, господин ротный, к противнику не отпущу. А вдруг сбежишь со страху?

Шутил он или угрожал — было неясно, да Леонид и не ломал голову: солдаты стерегли и оберегали его одинаково ретиво, и к такому положению он уже как-то стал привыкать. Безвременье отражалось и на фронте: солдат еще не разобрался, за кем идти, но офицеров, на которых мог бы положиться, уже неосознанно охранял. Так, на всякий случай.

Вышли еще до солнца, оставив, к великому неудовольствию Прохора, все оружие. Антипов шел на шаг впереди, размахивал белым флагом и всю дорогу зло кричал, чтоб не вздумали палить. Кричал он со страху, хотя и привычно прятал его; Старшову тоже было не до отваги, и он жалел, что не может орать во всю глотку, как орет его солдат: с криком ходить всегда не так жутко. Но германцы не стреляли, и парламентеры дошли до проломов в колючей проволоке без всяких

осложнений. Здесь оказался секрет с пулеметом; германский унтер спросил, что им тут надобно, а когда поручик объяснил, добродушно улыбнулся:

— Они мастера пить, но перепить нашего бездонного Густава им так и не удалось. Спросите в третьей роте, господин обер-лейтенант, может быть, ваши солдаты уже проспались после вчерашнего.

Трое «задержанных» встретили парламентеров виноватыми ухмылками на опухших от неумеренных возлияний физиономиях. А немолодой германский офицер, командовавший этим участком, отметил с плохо скрытым презрением:

— У вас дурные солдаты, господин поручик. Я не говорю: плохие, я говорю: дурные. Они притащили ведро спирта, но мне не нравятся такие состязания. Я не уважаю пьяниц, потому что им нельзя верить.

— Им надоело воевать, господин капитан.

— А нам с вами не надоело воевать?

Они разговаривали в сухом, теплом, хорошо оборудованном блиндаже командира батальона с глазу на глаз. Сопровождавшего Старшова соглядатая комитета отправили к солдатам, несмотря на его ворчанье: дисциплина в герман-

ской армии была еще на высоте. Германский гауптман угощал русского поручика кофе, от которого за версту несло цикорием, и ругал русское пьянство:

— Когда человек устал, он должен спать, а не пить. Это неразумно и неполезно. Я тоже устал сидеть в окопах, я тоже хочу в свое отечество, я тоже соскучился по моей жене и по моим детям, но я же не напиваюсь как свинья!

— Оставим этот разговор, господин капитан, — вздохнул Старшов. — Вы прекрасно знаете, что происходит сейчас в России.

— Я знаю, что происходит в России, и знаю, кто в этом виноват. В этом виноват ваш гнилой славянский либерализм.

Они вяло препирались, пока не покончили с цикорием. Затем германский офицер сердито потребовал примерного наказания пьяниц и наконец-таки отпустил всех пятерых с миром.

— Я старый солдат и ценю солдатскую дружбу, — сказал он, закончив выволочку. — И в знак доброго соседства я хочу лично проводить вас до ваших окопов. Надеюсь, ваши не откроют огня?

Капитана сопровождал уже знакомый Старшову унтер с тремя солдатами. И унтер, и солдаты были вооружены, и поручик остановился, как

только они вышли за колючую проволоку.

— Господин капитан, я хочу видеть в германских солдатах друзей, однако оружие, которым они увешаны, мешает этой точке зрения. Отсюда альтернатива: либо ваши солдаты оставляют здесь свое оружие и следуют с нами, полагаясь на честь русской армии, либо мы мирно расстаемся и каждый следует своей дорогой.

— Солдат без оружия уже не есть солдат.

— Да, но друг с оружием еще не есть друг.

— И все же, поскольку война не закончена, я как офицер армии Его Императорского Величества…

— Господи, ну что мы препираемся по пустякам? — вздохнул Старшов. — И вы и я вдосталь насиделись в этих проклятых окопах, но никак не можем решиться сказать вслух о своих ощущениях. Мы индюки, господин капитан.

— Должен быть приказ, — нудно бубнил немец. — На все должен быть приказ, иначе вся жизнь превратится в солдатский бордель с визгом на полторы марки.

— В таком случае нам придется расстаться здесь, — сказал поручик. — Извините, господин капитан, но я не имею права нарушать приказ полкового комитета. Я благодарен вам…

— Ложись! — дико закричал Прохор.

То ли все уже отвыкли от рева снарядов, то ли пустопорожний спор отвлек их, а только один недоверчивый Антипов уловил тренированным ухом нарастающий вой.

— Ложись, мать вашу!..

Попадали, не разбирая куда. Над головой, туго толкая воздух, пронесся снаряд, разорвавшись где-то за их спинами в колючем ограждении германских окопов. Что-то кричал офицер, приткнувшийся в заплывшей воронке рядом со Старшовым, но слов не было слышно: все глохло в беспрерывном реве и грохоте. Русская резервная батарея вела беглый прицельный огонь именно по этому участку обороны противника.

— Подлюги! — орал Антипов, в ярости колотя кулаками. — Изменники! Сволочь золотопогонная!

Германский капитан тоже продолжал кричать, но голос его не прорывался сквозь рев, а Леонид его не понимал. Зато почувствовал, потому что гауптман вдруг вытащил пистолет и начал довольно ощутимо тыкать им в ребра поручика. Близким взрывом с него сбило фуражку, крупный пот выкатился на лоб редкими каплями; капитан кричал, дергая рыжей щетинкой усов и тыча стволом манлихера, но Леонид почему-то твердо

был уверен, что немец не выстрелит в него.

Германские солдаты без всякого приказа умелыми перебежками откатились к своим окопам. Обстрел не затихал, но притих, устав орать, немец. Обреченно вздохнул, отер крупный пот, долго заталкивал в кобуру тяжелый манлихер.

— Виновные… будут… наказаны… — в три паузы прокричал Старшов. — Слово офицера!..

— Убью подлюгу! — мрачно подтвердил Прохор.

— Бесчестно… — слабо донеслось до поручика. — Это бесчестно, позор…

Пожилой гауптман вдруг решительно поднялся и несгибаемо зашагал к своим окопам. Шел прямо и обреченно, будто оловянный солдатик, не ведающий ни страха, ни смерти. И упал на собственную колючую проволоку после очередного разрыва.

— Бежим! — Антипов соображал и действовал порою куда быстрее и решительнее своего командира. — Пристрелят! Германцы за гауптмана прикончат!

Еще шел обстрел, но они побежали. Сзади гулко рвались снаряды, звенели осколки, с шумом осыпалась земля, вздрагивая после каждого снаряда. Но им повезло: они вырвались из зоны обстрела

и почти добежали до своих окопов, когда в спины ударил германский пулемет. К счастью, прицел у него, видимо, оказался сбитым, пули шли верхом; Антипов успел перевалиться за бруствер, и солдаты успели, а Леонид не успел: германский пулеметчик резко снизил прицел, и пуля полоснула по икре.

— Слава богу, не в кость, — облегченно вздохнул поручик: его втащили в окоп те застрявшие у противника солдаты, ради которых он и ходил в германскую колючку.

— Рота… в ружье!.. — яростно орал Антипов. — На дивизионную батарею… за мной… бегом!

— Зачем? — отчаянно крикнул Старшов. — Отставить! Назад! Нельзя самовольно…

Но его уже никто не слушал. Рота деловито бежала в тыл, на бегу вгоняя патроны в казенники винтовок.

— Самоуправство! — беспомощно кричал поручик. — Масягин, остановите их, остановите, они же до убийства докатятся!..

5

Как Леонид ни рвался, как ни кричал, солдаты его не пустили. Привели пропахшего махрой и йодоформом старого лекпома; тот обработал ра-

ну, заставил проглотить что-то, как он выразился, «совершенно успокаивающее», и поручик, обмяк-нув, тут же провалился в дурной, вязкий сон. Без успокоения и сновидений, да и вообще без всяких ощущений, из которого его вытряхнули самым буквальным образом:

— Ваше благородие… Да ваше же благородие!

Таинственный денщик Иван Гущин как-то стушевался при полковых комитетах и всевозрастающем солдатском неповиновении милым его сердцу начальникам и обычаям. Он старательно исполнял свои обязанности, но Старшов всегда помнил об истории с дядей, а потому стремился держать денщика на расстоянии. И Гущин послушно соблюдал дистанцию, появлялся, когда было необходимо, исчезал, как только пропадала надобность, а тут вдруг грубо и настойчиво тряс за плечи раненого командира. И шептал совсем по-прежнему:

— Ваше благородие… Да ваше же благородие…

Наконец умоляюще требовательный призыв этот прорвался сквозь одурманенное морфием сознание. Поручик сел, хлопая невероятно тяжелыми веками; в странно пустой и словно переливающейся голове не появлялось ни единой мысли. Ни о прошлом, ни о настоящем, ни

о будущем.

— Одеться извольте, ваше благородие. И непременно чтоб накидка была. Скорее, лошади ждут.

— Куда лошади? Зачем? Я не понимаю.

— Кончат их к рассвету, ежели вы не спасете. Так и сказал: ежели, говорит, их благородие господин Старшов меня не спасет, так я человек конченый. Накидку извольте надеть.

— Кто сказал? Кого спасать?

— Да одевайтесь же вы, Господи! — плачуще зашипел денщик. — Кони ждут, а их благородие волнуются.

Старшов не мог не только спорить, сопротивляться, настаивать на чем-либо — он не был еще в состоянии ясно осмыслить, что происходит, происходило и должно произойти. Но уже соображал, что будущее, то есть то, что должно случиться, осуществится только с его помощью, и поэтому одевался, затягивая ремни, проверял оружие; чувство долга, которое не просто было воспитано в нем, но с которым он сжился за эти окопные годы, сработало ранее всех прочих чувств. Решительно шагнул к выходу и вскрикнул от острой боли:

— Нога! Почему болит?

— Да ведь ранило вас, неужто не помните?

Погодите, подсоблю.

Поддерживаемый денщиком, Леонид прыгал на здоровой ноге сквозь ночную темень и солдатский храп. В низине ждали лошади; Гущин помог поручику сесть, и только в седле Старшов начал кое-что осознавать.

— Куда едем?

— В погреба их заперли. Приговорили к расстрелянию, как только армейский комитет приговор этот утвердит. А наводчика Прохор Антипов самолично штыком заколол.

Лошади трусили в непроглядной мгле. Не было ни луны, ни отсветов, ни предрассветных зорь, и во влажном воздухе кисло воняло взрывчаткой.

— Почему запах? Обстрел был?

— Неужто ничего не слыхали? Германцы нас вчера часа три снарядами утюжили. Двое убитых, пятеро раненых.

— В нашей роте?

— Так нас же и утюжили. Говорю же.

«Подлец, провокатор, убийца», — отрывочно думал поручик, не связывая эти определения с каким-либо конкретным лицом, но подсознательно подразумевая не противника, не заговор и даже не приказ сверху, а какого-то вполне определенного человека, которого пока еще просто

не успели проткнуть штыком, как Прохор Антипов проткнул наводчика. От свежего воздуха, ночной дороги, а главное, от напряженных попыток восстановить утраченное «вчера» в голове постепенно яснело, смутные контуры чего-то полуреального, нелогичного, не связанного друг с другом уже просматривались в оглушенной доброй порцией морфия памяти. Немолодой гауптман, какие-то пьяные солдаты, Прохор Антипов, грохот снарядных разрывов… Но ехать оказалось недалеко, и до конца он ничего вспомнить так и не успел.

— Вон тот погреб, за церквухой. Вас пропустят, когда назоветесь, а я тут обожду.

— Помоги дойти.

— Мне другое приказано, ваше благородие. Уж допрыгайте как-нибудь. Либо кого из часовых кликните, они подсобят.

Старшов не стал уточнять, кто смеет приказывать его денщику: не оставляло убеждение, что сейчас в этом погребе он встретится с кем-то знакомым. Ему уже начинало казаться, что этим знакомым непременно окажется пустобрех Володька Олексин, но Леонид почему-то очень боялся этой догадки, гнал ее, увертывался, а она лезла в одурманенную голову упорно и нагло.

Гущин оказался прав: как только он назвался, солдаты тут же подхватили его под руки. Пока тащили к запертой на амбарный замок двери погреба, позади послышался дробный перестук копыт; Гущин совсем не собирался ждать, а, освободившись от собственного командира, спешил исполнить чье-то важное приказание.

— Осторожнее, ступеньки там, — предупредил начальник караула, отпирая замок и толкая тяжелую скрипучую дверь.

В сыром, низком погребе горел керосиновый фонарь. Поручик, поглощенный трудным спуском, ничего не видел, а спросил по вдруг осенившему его наитию:

— Лекарев?

Смутная фигура отделилась от подземного мрака, шагнула, обрела ясные очертания и приглушенный голос:

— Заждался. Где этот идиот?

Он не ожидал ответа; помог Старшову спуститься, куда-то провел, усадил на сырое днище кадушки; Леонид чувствовал холодную мокреть сквозь брюки и белье. И сразу все вспомнил: германского офицера, провожавшего их, обстрел собственной батареи, бессмысленную гибель ни в чем не повинных людей, собственное ранение.

Все вспомнил и все понял.

— Вы подлец, Лекарев.

— Вот уж и подлец, вот уж и на «вы». А я тебя, Старшов, подлецом не считаю, а считаю дураком.

— Ты приказал открыть огонь, когда мы возвращались?

— Дураком, — внушительно повторил Лекарев. — Только не понимаю: от природы или в окопах засиделся?

— Наши койки в юнкерском стояли рядом, — Леонид понимал, что говорит совсем не то, что слова его сентиментальны и глупы, но ничего не мог с собой поделать. От пережитого, от потери крови и лошадиной дозы морфия, а главное, от этой неожиданной встречи во тьме погреба ему куда более хотелось плакать, чем клокотать в приступе справедливого гнева. — Ты был шафером на моей свадьбе. Нас называли тройкой неразлучных. Мы вместе ходили в Благородное собрание, когда удавалось переодеться в цивильное, мы… Мы катались на лодке. Помнишь, мы катались на лодке, которая ударилась?.. Теперь она моя жена, мать моего сына Мишки, а ты… Ты приказал открыть огонь.

— Слушай, Старшов, я должен выйти вместо

тебя. Давай накидку.

— Что?

— Давай, давай, караульные не разберутся, пока темно. Тебе ничего не грозит, когда вернется солдатня, а меня прикончат при любом решении армейского комитета. Ну? Я же был шафером на твоей свадьбе, наши койки стояли рядом, и мы вместе катались на лодке…

Коротко размахнувшись, Лекарев с неожиданной злобой ударил поручика в подбородок. Не удержавшись, Леонид отлетел в угол, тяжело стукнулся спиной о мокрую кирпичную стену, и наступила темнота.

Глава пятая

1

— Гражданская война для меня началась задолго до Великой Октябрьской революции и не подлым выстрелом в спину, а прямым ударом в челюсть. — Дед до самой смерти своей относился к собственной юности с приливами сентиментальной иронии. — Думаю, что в этом смысле моя физиономия не была уникально одинокой: история всегда запаздывает, потому что вершат

ее обыкновеннейшие из смертных, а политики да полководцы лишь суммируют эти свершения, называют их каким-либо модным словом и объявляют историческими деяниями.

Любопытно, что старость изрекает либо нечто неординарное, либо помалкивает себе в тряпочку, либо пускается в совсем уж пошлые банальности. Вероятно, эта особенность стоит в прямой зависимости от способностей личности либо извлекать уроки из собственных ошибок, либо не задумываться над ними, либо передоверять неким силам, в которых обыватель ласково различает существа высшего порядка. Дед принадлежал к первой, увы, ставшей весьма немногочисленной категории, хотя с непонятным упорством всю жизнь считал себя типичнейшим обывателем.

— А ты не стесняйся этого слова: на обывателе держится государственный строй во всем мире и держался во все времена. Обывательские страсти — опора власти: наибольшего эффекта в этом достиг Гитлер и его присные, изловчившиеся суммировать, а тем самым и материализовать силу обывательских страстишек.

Да, искорки завтрашнего пламени уже тлели в смутных душах русских обывателей. И совсем не потому, что слабый человек отрекся от престола в

собственном вагоне на станции Дно: о нем сожалели единицы, и никто практически не ратовал за восстановление бесславной монархии в смертельно уставшей России. Но заменившее царских министров Временное правительство реально — не на словах, а на деле — не изменило ровно ничего из того, что необходимо было изменить во что бы то ни стало. Оно не решилось на мир, не отважилось пересмотреть систему земельного владения и не сумело сыскать хлеб, если не для того, чтобы накормить людей, то хотя бы для того, чтобы заткнуть им рты. И фронт потребовал хлеба. Трение недовольств рождало искры в душах людских; пока еще это был процесс накопления количества и внешне ни в чем, в общем-то, особо не выражался. Но накопление шло, искры разгорались, и рано или поздно, а скачок обязан был свершиться, количество обреченно переходит в качество согласно естественным законам природы и человеческого общества.

— Спокой народ утерял, — сказал Василий Парамонович Кучнов за вечерним чаем. — А спокой порядок держит, Оленька, уж мы, купечество, это знаем.

Обретя семью, Ольга быстро взяла ее в руки. Не столько потому, что вообще обладала власт-

ностью и решительностью, сколько потому, что сумела сразу же выставить своего Василия Парамоновича вкупе с богоданным сыночком Петенькой из их собственного отчего дома. Попав из чинного, с многочисленными образами и негасимыми лампадами, тихого полумонашеского-полустарообрядческого дома в дворянский квартал, Кучнов ощутил под ногами нечто зыбкое и несолидное. Вместо скрипучих половиц сверкает навощенный паркет, повсюду валялись книги, ноты и альбомы, и дом освещался не алыми язычками лампадок и даже не горячечным огнем мощных керосиновых «молний», а холодноватым, бестелесным светом длинных электрических лапочек. Но это было, так сказать, начало, некая первая ступень грядущего перевоплощения купца средней руки Василия Кучнова в негоцианта и мецената; вся домашняя жизнь его, к которой он так привык, была беспощадно проанализирована и отринута навсегда. Василий Парамонович пил по утрам горький кофе, которого не любил, ел яичницу с беконом вместо каши с молоком, весь день вынужден был торчать в собственной конторе, хотя там великолепно и без него справлялся старый, еще батюшкиной выучки, конторщик. А родной дом тем временем

лениво ломали, перекраивали комнаты и углубляли подвалы. И все это делалось невероятно медленно не только потому, что и вправду не хватало рабочих рук, а еще и потому, что народ утерял покой, а тем самым и порядок. Уж что-что, а в порядке Кучновы разбирались не хуже, чем в железе, скобяном товаре и в орудиях труда, коими исстари торговала фирма «Кучнов и сын».

Оле было решительно на все наплевать. Она ходила плавно и неторопливо, важно садилась и важно вставала, смотрела на всех с невероятным торжеством и горделиво улыбалась. Она ждала ребенка, но пока не торопилась радовать этим известием своего супруга. Товар был слишком ценен, чтобы рекламировать его раньше времени: Ольга уже научилась разбираться в рыночной конъюнктуре нисколько не хуже своего медлительного супруга.

Владимир нагрянул неожиданно, никого не предупредив, да и чего, собственно, он должен был кого-то предупреждать, когда возвращался-то в собственный дом, а не заворачивал на недельку в гости. Был он в полувоенном костюме: в английском френче и английских же бриджах с желтыми крагами, носил на ремне бельгийский браунинг дамского калибра, стригся «ежиком»

и выучился глубокомысленно хмурить брови.

— Вскипела, вскипела многотерпеливая Русь-матушка, — разглагольствовал он, строго глядя между Ольгой и Кучновым словно бы в одному ему ведомую даль. — Помните, как лечили в старину? Кровопусканием. Сотворим кровопускание, и горячечный бред безответственных элементов общества потеряет всяческий смысл. Мы, конституционные демократы, интеллигенты и либералы, в своей глубинной сущности скрепя сердце готовы к грядущим гекатомбам, ибо только чрез это очищение великая Россия вновь воссияет, воспрянет и двинется. Воспрянет и двинется!

Он с непередаваемым удовольствием слушал себя и ходил по столовой. Скрипели желтые краги, ремни и кобура, и Владимир ощущал волну творческих сил. Собственная значительность и незаурядность стали бесспорными, и он весьма сожалел, что в этот момент его не видит этот старый неудачник — папаша, который не соизволил даже поднять головы от своих дурацких схем, когда единственный сын уходил на фронт. То, что сын уходил не на фронт, а в Вяземский запасной батальон, Владимир уже забыл и теперь во всех выступлениях к месту и не к месту отважно вос-

клицал: «Мы, окопники…»

— А Татьяша вроде бы замуж собралась, — невпопад сказала Ольга. — За местного учителя.

— Ну какой там может быть учитель? — Владимир ядовито улыбнулся. — Неудачник, это естественно. В наше кипящее время настоящие мужчины либо в окопах, либо на трибунах.

Странно, но Ольга не ощущала изменений, которые ее супруг называл потерей «спокоя», а брат напыщенно именовал «эпохой героев и трибунов». Она настолько была поглощена заботами о Петеньке и Василии Парамоновиче, ощущением собственной беременности, хлопотами по дому и мечтами о будущих «четвергах» в огромном, сказочно прекрасном подвале старого купеческого дома «Кучнов и сын», что жизнь страны, народа, города, даже родных и близких существовала как бы сама по себе, словно бы в иных землях и других царствах. Она оказалась созданной только для семьи и прожила жизнь, не подозревая, а точнее, и не желая подозревать, что за порогом бушует невиданная в истории буря. И умственные способности тут ровно ничего не определяли: Ольга была если не умнее, то куда разумнее Варвары, много читала, любила музыку, сумела развить собственных детей, но при этом до самой смерти

сохранила изумительную для России тех роковых лет способность не замечать ничего того, что стремительно неслось мимо ее тихой и ясной семейной заводи.

— А Петенька яичек не переносит, прыщички у него на щечках. — Она озабоченно вздыхала и почему-то грозила пальцем ворчливой Фотишне.

— Стало быть, яловый, — неизменно ответствовала домоправительница, упрямо не замечавшая ни Петеньки, ни тем паче его папаши.

— Спокой рушится. — Василий Парамонович всем купеческим нутром своим предчувствовал смутные времена. — Ох, раскачаем мы государство! Ох, раскачаем да еще, борони бог, корни надорвем.

— Дни Гракхов! — восторженно вопил Владимир. — Грядут дни великих свершений!

Эта часть семьи ощущала грядущее, как ощущали бы его лебедь, рак да щука, коли б наделены были таковой способностью. Но, во-первых, воз бывшей Российской империи не зависел от их усилий и ощущений, а во-вторых, существовала и иная половина семьи, расколовшейся в канун Великого Раскола России.

2

Был конец мая, вокруг террасы зацветала сирень, и легкий аромат ее плавал в вечернем воздухе. Таня уложила девочку спать и сидела сейчас напротив Федосия Платоновича Минина со странным чувством, будто в мире никого нет, кроме спящей Анечки, учителя Федоса Платоновича и ее, недоучившейся гимназистки Татьяны Олексиной. И сказала об этом:

— Как тихо! Правда?

— Никого нет. — Он все понял. — Когда вы, Татьяна Николаевна, укладывали девочку, я подумал, что в такой вечер люди сочинили легенду о рае. О сказочном месте, где есть только Адам и Ева, где вечно цветет сирень и лев мирно дремлет рядом с ягненком. Извините, это, вероятно, излишне красиво.

— Разве красота может быть излишней?

— Нет, нет, что вы! Не может и не должна. Это я так. Если честно признаться, то от робости. Очень уж то русская черта, правда, Татьяна Николаевна? Ну можете вы себе представить робкого француза или робкого англичанина? Даже немца робкого представить не можете, потому что, вероятно, не водятся они в природе. А вот мы — водимся.

Единственная страна Европы, в которой крепостное право всего-то полста лет назад окончилось. Да и то не как следствие крестьянских войн, как в той же Англии, Германии, Франции, а исключительно как дар из рук правителей своих. Обидно, не правда ли? Простите вы меня Бога ради, я все болтаю да болтаю, а вам это неинтересно.

— А мне это интересно. Дар из рук правителей своих… За него ведь расплачиваться придется когда-нибудь. Лет, может, через сто.

Федос Платонович Минин, учитель села Княжого, говорил от великого смущения, которое начал испытывать в присутствии барышни Тани Олексиной. И барышня Таня Олексина слушала его тоже со странным смущением, которое тоже начала ощущать сравнительно недавно и непременно как следствие присутствия Федоса Платоновича. Но это было доброе смущение, и они радостно стремились ему навстречу.

— Татьяша, ты влюблена? — спросила Варя, когда Федос Платонович уже ушел, а Татьяна все еще пребывала в странном состоянии тихой отрешенности.

— Я? — Сестра вздохнула. — Это ведь очень серьезно.

— Это прекрасно.

— Да? — Татьяна стала что-то слишком уж часто начинать фразы вопросом, в чем проницательная Варвара тоже кое-что усматривала. — А где батюшка? Громит великую Японию?

С некоторых пор генералу стало наплевать на великую Японию. Появились дела поважнее: текла крыша старенького флигеля, от зимнего снега рухнула садовая беседка, и неплохо было бы продать ближний лес, пока мужики самовольно не спалили его в своих печах. Об этом и иных хозяйственных заботах рачительный управляющий любил докладывать хозяйке по вечерам. Руфина Эрастовна была в домашнем капоте цвета… словом, того, который столь удивительно шел ей; розовая лампа окрашивала весь мир нежностью, а тонкие пальцы с таким изяществом управлялись с картами, раскладывая пасьянсы, что Николай Иванович терял в своих рапортах военную четкость.

— Как всегда, подводят тылы: материалы застряли в Смоленске из-за очередных трудностей с железом. Правда, я имею родственничка по скобяной части, и коли прикажете…

— Вам? Не прикажу, друг мой.

— Вздыхаю с облегчением. Однако беседка рухнула под сокрушительным напором стихий,

мужиков в селе — кот наплакал, и у меня есть предчувствие, что скоро Россия станет садом с разрушенными садовыми беседками.

— Россия станет садом не для нас. — Руфина Эрастовна вздохнула без всякого, впрочем, огорчения. — Когда в сердце стучится старость…

— Вы принуждаете меня говорить комплименты, — сердито засопел генерал. — Это не соответствует духу.

— Хорошо, я выражу свою мысль иначе. Когда в наши сердца уже застучала старость, нам следует искать счастья внутри. И у меня впервые сложился гранпасьянс.

Хозяйка тут же удалилась, чтобы управляющий не успел ляпнуть что-нибудь не вполне подходящее. Но Николай Иванович все еще не верил музыке, звучавшей в душе его, а потому ничего сказать вообще не решился. Зато громко и достаточно фальшиво замурлыкал подходящий под настроение романс и начал жевать собственную бороду.

Они пока еще играли в нежные чувства, пока еще жонглировали словами, но играли с таким удовольствием, с таким замиранием сердец, что хорошо им было только вдвоем. Правда, Руфина Эрастовна строго дозировала встречи наедине,

исходя не из девичьей боязни, а из женского опыта в полном соответствии с его богатством и собственным возрастом. И если генерал по природному простодушию не понимал ни ее, ни самого себя, то Руфина Эрастовна знала все и за себя, и за него. Она вела похожую на светский флирт игру, учитывая, что поздние груши медленно зреют, как говаривали любезные ее сердцу французы.

И все же, при всей интимности, это была внешняя сторона их теперешнего бытия. Взаимные тяготения, притяжения и симпатии, при всей их глубине и искренности, не могли устранить беспокойства, рожденного штормом, который крепчал в России с каждым днем. У всякого жильца скромного имения в селе Княжом были свои корни, но если Варвара тревожилась о муже, Татьяна о дочери, а Руфина Эрастовна обо всех разом, то генерал и учитель куда чаще думали о России, чем это можно было бы заключить из их разговоров с дамами.

— Без царя, как без поротого зада, сидеть непривычно, — изрек генерал, когда дам не оказалось поблизости. Он тянулся к тихому, нескладному учителю, но почему-то решил ему не доверять. И все время старательно облекал мысль в форму

туманную, отвлеченную, но вроде бы с намеком на некую дерзость. Федос Платонович давно раскусил бесхитростного Николая Ивановича, но по свойственной ему застенчивости не решался первым перевести разговор в русло серьезное и искреннее.

— Был бы зад охоч.

— Ага! — Николай Иванович почему-то радостно потер руки. — Мужик вооружен и сердит. А ну как бросит охоту германца бить да назад оборотится, тогда как? Новой пугачевщины не боитесь?

— Боюсь. И все боятся. Пугачевщина — очень страшно и очень темно. Однако еще иного больше боюсь.

— Больше самой пугачевщины? — недоверчиво прищурился генерал.

— Больше, Николай Иванович, — серьезно подтвердил Минин. — Пугачевщина — это все-таки ломка национальной привычки, болезненная, неуправляемая, жестокая и бессмысленная, но — ломка. А я нашей российской привычки страшусь побольше. Коли уж серьезно, так ее одной и страшусь. Она — страшнее.

— Что же за привычка такая, позвольте полюбопытствовать?

— А привычка такая: пусть барин решает, ему видней. И чем больше барин, тем больше ему и виднее, как решать, вот в чем штука. Изживем — слава нам на веки веков. Не изживем — она нас изживет. Погрязнем в безответственности, как в снегах своих.

— Пужаете, значит, — недовольно сказал генерал. — А я так убежден в обратном: самостийной деятельности нашей боюсь куда больше. Я людьми командовал, уважаемый Федос Платонович.

— Вы солдатами командовали, а не людьми, — категорично, но с мягкой, извиняющейся улыбкой уточнил Минин. — Из солдат еще людей надобно сделать. И сделает это не время, а — революция.

— Она уже была.

— Формально, Николай Иванович. Формально она вроде бы и произошла, и царь отрекся от престола, а что фактически? А фактически у мужика как землицы не было, так и нету, у рабочего хлебушка как не было, так и нету, и только у солдат все как было: война. И вот она-то…

— Следовательно, отдать германцу украинский хлеб, донецкий уголь, свое национальное достоинство — так, по-вашему? Вы пораженец, милостивый государь! По-ра-же-нец!

В этом месте генерал величественно поднимался и указывал перстом на дверь. Федос Платонович удалялся всегда безропотно, но Николая Ивановича не оставляло ощущение, что удаляется он, считая себя правым, и генеральская душа негодовала и ерепенилась:

— Не принимать! Не желаю видеть! Упрямцев не терплю!

Однако уже на следующий день упрямец непременно попадался Олексину на глаза если не в доме, то в саду, если не в саду, то в селе и если не вдвоем с Татьяной, то втроем с Варварой. Похмурившись и нечленораздельно поворчав, генерал в конце концов утаскивал его в кабинет, где снова начинались разговоры, обычно кончавшиеся такими же воплями.

— Что есть Отечество? Народ, живущий на определенном историей месте? Нет, Федос Платонович, нет, мало, даже для солдатской словесности мало. Память надобно прибавить, особливость уклада и — главное, заметьте, главное! — духовную этого народа ипостась, сущность его духовную. Духовную! Измените сущность, и будет уже не Россия. Название менять придется.

— А как по-вашему, Николай Иванович, помещик свою землю крестьянам без выкупа отдаст?

А фабрикант — фабрику? А банкир — дивиденды? И мечтать об этом не следует, разве не так? Остается одно — отобрать силой, а там и название сменить не страшно.

— Пугачевщина.

— Силой организованной, то есть властью, которая блюсти будет не интересы помещиков да капиталистов, как сейчас, а крестьян да рабочих.

— На силу всегда сила найдется. Учитываете?

— А миллионы вооруженных крестьян и рабочих вы учитываете?

— А германец?

— Вот именно, что германец: временные правители наши изо всех сил им сейчас народ пугают. А из двух зол надо выбирать наименьшее, и мы, левые социалисты, выбираем мир. На любых условиях!

— Пораженец!

В то смутное время Федосий Платонович никогда не называл себя большевиком. Он не состоял ни в какой партии, представлялся почему-то «левым социалистом», много читал, много думал и, еще не все поняв и не все приняв, уже внутренне считал себя ленинцем.

И в июле, после кровавых событий в Питере и бессмысленного наступления на фронте, поздним

вечером неожиданно постучался в Танино окно:

— Простите, что тревожу, Татьяна Николаевна, но не могу иначе. Чаша моя переполнилась, нельзя мне больше в сторонке сидеть. Непорядочно это, и вы сами же меня не простите.

— Уезжаете? Я знала, что так будет, знала…

Не слова прозвучали — выдох. Полный беззвучного отчаяния и завтрашней тоски.

— Я сказать должен, что не знаю никого прекраснее вас, Татьяна Николаевна. Вас и вашей Анечки. Не знаю и знать не хочу на всю жизнь.

— Жду, — шепнула она. — Жду всегда, вечно.

Нагнулась через подоконник, а он привстал на цыпочки, и они впервые поцеловались. Бережно и целомудренно и действительно на всю жизнь.

3

То летнее безумство, которое послужило решительным толчком не только для выяснения отношений между Татьяной Олексиной и Федосом Мининым, но и для ухода последнего из тихой гавани сельского учительства в ревущие бездны гражданских столкновений, никак, ни с какой стороны, не коснулось Леонида Старшова. Удар Лекарева не только отбросил его к сырой подвальной стене, не просто оглушил — он на

какое-то время вышиб поручика из неумолимой последовательности исторических событий. До сего момента история несла молодого окопника на своем горбу, и кулак свадебного шафера и друга по юнкерскому училищу сыграл куда большую роль для Леонида, чем для Лекарева: тот просто стремился усидеть на коне — и усидел, а Старшова на какое-то время спешили, выбили из седла, и, когда он, очухавшись, вновь взобрался в него, конь под ним волею судеб скакал уже в другую сторону.

У Леонида было ощущение, что он временами приходил в себя и даже связно отвечал на вопросы, но основательное воспаление легких (они вообще сильно сдали у него за войну), осложненное скверно обработанной раной, долго держало его в зыбком полузабытьи. Его перевозили из лазарета в лазарет, из эшелона в эшелон, из госпиталя в госпиталь, пока однажды поручик Старшов не пришел в себя окончательно. И увидел красивое, упруго округлое женское лицо, к которому удивительно шла туго накрахмаленная чалма старшей сестры.

— Вы узнаете меня, герой?

— А где я?

— А кто я, вам неинтересно? Так и быть, про-

щаю вашу забывчивость, учитывая затяжную болезнь. Я Полина Соколова, честь которой вы защищали, не щадя живота своего.

То обстоятельство, что волею великих фронтовых случайностей Леонид попал в госпиталь, где заметно слушались Полину Венедиктовну, если и не спасло от неминуемой гибели, то весьма облегчило госпитальное существование Старшова. Уже не хватало лекарств, уже политикой занимались куда больше и охотнее, чем своими непосредственными обязанностями, уже человек, не имеющий за спиною крепких защитников, считался почти на птичьих правах, но здесь, в этом фронтовом госпитале, у поручика Старшова оказалось привилегированное положение. Его лечили систематически и весьма старательно, его хорошо кормили, за ним ухаживали, и тяжелый процесс, грозивший одно время то отеком, то туберкулезом, был вовремя приостановлен, а затем быстро пошел на попятный. Поручик Леонид Алексеевич Старшов воскрес из мертвых, тогда еще не подозревая, что это воскрешение — первое в длинном ряду.

— Не знал, что вы удивительная милосердная сестра, Полина Венедиктовна.

— Я не сестра милосердия, Старшов. Я командир

женской дружины, организованной в поддержку Александру Федоровичу Керенскому. Мы следим за порядком, боремся с фантазерами, паникерами, а в особенности — с пораженцами, и опекаем истинных героев. Будущее России — в руках героев, поручик, об этом неустанно напоминает нам Александр Федорович.

Леонид относился к Керенскому с той иронической недоверчивостью, с какой относились к случайному кандидату в российские Наполеоны все окопные офицеры от правых монархистов до левых эсеров: офицеры-большевики при всей их малочисленности придерживались более определенных и резко отрицательных позиций. Поэтому он старался не вступать в беседы с восторженной командиршей и избегал их столь удачно, что до последнего дня пребывания в госпитале не утратил ее особого расположения.

— К вам гости, поручик Старшов.

— Кто? — Он почему-то больше испугался, чем обрадовался.

— Брат с сестрицей. Не родных я бы к вам не допустила.

Она старалась сделать ему приятное, и он изо всех сил заулыбался, изображая радость, но чувствовал скорее досаду и смятение, а точнее

— сначала смятение, а потом досаду. «Значит, Павел изволил, — рассеянно думал он, не зная, что ему предстоит: облегченно возрадоваться или разругаться навсегда. — А сестра… Галя или Дунечка? Лучше бы Дунечка. А еще лучше бы было, если бы никто не приезжал…»

Сказать, что Леонид не любил своих родных, было бы и просто и неверно. Он любил их, изредка писал письма — правда, только матери и Дунечке, — но из отчего дома ушел сам, по собственному решению, и с той поры упрямо считал себя отрезанным ломтем. Сам зарабатывал на жизнь, сам выбирал в ней дорогу — даже женился не только без их благословения, но и сознательно не известив никого о предстоящей свадьбе.

А все, наверно, потому, что на долю тихого на службе и дома отца выпала слишком уж большая семья: два сына и две дочери. И каждый кончил гимназию, каждый был прилично воспитан, одет и обут на весьма скромное жалованье мелкого чиновника, не умеющего и не желающего брать взяток даже в виде рождественских подарков. О том, чем кормилась семья и как сводились концы с концами, знали только мать да принадлежавший ей дом на окраине заштатного городка, с некогда большим (Леонид еще помнил его боль-

шим, вплоть до речного берега) садом, который постепенно все уменьшался и уменьшался, пока не превратился в мещанский палисадничек перед окнами. Это случилось, когда Леонид закончил гимназию, размечтался об университете, а ему скрипуче предложено было идти в юнкерское по стопам старшего брата. Рушилась мечта, мать плакала, отец скрипел, а прибывший на побывку Павел вместе со старшей сестрой Галиной наседали жестко, ни о чем не желая слушать. И когда он все же позволил настаивать на своем желании учиться, ему объяснили:

— За твою гимназию семья расплатилась яблоневым садом, равного которому не было в губернии, господин эгоист!

Это было правдой, но он тем не менее ушел из дому. Кое-как зарабатывал, кое-как кончил учительские курсы, а тут началась война, и Леонид Старшов волей-неволей стал тем, от чего бежал. И сейчас готовился принять брата и сестру в ранге раненого героя.

А мать тихо плакала. Она всегда все делала тихо в их тихой семье: тихо работала, тихо радовалась, тихо печалилась. Отец тоже был негромким, но — скрипучим, монотонно поучающим, выговаривающим, считающим, сожалеющим. И все — не

повышая голоса, угнетающе однообразно и почему-то (так всегда казалось Леониду) оскорбительно, хотя в словах отца ничего оскорбительного никогда не содержалось. В них вообще ничего не содержалось, кроме скрипа.

Громким был старший брат Павел, причем не громким человеком, а громким офицером. Сам став офицером, навидавшись и навоевавшись, Леонид и теперь, как и прежде, неприятно ощущал присутствие громких офицеров; но если раньше он чувствовал их интуитивно, то сейчас знал им цену: в окопах не поорешь, окопы громким не верят и громких не любят. А Павел был на фронте: об этом писала Евдокия — единственный человек в семье, с которым Леонид поддерживал отношения после смерти матери. Ну да не в этом дело; ему ведь стало не по себе по иной причине, едва он узнал о приезде родственничков. Ему стало скверно, потому что Павел тогда сказал при Галине:

— За твою гимназию семья расплатилась яблоневым садом, господин эгоист!

В последний раз он виделся с Галиной на похоронах матери перед самой войной. Павел по какой-то причине приехать не смог, отец был сломлен и растерян, и всем распоряжалась

старшая сестра. К тому времени она уже была замужем, родила, но командовала не на правах старшей сестры, а на правах дамы из общества: ее муж оказался весьма знатной фигурой в губернии, имел положение, связи, капитал и возраст, и Леониду тогда показалось, что сестра отдает распоряжения, опираясь на заслуги мужа, а отнюдь не на семейные права. Впрочем, он изо всех сил пытался внушить себе, что судит о Галине предвзято, что она всего лишь самая старшая и поэтому… и так далее, и так далее, но то были беспочвенные попытки. Слишком уж победоносно выглядела преуспевшая в жизни сестра даже подле материнского гроба. И съежившийся, потерянный отец, которому не на кого было больше скрипеть…

Нет, Дунечка никак не могла приехать, никак. Она вела хозяйство, заботилась об отце, и он, вероятно, тихо скрипел теперь по ее поводу. А Дунечка терпеливо все сносила и улыбалась, как сносила все эти ворчливые, въедливо-тихие скрипы мама. Нет, Дунечка никак не могла бросить отца, и, значит, Павел явился с Галиной. Чего вдруг, интересно?..

Старшов невесело вздохнул и невесело улыбнулся командиру женской дружины Полине

Венедиктовне Соколовой.

— Весьма рад. Просите.

4

Первой стремительно вошла Галина. Она вообще оказалась единственной быстроногой в их довольно медлительной семье, но в тот раз буквально влетела в палату, поскольку была наряжена в широченный медицинский халат, и полы его развевались вокруг ее сухонькой фигурки.

— Поздравляю, Ленечка, от души поздравляю, дорогой мой брат. У тебя — наследница. Варенька разрешилась девочкой, мать и дочь в отменном здоровье, чего желают и папеньке. Наречена Руфиной. Имя не кажется мне естественным, а тем более — русско-естественным в эту тяжелую годину страждущего Отечества нашего…

Она долго еще толковала о несчастной родине и несчастном государе, о счастливом Леониде и счастливой Варваре, о тяжких испытаниях народа и отечества пред гневом Всевышнего, вдруг за что-то разозлившегося на Россию, словно был он не Богом, а захудалым отставником, обойденным чином и орденом. Леонид слушал сестру вполуха, потому что светло и радостно думал о Вареньке, о

Мишке, о дружной семье в Княжом и о крохотном прибавлении этой семьи, названном так вовремя и так прекрасно именем очаровательной хозяйки. Но каким бы рассеянным и обрывочным ни было его внимание, Старшов все же уловил, сколь часто ссылалась Галина в своей болтовне на Павла, когда речь заходила о страданиях Руси и ее отрекшегося императора. Это запомнилось, потому что неприятно поразило его: как всякий окопник, поручик весьма сдержанно относился к монарху и ощутил истинное облегчение, когда Николай Второй наконец-то сложил с себя корону. И поэтому, как только Галина, отговорив, умчалась заседать в какой-то дамский комитет, размышляющий о судьбах родины от трех до пяти по вторникам, он сразу же попытался выяснить у Павла то, что насторожило его:

— Ты, кажется, монархист, Павел?

— Монархист, социалист, анархист. — Брат усмехнулся. — Все эти немецкие «исты» отражают внешнюю суть, а не внутреннюю сущность, Леонид. Это скорее ярлыки для полуграмотной толпы, чем действительное отображение того сложнейшего духовного отчаяния, в котором пребывает сейчас наиболее образованная, думающая и страдающая часть нашего общества.

Павел всегда, еще с детства, сколько помнил его Леонид, говорил чрезвычайно авторитетно. Это был не просто авторитет старшего брата, а некое почти физическое ощущение весомости собственных слов, свойственное натурам либо недалеким, либо неинтеллигентным, если понимать под интеллигентностью тот особо совестливый строй внутреннего мира, который, к примеру, заставлял отставного генерала Олексина вновь и вновь разбирать ошибки прошлых сражений, а Руфину Эрастовну считать себя обязанной при всех личных неприятностях и при любой погоде появляться на людях веселой, благожелательной и неизменно радостно оживленной. Павел слишком уж ценил собственные слова, чтобы относиться к брату со всей серьезностью, но Леонид слушал его терпеливо. Отчасти потому, что на него до сей поры действовал абсолют семейного старшинства.

— Вопрос не в том, кто будет править страной: этот вопрос для России не существует, ибо давно уже существует ответ на него, — властно рокотал Павел. — И ты его знаешь: иго. Не важно какое — варяжское или феодальное, татаро-монгольское или княжеское, иго московских великих князей вообще или последнего их представителя Иоанна

Грозного, в котором суммировалась вся предшествующая тирания московских Рюриковичей в частности. Важно одно: иго, ибо для Руси оно — существительное, а все прочее оказывается прилагательным…

«Господи, до чего же он похож на Володьку, — думал Леонид. — То же словоблудие, те же чужие мысли. Только Володька Олексин болтает, но не верит, а Павел Старшов верит, хотя и болтает. Он властный и упрямый, а вот по части сомнений обделен. А попугайство без сомнений всегда почему-то выглядит глуповато…» Тут он улыбнулся, а обостренно обидчивый старший брат тотчас же замолчал. И спросил с некоторой настороженностью:

— К чему прикажешь отнести твою усмешку?

— К судьбе, — вздохнул Старшов. — Подумалось, что нас неплохо надули силы небесные, сотворив так много Лаэртов и так мало Гамлетов. Какая несправедливость!

— Оставь гаерство! — резко оборвал Павел. — Россия на краю бездны, а те, от кого зависит ее судьба…

— Я окопник. От меня зависят полторы сотни солдат.

— Россию может спасти только союз офицеров,

это способна сообразить твоя окопная голова? Боевые офицеры, связанные честью и сплоченные вокруг твердого и властного вождя.

— А где же его взять, этого твердого и властного, Пашенька?

— Он есть. Лавр Георгиевич Корнилов.

— Ах Корнилов! — насмешливо подхватил Леонид. — Уж не тот ли это Корнилов, который в пятнадцатом под Перемышлем без боя сдался в плен вместе со всей своей дивизией?

— Как ты смеешь в таком тоне говорить о герое армии?

— Хватит, Павел, иначе мы рискуем рассориться, — вздохнул Старшов. — Я не политик, я ротный командир — и вот вся моя позиция. Я не знаю, чего хочет Лекарев, чего хочешь ты и подобные вам, но зато я точно знаю, чего хочет любой солдат моей роты — мира. И я хочу мира вместе с ним, со всей ротой, со всей армией…

— Понимаю, тебе надоело воевать.

— А что я еще умею делать? Нет, не обо мне речь: воевать надоело моим солдатам, и я хочу мира не для себя. Если бы кто-нибудь серьезно задумался, сколько мы пролили крови. Своей и чужой. Хотел бы когда-нибудь понять, во имя чего столько миллионов здоровых, молодых мужчин

оторвали от их дел и от их жен. Ты счастливый человек, Паша, тебе все всегда ясно, а мне — ничего и никогда. Лаэрт и Гамлет в вечном поединке.

— Послушай, господин Гамлет, ты видел когда-нибудь, как топят людей? — вдруг почти шепотом спросил Павел, подавшись к бледному худому лицу младшего брата. — Живых людей хватали на улице и, раскачав, бросали с моста в Мойку. Она была еще покрыта льдом, несчастные проламывали его своими спинами, барахтались в ледяной каше, цеплялись за мерзлый гранит, и их били прикладами по головам, им топтали пальцы. А как они кричали, Леня. Ленька, не дай тебе Бог услышать, как они кричали! И как цеплялись раздробленными, окровавленными пальцами…

Павел судорожно всхлипнул, заскрипел зубами. Леонид почувствовал, как на его лицо капают теплые слезы, и испугался: он никогда не видел брата плачущим. Ему и в голову не могло прийти, что его старший брат Павел способен когда-нибудь уронить слезу.

— Паша, что ты? Паша, опомнись…

Он тряс брата за плечи, голова Павла болталась, и слезы сыпались на Леонида еще щедрее.

— Кто топил? Когда? Кого? Тебе приснилось.

— Первого марта сего года матросня топила в Мойке офицеров флота. Господи, как они кричали и как хотели жить! А им топтали сапожищами пальцы, их били по головам прикладами, и черные шинели шли на дно, на дно… «Это же пехота, братва!..» И я кричал: «Я пехота, граждане матросы. Я пехота». Думаешь, я когда-нибудь… Когда-нибудь забуду этот день и свой собственный вопль? Даже прожив тысячу лет, я не смогу забыть пушкинской Мойки, в которой топили мичманов и лейтенантов. Даже прожив тысячу лет…

Леонид торопливо налил воды из стоявшего у изголовья графина, протянул брату. Павел выпил ее залпом, поставил стакан, ладонью отер усы.

— Они перетопят нас всех, Леонид. Запомни мои слова: грядет всеобщая Мойка. — Он вдруг странно усмехнулся. — Когда меня наконец перестали раскачивать, а я понял, что спасен, и перестал униженно вопить, что я пехтура, а не офицер флота российского, знаешь, о чем я подумал? Я подумал, что речка названа так пророчески. Она — мойка, понимаешь? Мойка не потому, что в ней когда-то стирали, а потому, что в ней выстирают саму Россию. Выстирают, отобьют вальками, прополощут, отожмут и повесят.

Сушиться. — Он резко поднялся, согнулся почти под прямым углом, коснулся его лба сухими губами и выпрямился. — Прощай, Леня. Желаю, от всей души желаю тебе погибнуть от пули.

— Желаю тебе остаться живым, Паша.

Павел пошел было к выходу, но остановился. Усмехнулся невесело, покачал головой:

— Чтобы повесили сушиться? Нет уж, благодарю.

Поклонился, пошел. Леонид привстал, провожая его глазами, и увидел, что у дверей палаты напряженно ждет Полина Венедиктовна Соколова. Когда Павел поравнялся с нею, она властно остановила его, торжественно перекрестила и протянула руку. А когда Старшов-старший склонился к ее руке, поцеловала его в голову, благословляя.

5

«О государь и царь мой Леонид!

Я честно исполняю обет, данный перед Богом и людьми: ты дважды папочка, папа в квадрате, если вам так больше нравится, господин учитель. Я старалась вовсю, о повелитель, и отлила твою вторую модель в варианте прекрасной половины нашего счастья (я не очень хвастаюсь? Это толь-

ко от тоски. Зверею-у!.. И загрызу). Мы назвали это прелестное существо Руфиной, и Руфина Эрастовна счастлива теперь втройне.

Вот написала я, что она счастлива втройне, а моя бабская (ужас, но у тебя жена — баба, представляешь?), так моя бабская интуиция подсказывает мне, что тетушка — дай ей Бог здоровья на долгие годы! — счастлива трижды — три и еще на три, потому что влюбилась в папеньку, проигравшегося в Маньчжурии и отыгравшегося в Княжом. И я так счастлива за них!

Я страшная сплетница, да? Это ужасно, мой государь, но что же еще делать женщинам, когда мужчины воюют? Кстати, вам еще не надоело это занятие? Нам — да.

Вчера мы тихо сумерничали с Татьяшей. Как в детстве, ей-боженьки. Знаешь, почему? Потому что мы отважились немного помечтать. Но так как Ваше Величество не подозревает, как именно мечтают женщины, а описать это слово в слово означает окончательно запутать всех мужчин на свете, я прибегну к параграфам, можно? Ну, как будто мы еще не закончили в гимназии, а ты еще не блестящий офицер, а тихий народный учитель.

Итак, параграф первый:

о вас, любимые и единственные наши повелители. О доблестном окопнике, вожде и герое, и о скромном сельском учителе, без которого моя отважная сестрица уже не представляет себе самой возможности существования. Так вот, мы мечтали, что скоро-скоро закончится война и прочие волнения и вы в полном здравии вернетесь в наши объятия. О, мужайтесь, любимые и единственные: наученные горьким опытом долгих разлук, мы не выпустим вас за околицу наших истосковавшихся ручек (а я неплохо придумала насчет околицы ручек, правда? Чаще всего женщины несут околесицу, а я — околицу и, значит, я не такая, как те, которые „чаще“). Во всяком случае, мы с Татьяшей определили срок в двадцать лет. Они будут учить сельских ребятишек, мы с тобой… Кстати, ты хоть разочек подумал, чем бы нам тут заняться, когда кончится эта бесконечная германская? Может быть, ты откроешь в Княжом конный завод? И я стану женой коннозаводчика, ну почти что моя крестная тетя Варвара Ивановна! Какая волнующая перспектива!.. Ну да разве в этом дело? Мы найдем вам занятия по душе, только поскорее возвращайтесь целыми и невредимыми!

Параграф второй:

о наших детях. О мальчике и двух девочках, которые просто обязаны стать самыми счастливыми детьми на всей земле, потому что у них прелестные мамочки и отважные отцы. Я не знаю, кем станет Мишка: мужчина должен сам выбирать свою дорогу. Мы дадим ему с собою полную котомку чести, доброты, отваги и благородства, а дальше — его дело. А вот что касается наших девочек, то мы, мамы и папы, обязаны заранее обдумать все, чтобы на их жизненном пути встречались лишь лодки на тихом городском пруду.

А знаешь, повелитель, я непременно рожу тебе еще одного ребеночка. Не подумай, что я какая-то там крольчиха; просто Руфина Эрастовна объяснила, что обязанность каждой женщины рожать не менее трех детей, чтобы тем самым покрыть долг тех женщин, которые по каким-либо причинам этого не сделали. Боже мой, видел бы ты при этом ее грустно-веселые слезки! Она — святая грешница, и наш с тобою долг — исполнить ее тайное желание, которое и назвать... Как скажешь, так и назовем, но нам важно снять тяжесть с души тетушки Руфиночки, правда? И мы ее снимем! Мы с тобой... Только уцелей, любимый. Только уцелей!

И наконец, параграф третий:
о наших старших.

Я не могу, не хочу и не буду ни называть, ни считать их стариками, потому что они влюблены. Это прекрасно, любимый. Боже, как это прекрасно! У любви нет и не может быть возраста, влюбленные всегда молоды и прекрасны, и мы с Татьяшей от всех наших сердец желаем им счастья. Запоздалого осеннего счастья, когда серебрится иней, золотятся последние листья, а дни летят со скоростью курьерских поездов. Господи, пошли им Золотую Осень!

Вот о чем мы мечтаем с сестричкой в сумерках. Кажется, твоя жена немножко повзрослела, родив второго ангела. Но покою не нажила, ибо ты унес его с собою, этот мой покой. Именем детей заклинаю тебя, любимый мой: хватит с тебя орденов, славы, власти, доблести и геройства. Хватит. Пора подумать о доме своем.

Так вчера заявил твой тесть, а мой отец. А он знает, что говорит, потому что един в четырех лицах: он герой, генерал, влюбленный и возлюбленный. Не завидуй, а приезжай, и я тут же вручу тебе все его прекрасные титулы.

И самый главный параграф:
я тебя люблю.

Да хранит Господь мою великую любовь и отца моих детей.

Сиди в своем окопе и не смей высовываться.

Твоя-а-а-а-а!..

Варька-Варенька.

Ох до чего же я истосковалась. Вся. Каждой клеточкой».

Глава шестая

1

Через десять дней после родственного свидания Леонида выписали из госпиталя с предоставлением двухнедельного отпуска. В митингующих окопах и тихих госпитальных палатах Старшов не очень-то ощущал степени начала распада гигантского российского монстра: он понял размах этого распада, этого разложения, лишь очутившись в тылу. Железная дорога — кровеносная система государства — оказалась первой, кто не выдержал злого напора фронта и угрюмого равнодушия тыла.

— Второй класс? — Комендант нервно рассмеялся. — Вот уж полгода, как дорога у нас бесклассовая, господин поручик. В этом пунк-

те мы, так сказать, достигли. Я выдаю билеты господам офицерам согласно предписания, но гарантировать им места не возьмется ныне и сам министр путей сообщения господин Юренев.

Комендант преувеличивал, классные вагоны еще кое-как сохраняли свою элитность, но в целом железнодорожное хозяйство России уже трещало по всем швам. Фронт — пока еще тихо, полулегально, но уже угрюмо и решительно — двинулся по домам, переполнив все виды поездов и вагонов. Специальные заградительные отряды вылавливали на станциях дезертиров, но хлебнувшие фронтовой науки окопники спрыгивали на подъездах к станциям с эшелонов и садились в них же на ходу за выходным семафором. Они пока еще не решались захватывать классные вагоны, но и в классных вагонах пассажиров оказывалось куда больше, чем мест, ибо проездные документы выдавались всеми инстанциями, а коли их не было, то и это уже не считалось чем-то исключительным. Порядки трещали, голоса хрипли в матерщине, а руки все чаще хватались за привычные револьверы, правда, еще пока не тыча стволами в физиономии соседей по купе.

— В августе семнадцатого я впервые увидел, что Россия стронулась с места, — вспоминал Дед

впоследствии. — Кончились заветные тридцать три года, и Илья Муромец, хрипя и матерясь, начал слезать с привычной печи.

Несмотря на кое-какие остатки порядка, втиснуться в вагон II класса Леониду не удалось: он ослабел после ранения и болезни, а орать, ругаться и хвататься за кобуру еще не научился. Впрочем, он не сумел освоить этого и за все время гражданской, действуя как полный дилетант, но почему-то большей частью успешно. Однако в данном случае шло время. На фронте — в окопах в особенности — оно либо бесконечно тянется, либо замирает вообще, но в отпуске летит с такой скоростью, что каждая секунда отмеряется ударом сердца. Шло отпускное время, отходил поезд, а Старшова, как на грех, только что спихнула с подножки чья-то раскормленная задница в новеньких галифе из явно интендантской диагонали. Следующий поезд на Смоленск отходил только через сутки, и торчать бы поручику эти сутки на захарканном перроне или в еще более захарканном зале ожидания. Уж и кондуктор свистнул, и поезд прогудел, и колеса дрогнули. И вагоны поплыли мимо, но каждая вагонная лестница была так увешана людьми, что невозможно было уцепиться. Уже отчаяние охватывало из-

мотанного ранениями и простудами окопника, когда подплыл вагон I класса. На его ступенях не сидели, на его поручнях не висели: в дверях вместо проводника стоял внушительного вида кубанец с маузером, заткнутым за наборный ремень. Старшов с мольбой посмотрел на него, встретил холодный взгляд, отвернулся со стыдом и горечью и вдруг сквозь паровозное пыхтенье, скрежет, стук и перронную ругань отчетливо услышал удивленный женский голос:

— Старшов? Леонид Старшов, это вы?

Он вздрогнул, но ответить не успел. Тот же мелодичный женский голос неожиданно приобрел металл, властность и барственную уверенность:

— Слышите, вы, как вас… хорунжий! Помогите поручику подняться.

— Слуш…юс!..

Леонид и опомниться не успел, как могучие руки схватили его, оторвали от земли, сунули в тамбур. Поезд уже набирал скорость, уже все звенело и громыхало; в тамбуре никого не оказалось, кроме кубанца, и Старшов нерешительно прошел в коридор спального вагона, шарахаясь от толчков на выходных стрелках. У окон стояли генералы и полковники, с нескрываемым недоброжелательным изумлением поглядывающие

на худого, плохо выбритого и совсем уж скверно одетого окопного офицера. Кажется, кто-то вальяжно тыловой уже начал кривить губы, готовясь к убийственно презрительному вопросу, как приоткрылась дверь купе и дамская ручка в перчатке властно поманила его. Он вошел, дама тотчас же прикрыла дверь и озорно улыбнулась:

— Все превосходно до смешного!

— Сусанна?..

Но ахнуть Леониду случилось несколько позже: в кресле у окна, прикрывшись газетой, сидел мужчина в партикулярном платье. Он опустил газету и лихо подмигнул поручику.

— Барон?!

— Никаких баронов, Старшов, — приглушенно и деловито зашептала Сусанна, плотно прикрыв дверь купе. — Перед вами — управляющий Екатеринодарского коммерческого банка, следующий вместе с супругой и личным охранником…

— Сусанна, — фон Гроссе недовольно вздохнул, — с твоей болтовней мы очень быстро угодим под военно-полевой суд.

— Сам Бог нам послал Старшова!

— Без эмоций, дорогая, без эмоций. Какой партии ты сочувствуешь, Старшов?

— Окопной, — неприветливо огрызнулся Лео-

нид и сел. — В конце концов, что происходит? Сусанна, спасибо ей, втаскивает кубанскими руками меня в поезд, здесь я встречаюсь с тобой и перестаю что-либо понимать. Ты вышел в отставку? Какой банк, какой охранник?..

— Мы были на твоей свадьбе, Старшов, — полуукоризненно-полуумоляюще зашептала вдруг Сусанна. — Неужели ты способен забыть?

— Я напомнил об этом еще одному свидетелю собственной свадьбы, а в ответ получил такой удар в морду, что очнулся в лазарете, — проворчал поручик. — Хватит воспоминаний, вопросы задаю я. Как вы здесь оказались, бывший офицер фон Гроссе? Первый класс, охранник, коньяк, ароматная женщина, а дураки вшивеют за вас в грязных окопах? И пусть себе вшивеют, пусть дохнут, пусть…

— На этом перегоне — чуть раньше, чуть позже — меня арестуют и по всей вероятности расстреляют.

— Боишься заградотрядов, дезертир?

— Они ищут не столько меня, сколько партийную кассу, — по-прежнему негромко и очень спокойно говорил барон. — Если тебя и вправду послал нам сам Господь Бог, спаси эти деньги. Я не люблю просить, но сейчас прошу. Не за себя,

не за Сусанну, а только ради общего дела. Есть шанс, и ты должен, должен помочь нам, а не им.

— Я не собираюсь спасать никаких партийных касс.

— А если эта касса спасет Сусанну?

— От кого? Я ничего не понимаю. — Леонид еще сопротивлялся, но властный напор барона невольно будил инстинкт офицерского беспрекословного подчинения. — Я не собираюсь играть в ваши партийные игры, Гроссе.

— Можешь наплевать на меня, но спаси Сусанну, и я отвечу тебе со временем на все вопросы. Если, конечно, выпутаюсь с твоей помощью из этой неприятности. Сусанна, отдай Старшову квитанцию.

— Но вам придется выйти, господа, — зарозовев, сказала она.

— Мы отвернемся.

Бывшие сокурсники и друзья повернулись спиной. В окне Леонид видел смутное, ускользающее видение: Сусанна, подняв юбки, с остервенением рвала кружевную отделку панталон. Он понимал, что подглядывать некрасиво и нечестно, но не мог отвести глаз долее, чем на мгновение; потом они поднимались словно бы сами собой и вновь с животным любопытством разглядывали ноги мо-

лодой женщины, ее кружевные панталончики, чулки, оборки юбок… Он слишком долго торчал в окопах и госпиталях, он до галлюцинаций истосковался по самым простым приметам запретной женственности…

— …Богоявленский переулок, три…

— Что? Извини, задумался.

— Квитанцию передашь…

Господи, наконец-то Сусанна оторвала оборку и опустила юбки! Леонид вздохнул и обрел способность слушать, что отрывисто шепчет ему фон Гроссе. А барон взял у жены батистовый лоскут, внутри которого чувствовалась зашитая бумажка, и сунул ему:

— Спрячь как следует, и упаси тебя Бог потерять ее. Упаси тебя Бог, ты понял? Сойдешь в Витебске…

— Какого дьявола! Я еду в Смоленск к Варе и детям…

— Сойдешь в Витебске. Богоявленский, три. Филькевич Давид Моисеевич. Отдашь эту квитанцию ему в собственные руки. Пароля нет, но ты узнаешь Давида сразу: жандармы выбили ему глаз в пятом году, и он похож на штурмана Билли Бонса из «Острова сокровищ».

Почему-то детское напоминание о Стивенсоне,

оказавшееся портретным паролем, подействовало на Леонида очень убедительно. Он послушно взял комочек легкой ткани, еще хранившей, как ему казалось, тепло женского тела.

— Что делать потом?

— Ехать к жене и детям. — Фон Гроссе говорил все отрывистее и суровее, внутренне все время к чему-то прислушиваясь. — А сейчас Сусанна устроит скандал, и тебя с позором вытолкают в другой вагон. Постарайся сыграть возмущение, но главное, постарайся как можно подальше уйти от нашего вагона и нас. Благодарим, прости и прощай. — Барон торопливо обнял Леонида и тут же отстранился. — Сусанна, зови на помощь.

— Хорунжий! — улыбнувшись Старшову, тут же истерически заорала Сусанна. — Поручик, извольте спрятать свои ручищи и немедленно покинуть наше купе! Господа, господа, умоляю, помогите же нам унять этого наглеца! Хорунжий! Хорунжий!..

Раздались топот, возгласы, звон шпор и шашек. Двери купе распахнулись, в проеме показался огромный кубанец с маузером за наборным ремешком. А за ними кто-то уже теснился в коридоре, кто-то о чем-то говорил, слышался далекий встревоженный голос:

— Господа, посторонитесь, господа! Позвольте же, наконец, господа!..

— Уберите этого наглеца! — со слезами выкрикнула Сусанна. — Я умоляю! Влез без билета в чужое купе и нагло требует…

Она не нашлась, что именно может требовать поручик, замялась, подмигнула, закрылась платочком и зарыдала. Но никаких пояснений и не потребовалось: хорунжий весьма решительно, а главное, быстро повлек поручика к выходу.

— Господа, дозвольте пройтить. Дозвольте пройтить!

Леонид не успел опомниться, как оказался в тамбуре. Услужливый проводник отпер закрытые на замок двери перехода, хорунжий лично перевел Леонида в соседний вагон, сжал плечо и негромко шепнул:

— Уходите через вагон. Я задержу.

И пошел назад, а поручик начал энергично продираться сквозь плотно набитый вагон II класса к противоположному тамбуру.

— Из-за этого чертова барона с его партийной кассой я потерял двое суток из пятнадцати дней отпуска. — Дед раздражался по этому поводу и добрых полвека спустя. — Правда, я не знал тогда, что эти эсеровские деньги «экспроприированы»,

как они выражались всегда, а попросту говоря, взяты в губернском банке с помощью нахальства, трех гранат и четырех револьверов. И хотя все сошло — я нашел господина Филькевича и передал ему багажную квитанцию, — я долго не мог простить беспардонного барона. И за два потерянных дня, и за то, что он втянул меня в партийные дела, хотя я изо всех сил стремился остаться нейтральным. Я не определил еще позиции, но уж кто-кто, а эсеры-боевики меня никак не устраивали, при всей их отваге.

2

— Значит, ты совершил неприятное и даже опасное путешествие из Петербурга… Извини, из Петрограда в Москву только затем, чтобы потребовать у меня денег?

Федор Иванович Олексин, ссутулившись, сидел за кокетливым столиком дамского кабинета, в котором давно уже единовластно вершила миллионные дела его старшая сестра. Перегруженная семейными хлопотами и безденежьем молодость не прошла даром, уродливо отразившись в игривой роскоши под старость. От этой весьма искусной, но и весьма крикливой роскоши ломился особняк с садом, выездом, новомодным

авто и новомодным шофером в коже от краг до кепи. А внутри — болезненно утонченное рококо, среди которого и металась сейчас сама вдовая миллионщица Варвара Ивановна Хомякова.

— Просить пятьсот тысяч, как кухарка полтинник на зелень!

— У тебя весьма удобная позиция, — хмуро заметил потрепанный последними событиями куда больше, чем прожитыми годами, сановник. — Ты дама и хозяйка, я мужчина и проситель — согласись, трудно вести деловой разговор на такой основе. Был бы жив твой муж, а мой друг Роман Трифонович, мы, я убежден, давно пришли бы к соглашению, оценив обоюдную выгоду.

— Выгоду? — со странным презрением переспросила Варвара Ивановна, остановившись перед братом. — Ты являешься ко мне без всякого предупреждения и начинаешь родственный разговор с требованием тебе ни много ни мало — ровнехонько миллион. Затем, опомнившись…

— Извини, сестра.

— Опомнившись, ты соглашаешься на половину, но под какое обеспечение? Под какое обеспечение ты требуешь полмиллиона? Под тройку битых генералов?

— Хватит! — неожиданно резко выкрикнул Фе-

дор Иванович, ударив ладонью по тонконогому столику.

Столик выдержал, сестра замолчала, но Олексин не спешил воспользоваться паузой, озадаченный то ли крепостью утонченной мебели, то ли внезапным послушанием сестры. Исподлобья поглядывая на нее, он продолжал машинально поглаживать столик, словно прося у него прощения.

— Россия катится в пропасть, а мы торгуемся как на рынке.

— Россия — не карета, — тихо сказала Хомякова. — Это мы катимся в пропасть, а Россия стоит, как стояла тысячу лет. Именно поэтому я не дам ни копейки ни под какие авантюры.

— Не дашь? Не дашь, так они, — Федор Иванович внушительно потряс пальцем в направлении огромного окна, наглухо зашторенного не в связи с временем суток, а в связи с событиями времени, — они отнимут без спроса. Все отнимут! Вот-вот новая пугачевщина сотрясет отчизну нашу, а мы будем сидеть по щелям своим. Мы же веками приучены лишь говорить слова о безумной любви к святой Руси, но при этом ни под каким видом не вылезать из своей персональной норки! Но дом спалят, Варвара, спалят с пением

«Интернационала» или «Марсельезы», и мы сгорим вместе с ним!

— Не кричи, — поморщилась Варвара Ивановна. — У тебя всегда был неприятный тембр, а в старости ты приобрел пронзительный фальцет. Он режет слух.

— Тебе режет слух голос? — вкрадчиво и вроде бы даже пряча ироническую улыбку в седые усы, спросил Федор Иванович. — А правда? Правда тебя не резанет, сестра моя дорогая?

— Оставим пустой разговор. — Варвара Ивановна протянула руку к звонку. — Я распоряжусь, чтобы накрыли в…

— Обожди, — Олексин задержал ее руку. — Ты успеешь распорядиться, и мы перекусим по-родственному, но сначала несколько вопросов. Не для читающей публики — ей сейчас не до этого! Для твоих сыновей. Им будет очень любопытно узнать, какой смертью и где именно умер их отец, русский миллионер Роман Трифонович Хомяков.

— Ты не оригинален. — Губы Варвары Ивановны непроизвольно дрогнули. — В свое время этим усиленно интересовались газеты.

— А ты всем заткнула рты. И поэтому никто и не узнал, что Роман Трифонович закончил дни свои в сумасшедшем доме, признанный недее-

способным…

— Увы, это соответствует действительности.

— И умер смертью настолько своевременной, что тебе пришлось выложить солидный куш особо любознательным газетчикам.

— Не следует повторять их наветов, дорогой брат, — почти ласково улыбнулась Варвара Ивановна. — Как твоя печень? Надеюсь, она позволит своему хозяину выпить рюмку доброго старого вина.

— Покойный Роман Трифонович трижды переводил очень крупные суммы в Швейцарию, где их получателями неизменно оказывались русские эмигранты социал-демократического толка, — невозмутимо продолжил Олексин. — Тебе угодно копии сих переводов и банковских счетов? Тебе угодно ознакомиться с доказательствами, что на эти средства издавалась пресловутая большевистская «Искра»? Тебе угодно получить копию письма Максима Горького, в котором известный наш писатель просит Романа Трифоновича срочно перевести в Лозанну полмиллиона, то есть ровнехонько столько, сколько просим у тебя мы, патриоты, не для подрывной деятельности против отечества, а во имя спасения этого отечества? Тебе угодно ознакомиться с донесением филеров?

Да, архивы Охранного отделения сгорели как в Петрограде, так и в Москве, но ты рано возрадовалась: военная разведка успела затребовать копии.

— Не твой ли сын оказался столь предусмотрительным?

— По долгу службы, дорогая сестра. — Федор Иванович с достоинством склонил порядком облысевшую голову. — Необходимость борьбы с германскими шпионами заставила военные власти создать специальную комиссию. Это случилось тотчас после скандала с Сухомлиновым, задолго до того, как сгорели архивы в обеих столицах.

— Вот уж никогда не думала, что родной брат станет меня шантажировать, — невесело усмехнулась Варвара Ивановна. — Использовать доброе имя своего благодетеля, не дрогнуть пред трагическим завершением его честного жизненного пути — что же, весьма закономерный поступок для человека, выгнанного за смутьянства из университета и кончившего любимцем двух государей. Двух Александров, и это при том, что Александр Александрович демонстративно предпочитал русские бороды европейским бакенбардам. Поразительно, не правда ли, братец?

И она тоже хлопнула ладонью по кокетливому столику, хотя и не с той экспансивностью. Она всегда была не только разумнее, но и сдержаннее брата, и, хотя Федор Иванович многому научился при дворе, Варвара Хомякова тоже не теряла времени, и сейчас ее природное хладнокровие явно превосходило заученную невозмутимость старого сановника. А хлопнув и как бы поставив этим некую точку в их разговоре, встала и молча вышла из личного, такого изломанно-дамского кабинета. «Что-то она мне припасла», — подумал Олексин, но додумать ничего не успел, так как в кабинет без стука вошел затянутый в кожу весьма плечистый молодец, в котором Федор Иванович без труда узнал личного шофера миллионерши.

3

Кожаный шофер молча уселся на стул возле дверей, скрестил на груди руки в крагах и столь же молчаливо уставился на Олексина странно бесцветными и ровно ничего не выражающими глазами. Федор Иванович непроизвольно улыбнулся, но улыбка поневоле вышла заискивающей. «Вздор, — с неудовольствием подумал он. — Волнуюсь, что ли? Но почему я волнуюсь, почему? Потому что Варвара упомянула о бла-

госклонности государя Александра Третьего? Да, она помянула. Помянула, но это же простое совпадение, и как, как можно что-либо доказать? Как?..» Он не успел додумать своих сумбурных мыслей, как вернулась сестра. В руках она несла дамский деловой портфель из крокодиловой кожи, и, может быть, поэтому Федор Иванович все время чувствовал кожу, несмотря на то, что бесцветный шофер тотчас же удалился. А Олексина мутило от запаха, хотя разумом он понимал, что виною тому не дорогой портфель, а его возможное содержимое. Но сестра не торопилась: положила портфель, достала ящичек с тонкими и длинными голландскими сигарами, закурила сама, предложила брату.

— Кто бы мог подумать, что наша Варя начнет курить, — вздохнул он, и опять что-то заискивающее прозвучало в его голосе. «Чего я опасаюсь? — подумал он. — Чего, чего? И зачем она тянет? Это же бесчеловечно так тянуть, это же пытка, садизм какой-то…» И добавил: — А я, представь себе, бросил. Да-да. Врачи уверяют, что это весьма отрицательно сказывается на печени.

— Все исчезает, — вдруг вздохнула Варвара Ивановна, словно не слыша его. — Помнишь, наш отец любил говорить, что смена эпох — это смена

знамен? А мне думается, что любая смена есть исчезновение. Исчезли тяжелые золотые империалы, удобные кареты, вышколенная прислуга, хорошие вина, хорошие сигары. Родственные связи заменяются деловыми или партийными, братья начинают шантажировать сестер, и о чувстве благодарности, о верности, любви, преданности долгу, чести и достоинстве наши внуки узнают только из старых романов. Как печально все это, Федор, как печально.

Федор Иванович настороженно молчал, пытаясь сообразить, какую именно мину подводят под прикрытием скорбных вздохов по старым временам. В том, что копают яму, он не сомневался, но не решался признаться даже самому себе, что может оказаться этой ямой. «Не надо показывать ей беспокойства, — со страхом думалось ему. — Я безгрешен, безгрешен, ей не в чем меня обвинить, не в чем…» И вздохнул старательно выверенным вздохом:

— Да, сестра, уходит благородство. Сколь часто вспоминаю я в старости нашего батюшку, рыцарственного Володеньку, безрассудного Гавриила, отважного Георгия…

— И на каждого у тебя находятся прилагательные, — усмехнулась Варвара Ивановна. — Любо-

пытно, какое прилагательное ты приготовил для генерала Скобелева?

— Скобелева? — как ни старался Федор Иванович, а голос чуть дрогнул. — Не понимаю, при чем тут?.. Я вспоминаю о родственниках.

— А разве ты не объявлял во всеуслышание, что Михаил Дмитриевич тебе больше чем родственник? Было, было с тобой такое, Федор, и в Софии было, и в Москве, и в Петербурге. После первого марта и гибели государя Александра Второго ты, конечно, пожалел, что столь часто и столь громогласно объяснялся в любви и преданности Белому Генералу, но ты ведь всегда был глуповат, братец.

— Варвара! — напыщенно начал Олексин, сделав нечто вроде попытки гордо встать со стула. — Ты оскорбляешь брата, не только нарушая законы родства, но и законы гостеприимства.

— Полноте, — Варвара Ивановна пренебрежительно отмахнулась. — Сколько слов и сколько фальши! А ведь в молодые годы ты был искренен. Не умен, но искренен. Шумел, ниспровергал, в народ бегал. А потом прилепился к Скобелеву и... — она грустно усмехнулась. — Покойный Роман Трифонович не уставал удивляться твоему превращению в дельного, распорядительного и

смелого порученца. Но войны кончаются, а тут тебя вдруг представляют государю. И государь Александр Николаевич — уже поизносившийся, уже тронутый умишком — с удовольствием слушает твои россказни. Говорят, не без таланта и не без юмора сочинял, что и позволило тебе стать добровольным шутом при дворе.

— Как… как ты можешь? — На сей раз Федор Иванович, кажется, расстроился и в самом деле. — Я… я участвовал в боях, в штурме Денгильтепе, где был ранен. Ранен и награжден Владимиром с мечами…

— И опять — Скобелев, — вздохнула Варвара Ивановна. — Да, ты вернулся героем, государь вновь приблизил тебя, а ты вновь начал развлекать меркнувший ум его рассказиками. И дорассказывался до полковничьего чина. На тебя сыпались милости, а против государя начинялись бомбы. И первого марта восемьдесят первого года поляк Гриневицкий взорвал не только государя Александра Николаевича, но и твою карьеру. Новый царь Александр Александрович не жаловал шутов своего отца: тебя отлучили от двора, предписав служить в Первопрестольной.

— Ну и что? Что с того? Не понимаю.

Федор Иванович переспросил быстро и нервно.

Руки его заметно начали дрожать; он схватил сигару и прикурил ее для того, чтобы скрыть это предательское подрагивание старческих пальцев.

— Доктора уверяют, что курение вредит твоей печени.

— Что? — Олексин вздрогнул и отложил сигару. — Да, меня выставили в неверном свете. И я уехал. И… и честно служил, где повелели мне…

— Ну зачем же так скромно? За то, что человек честно служит, его не возвращают ко двору и уж тем паче не жалуют генеральскими погонами.

— Я не понимаю. Не понимаю твоего сарказма. Не понимаю.

Федор Иванович начал вдруг суетиться. Суетливо перебирал пальцами, суетливо потирал руки, суетливо говорил, дергался, даже поглядывал суетливо забегавшими глазками.

— Не понимаю…

Он панически боялся, что сестра заметит его смятение и страх, но скрыть эту боязнь, эту панику уже не мог. И бормотал и суетился.

— А ведь Скобелев любил тебя, Федор. Он был доверчив как ребенок.

— Была! — вдруг закричал Олексин, вскочив. — Была клевета, будто Скобелева отравили, была!

И меня пытались опорочить, замарать пытались этой гнусностью, ложью этой. Но ведь ложь и есть ложь. Ложь, навет. Навет!

— Сядь, — спокойно сказала Варвара Ивановна. — Я знаю, что это навет: ты не подсыпал яду в бокал Скобелеву двадцать пятого июня тысяча восемьсот восемьдесят второго года, но Михаил Дмитриевич тем не менее умер. Умер, не дожив до сорокалетия, совсем как наша мама. Тебе не снится это странное совпадение?

— Но я же не… Ты же сама сказала.

— Ты — «не», это верно. Но ты — да, и это тоже верно.

— Что — «да»? Что? Что значит? Это… это доказать надо, доказать!

— Доказать? — Варвара Ивановна провела рукой по крокодиловой коже, и Олексин сразу примолк и словно бы съежился. — Ты не учел, что у Михаила Дмитриевича Скобелева был настоящий друг, которого зовут Алексеем Николаевичем Куропаткиным. Вместе с покойным мужем моим Романом Трифоновичем они собрали показания всех участников той роковой оргии. От адъютантов генерал-губернатора князя Долгорукова и обер-полицмейстера генерал-лейтенанта Козлова до мадам в известном заведении

и ее перепуганных девиц.

— Глупость какая-то. Чушь. Нонсенс!

— Кто мог подумать, что у бесстрашного Белого Генерала больное, изношенное боями, попойками и женщинами сердце? Он ведь никому не жаловался, и об этом знали только очень близкие: Млынов, Куропаткин, личный врач и ты. Но в Москве в тот роковой день не было ни Млынова, ни доктора, ни Куропаткина, а был полковник Олексин. Единственный человек, отлично знавший, что Михаилу Дмитриевичу категорически запрещено пить.

— Ты что, Варенька, Скобелева не знала? — неожиданно улыбнулся Федор Иванович. — Он государя не слушал, не то что меня. Государя!

— Какого именно, Феденька? Александра Николаевича или Александра Александровича? Между ними разница не только в том, что один — отец, а другой — сын: один любил Скобелева, а другой ему завидовал и его ненавидел. Особенно после выступления Михаила Дмитриевича в офицерском собрании в том роковом восемьдесят втором. И ты прекрасно был осведомлен об этом.

— О чем, о чем? Что далее?

— А далее просто. В июне Скобелев приезжает в Москву для инспектирования двух армейских

корпусов, и ты — ты, лично! — приглашаешь его после утомительного смотра в «Славянский базар». И там тоже лично подливаешь и подливаешь в генеральскую чарку, пока не удостоверяешься, что твой гость…

— Он был гостем офицеров, — перебил Федор Иванович. — Офицеров…

— …что твой гость, как говорится, уж подшофе весьма изрядно. И в таком состоянии он и вправду никогда и никого не слушал: ты и это учел, не правда ли? И тогда… Кто тогда предложил поехать в номера к девочкам?

Федор Иванович угрюмо молчал. Помолчала и Хомякова, горестно покачав головой.

— У него было очень усталое сердце. И оно не выдержало: вскоре после полуночи из номера, в котором расположился Михаил Дмитриевич, с отчаянным криком выбежала девица в чем мать родила.

— Вот тут ты абсолютно права, — вздохнул Олексин. — До сей поры крик ее слышу. «Генерал умер!» А что касается остального…

— На днях я уезжаю в Париж через Швецию: разрешения, паспорта, визы обошлись мне весьма недешево. — Варвара Ивановна встала. — На память я дарю тебе этот портфель: там находится

то, чего ты так боишься. Естественно, это копии показаний офицеров, мадам, девиц и прочих свидетелей. Копии. Но если ты когда-либо смутишь покой моих сыновей, я обнародую оригиналы во всех цивилизованных государствах, и тогда тебя не спасут ни Корнилов, ни Краснов, ни даже сам отрекшийся от нас государь. Надеюсь, ты поймешь это, ознакомившись с содержимым портфеля. А засим — прощай, братец. По всей вероятности, навсегда.

Варвара Ивановна коротко кивнула и вышла из комнаты, с отцовской горделивостью откинув седую голову.

4

— Если бы человеку дано было знать будущее, рухнула бы всякая цивилизация, — рассуждал Дед, прогуливаясь по госпитальному саду за восемь часов до смерти. — Незнание будущего — самая великая мудрость мира и наивысшая милость природы.

Был теплый майский вечер, рядом шагал любимый сын, и Дед точно знал, что не увидит завтрашнего солнца. Но он не боялся смерти не философски, а физически: его столько раз убивали, что инстинкт в нем уже порядком по-

износился. А кроме того, ему просто надоело страдать от мучительной нехватки воздуха, и германские бурые газы все чаще снились по ночам.

— Я стал вспоминать раннюю осень семнадцатого и свой последний офицерский отпуск по ранению. Армия расползалась, как гнилое интендантское сукно, еды не было, мануфактуры не было, все митинговали, и никто не работал. А я и твоя матушка были счастливы во время всеобщего краха. И представить не могли да и не желали представлять, что дни России сочтены и что ей суждено погибнуть в век собственного тысячелетия. Правда, старшие что-то там толковали по этому поводу. Я имею в виду твоего деда и его родственников. А мы с Варенькой были счастливы, как никогда более…

В знакомом доме, до которого поручик Старшов добирался с дурацкой пересадкой в Витебске, его встретил криво улыбающийся Василий Парамонович. По всей вероятности, он порядком устал от причуд жены, полуразобранного дома, жизни в гостях и неразберихи в государстве.

— Сбежали? Или по закону?

— На первое все же бегство поставили? За что же мне такая раскладка?

— А ныне оно на первом, бегство-то. И ныне

и присно.

Измотанный болезнью, ранением и дорогой, фронтовик хотел было пустить родственничка по-окопному, но вошла Ольга. Она искренне обрадовалась Леониду, тепло расцеловалась, но тут же заметила:

— Варвара в Княжом, Леонид. К нам и носа не кажет. Что на обед, как распорядиться?

— Извозчика.

— Но как же без…

— Я достану, достану! — торопливо и радостно встрепенулся Кучнов, но Ольга так глянула, что он тут же спохватился: — После обеда, конечно, после обеда. По-родственному, как водится.

Он и впрямь расстарался: добыл извозчика с деревяшкой вместо ноги, но с доброй лошадью, сам оплатил прогон в оба конца («Мы понимаем, тоже патриоты»). Старшов спорить не стал: сухо попрощался, взгромоздился на пролетку.

— С фронту? — спросил извозчик, когда выехали за Молоховские ворота.

— Ты, я вижу, тоже оттуда?

— Оттудова, — вздохнул мужик. — И выходит, ваше благородие, мы с тобой вроде как земляки. Ай нет?

— Вроде.

Некоторое время ехали молча. Лошадь бодро постукивала новенькими подковами по крупному булыжнику, беззвучно покачивало хорошо подогнанную и смазанную коляску. Старшов уже начал подремывать, когда инвалид сказал, не оборачиваясь:

— А земляк земляка больнее бьет. Завсегда больнее и обиднее. Ну чего чужого-то трогать, верно говорю, ваше благородие? Вот землячку по сопатке вдарить — это тебе удовольствие.

— Ты никак меня по сопатке намереваешься?

— Никак нет, — очень просто и мирно отрекся извозчик. — На тебе вона кавалерских знаков да крестов, что в часовне, а чин небольшой. Ротный, поди?

— Ротный.

— Значит, кровушку лил вроде нас. Стало быть, свой и есть. Ай нет?

Разговор топтался на месте, а таких разговоров Старшов наслушался вдоволь и не любил их. Подобной болтовней постоянно занимались солдаты: толкли воду в ступе, бесконечно обсуждая нечто, понятное Леониду с первой фразы. И поэтому он спросил:

— Ногу где потерял?

— А нога моя нас с тобою везет! — неожиданно

захохотал мужик. — Ранило-то меня в пятнадцатом, летом, а кость, поверишь ли, не тронуло. Пополз я, стало быть, подальше, а тут стонет кто-то. И вроде как под землей. Ну тогда, прямо скажу, Бога мы еще не позабыли, и стал я копать. Из меня кровища текет, а я знай копаю да копаю. И выкопал поручика вроде тебя: он в беспамятстве стонал, землей засыпанный. И доволок его я до санитаров. Человека спас, а ногу потерял: оттяпали мне ее, значит. А вскорости мне крест, значит, Георгиевский, лучший госпиталь, почет да уход. Ну и опосля является ко мне натуральный генерал. Спасибо, мол, братец, ты мне единственного сына спас. Ничего, мол, за него не пожалею. Ну а какой мне резон в деревню возвертаться, какой я есть теперь работник без ноги? Прикинул я и говорю: давай, мол, ваше превосходительство, на лошадке да пролетке сойдемся. И сошлись. Умно поступил али нет?

— Умно.

— Теперь такое времечко наступает, что тем, которые чего неумно, тем полный будет карачун. Это ты, ваше благородие, прими как мой совет за боевые твои страдания. Из шкуры вас вымать начнем вскорости, из шкуры, да. А это больно, до невозможности. И ты, как есть натуральный

окопник, должон теперь всегда умно поступать.

— Веселый у нас с тобой разговор, — усмехнулся Леонид.

— На войне что хорошо? — точно не слыша его, продолжал инвалид. — Хоть годок всего повоевал я, а понял, что уж больно свободно, и все, что душа думает, исполнить можно. Дисциплина, скажешь? Так то слово одно, так, для начальства. Ведь, скажу, до того только во сне видел, будто бабу, какую хошь, мну да за груди хватаю. А на фронте — все бабы твои, только не зевай. Грех на фронте зевать.

— И ты, следовательно, не зевал?

— И зевать не буду, — вновь с плохо скрытой угрозой отозвался мужик. — Привычка, ваше благородие, она дело великое. Я теперь хорошо привык — ни своего, ни чужого страху боле не чую. Вот еще только детишек не убивал. Однако думаю, что и к этому привыкнуть можно.

— Сделай милость, помолчи, — резко сказал поручик. — Я три ночи толком не спал, дай подремать.

— А дреми себе в спокое. Дреми. Я понятие такое имею, что ежели кто уморился, так зачем же ему мешать? Дреми.

Леонид прикрыл глаза, надвинул на лоб фу-

ражку, больше всего боясь и вправду задремать. Он уже отвык от покоя, мечтал обрести его в тылу, но до осуществления мирной сей мечты было пока далековато. Притерпевшись к провокационному хамству на фронте, поручик не был готов к встрече с ним и в тылу, не знал, как вести себя, и на всякий случай, ворочаясь на заднем сиденье, привалился к левому бортику и незаметно расстегнул клапан кобуры. «Говорливый, — с неприязнью думал он. — С таким только размечтайся: собственной деревянной ногой пристукнет, свалит под обрыв и даже землей не присыплет…»

А мечтать хотелось. Хотелось спать и мечтать: повозку убаюкивающе раскачивало на мягких рессорах, мирно поскрипывали колеса, да всхрапывала лошадь, и если со сном он привык бороться на равных, то с мечтами это не получалось. Они одолевали его, жаркие губы Вареньки ощущались почти физически, и голова поручика каждое мгновение рисковала оторваться от грешной земли…

— Боисси?

Извозчик резко повернулся на козлах и засмеялся. Смех его был мелким, дребезжащим, вымученным: стращал он им исхудалого офице-

ра. Просто так стращал, для удовольствия; Леонид как-то вдруг осознал это и разозлился.

— Я вот сейчас пальну тебе в затылок, свалю под куст — и кто нас видел? Время темное, а лошадка мне пригодится.

— Но-но, барин…

— Ты же мужик сообразительный и знаешь, как с окопником шутки шутить.

— Да ты не серчай, не серчай, я ведь без злобства. Ну не хошь, не буду. Но, проклятущая!..

«Они уже шутят с нами, когда хотят, — невесело размышлял поручик, подскакивая на пружинах. — Пока у нас оружие, шутки кончаются по команде, а что будет, когда у них под армяком наган окажется? Кто тогда будет командовать, а кто — шутить изо всех сил? А оружия у этого отродья — миллионы наганов с винтовками. И когда они отвыкнут нас бояться, тогда… Тогда новая пугачевщина. Павел прав. В крови умоют… Утопят, а не умоют. Утопят, как котят…»

Как Старшов ни крепился, как ни опасался злого мужика с деревянной ногой, усталость, болезнь и ранение сломили все его старания. Он так и не заметил, что задремал, а наоборот, убежден был, что не спит ни вполглаза, и даже гордился, какой он волевой человек. А на самом-то деле

ему просто и ясно снилось, что он не спит, что бодрствует и даже ведет настороженную беседу с подозрительным возницей…

— Эй, ваше благородие, кресты свои проспишь!

— Я не сплю, — старательным голосом сказал Леонид, соображая, миновал он грань между дремотой и явью или все ему только снится. — За церковью налево…

— Какой тебе лево-право, когда во двор уже въехали.

Старшов окончательно проснулся, привстал на убаюкавших его пружинах и увидел, как от веранды через цветник к переднему двору стремительно летит что-то белое, родное, юное, в развевающихся легких одеждах.

— Приехал! Он приехал, приехал, приехал!..

5

В те десять дней поручик Старшов понял то, что осталось с ним на всю жизнь: счастье — это когда нет войны. Нет войны и смерти, нет грязи и вшей, нет прокисшего запаха вечно сырой шинели, трупного смрада, нечеловеческой усталости и звериной тоски.

— Варенька, прости. Я разучился быть неж-

ным.

— Разве просят прощения за счастье чувствовать себя женщиной? Глупый.

— Я одичал в окопах.

— А я — без тебя. Боже мой, как хорошо жить!

Утро начиналось с обеда, хотя они почти не спали все эти сумасшедшие ночи. Просто не было сил оторваться друг от друга, и было чувство, что оторвут насильно. Что все это царство любви, нежности и невероятного счастья неминуемо окончится навсегда, как только они разомкнут объятия.

— Боже, ты только что из госпиталя, а я так мучаю тебя. Я бессовестная эгоистка, да?

— Ты любимая эгоистка. И, пожалуйста, оставайся такой всегда.

К обеду выходили из спальни: в эти несколько ночей Варенька не тратила драгоценного времени даже на детей, полностью доверив их Руфине Эрастовне («бабушке»). Появлялись безмерно усталыми и безмерно счастливыми, с одинаковыми глуповато-смущенными улыбками. Варя, розовея, прятала глаза, а Старшов изо всех сил петушился и лихо подкручивал рыжеватые усы. А после обеда они опять спешили уединиться, и поэтому серьезных разговоров просто не могло

быть. Генерал сердито покашливал, но в глазах его уже не исчезал озорной блеск.

— Друг мой, если бы вы знали, как вам к лицу чужое счастье! — искренне порадовалась за него хозяйка.

— Счастье — не шляпка, сударыня, — с некоторым смущением ответствовал Николай Иванович.

— Счастье — это ваш маршальский жезл, мой генерал.

Отношения между Руфиной Эрастовной и ее управляющим балансировали на лезвии ножа. Оба не просто понимали это: их с такой силой тянуло друг к другу, что лишь извечный генеральский страх оказаться в смешном положении удерживал на грани.

— Ты боишься Руфины Эрастовны? — спросила как-то весьма наблюдательная Татьяна.

— Никого я не боюсь! — буркнул генерал. И, старательно отведя взгляд, с некоторым смущением пояснил: — Влюбиться в очаровательную женщину естественно и понятно, но влюбиться в бабушку…

Татьяна расхохоталась и больше не задавала вопросов. Зато с той поры Николай Иванович чувствовал себя так, будто был нафарширован

вопросами до отказа.

«Любопытно, что накануне дней гнева и ярости в Княжом безраздельно господствовали дни нежности и любви, — как-то заметил Дед. — Случайно? Не убежден. Может быть, нашей плоти свойственно животное предчувствие грядущего?.. Правда, в эту идиллию как-то уж очень поспешно вторглась суровая действительность».

Окружающая действительность вторглась ранним утром четвертого дня отпуска решительным стуком в дверь. Варенька еще спала, утомленно разметав по подушке пышные черные волосы; Леонид осторожно перебрался через нее, босиком прокрался к двери.

— Кто?

— Выйди, — строго сказал Николай Иванович. — Серьезные новости.

Старшов поспешно оделся, тщетно пытаясь сообразить, какие новости могли встревожить безмятежную жизнь генерала. Ничего не сообразив, сунул тем не менее револьвер в карман халата — время обязывало — и вышел в гостиную. В креслах сидел высокий костлявый старик с длинным лошадиным лицом, а генерал, в халате с игривыми кистями, озабоченно маршировал вокруг стола.

— Мой брат Иван. — Он ткнул в старика. — Мой зять поручик Старшов.

— Вот, потревожил. — Иван Иванович встал, виновато развел руками и смущенно улыбнулся.

— Потревожил! — фыркнул генерал. — Время такое, что день без тревог — уж и праздник Христов. Садись. Сам расскажешь или мне доложить?

— Не знаю, в какой мере поручику известно о… о Елене Захаровне.

В Иване Ивановиче бросалась в глаза какая-то обреченная безнадежность. Это стесняло Леонида, поскольку он не имел ни права, ни желания проникать в чужие тайны и чужие горести.

— Не уверен, следует ли мне пользоваться вашей откровенностью.

— Следует! — твердо сказал Николай Иванович. — Теперь семьи должны сжиматься в кулак. Это единственный способ противостоять.

Он не пояснил, чему именно должны противостоять семьи. Да его никто и не слушал, потому что Старшов смотрел на Олексина-старшего, а тот мучительно преодолевал неимоверно разросшуюся застенчивость.

— Во время турецкой войны наш дядя Захар Тимофеевич спас осиротевшую девочку…

— Ты ее спас, а не Захар, — недовольно перебил генерал. — Но тебя весьма своеобразно отблагодарили за спасение чести и жизни.

— Ах, Коля, оставь! — мучительно поморщился Иван Иванович. — Мы с Машей-покойницей просто помогли несчастному ребенку добраться до Смоленска. — Он вновь повернулся к Леониду и продолжал: — Здесь ее удочерила наша тетушка Софья Гавриловна, крестила заново и нарекла Еленой Захаровной в память ее спасителя. Лена получила не только хорошее воспитание, но и любовь, заботу, семью, кучу родственников…

Иван Иванович вдруг замолчал, то ли подыскивая слова, то ли просто вспомнив те уже далекие времена. Робкая улыбка появилась на его исхудалом лице, заросшем кое-как подстриженной бородкой, протравленной сильной проседью.

— И он в нее влюбился, — неожиданно объявил генерал. — По-олексински, как говорила тетушка.

— Это не то все, не то, — торопливо забормотал старший брат. — В конце концов, право женщины выбирать достойнейшего. И я никоим образом не имею оснований чего-либо требовать, настаивать на исполнении обещания, которое…

Он вдруг замолчал. Грустно покивал головой

и снова грустно улыбнулся какому-то далекому воспоминанию.

— Обманула тебя Елена, Иван, — хмуро сказал Николай Иванович. — Давай называть вещи своими именами, а то мой окопный зять запутается окончательно.

— Не нужно. — Иван Иванович вздохнул. — Напрасно я вас потревожил, извините. Это от растерянности, да. Как снег на голову.

— Сиди, — строго распорядился младший Олексин. — Елена дала слово выйти за тебя, как только ты образумишься и закончишь в технологическом. А стоило тебе закончить, как тут же сбежала с присяжным поверенным Токмаковым. Нет бы с офицером, так нате вам!..

— Присяжного поверенного больше нет, Коля! Нет совсем, нет на этом свете, а ведь он всю жизнь защищал мужиков, не беря ни копейки принципиально. А его пристрелили солдаты, которые вдруг повалили с фронта. Он попытался защитить свою семью, свое имущество, а его убили и именье сожгли. Правда, Лену с дочерью и внуком отпустили беспрепятственно. Знаете, это очень по-русски: сжечь хороший дом и восторженно глазеть, как в нем горят книги, картины, музыка, саксонский фарфор. Очень, очень по-русски.

Иван Иванович внезапно умолк. Он вообще рассказывал не саму историю, не событие, а, скорее, пересказывал некие иллюстрации к собственным размышлениям и поэтому начинал и умолкал в зависимости от этих размышлений. И генерал, поняв, не влез с собственными сентенциями, а лишь вздохнул, покачал лохматой головой и вышел.

— Беспрепятственно сожгли и беспрепятственно отпустили, — тихо повторил Иван Иванович. — В детстве на ее глазах убили отца, на склоне лет — мужа; какая страшная судьба!

Вернулся Николай Иванович, неся бутылку водки в одной руке и три вместительных бокала в растопыренных пальцах другой. Со звоном сгрузив добычу, разлил, сунул каждому в руку.

— Елена свалилась ему на голову с остатками семейства, как ты, вероятно, уже догадался. Выпьем за…

— Извини, брат, не буду, — решительно перебил Иван Иванович и отставил бокал подальше.

— Вот, — сказал генерал Старшову. — Первый симптом.

Он в одиночестве выпил свою долю, задумчиво пожевал бороду и отхлебнул из отодвинутого братом бокала. Леонид не понимал, зачем его

вытащили из кровати, а теперь вдруг понял. Понял, что тесть растерян не меньше брата, что ему нужен кто-то, точно так же, как кто-то — все равно кто! — был нужен и Ивану Ивановичу, который ради этого всю ночь трясся на телеге из Высокого.

— Значит, солдаты начали громить помещичьи владения, — он не спросил, а отметил, чтобы хоть как-то оказаться сопричастным. И даже отхлебнул водки, хотя пить в такую рань было невкусно. — Это наверняка тыловая команда.

Он совсем не был уверен в том, что говорил: солдаты могли оказаться и окопниками. Но офицерское самолюбие еще прочно сидело в нем, и поэтому грабители обязаны были быть представлены только тыловиками. «Тыловой сволочью», как говаривали окопные офицеры.

— Пугачевщина! — Голос генерала окреп после четырех добрых глотков; на этом слове он его опробовал и продолжал несколько тише: — Иван не понимает или не желает понимать, что происходит в России. Но он химик, и ты химик, а потому вы друг друга поймете.

— Я не химик, — улыбнулся Старшов. — Но объяснить попытаюсь все же не с позиций командира роты… Всякое государство есть, как я

понимаю, некая кристаллографическая система, которая жестко связывает аморфные слои населения, составляющие народ. Ныне кристаллическая решетка рухнула, и масса потекла во все стороны, уже не сообразуясь с законами. Это, правда, не химическое, а физическое пояснение происходящего, но сегодняшнюю ситуацию я бы не сравнивал с пугачевщиной, хотя совсем недавно думал об аналогии. Но ведь пугачевщина — это все же система, а ныне вся соль в том, что нет никакой системы. Россия, если угодно, перегрелась от внутреннего и внешнего огня, и лава потекла по ее телу. И будет течь, сжигая чуждое ей, пока…

Тут распахнулись двери, и в проеме появилась Руфина Эрастовна в нежно-оливковом и весьма молодящем ее пеньюаре.

— До завтрака за водку — это уж слишком по-русски даже для смоленского дворянства, господа!

6

Поручик Старшов в последний раз услышал слова о дворянстве, проникнутые теплой иронией. Отныне ему предстояло слышать о сословии, к которому он принадлежал, с презрением или

отчаянием, злобой или кликушеством — всегда с излишней любовью или еще более яростной ненавистью и никогда — равнодушно. Целое сословие, долгое время находившееся у многочисленных рулей неповоротливого и скверно управляемого государства, уходило в небытие. Именно сословие, поскольку дворянство как класс было ликвидировано самим актом освобождения крестьянства, но и сословие в целом оказалось никому не нужным, несмотря на высокую образованность, знания и мощнейший пласт культуры. Терявшая кристаллическую решетку Россия теряла и свою военную и чиновничью касту, и улыбка Руфины Эрастовны была улыбкой над уже вырытой могилой.

Но тогда Леонид не ощутил никакого кладбищенского озноба. Тогда он просто обрадовался, что можно прервать тяготивший его разговор с двумя растерянными стариками, тут же вызвался разбудить жену к завтраку и появился к обеду.

— Браво, поручик, — очень серьезно сказала хозяйка.

Татьяна весело улыбнулась, а Варя смутилась до румянца. Отец, хмуро и немузыкально бубнивший под нос некое подобие романса, отметил с генеральской прямотой:

— Война есть простейшее перераспределение житейских радостей.

И Варя сконфузилась еще больше.

— А где же Иван Иванович? — бодро спросил Старшов, чтобы сбить этот игривый тон.

— Отбыл восвояси, на мужицкой телеге с вожжами в руках. — Николай Иванович подумал, повздыхал и решил разъяснить: — Он приезжал за моим советом.

— Друг мой, он приезжал за деньгами и уехал с ними, — вскользь пояснила Руфина Эрастовна. — Мишка объелся варенья, и его следует подержать на диете.

Женщины заговорили о детях, диетах, домашних снадобьях и заботах, неуклонно возрастающих день ото дня. Олексин недовольно послушал их, сказал Леониду:

— Иван — человек сломленный, но в нем есть запас живучести. Ты ощутил?

Поручик не ощутил никакого запаса в старике, потрясенном явлением юношеской любви, но поддакнул.

— Ты знаешь, что он кормится от земли, как простой мужик? Вот, представь себе, освоил. Не знаю, смогут ли вчерашние холопы управлять державой, но истинно благородный человек

всегда взрастит свой кусок хлеба. А Лена была когда-то сказочно красива. Сказочно.

— Не имела удовольствия быть с нею знакомой, но могу сказать с полной уверенностью, что ваша сказочно красивая родственница — женщина без сердца, — громко провозгласила Руфина Эрастовна, прервав саму себя в рассказе о каких-то симптомах детских недомоганий. — Увлечь романтического юношу, заморочить ему голову обещаниями, а затем сбежать почти с первым встречным — это, знаете ли, весьма и весьма даже для меня. Да, да, мой друг, не стоит выражать сочувствие, похожее на сожаление.

— Да полноте, Руфина Эрастовна.

— Ваш взгляд красноречивее вашего языка. А главное, точнее его.

— И все же, тетушка, вы не правы, — твердо сказала Татьяна. — Вы обидно не правы, хотя мне очень неприятно говорить это. Ведь дядя Ваня спас греческую девочку не просто от гибели, но и от позора, точнее — в момент позора. Мужские руки уже сорвали с нее одежды, уже повалили… — Татьяна запнулась, порозовела, даже похорошела. — Да, они не успели над нею надругаться, но дядя Ваня — юноша в шестнадцать лет! — видел ее в самом страшном, самом

унизительном для женщины положении. И двенадцатилетняя девочка знала, что он видел, — вы подумайте только, что творилось в ее душе? Мы говорим о ее неблагодарности, но ведь она не могла представить дядю своим мужем, не могла! Любая форма благодарности была для Елены Захаровны приемлемой и необходимой, кроме замужества. Извините, но мне кажется, что вся родня требовала от несчастной девочки того же, чего желали и казачки, только вполне добровольно и, так сказать, в благодарность. Да я бы повесилась скорее!

— Татьяша, ты уж чересчур… — начала было Варя.

— Ничего не чересчур! — громко сказала Руфина Эрастовна и встала, с грохотом отодвинув стул. — Ты прелесть, Татьяна, ты разумная прелесть, и я обязана тебя расцеловать. И признать, что ты — мадам Жорж Санд.

С этими словами она обогнула стол и торжественно расцеловалась с Татьяной. А генерал радостно хлопнул в ладоши, энергично потер их и признался, что его младшая дочь утерла нос собственному отцу.

— Мы все — скоты, — пояснил он. — Мы столько лет мучили собственным эгоизмом юное суще-

ство, не пытаясь заглянуть ему в душу. Это могла бы сделать Маша, но к тому времени она уже совершила свой подвиг. — Он вздохнул. — Но ты унаследовала своей тетке, дочь! Ты унаследовала ее романтический максимализм, и это прекрасно. Прекрасно!

Ни утром, ни за обедом ничего особо существенного не случилось, и впоследствии Леонид не отмечал бы этот день в своей памяти. Женственное буйство Вари, умноженное многодневной тоской и постоянными страхами да еще возведенное в квадрат двойным материнством, занимало все его время и отнимало все его силы, а те, что где-то еще прятались, он с упоением растрачивал на Мишку и совсем еще маленькую Руфиночку. И забывал о всех и о всем; и, наверное, так бы и уехал, испивши из родника собственной семьи, но тесть, растревоженный внезапным визитом брата, которого любил больше всех во всей многочисленной родне Олексиных, вечером выманил в свой кабинет. В тот самый, переехавший из Смоленска вместе с военными картами, запахом табака и потаенными водочными резервами.

— Если армия мародерствует, следовательно, армии нет. А государство без армии — медуза. По воле волн, то бишь иных царств и народов. Ты

думаешь о будущем?

— Каждый день, — сказал Старшов. — Утром — как бы дожить до вечера, вечером — как бы дожить до утра.

— Ты изо всех сил пытаешься удержаться в панцире ротного командира, — изрек генерал. — Тебе стало выгодно не видеть дальше окопа, не знать шире собственного участка и не слышать ничего, кроме прямых команд.

— Разве?

— Ты очень точно определил собственные границы. Но ведь существует отечество, земля оттич и дедич. Надеюсь, ты не отрекся от нее во имя вполне естественного животного желания уцелеть?

— Боюсь, что наше отечество само отречется от нас, — невесело усмехнулся Леонид. — Для мужика не существует отечества, нашей с вами оттич и дедич: для него вечно существовала земля барская и клочок своей, которую он считал Родиной. Точнее, родиной, местом, где рождались близкие ему люди. Вот размер этой родины он будет стремиться увеличить за счет наших, то есть барских, вотчин, благо кристаллическая структура государственности распалась. И на сегодняшний момент, как любят выражаться мои

ротные демосфены, возникло парадоксальное положение: родина восстала против вотчизны.

— И этот парадокс ты узрел из своего ротного блиндажа?

— Я не узрел, я услышал. Солдаты начали говорить после вековечного молчания: Илья Муромец слезает с печи. Он уничтожит нас с вами, выжжет саму память о нас и присвоит себе то, что уничтожению не поддается. Нашу историю, наш дух, литературу, живопись, музыку.

— Пожалуй, это будет справедливо, — сказал Николай Иванович, вздохнув. — Вся цивилизованность привилегированного сословия зиждется на угнетении всех прочих сословий.

— Вы марксист, ваше превосходительство?

— Я считаю экспроприацию справедливой, вот и весь мой марксизм. Пришла пора возвращать награбленное, а то, что мы с тобой оказались именно в этом отрезке закономерного развития, есть наша личная судьба. Личная, Леонид, и мне не хотелось бы, чтобы ты однажды — от обиды, бессилия, раздражения, злости — спутал ее с судьбой России. Не утеряй веру.

— У меня осталась одна вера — в моих солдат. Они верят мне, я верю им, и покуда это существует…

Поручик неожиданно замолчал. Не потому, что усомнился в долговременности своего символа веры, а по той простой причине, что вдруг понял эфемерность покоя этой усадьбы, ее быта, самого существования ее жителей и собственной семьи. Вспомнил одичалость солдат, вооруженных отнюдь не страхом перед законом, а винтовкой со штыком, не уважением к чужой собственности, а уже выработанной привычкой брать что надобно и жечь что не надобно; не стремлением защитить женщину, а звериной жаждой немедленно завалить ее, независимо от возраста. «На фронте все бабы — твои, только не зевай», — говорил инвалид-возница. А фронт… фронт там, где солдат, таково время…

— У вас есть оружие?

— Есть, — кивнул генерал, — Руфина Эрастовна. Я знаю, о чем ты сейчас подумал, но заверяю тебя, пока у нас есть Руфина Эрастовна, ты можешь быть абсолютно спокоен. Только не ошибись, кого защищать. Не ошибись, Старшов.

Вот что произошло ровно в середине отпуска, и через три дня поручик Старшов уехал на передовую, так и не успев как следует наиграться с собственными детьми. Щемящей горечью пахла увядающая листва в яблоневом саду, и Леонид

необъяснимо точно знал, что никогда более не ощутит этого запаха с такой пронзительной ясностью. Но в нем не было отчаяния, хотя это были ароматы вчерашнего, а завтра ждал его тяжкий смрад войны. И еще — расставание. Долгое и тоскливое, как осенние серые вечера.

Глава седьмая

1

Женские батальоны, которых не знала русская армия за все время своего существования, были созданы весной 1917 года по инициативе новгородской крестьянки Марии Бочкаревой. Эта кликушествующая ура-патриотка добровольно ушла на фронт простым солдатом еще в начале войны, принимала участие в боевых действиях на Юге, где и отличилась во время знаменитого Брусиловского прорыва. Откровенное нежелание фронтовиков продолжать бессмысленную войну подтолкнуло ее предложить знавшему ее лично генералу Брусилову идею создания Женских батальонов смерти. Генерал с энтузиазмом ухватился за эту идею, усмотрев в ней могучее средство «устыжения солдат».

— Позор! — резко отозвался об этом генерал Корнилов. — Господ из тылов на фронт гоните, а не толстозадое бабье!

Однако Временному правительству были куда дороже фанатичные предложения Бочкаревой, чем трезвые соображения кандидата в Наполеоны, да и собрать отряд истеричек было неизмеримо проще, чем выгнать на передовую полтора десятка офицеров из разного рода уютных тыловых учреждений. Керенский и Родзянко горячо поддержали Бочкареву, и в мае первые отряды Женских батальонов смерти уже бодро маршировали по Петрограду, неизменно вызывая соленые шутки балтийских моряков. В июньские дни представительницы Женских батальонов ввязались в столкновение с демонстрантами, и сама Мария Бочкарева была основательно избита питерскими работницами за ура-патриотическую речь о войне до победного конца. Все это происходило на глазах бойцов Женского батальона смерти, которые, однако, и не подумали вступаться за своего идейного вдохновителя, а предпочли быстренько «рассредоточиться», как было доложено Керенскому.

— На фронт! — с наполеоновской энергичностью распорядился Верховный главнокоманду-

ющий. — Только боевая слава способна вернуть авторитет этому прекрасному начинанию.

Приказание было исполнено с редкой для того времени четкостью. Уже в первых числах июля Первый женский батальон смерти прибыл на позиции в районе наиболее настойчивых действий противника у Молодечно. Здесь его быстренько придали 525-му пехотному полку и пешим порядком перебросили под деревню Белое. Марш нескольких сотен молодых женщин вызвал весьма ощутимое оживление среди фронтовиков, однако совсем не того свойства, на которое рассчитывал Брусилов. Взопревшие под полной солдатской выкладкой патриотки вызвали небывалую доселе матерщину, жеребячий гогот и всякого рода предположения.

— Каюк германцу, братцы!

— Бабы, вы, как в атаку пойдете, гимнастерки скиньте, и немец враз в штаны напустит!

— Грудастых вперед! Грудастых!

Но веселье закончилось печально. Женщины были брошены в бой в ночь на девятое июля, кое-как пройдя до этого всего лишь двухмесячную подготовку. 525-й пехотный полк вел атаку нехотя, куда более костеря собственное начальство, чем противника, и в результате первый бой

Женского батальона смерти оказался последним: потеряв свыше трети убитыми и ранеными, женщины ударились в бегство.

Остатки этого батальона, а также те его бойцы, которые не участвовали в бою под деревней Белое, были собраны в Петрограде, расквартированы в Левашове и оставлены в личном распоряжении Керенского: он любил выступать на их фоне. Несли охрану Главного штаба и Зимнего дворца и на фронт более не рвались. Притока добровольцев тоже не ощущалось, а вот дезертирства начались, и Первый батальон так и остался Первым навсегда.

Поэтому можно понять радость Керенского, когда в сентябре ему доложили о прибытии целой женской дружины для пополнения батальона смерти. Он выкроил четверть часа в донельзя перегруженном дневном расписании и распорядился доставить к нему начальницу прибывшей дружины.

В назначенное время в его кабинет легким, стремительным шагом вошла молодая женщина в военной форме со знаками вольноопределяющегося. Александр Федорович шагнул навстречу как обычно, когда посетитель проходил две трети расстояния от двери до его стола. Проинструк-

тированный адъютантом, посетитель, увидев, что Керенский встал, тотчас же останавливался, и встреча Вождя с очередным подданным происходила во вполне демократическом месте. Но на сей раз этого не случилось: обладательница легкой походки и соблазнительной, несмотря на мешковатую форму, фигуры не остановилась в пункте, предусмотренном этикетом, а продолжала стремительно приближаться. «Шарлотта Корде! — лихорадочно блеснуло в голове Александра Федоровича. — Это судьба всех вождей…»

И он уже потянулся к звонку, хотя звонок был на другом краю огромного стола. Он потянулся, а молодая женщина вдруг со стуком упала на колени, с силой схватила его руку и припала к ней губами.

— Оставьте! — скорее испуганно, чем картинно, вскричал Керенский. — Оставьте и извольте встать…

— Я целую руку, которая спасет мою несчастную Отчизну! — торжественно воскликнула посетительница, и Александр Федорович ощутил в себе величественное спокойствие национального героя.

Знал бы он, сколько времени сочиняла и репетировала эту фразу Полина Венедиктовна

Соколова…

2

Федор Иванович Олексин остался в Москве. Уж очень суровым, чужим и неприветливым казался ему Петроград, «Питер», как теперь говорили даже во вполне благородных домах (он не выносил этого слова). Кроме того, он не мог вернуться туда без денег, которые столь легкомысленно пообещал бравым, но малознакомым полковникам, приятелям его преуспевающего сына. Вместо денег он унес от Варвары Хомяковой крокодиловый портфель, но уж что-что, а его содержимое не должно было знать никому. И он сжег все бумаги, предварительно со страхом просмотрев их, и сама История дохнула на него пламенем горящих копий. Но по мере того как они исчезали, листок за листком, шевелясь, точно живые, странное облегчение возникало в душе его, но возникало с оглядкой, точно под надзором сурового судии. В этом не было никакой мистики: судия действительно существовал. Звали его Алексеем Николаевичем Куропаткиным, когда-то решительным и отчаянно смелым начальником штаба генерала Скобелева в Туркестане и в Болгарии, а ныне доживавшим свой век в псковском фамильном. Он

весьма бесславно закончил свою карьеру, но его бесславие не могло прикрыть сгоревших в огне свидетельств истинной причины трагической, бессмысленной и столь необходимой государю Александру Третьему гибели дерзкого и опасно самостоятельного Белого Генерала.

Да, все было именно так, как рассказывали офицеры драгунского полка, половые «Славянского базара», девицы борделя на Рождественке и сама мадам с немецкой фамилией… Он вдруг забыл фамилию, а имя помнил: Амалия Германовна. Это она заартачилась и не позволила тихо и пристойно вывезти тело генерала в «Славянский базар», где он остановился во время той злосчастной инспекции. «Ферботен! Ферботен! Это запрещено! Я не хочу иметь неприятность!» И бешеные скачки по ночной Москве за разрешением — об этом тоже рассказывали сожженные бумаги…

Господи, как трудно было одевать уже закоченевшее тело героя Плевны и Шипки-Шейново! Но одели и, взяв под руки, поволокли к экипажу, а улицы уже оказались полны народу. И народ этот падал на колени перед пролеткой: попробуй признайся в своей действительной роли, если официальное сообщение гласило, что генерал Скобелев Михаил Дмитриевич умер от сердечно-

го приступа в собственном гостиничном номере. Варвара уверяет, что он предал своего друга и покровителя? Какая бесстыдная ложь: он спас его честь. Посмертную честь, что еще важнее.

Содержимое портфеля из крокодиловой кожи давно развеялось в прах, но Федор Иванович не мог обрести покоя. И вечно спорил со старшей сестрой, хотя более не видел ее ни разу, с огромным облегчением полагая, что так никогда и не увидит. Она уехала подальше от революции, она уже в Париже, и взрослые сыновья ее, отцы семейств и солидные фабриканты, никогда не узнают, что их собственный родитель Роман Трифонович Хомяков был обдуманно упрятан в больницу, обманно признан недееспособным и сразу же умер, едва документ о его недееспособности вступил в силу. Сестрица Варвара Ивановна не могла допустить переводов собственных миллионов в швейцарские банки через посредство новых друзей ее мужа: Горького, Красина, Баумана. Не могла во имя долга перед семьей, как он не мог во имя долга перед государством.

И снова, снова начинали вертеться в его голове одни и те же воспоминания. Одни и те же. И пустой дамский портфель натуральной крокодиловой кожи не спасал Федора Ивановича от этих

мучительных воспоминаний. Зачем, зачем он позволил сыну и его сомнительным приятелям уговорить себя и помчался, как мальчишка, добывать средства на спасение?.. Спасение — чего? России? Россию миллионом не спасешь.

У него не было в Москве пристанища. Отцовский дом был продан за долги еще Софьей Гавриловной, он сам во время московской службы стоял на казенной квартире, а к Варваре после того разговора идти не мог да и не хотел. Он вообще никого не желал видеть из московской родни, но к Надежде у него было особое чувство, как, впрочем, и у всех Олексиных: он не мог забыть о Ходынке. И поэтому позвонил ей, как только снял скромную квартиру с прислугой и телефоном. Но Надежда отвечала совсем уж односложно, только «да» и «нет», ни о чем не спрашивала, и разговора не получилось. Настолько не получилось, что Федор Иванович даже ничего не узнал о Лерочке, своей племяннице и крестнице: он любил ее, потому что упорно находил в Лере Вологодовой если не черты сходства, то тип собственной сестры Марии. Не расспросил о крестнице, отказался приехать на обед, но почему-то объяснил, где остановился.

Федор Иванович очень был недоволен разго-

вором с Надеждой и собой в особенности, но при этом сохранял твердое убеждение, что не напрасно сообщил свой адрес. Он не только жалел сестру, не только любил крестницу, но давно знал и самого тайного советника Викентия Корнелиевича. Слово «дружба» не могло, естественно, определять отношений знакомых сановников первых трех классов, но взаимное расположение их было настолько полным, что Федор Иванович имел все основания считать себя сватом. Именно он настоял на свадьбе потрясенной Наденьки с немолодым бездетным вдовцом, и союз оказался на диво гармоничным, а двое детей — молодой поручик Кирилл и гимназистка Лерочка — скрепляли мир, покой и взаимное тяготение этой семьи. И, учитывая не столько свой вклад в создание этой гармонии, сколько в высшей степени развитое в сдержанном сановнике чувство долга и благодарности, Федор Иванович был бы весьма огорчен и обижен, если бы Вологодовы не пожаловали к нему после первого же телефонного звонка. Но они приехали, все трое, и Федор Иванович с трудом сдержал искреннюю радость, поскольку чин и опыт порядком отучили его от природной открытости.

— Прошу в мой скромный скит, — почему-то

сказал он. — Сейчас распоряжусь о чае.

Он расцеловался с Надеждой и крестницей, с чувством пожал весьма еще твердую руку сановника, сказал, чтобы поставили самовар. Он вдруг засуетился, вообразив, что гости начнут удивляться, почему он не остановился у Варвары, он даже стал придумывать какие-то объяснения, но вовремя одумался. Надежда была не от мира сего, Лерочка слишком юна для расспросов, а Викентий Корнелиевич архиделикатен. А вот излишнего оживления угасить все же не смог.

— Прекрасно, прекрасно! Ну что, любезная крестница, как успехи в гимназии? Кто твой герой: босоногий эллинский мудрец или блестящий римский полководец?

— Все герои сейчас в окопах, дядя. И босоногие, и блестящие.

— Какое, однако, серьезное суждение. Дети стали взрослеть с ускорением военного времени.

— С ускорением революции, это мне кажется более точным, — мягко возразил Вологодов. — Война тормозит всякое развитие, а революция начинает высвобождать из народа скрытые силы. Не так ли, Надин?

Он никогда не терял из виду свою молчаливо-прекрасную жену. Всегда стремился отвлечь ее

от самой себя, втянуть в общий разговор, но, как правило, из этих благих намерений ничего не получалось.

— Война есть гнев Божий, — тихо ответила Надежда Ивановна.

— Победа! — чересчур почему-то громко возвестил Федор Иванович. — Победа есть благословение Господне, сестра. И нам следует проявить мужество до конца.

— Но ведь на войне убивают. — Лера сердито («Совсем как Маша», — умилился Федор Иванович) тряхнула косами. — На войне каждый день убивают, а там — Кирилл и… и его друзья.

Она запнулась на этом «и», начала краснеть. Викентий Корнелиевич отвернулся, пряча веселый взгляд, и даже мать улыбнулась медленной, нежилой улыбкой.

— Господь сохранит твою любовь, дитя мое.

Лерочка еще больше раскраснелась и даже начала сердиться, и Вологодов тактично изменил тему.

— Со мной произошла любопытная метаморфоза, Федор Иванович. Эта бесконечная война стала представляться мне бессмысленной, а победа в ней — чрезвычайно опасной.

— Вы пораженец? Уж не большевистская ли

агитация ввергла вас в смущение?

— Я не хожу на митинги, я зачастил в библиотеку. Я часами штудирую умные книги, опаздываю к обеду, и Надин справедливо сердится на меня. — Он улыбнулся жене, но не дождался ее слов и продолжал: — Я пришел к парадоксальной мысли в результате этого увлечения: в годину внутренних неурядиц победы куда опаснее поражений.

— Странно, странно, — сказал Федор Иванович. — Объяснитесь, дорогой друг, дабы я если не принял, то хотя бы понял ваш парадокс.

— Я убежден, что победа в этой войне и в этих условиях нанесет непоправимый ущерб нравственности России, — негромко и очень взвешенно сказал Вологодов. — Победа способна лишь добавить нам территории с разрушенным хозяйством и разбежавшимся населением. И если побежденных всегда объединяют общие потери, то победителей разъединяют далеко не общие и неравные приобретения. Далее. У побежденных все — хлеб, семьи, жилища — становится еще дороже, еще ценнее, чем прежде, а у победителей, наоборот, все ценности начинают дешеветь, ибо возросли они количественно, внезапно и как бы без всякого труда. И в этом кроется причина,

почему народ всегда делит свою жизнь на ДО войны и ПОСЛЕ войны, и ДО, обратите внимание, непременно лучше в народном представлении, чем ПОСЛЕ.

— И я это слышу от сановника последнего государя?

— Когда государь отрекается от престола, сановники становятся бывшими. А любой бывший — всего-навсего человек, и этот человек, Федор Иванович, ясно понял одно: сейчас нашей Родине нужно как можно скорее признать себя побежденной. Немедленно и на любых условиях! И тогда можно и впрямь ожидать бури.

— Буря! Скоро грянет буря! — с молодым восторгом воскликнула Лера.

«Нет, она похожа не на Машу, — вдруг подумал Федор Иванович. — Она как две капли воды похожа на мою дочь. На несчастную Оленьку, законную жену неизвестного мне каторжника…» И от этого открытия стало вдруг жарко давно остывшему сердцу старого карьериста.

3

— Мы запутали всех и запутались сами в истоках гражданской войны, — как-то сказал Дед. — Сначала от восторга, потом по негласному

приказу, затем просто по невежеству мы поменяли местами причины и следствия, запутав концы и начала исторической пряжи. А теперь порою случается, что мы принимаемся аппетитно лузгать семечки до открытия Америки.

Дед заговорил о гражданской войне применительно к периоду, когда до ее официального начала оставался почти год. Еще не пришла пора Октябрьской революции, еще сухо шелестел листвой солнечный сентябрь, а гражданская война уже началась. Корни нового всегда прорастают в старом перегное, и прорастание это ощущалось не в том, что где-то, скажем, в Псковской губернии, бродячие шайки дезертиров уже жгли помещичьи гнезда; нет, оно шевелилось в душе каждого человека, втянутого в водоворот войны и революции, потому что этому каждому человеку уже тогда приходилось делать выбор — кто я, где я и зачем я. Выбор не на данный час, не на одно сражение, не на обозримое будущее и даже не на всю жизнь выбор. Нет, выбирать приходилось не в своих, а в государственных координатах времени, исходя не из своих, а из обобщенных интересов, даже если в это обобщение включались только лично близкие люди. Но пока еще каждый человек вел свою собственную

гражданскую войну, болезненно анализируя, на какой стороне баррикады окажется он в неминуемом Завтра.

Поручика Старшова тоже терзали те же мысли, хотя он громко и часто объявлял себя всего-навсего ротным командиром, готовым действовать по воле своих солдат. В этом была некоторая доля правды, но, кроме этой, условно говоря, солдатской доли, существовала еще доля отца и мужа, доля члена большой интеллигентной, ласковой, доброй и дружной семьи; существовала, наконец, невысказанная, но постоянно ощущаемая причастность к определенному слою населения России. Эта классовая, как ее теперь именовали, причастность чаще всего срабатывала в нем в плане неприятия солдатской грубости, нахальства, тупости, жадности, злобы, бессмысленного сквернословия и крайнего неуважения к женщине. Прежде он резко пресекал подобное, но теперь все чаще терпел, не решаясь ввязываться в далеко не равносильную ссору. Терпел, проклиная и презирая себя, и в этом горьком терпении, в этом подавлении личного неприятия тоже сказывалась внутренняя гражданская война. Поручик Леонид Старшов, внешне послушно следуя течению, пропускал это течение сквозь собственную

душу, мучительно размышляя, честно ли он поступает сегодня и где следует оказаться завтра, чтобы остаться честным.

Странное было время: солдаты валом валили с позиций, но поезда, идущие на фронт, тоже почему-то оказывались до отказа забитыми все теми же солдатами. Они беспрерывно курили, матерились, ели, спали, били вшей и говорили, говорили, говорили. Никто не обращал внимания на офицеров, будто их не существовало не только в вагонах, но и вообще в жизни, но никто и не противился, когда попавшие в общий вагон офицеры инстинктивно забивались в одно купе. И если весь вагон орал, ругался, громко рыгал и громко хохотал, то в офицерском отсеке говорили приглушенно, никогда не смеялись и все время настороженно прислушивались, о чем горланят в солдатских купе.

— Война размывает культурный пласт государства, — говорил немолодой, совершенно невоенного вида полковник, впалую грудь которого прикрывало весомое количество орденов. — А ведь культурный пласт есть запас народной нравственности. Так что, господа, я полагаю, что дело совсем не в отречении государя. Наоборот, отречение государя есть следствие размытия

всеобщей нравственности.

— Государя вынудили говоруны! — безапелляционно перебил до черноты загорелый широкоплечий капитан. — Вся эта орава болтунов…

— Вы монархист?

— Я стал монархистом. Да, да, господа, стал, поскольку раньше им не был. Я с четырнадцатого в окопах, в неразберихе и бессмысленной кровище — какой уж тут, к дьяволу, монархизм! Но когда все вдруг поползло, когда все мои старания, кровь и пот моих солдатиков коту под хвост, когда вот это… — капитан потыкал большим пальцем за плечо, в вагонный гам. — Все по-иному воспринимается, все. И не я один, заметьте: у нас на Юго-Западном большинство офицеров опамятовалось, да, боюсь, поздненько.

— В монархическое стойло вам народ уже не загнать, — с ноткой торжества произнес прапорщик недавнего университетского прошлого. — Весь этот гомон, грохот, вся толкотня эта и неразбериха совсем не оттого, что царя скинули, а оттого, что матушка Россия наша на иные рельсы переходит. На демократические рельсы мы с вами перебираемся именно в данный момент истории, а на стрелках всегда трясет и качает. Трясет и качает неустойчивые элементы обще-

ства, но все образуется, как только Учредительное собрание изберет законную власть.

— Учредительное собрание? Окстись, прапор! Ратовать за него — значит ратовать за сборище говорунов со всей Руси святой. Хрен редьки не слаще.

— Но позвольте, капитан, Временное правительство в рекордно короткий срок так скомпрометировало себя, что ни один истинно русский патриот…

— Лабазник ваш истинно русский патриот. Лабазник!

— Я думаю, господа, что Россия и в самом деле не созрела до восприятия демократии, — сказал явно призванный из запаса ротмистр. — Ни до введения ее сверху, ни до понимания ее снизу. Восприятия как гражданской необходимости, я имею в виду.

— Вспомните, господа, что говорил незабвенный штабс-капитан Лебядкин: «Россия есть игра природы, но не ума», — вставил свое слово полный, добродушнейшего вида военный чиновник. — Как в воду глядел Федор Михайлович. Как в воду!

— Сожалею, что поздненько ввели расстрелы на фронте, да, сожалею! — заглушил всех хрип-

лый басок капитана.

— Россия страхом живет и по-заморскому жить не умеет. Ее запугать надо, тогда она вывезет.

— Нонсенс, капитан, — поморщился прапорщик.

— Чего-о? Да вы историю вспомните: кого мы в ней возлюбили? Либерала Александра Первого? Реформатора Александра Второго? Нет-с, Ивана Васильевича Грозного с Петром Первым — вот наш русский образец идеального монарха. И сейчас нам прежде всего необходим вождь, но поскольку среди Романовых такового что-то пока не видно, временно создадим офицерского императора.

— Корнилова, что ли? — Полковник поморщился. — Россией управлять нужно не только кнутом и даже не только пряником, сколько идеей. И чем фантастичнее идея, тем больше шансов, что за нею пойдут, как шли за Разиным или за Пугачевым. А Корнилов какую идею предложит? Подъем на час позже? Солдафон Лавр Георгиевич, солдафон, а не утопист. А нужен — утопист.

— Утопить Россию в утопии! — засмеялся прапорщик. — Неплохая мысль, полковник, но что воспоследствует?

— Пардон, господа, вынужден отлучиться, —

пробормотал капитан. — Жрем чего ни попадя, из сортиров не вылезаем, а туда же — философствуем!

С этими словами он вышел из купе, предварительно долго высматривая кого-то в коридоре, набитом солдатами. Прапорщик снова засмеялся (что-то в нем было неисправимо студенческое):

— Послабление в России всегда воспринимается буквально…

Его слова перекрыли крик, шум, топот сапог. С грохотом откатилась дверь, в купе ввалился красный, смертельно перепуганный капитан. Кое-как защелкнул дверь на замок, трясущимися руками вытащил револьвер.

— К оружию, господа!

В дверь ломились. Стучали кулаками, глухо били прикладами, нажимали тяжелыми плечами. Дверь дрожала и прогибалась под напором яростной солдатской толпы.

— Открывай! Стрелять будем! Открывай!

— Не открывайте! — кричал капитан, забившись в самый темный угол.

Грохнуло три выстрела. Стреляли вверх, предупреждая, что шутить не намерены; пули, пробив дверь, ушли в потолок.

— Открывай! Гранатой рванем!

— Откройте, — тихо сказал побледневший чиновник.

— Откройте, господин полковник. Может, из уважения к вашему возрасту…

— Не надо! — выкрикнул капитан.

— Дерьмо! — выругался полковник. — Неужто русское офицерство и вправду под Мукденом осталось?.. — Он решительно распахнул дверь, выкрикнул в набитый солдатами коридор: — Тихо! Я командир пехотного полка полковник Егоров! Я с первого дня на позициях, восемь орденов и шесть ранений! Тихо! Требую объяснить!..

— Я капитана узнал, капитана! — закричал смуглый маленький солдатик. — Он двоих с нашей роты самолично расстрелял, самолично! Даниленко ему фамилия, Даниленко!

— Вы Даниленко? — спросил ротмистр забившегося за него капитана.

Капитан промолчал, но как офицеры, так и солдаты одинаково поняли его молчание.

— А, гад!

— Братцы, нельзя же без суда! — сбившись с единственно верного сейчас тона, забормотал полковник, ошарашенный не столько, может быть, самим обвинением, сколько молчанием капитана. — Нельзя так, братцы, успокойтесь…

— Ах, братцы?! — завопило, заорало, заматерилось кругом, угрожающе защелкали ружейные затворы. — Выдай его нам, коли братец, выдай! Бей их всех! Бей! Заодно они, хватит, попили кровушки…

На полковника нажали, вдавили в купе. И все поняли, что еще мгновение — и озверевшая толпа расстреляет их в упор. Все поняли, но что следует сделать, сообразил только Старшов. Он доселе молчал, предаваясь воспоминаниям об отпуске, но именно в этот миг осознал, что только он один в состоянии успокоить толпу.

— Стой! — Он рванул из кобуры револьвер, пальнул в потолок. — Я член Армейского совета выборных и председатель полкового комитета солдатских депутатов. Вот мои документы.

Он передал мандаты. Их уважительно брали, внимательно и непременно вслух прочитывали, передавали дальше для ознакомления. В вагоне вдруг стало тихо.

— Документ верный, и сам ты, гражданин депутат, тоже вроде человек верный, — сказал увешанный медалями унтер, возвращая бумаги поручику. — Почему же расстрельщика не выдаешь?

— Не могу допустить самосуда, мне такого не

простят ни солдаты мои, ни моя совесть. На следующей станции у меня пересадка, и я обещаю препроводить капитана в комендатуру для выяснения всех обстоятельств. Извольте сдать мне оружие, капитан.

Последовала пауза, протяженность которой Леонид отсчитал гулкими ударами собственного сердца. Солдатам нельзя было давать опомниться, а глупый, перепуганный капитан, обмерев, тянул, тянул…

— Извольте сдать оружие! — резко выкрикнул поручик. — Или я прикажу взять его у вас…

Протянул руку в угол, почувствовал в ладони тяжелую ребристую рукоятку и с трудом сдержал вздох облегчения…

4

Солдаты, погомонив, ушли. Полковник осторожно прикрыл дверь купе, сказал, избегая взгляда:

— Благодарю, поручик. Овладели обстановкой, спасли пятерку русских офицеров.

Офицеров в купе было шестеро, но полковник Старшова к ним не причислял. Леонид отметил это механически, никак не прореагировав.

— Отдай револьвер, поручик, — с глухой

угрозой проворчал капитан Даниленко. — Слышишь?

— Чтобы нас вместе с тобой растерзали солдаты? — тоже на «ты» спросил Старшов.

— Вы же, капитан, в сортир рвались, — с раздражением сказал прапорщик. — Что, медвежья болезнь наоборот?

Капитан зыркнул на него свирепым взглядом, но промолчал. И все молчали, утратив всякий интерес к философским размышлениям о судьбах России.

К станции, на которой Старшову следовало делать пересадку, а до этого сдать капитана в комендатуру согласно обещанию, данному солдатам, поезд подошел в густых сумерках. Поручик взял вещи, сказал капитану Даниленко:

— Собирайтесь.

— А если я не пойду? Оружие применишь?

— Как вам угодно, — безразлично сказал Леонид, выходя в коридор.

— Ступайте, капитан, — резко сказал полковник. — Нас и вправду разорвут без этого солдатского любимчика.

Даниленко, не прощаясь, вышел следом за Старшовым. Уступая дорогу поручику, толпившиеся в коридоре солдаты почти смыкались перед капи-

таном, и тому приходилось боком продираться сквозь угрюмо молчаливую враждебную массу.

— Погодите, поручик! — не сумев спрятать страха, закричал он.

Леонид не остановился, не оглянулся, но пошел чуть медленнее, и Даниленко нагнал его почти у выхода. Пристроился сзади, едва не наступая на пятки. Так они и вышли в тамбур, где стояли маленький смуглый солдат, узнавший в капитане «расстрельщика», хмурый унтер с медалями и двое солдат, уже немолодых и бывалых. Четверка явно ждала их, и капитан Даниленко со всхлипом вздохнул:

— Господи…

— Мы сами его доставим, господин поручик, — угрюмо сказал унтер. — А то сбежит еще в темени.

— А если офицеры на станции таким конвоем заинтересуются, тогда что? Стрелять начнете?

— Стрелять, оно последнее дело, — вздохнул один из солдат. — Три года все стреляем, стреляем…

— Он солдат расстреливал! — закричал смуглый. — Сам расстреливал! Сам!

— Вы, унтер, человек бывалый, соображать умеете, — сказал Старшов, не обратив внимания

на крик. — Четверо солдат ведут офицера под конвоем. Куда ведут? Сдать в комендатуру? А где документы?

— А у вас где документы?

— У меня — мандат представителя армии, — нашелся поручик. — Я имею право потребовать расследования.

В тамбур вышел пожилой усталый проводник. Протиснулся к дверям.

— Подъезжаем, — пояснил он. — Сколько стоять будем, никто теперь не знает. Выбилась Россия из расписания.

Лязгая сцепами, состав начал притормаживать. В густеющих сумерках показались первые дома.

— Ладно, ваша взяла, — сказал унтер. — Пошли, ребята.

Солдаты вошли из тамбура в вагон. Поезд, дернувшись, остановился. Проводник, а за ним и офицеры спрыгнули на насыпь.

— Не приняли, — пояснил проводник. — Теперь редко когда станция сразу принимает.

— Далеко до нее? — спросил Старшов.

— С версту будет. У входного семафора стоим.

— Идите вперед, капитан.

— Ты что это, поручик, серьезно решил в комендатуру меня конвоировать?

— Идите вперед!

— А вы большевичок! — вдруг зло засмеялся капитан. — Большевичок!.. Да вас на станции господа офицеры по одному моему слову к стенке прислонят. Без суда и следствия. Влопались вы, поручик, как муха в дерьмо.

Все это капитан Даниленко шипел через плечо, идя на шаг впереди Леонида. Старшов слышал каждое слово, но молчал, прекрасно понимая, что он действительно влопался, что один факт разоружения старшего в чине достаточен для ареста и предания суду его, поручика Старшова. За спиной оставались озлобленные солдаты, впереди — станция, на которой наверняка распоряжается военный комендант с командой охраны и где полно офицеров-фронтовиков, ожидающих поездов на юг или север, на фронт или в тыл. Объяснить капитану, что он, поручик Старшов, действовал лишь во спасение капитанской жизни, извиниться, вернуть оружие и разойтись? Но, во-первых, какова гарантия, что сзади не идут солдаты, наблюдающие, как председатель полкового комитета держит свое слово, и, во-вторых, какова гарантия, что получивший оружие капитан не арестует его, солдатского депутата, на станции, не обвинит в незаконном аресте,

издевательствах и нарушении офицерской чести? «Между молотом и наковальней, — вдруг подумалось Леониду. — Между молотом и наковальней...» И он ни на что не мог решиться, тупо шагая за капитанской спиной.

До станции было уже близко, уже отчетливо виднелись ее желтые огни, как вдруг шедший впереди капитан пригнулся и с непостижимой быстротой нырнул под вагон.

— Стой! — с огромным облегчением закричал Старшов. — Стой, стреляю!..

И два раза пальнул поверх состава, стараясь ни во что не попасть.

— Каждый выстрел имеет свою отдачу, — Дед усмехнулся в усы, припоминая тот вечер. — И то, что в канун Октябрьской революции стрелял вдогонку убегающему корниловцу, оказалось предисловием всей дальнейшей моей военной карьеры...

5

В Княжом мужики еще снимали шапки. По всей Смоленской губернии то там, то тут уже самочинно захватывали помещичьи земли, рубили леса, растаскивали зерно и сено, а порою полыхали не только конюшни, хлева да амбары, но

и сами усадьбы, и женщины в длинных ночных рубашках бегали вокруг горящих домов, будто в саванах завтрашнего дня.

А в Княжом мужики снимали шапки. Они уже забыли беззлобного барина, могли забыть и добрую вдову его, но посреди села стояла новая школа, а ее лучшие ученики имели шанс учиться в гимназии коштом барыни Руфины Эрастовны. Мораль начинала измеряться материальными вкладами, что с горечью признал даже отец Лонгин. Правда, это пока касалось только мужиков: бабы и дети руководствовались иными мотивами, но хозяйка все же запретила ставить в саду новый забор взамен рухнувшего. Это генералу не понравилось.

— Неуважение к чужой собственности начинается с малого.

Руфина Эрастовна посмотрела странным затяжным взглядом. На руках у нее была младшенькая, названная в ее честь. И бабушка приподняла ее, точно предъявляла неотразимый аргумент:

— Будущее тоже.

Они разговаривали с глазу на глаз. Варя где-то занималась с сыном и племянницей (голос ее слышался из дальних комнат), а Татьяна еще не вернулась из школы. После памятного ухода

Федосия Платоновича и еще более памятного прощания она, как могла, заменяла его, обучая грамоте, музыке и рисованию.

— Не старый умирает, а поспелый, — подумав, объявил Николай Иванович.

— Что с вами, друг мой? Почему же о смерти?

— Это не о смерти, это — мудрость, — нахмурился генерал. — Мне эту мысль подсказала старуха Демидовна, и эти слова сутки не вылезают из моей башки.

— Стало быть, вам смерть грозит нескоро, — улыбнулась Руфина Эрастовна.

В ее улыбке было столько материнской ласки, что Николай Иванович не мог бы ее не заметить и не оценить сей же секунд. Но он размышлял и глядел не на прекрасную хозяйку, а в самого себя.

— Про счастливца говорят, что он родился в рубашке, а я бы хотел умереть в рубашке. Вы понимаете мою мысль? Умереть в рубашке — это и есть наивысшее счастье, дарованное человеку.

— Вы имеете в виду ночную рубашку? — уточнила хозяйка.

Следовало полагать, что она намекает. Но Николай Иванович соображал с генеральской прямолинейностью:

— К смерти во сне надобно готовиться с вечера.

— Вы сегодня упорно толкуете только о смерти, — вздохнула она. — Отчего же так упорно?

— Да? — Он прислушался к самому себе с такой старательностью, что у Руфины Эрастовны опять странно заволокло глаза. — Я становлюсь эгоистом. Впрочем, я был им всю жизнь, но несколько инстинктивно. Но я не о себе. В воздухе завитала гибель.

— Там, где дети, нет гибели. — Она улыбнулась, искоса, с невероятным лукавством глянув на собственного управляющего. — Где дети и любовь.

— Витает, витает, — вздохнул генерал; он был поглощен собственными идеями и упорно не замечал взглядов. — Я стал думать об этом после визита брата Ивана, а потом услышал мудрую мысль старухи. И подумал, что Россия поспела. Она в самом соку и долее держаться на ветке не может.

— Вы рискуете заблудиться в мире мрачных мыслей, — сказала Руфина Эрастовна и встала. — Необходимо перепеленать эту прелесть.

Она вышла, а у генерала почему-то вдруг испортилось настроение. Он сердито протрубил весь Егерский марш и решил пройти в кабинет,

дабы поправиться испытанным способом. Но вошла Татьяна.

— Знаешь, чем интересуются мои ученики? Они расспрашивали меня о партии большевиков. Долго и настойчиво.

— Я полагал, что крестьянским вопросом занимаются эти… эсеры.

— А что ты знаешь о большевиках?

— Кажется, заговорщики, — очень неуверенно сказал Николай Иванович. — Русская армия всегда сторонилась политики.

Лицо у дочери было отрешенным, и он замолчал. Походил вокруг, поглядывая на нее, совсем уж собрался что-то сказать, но Татьяна опередила:

— Мальчики говорят, что Федосий Платонович был большевиком.

— Да? Вот уж никогда бы не подумал. Но ты не расстраивайся, везде есть приличные люди.

— Мне кажется, что дети именно это и имели в виду. Для русского человека порядочность…

— Вот! — вдруг воскликнул генерал. — Мы — прилагательное, в этом вся суть. Все остальные — англичанин, француз, итальянец, даже германец — существительные, существующие сами по себе. А мы — прилагательные. Русский — то

есть принадлежащий России. Принадлежащий империи. Мы — прилагательные к Российской державе. Это — судьба.

— Я совершенно не о том, совершенно! — Дочь сердилась, становясь все более похожей на отца. — Он мне не признался, что состоит в большевистской партии. Он почему-то не счел это возможным. Он утаил и тем отстранил меня от…

— И правильно сделал, — фыркнул отец. — Политика не для юбок, маде… простите, мадам. Растите детей по возможности порядочными людьми, занимайтесь благотворительностью, музицируйте или пишите стихи. Твою родную тетку бес честолюбия занес в репортеры, а кончилось — Ходынкой. И все вообще может, кстати сказать, окончиться Ходынкой. Черт с ним, с царем, но нельзя же бесконечно митинговать.

— У тебя, конечно же, есть программа?

— Есть! Надо победоносно закончить войну, а уж потом…

— Некому кончать войну, некому. Ты забыл, о чем рассказывал Леонид?

Николай Иванович помолчал несколько обескураженно. Потом вздохнул:

— К сожалению. У меня меняются взгляды. Да. Помнится, в самом начале я вообще был против.

И знаешь, почему именно я, генерал, был против, а теперь — за? Потому что поражения учат, а победы отбивают охоту к учению. Но десять миллионов озлобленных вооруженных мужиков надо отвлечь от добычи. Просто отвлечь — вот и вся моя программа.

— Это не программа, ваше превосходительство, это — страх. Он скверный советчик, папа.

— Война подобна выстрелу. — Генерал важно поднял палец. — Народ уподобляется пороху и, взрывая себя, выбрасывает неприятеля за пределы отечества. Но если он повернется к войне спиной, то врагами окажемся мы. Ты, Варенька, ваши дети и… и наша хозяйка. И если это произойдет, мы вылетим за пределы, а не германец.

— Я люблю его, — вдруг отчаянным шепотом объявила дочь.

Николай Иванович опешил. Он излагал теорию, которую продумал, которой гордился и которой боялся. Он был весьма увлечен, а тут, изволите слышать… Кого она имеет в виду?

— Народ?

— Я люблю, — упрямо повторила Татьяна. — Я была бесстыжей не от натуры, а от некрасивости. И из-за этого натворила глупостей… Нет-нет, пусть лучше — безрассудства. Если ни в чем не

повинное дитя рождается на свет Божий в результате глупости, это скверно. Но если в результате безрассудства…

— Татьяна, я утерял нить! — строго прикрикнул отец. — Слишком много дам — это слишком много причуд. А мы вступаем в эпоху сокращения излишеств.

— Анечка будет счастливой, и я буду счастливой, потому что мы — любим.

Эти слова Татьяна произнесла как клятву. И они стали клятвой, которую она повторяла всю свою жизнь. Такую же нескладную, какой была сама Татьяна Николаевна Олексина.

6

Старшов застрял на пересадке. И вовсе не потому, что не было поезда, а потому, что вовремя приметил капитана Даниленко в группе офицеров. Он сразу же постарался убраться подальше, но в первый класс его не пустили два угрюмых уральских казака, а в общем зале оказались одни солдаты, смотревшие на него столь настороженно, что поручик почел за благо поскорее убраться из помещения на тускло освещенный перрон.

Моросил нудный осенний дождь, перрон был пустынен. Леонид встал подле окна, в тени,

изредка поглядывая через стекло на опасного капитана. «Вот влип, — с досадой думал он. — Хоть бы убрался этот корниловец, что ли…» Но поезд, на котором они оба приехали, уже ушел, а другого не было, и поручик пребывал в полной растерянности.

За вокзальным зданием послышался грохот автомобильных моторов, и на перроне появилась группа офицеров. Они приблизились, поручик, заметив среди них генерала, отдал честь, но генерал и сопровождающие не обратили на него внимания, занятые разговором.

— …максимум проверенных, максимум! Поручаю это вам, полковник Олексин.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

«Олексин? — отметил про себя Старшов. — Нечастая фамилия…» И окликнул, не сообразив еще, что будет говорить, но поняв, что судьба вроде бы начала улыбаться:

— Полковник Олексин?

От группы отделился подтянутый щеголеватый молодой генштабист. Вгляделся в мокрые сумерки:

— Простите?

— Вы имеете отношение к генералу Олексину Николаю Ивановичу?

— Это мой дядя.

— Я женат на его дочери.

— Позвольте… — Александр Олексин шагнул навстречу, улыбнулся вдруг. — На моей кузине Вареньке? Наслышан. Поручик… э… э…

— Леонид Старшов.

— Очень рад, Александр. — Полковник протянул руку. — Куда и откуда?

— Из отпуска на фронт. Жду поезда.

— Зачем же на перроне? Прошу с нами. Прошу, прошу.

Леонид не отказывался. Они вскоре нагнали генерала со свитой, и полковник Олексин представил поручика по-родственному:

— Неожиданная радость, ваше превосходительство, встретил кузена. Позвольте, господа, отрекомендовать поручика Старшова.

— Значит, нашего полку прибыло. — Генерал вяло пожал руку Леониду. — Следуйте за нами, поручик.

Вслед за генералом они прошли в переполненный офицерами зал ожидания, по которому метался злой капитан Даниленко. Пересекли его в торжественном молчании и скрылись в первом классе, миновав вытянувшихся часовых с оранжевыми лампасами.

В помещении для избранных народу не оказалось, а стол был накрыт, кипел самовар, всем распоряжался казачий есаул, и у каждого окна стояли по три казака. Здесь явно ждали; есаул отрапортовал, генерал пригласил к столу, и Старшов постарался сесть на дальнем конце. Он продрог на октябрьском ветру, с наслаждением пил горячий чай и не вслушивался в негромкий разговор, урывками долетавший и до него.

— …представление, что эсеры — основная опасность, следует признать ошибочным или, по крайности, не совсем верным. Мы полагаем, что сейчас в авангард выходят большевики.

— Жалкая кучка, ваше превосходительство.

— Сила не в массовости, господа. Это правило касается не только политических партий. Сплоченная единой идеей организация, вооруженная понятными толпе лозунгами, страшнее армии Ганнибала.

— Но пока заседают, митингуют…

— Вот именно — пока. Следовательно, еще есть время. Мало, но есть.

— Их зараза расползается по армии со скоростью сыпняка.

— Следовательно, необходимо упредить…

К поручику никто не обращался, и он, разомлев

от миновавшего напряжения и горячего чая, уже не слушал, о чем говорят за столом. Большевики и странная опасность, которую армейское офицерство до сей поры воспринимало скорее на слух, беспокоили его куда меньше, чем необходимость как можно скорее убраться с этой станции. Фронт казался наиболее безопасным местом для окопного офицера, и Леонид только ловил момент, когда будет прилично попросить полковника Олексина о литере на первый же поезд.

— …а этот окопник в крестах? Ваш кузен?

— Не могу поручиться, ваше превосходительство.

— Но рискнуть обязаны, полковник.

Даже на прямое обращение в свой адрес Старшов тогда никак не отреагировал. Отвык, разомлел в госпиталях да объятьях заждавшейся Вареньки, утратил чувство ежечасной опасности.

— Покурим, поручик? — Полковник Олексин щелкнул портсигаром. — Генерал у нас некурящий, так что прошу за столик.

Они уселись за столиком в углу под тускло и неровно светящей электрической лампочкой, закурили. Степенный вахмистр подал пепельницу и ушел; поручик собрался было попросить о

литере на ближайший поезд, но Олексин заговорил первым:

— Каково настроение роты?

— Не знаю. Долго отсутствовал: ранение, госпиталь, отпуск. А ныне настроение меняется по семи раз на дню.

— Вы правы, кузен, вы правы. — Полковник озабоченно вздохнул. — С отречением государя Россия утратила устойчивость, и теперь ее мотает по волнам, как мужицкий челнок. Согласитесь, что монархия — при всех известных вам недостатках! — есть самая основательная, самая весомая форма государственной власти.

— До сей поры мне чаще приходилось слышать, что Россию спасет только военная диктатура, — улыбнулся поручик.

— Корнилов? — Александр тоже улыбнулся, но в его улыбке было куда больше скепсиса. — Лавр Георгиевич — бесспорно, вождь, но, увы, не политик, чему свидетельство — августовская авантюра. Кроме того, диктатура для России несравненно опаснее монархии. Почему, спросите? Да хотя бы потому, что монархия есть национальное политическое устройство, а диктатура — заемное.

— Народ ненавидит царя. Во всяком случае,

народ, одетый в солдатские шинели.

— Русский человек глубоко нравственен в основе своей, — убежденно сказал Олексин. — И в неразберихе на грани новой пугачевщины он собственным нутром ощутит, что спасение нравственности в сохранении привычного, освященного Богом и веками порядка, каковым является система престолонаследия. А диктатура как альтернатива безнравственна, ибо предполагает захват, узурпацию и неминуемое кровопролитие.

— Кровопролитие, которое учинил Николай Александрович, вряд ли с чем-либо можно сравнить, полковник.

— И за это спросится с него, непременно спросится. — В голосе Олексина зазвучала твердая нота. — Его ожидает суд, и он ответит за все, в чем лично виноват пред своим народом. Но поймите же, дорогой кузен, у нас нет выбора, просто нет, не существует. Россия чудовищно темна, невежественна, бедна и озлоблена, она не готова к демократическим формам правления, ни умом ни сердцем не способна пользоваться ими, понимать их и контролировать, а потому с неизбежностью придет к диктатуре, коли не расчистим ей привычной дороги. Такова реаль-

ность, поручик. У России только два выхода: либо диктатор, либо государь. И государь неизмеримо лучше любого диктатора, ибо рассматривает Россию как наследство, которое обязан передать детям в максимально упорядоченном виде. А диктатор всегда временщик, старающийся урвать побольше, ибо дети его не наследуют престола. Представляете, какой грабеж национальных сокровищ начнется на Руси, если власть узурпирует временщик, к какой бы партии он себя ни относил? Вы же образованный человек, Старшов, вы же способны предвидеть последствия.

В рассуждениях полковника Олексина была логика, спорить с которой Старшов не мог. Кроме того, он хорошо понимал, что такое вооруженный, доведенный до окопного идиотизма и окончательно утративший цель в этой войне простой солдат, помноженный на десять миллионов себе подобных. А усадьбы уже пылали, а погромы уже начались, и безнаказанность разъедала озлобленные людские массы как проказа.

— Они не примут царя, — тоже почти шепотом, но с горячностью и верой подхватил полковник. — Царевич Алексей ни в чем не повинен перед своим народом, и народ поймет это, прочувствует и примет. И сегодня задача каждого

истинного сына России в провозглашении Алексея государем пусть даже с англо-шведскими ограничениями. Да, России необходимы демократическая конституция, земельная реформа, реальное равенство прав, может быть, даже известное ограничение состояний путем государственного их обложения — все так, все! Но более всего ей необходима передышка, чтобы неторопливо обдумать, спокойно взвесить и всенародно обсудить дальнейший путь общественного прогресса. И только ограниченная монархия способна сыграть роль буфера для гашения разгоревшихся народных страстей и партийных амбиций. Вы согласны с такой программой?

— Пожалуй, — не очень уверенно сказал Старшов.

— И прекрасно. В Петрограде неофициально собираются наши соратники, думаю, что ваше место — там. Идем к генералу.

Странно, до чего же скверно соображал тогда разомлевший поручик. Логика жизни, в которой на первый план упорно вылезали пожары и насилия, беззащитные женщины и дети в Княжом и переполненные остервеневшими, утратившими жалость и сострадание солдатами вагоны, вплеталась в логическую вязь продуманных

аргументов полковника Олексина, затемняя и проясняя ее одновременно. Состояние его было смутным, он искал не свою позицию в начинавшейся буре, а свое укрытие, которое могло бы хоть как-то гарантировать покой его семье, родным и близким. Однако и при этом состоянии Старшов ни разу не сказал, что он не просто командир роты, но и исполняющий обязанности председателя полкового комитета, выборный член Армейского совета.

— В Петрограде разыщите полковника Русанова: Садовая, шесть, — говорил тем временем генерал. — Вас перебросят в Царское Село и постараются устроить при особе государя. О фронте не думайте, дезертиром вас не сочтут…

«И что ты думаешь, я поехал, — говорил Дед. — Поехал монархистским заговорщиком, хотя таковым не являлся, и до сей поры понять не могу, почему поехал. Может, и впрямь существует Книга Судеб, предопределяющая пути наши?..»

7

Последний четверг октября выдался в Петрограде на редкость ветреным, холодным и неуютным. По улицам и площадям ветер носил листовки, обрывки газет и объявлений; вооруженные крас-

ногвардейцы и солдаты собирали бумагу для многочисленных костров. Кое-где порою слышалась ружейная, а то и пулеметная стрельба, но в городе было людно. Ходили, беспрестанно звеня, трамваи, мелькали извозчичьи пролетки, а вот автомобилей встречалось мало, да и те, что встречались, уже не принадлежали прежним владельцам; их реквизировали большевики и анархисты, эсеры и представители великого множества различных комитетов, и только иностранные миссии и посольства еще пользовались неприкосновенностью.

А жизнь текла как обычно. Светились окна ресторанов на Невском, практически не закрывались двери трактиров Лиговки и Литейного, шумели переполненные вокзалы и гостиницы, а молчаливые группы вооруженных людей передвигались по самым различным направлениям и вроде бы без всякой системы. Столица ждала, но ждала не затаенно, не испуганно, не забившись в собственные норы. Ждала нетерпеливо, жадно, открыто, никого уже не боясь. Да и кого было бояться, если Корнилов сидел в Быховской тюрьме, никто ничего не демонстрировал, вооруженные люди вели себя мирно, а Краснов был еще далеко по тем смутным — в особенности для железных

дорог — временам…

Эшелоны генерала Краснова, медленно подползавшие к столице, переполнили все станции, забили все пути и перекрыли все направления. Пассажирские поезда безжалостно загоняли в тупики, и поезд, на котором ехал поручик Старшов в качестве тайного посланца монархистов-заговорщиков, давно стоял на каком-то разъезде с отцепленным паровозом; Леонид часто выбирался из душного вагона, вслушивался в сырую, промозглую тишину поздней осени и не мог представить, что же творится сейчас в России. На фронте для него было и проще, и привычнее, и легче, но тот германский, окопный фронт навеки оставался позади, а впереди, в черной осенней бездне, ждали другие фронты, совсем непохожие на пройденные и отмученные, и он не то чтобы догадывался — он предчувствовал это.

А в Петрограде были переполнены все театры. Даже огромный Народный дом имени государя императора Николая Второго (название ему еще не сменили) на Петроградской стороне. Там в этот последний четверг давали «Дон Карлоса» Верди с самим Шаляпиным в роли короля Филиппа. И Шаляпин пел, и переполненный зал взрывался аплодисментами, устраивая своему кумиру бурю

восторга по окончании каждого акта.

Перед последним актом, когда публика уже сидела в креслах, в зале погас свет. Не постепенно, вместе с вступлением оркестра, а вдруг, еще в то время, когда оркестр настраивал инструменты. Сразу же возникли шум, нервный смех, повышенные женские голоса, но вскоре все перекрыл уверенный и спокойный мужской баритон:

— Граждане, не волнуйтесь, небольшая поломка. Убедительно прошу всех спокойненько сидеть на своих местах, свет скоро дадим.

Не господами назвал публику, что было еще непривычно. Но свет вскоре действительно дали, спектакль продолжался, и поклонники великого певца отвели душу в неистовых овациях. И никто не подозревал, не знал да так и не узнал никогда, что как раз в то мгновение, когда упал занавес, дверь спальни генерала в отставке Николая Ивановича Олексина тихо отворилась и на пороге возникло нечто воздушное со свечою в руке.

— Если противника не атакуют, он вынужден сдаться.

Руфина Эрастовна готовила эту фразу заранее, свеча вздрагивала в ее руке в такт словам, которые она отбарабанила в таком темпе, каковой никак не могло воспринять генеральское ухо. По-

этому Николай Иванович, глупо спросив: «Что?..», сел на постели, а нежный призрак, оказавшись рядом, задул свечу и сказал уже нормальным, даже умоляющим голосом:

— Если быть совсем искренней, то я очень хотела бы стать законной бабушкой своим внукам.

В эту ночь отряды красногвардейцев и солдат яростно и весело атаковали безмолвствующий Зимний дворец, в одной из комнат которого министры Временного правительства давно и устало ждали, когда же наконец их освободят от тяжкой обязанности быть бесправными душеприказчиками умирающей России.

— Наконец-то! — с горестным облегчением вздохнул Терещенко, когда в кабинет ворвалась вооруженная толпа. — Признаться, мы вас заждались, господа…

Часть вторая
Глава первая

1

Осень семнадцатого выдалась промозглой и темной, будто Россия сама вошла в собственный склеп. Перевороту сопротивлялись вяло, бессвязно и неохотно. То ли уморились от безволия Временного правительства, то ли присматривались к большевикам, то ли ожидали Учредительного собрания, то ли ужасались начинавшейся гражданской войне, втайне надеясь, что все образуется, что новая метла в первую очередь пройдется по деяниям противозаконным, разрядит напряжение на себя, выторговав передышку для всех.

— Изумилась Россия, — сказал Николай Иванович Олексин.

Тишь да гладь царили в Княжом для усталых сердец. А молодые воспринимали их с чуткой улыбчивостью, позволяя себе откровения только с глазу на глаз, ибо не было, не могло быть в них ни тишины, ни спокойствия. Будто поменялись они со старшими не просто годами, но ролями в

ту сумрачную осень.

За три дня до переворота (что, естественно, выяснилось впоследствии) в отчий дом внезапно нагрянул Владимир. Он сменил полувоенный костюм на скромную студенческую тужурку, убрал на всякий случай алый бант, выглядел вполне благонамеренно, однако от фанфаронства избавиться не мог. И как только оставался наедине с Ольгой, начинал вскидывать подбородок, хмурить брови и перекладывать из кармана в карман дамский браунинг, картинно взвешивая его на ладони.

— От черни спрятаться куда труднее, чем от благородных противников, сестра.

А ребеночек — сонный, уютный — уже потягивался, то пяточкой, то плечиком касаясь матери, и Оля, слушая Владимира, слушала собственное дитя. Тем более что даже она никогда не воспринимала брата всерьез, хотя относилась с большим тактом, чем Варя и Татьяна. Однако раствор взаимного отчуждения, недоверия, недоброжелательства, зависти, истерии, а то и открытой ненависти, в котором последнее время изнемогала Россия, крепчал с каждым днем, пока не взорвался ружейной пальбой в доселе таком покойном губернском городе Смоленске. А там

и пушки взревели: несколько снарядов разорвалось неподалеку, в центре. Кто в кого стрелял, почему и зачем — в доме не разбирались, но Владимир впервые испугался по-настоящему, забыв о словах и позах. Он заперся в своей комнате, где то тупо сидел за столом, то ничком падал на кровать, то начинал метаться из угла в угол. Он не ел и не спал сутки, постепенно доведя себя до убеждения, что одного из самых ярких эмиссаров Керенского (таким он себе представлялся) не простят ни большевики, ни корниловцы, ни любой иной победитель, и ленивая перестрелка за старательно задернутыми шторами подтверждала самые мрачные его предположения. «Найдут, найдут, непременно найдут! — горячечно думалось ему. — Низкие люди мстительны и злопамятны, они будут искать и преследовать, преследовать и искать. В Смоленске не спрячешься, нет, не спрячешься. Может быть, Высокое? Но им известно, где я могу быть, им все известно...» Одни и те же мысли волчками вертелись в его голове, таинственные «ОНИ» не имели ни социального, ни политического лица, были просто личными врагами Владимира Олексина, а потому от них и не могло быть спасения. «Господи, что же делать, что делать? Как хорошо было тогда, в

Вязьме, в запасном батальоне…»

Владимир вдруг сел, а точнее, плюхнулся на заскрипевшую кровать: Лидочка. Бледненькая, востренькая, плаксиво покорная дочь Савелия Димитриевича Нетребина, командира запасного батальона, из которого вольноопределяющегося Владимира Олексина выгнали с таким позором. Да дьявол с ним, с позором: Лидочка никуда не выгонит, а возле нее никогда не найдут.

Спустя сутки он сбежал. Смоленская перестрелка была больше похожа на перебранку, стихала к ночи, возобновлялась с рассветом, и Владимир скорее почувствовал, чем вычислил время исчезновения.

А вот другой человек вычислил. Он был боевым офицером, люто ненавидел большевиков за развал армии и грядущий позор поражения, в Смоленске застрял после ранения и решил вовремя унести ноги. Владимир наткнулся на него в считанных шагах от дома, увидел перед глазами ствол офицерского нагана, испугался до изнурения и задрал обе руки.

— Я студент, мирный я, мирный. К жене пробираюсь, к Лидочке.

— Смоленск знаешь? Веди.

Владимир знал Смоленск, но не знал, что по

соседней улице, густо усыпанной каштановыми листьями, шла разведка противоборствующей стороны. Столкновение произошло за углом, многоопытный офицер успел выстрелить, кто-то упал, разведчики открыли ответную стрельбу, неизвестный офицер кинулся в одну сторону, Владимир — в другую, а разведка, подхватив раненого командира, спешно откатилась назад, подальше от дворянского гнезда города Смоленска.

Через несколько дней после этого случая всякая пальба прекратилась. Об этом не стоило бы упоминать, если бы Оля, алея от гордости и смущения, не призналась мужу о цветении новой жизни. Василий Парамонович умилился и прослезился, а затем и призадумался. И вдруг решил освидетельствовать собственный, так до конца и не перестроенный дом. Правда, не было в том доме ничего, кроме стен, но сам собою он являл наивысшую ценность, поскольку стал собственностью и того, четвертого члена их семьи. И по этой причине трусоватый и очень осторожный Кучнов, измучившись неизвестностью, произвел личную разведку.

Условный рефлекс не успел выработаться даже у него: по старинке казалось, что в сумерках

незаметнее. Обыватели уже засели в домах, ворью еще вроде бы рановато, а разбойников Смоленск не видывал со времен Самозванца. И хотя вновь подступало Смутное время, в городе больше не стреляли, власти не объявлялись, приказы не исполнялись, и Кучнова вынесли из дома многонощные терзания. Объявив, что идет подышать воздухом («У подъезда! — прокричала Ольга. — Дальше угла не ходи!»), выскользнул на пустынную Кирочную. Постоял, прислушался — тихо было в городе, только будто бы внизу шумели, за Днепром, — и пошел. Бочком-бочком, часто оглядываясь.

Ничего вроде бы в городе не изменилось. Пожаров не было, криков тоже, стрелять перестали, и единственной метой новой жизни оказалась непривычная для чинного центра губернского города замусоренность улиц. То ли дворники боялись убирать, то ли не желали, то ли не справлялись, а только Василий Парамонович шуршал листовками, обрывками плакатов, воззваний и приказов, будто осенними листьями. Будто гулял себе чинно по Лопатинскому саду в пору бабьего лета.

Но лето (особо — бабье лето) уже было отменено. Не декретом, разумеется, а тем наступающим

безвременьем, от которого в воспоминаниях почему-то остаются только вьюги, дожди, слякоть да серое небо в овчинку размером.

Дом Кучновых лежал ниже: хоть его отец и вторгся в аристократический центр, но — с краюшка, застенчиво и осторожно. Эта олицетворенная домом Кучновых осторожность и вела сейчас наследника переулочками, проходными дворами, прижимала к стенам и велела слушать. Так, слушая и прижимаясь, Василий Парамонович и добрался в конце концов до родительского утла. Остановился, присмотрелся — вроде бы свет в дворницкой увидел, обрадовался, от стены оторвался, шагнул.

— Стой!

Двое откуда-то вынырнули. Один с винтовкой, у другого — наган, и Василий Парамонович не просто замер, но и поднял обе руки.

— Кучнов я. Из купцов. Скобяной товар, фирма «Кучнов и сын».

— Куда идешь, сукин сын?

— Дом, вот. Поглядеть. Мой дом. Перестраивается.

Взопрел Кучнов-сын под шубой. Черт его дернул шубу эту…

— Ну иди, гляди. Документ есть?

— Конечно, как можно.

— Иди, иди.

Провели в дворницкую. Дворника не было, за столом с чадящей керосиновой лампой сидел хмурый усатый мужчина, молодой человек в студенческой тужурке и румяный солдат с тыловым лицом.

— Вот, поглядывал. Сказал, что дом, мол, осмотреть надо, — сказал тот, что был с наганом.

— Ступайте. Разберемся.

Часовые вышли. Усатый долго разглядывал Кучнова. И все разглядывали и молчали. Василий Парамонович, обливаясь потом, хотел объяснить, сказать что-то, но только беззвучно открывал рот. Он как-то вдруг постиг, что теперь прав тот, у кого оружие.

— Документы.

Кучнов, торопясь, протянул. Усатый долго изучал их, а студент спросил:

— Какой партии придерживаетесь?

— Обыватели мы.

— Обыватель, а домина — хоромы, — ухмыльнулся солдат. — Экс… это… Забираем мы его. Для нужд трудового народа.

— Берите, берите! — радостно заспешил Василий Парамонович. — Я давно у жены, дом мне

без надобности.

— Где это — у жены? — спросил усатый.

— На Кирочной. Генерала Олексина собственный дом.

— Вот на той Кирочной товарища Минина и ранило. — Солдат опять ухмыльнулся. — Офицерья там!

— Господь с вами, обыватели мы. Вот-те крест. — Василий Парамонович торжественно перекрестился. — В дому и мужчин-то нет, один я, купеческого звания. Дом, коли нужен, забирайте, все одно — пустой. А стрелять у нас некому.

Он не знал никакого Минина, но испугался. Он все время помнил о Владимире, но решил на всякий случай о нем не говорить.

— Офицеры есть в семье?

— Генерал в имении живет, в Княжом. А офицер есть. Поручик Старшов Леонид Алексеевич. Он на фронте.

— Запиши подробно, — сказал усатый студенту. — Что за генерал, что за поручик, что за семья. Он тебе скажет. И если честно скажет, то и домой пойдет. Дом-то отдашь? Или так, со страху?

— Дом отдаю безвозмездно. Я — сочувствующий.

— Кому?

— Трудовому народу, — тихо, боясь ошибиться, сказал Кучнов.

— Тогда пиши расписку. Мол, безвозмездно и без претензий. Потом весь состав семьи укажешь. Офицеров — особо.

Через час Василия Парамоновича отпустили. Глухо и темно было на улицах, но пережитой страх был сильнее ночной боязни, и Кучнов добрался до дома генерала Олексина куда быстрее, чем добирался до дома собственного. А войдя, разрыдался, перепугав Ольгу, но о продиктованном им списке не сказал. Про дом сказал, что отобрали, а про остальное молчал до последнего часа жизни, когда и признался в терзавшем его грехе Варваре Олексиной.

А в Княжом было тихо. Стесняясь, робко ворковали старшие, причем Николай Иванович иногда решался и на сольную партию, исполняя ее на редкость не своим голосом. Озабоченно шептались о сгинувших невесть куда любимых сестры, весело подрастали дети, а Мишка совсем отбился от рук и слушался только деда, побаиваясь его деревянной ноги. Здесь пока еще не ощущали ни прихода новой эры, ни предсмертных конвульсий России, ни деятельной подготовки к затяжной поре охоты. Здесь было теплее, чем в

каком-либо ином месте изумленно замершего государства Российского.

2

Поезд стоял на запасном пути богом забытого разъезда. Паровоз угнали, в вагоне было промозгло и холодно, но Старшов упорно раздевался на ночь до белья.

— Вы спартанец, поручик, — вздыхал немолодой подполковник. — Я бы сейчас в шубе спал, коли бы была.

Подполковник Коровин остался единственным соседом Леонида: остальные как-то незаметно исчезли в первые дни. Тогда еще к ним по привычке заглядывал пожилой проводник, по привычке приносил кипяток, по привычке называл господами. С каждым посещением он выглядел все более растерянным, и Старшов вовремя выпросил у него два тощих одеяла. Очень вовремя: на следующий день проводник испарился так же незаметно, как и соседи по купе. Поручик искал его по всему уже опустевшему составу, заглядывал к стрелочнику, в два деревянных служебных домика, даже рискнул наведаться в деревню, но следов проводника нигде не обнаружил.

— Бегут, — сокрушенно сказал подполков-

ник. — Да разве из России убежишь?

— При большом желании и это осуществимо.

— При большом страхе, — поправил Коровин. — Знаете, чего наш брат русак больше всего боится? Остаться без приказа. Без начальников, которые за него думают. Мы ведь христиане особого свойства: мы привыкли на начальство уповать куда как чаще, чем на Господа Бога. У нас ведь армия — образец.

— Была.

— Была, есть и пребудет. Так приучены. Мы, поручик, Азия, а не Европа. Петр Великий, заметьте, окно в Европу прорубал, не куда-нибудь. И опять же — мечом. Единственным толковым инструментом, которым Русь-матушка овладела.

Разговаривали они вяло, редко и как-то неохотно, хотя подполковник всегда рад был побеседовать. Отмалчивался Леонид: эти сутки поездного жития показались ему какими-то особенными, исполненными неосознанного смысла и непонятной символики. Он постоянно, даже в неуютных снах, думал о смысле происшедшего, гадал о предзнаменованиях, заключенных в не доехавшем до столицы поезде, его пестрых пассажирах, их затаенном бегстве. Куда? Зачем? Для чего? Сам он старался не поддаваться порывам, остаться

в стороне, понаблюдать, подумать, а уж потом, возможно, на что-то решиться. Но старания давались с трудом, он был постоянно напряжен и раздражителен, и, если бы не великое терпение подполковника Коровина, давно бы, наверно, сорвался на крик, на истерику, может быть, даже на стрельбу в низкое серое небо.

Их поезд с самого начала напоминал воинский эшелон: среди солдат и офицеров терялись гражданские, а женщин и детей почти не было видно. Пассажиры не перемешивались, блюли дистанцию, и солдаты ехали в последних вагонах, но ехали-то все в одну сторону, к одной станции назначения: в Петроград — столицу России. И получалось, что остановили не поезд, остановили движение к центру, то есть пресекли стихийные центростремительные силы, характерные для России последнего времени: все тянулись в столицу за правдой и ложью, за обещаниями нового и обещаниями старого, за успокоением и за беспокойством, за… За тем, на что надеялись, что хотели понять, услышать, во что мечтали поверить. Внезапная остановка этого естественного стремления к центру, к столице, должна была, как казалось Старшову, обернуться центробежными силами: может быть, в таком представлении

сказывалось то, что он был когда-то — правда, очень недолго — учителем физики. И ему упорно чудился некий символ, некая тенденция распада, раскола единой России, и сейчас он гадал, в какой именно форме этот символ может реализоваться в сегодняшних днях.

Но это было в сфере иррационального: реальные факты принес обходчик, появившийся на вторые, что ли, сутки, когда уже отцепили и неизвестно куда угнали паровоз. Леонид его не видел, но через проводника узнал о падении Временного правительства. Если бы сообщение обходчика ограничивалось только этой новостью, Старшов принял бы ее спокойно: он, как и большинство офицеров, недолюбливал Керенского. Но известие, что взявшие власть большевики без промедления приняли Декреты о мире и земле, спокойным его оставить не могло. До земли ему дела не было, но декретирование мира означало не просто бессмысленность его личного участия в войне. Декрет о мире утверждал бессмысленность всех жертв, понесенных Россией, раскалывал силы антигерманского союза, а самой Германии давал шанс выйти из войны непобежденной, без возмещения моральных и материальных потерь. Как фронтовик, он с этим согласиться не мог, но

мог допустить, что взявшие власть большевики использовали мирный жест в тактических целях, надеясь выиграть время. А вот для чего большевикам нужна была передышка — приходилось гадать. И он мучительно размышлял, что может скрываться за этим Декретом.

Пассажиры застрявшего поезда размышляли тоже, хотя действовали не в пример поручику Старшову куда решительнее. Солдаты ушли первыми, молча и — на север, к Питеру, к новой власти, обещавшей землю и мир. Офицерам мало было одних обещаний — тем паче что земли никто им и не обещал; их больше волновали реальные действия, а не громкие слова. Переворот в Петрограде представлялся многим противозаконным, как бы при этом они ни относились к свергнутому Временному правительству. После недолгих споров большая часть решила уходить на юг — подальше от непонятной, ставшей вдруг чужой столицы и поближе к своим частям. Они звали с собой и Старшова, но поручик отмолчался, разозлившись на самого себя. И так получилось, что скоро он остался вдвоем с подполковником Коровиным, на которого Старшов и выплескивал теперь свое угрюмое раздражение.

Жили в одном купе, но как-то порознь, суще-

ствуя не вместе, а — рядом, каждый сам по себе. Леонид раздобыл в деревне полмешка картошки за царские деньги (керенок уже не брали), у подполковника в чемодане нашлось сало. Этим и питались кое-как, пока Коровин не начал чересчур печалиться, отрезая от куска совсем уж тоненькие ломтики. Эту подкормку поручик отрабатывал у костра, где варил в котелке похлебку. Но вздохов скоро не выдержал:

— Я — окопник, полковник, огрубел и забыл приличия. Или снимайте с довольствия, или перестаньте пыхтеть над каждым куском.

— Ваша картошка — мое сало. А что пыхчу, как вы изволили выразиться, так семья у меня в Петрограде. Шесть ртов, я им сало с юго-западного фронта везу. Уж не обессудьте.

— Извините. — Старшов похлебал еще немного (трудно было оторваться), постучал ложкой о край котелка. — Благодарю.

Вышел, вымыл ложку в канаве, вернулся. Молча стал укладывать вещи.

— Уходить надумали?

— Вот только побреюсь.

— Зря вы, право, — подполковник выглядел смущенным. — Что не совладал с чувствами, простите великодушно. Нервы сдают. Вы молоды, не

понимаете, что такое, когда тревога грызет. Даже во сне посапываете, а я — растерян. Начальника нет, — он невесело усмехнулся. — Что завтра нас ожидает, знаете? И я не знаю. Но в вас еще силы бродят, вы надежду удерживаете, что все образуется. А я к такому выводу пришел, что не хватит у меня сил.

— На что именно?

— На покойную старость. Оказывается, самое страшное — веру потерять в собственную покойную старость. Дети, внуки, лампа под абажуром, жена по вечерам Жуковского читает.

— Жуковского?

— Для внуков. Красивые баллады. А я бы слушал.

Старшов правил на ремне лезвие опасной бритвы — Вариного подарка еще тогда, давным-давно, в первый отъезд на фронт. А Коровин вздыхал, сидел понуро: только руки суетились.

— Собирайтесь, — сказал Старшов.

— Куда?

— К семье. Разжалобили вы меня.

Утром он вдруг решил, что должен идти на юг. Добраться до Смоленска, а там и до Княжого, до Вари и детей. Мысль эта была несколько отвлеченной, она скорее определяла направление, чем

цель, потому что рядом с семьей почти на равных существовала рота. Его рота. Эти два адреса еще спорили в нем, но решение он откладывал: путь все равно лежал на юг, а там… Там как сложится: Старшов уже научился не загадывать впрок.

Но шевелилось в нем что-то еще, что-то как бы под этими, такими простыми и логичными намерениями. В смутной обиде на ни в чем не повинного соседа поручик хватался за привычное, за то, что уже было, существовало в прошлом. Но он и впрямь был молод и не мог не желать будущего. А будущее мелькнуло вдруг в их вялом разговоре: армия — это порядок. Не та армия, от которой у Старшова осталась одна его рота, а та, которую могли создать заново. Точнее, не могли не создать: он это скорее чувствовал, чем осознавал.

— Собирайтесь, полковник, собирайтесь. Пока не передумал.

Шли по шпалам. Подполковник спотыкался, чертыхаясь, но Леонид приспособился, втянулся в ритм. Дождя не было, вскоре согрелись и вроде бы повеселели. В полупустом поезде оставались пожилые да семейные, а их вагон разбежался: сутки назад ушла последняя пятерка офицеров, заглянувших попрощаться.

— Мы решили все же на юг подаваться, господа.

Старшов опять промолчал: чем-то эти офицеры напоминали ему капитана-расстрельщика. Даниленко, что ли. А подполковник буркнул:

— Отвоевался я. Государь отрекся, от присяги я теперь свободен. Ждать буду.

— Чего же именно ждать?

— Паровоза.

— Подадут вам большевички. Под парами.

— Помните прощание с офицерами? — вдруг спросил Коровин. — Ну, я — дело понятное, я к семейству хочу прибиться. Времена, знаете, смутные. А ведь вы — из Смоленска, помнится. Про красоты древнего города рассказывали. Почему же тогда промолчали?

— Отдышитесь, полковник.

— Я потому вспомнил, что вы еще не навоевались. Вы еще наград алчете.

— Углем пахнет, — неожиданно сказал Старшов. — Станция близко.

Подполковник остановился. Понюхал воздух, прислушался:

— Я, знаете ли, лучше огородами.

— Что? — не понял Леонид.

— Прямо, — Коровин махнул рукой. — Хватит

с меня разных случаев, я домой хочу. Пойдете — выведу.

— Ведите. У меня тоже случаев предостаточно.

3

Брели весь день по раскисшим проселочным дорогам, обходя деревни по настойчивой просьбе подполковника. Только однажды Старшову удалось убедить осторожного спутника зайти на отдаленный хутор, где их накормили и обсушили, а заодно сообщили скудные новости: неподалеку вчера к вечеру умолкла стрельба. Кто с кем воевал, кто кого победил — хозяева не знали, да и не очень интересовались этим. Леонид хотел заночевать, но Коровин решительно отказался, и они снова тронулись в путь.

Странное чувство ощущал поручик, когда покидали спокойный хутор. То раздражение, которое охватило его после памятной встречи с полковником Олексиным на вокзале, было в общем-то объяснимо. Оно родилось из бессилия: случайности начали вертеть судьбой все заметнее, и исправить что-либо, поступить вопреки, по-своему, он уже не мог. Он ехал в Петроград, куда совершенно не собирался, был повязан устным приказом, который не хотел исполнять; он

оказался вовлеченным в заговор, подозревая, что это игра, что никакого заговора не существует, но им двигали как пешкой, для каких-то иных, непонятных ему целей. Он был весьма самолюбив и играть роль, избранную кем-то, не собирался. Но чтил дисциплину и собственное слово и исполнил бы все, что приказывали, если бы не внезапный переворот. Это тоже был Случай, но созданный не десятком заговорщиков, а самой историей. Этот исторический Случай — Леонид скорее предчувствовал, нежели предполагал, — вломился не просто в судьбу России, но и в его личную судьбу, в судьбу Вареньки и их детей, в судьбы всех, кто был дорог поручику Старшову. И ничего уже изменить было невозможно, где бы он ни оказался: на фронте или в Питере, на Севере или Юге. Старшов попадал в рабство Случая — систему естественную, когда за считанное время скопленная веками историческая постепенность реализуется в принципиально иное качество, лично ему, поручику Старшову, неизвестное. И эта неизвестность перерабатывала раздражение на самого себя в тревогу за всех.

— Третьи сутки грублю, — сказал он подполковнику. — Не со зла, простите.

— Бог с вами, Старшов. — Коровин вздох-

нул. — Чувства у всех одинаковые, это характеры разные. Сейчас все будут одними болями болеть — о доме, о детях, жене, матери, — а толковать станут о России. Когда человек тревожится, он все в квадрат возводит. Обиду, досаду, непонимание — только не жалость, к сожалению. О жалости придется нам забыть, другое «ж» над Россией жужжит. Жестокосердия, вот чего боюсь. Жестокий убьет, а жестокосердный в помощи откажет. Один с дьяволом в душе, другой — без Бога: что же выбирать будем, поручик? А выбирать придется. Рано ли, поздно ли…

Старшов не ответил. Да и что было отвечать, что говорить, когда тревога возникла именно потому, что жизнь требовала выбора. Требовала пристать к какому-то из берегов, вцепиться в него, ощутить под ногами надежную землю, но Леонид не видел берегов. Его несло по половодью, и он до сей поры натыкался только на льдины.

Уже в густых сумерках, донельзя устав и промокнув, решили заночевать в стогу. Ломило спину, слипались глаза, не было сил, и Коровин, кое-как вырыв в сене нору, забился в нее и сразу затих, постанывая. Но Старшов заставил себя разуться, отмыл в луже облепленные грязью сапоги, натолкал в них сухого сена, а раздеваясь,

заметил вдруг солдата. Без папахи, ремня, в шинели нараспашку. Он стоял совсем близко, но, как только Леонид поднял голову, тотчас же юркнул за кусты и растаял.

— Напуганный солдат пошел, — сообщил он подполковнику, устраиваясь рядом.

На рассвете их вытащили из копны за ноги. Старшов кого-то лягнул — тянуть перестали, отпрянули, заклацали затворами.

— Офицерье, мать вашу!..

Семеро вооруженных: трое гражданских, четверо солдат в шинелях без погон.

— Попрятались, гады! Бросай оружие!..

— Тихо галдеть, — сказал пожилой в кожаной фуражке, принимая от поручика наган. — Документы есть?

У Коровина никакого оружия не было. Он суетливо рылся в карманах, суетливо приговаривал:

— Питерский я, питерский. К семье пробираюсь, к детишкам. Из части дезертировал…

Леонид отдал все свои справки, мандаты и удостоверения молча. Молча одевался, пока их просматривали.

— Председатель полкового комитета? — спросил пожилой. — Куда направляетесь?

— В Питер. Полк поручил доложить Комитету.

— Какому Комитету?
— Солдатских депутатов.
— О чем доложить?
— А вы что, Комитет?
— А где полковое решение?

Старшов втиснул ноги в сапоги. Встал, потопал, вколачивая внутрь сырые портянки. Что это — берег, которого ждал, или опять чужая льдина?

— За нашей армией сплошь корниловские заслоны. Только справка о ранении и спасала.

— Проверим.

Повели прямо, через лесок, за которым оказалось большое село. Вдали виднелась станция, там дымил паровоз. На центральной улице толкалось множество вооруженных людей: расхристанные солдаты в папахах с наспех нашитыми красными лоскутками, матросы, перекрещенные пулеметными лентами, какие-то гражданские с оружием. Все шумели, курили, пили молоко, суетились у двух походных кухонь. Над одноэтажным зданием школы был укреплен флаг с красным крестом, а неподалеку, у каменного дома, стоял автомобиль под охраной матросов. Из всего этого Старшов сделал вывод, что шумный разномастный отряд недавно вел удачный бой, а в каменном доме разместился штаб. На них

никто не обращал внимания, только часовой у крыльца сказал:

— Во, говорил же я, что офицерья кругом!..

Здесь им приказали обождать, а командир вошел в дом. И опять их никто не замечал. Это вселило в Леонида уверенность, что все обойдется, но Коровин был явно не в своей тарелке.

— Может, зря я сказал, что дезертир?

— Все мы сейчас дезертиры.

— Понравиться хотел, — виновато признался подполковник. — А сейчас — плевок в душе.

На крыльце появился пожилой в кожаной фуражке:

— Старшов, проходи. А этого, — он кивнул на подполковника, — в сарай, к задержанным.

— Нас задержали вместе, — сказал Леонид. — Почему же…

— Проходи, проходи, — командир подтолкнул его в спину. — Там укажут почему.

Поручик вошел в дом, миновал сени и, без стука открыв дверь, шагнул в большую комнату. С улицы там было сумрачно, однако Старшов сразу же разглядел сидящего за столом рослого чернобородого мужчину в расстегнутом матросском бушлате, поверх которого змеился узкий ремешок деревянной коробки маузера. Чернобородый

просматривал документы, не обратив внимания на появление Леонида, а пристроившийся на подоконнике щеголеватый матрос с пышным черным бантом на форменке в упор смотрел на него.

— При погонах и орденах. — Матрос вдруг рванулся к поручику. — Сдирай погоны. Все. Отвоевался.

Сердце бешено заколотилось, но Старшов сдержал себя.

— Ты мне их вручал?

— Сам сдеру. С мясом!

Матрос протянул руку. Леонид, не раздумывая, резко отбросил ее и напрягся, ожидая удара.

— Ах ты…

— Кончай бузить, Анатолий, — негромко сказал чернобородый. — Чаю нам принеси. С хлебом и сахаром.

— Да он меня, товарищ Дыбенко…

— Ступай. — Дыбенко подождал, пока обиженный матрос не закрыл за собою дверь, впервые поднял на поручика усталые, в красных прожилках глаза: — Старшов?

— Поручик Старшов.

— Садись, — Дыбенко кивнул на шаткий венский стул. — В Питер пробираешься?

— Иду, а не пробираюсь. По решению полкового комитета.

— Без мандата?

— Я уже объяснял. Проверки на всех станциях, какой там мандат.

— Зашил бы.

— Не привык прятать.

— Честь офицера не позволяет? — Дыбенко почему-то вздохнул. — Как настроение на фронте?

— Как здесь. Кто норовит погоны сорвать, кто — в морду заехать.

Вошел Анатолий с двумя кружками, накрытыми большими ломтями черствого хлеба. Поставил на стол.

— Крепкий у тебя удар, офицерик. Аж кость заломило.

— Я на фронте не чаи подавал.

— Кончай балабонить, ребята, — устало сказал Дыбенко. — Всех задержанных офицеров этапным порядком — в Питер. Лично отвечаешь.

— А этого?

— Старшов поедет со мной. Офицеров по счету примешь, по счету сдашь. Все понял?

— Они наших штыками кончали, а мы с ними — ладушки?

— Сдашь по списку, товарищ Железняков. Лич-

но проверю.

— Ладно. — Анатолий пошел к дверям.

— Минутку, — неожиданно сказал Леонид. — Со мной вместе задержали подполковника Коровина. Из запасных, дезертировал с Юго-Западного, пробирается к семье. Семья большая, он — кормилец. Если мое поручительство…

Он замолчал, сообразив, что сам под арестом и ни на какое поручительство не имеет права. Но и Дыбенко, и франтоватый Анатолий Железняков восприняли его слова спокойно. Даже помолчали, ожидая, не скажет ли он еще. Потом Дыбенко спросил:

— Какой партии придерживаешься?

— Окопной.

— Серьезная партия, — усмехнулся Дыбенко. — Подполковника этого… Коровина отведешь в караулку. Командиру скажешь, чтоб доставил в Питер, лично проводил до дома, и, если там и вправду семья, пусть себе живет спокойно.

Анатолий недовольно вздохнул и вышел. Дыбенко улыбнулся:

— Мусору у него в голове много. Романтик.

— С черным бантом?

— Анархизм — самое романтическое из социальных движений. Настолько, что давно парит

в облаках. — Он помолчал, осторожно отхлебнул из железной кружки. Сказал вдруг: — Я генерала Краснова в плен взял.

— Поздравляю.

— Его отпустили. Под честное офицерское слово.

— Отсюда следует, что и большевики не лишены романтики, — усмехнулся Леонид. — Или относительно большевиков я ошибаюсь?

— Полагаешь, напрасно его отпустили?

— Если война будет, то опрометчиво, хотя и романтично. А она будет.

— С германцами?

— С Германией уже не война, а возня: если бы не союзники на Западе, они бы давно уже до Киева дошли. Встречал я офицеров, которые в бой рвутся. Но уже не с немцами.

— Да, — вздохнул Дыбенко. — Стервец Анатолий, сахару пожалел. Пей чай, Старшов, потом поговорим.

4

Ворковали старшие в Княжом.

— Душа моя, поберегите себя…

— Ангел мой, вы слишком к сердцу принимаете…

Так ворковали в добром старом девятнадцатом веке, когда Россия просветленно веровала в гордые предначертания своих пророков, а воздух ее еще не был пропитан миазмами ненависти и страха. Молодое поколение тоже было не чуждо нерастаявшим отзвукам вчерашнего, хотя куда лучше слушало сегодняшнее, но благодать, обретенная в канун величайшего потрясения, ничем пока не омрачалась. Старшие упивались любовью и нежностью, а сестры, уложив детей, до глухой ночи гадали, что их ждет в реальном завтрашнем дне. Деревня бурлила слухами, и Татьяна, старательно продолжавшая дело невесть куда сгинувшего Федоса Платоновича, доставляла их из новенькой, еще пахнувшей свежим деревом школы.

— Землю будут отбирать.

— Господи, сколько ее у тети, этой земли. Все равно аренду никто не платит.

— Земля — самое главное, как ты этого не понимаешь. Завтра земля, послезавтра — лес, через неделю — усадьба.

— Пусть, пусть, пусть. Может быть, это справедливо.

— А чем мы будем кормить детей?

— Мы?.. Мы будем служить.

— Где? Каким образом? Что ты умеешь делать?

— Я? Я могу учить французскому. Или музыке.

— И ты полагаешь, что за это в Княжом тебе положат жалованье?

— Разве офицерское жалованье Леонида тоже отберут?

— Говорят, принят какой-то декрет о мире, и армия будет распущена.

— Господи, пудовую свечку поставлю!

Таня грустно посмотрела на сестру, которая, как выяснилось, оказалась куда легкомысленнее ее, и вздохнула. Кажется, Варя уже строила какие-то восторженные планы в связи со скорым возвращением мужа, когда Татьяна сказала:

— Нам необходимо заняться огородом. Научиться копать, сеять, полоть, сажать картофель. Мы не сможем иначе выжить. Выжить, ты это понимаешь?

Варя ничего не ответила. Только посмотрела на свои нежные ухоженные руки.

Любящее сердце Руфины Эрастовны верно почувствовало беспокойство, охватившее вдруг генерала. И хотя Николай Иванович категорически отрицал наличие какого бы то ни было беспокойства, не верила его заверениям — и правильно делала. Причина для этого была, посе-

янные зерна прорастали, и генерал опять начал тупо смотреть в потолок и жевать бороду, хотя к водке, правда, пока не прикасался.

Дело в том, что отставного генерала, потерявшего ногу на той, прошлой и малопочтенной, Японской войне, больше всех российских катаклизмов беспокоила непонятная задержка с выплатой положенного ему пенсиона. Он регулярно получал его через волостное правление, но к концу лета начались странные перебои, и последние два месяца Николай Иванович имел все основания считать себя нахлебником. Чувство было мерзейшим («Содержант!»), известия о перевороте в столице, о перестрелках в Смоленске и боях в Москве, которые быстро докатились до Княжого, еще более усугубили его, и Олексин в конце концов решился на самовольную отлучку, мотивировав ее необходимым для его здоровья моционом.

В селе к нему относились с приветливым почтением, но на сей раз он что-то вдруг заподозрил. Какие-то взгляды (не такие), какие-то слова (не такие), какие-то перемены (тоже «не такие», по его разумению). Все это вместе порядком подпортило ему настроение, волостное правление оказалось закрытым, и Николай Иванович, вме-

сто того чтобы идти к старосте, решил почему-то обидеться и, сердито потоптавшись, похромал к церкви. Не потому, что искал какого-то там утешения — он вырос в семье, где религия давно уже стала простой привычкой, прошел войну, бессмысленность которой отнюдь не укрепила заложенные матерью христианские начала, а после нее бывал в церкви считанные разы на свадьбах да панихидах. Нет, он чисто по-военному полагал, что такая могущественная организация, как русская православная церковь, не могла обходиться без собственных каналов связи, без четкого управления и разведки. И шел к отцу Лонгину, которого уважал вне зависимости от сана, за сведениями более обоснованными, нежели деревенские слухи.

— Вот, — сказал он, по-военному, то есть четко, кратко и несколько небрежно перекрестившись. — Незваный гость, что называется, хуже некуда.

Отец Лонгин чрезвычайно растерялся, излишне засуетился, забормотал. Хозяин барской усадьбы — а в селе не сомневались, что хозяйка наконец-таки обрела хозяина, — доселе никогда к нему не заглядывал да и вообще не очень замечал. Поначалу мелькнула мысль, не возникла

ли у господ надобность в какой-либо требе, но он тотчас отогнал ее как не соответствующую генеральской тональности. Но покоя не обрел не только от изумления, но и вследствие того, что был в старенькой домашней ряске, в очках (читал с запозданием прибывшие газеты), то есть не готов был как пастырь. И матушка высунулась в не совсем гостеприимном обличии тож…

— Милости просим, милости просим. Чайку не желаете ли? Или, возможно, наливочки?

— Наливочку отставить, — поспешно сказал Олексин, поскольку наливочка его привлекала больше. — С чаем легче разговаривать.

Так оно, вероятно, и было, потому что до появления на столе самовара разговор у них не клеился. Отец Лонгин толковал о мирянах, забывающих Бога, о разрушительной силе фронтовиков, активно действующих в этом смысле, очень хвалил Татьяну, стараниями которой все еще как-то существовала школа. А генерал кивал, говорил «угу», «гм» и обдумывал, как бы перевести беседу в желательное русло. Чай воздействовал в нужную сторону, и Николай Иванович, хватанув горячего до слез и внушительно откашлявшись, вломился в рассуждения священника со всей профессиональной прямотой:

— Какими сведениями располагает церковь о событиях в столице?

— Сведениями? — Отец Лонгин растерялся. — Нет сведений. Разве что газеты.

— Все газеты врут всегда и обязательно. У них одна задача — навязать свою точку. Точнее, свой восклицательный знак.

— Всякая власть от Бога.

— Бросьте! Власть есть олицетворение реальной мощи, а не абстрактных идей. Я ведь к вам не за проповедью, а, как бы выразиться, за ясностью. Вот! — Генерал привычно поднял палец. — Не за утешением, а за просветлением.

Священник убрал радушную улыбку, посерьезнел. Долго молчал, прихлебывая чай: он был разумен, склонен к размышлениям, и Олексин не обманывался на его счет. И сейчас терпеливо ждал нового направления в их беседе, хотя был порывист и на редкость нетерпелив.

— Знаете, что настораживает, уважаемый Николай Иванович? Настораживают обещания. О мире, о земле. Власть, которая опирается на исторические традиции, никогда не обещает, ибо следует этим традициям. А эти начали с обещаний.

— Которые не исполнят, — буркнул генерал.

— «Не клянись», сказано в Писании. А такое начало, полагаю, может означать, что традиции будут ломать. Поперек традиций эта новая власть, почему и уповаю лишь на Учредительное собрание.

— Соберут говорунов всея Руси.

— В тягчайшие дни свои Русь всегда прибегала к соборному разуму.

— А как же с пенсионом? — Из всего сказанного Николай Иванович ясно уловил только предположение, что традиции будут ломать, а полный пенсион, лично пожалованный ему Государем, вытекал из традиций. — Последний раз прислали в августе.

— Не могу знать сего. — Отец Лонгин помолчал, поглядывая на обескураженного генерала. — Исходя из милосердия к воину, тяжко пострадавшему, за веру, царя и отече…

— Черта им в царе и отечестве! — заорал Олексин, побагровев. — Благодарствую за чай, благодарствую за беседу, виноват за черта.

И, отбросив стул, похромал к дверям.

5

Дома он, еще не остыв, твердо и нежно объявил о необходимости срочно отбыть в Смоленск,

непременно в мундире и непременно при всех орденах. Необходимость он обосновывал беспокойством за Ольгу и неопределенностью положения, в котором ему, как человеку военному, требовалась полная ясность. Руфина Эрастовна поняла, о чем он умалчивал, но не отговаривала, а только смотрела такими глазами, что генерал, поперхнувшись, замолчал, поднял к губам ее руку. Она поцеловала его в голову, утопив лицо в седых кудрях — у Николая Ивановича и намека не было на лысину.

— Любовь моя, вы уносите мое сердце. Может быть… Может быть, только не сердитесь, мы пока поживем без вашего пенсиона? Средства пока позволяют. Право, я молю вас.

— В ваших ручках я податлив, как воск, так что очень, очень прошу не уговаривать меня более.

— Вам необходимо отдохнуть перед дорогой, — краснея, шепнула она. — Пожалуйста, поверьте женщине, которая любит первой и единственной любовью.

И он покорно встал, хотя чувствовал, что тоже начал краснеть. Да, это было верхом неприличия — днем запираться в спальне! — но с недавнего времени Николай Иванович вдруг обнаружил, что безмерно восхищается женщиной, которая

ни в грош не ставит подобные предрассудки.

После обеда Руфина Эрастовна сама навестила старосту и выпросила лошадь: коляска в хозяйстве еще сохранилась, но лошадей давно уже продали. Просить кого-либо о чем-либо (исключая любовников, разумеется) ей было трудно, но она перебарывала отвращение с некоторым торжеством, поскольку унижалась (просьбу Руфина Эрастовна всегда ощущала как унижение) ради любимого. Староста тут же распорядился о лошади, и ранним утром следующего дня генерал выехал в губернский город Смоленск в сопровождении среднего сына старосты. Малость придурковатого, но старательного.

— А что, барин, теперича, значит, все мужиками будут?

— Все. Как один.

— А ты же пахать не умеешь. Ни тебе пахать, ни тебе косить. А?

— Ни пахать, ни косить.

— Ну и как же проживать надеешься?

— В ночном, — вздохнул генерал: его не раздражал разговор, поскольку не мешал думать. — В ночном теперь проживать. Сделают, понимаешь ли, такой «Бежин луг» для всех бар.

В Смоленск приехали к обеду. Ольга очень

обрадовалась, чего нельзя было сказать о Василии Парамоновиче: он хорошо помнил ночное посещение бывшего собственного дома, допрос при чадящей лампе и продиктованный лично им список жильцов генеральского особняка. Это мешало, как заноза, а кроме того, Николай Иванович его не слишком-то жаловал, и, отсидев обед (даже костями не решился похрустеть в свое удовольствие), Кучнов как-то незаметно перебрался на кухню. Здесь Фотишна, привычно ворча, кормила откомандированного старостой сына, и Василий Парамонович отвел душу в разговоре с ним, интересуясь главным образом, почему это генерал перестал пить за обедом водку.

Тем временем Ольга провела отца в гостиную, где всего-то год назад собирались все Олексины по поводу печального юбилея материнской кончины (Николай Иванович сразу же вспомнил об этом). О сестрах, племянниках и жизни в Княжом она подробнейшим образом расспросила еще за обедом, а вот о Владимире приберегла разговор с глазу на глаз.

— Понимаешь, папа, он был очень напуган. Хотя бравировал, показывал мне револьвер. — Ольга имела смутное понятие о личном оружии. — А потом сбежал. Ночью. Куда — не знаю, никаких

разговоров не было. Только тогда стрельба началась. Совсем рядом с домом.

— Дурак, — буркнул генерал. — И это на всю жизнь, как родимое пятно.

Он размышлял, куда следует явиться в первую очередь по поводу пенсиона. Владимир его интересовал постольку-поскольку («Лоботряс!»), и из всего рассказа старшей дочери он запомнил револьвер да стрельбу, вероятно, в силу собственной профессии. Зато разговор навел его на неприятные воспоминания об одолжении, с которым пришлось обращаться тогда к самому генерал-губернатору в связи с карточным проигрышем сына-лоботряса. Правда, долг он вернул (естественно, не без помощи Руфины Эрастовны), дружба юности ничем более не была омрачена, и губернатор… Вот! Вот кто знал все, мог все объяснить, дать дельный совет. Он вскочил, прервав Ольгу. Впрочем, он давно уже ее не слушал, разбираясь в собственных воспоминаниях.

— Извини, дочь. Должен идти. Необходимый визит.

До губернаторского дома было рукой подать, и Олексин пошел пешком, тем паче что его возница после обеда завалился спать. Некогда чинная улица была замусорена обрывками бумаг, газет,

объявлений, почерневших от дождей листьев, но это генерал успел заметить, еще подъезжая к собственному дому, мусор его раздражал, но не удивлял. А удивляло появление в этом дворянском гнезде города большого числа лиц, которые прежде попадались здесь лишь изредка: солдат в шинелях нараспашку со сбитыми на затылок папахами; вооруженных рабочих, крикливых женщин, хохочущих неприлично громко. И абсолютно не было тех, к кому он привык: чиновников, офицеров, гимназистов. Родной город вдруг стал чужим, он не только видел, что он чужой, — он чувствовал чужие настороженные взгляды, он шел, как сквозь строй, и поэтому старался ступать особенно твердо, поэтому вздернул подбородок, расправил плечи и с особым стуком опускал палку на кирпичный тротуар. И очень жалел, что под плащом не виден его мундир и боевые ордена.

Так он дотопал до особняка губернатора, где ему после долгих расспросов наконец-таки отперли парадный вход. Поздоровавшись со знакомым швейцаром, спросил о его высокопревосходительстве. Швейцар забормотал что-то невразумительное, но вызвался доложить племяннице губернатора Анне Павловне Вонвонлярской. Ге-

нерал прошел в залу, где обнаружил множество корзин и ящиков, в которые кухарка и горничная укладывали столовое серебро, сервизы, вазы.

— Что, губернатор переезжает?

Ему испуганно не ответили, но тут с лестничного пролета швейцар доложил, что Анна Павловна просит пожаловать в малую гостиную, и Олексин поднялся наверх, внушительно стуча палкой по каждой ступени. На пороге малой гостиной ждала Анна Вонвонлярская; он в который раз подивился ее породистой красоте, поцеловал руку. Она прикоснулась губами к его виску, отступила, оглядела.

— Какое безрассудство!

— Отчего же безрассудство?

— Вчерашняя доблесть, дорогой мой Николай Иванович, ныне превратилась в почти государственное преступление. А уж посещение опального губернатора…

— Опального?

— Дядю арестовали еще в октябре. Ночью, внезапно. Как-то даже воровски арестовали.

— По какой же причине?

— Сказали, разберутся. Он успел шепнуть, чтобы я готовилась к отъезду, но — куда, к какому отъезду? Извините, держу вас на пороге. Прошу

присаживаться. Как поживает мой крестник?

— Михаил здоров и не в меру подвижен. — Николай Иванович растерялся и утратил кураж. — Естественно, все просили кланяться… А что власть? — Он спросил вдруг, с какой-то несбыточной детской надеждой. — Вы обращались? Хлопотали?

— Власти нет. Есть какие-то Советы, комитеты, комиссии. По-моему, они заняты вопросом, у кого что отбирать. Боюсь, что мы напрасно пакуем вещи. — Она погрустнела, но тут же улыбнулась, привычно взяв себя в руки. — Вы надолго в Смоленск?

— Признаться, тревожусь о пенсионе. Хотел навести справки.

— Кажется, сейчас это неосуществимо, все присутствия закрыты. Всему виной безумная попытка воспротивиться непреложному. Стреляли, бегали, пугали. Естественно, сопротивление озлобило победителей, и я не берусь их осуждать. Я по-прежнему служу в госпитале, мне видно, во что обошлась эта офицерская авантюра.

Вошла горничная с подносом, на котором стоял кофейник, чашки, графинчик с ликером. Поставила на столик, мягко звякнув посудой.

— Спасибо, Глаша. — Анна дождалась, когда

горничная вышла, начала наливать кофе. — Армия подняла руку на собственный народ, вот что самое ужасное.

Генерал молча прихлебывал кофе. Он уже решил, что не станет узнавать о пенсионе (да и у кого узнавать, когда арестован сам губернатор, а все присутственные места закрыты!), встревожился за старого друга, но вместе с тем почувствовал и некоторое облегчение. Он не любил и, главное, не умел просить.

— Армией начали играть говоруны. Нет, нет, благодарствую, охладел к напиткам горячительным. Я не разделял патриотических восторгов по поводу этой войны, а сейчас уверен, что она-то сыграла роковую роль в судьбе России. Кадровая армия наша, гордость и надежда отечества, погибла в первых сражениях, а остатки ее растворились в миллионах срочно мобилизованных мужиков. Мне об этом рассказывал зять, поручик Старшов. Муж Варвары, отец Мишки и, следовательно, ваш кум. Он приезжал в отпуск после ранения…

— Простите, — вдруг сказала Анна. — Бога ради, простите, что перебиваю. Я вспомнила, что один из моих раненых в бреду часто упоминает имя вашей дочери.

— Варвары?

— Татьяны. Его фамилия Минин. Федос Платонович Минин. Ранен был ночью, когда перестрелки обычно прекращались.

— Так. — Николая Ивановича бросило в жар. Он потянулся за графином, налил полный бокал и залпом выпил. — Из револьвера?

— Да. Доктор извлек пулю, я ассистировала.

— Подлец, — выдохнул генерал. — Мерзкий подлец и позер. — Он встал. — Примите извинения, дорогая Анна Павловна. Низкий поклон дядюшке, надеюсь, что с ним все обойдется. А мне пора, путь неблизкий. Когда брат на брата — только искупление. Только искупление!

И, поцеловав руку Вонвонлярской, тяжело потопал к дверям, вдруг утратив всю свою старательную молодцеватость.

Он выехал из города на ночь глядя, несмотря на просьбы Ольги отложить поездку до утра. Он никому ничего не объяснял, он хранил в себе страшную догадку, не мог расстаться с нею ни на мгновение и все время торопил возницу.

Утром они добрались до усадьбы, и генерал, велев ждать, со всей поспешностью прошел в дом. Хозяйка, радостно вскрикнув, бросилась к нему; он нежно, но как-то отстраненно поцеловал ее.

— Где Татьяна?

— В школе.

— Сейчас вернусь, душа моя. Сначала дело. Дело!

На той же коляске Николай Иванович подкатил к школе и вошел в класс.

— Татьяна, прошу.

Она тотчас же вышла за ним. И со страхом спросила:

— Случилось что-нибудь?

— Немедля отправляйся в Смоленск. В госпитале лежит Федос… Как его? Минин. Узнаешь у Анны Вонвонлярской.

— Что с ним?

— Револьверная пуля. Револьверная. Вопрос нашей чести, дочь!

Глава вторая

1

По прибытии в Петроград поручика Старшова тут же препроводили в резерв — полуохраняемое общежитие офицеров, лояльно, а в большинстве безразлично относившихся к перемене власти. Там пришлось расстаться с погонами, так как

«сочувствующие» отличались от противников именно таким признаком. Заодно Леонид снял и ордена, оставив, однако, Георгиевский крест, поскольку власти против этой награды не возражали, и навсегда распрощался со званием. Все это походило на игру со взаимными негласными договоренностями: офицеров не трогали, скверно, но кормили, никакого режима не существовало, и странное общество постепенно обрастало ленцой, гробя время в бесконечных разговорах и маясь от неопределенности.

Знакомых не было, а новых знакомств Старшов завести не успел, кроме соседа по койке — пожилого прапорщика из запаса, заросшего по самые брови. А на третий день появился Анатолий Железняков.

— Клопов давишь?

Леонид промолчал.

— Ты брось его благородие изображать. Кончилось ваше благородство.

— Благородство кончиться не может.

— Да ладно тебе, — благодушно улыбнулся Анатолий. — Я баланду травлю, на флоте это любят. А новость привез: ты назначен военным руководителем красногвардейского отряда. Вот мандат, и вот тебе твой наган. Узнаешь? Дыбенко

за тебя поручился. Собирайся, представлю по всей форме, чтоб косо не смотрели.

Выехали тотчас же. Ехали в трамвае: Железняков балагурил всю дорогу, Старшов помалкивал. Сказал вдруг в сердцах:

— Вот черт!

— Что?

— Бритву забыл. Дал соседу побриться, а тут ты.

— Плакала твоя бритва! — рассмеялся Анатолий.

— Подарок жены, — вздохнул Леонид.

В рабочем отряде было около семи десятков человек. Списков не заводили, бойцы к вечеру расходились по домам, но существовал штаб — прокуренная комнатушка с одним окном. Красногвардейцы смотрели с откровенной неприязнью: исключение составлял, пожалуй, только пожилой командир.

— Затырин Илья Антонович. Учи нас, товарищ военный руководитель, а то мы только орать и умеем.

— А кто Зимний брал? — недовольно крикнули из толпы. — Он, что ли? Мы брали!

— Тихо, — сказал командир. — Только тихо, ребятки.

— Помочь, что ли? — предложил Железняков. — Организуем митинг, я расскажу о текущем моменте.

— Если хочешь помочь, уезжай немедленно.

— Ну, Старшов… — Железняков сверкнул улыбкой, с некоторым удивлением покачав головой. — Уважаю.

Крепко пожал руку и вышел. А Старшов тут же повернулся к Затырину:

— Прошу построить людей.

— Дождик во дворе. Питерский, со снегом.

— Дождь службе не помеха.

Командир недовольно пожал плечами, но пошел строить своих подчиненных. Строились они долго, с криками и спорами, но, когда Леонид появился на крыльце, гомон смолк. Все смотрели на него, но смотрели недобро, а он разглядывал строй — и настроение его падало с каждой секундой. Шеренги стояли не только не по ранжиру, но изломанно, криво, кое-как. Винтовки держали кому как удобнее: кто на плече, кто за спиной, по-казачьи, а кто вообще опирался на них, будто в ногах уже не было сил. «Хлебну я с ними…» — невесело подумал он, но тут же отогнал эту мысль и коротко доложил, кто он и где воевал.

— Разрешаю задавать вопросы.

— Ух ты какой! Разрешает он нам. Происхождение?

— Из дворян. — Он опять вспомнил о бритве, очень огорчился и отвечал почти машинально.

— Белая кость, значит? А жена?

— И жена. Дочь генерала, инвалида Японской войны.

— Как относишься к новой власти?

— Если новая власть поможет нам с вами остановить разруху и вернуть России ее былую мощь, готов служить с честью.

Впервые зашумели одобрительно, кое-где Старшов подметил улыбки. Видимо, отряду нравилась его откровенность.

— Тихо! — Он поднял руку. — Я понимаю главную цель новой власти как создание боеспособных вооруженных сил, а в конечном счете — обновленной армии. Основой всякой армии является строжайшая дисциплина…

— Чего?..

— Ишь куда загинает!

— Повторяю: без дисциплины не будет никакой армии. А я хочу сделать из нашего отряда сильную боевую часть, умеющую активно наступать и стойко обороняться. Вы — волонтеры…

— Чего такое?

— Добровольцы. Вы по собственной охоте взяли оружие в руки. Может быть, я ошибаюсь?

— Да вроде нет.

— А коли так, то с сегодняшнего дня, с этого вот самого часа, вы вступаете в службу, основа которой есть исполнение воинского долга. Такого же, как у меня: долга перед отечеством. — Он повернулся к Затырину. — Вас прошу составить список отряда с указанием возрастов и прохождения службы, если таковая у кого-нибудь была. Начнем с разбивки отряда на отделения, строевой подготовки и учебных стрельб. У меня все.

— Можно распускать? — спросил Затырин.

— Распускать никого не будем, а разойтись можно.

Отряд дружелюбно рассмеялся, и чей-то молодой голос выкрикнул:

— Подседлал нас офицерик!

— Что еще за офицерик? — сердито крикнул командир. — Ты, Петька? Я тебе покажу офицерика! Товарищ военный руководитель или проще — товарищ военрук. Всем ясно? Петька, смотайся ко мне: пусть комнату для товарища военрука приготовят.

Старшов с трудом сдержал невеселую усмешку, расценив это как желание не спускать с него глаз

и по ночам. Но поторопился, поскольку Илья Антонович, как только они вернулись в комнату, тут же написал какую-то бумажку, оттиснул на ней самодельный штамп, протянул:

— Пойдешь в отдел снабжения — тут адрес указан. Станешь на учет, получишь паек и все что положено. Я пока списками займусь, а тебя жду часам к шести.

— Утром, — сказал Старшов. — Я бритву забыл в резерве. Завтра к восьми прибуду.

2

Старшов никогда не был в Петербурге, но давно уже выработал в себе умение ориентироваться. Утром они ехали на трамвае с двумя пересадками, он запомнил номера и главный ориентир — Варшавский вокзал. Трамваи ходили нерегулярно и медленно, и народу в них набивалось много. Леонид не стал пробираться в вагон — на офицерскую шинель и фуражку поглядывали подозрительно. На площадке продувало насквозь, и уже на второй пересадке, окончательно продрогнув, он прошел к костру, возле которого грелась группа вооруженных солдат с рыхлыми тыловыми лицами. Уж их-то, тыловиков, Старшов мгновенно отличал от окопников и давно сделал вывод, что

большевиков с особым рвением поддерживали именно они. По-человечески он понимал это, но иронического презрения — не за то, разумеется, что солдаты эти были тыловиками, а за то, что творили именем фронтовиков, — скрыть не мог. Поэтому не поздоровался, а молча протянул к костру озябшие руки. И солдаты пока молчали, угрюмо и недоверчиво разглядывая худого незнакомца в офицерской шинели, привычно стянутой офицерской же портупеей. А заговорили вдруг:

— Замерз его благородие.

— Поди на холоду прятался.

— Эй! Эй, офицер, тебя кличут!

Старшов невозмутимо грел руки, хотя невозмутимость давалась ему все с большим напряжением.

— Кто таков? Отвечай!

Спросили с угрозой, в лоб, и Леонид поднял голову:

— Прохожий.

— Документ есть? Покажь документ!

— А кто вы такие, чтобы документы спрашивать?

Конечно, проще простого было предъявить им мандат. Но Старшов не мог заставить себя подчиниться наглому солдатскому напору. Пони-

мал, что рискует, что пустяшное столкновение у костра может обернуться нешуточными последствиями, тем не менее продолжал упорствовать, чувствуя, что не простит себе послушания, что честь его будет задета, а с уязвленной честью он уже никогда не станет командиром по духу, а не мандату.

— Ах кто мы такие, мать твою!.. — Один из солдат вскочил, перехватив лежавшую на коленях винтовку. — Счас я тебе…

— Потише. — Леонид медленно поднялся, привычным движением расстегнув клапан кобуры. — Пока ты за курок схватишься, я тебе пулю между глаз пущу. Встать всем! Винтовки не трогать!

Его вдруг бросило в жар: он понял, что сам себя загнал в тупик. Он практически арестовал солдат без всякого повода, обезоружил их без права на это и теперь не знал, что делать дальше. Отконвоировать? Но куда? Отобрать оружие? Но что с ним делать? Вернуть винтовки и попытаться мирно разойтись, но где гарантия, что они в свою очередь не арестуют его, не изобьют со зла или, что вполне вероятно, не пристрелят? Правда, на остановке был народ, но Старшов не рассчитывал, что ему, офицеру, кто-то станет помогать.

— Патруль! — закричала женщина на остановке. — Матросики! Братишки! Офицера поймали!

Матросский патруль — трое в бескозырках с георгиевскими ленточками — приближался степенно, и Леонид успел незаметно застегнуть кобуру. По мере величественного приближения матросов солдаты оживлялись все более: похватали винтовки, защелкали затворами.

— Почему шум? — гаркнул рослый боцман. — Почему офицер при оружии?

Старшов молча протянул мандат. Солдаты было зашумели, и опять боцман гаркнул корабельным басом:

— Мандат правильный! Подписан товарищем Дыбенко. Бывший офицер Старшов является сочувствующим, а кто вы такие — сейчас определим. Малашенко, прими у них документы и подавай по одному.

— Я могу идти? — спросил Леонид, как только боцман вернул ему мандат.

— Обожди.

— Трамвай мой подходит!

И, не ожидая разрешения старшего патруля, сорвался с места, догнал трамвай и вскочил в него на ходу.

Он был очень недоволен собой. Он опять не

сдержался, его опять понесло и развернуло поперек им же выбранного пути, да и повод не стоил выеденного яйца. Нет, не дворянская спесь вдруг взбунтовалась в нем: честь офицера не могла примириться с наглостью, расхлябанностью, хамством тех, кто, донашивая военную форму, с бахвальством и демонстрацией отбросил присущее ей содержание. Армии, прекрасной русской армии, больше не было: его окружали шинели и бушлаты. Шинели да бушлаты, и ничего более.

До офицерского резерва он добрался вполне благополучно. К обеду не успел, но кое-что ему все же перепало; перекусив и обогревшись, нашел прапорщика.

— Слух был, того вас, поручик. Матросики хлопнули.

— Бритве обрадовались, что ли?

— Вот ваша бритва, благодарю. Между прочим, интересовались тут вами.

— Опять матрос?

— Какой-то капитан прибыл сегодня. В обед я сказал, что вы, возможно, вернетесь, так чтоб оставили. А он: «Какой такой Старшов? Леонид Алексеевич?»

Исходили оба огромных здания, двор, заглянули даже в опустевшие конюшни, где еще

стойко держался пьянящий запах конского пота, сбруи, навоза: здесь стояла кавалерийская часть, ушедшая под Гатчину. Однако таинственного капитана нигде не было, а в ужин, когда Леонид уже уселся за свою миску с неизменной пшенной размазней, простуженный, привычно знакомый голос сказал с усмешкой:

— Мы странно встретились.

Старшов оглянулся: перед ним стоял Викентий Ильич Незваный, его первый ротный командир. Леонид очень обрадовался, но поговорить с глазу на глаз удалось только тогда, когда все офицеры разошлись по своим местам.

— Не чаял встретить вас целым, — сказал Незваный. — В роте болтали, что вас то ли прошило пулеметом, то ли кто-то добил ножом. А вы живы, здоровы и, кажется, в фаворе у новой власти.

— Предложили службу. — Старшов показал мандат. — Она не противоречит моим представлениям о долге.

— Помнится, в окопах вы неистово жаждали разгрома противника.

— Для разгрома нужна сильная армия.

— Уж не тайный ли вы большевик, Старшов?

— Странный у нас разговор, — вздохнул Леонид. — Мы сидели в одном окопе, который имел

все основания стать братской могилой. Мы никогда об этом не говорили не из суеверия, а исходя из общности судьбы. Вы искали меня и, кажется, обрадовались встрече, и вдруг — недоверие, недомолвки. Что с вами произошло, капитан?

Викентий Ильич невесело улыбнулся — то ли над собой, то ли над Старшовым. Достал портсигар, предложил папиросу. Некоторое время курили молча.

— Своевременно вспомнили об окопе, Старшов, только разбежались мы из того окопа. Между нами теперь окоп.

— Воевали под знаменами Краснова?

— Не совсем так, но воевал. В добровольческой офицерской дружине. Однако свидетелей нет, списки не велись, документы у меня в порядке, и об этом могут узнать только от вас.

— Зачем вы вляпались в эту историю? — вздохнул Леонид. — Спасали господина Керенского? Генералов?

— Россию!

— Громко. Но легковесно. Россию может спасти только армия.

— Из которой вы дезертировали.

— Дезертировал из того, чего нет? Абсурд. Я застрял на каком-то разъезде, так и не добрав-

шись до Петрограда, когда там все решалось. А если бы добрался? Честно скажу, не знаю, на какой стороне нашего с вами окопа я бы тогда оказался. Не знаю, Незваный. Но у меня было время подумать.

— И подумав, пошли на службу к большевикам?

Незваный отметил это с горечью, но прежнего неприятия в его голосе уже не слышалось. Он задумался, задумался отрешенно, словно был один, словно рядом уже не стоял бывший однополчанин: погрузился в собственные то ли размышления, то ли воспоминания, даже выражение лица стало иным. «Непросто ему, — вдруг подумалось Старшову. — Что-то он еще не решил, что-то…»

— Я убил человека, — неожиданно сказал капитан. — Не врага, хотя он тогда считался моим врагом и бежал на меня с винтовкой наперевес. Я убил, защищаясь, но все равно: я убил. Молодого парня в черном полупальто. Он и винтовку-то держал неумело, но бежал с перекошенным от ярости лицом, и если бы я не выстрелил… Это инстинкт самосохранения! — вдруг почти выкрикнул он. — Я — боевой офицер, я не могу, когда на меня бегут…

Он замолчал. Леонид не торопил его, не расспрашивал, и молчал Незваный долго. Оба ждали, кто и как именно продолжит разговор, и Старшов не выдержал первым:

— Что вы решили?

Викентий Ильич упорно молчал.

— Вас не поймали после разгрома Краснова, не взяли сонного в копне сена, как взяли меня. Вы пришли добровольно, иначе не оказались бы в офицерском резерве. Так что же вы намереваетесь делать?

— Очень русский вопрос, Старшов. И очень русский ответ: а черт его знает. Знаю только, что не могу убивать, хватит с меня одного убийства. Но и готовить к бою тех, кто побежит с винтовкой наперевес, я тоже не могу. Я не желаю быть убийцей, но и готовить убийц, как это делаете вы, я тоже не желаю. Не желаю, Старшов! Мне стыдно, что я пожал вашу руку, потому что в известном смысле вы… вы бесчестнее меня.

— Не будем спорить о чести, — тихо сказал Леонид.

— Прошу извинить. Больше всего на свете я бы хотел оказаться сейчас в Саратове. Жена, дочь, мать. Лучше подметать улицы, чем участвовать в такой войне, которая вот-вот полыхнет по всей

России.

— Лучше, — согласился Старшов. — Только не дадут вам за метлой отсидеться, Незваный.

— Кто не даст? Ваши новые хозяева?

— События. Что-то соскочило в нашей истории, и Россию понесла взбесившаяся гоголевская тройка с Селифаном на козлах. — Он помолчал. — Полагаю, мы более не увидимся, но совет все же позволю. Семья — не спасение, метла — не спасение, и генералы — тоже не спасение. Спасение — сама Россия, но мы попали в такой водоворот, когда каждый ищет ее сам. Найдите и уцепитесь.

Он коротко кивнул и пошел по гулкому пустому коридору, не оглядываясь. Он держал спину неестественно прямо, потому что на душе было пусто: позади оставался один из самых проверенных друзей, и оставался навсегда. Как все вчерашнее, прочное, основательное. Когда он подумал об этом, горечь в душе его стала почти торжественной: в один и тот же день ему случилось повстречаться со своим будущим и попрощаться с прошлым. И в этом ему опять чудился некий особый символ. Выбор был сделан, но не мандатом военного руководителя, не перед строем красногвардейцев, а здесь, на подоконнике гулкого пустого коридора хозяйственного

этажа.

И тревожная тяжесть этого добровольного выбора долго не давала уснуть.

Забылся он уже к утру, да и то ненадолго. Встал до общего подъема и, ни с кем не попрощавшись, выехал к месту новой службы. На трамвае с двумя пересадками.

3

Лера Вологодова, племянница Николая Ивановича Олексина, дочь сановника и прекрасной безумицы Надежды Ивановны, жертвы страшной Ходынской катастрофы, шагнула в свое будущее, даже не оглянувшись. Случилось это в конце октября, в самый разгар боевых действий: поздно вечером забарабанили в дверь, Лера открыла — она оказалась ближе и вообще жила в каком-то странном, нервозном ожидании. На пороге стоял Алексей: Надежда Ивановна хорошо знала его как близкого друга своего сына Кирилла. Они вместе учились в юнкерском, он часто бывал в их доме, и тогда споры не утихали до поздней ночи.

— Лера, у нас — тяжелораненые, юнкера обходят с Пречистенки, хотите нам помочь?

И Лера пошла сразу, как стояла, так и пошла, надевая пальто уже на ходу.

— Лера! Лерочка! — отчаянно закричала Надежда, но Лера так и не оглянулась.

Надежда совсем потеряла голову. Разбудила уже уснувшего мужа, заставила одеться, потащила с собой на прошитые стрельбой московские улицы. Они бегали до утра, охрипли от криков, чудом не угодили под огонь, но вернулись ни с чем. И Надежда, с трудом проглотив полчашки чая, опять помчалась на улицы, и Викентий Корнелиевич метался вместе с нею.

Трое сумасшедших суток они почти не спали. Бегали по улицам, заходили в какие-то штабы, расспрашивали всех, кого только могли встретить, но никто ничего не знал ни о дочери, ни о бывшем поручике Алексее, фамилию которого Надежда так и не смогла вспомнить. А потом дворник принес письмо.

— Солдат велел вам передать, Надежда Ивановна. В собственные, чтоб, говорит, руки.

«Родные мои! Мои добрые, мои дорогие, мои самые любимые на свете, я не вернусь. Простите меня, если можете, но я выбрала свою дорогу и никогда с нее не сверну. Это моя дорога, однаединственная, другой нет и быть не может.

Мамочка, бесценная, любимая моя мамочка! Я знаю, сколько горя я приношу тебе своим реше-

нием, но я уверена, ты будешь гордиться моим выбором. Мы вернемся после победы, непременно вернемся вместе с Алексеем и станем перед тобою на колени. А пока я нежно целую тебя и папу и обязуюсь писать при первой возможности.

Простите вашу дочь, сошедшую с ума от судьбы и любви.

Лера».

После этого письма Надежда странно успокоилась, удвоив время привычных молитв. Удрученный поступком дочери и озабоченный поведением жены, Викентий Корнелиевич как-то осторожно завел разговор о продолжении розысков Леры, об обращении в полицию, если, конечно, она существует. О возможном использовании всех его многочисленных связей, знакомств, приятельских отношений. А Надежда в ответ тихо улыбнулась, и ее прекрасные, всегда отсутствующие глаза на миг стали теплыми, яркими, удивленными.

— Наша дочь влюблена, друг мой. Это самое великое счастье, какое только возможно в женской судьбе. Бог благословил ее, и мы должны быть спокойны. Спокойны и благодарны Ему.

Фанатичная вера когда-то, после Ходынки, спасла ее, остановив на грани безумия. Спаса-

ла она ее и сейчас, прикрывая надорванную психику убеждением, что Лера обрела высокое счастье любви, но Вологодова это утешить не могло. Согласившись с женой, что с Лерочкой все в порядке, старый сановник продолжал писать письма. Старым друзьям, которые могли хоть как-то помочь; в старые, привычные ведомства; знакомым генералам, способным навести справки о поручике Алексее… Вот фамилию этого поручика Вологодов не знал. Но все равно писал и писал, потому что этот бесфамильный офицер увел его дочь.

Ни единого ответа не приносил почтальон, да и самих почтальонов не видно было на опустевших, замусоренных листовками, газетами, объявлениями и приказами московских улицах. А Вологодов упрямо продолжал верить, что кто-то когда-нибудь откликнется, расскажет о судьбе дочери, а возможно, и поспособствует в ее поисках. Он весьма сдержанно относился к религии, не любил да и не умел молиться; он всю жизнь был человеком действия и теперь, на склоне лет, писал письма, умоляя утешить, успокоить, разъяснить.

Позвонили поздним вечером: электростанция работала, хотя лампочки светили вполнакала.

Звонок был робким, вроде бы случайным, но Вологодов опередил жену, потому что все время ждал. Не спрашивая, кто да зачем (а уже все спрашивали, все допытывались), распахнул дверь. И несколько оторопел: перед ним стоял неряшливо заросший старик в драной шубейке, драной шапке, разбитых сапогах. Что-то знакомое все же проглядывало в оборванце, но настолько из иного мира, что Викентий Корнелиевич никак не мог связать прошлое с настоящим, никак не мог поверить, что перед ним и в самом деле стоит отставной генерал Федор Иванович Олексин.

— Не приходили? Никто не приходил? Меня не спрашивали?

Гость и сам не замечал, что бормочет сейчас те же слова, которые бормотал ровно сорок лет назад перед своим побегом в Тифлис вместе с Таей Ковалевской. Бормочет потому, что переживает тот же ужас, что и тогда, ту же полнейшую растерянность и бессилие. Он был трусом — он был паникером, и, если рядом находился кто-то, способный направить его, вывести из состояния безотчетной паники, он оказывался способным и на отвагу, и на поступок, и на упорство. Но рядом не было более Михаила Дмитриевича Скобелева, впоследствии столь расчетливо преданного им.

— Проходите, Федор Иванович. — Вологодов обождал, пока гость не прошел в переднюю, запер дверь. — Чем объяснить этот… маскарад?

— Я дома у хозяйки в мундире ходил. — Олексин сел на стул, так и не сняв замызганного треуха. — Донесут!

— Кто на вас донесет?

Вошла Надежда. Молча, ничему не удивляясь, поцеловала брата.

— Может быть, чаю?

— Нет, нет! — Федор Иванович отчаянно затряс головой. — Вы не знаете меня, совершенно не знаете, нет у вас брата. Умер я. В прошлом году, в Петрограде. Там и похоронен.

— Не греши, брат, — строго сказала Надежда.

— А коли спросит кто? Ни слова, что жив, ни слова. Обещайте…

— Вспомни о Господе, Федор.

— Умоляю. На колени встану…

— Да будет вам паясничать, — резко сказал Вологодов. — У нас дочь ушла, ваша крестница, а вы… Стыдно. Стыдно, Федор Иванович, вы — дворянин, а не шут гороховый.

— Нет, не дворянин, нет! — Федор Иванович вскочил, тыча пальцем в грудь. — Дворовый я, дворовый, у меня мать — крестьянка. Ее помещик

принудил к сожительству, плоть потешил…

— Опомнись, Федор, — каким-то совершенно особым, незнакомым голосом сказала Надежда. — Мы — дети любви, и не смей…

Она вдруг замолчала, будто услышала себя со стороны, испугалась и тут же вернулась в прежнее состояние полумонашки-полуюродивой. Но Викентий Корнелиевич слышал ее тот, юный, еще не знавший Ходынки голос, слышал, возликовал и померк вместе с Надеждой.

— Вон, — тихо сказал он. — Пошел вон, хам.

— Прогоняете?

— Пока пощечин не надавал. Вон, подлец!

Федор Иванович затоптался в прихожей, лицо его стало растерянным. Он зачем-то снял шапку, часто закивал головой. Вологодов открыл дверь и брезгливо посторонился.

— Да, да, правильно все, правильно, — бормотал Олексин. — И воздастся ему…

Вышел, не попрощавшись. Викентий Корнелиевич закрыл дверь, виновато склонил голову перед женой.

— Прости. Я не мог совладать с собой.

— Вы гневались, и это нехорошо, — сказала она. — Но гнев ваш был праведным, мы ведь и вправду дети любви. Я отмолю грех брата перед

Господом. — Она вздохнула, медленно провела рукой по лицу, точно снимая паутину. — Будем пить чай. Не тревожьте прислугу, я подам сама.

Пришли через трое суток, ночью. Забарабанили в дверь кулаками, прикладами, сапогами, словно не было звонка в квартиру. Кончились в России дверные звонки.

— Вологодов Викентий Корнеевич?

— Викентий Корнелиевич, с вашего позволения.

Гостей было пятеро, среди них — молодая женщина с темными, холодными глазами. Она и старший оттеснили Вологодовых в гостиную, остальные рыскали по квартире: слышался испуганный голос прислуги.

— Сдать оружие.

— У меня нет оружия. Даже охотничьего. Есть, правда, дуэльные пистолеты деда, — Вологодов достал обтянутый кожей ящичек, поставил на стол. — Это все.

— Проверим. Сухов, начинай обыск!

— Шуруем! — весело откликнулись из столовой. — Цацек тута!

— Где ваш сын?

— Что с Кириллом? — Надежда шагнула, прижав руки к груди.

— Где сын, спрашиваю?

— На фронте с четырнадцатого, — сказал Викентий Корнелиевич. — Сядь, дорогая. Побереги себя.

— С каким офицером ушла ваша дочь? Фамилия? Номер части?

Надежда порывисто выпрямилась в кресле, но не встала. Вологодов молчал, с горечью осознавая, что этот ночной визит — ответ на его умоляющие письма.

— Я спросил, кажется.

— Его имя — Алексей, он учился вместе с нашим сыном. Фамилии его я не знаю. Он, естественно, представлялся, но я запамятовал.

— Придется вспомнить. Собирайтесь.

Вологодов пожал плечами, посмотрел на жену — она напряженно замерла в кресле — и вышел в спальню. Некоторое время все молчали, потом старший сказал буднично:

— Квартиру и все эти мебеля мы конфискуем для трудового народа. Можете взять одежду, ну, там, мелочь какую. Товарищ Пряхина тут останется, проследит.

Надежда продолжала сидеть в той же напряженной позе, безучастно глядя перед собой. Старший неодобрительно усмехнулся:

— Ишь, гордая какая — и где жить будет, не спрашивает. Уплотняют вас, как эксплуататоров, мы не бандиты. Оставим вам комнату, стул, стол, кровать. Товарищ Пряхина…

Из спальни вышел Вологодов в выходном костюме. Остановился рядом с креслом:

— Могу я попрощаться с женой? — Не ожидая ответа, опустился на колено, спрятал лицо в ладонях Надежды. — Береги себя, родная моя. Лерочка вернется, приедет Кирилл, отпустят меня, и мы по-прежнему будем пить чай в столовой.

— Пошли, гражданин. Пора. — Старший почему-то вздохнул.

Вологодов поцеловал жену и встал. И тотчас же Надежда рванулась из кресла к старшему.

— Мой муж давно в отставке, он ни в чем не виноват. Не разлучайте нас. У него больное сердце, арестуйте нас вдвоем. Я умоляю вас, умоляю. Именем Господа…

— L'humiliation tue l'ame, Nadine[3], — тихо сказал Викентий Корнелиевич.

— Не говорить по-буржуйски! — резко выкрикнула Пряхина.

— Прощай, друг мой, — торопливо проговорил

---

[3] Notes: 3
Унижение убивает душу, Надин *(фр.)*.

Вологодов, больше всего боясь, что у него дрогнет голос. — Прощай.

И быстро вышел из кабинета.

4

Добравшись до Смоленска, Таня прямиком направилась к Анне Вонвонлярской, даже не заглянув в родной дом. Всю долгую дорогу она неотступно думала о Федосе Платоновиче, ужасалась его ранению, рисовала самые мрачные картины, но ни разу мысль о любви не мелькнула в ее голове. Любовь уже как бы существовала в ней, существовала всегда, всю жизнь, и размышлять о ней уже не требовалось. Любовь ощущалась не мечтой, а как нечто естественное, вечное, как дар Божий: Татьяна Олексина спешила не на любовное свидание, а на бой за спасение этой любви.

Из маловразумительных объяснений потрясенного отца она поняла только, что Минину плохо и что известиями о нем располагает Анна Вонвонлярская. Пафосное замечание Николая Ивановича о том, что Минин каким-то образом связан с их честью, Таня запомнила, но как нечто второстепенное, хотя и достаточно важное. Над этим стоило подумать, но потом, потом после

того, как она выяснит все о Федосе Платоновиче, примет все заботы о его здоровье и в конце концов поставит его на ноги.

Анны Павловны дома не оказалось: она с утра и до позднего вечера дежурила в госпитале. Оставив вещи, Таня взяла извозчика и велела гнать на Покровку, где еще с начала войны были развернуты госпитали. И опять всю неблизкую — через весь город — дорогу думала не о том, что она скажет, а о том, что надо сделать, чтобы спасти Минина, поставить его на ноги. Она не думала даже о дочери, потому что главным для нее была сама цель поездки. Из всей семьи Николая Ивановича Олексина Татьяна была наиболее целеустремленной.

В госпитале ни к раненому Минину, ни к сестре милосердия Вонвонлярской ее не пустили. Ее провели в какой-то кабинет и велели ждать «товарища комиссара». Но ждать, к счастью, пришлось недолго: вошел пожилой, рабочего вида мужчина. Кивнул, сел за стол, молча выслушал.

— А кто вы ему будете?

— Я? Жена.

— А он говорил, что холост.

— Мы… Мы не успели обвенчаться. — Таня чувствовала, что может покраснеть, и начала

сердиться. — Пойдемте к нему, если не верите.

— Да? — Пожилой усмехнулся, встал. — Обождите тут малость.

И вышел, оставив Татьяну в полной растерянности. Она не имела никаких оснований считать себя даже невестой, Федос Платонович во время того ночного поспешного прощания у окна признался ей только в любви, да и то не сказав самого этого слова. Они тогда поцеловались, впервые, один-единственный раз, а сегодня она объявила себя его женой. Нет, внутренне она не солгала, она уже успела осознать, что любит, что готова всю жизнь быть рядом — все равно, с венцом или без венца, если он, конечно, не откажется. «Я наглая, — вдруг решила Татьяна. — Я наглая мерзавка какая-то…»

Пожилой ввел в комнату Минина. Точнее, втащил, обхватив за талию: Федос Платонович с трудом волочил ноги, мучительно задыхаясь.

— Вот, товарищ Минин, тебе подарок.

— Татьяна Ник…

— Феденька!

Почему Татьяна назвала его так, почему кинулась к нему, первой обняла, поцеловала, ощутив соль то ли его пота, то ли собственных слез, — они никогда не обсуждали. С этого мгновения и навсе-

гда он остался для нее Феденькой, единственным мужчиной, которого она любила нежно и мужественно всю свою нескладную жизнь.

— Посади его, — добродушно проворчал пожилой. — Ослаб он на тутошних харчах.

Они сели на стулья, что стояли вдоль стены, о чем-то говорили, взахлеб, перебивая друг друга. О нем и о ней, об Анечке, о Княжом, о ранении, о… Пока пожилой не перебил:

— Стоп, молодые, повестка дня требуется. Первое: забирай отсюдова своего милого, товарищ жена. С харчами туго, да и сыпняк объявился, вша с фронту ползет. Второе. — Он неожиданно улыбнулся. — Оженим мы тебя, дорогой товарищ Минин, по-своему, по-советски, без попов. Согласны? Ну, тогда милуйтесь, пока экипаж разыщу.

Таня повезла Минина к Вонвонлярской без всяких колебаний, потому что Анна была сестрой милосердия и, по словам отца, с особой заботой выхаживала Федоса Платоновича. Горничная не воспротивилась внезапному вторжению, хотя и поджала губы. Таня сама выбрала комнату, велела нагреть воды и приготовить ванну, и через час сама уложила обессиленного чистого и безмерно счастливого мужа. Напоила чаем с медом и помчалась на рынок. Не на главный, за Днепром,

а на ближайший, за Молоховскими воротами. Там царила полная неразбериха, керенки никто не брал, продукты старались менять на вещи, просили золото, но золота у Татьяны не было, и она с трудом уговорила продать ей курицу за царские деньги.

Анна вернулась с дежурства, когда Федос Платонович уже спал. Таня очень волновалась, торопливо о чем-то заговорила, но Вонвонлярская, поцеловав ее, устало улыбнулась:

— Ты поступила правильно, Таня. Он часто поминал в бреду тебя и Анечку.

— Я… Я люблю, — покраснев, призналась Татьяна.

— Это прекрасно. Мы выходим твоего любимого. В доме есть масса ненужных вещей, которые Глаша будет менять. И никуда не поедем, я тотчас же велю распаковать вещи.

Федос Платонович поправлялся медленно: был сильно истощен. На третий день он упросил Таню позволить ему вставать, к концу недели получил разрешение ежедневно гулять. Они с Татьяной медленно добирались до Блонья и очень любили сидеть на уединенной скамье подле старого павильона, не подозревая, что сорок лет назад именно здесь тетя Татьяны, будущая народоволка

Мария Олексина, и некий Аверьян Леонидович Беневоленский признались друг другу в любви.

А вечерами вместе ждали усталую Анну Вонвонлярскую, постепенно холодок отчужденности исчезал, искренность прорывалась сквозь любезности, а время было таким неспокойным. Минина иногда навещал пожилой из госпиталя: его звали Яковом Ивановичем. После его последнего визита Федос Платонович сделался заметно молчаливее, а выглядел весьма озабоченным. Таня пыталась расспросить, но заговорил он только за чаем, когда Анна вернулась из госпиталя.

— Вашего дядю увезли в Москву, Анна Павловна. Узнал об этом только сегодня от товарища Якова.

— В чем его обвиняют?

— Он — свидетель. В Москве и Смоленске было оказано сопротивление советской власти. Рассматривается вопрос, не стоит ли за этим какая-то организация.

— Мой дядя, Федос Платонович, человек чести. Заговоры, тайные организации — не для его натуры. Власть, которая начинает с арестов, мне, признаться, не по душе.

— Понимаю вас, Анна Павловна, понимаю. Новое вырастает из старого, его трудно увидеть,

еще труднее — принять. Мы ликвидировали все сословия, мы строим бесклассовое общество. В России впервые за все века будет полное равенство всех людей. Представляете, в безграмотной, забитой России мы создадим…

— Вам вредно волноваться, Федос Платонович.

— Простите, если говорю слишком горячо. Но я сам из крестьян, я на собственном опыте познал, чего нашему брату стоило образование. Теперь этого не будет. Ни голода, ни унижения. Мы накормим всех голодающих, оденем всех разутых и раздетых, мы…

— И во имя этого вы для начала расстреляете моего дядю?

— Ваш дядя — всего лишь свидетель, который может помочь нам обнаружить заговорщиков.

— Оставьте, Федос Платонович. Я оказывала помощь всем раненым во время перестрелок. А потом всех офицеров забрали и увели… Нет, увезли на телегах! Куда их увезли, Федос Платонович?

— Увезли? — Минин был искренне удивлен. — Зачем? Я… Я лежал без памяти… Куда их увезли?

— Татьяна возьмет извозчика до Братского кладбища, там еще не успела осесть земля на общей могиле. Если такова цена грядущего сча-

стья России… — Анна вдруг оборвала саму себя. Встала, глядя в недопитую чашку. — Извините. Я хочу отдохнуть. — Быстро прошла к дверям, остановилась. — Когда придут нас грабить? Или пока вы живете здесь, дом моего дяди находится под особым покровительством? Так будьте добры передать, что я не нуждаюсь в покровительстве. Я — Вонвонлярская, милостивый государь!

Вышла, аккуратно притворив за собою дверь. Татьяна глядела со страхом, в глазах стояли слезы. Минин нежно привлек ее к себе, поцеловал.

— Мы уедем, Таня. Завтра же.

— Про Братское кладбище — это правда?

— Не знаю. Но думаю, что нам не следует туда ехать. Лучше…

— В Княжое! — выпалила она. — Ты сможешь перенести дорогу?

— В Княжое смогу. — Он улыбнулся. — Только сначала заедем к товарищу Якову. Я не могу уехать, не поставив в известность ячейку.

Анна вставала затемно, завтракала одна, и по утрам они не встречались. Это позволило уйти без объяснений; Таня написала очень теплое благодарственное письмо, Глаша сходила за извозчиком, попрощались с еще не разбежавшейся прислугой. Минин велел заехать в горсовет, что-

бы узнать, где товарищ Яков, и, по счастью, он оказался там.

— Правильно решили, — сказал товарищ Яков, когда Федос Платонович объявил, что они едут в Княжое. — Тебе, товарищ Минин, очень даже полезна сельская местность.

— Как только окрепну…

— Это как жена решит, — улыбнулся товарищ Яков. — Во, хорошо, что вспомнил! Обвенчать вас надо. По-нашему, по-советски. Аккурат позавчера в «Разном» обряды утвердили для рождений, венчаний и, это, смертей. Провожаний то есть. Уж очень товарищи женщины настаивали, возражают они против обобществления их. Несознательные еще, что поделаешь. Покалякайте тут, а я — к председателю.

— Что значит обобществление? — настороженно спросила Татьяна, когда товарищ Яков вышел.

— Глупость это! — резко сказал Минин. — Много у нас еще глупостей и творится, и говорится. Не обращай внимания.

Товарищ Яков вернулся почти тотчас же:

— Сейчас окрутим. Жаль только, что вторые вы получаетесь, первых вчера записали. Пошли? Ждут там.

Вслед за ним они прошли по коридору и остановились у двери с приколотой кнопками надписью «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Возле с безучастным видом стоял молодой солдат с винтовкой. Яков заглянул в кабинет, махнул им рукой и вошел первым.

В кабинете за письменным столом сидел председатель, а за вторым — канцелярским — немолодая женщина в очках. Председатель пожал им руки: «Поздравляю, товарищи, поздравляю», после чего велел им назвать свои имена женщине в очках. Та молча записала в толстую канцелярскую книгу, а товарищ Яков тем временем взял в углу красное знамя, развернул его и стал так, чтобы полотнище свисало над столом.

— Возьмитесь правой рукой за боевое красное знамя, — строгим официальным тоном сказал председатель. — Взялись? Повторяйте за мной: добровольно вступая в семейный союз, клянемся отдать все силы, а если понадобится, то и жизнь за святое дело освобождения трудящихся во всем мире. Еще раз поздравляю от имени трудящихся города Смоленска. Распишитесь в книге регистрации. С этого часа вы — муж и жена. Напутствий говорить не буду, поскольку хорошо знаю товарища Минина, а он себе чуждого элемента в подруги жизни не выберет.

Таня была несколько разочарована канцелярской сухостью нового свадебного обряда, но сам факт, что отныне они признаны мужем и женой, был куда важнее всех формальностей. И по дороге в Княжое в коляске самого председателя светло и уютно думала о новой, завтрашней жизни, об Анечке, обретшей отца, о будущих детях («непременно, непременно, пока молоды…»). И только проехав половину пути, вдруг вспомнила, что так ни разу и не навестила ни Ольгу, ни родной дом.

Глава третья

1

«Село Княжое Ельнинского уезда
Смоленской губернии,
госпоже Слухачевой
для Варвары Николаевны.
Письмо № 223
19-го ноября 1917 года
Варенька, любимая!

Пишу тебе почти ежедневно, а ответа все нет и нет. Что с тобой, что с детьми? Где вы сейчас, живы ли, здоровы ли? Понимаю, что почта развалилась, как и все остальное, но я пишу и буду

писать, и буду ждать ответа. Вся моя жизнь — это ты и наши дети, и я верю, что все хорошо. Но как же я жду твоих писем, родная моя!

Я здоров, служу в тылу, в Петрограде. Я сыт, обут, одет, и со мною ничего не может случиться, пока существует твоя любовь. Помни об этом, не волнуйся за меня, береги детей, и да хранит вас Бог!

Служба у меня нудная, но я понимаю, как она нужна. И терплю ее однообразие, хамство подчиненных и новых начальников, всеобщий разброд, митинги по всякому поводу и без всякого повода и думаю о тебе денно и нощно. А еще я думаю о всяких разностях, не имеющих, может быть, отношения к службе, но если у офицера („бывшего“, как теперь приказано говорить, хотя бывший офицер для меня звучит как бывший интеллигент), так вот, если у офицера остается только служба, но нет совести, он и вправду „бывший“. А сейчас таких появляется все больше и больше, и я боюсь, что процесс этот может пойти дальше, и тогда стихия безнравственности захлестнет и утопит офицерский корпус России, как она захлестнула и утопила ее армию. Но не буду об этом, а лучше расскажу тебе о… о яблоке.

Каждую ночь ты протягиваешь его мне, как ко-

гда-то давным-давно твоя прапрародительница Ева протянула его Адаму. Да, нас изгнали из рая, если под раем понимать абсолютное безделье, отсутствие обязанностей, чести и долга. Мы согрешили перед природой, но не перед Господом, и природа, а не Бог, изгнала нас из своего царства, где „птички божии не знают ни заботы, ни труда“. Изгнала, но взамен пожаловала нас достоинством Человека и счастьем Человечности. Да, мы в поте лица своего взыскуем хлеб свой, но насколько же он слаще пожалованного куска! И низкий поклон тебе, Ева, за твой подарок!

Хуже, когда яблоко протягивает мужчина: тогда начинает литься кровь, чему примером Троянская война, вызванная самодовольным выбором Париса. Чувствуешь разницу? Ева, протянувшая яблоко Адаму, думала о будущем всего человечества, а Парис, повторив ее поступок, думал всего лишь о Елене, хотя, говорят, она была прекрасна. Мужчины всегда сначала думают о себе.

Нет, не всегда, и не только потому, что я постоянно думаю о вас. В конечном итоге тот же фрукт, фигурально выражаясь, треснул Ньютона по голове, подвигнув его на формулировку одного из самых великих законов природы. А яб-

локо, пронзенное стрелой Вильгельма Телля на голове собственного сына, послужило сигналом к освобождению швейцарцев от засилья Габсбургов. Право, и мужчинам случалось совсем неплохо распоряжаться этим плодом.

Как-то будет далее? Наша с тобой родина прозорливо придумала пословицу „яблочко от яблони недалеко падает“, дав тем самым аморальное право Ивану Грозному поголовно истреблять семьи и рода наиболее строптивых аристократов. Тоже вклад в историю, не правда ли? Особенно в наши дни, когда сама судьба встряхнула тысячелетний ствол России и ее яблочки раскатились по всей земле. Не потому ли весь Питер распевает: „Эх, яблочко, да куды котисси…“

А я учу „стрелять в яблочко“. Может быть, я и сам стал уже „бывшим офицером“, так и не заметив, когда это произошло? Нет, я искренне верю в то, что из моих учеников вырастут Вильгельмы Телли. Верю!

Прости, это все — от звериной тоски. Приснись мне, любимая моя, и протяни яблоко.

Береги себя и детей. Кланяйся нашим.

Нежно целую черные кудри твои.

Твой низложенный царь, экс-поручик,

а ныне — военрук

Леонид».

Старшов еще раз перечитал письмо, поцеловал его (он всегда целовал свои письма к Варе, зная, что она их тоже целует), запечатал и глянул на часы. Было уже двадцатое, ровно час ночи.

В этот день и час начальник внешней охраны Быховской тюрьмы прапорщик Гришин и капитан Попов объявили караулу, что генерал Корнилов освобождается из-под стражи по распоряжению Чрезвычайной следственной комиссии. За двенадцать часов до этого тот же Гришин на том же основании и из той же тюрьмы освободил Деникина, Маркова, Романовского и Лукомского. Пять наиболее налитых яблок откатились от родного ствола на казачий юг, и откатились навсегда.

2

Военный руководитель красногвардейского рабочего отряда Леонид Старшов со второго дня вступления в должность жил на квартире командира отряда Ильи Антоновича Затырина. Квартира Затыриных, к удивлению Леонида, оказалась удобной, теплой, хорошо обставленной и достаточно просторной для того, чтобы выделить Старшову отдельную комнату.

— Отец у меня отменным мастером был, — пояснил хозяин. — Да и я не последней руки. А Путилов на мастерах не экономил, хитрый был эксплуататор.

Возвращались из отряда они к ужину. Леонид сразу же отдал свой паек в домашний котел, поколебавшись немного насчет сахара. Но в доме тоже были дети, и, вспомнив о Мишке и Руфиночке, он отдал и сахар, понимая, что рассчитывать на оказию, а тем паче на отпуск не приходится. Все приняли как должное, а вот от платы за постой отказались, и Старшову это понравилось.

И вообще Затырин был ему симпатичен. Илья Антонович высоко ценил профессиональный опыт, стремился побольше почерпнуть из него и относился к Старшову со спокойным уважением. Никогда не вмешивался в его распоряжения, а если не совсем понимал, то расспрашивал только дома, с глазу на глаз.

— Муштровал ребят ты сегодня. — Он обращался к Леониду на «ты», потребовав и от него такого же обращения. — Считаешь шагистику военной наукой или к смотру отряд готовишь? Так смотров более не предвидится.

— Муштрую не для строя, а ради того, чтобы солдат в этом строю не чувствовал себя одиноким.

Чтобы он плечо ощущал, соседа справа и слева. А главное, Илья Антонович, чтобы солдат…

— Боец Красной гвардии.

— Дело в сути, а не в словах. А суть — научить человека воевать не поодиночке, не вразброд, а — вместе, один за всех и все за одного.

— Это ведь и объяснить можно. Рабочие — народ сознательный, грамотный.

— В бою объяснять некогда. Если я дал команду «Вперед!», так я, не оглядываясь, должен знать, что поднимутся все, не спрашивая, зачем и для чего. Строевые учения сплачивают людей, приучают владеть своим телом автоматически, не рассуждая.

Растолковывая командиру основы подготовки бойцов, Старшов понимал, что это не проверка, а только подходы к ней. Никакой обиды он в подобном прощупывании не видел, полагая, что и сам бы постарался получше понять того, кому при вчерашних золотых погонах поручено готовить отряд к завтрашним боям. В Питере было спокойно лишь внешне, жители его жили раздельной жизнью, и если рабочие окраины поддерживали новую власть, то центр относился к ней в лучшем случае с осторожным ожиданием. Большевики, запретив практически все

газеты под суммарным понятием «буржуазных», внешне проводили политику Временного правительства, продолжая выборы членов Учредительного собрания. Это позволяло сохранять видимость гражданского мира, хотя Россия бурлила, митинговала, спорила, а то и постреливала. Но все ждали Учредительного собрания, ждали со столь разными надеждами, что напряжение не только не рассасывалось, но усиливалось с каждым прожитым днем. И Леонид ждал этого собрания, не возлагая на него особых надежд, но поскольку взявшие всю ответственность на себя большевики официально объявили свое правительство временным, хотя и революционным, то хотелось чего-то постоянного. Он ощущал себя скорее примкнувшим, чем сочувствующим, а тем паче шагающим в ногу, и отношения своего не скрывал. И терпеливо объяснял дотошному Затырину азы:

— Бой — не пальба, бой — маневр. Движение.

Так они и существовали: рядом, но не вместе. И это «не вместе» Старшов ощущал постоянно.

Зима начиналась люто. Не привыкший к питерским сырым ветрам, Леонид мерз в легкой шинели. Илья Антонович присмотрелся, куда-то отправился и привез бекешу на меху. Новенькую,

со склада.

— Надевай. Простынешь на ветрах со своим кашлем.

— Это от газов. Благодарю за внимание.

— Я в штабе был: без их записки со складов не выдают. Велено тебе биографию свою изложить. Кратко. И отдельно — состав семьи. Это — подробнее: кто кому кем приходится, где проживал до октября и где сейчас проживает.

— Зачем такие подробности?

— Сказали, чтоб жалованье пересылать. Жалованье тебе положено, а зачем оно тут? Тут ты на казенных харчах, а семейству деньги не помешают.

— Мое офицерское жалованье всегда перечислялось жене. Адрес известен почтовому ведомству.

— Это все — по другому ведомству. — Затырин почему-то вздохнул. — Пиши, Старшов, пиши.

Автобиографию и список всей родни с указанием мест проживания Леониду было приказано отвезти лично. В штабе красногвардейских отрядов указали, в какую именно комнату ему следует явиться, волокита казалась нарочной, придуманной для пущей важности, но спорить он не стал. Возле указанной комнаты оказался часовой:

стрелок Латышского полка. Молча просмотрел документы, сказал с мягким акцентом:

— Обождать немного надо.

Вошел в комнату, плотно прикрыв дверь. Старшов потоптался перед нею, прошелся по узкому пустому коридору, хотел было войти без приглашения, но тут дверь распахнулась, и стрелок кивком попросил пройти.

В небольшом кабинете мебель практически отсутствовала то ли случайно, то ли специально: канцелярский стол, два стула, табуретка у стены напротив стола да старый, неведомо откуда притащенный несгораемый шкаф. За столом сидел плотный мужчина средних лет в потертой кожаной тужурке, правее его, с торца, — белесый молодой человек в очках и тоже в тужурке, но студенческой. Старшов остановился у порога, коротко доложил, кто он и по какой причине прибыл. Пожилой молча — здесь, судя по всему, лишних слов не тратили — взял поданные бумаги.

— Присядьте.

Документы он скорее рассматривал, чем читал, так, во всяком случае, показалось Леониду. Изредка его что-то привлекало: он показывал строчку белесому студенту, и тот аккуратно выписывал

ее на отдельный лист.

— Распишитесь, — наконец сказал старший.

— Я все подписал.

— Вторично. «Еще раз подтверждаю». И подпись.

— Слушайте, зачем вся эта канцелярия? Я — офицер, на меня заведено «Личное дело» еще с юнкерского.

— Адреса родных точно указаны?

Его даже не слышали. Просто пропускали слова мимо ушей, как чириканье.

— Я заинтересован в том, чтобы моя семья получала положенное мне денежное содержание.

— Распишитесь. Дату поставьте.

Старшов подписал, поставил дату, отложил ручку.

— Могу быть свободным?

Старший неожиданно протянул через стол руку. Пожимая, чуть придержал:

— С товарищем Грошевым давно виделись?

— С Грошевым? — Леонид пытался припомнить, кто это такой. — Вообще не виделся.

— Идите.

Старшов привычно развернулся, шагнул к дверям. Уже взявшись за ручку, не выдержал:

— А кто это — Грошев?

Ответа он не получил.

3

Слухи в России рождаются не столько из жажды познания, сколько из недоверия к начальству. Недоверие существует всегда, но во времена относительного покоя носит характер этакого хитроватого прищура, следствием которого являются неизвестно где и как возникающие и вполне достоверные сведения о трехголовых младенцах, самовозгораниях от лишней чарки или разного рода видениях. Однако стоит государству зашататься, как туг же народную толщу пронзают известия, что царица предается блуду, генералы сплошь изменники, царь хлещет горькую, а место невразумительных видений внезапно занимают провидцы и предсказатели. Но ежели державу и впрямь начинает трясти, приходят самозванцы, заговоры, знамена иных расцветок, государь отрекается от престола, а места провидцев занимают пророки с безумными глазами. Тогда слухами переполняется вся земля русская, волны их раскачивают державный дредноут, Россия перестает глубокомысленно курить на завалинках и начинает бродить в обнимку со слухами и топором за поясом. И перестает верить

в Бога или, наоборот, неистово ищет его, если до сего не признавала.

Старшов не верил ни в какие слухи не в силу избранности, а по причине трехлетнего окопного бытия. Он привык отвечать за себя и за солдат, привык исполнять приказы, доверял сведениям официальным и пресекал панические новости подчиненных, пока обладал командирской властью. Это уже стало привычкой, но петроградские слухи никак не могли его миновать. Он варился в них, как варились все: что-то попадало внутрь, горчило и оседало, что-то он решительно отталкивал от себя, не замечая, как скапливается в нем неизвестно откуда взявшаяся досада и неуверенность. И неуверенность раздражала куда больше, потому что он понимал ее причину: неосведомленность. Его ли одного окружали таинственностью или она была равной для всех — Леонид разобраться не мог, но Затырина не выпытывал. Какая-то недосказанность появилась в их отношениях, но Илья Антонович помалкивал, а Старшов самолюбиво воздерживался от вопросов и потому вскоре оказался в ситуации, к которой был не готов.

Ситуация объяснялась просто: проведя довыборы в Учредительное собрание, большевики

набрали едва-едва четверть голосов. Уже предварительные подсчеты показывали, что ставку на демократическое развитие общества делать нельзя, что Всероссийское соборное представительство не просто изберет другую власть, но способно вообще отодвинуть большевистскую партию за грань политической борьбы, припомнив ей и подрывную работу на фронте, и попытку июльского путча, и октябрьский переворот, и закрытие газет, и аресты, и многое, многое другое. Предстоящее Учредительное собрание означало крах всем надеждам, мечтам и иллюзиям: Россия была против.

Неопытной демократии свойственна восторженная поспешность куда в большей степени, чем вкусившему власти меньшинству, организованному к тому же на жестких законах единой партийной дисциплины. В конце ноября, не дожидаясь конца выборной кампании, 127 уже избранных депутатов провели трехдневное заседание вместе с бывшими членами Временного правительства всех предыдущих кабинетов. Избрали оргкомиссию, временный президиум, оговорили повестку дня, а 30 ноября были разогнаны под предлогом неправомочности. При этом власти арестовали многих экс-членов Вре-

менного правительства, а Совнарком на всякий случай лишил кадетов права участия в грядущем Учредительном собрании. Левые эсеры, входящие в советское правительство, голосовали против, но добились лишь того, что Всероссийский центральный исполнительный комитет провел заодно и декрет о праве отзыва депутатов, если они будут в любой форме призывать к свержению ныне существующего режима.

Большевики дальновидно и решительно упреждали возможные неприятности: 12 декабря они провели заседание своей фракции, где утвердили тезисы Ленина касательно проведения Учредительного собрания, которые были обнародованы газетой «Правда» на следующий день. Принятый документ недвусмысленно предупреждал о возможности срыва самого собрания, а в случае крайней необходимости — и насильственного прекращения его работы. Насторожившиеся демократы тут же создали «Союз защиты», утвердив на конференции план всенародной манифестации. В ответ власти объявили Петроград на осадном положении, назначили Чрезвычайную комиссию по поддержанию порядка и Военный штаб по охране города. Таким образом, противостояние полярных сил, разделенных

непреодолимой баррикадой различного подхода к будущему России и абсолютно несовместимого понимания самой сути демократии, наметилось еще до самого открытия Учредительного собрания, назначенного на 5 января 1918 года. При этом демократы всех направлений уповали на авторитет доброго слова и логичных доводов, а партия большевиков — на силу, организованность и моряков с проверенной «Авроры».

Слухи о столь различной подготовке призванного решить судьбу России Учредительного собрания наэлектризовали атмосферу столицы, но Старшов отталкивался от них, как мог. Кроме того, с легкой руки Николая Ивановича Олексина он упорно не читал газет, полагая, что они не способны что-либо дать офицеру, кроме полной дезориентации, и потому разбираться ему пришлось, так сказать, на месте событий, без суфлера, не зная ролей действующих лиц, а тем паче — массовки.

Так бы он и отсиделся в молчании, если бы как-то во время перекура к нему не подсели пятеро любопытствующих во главе с разбитным Петькой.

— Как ты, товарищ военрук, насчет Учредиловки мыслишь? Вроде за него мы Керенского

скинули, потому что сознательно он волынил и обманывал трудовой народ.

И здесь можно было ответить кратко и «в духе», но духа этого Старшов уже не выносил. Несправедливость он всегда воспринимал чрезвычайно болезненно, сама мысль о ней разъедала его, лишая равновесия и спокойствия. И — выговорился. Наконец-то откровенно выговорился, восприняв обращение подчиненных как доверие, поиск истины, справедливости и порядка, к которым стремился сам.

4

Зима была злой и ранней, и Старшову казалось, что пришла она еще в октябре. Несмотря на морозы, сырой ветер дул без устали, и по всему Питеру желто светили костры. Затырин раздобыл и папаху, но Леонида пронизывало до озноба к концу занятий. А с дровами стало совсем худо, в домах уже задымили железные печки, тут же окрещенные «буржуйками»; их огонь пожирал не только окрестные заборы, но и мебель, обшивку стен и даже книги.

— Новые напишем, — говорил Затырин. — Получше этого старья.

Он стал молчаливым и озабоченным. Часто

куда-то отлучался, оставляя Леонида наедине с отрядом, но там недоразумений не возникало, потому что подвезли патронов и красногвардейцы яростно лупили по мишеням. Леонид ни о чем его не расспрашивал, скупо докладывая о делах.

— Теряем пролетарскую бдительность, — неожиданно сказал Илья Антонович после его отчета о последних стрельбах. — Ты учи их, строго учи. Кадеты, вон, зашевелились.

Об объявлении партии конституционных демократов («кадетов», как их называли в связи с повальным увлечением сокращениями) врагами народа Старшов узнал из разговоров в отряде. Известие настолько ошеломило его, что он, вопреки обыкновению, прочитал «Правду», в которой был напечатан Декрет совета народных комиссаров. Действительно, в газете говорилось и о «врагах народа», и о лишении этих «врагов» права участвовать в грядущем Учредительном собрании. Это не укладывалось у него в голове, но расспрашивать Затырина не хотелось. Что-то изменилось в их отношениях, и это «что-то» Леонид воспринимал как растущее недоверие, хотя внешне почти все оставалось по-прежнему. Настороженность в свой адрес он ощущал и ранее, пройдя за два месяца добрых полтора десятка допросов и со-

беседований, бесконечных заполнений одних и тех же опросных листов и писаний собственной биографии. Но то была настороженность сверху, которую он, как офицер, еще мог понять. Теперь он ощущал недоверие собственного командира, что, с его точки зрения, никак не могло способствовать боеготовности отряда. И поэтому, когда Илья Антонович первым помянул о кадетах, Старшов решил кое-что выяснить.

— Могу допустить, что какие-то личности организовали заговор против Советов. Или намеревались это сделать, что, вероятно, точнее. Но объясни мне, Илья Антонович, при чем же здесь вся кадетская партия? Где-нибудь в каком-нибудь там Царево-Кокшайске…

— При том! — гаркнул вдруг обычно негромкий Затырин. — Уж больно ты какой-то тихий, Старшов. Газет не читаешь, на собрания сочувствующих не ходишь — какая у тебя позиция?

— У меня не позиция, у меня — вопрос. Как можно без суда и следствия объявлять целую партию врагами народа? Прощения прошу, но это похоже на политическую провокацию.

— Раз не с нами, значит против нас.

— Нейтралитета не допускаешь?

— Никакой середки! Или — или. Такая установ-

ка нашей партии и нашей советской власти. В кустах отсидеться надумал, Старшов?

— Я три года в окопах отсиживался.

— Царя-батюшку защищал? Кончилась кошмарная жизнь, понял? Теперь мы — власть, мы, большевики и сочувствующие. А остальные — враги.

— Весь народ?

— Если не с нами… — Затырин неожиданно замолчал. Отхлебнул остывшего чаю — ужин заканчивали, за дверями испуганно шептались женщины, — сказал тихо: — Может, я чего-то не понимаю? Может, партстаж маловат — всего-то полгода, я в апреле вступил, как Владимир Ильич приехал. Народу — полная площадь перед Финляндским. И все хотели приветствовать, а трибуну построить забыли, с броневика пришлось говорить.

— Ленин последним выступал?

Старшов где-то слышал о речи с броневика. То ли в окопах, то ли в госпитале. Слухи бродили по России, как души погибших, нашептывая, пугая, на что-то надеясь. И в Леониде бродили тоже, брагой бродили, творя что-то новое незаметно для него самого, и сейчас вдруг хмелем ударили в голову.

— Так ведь сперва приветствовали. От имени Временного, товарищи по партии. Потом — меньшевик какой-то, помню еще, солдат о деревне говорил. Ну а Ильич с речью обратился, когда все отговорили. — Илья Антонович усмехнулся. — Понял я тебя, Старшов, понял. Значит, хочешь сказать, что и кадеты его приветствовали? Да, выходит, что так. Почетный караул на перроне был построен, офицер саблей салют махал. Только что из того? Тогда товарищ Ленин им верил.

— Так не товарищ Ленин рапорт кадетам отдавал, а кадеты — Ленину. Значит, это они ему верили, а он мог и не верить. Ну-ка, сам пораскинь, Илья Антонович.

Затырин молчал. Думал он неторопливо, основательно, и Старшов его не торопил. Он и сам-то не понимал, что происходит, но встреча на Финляндском вокзале, о которой почему-то вспомнил хозяин, стала для него понятной: Ленина ожидали прежде всего — с надеждой. А потом… Потом был темный для Старшова провал, ночь в октябре, до которой он не доехал, и Декрет Совнаркома, объявлявший кадетов врагами народа. От торжественного сабельного салюта командира почетного караула до политической анафемы — за полгода…

— Я — большевик, рабочий человек, я ничего скрывать не хочу. — Затырин почему-то решил встать при этих словах, но глядел не на Леонида, а в стол. — Военрук ты, Старшов, хороший, тут и спору нет. Знающий, твердый, с опытом, с характером. И постоялец, как говорится, лучше не надо. Тихий, вежливый, водки не пьешь, бабами, извиняюсь, не интересуешься. Дочку, вон, мою так ни разочка и не потискал, она уж и матери жаловалась: «Я, мол, специально ему дверь отворяю».

— Ты не отвлекайся, Илья Антонович.

— А я и не отвлекаюсь, тут все — в одну строку. И написано в той строке одно слово: «чужой». А вот претензий у меня к тебе нет, Старшов, никаких претензий, кроме, может, одной попыточки. Ну ладно, в объяснении я напишу, что мы характерами не сошлись. И ты это подтверди, если спросят. Дескать, невыносимый у Затырина характер.

Затырин вздохнул, посуровел и сел на место, все так же глядя в стол.

— Опять — в офицерский резерв?

— Нет. — Илья Антонович впервые поднял глаза, и Леонид подивился растерянности его взгляда. — Я тебя от товарища Дыбенки получил, я тебя товарищу Дыбенке и отошлю. С благодар-

ностью в письменном виде.

— Но почему вдруг, Илья Антонович, почему? Мы неплохо сработались, отряд не жалуется…

Старшов замолчал, лицо его вытянулось, огрубело, обозначив жесткие скулы. Он не хотел никаких перемен, он уже понял основной закон этого времени — «лучше прежнего не будет» — и страшился всего нового.

— Почему? — Затырин вздохнул и опять опустил глаза. — Потому что переспоришь ты меня однажды, Леонид Старшов. Чую, что переспоришь, ребята рассказывали. А тогда мне — не жить.

Через неделю Старшова откомандировали в распоряжение Дыбенко. Без всяких объяснений, но с пространной благодарностью. Он прибыл «в распоряжение» в тот же день, однако Дыбенко его не принял. Насколько Леонид понял, Павел Ефимович получил задание, связанное с предстоящим открытием Учредительного собрания чуть ли не от самого Ленина, и тут уж было не до бывшего военрука. Его прикрепили к столовой, определили ему место в караульном помещении, но ничего не поручали, не приказывали и вообще вроде бы забыли о нем. Все были очень озабочены, неразговорчивы и недоступны; промаявшись

в полной неопределенности трое суток, Старшов проявил настойчивость и отловил-таки Железнякова.

— Да некогда мне тобой заниматься, Старшов. Тут, понимаешь, вот-вот такое может произойти, что — ахнем.

— Я откомандирован в распоряжение Дыбенко. Между прочим, с благодарностью. И хочу доложить лично.

— Настырный ты мужик, Старшов, — вздохнул Анатолий. — Ну, куда тебя? Со мною сочувствующую молодежь агитировать? Так ведь насчет благодарности — это в одной бумажке. А в другой сказано: «момент разъясняет неправильно». Значит, нельзя тебе агитацию доверять.

— В какой другой? — опешил Старшов. — Что дали, то я и передал. Объяснение Затырина, приказ о благодарности.

— Всякое объяснение свою тень имеет. — Анатолий весело улыбнулся. — Умный-то ты умный, а кумекать не умеешь. Учись, пока швартовы не отданы.

На том они и расстались, однако на следующий день Железняков сам разыскал Леонида.

— Вот тебе мандат, адрес там указан. И вот тебе пакет от Дыбенко. Найдешь на линкоре Арбузова,

передашь пакет в собственные руки и добьешься, чтоб Арбузов двинул вооруженный отряд к Таврическому дворцу не позднее третьего января.

— А если не добьюсь? — хмуро поинтересовался Леонид, пряча пакет за пазуху.

— Если не добьешься, Гарбуз тебя за борт выбросит. В лучшем случае.

— А в худшем?

— Хлопнет, — не задумываясь, сказал Анатолий.

И безмятежно улыбнулся.

5

Скупо освещенный линкор был молчалив и огромен, как айсберг. Даже когда окликнули с катера, который Старшов выбил с огромным трудом, долго размахивая мандатом, там ответили не сразу.

— Кто такие?

— Да тут какой-то. С мандатом от Дыбенко.

— На хрена?

— Давай, братишка, давай. Дело у него до Гарбуза.

— В шляпе дело?

— В бекеше. Военрук из бывших.

— Ладно, скажу Гарбузу. А там — как решит.

Катер успел пришвартоваться, пока вернулся вахтенный:

— Проходи, бекеша.

Леонид поднялся на борт. Трое матросов обступили его, изучающе разглядывая. В сумерках лиц было не разобрать, но Старшов уже не торопился. Дал поизучать себя, ожидая вопросов. Однако никаких вопросов не последовало, и он вынужден был напомнить:

— Мне к товарищу Арбузову.

— Товарищи в Смольном заседают. А здесь — граждане свободной республики. Сдай оружие.

Леонид молча протянул револьвер, вахтенный сунул его в карман бушлата, ни слова не сказав, загрохотал по палубе. Спустились по трапу, долго шли коридорами. Матросов встречалось много, но все расступались, равнодушно провожая взглядами. Наконец сопровождающий остановился, ткнул пальцем в закрытую дверь и неторопливо пошел назад. Старшов почему-то обождал, пока он не скрылся за поворотом, почему-то одернул и расправил бекешу и только после этого распахнул дверь.

В большом, с нависающим потолком кубрике народу оказалось немного: все умещались за столом. Вздрагивающий свет электрической лам-

почки с трудом пробивался сквозь густые слои махорочного дыма. Запомнив слова вахтенного, Леонид сказал:

— К гражданину Арбузову.

И протянул мандат здоровенному моряку. Однако тот отстранился, и мандат взял худой, невзрачного вида матрос в накинутом на узкие плечи бушлате. Это несколько озадачило Леонида: после многозначительного предупреждения Железнякова и строгого приема у трапа он ожидал встретить громилу Гарбуза с пулеметными лентами через могучую грудь, а перед ним сидел аккуратно причесанный чахоточного вида матросик едва ли не первого года службы.

— Опять Дыбенка объявился. Присаживайся, гражданин… — он заглянул в мандат, — Старшов. Что тебе велено?

— Пакет гражданину Арбузову. Лично.

Он еще раз перепроверил, кто из матросов носит эту фамилию и кого все именуют Гарбузом, потому что в речи невзрачного не было и намека на украинский акцент. И опять тот же чахоточный протянул руку. Старшову пришлось верить жесту: требование предъявить документ здесь было опасно, это он уже понял.

— Вслух читай, Гарбуз, — потребовал рослый.

— Если вслух зачитаю, курьера убрать придется.

— Не впервой.

— А если он безвинный? Может, товарищи Дыбенки вас так ничему и не научили?

Не ожидая ответа, Арбузов углубился в чтение письма, которое достал из конверта, предварительно изучив сургучную печать. Читал очень внимательно, неспешно, матросы молча дымили махоркой, а Старшов едва ли не впервые в жизни переживал состояние, близкое к ужасу. Ему не единожды случалось испытывать страх, но то бывало в боях, и он научился подавлять его, потому что всегда ощущал долг перед теми, кого вел за собой, кто вверял ему свои жизни. А здесь, в полутемном прокуренном кубрике, он почувствовал себя жертвой хозяев, каприз которых — нет, даже не каприз, поскольку и сам-то каприз есть проявление человеческое, а некое абстрактное, внечеловеческое решение, продиктованное непонятной, механической целесообразностью, — способен враз перечеркнуть его жизнь без всякого повода, просто так, по одному слову или движению бровей. И сопротивление тут бесполезно, как бесполезна мольба на эшафоте. Сердце его сжалось, а он не

решался глубоко вздохнуть и, чтобы снять дикое напряжение, протянул руку, взял со стола кисет с махоркой и клочок газеты и начал сворачивать цигарку, больше всего на свете боясь, что руки его задрожат. Но ему удалось не уронить ни крошки, свернуть цигарку, и тут рослый матрос, кисет которого он стянул со стола, чиркнул зажигалкой, продолжая глядеть на него с угрюмым удивлением. Леонид прикурил, затянулся, сердце отпустило, и он огляделся. Арбузов смотрел на него задумчиво и серьезно, последняя пара матросов, сблизив головы, дочитывала письмо.

— Как на духу, — сказал один из них, возвращая письмо Арбузову.

— Сначала вопросы. Для ясности, — сказал Арбузов. — Большевик?

— Нет.

— Сочувствующий им?

— Тоже нет.

— Значит, сам пришел к Дыбенке?

— Еще раз нет. — Старшов понял, что от него ждут объяснений, и коротко рассказал, при каких обстоятельствах он познакомился с Павлом Ефимовичем, уже сообразив, что того здесь за что-то очень не любят. И закончил: — Я передал пакет и выполнил приказ.

— А что разнюхать велели? — спросил рослый матрос.

— Просили уговорить вас принять участие в охране Таврического дворца. Об этом говорил Железняков. Нюх не по моей части, я — офицер.

— От кого охранять Таврический?

— Это мне неизвестно. Учредительное собрание все-таки.

— Может, кончим бодягу? — угрюмо поинтересовался рослый. — В камбузе бачками стучат.

— Ступайте, — сказал Арбузов. — Мне так любопытно, как меня уговаривать будут, что и есть не хочется.

— Пошли, братва. — Рослый встал, сграбастал свой кисет, но, подумав, бросил его на стол перед Леонидом и вместе с остальными вышел из кубрика.

— Значит, очень хотят, чтобы именно анархисты защищали Учредиловку, — помолчав, сказал Арбузов. — Анатолий — попугай: что Дыбенко вякнет, то он и прочирикает.

— Железняков сам анархист.

Арбузов усмехнулся грустно и мудро, как показалось Леониду. Может быть, так улыбался бы какой-нибудь сказочный дед, в сотый раз терпеливо разъясняя бестолковому внуку, что день

наступает совсем не оттого, что внук наконец-то пробудился от ночного сна.

— Ну, давай. Агитируй. Только сперва бекешу расстегни, жарко будет.

— Агитировать бесполезно.

— Зачем же шел?

— Приказ. — Старшов расстегнул бекешу. Арбузов быстро, но очень внимательно глянул в глаза:

— А не исполнишь его, потому что смерти боишься?

— Боюсь. — Леонид выдержал взгляд. — И все же скажу, что Учредительное собрание под угрозой срыва. Нужен порядок, а вы, как мне показалось, способны его обеспечить.

— Анархия — мать порядка.

— Слыхал.

— А понял? — Арбузов подождал ответа, но Старшов промолчал, поскольку этот основополагающий лозунг анархистов всегда представлялся ему бессмысленным. — Вижу, что нет. В любом государстве — при царе ли, при капитале или при большевиках — отцом порядка будет власть. В ее руках — кнут, застенок, виселица, и народ подчиняется от страха, а не из уважения. И мы, анархисты, отрицаем всякую власть. Не сразу,

конечно, не завтра, но скоро, как только основная масса идею нашу поймет. Мы построим мир без начальников, без полиции, тюрем, без всякого принуждения: большевики о том, что мы хотим сделать, даже врать не решаются. А мы построим!

Последнюю фразу Арбузов вдруг выкрикнул, и Старшову показалось, что глаза его сверкнули ледяным огоньком фанатизма.

— Мы построим такое общество, в котором люди будут соблюдать порядок и закон не потому, что сверху кнут, а потому, что внутри каждого уважение и гордость. Почему, спросишь? Потому что мы сами рождаем порядок. Не законы, не приказы, а люди, мы сами, и не власть — отец порядка, а анархия — мать порядка. Трудно уразуметь? Нужна разъяснительная работа, пример нужен. А главное, так то понять нужно, что народ ни в чем не виноват. Он привык веками жить под гнетом властей, а потому и обманывать их. И власть есть враг народа. Не кадеты, как объявили, а любая власть — всегда враг. А Железняк, — он пренебрежительно махнул рукой. — Форсит Железняк. В феврале красный бант нацепил, а когда немодно стало — черный: вот и весь его политический принцип.

Арбузов мучительно закашлялся, зажал впалую грудь. Вытер обильный пот, потянулся за кисетом.

— Чахотка у тебя, — вдруг сказал Старшов. — Не курил бы.

— Дым прогревает. Да, насчет Дыбенки, для сведения. Как он нас, флотских, в июле за демонстрацию агитировал. Пять раз слово брал: мол, опять мирная демонстрация, братва, но чтоб с оружием. Насчет оружия мы сразу отмели: провокация. Однако пошли многие. А что вышло, сколько братвы погубили? И когда он в октябре опять насчет Зимнего стал давить, Центробалт сказал: баста. И балтийцы не пошли. Одна «Аврора» да Гвардейский экипаж. Если большевики тоже за Учредиловку, так зачем было Керенского валить? Но им же не Учредительное собрание нужно, им власть нужна. А народ Учредиловку на данном этапе поддерживает. Так кто будет против, соображаешь? Братва почему тебя приняла без доверия? Потому что ты третий оттуда, от Дыбенки. Первый кое-кого у нас сманил: две роты к Таврическому уже ушли. Ну, второго сразу и стрельнули, как только он рот разинул. А ты… Нет, ты не врешь. Свободен.

Леонид встал. Чуть помедлив, спросил, с усили-

ем глянув в глаза Арбузову:

— Я выполнил приказ?

— Отвечаю положительно.

— Тогда распишись на конверте.

— Значит, с двух сторон тебя Дыбенко зажал? — Арбузов поднялся, надел бушлат в рукава. — Ну, от меня он подарка не дождется. — Расписался на конверте, протянул Старшову. — Катер ждет тебя? Идем, провожу.

Старшов помедлил, подумал, застегивая бекешу. Потом сказал, вдруг решившись:

— У меня наган отобрали. А я с ним всю германскую.

— Наган вернут, но ты Дыбенко скажешь, что никакой опасности для Учредительного собрания мы не видим, а ихнюю авантюру заранее осуждаем и что настоящие анархисты против народа никогда не пойдут. Слово офицера с тебя беру. Пошли, пока братва бачки доскребывает.

Глава четвертая

1

— Психический он, этот Арбузов, — сказал Дыбенко, когда Старшов, ничего не скрывая,

доложил ему о посещении линкора. — И психически вредно влияет на балтийцев, и я поставлю вопрос. И все его факты — наглая ложь.

Он был недоволен, недовольства не скрывал, но и на Леонида его не выплескивал. Сесть, правда, не предложил, долго молча хмурился, а потом буркнул, не глядя:

— В распоряжение Железнякова.

— Значит, вместе порядочек на собрании наводить будем, — улыбнулся Анатолий, когда Леонид явился к нему. — Ладно, так решим. С приглашенными я работу продолжу, а ты дворец изучишь и составишь для Дыбенко схему караулов. Учти, не исключено, что товарищ Ленин будет на открытии.

Новый год Питер встречал двояко: либо не обращал внимания на его приход, либо, наоборот, изо всех сил веселился с тем надрывом, который уже становился чертою характера, хотя его привычно выдавали за лихую бесшабашность. В центре открыто витийствовали о — вот-вот, еще несколько дней, господа! — неминуемом крахе советской власти и уходе большевиков с политической арены. Поднимали тосты, более похожие на программные речи, члены запрещенной кадетской партии. В многочисленных привок-

зальных трактирах гуляли без речей и тостов, но между возлияниями звучали слова о сахаре, муке, топливе, измеряемых вагонами. Новый год обещал, но большевики, слушая эти обещания, ни во что не вмешивались, наблюдали только за порядком, разбросав для этой цели множество рабочих, солдатских и матросских патрулей.

Старшов в три новогодних дня вместе с комендантом и двумя приданными ему матросами осмотрел помещения дворца, чердаки, лестницы, переходы и подвалы. Рассчитал и составил схему караулов, добился согласия Железнякова и только после этого доложил Дыбенко. Павел Ефимович молча выслушал доклад, с некоторым равнодушием ознакомился со схемой и расписанием постов и сказал:

— Наша фракция депутатов выделила товарища по этому вопросу. Завтра покажешь ему дворец.

— Что делать потом?

— Что Анатолий скажет. Он отвечает за порядок в целом, ты — только за безопасность депутатов.

Старшов возвращался в Таврический дворец подавленным. И не только потому, что из разговора с Дыбенко окончательно уяснил, что отныне он, боевой офицер, оказался на побегушках у

морячка с «Авроры», хотя самолюбие его и было задето. Нет, главное заключалось в ином: что-то плелось вокруг ожидавшегося Учредительного собрания, что-то весьма серьезное, во что его не желали посвящать. И усиленные караулы, и странное разделение обязанностей между ним и Анатолием, и, наконец, появление еще одной фигуры, отвечающей за проведение общероссийского собора, — все убеждало его в том, что власть не столько думает об охране собрания, сколько озабочена самим фактом этого собрания. Что они с куда большей тревогой чего-то ждут, стремятся что-то пресечь, не допустить, направить в желаемое русло.

В Таврическом дворце его удивило скопление шумной молодежи. Преобладали работницы в красных косынках, юноши в рубахах навыпуск, но попадались и гимназистки, и ученики фабричных училищ, и безусые приказчики с безусыми конторщиками. Стоял невообразимый шум: молодые люди громко хохотали, дудели в жестяные трубы, свистели глиняными свистульками, колотили в бубны и оглушительно грохотали трещотками.

— Тихо! — крикнул Железняков, увидев Леонида. — Стоп машина, ребятки, проверили

инструмент и будет. Поднимайтесь по этим лестницам и занимайте места на балконе. Без шума! Шуметь начнем, как я сигнал подам.

Девушки и юноши стали подниматься боковыми маршами, вестибюль быстро пустел. Железняков был очень доволен, что-то насвистывал. Спросил самодовольно:

— Видал, каких орлов я сагитировал?

— А зачем столько шума?

— Спектакль готовим для развлечения собрания, — улыбнулся Анатолий. — Пойдем в зал, репетировать поможешь.

В иное время Старшов послал бы матроса подальше, но приказ обязывал исполнять все распоряжения неутомимого Железнякова. А Леонид привык исполнять приказы точно и в срок, вне зависимости от того, нравятся они ему или нет. И поэтому молча проследовал за своим начальником, но по иной лестнице, ведущей к залу, где должно было происходить Учредительное собрание.

В зале было пусто и чинно, только с балконов доносился неясный гомон: там уже расселась разношерстная молодежь. Железняков поднялся на трибуну, и гомон тотчас же смолк.

— Слышно меня?

Он не повышал голоса, но акустика в зале была великолепной, и балконы согласно зашумели. А потом молодежь опять примолкла, потому что было интересно, что последует далее.

— Сейчас проверим, что я услышу, — сказал Железняков. — Старшов, стань на трибуну, а я в зале сяду. А ты говори, будто… Ну, будто Чернов.

— Я — Старшов. Ты перепутал.

— Не обижайся, — поморщился Анатолий. — Мы важное мероприятие провернуть должны, личное поручение Якова Михайловича, если хочешь знать. Ну, хорошо, не Чернов ты, шутил я. Но газетку почитать с трибуны можешь?

— Я не читаю газет.

— Придется, — жестко сказал Анатолий, подавая ему газету. — Концерт начинать, как я руку подниму, все слышали? — Он прошел в зал, сел на депутатское место. — Давай, Старшов.

Леонид с трудом сдерживал себя. Глупейшая инсценировка Учредительного собрания («ты — Чернов»), затеянная на глазах десятков юнцов и девиц непонятно с какой целью, больно била по самолюбию. Но отказаться было невозможно, спорить с Железняковым в присутствии посторонних он считал недопустимым и потому начал бубнить то, что попало на глаза:

— «Каждый из товарищей солдат, который едет в деревню, должен уметь ответить крестьянам на все вопросы…»

— Хорошо! — крикнул Анатолий. — Приготовились на балконах! Продолжай, Старшов.

— «…Перед отъездом в деревню заходите в инструкторский отдел Военной организации при ЦК РСДРП (Петроград, Литейный, 20, от одиннадцати до шести), где вам дадут письменные ответы…»

Железняков поднял руку — и мгновенно вой дудок, грохот трещоток, свист, рев и топот заглушили слова Леонида. Он растерянно замолчал, но Железняков погрозил кулаком, и, повысив голос, он забубнил снова, не слыша ни самого себя, ни дребезжания подвесок люстр, ни звона стекол. Он только видел, что Железняков прямо-таки помирает от хохота, раскачиваясь в кресле.

2

Уверенности, что он понял, с какой целью затевается эта шумная балконная кампания, у Старшова не было. Правда, он потребовал от Анатолия объяснений, но Железняков весело ответил, что так будут выражать свои чувства простые граждане.

— Надеюсь, после выступления депутата?

— Ну о чем разговор, Старшов!

Анатолий обезоруживающе улыбался, от серьезных разговоров уходил, отшучивался, прикидывался простачком-морячком, что, надо признаться, делал артистически. И Леонид вскоре отстал от него, поняв, что ничего не добьется. А сомнение осталось, точило его, и он бездумно и бесцельно слонялся по лестницам и переходам. Там его и нашли.

— Тебя спрашивают.

Леонид вспомнил о большевистском депутате, с которым обязан был согласовать расстановку караулов. Спустился: по вестибюлю прохаживался мужчина в столь дорогом костюме, что его хотелось называть господином.

— Вы меня спрашивали?

Посетитель обернулся, и Леонид оторопел. Перед ним стоял бывший прапорщик Дольский, год назад дезертировавший с фронта.

— Здравствуйте, Старшов.

Дольский не удивился, увидев его, а Леонид, наоборот, настолько растерялся, настолько был погружен в собственные размышления, что спросил весьма глуповато:

— А разве вы — не эсер?

— Стали интересоваться политикой?

— Политика кругом. — Старшов уже пришел в себя и даже обрадовался, что депутат высокого собрания оказался знакомым. — Очень рад. Поверьте, Дольский.

— Поверьте — слово вчерашнее. Привыкайте к сегодняшнему: проверьте. Мне, кстати, поручено проверить ваши старания.

— Вот схема…

— Место действия, — оборвал Дольский. — Ведите. Все переходы, лестницы, сообщающиеся помещения.

Тон не предполагал вопросов, и Старшов повел большевистского делегата, скупо, но точно объясняя, куда ведет лестница, коридор или дверь. Дольский почти не задавал вопросов, но всегда уточнял, какая часть здания наиболее изолирована. Когда закончили обход — а он длился долго, — Дольский пожелал пройти в зал заседаний, где внимательно осмотрелся.

— В левую часть, насколько я понял, ведут три выхода. Там поставить усиленные караулы.

— Я не предполагал, что избранные законным путем депутаты…

— Покажите схему.

Старшов достал схему караулов, развернул. Дольский всмотрелся, ткнул пальцем:

— В этих трех переходах — усиленные команды. Если это нарушает ваши демократические принципы, я дам распоряжение Дыбенко. Судя по вытянувшемуся лицу, есть вопросы?

— Скорее ощущение, что вы боитесь демократии.

— Демократия безопасна, когда есть демократы. Но в России их нет, не считая кучки говорливых интеллигентов.

— Однако депутаты Учредительного собрания избраны всенародно, следовательно, у них равные права. А мы ставим часовых, запрещаем пользоваться третью помещений. Как все это прикажете понимать, гражданин депутат?

— Как данность, продиктованную необходимостью.

— Какой необходимостью? Какой? Откуда она появилась?

Дольский в упор глянул на него, и Старшов опять — как тогда, еще на фронте, — не выдержал холодного, ровно ничего не отражающего взгляда.

— Вы вправду наивны, Старшов, или успешно прикидываетесь?

— Мне что-то не нравится, а что именно — не понимаю. Я вам на ходу рассказывал о вчерашней

репетиции, которую провел Железняков, а вы не соизволили даже удивиться.

— Вам показалось, что это репетиция.

— Я видел и слышал.

— Всегда считал вас образцовым офицером. Обидно разочаровываться.

— По причине?

— Когда начальник говорит «вам показалось», дисциплинированный офицер отвечает «так точно».

— Благодарение Богу, вы не мой начальник.

— Как знать, Старшов, как знать. — Дольский помолчал. — Добровольно власть отдают только в литературе. Король Лир не пример для подражания, а — предостережение. Перечитайте на досуге.

— Нынешняя власть России официально именует себя Временным Революционным правительством, — упрямо сказал Старшов. — Следовательно, постоянное законное правительство может сформировать только сам народ через уполномоченных им на то депутатов.

— Заладили: народ, народ! — взорвался Дольский. — Народ — это фикция, необходимая господствующим классам. Впрочем, завтра вы услышите наше мнение по данному вопросу.

России нужна не абстрактная власть народа, а конкретная и твердая власть Советов. А для того чтобы вы не пропустили выступления нашего товарища, попрошу вас не покидать пределов Таврического дворца. Ни под каким видом. Что же касается задания, то вы отлично с ним справились. Не забудьте только о дополнительных караулах на всех входах в помещение, которое займет большевистская фракция, хотя это и противоречит вашим представлениям о демократии. Провожать не надо, я помню дорогу.

Он, не оглядываясь, направился к выходу.

— Прошу прощения, — неожиданно для самого себя сказал Леонид. — Разрешите обратиться не как к большевику и даже не как к депутату, а… по-окопному.

Дольский молча смотрел на него неживыми глазами, ожидая вопроса. Спросил, не дождавшись:

— Что вас не устраивает, Старшов?

— Все. Все, что сейчас происходит. Что-то очень изменилось, причины поменялись местами со следствиями, и я… Я перестал понимать ход событий.

— Ход. — Дольский чуть улыбнулся. — Знаете, почему японцы разгромили русскую эскадру в

Цусимском проливе?

— Говорят, Рожественский…

— Японцы первыми уверовали в силу целесообразности, отбросив все догмы. Честь, взаимовыручка, благородство — мумии прошлых веков. Исходя из этой мертвечины, русский флот ориентировался на самый тихоходный дредноут, то есть на отстающего. А японцы бросили свои тихоходы, помчались вперед на сверхсовершенных крейсерах и заперли Рожественского в месте, неудобном для маневра. Они открыли закон будущего: хватит церемониться с неспособными, тихоходными, больными хронической импотенцией. Побеждает тот, кто не обременен сентиментальностью.

— Не обременен честью, вы хотели сказать?

Дольский молча вышел из зала, даже не кивнув на прощанье.

3

Утром 5 января в Таврический прибыл Дыбенко. И сразу же вызвал Старшова:

— Твое дело — караулы и порядок в зале. В зале, ясно?

— Караулы в зале? А вестибюль и выход?

— Там другая охрана, и ты зря не мелькай.

— Приказ ясен. Разрешите идти?

— Дворец не покидать без моего личного разрешения. Категорически.

— Я — под арестом?

— За неисполнение можешь и под арестом оказаться.

Леонид привык подчиняться приказам, но воспринял последний как еще один знак той нервозности, которая кругами расходилась по России то ли в связи с открытием Учредительного собрания, то ли от пустопорожних переговоров в Брест-Литовске, то ли от растущей активности юга. «На Дону буза начинается», — сказал ему Железняков, когда на балконы с хохотом и грохотом поднимались его странные гости. Сегодня они прошли туда же тихо, без бубнов, дудок и трещоток, и сидели тихо, но Леонид догадывался, что так распорядился Дольский. Или сказал кому-то, кто распорядился. И опять все упиралось в каких-то таинственных людей, которые дирижировали событиями, оставаясь в тени и издавая те декреты, которые считали необходимыми, исходя из ситуации, а не закона. Он честно служил власти, но ныне стал ощущать ее не как власть, а как некую группу, преследующую свои цели и идущую к ним напролом, без оглядки на законы

и традиции. А он не знал и не понимал этих целей, покой его был нарушен, и бывший поручик Старшов стал плохо спать по ночам, хотя даже на фронте с ним никогда такого не случалось.

Вместе с Железняковым он спускался в подвалы, когда вдруг ясно уловил далекое пение: хор напряженных голосов пел «Варшавянку».

Старшов остановился, вслушиваясь, но тут появился отставший Железняков, облапил, ослепляя улыбкой:

— Шагай, Старшов, шагай. Дыбенко шагать велел.

— Поют, кажется?

— Ликуют.

Он подталкивал вниз, в глухие подвалы, которые зачем-то еще раз велел осмотреть Дыбенко.

— Глухо там, — сказал Старшов. — Все выходы надежно заперты, у двух, что ведут во двор, латышская охрана. Я говорил об этом Павлу Ефимовичу, а он зачем-то вторично приказал.

— На товарища Ленина первого января покушение было, слыхал? — весомо понизив голос, спросил Анатолий. — Враг не дремлет, Старшов, я и за мины в подвалах не поручусь. И ты не поручишься, а надо поручиться. Обстановка требует.

Старшов слышал, что машину Ленина обстре-

ляли с тротуара, но никак не мог взять в толк, кому это было надо накануне открытия долгожданного Учредительного собрания. Тем более что Ленин сидел так, что стрелявший и не мог его поразить: легко ранен был только какой-то Платтен. С точки зрения чистой логики, что-то в этом покушении его настораживало: не то, что покушавшиеся так и не были найдены. Смущала какая-то гимназическая неподготовленность самого покушения, его спонтанность и явно непрофессиональное исполнение: офицер бы не промахнулся, да и стрелял бы не в одиночестве, а эсеровские боевики прибегли бы к привычной бомбе. Все говорило за то, что террорист был либо отчаявшимся фанатиком-одиночкой вроде Каракозова, либо… Либо вообще не собирался никого убивать. Однако Леонид держал свои выводы при себе не потому, что понял время конца задушевных бесед, а потому, что внутренне ощутил его, еще ничего не успев сообразить. Но сейчас не сдержался:

— Странное покушение, ты не находишь?

— На что намекаешь? — Железняков даже остановился.

— Есть закон: ищи, кому выгодно. А кому это выгодно накануне открытия?

— Для офицерской сволоты законы не писаны, Старшов.

— Офицерская сволота семь пуль в «яблочко» укладывает. Могу показать.

— Но, но!.. — В спину Старшова уперся ствол маузера. — Не бузи. Давай наган.

— Ты что, Железняков?

— Давай, давай, у меня — приказ. А то шлепну в подвале при попытке к бегству.

Шлепнуть он мог и без всяких попыток — в этом Леонид не сомневался. Молча потянулся к кобуре, но Анатолий перехватил его руку и достал оружие сам.

— Развлекаешься?

— Дыбенко велел тебя разоружить. Так, на всякий случай…

Из-за толстых стен глухо донесся залп, разрозненная стрельба. Оба замерли, прислушиваясь.

— Стреляют? Почему стреляют?

— Потом разберемся, Старшов, потом. — Железняков вздохнул, повертел наган, сунул его за ремень. — Наше дело — подвалы проверить, чтоб все аккуратно. Шагай, Старшов, шагай.

Леонид вытер пот, хотя на лестнице было холодно, а из глухих подвалов веяло ледяной сыростью. Он не испытывал никакого страха,

хотя разумом понимал, что выстрел в спину может грянуть каждое мгновение. Он ощущал злость, которая топила всякое ощущение страха, но выматывала настолько, что слабели ноги. И пошел вниз, ощупывая ступени этими, вдруг ослабевшими ногами.

4

Возвращались они часа через полтора, а может, и больше: Старшов потерял счет времени. Бессильная злость и ожидание выстрела измотали его вконец. Но выстрела так и не последовало, Железняков деловито осматривал все темные углы, балагурил, как всегда, но Леонид слышал только отдельные слова, не понимая, о чем он говорит и над чем смеется. Таскался по подвалам, а устал вдруг, устал до того, что почти лишился сил, когда они выбрались наверх.

— Обожди, — сказал он и сел на пол у окна в коридоре.

— Что с тобой? — участливо спросил Железняков и даже присел рядом на корточки. — Живот, что ли, схватило?

— Почему ты меня не застрелил?

— Приказа такого не было, — белоснежно улыбнулся Анатолий. — Ладно, отдыхай, я сам

Дыбенко доложу.

— Верни наган.

— Верну. Говорильня эта кончится, и верну. Честно, Старшов, слово балтийца.

Он ушел, а Леонид продолжал сидеть, прикрыв глаза. Потом он никак не мог вспомнить, сколько же времени он сидел, думал при этом или нет — все куда-то провалилось. Время, события, служба, которую привык исполнять. И очнулся тогда лишь, когда потрясли за плечо. Открыт глаза: над ним склонился балтиец:

— В зал иди. Дыбенко велел.

Старшов был на левой половине, где располагалась большевистская фракция, для которой Дольский требовал усиления караулов. Требование это выполнили, пока он приходил в себя: в коридорах и проходных помещениях толпилось много вооруженных матросов. Много людей оказалось и в зале, и они тоже были вооружены. Депутаты с утра заседали по фракциям, передние кресла и ложи пустовали, но в задних рядах сидело много солдат и рабочих, и почти все были с оружием. Они курили, громко разговаривали, ходили по залу, грохоча прикладами. На балконах расположилась молодежь Железнякова: там тоже шумели, но все гасло в солдатском гоготе.

Возле трибуны председателя стоял Дыбенко, и Старшов сразу же подошел к нему.

— Перерыв объявили, — сказал Павел Ефимович. — Скоро должен кончиться, почему и побеспокоил.

— А что это за публика?

— Народ, — жестко поправил Дыбенко. — Представители Солдатских комитетов.

— С оружием?

— Имеют право. — Он протянул нарукавную повязку.

— Надень.

— А если они…

— Вот и следи, чтобы никакого «если» не было. На то ты и распорядитель.

— Правые идут! — крикнул от дверей Железняков.

— Задержи!

— Не могу, Павел Ефимович! Не стрелять же…

Его оттеснили входящие, и он так и не закончил фразы. В голос выматерившись, Дыбенко вместе со Старшовым отошел к противоположным дверям.

— Помоги им рассесться. Строго по фракциям! А я нашим доложу. И чтобы без эксцессов тут!

Депутаты входили в зал неторопливо и даже

торжественно. Они шли на свои места, занимали их спокойно и с достоинством, и шумный зал примолк. Старшов стоял у дверей, наблюдая, как они рассаживаются, как им нехотя, с ворчаньем, а то и с руганью уступают кресла солдаты, то ли по ошибке, то ли из озорства занявшие депутатские ряды. Эксцессов, о которых на прощанье сказал Дыбенко, пока не было, и Леонид начал было успокаиваться, как вдруг взволнованный голос крикнул от середины правого крыла:

— Господин распорядитель! Господин распорядитель, прошу сюда!

Старшов подошел: на депутатском кресле развалился солдат в распахнутой шинели и сбитой на затылок мятой папахе. Он глуповато улыбался (опять это рыхлое тыловое лицо!), без малейшего смущения глядя снизу вверх на пожилого аккуратного депутата.

— У меня — мандат! — с ноткой отчаяния сказал аккуратный господин в далеко не новом костюме. — Вот, извольте.

— У меня тоже мандат. — Солдат покачал винтовкой. — Погромче твоего будет. — Сзади с готовностью засмеялись приятели. Только один неодобрительно покачал головой — пожилой, по виду бывший унтер: Старшов сразу выделил его.

Он не выносил солдатского хамства, предостаточно хлебнув его еще на фронте, но сдержался, стараясь говорить негромко и спокойно:

— Это депутатский ряд. Прошу освободить место.

— А ты кто такой?

Крикнули сзади, кто-то из приятелей солдата.

Но Леонид не стал искать его, а пояснил хмуро молчавшему унтеру:

— Я — распорядитель. Моя обязанность — рассадить депутатов и следить за порядком в зале.

— Плевал я! — заявил солдат. — Где хочу, там и сижу. Свобода!

— Не зарывайся, Трохов, — сказал унтер. — Порядок должен быть.

— А если я не желаю? — куражился солдат. — Что, тащить меня будешь? Жила у тебя не та!

— Жилы найдем. — Старшов оглядел зал: от дверей по проходу шли двое матросов. — Наряд!

Матросы остановились.

— Что там? — громко спросил один из них.

— Ладно, шутил я, понял? — Солдат нехотя поднялся, побрел вдоль ряда, волоча винтовку и наступая на ноги уже усевшимся депутатам.

— Благодарю вас… — начал было аккуратный депутат, но не успел ни закончить фразы, ни даже

сесть на освобожденное солдатом кресло.

— Господа!.. — отчаянно закричал оказавшийся у трибуны депутат в черном костюме. — Господа, предана демократия, предано наше честное имя!..

Сразу поднялся шум и грохот, в котором окончательно пропал напряженный голос депутата у трибуны. Солдаты в зале орали, грохотали прикладами, ожесточенно топали сапогами. Публика наверху, приведенная Железняковым, принялась неистово аплодировать и стучать ногами. Старшов уже ничего не слышал, хотел пройти вперед, но не решался, поскольку соседи активно поддерживали нахального солдата и могли вновь привязаться к аккуратному, чем-то очень похожему на уездного учителя (Леонид сам когда-то был таким) депутату.

— Тихо! — перекрывая шум, крикнул коренастый чернобородый господин. — Тихо, господа! Дайте же сказать депутату Соболеву, это его право, в конце концов!

Властный голос Чернова возымел действие: зал примолк, однако не настолько, чтобы можно было слушать без напряжения. Старшов улавливал лишь отдельные слова, редко — короткие фразы, но смысл понял сразу.

— …стреляли в демонстрацию рабочих… прямо в толпу, которая молитвенно пела революционные песни…

Леонид вспомнил спуск в подвал, далекую «Варшавянку», глухие залпы…

— …стреляли матросы без всякого предупреждения…

Снова резко возрос шум, топот, свист, грохот сапог и прикладов.

— …выхватывали лозунги и красные знамена… жертвы доходят до ста человек… Я требую создать комиссию…

И опять все утонуло в грохоте, свисте, улюлюкании. Гости в зале, на балконах и на галерке столь неистово кричали и топали, что даже Чернов не мог перекричать их: то ли на сей раз они шумели громче и слаженнее, то ли он надорвал голос. Депутаты в рядах, в президиуме о чем-то переговаривались, растерянность их росла с каждой минутой, но тут вдруг зал смолк почти одновременно, а через секунду все встали и бешено зааплодировали.

В правой от председательствующего ложе появился Ленин в сопровождении руководителей правительства. Старшов впервые видел его, но знал по многочисленным портретам, а сейчас

смотрел — и не узнавал. Знаменитая ленинская бородка оказалась какой-то неотросшей, встопорщенной и неоформившейся, сам он в желтом свете вполнакала горевших люстр выглядел почему-то небритым. Следом шествовало правительство, но Леонид узнал только Свердлова. Зал неистово аплодировал, пока Ленину это не надоело. Он махнул рукой — и все дисциплинированно примолкли.

— Вы требовали продолжения Учредительного собрания, господин Чернов, — с нескрываемым раздражением сказал Ленин. — Так продолжайте. Мы слушаем.

— Шум в зале, господин Ульянов.

— Шум оттого, что вы мямлите и тянете! — резко оборвал Ленин и сел. — И в этом, кстати, сущность всей вашей деятельности. Так называемой деятельности так называемых демократов.

Зал взорвался хохотом и аплодисментами. Но ненадолго, потому что на сей раз Свердлов предостерегающе махнул рукой.

— …недопустимый шум! — продолжал Чернов. — Вы сами только что убедились.

— Займитесь делом, и шум прекратится.

— Один вопрос, господин Ульянов. Вам известно, что возле Таврического дворца была

расстреляна мирная демонстрация граждан? Это новое девятое января.

— Правительству ничего не известно по этому поводу. Вечером нам доложат товарищи, и завтра Яков Михайлович изложит собранию и вам лично все факты. Что же касается исторических параллелей, то рекомендую господам депутатам быть корректнее. Пожалуйста, начинайте. Караул устал.

— Я требую слова, — громко сказал Свердлов и, не дожидаясь объявления, прошел на трибуну.

Зал, только что бушевавший несогласием, глушивший речи выступавших выкриками, топотом сапог, грохотом прикладов и несмолкаемыми аплодисментами галерки, дисциплинированно молчал.

— Советская власть, которую я здесь представляю, есть высшая форма демократии, ибо она выражает волю угнетенного большинства трудового народа. Эта воля нашла свое отражение в первых декретах Съезда Советов о мире и земле. На этом основании мы, большевики, требуем как утверждения этих декретов, так и безусловного признания власти рабочих, крестьянских и солдатских Комитетов, единодушно…

— Решительно протестую! — выкрикнули из

зала, из строгих рядов депутатов. — Мы, депутаты Учредительного собрания, избраны всем русским народом, всей Россией…

— Демагогия, гражданин Свердлов!

— Вы, большевики, узурпировали власть, но не гражданские права России!..

Возмущенные реплики депутатов звучали в том же, если не благоговейном, то почти ритуальном молчании зала, что при выступлении большевистских вождей становилось привычным, по крайней мере, в Петрограде. Старшов уже усвоил это, в известной мере оправдывал истоки бурного порыва, но сейчас не понимал, почему зал молчит, почему замерла галерка, послушная жесту Железнякова. Он посмотрел на ложу, в которой сидел Ленин, и увидел, что Владимир Ильич оглядывает зал с острым настороженным интересом, тоже, видимо, не понимая, что же происходит с подсадной публикой, почему она позволяет депутатам срывать выступление Свердлова. Возле ложи стоял Дыбенко и тоже молчал, хотя при этом часто поглядывал на Ленина, то ли определяя реакцию, то ли ожидая знака. Конечно, ситуация сложилась так, что шуметь вроде бы и не полагалось, поскольку «свой» все еще стоял на трибуне, но и позволять выкрики с

мест тоже было недопустимо, хотя сигналов на этот счет пока не поступало.

— Узурпаторы! — вскочил с места пожилой депутат. — Обманом захватив власть…

Вскочил он совсем рядом, и Старшов услышал отчетливый звук передернутого затвора винтовки. Глянул, увидел поднятый ствол, бросился туда, расталкивая солдат, наступая на ноги…

— Отставить!

Он выкрикнул команду автоматически, не ища слов, но солдат привычно оглянулся, и Старшов успел схватить винтовку за ствол и рвануть ее на себя. Что-то орали солдаты, с запозданием вдруг зашумела галерка, что-то выкрикивали депутаты, а Старшов и солдат с молчаливым злым упорством тянули винтовку в разные стороны.

— Распорядитель Старшов! — перекрывая шум, гаркнул Дыбенко. — Прошу ко мне! Ко мне!

Старшов отпустил ствол, погрозил несколько ошарашенному солдату пальцем по-учительски:

— Не сметь!

И пошел к Дыбенко, с удивлением глядя, как захохатывается Ленин, буквально сползая с кресла.

Дыбенко зачем-то вывел его из зала, покровительственно обняв за плечи:

— Молодец, решительно. Перекури, успокойся и назад. Главное, чтоб стрельбы не было. Пресекай неуклонно.

И сразу же вернулся в зал. Кто-то из его матросов дал Старшову закурить, спросил с любопытством:

— Жарко там?

Леонид не ответил. «Чтоб стрельбы не было», — сказал Дыбенко. Значит, она возможна? Значит, винтовки заряжены и в каждом подсумке — по пять обойм? Как же охрана могла пропустить в зал вооруженных, уже не признающих дисциплины людей, как, кто отдал приказ? И зачем, с какой целью? Просто попугать депутатов или и вправду открыть пальбу по личному разумению? «Пониманию момента», как они это теперь называют…

Когда он вернулся, его встретил иной шум, иная форма протеста, иное восприятие дозволенности. Судя по всему, его борьба с солдатом, первым передернувшим затвор, оказалась некой гранью, шагнув за которую, гости Учредительного собрания уже не нуждались ни в указаниях, ни в разрешениях, ни в дирижерских палочках Дыбенко и Железнякова. Веселый и одновременно какой-то облегченный хохот Ленина, открывшего для себя

нечто саморегулирующееся в этой солдатской стихии, был воспринят вооруженной половиной зала как индульгенция на все времена. Классовое чутье окончательно и весьма наглядно побеждало правовые законы и обязательства, массы оказались способными и впрямь если не управлять историей, так по крайности искривлять ее, принимая на себя всю ответственность перед миром и совестью. Необходимо только чутко прислушиваться к настроению масс, вовремя, то есть чуть раньше прочих, оформлять их вопли в ясные лозунги и смело выдавать эти лозунги за политику партии на митингах и собраниях, в речах и статьях. Ленин привык немедленно следовать за стремительным потоком собственных мыслей, а потому, вдруг забыв о собрании, не слушая и уже не слыша выступающих, пересел с кресла на пол и, полулежа, лихорадочно строчил в блокноте очередные тезисы. «Советы — это форма демократизма, не имеющая себе равной ни в одной из стран… Некогда, по сравнению с царизмом и республикой Керенского, Учредительное собрание было для нас лучше их пресловутых органов власти, но, по мере возникновения Советов, последние, конечно, как всенародные революционные организации, стали несравненно выше

всех парламентов всего мира…»

Мысли набегали друг на друга, слова выпрыгивали из строчек, а Владимир Ильич писал и писал, боясь упустить нечто важное, нечто из того оружия, которым можно фехтовать от имени народа на любой словесной дуэли.

А собрание шло своим чередом. Ораторы сменяли друг друга, и зал либо взрывался ревом, топотом и гамом, либо отдельными выкриками с мест, на которые уже никто не обращал внимания. Старшов, наконец-то получив конкретное задание вместо расплывчатых обязанностей «распорядителя», метался по проходам, заметив угрожающе поднятую винтовку или уловив среди шума и заглушающих аплодисментов галерки знакомый лязг затвора. Он уже не следил за ходом собрания, не замечал, кто за кем выступает, да и во всех выступлениях способен был лишь уловить, расслышать отдельные слова. Он был как в бою и ощущал себя как в бою, и волнение его было сродни тому, которое он совсем недавно испытывал там, в окопах, в сумятице боя, где не было и не могло быть никаких мелочей. Он метался по залу, не замечая ни откровенной усмешки Дыбенко, ни веселого хохота Анатолия Железнякова.

— Молодец, Старшов! Так держать!

И он верил, что он — молодец. Что успевает, что заставляет опускаться угрожающе поднятые винтовки, что выполняет высокую миссию реальной охраны беззащитных депутатов России.

— …У нас воля к диктатуре трудящихся классов, которая закладывает фундамент жизни на тысячелетия, а у них все сводится к воле защищать паршивую буржуазно-парламентскую республику…

Голос показался знакомым, в зале царил порядок, галерка помалкивала, и Старшов оглянулся на трибуну. Выступал Бухарин — Старшов слушал как-то его выступление, оно ему понравилось, но тут он удивился, почему Бухарин обращается к депутатам в третьем лице: «у них», а не «у нас». Потом сообразил, что большевистский депутат выступает сейчас совсем не перед коллегами-депутатами, а перед притихшей публикой, обращаясь к ней, разъясняя ей, и только ей. Для выступающего этот зал был как бы полупустым: он видел только своих, депутаты Учредительного собрания им в расчет уже не принимались.

— …Мы с этой трибуны провозглашаем ей смертельную войну!

«Кому — ей? Ах да, паршивой буржуазно-пар-

ламентской республике...»

— Спас на крови вы построите! Спас на крови!

Выкрикнули из рядов, и публика в зале вмиг заорала, где-то поднялась винтовка. Старшов бросился туда, уже не слыша оратора. А когда добежал, Бухарин уже закончил речь и сходил с трибуны под бешеные овации зала и галерки.

А потом опять начались неистовства и угрозы, ругань и топот, потому что выступали «не свои», и зал заглушал их речи настолько, что Леонид не слышал почти ни единого слова. Правда, когда говорил Церетели, кое-что все же доносилось до слушателей: топот, ор, свист и грохот начинались после каждой его фразы, заглушая начало следующей, а потом вдруг на какое-то время все смолкало, и публика ограничивалась выкриками: «Изменник! Палач! Предатель! Лакей!» Это чередование все заглушающего шума с паузами позволило Старшову понять, что Церетели решительно осуждает большевистский заговор и страстно призывает объявить Россию не советской, а демократической республикой, отвечая этим на речь Бухарина.

— Как это можно апеллировать к такому понятию, как общенародная воля? Народ немыслим для марксиста, народ не способен действовать

в целом и не действует в целом. Народ в целом — это фикция, и эта фикция нужна господствующим классам!

Выступал Дольский, зал внимательно помалкивал, а Старшов отдыхал. Он почти все время пребывал в огромном напряжении, боясь упустить очередную угрозу, не расслышать звука передернутого затвора или не успеть немедленно усадить на место разбушевавшегося солдата. А они уже не только вскакивали, но и бродили по проходам и даже подходили к трибуне, чтобы в упор разглядеть, а то и выматерить очередного оратора. Матросские патрули вяло прогоняли их оттуда, а усаживать на места приходилось одному Старшову, и он совсем измучился. Что-то копилось не только во враждебной атмосфере зала, но и в нем самом: он предчувствовал, что вот-вот произойдет нечто, разразится гроза, грянет взрыв. И взрыв действительно грянул, когда трибуна была предоставлена эсеровскому депутату, бывшему члену Второй Государственной думы — крестьянину Ефремову.

Старшов не уловил начала речи, потому что напряжение зала достигло предела, и Леонид ощущал этот предел. Он не слушал оратора — он следил за гостями, смотрел, не поднимается

ли где винтовка, не клацает ли передернутый затвор, загоняя патрон в патронник. Винтовки нигде не поднимались, но в зале вдруг стало тихо, и Старшов увидел, как вставший где-то в середине солдат целится из браунинга прямо в грудь Ефремову. Пробиться, прорваться к нему было и поздно, и физически невозможно. Он сразу понял это и сделал единственное, что мог: бросился к трибуне и загородил собою оратора.

Зал заинтересованно молчал.

— Спасибо, гражданин распорядитель, — негромко сказал Ефремов. — Спасибо тебе, честный русский офицер, защищающий безоружного, но отойди, пожалуйста, сделай милость. — Он вдруг резко повысил голос: — Грудь каждого из нас, народных избранников, сегодня открыта! Если здесь, в стенах этого высокого собрания, решено кому-нибудь из нас пасть жертвой злодейства, это послужит правде, истине, священной обязанности народного избранника. А вас всех покроет несмываемым позором!

Дыбенко схватил Старшова в охапку, потащил к выходу. Леонид отбивался, оглядываясь на солдата с браунингом, но в того уже вцепилось шесть рук, заставив рухнуть на место.

— Переутомился ты, Старшов, переутомил-

ся, — приговаривал Дыбенко на ходу. — Ребята, чаю товарищу распорядителю. С сахаром! Пей, отдыхай, перекури это дело — я там за тебя понаблюдаю.

Они были уже в караулке, и Старшов грузно опустился на стул. Силы совсем кончились, словно он израсходовал последний запас тогда, когда стоял под нацеленным браунингом. Перед ним тут же появилась кружка с кипятком, кусок хлеба и колючего голубоватого сахара. Его о чем-то расспрашивали матросы, а он не слышал их, а только видел, как раскрываются рты. Он тупо хлебал сладкий кипяток и жевал хлеб, не ощущая вкуса, но чувствуя успокаивающее тепло.

А потом он заснул. То есть он и не почувствовал, что засыпает, — наоборот, ему казалось, что он все слышит, отвечает на вопросы, — а понял, что заснул еще за столом, когда потрясли за плечо.

— Вставай, товарищ распорядитель. Вставай, Дыбенко зовет.

Старшов вскочил сразу. Он лежал на мягком диване в гостиной, превращенной в комнату отдыха караульной смены, заботливо укрытый собственной роскошной бекешей. Он не чувствовал себя отдохнувшим, но что-то улеглось, успокоилось в его душе, а переходить от проваль-

ного сна к бодрствованию привык давно, не тратя времени ни на расспросы, ни на размышления. Затянул двойную офицерскую портупею, мгновенно ощутив легкую кобуру и вспомнив подвал, привычно загнал большими пальцами складки гимнастерки за спину и посмотрел на часы. Было три утра.

Зал казался пустым. Лишь в первых рядах кресел сидели усталые депутаты, солдат в зале не было, и только на галерке да на балконах лениво гудела приведенная Железняковым молодежь. Председательское место занимал Чернов. Кто-то выступал, ему равнодушно мешали, уже без азарта, а как бы исполняя порядком надоевшую обязанность.

— Ушли, — отчаянно зевнув, сказал Анатолий. — Сперва наши, а полчаса назад и левые эсеры. Пора закрывать лавочку, как считаешь?

— Считаю, что у нас нет на это права.

— Все у нас есть.

— Где Дыбенко? Он меня вызывал.

— Я тебя вызывал, Старшов. Скучно. А Дыбенко, поди, где-нибудь дрыхнет. Устал караул, правду Ильич сказал. Две ночи без сна. Считаешь, надо потерпеть?

— Депутаты должны сами решить, когда закон-

чить заседание. Лучше галерку домой отправь, скорее дело пойдет.

— Они молодые. — Железняков снова зевнул со вкусом, с вывертом. — Мне с ними как-то веселее.

Депутаты сменяли друг друга, шум на галерке не прекращался, но в зале было относительно спокойно. У всех дверей стояли вооруженные матросы, никто не вскакивал, не клацал затворами, не орал: «Предатели, мать-перемать!..» — и Старшову нечего было делать. Он сел в уголке, куда почти не доносились охрипшие, сорванные голоса выступавших и где можно было спокойно подумать.

Впрочем, думать было уже незачем: он понял, что произошло. С запретом партии конституционных демократов и после демонстративного ухода большевиков и левых эсеров Учредительное собрание, которого с верой и надеждой ждала вся Россия, утратило какое бы то ни было значение. Оказавшись в меньшинстве, оно могло лишь декларировать несогласие с уже принятыми декретами, могло лишь провозглашать нечто, но все его декларации, все призывы и постановления отныне лишались юридической силы. Законно избранное всей Россией собрание депу-

татов, умело раздробленное на части, перестало быть Учредительным, потеряв право что-либо учреждать. Какая-то постылая апатия охватила Старшова. Ему не хотелось более наблюдать за поведением зала, исполнять свои прямые обязанности, не хотелось слушать выступавших и даже двигаться не хотелось. Отчаянное ощущение, что России — его России, где жили его предки, где родился он сам, где был так счастлив с Варей, с детьми, с детски искренним, всю жизнь яростно ищущим собственную вину тестем и с его последней, отчаянной, по-юношески пылкой любовью — да, да, он понимал, он чувствовал ее! — этой России больше никогда не будет. Она уходит в прошлое, в небытие, в забвение, а может быть, и в отрицание, и он, когда-то сражавшийся за ее честь и достоинство бывший поручик Леонид Старшов, присутствует сейчас при ее агонии. При последних судорогах ее вечно мятежной, детски чистой души.

Дружные аплодисменты немногочисленных депутатов словно пробудили его от горестного и вещего сна, и Старшов увидел, что все встали и аплодируют Чернову, и он тоже встал и тоже зааплодировал. С галерки доносился свист, крики, топот, но для него ничто сейчас не могло

заглушить этот зал: Леонид Старшов отдавал последние почести погибшей России так, как мог.

— Ты чего в ладошки бьешь? — удивился Железняков, плюхнувшись в соседнее кресло. — Чернов объявил Россию демократической федеративной республикой, а ты… Задремал, что ли? — Он сладко зевнул. — Раскольников уже отменил эту говорильню, а они все не унимаются. Конституции, резолюции… Нет, пора закрывать лавочку, Старшов. Хватит, наговорились.

К тому времени аплодисменты уже стихли, депутаты сели на свои места, Чернов читал с трибуны какой-то документ. Анатолий легко поднялся, отвел руку пытавшегося его остановить Старшова и, громко стуча башмаками, прямиком пошел к трибуне.

— Что? Что вы сказали? — спросил, перегнувшись через барьер, Чернов. — Простите, не расслышал.

Наверху, на галерке, еще почему-то орали, топали и свистели осовевшие от усталости гости. Но Старшов расслышал окрепший голос Железнякова:

— Караул устал!

В зале стало тихо. Наступила какая-то особенно напряженная, до предела натянутая торжествен-

ная тишина.

— Что? — растерянно переспросил Чернов.

— Караул устал, — отчеканил Железняков. — Пора закрывать… лавочку.

— Но у нас ряд неутвержденных резолюций…

Чернов бормотал что-то еще, но Анатолий уже повернулся к нему спиной. Обвел зал запавшими от бессонных ночей глазами:

— Старшов, снимай караулы. Как снимешь, прикажи вырубить свет во всех помещениях, кроме вестибюля.

— Это беззаконие! — крикнул кто-то.

Что-то еще кричали, возмущались, Чернов торопливо зачитывал очередную резолюцию, но все уже было позади. Старшов с тяжелым сердцем шел исполнять приказание, а Железняков поспешил на галерку, чтобы вывести оттуда свою охрипшую и одуревшую самодеятельность.

Через двадцать минут в зале стал медленно меркнуть свет.

5

Сняв караулы и проверив помещения, Старшов спустился в вестибюль. Он никого не рассчитывал застать, кроме коменданта и внутренней охраны, но оказалось, что там его ждал Железня-

ков и несколько матросов с «Авроры».

— Держи, — Анатолий протянул наган. — Балтийцы слово держат.

Леонид откинул барабан: он был пуст.

— А патроны?

— Не положено. — Анатолий зевнул. — Завтра верну, когда лавочка закроется.

— Солдатне и в зале положено, а мне нет?

Железняков вдруг весело рассмеялся:

— Да ты же у нас — герой, Старшов! Голой грудью под браунинг встал. Ну молодец, ну офицер, ну слава тебе и личная благодарность от самого Дыбенко.

Матросы тоже захохотали, а Леонид никак не мог понять ни того, что сказал сейчас Железняков, ни вдруг возникшего веселья. И растерянно молчал.

— Чудак ты, Старшов!.. — задыхаясь от смеха, продолжал Анатолий. — Да разве мы кого ни попадя в зал вооруженными пустим? Товарищ Урицкий запретил категорически. Солдаты патроны свои караулу при входе сдавали, а пустые винтовочки — это так, попугать. Для интеллигентов, понимаешь? Но сомневались, получится ли, а тут ты так вовремя…

К тому времени Леонид сунул пустой револьвер

в кобуру, рука была свободна, и он, не раздумывая, ударил Железнякова в лицо. Анатолий отлетел к стене, поскользнулся, упал, и тут же Старшова сбили с ног прикладом. Он пытался встать, он еще отбивался, а его топтали сапогами, глушили ударами прикладов…

— Хватит, ребята, хватит. Насмерть ведь забьете…

Эти слова он слышал, с трудом удерживая сознание, и ему казалось, что сказал их Дыбенко. А окончательно очнулся он на бетонном полу полутемного подвала от того, что кто-то его поил. Вода текла по разбитым губам, просачивалась в рот, и он с усилием открыл заплывшие глаза. И прошептал:

— Где я?

— В узилище, — со вздохом сказал странно знакомый голос. — В узилище, дорогой Леонид Алексеевич. Не узнаете? Подполковник Коровин собственной персоной. Бывший подполковник и бывшая персона. Слава богу, живы, а я, признаться, уж и не чаял…

— Где я? — тупо повторил Старшов.

— В подвале каком-то. Меня на рассвете везли, в грузовике, а куда привезли — не ведаю.

— У Чека подвалов много, — хрипло сказал из

темноты мужской голос.

— Помогите, будьте добры, — попросил Коровин.

Леонид почувствовал, как его осторожно приподняли, протащили по полу, прислонили спиной к стене. Как ни бережно с ним обращались, он все равно чувствовал во всем теле такую боль, что едва сдержал стон.

— Воды.

Коровин поднес к губам кружку, но Старшов сам взял ее, хотя пальцы были слабыми, а рука слушалась плохо. Рот почти не открывался, боль отдавалась в висках, но он выцедил воду до дна и вздохнул. Вздох отозвался во всем теле, но Леонид уже окончательно пришел в себя.

— Еще ночь?

— Здесь всегда ночь, — пояснил тот же голос из темноты.

— Время по кормежке узнаем, — сказал Коровин, влажным платком осторожно отирая ему лицо. — Утром и вечером кипяточку дают, в обед — похлебки из воблы полкотелка.

— А допросы? На допросы вызывают?

— Вызывают, — откликнулся неизвестный и невидимый. — Только с допросов не возвращаются.

— Да, да, — горестно вздохнул Коровин. — Было нас восемь, а теперь с вами — трое. Может, вздремнете?

— Били, — вдруг сказал Старшов, хотя не хотел этого говорить. — Ребра, кажется, целы. Подлость. Какая подлость!

Он вспомнил не как его били, а за что. Вспомнил хохот Железнякова, рассказ о том, что солдаты в зале не имели патронов и что он, распорядитель Старшов, метался по залу, искренне играя в заранее оговоренную игру. И хотя правил этой игры он не знал, стыд, пронзительный стыд за личное участие в провокации стал куда больше, чем вся боль избитого тела. И впервые мучительно застонал.

— Что, дорогой мой? Перелом?

— Перелом. — Леонид вздохнул. — Да нет, не то. Бекеша спасла. И папаха.

— Какая бекеша, Леонид Алексеевич?

Ни бекеши, ни папахи, ни офицерской портупеи на Старшове не было. Сапог, правда, не тронули, однако сейчас он настолько презирал себя, что объяснять ничего не хотелось. А Коровин участливо нависал над ним, отирал избитое лицо, и молчать было как-то неприлично.

— А вы как здесь оказались?

— Я? Я, знаете ли, случайно.

— Здесь все случайно, — сказал тот, из темноты. — Эпоха пересечения случайных рядов.

— Вероятно, так, вероятно. — Коровин горестно помолчал. — Жил тише мыши, делопроизводителем устроился, на учет встал как бывший офицер, отмечался вовремя, когда велели. А потом как-то племянник забегает. Юнкер. С чемоданом.

— На юнкеров охота шла, — прокомментировали из тьмы.

— Попросился переночевать, время позднее, комендантское. Утром ушел. Без чемодана, сказал, что за ним позже зайдет. Я на службу собирался, чай пил с женой и девочками. Тут вламываются четверо. Без стука. И племянник с ними. Перепуганный такой. Да. Очень. Ваш, спрашивают, родственник? Мой, говорю. Единственной сестры единственный сын, отец его на фронте погиб. Указал адрес, где сестра проживает. Точно, говорят, подтверждается. К выходу пошли, я и перекреститься не успел, вдруг спрашивают: «Это ваш чемодан?» Я хотел честно ответить, да тут глазами с племянником столкнулся и — соврал. Мой, говорю. «А что в нем?» Да так, мол, домашнее всякое. «Ну, откройте».

Я открыл, а там…

Коровин замолчал.

— Арсенал, — сказал невидимый арестант.

— Арсенал, — шепотом подтвердил Коровин. — Два бельгийских браунинга без обойм и кольт без патронов.

— Без патронов, — вздохнул Старшов.

— Да, да, железки, если вдуматься. Неделю жду, когда вызовут, чтоб объяснить все, чтоб рассказать, что не знал я, не ведал, что со страху солгал.

— А племянник ваш?

— Не знаю. Его и спрашивать не стали, сразу увели. А мне одеться позволили, кружку-ложку взять. В грузовик — и сюда. — Он помолчал, добавил со значением: — Не били. Нет, нет, все вполне, все…

Он что-то говорил еще, но Старшов уже не слышал. Он внезапно провалился то ли в сон, то ли в обморок, и его никто не беспокоил. Сколько времени продолжалось это забытье, Леонид вспомнить не мог, а кончилось оно тем, что он увидел Варю. В каком-то саду, в светлом платье, с цветами. Радостно смеясь, она бежала к нему: «Он приехал, приехал, приехал!..»

Старшов часто впадал в забытье, но Варя ему больше не снилась. Дни отмечались похлебкой

из воблы, и тогда его непременно будили, чтобы похлебал теплого. А больше не тревожили, не разговаривали, и он так и не познакомился с третьим заключенным этой вечно темной глухой камеры. Он жил вне времени, но боль проходила, и жар отступал, и он уже начинал чувствовать озноб, когда затрясли за плечо совсем не в обеденное время.

— Старшов?

Слабый луч «летучей мыши» неприятно бил в отвыкшие от света глаза. Это казалось продолжением дурного сна или видениями из обморока, и Леонид еще крепче зажмурил глаза.

— Старшов, спрашиваю? Вставай, вставай.

Его подняли с пола двое в кожанках. Старшов, проморгавшись, разглядел унылую фигуру подполковника Коровина, рядом — неизвестного, лица которого он так никогда и не увидел. И сказал:

— Прощайте, господа.

Его под руки вывели из каземата, гулко хлопнула дверь, щелкнул замок.

— Налево? — лениво спросил часовой, запиравший дверь.

— Пока нет.

Повели по коридору, поддерживая с обеих сто-

рон. Старшов попытался было высвободиться, но такой вольности здесь, видимо, не допускали, и сопровождающие взяли его покрепче. Так они поднялись по лестнице на два этажа и вышли в пустынный, хорошо освещенный коридор с ковровой дорожкой, гасящей стук сапог. Здесь стоял часовой.

— К товарищу Грошеву, — пояснил старший.

Грошев… Фамилия почему-то показалась знакомой, и Старшов старался вспомнить, где он ее слышал, но никак не мог. С его памятью сейчас вообще творилось что-то неладное: он ясно помнил Смоленск и Княжое, Вареньку и детей, а все прочее не то чтобы забылось — нет, он знал, что ничего не забылось, — но не вспоминалось. Будто кто-то мгновенно выключал в нем все недавнее прошлое, направляя воспоминания в далекое, в давно прошедшее, в котором оставалось то, ради чего еще стоило жить. И он слушался своего внутреннего командира, наложившего запрет на все, что могло его смутить.

Леонида ввели в ничем не примечательный кабинет — без таблички, без охраны. В передней комнате сидел молодой человек в тужурке, перепоясанной солдатским ремнем с увесистой кобурой.

— По приказанию товарища Грошева. Арестованный Старшов.

— Распишитесь, — молодой человек ткнул пальцем в строку канцелярской книги. — Время поставьте. Можете идти.

— В коридоре обождать?

— Нет. Свободны. — Дежурный дождался, пока вышли сопровождающие, встал, приоткрыл дверь кабинета. — Арестованный доставлен.

Там пробурчали что-то невразумительное. Дежурный посторонился, пропуская Старшова, и плотно прикрыл за ним дверь.

Леонид остался у порога, оглядывая небольшой кабинет с письменным столом, широким диваном и тяжелым купеческим сейфом в углу. Спиной к нему у окна стоял коренастый человек во френче с аккуратной кобурой браунинга на офицерском ремне. Он молчал, и Старшов молчал тоже.

— Хорошо ты влип, — сказал хозяин кабинета и повернулся.

— Барон?.. — шепотом удивился Старшов.

— Титулы отменены. — Фон Гроссе опустился в кресло за столом. — Садись. — Полистал папку, лежавшую перед ним, захлопнул, поднял усталые, в рыжих ресницах глаза. — Избиение по-

мощника Дыбенко при исполнении служебных обязанностей, сопротивление караулу, болтовни на двадцать страниц донесений.

Все было не так, но Леониду не хотелось ничего объяснять. Не только потому, что это унижало, а потому, что никакие разъяснения бывшему другу были не нужны: фон Гроссе вызывал его не для объяснений.

— Стоит веселому рыжему немцу дорасти до солидного кресла, как у него сразу же меняется тон.

— Твое счастье, что удалось разыскать Давида Филькевича.

— Я не знаю никакого Филькевича.

— Дыбенко настаивал на расстреле, — не слушая, продолжал фон Гроссе, — однако деньги, как всегда, перевесили.

— Насколько помню, я ударил Железнякова. Дыбенко вообще тогда не было. И при чем деньги? Какие деньги?

— Не помнишь, и слава богу. А мы все помним.

— Кто — мы?

— Чека. — Гроссе с удовольствием произнес это слово и с удовольствием наблюдал за Старшовым. — Ладно, уговорили мы Павла, свое ты отсидел, и теперь вопрос, что с тобой делать.

— Если я свободен, то отправь меня в Княжое. К Варе и детям. Я — учитель, буду учить детей. Ведь должен же кто-то их учить?

— Кто-то должен учить, а кто-то — воевать.

— За Дыбенко с Железняковым?

— За Россию.

— Россию предали на Учредительном собрании. С моей помощью.

— Тем более ты обязан помочь воскресить ее в новом качестве.

— А если я сбегу, барон? Я столько грязи нахлебался, столько подлости повидал, что… — Старшов вдруг подался вперед. — А что, если Россия — там, на юге? А что, если я не выдержу здесь, на севере?

Гроссе достал из ящика стола пачку папирос, бросил Старшову.

— Закури и успокойся. Не перебежишь ты по двум причинам. Первая: ты — человек чести и будешь держать слово, которое дашь мне.

— А если не дам?

— Кури, Старшов, кури. Вторая причина в том, что ты любишь Варвару и детей больше себя. Редкое качество, искренне завидую.

— Варвара? При чем здесь…

— Сколько раз ты заполнял анкеты, старатель-

но указывая, где проживает твоя семья и как проще всего ее найти?

— Анкеты? Но это же для жалованья. Чтобы пересылали семье.

— Никто твоей семье ничего не пересылает, потому что новой армии еще нет, а коли ее нет, то нет и жалованья. Но есть Смоленск и усадьба в Княжом. И лучше подумай о том, как служить в той армии, которую мы создаем.

Старшов подавленно молчал. Намек фон Гроссе был куда страшнее той провокации на Учредительном собрании, в которой его заставили участвовать. Он понимал, что Гроссе в этом не виноват, что он просто предупредил его о последствиях… Нет, не о последствиях, а о том, что он, бывший поручик Старшов, отвечает за жизнь своей семьи отнюдь не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. Что Варя, Мишка, Руфиночка, калека-генерал, все близкие, безмерно дорогие ему люди отныне стали заложниками его беспрекословного послушания новым властям и что только это беспрекословное послушание и есть единственная гарантия их безопасности. Он вдруг почему-то вспомнил о тихом, многодетном подполковнике Коровине, покорно ожидающем расстрела в глухом каземате, но просить о нем,

как просил когда-то, не рискнул, потому что ощущал себя иным, а может быть, и стал иным.

— Ты тоже указывал в анкетах, где живет Сусанна?

— Сусанна погибла, — помолчав, тускло сказал Гроссе. — Застрелили, когда она выступала на митинге у казаков.

— Извини, я…

— Ты даешь мне слово? Мне лично, без всяких расписок.

— Слово офицера, барон, — помолчав, тихо сказал Старшов. — Только избавь меня от Дыбенко.

— От Дыбенко избавлю, а в армию пока направить не могу. Ты приписан к Балтфлоту, но есть выход. За тебя ходатайствовал Арбузов. Он уводит отряд на Северо-Западный фронт.

— И мне в таком виде к нему являться?

— Полушубок мы выдадим. Полушубок, папаху, портупею. А оружием он тебя обеспечит, если сочтет нужным. Мой помощник все сделает и доставит тебя к Арбузову. — Гроссе встал, обошел стол. — Прости, Леонид, но больше я помочь тебе не в силах. Ничем. Думай сам. Обнимемся на прощанье?

И сграбастал Старшова сильными рыжими ручищами.

Глава пятая

1

Владимир добрался до Вязьмы без особых приключений, но рискнул подойти к домику бывшего начальника запасного батальона Савелия Дмитриевича Нетребина лишь поздним вечером. Не только потому, что днем боялся нежелательных встреч, но и потому, что надеялся: не выгонят. Не вышвырнут из теплого дома на холодный дождь со снегом, в опасную тьму притихшего городка. Да и врать при лампе казалось и проще, и легче. Он промок и продрог, но нарочно ходил под дождем, чтобы стать совсем жалким, чтобы ради жалости не выгнали бы прямо с порога. Здесь обитала его последняя надежда, его спасение, и он долго репетировал речь, которую скажет взволнованно и страстно. Только бы не стали расспрашивать через дверь, только бы выдержать, пока появится Лида, увидит его, мокрого, жалкого, но искренне страдающего и умоляющего ее о прощении.

На стук открыл сам хозяин с лампой в руке. Сени были тесными и узкими, дверь в комнату плотно прикрыта, Нетребин высоко держал

лампу, освещая вошедшего, и, видимо, узнал его, потому что лицо сразу стало суровым. И Владимир, сбитый с толку непредугаданными обстоятельствами, вместо пылких речей рухнул у порога на колени.

— Простите меня. Умоляю. Ради Бога.

— Уходите, — тихо сказал Савелий Дмитриевич, преодолев первое удивление. — Это наглость, молодой человек.

— Папа, кто там? — громко спросили из-за двери.

— Это так, случайно. Это не к нам.

— Лидочка! — закричал Владимир. — Лидочка, родная, любимая, я виноват вереД тобой, безмерно виноват!

— Извольте покинуть… — понизив голос до шепота, начал было Нетребин, но было уже поздно: Лидочка распахнула комнатную дверь.

— Вы?..

Она стояла в освещенной дверной раме в наброшенном на плечи вязаном платке, обеими руками упираясь в косяки. Лица ее Владимир не видел, но уловил в тоне что-то настолько обещающее, что на коленях пополз вперед, огибая подполковника.

— Лидочка, прости меня, умоляю, умоляю, —

бормотал он, все еще не решаясь подняться. — Я — подлец, я нарушил слово, долг отцовства…

— Господь с вами, какого отцовства?

— У нас будут дети, будут! — мгновенно перестроился Владимир, сообразив, что перехватил. — Я мечтал о тебе в окопах под германскими пулеметами, мечтал о нашей жизни, о нашей любви…

Только сейчас, да и то случайно, он произнес то единственное слово, в которое так мечталось поверить Лидочке. Сочиняя речи под ветром и дождем, он ни разу не вспомнил о нем, а оно-то и было самым главным.

— Владимир Николаевич, Володенька. — Лида шагнула к нему, по дороге оттеснив отца. — Встань, встань. Ты вернулся, да? Ты действительно вернулся… ко мне?

Она слегка запнулась в конце фразы, но Владимир уже все понял. Вскочил, протянул руки:

— Я вернулся, Лидочка, навсегда вернулся. Любовь вела меня, как путеводная звезда.

— Вернулся… — Она порывисто прижалась к нему. — Любимый… Боже, ты насквозь промок! Немедленно переоденься, немедленно чаю, водки. Папа! Мамочка! Володя вернулся!..

Потом, когда Владимира переодели во все сухое,

почти молча и почти торжественно пили чай, ради чего к столу вышла прихворнувшая супруга Савелия Дмитриевича Александра Михайловна. Захмелевший с доброй рюмки Владимир щедро улыбался сияющей Лидочке, мамаша растерянно поглядывала, прижимая платочек то ли к глазам, то ли к отсыревшему носику, а хозяин был замкнут и смотрел недоверчиво. Владимир несколько раз поймал его колючий взгляд, но прежде и это бы его не остановило, а в тот вечер он растерял былую велеречивость, поскольку пережитое напряжение вымотало его до предела. Он суеверно боялся поверить, что все позади, что тихая гавань наконец-то обретена, что осталось только бросить якорь и изо всех сил старался казаться иным. Односложно отвечал на вопросы, избегал объяснений, а внутренне готовился к самому главному. И сказал это главное в самом конце ужина, обогревшись и скопив силы. И встал ради этого:

— Глубокоуважаемая Александра Михайловна, глубокоуважаемый Савелий Дмитриевич, я пришел, чтобы вымолить прощение у Лидочки и испросить вашего благословения на семейный союз… — Тут он понял, что его опять заносит, но успел остановиться и закончить почти по-челове-

чески: — Лидочка, я умоляю тебя забыть прошлое и довериться мне навсегда. На всю жизнь.

Со свадьбой не поторопились: Савелий Дмитриевич был достаточно разумен. Через десять дней объявили о помолвке, кое-как ввели Владимира в общество (к тому времени довольно обновленное), а через три недели обвенчали в церкви, и с этого дня Владимир Олексин стал семейным человеком. Александра Михайловна была несколько огорчена, что на торжество не пожаловал никто из родственников жениха, но Савелий Дмитриевич как раз это обстоятельство и одобрил:

— Одобряю, Владимир. Жизнь жуем заново, и нам генеральские лампасы ни к чему.

— Фамилия у меня. Нечастая.

— Сменим. Как к власти относишься?

— Власть есть выражение народной воли. — Владимир вспомнил свое недавнее эмиссарство и счел эту фразу нейтральной. — Народ поддерживает, а куда народ, туда и мы. Интеллигенция, то есть.

— Сочувствующая, — уточнил Нетребин. — Я, например, записался в сочувствующие. Присутствую на собраниях. И тебе рекомендую.

— Я с удовольствием. Готов служить. Всегда.

— Есть у меня на примете служба. Порекомендую в сочувствующие, походишь на собрания, послушаешь, что надо говорить. Выступать не торопись, наше дело маленькое.

— Фамилия… — опять вздохнул Владимир.

— Сказал уже, сделаем. У меня тут знакомства.

Через неделю Владимир Олексин оказался Владимиром Алексеевым, записался в сочувствующие, аккуратно посещал собрания и помалкивал. Нетребин неторопливо и обдуманно знакомил его с нужными, входившими в силу людьми. С ними Владимир вел себя с особой осторожностью, смеялся, вовремя поддакивал.

— Студент, значит? — спросил громогласный рыжий мужчина, которому Нетребин представил новоиспеченного Алексеева с заметным почтением. — Добро, нам грамотные — позарез. Для начала помощником при канцелярии возьму, тесть за тебя хлопочет. Завтра к девяти чтоб был на службе.

Новый, 1918, год бывший генеральский сын Владимир Олексин встречал сиротой Владимиром Алексеевым, но это его не трогало. Наоборот, он был очень доволен своей сообразительностью, новой службой, новыми знакомствами и даже новыми родственниками. Все это обеспечивало

его личную безопасность, не требовало никаких усилий, и даже канцелярская должность оказалась простой перепиской множества бумажек и при всей скучище давала ощущение личной значительности и определенного общественного положения. Он снова «вращался», хотя круги этого вращения вертелись в сторону, обратную всей его прежней жизни.

Но прежней жизни у него уже не было. А в новой была жена, оказавшаяся страстно прилипчивой, недоверчивая и вечно хворая теща да тесть, до крайности озабоченный, как бы всем угодить и при этом не поскользнуться. Но главным испытанием оказалась Лидочка; он постоянно твердил себе, что стерпится — слюбится, но если первое требовало двойственности, к которой он давно приспособился, то второе — конкретности, и каждая ночь была испытанием. Но Лидочка млела от счастья, и это безумство пока перекрывало его вымученные усилия.

2

А в Княжом предполагаемое венчание так и не состоялось, несмотря на просьбы Руфины Эрастовны, уговоры Вареньки, несмотря даже на то, что Татьяне однажды так и не удалось сдержать

слез. Федос Платонович был непоколебим:

— Существуют определенные принципы.

— Да плевать на принципы, когда любимая женщина плачет! — не выдержал Николай Иванович. — А она — моя дочь. А вы теперь как бы…

— Сын, — улыбнулся Минин. — Испугались произнести?

— Это не произносить надо, а чувствовать, — проворчал Олексин. — Я слегка запамятовал, и потому Татьяну уговорю. В конце концов вы где-то там расписались.

— В конце концов не может стоять любовь, — улыбнулась Руфина Эрастовна. — Она всегда — в начале начал. И я тоже отправлюсь на переговоры.

Расплакавшись за столом, Татьяна убежала, и генерал с хозяйкой пошли ее успокаивать. В гостиной остались только Варвара да Федос Платонович. И оба молчали, слушая, как где-то громко смеются дети.

— Почта больше не работает?

— Надеюсь, временно, — сказал Минин. — Саботаж. Все вроде бы ходят на службу, но никто ничего не делает.

— Значит, надо набрать таких, которые будут что-то делать.

— Разъяснять надо, Варвара Николаевна. Уговаривать, если хотите.

— Зовите меня просто Варей. Мы теперь родственники. — Она помолчала. — Я давным-давно не получаю писем от мужа. Где он, что с ним?

— Венчание отменяется, но свадьба состоится, — объявил генерал, появившись в дверях. — Тряхнем неприкосновенным запасом.

Неприкосновенным запасом тряхнули с хрустальным звоном. Руфина Эрастовна лично накрыла стол так, как он, вероятно, накрывался лишь во времена ее периодических возвращений под родной кров. Угощение, естественно, уступало праздничности, но шампанское нашлось, и генерал с удовольствием произносил тост за тостом. Он вообще веселился изо всех сил, хотя порою и невпопад, но — от души. А вот споров с Федосом Платоновичем избегал, а если не удавалось — чаще всего по непримиримости собственного характера, — быстро соглашался, сдавая позиции. Руфина Эрастовна с беспокойством приглядывалась к этой новой и явно неуютной для Николая Ивановича роли, Варя, погруженная в собственные тревоги, ничего не замечала, а Татьяна, как ей казалось, смутно догадывалась о причинах. Она знала подробности

тяжелого ранения Минина, помнила слова отца о «деле нашей чести», но, так и не навестив Ольгу, не смогла сопоставить причину со следствием. Не увязывая ухода Владимира из дома с судьбой Федоса Платоновича, Таня считала, что отец возлагает ответственность за ночной выстрел на офицерство вообще. Николай Иванович не распространялся о своих выводах, ничего не сказав даже Руфине Эрастовне, и в присутствии Федоса Платоновича ему всегда было очень неуютно.

— Вот-с, — сказал он, уведя Минина в кабинет, пока накрывали к чаю. — Не сочтите за пир во время чумы.

— Мы так благодарны вам и Руфине Эрастовне, Николай Иванович.

— Да, чума тут ни при чем. Заскорузлый пример. Однако что предпринимают германцы?

— Внешне соблюдается перемирие, насколько мне известно. Но на Украине и в Лифляндии они продвигаются вперед. Без боев, просто занимают оставляемые нами позиции. Думаю, что именно поэтому и затягивают переговоры в Брест-Литовске.

— Не хватает только самозванца, — сказал генерал, но тут же сдал назад, испугавшись почему-то аналогии с Лениным. — Конечно, я

понимаю, дело народа — решать. И в этом смысле Учредительное собрание, не оправдав надежд интеллигенции, оправдало надежды масс. Возможно, возможно.

— Раньше вы спорили более определенно, — улыбнулся Федос Платонович.

— Перековался, — проворчал Олексин. — Где-то я прочитал, что нам теперь предстоит перековываться, перевоспитываться, пересматриваться. Словом, «пере», а эта приставка всегда означает нечто чересчур. Перестарался, перегнул палку, переусердствовал.

— Новое не может свалиться с неба. А старое…

— Старое всегда путается под ногами.

— Старое обладает бесценным опытом, Николай Иванович. Его ни за какие деньги не купишь. Значит, надо убеждать служить народу не за страх, а за совесть.

— Страх, следовательно, не исключаете?

— Хотел бы исключить. Только Юга боюсь. А если мы боимся, должны и нас побаиваться.

— Возможно, вы правы, — нехотя согласился генерал. — Пойдемте, однако, чай пить. Дамы заждались.

Жизнь в Княжом текла размеренно и спокойно. Минин, несколько раз наведавшись в село

и организовав там ячейку из фронтовиков, к работе в школе так и не приступил. И кашель мучил, и одышка, и слабость, и Татьяна уж очень резко возражала. Он полеживал, пил отвары, которые готовила Руфина Эрастовна, гулял, много читал. Татьяна вела все уроки, уговорила отца прочитать курс истории, но он очень увлекался разбором отгремевших сражений, хотя весьма старался и штудировал Соловьева. А Варвара забросила даже музыку, занималась детьми и странно замкнулась в себе.

Тучи уже клубились над Россией, зарницами грядущих боев полыхая на Юге, и на обманчивый отблеск этих зарниц тянулось не простившее развала армии офицерство, обманутая интеллигенция, растерявшая все буржуазия, да и вообще те, чья мечта воплощалась в иной России — и более упорядоченной, и более демократической. Побросавшие части солдаты группами и в одиночку пробирались в свои деревни, а вразрез всем этим потокам офицеры из дворян, растеряв иллюзии и части, всеми правдами и неправдами стремились в центральную Россию, где сохранились еще старые семейные гнезда. Великое перемещение народов уже началось, и не было сил, способных остановить эти стихийные люд-

ские течения.

А на поверхности плыл мусор. Беженцы из разоренных сел, потерянные дети, уголовники из разгромленных тюрем, солдаты, потерявшие надежду пробиться в родные уезды, вооруженные, голодные и злые. Уже горели отдаленные хутора и усадьбы, уже грабили лавки и склады, и человеческая жизнь начинала стремительно падать в цене.

Жизнь дешевеет, когда дорожает хлеб: этот политэкономический постулат генерал вывел самостоятельно, но не возгордился, а озаботился. Пенсии он по-прежнему не получал, цены росли с фантастической быстротой и беспредельностью, и в создавшейся ситуации Николай Иванович Олексин, как старший по званию и возрасту, обязан был что-то предпринять, чтобы семья не пошла по миру. Однако привычных для него резервов в наличии не имелось, в отставных инвалидах-генералах новые власти не нуждались, и Николай Иванович после тягостных размышлений решил, пока не поздно, продать единственную принадлежащую ему собственность — дом в городе Смоленске. Правда, в том доме жила Ольга со своим скобяным семейством и старая Фотишна, но генерал рассудил, что Фо-

тишну нужно перевести в Княжое, а у супруга дочери существует некая ремонтируемая недвижимость. На худой конец Ольге можно было бы ссудить часть вырученной суммы на окончание ремонта, а остальное с приличествующей скромностью предоставить на семейные расходы. План был тщательно продуман, операция обещала несомненный барыш, а главное — хотя бы на время гарантировала личное душевное спокойствие. Дело оставалось за реализацией. В семье помочь ему никто не мог (даже Минин, поскольку большевики, как было известно Олексину, отрицали всякую частную собственность), и генерал под разными предлогами зачастил в село, где издалека и весьма, с его точки зрения, тонко выяснял конъюнктуру. Кого он при этом расспрашивал и как, выяснить не удалось, но не удалось удержать в тайне и весь хитроумный план.

Смутные известия о предполагаемой коммерческой сделке принесла Татьяна: в школе, как всегда, знали все. Неясность усугублялась таинственным видом Николая Ивановича и бравурными маршами, которые всегда озвучивали его особо решительные намерения, и Таня выложила Руфине Эрастовне все вместе: о чем говорят в школе, какие мотивы преобладают в отцовском

репертуаре и какой вывод можно извлечь из суммы признаков.

— Тетя Руфина, пожалуйста, запретите ему продавать дом. Мало того, что его наверняка облапошат, он же Ольгу выгонит в недостроенные стены. А она — на последнем месяце.

— Танечка, ты — прелесть, но прелесть без опыта, — важно сказала Руфина Эрастовна. — Запрещать что-либо мужчинам — значит дуть в костер. Слава богу, природа наделила нас оружием, против которого они бессильны как дети.

Через несколько дней после этого разговора прелестная хозяйка вдруг решила поплакать в самый расслабляюще нежный момент. Подобного никогда не случалось, что весьма напугало лирически настроенного Николая Ивановича.

— Что с вами, друг мой? Я в чем-то виноват?

Руфина Эрастовна, отвернувшись и всхлипывая, тут же выложила генералу, что все мужчины одинаковы в своем пещерном упорстве обмануть бедную женщину. Все это было высказано на безукоризненном французском языке, что избавило текст от пошлости, а Олексина от буквального понимания. Он страдал, целовал ручки, маялся и бормотал слова, но Руфина Эрастовна не торопилась с разъяснениями, выжидая, когда он

окончательно утратит остатки здравого смысла. И когда, по ее мнению, этот момент начал вырисовываться, с горестным вздохом объявила:

— Увы, отдав мне душу и сердце, вы забыли предложить руку. А разве сыщется в мире женщина, которая не мечтала бы о замужестве?

— Болван, тупица, остолоп! — Генерал искренне ощущал себя мерзавцем, совратившим гимназистку. — Я с позорнейшим опозданием прошу вашей руки. Простите закоренелого эгоиста.

Спустя воскресенье в церкви села Княжого отец Лонгин скромно обвенчал немолодую влюбленную пару. Торжество отметили в семейном кругу, где генерал с горячностью провозглашал тосты, дочери радовались, Минин одобрительно улыбался, а невеста помалкивала. И высказалась только наутро:

— Друг мой, отныне мы — едины, и все наше — едино. Прошу вас распоряжаться бывшим моим имуществом, как вам заблагорассудится, но вынуждена напомнить, что своим имуществом без моего согласия вы распоряжаться уже не имеете права.

А за завтраком сказала Тане:

— Учи женскую логику. Она, правда, нигде не преподается, но ее всегда можно извлечь из

обстоятельств.

3

«Село Княжое Ельнинского уезда
Смоленской губернии
госпоже Слухачевой
для Варвары Николаевны.
Письмо №…
7 февраля 1918 года.
Варенька, любимая!

Я столько написал писем, что вдруг забыл номер предыдущего. Знаю, что количество их перевалило за три сотни, но это оставлю без номера, а следующее помечу „№ 301“. У меня были хлопотные дни, но все уже позади. Я жив, здоров, не ранен и не простужен, и все мои помыслы — с тобой и детьми, где бы я ни был и чем бы я ни занимался…»

Это письмо Леонид так и не отправил Вареньке. Он дописал его, перечитал, но оно показалось ему таким неискренним, что посылать его он не решился. Долго таскал с собой, а потом сжег.

Анархисты приняли Старшова скверно. Если красногвардейцы Затырина были настороженно недоверчивы, то матросы вольного анархистского отряда встретили злым неприятием. Арбузов

представил его кандидатом на должность помощника начальника штаба, и его в конце концов выбрали, поскольку все должности в отряде вообще были выборными. Но начальником штаба еще до этого избрали того верзилу-матроса, который оставил кисет Старшову при первом знакомстве в прокуренном кубрике линкора. Он носил странное прозвище «Желвак», идущее то ли от фамилии, то ли от привычки грозно катать желваки на шершавых обветренных скулах. Он часто орал, двигая этими желваками, но его не очень-то боялись, как показалось Старшову. Отряд по-настоящему побаивался одного Арбузова, который никогда не повышал голоса, часто заходясь в кашле. Однако не просто потому, что Арбузов, почти не целясь, навскидку расписался на церковной стене из маузера, а потому, что никто не мог предсказать, когда и по какому поводу этот маузер окажется в его руке. Желвак был криклив, но отходчив, в нем не ощущалось непредсказуемой ярости Арбузова, что, однако, мало облегчало жизнь его непосредственным подчиненным, а Леониду Старшову в особенности.

— Доверяю только себе, — объявил он Старшову при первом свидании. — Ребят агитировать не стану, если выберут помощником — подвинусь,

но ходить ты у меня будешь без веры, и оружие я тебе выдам только после первого боя. А пока знай, что у зрачка моего маузера классовый взгляд.

С корабля отряд списали, жили они на берегу, в старых казармах, и особой подготовкой себя не утруждали. Кое-как, с ленцой и руганью, осваивали наступление цепью и рассыпным строем, штыковой бой и перебежки под огнем, и даже окапывание лежа, но рыть окопы отказались категорически, и Старшов для примера сам выдолбил в мерзлом грунте окоп длиною два метра, но зато полного профиля. Желвак пошутил было насчет личной могилки, но матросы шутки не поддержали: упорство, с которым новый помощник начальника штаба знакомил их с пехотными премудростями, оценили по достоинству.

А упорства никакого уже не было, и сам Старшов тоже понимал, что выковырял не окоп, а могилу, потому что никакой скрытой теплоты в душе его давно не ощущалось, и он мерз по ночам от собственного отчаяния. Вера — ну, хорошо, не вера, так основание для нее, некий фундамент храма, почва для посева — все растаяло, как вчерашнее мороженое, оставив жирную кляксу на совести да липкий привкус в самооценке. Если позавчера он искренне верил, что готовит

Вильгельмов Теллей, а вчера — что в буквальном смысле стоит на страже порядка и закона, то сегодня с холодным автоматизмом обучал тому, что знал сам, кого-то весьма неопределенного. То ли последних романтиков восторженно доверчивой России, то ли первых циников и растлителей ее души и тела. И неискренне письмо Вареньке он написал не потому, что хотел скрыть от нее всю ту грязь, через которую переполз, а потому, что впервые пожалел, что у него есть семья, любимая жена и любимые дети. Нет, не они оковывали его волю, а он — их, потому что отныне каждое его непродуманное, не взвешенное на аптекарских весах действие могло обернуться для них либо плотом в захлестнувшем Россию потопе, либо ядром, прикованным к ногам. Не было более ни законов государства, стоявших выше властей, ни законов чести, стоявших выше его жизни: власть сама диктовала выгодные ей законы, а честь, его личная офицерская честь, обернулась залогом существования его семьи. Она перестала быть его личной честью, потому что отныне не он расплачивался за нее, а все те, адрес которых он старательно и подробно переписывал из анкеты в анкету.

Значит, оставалось одно: либо погибнуть, не

выходя из рамок нового морального закона, либо жить в этих рамках. Жить в законе: он значительно позже узнал воровской смысл этого постулата, но понял его тогда. Тысячелетие духовной мощи народа — его великую нравственность, которая вела на труд и на подвиг не потому, что об этом расписывались в анкетах, а потому, что это было личной совестью человека, обретенным смыслом его существования, долгом перед прошлым и будущим, — подменили ценою, оправдывающей любые средства. И бывший поручик Старшов служил отныне цели, а не Отечеству.

Впрочем, все служили сейчас цели, а не родине. Само название ее обросло столь различными прилагательными, что среди них терялось содержание: «Россия». Он еще в далеком детстве услышал однажды от скрипучего отца, что Россия не название государства на двух континентах, а само его содержание. Тогда он отмахнулся от очередной порции отцовского занудного поучения, а сейчас понял, насколько старик был прав. За множеством разъясняющих определений — «демократическая», «монархическая», «социалистическая», «свободная», «святая» — терялась сама Россия, мельчая, съеживаясь, утрачивая первоначальный смысл. В смутном безвременье,

в расколе, в развале системы хозяйствования, в потоках беженцев, в бесконечных митингах и спорах до России уже никому не было дела.

Старшову было не только тяжело, но и очень одиноко. В красногвардейском отряде отнюдь не пылали любовью ко вчерашнему офицеру, но привычно ценили мастерство и, убедившись, что военрук им обладает, относились к нему, по крайней мере, с уважением. Здесь же не признавали не только дисциплины, но и любого труда, если он не выражался в конкретных результатах, почему из всех действий нового помощника начальника штаба оценили лишь вырытый им образчик полевого окопа. А офицеров заведомо считали врагами и бездельниками, той золотопогонной сворой, избавление от которой и было для большинства смыслом октябрьского переворота. Здесь особенно непримиримым оказался Желвак, а поскольку по странным правилам отряда Старшов жил с ним, отдыха для него уже как бы и не существовало: прямой начальник не оставлял его в покое.

— Сладко ел да мягко спал?

Старшов избегал разговоров, но Желвака это не останавливало. Он не пытался что-либо выяснить и даже не дразнил Леонида, а просто выражал

этим свое презрение ко всем, кто, по его разумению, не делал нечто полезное, без чего нельзя было обойтись.

— Книжки писали, а на хрена? Тех, что написаны, и за тыщу лет не перечитаешь. Да и что проку? Значит, для своего удовольствия. Так или нет? Чего молчишь?

— Спать хочу.

— Без книжки заснешь, а без хлеба? Опять молчишь? Знаю, в какую сторону поглядываешь. И я знаю, и маузер мой знает. У него — классовое чутье.

На фоне черных бушлатов потертый полушубок Старшова тоже не способствовал сближению. Этим лишь подчеркивалось его особое положение, он был для всех инородным телом, заметным издалека, выделявшимся из общей массы, а потому подчеркнуто чужим. И пустая кобура, которую Леонид упорно носил на ремне, отнюдь не прибавляла ему авторитета.

Арбузова он почти не видел. Командир отряда редко появлялся на занятиях, которые кое-как, но все же ежедневно проводил Старшов, и с Леонидом никогда не заговаривал. Если ему что-то было неясно, он обращался к Желваку, хотя Старшов при этом порою стоял рядом. Так продолжалось

довольно долго, Леонид и к этому притерпелся, а потому внезапный вызов был для него неожиданным.

— Отряд перебрасывают на Северный участок Завесы.

В этот раз Арбузов смотрел только на Старшова, будто Желвака вообще не было в комнате. Леонид понял, что германцы начали движение и что наших войск перед ними практически нет.

— Чего недостает отряду, Старшов?

— Пулеметов. Есть два, необходимо пять. И гранат. Ящика три.

— Достать к утру, — Арбузов глянул на Желвака.

— Почему я? — вскинулся Желвак. — Я тебе не снабженец.

— Достать к утру, — жестко повторил Арбузов. — Где и как — твое дело. Иди. Я все сказал.

Он ни разу не повысил тона, но Желвак уже не пытался спорить. Молча надел бушлат, молча вышел. Арбузов мучительно закашлялся, выдавив:

— Садись.

Старшов сел, с удивлением обнаружив, что сила, исходящая от худого, чахоточного анархиста, действует не только на Желвака. Арбузов достал платок, сплюнул кровь, с трудом отдышался.

— Братва тебе не доверяет, Старшов. Не обижайся, они хлебнули на флотской службе аж до бескозырки. И первый бой — твое испытание.

— За всю германскую мне ни разу не выстрелили в спину.

— Желвак может. Не потому, что злой, а потому, что памятливый. У него брата офицер убил.

— За что?

— Это перед тобой — вопрос, а перед ним — факт. Теперь знаешь — оглядывайся вовремя.

Старшов вернулся в отряд уже ночью. Желвака еще не было, и Леонид, перечитав так и не отправленное Вареньке письмо, сжег его, растапливая печурку. Но твердо решил, что непременно напишет другое. Если выйдет из боя.

4

Желвак привез всего два пулемета, но Старшов был и этим доволен. Зная о полном развале военного снабжения, он нарочно удвоил нужное отряду количество оружия, верно оценив необъяснимый страх здоровенного, как бык, начальника штаба перед хилым, чахоточным командиром анархистов.

Состав, как ни странно, подали вовремя и гнали его без задержек. Выгружались ночью на ка-

ком-то полустанке, было морозно и на редкость ветрено. Братва материлась, но в бушлаты не куталась: выгружали из вагонов снаряжение, пулеметы, ящики с патронами.

— Арбузов, к Дыбенко! Сани прислали!

— Поедешь со мной, — сказал Арбузов Старшову. — Нам вместе кашлять веселее. Желвак, отведешь отряд в Горелово. Возьми проводников да гляди, чтоб братва по бабам не разбежалась.

Ехали молча. Ветер бил в лицо.

— Дыбенко требовал моего расстрела, — сказал Леонид.

— Без тебя он мне такого туману напустит… — Арбузов мучительно закашлялся. — Помолчи. Мне говорить трудно.

Дыбенко уже завтракал. Появлению Старшова не удивился, а если и удивился, то виду не подал. Пригласил к столу, некоторое время молча пили чай.

— Меня какому-то недостреленному генералу Парскому подчинили. — Дыбенко обращался к Арбузову, но говорил явно для Старшова. — Позиции, диспозиции. Я самого Краснова в плен взял, а мне — генеральскую диспозицию под нос. По той диспозиции ты, Арбузов, должен держать Горелово.

— Ты звал, чтоб приказ подтвердить?

— Начхал я на их приказы. Чтобы разгромить, надо атаковать, а не в снегах отлеживаться.

— Германию атаковать собираетесь? — спросил Старшов. — В отряде сто семнадцать душ. Стреляют плохо, наступать по снежной целине в клешах — абсурд.

— Отвлекающий маневр, Старшов! — рявкнул Дыбенко. — Нарву я брать буду, пока вы там пошумите. Выкладывай соображения, а не критикуй.

— Для соображений мне нужна карта.

Дыбенко хотел выругаться, но сдержался. Приказал вестовому убрать стол, принести карту. Пока убирали, сказал вдруг:

— Почему тебя Грошев от стенки отвел?

— Не знаю никакого Грошева.

— Ну, не знай, твое дело. — Дыбенко расстелил карту, потыкал пальцем: — Вот мои силы. А ты, Арбузов, крайний справа. Его превосходительство Парский хочет, чтоб ты фланг держал, а я приказываю вот через эту речонку переправиться и ударить немцам в скулу. И пока они опомнятся…

— Речка замерзает? — перебил Старшов, которого уже трясло от всего этого безудержного хвастовства.

— Зимой все замерзает.

— Кроме родниковых речек. А здесь много родников.

— Давай без теорий, Старшов! Тебе ясен приказ, Арбузов?

— А Старшову он ясен? Старшов три года с немцем воевал, может, теорию все-таки послушаем?

— Революционные войны создают свои теории.

— Чтобы наступать, надо иметь хотя бы трехкратное превосходство, — не слушая Дыбенко, сказал Леонид. — У нас нет ни одной пушки, подавить их пулеметы нечем, а это значит, что отряд погибнет еще до сближения с противником.

— Пулеметы братва гранатами забросает. Подползут и забросают — революционный дух сильнее вашей паршивой теории.

— Подползут по снегу в черных бушлатах?

— Ночью!

— Ночью немцы спят, а не воюют. Ну, допустим, снимут матросы охранение, а пулеметы? Кстати, где противник? Есть у него артиллерия?

— Нет у них тут пушек, перебежчики точно обрисовали. А немцы где-то за речкой. — Дыбенко помолчал. — Ладно, я вам подкрепление пришлю. Направь пару саней, Арбузов.

— Что за подкрепление?

— С таким подкреплением твоя братва раньше меня в Нарве будет, — засмеялся Дыбенко. — Все, ребята, приказ отдан. Возьмем завтра Нарву, и Парского — коленкой под зад!

Возвращались прямой дорогой на Горелово, минуя полустанок. Отряд уже был на месте, заняв брошенные избы. А таких хватало, потому что жители бежали не только от подходивших немцев, но и от бросавших фронт окончательно разложившихся русских частей. И матросов, видимо, тоже побаивались: уцелевшие сельчане прятались по домам.

— Посылать за подкреплением? — спросил Арбузов.

— Не помешает. А насчет атаки во фланг… — Старшов вздохнул. — Приказ есть приказ, но я должен оглядеться. Что за речка, что за высотка перед ней.

— Что тебе надо для оглядки?

— Пулемет с тремя бойцами. На высотке он всегда пригодится.

— Ладно. — Арбузов откашлялся. — Мокрота проклятая давит в груди. С тобой Желвак пойдет.

— Опять Желвак?

— Отряд постановил тебе не доверять. До пер-

вого боя. Так что ты, Старшов, оглядывайся, это не твоя война.

Желвак принял приказ о поиске полка, лично отобрал лучших пулеметчиков. Лыж не было, матросы волокли пулемет и коробки с лентами на руках, по пояс проваливаясь в снег. Одеты они были скверно, в башмаках, бушлатах да широченных клешах, украшенных, согласно моде, рядами перламутровых пуговиц, что весьма раздражало Леонида. Правда, при всем раздражении, он не забыл выменять у перепуганных жителей три пары валенок и нес их под мышкой, прокладывая путь. Следом, дыша в затылок, шагал Желвак, заранее предупредив сквозь зубы:

— Дернешься не в ту сторону, и я разметаю твои дворянские мозги по всей вселенной.

Старшов смолчал. Кобура его по-прежнему была пуста, на правом плече он держал лопату, и эта лопата оказалась бы единственным оружием, если немцы успели выставить на высотке охранение. Конечно, поведение Желвака невозможно было предугадать, но Леонид старался об этом не думать. А вскоре и вообще забыл о маузере за спиной, потому что увидел поле завтрашнего боя.

Высотка, на которой никого не оказалось, господствовала над местностью. С нее хорошо

просматривалась низинка, что вела от речки к деревне, сама речка, и замаскированный пулемет мог вести прицельный огонь в широком секторе, а на чистом глубоком снегу противнику деваться было некуда. Бежать из-под огня немцы не могли, и их, конечно, следовало ожидать, не меняя позиции и наплевав на авантюрный приказ Дыбенко.

— Пулемет поставить здесь. Сектор обстрела — от речки справа до рощи слева. Ройте гнездо, снег — на бруствер.

Матросы работали быстро, скинув бушлаты. Старшов оглядывал в бинокль заречные кусты, но там пока было спокойно.

— Может, к речке опустимся? — предложил Желвак.

— Наследим, — не отрываясь от окуляров, сказал Старшов.

Желвак не спорил. Он тоже оценил выгоду той позиции, затолкал маузер в коробку и поторапливал матросов.

— Разъезд, — сказал Леонид, протянув ему бинокль. — Семеро. Прямо против нас.

— Вижу. Кони у них рыжие. Как считаешь, через речку полезут?

— Им снег топтать тоже преждевременно. Всем

сесть. Не торчи, Желвак, ложись рядом. Пусть постоят, посмотрят и доложат, что русские в деревне.

— Насчет русских ты брось, — недовольно сказал Желвак. — Отрыжка прошлого. Красные мы, Старшов, красные, как наша горячая кровь.

Разъезд, понаблюдав за снежной тишиной противоположного берега, удалился. Моряки закончили гнездо, Старшов установил пулемет, выверил прицел. Сказал пулеметчику:

— Огонь откроешь, когда они с тобой поравняются. Не раньше. А сейчас всем обуть валенки, отдыхать по очереди.

— Жратву принесут к ночи, — добавил Желвак. — Если немца проспите, застрелю согласно революционной совести. Пошли, Старшов.

Уже подойдя к деревне, они услышали шум и крики, но скорее восторженные. На улице бежали матросы с котелками и флягами — кто в накинутом на плечи бушлате, кто вообще в одной тельняшке.

— Что-то не так, — растерянно сказал Старшов.

— Бежим!

Желвак бежал впереди, крича во все горло: «Стой! Стой!» Но никто и не думал останавливаться, а из шума и криков Старшов уловил:

— Спи-и-рт!..

Он не помнил потом, откуда взялись силы, как он обогнал Желвака, как уперся в возбужденную, радостную толпу, окружившую сани с двумя бочками. На одной из них стоял пьяный матрос, размахивая раздобытым где-то черпаком.

— Порядок, братва! Дыбенко прислал! Становись в очередь, всем хватит!

Не помнил Старшов и того, как пробился к бочкам. Кажется, прорваться ему удалось потому, что моряки и впрямь начали выстраиваться друг за другом, а его то ли пропустили вперед, то ли он сам как-то сумел протиснуться, но оказался как раз под матросом с половником.

— Отставить. Не сметь. Всем назад. Назад.

Не было голоса, он хрипел, мучительно задыхаясь и все время по привычке лапая пустую кобуру.

— Нельзя. Немцы рядом. Завтра бой.

Что-то он бормотал еще, пытаясь кричать. А может быть, и хорошо, что не мог кричать: все примолкли, вслушиваясь. Он выиграл время, матросы перестали нажимать, даже котелками перестали брякать. Еще бы несколько минут, чтобы восстановилось дыхание, чтобы вернулся голос, и можно было бы объяснить, уговорить,

упросить.

— Опять нами сволота офицерская командует! — заорал пьяный. — Хватит! Неужто снова терпеть, братва? Да я его лично…

Грохнул выстрел. Стоявший на бочке, перегнувшись, головой вниз рухнул к ногам Старшова. А Леонид не понял, откуда стреляли, думал — в него, оглянулся…

На крыльце стоял Арбузов с маузером в опущенной руке. В одной тельняшке, босиком: видно, только с постели, где пригрелся, задремал, где наконец-то перестал бить кашель.

— Всем отойти! Считаю до трех! — Он вскинул маузер. — Раз!

— По хатам! По хатам! — кричал где-то Желвак, расталкивая матросов.

— Два…

Толпа дрогнула. Давя друг друга, отхлынула от бочек.

— Три!

Арбузов снова вскинул маузер. Пули свистели вокруг Старшова, а он стоял, не шевелясь, и что-то лилось сверху. Он понял, что из продырявленных бочек струями течет спирт, что Арбузов стреляет не в него, и обессиленно опустился на залитый спиртом снег.

— Вставай, вставай. — Желвак тащил его к крыльцу. — Окосеешь.

У крыльца Старшов опомнился. Спирт из пробитых бочек заливал убитого, и его разбавленная кровь текла по утоптанному снегу.

— Желвак, останешься. За глоток — расстрел на месте. Старшов, зайди.

Вернувшись в натопленную избу, Арбузов сразу лег, с головой укрывшись шубой. Старшов сел к столу: его трясло не меньше Арбузова, да и ноги подрагивали.

— Подкрепление от Дыбенко, — сказал он.

— Для меня он — дырка в нужнике, — глухо отозвался из-под шубы Арбузов. — Завтра уведу отряд.

— И откроешь фронт немцам.

Арбузов промолчал.

— Я нашел хорошую фланговую точку, — продолжал Старшов. — Еще два пулемета поставлю на кинжальный огонь.

— Пойдешь с Желваком.

— Не доверяешь?

— Не доверял бы — не взял. Есть решение отряда, его надо выполнять. Анархия — мать порядка, я тебе объяснял.

Немного отдохнув, Старшов опять ушел на

позиции вместе с Желваком и пулеметчиками. Из деревни еще не выветрился запах спирта, но простреленных бочек не было: их отвезли в поле и сожгли.

— Сильно ребята обижены, — вздохнул Желвак.

Установку пулеметов окончили уже в темноте. Оставив пулеметчиков на дежурстве, вернулись к Арбузову, нарисовали схему обороны. В избе было жарко и душно, Старшова развезло от тепла и усталости настолько, что он не помнил, как добрел до дома. Ужинать не хотелось, он выпил чаю, рухнул на лавку и тут же провалился в глубокий сон.

Проснулся он внезапно, вдруг, в серой мгле февральского рассвета. Раздался взрыв, затряслась, заходила ходуном изба, но Старшов уже успел каким-то чудом натянуть сапоги. Успел, он это помнил точно: фронтовой инстинкт сорвал его с постели, когда германские снаряды еще летели к деревне.

— Артподготовка! — прокричал он Желваку. — К пулеметам!

— Стой! — Желвак выхватил из-под подушки маузер. — Убью!

— Стреляй! — Они оба кричали, потому что

взрывы слились в единый грохот. — Немцы уже в атаке! Отряд прикрыть надо!

Оттолкнув полуодетого Желвака, Старшов выбежал, надевая полушубок. На миг вспыхнуло в сознании, что в спину ударит выстрел, но ему было не до страха. Он знал, что сейчас начнется, знал, что надо делать, и никакое «классовое чутье» маузеров не могло его остановить. Поручик Старшов исполнял свой долг.

Снаряды били по деревне нечасто («Одна батарея», — подумал он), пылало несколько изб, и повсюду метались полураздетые матросы. Не обращая внимания на взрывы и осколки, Старшов выбежал на окраину, откуда проглядывалась низина, и скорее понял, чем разглядел, что немцы неспешно и организованно переходят речку.

— Стой, сволота! — Сзади мчался Желвак. — Стрелять буду!

— Пулемет! Сейчас они поравняются с ним!

Бежать в центр и пытаться остановить метавшихся по деревне моряков было уже некогда. Оставалось одно: задержать немцев, пока Арбузов не приведет в чувство запаниковавший отряд, пока не организует оборону, пока не возьмет под контроль кинжальные пулеметы и своевременно, в нужный момент, не отдаст приказ

открыть огонь. Но он, лично он, Старшов, в этой обстановке обязан был взять на себя тот, фланговый, пулемет на высотке. Объяснять это было уже невозможно, и он, крикнув «К пулемету!», побежал по протоптанной утром тропинке, уже не заботясь, выстрелит в него Желвак или нет.

Он добежал до гнезда. И пулемет оказался на месте, и лента вставлена, и коробки рядом — только пулеметчиков нигде не было видно.

— Смылись, мать их!.. — прохрипел, задыхаясь, Желвак: он бежал следом, размахивая маузером. — Найду. Найду гадов. Кровью харкать будут…

— Ложись! — Старшов упал за пулемет, проверил прицел: немцы неспешно продвигались по низинке, поравнявшись с ним. — Ленту подавай. И перезаряжай. Готов?

И плавно нажал гашетки. Первая очередь взбила снег ближе, не поразив противника, но Старшов чуть приподнял ствол и второй раз ударил точно. Немцы сразу попадали, зарываясь и разворачиваясь к нему лицом: они не растерялись от неожиданных очередей, они были умелыми солдатами, но продвижение их сразу прекратилось.

— Даешь! — заорал Желвак.

Старшов резал короткими очередями. Только бы продержаться, пока немецкие корректировщики не нащупают пулемет, только бы хватило патронов. Он верил в жестокую ярость Арбузова, верил, что тому удастся остановить растерявшийся отряд и уложить в цепь перед деревней. Странно, но в тот момент он верил не в командирский опыт Арбузова — он верил в его преданность идее. Той самой, о которой на разные лады толковали все, кому не лень, и которой он никак не мог постичь.

Первый снаряд разорвался с перелетом, с устрашающим воем пронесясь над ними: немцы засекли пулемет. Осколки просвистели над головами, их обдало пропитанным гарью снегом, но пулемет не сбило, и Желвак переменил ленту. Второй не долетел — их по всем правилам брали в «вилку», и они понимали это, но и третий тоже разорвался где-то за спинами. А Старшов все бил и бил, не давая пехоте подняться, выигрывая столь необходимые отряду минуты.

— Сейчас влепят!..

Слышал он этот крик Желвака или нет? Увидел вдруг оранжевую вспышку перед глазами, ощутил удар, отбросивший его в сторону, и пришла тишина… Очнулся, потому что странно потря-

хивало. Открыл глаза, увидел полки, раненых кругом, с трудом сообразил, что он — в вагоне, что его куда-то везут и что он ничего не слышит. Ни голосов, ни стука колес, ни дребезга стекол. Только шум в ушах. И опять провалился во тьму.

— Старшов, — кто-то тряс его. — Мне сходить велено, очнись.

Открыв глаза, с трудом узнал Желвака с перебинтованной головой и разбитым лицом, но обрадовался не тому, что видит, а — что слышит. Неясно, сквозь шум, но слышит, разбирает слова, улавливает смысл.

— Живой. — Желвак странно всхлипнул распухшим, огромным носом. — Ходячих здесь сгружают, а тебя дальше повезут.

— Ты… спас…

— Сочтемся. — Желвак снова всхлипнул. — Кольку-то Арбузова, Гарбуза моего…

— Что?

— Затоптали. Много ли ему надо было, он и так последние дни доживал.

— Как это… Затоптали?

— Отряд остановить пытался, уговорить, потому и не стрелял. Ну, сбили с ног… — Желвак вздохнул. — Ладно, идти пора.

Он встал, потоптался в узком проходе. Потом

снял коробку с маузером и положил Леониду на грудь.

— Пригодится. Спрячь. Прощай, братишка.

И вышел.

Глава шестая

1

— А у меня — шестерка. У меня шестерка! — восторженно закричал Мишка, прихлопнув туза шестеркой.

— Проиграла, — Руфина Эрастовна развела руками. — Экая досада!

Она играла с детьми в «пьяницу» — игру, в которой шестерка имела право побить туза, но никого иного. И всегда умело проигрывала, и столь же умело изображала разочарование, почему дети с огромным удовольствием с нею играли.

— Я опять бабушку побил! — победно кричал Мишка.

Варя шила у окна. Ранний зимний вечер уже вползал в комнату, и уже берегли свечи. Руфина Эрастовна и в этих обстоятельствах находила нечто необыкновенно поэтическое.

— Мы начали сумерничать, как в старину.

Знаешь, Варенька, сумерничать — чисто русское явление. Можно побеседовать по душам.

— Пора ужинать, дети, — сказала Варя.

Собирали карты с шумом и смехом, потому что Мишка очень гордился очередной победой. С шумом и выкатились, и смех их долго таял в доме.

— И откуда у него такая жадность? — вздохнула Варя, хотя играли дети всегда «на интерес».

— Он просто любит побеждать. Вылитый дедушка Николай Иванович. Ты натрудишь глаза, Варенька.

— Пока видно. И потом, ведь мы сумерничаем.

— Сумерничаем, — вздохнув, согласилась Руфина Эрастовна. — Знаешь, что такое революция? Это когда пьяная шестерка бьет туза.

Варя отложила шитье, прошлась по комнате, обхватив плечи руками, поправила стулья. За зиму она стала спокойнее, ровно обращалась с детьми и перестала просить Татьяну ежедневно справляться о письмах. Не заговаривала о Леониде и всегда уходила, если кто-нибудь вспоминал о нем. Руфина Эрастовна давно приглядывалась к ней, но с расспросами не торопилась. А в тот вечер почувствовала, что настала пора.

— Мне кажется, Варенька, что ты вбила в голову большой гвоздь.

— О чем вы, тетя?

— Да, да. Ты чувствуешь его постоянно и страдаешь от этого.

— Сумерничать — значит не видеть лица, с которым говоришь. И вправду прекрасное русское свойство. Да, относительно гвоздя… Просто я поняла, что Леонид никогда не вернется, никогда не напишет. Что ждать чуда бессмысленно. — Она помолчала. — Мой муж погиб, тетя.

— Поняла — мужской глагол, Варенька. Особенно, когда вопрос касается роковых обстоятельств. Ты ведь не чувствуешь того, что говоришь. Ты так решила, так объяснила себе его молчание, но это — умом. А сердцем? А в сердце — вера и надежда. Всегда вера и всегда надежда, и пока они есть… Сходи в церковь, Варенька, поплачь, пожалуйся.

— А Минин не верит в Бога.

— Мужчины в подавляющем большинстве не веруют в Бога, но иногда весьма ретиво исполняют обряды. Но — с целью. Порою осознанной, порою — нет. Политической, как теперь говорят. Политически веруют, политически перестают веровать, потому что Бог — для женщин, Варенька. Бог — это любовь, вера и надежда, всегда — надежда. Поэтому, пожалуйста, непременно сходи в церковь и непременно — одна. Как на свидание,

которого ждешь.

— Я уже ничего не жду.

— Ждешь. И надеешься. И Бог укрепит тебя в твоей надежде.

— Тетя… — Варя неожиданно упала на колени, спрятав лицо в складках мягкого капота. — Мамочка моя, я верю, что он жив. Я верю, я хочу, хочу верить!..

2

Минин поправлялся медленно, с возвратами температур и осложнениями, но к весне пошел на поправку. Во время периодических заболеваний его непременно посещал Николай Иванович — сначала с визитом, справиться о здоровье, потом — чаще, и как-то само собой получилось, что оба пристрастились к шахматам. Генерал не любил проигрывать и не скрывал этого, а коли побеждал — не так уж часто, — то радовался на весь дом. «В Мишку пошел», — сказала Руфина Эрастовна, но в отличие от нее Федос Платонович никогда не поддавался тестю.

За шахматами начались разговоры, таял ледок, оковавший олексинскую душу, и все получалось как-то само собой, естественно и плавно. Задние мысли исчезли, хотя у Минина их и не было, но

генерал всегда почему-то боялся, что они есть. Что Минин знает, кто в него стрелял, но из любви к Татьяне помалкивает, будучи в высшей степени порядочным человеком. Так полагал Николай Иванович, хотя его зять и не догадывался, что терзает генерала. А теперь тестя, кажется, ничего не терзало, он как бы вернулся к себе самому, каким всегда нравился Минину.

— Я наконец-то сообразил, чем атеизм отличается от христианства.

Генерал с трудом свел к ничьей в четвертой партии, и его потянуло пофилософствовать.

— Вы ударились в религию, Николай Иванович?

— Я ударился о крест, — невразумительно пояснил Олексин. — И споткнулся на атеизме. Так вот, что я вам доложу в результате полученных контузий. Христианство гениально возложило крест грехов человеческих на плечи Иисуса Христа и тем избавилось от бездны неприятностей. А вы, атеисты, намерены возложить крест этих грехов на собственные плечи. Разве не так? Ведь большевики отрицают Бога.

— Просто они не нуждаются в этой гипотезе. Есть наука…

— Нет науки, способной уберечь от греха! — по-

чти торжественно провозгласил генерал. — Церковь у нас есть система глубокоэшелонированной обороны русского человека от всех мирских соблазнов. Она выполняет роль предполья между народом и властью. Разрушьте ее, и вы либо оставите народ наедине со всеми его житейскими грехами, либо вам придется поручить полиции…

— Милиции.

— …Милиции бороться не столько с преступлениями, сколько с грехами. А грехов — несть числа.

— Для этого существует наука. Всеобщая грамотность. Общественное воздействие, наконец.

— И отсутствует Бог! А Бог квартирует в сердце, а не в голове. А наука, грамотность, общество не имеют ключика к человеческому сердцу. Они будут апеллировать к сознанию, то есть к рассудку, к той же голове. А человек грешит не головой, а страстью. А страсть — ниже. Пальба не по тем мишеням.

— Давайте отделим философию, — улыбнулся Федос Платонович. — Давайте ближе к фактам. Церковь в селе действует?

— Имел честь венчаться.

— Это факт. Мы и не собираемся сокрушать религию. Мы просто отделяем ее от государства, и

только. И пусть себе занимается с теми, кто жить без нее не может. Будет полная свобода совести: хочешь — ходи в церковь, венчайся, крести детей. Не хочешь — не делай, тебя никто не упрекнет. Свобода совести — принципиально новая ступень в познании человеком самого себя.

— Грехи не подвластны сознанию, Федос Платонович. Они подчиняются страстям, как вы понять этого не можете? Затмение на всех вас, большевиков, нашло, что ли? Вот вы в Татьяну влюбились, надеюсь, не по разуму? Следовательно, существуют деяния человеческие, которые никакой ученый с аршинным лбом никогда не разрешит.

— А религия, по-вашему, все загадки уже разрешила?

— А для нее нет научных проблем, она к сердцу адресована. К чувствам человеческим. Или вы без всяких чувств новое общество строить надумали, одной наукой? Тогда — страшно. Страшно, Федос Платонович, мне, старику, страшно за внуков моих.

Генерал в такие минуты забывал о своей недавней суетливости в присутствии Минина. Нет, чувство глубокой вины, возложенной им на себя по требованию совести и чести, никогда не поки-

дало его, но он перестал гнуться под ее тяжестью. Он начал спорить с Федосом Платоновичем не только на отвлеченные, но и на политические темы, в горячке повышая и без того генеральский голос, а потом казнился:

— Я — неискренний, а следовательно, и нечестный человек. Я — двуликий Янус, любовь моя.

— Безусловно, — согласилась Руфина Эрастовна. — И я, как гимназистка, влюблена во все ваши лики и личины. И тут уж ничего не поделаешь. Терпите.

Окрепнув, Минин опять зачастил в село. Созданная им ячейка окрепла и даже увеличилась до четырех человек, включив сочувствующим сильно (по сельским меркам) склонного к выпивке Герасима.

— Ну а его-то зачем?

— Перевоспитаем, — уверенно сказал секретарь ячейки.

Секретарем был унтер, хмурый от рождения и на редкость невезучий. Его преследовали неурожаи, пожары, завидущая жена, и даже на германской его обошли крестом, хотя воевал он старательно. Последняя обида оказалась последней каплей, убедив его, что во всех несчастьях виноват не столько Бог, сколько люди. Они

творили несправедливость, а большевики справедливость обещали, и Зубцов уверовал в них. Он не нравился Минину, но был грамотен, читал газеты и умел все объяснять.

В начале весны из Смоленска приехали четверо из продовольственной комиссии: город сидел без хлеба. Никто никому еще не угрожал, представители просили, а не требовали, с готовностью раздавая долговые расписки и до хрипоты агитируя на сельских сходах. Но староста созывать мужиков на сход категорически отказался:

— Хлебушек трудом достается, а не горлом. Везите серпы, косы, скобяной товар, жатку, если сможете. С походом расплачусь, они скрипеть будут. А за бумажки — нет.

— Откуда у нас жатки, откуда? А рабочий класс бедствует. Это ты можешь понять?

— Мануфактуру везите, нитки с иголками. Я за труд своим мужикам должен хоть что-то дать. Мы все — сознательные, и рабочему человеку рады помочь. Но и вы сознательными будьте, за так хлебушек не дают.

Напрасно орал Зубцов, напрасно агитировала прибывшая четверка, и даже Минин напрасно уговаривал: староста был непреклонен. А в селе его уважали, и представители уехали ни с чем.

— Надо мне в Смоленск ехать, — сказал Минин Татьяне. — Что-то они там недодумали. Нельзя же у крестьянина зерно отбирать под пустую бумажку.

— Ты еще недостаточно окреп, Федя.

— Дела требуют, Танечка. Дружба нужна с деревней, взаимопомощь.

— Феденька, милый, я не поеду, — помолчав, тихо сказала Таня. — У меня ведь тоже дело. Бросить ребятишек? Школу? Как же я могу?

— Да, время такое, что чем-то жертвовать надо. — Минин вздохнул. — Но ты ведь приедешь, правда? Начнется посевная, школа закроется, и ты…

Таня молча кивала, сдерживая слезы. Она уже знала, что беременна, и сейчас решала, сказать об этом мужу или не тревожить его пока. И решила не тревожить, зная, что Минин все равно уедет в Смоленск. И не осуждала его за это.

Вскоре Минин уехал. Провожали его тепло и грустно, успев привязаться по-родственному. И по-родственному расцеловались, даже генерал от души чмокнул в обе щеки.

— Пусто без вас место сие, помните.

Через неделю после отъезда Минина арестовали старосту. Приехали милиционеры под

началом сурового, с наганом на боку.

— За саботаж и попытку спекуляции хлебом.

Сопровождать старосту в город разрешили среднему сыну, который осенью возил генерала в Смоленск. Старательному, но не очень соображающему, что и как. Может, поэтому и разрешили.

— Вот она, наша советская справедливость! — кричал председатель ячейки Зубцов. — Никому не дозволим морить голодом братьев-рабочих! Долой мироедов!

Орал он на сходе, который собрал сразу же, как только увезли старосту. Мужики хмуро отмалчивались: теперь Григорий Зубцов становился первым человеком на селе.

Сопровождавший старосту сын вернулся дня через три. Заехал в усадьбу, был растерян, ничего не понимал, плакал, вытирая слезы шапкой.

— В подвал тятеньку спрятали. Христом Богом молил, чтоб дозволили хлебушка передать. Не дозволили. Тогда я учителя нашел, Федоса Платоновича. Он помог. Дозволили.

Он вдруг перестал всхлипывать, мучительно пытаясь сосредоточиться. Долго шарил по карманам, за пазухой. Потом залез в промокшую от слез шапку, достал клочок бумаги.

— Велел передать.

Таня, пытавшаяся все время успокоить паренька, посмотрела на записку, передала Варе.

— Это тебе.

«Дорогая Варя! По наведенным справкам бывший поручик Старшов Леонид Алексеевич в Красной Армии не числится. Не отчаивайтесь, это первые сведения, поиски продолжаю. Поцелуйте Танечку, детей. Кланяюсь всем.

Ваш Минин».

— Не верю! — отчаянно выкрикнула Варвара. — Не верю, он жив, жив! Сама найду. Сама!..

3

Ольга рожала дома, потому что расторопный в делах коммерческих Василий Парамонович необъяснимо боялся новой власти, общества в целом, людей в частности, а заодно и больниц. Роды обещали быть трудными, Фотишна погнала Кучнова за врачом, но он вместо неизвестных ему докторов привел знакомую повитуху, принимавшую когда-то его Петеньку и ускорившую кончину супруги. Ольга родила сына в мучениях, и больше детей у нее быть уже не могло. Тогда она, естественно, об этом еще не знала, была безмерно счастлива и говорила только о сыночке, окрещенном (тайком, конечно) Сергеем.

Навсегда перепуганный еще в ту, осеннюю, ночь Кучнов после долгих мучительных колебаний и подсчетов, все прикинув и рассудив, добровольно и безвозмездно передал все свои склады и капиталы новой власти города Смоленска. Акт был торжественным, поскольку Кучнов торопился быть первым из всего городского купечества. Власти усмотрели в этом революционный поворот в сознании, выдали Василию Парамоновичу Охранную бумагу за двумя печатями и разрешили открыть небольшую скобяную лавку. Кучнов переделал под нее бывший каретный сарай, запасся товаром, кое-что прикупив для видимости, но в основном из припрятанного загодя, и сидел в ней с утра до вечера. И хотя покупателей почти не было, средства для жизни добывались под прикрытием Охранной грамоты из тайной кубышки. И что бы там ни думал о нем генерал Олексин, Василий Парамонович Кучнов умел смотреть в будущее.

Василий Парамонович едва ли не первым из смоленских обывателей сумел скорее почувствовать, нежели осмыслить ту манеру поведения, которая устраивала власть. Кратко она заключалась в том, чтобы, отметившись, стать незаметным. Ничего не предпринимать сверх того, на что есть

разрешение, отказаться от знакомств, оборвать все прежние связи, а главное, никогда ничего не требовать. Поэтому он тихо, нудно и ежедневно уговаривал Ольгу не писать родным о рождении сына. И как ни хотелось Оле похвастать, она в конце концов приняла его правоту.

— Не реви, — строго говорила Фотишна. — Молоко прогоркнет.

Добродушно ворчливая Фотишна ворчала теперь по-иному. Кучнов немало потрудился, чтобы втолковать ей новые правила, но из всех его наставлений она поняла только, что надо жить тишком да шепотком и ни полсловечком не поминать хозяина-генерала. Нигде и никому, а то плохо будет и Оле с ребеночком, и Петеньке, к которому добрая старуха успела привязаться. И потому к приезду Вари отнеслась настороженно, а Оля откровенно обрадовалась.

— Посмотри, Варенька, какие у Сереженьки глазки! Видишь, он смотрит, он все понимает. Все!

— Прелестный ребенок.

Варя вымученно улыбалась, вымученно говорила, но Ольга в материнском упоении ничего не замечала.

— Вылитый папочка, вылитый! Знаешь, Сере-

женька больше похож на Василия Парамоновича, чем Петенька. Ведь правда?

— Да, да, Оленька. Еще раз от души тебя поздравляю. Моя комната свободна? Ты извини, я немного устала.

— Я понимаю и позову тебя к обеду. Правда, сейчас трудно с продуктами, ты уж не взыщи.

Варя ушла в свою комнату, прикрыла дверь и долго стояла у порога, не решаясь шагнуть. Это была не просто ее комната, это была их комната, ее и Леонида. И хотя прожили они в ней считанные дни, на Варю разом обрушилось столько воспоминаний, что ни на что иное, как перебирать эти воспоминания, у нее уже не было сил. Но она поборола себя, подошла к шкафу, распахнула и сразу увидела свое подвенечное платье. И уткнулась в него, ощутив вдруг такую боль, что только платье, один раз в жизни надетое ею, могло в то мгновение хоть как-то притупить это отчаяние.

И еще платье было надеждой. Необъяснимой, неразумной, почти мистической: до сего дня хранившийся залог будущего счастья оставался залогом навсегда. Материальным, который можно было потрогать, ощутить в руках, прижать к лицу с новым вздохом любви, веры и надежды.

Не вообще, не для всех, а для нее, лично для нее, детей и мужа.

К обеду она вышла сдержанной и спокойной. Василий Парамонович остерегся хрустеть костями, чем лишил себя удовольствия, но не из почтения к гостье, а из вновь шевельнувшегося в нем страха. Зачем приехала эта генеральская дочь и офицерская жена («а может, вдова? Дай-то Бог…»), зачем нарушила еле-еле установленное равновесие жизни шепотом, незаметного существования с краешку, в уголочке, в полутьме?

— С чем пожаловали, Варвара Николаевна? По какому, я извиняюсь, вопросу?

— Хочу навести справки, — сказала Варвара, почувствовав, что правды тут не только не говорят, но и не услышат ее. — Жалованье задерживают. Не посоветуете ли, куда лучше обратиться?

— Исполком. Там есть отдел. — Кучнов помолчал, испытывая сомнения и колебания, но ведь так не вовремя явившаяся гостья была все же родней. — Не надо бы их беспокоить.

— А как узнать?

— Прошение. Напишите прошение, отдайте часовому. И… уезжайте. Вам сообщат, непременно сообщат.

— Но я хотела узнать, где сейчас мой муж.

— Вот этого не надо, не надо этого, — заволновался Кучнов. — Они сами все проверят, все. И сообщат.

— Но почему же я сама не имею права…

— Имеете! Имеете, но… Как бы сказать. Занятой народ они. И дополнительного беспокойства… Как бы сказать? Не любят. Очень.

Весь вечер, отвечая на расспросы Ольги, Варя думала над осторожными намеками Василия Парамоновича. Она понимала, что он чего-то опасается, но ей не скажет, а будет вздыхать и крутить. И решила идти.

А Кучнову решать не приходилось: он был обязан сообщать о всех, кто приезжает, как ответственный за домовладение. И пострадав, сбежал, едва рассвело, прямиком в самую главную власть, минуя предписанные инстанции. Там отнеслись с пониманием, поблагодарили, но предупредили, чтоб никому ни полслова, а отсюда — сначала на рынок как заботливый хозяин, а уж потом — домой. Кучнов так и сделал, а Варя была приятно поражена вежливостью новой власти. Ее без всяких проволочек направили в кабинет, едва она успела назвать фамилию.

В кабинете ее встретил немолодой человек вполне интеллигентного вида. Встал навстречу,

подал стул, внимательно выслушал, изредка кое-что уточняя. Варя волновалась, отвечала, как на экзамене, надеясь, что ее откровенность и точность помогут быстрее отыскать сгинувшего невесть куда бывшего поручика Старшова.

— Уверен, что ваш муж жив. Мы получаем все скорбные списки, ведем учет. Что же касается известий от него, то почта пока практически не работает. Стараемся, налаживаем, но… — хозяин кабинета развел руками. — Но для отчаяния оснований нет. Как ни странно, печальные вести приходят даже с той стороны. Заполните пока, пожалуйста, этот опросный лист о прохождении вашим мужем службы в бывшей царской армии. Отдельно — о всех его наградах, это облегчит розыск.

— Когда можно узнать результат? — спросила она, старательно заполнив листок.

— Происхождение не указали. Вашего мужа, вас и… и отца. Вот здесь. Разборчиво. Через три-четыре дня мы будем иметь полную картину. Всего доброго, рад был познакомиться.

Выходя из здания исполкома — бывший дом губернатора, не особняк, а резиденция, где устраивали балы и благотворительные базары, где Вареньке случалось танцевать или продавать

цветы в пользу раненых русских воинов, — она вдруг вспомнила о крестной матери Мишки — племяннице губернатора Анне Павловне Вонвонлярской. И тут же решила навестить ее, подумав, что старые связи ее дяди помогут в поисках Леонида.

Особняк губернатора был совсем близко, и Варин дом был близко — все было рядом в этом дворянском гнезде старого Смоленска. Все было так близко, так удобно совсем еще недавно, и вдруг, как подумалось ей, стало так далеко друг от друга. Старый мир — мир ее детства, юности, любви — разваливался на куски, и эти куски отталкивались друг от друга, неотвратимо расходясь по неведомым ей траекториям. И она почти не удивилась, обнаружив вместо знакомого швейцара круглолицего злого солдата с ружьем.

— Нету тута никаких Лярских. Тута теперь другое. Экс… это. Заняли мы этот дом. Проходи, гражданка, проходи, проходи.

— А где же Анна Павловна?

— Не знаю никаких. Проходи, сказано! А то задержу за всякие вопросы.

Варя поняла, что дом отобрали, а его обитатели куда-то уехали. Она решила, что они перебрались в Москву, где у них были родственники, и как-то

грустно порадовалась за Анну, потому что Москва теперь стала столицей, а значит, и порядка было в ней больше. Но домой не пошла, потому что ей припомнился спасенный Анной Минин, и она решила тут же разыскать его; он тоже мог помочь в розысках Леонида, поскольку уже наводил справки. И вернулась в исполком, но там ей объяснили, что товарищ Минин работает в другом доме на Большой Дворянской, что тоже было совсем рядом.

— Товарищ Минин в отъезде. Напишите, кто вы, по какому вопросу, где проживаете. Когда вернется, дадим знать.

«Когда вернется, сам придет», — подумала Варя, заполняя в канцелярской книге все, что требовалось. Отвечала на каждый вопрос, а сама думала, где бы еще узнать…

— Скажите, а где живут офицеры?

— Какие, то есть? Бывшие?

— Бывшие офицеры царской армии. У вас ведь служат бывшие офицеры?

— А вам зачем знать?

— Я хотела о муже справиться. Он три года в окопах…

— Это — в военном комиссариате. Все справки — с угра.

На следующее утро Варя пошла, куда указали, расспрашивала всех, кого встречала, к кому удавалось пробиться. Но никаких известий о бывшем поручике Старшове ей выяснить не удалось. Зато словоохотливый молодой человек в новенькой форме со споротыми погонами сказал, что надо бы узнать в артиллерийском полку.

— Рекомендую завтра. В сумерках вам извозчика не найти, никто ехать не согласится. Шалят в городе.

О намерении завтрашним утром отправиться в артиллерийский полк Варя дома не сказала. Накануне, рассказывая о посещении особняка губернатора, она заметила, в какой непонятный ужас впал вдруг Кучнов. Понимая, что все это от страха за семью, она решила никого более не пугать, но сказала, что утром пойдет в исполком.

— Вот напрасно, вот напрасно! — расстроился Василий Парамонович.

Впрочем, Варе никуда не удалось пойти… Вечером постучали и вошли трое.

— Старшова Варвара Николаевна? Собирайтесь.

— Куда?

— Узнаете. Вот предписание на арест.

— Господи, в чем же я виновата?

— Там скажут. Ну, чего стоите?

Варя не плакала, стояла молча. И все молчали, и Кучнов трясся у дверей: лампа, с которой он ходил открывать входную дверь, прыгала в руке. Ольга опомнилась первой:

— Можно взять что-нибудь теплое?

— Можно. Только сперва покажете.

Сестры прошли в комнату. Ольга тихо заплакала, обняв Варвару, но та отстранила ее, прошла к шкафу и, не раздумывая, сняла белое свадебное платье.

— Гы!.. — захохотал один из охранников. — Взбесилась!

— Молчать, — тихо сказал начальник, сосредоточенно прощупывая платье. — Можете взять. Пошли.

4

У дома стояли две пролетки с поднятым верхом. Варю усадили в первую, повезли куда-то, но она ничего не ощущала. Она выпала из времени и пространства, не знала и не хотела знать, куда и зачем ее везут, а в голове назойливо повторялись строчки простенького стихотворения Никитина: «Тишине и солнцу радо, по равнине вод лебедей ручное стадо медленно плывет… Тишине

и солнцу радо…» Она читала эти стихи детям в канун отъезда — Мишке, Анечке, Руфиночке, а теперь строчки вновь зазвучали в ней, зазвучали назойливо, но спасительно, вытесняя все мысли, которые могли только обессилить ее. «Тишине и солнцу радо…»

А везли ее совсем недалеко: в недостроенный дом Кучновых, куда тревожным осенним вечером крался Василий Парамонович и который отдал с великого страху неизвестно кому. У ворот ей велели сойти и повели огромными подвалами, перегороженными дощатыми стенами на камеры — мужскую и женскую. Лязгнул засов, Варю втолкнули в полумрак, освещенный пятеркой тусклых керосиновых фонарей под сводчатым потолком, в густой, спертый воздух никогда не проветриваемого помещения, в шепот, стоны, тихий плач неразличимых женщин.

— Старшая! Пополнение прибыло.

От стены отделилась точечка света, поплыла к Варе: только старшая имела право на личную керосиновую лампу. Подошла, осветила, обдала шепотом:

— Варя? Варенька, это ты? Господи, не узнаешь? Я — Анна. Анна Вонвонлярская. Я первенца твоего крестила.

— Да, да, конечно. Я искала тебя.

— Идем. Спать будешь со мной.

Анна провела ее в свой угол. Под ногами шуршала солома, которой был покрыт каменный пол; на ней вповалку спали женщины, но у Анны оказался старый пружинный матрас и ватное одеяло.

— Привилегии теперь начинаются с застенков. Ложись, прижмись покрепче, согрейся и рассказывай.

Еще не успев согреться, Варя начала рассказывать. Коротко, самое основное — жарким шепотом в ухо.

— А потом меня почему-то арестовали.

— Потому что ты просила. Они терпеть не могут, когда просят нечто нематериальное. Шубу с чужого плеча, сервиз, взятый при обыске, даже комнату могут дать. Но — с досадой или, наоборот, громко, с речами. Я прожила бурную жизнь, Варенька, но никогда не интересовалась ею. Писала рассказы для «Задушевного слова» и дамских журналов, скандально развелась с мужем, потому что хотела независимости. А законы жизни — самой обыкновенной, которая катилась мимо меня, — начала понимать только здесь. И первый ее закон: не проси. Ты его нарушила и

сразу же оказалась в кутузке.

— Меня… убьют?

— Они все очень дружно и согласованно твердят, что это следственная тюрьма. Иногда вызывают на допросы целыми партиями — так объявляют, по крайней мере. Правда, с допросов никто еще не возвращался, но все убеждены, что там арестованных сортируют: кого — в настоящую тюрьму, кого — на волю. Так говорят. И верят.

— И ты веришь?

Анна помолчала. Потом крепко обняла Варвару:

— Я открыла второй закон новой жизни: не бойся. Вот ты захватила с собой свое подвенечное платьице, и правильно сделала. Кстати, знаешь, где мы с тобой сидим? В подвале дома Кучновых, где Оля мечтала устроить рай.

Так началась Варина тюремная жизнь. По утрам их бодро поднимала Анна Вонвонлярская, строго следила, чтобы все умывались и приводили себя в порядок до того, как охрана принесет утреннюю порцию жидкого пшеничного супа из воблы. Назначала наряды: кому убирать камеру, кому выносить огромную — несли четыре женщины — парашу. Новеньким полагалась неделя,

чтобы обвыклись и успокоились, но Варя уже на второй день стала помогать в уборке. Анна обращалась ко всем с подчеркнутой вежливостью, но не потому, что в подвале в основном сидели дамы известных в городе фамилий, а создавая фон общения, контрастирующий с матерщиной и грубостью охраны. И не возникало ни споров, ни ссор, и хотя петь запрещалось, читать стихи запретить забыли. Их читали наизусть, порою целыми поэмами, странно звучавшими в вечном полумраке под сводчатыми потолками.

Иногда ночью тишина нарушалась топотом сапог, руганью, стуком прикладов, пронзительным скрипом несмазанных запоров. Порою слышались крики, однажды отчетливо прозвучало: «Не поминайте лихом, братцы». Естественно, что вся женская камера мгновенно просыпалась, тревожно шушукаясь.

— Не бойтесь, — спокойно говорила Анна. — Это на допрос.

Обычно стража подходила к мужской камере — первой от входа в подвал. Но в ту ночь сапоги, остановившись подле нее и кого-то вызвав, затопали не назад, а вперед. И засов заскрипел на двери их камеры.

— Старшова и Вонлярская, на допрос!

— Я — Вонвонлярская.

— Все одно — вон.

— Идем.

Анна торопливо собрала пожитки, сунула соседке, шепнув: «Разделите нуждающимся. Вы теперь — старшая». Все молчали, даже охрана, и поэтому Анна расслышала треск лопнувшего шелка: Варя торопливо натягивала свадебное платье. А оно давно уж стало мало ей, дважды рожавшей, швы не выдерживали, рвались.

— Скоро? — крикнул старший конвоя. — Давай, бабы, шевелись.

— Сейчас. — Анна где-то нашла английскую булавку, застегнула прореху на платье, шепнув: — Правильно, Варенька. Умирать надо красивой.

Их вывели в коридор, тускло освещенный двумя фонарями. У входа ждала группа арестантов — мужчин, и, как только женщины приблизились, раздалась команда. Все строем поднялись по лестнице, которую Оля когда-то мечтала покрыть коврами, и вышли во двор. На улице за воротами урчал мотор несуразно длинного грузовика. В кузове его уже сидели вооруженные люди, и арестованных начали грубо и быстро подталкивать в этот кузов. Анна и Варя влезли последними

и, как приказали, сели на холодный ребристый пол. Снова выкрикнули команду, кто-то залез в кабину, кто-то встал на подножки, и машина, ревя мотором, наконец-то тронулась с места.

И опять Варя никогда не могла вспомнить, долго ли ехали, куда и ехали ли вообще. Но они ехали долго и медленно, подпрыгивая на крупном булыжнике мостовых и пугая ревом мотора мирных обывателей, спавших, а более того изображавших спящих за темными окнами домов. Что-то шептала Анна, но Варя, слыша ее, не понимала ни слова. Она чувствовала, что едет по своему последнему пути, но не верила, не могла поверить тому, что чувствовала. В голове ее мелькали детские лица, давно пропавший муж, Таня, отец, Руфина Эрастовна, но ни разу — Ольга. Какая-то внутренняя сила не пускала сейчас старшую сестру в ее обрывочные воспоминания. А страха не было: его вытеснила полная отрешенность от всего, что происходило сейчас, и единственное, что она ощущала, так это боль от резких толчков машины.

Ехали долго. Спустились к Днепру, у Пролома свернули направо, к Рачевке, а затем вдоль крепостной стены по совершенно уж разбитой дороге. Рев мотора, грохот железного кузова и

веселая матерщина охранников — все проходило мимо, мимо. Мимо замершей, пригнувшейся Рачевки с ее непременными георгинами осенью и геранью зимой; мимо старой крепости, по которой ее так часто водил отец, с упоением рассказывая о былых осадах, сражениях и победах; мимо древнего города, где она родилась, где училась, танцевала, каталась на лодке в Лопатинском саду и где однажды столкнулась со своей единственной, первой и последней любовью. Ее везли сейчас мимо ее собственной жизни, безжалостно подбрасывая на ухабах.

А потом все оборвалось. Рев мотора, грохот кузова, матерщина охраны и само движение, и Варя как бы оглохла и не слышала команды. Но охранники попрыгали через борт, за ними старчески замедленно слезли арестанты, а Варя никак не могла заставить себя вышагнуть из этого последнего, холодного, грохочущего железом убежища. Не могла заставить себя сделать последний шаг, а стоявший на земле начальник команды тянул к ней руки и кричал:

— Прыгай! Прыгай, дура! Не бойся, поймаю!

Потом она ощутила под ногами землю, их построили по двое и повели вдоль стены. Варя и Анна шли последними, Анна крепко держала

Варю за руку и что-то тихо говорила, но Варя не понимала ни одного слова. Свернули в ворота крепостной башни, через пролом вышли из города и оказались на пустыре. Молча пересекли его, остановившись у кромки обрыва, и охранники, матерясь, грубо растолкали их в одну шеренгу спиной к обрыву. Перед ними оказались вооруженные люди, и вокруг была охрана, и была тьма, серое небо, и ни луны, ни звездочки на нем.

— Именем трудового народа революционный суд приговорил вас, контрреволюционеров и их пособников, к расстрелу…

Говорил усатый, грубо сбитый мужчина в железнодорожной тужурке с маузером через плечо. Голос его звучал тускло и безразлично, привыкнув к этой формуле смерти в той же степени, что и его хозяин, уставший от бессонных ночей, слез, криков, пальбы. Анна до боли стиснула руку подруге, но приговор так и остался для Вари пустым набором слов, среди которых не нашлось ни одного для нее лично, адресованного ей и только ей. Нет, это все ее не касалось, потому что она ни в чем не была виновата, все шло мимо, мимо, как в дурном сне. И она не слушала, а оглядывалась, видя темную стену крепости перед собой, темное небо над головою, вооруженную охрану, а за нею

— молчаливую группу с лопатами. «Почему с лопатами? Ах да, нас будут закапывать. Зарывать. Зарыть в землю. Мать — сыра земля…»

— Раздеться всем! Сапоги, ботинки, верхнюю одежду. До исподнего.

Мужчины начали раздеваться, и в их старательной покорности было что-то противоестественное. Прокричав команду, усатый отошел в сторону, на ходу доставая маузер, и перед арестантами оказалось десять охранников с винтовками, примкнутыми к ногам. То ли вздох, то ли стон пронесся над осужденными, сердце Вари сжало тупой, нестерпимой болью, и она начала расстегивать пуговицы платья с той же покорностью, как и мужчины.

— Какое бесстыдство! — Анна Вонвонлярская рванулась к усатому. — Какая беспардонная наглость! Вы можете убить нас, но как вы смеете заставлять молодых женщин раздеваться на глазах у мужчин? Как?

Усатый, бормоча: «Тихо, тихо…», пятился от наступавшей Анны: видимо, подобного еще не случалось в его практике, опыта не было, но заодно не было и сопротивления.

— Разве существует закон — заставлять женщину раздеваться? Ради бога, стреляйте нас, но

стреляйте одетыми, слышите? Одетыми!

Усатый беспомощно оглянулся на начальника охраны, который доставил их к крепостной башне и кричал Варе: «Прыгай, дура!» Они обменялись фразами, которых никто не слышал, потому что Анна продолжала яростно протестовать, и уже не усатый, а начальник конвоя подошел к ней:

— Тихо, понял. Понял, говорю, ошибочка вышла!

Анна замолчала.

— Правильно гражданка указала, что исполнять надо отдельно. Измываться над вами никто нам права не давал. Стало быть, разобраться надо, кто напутал. Женщин обратно в камеру, а мужчин, значит…

5

Их везли той же дорогой, только — назад и в пустом кузове под охраной одного сонного часового. Женщины лежали на холодном ребристом дне кузова, незагруженную машину трясло и подбрасывало пуще прежнего, а они, обняв друг друга, молчали, не в силах даже поверить в собственное спасение. И лишь когда остановились и их, обессиленных, вытащили из кузова, Анна шепнула:

— Мы были на допросе. Просто — на допросе.

Не пугай обреченных.

А когда привели в камеру, лязгнул засов и затихли шаги охраны, сказала:

— Допрос. Мы устали. Все — завтра. Завтра.

Легли на свой диван, упорно никому не отвечая. Сил не было, Варя так и не сняла свадебного платья, но, когда Анна обняла ее, впервые беззвучно заплакала.

— Через сутки они исправят ошибочку, — шепнула Анна. — Поплачь, но завтра будь красивой.

Утром Анна, так и не сомкнувшая всю ночь глаз, как всегда, спокойно и вежливо подняла женщин, распределила работы и велела Варе лежать. Через час принесли завтрак, но Варя так и не смогла съесть его, несмотря на настойчивые просьбы Анны. И лежала до обеда, иногда вдруг проваливаясь в сон, в дремоту, в какое-то бесчувствие. Но силы восстанавливались, в обед она нехотя начала есть, но так и не дохлебала пшенного супа с воблой.

— Старшова, к начальнику. С вещами.

— Почему? — не выдержав, почти истерически выкрикнула Анна. — Почему ее одну? Почему — днем? Света перестали бояться?

— Велено. Мое дело маленькое.

Варя, увязав малые свои пожитки, обняла Ан-

ну:

— Умирать надо красивой. Я запомнила твои слова.

Низко всем поклонилась и вышла в коридор. Там никого не было, и, пока охранник запирал двери камеры, Варя поднялась по лестнице и остановилась, зажмурившись от солнечного света. Наружный часовой, с удивлением поглядев на ее грязное, кое-как застегнутое булавкой свадебное платье, равнодушно отвернулся, а догнавший охранник сказал:

— В контору. Видишь дворницкий домик?

Варя пересекла двор, направляясь к конторе. У ворот стояли двое с винтовками, но и они, мельком глянув, ни о чем не спросили. Варя отметила это равнодушно, потому что непрестанно думала об одном: почему ее вызвали днем, почему — одну и что ее ожидает в конторе. Ничего хорошего ее ожидать не могло, и поэтому она почти спокойно распахнула дверь и шагнула в комнату. Там сидели двое мужчин. Тот, который сидел лицом к ней, встал, а другой, странно рванувшись, бросился навстречу:

— Варенька!

— Федос Платонович… Федя!..

Очнулась Варя на диване. Рядом на коленях

стоял Минин, держа в руке кружку. Он положил мокрый платок на грудь, прыскал из кружки водой, и от всего этого она, наверно, и пришла в себя.

— Леонид Старшов жив. Жив, ты слышишь? Он — в госпитале с легкой контузией…

— Федя… — Варя заревела отчаянно, в голос, с надрывным бабьим воем. — Жив! Жив! И я — жива. И ты здесь.

— Поплачь. — Минин полоснул взглядом по стоявшему в растерянности начальнику. — Все торопитесь?

— Извиняюсь, товарищ Минин. И вы, товарищ Старшова. Сигнал был: ответственный по дому дал уличающие показания…

— Извозчика к воротам. Быстро!

Начальник беспомощно развел руками и вышел.

— Я в Москву ездил. О Леониде узнавать. Я же просил парнишку на словах передать, что окончательно узнаю в Москве и сообщу, — сбивчиво говорил Федос Платонович, отирая ее лицо влажным платком. — А там повезло. В Управлении по учету бывших офицеров — я же уверен был, что с нами он, что на Дон к Каледину не удрал! — нашли в конце концов: он почему-то за флотом

числился. Так что ты теперь — жена красного командира, я и документ на тебя получил.

— Федя, — Варя села, — а ведь меня этой ночью…

— Спешили доложить, что заговор раскрыли, сволочи. — Минин вздохнул. — Извини, Варенька. Странное у тебя платье.

— Свадебное, — горько улыбнулась Варвара.

— А другое есть? Переоденься, я отвернусь. И поедем отсюда поскорее.

Он отошел к окну. Варя переоделась, спросила вдруг:

— А что будет с Анной Вонвонлярской?

— Честно скажу, с тобой проще. Не любит Чека отпускать, ох как не любит! Но я постараюсь.

— Она мне жизнь спасла.

— Мне тоже. Я не даю пустых обещаний, но сделаю все, что смогу. Пролетка подъехала. Ты готова?

Сели в пролетку. Извозчик спросил, куда прикажут, а Минин сказал Варваре:

— В доме отца тебе жить нельзя. Заедем, соберешь вещи, а жить будешь со мной на Покровке. Мне там домишко выделили. Отдохнешь…

— Нет, — тихо сказала она.

— Почему же? Там безопасно, а отдохнуть необ-

ходимо. Дня через три отвезу в Княжое.

— Анну тебе не спасти, это я поняла. Значит, я теперь ее крест должна нести. Обязана нести, Федя. От Покровки до госпиталя — рукой подать, и ты устроишь меня милосердной сестрой к самым тяжелым больным. И еще. К Кучновым зайди сам. Отобрать мои вещи Фотишна поможет.

— Правильно, — сказал Минин. — Трогай. Налево, на Кадетскую…

Глава седьмая

1

Больше месяца Старшов числился ходячим больным. Гулял по госпитальному саду, играл в шахматы с выздоравливающими, ежедневно с регулярностью маятника посещал главного врача, но шум в ушах еще не прошел, в сумерках преследовала «куриная слепота», упорно не возвращалась координация движений. Он понимал, что пока еще не годен для строя, но надоедал врачу по иной причине: просил отпуск по ранению.

— Леонид Алексеевич, голубчик, все отпуска запрещены. Категорически. Отпускаем только комиссованных. Вот ежели на комиссию…

Но комиссии Старшов не хотел. Стремительный ночной бой у Горелово, бессмысленная и жестокая смерть Арбузова и тихое, ласковое «братишка», прозвучавшее из уст привыкшего к окрику, угрозам и мату Желвака, давали надежду, что не все еще потеряно, что армия возродится, что немцев выгонят с захваченных территорий. И он, поручик Старшов, поклявшийся своей честью служить, не щадя ни крови, ни самой жизни, обязан был вложить свой кирпичик в возрождаемую мощь России. Теперь у него появились основания верить в это возрождение.

А еще он каждый день писал письма, понимая, что они не доходят до адресата, что почта еще только-только налаживает разорванные связи. Но адресатом была любовь к Вареньке, к детям, ко всем близким и родным, и он спасался от тоски этими письмами. А в последнее время, сообразив, писал в два адреса: в Княжое и в Смоленск. И наконец-то получил ответ:

«Глубокоуважаемый Леонид Алексеевич!

Варя была в Смоленске, наводила справки о Вас. Не знаю, что ей удалось узнать, но она неожиданно покинула наш дом, и мне неизвестно, где она сейчас. Ваши письма (я получила три) перешлю с первой же оказией: почта не работает.

Искренне желаю Вам скорейшего выздоровления.

Ваша Ольга Кучнова».

Странное было послание. Сухое, обиженное и словно написанное под диктовку. Последнее Леонид допускал, хорошо зная перепуганную осторожность Василия Парамоновича. Но и в горячем бреду не мог представить, что все его письма Кучнов аккуратно передает «по инстанции», где они исчезают тихо и бесследно. И потому написал Ольге отдельно, умоляя сообщить, что ей известно о детях, о жизни в Княжом, куда и почему уехала Варвара. Однако ответа на это письмо он так и не получил. А вскоре, во время утреннего визита к главному врачу, узнал приятно удивившую его новость:

— Вас вызывают в Москву, Леонид Алексеевич. Вот запрос.

Запрос был подписан Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем. Старшов много слышал о бывшем начальнике штаба, а затем и командующем Северным фронтом, но никогда с ним не встречался и был очень удивлен, что столь высокий военачальник вспомнил вдруг о каком-то командире роты.

На следующий день он выехал без всяких про-

волочек. В вагоне нещадно курили, нещадно матерились, нещадно выясняли отношения. При выписке Старшову выдали солдатскую шинель, под которой он благоразумно спрятал маузер, в споры не вступал, избегал бесплодных разговоров и через сутки с небольшим добрался до Москвы. Военный комендант на основании запроса выдал ему талоны на питание и адрес общежития. Общежитие, оказавшееся бывшей гимназией, находилось в переулке неподалеку, Старшов без труда разыскал его.

— Интересовались тут вами, Старшов, — сказал дежурный при входе. — Ждут в семнадцатой комнате.

— Кто ждет?

— Командир Сибирского полка. Фамилия какая-то чудная.

Бегом по лестнице Леонид подниматься еще не мог, но спешил, не обращая внимания на одышку. И все ломал голову, что же это за командир полка с чудной фамилией. Нашел семнадцатый номер, распахнул дверь.

— И всегда-то мы странно встречаемся, Старшов.

— Викентий Ильич? Погодите тискать, я контужен.

— Садитесь, садитесь, прорицатель, — улыбался Незваный. — Я ведь так до саратовского веника и не добрался, и слава богу, что не добрался. Гляньте на стол: жду вас с пшеничным хлебушком, салом и флягой спирта. Мне мои сибиряки раздобыли.

— Я еле-еле оклемался, Незваный. Какой там, к черту, спирт.

— Сырец малость пованивает, но пить можно. А насчет контузии бросьте. Меня валяло побольше вашего, и дырок во мне тоже, пожалуй, побольше, так что слушайтесь старших. Пойдете ко мне начальником штаба?

— Давайте разберемся, а? Как вы превратились в сибиряка?

— После доброго глотка, Старшов. Рад, что ты жив, рад, что вижу тебя, но больше всего рад, что мы — вместе. Мы опять в одном окопе, Леонид.

— В одном, Викентий. Хотя окопчик наш пока мелковат и тесен.

Они чокнулись жестяными кружками, выпили по глотку, и голова Леонида закружилась, поплыла, но не настолько, чтобы не уловить истории бывшего капитана Незваного, пытавшегося скрыться от собственной совести в кругу собственной семьи.

— Бежал я из Питера на следующее утро после нашего разговора. Естественно, без мандата, без пропуска, с одной офицерской книжкой, которую, честно признаюсь, до времени зашил в подкладку. Везло дьявольски, даже Москву удалось стороной обойти. Огородами, что называется. И почти добрался до Казани — хотел оттуда до Саратова сплавиться — как на какой-то станции попадаю в пробку. В пяти верстах за нею — речка, а по другому берегу — то ли белые, то ли самооборонцы, то ли просто бандиты: поезда пропускают только при повальном обыске и полной сдаче оружия, но без всяких иных гарантий. Станция забита эшелонами, полно беженцев, и я пока прячусь среди них. А как-то ночью будят трое солдат, по форме вроде сибирского полка: у них папахи другие, если помнишь. «Офицер! Шпион, твою мать! К стенке!» А я до этого еще приметил, что на станции стоят два эшелона сибиряков при оружии и даже при трех батареях. «Погодите, говорю, к стенке всегда прислонить успеете. Ведите к командиру». Уж и не помню, как уговорил: привели к командиру…

Выборным командиром Сибирского полка, решившего самостоятельно прорываться до Иркутска, был молоденький подпоручик. Незваный

показал ему свои документы, объявил, что тоже пытается добраться до дома.

— Через мост не прорваться, — сказал подпоручик. — У них за бугром бронепоезд: как только наш эшелон войдет на мост, они его прямой наводкой в клочья разнесут.

— Давайте завтра на местности осмотримся, — предложил Незваный, желая больше всего выиграть время. — Может, и подберем ключик.

Утром осмотрелись. Мост действительно выглядел неприступным, и прорываться по нему было бессмысленно. Но противник укрепил только прилегающие к мосту берега: ниже и выше никого не было. А лед уже держал, правда, только ползущего человека: Незваный сам проверил, а когда вернулись в вагон, сказал:

— Идея такая: демонстрация в лоб в сочетании с двойным охватом и последующими ударами во фланги.

— А тем, кто будет в лоб демонстрировать, загодя в рай готовиться?

— Надо разыскать на станции пять старых теплушек, загрузить их песком, камнями, железом — что под руку попадется. Паровоз — сзади, чтоб во что бы то ни стало протолкнул теплушки за мост. И пока бронепоезд будет их расстреливать,

атаковать с двух сторон одновременно. Хорошо бы за бронепоездом рельсы взорвать.

— Саперный взвод. У них и взрывчатка, и детонаторы.

— День на подготовку, ночь — на переправу по льду и сосредоточение, на рассвете — атака. Время я рассчитаю… с одним условием: атакой справа буду командовать лично.

— Зачем? Я вас и так домой отпущу.

— Повоевать захотелось, — улыбнулся Незваный. — Не обижайтесь, поручик, я с четырнадцатого на фронте.

Через мост прорвались, и бронепоезд взорвали, и обошлось это минимальными потерями. А на другой день подпоручик собрал полк. Рассказав о бое, в конце подошел к главному:

— Если каждую станцию, каждый мост с бою брать, мы до родной Сибири не доберемся. Мы только вместе с Россией ее от беляков освободить можем. Поэтому первое предложение у меня такое: вступить всем полком в Красную армию. Вам решать, солдаты. Через час позовете.

Через час полк вынес решение: защищать советскую власть. Командиров позвали, и тогда подпоручик, объяснив, кому полк обязан победой, предложил избрать командиром опытного

окопного офицера…

— Вот так я и стал сибиряком, — улыбнулся Незваный. — Еще раз — за встречу!

— Ты — карьерист, Викентий. — Голова у Леонида плыла, язык чуть заплетался, но соображения он не терял.

— Безусловно, — согласился Незваный. — Вся офицерская служба — карьера, и если ты мне скажешь, что не мечтаешь стать генералом, значит ты не офицер.

— Я — учитель.

— А в офицерской дружине под Гатчиной я оказался рядовым. И всегда там, у них, буду рядовым, потому что протекций не имею. А у большевиков ценят не протекции, а мастерство и уменье. И ты абсолютно был прав, когда сказал, что за веником мне не спрятаться. Пойдешь ко мне начальником штаба?

— Я с тобой куда хочешь пойду. Кроме той стороны.

— Из идейных соображений?

— Плюс — число анкет. Слушай, я посплю, а? Сутки не спал.

— Только совещание не проспи. Оно завтра, в девять. Впрочем, я тебя разбужу… если проснусь…

2

В зале совещания оказалось несколько сот бывших офицеров, довольно пестро одетых — от гражданских пиджачков до солдатских гимнастерок и мундиров, перетянутых портупеей. Не было ни погон, ни орденов, ни иных знаков различия, но уверенно звучавшие голоса, краткость формулировок и в особенности выправка, которой столь дорожили совсем недавно, не оставляли сомнений, что новой власти впервые удалось собрать кадровый состав русского офицерства. Все были если не друзьями, то знакомыми, а если и не знакомыми, то — окопниками, поровну хлебнувшими лиха, и это обеспечивало легкость общения.

Впрочем, Леонид скоро выделил три неравных группы, которые при всеобщем оживлении незримо раскалывали это собрание. Наибольшая группа состояла из молодых офицеров, уже нашедших свое место в общероссийском сумасшествии: командиры батальонов, полков, отрядов, а то и дивизий, хотя официально таких соединений вроде бы еще не существовало. Их голоса звучали увереннее и звонче: с большинством из них Незваный тут же познакомил Старшова.

Вторая по численности группа еще, вероятно, не определилась, еще мучительно решала, где же осталась Россия — здесь или там. И наконец, небольшое число, в основном немолодых офицеров, явно не принимали нового порядка, но и не рвались защищать старый. По всей видимости, они все еще надеялись отсидеться, отмолчаться и не ввязываться в борьбу ни на одной из сторон.

Попросили занять места. Офицеры расселись, дисциплинированно примолкнув, с некоторым удивлением оглядывая пустую сцену с председательским столом и вынесенной вперед трибуной. Там вскоре появился молодой человек, прикрепивший к стене гимназическую карту земных полушарий. Без стука положив на стол ученическую указку, он молча удалился.

— Кажется, нас будут учить воевать по глобусу, — шепнул Незваный.

— Опять — текущий момент, — с досадой вздохнул сидящий впереди офицер. — Что у них за манера вечно читать проповеди?

На сцене появились генерал Бонч-Бруевич и взъерошенный человек в мятом костюме с копной вьющихся волос («Троцкий», — прошелестело по залу).

Михаил Дмитриевич молча сел за стол, а Троц-

кий, взяв указку, подошел к карте.

— Товарищи! Данный момент нашей истории характерен как активизацией трудящихся масс во всем мире, так и активизацией империалистических сил, теряющих почву под ногами, а потому готовых на все.

Троцкий говорил напористо и стремительно, легко строя сложные фразы, легко и к месту оперируя цифрами и упорно подводя слушателей к пониманию основной задачи: мобилизации всех сил для защиты завоеваний революции. Вероятно, он никогда не повторялся в своих речах, но этой аудитории были безразличны социалистические завоевания. Им была близка и понятна идея защиты Отечества, России, но во всей стремительной получасовой речи Лев Давидович ни разу не упомянул ни о России, ни о Родине. Не потому, что сознательно не хотел о них упоминать, а потому, что был искренне поглощен идеей мировой революции, в которой уже не оставалось места такому замшелому, с его точки зрения, понятию, как Отчизна, Отечество, Родина. А потому слушали его по-офицерски дисциплинированно, не воспринимая ни темы, ни блестящих ораторских пассажей, ни тем паче самой идеи всемирной социальной катастрофы.

Однако Троцкий то ли не заметил отчуждения зала, то ли сам зал и его настроение были ниже его достоинства. Закончив, он положил на стол указку и сказал:

— Через четверть часа меня ждут на совещании. Ваше собрание поведет Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич. Прошу извинить.

Тряхнул косматой головой и вышел столь же стремительно, сколь и появился. Зал с явным облегчением вздохнул, но продолжал хранить гробовое молчание. Михаил Дмитриевич неторопливо прошел к трибуне, оперся о нее обеими руками, обвел сидевших внимательным взглядом и негромко сказал:

— Господа офицеры…

Все встали. Все как один, повинуясь не приказу сверху, а приказу изнутри, из себя самих, ибо были и остались офицерами. И молча глядели на генерала без погон и орденов, и было слышно, как судорожно всхлипнул кто-то из пожилых.

— Прошу садиться, — тихо сказал Михаил Дмитриевич. — Я добился разрешения собрать вас совсем не для того, чтобы выслушать Льва Давыдовича и разойтись. Я собрал вас потому, что над нашей Отчизной, над Россией, нависла реальная угроза гибели и расчленения. До сей поры

мы ощущали только германскую опасность, но несколько дней назад, а точнее двадцать шестого мая, бывшие чехословацкие военнопленные подняли вооруженный мятеж. Урал, Сибирь и Волга практически в их руках.

По залу прокатился гул. Генерал поднял руку, все замолчали.

— Двадцать девятого мая на всей территории, контролируемой советской властью, введена воинская повинность, выборность командиров отменяется на всех уровнях. Речь идет о реальном строительстве новой, Красной, армии России. Мы уже имеем отряды, полки и даже дивизии, но необходима общая организация обороны. Здесь собрались кадровые офицеры, обладающие опытом боев и лично доказавшие свою решительность в защите Родины. Отрядно-заградительный период обороны кончился, мы переходим к организации регулярных вооруженных сил, со всей серьезностью отвечающей серьезности момента. Для примера позвольте доложить, что за провал Нарвской операции бывший нарком по морским делам Дыбенко отстранен от должности, отдан под суд и исключен из партии большевиков. Привожу этот пример, чтобы еще раз подчеркнуть: без вашей помощи, господа офицеры, нам

не спасти России. Естественно, вы подлежите мобилизации, но я бы хотел в два, минимум в три дня, получить ваше добровольное согласие на службу в Красной армии.

— Простите, ваше превосходительство, — в средних рядах поднялся молодой офицер. — Откровенность за откровенность. Я не могу пойти на службу к большевикам, поскольку решительно не признаю их.

— Интервенция уже началась, пока — германская. Не сегодня, так завтра в нее включатся и наши бывшие союзники по Антанте. Россию уже рвут на куски и разорвут окончательно, если мы, русские офицеры, не найдем в себе сил избавиться от личных симпатий и антипатий, амбиций и уязвленного самолюбия. Да, многим из вас пришлось нелегко, да, я не обещаю райской службы: вас ожидают и подозрительность, и открытая неприязнь, и хамское отношение, и недоверие, и даже слежка за каждым шагом и действием вашим. Но задумайтесь: на другой чаше весов вашего душевного комфорта — судьба России. Или мы спасем ее ценою собственного унижения, или ее разорвут на колониальные уделы. Третьего не дано, господа, а решать — вам. Три дня на размышление. Жду и надеюсь. Честь имею.

Михаил Дмитриевич коротко поклонился и вышел. Зал зашумел, где-то начали возникать споры.

— Да мне же никто руки не подаст в приличном обществе!

— А это уж от вас самих зависит, голубчик.

— Россия есть Россия, господа. Здесь не до самолюбия.

— Смотря какая Россия!

— Тут уж почти по Некрасову: либо могучая, либо бессильная.

— Пошли, — Незваный тронул Леонида за рукав.

— Куда?

— К генералу, куда же еще. Мне нужен толковый начальник штаба, Старшов, и я от тебя не отлипну.

— Он дал три дня.

— Три дня терять? Нас полк ждет. Хороший, доложу тебе, полк.

— Думаешь, ты уговорил? — вздохнул Старшов. — Обстоятельства. Обстоятельства и анкеты. Но то, что они сами Дыбенке балтийские мозги вправили, — обещает. Хороший, говоришь, полк?

— Отменный.

— И сколько в нем с нами вместе?

— Триста двадцать семь активных штыков и наших два нагана.

— У меня — маузер…

3

Разгоравшаяся гражданская война не соответствовала тому фронтовому опыту, которым столь богато было русское офицерство. Оно привыкло к войне позиционной, к глубоко эшелонированной мощной обороне, к долгой и тщательной подготовке прорывов с заранее подтянутыми резервами, с обеспечением флангов и массированной артподготовкой. Так бывало во времена всех — удачных и неудачных — крупных операций, образцом которых был и оставался Брусиловский прорыв. А в этой изнурительной, бесконечной войне не приходилось рыть окопов полного профиля, строить укреплений и даже рассчитывать на сколько-нибудь ощутимые резервы. Война сразу же превратилась в войну маневренную, в серию быстротечных, гибких операций без отчетливой линии фронта, где смело пользовались обходами и охватами и не оглядывались на соседей. Как белые, так и красные судорожно цеплялись за железные дороги,

узловые станции, защищались с особым упорством, а наиболее могучей поддержкой стали бронепоезда, и вскоре по всему южному участку загремело имя Анатолия Железнякова, тут же переиначенное в Железняка.

— Молодец, Анатолий, — сказал Старшов. — А был анархиствующий братишка с бантиком.

Молодым офицерам, еще не утратившим способность извлекать уроки из собственных ошибок, было легче приспособиться к этой новой войне. И среди зазвеневших славой новых начдивов, комбригов и командиров полков фамилии вчерашних поручиков звучали куда громче, нежели вчерашних генералов и полковников. Новая власть быстро разобралась в этом и легко утверждала молодежь на высшие командные должности.

Сибирский полк прошел через бои и стычки, оставшись Сибирским только по названию. Были убитые, еще больше — раненых, поступало пополнение из центральной России, и даже официально полк получил номер, но по номеру он значился только в глубоких тыловых сводках. Прибывавшие рязанцы и владимирцы, псковичи и петроградцы быстро становились отчаянными сибиряками. Незваный чтил полковые традиции

и в непременном порядке вел о них беседы с пополнением. Говорить он умел, чем, как ему казалось, выгодно отличался от своего комиссара Тимохина, без поддержки которого не смел отдавать ни одного приказа. Но Тимохин, чем-то напоминавший Старшову Затырина, быстро научился не столько понимать боевую обстановку, сколько доверять командиру полка, а что касается разговоров с бойцами, то тут Незваный самолюбиво ошибался. Тимохин не любил хлестких фраз, был немногословен, но легко находил со вчерашним крестьянином не только общий язык, но и общие интересы. Короче говоря, и Незваному, и Старшову, и Сибирскому полку на комиссара повезло.

Куда меньше повезло на особоуполномоченного ВЧК Петра Уткова. Он был угрюм и недоверчив, откровенно осуждал призыв в армию «офицерья», полагал их всех изменниками трудового народа. Офицеры сойтись с ним и не пытались, но вскоре обнаружили, что Утков беспрекословно подчиняется решению большинства и, если комиссар соглашался с командиром и начальником штаба, хмуро не возражал. Зато он обладал невероятным упорством в достижении понятной задачи, и Незваный с помощью комиссара

нередко уговаривал Уткова раздобыть лишний вагон патронов, пулемет, продовольствие или перевязочный материал, которого всегда не хватало. Кроме открытой слежки за «офицерьем», Утков ретиво занимался контрразведкой среди местных жителей, пленных и перебежчиков, которых было достаточно с обеих сторон.

После затяжных, нудных боев полк наконец-то отвели в ближний тыл для пополнения и передышки. Однако пополнение шло со скрипом: первый порыв уже исчерпал себя, а продотряды, шуровавшие по деревням, толкали крестьян скорее в бега, чем в армию. Это весьма заботило Старшова, но посоветоваться зачастую было не с кем: Незваный отдыхал с вызывающим размахом.

— Ты, Леонид, бездарно теряешь драгоценные ночи, — поучал он, иногда ночуя дома для восстановления сил. — Война есть война, и надеяться вернуться к семье шансов у нас — тридцать к семидесяти, если очень повезет. Хочешь, с вдовушкой познакомлю? Сочна, как белый налив.

— Знаешь, Викентий, при всем прохладном отношении к церкви я поклялся пред Богом и людьми в верности одной женщине.

— Аскетизм укорачивает жизнь, Старшов. И

потом, он скучен, как льняное масло, которым нам ежедневно смазывают проклятую перловку. — Незваный вздохнул. — «И появилось у него чувство, что он никогда более не увидит ни жены, ни дочери, ни матери».

— Прекрати, Викентий.

— Я неточно кого-то там процитировал: это не чувство. Это предчувствие. Ладно, давай спать, Леонид. Измотала меня молодка.

И то ли вправду сразу уснул, то ли прикинулся, а Старшов долго еще сидел у распахнутого окна, ощущая вдруг возникшую тревогу. По личному опыту он знал, что у прошедших бои и переживших реальные опасности фронтовиков порою развивается способность предвидеть собственную гибель, и тогда возникает либо бесшабашная удаль, либо непреодолимый ужас. Бывалые разведчики вдруг отказываются идти в поиск, а опытный пехотинец поднимается в атаку, не просчитав, когда пулеметная очередь начнет смещаться, перестав быть опасной лично для него. Он сказал об этом комиссару, но Тимохин поставил свой диагноз:

— Проспится — пройдет.

Проспаться Незваному довелось в пути: с нарочным прибыл приказ — явиться в оперативный

отдел штаба фронта. Выехали верхами втроем: Утков ловил дезертиров в соседних лесах. В штабе приняли без проволочек. Начальник оперативного отдела, по виду — полковник из запаса, тут же развернул карту.

— Господа… Простите, товарищи командиры, как вам, может быть, известно, противнику, — он избегал слова «белые», — удалось окружить группу наших войск. В настоящее время группа с боями приближается к фронту. Ваша задача: выдвинуться в район предполагаемого прорыва и всеми мерами обеспечить группе выход из окружения. Для согласования действий группа пришлет связного. Пароль: «Каков ритм движения группы?» Ответ: «Четыре шага — вдох, четыре — выдох».

— Четыре — вдох, четыре — выдох, — повторил Незваный.

Старшов понял, почему он повторил: именно так учили водить пехоту в длительных маршах во всех юнкерских училищах.

— В активные действия с противником не вступать до прихода связного. Если нет вопросов, свободны. Эшелоны будут поданы утром.

Спать полку не пришлось. Пока вернулись командиры, пока разыскали разбредшихся в

поисках солдатских утех бойцов, пока собрали имущество. По счастью, Утков успел вернуться с двумя десятками отловленных дезертиров, половина которых, правда, разбежалась в сумятице погрузки. Но эшелоны прибыли вовремя, погрузились быстро и через пять часов «зеленого» хода сменили на позициях полк. Весь день Незваный и Старшов знакомились с обстановкой, распределяли участки и сектора обстрелов, а закончив эту привычную нудную обязанность, стали ждать, строго-настрого приказав не ввязываться в активный бой.

А связного все не было. Полк вяло отстреливался, соблюдая приказ, но подобная анемичная оборона могла создать у белых впечатление малых сил, и тогда они вполне могли решиться на атаку. До получения сведений от окруженной группы это было опасно, и командование, приказав зарываться в землю, ломало головы, как бы удержать противника от активных действий.

— Есть одна мыслишка, — сказал Утков. — Надо переговоры затеять. По моим данным, у них — сыпняк. Могут клюнуть.

— У них — сыпняк, а у нас какая причина? — спросил Тимохин. — С чего это вдруг свежий полк о перемирии запросил?

— Идея! — улыбнулся Незваный. — На переговоры пойду либо я, либо Старшов. И в той же должности — с их стороны. Так сказать, офицер с офицером тет-а-тет. Если осторожно намекнуть… Ну, понятно, на что красный офицер может намекнуть белому коллеге.

— Например? — насторожился Утков.

— Например, на сдачу полка при определенных условиях. А условия можно неделю оговаривать.

Воцарилось молчание. Утков недоверчиво хмурился, а комиссар соображал. Потом сказал:

— Другого выхода не вижу.

— Под твою ответственность! — предупредил Утков. — Под прямую твою!

— Под мою, согласен. Чего молчишь, Старшов?

— Мне это не нравится. Не нравится, и все. А возражать — нет у меня аргументов.

Через сутки Утков доложил, что связь с белыми налажена и что в принципе у них нет возражений. Но есть требования: встреча — в пятницу, парламентеры в должности не ниже начальника штаба полка, место встречи — середина нейтральной полосы. Если красные согласны, пусть обозначат место встречи белым флагом, после чего к нему одновременно пойдут без оружия оба представителя.

— Попались. — Незваный радостно потер руки. — Ставь флаг, комиссар. Разыграем, кто пойдет, Леонид? Монета найдется?

— Мальчишки. — Тимохин достал пятак. — Для внука подобрал.

— Загадывай, Леонид.

— Орел.

Незваный подкинул. Монета со звоном упала на пол.

— Решка, — сказал Тимохин.

— Кидать надо уметь, — улыбнулся Незваный.

Он был непривычно возбужден, что очень не нравилось Старшову. Правда, Леонид надеялся на опыт Викентия Ильича и верил, что, как только начнется встреча с глазу на глаз, к нему вернется хладнокровие и рассудительность. Однако перед сном спросил:

— Что предложить продумал?

— Репетирую, — буркнул Незваный. — Я в любительских спектаклях играл. Давай лучше выспимся, а?

Но выспаться не удалось. Ночью явился Утков вместе с комиссаром.

— Девчонку задержали. Отвечать отказывается, начальства требует.

— Погоди, оденемся.

Петр вышел. Командиры торопливо одевались.

— Не девчонка она, — вдруг сказал Тимохин.

— А кто?

— Сам увидишь. Утков, давай ее!

Вошла очень юная девушка в кофте и юбке, с платочком на плечах: так одевались мещанки многочисленных южных городков. Свежее личико, смелые, даже дерзкие глаза со странной синевой, а главное, манера держаться независимо без вопросов убедили Старшова, что комиссар прав. Перед ними стояла барышня, и все это сразу поняли, а Леонид вдруг поймал себя на мысли, что так, именно так выглядела юная Варя, когда он, набарахтавшись в прудовой тине, выбрался на берег.

— Ваше имя, мадемуазель? — спросил он.

— С вашего позволения, сначала — дело. Начальник контрразведки должен уйти.

— Чего? — с хмурой недоверчивостью спросил Петр.

— Таковы условия, по которым ваш полк был переброшен на этот участок.

Командиры переглянулись. Потом комиссар сказал:

— Выйди, Петр.

Утков вышел, вызывающе хлопнув дверью.

— Ну? — спросил Тимохин. — Что велено передать?

— Приказано ждать вашего вопроса.

— Вы дерзки, мадемуазель, но красота с избытком искупает дерзость, — улыбнулся Незваный. — В каком ритме передвигаются те, кто вас послал?

— Четыре шага — вдох, четыре — выдох.

— Присаживайтесь, — Старшов подал стул. — Тот, кто вас послал, давно закончил в юнкерском?

— Вместе с моим братом, но это несущественно.

— Ваше имя?

— И это несущественно. Впрочем, чтобы хоть как-то общаться, зовите меня Лерой.

Говоря это, она в упор смотрела на Старшова, то ли вспоминая о чем-то, то ли пытаясь о чем-то напомнить ему. Он столкнулся с нею взглядом, но Лера не опустила глаз, не потупилась, что следовало бы сделать барышне ее возраста. И опять Леонид подумал, что она кого-то неуловимо напоминает: «Нет, пожалуй, не Варю. А может быть, все-таки ее?»

— Что вы имеете нам доложить, мадемуазель Лера?

— Только то, что мне приказано. Группа будет прорываться на вашем участке. Сегодня среда? Значит, в субботу на рассвете. Командующий просит об артиллерийской поддержке и демонстрации атаки в течение получаса.

— А своя артиллерия у вас есть? — спросил Тимохин.

— Три действующих батареи идут на конной тяге. Имеют в запасе по пять снарядов на орудие. Остальные пушки волокут на быках в обозе. У нас много раненых и мало патронов.

— На ура прорываться будете? — насмешливо улыбнулся Незваный.

— Кавбригада — это наша единственная ударная сила — в настоящее время уже должна была подтянуться к ближним тылам противника. Одновременно с началом атаки командующий просит вас перейти в атаку всеми силами, но артогонь вглубь не переносить.

— Когда закончили гимназию? — вдруг поинтересовался Незваный.

— В семнадцатом.

— И сразу пошли воевать?

— Как только постучали в дверь, — улыбнулась Лера и опять посмотрела на Старшова. — Кажется, теперь я вам доложила все.

— У вас глазки не смотрят, — ласково сказал Викентий Ильич. — Комиссар, проводи барышню к нашим женщинам.

Когда они вышли, Незваный сорвался с места, покрутился по избе, закурил и снова уселся напротив Старшова.

— Все прекрасно, а ты хмуришься?

— Кавбригада. Если белые засекут ее движение…

— После принятого решения слово «если» для офицера не существует, Леонид. А то не быть тебе генералом.

— На переговоры идти нельзя, Викентий. Кроме того, сейчас, когда появилась связь с группой, это вообще бессмысленно.

— Наоборот! — горячо возразил Незваный. — У группы практически одни клинки кавбригады. Если мы отвлечем противника…

Спорили они долго, но Викентий Ильич все же настоял на своем. До предполагаемой встречи на ничейной земле оставались еще сутки, и Леонид надеялся, что с помощью Тимохина ему удастся отговорить Незваного от рискованного предприятия. Но комиссар неожиданно согласился с доводами командира полка, и вопрос был решен окончательно.

— Все будет хорошо, Леонид. Ты забыл, что я — осколок армии Самсонова? Уж если мне тогда повезло…

4

Утро пятницы было тихим, томительным и на редкость жарким. Старшов лежал в окопчике охранения впереди линии обороны. Полк стоял чуть выше белых, державших утопающий в зелени городишко, в котором сходились четыре шоссейные дороги. Рядом расположились комиссар, Утков и неразговорчивый, собранный Незваный. Комиссар о чем-то говорил с особоуполномоченным, а Леонид, припав ухом к земле, напряженно вслушивался, не донесется ли конский топот или треск пулеметных очередей. Его не оставляла мысль, что разведка противника могла обнаружить кавбригаду группы, что все поняли их игру и теперь лучшие стрелки белых изготовились расстрелять командира красных на ничейной полосе.

В полдень сигнальщик, отобранный лично Тимохиным, вылез из полковых укрытий и, размахивая белым флагом, пошел навстречу противнику. И обе стороны затаили дыхание, ожидая внезапного выстрела, пулеметной очереди или

еще чего-нибудь непредвиденного. Но ничего не произошло: сигнальщик отмерил половину пути, воткнул в землю древко флага и столь же неторопливо вернулся к своим.

— Моя очередь. — Незваный вынул из кобуры наган, протянул Старшову: — Дарю.

— Опять предчувствия?

— Надоел мне твой бандитский маузер. — Викентий Ильич легко вскочил на бруствер. — Черт, сапоги не чищены.

И неспешно зашагал к белому флагу. В бинокль было видно, что из противоположных окопов тоже поднялся офицер и направился к месту встречи. Они сошлись у флага, церемонно отдали честь друг другу, слова не доносились, но Старшова сейчас мало интересовал их разговор. Он до рези в глазах вглядывался в белого офицера, то и дело поправляя наводку: что-то знакомое чудилось ему в суховатой фигуре… «Мания у меня, что ли? — думал он. — Все кого-то напоминают…»

О разговоре он узнал потом.

Навстречу Незваному шел молодой подполковник, черноглазый и загорелый, с демонстративно открытой пустой кобурой на двойной портупее. Сабли при нем не было, но он по привычке придерживал левую руку у бедра. Окопные офицеры,

как правило, обходились без сабель, из чего Викентий Ильич заключил, что подполковник в грязи и снегах с солдатами не валялся. Они откозыряли друг другу, но не представились, что соответствовало договоренности, а лишь назвали должности: парламентер представился начальником штаба.

— Придется называть вас полковником. — Он чуть шевельнул тонкой ниточкой черных усов, изобразив улыбку. — Итак, полковник, вами движет человеколюбие?

— Не только, хотя знаю о сыпняке в вашей части. Это предлог для моего человеколюбивого комиссара.

— А суть?

— Идиотизм происходящего, полковник. Русские стреляют в русских, стараясь непременно попасть. Вы считаете это нормальным?

— А почему вы задаете вопрос, так сказать, с той стороны? Ведь вы — кадровый офицер.

— Я — кадровый офицер русской армии и мобилизованный командир армии Красной. Однако вы не ответили на вопрос.

— Я — из рода врачей, готовился, что естественно, в университет, но, увы, война. Так что не обессудьте за аллегорию. Живой организм борет-

ся с болезнью войной, и роль воинов берут на себя белые кровяные тельца нашей общей крови. По-моему, это и происходит сейчас в России.

— Насколько мне помнится, красные тельца снабжают организм кислородом.

— Ну так и снабжайте. Зачем же тогда эта странная встреча? У каждого — своя правда, здесь нет никакого открытия.

— По составу крови я — белое тело, полковник. Если не врет родословная, я — офицер в седьмом колене.

— Так идем сейчас со мной, офицер седьмого колена. Риск невелик, у меня пулеметчики наготове. Прикроют.

— И мною немедленно займется ваша контрразведка, не так ли? И в лучшем случае я окажусь рядом с темным пятном в биографии. Откровенно говоря, меня это не устраивает.

— А что бы вас устроило?

— Именно ради этих условий я и затеял переговоры. — Незваный помолчал, как бы прикидывая, что и как следует сказать. — В полку много мобилизованных офицеров и старослужащих, основная крестьянская масса — колеблющиеся, пойдут за тем, кто поведет. Условие одно: мы остаемся отдельной частью.

— Я не уполномочен давать каких бы то ни было гарантий.

— Понимаю. Доложите, обсудите, и дня через три, скажем, в понедельник, встретимся с вами на этом же месте.

— Где ваша семья, полковник?

— В Саратове. И это решающая причина, если угодно.

— Мне угодно закурить. Что у вас, совдеповская махра? Позвольте предложить настоящую папиросу.

Он полез в карман…

— И тут я все понял, — рассказывал позднее Незваный. — Никакой офицер не положит портсигар в карман отутюженных бриджей. Он вытащил браунинг, но я успел упасть до первого выстрела и откатиться перед вторым. Третьим он зацепил меня, но вы уже рванули по всему фронту, и подполковник задал стрекача…

Старшов ничего не помнил. Как только он увидел падающего друга, так тут же, не размышляя, бросился вперед. Он слышал, как сзади орет «Даешь!..» атакующий полк, знал, что его поддерживают, но видел только убегавшего парламентера. Он расстрелял по нему весь барабан, сунул револьвер за ремень и достал тяжелый

маузер.

Эта атака была непростительным безумием. И спасло их не запоздание вражеских пулеметчиков, не стремительный порыв полка. Спасли неожиданный рев сотен глоток, топот конских копыт, лязг сабель, растерянная пальба белых в собственном тылу. Кавбригада армейской группы точно уловила момент конной атаки.

Леонид так и не попал в убегавшего парламентера: из нагана было далековато, а к маузеру он еще не привык, и странно напомнивший ему кого-то офицер скрылся в узких улочках местечка. А Старшов на окраине нарвался на солдат, кое-как отстрелялся последними патронами, но получил такой удар прикладом в плечо, что отлетел к изгороди и — как провалился. Его наверняка добили бы, но уже набегали свои, бой смещался к центру, навстречу крикам, конскому топоту и сабельному звону.

Очнулся он быстро: еще слышна была стрельба, крики, топот. Болело левое плечо, шея; он пошевелил рукой, понял, что кости, кажется, целы, и сел. Кружилась голова, подташнивало, хотелось пить, и пот градом стекал по всему телу. И никак не удавалось восстановить дыхание.

— Живой, Старшов? — Леонид поднял голову:

перед ним стоял Утков, с красного лица капал пот. — Кончил я того гада. Лекарев ему фамилия.

И бросил к ногам Старшова офицерскую книжку бывшего сокурсника по училищу и шафера на его свадьбе.

5

Утков отвез Старшова в лазарет. Там как раз перед ним извлекли пулю из плеча Незваного, состояние доктор признал удовлетворительным, но настоял на отправке во фронтовой госпиталь. А повидаться им не пришлось, потому что Викентий Ильич был в забытьи после мучительной операции и стакана водки, который давали вместо наркоза. Да и Леонида тошнило и покачивало, и доктор уложил его, оглушив все тем же средством. Никаких иных лекарств, кроме водки и йода, в полковых лазаретах давно уже не было.

Трое суток Старшов отлеживался. За это время полк занял позиции в трех верстах за местечком, куда долго втягивались измотанные боями и маршами части армейской группы. О новостях рассказывали Тимохин, Утков и командир первого батальона, исполняющий обязанности отправленного в тыл Незваного.

— Мы с Утковым на тебя рассчитываем, — ска-

зал комиссар. — Поправляйся, полк командира ждет. Но сперва отлежись.

— А Незваный разве не вернется?

— Отвоевался Викентий Ильич, пуля связки порвала. Доктор говорит, что по всем правилам его с командных должностей спишут.

Головокружение и боль в плече прошли на второй день, но Старшов не торопился покинуть лазарет: в полку отлично справлялись и без него. С горечью думал о Незваном, отсыпался, но это продолжалось недолго.

— Мне приказано выписать вас завтра после дневного сна.

— Кем приказано? Комиссаром?

— Нет, Леонид Алексеевич, вышестоящим.

— Каким еще вышестоящим?

— Все, Леонид Алексеевич, все. Если днем не поспите, приказано не выписывать.

Доктор был молод, еще не растратился в повседневности и вечной нехватке самого насущного, еще верил в себя и очень старался. Зная это, Леонид после обеда покорно лег в постель, но уснуть не мог. Думал о Варе, о детях и — совсем немного — о полке, который, по всей вероятности, ему предстояло принять. А когда вошел доктор, по-мальчишески прикрыл глаза и прикинулся

спящим.

— Коляска ждет.

Грязное обмундирование было выстирано и выглажено. Старшов затянулся во все ремни с маузером на боку, подумав, сунул наган Незваного за пояс и вышел на крыльцо. От коляски, что стояла напротив, тотчас же отделился молодой порученец и доложил, что командующий группой просит к нему. Леонид молча сел в коляску, ехали недолго и остановились у маленького, городского типа домика в саду. Порученец проводил, распахнул дверь:

— Прошу.

Старшов никогда не видел командующего группой, но знал, что по официальной должности он — начдив, присоединивший к своей дивизии остатки разгромленных и растерянных бригад, полков и отрядов. Когда вошел в комнату, навстречу встал его возраста человек отменной офицерской выправки в старательно отутюженной форме и ярко начищенных сапогах.

— Товарищ начдив, исполняющий обязанности командира полка…

— Да будет вам, — улыбнулся начдив, протягивая руку. — Рад познакомиться. Алексей.

— Леонид, — несколько ошарашенно предста-

вился Старшов.

— Оружия на вас, как на абреке. Даже маузер.

— Подарок. — От смущения, что ли, Старшов достал маузер и протянул начдиву.

— Грешен, люблю оружие. — Алексей выщелкнул обойму, передернул затвор. — Хорошо бьет?

— На бегу не попал. А очень хотел попасть.

— На бегу, — усмехнулся Алексей. — Не обижайтесь, Леонид, но как офицер офицеру скажу, что подняли вы полк в атаку импульсивно и безрассудно.

— Парламентер стрелял в моего друга. Тут не до рассудительности.

— И это говорит боевой офицер. Да опоздай Григорий Иванович с атакой, вас бы расколошматили в пух и прах. Мы все время забываем, что воюем с такими же, как мы, русскими офицерами. С тем же опытом и той же отвагой. И каждый воюет за свою Россию, вот ведь в чем главный парадокс гражданской войны.

Неожиданно из второй комнаты вышла Лера.

— Не помешаю? Здравствуйте, Леонид Алексеевич.

— Моя жена. — Алексей улыбнулся с долей гордости. — Впрочем, вы знакомы.

— И заочно уже давно, — сказала Лера. — У

меня цепкая память на лица, и ощущение, что вас я где-то видела, появилось у меня при первом свидании. Потом вспомнила: на фотографии в семейном альбоме. Вы картинно опирались на утес из папье-маше. А показывала мне альбом Таня Олексина.

— Как? Где она могла вам показывать?

— В Смоленске. Отмечали печальную дату: сорок лет со дня кончины нашей бабушки, и дядя Коля…

— Какой дядя?

— Николай Иванович Олексин, — терпеливо объяснила Лера. — Мой дядя, а Таня и ваша Варенька — мои кузины. Я — Лера Вологодова. Вы были тогда на фронте, почему и не видели меня.

— Вот мы тебя и вычислили, дорогой родственник, — улыбнулся Алексей. — Ну, хозяюшка, проси к столу.

— Прошу, — сказала Лера. — Григорий Иванович приедет позже, а мы пока посидим в семейном кругу. Ведь сегодня — день рождения Алексея.

— День рождения? — Старшов малость ошалел от всех новостей разом, но тут сообразил сразу и протянул начдиву маузер. — Держи, Алексей. Больше фронтовику подарить нечего.

— Завидую, — сказала Лера. — Пострелять дашь?

— Если заслужишь — дам.

— Опять — особое поручение, которое можно доверить только жене.

Посидеть «по-семейному» для Леры, как и для всех женщин, означало поговорить. Отрезанная от центральных губерний сначала неразберихой, а затем — длительным окружением, она очень беспокоилась о родных, и неожиданная встреча с мужем двоюродной сестры давала слабую надежду на какие-то, пусть самые незначительные известия. Однако Старшов ничего не знал не только о Вологодовых в Москве, но и о своих в Княжом. Он начал рассказывать о собственных тревогах и мытарствах, но нетерпеливая Лера перебила:

— А с моим братом Кириллом Вологодовым встречаться не приходилось? Он — бывший поручик, как и вы с Алексеем.

— Боюсь, что не бывший, — сказал Алексей. — Судя по его настроениям, он скорее там, чем здесь. У каждого своя одиссея, Лерочка, и, как в гомеровские времена, будут победители, но не будет побед.

— Почему же? Коли есть победители…

— То есть и побежденные, — подхватил начдив. — Победитель — понятие субъективное, а победа — объективна и всегда общенародна. А мы, при любом варианте, перестреляем, покалечим добрый миллион своих же, русских — какая уж тут победа? Согласен, Леонид?

— А выход есть?

— А выхода нет. И отсюда — ожесточение, которое порождает и будет порождать еще большее ожесточение.

— Есть выход. — Лера решительно тряхнула косами. — Вы, господа офицеры, думаете только об атаках, обходах, засадах, а я думаю о Варе, которая не знает, жив ли ее ненаглядный, где он и что с ним. Вы прямолинейны, как винтовка: зарядил письмом, прицелился в адрес, и заряд обязан попасть в цель, потому что стреляете вы неплохо. А если изменилось положение мишени?

— Но я же писал и в Смоленск.

— Не получили вразумительного ответа? Смените прицел, кузен.

— То есть?

— Пишите в исполком с просьбой навести справки. Официальный запрос от имени полка.

— Лера права, надо бить по площадям, — сказал Алексей. — Параллельно — в губком за подписью

комиссара. Это может подействовать: товарищу по партии отказать труднее…

В первой комнате раздался топот, звон шпор, бряцание сабли. И зычный голос:

— Эй, хозяева! Живы?

— Григорий Иванович пожаловал, — сказала Лера, вставая. — Железный всадник революции.

Глава восьмая

1

— Тебя не узнать, — в третий раз сказала ошеломленная Ольга.

— Ты права, я и сам себя не узнаю. Я стал самим собой, понимаешь? Не только потому, что у меня прекрасная семья, что мы живем дружно, нет. Главное, я нашел людей, которые поверили в мои скромные возможности. Я на хорошем счету, переведен в Смоленск с повышением, вступил в партию большевиков по собственной воле, исходя из принципиальных соображений. Я…

Он начинал с этой буквы почти все фразы, и не это было для Ольги открытием. Это осталось прежним, как родинки на щеке, но кожаная тужурка с наганом на боку, кожаная фуражка со

звездочкой и уверенность, которая ощущалась под этой формой, никак не вязались с тем Владимиром, когда-то в панике бежавшим из этого дома темной осенней ночью. Оля и радовалась за него, и с трудом верила собственным глазам, и, что греха таить, чего-то побаивалась. Мир ее, ограниченный семьей, потерявший все связи, знакомства и, как она подозревала, родных, потерял и содержание прошлого. Съеживаясь и ограничиваясь, он в конце концов стал обычным мещанским мирком, в котором уже не звучала музыка, не раздавалось смеха, где пылились книги да хрустел мослами Василий Парамонович. Все ее интересы свелись к маленькому родному и подрастающему приемному сыну, к заботам о хозяйстве, к вечному выпрашиванию денег у прижимистого супруга да к ленивым спорам с ворчавшей Фотишной. Она редко выходила из дома, ее одинаково пугал как обезлюдевший центр, так и горластый, нагловатый рынок, где приходилось торговаться, а этого она как раз и не умела. И жалела себя до слез, а выплакаться можно было только Фотишне.

— Фотишна, милая, ну сходи на базар. Там так страшно ругаются, что я ничего не могу понять.

— Деньги теперь вроде колобка, что от бабки

ушел. Разучилась я их считать, поглупела, видно. А твой-то промаха не спустит, хоть и всмятку сварен.

И вдруг — Владимир. В коже, с револьвером, уверенный в себе.

— Можешь занять папин кабинет, если хочешь. В твоей комнате Сереженька.

— Я обеспечен жилплощадью. Благодарю.

Ждала, что спросит об отце, но не дождалась.

Владимир вообще ни о ком не спрашивал, ограничившись официальным: «Надеюсь, все здоровы?» И Оля ничего ему не стала рассказывать, почувствовав огромное облегчение: можно было промолчать о Варваре. Предложила посмотреть на племянника, а заодно и вспомнить дом, детство, общие игры и забавы. Он посмотрел на маленького, вдумчиво обошел дом, согласился отобедать.

— Какие же, любопытно мне, цены в Вязьме? — спросил Василий Парамонович, едва они уселись за стол.

— Не интересовался. Получаю паек.

Кучнов тоже не интересовался ценами в Вязьме. «Паек получает, а жрет как дома, — расстроенно думал он. — Понятно, чужое — не свое. Хоть бы сахару кусок детям принес…» Настроение его

окончательно скисло, потому что вспомнилось вдруг, как тают в заветном мешочке царские золотые монеты, которые он дальновидно скопил еще при Керенском, умело проворачивая сделки. А Фотишна усиленно потчевала своего Володеньку, которого когда-то тутушкала, мыла, сажала на горшок. Но Василий Парамонович, изо всех сил сдерживая дурное свое настроение, выдавливал улыбку и даже чего-то советовал откушать, потому что очень боялся людей в коже с головы до ног. И с этой боязни, ставшей уже привычной, упустил то, чего бояться следовало в первую очередь.

— Хороший обед, — сказал Владимир, когда трапеза закончилась, Ольга ушла кормить, Фотишна убирала со стола, а мужчины отсели в уголок.

— Чем богаты, как говорится.

— А в Смоленске — голод. — Плямкнул пересохшими вдруг губами хозяин и примолк. И взмок, только теперь начиная соображать, во что может обернуться обед по-родственному. Владимир неторопливо закурил настоящую папиросу, что окончательно добило Василия Парамоновича, картинно пустил в потолок затейливые кольца и вытянул ноги в хромовых сапогах.

— Где золотишко-то прячешь, Кучнов?

— Владимир Николаевич, Господь с вами. Что вы, что…

— Я — заместитель по борьбе с бандитизмом, саботажем и спекуляцией, Кучнов. Так-то. — Владимир насладился ужасом хозяина, приятным правом отныне называть его по фамилии, точно подследственного, и милостиво добавил: — Ладно, замнем. Пока.

— Я… Я все отдал, все, добровольно. У меня — документ.

— И не уплотнили вас. Странно, странно.

— Так ведь…

Убирая со стола, Фотишна сновала между столовой и кухней, и Кучнов всякий раз переставал говорить, когда она появлялась. Но для Владимира старой няньки словно не существовало, и голоса он не понижал.

— Мой совет — съезжать добровольно. Домик я тебе, так и быть, подберу. По-родственному.

— Так не мой дом. Вашего батюшки. Я как бы съемщик. Ответственный.

— Знаю, перед кем ты ответственный. И это тоже учти. И собирайся. Только не стащи ничего, это теперь — народное достояние. Вилки-ложки тоже народные. Свое, лично нажитое, можешь взять. Завтра-послезавтра приду. Не бойся, не

обижу.

— А лавка?

Василий Парамонович цеплялся за последнюю соломинку, Владимир это понял. Лавка была разрешена властями, при любой судьбе дома оставалась собственностью Кучнова. И поэтому Владимир сменил следовательский тон на почти дружественный:

— Морока это, Василий Парамонович. Сейчас любая собственность противоречит идее равенства, сам понимаешь. Завтра издадут декрет, и сгорит твоя лавчонка. Я тебе другое предложу, получше. Я тебя на службу устрою. По снабжению, ты ведь в этом деле мастак. Ну… Пяти дней хватит, чтобы с лавкой как-то устроить? Покупателя найти?

— Да кто же сейчас купит?

— Обменяй. Глаза закрою.

Кучнов был настолько потрясен, что не нашел в себе сил проводить дорогого гостя. Ноги стали ватными, дрожало все в нем, и сердце щемило. Оля все еще возилась с ребенком, да Владимир и не рвался прощаться с ней. Просил передать привет.

— Сиди. В своем доме я дорогу знаю.

Кивнул хозяину и пошел по-хозяйски. В перед-

ней ждала Фотишна.

— Ты ведь здесь жить будешь, Володенька. Я хоть и старая, а вижу остро.

— Ты тоже собирайся. У меня — секретная служба, а старые болтливы.

Фотишна боялась, что у Оли «молоко прогоркнет», Кучнов вообще теперь всего боялся, но ни молоко не прогоркло, ни Василий Парамонович особо не сплоховал, загнав лавку за два мешка ржаной муки. Владимир появился раньше, чем обещал. На пролетке, которую не отпустил.

— Собирайся, домик покажу. Ты не поедешь, сестра?

Ольга шла на него молча. Он удивленно попятился, непроизвольно подняв руки к лицу.

— Вот и нет родни. Нет ни у тебя, ни у меня. Нет.

— Что значит? Семья…

— Семья — не родня, и ты понял, о чем я говорю. У нас нет родни, у нас с тобой, братец. Как у собак: это им все равно, в какой конуре жить. И мне все равно. Все равно, все равно.

И ушла. Владимир опустил руки, одернул тужурку.

— Ну? Едешь смотреть?

— Еду, еду, — торопливо сказал Кучнов.

Домик — три комнаты с кухней, стоял недалеко за Молоховскими воротами. К нему примыкал крохотный садик с двумя яблонями и мещанский палисадничек перед фасадом.

— Вот это твой дом, — сказал Владимир. — Законный. Нравится?

— Крышу перекрыть…

— Перекроешь. Это документ на владение. Ты теперь — домохозяин. И конечно, ответственный.

— А служба?

— Переедешь, устроишься, меня найдешь. Не бойся, не обману, родные все-таки. Что б там Ольга ни выдумывала.

Через три дня Кучновы переехали в тихий дом на тихой мещанской улочке. Переезжали утром, а вечером того же дня под опустевший родительский кров переселился и Владимир. И стал ждать жену с тещей и тестем, которому тоже обещали службу в Смоленске.

2

Впервые после тюрьмы Варя увидела себя лишь наутро после того дня, когда Минин увез ее. Тогда она толком ничего не воспринимала, не видела, а только смотрела, и Федос Платонович очень ста-

рался, чтобы она смотрела, а не вглядывалась в себя. Показывал ей домик, стоящий на возвышенности в начале Покровской горы. Уютный домик на три комнаты с верандой, выходящей в сад, где росли старые груши, вишни и яблони. Напротив через ложбинку располагался точно такой же домик, а выше их еще один, побольше. А совсем рядом рос огромный, в четыре охвата, древний дуб, и ветви его затеняли калитку участка.

— Славно здесь, тихо, покойно. Соседи хорошие, добрые соседи, помогают, чем могут. Тут все друг другу помогают, иначе не проживешь. У нас с тобой таганок имеется, лучины я наколол много…

— Завтра. Можно я лягу? Куда-нибудь. И укрой меня потеплее.

— Что значит куда-нибудь? Вот твоя комната, Варенька.

Минин уходил рано, и Варя проснулась, когда его уже не было. Она ощущала себя спокойно опустошенной, будто отплакала, вчера похоронив, кого-то близкого, очень родного, которого уже не воскресишь, не встретишь, не услышишь. И поняла, что простилась она с собой — той, прежней, веселой и смешливой. Та Варя осталась там, во вчерашнем дне и позавчерашней ночи. «Прощай, Варенька, — она грустно улыбнулась. — У

меня есть лишь наши дети, наш Леонид, отец, Таня, тетя Руфина. Я вернусь к ним, но не сейчас. Сейчас я должна быть здесь. Должна — в память об Анне». И подумав так, поняла, что и вправду похоронила Анну: Минин не мог ее спасти.

Она нагрела на таганке воды, вылила ее в таз и распустила волосы. Тряхнув головой, перебросила на грудь и обмерла. Концы ее длинных черных кос, которые так любил перебирать Леонид, были седыми. Что-то опять оборвалось в ней, она ринулась искать зеркало, но здесь жили мужчины, и ей с трудом удалось найти кривой осколок, перед которым они брились. Она взглянула в него, как заглянула бы, вероятно, в бездну, не узнала себя самою, собственного, вероятно исхудалого лица, провалившихся глаз, заострившегося носика, но… но волосы были черными, только над левым виском виднелся седой клок. Варя плакала, зарыдала навзрыд обильными, облегченными слезами.

Через неделю, окрепнув и решительно обрезав седые концы волос, Варя пошла работать в госпиталь. Санитаркой в самую тяжелую палату, по собственному настоянию. Так она понимала свой долг перед Анной Вонвонлярской, о которой никогда более не заговаривала с Федосом

Платоновичем, не желая ставить его в неловкое положение. «Не проси», — завещала ей Анна, и Варя берегла Минина, ясно осознав, что Анне уже никто не в силах помочь.

Вставали они рано, но Федос Платонович всегда поднимался раньше, чтобы принести воды, наколоть дров, вскипятить чайник. Минин получал паек, на двоих хватало, тем более что дома они не обедали, да и ужинали вместе нечасто. А если и случалось встречаться, никогда не говорила о страшных подвалах бывшего дома Кучновых.

— Новый заместитель начальника следственной части прибыл, — как-то сказал он. — Алексеев из Вязьмы. Я к тому, что занял он ваш дом.

— А Ольгу куда? На улицу?

— Куда-то переселили. Если хочешь, узнаю.

— Не надо, — сказала Варя. — Чем меньше знаешь, тем легче жить.

Она не испытала никаких чувств: что значила потеря дома, где она выросла, где оставались любимые книги, ноты, старые куклы, отцовский прокуренный кабинет, по сравнению со всеми иными потерями? Память? Память оборвалась там, на краю обрыва, глухой ночью среди покорно, даже торопливо раздевавшихся мужчин. Так отсекли от нее ее прошлое, оставив только насто-

ящее, только мгновение до команды. И Варя жила настоящим: дети, госпиталь, муж. А дом… Она ощутила скорее злое торжество, чем сожаление, и почти холодно отметила, что это возмездие, а значит, оно справедливо. И расстроилась не из-за дома, а из-за этого холодного, мстительного торжества. «Вот и меня переделали, — невесело подумалось ей. — Перековали, как это теперь называется. На все четыре копыта».

А вскоре появилась Татьяна. Внезапно, с соленьями и вареньями, луком, салом, мукой. Не зная толком адреса, приехала на службу к мужу, откуда они сразу же покатили домой. И когда Варя поздним вечером вернулась из госпиталя, ее ждал накрытый стол, застенчиво счастливый Федос Платонович и заплаканная сестра.

— Варя! Варенька моя!

— Что случилось? Дети? Отец?

— Ничего, ничего, все здоровы. Но я знаю, все знаю.

— А-а, — равнодушно сказала Варвара. — Ничего ты не знаешь.

Ночью к ней пришла Таня, и Варя знала, что она непременно придет. Теплая, счастливая. Юркнула под одеяло, как в детстве.

— Разбудила?

— Я ждала. Хорошо, когда делятся счастьем.

— Ты мне все расскажешь. Все. Это необходимо, надо избавиться.

— От чего?

— От гнета.

Варя помолчала, но потом начала рассказывать. Ровно, почти спокойно, с массой важных для нее подробностей, потому что без них невозможно было обойтись, и одна Таня могла понять, что они значат. И не плакала, только часто отирала слезы, которые катились сами собой. Говорила до самого утра, и Минин не тревожил их, тихо готовя завтрак на таганке. Горьковатый дымок горевших щепок проникал в комнату, напоминая, что впереди — день, а позади — ночь, и Варя чувствовала, как уходит из нее непомерный груз пережитого.

С приездом Татьяны жизнь стала легче и даже веселее. Таня создала семью, и все почувствовали, что живут не просто рядом, но — в семье, где у каждого свои обязанности, а у всех вместе — общие заботы, хлопоты, радости. Не сразу, не вдруг, но Варя становилась иной. Не прежней — прежней она стать уже не могла, — но спокойной, даже улыбчивой. Рассказывала о госпитале, о раненых, чуточку хвасталась, что назначили младшей па-

латной сестрой, интересовалась, что происходит в городе, в Москве, на фронтах. Минин приносил газеты, объяснял, выдумывал смешные истории. Хорошие были вечера вокруг керосиновой лампы в уютном домике на Покровской горе, но жизнь текла за его стенами в извилистом русле.

— Ко мне Кучнов заходил, — сказал Минин, вернувшись со службы. — Фотишна умерла. Завтра отпевание.

— Отстрадалась наша Фотишна, — вздохнула Таня. — Помнишь, Варя, мы гуляли с нею по Блонью — мама еще жива была. Мячик я на клумбу забросила, а она велела достать. А я городового боялась, и тогда Оля…

— Я не пойду, — вдруг сказала Варвара. — Поставь за меня свечку Домне Фотиевне.

— Как можно, Варя? Ведь на кладбище, последний поклон.

— Фотишна простит. Не верь — вот третий закон нового мира. Двум меня научила Анна, а третьему — родная сестра.

— Варенька, но при чем же…

— Не могу, — резко перебила Варвара и ушла в свою комнату.

— Ты бесчувственная! — со слезами закричала Таня. — Это же Фотишна, наша Фотишна, как же

можно…

— Ей можно. — Минин обнял жену. — А ты непременно иди. И поставь за Варю свечку.

Таня так и сделала. Попрощалась с Фотишной — убогие были похороны, и служба поспешная, испуганная какая-то, — поставила свечки, обещала зайти на сороковины в новый домик Кучновых поглядеть на племянника, увидеть, как обжились. О том, кто занял их особняк, Таня не спросила, а Оля говорить не решилась.

Варя выслушала рассказ о похоронах равнодушно, что очень задело Таню. Не потому, что смерть старушки, давно ставшей родной для Олексиных, ее не тронула: причина была внутри, а не снаружи. В эту ночь случилась гроза, Варя впервые закрыла форточку и проснулась вдруг, среди ночи, когда и гроза-то уже отгремела, от необъяснимого ужаса и удушья. Вскочила, распахнула форточку: удушье прошло, но ощущение ужаса мучило еще долго. Это очень насторожило Варю: она решила, что у нее неблагополучно с нервами, запомнившими на всю жизнь спертый воздух подвала, и твердо решила никогда не закрывать форточку, потому что свежий ветерок не позволял появляться воспоминаниям и кошмарам. И всю жизнь спала так, как решила, даже

в самые лютые морозы.

А в пятницу — Варя всегда не любила пятниц и поэтому запомнила, — в пятницу вернулась поздно после суточного дежурства. Думала, что все спят, вошла тихо, но никто не спал, и Минин торжественно поднял над головою письмо:

— Танцуй, Варенька!

3

«Варенька, родная!

Не знаю, прочитаешь ли ты эти строчки. Комиссар нашего полка пишет официальный запрос, но я на всякий случай вложу в него личное письмо. Авось не выбросят, и оно каким-нибудь чудом попадет к тебе. Из суеверия не буду ставить ни номера, ни даты — чудо должно быть чудом.

Где ты, Варенька? Ольга написала, что ты была в Смоленске, но уехала, а куда, она не знает. Если ты в Княжом, мое письмо вряд ли тебя найдет, но я верю в невероятное свое везенье, потому что мне везет. Я цел и невредим, утвержден в должности командира полка, но положение на фронте сложное, и дальше ближних тылов не отпускают.

Отвлекли, извини, Бога ради. Вылазку мы отбили, меня не зацепило, а руки дрожат от того,

что пришлось помахать шашкой. Смешно, твой пехотинец иногда пересаживается на коня, но такова уж эта война. А конь у меня чудный, хорошо выезжен и отчаян, как абрек. Мне его подарил комбриг Григорий Иванович, правда, сначала крепко обругав. Но — за дело.

Господи, что это я — о себе да о себе! Как наши дети? Здоровы ли? Как ты, милая моя Варенька, как все наши? Я даже не знаю, о чем спрашивать, потому что давно не видел вас, не слышал о вас, — все только в воспоминаниях. И я каждый вечер перед тем, как уснуть, вспоминаю вас, будто листаю альбом. Тот альбом, который Таня показывала Лерочке Вологодовой. Это было в день сорокалетия кончины твоей бабушки, когда я уже был на фронте. Дело в том, что я встретил Леру, жену героического начдива. Она — дочь Надежды Ивановны и ничего не знает о своих родителях, как я о тебе и детях.

Как я мечтаю увидеть вас! Верующим все-таки легче в тяжкие времена.

Адрес моей воинской почты — в официальном запросе. Говорят, что эта связь теперь налажена. Буду ждать, ждать, ждать.

Целую черные кудри твои.

Твой Леонид Старшов.

P. S. Перечитал. Полный сумбур, извини. Ведь посылаю на деревню дедушке, как Ванька Жуков. И все же надеюсь.

Л. С.»

4

Беднела усадьба в Княжом. Расстались с прислугой, которой нечем было платить и мало чем стало кормить, генерал валил старые деревья в саду, чтобы не возить из лесу, сам пилил, сам колол. Руфина Эрастовна занималась детьми, хозяйством, чем могла, помогла единственной оставшейся по собственному желанию без жалованья одинокой вдове-солдатке Мироновне да тайком, через ей одной ведомых перекупщиков, сбыла за бесценок фамильные драгоценности.

Село нищало тоже, хотя и не так заметно. С отъездом Татьяны оборвалась ниточка, занятые своими трудами и хлопотами сельчане в усадьбе почти не появлялись. Единственно, кто наведывался регулярно, был священник отец Лонгин с матушкой Серафимой Игнатьевной. Помогал генералу заготавливать дрова, уничтожать сад, матушка Серафима разбила огород на месте цветника, учила ухаживать за ним, и Руфина Эрастовна с яростным энтузиазмом сражалась

за урожай.

— Смутился народ, — сказал отец Лонгин, наслаждаясь чаем после праведных трудов.

— Возмутился, — поправил генерал.

— Пока еще нет, пока Господь миловал. Возмущение, Николай Иванович, есть внешнее действие, а смущение — духовное. Дух народа смущен, опоры лишившись. Мечется народ в душе своей, страдает, тверди взыскует.

— Опора — оглобля.

— Господь упаси. У нас душа не отстоялась еще, не то что у немцев там или французов. Ее легко взбаламутить, только раскачай. И тогда муть со дна поднимается, слепнет духовно народ, Бога перестает зреть перед собою.

— Да, — вздохнул Олексин. — Зреть перестает. Он вообще незрелый, русский человек. Скулы у него сводит.

После физической работы у генерала всегда болела искалеченная нога. Он терпел, никому не жаловался, но боль — отвлекала.

— Я — о духовности, а вы — о материальном.

— Я тоже о духовности. Кислый дух пошел. С перегаром.

— Без церкви нам никак нельзя, — гнул свое отец Лонгин. — А большевики этого не понима-

ют. Вот трутень из ячейки на каждой сходке орет, что религия-де опиум для народа.

— Опиум — лекарство, — уточнил генерал: боль донимала. — В этом смысле вы правы.

— Это не я говорю, это Зубцов говорит. Николай Иванович, Зубцов, секретарь ячейки.

Зубцов не только говорил, но и действовал. Еще хлеба не созрели, как пришел из Смоленска продотряд. Ходили по избам не подряд, а согласно списку, подготовленному Зубцовым заранее. На деле вышло тоже подряд, но избы дружков, собутыльников да нескольких осиротелых солдаток все же остались в стороне. Выгребали подчистую не только прошлогоднее зерно: брали пятую овцу и третью телку. Стон стоял над селом, рыдали бабы, угрюмо молчали мужики. А когда ушли продотрядовцы, ринулись было к Зубцову, но тот стал палить в небо из нагана, и все разошлись, вдосталь наматерившись.

— Рабочий класс с голодухи пухнет, а вы жировать собираетесь? — орал Зубцов.

Тогда как-то обошлось. Но ненадолго. Новый продотряд явился, как только убрали хлеба. То ли сил у продотрядовцев не хватило, то ли терпения у мужиков, то ли обозлил их до крайности собственный секретарь ячейки, а только они

разоружили прибывших, а сунувшегося было Зубцова закололи, прежде чем он схватился за наган. И все тихо, без выстрелов и даже без особого крика: в усадьбе узнали об этом от приехавшего на собственных дрожках отца Лонгина.

— Продотрядовцев в погреб заперли. Побили, конечно, но живы, а один — сбежал. Завтра судить их хотят все миром. Что делать-то, Николай Иванович, что делать с неразумным народом сим?

— Разумный народ, разумный, это законы неразумные. Что воспоследствует, можно предположить. Воспоследствует карательная акция. Сил у нас нет, оружия тоже. Остается капитуляция, единственно, что остается. Надо уговорить, чтобы пленных не поубивали, а то противник и село может спалить.

— Они и так спалят, — тихо сказал отец Лонгин. — Случается мне по дальним требам ездить — церкви уже кое-где не действуют, священнослужителей арестам подвергают. Так палят они деревни и за меньшие вины, спаси Господи и помилуй.

— Да? — Генерал задумался. — Все равно — шанс. Исходя из обстановки, считаю ближайшей задачей освобождение пленных. Задача последу-

ющая — вступить с противником в переговоры, предложив обмен: мы им — заложников, они нам — честное слово, что село не тронут, а накажут лишь повинных в злодействе.

— И вас, — тихо сказал отец Лонгин. — Вас, глубокоуважаемый Николай Иванович, в первую голову. А во вторую — могут и Руфину Эрастовну арестовать.

— За что, позвольте узнать? За что же?

— За мундир ваш. За дворянство. За усадьбу. За просто так, Николай Иванович. Розно пошла Россия, духовный свет с духовною тьмою борется, и духовная тьма одолевает русских людей. Потому на дрожках и приехал. Матушка припас кое-какой собрала, сажайте Руфину Эрастовну, детишек и — с Богом. Лошадка у меня смирная.

Олексин вдруг дернул головой, странно всхлипнул и, шагнув, обнял отца Лонгина. Поцеловал в щеку, прижал к груди.

— Благородство крови? Чушь, чушь собачья, господа. Благородство духа торжествует и бьет в литавры. Духа. Коэффициент человеческого достоинства. Простите меня, батюшка, искренне, искренне благодарю. Но не можем мы воспользоваться вашей добротой. Генералы с поля не бегут.

Отец Лонгин достал платок, вытер слезы со щек и бороды. Свои и генеральские, которые Николай Иванович отирал руками. Оба помолчали в смущении, а потом священник тихо спросил:

— А дети? Внуки ваши. Они тоже с поля не должны бежать, агнцев изображая?

Генерал хмуро молчал. Отец Лонгин помолчал тоже, чтобы не мешать усвоению вопроса, вздохнул:

— Я знал, что откажетесь вы, уважаемый Николай Иванович. Знал и не представлял иного. Да, русские генералы с поля не бегут. Но внуков своих и глубокочтимую Руфину Эрастовну вы из Княжого отправите. А потом — прямо ко мне. Вместе к народу пойдем. Увещевать. Передайте благословение мое и нижайший поклон супруге. И деткам.

Отец Лонгин ушел, а генерал долго еще размышлял, что и как он скажет своей жене, и главным здесь было, как сказать, какими словами. Так ему казалось, он старательно думал о словах, но все слова спутались сейчас в его голове, потому что Николай Иванович Олексин на самом-то деле навеки прощался и со своими малыми внуками, и со своей осенней любовью.

Руфина Эрастовна журила детей перед сном. В

основном Мишку, но в присутствии девочек, чтоб проникся. Генерал послушал ее голос, в котором легко и безыскусно переплетались нежность и строгость, подавил подступивший к сердцу спазм и буднично сказал:

— Дорогая, будь добра, распорядись, чтобы Мироновна одела детей в дорогу.

Впервые он обращался на «ты», и Руфина Эрастовна сразу же вышла из комнаты. А Николай Иванович вздрагивающими руками гладил детей, и, удивленные этой непривычной лаской, дети молчали тоже, только самая маленькая, Руфиночка, сияя, повторяла: «Деда, деда, деда…»

— Дети, идите к няне Мироновне, — сказала Руфина Эрастовна, входя. — Она скажет, что делать, слушайтесь ее. — Закрыла за ними дверь, повернулась: — Случилось что-то из ряда вон?

— Из ряда. — Генерал с трудом взял себя в руки. — Заберешь детей и без промедления выедешь в Высокое, к Ивану. Мироновна с лошадью управится, маршрут я объясню.

— А… ты? Ты останешься?

— Я приеду позже. Как только освобожусь.

— От чего, от чего ты освободишься? — Голос Руфины Эрастовны дрожал, она уже перестала владеть собой, отчаяние, безысходное отчаяние

рвалось наружу. — Мироновна была в селе, я все знаю. Они кого-то убили, а арестуют тебя. Коля, родной мой, единственный, уедем вместе. Уедем вместе или… или я никуда не поеду.

— А наши внуки?

— Мироновна отвезет их к Ивану Ивановичу.

— Их нужно не просто отвезти, их нужно вырастить. Воспитать.

— Коля, я не могу. Не могу. Коля, я не могу!

Зарыдав, она бросилась к нему, обняла, прижалась. Он нежно гладил ее волосы, вдыхая аромат лаванды и ожидая, когда она чуточку успокоится.

— Я хочу остаться честным. Честным перед людьми, перед тобой, перед нашими внуками. Честь — мое единственное достояние, с чем останусь, потеряв ее? Как буду смотреть в твои глаза, читая в них жалость и сострадание? Лучше умереть генералом, чем жить подлецом в генеральском мундире.

Он напрасно упомянул о смерти: потянуло на красивые слова. И так не к месту, так не вовремя.

— Прости, бога ради, прости. Заговорил, как перед строем.

— Выбрось все предчувствия из головы. Ты ни

в чем не виноват, ты не сделал ничего дурного, есть же в конце концов справедливость. Я глупая, эгоистичная женщина, ты — человек чести и долга. Ты, ты… Мне трудно сказать, такое чувство, будто я отправляю на эшафот свою единственную любовь. Но я скажу. Сейчас скажу, — она изо всех сил обняла его и отстранилась. — Я буду верить и надеяться. Я буду молиться за тебя и ждать. — По лицу ее текли слезы, но она попыталась бесшабашно улыбнуться на прощанье: — А вдруг нам повезет, генерал?

И быстро вышла из комнаты.

5

Когда все уже разместились в дрожках, генерал объяснил Мироновне, как добраться до Высокого. С этой целью он набросал схему согласно карте Смоленской губернии, с объездом крупных населенных пунктов и указанием расстояний в верстах. Но от схемы солдатка отказалась.

— Заплутаюсь я. Лучше скажите, чего у людей спрашивать.

— Я подскажу, Мироновна, — сказала Руфина Эрастовна. — Прощай, Николай Иванович, прощай, Коленька.

Сонные дети вяло помахали руками, Руфина

Эрастовна последний раз поцеловала мужа, и смирная поповская лошадка неторопливо потащила набитые до отказа дрожки. Руфина Эрастовна шла сзади, оглядываясь, пока не растаяла в густых августовских сумерках. Николай Иванович долго еще стоял, зная, что она и сейчас, не видя его, все еще оглядывается, а пошел, когда стих вдали мягкий перестук копыт. Спустился в низину, пересек ее и вошел в Княжое. Людей почти не встречалось, но генерал чувствовал, что село не спит. В домике священника матушка Серафима сказала, что мужики в сельсовете, хотя никакого сельсовета не было, а после ареста старосты всем заправлял Зубцов, и официально этот сельсовет именовался ячейкой или Комитетом бедноты — генерал особо не разбирался.

Возле большой, в пять окон, избы толпился народ: курили, разговаривали, но озабоченно и негромко. Генерал прошел внутрь, протиснулся в плохо освещенную комнату, увидел за столом у дальней стены отца Лонгина — в рясе, с крестом на груди — и стал пробираться к нему. Здесь галдели громче и оживленнее, чем на улице, но трудно быть понять, о чем именно, пока говор не перекрыла одна фраза:

— Да поубивать их всех, неужто, мужики, выго-

ды своей не понимаете?

Кричал Герасим. Генерал сразу определил его: в селе Герасим был фигурой заметной. Не столько потому, что пил не по правилам, давно принятым миром, сколько потому, что не любил мужицкой работы. Надел свой обрабатывал кое-как, предпочитал бродить по уезду: чинил прохудившиеся избенки многочисленным солдаткам, чистил колодцы, забивал скотину, подшивал валенки. Но все делал несолидно, твердых расценок не придерживался, дома ночевал редко, в совсем уже крутую стужу, и семья перебивалась с хлеба на квас. Однако покойный Зубцов приметил его недаром: неграмотный Гераська был хитрее любого мужика, наловчившись видеть собственную выгоду в самых невыгодных обстоятельствах. При схватке с продотрядовцами он исчез, а сейчас появился и изо всех сил подбивал мужиков на новое преступление, чтобы в тени его раствориться самому, чтобы каратели забыли спросить, где же был он, сочувствующий, когда убивали секретаря ячейки.

— Опомнитесь, православные! — кричал отец Лонгин. — Не губите души свои, не множьте кровопролития!

— До конца стоять нужно, до конца! Чтоб весь

трудовой народ видел! Чтоб власть конец положила разору деревни!

— Молчать! — Николай Иванович рявкнул так, что в горле защемило, и все примолкли. — Повиниться надо, что сгоряча! Повиниться!

Перед ним расступились, и генерал наконец-то прорвался к столу. Встал, задыхаясь, рядом с отцом Лонгиным, потыкал вздрагивающим пальцем в Герасима:

— Этого… Этого в холодную, провокатор это. Да каратели не просто всех арестуют, а и село спалят в отместку. Признать вину надо, прощения просить, смутьяна этого связать и властям выдать как главного зачинщика. Я лично на переговоры пойду. И отец Лонгин. Мы — нейтральные, мы объясним, что недоразумение, что нет тут злого умысла.

— На колени встанем, — подхватил отец Лонгин. — Встанем, и крест поцелуем, и прощения испросим в содеянном.

Он еще что-то говорил, но мужики уже волокли Герасима к выходу. Герасим орал, отбивался, но примолк, когда ткнули под ребра. Барин-генерал, которого горячо поддерживал уважаемый миром отец Лонгин, предлагал простой и понятный выход из тяжелого положения: повиниться. Та-

кой выход укладывался в привычки и традиции, иного никто не предлагал, и мужики, погомонив, выпустили продотрядовцев, но избу, где разместили их, все же решили охранять.

Отец Лонгин пригласил Олексина к себе: некуда теперь было идти Олексину. Пили чай, радушно хлопотала матушка, но тревога уже поселилась в их душах.

— Бога забыли, — вздохнул отец Лонгин. — Как же о Боге-то позабыли?

— Склероз, — сказал генерал. — Они же за хлебом приезжали. Надо собрать добровольно, самим. Это облегчит участь.

Он сказал так, потому что мысли его были далеко. В дрожках, что пробирались сейчас окольными дорогами в неблизкое Высокое к брату Ивану Ивановичу Олексину.

В это время Руфина Эрастовна вела под уздцы лошаденку, еще не очень доверяя вожжам. Дети спали, Мироновна дремала рядом с ними, впереди ожидал опасный по теперешним временам путь, но Руфина Эрастовна думала сейчас не о том, что ожидало впереди, а о том, что осталось сзади. Она очень надеялась, что о Николае Ивановиче позаботится добрая матушка Серафима, но опасалась, что из деликатности Олексин может

удрать в усадьбу, где вряд ли сможет что-нибудь себе приготовить. Разрабатывала план, как уговорит Мироновну вернуться и привезти генерала. И даже робко мечтала, как они встретятся.

На другой день никто из посторонних в селе не объявился. Генерал предпринял легкую рекогносцировку, но вернулся ни с чем. Отец Лонгин уговаривал мужиков по доброй воле отдать припрятанное зерно, методично обходя избы, матушка кормила продотрядовцев и лечила их синяки. А Герасим сидел в погребе под замком.

Не побеспокоили их и в следующие сутки. Все было тихо и мирно, все постепенно вернулись к трудам, а кое-кто уже поговаривал, что надо, мол, отпустить продотрядовцев на все четыре стороны.

— Только с обозом! — сказал генерал, прослышав про эти настроения.

Бабы начали было шуметь, но мужики угрюмо согласились, что так оно, пожалуй, будет получше.

— Заварили вы кашу, мужики, — сказал начальник продотряда с фиолетовым синяком под глазом. — Отвечать-то все равно придется, хоть и вовремя вы опомнились.

А утром в Княжое прибыл отряд с пулеметом

и десять конных милиционеров. Запоздало село с покаянием.

6

Дрожки тащились медленно не столько из-за слабосильности смирной савраски, сколько из-за детей. Все шло хорошо, только в каком-то лесу выскочили пятеро по брови заросших мужиков, но Мироновна, а затем и Руфина Эрастовна начали так громко кричать и стыдить их, что мужики отступились, матерясь в пять глоток. Немного поплутали, не без помощи генеральской схемы, и приехали в Высокое лишь на четвертое утро. На въезде их увидела девочка-подросток, всплеснула руками, но почему-то побежала не к ним, а в дом. И только остановились, как на крыльце появился Иван Иванович. Вгляделся, бросился к дрожкам:

— Руфина Эрастовна? А где Николай? Что с Николаем?

— Не знаю, Иван Иванович. Распорядился, чтобы немедля ехали к вам. Спасения ради.

— Это хорошо, хорошо. Я рад, очень рад. Марфуша, веди деток в дом! Давайте разгружаться.

Он был взволнован, говорил суетливо, но сам вроде бы не суетился, все делал разумно и быстро. Выбежала девочка, что была в саду, но уже в дру-

гом платье. Помогла детям, провела в дом вместе с Руфиной Эрастовной, усадила, помчалась разгружать, таская узлы и баулы. Иван Иванович пришел позднее вместе с Мироновной, отвезя дрожки и определив лошадь на место.

— Самовар поставь, — сказал он девочке. — И мать позови, что уж тут.

Казалось, он не сделал какого-то очень важного для него шага, и это мешает ему. Как ни устала Руфина Эрастовна, а заметила его нервозность и внутреннюю скованность и догадалась раньше, чем он что-либо сказал. И совсем не удивилась, когда в гостиную вошла молодая еще женщина с милым, по-крестьянски округлым лицом, одеревеневшим от внутреннего напряжения.

— Вот, — Иван Иванович улыбнулся в смущении, но не без гордости. — Супруга моя. Наталья.

Он замолчал то ли в раздумье, то ли в смущении, но Руфина Эрастовна так глянула, что Олексин торопливо продолжил:

— Степановна. А нашу дочь, Марфушу, вы уже видели.

— Очень, очень рада, Наталья Степановна. — Руфина Эрастовна подошла к хозяйке, поцеловала. — Меня зовут Руфина Эрастовна, это спасительница наша Федосья Мироновна. Я

— жена Николая Ивановича, и, значит, мы с вами — родственницы.

— Вот как хорошо! — Иван Иванович метался по гостиной со слезами на глазах. — Вот как славно, как славно, что вы приехали! А Коля пожалует, так и вообще у нас рай земной будет, обитель дружбы и трудов.

— Я за барином поеду, — сказала Мироновна. — Лошадь отдохнет, и поеду.

В первый день никакого разговора не случилось. Слишком неожиданной была эта встреча, слишком много утекло воды, слишком выбитыми из привычной колеи оказались все — как жившие в Высоком, так и внезапно нагрянувшие. Рассказали о событиях в Княжом, толкнувших Николая Ивановича на это решение. Решение Иван Иванович горячо одобрил, но сельские новости в изложении Мироновны весьма его озадачили. Он старался не показать этого, но Руфина Эрастовна все поняла: эта ветвь Олексиных не умела скрывать своих чувств.

Поняла она и то, насколько изменился хозяин Высокого. Место полуопустившегося, растерянного человека как бы занял другой: смущавшийся, порою излишне суетливый, он, как ей показалось, успокоился внутренне, выпрямился, обрел

опору. И она часто поглядывала на застенчивую Наталью Степановну, на унаследовавшую материнскую миловидность Марфушу, пытаясь сообразить, куда же подевалась роковая Елена Захаровна.

Разговор случился следующим вечером, когда проводили в обратную дорогу Мироновну. Дети были отправлены спать, Марфуша вызывалась уложить их, и взрослые остались одни. Еще был накрыт стол, еще допивали чай, и это помогало молчать, потому что никто не решался начинать беседу по душам, хотя все понимали, что она необходима.

— Я погибал, Руфина… Вы позволите так, попросту, ведь мы теперь — близкие родственники. Да что там погибал — я был погибшим, я о самоубийстве подумывал, потому что унижения снести не мог. Этакого сладостного, жирного унижения от сестры Варвары. Я ведь… Да что говорить, не понимал я тогда, как Наталью люблю, как дочь боготворю. Спесь не позволяла, индюк я, индюк, даже Коле признаться не решался. А тут — Лена, как снег на голову. Но она-то все сразу поняла и уехала вскоре. Уж полгода, как в Екатеринбург уехала к сестре мужа-покойника. А я и не удерживал, подлец. Да и как удерживать, когда

Марфиньку…

— Не убивайся, Ваня, — тихо сказала Наталья Степановна. — Все уж позади.

— Марфиньку прислугой объявил, — еле слышно продолжал Иван Иванович, вздохнув. — О коэффициенте собственного достоинства рассуждал…

И замолчал, закрыв лицо руками.

— Елена Захаровна Марфушу расспросила, чья, мол, — не поднимая глаз, сказала Наталья Степановна. — Меня нашла, поговорили мы. Сильно тогда плакала я, а она — хоть бы слезиночку уронила. Счастлива, говорит, за спасителя моего, за Ванечку. И тут же уехала. А мы вскорости обвенчались, у нас по закону все. А в душе точит что-то меня.

Она пригорюнилась, горсточкой, по-деревенски, прикрыв рот. Руфина Эрастовна молчала, понимая, как сложно им чувствовать собственное счастье.

— А я школу на дому открыл, — вымученно улыбнулся Иван Иванович. — Детишек учу. Школу под сельсовет заняли.

— Под Комитет бедноты, — тихо поправила жена.

— Да. Не то, не то болтаю!

— Правильно вы поступили, Ваня, — сказала Руфина Эрастовна, — а что детей учите, это прекрасно. Если позволите, помогать буду. Французский язык, танцы, музыку. Фортепьяно…

— Пропил я фортепьяно.

— А гитару? — улыбнулась Руфина Эрастовна.

— Гитару не успел.

— С рюмочкой у нас покончено, — с неожиданной твердостью сказала Наталья Степановна. — Ты, Ваня, Марфушей поклялся.

— А ведь где-то стоит заветная бутылочка! — весело оживился Иван Иванович. — И пусть стоит. Вот приедет наш генерал…

Через неделю вернулась Мироновна. Одна. Бросила вожжи, вбежала.

— Барыня, Гараська усадьбу пожег! На головешки приехала!..

— А Николай Иванович? Где Николай Иванович?

Мироновна рыдала в голос. Наталья Степановна принесла воды, отпоила.

— Арестовали их. Николай Иваныча, значит, и попа нашего. Гараська на них как на зачинщиков указал. И попадью Серафиму. И еще троих. В Смоленск, говорят, погнали.

Иван Иванович чудом поймал падавшую Руфи-

ну Эрастовну.

Генерала Олексина Николая Ивановича расстреляли по дороге. Кому-то очень не хотелось, чтобы он доковылял до Смоленска.

7

О судьбе генерала долго ничего не было известно. Арестованных вместе с ним отправили не в Смоленск, а почему-то в Дорогобуж, и родные напрасно искали следы Николая Ивановича в губернском городе. Дважды приезжала Руфина Эрастовна, один раз — Иван Иванович, но только после войны в село Княжое вернулся чудом уцелевший сельчанин, схваченный карателями по показаниям Герасима. Руфина Эрастовна никогда более в Княжое не ездила, но Мироновна изредка навещала родственников. Она-то и привезла в Высокое известие о том, как Николая Ивановича вызвали на одном из привалов, как вернулись те, кто вызывал, а он — не вернулся. Но Руфина Эрастовна упрямо продолжала верить, что он жив.

Но все это случилось уже в самом начале двадцатых. А тогда, поздней осенью, когда отчаяние бесплодных поисков уже сменилось отчаянием утраты, к сестрам на Покровку неожиданно по-

жаловала Ольга. С вечера нудно моросил дождь, Ольга промокла и озябла, и Таня помогала ей раздеваться у входа. А Варя застряла в общей комнате, где они — все трое — завтракали, обедали, беседовали за самоваром. Детей Руфина Эрастовна не отдавала, утверждая, что в Высоком и сытнее, и безопаснее, и солнца больше. В общем-то, она была права, матери-сестры тосковали, но не настаивали, надеясь на лучшие времена или хотя бы на несколько свободных дней, чтобы навестить ребятишек. Но никаких отпусков не давали. В тот день Варя оказалась дома, потому что дежурила ночь, а у Тани — она работала в военно-пошивочной артели — мастерскую закрыли на дезинфекцию. И Оля то ли узнала, что сестры свободны, то ли почувствовала, но явилась, толклась у входной двери и даже оживленно рассказывала Тане о своем Сереженьке. А Варвара не желала встречи, злилась, но уйти в свою комнату не могла: как раз возле нее Таня переодевала сестру.

— Варенька, милая…

— Здравствуй.

Прозвучало так, что Ольга остановилась на полпути, а Варя отошла к окну и стала смотреть в замутненное мелкими каплями стекло.

— Варя, — укоризненно сказала Татьяна.

Варя промолчала.

— Я, собственно, затем, что Владимир перевелся в Москву. Разве вам не известно, что он отобрал папин дом, а нас выбросил на улицу? А теперь, как говорят, его взял на службу сам товарищ Крыленко, председатель Верховного трибунала. Как земляк земляка…

Варя почти не слышала ее. Сквозь дождь и запотевшее окно было видно, как кто-то вошел в нижнюю калитку. Калитка напрямик вела к рынку, к вокзалам, от нее надо было подняться по тропинке под вековым дубом и, миновав его, повернуть либо к ним, направо, либо — налево, к соседям. Кто-то в длиннополой шинели и фуражке, с вещмешком за спиной…

— …не знаю, когда он увезет семью, но мы должны начать хлопотать, если хотим вернуть свой дом…

Варвара вдруг рванулась от окна, оттолкнула Ольгу, распахнула дверь…

Они встретились у самого крыльца. Она и Леонид Старшов.

Эпилог

Никто ничего не знает о следующем часе своей жизни. Так сказано в одной из самых мудрых книг. Из этого зерна вечно прорастает не только вера во Всевышнего, но и в мечты как личного, так и общественного свойства. А Россия веками мечтала о справедливости и яростно искала ее в пламени гражданской войны под знаменами разного цвета. И не было ни правых, ни виноватых: были только враги.

Леонид Старшов думал о противнике, не ища врагов. Так и не проникнувшись всеобщей мечтой, он лелеял свою: сохранить семью, уцелеть самому и достроить свой дом. И через десять дней снова уехал на фронт, ничего не зная о следующем часе своей жизни.

С хрипом и стоном шли отныне часы. Кончилась война, кое-как и кое-что в них подновили, щедро смазывая обещаниями и всячески упрощая механизм. Отбивали такт московские куранты, мерно раскачивался маятник, будто нож гильотины, отсеченные жизни скатывались во рвы и лагеря, расчищая путь в светлое царство социализма.

Старшова миновало сокращение армии, а полученный в 19-м орден спас при массовом увольнении бывших офицеров. Весной 36-го он был включен в инспекционную Комиссию наркомата обороны, на два года затерялся в сибирских гарнизонах, почему и взяли его лишь в конце 39-го, когда разгром командного состава армии уже пошел на убыль. Промытарившись полтора года в тюрьмах и лагерях, вернулся в сороковом, но генерала ему не дали, и войну он встречал с прежним ромбом в петлице. Федоса Платоновича арестовали в 37-м, Татьяне с двумя детьми предписали постоянно проживать в Ельне, но она уцелела, а он сгинул где-то под грифом «без права переписки». А Владимир Алексеев, сделав стремительную карьеру, в начале 34-го был переведен в Ленинград, где и исчез без всплеска и кругов. Будто и не жил никогда, зачерствев и раскрошившись отрезанным ломтем.

Иван Иванович умер в конце двадцатых и лег в ногах матери и отца. Руфина Эрастовна переехала к Варваре, работала билетершей в кинотеатре, постоянно получая нагоняи за то, что пропускает детей без билетов. Курила махорку, учила внуков добру и доброте и закончила свою жизнь в эвакуации, в далеком городке Камень-на-Оби,

так и не узнав, что старший ее внук лейтенант Михаил Старшов погиб под Москвой за полгода до ее смерти.

А Руфина вышла замуж за бравого чекиста и сначала сама отдалилась от семьи, а потом семья отдалилась от нее, потому что Варвара разучилась прощать. Может быть, оттого, что спала при распахнутой форточке в самые лютые морозы. Во всяком случае, именно так она объясняла свое неуменье улыбаться.

Леонида Старшова в последний раз ранило в 42-м, и его списали со строевой. До конца войны он служил в Москве в одном из многочисленных управлений, демобилизовался в 46-м, получил участок и наконец-то начал в буквальном смысле строить дом.

Было для кого: оставался младший сын, родившийся в 1924 году. Он умел слушать и запоминать и гулял с отцом по госпитальному саду за несколько часов до мучительного конца. Впрочем, тогда он называл отца Дедом…

— Люди делятся на три категории, не по племени и не по вере, а только по внутренней цели. Четверть из них мечтает о новом доме и строит его. Другая четверть жаждет сохранить старый и его защищает. А большая половина ничего не

хочет и ни о чем не мечтает, но при первой же возможности готова спалить старое жилище и влезть в новое, выбросив строителей в вечную мерзлоту. Гражданскую войну выиграли первые, а победили третьи. Может быть, они всегда побеждают? Поразмысли над этим.

Он пожал мне руку, улыбнулся, и глаза у него были синие-синие. И ушел навсегда, зная, что утром ему предстоит умереть.

Вам привет от бабы Леры

1

— Вам привет от бабы Леры…

Уж сколько лет прошло, а я до сей поры слышу эти слова. Они звучат в телефонной трубке то мужскими, то женскими голосами, как пароль странного братства незнакомых людей, как сигнал из одиночества. Как отзвук неистового, вечно юного «Дае-ошь!», бешеного топота копыт, звона клинков и грохота торопливых выстрелов.

— Баба Лера, неужели вы стреляли из маузера?

— Вам трудно представить, что у этакой засохшей старушенции хватало сил надавить на спусковой крючок? А я на пари дырявила пятак, но всегда почему-то промахивалась в людей.

Баба Лера… Вечная полуулыбка на запавших губах, добрые морщинки и горькие глаза. Горькие даже тогда, когда баба Лера смеялась, а она очень любила смеяться.

— Знаете, Алиса Коонен рассказывала мне, что шестнадцати лет начала дневник с фразы: «Я очень хочу страдать». Смешно, но я тоже решила вести дневник в шестнадцать, но начало у меня было иное: «Я очень хочу умереть счастливой…» Мечтания гимназисток выпускного класса.

Шел тысяча девятьсот шестьдесят третий год, первое лето нашего знакомства. И на следующий день после разговора о девичьих дневниках и мечтаниях я пошел за четырнадцать километров в Красногорье. Я купил самую толстую тетрадь, какая сыскалась, вывел на титульном листе «Дневник» и сам написал первую фразу: «Дорогая баба Лера! Живите долго и долго дарите людям счастье». Баба Лера неторопливо надела очки, внимательно прочитала восторженное вступление. Затем столь же неторопливо сняла очки и задумчиво постучала ими по тетради.

— Дарить счастье — это талант, а талант всегда живет меньше, чем надо. И вообще мне кажется, что следует прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни, уважаемый Борис Львович.

Баба Лера всех называла по имени и отчеству, делая исключение лишь для единственного человека — для Анисьи, или Анюхи Поликарповны, как та сама себя иногда величала. Она звала ее Анишей, хотя сама Анисья обращалась к бабе Лере с крестьянской обходительностью: «Леря Милентьевна». Анисья была моложе бабы Леры — ей было пятнадцать, когда ее сослали, шестнадцать, когда посадили за побег из ссылки в родное село, и восемнадцать, когда «навесили»

еще десятку за немыслимый по дерзости отказ удовлетворить естественное желание начальника конвоя, — но, шагнув из отрочества в ссылку, тюрьмы да лагеря и выйдя оттуда уже старухой, она ко всем обращалась только по имени либо — «начальник», если очень сердилась.

Она мне упорно напоминала лошадь. Не исполненную грации и животворной силы кровную кобылицу, а заморенную, мослаковатую, с екающей селезенкой несуразную крестьянскую савраску. Лошадиными выглядели даже ее руки — тяжелые, длинные, в узлах вздувшихся вен; лошадиной была сутулая костлявая спина, тоскливые, глубоко проваленные глаза и те четыре зуба, что еще сохранились чудом каким-то. Четыре желтых, больших, как стамески, резца в верхней челюсти, которыми она не жевала, а скоблила хлеб или картошку, совсем по-лошадиному мотая при этом головой.

— Аниша, ты бы вставила зубы.

— Ништо, Господь и такую примет, не обознается.

— В рай метишь?

— А куды ж меня еще, Леря Милентьевна? Я в жизни не по своей воле грешила. А по своей всего один разочек, один-разъединственный за

все зимы мои.

Анисья считала не годами, не летами, а только зимами: «Мне, почитай, сорок девять зим намело, так-то».

— Сорок девять лет?

— Зим, милай, зим. Это у вас — леты, а у меня вся жизнь — вьюга да мороз. Стало быть, зимы и надо считать.

Спорить с нею было бессмысленно, ибо она не признавала никакой логики, и сама баба Лера отступалась, когда коса находила на камень. А такое могло случиться вдруг, совершенно непредсказуемо, от мимолетной интонации или случайно сорвавшегося слова. Тогда Анисья Поликарповна замолкала и долго глядела на провинившегося тяжелым изучающим взглядом. Тот порою не замечал этого, продолжая болтать, но баба Лера мгновенно ощущала силовое поле протеста, исходившее от Анисьи, и пыталась вмешаться.

— Аниша, пожалуйста, завари свежего чая.

Если Анисья безропотно брала чайник и уходила, значит вина гостя была еще невелика: Поликарповна отругивалась в одиночестве и возвращалась к столу. Но иногда спасательный круг бабы Леры ничем уже помочь не мог: у Аниши белели ноздри.

— А спать будешь с комарами!

— Аниша, помилуй, он же все-таки гость.

— Гость? — Анисья вставала, крепко хватив ладонью по столу. — В глотке кость, а не гость! Ступай отсюдова, чего расселся?

— Аниша, оставь, пожалуйста.

— Леря Милентьевна, ты меня знаешь: я за тебя в твой гроб лягу и твоим саваном укроюсь, — проникновенно начинала Анисья и тут же срывалась на крик: — Ты глаза разуй, сестричка-каторга! Да он либо сам легавый, либо вертухая какого сынок единственный! Ишь глядит скверно-пакостно! Пошел вон, кому говорено? Пошел, пока я тебя в Двину не вдвинула!

Однако буйствовала Анисья не так часто, как можно было бы предположить, зная ее неукротимый нрав и высшее зэковское образование. Порою ей было просто некогда негодовать: она ни секунды не сидела без работы, точно стремилась добровольным трудом компенсировать то многолетнее унижение, которое вынесла ее душа от труда подневольного. Она делала по дому, вокруг дома, на огороде и во дворе все, что только замечали ее ненасытные кулацкие глаза, и баба Лера смогла оставить за собою дела кухонные, единожды вполне осознанно обидев женскую

душу преданной Анисьи:

— Ты уж меня извини, но готовить буду я. У тебя, Аниша, отрава, а не еда.

Анисья поплакала и сдалась, и таким образом хоть что-то в их доме было исполнено не ее руками. Еда, соленья, варенья да шитье, штопка и починка одежды и белья стали привилегией бабы Леры, и добрая Анисья не забывала восхищаться каждым обедом. Она вообще восхищалась своей «Лерей Милентьевной» безмерно, чистосердечно считая ее образцом, посланным людям на землю для примера, и жарко молила Бога об одной милости: помереть раньше бабы Леры. И Бог услышал ее молитвы.

Я пишу так подробно об Анисье, потому что мне многое рассказала баба Лера в то последнее лето, когда осталась одна. Баба Лера, видимо, чувствовала, что лето и впрямь последнее, что ей не пережить зимы, но относилась к этому спокойно. И наотрез отказалась перебраться в Красногорье, на главную усадьбу, а тем паче — в город.

— Нет, нет, Владислав Васильевич, и не просите, и не соблазняйте, — улыбалась она, безостановочно встряхивая седой головой — непроизвольный жест, который появился после похорон Анисьи. — Я с Анишей душою срослась, куда уж мне

без нее? Каждый день на могилу хожу и с ней разговариваю. Рассказываю, как чувствую себя, как день прошел, что в мире нового. Смешно, правда? Понимаю, а у меня — потребность. Особенно как что-нибудь про Китай услышу: Аниша последнее время что-то на Китай сердилась.

— Да как же я могу вас тут одну оставить? — вздыхал секретарь райкома, специально прикативший уговаривать заупрямившуюся бабу Леру. — Если желаете, мы Анисьин прах перевезем.

— Ни под каким видом! — Баба Лера сердито постучала по столу маленькой иссохшей ладонью. — Тут ее земля. Она сама мне место указала.

— Для вашего спокойствия хотел.

— А что до моего спокойствия, то пообещайте меня рядом с Анишей положить. Звезда и крест в одной ограде — знаете, это даже символично.

Через пять лет после знакомства я привез к недавним каторжанкам Владислава Васильевича: в то время он заведовал культурой в районном масштабе. Я рассказал ему о бабе Лере и Анисье, и он тут же собрался к ним. Сгоряча я согласился, а пока ехали, одумался и — испугался. Испугался, что Анисья учует в симпатичном мне Владиславе невыносимый для нее «номенклатурный» дух

и без всяких околичностей «вдвинет в Двину». Но мы уже катили на райкомовском «уазике» по кривым дорогам Задвинья, и поворачивать было поздно. Владислав что-то увлеченно говорил о деревянном зодчестве, а я страдал, предчувствуя бурю.

Предчувствие меня не обмануло: как на грех, мы попали в один из тех злосчастных дней, когда Анисья напивалась. Такое случалось два-три раза в месяц, напоминало запой, но редко продолжалось более суток. Однако эти хмельные сутки были Анисьиным днем: она не слушалась даже бабы Леры, и поведение ее было изощренно капризным. То она начинала страдать и убиваться по причине загубленной жизни, то извергала лагерный мат, то радовалась, как все прекрасно устроено Богом, а иной раз начинала и сосредоточенно точить нож, чтобы раз и навсегда покончить счеты с этой… так ее и разэтак… жизнью. В таких случаях посторонним не рекомендовалось подвертываться под тяжелую Анисьину руку, а нас, как нарочно, поднесло в самый неподходящий момент.

— А, начальнички! Учуяли, где на дармовщинку можно глотку сполоснуть?

Анисья сидела за столом в одиночестве. Перед

нею стояли початая бутылка водки, стакан и миска с осклизлыми груздями прошлогодней засолки. Бабы Леры поблизости не было — как видно, она бойкотировала этот загул, — и я растерялся. Хотел спросить, где баба Лера, хотел прикрыть собою незваного гостя, хотел пристыдить Анисью, напомнив, как дорого обходятся ее запои «Лере Милентьевне». Хотел и не успел: Владислав Васильевич плечом оттер меня, сдернул кепку и поклонился с порога:

— Хлеб да соль!

— Ем, да… — Анисья вдруг раздумала отвечать обычной прибауткой. Поморгала мутными глазками и, привстав, двинула налитый до половины стакан через весь огромный, рубленный топором на добрую довоенную семью стол. — Угощайся, начальничек.

С хмельных глаз она устраивала гостю проверку. А я всю дорогу толковал о бабе Лере, так и не найдя времени сообщить об особой, болезненной обидчивости Анисьи. Но Владислав шагнул к столу, взял захватанный, мутный стакан и неторопливо, истово выкушал.

— С поклоном к вам и со здоровьем.

Анисья проморгалась, подумала, тяжело выбралась из-за стола и принесла чистый стакан. Один:

я в зачет не шел. Владислав уселся напротив с таким видом, будто сто раз тут сидел, и пальцами — про вилки Анисья забывала и в трезвом состоянии — вытащил из миски комок слипшихся груздей. Анисья плеснула в стаканы, не ожидая гостя, выпила и, горестно подперев тяжелую, в седых лохмах голову рукой, хрипло завела:

Глухой неведомой тайгою…

Пока она неторопливо распевалась на первом куплете, Владислав хлебнул из стакана, закусил грибками, прокашлялся, продышался и серьезно, задумчиво подхватил вторым голосом:

Укрой тайга его густая,
Бродяга хочет отдохнуть…

Они пели неторопливо и проникновенно, будто не песня то была, а молитва. И отдавались этой молитве столь потрясенно, что из далекого конца дома вышла баба Лера, забыв про бойкот. И замерла на пороге, боясь помешать, отвлечь, нарушить это удивительное пение. И я стоял в полном онемении, потому что впервые, как мне тогда показалось, понял, что такое русская песня и почему она должна звучать не со сцены, а из-за стола. Анисья тряслась, шмыгая носом, и слезы

текли по ее лошадиному лицу, а Владислав был где-то в далях и в нетях, и глаза его, глядя в упор на меня, видели что-то совсем иное.

Жена найдет себе другого,

А мать сыночка никогда…

— Понимаешь, — тихо сказала Анисья, когда они закончили песню и немного помолчали, ожидая, чтобы звуки утихли в их душах. — Понимаешь, а я уж думала, подохли все, кто песню понимал. Ан нет, живы. Живы! Сейчас все хотят не своим голосом петь, а ты — своим. Ну спасибо, ну уважил, ну дай поцелую тебя.

Владислав подружился с Анисьей куда быстрее, чем я, хотя за мной во весь недосягаемый рост стоял авторитет бабы Леры. Аниша вынесла приговор сразу:

— Простой человек и, видать, бессердечный.

Я онемел от такой характеристики, баба Лера улыбнулась, а Аниша продолжала громко и невозмутимо пить вприкусу чай из блюдечка. Владислав только что уехал, и Анисья определяла, куда его отнести — к чистым или нечистым.

— Как так бессердечный? Да он…

— А так, что сердце ни на кого не держит, стало быть, бессердечный и есть, — пояснила она.

С того дня Владислав часто наведывался к старушкам: даже зимой умудрялся пробиться на вездеходе через замерзшую Двину. Следил, чтобы продуктов им подбросили, керосину да дров, хотел телефонный провод протянуть, да не успел… Наскакивал внезапно на час-другой и исчезал вдруг, но на неделе непременно звонил в Красногорье. И связь не обрывалась и длинными сумеречными зимами.

А я зимой у них никогда не был. Мечтал об этом, по возвращении от бабы Леры строил планы, но наступала зима, работа, московская суета, и мне все никак не удавалось выкроить недельку. А впрочем, мы всегда мечтаем с бо'льшим энтузиазмом, чем пытаемся осуществить хоть что-то из своих мечтаний, и я не был исключением, красочно представляя себе двух старых женщин в желтом круге керосиновой лампы, уютное тепло раскаленной печи, сугробы до половины окон, нестерпимо белые снега да великую тишь за стенами избы. Не белое безмолвие Джека Лондона, а ту оглушающую русскую тишину, от которой сходят с ума. И на четырнадцать верст вокруг нет ни одного огонька, а баба Лера негромко читает, часто останавливаясь, чтобы растолковать прочитанное темной сестре своей.

— Ты все поняла, Аниша?

— Серьезный человек Каренин-то этот, чего ж не понять. А офицеришко, поди, стервь, а? Задрал бабе подол, она и голову потеряла.

— Мне кажется, здесь все-таки сложнее. Женщина хочет любить, это ее право.

— Чего? — презрительно тянет Анисья. — Очнись, сестричка-каторга! Тебя блатняки с нар на нары передавали? Вот и вся наша любовь.

— Лагерь — зловонная яма на дороге. Кто перепрыгнул, кто упал, но все равно он — позади. А жизнь — впереди.

— Лагерь, он и есть вся жизнь наша! — разозлясь, уже кричит Анисья. — Там даже лучше, если хошь знать, лучше, сестричка-каторга! Там все свою цену имеет, а тут — слова одни, а цены нет никакой…

Они постоянно спорили друг с другом, и последнее слово всегда оставалось за Анисьей. Но постепенно, год от года, от спора к спору, было заметно, как мягчеет, оттаивает вечная каторжанка, в тугие пятнадцать лет познавшая всю звериную лагерную науку и не узнавшая ничего более. Ее сжигали старые обиды, она кричала, спорила, дралась и пила, не в силах понять, что обижаться уже не на кого. И хотя не было у нее

спасительной мудрости бабы Леры, скандалы ее были кратки, обнажены и отходчивы. И уже через час она с виноватыми глазами ластилась к своей сестричке-каторге, ибо во всем мире не было для нее никого дороже, святее и благороднее ее «Лери Милентьевны».

— Офицерье — они такие.

— Анна полюбила человека, а не форму. В те времена даже образованной женщине трудно было отстоять свое человеческое достоинство.

— Достоинство, — несогласно проворчала каторжанка. — Начальника лагеря на начальника конвоя сменила, дура, вот и все достоинство. А ребятеночка… — Аниша внезапно замолчала и зло нахмурила светлые разлапистые русские брови. — Ладно, читай уж.

И баба Лера безропотно начала читать; худенькая рука ее нашла жесткую жилистую ладонь Аниши и нежно поглаживала ее. А подруга курила папиросу за папиросой, и по остекленевшим глазам ее было видно, что до нее не доходит сейчас ни одного слова. Тогда баба Лера переставала читать, шла к тумбочке, где хранились лекарства, и, не отмеряя, наливала валерьянки.

— Выпей, — обнимала за плечи вдруг окаменевшую подругу, тихо целуя в седую редкую

гриву. — Пожалуйста, очень прошу. А то и я вспоминать начну, и будем мы с тобой реветь до завтрашнего вечера. А что толку-то? Ну, ревут взахлеб две старухи — эка невидаль.

Иногда Анисья выпивала капли и мягчела, иногда решительно отталкивала протянутую руку и бежала во двор, где прятала свои бутылки. И начинались пьянь, ругань и слезы.

— Пьем в скорбях о материнском праве, — объявляла баба Лера с грустной и одновременно виноватой улыбкой. — Пить перестанет, пожалуй, завтра к вечеру, но неделю не советую задевать. Уж извините, у нас, как теперь говорят, «болевая точка».

Болевая точка была настолько ощутима, что Анисья приходила в себя будто после приступа. В эти дни она была на редкость неразговорчива, груба и труднопереносима даже для очень близких. Исключая, естественно, бабу Леру, которая все понимала и все прощала, ибо была не только мудра, но и смертельно ранена тем же оружием, которым нанесли раны открытому и доброму сердцу Аниши.

В огромном — в два этажа — доме старушек, где ни одна дверь не запиралась на замок, даже если обе хозяйки надолго уходили в Красногорье,

никогда не бывало ни одного ребенка. Здесь с открытой душой принимали редких туристов и топографов, рыбаков и охотников, собирателей фольклора и странствующих художников — при одном непременном условии: без детей. Условие это не знало никаких исключений и неукоснительно проводилось в жизнь при любых обстоятельствах, хотя баба Лера поддерживала активную дружбу с детьми, но, так сказать, вне стен этого дома. Она была почетной пионеркой и еще кем-то в красногорской школе, часто ходила туда зимой — пока, естественно, была дорога, — а летом посещала пионерские лагеря и любила рассказывать ребятам о Гражданской войне. Но это, повторяю, вне дома, а в нем баба Лера свято соблюдала все условия, выдвинутые Анисьей.

— Есть одна тема, которую не надо бы затрагивать, — сказала мне баба Лера в самом начале нашей дружбы. — Аниша очень болезненно реагирует на любые упоминания о детях, и на это, поверьте мне, у нее есть очень серьезные причины.

Я воспринял предупреждение бабы Леры как закон, но Анисья сама однажды начала разговор. Баба Лера ушла в пионерский лагерь на очередной костер с воспоминаниями, Анисье это очень

не понравилось, и заговорила-то она, как мне кажется, от несогласия.

— Пионери, — ворчала она, гремя самоварной трубой. — Пионери и пионерьки, костры и дымища.

Я сидел в сторонке, двумя руками отмахиваясь от комаров. Был поздний вечер, было светло как днем, и Двина под обрывом играла всеми красками исчезнувшего за горизонтом солнца.

— Пионерьки называются, а грудища — как у верблюда. Иди в дым, горемыка, чего комарье подпаиваешь?

Я послушно пересел поближе к струе густого желтоватого дыма, валившего из самоварной трубы. Анисья еще раз громыхнула ею, подсыпала сосновых шишек, ударила ладонью о ладонь и сердито уселась рядом. Закурила и вдруг заворчала, не глядя на меня:

— Меня такой, как пионерьки эти, на Канал пригнали за то, что я с реки Лены, где жить нам было велено, самовольно бежала в село свое родимое. Тугая была: надавишь — соком брызну, ей-богу, будто тыщу жизней в себе носила. На Канале говорят: во, говорят, еще одна рожалочка приехала. Это меня так воровайка Муся окрестила и к себе в барак взяла. Блатным всегда лафа,

а тогда — наособинку: бригадами командовали, контриков очкастых перевоспитывали и жрали с котла первые, а нам — водица теплая. Я потому к ним-то и пошла, дура, а Муся эта меня на второй день своему полюбовнику подложила. От него я и понесла по первости, да мертвенького родила: глупой была очень, отбиваться не умела, и мяли меня тогда сильно, когда и по пять раз на дню мяли, вот ребеночка и задушили. Много раз я потом мертвеньких скидывала, а шестерых живеньких родила и кормила, сколь дозволяли. Месяца четыре-пять покормлю, и отбирают от меня деток моих, как щенят у суки. Опять в барак, опять на общие. Я ревмя реву, груди огнем горят, молоко из них ручьями текет, а меня — на лесоповал да на полную норму. Из-за слез деревьев не видишь, в ушах не пилы — деточки твои плачут, и думаешь только: Господи, хоть бы тебя, непутевую, боланом каким придавило. А потом глохнешь вроде, сердце запекается, и рвешь ты собственных своих деток из себя самой. Где они сейчас, как зовут их, какая такая фамилия у них? Ничего не знаю. Без вины я виноватая, а на деток все одно глядеть не могу. Душа у меня темнеет, будто черной пылью покрывается, и стыд уж так гложет, что задавиться хочется. Почему стыд, спросишь? А

кто ж его знает, может, и от совести. Все во мне убили, все во мне пожгли, все во мне опоганили, а совесть и там выжила. И боюся я детских глаз, будто подлюка я и стерьва. Страдали мы с Лерей Милентьевной, страдали, рожали-рожали, а на старых годах — никогошеньки в доме. Как в лесу, хоть «ау!» кричи…

2

Калерия Викентьевна Вологодова родилась в 1900 году, и история превращения ее в бабу Леру расписана по ключевым датам нашего столетия. Пяти лет от роду она проснулась от стрельбы на Пресне, в десять рыдала навзрыд, узнав о смерти Толстого, в пятнадцать провожала на германскую свою первую, еще старательно скрываемую от самой себя любовь.

— А в семнадцатом он вернулся, можете себе представить? Ноябрьской ночью забарабанили в двери. Все испугались: глухая темень, правопорядок рухнул, на улицах вторые сутки идут бои. Но стучали настойчиво, пришлось открыть, и вбежал Алексей. В форме, офицерской портупее, еще с «Георгием», но уже без погон.

«Лера, у нас — тяжелораненые, юнкера обошли, хотите нам помочь?»

И я пошла сразу, как стояла, так и пошла, даже, кажется, забыла оглянуться. Моя жизнь начиналась, как роман, и я была счастлива, как бывают счастливы только в романах…

Так тихой белой ночью баба Лера начала рассказывать мне о самом главном, самом светлом,

гордом и чистом — о своей молодости. И я понял секрет ее бессмертного оптимизма: вся ее жизнь опиралась на легендарную юность, идеально совпавшую с юностью нашей страны.

Каждое дитя рождается в муках и крови, и каждая мать обмирает от счастья, навсегда забывая собственную боль. И ребенок, по-моему, плачет тоже от счастья, тоже навсегда забывает об ужасах собственного рождения и подсознательно помнит только великий миг освобожденья…

Стояло жаркое лето. Еще не объявился Грешник, еще было время до смертной зимы; еще сухонькая, с фигуркой подростка баба Лера неделями бродила по лесам, ночуя в брошенных селениях и забытых скитах. Она была удивительно отважной, эта дочь царского сановника, жена героя Гражданской войны, вдова врага народа, вечно юная большевичка революции и солнечная женщина безулыбчивого двадцатого столетия.

— Страшно ли одной в лесах? Порою невыносимо, но страх — самое унизительное чувство. Он перечеркивает человеческое «Я», оставляя животное «МЫ»: недаром страх был оружием фашизма и уголовщины. Я знаю первое лишь по документам, но хорошо знакома со вторым. И ко-

гда я подавляю в себе страх, я торжествую победу над всеми, кто пытался вселить его в меня. О, это удивительное чувство, будто в вас звучит труба. Далеко-далеко и звонко. Кто хоть раз слышал ее, тот никогда не унизится до страха.

Она говорила закругленными книжными фразами, но так, что собеседник никогда не ощущал резонерства, оставаясь собеседником и не превращаясь в слушателя. Баба Лера сообщала только то, во что веровала, не боясь банальностей, а потому и не скатываясь на них. Я любил слушать ее и Анисью, может быть, еще и потому, что к этому располагала сама природа — белые ночи, играющая красками на закатах и зорях Двина, оглушающая тишина и огромные пространства когда-то густо населенного, а теперь обезлюдевшего края. Это была добычливая окраина, где до сей поры жили не знавшие крепостного права потомки гордых новгородцев, отличавшиеся особой степенностью, достоинством и самостоятельностью. Они не подверглись той обработке страхом, который был характерен для жителей собственно Великороссии, и мне восторженно представлялось, что они бесстрашны и несгибаемы извеку. Я объявил об этом, но баба Лера грустно улыбнулась:

— Аниша родом из этих мест. Поговорите с нею.

Я перевел рассуждения о страхе на понятный Анисье язык. Она сидела на высоком парадном крыльце строенного на века дома и сосредоточенно скоблила репу уцелевшими зубами. Выслушав, долго разминала огрубевшими деснами сладковатую кашицу.

— Самостоятельные были, верно. Это в России лапотники, а у нас — все в сапогах, даже если и бедолага какой. И бар не было, правильно говоришь. Даже слова такого не знали, баушка сказывала, а потому и жили мы дружнее, чем у вас в России.

— Ой ли? И бедняки с кулаками дружили?

— Ха! — Она колюче глянула на меня. — Кулаков тогда и навовсе не было. А вот так скажу тебе, что в каждом селе обязательно одно окошко светилось цельную ночь. Сегодня, скажем, у Савостьяновых, завтрева у Чекалкиных, а там еще у кого. Вроде как дежурство. Чтоб человек и в самую черную ночь знал, под каким окном ему краюху хлеба искать.

— Для охотников, что ли?

— Эхма! — с презрением выдохнула Анисья. — Охотник, он и в дверь войдет. А этот свет для тех,

кто сторонкой шел, глухой да неведомой, ночами да лесами. Кто глаз опасался, чтоб людей во грех не вводить, чтоб им врать не приходилось. Беглым окошечки ночью светили, беглым.

— Каторжникам?

— Это для начальников они — каторжные.

— А если убийца?

— Ты, что ль, ему судья? Раз бежал, значит несогласный. Согласный никуда не бегал, совесть не позволяла.

— Аниша, ну как же так? Ты же уголовников ненавидишь, а тут вдруг защищаешь их.

Анисья долго молчала, а потом разразилась монологом, где частично понятными были только матерные слова. Но то ли потому, что ругалась она на блатном жаргоне, то ли от искренности матерщина не похожа была на сквернословие, а казалась словесной шелухой. Баба Лера всегда останавливала такие пассажи, по-особому, искоса поглядывая на Анисью. Та сразу же замолкала и начинала усиленно пыхтеть, будто бежала в гору.

— Нелогично рассуждает наша Аниша? — улыбнулась баба Лера. — А вы попробуйте забыть о тех абсолютах, которые заучивают с детства. Ведь думать — значит анализировать предлагаемые

обстоятельства, а не с натугой припоминать, как там полагается реагировать по правилам. Я зануда?

— Что вы, баба Лера!

— Вероятно, но что же делать, когда так хочется оставить людям хоть чуточку личного опыта.

Баба Лера сокрушалась, что мало у нее сил и мало времени. Она вела в огромном красногорском совхозе необозримый по темам курс лекций: рассказывала о Софье Перовской и Екатерине Второй, о правах женщины и обязанностях матери, о свободе личности и законах общества, о Гражданской войне и строительстве социализма, о… Господи, о чем может рассказывать потомственная русская интеллигентка? Она торопилась успеть, не щадила себя, выступала и писала, и в далекое Красногорье шли весомые посылки с книгами, журналами и фотокопиями документов.

— Мой муж в двадцать три года руководил действиями армейской группы и был настолько знаменит, что я из самолюбия оставила девичью фамилию.

Баба Лера ничего не придумывала, не сочиняла, но во всех ее рассказах о муже, юности и Гражданской войне отчетливо звучал оттенок

горделивости. Это нисколько не мешало мне слушать, но помимо воли все ее воспоминания приобретали характер романтический, будто надевали котурны. Калерия Викентьевна Вологодова искренне гордилась не собою, а своим и впрямь легендарным временем.

Бывший поручик стал знаменитым уже в первый год Гражданской войны. Он командовал тогда пехотной дивизией на Южном фронте и оказался отрезанным от резервов, тылов и снабжения. Нависала реальная угроза полного окружения, в батареях оставалось по полтора снаряда на орудие, а в подсумках — по две обоймы на винтовку. Следовало уходить, отрываться от противника, превосходящего по всем видимым военным статьям, но молодой начдив медлил, рассылая во все стороны связных. Он собирал остатки красных войск, разбитых петлюровцами или деморализованных страхом. И когда собрал всех, кого можно было еще собрать, объявил себя полновластным и единственным командиром и начал отход. К тому времени петлюровцы перекрыли все вероятные пути отступления, сосредоточив на важнейших направлениях ударные курени, но Алексей повел свои войска совсем уж невероятными путями. Он органи-

зовал ряд ложных движений, широко и умело пользовался дезинформацией, совершал неожиданные ночные броски и не просто уберег войска от невыгодного боя, но умудрился так запутать противника, что два куреня долго и усердно колошматили друг друга, а красные тем временем без боев уходили все дальше и дальше в степи, к рабочему Донбассу. Это был уникальный в военной истории марш безоружной армейской группы без дорог, обозов, боеприпасов и продовольствия по территории, занятой врагом.

— Сейчас уже немыслимо представить эти марши. — Баба Лера ласково и задумчиво улыбнулась своему мятежному прошлому. — Тысячи людей идут босиком, и степь гудит в такт их шагам. И марево на горизонте, и сухарь на весь день, и страх, что отрежут, перекроют дороги, что навяжут бой, а патроны есть только у дежурного полка. — Она неожиданно вскинула голову, и я увидел в ее старческих глазах две искорки: оттуда, из тех огней. — Мы много говорим о страхе и убеждаем друг друга, что он унижает, а ведь тогда в том походе боялись все, кроме Алексея. — Баба Лера строго посмотрела на меня. — Я знаю, что страх был ему неведом, влюбленную женщину не обманешь. А я и по сей день в него влюблена.

Так же, как тогда, в восемнадцатом…

Тогда он шел пешком, как все. В ярко начищенных хромовых сапогах, перетянутый офицерской портупеей, с тяжелым немецким биноклем на груди. Люди падали от изнеможения, голода, отчаяния, тепловых ударов; люди сбрасывали с себя все, что возможно, и шагали, обливаясь потом. А бывший поручик шел размеренным шагом, крепко сжав тонкие губы и дыша только носом.

— Алеша, позволь людям передохнуть.

— Нет. Мы должны сохранять отрыв от противника в дневной переход.

— Расстегнись. Солнце в зените.

— Иди молча и дыши через нос. Четыре шага вдох, четыре — выдох, четыре — вдох, четыре — выдох. Только так можно дойти.

Ни одной пуговицы не расстегивалось на людях, ни одного вздоха, ни одной жалобы не слышали они: дисциплина. Каждое утро — зарядка, бритье, начищенные сапоги: дисциплина. Ежедневные приказы, отпечатанные на машинке.

— Алеша, милый, их же никто не читает!

— Дисциплина, Лера. Печатай: пункт первый. За истекшие сутки наши доблестные войска…

Дисциплина — это уверенный, всегда ровный голос командира. Дисциплина — это оркестр,

беспрерывно играющий марши. Дисциплина — ночная поверка караулов после сорокаверстного перехода. Дисциплина — упругий шаг, когда нестерпимо болят растертые в кровь ноги. Дисциплина — вечный спор с отважным рубакой Егором Ивановичем, командиром кавалерийской бригады.

— Колоритнейшая личность! — увлеченно рассказывала баба Лера. — За десять лет до революции поднял восстание, жег усадьбы и экономии, раздавал крестьянам хлеб, скотину, деньги, наказывал жадных и жестоких и был чрезвычайно, сказочно популярен. Его не раз ловили, а он убегал и снова брался за свое. В конце концов его все же поймали и сослали в Сибирь, в бессрочную каторгу, откуда он освободился только после Февральской революции. Он был чудовищно смел, самоуверен и темен.

Егор Иванович действовал самостоятельно, однако при угрозе окружения согласился на настойчивые предложения начдива объединиться. Прискакал в село, где стоял штаб, бросил поводья вестовому, громыхая парадным кирасирским палашом, вошел в избу, где Лера печатала очередной приказ, который диктовал затянутый во все офицерские ремни Алексей.

— Здорово, начдив! — гаркнул с порога огромный, картинно увешанный оружием недавний гайдамак. — Жмут, гады… тра-та-та! Но мы им намылим холку… тра-та-та!..

Бывший повстанец пользовался матерщиной с изобретательностью и щегольством истого южанина, но бывший офицер не переносил подобного общения, несмотря на два окопных года. Побелев, вскинул голову, снизу вверх глядя на рослого комбрига, и рука его медленно поползла к кобуре.

— Алеша… — еле выдохнула Лера.

Рука остановилась на полдороге. Начдив глубоко вздохнул и громко, чтобы слышали вестовые и ординарцы, толпившиеся под открытыми настежь окнами, отчеканил:

— Если вы при мне или моей жене еще раз посмеете произнести хотя бы одно скабрезное слово, я пущу вам пулю в лоб в то же мгновение. Кругом! Шагом марш!

Знаменитый мятежник настолько опешил, что тут же и вышел, «кругом», правда, не повернувшись. Два часа он гонял по окрестностям, нещадно нахлестывая коня и отводя душу в сверхизощренной ругани. Потом перегорел и вернулся.

— Командир отдельной кавалерийской бригады, — хмуро представился он в той же избе. — Прибыл для согласования, как жить дальше.

— Рад познакомиться, — сухо ответил начдив. — Прошу садиться. — Он обернулся к машинистке, собиравшей бумаги. — Вы свободны. Ко мне — начальника штаба.

Лера вышла, а мужчины некоторое время молчали, неприязненно разглядывая друг друга. Потом Егор Иванович перевел взгляд на потолок и сказал, политично ни к кому не обращаясь:

— Прижмет нужда, так и офицерью поклонишься!

— Пользуясь отсутствием посторонних, считаю своим долгом высказать вам претензии, — негромко сказал начдив, проигнорировав элегантный выпад комбрига. — Я — противник партизанщины, а посему буду требовать дисциплины и строгого исполнения уставов. Далее, я видел ваших кавалеристов, товарищ комбриг, и характеризую их одним словом: табор. Все, что возится во вьюках и тороках, сдать в обоз.

— Ты же — белый, — со злорадным торжеством объявил Егор Иванович. — Ты хочешь отнять у трудящего последний прибыток?

— Я хочу командовать регулярной частью, а не

анархистским сбродом.

— Ах, ты командовать хочешь! — заорал вдруг комбриг с яростью и стал пугать вытаращенными глазами. — А где ты был, когда я один воевал с царизмом и жандармами? В гимназиях…

Он вдруг смолк, оставшись с разинутым ртом. Там, под вислыми украинскими усами, явно клокотал мат, но комбриг вовремя вспомнил, что его ожидает, если этот мат вырвется наружу, и сейчас мучительно давился им.

— Справедливо заметили о возрасте, если полагаете, что он заменяет собой все прочие человеческие способности. — Начдив достал из офицерской сумки печать, положил ее перед Егором Ивановичем и встал. — С удовольствием меняюсь: принимайте командование всеми войсками, а я возьму вашу бригаду.

— Ах ты, недобитый…

Комбриг сорвался с места и, грохоча палашом, вылетел из хаты. Сквозь открытые окна тотчас же донеслась его забористая ругань. Отведя душу, Егор Иванович вернулся и хмуро сел к столу.

— Чуть не упали, — сказал начдив озабоченно.

— Чего?

— Чуть не растянулись, говорю, потому что носите парадную погремушку вместо боевого

оружия. Принимаете общее командование?

— Ищи дурака!

— Тогда впредь прошу являться ко мне в боевом, а не опереточном виде. — Начдив подался вперед, приглушил голос: — И волосатую свою грудную клетку прошу ни при мне, ни тем более при молодой женщине более не показывать. Пуговицу пришейте.

Таков был первый разговор с легендарным комбригом, и в дальнейшем отношения складывались соответственно первому впечатлению. Егор Иванович издевался над бывшим поручиком как только мог, называя его офицерской шкурой, белым недобитком и паршивым интеллигентишкой и приправляя каждое определение художественно оснащенной матерщиной. А молодой начдив с завидным постоянством тыкал бывшего романтического разбойника носом во все упущения, не забывая при этом с глазу на глаз указывать и на личные промахи касательно формы одежды, правил поведения и привычного лексикона. После этих внушений распаренный, как после бани, комбриг с грохотом и звоном вылетал на простор, отводя душу в чутком обществе личных вестовых и ординарцев.

Но это касалось только их двоих: начдива и

комбрига. Кавбригада, спаянная прежде всего огромным авторитетом командира, была грозной силой и единственным козырем начальника дивизии, которым он пользовался широко и умело. Конники вели авангардные и арьергардные бои, заставляя охочих до расправы над безоружными сечевиков держаться на почтительном расстоянии; бригада несла дозорную и разъездную службы, прикрывала ползущую на заморенных клячах артиллерию с пустыми зарядными ящиками, служила единственным активным резервом начдива и исполняла всю огромную работу, связанную с разведкой, связью и наблюдением за противником. Начдив не жалел ни людей, ни лошадей, и это особенно тревожило и обижало гордившегося своими лихими хлопцами Егора Ивановича. Когда обида переполняла чашу, комбриг мчался в штаб группы, где и изливал ее на бывшего офицера в весьма резких, громких, но вполне парламентских выражениях. Начдив никогда ничего не разъяснял, никогда не спорил и не оправдывался, а только доставал дивизионную печать и скучным голосом предлагал обмен:

— Принимайте общее командование, а я возьму вашу бригаду.

— Мальчишка! Царский недобиток! Паршивый

интеллигент! — орал Егор Иванович в своей бригаде после таких поездок.

Невидимые кристаллики льда медленно накапливались в их отношениях. Егор Иванович все более открыто возмущался «офицерской спесью» начдива и уже не обрывал разговоров об измене. Теперь он стал уклоняться от свиданий с начальником дивизии, присылая своего заместителя — фигуру незначительную, как и положено заместителю фигуры значительной. И кто знает, до чего довели бы эти шепотки да взаимная неприязнь, если бы в отношения начдива и комбрига не вторгся случай — один из самых частых гостей в Гражданской войне.

Егор Иванович давно и, кстати, вполне справедливо негодовал по поводу бесконечных дневных переходов и ночных марш-бросков, по опыту зная, что лошади требуется более длительный отдых, чем человеку, и что заморенный конь в бою подводит куда чаще, чем безмерно измотанный пехотинец. Начдив знал об этом не хуже, но севший на хвост противник долго не давал возможности передохнуть. Но как только группа оторвалась от петлюровцев на три-четыре перехода, немедленно был отдан приказ о суточном отдыхе для всех.

Кавалерийская бригада для дневки облюбовала тихий хуторок с чистым ставком и не менее чистой самогоночкой, легкий аромат которой тревожил измотанных маршами конников. Голые хлопцы с веселой руганью и солеными шутками купали коней, а сам комбриг, мирно подремывая, отдыхал на берегу. Большой, старательно выскобленный череп его покрывал мокрый платочек, который верный вестовой то и дело освежал в пруду. Знойная тишина висела над хутором и над степью, и этой тишине нисколько не мешал жеребячий гогот лихих кавалеристов. Зануда-начдив остался в десяти верстах, в селе, где располагался штаб, и Егор Иванович пребывал в покойной истоме.

— По шляху ктой-то верхи бегет, — доложил вестовой, принеся платочек. — Видать, с приказом.

— Вот и покурим, — не открывая глаз, пошутил комбриг, поскольку принципиально не читал ежедневных штабных обзоров, напечатанных на машинке.

Всадник на запаленной, хрипящей лошади вылетел на берег, топча разложенные для просушки выстиранные рубахи и подштанники. Просипел, исходя в кашле:

— Там… начдива… кончают.

И упал на землю, подставив нестерпимому солнцу четыре запекшиеся пулевые дырки в спине. Рокочущий бас комбрига вмиг перекрыл хохот хлопцев, плеск воды и ржание лошадей:

— На коней!..

И, вырвав клинок из лежавших поверх аккуратно сложенной одежды ножен, первым вскочил на неоседланного коня:

— За мной!..

Хлопцы влетали на мокрые лошадиные спины еще в пруду, разбрызгивая воду, гнали к берегу, на скаку подбирая оружие. И голые, на блестящих мокрых конях мчались вслед за сверкающей шашкой комбрига.

— Дае-ошь!..

Ах, какая это была атака! Все четырнадцать с половиной тысяч войн, которые вело человечество за всю запомнившуюся историю, не знали такой атаки. Пятьсот мокрых, распаленных скачкой коней, пятьсот голых горячих хлопцев, опьяненных ветром, степью и революцией, пятьсот сверкающих на солнце клинков и комбриг Егор Иванович впереди всех в сиреневых подштанниках. И топот копыт, и конское ржание, и матерщина во всю глотку, и дикий свист, и рев сотен глоток:

— Дае-ошь!..

Нет, эти хлопцы не просили, но и не давали пощады, и петлюровский пулемет подавился патроном на первой же очереди. Крики, топот, свист, лошадиный храп и разудалая ругань ворвались в широкую улицу и потекли по ней, гоня перед собой обезумевших от ужаса сечевиков к центру. К церкви.

— А я в это время стояла в церкви, в простенке, на коленях, и в лоб мне упирался наган Алексея, — рассказывала баба Лера, и веселые лучики играли в морщинках ее вдруг помолодевших глаз. — Он был уже дважды ранен, мы глядели друг другу в глаза, слушали, как петлюровцы бревном высаживают двери. И я отчетливо представляла себе, что живу последние мгновения.

— Неужели он мог застрелить вас?

Лицо бабы Леры сделалось незнакомо надменным.

— Я любила мужчину.

Она спохватилась, загораживаясь привычной улыбкой. На миг выглянувшая гордячка из привилегированного класса ушла без следа, уступив место мудрой старой женщине, страдавшей и простившей.

— Это было высшее милосердие. Кроме того,

надо было знать Алексея. Помните, в фильме «Чапаев» есть эпизод замитинговавшего во время боя эскадрона? А у нас в таких же обстоятельствах замитинговал полк. Алексей прискакал, когда там одновременно выступали три оратора и все трое требовали примирения с Петлюрой. Алексей достал наган и с седла расстрелял выступавших. Бойцы онемели: еще секунда — и его бы разорвали на части, но он отобрал у них эту секунду. Гаркнул вдруг: «Построить полк! И немедленно доложить о боевом настроении!..» Через полчаса он повел этот полк в атаку…

— А тогда в церкви? Когда вы стояли на коленях, а петлюровцы выламывали двери?

— Тогда? — И вновь озорные лучики заиграли в глубоких морщинках бабы Леры…

Тогда Лера ничего не слышала, но Алексей услышал и крики, и конский топот, и беспорядочные частые выстрелы за стенами церкви. В дверь опять стали ломиться, сорвали ее с петель, и в церковь ворвалась орава голых парней во главе с самим комбригом.

— Цел? — задыхаясь, спросил он. — Цел, начдив?

— Георгий Иванович, я же просил вас являться ко мне в боевом, а не в опереточном виде, — свар-

ливо и укоризненно сказал начдив. — Тем более когда со мной — молодая женщина…

Смертельно обиженный комбриг рванул из церкви, расталкивая голых хлопцев.

— Ах, тудыть-растудыть! — орал он, враз позабыв о предупреждении начдива.

Сморщенное, как печеное яблоко, лицо бабы Леры сияло двадцатилетней улыбкой: она была счастлива. Счастлива, что любила необыкновенного человека и этот необыкновенный человек любил ее; счастлива, что была не только свидетельницей, но и участницей жестокой и прекрасной битвы; счастлива, что видела столь много и может об этом рассказать. Удивительно, но она и сейчас была счастлива, никого не проклиная и ни о чем не сожалея.

— Вы фаталистка, баба Лера?

— Меня слушают. Вы молоды и не можете этого понять. Меня слушают затаив дыхание: значит, мой опыт нужен людям?

Прожитая жизнь оказалась интересной, важной и нужной не только ей, и в этом заключался секрет ее отчаянного оптимизма.

— В те времена существовало множество возможностей ущемить человеческую гордость, честь, достоинство, и истинно гордые люди

становились болезненно гордыми. Понимаете, Гражданская война размывала вековые наносы до глубинных пород, устраняя привычно среднее, обыденное, и становилось видно, на чем же стоит человек. Алексей стоял на монолите.

Да, молодой поручик из семьи потомственных интеллигентов оказался человеком с неразмываемым характером. Такие кремешки наживают себе больше врагов, чем друзей, но даже враги понимают, что на них можно положиться. А неспокойное время подтачивает устои не только государств и классов, но и каждой личности, и свою твердость приходится доказывать ежечасно. Это было необходимым условием жизни, ибо в дни тяжелых потрясений люди тянутся к сильным натурам, обеспечивая тем самым высокий потенциал этих сильных натур. Бывший поручик понимал это и никогда не давал спуску ни себе, ни подчиненным, ни кому бы то ни было иному.

Случилось так, что именно в расположение его дивизии прибыл Чрезвычайный уполномоченный Совета обороны — чусо, как тогда говорили. Этот чусо был известен властным и жестоким характером, с особой силой проявившимся на Юге во время удач генерала Краснова: решительно объявив себя единоличным командиром,

возглавил оборону, организовал растерявшихся, расправился с оппозиционерами, а заодно и со всеми подозреваемыми в оппозиции и выстоял. После этого случая он уверовал в свой полководческий гений и, пользуясь огромной властью Чрезвычайного уполномоченного, постоянно вмешивался в действия командиров на тех участках, куда его посылали по вопросам, далеким от боевой деятельности. И, оказавшись в дивизии бывшего поручика с задачей изыскать возможно больше хлеба для голодающей Москвы, энергичный и своенравный чусо начал беззастенчиво вторгаться в суверенные дела начальника дивизии. Начались аресты царских офицеров, служивших в штабе и тылах, выдвижение новых руководителей, перестановки и перетасовки, смещения и перемещения и даже расстрелы: уполномоченный «чистил» тылы, деятельно отправляя в мир иной заложников из дворян, промышленников и купцов. А начдив, как на грех, находился в боевых частях: на фронте было нестабильно. Но, узнав об арестах, тут же вызвал командира кавалерийской бригады. К тому времени Егор Иванович перестал таскать парадный палаш и порою даже чистил сапоги, но отношения между начдивом и комбригом, мягко

говоря, оставляли желать лучшего.

— Георгий Иванович, прошу быть готовым принять под свое начальствование мою дивизию.

— Чего? — недоверчиво протянул комбриг, учуяв подвох.

— Повторяю: прошу быть готовым принять под свое начальствование нашу дивизию.

— А на хре… Кхм! — Комбриг оглушительно прокашлялся. — А зачем мне эта хвороба? Мне своих — во! Кони подбились, ремонту нет, овса не дают, железо у артиллеристов Христом Богом вымаливаю. А ты хочешь дивизию мне навесить? Да шел бы ты, начдив, это…

— Иду и потому прошу отнестись к моей просьбе со всей серьезностью. Чусо арестовывает невиновных и тем подрывает авторитет нашей власти и мой лично. Пора ставить вопрос: либо он, либо я.

Егор Иванович долго глядел на Алексея. Потом достал платок, вытер взмокший череп и шепотом осведомился:

— Ты што, Алеша, сказывся, чи шо?

— Пока нет, но дивизию все же прошу…

— Начдив, не лезь к волку в зубы!

— Позаботьтесь о дивизии, Георгий Иванович. Пожалуйста.

На следующее утро начдив выехал в тыл. Ждать приема у чусо оказалось дольше, чем его решения, хотя бывший поручик старался излагать претензии ясно и кратко.

— Арестовать. — Чусо в мягких сапогах двигался по личному вагону легко, как барс. — Ишь, контрик. — Он вдруг привстал на носки перед высоким начдивом, уставился в глаза: — И не боишься?

— Я требую отпустить на свободу ни в чем не повинных людей. Военспецов, тыловых работников, заложников — всех арестованных по вашему приказу.

— Жалко, — помолчав, вздохнул чусо. — Такой смелый — и враг советской власти.

Он явно ожидал, что, уже обезоруженный, начдив, стоявший под охраной двух молодцов в английских френчах, станет спорить, утверждать, что он не враг, не изменник, не предатель. Тем самым этот бывший офицеришко стал бы спасать себя, а не тех, ради кого прискакал с передовой, и главное противоречие можно было бы считать устраненным. Но молодой начдив по-прежнему чеканил:

— Я требую немедленного освобождения…

— Жаль, — уже жестко повторил хозяин салон-

вагона. — Изменников расстреливают без суда. Распорядитесь.

И распорядились бы — тогда такие проблемы решались просто. И расстреляли бы, но тут без стука вошел увешанный оружием начальник охраны. Не глядя на приговоренного, пересек вагон и, почтительно склонившись, зашептал чусо в ухо. Начдиву показалось, что хозяин бросил встревоженный взгляд на зашторенные окна; терять было нечего. Алексей шагнул к окну и отдернул штору.

Хмурый Егор Иванович располагался точно напротив салон-вагона. Он был на Мальчике — любимой лошади, которую приказывал седлать в исключительных случаях. Справа и слева от него в развернутом конном строю стояла бригада; хлопцы беззлобно переругивались с охраной, но патронташи обвисали на ремнях, правые руки были свободны, и шашки каждый миг могли легко вылететь из ножен…

— Ты что, шуток не понимаешь?

Алексей оглянулся: начальника охраны в салоне не было, а чусо добродушно улыбался, доставая из кармана френча трубку.

— Хочешь закурить? Кури, пожалуйста, сделай милость.

Безмолвные молодцы вручили начдиву отобранный наган и шашку.

— Я требую немедленного…

— Правильно требуешь, очень правильно, — тут же согласился хозяин. — Твое поручительство много значит: я уважаю принципиальных. Все задержанные сегодня же будут освобождены, даю слово. А на шутку не обижайся, у нас на Кавказе очень любят шутить с друзьями.

Чусо, улыбаясь благодушно, протянул руку, но бывший офицер не заметил этой руки. С подчеркнутым шиком щелкнул каблуками:

— Честь имею.

Вскоре начдив забыл об этом инциденте: уж слишком он выглядел мелким на фоне тех дней. Егор Иванович погиб уже после войны при весьма загадочных обстоятельствах, а бывший чусо быстро стал набирать силу, умело стравливая вчерашних соратников. Через полтора десятка лет он достиг высшей власти и, как выяснилось, ничего не забыл. Он вообще отличался изумительной памятью, этот бывший Чрезвычайный уполномоченный Совета обороны.

3

Как-то на очередной пересылке Калерия Викентьевна встретилась с женой (или вдовой? Кто знал в те времена: жена еще она или уже вдова?) военюриста Горбатова Ниной. Горбатов когда-то служил у Алексея, и женщины тотчас узнали друг друга. И там, на нарах, под нескончаемый мат блатнячек, беззвучно — губы к уху — Нина нашептала Калерии то, чего она не знала и не надеялась узнать.

Мужа Калерии Викентьевны — героя Гражданской войны и командующего Особым военным округом — судили заочно и торопливо, не дав возможности не только оправдаться, но и просто объясниться. Приговорили к расстрелу без права апелляции, но приговор огласили в присутствии приговоренных. Крестьянский сын Горбатов с детства мечтал учиться — все равно где, все равно на кого — и из строя пошел в Военно-юридическую академию только потому, что туда был набор. И теперь, выучившись и став юристом, судил своего бывшего командира по обвинению в измене Родине.

— К расстрелу без права апелляции…

Сорокалетний командарм, обвиненный в предательстве, не испугался, не растерялся, даже не удивился: он негодовал. Он обвинил суд и судей в искажении линии партии и потребовал немедленного созыва партийного съезда не для собственного спасения, а для спасения идеи, которая для него была дороже жизни. И члены суда стояли перед ним, опустив глаза, и уже он обвинял их в предательстве. А потрясенный военюрист Горбатов, придя домой, все рассказал жене, написал письмо Сталину и…

И теперь, лежа на вшивых нарах, его жена Нина со слезами шептала:

— Боже, какими детьми были наши мужья! Какими наивными детьми!

— Наивными? — встрепенулась Калерия. — Они были настоящими большевиками. И если мы любим их, мы обязаны быть такими же. Такими же настоящими!

Так была произнесена клятва, которой Калерия Викентьевна осталась верна всю жизнь. Идеалы удивительной молодости остались идеалами навсегда, делая бабу Леру удивительно молодой. И все было удивительно: юность и замужество, вдовство и каторга, сегодняшние встречи у пионерского костра и потеря собственных детей.

— Двое было: мальчик и девочка. Мальчику шесть исполнилось, в первый класс собирался, а девочке — восемь. Павлик и Верочка.

Восемнадцать лет она ничего не знала о своих детях. На все ее дозволенные и недозволенные вопросы ответ был одинаков:

— Ваших детей воспитывает государство. Переписка с ними запрещена для их же блага.

Шагать, как когда-то шагала с мужем: четыре шага — вдох, четыре — выдох. Верить, какие бы сомнения ни грызли тебя, и не раскисать, какие бы удары ни сбивали с ног. Не раскисать, ни у кого никогда ничего не просить, искать силы в себе самой и — верить. Верить!

— Вам не верится, что мы верили? Скепсис — ржавчина души, он не способен к созиданию, его удел — разъедать.

Эти слова она повторяла себе все восемнадцать лет. Длинных и долгих: колымских, озерлагских, долинских. На нее смотрели как на ненормальную. Ее ругали, проклинали, ее били, а она — верила. Упрямо и убежденно.

— Твоего мужа расстреляли без суда. Пристрелили, как собаку, это ты соображаешь?

— Мой муж погиб в бою. Бой не только в Гражданскую, не только на поле боя: бой и сейчас,

когда к власти в обессиленной войной и гибелью лучших партии пробрался очередной наполеон. Он уйдет, и имя его забудут, а Партия будет жить!

— Идиотка!

— Надо дойти. Надо дойти: четыре шага — вдох, четыре — выдох.

Баба Лера избегала говорить о том, чего не любила: о пьянстве, воровстве, хамстве, трудностях — и о лагерях. Я написал все в одном ряду, потому что для нее все и стояло в одном ряду: несправедливость и безнравственность, лагерь и хамство, тюрьма и житейские трудности. Она никогда не смаковала неприятностей, она страдала не столько от них, сколько оттого, что они вообще существуют. А если к ней чересчур уж приставали, страдальчески морщилась:

— Пожалуйста, припомните, что нашему государству всего пять десятков лет. И потом, извините, но историю надо воспринимать полифонически, учитывая при этом, что у нас она впервые за все существование человечества приобрела смысл. Представляете, сотни тысяч лет люди жили, не ведая, что с ними будет завтра, как стадо животных, подверженных любым случайностям. А мы поставили цель, Идеал, к

которому все должны стремиться. Разве это не прекрасно? Разве великая цель не требует великих страданий? Страдания страшны, когда они бессмысленны, а осмысленные страдания делают людей чище.

Великая цель оправдывала все страдания — и личные, и народные: в этом Калерия Викентьевна была поразительно последовательна. И в 1956-м, получив свободу, вышла из преисподней с несокрушимой верой и несокрушимым духом.

Однако этому светлому дню предшествовали два события: историческое и личное. Историческое заключалось в кончине Сталина, которую ожидали кто с надеждой, а кто и с ужасом. Калерия Викентьевна узнала о событии на пересылке при обстоятельствах, враз перечеркнувших холопью скорбь осиротевшего человечества и заставивших вспомнить об истории, поскольку смерть Ивана Грозного тоже была отмечена скоморошеством. Сходство было столь разительным, что чудом уцелевший энциклопедист Лавровского гнезда сделал на этой параллели обстоятельный доклад о неизбежности шутовства при неограниченной тирании. Но парадоксы ученого собрата прозвучали позже, а в тот траурный день интеллигенция ничего еще обобщить не

успела, но темные массы продемонстрировали свою печаль способом весьма неожиданным.

По вполне понятным причинам о смерти сатрапа больше всего горюют работники карательных направлений. Не избежало этой закономерности и начальство пересыльной тюрьмы, в которой ожидала этапа Калерия Викентьевна. Но вместо избирательной команды «такая-то с вещами» дежурный надзиратель скомандовал общий вывод без вещей. Удивленные зэчки — уголовные и политические вперемежку — построились и, как было велено, спустились в широченный, старинной постройки коридор первого этажа. Там, окруженные конвоем, уже стояли шеренги зэков, встретившие вновь прибывших восторженным воплем: «Бабы!..» Шум и смех были тут же пресечены, мужчины и женщины замерли в недоуменном безмолвии, и в середину вышел опечаленный начальник.

— Граждане, послушайте важнейшее сообщение, — замогильным голосом начал он. — Вчера перестало биться сердце великого вождя и учителя…

Он торопливо доборматывал полный титул, а в зэковских мозгах уже шла невероятная по интенсивности работа: будет амнистия или нет?

когда? какие статьи? на каких условиях?.. Закончив официальную часть, начальник — уже от себя лично — осторожно коснулся скользкого вопроса о всеобщем единении пред столь гигантской утратой и горестно замолчал. И обалдевшие зэки молчали тоже, но отнюдь не в скорбях. Благолепная тишина эта, однако, продолжалась недолго: из строгих арестантских рядов в центр выпрыгнул вдруг хулиганистый и живой блатняк шестерочного веса.

— Братва, стало быть, усатый хвост откинул? Вот пофартило, едрить твою в пересылочку! Ах, огурчики да помидорчики…

И пошел вокруг заскорбевшего начальника, как вокруг елки, лихо бацая чечетку. И весь коридор взорвался вдруг таким воплем, таким залихватским матом, свистом, гоготом — таким восторгом, какого не знала пересылка за все сто тридцать лет своего бытия.

— Очень совестно, но я тогда тоже что-то орала, — смущенно призналась баба Лера. — Это было какое-то безумие, компенсация чего-то отнятого, торжествующее буйство — совершенно невозможно было удержаться.

Второе событие было менее масштабным, но значение его для Калерии Викентьевны оказа-

лось огромным. Если смерть Сталина дала ей свободу, то встреча с Анишей определила всю ее дальнейшую жизнь.

Судьба щедро мотала ее и по лагерям, и по работам, даже не столько судьба, сколько характер: Калерия Викентьевна родилась и навсегда осталась особой бескомпромиссной. Таких уважают, но не любят не только в коллективах, и принципиальную зэчку начальство всячески стремилось либо упечь на «общие», либо — на этап. В хрустальном тельце Калерии Викентьевны, как выяснилось, обитал дух, которому бы позавидовал и былинный богатырь: она гнулась, но снисхождения не просила и, естественно, начала «доходить», выражаясь языком тех времен и тех народов. Но и доходя, не теряла присущего ей достоинства, которое чтили даже окончательно отпетые блатнячки, а прочие относились к ней с великим почтением. И при первой же возможности пристроили при больничке — не отсидеться, а передохнуть. И только она начала отогреваться и приходить в себя, как жизнь снова предложила ей тест на звание человека.

Пришел этап — шумный, разношерстный, измотанный распрями, а главное, истерично взнервленный, потому что следовал далее, в

места заведомо гиблые. И женщины — и политические, и блатные, и бытовички — об этом знали, а потому и вели себя отчаянно, ниоткуда не ожидая спасения.

За день до отправки этапа далее, в тайгу, в больничку пришла заключенная. Пришла рано — еще не появился не только вольный врач, но и подневольная фельдшерица, и в пустом коридоре скребла пол уборщица. Посетительница быстро и опытно выявила, кто она, по какой и давно ли сидит, а потом сказала, что необходимо спасти хорошего человека. Что на этапе этот человек защитил молоденькую эстонку от грабежа и надругательства, за что и приговорен блатнячками к смерти. И надо совершить невозможное, но снять хорошего человека с этого этапа. И Калерия Викентьевна сделала невозможное, положив хорошего человека в больницу и так все запутав, что в фамилии разобрались только через сутки после ухода этапа, а в диагнозе так никто ничего и не понял. Вольный врач свирепствовал, искал виноватых, и Калерия Викентьевна безропотно вновь пошла на «общие», чудом избежав карцера. А хороший человек остался в этом лагере.

— Эх, сестричка-каторга! Да я за тебя в твой гроб лягу и твоим саваном укроюсь!

Незадолго до неожиданного освобождения Калерия Викентьевна потеряла спасенную ею Анишу: сама пошла по этапу, на котором и услышала об историческом событии. А еще через полтора года ее вызвало большое лагерное начальство.

— Вологодова Калерия Викентьевна?

Рядом с начальником сидел пожилой, интеллигентного вида гражданский. Задал несколько вопросов, уточняющих лагерную одиссею, а потом улыбнулся с облегчением и радостно протянул руку:

— От души поздравляю вас, Калерия Викентьевна. От всей души!

— С чем, простите?

— Вы освобождены немедленно, с сего мгновения.

— По амнистии?

— Нет. Было допущено нарушение законности…

— Тогда с чем же вы меня поздравляете?

Начальник огорченно вздохнул и многозначительно поглядел на интеллигентного гражданского: мол, слыхали? Вы ей — радостное известие, а она вместо благодарственных слов — дерзит. Все они такие. Эти. Бывшие большевики.

Калерия Викентьевна оказалась одной из первых ласточек той запоздалой весны. Год спустя уже во всеуслышание зазвучало слово «реабилитация», которая призвана была не только освобождать безвинно севших, но и возвращать их общественной жизни. Теоретически все было верно, а практически получалось скорее печально, чем празднично. В самом деле, можно было реабилитировать большевичку Калерию Викентьевну, но кто в силах был обрадовать этим жену, потерявшую мужа, и мать, утратившую детей?

— Как и всегда, мужчинам было легче и с мужчинами было проще, — прокомментировала, грустно улыбнувшись, баба Лера.

Реабилитированная еще до Двадцатого съезда, Калерия Викентьевна через некоторое время вернулась по месту последнего вольного жительства, в город Москву. Квартира ее была, естественно, занята, но даже в те очень стесненные нехваткой жилья годы получила комнату, компенсацию за конфискацию, денежное пособие, новенькие документы и предложения по трудоустройству. Но вместо трудоустройства реабилитированная села за наспех купленный стол и начала писать во все инстанции.

Да, с мужчинами было проще. Намного.

Калерия Викентьевна разыскивала своих детей, разлученных с нею в мае тридцать седьмого. Двоих. Мальчика и девочку. Шести и восьми лет. Павла Алексеевича и Веру Алексеевну. Купила пишущую машинку и писала, писала, писала… куда только она не писала! Куда велели, туда и писала. И ей аккуратно отвечали, называя другие учреждения и другие адреса, и она снова писала, а ей снова отвечали со ссылкой на входящие и исходящие, называя все новые учреждения и новые адреса. И она печатала опять, потому что у нее была только одна задача, одно желание, одна мечта: найти своих детей.

Да, с мужчинами и тогда было легче. Намного.

«На Ваш исходящий №… от… отвечаем, что указанных граждан Веру и Павла идентифицировать не представляется возможным ввиду отсутствия…»

Бесконечные поиски детей занимали почти все время. Почти все, потому что у реабилитированной гражданки Вологодовой была и другая переписка, и другой маршрут по другим кабинетам: она просила, требовала, умоляла разобраться с давным-давно, еще в тридцатом году, арестованной дочерью раскулаченного. Она еще раз хотела снять ее с этапа. Бесконечные письма и

столь же бесконечные хождения по кабинетам были основным занятием, но без дела Калерия Викентьевна обойтись не могла и устроилась лифтершей в гостинице. Служба давала ей три свободных дня после суточного дежурства и возможность писать по ночам черновики бесконечных просьб.

Капля камень точит, и хоть дети так и не нашлись, зато как-то пришло письмо из далекого далека:

«…Вот она, волюшка моя, которую двадцать восемь зим видать не видывала. Кланяюсь тебе земно, сестричка-каторга, за труды твои по вызволению моему. А в Москву к тебе меня никак не пущают и велят ехать прямо на родину, на Двину мою, в которой девчоночкой купалась. Так что не повидаю я тебя, но коли есть Бог на свете, то должен он с небес спуститься и перед тобой, Леря Милентьевна, на колени встать…»

Хоть одно дело разрешилось, и Калерия Викентьевна поплакала на радостях. Написала дорогой своей Анише, обещала в гости приехать. Ушло письмо в далекую Архангельскую область, а реабилитированная гражданка Вологодова продолжала печатать просьбы, напоминания,

заявления и отношения. Отвечали с точностью отменно отлаженного автомата, и неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта пустопорожняя переписка, если бы однажды не постучали в дверь ее комнатки.

— Прошу.

Вошел молодой человек, лицо которого ничего не напоминало, а вот — глаза. Даже не глаза, а взгляд… Сердце забилось жалко и испуганно, и она встала из-за машинки.

— Вологодова Калерия Викентьевна?

— Я.

— Детей ищете?

— Да. Мальчик…

— Какой там мальчик, — угрюмо усмехнулся вошедший. — Не мальчик, а бугай вроде меня. Фамилия у вас по мужу?

— Нет. Девичья.

— Вас в тридцать седьмом?

— Да. — Колени затряслись, и Калерия Викентьевна без сил опустилась на стул.

Незнакомец с таким знакомым ей взглядом все еще стоял у порога, как вошел и задал первый вопрос. А она и не замечала, что он — у порога: сердце стучало, на лбу выступил пот, и было очень страшно. И вошедшему тоже, видимо, было

страшно, потому что он странно смотрел на нее и молчал. А потом спросил шепотом, с отчаянной детской надеждой:

— В Саратове взяли?

— Нет.

— Как нет? — Он шагнул к ней, прижав к груди руки, точно умолял опомниться и признаться, что арестовали ее именно в Саратове. — В Саратове, в марте тридцать седьмого…

— Нет, — тихо повторила она. — В Москве. В мае.

— В Москве… — выдохнул парень и надолго замолк. Потом сказал сухо: — Извините. Маму ищу. Тоже Калерией звали. А фамилию ее девичью забыл. Извините.

Неуверенно кивнув, он повернулся к дверям, но Калерия Викентьевна успела прийти в себя. Подошла и поцеловала.

— Проходи. Как зовут-то тебя?

— Володя.

Парень беззвучно заплакал, прижимая к лицу уцененную немодную кепку. Калерия Викентьевна молча гладила рано поредевшие волосы и думала, отчего же взгляд-то его показался ей знакомым. Да оттого, что оттуда был взгляд. Оттуда.

Посетитель взял себя в руки быстро, привычно

взял. Сел к столу, пил чай, говорил кратко и сухо, и уже не было в нем ничего беспомощного, ничего такого, что позволило бы предположить, что он и заплакать может. Обугленное дерево и червь не берет. Калерия Викентьевна поняла его, сама стала рассказывать. О детях, о себе, о поисках. Он слушал, будто отсутствовал, а сказал резко:

— Зря стараетесь, не найти вам их, даже если и живы. В таких детдомах фамилии любили менять. Я постарше был, отбился, а малышне что навесят, то и ладно. Иванов так Иванов, Первомаев так Первомаев. Как, говорите, сына-то звали? Павлик? Ну, так свободно могли Морозова ему прицепить. Для вернозвучности.

— Для вернозвучности?..

Ничего не сказал гость, только неприятно, во весь рот, усмехнулся, показав стальные казенные зубы. А Калерия Викентьевна, похлопотав еще немного, изверилась и написала в Архангельскую область отчаянное письмо.

— Собирайся, — сказала Анисья, через неделю отыскав ее в незнакомой Москве. — Вдвоем, родная, и на ветру удержимся.

— Глухо там, Аниша?

— Леря Милентьевна, так скажу, что как у конвоя в сердце.

Через сутки они выехали архангельским поездом. В Котласе пересели на пароход «Ив. Каляев», и если бы я был там с ними, то наверняка увидел бы, что на Котласской пристани осталась Калерия Викентьевна Вологодова, а на пароходе рядом с нескладной лошадиной Анисьей стоит новоявленная баба Лера.

Превращение завершилось.

4

Анисью Поликарповну Демову отпустили в 1958-м, но не по чистой, хотя жить дозволили в родных краях, благо края эти и до сего дня все еще числятся в глухомани. После долгих пересадок с обязательными регистрациями Анисья наконец села в Котласе на пароход, а как отвалил он от пристани, так впервые за долгие дни и долгие километры ощутила себя свободной.

Был вечер, пассажиры толпились на палубе, махали платочками, кричали что-то веселое, с неудовольствием поглядывая на нескладную мослаковатую бабу в затасканном ватнике, что выла в голос, по-звериному выла, лбом о палубу колотясь. А вскоре и сердобольные набежали:

— Ты чего, милая? Что, родимая? Ай украли чего?

— Украли. — Анисья привычно, по-лагерному полоснула губу уцелевшими резцами, кровь потекла по подбородку, по ватнику — такому странному, такому чужому и нелепому рядом с легкими платьями. — Жизнь украли мою.

Не поняли бабоньки, однако обласкали, с собой увели, чаем поили. Расспрашивали, но ничего

Анисья больше им не сказала. Пила чай, глядела в мир запустевшими глазами, громко вздыхала, и тогда что-то екало в ней, как в старой изработанной лошади. И бабы замолчали и глядели на нее жалостливо, по-русски голову горсткой подперев и вытирая слезы концами платочков.

— Подремли, милая. Мы тебе мягкое постелем.

— Нет, — Анисья тяжело помотала головой. — Стоять мне надо на этой дорожке.

Вышла на палубу и стала на носу, на самом ветродуе. Ночь шел пароход до Красногорья, и всю ясную эту белую ночь Анисья простояла на палубе, глядя на родные берега, мимо которых провезли ее на тюремной барже больше четверти века назад.

— Анисья Демова, — вздохнул председатель колхоза (тогда еще колхоз последние годочки доживал). — Что же мне с тобой делать-то, Анисья Демова?

— Ты начальник, ты и думай, — безразлично сказала она. — В тридцатом, значит, знал, что делать, а теперь, значит, не знаешь?

— В тридцатом я, Анисья Поликарповна, без штанов еще бегал. Ты из Демова родом?

— Демова из Демова.

— Демова из Демова, — повторил председа-

тель. — Там за мной четыре десятка пустых изб числится: может, сторожихой туда, а? Любой дом выбирай, разбежалось твое Демово. Одна глухая старуха Макаровна век доживает.

— Одна? — улыбнулась Анисья. Спокойно и горько. — Там одних раскулаченных двадцать три семьи было. Помнишь, бесштанный?

— Помню, — кивнул председатель. — Хоть я сам курский, а помню. Я все помню. Хочешь, корову тебе дам?

— А на… мне она. Церкву красногорскую ты закрыл?

— Опиум это, Демова, — поморщился председатель.

— Вели мне оттудова икону выдать. Матерь Божью.

— Молиться решила? Брось, Анисья Поликарповна, ты такое повидала, что тебе и Божий гнев — мармеладка.

— За вас Бога молить буду, — сказала Анисья, вставая. — Жалко мне вас, дураков.

Всю беседу она рвалась спросить, цел ли ее дом, — дом, в котором родилась, в котором жила и из которого забрали. А если цел, то кто живет в нем сейчас, а если никто не живет, то можно ли ей, и до сей поры не прощенной арестантке, хоть

ночку под родным кровом провести. Но духу у нее на этот вопрос не хватило.

В Красногорье Анисья никого не знала, потому что тогда, девчонкой, ходила сюда нечасто, а еще потому, что была демовская. До германской их село не только не уступало Красногорью, но и считалось посолиднее, подревнее и побогаче, а как пришла война, так и стало Красногорье переваживать старого соперника, поскольку имело пристань с глубоким фарватером, и дешевый водный путь в конце концов затмил собой древние привилегии Демова. И то ли из Красногорья мужиков в те лихозимья меньше гибло, то ли умнее демовских они оказались, а только после Гражданской войны Демово окончательно отошло на второй план, и всякие комитеты располагались ныне в Красногорье. Все тогда располагалось в Красногорье, но отзвуки старого соперничества еще жили в людских душах, и пятнадцатилетняя глазастая Анисья Демова из Демова Красногорье не уважала и с красногорскими не дружилась. А теперь не у кого оказалось спросить, не с кем словцом перекинуться, и получалось так, что на своей родине она — как посторонняя. Чужая как бы, и поэтому после беседы с председателем Анисья пошла в родимое Демово одна с неразде-

ленной тяжестью.

— Все версты бегмя бежать хотелось, уж так меня скипидарило, так скипидарило. А на плечи давит, будто чугуном накрыли, и воздуху в грудях нет. Как сперва-то шла, так и не помню, ноги сами тащили, а я в тоске исходила. Хоть бы слезиночку, думаю, уронить, все бы полегчало, ан не дал мне Господь слезиночки, а опамятоваться дозволил аккурат у места, где я свой первый грех приняла…

Так рассказывала мне о последних шагах до дома Анисья: по третьему лету знакомства она стала со мной откровенничать. Баба Лера ушла в глухомань, в старые скиты, о которых ей поведала полумертвая старуха из Красногорья. Стоял звенящий оводами июль, душно пахло цветеньем в перестойных лугах, и мы с Анисьей горько праздновали очередную годовщину ее возвращения.

— По шестнадцатому году влюбилась — как обварилась: и вдруг, и до крика. До того дружилась, плясала, петь была голосиста и в первой спелости; парни потискать горазды были, но по-хорошему, сколько сама дозволяла. А я все баловалась: разрешу, пока он кровь мою не подожжет, да и дёру. Пылаю, хоть блины на щеках

пеки, а больше ни-ни, ни краюшечки…

Анисья вертит в корявых пальцах стакан и улыбается уцелевшими резцами. Рыхлый нос ее с широкими ноздрями плавает в испарениях мерзкой, местного разлива водки, не чуя ее, а чуя далекие ароматы ранней юности, жаркое дыхание первых страстей и дым родного очага. И вся она сейчас отмягшая, тихая, добрая — такая, какой и предписано ей было быть.

Зноем, хвоей, смолой и земляникой дышал бор, по которому в беспамятстве бежала Анисья. Давила муравьев зэковскими башмаками, перла на спине зэковский сидор с остатками зэковского довольствия, обливалась потом под зэковским серым ватником. И вроде все узнавала вокруг и вроде ничего не узнавала и ужасалась, что не узнаёт, и еще больше ужасалась, что узнаёт. И не плач, не стоны — рык звериный рвался из нее вместе с жарким дыханием и совсем по-лошадиному ёкающей селезенкой. Сорокатрехлетняя Анисья Демова спешила к отчему порогу.

Вначале она нестерпимо, до рвущей боли в гортани, захотела пить, а уж потом как-то вдруг увидела лес, суетливых муравьев, недвижное кудрявое облако над головой. Остановилась, будто наткнувшись на что-то, услыхала жужжанье де-

ловитых шмелей, чуть слышное шуршанье давно опавших иголок, звон оводов вокруг собственного разгоряченного тела — и опамятовалась. Оглянулась, сразу вспомнив: «Тут ведь свернули тогда к роднику». Поискала тропку, не нашла и грузно двинулась напрямик, круша подлесок, продираясь сквозь кусты, топча черничник с перезрелыми ягодами. И через двадцать семь лет без дорожек и зарубок, сквозь чащобу, вышла к еле приметному, заиленному, давным-давно никем не чищенному роднику. «Здравствуй», — шепнула душа ее, и напряженное тело вдруг ослабло, ноги подкосились, и Анисья опустилась прямо в ольху, с хрустом ломая ветки. «Тут-тут-тут. Тут-тут-тут. Тут-тут-тут-тут…» — вразгон понесло сердце. Сюда привела ее первая любовь, здесь она со счастливыми слезами отдалась ей, и здесь же распрощалась с нею навсегда. На всю ту жизнь, что украли, и на тот ошметок, что вернули, «прости» не сказав… «А ведь к тебе бежала я с высылки. К тебе, родимый ты мой…»

Ах, хорош был Митя Пешнев — с пышным чубом и нездешними цыганскими глазами, первый комсомолец их степенного Демова. Девки вокруг него табунились, глаза кидали, зубками слепили, а он за Нюшей Демовой ходил, как нитка за игол-

кой. Завлекал гармошкой, сочинял припевки, объяснял текущий момент, тискал, когда позволяла, без самовольства. И Нюше было с ним интересно, и тянуло ее к нему, и мечтала она о нем, и точно знала, что не минуют Митькины сваты их большого даже для богатого Демова, на веки вечные рубленного дома. И Митя знал это, часто говорил о будущей жизни, прикидывал как и что. А однажды вздохнул озабоченно:

— В ячейку вызывают. Так что не свидимся сегодня.

— Так не до зари ведь, — улыбнулась Нюша. — Ты на ячейке поговоришь, а я — на завалинке. А домой вместе пойдем.

Она и до того дня, случалось, провожала своего Митю то в ячейку, то на собрание бедноты, то на встречи с товарищами уполномоченными. У Красногорья расставались: Митя шел в сельсовет, а она — к девчатам. Плясала, пела да смеялась, пока дролечка заседал, а возвращались вместе, и эти возвращения Нюша очень ценила. Если честно сказать, то ради них и топала четырнадцать верст туда да столько же и обратно, целуясь да прижимаясь через каждые сто шагов. Но в тот вечер он заседал дольше обычного — уже почти все красногорские девчата по домам разошлись

— и вышел чернее тучи. Нюша спросила, что это с ним, а он сказал, что ничего, что устал просто, а взгляд был растерянный. И так случилось, что возвращались они одни, Нюша что-то говорила, а он молчал и обнимал ее строго, будто муж.

— Ты что так-то, миленький? Может, обидел кто?

— Ах ты, Нюша ты моя! — со стоном выдохнул он. — Да я за тебя, знаешь…

Так сказал, с такой болью, что Нюша со всей нежностью прижалась к нему, впервые по-женски прижалась, всего обволакивая и ничего не пугаясь.

— Коли так-то, чего же сватов не шлешь?

— А вот и пришлю. — Он начал задыхаться, сердце заколотилось, она слышала этот стук и млела. — А вот и пришлю. Может, завтра же. Завтра… Пойдем, а? Пойдем, пойдем.

— Куда же? Куда, мамочки…

Знала ведь, зачем уводит с дороги, жар его чувствовала, дыхание, клекот сердечный. Знала и пошла, потому что не в силах уже была справляться со своим жаром, своим дыханием, своим клекотом в сердце. Пошла и покорно опустилась на траву, и сейчас сидела на том самом месте. За это время тут ольха выросла, но тело ее именно

здесь подломилось, как подломилось тогда, и Анисья тяжело рухнула в сочно затрещавшую ольху, постарев на двадцать семь зим.

«Я по своей воле один разочек грех приняла. Один-единственный, так неужто Господь не простит?»

Никогда уже не испытывала она той сладкой боли и той нежности к тому, кто причинил ей эту боль. Она стянула с головы платок, жесткие, серые от седины и пыли волосы рассыпались по сутулым плечам, острый ольховый сучок колол сквозь толстую юбку, а Анисья все пыталась вспомнить ту боль, но вспоминались иные. Несладкие боли вспоминались, а она все сидела и сидела, все ждала и ждала…

А Митя тогда сдержал слово: на следующий день пришел.

Вместе с уполномоченным, милиционером и двумя активистами. Глядя поверх голов, расстегнул портфель, сверкнув никелированным замочком, достал бумагу, зачастил:

— На основании постановления общего собрания все хозяйство переходит в собственность колхоза, а вы, Демовы, ссылаетесь в отдаленные края как вредный для социализма элемент…

Она не слышала, как голосила мать, не видела,

как выносили замертво рухнувшего отца, как вязали братьев, — она смотрела на Митю. Она искала его глаза, а видела портфель и холодного зайчика, прыгавшего на стенку от никелированного замочка.

— Значит, ты знал вчера, что нас кулачить будут? Скажи, знал? Знал?

Митя не ответил. Сел к столу, достал чистую бумагу, ручку, пузырек с чернилами — аккуратный был паренек и запасливый — и начал переписывать инвентарь. Живой и мертвый.

— Лошадей три, из них одна кобыла жеребая…

Неприкаянно сидела Анисья, неприкаянно ждала, и вся жизнь представлялась ей неприкаянной — прошлая, настоящая и будущая. Не приходил тот сладкий час ее тела, тот восторг ее души, та немыслимая нежность ее женского существа. Даже на миг ничего не возвращалось, и, поняв это, Анисья перестала вспоминать. Выдохнула застоявшийся, саднящий стон, огляделась.

Не билась струя в родничке, не цвели его берега, и она подумала, что живая вода ее молодости замутилась и заилилась, цветущие нивы души заросли кустами да кочками и что деревенеет она изнутри. Встала на колени, глотнула затхлой, болотной воды, перекрестила бывший родник,

изломанный ею куст, что вырос на том месте, саму себя перекрестила и потащилась дальше. В бывшее село Демово.

Теперь она шла медленно, глядя в землю и ничего не видя. Ее уже не интересовали такие знакомые и такие чужие места, она уже не торопилась в опустевшее село, где и родной могилы не могла бы сыскать без чужой помощи, она уже не вдыхала прогорклой грудью настоянный на детстве воздух. Она отрешилась от всего, ушла в себя, она вспоминала и думала, неторопливо вороша в душе свалявшиеся пласты прошлого. Думала о своей любви, о своем единственном часе и о Мите, который подарил ей этот огненный час. Думала без всякой обиды, без всякой горечи, а с тихой радостью, что было у нее это пламя и что, стало быть, счастливая она и у нее найдется в чем покаяться, когда предстанет пред высшим судом. «Уж там-то, поди, за это на „общие“ не пошлют, — с некоторым ликованием думалось ей. — Уж там-то, может, в каптерку какую пристроят или при раздатке…»

Дорога стала круто спускаться, сосны отступили, сыро зашелестел ольшаник, и Анисья вспомнила, что сейчас будет запруда и мельница, что урчала по осени днем и ночью, безостановочно

урчала, а подводы с зерном иной раз выстраивались и на версту и где жила знакомая девчонка Нюра. И когда случалось им ходить с Митей в Красногорье, они всегда отдыхали на этой мельнице, и Нюра поила их молоком. Двадцать семь лет не пила она молока и сейчас, вспомнив о нем, ощутила вдруг давно забытый вкус. «Ах, молочка бы испить, молочка бы», — вздохнулось ей, и ноги сами заспешили к повороту. Она завернула за этот поворот и стала, будто налетев на стену.

Не было мельницы, не было плотины, не было широкого плеса за этой плотиной, где на зорях упруго били горбатые озерные окуни. Не было людского жилья, не было скотины, не было живых звуков, а было гнилое болото, заросшее саженной крапивой место, где стоял дом, да жалкий ручеек, который можно было перейти, ног не замочив. И от всего — от шума воды, скрипа мельничного колеса, фырканья застоявшихся лошадей, от людского гомона, смеха, веселой ругани, песен и трудов остался забытый вкус молока. А потом и он пропал.

В родное Демово Анисья пришла белым вечером, таким тихим, что было слышно, как под обрывом играющая зоревыми всполохами Двина покачивает гальку у берега. Мучительно вслу-

шиваясь, долго стояла у околицы, ловя голос, мычанье, лай собачий — хоть какой-то звук, хоть тень жизни: она вдруг забыла, напрочь забыла о словах председателя. Но мертво молчало мертвое село, скорбно глядя на мир провалами выбитых окон. Понапрасну прождав, Анисья задами, через непролазную крапиву, разросшуюся на бывших огородах, спустилась к реке. Вдали тащился плот, пыхтел, изнемогая, буксир, но их демовский берег был пустынен. Ни одной лодки не было ни на реке, ни на берегу, ни одного мальчонки не плескалось в воде, и прибрежный песок не сохранил ни единого следа человека. И было так пусто в мире сем, будто минул пятый день творения и Богу еще только предстояло создать человека. Анисья вздохнула, разделась догола и тихо-тихо мелкими шажками вошла в Двину. Опустилась на колени, и вода ей стала до подбородка. «Здравствуй, родимая, — шептала она дрожащими губами, не замечая, как по лицу текут слезы. — Здравствуй, матушка Двина моя. Крестили меня в твоей воде, вот и вернулась я. А ты, матушка, будто по погосту текешь, будто одна я живая на бережку твоем, будто сдвинулось все и пропала я в чужом краю, в чужом времени, в чужом племени. Так прости ж ты меня, матушка,

что не сберегла я жизни звон на берегах твоих...»

Анисья никогда не была религиозной, в церковь ходила по родительскому приказу, а когда Митя-дролечка сказал, что Бога нет, то и совсем от церкви отвернулась. И службы все перезабыла, и праздники из головы выбросила, и даже из «Отче наш» только первых пять слов в себе сохранила. И в лагерях поначалу не до Бога было, да и не нужен он ей был вовсе, но чем дольше сидела, тем все чаще на ум один вопрос приходил: о справедливости. И так получалось, что на земле эту справедливость уж и не сыщешь, а чтоб не пропасть окончательно, чтоб хоть во что-то верить, хоть во имя чего-то зубами за жизнь эту проклятущую держаться, пришлось вспомнить о Боге. Мол, лютуйте тут сколько влезет, а там вы бессильны, а так как я есть безвинная, то там-то уж мне непременно снисхождение будет. Вот таким образом Анисьин Бог принял форму высшей справедливости, и жила Анисья теперь для того, чтоб после смерти все ему рассказать. Без злобы, без слез, без обиды. Просто рассказать как есть: пусть узнает, как тут, на земле, люди друг над дружкой измываются, друг перед дружкой на брюхе ползают, друг дружку предают до первых петухов. Пусть все узнает и меры примет, а ее

велит куда-нибудь к сытному и чтоб работать не до надрыва. Вот какой странный бог жил в душе Анисьи Демовой, а поскольку никаких молитв она не помнила, то сочиняла их сама смотря по обстоятельствам.

Умывшись, Анисья надела сбереженную белую рубаху, причесалась, напялила зэковскую обмундировку и неторопливо стала подниматься в село по давным-давно не хоженному изволоку. Сердце ее колотилось хоть и быстро, но ровно, и ноги лишь чуть подрагивали, когда она проулком вышла на мощенную крупным булыжником главную улицу. Теперь поверх булыжника трава выросла хоть косой коси, но она помнила, как гордились демовцы этой булыжной мощенкой перед красногорскими, у которых и по сегодня такой улицы не было. По обе стороны еще прочно стояли дома, еще глядели друг на дружку, и Анисья шла посередке, узнавая: «Сикотиных дом. Савостьяновых — здравствуйте, родня все ж таки. Чекалкиных…» За Чекалкиными на отступе стоял их дом в два этажа с хлевом под клетью, с прирубленными службами под общей крышей на восемь комнат и залу в четыре окна в палисадник, и…

И ничего не было. Ничего. Бугры, бурьяном

заросшие, четыре валуна под углы да чудом уцелевшие пять ступенек крыльца — уже втянутые в землю, уже мхом заволоченные. И все.

— Все!..

Что мочи крикнула, а на ногах устояла, закачалась только. И долго качалась, закрыв глаза, так долго, что потом и припомнить не могла, сколько же это часов качалась она перед родным пепелищем. Потом очнулась, скинула мешок, опустилась на колени, ладонями дорожку к уцелевшим ступеням подмела и сами ступени от мха очистила. Тряпочкой до блеска протерла их, поцеловала, встала, взяла сидор свой каторжный и низко-низко поклонилась.

— Здравствуйте, — сказала. — Здравствуй, батюшка мой Поликарпий Сазонтович, здравствуй, матушка моя Лукерья Фоминишна, здравствуйте, братаны мои родные Федор Поликарпович и Данила Поликарпович. Вернулась я. Низко вам кланяюся.

И по ступенькам чинно-благородно вошла в дом. Все повороты исполнила сквозь бурьян и крапиву, все двери открыла, все порожки перешагнула, все сени прошла и вступила в залу, что четырьмя окнами глядела когда-то на улицу, откуда мать домой ее кликала, до пояса из окна

высовываясь.

— Нюша! Нюша, доченька, где ты?..

— Здеся, — хрипло сказала Анисья, опять не замечая, что по лицу ее давно уже ручьями бегут слезы. — Здеся я, маменька. Не кори, что долго не шла, воли на то моей не было.

Поклонилась углу красному — там лопух вырос, что куст, хоть прячься под ним. Сняла котомку, достала выпрошенную у председателя иконку и свечку, которую еще в Котласе в керосиновой лавке купила. Приладила иконку, затеплила свечку и села в бурьян, где положено: с краю стола, слева от матушки. Вынула из мешка хлеб, селедку, луку пучок, пачку маргарина, на отца покосившись, не заругает ли, — вон там, где лопух, там сидел всегда, — бутылку водки выволокла. И вздохнула:

— Вернулась я. Дозволили.

Чинно поужинала, крошечки не уронив. Собрала все в мешок. Отошла в угол, утоптала бурьян, легла, мешок под голову приспособив и ватником укрывшись. Теплилась свечка в белой ночи под лопухом, горько и строго глядела с иконы Матерь Божья, с низин туман тянулся, сырость ночная, а Анисья ничего не чувствовала. Спала Анисья. Сладко спала в отчем доме, вернувшись через

двадцать семь зим.

5

— Нюша, доченька, вставай, родимая. Вставай, кралюшка, уж рожок пропел, уж коровушку гнать пора…

Ах, как певуче, как ласково звучал материнский голос в затоптанной и поруганной душе! Не словами — самой интонацией, строем своим, мягкостью, округленным «о» и чуть ощутимым древним новгородским цоканьем: «доценька…» И уже дрогнуло жесткое лицо Анисьи, готовое отозваться улыбкой, да изменился вдруг голос маменьки:

— Ты это чего тут, а? Ты кто ж это, а?

Над Анисьей согнулась рыхлая бесцветная старуха. Ничего не осталось в ней от прежней молодости — даже брови вылезли, — но двадцать с лишним лет, выкинутых из жизни, не выкинулись из памяти, и Анисья сквозь старческую дряблость увидела крикливую Палашку Самыкину, всегда чем-то недовольную, всегда чего-то требующую, всегда где-то шумевшую.

— Докричалась, значит, Палашка?

— Постой-постой. — Старуха отступила, замахала рукой. — Ты… Чья ж ты? Чья будешь?

— В дому я собственном, — строго сказала Анисья.

Жужжала ей чего-то Макаровна. Пока прибиралась — жужжала, пока в Двине умывалась — жужжала, пока назад ворочались — жужжала. А потом к себе зазвала чай пить. Хотела Анисья послать ее по-лагерному, да Палашка вовремя о чекушке помянула.

— Ах ты, Нюшенька ты Демова, горькая головушка! — сокрушенно вздыхала старуха, не скрывая радости, что теперь ей не одной загибаться тут, в мертвом Демове. — Поди, домашнего не пробовала, поди, забыла уж.

— То, чего я забыла, то ты и не помнила, — отрезала Анисья.

Она сидела в горнице, загроможденной множеством старых вещей, брошенных за ненадобностью и притащенных хлопотливой Макаровной в свою избу. Источенные червями самодельные и фабричные шкафы и шкафчики — с дверками и без дверок, с полками и без них; разнокалиберные столы и стулья, комоды и кровати, полки, лавки, диванчики и скамеечки — даже старая зыбка, в которой выросло не одно поколение демовцев, — давили на Анисью со всех сторон, и она начинала злиться. Уже закипало все в ней при виде остат-

ков той, прежней жизни, которая столько лет была ее недосягаемой мечтой, и лишь сейчас, с этого вот мгновения, начала превращаться в прошлое, осознаваться тем прошлым, в которое никогда-никогда не будет ей возврата, даже если и отсидит она все навешанные ей сроки. И от этого становилось темно и тревожно, хотелось вскочить и бежать, бежать без оглядки, бежать… «Куды?.. — горько подумалось ей. — Где оно, пятнышко мое родимое, горстка землицы моей?..» И понимала, что нет и никогда уж не будет у нее горстки земли детства своего — той земли, по которой ходили ее отец и мать, ее братья и сестры, ее дядья и тетки, родные и знакомые, земляки, односельчане, дружки и подружки. И от этого понимания поднимался со дна души черный осадок горечи.

— Сейчас картошечки приспеют, — ворковала Макаровна, накрывая на стол. — Вот те грибочек наш, вот те…

— Натаскала ты цельную каптерку, — зло усмехнулась Анисья. — Животом не маялась, когда перла?

— Так ведь брошенное, не пропадать же. Народ с места стронулся…

— А про общее орала — в ушах звон. Ничего-де

нам не надобно, окромя светлого будущего. Вот оно, твое светлое будущее: одна в пустом селе с наворованным дерьмом.

— Ай, да что старое поминать! — Самыкина махнула рукой и попыталась улыбнуться, но дряблые губы ее так в улыбку и не растянулись.

— Давай водку, а то я тебе, дырявая кадушка, такое старое припомню, что ты у меня сама в сундук заместо гроба ляжешь и крышкой укроешься. Ну?..

Никак не могла она оторвать глаз от собственного детства, что вдруг стеснило ее со всех сторон не туманными образами, не воспоминаниями, а грубыми предметами простого и прочного быта. Даже зыбку помнила она, хотя была младшей и зыбка уж не качалась середь горницы, а хранилась в холодной половине; и деревянный диванчик был в точности как у них, и буфет такой же — только со стеклянными дверцами, а не кое-как забитыми фанерой. Все, все было оттуда, все скребло, бередило душу, поднимая из мрачных провалов ее все новые и новые пласты горечи и злобы. Ах, каким же все оказалось горячим, каким болезненным, а она-то думала, что давным-давно все забыто, а если и не забыто, то схоронено в таких тайниках, в каких она при-

знается только на Страшном суде, когда каждому воздается по мукам его.

— Да скоро ты там, квашня убогая? — гаркнула она, заглушая звенящий стон звериной лагерной тоски, что подступал уже к самому горлу.

А после первого стаканчика отпустило. Правда, наливала она себе сама, хорошо наливала, а остаток плеснула вмиг поджавшей губы Макаровне. Хватанула с чувством, с верой, что поможет, что снимет звон этот, — и помягчела. Молча катала в беззубом рту грибки, вспоминая давно забытый вкус их и запах, и всхлипнула, не сдержавшись:

— Где грузди брала? За оврагом?

— Там, милая.

— Не перевелись еще?

— Так переводить некому. Кого убили, кого сослали, кто сам убег.

— Хороший там груздь, хрумкий. — Анисья откинулась от стола, уже другими, отмягшими глазами оглядела загроможденную горницу. — Из нашего чего тут? Не соври, смотри, поберегись.

— Ничего. Вот те крест святой, ничего, Нюшенька. Сгорел ведь он, дом-то ваш. Еще до войны, за вами вскорости. Году в тридцать четвертом вроде. Не помню. Митька в нем…

— Женился? — вдруг перебила Анисья.

— Женился. Известно, мужик молодой…

— Кого же взял?

— Учителку городскую привез. Худющая — и лечь не на что. Все в беретке ходила…

— Ну а что дом? — опять нетерпеливо перебила Анисья: ей не хотелось слышать о худой учителке. — Кто жил в нем? Они?

— А никто не жил. Митька там Красную избу открыл. Книжки собрал, картинки всякие, граммофон. А в большой горнице переборку снял и помести устроил, как в театре. Про попов и кулаков представления делал под гармошку. Молодые не только что из Красногорья — из Верхнеспасова ходили. Раз подрались, так еле утихомирили. Ну, дом и сгорел.

— Поджег кто?

— Может, поджег, может, сам собой — кто ж ведает? Долго тут гэпэу шерстило, на допросы тягали, а потом Митьку увезли вместе с учителкой.

— Как увезли? — ахнула Анисья. — Куда ж увезли-то, господи?

— Сказывали так, что туда же, куда и тебя.

— А его-то, его-то за что же? Он же им служил, как не всякая собака… — Она громко всхлипнула, затряслась, замахала рукой.

— Жалеешь, стало быть, — помолчав, горько

вздохнула Макаровна. — Ах ты, баба, баба. Он тебя сгубил, а ты — вона как… А у нас, помню, мужики говорили, что, мол, бешеный пес всегда до пули добрешется. Вот, значит, и добрехался…

— Ах ты, Митенька ты мой, — не слушая, шептала Анисья. — Ах, какой же лютостью Господь-то тебя покарал. Не мог ты там жизнь свою спасти, не мог, хребта в тебе не было.

Что-то бормотала Макаровна, но Анисья уже не слушала ее. Она представляла себе Митю — того Митю, Митеньку ее! — в отрицающем жалость и сострадание зверином лагерном житье, понимала, что не видеть ему там пощады и что, пожалуй, лучшая доля его, если забили сразу. А могли ведь и не забить, могли холуем сделать, на побегушках, кухонным мисколизом или барачным шутом, которого смеха ради любой блатной торбохват мог заставить такое прилюдно сделать, после чего и петля в сортире отдушиной кажется. Видала она таких мужиков и таких баб, нагляделась на них вдосталь, до отврата, до конца дней своих нагляделась и знала, что ничего нет горше медленного их умирания. И никогда ей ничуточку не жаль было их, не тратилась она на жалость, презрением обходясь, но то же были неизвестные ей доходяги, дешевки, а то — Митя.

Митенька ее, первый ее, единственный ее, любочка ее родимая…

— Давай еще водки, старая. Давай, не жмоться, пока душу не вынула.

Не пожмотничала Макаровна — пол-литру принесла. Сама и разлила, а свой стакан придержала.

— Погоди, погоди. Сказать тебе должна, чтоб уж сразу. Долго грех на плечах волоку, вроде стерпелась уж, а тебя увидела — и невмоготу. Повиниться хочу, а то душа сердце жмет. Так жмет, так уж жмет…

— Ну, завела. — Анисья закурила, откинулась к спинке стула, обвела глазами рухлядь. — Пограблю я тебя, Палашка, мне жить здесь указано.

— Ты погоди, погоди. — Макаровна вся была во власти принятого решения. — Ты послушай меня сперва, послушай, а потом — хоть простишь, хоть убьешь.

— Да не мусоль!

— С чего начать-то, с чего, а? Может, с удивленья, за что же это Господь Бог наш, всемилостивый наш, руку свою тяжкую на народ русский наложил?

— Бога вспомнила? — зло захохотала Анисья.

— Ты погоди. Ты же не знаешь, ты и духом не

чуешь, как жилося нам тут после войны. Мужики, которые вернулись, либо калеки калеченые, либо на лесоповал обратно мобилизованы были вместе с девками, а оттуда, из лесу-то, почитай, никто уж и не вернулся. Кто там богу душу отдал, а кто бежал без оглядки, куда только ноги снесли. Вот тогда-то и стало кончаться Демово наше: мужиков нету, баб молодых нету, скотину еще в войну забили, а хлебушко по всем закромам подчистую подметали. Как нагрянут полномоченные, так стон стоит над селом, будто война, а что поделаешь-то? Что поделаешь, когда налогу уж и на грибы наложили? На грибы, Нюшенька!

— А разве вы не за это самое на сходках-то глотки драли? — непримиримо усмехнулась каторжанка.

— Мы не за это, — помолчав, тихо и строго сказала рыхлая старуха, и бесцветные ее глаза вдруг подернулись сухой и горькой слезой. — Мы за справедливость, за светлое будущее, а тут оно так все обернулось, что годами карасина не видали. Как война началась, так и исчез он, а как кончилась она, тоже не появился. При жировиках жили, а то и при лучине, вот оно как, Нюшенька дорогая, а уж что дети наши ели, то не всякая свинья сожрет, а хлебушек делили, будто

просвирки, будто и вправду он — тело Господне. И вот тут… тут, Нюшенька, вышло такое приказание, что, ежели кто беглого властям выдаст, тому за это хлебца цельную буханку и карасину десять литров…

— Это каких таких беглых?

— А разных, много их тогда было. И с лесоповалу бежали, и из лагерей, и дезентиры которые. Летом в лесах прячутся, а зимой их к жилью голод с холодом гонют. Вот тут их… за десять литров карасина…

Старуха замолчала, со страхом глядя на Анисью. Но каторжанка только грустно улыбнулась.

— А помнишь, по ночам огонь жгли и хлебушек под окном оставляли? Было это или, может, приснилось мне?

— Было, Нюшенька. — Макаровна гулко сглотнула слезы. — Июды мы, и я — июда первая. Я твоего родного брата Данилку в погреб заманила, когда он у меня заночевать попросился. Пять ночей крошечки во рту не держал, как из лагеря сбег, а я его — за карасин да буханку!..

Последние слова она выкрикнула судорожно и тяжело бухнулась в ноги. Анисья молча курила, сверху глядя на рыхлую трясущуюся спину: только желваки ходили на скулах.

— Велено было, велено… — в пол, глухо и жалко бормотала старуха. — А у меня дети, травой кормленные, будто поросята, животы у них пучит, глазки болят…

— Дети? — отрешенно спросила Анисья.

— Старшенького тогда в интернат взяли, а при мне — Вася да Манечка. А я — одна, мой-то, как в сорок первом пошел, так и…

— Погоди, какие дети? Ты ж старуха, Палашка, ты уж мне-то не ври.

Оторвала лоб от пола хозяйка, села на пятки, улыбнулась вдруг сквозь слезы:

— Да ты что, Нюша, ай запамятовала? Да я ж всего-то на пять годков тебя старше. На пять годков всего.

Помолчала Анисья. Повертела стакан.

— И ты за керосин моего Данилу Поликарповича?

— Сними грех с души. Не вольна я в нем была. Не вольна.

— С того керосину, поди, и к водке потянулась?

— Кабы одна я, Анисья Поликарповна, — вздохнула Палашка.

— Ну, тогда садись. Помянем всех, кого вы тут не по своей воле на керосин сменяли. Садись, говорю, я зла не держу. Однако так скажу: лучше

уходи. Сегодня мягкая я, а завтра найдет — удушу. Как бог свят, удушу я тебя, Палашка, не доживешь ты со мной рядом до своего полтинничка.

До смерти напуганная Макаровна хотела тотчас же убраться подальше, но Анисья не отпустила. Заставила бутылку допить, помянуть погибших, пропавших и погубленных, спеть песню и поплакать. А потом утерла слезы и встала.

— Жить я собралась, а не слезы лить. И жить буду у Савостьяновых — родней они нам доводятся, значит, по закону. Тележка у тебя найдется?

Покивала Макаровна.

— Запрягу я тебя в тележку, мебелю погружу, какая понравится, и попрешь ты, милая, за тот керосин.

К вечеру вдвоем и перетащили в огромный савостьяновский дом вещи, которые указала Анисья. Она не жадничала, брала самое необходимое, за долгие зимы свои познав истинную стоимость всего. Однако крестьянская жилка нисколько в ней не ослабла, и по части хозяйства Анисья нахватала с изрядным даже перебором. Полночи возилась, неугомонная, совсем до черты Макаровну довела, а потом сказала:

— Ну все, считай, устроилась я. За подмогу благодарствую, а только на глаза лучше не по-

падайся. Не дай бог залютую, так и вправду порешу.

Макаровна поутру испарилась, будто и не было ее вовсе, и Анисья очень этому обрадовалась. За все распроклятые годы ей и часа одной быть не случалось, и теперь она превыше всего ценила одиночество, тишину и полную самостоятельность. Ходила по пустым избам, как в гости: здоровалась с хозяевами, расспрашивала о сверстниках, рассказывала о себе, а коли примечала что-либо полезное — инструмент или чугунок, годное ведро или старую лохань, то брала, как подарок, низко кланяясь и благодаря. Она не юродствовала, не скоморошничала: она обходила родное село, где знала каждого и где каждый знал ее. Навещала односельчан по издревле принятой очередности, никого не пропуская и никого не обижая — так, как мечтала навестить их все свои двадцать семь зим. И не ее была вина, что навещать оказалось некого…

Через неделю приехал председатель. Груженая телега была накрыта брезентом — с утра дождь накрапывал, — лошадью правил щуплый и вроде как перьями поросший старичок; председатель оставил его с лошадью на въезде, а сам нашел Анисью пешим ходом.

— Чего Макаровну выгнала? Два медведя в одной берлоге, что ли?..

— Два медведя в одной берлоге, может, еще и уживутся, если крепко дрессированные, а вот две медведицы — никогда.

— Все-то ты, Демова, знаешь, — усмехнулся председатель и заорал: — Федотыч! На голос правь!

Старик направил, и телега остановилась возле дома Савостьяновых, а теперь — возле места проживания Анисьи Демовой. Федотыч поздравствовался, вместе с председателем убрал брезент, и Анисья увидела доселе скрытые им мешки.

— Чего это?

— Картошки, муки мешок, макарон немного. Еще два одеяла тебе положено, спецодежда и керосину бидон.

— А керосин-то за что же?

— Приказано заботу проявить, — улыбнулся председатель.

— Раньше, стало быть, на керосин нас покупали, а теперь — на заботу? Так, курский?

— Ох и злыдня ты, Поликарповна, — беззлобно вздохнул председатель. — Только на меня тебе серчать нечего. Я знаешь кто таков? Я — бурмистр. Слыхала, поди, стихи: «У бурмистра Власа

бабушка Ненила починить избенку лесу попросила. Отвечал: нет лесу, и не жди, не будет. Вот приедет барин, барин нас рассудит…» Вот, значит, барин и рассуживает, что вам сегодня положено — керосин или забота.

— А водки ты мне не сообразил?

— Я лучше сообразил, Анисья Поликарповна, я тебе мужика сообразил. — Председатель указал на щуплого старичка. — Вот тебе Федотыч.

— Тю, мужик! — презрительно повела плечом Анисья. — Для меня ты — и то сперва с месяц салом откармливать надо.

Засмеялся председатель.

— Он — по другой части. Он тебе стекла вставит, двери навесит, полы переберет, жилье обиходит. Не гляди, что душа в нем на соплях подвешена, — руки у него золотые. Это тебе все, так сказать, от нашего колхоза. — Он порылся в передке телеги, вытащил бутылку. — А спирт — это уж от меня. С возвращением тебя, Анисья Поликарповна, и с новосельем.

Застыла улыбка у Анисьи, будто примерзла: ни убрать, ни сдвинуть. Хотела лагерной прибауткой ответить, потом — матом позабористей, а вместо всего этого — поклонилась. И сказала как положено, как тысячу лет до нее русские бабы

говорили:

— Пожалуйте в избу, гости дорогие. Не побрезгуйте угощением нашим.

Поблагодарили, чинно в дом прошли, чинно за стол сели. Угощать, правда, Анисье было особо нечем, но время, сильно подправив старые традиции, спасовало перед древними отношениями гостя и хозяина. И все шло как надо, и слова говорились, какие требовались, и за черствую корку от всей души благодарили, и разговоры о хозяйстве вели неторопливые и основательные, и так хорошо у Анисьи на сердце стало, как давно не случалось. Так давно, что, поди, за это время и бабкой сказаться могла, не только что внуков — детей собственных так и не разглядев. Хорошо они эту бутылочку приголубили, по-людски, по-семейному. Потом председатель на телегу взгромоздился и подался в свое Красногорье, старик еще раньше с копыт брыкнулся и теперь храпака задавал, будто вправду мужик, а Анисья, в дому не прибрав — ай, маменька заругала бы, ай, батюшка подзатыльник бы отпустил! — долго-долго по мертвому своему селу гуляла. К Двине выходила, любовалась зоревыми ее красками, вновь ныряла в улочки да проулочки и шептала, несокрушимо улыбаясь:

— Не всех еще перевели, не-ет, не всех. Еще остались, еще жива, стало быть, она, родина моя. Нет, не выведешь нас, не сведешь, не вытравишь. Никакими Соловками не вытравишь…

И уснула хорошо, и проснулась славно: топор тюкал, ровно дятел. Спокойно, домовито, по-деревенски неспешно. И, завороженная этим стуком, этим покойным трудом, домовитостью и такой зримой, такой полновесной, так по-крестьянски осмысленной свободой своей, Анисья впервые ощутила, как сладко забилось вдруг ее иссохшееся сердце.

— А старичок глупый попался, на редкость глупый: решил, что в него влюбилась Аниша, и ну над нею куражиться, — рассказывала мне баба Лера. — А она не в него — она в мечту свою влюбилась, в мечту о доме, о семье, о заботе. Этого в женщине никакие лагеря не убьют.

Жажда заботы, которую испытывала Анисья, была куда сильнее всех прочих желаний и инстинктов: Анисья любила чистой и непорочной своей душой, с восторженным трепетом ухаживая за добровольно избранным властелином. Она радостно кормила его и поила, обстирывала и одевала, чинила ему одежонку, топила по суб-

ботам баньку и с девичьей готовностью бегала за бутылкой в Красногорье. И лишь об одном решалась просить, всякий раз чуя, как замирает сердце:

— Топориком постучал бы, а?

— А чего? Ништо! Так сойдет!

— Федотыч, солнышко ты мое закатное, Христом Богом молю. В детстве батюшка мой стуком этим будил меня на заре.

— Эка глупая баба! Чего уж. Ну ладно, огурца соленого принеси. Огурца желаю.

Бежала Анисья за четырнадцать верст, выпрашивала, вымаливала огурцы, которых давно уж не сажали в этих краях напуганные многолетней бескормицей бабы, которые завозили в сельпо издалека и редко, куда чаще распределяя по родным и начальству, чем пуская в продажу. И это тоже было чудно Анисье, потому что огурцами в их Демове исстари занимались девчонки, и труд считался скорее забавой, хоть и солили те огурцы бочками. А ныне все тут сдвинулось, на огурцы сил уж никаких не хватало, и кроме картошки бабы сажали только лук, да кое-кто — помоложе да пошустрее — морковь, а больше ничего уж не сажали, уповая на картошку да на то, чем удастся разжиться в колхозе или прикупить в магазине.

— Скверно живете, — строго сказала Анисья, встретив председателя. — Думают абы день прожить, а о работе не думают.

— Это ты точно подметила, Демова, — вздохнул председатель. — Надорвались бабоньки мои, и хозяйство надорвалось. Деревня-то нынче на бабе стоит, вот какие дни развеселые.

— А чего луга запустил? Раньше луга были — по грудь, а теперь кусты да кочки.

— Косарей нету, Анисья Поликарповна. А машинам дороги нужны. Они без дорог — как мы без ног.

— Теперь ты понял, курский, кто таков есть бедняк? Бедняк — это который без дорог, как без ног. А мы, мироеды которые, мы по колено в топях сутками напролет косили и на себе траву до Двины выволакивали. Братаны мои, бывало, через порог переползут и — как мертвые. Мы с матушкой кой-как сапоги их мокрющие стащим, а самих не трогаем, пока в себя не придут. Слыхал о такой работе, председатель?

— В кино видел, Демова, — усмехнулся председатель. — Положило тебе правление триста рублей в месяц, а трудодни сочтем, коли будет ради чего считать.

— Это за что же — триста?

— За то, видать, что я тебе нахлебника подсунул. Опять за водкой прибежала, непутевая ты баба? Ох, руки мои не доходят, а дойдут — накостыляю я твоему, Демова!

— Ладно, не твоя то забота, — проворчала Анисья и улыбнулась, не удержавшись, ощутив себя настоящей русской бабой, которой люто помыкает домашний царь-государь.

Влюбленность, в которую столь упоительно играла Анисья, кончилась в одночасье, и, не случись тут Калерии Викентьевны, никчемный старичонка Федотыч кончился бы заодно с этой влюбленностью.

Анисья никогда, ни на одно мгновение не забывала о своей «Лере Милентьевне», старательно рисовала ей каракули на почтовых открытках и считала, что есть у нее, одинокой и обиженной, справедливая, строгая и прекрасная, как покойная матушка, старшая сестра. И в основном-то и была занята перепиской с сестричкой-каторгой да самоуничижением перед собственным мужиком. И таяли, снегом под ярким солнышком таяли скопленные надрывным трудом денежки.

Их начали выдавать за ударную сверхплановую работу еще в самом начале пятидесятых. А потом, после смерти вождя, и за норму тоже стали

платить, правда мало, не все, что положено, и не на руки, однако Анисья всегда была бережлива до скупости и работяща до беспамятства. А когда отпустили и заработанное до копейки выдали, она, хорошо знакомая со шмонами и с грабежами, все зашила в самые потаенные места и довезла до родимого Демова, копеечки по дороге не истратив. И спрятала все в облюбованном под жилье доме, поскольку никаким государственным учреждениям — а сберкассам в особенности — не верила. И брала из тайничка помаленьку, когда «сам» требовал, обещая за то топориком маленько потюкать. А потом получила письмо из Москвы, проревела над ним ночь и на другой же день выехала за своей единственной «Лерей Милентьевной».

— Аниша мне еще в поезде призналась: баба, говорит, я, Леря Милентьевна, глупая баба, — грустно улыбалась Калерия Викентьевна. — А сама, вижу, прямо от счастья светится. Ну, думаю, влюбилась моя Аниша, и слава богу, что влюбилась, что хоть глоток чистый ей достанется после всей мути каторжной. Поздно приехали, во втором часу: храп висел над пустым Демовом. Вон, говорит, мужик мой храпака задает. Никакого, правда, проку от него нету, кроме что

звуки разные, а — приятно. Утром, говорит, сама познакомишься. А утром проснулась я — ничего со сна не пойму. Голосит кто-то дурным голосом. Выбежала я в одной рубашке — глядь, моя Аниша на веревочке за собою старичка ведет. Руки у него связаны, на шее — петля, и — орет. «Что такое?» — спрашиваю. Вот, говорит, соколик мой проворовался, все денежки мои пропил-прогулял, и я его топить веду. Но не в Двину, чтоб не поганить, а в болото… Еле-еле уговорила я ее смертную казнь высылкой заменить…

Улыбается Калерия Викентьевна. Грустно и ласково, трогательно и печально, вспоминая неуклюжую любовь дорогой своей Аниши.

— Выслала.

6

Да, Калерия Викентьевна Вологодова осталась на котласской пристани: это и поэтическая метафора, и реальность одновременно, потому что так она мне говорила сама. Она верила в одномоментность своего превращения, ибо отсюда пошел иной отсчет дней ее на этой земле, ее собственная шкала и мера. Но если несгибаемый дух Калерии Викентьевны был способен на мгновенную метаморфозу, то естеству понадобились ступени вживания в новую ипостась. И это опять-таки не мои домыслы, а собственные признания бабы Леры, умевшей смотреть не только вокруг себя, но и внутрь себя, в душу свою, которую она изучала постоянно с прилежанием и любопытством гимназистки.

— Я ведь не просто из привилегированного сословия, но и из семьи обюрократившейся, оборвавшей все связи с природой. Моя мать Надежда Ивановна, урожденная Олексина, получила весьма прогрессивное по тем временам образование и, представьте, нашла свое призвание в репортерской работе, хотя печататься ей чаще всего приходилось под мужскими псевдонимами. И

в тысяча восемьсот девяносто шестом году, в дни коронации Николая Второго, репортерская судьба занесла ее на Ходынское поле. Она, в то время совсем еще юная девушка, уцелела чудом, истинным чудом, но навсегда утратила ясность и самостоятельность натуры своей. Моя тетя, старшая сестра мамы Варвара Ивановна, прилагала массу сил и средств, чтобы спасти маму, избавить ее от этого страшного недуга: возила по врачам, знахарям, спиритам, гипнотизерам, даже по монастырям, но все было тщетно. А мой отец Викентий Корнелиевич любил маму давно, еще с первого ее бала, первого выхода в свет: он был значительно старше мамы. Дело закончилось не очень-то веселой свадьбой, но зато родились мы. Первым — Кирилл.

Калерия Викентьевна вздохнула, скрывая неведомую горечь. Она, как правило, избегала рассказов о своих родных, о детстве и отрочестве — обо всем том, что было с нею до революции, словно, шагнув в семнадцать лет за порог отчего дома, она шагнула в иное время, иную эпоху, где не оставалось места даже для памяти о прошлом. Я по осколкам собирал мозаику ее давно ушедших лет, потому что мне всегда казалось, будто портрет бабы Леры, лишенный далекого фона,

будет неполным.

— Знаете, поначалу мне вообще представлялось, что я утратила решительно все корни, — помолчав, вдруг улыбнулась она. — Я боялась реки, не умела ориентироваться в лесу, долго не решалась босиком перейти болото. А потом все воскресло. Не возникло, а именно воскресло, ибо ничто, как выяснилось, не пропадает, все хранится в тайниках души нашей и при надобности воскресает. Но человек обычно не способен уследить за логикой движения — он воспринимает лишь диалектику превращения, качественного скачка. И таким скачком оказалась для меня одна ночь, до ужаса напугавшая зарею вечерней и благословившая зарею утренней.

Баба Лера улыбается, и морщинки веселыми лучиками разбегаются от глаз к вискам, где голубовато светится бесконечно усталая, медленная кровь. И брови удивленно ползут вверх, собирая недоверчивые складки на лбу, словно баба Лера и до сей поры не верит в то, что с нею приключилось тогда.

— Я отправилась за морошкой в низовые леса…

— Голосить надо, коли по морошку идешь, — выговаривала ей трезвая и ворчливая Анисья. —

Побрала ягодок — поори: мол, тута я, живая и крещеная. Говорила я тебе, наказывала, а ты не послушала, вот тебя лешак-то и покружил.

— Покружил, Аниша, твоя правда.

Золотом горела спелая морошка во мшистом кочковатом болоте, просилась в руки, манила в глубину, с кисловатым пьяным ароматом таяла во рту. А брать ее следовало осторожно, и не перезрелую — мягкую, тускложелтую, — а в самом соку, в плотной спелости, в цвете лютика. Все вокруг было усеяно ярко-желтыми ягодами, но те, что светились впереди, казались лучше, сочнее, крупнее и ароматнее, и баба Лера, проваливаясь по колено в мягком сыром мшанике, давно уже потеряла направление. Задыхаясь, торопилась к новым россыпям, брала не глядя, а глаза уже высматривали, куда идти дальше. Неторопливый августовский комар, что еще гнездился в болотах и низинах, рвался к разгоряченному телу, зудел, жалил, пил кровь; отмахиваясь от него, баба Лера спешила поскорее набрать корзинку, поскорее выбраться на ветерок, на прокаленные солнцем сосновые взгорья, а потому и не озиралась. А когда стало смеркаться, когда вдруг дохнуло вечерней свежестью, настоянной на ягодах и болотном дурмане, опомнилась. Поставила кор-

зинку, выпрямилась и медленно огляделась, но, кроме бесконечных кривых сосенок, не увидела ничего. И впереди, и сзади, и справа, и слева тянулись унылые тощие стволы, и было все равно куда идти, потому что баба Лера ясно поняла, что заблудилась. И громко, сердито сказала:

— Вот глупость-то какая!..

В сыром застойном воздухе голос прозвучал глухо, будто тут же и осел, будто не поднялся вверх, не расплылся вширь, а остался рядом, и Калерия Викентьевна более уже не решалась ни кричать, ни говорить, ни даже громко вздыхать. И начала кружиться, страшась отступить от корзины, чтоб не остаться совсем одной в этом пугающе гулком пустом болоте. Кружилась на одном месте, пытаясь что-то понять, что-то сообразить и с каждым мигом ощущая, как поднимается в ней уже неконтролируемый ужас. И безотчетно, беззвучно, но изо всех сил позвала того единственного, кто только и мог спасти ее сейчас: «Алексей!..» «Спокойно, — тотчас же откликнулось в ней. — Прежде всего никакой паники. Четыре шага — вдох, четыре — выдох». И, подчиняясь его такому родному, такому усталому голосу, Калерия Викентьевна оборвала свое затравленное кружение и начала глубоко и со-

средоточенно дышать, отсчитывая про себя шаги: «Раз, два, три, четыре…» Дыхание постепенно выравнивалось, сердце успокаивалось, и баба Лера физически ощутила, как отступает, прячется вынырнувший вдруг ужас. И с гордостью улыбнулась в сырой сумрак болота:

— Все хорошо, Алексей. Не волнуйся, родной, я — из твоего ребра.

На сей раз она не испытала ни страха, ни смущения, хотя звук ее голоса по-прежнему остался рядом, не сумев прорваться сквозь вязкую броню болотных испарений. Она уже пережила мгновение ужаса, преодолела страх, подавила нараставшую панику, и это стало первой ступенью ее возврата к естественной жизни, к природе, от которой много веков было отторгнуто ее «я», растворенное в бесчисленной чреде предков, а в начале двадцатого века сконцентрированное в крошечной девочке Лерочке, жадно и неумело ищущей губками материнский сосок. Но тогда, стоя по колено в гнилой воде, баба Лера еще не осознала, что это — ступень: она лишь почувствовала свободу, избавившись от страха перед лесом, сумерками и безбрежным болотом, и сердце ее билось чуть чаще обычного именно потому, что она впервые ощутила дуновение этой самой

древней из всех человеческих свобод.

— Все так просто, но я постигала эту простоту с тупостью закоренелой двоечницы. И сразу же стала припоминать что-то из гимназии: с какой-то стороны ветви гуще, с какой-то — муравейник, с какой-то — мох. Но мох был здесь везде, ему было все равно, где у людей юг, а где — север, он рос как хотел и где хотел, и это быстро отрезвило меня. И пока еще не совсем стемнело, я стала присматриваться, где повыше деревья, и пошла туда, не успев как следует подумать, почему я поступаю именно так.

Идти было очень трудно, баба Лера находилась и накланялась, напугалась и наволновалась. Корзина, полная отборной морошки, с каждым шагом становилась все тяжелее, но Калерия Викентьевна ни разу не подумала, что можно высыпать ягоды, а завтра прийти и набрать новых. Она упорно волочила корзину по пышному моховому ковру, тяжело оступаясь и то и дело по колено проваливаясь в воду. А сумерки сгущались, темнота окутывала деревья, откуда-то выполз туман, но баба Лера упорно шла и шла и твердо знала, что идет она правильно.

Подъем был почти неприметен, бесконечно длинен и неудобен, но в конце концов Калерия

Викентьевна одолела его. Кончилась вода под ногами, пошли кочки, нежный мох сменился хрустяще сухим, и баба Лера с огромным облегчением смогла наконец присесть и перевести дух. Она по-прежнему не имела никакого представления, где ее дом, как выйти на дорогу или к реке, но сейчас эти мысли ничуть не беспокоили ее. Она знала, что именно *не знает,* и эта конкретность представлялась обычной, почти обыденной. Надо ждать, пока рассветет, спокойно ждать, без паники и мрачных предположений, ждать — самое простое и мудрое из всех мыслимых решений. Здесь сухо, можно вытянуть ноги, прислониться спиной к стволу и думать. Слава богу, она не растеряла этой наивысшей свободы духа человеческого, ну а размышлений и воспоминаний ей хватило бы и на бессрочный Алексеевский равелин. Баба Лера улыбнулась обступающей со всех сторон тьме и не без удовольствия прикинула, о чем она будет вспоминать. Выстраивала цепочку, чтобы воспоминания не повторяли, а дополняли друг друга, чтобы не остались отдельными пятнами, но слагались в мозаику, чтобы были честными и чистыми, как давным-давно вычеркнутая из обихода исповедь.

Первым делом, однако, Калерия Викентьевна

стащила резиновые сапоги, вылила из них воду и натолкала внутрь сухого мха. Потом уложила их так, чтобы ветер задувал в голенища, набрала побольше сухой травы, устроила удобное место и как следует укутала ноги. Пока она возилась, стало совсем темно, и ужинала баба Лера уже на ощупь, вынимая из стоявшей рядом корзины пригоршни кисловатых ягод. Поев, откинулась к сухой, прогретой за лето сосне и закрыла глаза. Ей не надо было звать прошлое — все было продумано, отсеяно и выстроено. И когда перед закрытыми глазами появился первый смутный облик, Калерия Викентьевна улыбнулась и шепнула чуть слышно:

— Здравствуй, мама. Ты все еще ворчишь на меня, что я удрала с Алексеем в ту безумную ночь, когда юнкера рвались с Пречистенки? Не надо, мама, я счастлива. Я куда счастливее тебя, бедная моя мама…

— Счастье? — тотчас же откликнулся в ней молодой уверенный голос. — У тебя дамское представление о счастье, сестра. Есть только одно счастье, ради которого стоит жить и стоит умирать: счастье отечества твоего…

Калерия Викентьевна ласково улыбнулась: здравствуй, Кирилл. Здравствуй, мой вождь и

наставник, мой мудрец и учитель, мой единственный брат. Ты всего на три года старше меня, но авторитет твой всегда был непререкаемым, абсолютным, божественным авторитетом. До тех пор пока ты не привел в наш дом юнкера, с которым спал на соседних койках.

— Рекомендую тебе, сестра, моего лучшего друга. Алексей, это Лера, о которой я говорил.

Пятнадцатилетнюю гимназистку великодушно допускали в свою мужскую компанию взрослые, пахнувшие кожей, ружейным маслом и лошадьми, будущие офицеры с пока еще будущими усами. Дружба между юнкерами была воистину мужской: если один говорил: «Брито», другой яростно утверждал: «Стрижено!» Мнением гимназистки никто, естественно, не интересовался: она приглашалась на роль аудитории. И кипела негодованием в адрес этого противного Алексея, который осмеливался спорить с Кириллом. Гневно сверкала глазами и без конца теребила косу.

— Свобода не вне человека, Алексей, свобода внутри человека, вспомни, даже гениальный Пушкин был несвободен: обижался на камер-юнкерский мундир, умолял государя, свято соблюдал глупейшие светские традиции. Первый шаг к личной свободе совершили декабристы: один воз-

глас — «Вы свинья, Николай Павлович!» — стоит иной революции. В этом гласе звучит русская душа, пробудившаяся после тысячелетнего холопства. И какие же могучие крылья обрела эта душа во Льве Толстом, воспарив не только над властью, не только над бытом, но и над церковью — вровень с самим Господом Богом! Вот путь истинной свободы для русского человека: от Пушкина через декабристов к взлету Льва Николаевича. Стало быть, задача в том, чтобы путем совершенствования пройти эти ипостаси…

— На какие средства? На какие шиши проходить ипостаси, Кирилл? Душа душой, а тело телом: его питать надо, одевать, согревать.

— Тупоголовый материализм!

О, как Лерочка была согласна с братом, как сердилась на этого «тупоголового материалиста»! И перед сном долго отчитывала его, вспоминая усмешку, синие глаза и упрямые губы.

— С людьми, осознавшими себя свободными, мы построим идеальное общество. Все — для отечества, все — ради отечества!

— Утопия, Кирилл. Единственное, ради чего стоит жить, — это равенство. Всеобщее равенство и справедливость, исходящая из принципа всеобщего равенства.

— Да пойми, Алексей, что равенство само по себе еще ничего не определяет. Равенство может быть как в среде патрициев, так и в среде плебеев: какое из них ты имеешь в виду? Нет уж, извольте начать готовить людей для равенства, а не равенство для людей: это абстракция! Да если люди когда-нибудь при любом равенстве забудут о свободе личного «я», равенство обернется тиранией! Вторым крепостным правом на новом витке Истории!

Этот спор запомнился особенно ярко, потому что перед сном Лера впервые не ругала Алексея. Лежала, глядя в темный потолок, слушала, как в гостиной часы отбивают четверти, и думала. Нет, она и тогда не соглашалась с Алексеем, но ей уже не хотелось сердиться, а хотелось спорить. И она сочиняла этот спор, придумывала аргументы, предугадывала его ответы и все время видела его глаза. Синие, которые среди спора вдруг могли потемнеть, стать серыми, растратить теплоту и приобрести холод. Нет, она непременно, непременно завтра же…

Но на другой день юнкера не пришли: они пришли через неделю попрощаться перед отправкой на фронт. Алексей вдруг объявился в ноябре семнадцатого, а Кирилла она больше так и не видела

и не знала… Нет, знала, зачем лукавить? Знала: ей все рассказали, когда она вернулась в дивизию после тифа. Это Алексей так никогда и не узнал, что она знала все…

…Шел девятьсот девятнадцатый. Деникин жестоко и упорно рвался к Москве, и дивизия Алексея никак не могла выйти из боев, пополниться, вооружиться. В последней схватке повезло: потеснили противника, взяли семнадцать офицеров из ударного офицерского полка. Ввиду чрезвычайного положения на фронте пленных решено было отдать под трибунал. Судили их уже ночью, исполнение приговора отложили до утра; белых заперли в сарае, а когда все утихло, туда вошел начдив. Вошел один и остановился под горящей «летучей мышью» перед семнадцатью смертниками, уже раздетыми до белья. И тихо сказал, помолчав:

— Здравствуй, Кирилл.

Кирилл вскочил с соломы, на которой лежали шестнадцать: семнадцатый безостановочно вышагивал взад и вперед по сараю.

— Господа, позвольте рекомендовать моего друга. Вместе учились в юнкерском, вместе, что важнее, два года кормили вшей в окопах. Стало быть, ты — начальник дивизии? Поздравляю,

блестящая карьера: из поручиков в красные генералы. А что же Лера?

— Лера в тифозном госпитале. Кризис, кажется, миновал.

— Слава богу. А ты, следовательно, целеустремленно служишь телу, а не душе? — Кирилл нервно рассмеялся. — Помню наши споры, помню. Умри, господь, ты не придумаешь ничего прекраснее и смешнее русской интеллигенции…

— Извини, Кирилл, я должен кое-что разъяснить. Надеюсь, что буду правильно понят, господа. Ревтрибунал приговорил всех к смертной казни. Это первое.

Безостановочно шагавший немолодой человек остановился перед Алексеем. Коротко кивнул:

— Полковник Щербина. Полагаю, что второго нам уже не потребуется.

— К сожалению, второе существует, полковник. Моя дивизия полмесяца не может выйти из боя. Мамонтов разгромил наши тылы, у меня осталось по три патрона на винтовку. — Алексей замолчал. Сердце стучало с непривычной частотой, он собирался с духом, и все ждали, и тишина стояла такая, что слышен был писк мышей в соломе. — Вы — офицеры, господа, надеюсь, вы оценили мое положение.

Он умолк, и снова стало слышно, как деловито снуют мыши. Им, мышам, не было дела до Гражданской войны.

— И что же? Нас повесят?

— В Красной армии нет подобной казни.

— Утопят? — усмехнулся полковник. — Живыми в землю?

— Трибунал выделил ровно семнадцать патронов. Семнадцать: по одному на каждого. Следовательно, обычной процедуры расстрела быть не может.

На мгновение замерло все: человеческое дыхание, шуршание соломы, писк мышей, сам воздух. Замерли светила на небе и вращение земли, замерли птицы и звери, ветер и вода, замерли человеческие сердца, и само время тоже замерло. И взорвалось вдруг, разом:

— Палачи! Убийцы!..

Безусый мальчик корчился на соломе, дугой выгибая юношескую спину. Рвал на груди нательную рубаху и кричал, кричал… Как он кричал…

— Звери! Звери! Звери!..

— Прекратите, прапорщик. Вы знали, на что шли, когда записывались в наш полк, — негромко сказал полковник, и юноша тотчас умолк, по-прежнему конвульсивно изгибаясь на со-

ломе. — Придержите его, господа, он же язык прикусит. — Помолчал, усмехнулся, покрутил седой, коротко стриженной головой. — Вы не находите, что это… Это похоже на убийство, гражданин красный генерал.

— Я приказал отобрать самых… — начдив запнулся, — метких стрелков. Это единственное, что я могу для вас сделать. — Он расстегнул кобуру, достал наган, перехватив за ствол, протянул: — В барабане два патрона, больше нет ни одного во всей дивизии. Возьми, Кирилл. Второй разыграете по жребию или отдадите мальчику.

Руки Кирилла дрожали; он никак не мог унять дрожь, поэтому заложил их за спину. Сказал надменно и как-то оскорбительно громко:

— Благодарю. Оставьте себе, чтобы было чем застрелиться, если проснется совесть.

— Стыдно! — резко одернул полковник. — Нам вручают свою жизнь, веря, что мы — русские офицеры. Примите мою благодарность, поручик, и спрячьте оружие. Мы все умрем общей смертью. — Он помолчал, глядя, как судорожно, не попадая, красный начдив заталкивает револьвер в кобуру. — Ваш порыв дает мне право обратиться с двумя просьбами. Первая касается процедуры.

— Процедуры? — машинально переспросил

Алексей.

— Пожалуйста, распорядитесь, чтобы нас расстреливали по одному, а не на глазах друг у друга. Пусть берут по очереди из сарая, это ведь не очень затянет…

— Я уже распорядился об этом.

— Искренне благодарю. И второе. Вы не будете присутствовать при расстреле, поручик. Я старше вас возрастом и чином, и я приказываю вам.

— Слушаюсь, господин полковник, — звякнув шпорами, сдавленно произнес начдив.

— Мы будем петь, господа! — громко сказал полковник. — Мы будем орать во все глотки, ясно? Прощайте, поручик, и ступайте: смертники имеют право остаться наедине с собой и с Богом.

Алексей низко поклонился, отдал честь и вышел. А потом сидел в полутемной хате, обхватив голову руками. Светало…

— «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой…» — в рассветной тишине начал вдруг сильный голос, и Алексей узнал Кирилла и закачался, скрипя зубами. А подхваченная мужскими голосами песня звенела над селом, врываясь в тесную избу начдива. А он, слушая ее, слышал, как уменьшались голоса, как слабела песня, которую орали сейчас во все

офицерские глотки…

— «…туда, где гуляет лишь ветер да я…» — завел один голос и смолк, оборванный выстрелом. Единственным выстрелом, который расслышал начдив в ту сумасшедшую ночь. А расслышав, сорвался с лавки, бросился к дверям, распахнул их и уткнулся в кожаную куртку комиссара.

— Не пущу, — сказал комиссар. — Не знаю, кто из нас до мировой революции доживет, но если тот, кто доживет, вот о таком позабудет — мы из могил встанем. Все встанем. И так скажем: ты что, гад, запамятовал, сколько русская кровь важит?!

— Алексей никому и никогда не рассказывал об этой ночи, — как-то призналась мне баба Лера. — Я тогда через месяц вернулась из лазарета и увидела, что мой муж в двадцать три года стал совершенно седым…

Какая восторженная романтика бушевала в ее невесомом теле. Как неистово жаждала она еще ярче, еще яростнее раскрасить алую юность свою. Может быть, все они были именно такими, но неистовость их затушили в свинцовые времена, и только Калерии Вологодовой удалось пронести ее сквозь всю жизнь, чтобы передать внукам негасимый факел великой революции.

— У каждого времени свой ритм. — Лицо бабы

Леры вдохновенно горит в пламени пионерского костра. — И очень важно не забывать эти ритмы, если хочешь не просто знать, но и понимать биографию Отечества твоего. Ну, все, дружно: «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон…»

Баба Лера дирижирует на пионерском слете полвека спустя, гордо откинув седую голову, а правнуки — поют. В ритмах Гражданской войны, что шрамами врезались в сердце… «Так пусть же Красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой», — вместе с пионерами поет она, но — кто знает! — может быть, в душе ее и в эти минуты — «Мы вольные птицы: пора, брат, пора!..». Может быть, Гражданская война длится ровно столько, сколько живут пережившие ее поколения.

По сонному обмякшему лицу Калерии Викентьевны медленно сползали слезы. Появлялись в уголках глаз, скатывались к морщинам и уж по ним неспешно текли, пока не срывались в сухой лишайник; баба Лера спала, и слезы никого не оплакивали, а всех жалели. Всех разом и всех с одинаковой горечью, потому что в сердце ее жила только боль и ни единого зернышка зла. И вероятно, поэтому из тумана, что густо клубился вокруг, неспешно вышел старичок и присел

рядом. Баба Лера, не открывая глаз, знала, что он сидит рядом, и еще знала, что это — Бог. И спросила вдруг от чистого сердца:

— Устал?

— Устал. — Он вздохнул. — Гордыня мир обуяла. Вчера еще говорили: «Это мое, а то мое тож». А сегодня каждый мнит себя правым и кричит: «Мы — истина!», а того не понимают, что у лжи есть хозяин, а у истины — нет.

Кого-то напоминал ей этот заросший по клочковатые брови старик с глубоко запавшими ясными и пристальными глазами. Его взгляд предполагал глас, а не голос, но старичок говорил тихо, страдая, и сердце Калерии Викентьевны болело от его страдания.

— Трудно тебе, — сказала она. — Ты мстишь, Господи, и тебе очень трудно.

— Нет. — Он медленно покачал седой кудлатой головой. — Душу положи за други своя — вот и все, чего хочу я. Отдавать надо, вот и вся премудрость мира сего. Отдавать себя и богатства свои, отдавать силу свою и нежность свою, отдавать все, а чтобы отдавать все, надо любить всех, а чтобы любить всех, надо прощать всех, а чтобы прощать всех, надо выжечь гордыню в душе своей…

— Лев Николаевич?! — ахнула Калерия Викентьевна. — Лев Николаевич, это вы?

И заплакала счастливыми, радостными слезами, а заплакав — проснулась. Лицо ее было мокро то ли от слез, то ли от росы; баба Лера отерла его ладонями, но оно снова стало мокрым, и она поняла, что плачет. «Какое счастье! — светло подумала она. — Какое великое счастье, что я заблудилась… Нет, нет, что вышла. Спасибо вам, Лев Николаевич, спасибо, Бог наш, сподобилась я слышать вас и дорогу, мне указанную, в сердце своем сохраню до мига последнего…»

Бабе Лере стало вдруг невыносимо стыдно за пафосность собственных мыслей. Она засмущалась, завздыхала, заворочалась, окончательно отгоняя не только остатки сна, но и отголоски сновидений. Небо быстро светлело, туман редел, рвался, прижимался к земле, на глазах уползая в болото. Баба Лера поднялась, подвигалась, поизгибалась, потопала по хрустящей постели своей толстыми, Анишиной вязки, чулками, разминая затекшее тело и согреваясь. Затем умылась росой, растерлась платком докрасна и неторопливо, со вкусом позавтракала морошкой. Вытряхнула из сапог набивку — внутри было почти сухо, обулась и легко встала на ноги вместе с солнышком.

Огляделась и неожиданно для себя самой решила: «Сюда». Подняла корзину и пошла напрямик, твердо зная, что выйдет к людям.

7

— Я вынесла три истины из той ночи, — рассказывала баба Лера. — Первая, самая главная: из России невозможно выйти, и в какую бы ты сторону ни шел, она всегда будет вокруг тебя.

— Резонный парадокс. А вторая, Калерия Викентьевна, о чем будет истина?

— Вторая и третья более прагматические. Мы отвергли старую культуру во всех ее проявлениях, кроме реалистического искусства, но мы не вправе ее забывать. А это значит, что нам следует стать просвещенными атеистами, отрицающими Бога, но признающими ценности рожденного религией искусства — таков второй постулат. А третий, возможно, покажется вам спорным: только истинно верующие люди способны на подвиг, и чем выше и чище их вера, тем выше и благороднее будет их подвиг. Мы заменили веру учением, но это, как мне кажется, неадекватная замена. Отсюда вывод: нам нужна новая вера. Не религия — вера.

— Ох, как я вас понимаю! — вздыхает Владислав Васильевич, как-то особо значительно поглядывая при этом на меня.

Мы сидим втроем: Анисья еще утром ушла в Красногорье за продуктами и, судя по всему, явится навеселе. А сейчас — тихий вечер, переливы красок в спокойной Двине, далекий пароходный гудок.

— «Иван Каляев» идет, — почему-то объявляю я.

— Матушка говорила, что была знакома с Каляевым. — И снова в голосе Калерии Викентьевны мне отчетливо слышится странная печаль. — Она всегда называла его только по имени, только Ваней, а познакомились они в Москве, в дни коронации, на которые гимназист Каляев тайком приехал из Нижнего. И мама была свято убеждена, что Каляев не убивал великого князя Сергея Александровича, а лишь казнил его за ходынский ужас.

— Странный парадокс истории. — Каюсь, я тогда сморозил глупость. — Рядовой эсеровский боевик удостоен почета и бессмертия, тогда как его непосредственный руководитель и организатор покушения на великого князя Борис Савинков — бесчестья.

— Не окажись Савинков по ту сторону баррикад… — начинает Владислав, но тут же меняет собственное объяснение: — Право суда принад-

лежит победителям. Это аксиома истории.

— Это наше объяснение, а не аксиома, Владислав Васильевич. — Баба Лера несогласно трясет годовой. — А суть, как мне кажется, в том, что мы воспринимаем Ивана Каляева прежде всего как искренне уверовавшего и во имя этой веры идущего на смерть. А в его руководителе видим лишь пастыря, то есть человека, волей своей направляющего искреннюю, а потому и святую веру исполнителя. Людям органически свойственно поклоняться подвигам и заведомо настороженно, если не недоверчиво, относиться к тем, кто вкладывал в руки героя оружие и подталкивал его. Заметьте, люди никогда не приходят в ажиотацию по рациональным поводам: эмоции управляются только иррациональным началом. И поэтому я категорически продолжаю утверждать, что нам необходима новая вера. Необходима!

— Я понимаю, — вторично признается Владислав и вторично поглядывает на меня с особым значением.

Странное дело: мгновенно и естественно найдя общий язык с Анисьей, Владислав так и не смог побороть в себе скованности и, как мне всегда казалось, смутной виноватости в общении с

бабой Лерой. Он очень редко спорил с нею, предпочитая соглашаться или молчать, а ведь имел и собственное мнение, и убежденность, и вполне достаточную эрудицию. Он и со мною-то начал спорить не сразу, а накопив определенную сумму впечатлений обо мне и как бы перешагнув некий рубеж в наших отношениях. В частности, именно потребность веры как естественного стремления к определенному порядку свыше его тревожила постоянно, недаром он так выразительно поглядывал на меня: мы много раз говорили об этом.

— Понимаешь, наше поколение впрямую столкнулось с культом личности. Ну, скажем, один факт я могу еще хоть как-то объяснить — культ Сталина. Личность незаурядная, сильная, жестокая сумела оценить сложившуюся после смерти Ленина внутрипартийную обстановку: растерянность, групповщина, борьба амбиций, оппозиций и прочее. Сумела воспользоваться «капризом истории», как любит говорить наша баба Лера. Да плюс — война, в которой, заметь, резко возрастает сталинский авторитет во всех слоях, от солдата до маршала. Но это — Сталин, черный гений страны, диалектический антипод Владимира Ильича в полном соответствии с диалектикой как основополагающим нашим

учением. А остальные культы да культики? Один объяснимый да куча нелогичных — это тебе уже не случайность. Это закономерность, — хотим мы признавать ее или не хотим, но она объективно существует. Согласен?

— Ну, допустим.

— А коль допустил такое, изволь объяснить. Изволь поднатужиться, поразмышлять и вывести некий закон.

— Неутешительный это закон, — сказал я ему тогда. — Выходит, что мы чуть ли не фатально обречены на развитие через культ личности.

— Вот! — Владислав резким жестом обрубает мое неуверенное бормотание. — А почему? А потому, что народу необходима вера. Вера на этом этапе общего нашего развития важнее знаний, потому что для знаний у нас фундамент жидковат: в подавляющем большинстве мы ведь еле-еле из ликбезов вылезли и во всех взаимосвязях закон развития общества постичь пока не можем. А в Бога уже не веруем — получаются ножницы, необъяснимая для народа пустота. И чтобы не задохнуться в этой пустоте, чтобы направление движения не утратить, народ инстинктивно жаждет веры в авторитет вождя, в его непогрешимость, абсолютные знания во всех

решительно областях и почти что священные обобщения. Вот истоки нашей потребности в культе личности, понял? Невозможно жить, ни во что не веруя при этаких-то жертвах, что понесли мы, вот народ вместо свергнутого Бога и ищет его вполне материалистическую земную ипостась…

Владислав любит собственные гипотезы, с удовольствием излагает их, но при бабе Лере помалкивает. И тогда я вкратце пересказываю суть его объяснений. Естественно, от собственного имени.

— Парадоксально, но абсолютно антинаучно, — сурово изрекает Калерия Викентьевна. — Вы почему-то исключили наиболее активную силу из своих рассуждений: партию. А партия могуча коллективным разумом, и она не допустит антинаучного развития общества. Я говорила о вере. Просто о вере. О святой убежденности каждого, что прожитая нами жизнь прожита не зря, не напрасно, что в общем своем потоке она подчиняется законам нашего учения и что, следовательно, задача в том, чтобы донести эту убежденность до масс, и в первую очередь — заразить ею молодежь.

С этого вечера, с этого неторопливого разговора, подсвеченного красками северного заката и

озвученного стонущим воплем «Ивана Каляева», и началась бурная («миссионерско-пионерская», по определению Владислава) деятельность бабы Леры. До этого она не только не стремилась к детям — она сторонилась их; понадобилось качественное изменение ее взглядов на мир, Россию, историю («прозрение», как она сама определила), чтобы Калерия Викентьевна перестала замыкаться в себе самой со своими мыслями. Понадобилось заблудиться, чтобы выйти к людям, и это было еще одним превращением Калерии Викентьевны Вологодовой в простую, почти сельскую если не жительницу, то учительницу бабу Леру.

— Самой трудной была первая встреча, — вспоминала она часто. — Не потому, что «первая», поймите, а потому, что пришла я не в учреждение, не в школу — я пришла непосредственно к детям, которых по моей просьбе собрали с помощью Владислава Васильевича. Случилось это на окраине Красногорья, а потом дети стали сами приходить ко мне, и мы жгли костры во-он на той возвышенности, что на берегу. Там теперь Аниша моя лежит, на месте тех костров…

Мы сидим на крыльце, где так любила по старой, может быть, еще детской привычке сидеть Анисья. Это наша последняя встреча, но мы еще

не знаем об этом — ни я, ни баба Лера. Не знаем, хотя уже нет ее Аниши, умершей в начале года, и нет Грешника, навеки шагнувшего за порог. С той поры баба Лера живет одна, если — со вскрытия Двины — не считать случайных гостей, регулярных, хотя и не частых, наездов Владислава да моего месячного отпуска.

— Как же она одна-то следующую зиму переживет, Владислав?

— Не будет она одна, не будет. Я ей очень милую старушку подыскал, бывшую учительницу. Сейчас старушка внучатами занята, а разъедутся внучата к сентябрю, и перевезу я ее к бабе Лере. С ней детально все обговорено, но баба Лера ничего не знает, и ты, гляди, не проговорись: я не сюрприз ей хочу сделать, я врасплох ее захватить хочу, а то ведь и закапризничать может, если мы ей время на размышления оставим.

…Ах, как волновалась баба Лера перед своим первым свиданием с детьми! Не спала ночь, читала, вставала, металась. Даже Анисья не выдержала:

— Ну чего, чего себя-то мытаришь, Леря Милентьевна? Ну дети, ну сопливые, ну молчать будут, как клопы. Ну чего из-за них казниться-маяться, сестричка-каторга? Да пошли они…

Указала, куда именно. А потом повздыхала, покурила, поворчала про себя и неожиданно предложила:

— Вместе пойдем, вот чего тебе скажу. Я насупротив сяду, а ты гляди только на меня и все мне рассказывай, будто и нет никого кругом.

На первой встрече народу оказалось немного: десять-двенадцать старшеклассников (одни девочки), трое учителей, два бодрых старика да парторг тогдашнего колхоза. Калерию Викентьевну никто не знал, но все слышали, что, во-первых, безвинно пострадавшая, а во-вторых, из «бывших». Однако понятие из «бывших», так настораживающее жителя собственно России, на Севере воспринимается, скорее, с благожелательным любопытством, потому что Север не знал ни всесилья бояр, ни дворянской вседозволенности, ни самого крепостного права. Но все это определилось потом, а тогда бабе Лере было совсем не до анализа. Однако аудитория на четыре пятых состояла из женщин, и Калерия Викентьевна неожиданно для себя самой начала совсем не так, как предполагала:

— Скажите, можно ли искренне, глубоко и преданно любить понаслышке? Можно ли клясться в любви предмету, о котором вы либо не знаете во-

обще, либо знаете ничтожно мало? Женщины уже улыбаются и переглядываются, и я предугадываю их ответ: конечно нельзя. Нельзя, невозможно и неправдоподобно уверять всегда и всех, что вы безумно любите то, о чем не ведаете, о чем не думали, не страдали, не плакали тайком или не гордились прилюдно. Однако и вы, и все мы это делаем чуть ли не ежедневно: мы готовы в любой момент, на любой аудитории и по любому поводу признаться, как преданно мы любим свою родину…

Прошелестел недоуменный шепоток, и баба Лера передохнула. Напротив сидела верная Аниша, строго глядела в глаза и одобрительно кивала каждому слову. Калерия Викентьевна улыбнулась, весело удивившись, с чего это вдруг она решила начать свою просветительскую деятельность с любви, и почувствовала, что успокаивается, что аудитория заинтригована и послушна, что взяла она правильную ноту и что теперь можно смело говорить все, не боясь, что тебя не поймут или превратно истолкуют. «Коли сразу приняли — все поймут», — с юной бесшабашностью подумала она и продолжала:

— Я была гимназисткой начальных классов, когда из Тулы в Москву, где жила наша семья, после

похорон Льва Николаевича Толстого приехал мой дядя Василий Иванович Олексин. Для всей нашей очень многочисленной родни — у моей бабки было десять детей — Василий Иванович всегда был высшим авторитетом: в юности участвовал в народническом движении, строил в Америке коммуну по образцу Фурье. Потом служил учителем старшего сына Льва Николаевича, Сергея, в Ясной Поляне, подружился с графом Толстым, увлекся его учением и оказался тем человеком, который спас для истории «Евангелие» Толстого, переписав его за ночь перед тем, как Синод уничтожил оригинал. Дядя Василий Иванович очень тяжело переживал смерть своего гениального друга и учителя, почему и приехал к своей младшей сестре Наде, которую всегда любил и жалел. Он часто беседовал с нами, своими племянниками, но с Кириллом чаще, потому что брат был старше. И как-то раз так вышло, что Кирилл торжественно объявил, что очень любит свою родину. Дядя сморщился, будто разгрыз зеленый крыжовник, и сказал то, что я запомнила на всю жизнь: «Говорить о своей любви к родине — все равно что утверждать, будто вода мокрая, а молоко белое. Родине служат, родине сострадают, за родину умирают, но болтать о любви к ней может

только человек глубоко равнодушный. Любовь — это действие, а не слова, а если любовь — слова, то это фальшивая любовь». Так давайте же не будем клясться в любви, давайте доказывать свою любовь делами. А чтобы принести наибольшую пользу, необходимо знать, чего ждет от вас родина, то есть надо ее знать. Вы скажете, что знаете ее, что изучали историю и географию, и будете глубоко не правы. Во-первых, родина — это не столько то, что вокруг нас, сколько то, что под нами: прошлое, судьба, история. А во-вторых, в школе вас учат не столько истории, сколько исторической хронике, то есть последовательности событий во времени. А история — это не наука о датах. История — это биография народа. В данном случае наша с вами биография, биография русского народа…

Баба Лера вдруг поймала себя на том, что четко, реально ощутила, как раздвоилось ее внимание. Да что там внимание — раздвоилась ее душа, ее память, ее чувства, она сама раздвоилась. И если первая половина продолжала, поглядывая на согласно кивающую Анисью, ясно и логично излагать продуманное, то вторая половина, ее второе «я», с этого мгновения видела Алексея и разговаривала с ним:

— …Помнишь семьсот четырнадцатый бессмертный пролетарский полк в составе ста трех человек со мной вместе? Перед отправкой на позиции — митинг: «Не желаем идти в смертельный бой за мировую революцию с криком „Ура!“, которым Россия встречала низложенного монарха!» Напрасно и ты, и комиссар, и начштаба, и даже я, важно назначенная начальником культпросветотдела, объясняли бойцам, откуда пошел этот возглас, этот боевой клич России, — все требовали нового пролетарского вопля. Все орали, кричали, вопили, пока ты не разрядил в небо полбарабана своего безотказного офицерского нагана-самовзвода. «Тихо! — сказал. — Желаете новый клич? Пожалуйста, давайте предложения, но не все скопом, а по одному. Комиссар запишет в порядке поступления, а потом приступим к голосованию…» Что тут началось, Алеша, помнишь?

«Гады-ы!..»

«А-а-а!..»

«Долой капитализм!..»

«Ма-аркс!..»

«Предлагаю точно и классово: сволочь!..»

«Рев! Рев! Рев!..»

«Что — рев, рев? Говори толково!»

«Сокращенно: „революция“, товарищи! При атаке — „Рев! Рев!..“»

«Дружно и страшно: сме-е-ерть!..»

«А по-матерному можно? Нельзя? Тогда предлагаю сокращенно: „В бога — душу! В бога — душу!..“»

«Нельзя!»

«А нам нравится!»

«А нам не ндравится!»

«Даешь клич!.. Даешь!..»

«Стоп! — крикнул ты и снова пальнул, чтоб образумились: в начале восемнадцатого стреляли все и помногу, иначе не слушали. — Кто сказал „Даешь!“? Вы, товарищ? Молодец! Командование предлагает вместо царского „Ура!“ всем дружно и яростно кричать при атаке пролетарское „Даешь!..“».

Но хватит вспоминать, хватит! Вот они, родные Анишины глаза, вот он, вольный берег и вольный ветер, а вот и те, кто должен поверить тебе на всю жизнь. Ты не раз глядела смерти в лицо, ты на спор дырявила пятаки из дареного маузера, ты «доходила», блевала кровью и желчью, ты сидела по каторжной, прошла карцер и лесоповал и ни разу не дрогнула ни перед чекистами, ни перед блатными: что же ты теперь дрожишь, дворян-

ская дочь? Дворянская? Неправда. Российская дочь. Вперед, дочь России. Долг русского интеллигента куда звонче и требовательнее полковых труб, играющих атаку…

Как мы были молоды, Алеша. По-моему, куда моложе этих школьниц, что сидят сейчас передо мной, участвуя в мероприятии, а думая о танцах и мальчиках…

Что такое Гражданская война? Война красных и белых? Имущих и неимущих? Дворян и простолюдинов? Большевиков против всех тех, кто с помощью своих и наемных штыков хотел уничтожить завоевания Октябрьской революции? Все так, и все — не так, все приблизительно и неточно. Что же, забыли его вывести, этот универсальный и всеобщий, как закон, ответ? Нет, не забыли: пытались. Пытались прежде, пытаются сейчас и до тех пор будут пытаться, пока все, и каждый лично, не поймут, что у Гражданской войны есть одна зловещая особенность: ее невозможно объяснить одной формулировкой. У нее ровно столько объяснений, сколько было участников, потому что каждый, кому выпало жить в то время, вел свою собственную Гражданскую войну. И шла эта личная Гражданская война прежде всего с самим собой, потом — с семьей,

потом — с друзьями и знакомыми, с теми, с кем вместе рос, учился, работал. Вот почему у каждого свое определение, и вот почему нет универсального и всеобъемлющего. И мне, например, нужно было прожить жизнь, многое испытать, многое потерять, многое найти, а главное, многое передумать, прежде чем я сформулировала для себя, что же это такое — наша Гражданская война…

…Что рассказать им, Алеша? До того как изложить свое понимание, надо, чтобы они хоть что-то если не поняли, то — почувствовали. Что же рассказать им?..

Может, переправу у Гончаровки, перед которой в аккуратно, по-фронтовому отрытых окопах засели до зубов вооруженные жители с тремя пулеметами? Это сколько же положить придется, пока сомнешь и прорвешься на тот берег, это же трупами вымостить переправу, потому что у артиллеристов нет ни одного снаряда, потому что у пулеметчиков давно опустели ленты, потому что полегчали красноармейские подсумки за этот невероятно длинный марш: остатки патронов и неутомимые клинки лихих хлопцев Егора Ивановича в авангарде сдерживают натиск сечевиков. Ах, как надо уйти за реку, но здесь — три пулемета, не считая винтовок.

— Стоять всем, — сказал Алексей.

Сорвал зачем-то лозинку при дороге и пошел прямо на пулеметы, похлопывая прутиком по запыленным голенищам.

— Стой! — закричали оттуда. — Куды? Шагнешь еще, огонь откроем!

Алексей шагнул не задумываясь. Очередь вспорола небо над головой, даже фуражку сбило на затылок, и начдив аккуратно поправил ее. В землю ударило у самых ног, взбитая пулями пыль заволокла глаза, но Алексей не остановился. Слева ударила очередь, справа…

— Да ты что, мать твою, и взаправду смерти ищешь?

— Хороший у вас пулеметчик, — невозмутимо сказал поручик, хотя сердце его уже множество раз то обмирало, то неслось вскачь. — Беру к себе начальником пулеметной команды.

К этому времени он уже подошел вплотную к окопам, упирался ногой в бруствер и глядел на недоверчивых бородачей сверху вниз.

— А ты кто таков? Его благородие, что ли?

— Я начальник дивизии Красной армии, и нас гонят сечевики. А у меня в колонне — раненые, женщины, дети. Их всех порубят, если мы не уйдем за реку.

— А мы не пустим! — заорали. — На…рать нам на красных и белых, на желтых и зеленых — мы сами за себя! Мотай отсюдова со своими красными, у нас на всех патронов хватит!

— Конечно хватит, — согласился Алексей. — Тем более что мы в вас стрелять не будем: вы же не враги. Мы пойдем без выстрела, а вы нас пулеметами класть будете, а мы все равно будем идти по трупам своих товарищей, потому что у нас — женщины и дети.

Зашептались мужики, загомонили, заспорили. Алексей ждал, с каждой минутой все напряженнее прислушиваясь, не сбили ли петлюровцы заслон, не загремят ли вот-вот выстрелы в тылу, не будет ли поздно. И не окажется ли он тогда между двух огней…

— А ежели вы к нам подойдете да за шашки али за ножи? Вас вона дивизия, а нас — деревня.

— Даю честное слово…

— А что твое честное слово, какая ему цена? Нет, ты садись спиной к пулемету, а мы тебя к нему привяжем, и коли твои краснюки на нас замахнутся, мы в них сквозь тебя…

— Привязывайте.

До рассвета просидел привязанный к пулемету начдив, и в спину ему упирался ствол со снаря-

женной лентой. Мимо шли безоружные, разутые и раздетые его полки, тащилась на заморенных клячах артиллерия, гремя пустыми зарядными ящиками, нудно тянулись бесконечные обозы, а рядом, прижавшись, сидела онемевшая от ужаса Лера. А в самом конце колонны появился усталый Егор Иванович, восемь раз ходивший в атаку в эту короткую ночь.

— Ты чего здесь сидишь, начдив?

— Отдыхаю, — сказал Алексей; плечи его нестерпимо ныли, накрепко перетянутые веревкой, огнем горело место, в которое упиралось твердое пулеметное рыло. — Где петлюровцы?

— Остудил малость. — Комбриг самодовольно покрутил ус. — Раньше чем через два часа, не сунутся.

— Вот я их тута и встречу! — в непонятном восторге пообещал виртуоз-пулеметчик, освобождая начдива от веревок. — Ступайте себе не спеша, кони у вас подбились, ребята…

…А может, тихую Притулиху с фетовскими плакучими ивами над прудом и выгоном, на котором, как пеньки, торчали головы заживо закопанных культпросветчиков? Мертвые головы с вырванными еще при жизни языками, чтоб «агитацию не разводили». И трое — с девичьими

косами…

…Или баржу на Волге под Самарой, в которой скопом содержались пленные офицеры и заложники, меньшевики и кадеты, мужчины и женщины? Ее приказано было расстрелять с берега из пулемета, и комроты из дивизии Алексея вызвался добровольно. Ах, как медленно тонула продырявленная баржа, ах, как страшно и как долго кричали люди, заглушая пулеметную дробь… Алексей прискакал, когда набитая людьми плавучая тюрьма уже ушла на дно. Багровый от возбуждения и старательности командир роты громко бахвалился в кругу столь же распаленных слушателей. Конем раздвинув круг, начдив рванул из ножен клинок и, привстав на стременах, сверкнул им под углом от левого плеча вниз, как когда-то учили в юнкерском…

— Неплохой удар, Алексей, — улыбнулся командарм Тухачевский, навестивший бывшего начдива в подвале чрезвычайки. — Мы с Варейкисом попробуем убедить в этом товарищей…

Убедили. Три месяца бывший поручик воевал рядовым, заслужив редчайшую награду — орден боевого Красного Знамени. Тогда простили, вернули в ту же дивизию на ту же должность…

…А может?.. Стояли на Брянщине, на форми-

ровке. Ждали мобилизованных из деревень, но мобилизованные группами и в одиночку бежали в леса. Дивизия пополнялась с трудом, а время шло; так было не только у них: мужики устали воевать, устали лить кровь и бежали в дезертиры. Свыше двух с половиной миллионов числилось в бегах, и первоочередной задачей дня стало превращение армии дезертиров в армию бойцов. Для этого были установлены недели добровольных явок, когда прощались прошлые грехи и счет начинался с нуля. Но беда заключалась в том, что засевшие в лесах дезертиры и ведать не ведали об этих неделях, а при появлении посторонних тут же бросались наутек, оставив агитаторам горящие костры да кипящие чайники. Алексей выходил из себя: военноучетные организации категорически отказали в пополнении, предлагая пополняться за счет обитателей чащоб. Обитатели эти вертелись неподалеку, но были запуганы и недоверчивы и ни на какое сближение не шли.

— Я пойду, Алеша, — сказала Лера. — Не беспокойся, пожалуйста, ничего они со мной не сделают. А я им все объясню, а ты прикажи приготовить листовки.

Он не отговаривал, не пугал, не просил быть поосторожнее: ему нужны были бойцы, а это был

шанс заполучить их. Слабый шанс, может быть, один из ста, но — реальный, и начдив, пометавшись ночь, утром снабдил Леру листовками, личным письмом и спутницей — пожилой и степенной женой лекпома Христиной Амосовной.

— Дай мне браунинг, — сказал он при прощании. — Знаю, он — в карманчике юбки.

— Алеша, ты знаешь, для чего он мне…

— Если не рассчитываешь удержать словом — не ходи: парламентеру с оружием никто не верит, — жестко отрезал начдив. — Мне нужны бойцы, а не жертвенные самоубийства. — Помолчал, улыбнулся невесело: — Выполнишь задачу — лично маузером награжу. Перед строем.

Расчет был верным: дезертиры не испугались двух баб, забредших в дебри то ли за ягодами, то ли за погибелью. Но дальнейшие их действия мало походили на те предположения, которые Лера излагала сомневающемуся мужу. Их бесцеремонно обыскали, запуская руки куда хотелось (Лера с трудом выдержала это неприкрытое лапанье), отконвоировали по тайным тропам на глухую поляну, где и организовали митинг, на котором после долгих криков, воплей, матерщины и небольшого междоусобного мордобоя выявили три «принципиальные» позиции:

— Оставить у себя и разыгрывать на ночь в очередь, поскольку всем давно бабы только во сне и снятся.

— Завалить сразу, а потом пристрелить, поскольку бабы теперь знают, где все прячутся.

— Прийти с повинной, раз есть такая возможность и письмо самого начальника, потому как мы же не бандиты какие.

Все эти формулировки вырабатывались в невероятном оре в течение добрых трех часов. Затем заросшие по брови, давно не мытые мужики заперли женщин в землянке, поставив часового с ручным пулеметом Льюиса, и принялись заочно решать их судьбу в яростной борьбе приверженцев выявленных позиций.

— Держи, — сказала тогда лекарева супруга девятнадцатилетней жене начдива, вложив ей в ладонь пилюлю. — Если и вправду завалят, разгрызи сразу же — и умрешь без боли и мучений.

Под утро послышалась короткая стрельба, а вскоре два мужика принесли закопченный котелок с варевом и две деревянные ложки.

— Энти тех, которым уж и не нужно, — сказали. — А вы ешьте да спите спокойно: мы вредных постреляли и с вами теперь пойдем.

На другой день Лера привела первую партию

из трехсот человек. Им организовали баню, переодели, накормили, добровольцев с листовками отправили в другие места, и через месяц начдив получил людское пополнение, а Лера — маузер перед строем.

— Вот этот случай я и рассказала при первом выступлении, — улыбнулась баба Лера. — Аудитория была женской и, конечно, поняла мои страхи. Правда, две девочки очень возмущались: «На что вы тратили свою молодость, это же представить страшно, это же дурость какая-то».

— И что же вы ответили, Калерия Викентьевна?

— Что я ответила? Я ответила, что молодость тратят все: одни — чтобы не считаться дураками, другие — чтобы не остаться в дураках…

8

Так началась общественная деятельность Калерии Викентьевны. Она не любила этого определения, равно как и всех прочих производных от слова «общество», но суть от этого не менялась: баба Лера неудержимо тянулась к людям, молодела в их присутствии и готова была отшагать добрых пятнадцать верст, чтобы только ощутить себя нужной. Анисья весьма отрицательно относилась к этому влечению, считала, что «народ ныне пошел куда хужее прошлогоднего», по-деревенски не доверяла словам, но любила слушать свою названую сестричку, а потому с ворчаньем и кряхтеньем сопровождала ее всюду, кроме пионерских сборов и костров. Вот на них она никогда не появлялась, нехотя отпуская бабу Леру одну и с нетерпением, почти тревогой ожидая ее возвращения, а если при этом была одна, то непременно шла встречать и так точно чувствовала и время, и пространство, что встречались они всегда на полпути — возле бывшей мельницы, где когда-то Мельникова дочка Нюра поила холодным молоком ее Митеньку Пешнева. Давно уж и запруды нет, и мельницы, и плеса, и

Митины косточки давно во прах превратились, а поди ж ты, всякий раз в жар ее кидало, когда приближалась к жалкому ручейку, журчащему на месте тихого омута, где не то что с бреднем — с неводом, бывало, мужики ходили. Память куда как прочнее, чем жизнь, оказалась. Куда как прочнее.

В конце августа 1966 года бабу Леру пригласили на большой прощальный костер и даже прислали за ней машину, которая, правда, сумела пробиться лишь до мельницы: дальше можно было проехать только на телеге. Там баба Лера и поджидала ее, а Анисья осталась дома, где несогласно и громко гремела всем, что могло греметь. При этом она никогда ни единого разу не поминала о детях, на всякий случай даже избегая не очень ясного для нее слова «пионеры», зато вовсю отыгрывалась на «пионерьках», коих непочтительно именовала кобылицами, утверждая, что на таких пахать надобно, да и глаз при этом не спускать, а то, того и гляди, в подоле принесут. Особое недоброжелательство ее по отношению именно к старшим пионеркам нельзя было объяснить только тем, что отсутствие труда, хорошее питание да пресловутая акселерация формировали из тринадцатилетних девочек

невест на выданье; нет, здесь скорее действовало несогласие ее с физической незагруженностью этих девочек, поскольку они — по Анисьиным понятиям — обязаны были тянуть на себе семейный воз в равной доле с матерью. Именно в этом возрасте, именно в общей хозяйской упряжке будущая жена и мать воспринимала идущие от века традиции, обычаи, навыки; именно в этом звене — звене матери и дочери — заключалось вековое нравственное зерно, прораставшее затем в новой семье, чтобы и там, когда придет срок, быть переданным из рук материнских в девичьи, вновь и вновь, покуда жив род человеческий. В этой наглядной цепи — «мать — дочь» — и была, по глубокому убеждению Анисьи, заложена преемственность и бессмертие самой жизни, а современные «пионерьки» никак не могли служить передаточным звеном в будущее, ибо и делать-то ничего не делали, не умели да и не стремились, и одевались не так, и веселились не этак, и пели не то, и плясали совсем уж нелепо, и вообще Анисья давно уже не возлагала на них никаких надежд, связанных с возрождением того безмерно дорогого ей мира покоя и детства, который был и остался образцом разумного порядка. Цепь разорвалась на ее глазах, ибо она еще видела, еще

застала оба разорванных ее конца, болтающихся беспомощно, бессмысленно и бесцельно.

— Нарожать-то они тебе нарожают, — сердито бормотала она, ни к кому, в сущности, никогда не адресуясь. — У девки ум снизу растет — с того места, на котором юбка держится, и до того, в которое первым делом перстами тыкали, как в избу входили. А теперь все девки в штанах заместо юбок, персты совсем другим заняты, и куды уму расти?

Так же как баба Лера, Владислав, да и все мы, Анисья была весьма озабочена стремительным падением традиционной народной нравственности. Но если нас беспокоило это падение во всех сферах жизни общества, то Анисью — в одном, в морально-прикладном ее аспекте, если можно так выразиться. Когда-то насильственно разделенная на две половины, на «до» и «после», жизнь разделила и весь комплекс ее понятий и ощущений, ее личный «мир», тоже на два отрезка, на две половины. И в основе ее обеспокоенности моралью сегодняшнего дня лежало противопоставление этих половин: раньше было хорошо, теперь — плохо. Правда, лагерь, активное общение с самыми разными людьми и яростная борьба за существование не могли, естественно,

пройти для нее бесследно: Анисья не просто наделяла настоящее и прошлое знаками «минус» и «плюс», но и сравнивала их, нередко вполне разумно и объективно признавая «плюсом» явления сегодняшнего дня. Но это куда чаще касалось технических новинок вроде тракторов, электричества в Красногорье или кино в клубе, нежели поведения людей в отдельности или общества в целом, то есть явлений морально-прикладного порядка.

— Бабы вставать разучились, а почему разучились, знаешь? А потому, что мужики их по утречкам не голубят, как исстари шло. Чего зубы-то скалишь? Я дело говорю! В избе, как в бараке, все рядком спали, даже если и велика изба-то. И старики тут тебе, и детки, и молодые — все вповалку, кто на полатях, кто на печи, кто на лавке, а кто и под лавкой. Ну летом, значит, сеновал, конечно же, либо сени, либо пристроечка какая, а зимой что, думаешь, поголубиться не хотелось? Не боись, не отмораживали. А когда голубиться? С вечера ждать — терпежу не хватит: деды бессонные кряхтят, старухи любопытничают, да и девки, чего уж греха-то таить, сильно всегда прислушивались к этому, значит, моменту, по себе помню. Ну и чего мужику с бабой собствен-

ной делать? А ничего: погладил чуток, чтоб не распыхтелась особо, и на боковую. Зато уж на зорьке — твоя, баба, воля. На зорьке все дрыхнут, Бог так велит, а Матерь Божья бабу подталкивает: жмись, говорит, дура, твой часок! И жались. Потому и вставали раным-рано, и веселые все были, огонь в глазу, и работа в руках горела. А теперь места много, мужиков мало, и бабы совсем разленились. И церкву опять же закрыли, спешить некуда, а в поле не опоздаешь: хоть ходи, хоть не ходи — все едино хрень на трудодень и хвощ на трудонощь.

Анисья и церковь поминала всегда не в религиозном, а все в том же моральном ряду. Если бы в Красногорье не закрыли церковь, она бы, возможно, и пристрастилась бы к ней, но ближняя действующая церковь оказалась для нее практически недосягаемой, а потому и вопрос с Богом носил у Анисьи деловой характер: она ему жаловалась, как высшей инстанции, чтобы принял меры и прекратил безобразия.

— Луга позапускали, позакустили, позасорили, и куды ты, Господи, глядишь? Раньше, бывало, сено — главное дело. Есть сено — есть скотина, а хлебушек и на мясо прикупить можно. А теперь одно разорение, косить нечего, скота нет, а ты

дозволяешь. Нехорошо серчать: ну погорячились мы насчет тебя, ну обидели — дак ведь те, кто обижал, тех давно либо немцы, либо свои в землю уложили по твоему же, поди, пособлению, а зачем же на молодых бочку-то катить? Пора бы уж и прощать научиться, это не дело, понимаешь.

Трудно, конечно, понять, как размышляла Анисья, но, судя по всему, способ ее размышлений носил все тот же обостренно полемический характер, что и способ общения с окружающими. Она не анализировала, не пыталась обобщать, как то делала баба Лера, — она спорила сама с собой или — что чаще — с Богом, поскольку все вокруг было его хозяйством, которое он запустил, обидевшись на русский народ. Поэтому она часто бормотала какие-то не совсем связные обрывки, сердито хмурилась, улыбалась или несогласно трясла остатками пегой гривы своей — это все были чисто внешние проявления происходящего в ней сложного процесса осмысления окружающего мира. Как ни странно, а мир этот, отринувший когда-то ее от себя, был для Анисьи очень дорог и важен; она не обижалась на него, не припоминала ему обид — все это она взвалила на Бога и тем самым спасла свою душу от злобы и ненависти, а себе оставила беспокойство за людей, живой

отклик и почти материнскую ответственность за все, бессознательно и в этом повторяя свою дорогую «сестричку-каторгу».

В тот вечер, когда баба Лера ораторствовала на прощальном пионерском костре, Анисья очень серьезно рассорилась с Богом. Пошла встречать к бывшей мельнице свою «Лерю Милентьевну» и спорила всю дорогу, порой останавливаясь и втолковывая этому сильно поглупевшему старичку всю несуразность его прежних обид и идущего от них недогляда. В основе этой дорожной филиппики лежало недавнее посещение Владислава Васильевича. И может быть, даже не сам разговор, возникший при этом, сколько вывод, который секретарь — кажется, в то время Владислава уже утвердили третьим, — наконец-таки набравшись смелости, изложил Калерии Викентьевне.

— Да, историческая закономерность исчезновения деревни как общины, «мира», а крестьянства как класса мелких производителей обусловлена непреложностью законов общественного развития. — Он выпалил это как цитату и примолк. Потом добавил уже потише: — А знаете, именно у нас, в нашей стране, без деревни обойтись никак нельзя. Невозможно нам обойтись без деревни.

— В этой категоричности я слышу отзвук чего-то знакомо эсеровского, — улыбнулась баба Лера.

— Вот уж чего не знаю, того не знаю, — с неудовольствием проворчал Владислав. — Нас воспитывают, как девиц в благородных институтах: умело, а чаще — неумело обходя высказывания всяких там эсеров, меньшевиков, троцкистов, и поэтому мы, бывает, ляпаем то по-бухарински, то по-спиридоновски, а поскольку боимся оговорок, то и до сей поры шпарим цитаты вековой давности. Так-то оно безопаснее, знаете.

— Позволю не согласиться с вами, — негромко перебила баба Лера. — Дело, мне кажется, не столько в нашей духовной стерильности, сколько в забвении нами диалектики.

Признавая ее на словах и в частностях скорее суетно, чем убедительно, мы тихо и незаметно изжили ее в жизни и в общих вопросах. Сначала мы обрубили Гегеля, молчаливо не упоминая о диалектическом законе развития через отрицание: оно показалось нам тактически опасным, что ли. Дальше — больше: мы повторили то же с законом борьбы противоположностей, поскольку лишили свое собственное развитие борьбы идей. А свободная борьба идей не просто выявляет наиболее жизнеспособную из всех столкнувшихся

истин — она дает возможность идеям взаимно оплодотворять друг друга и тем самым оставаться живыми. Неоплодотворенная идея умирает, не принося плодов, как и все неоплодотворенные, почему мы вместо современных, сегодняшних аргументов зачастую пользуемся их вчерашними аналогами. Цитата — это ведь мумифицированная идея, Владислав Васильевич.

— Вполне согласен, однако позвольте все же вернуться к деревне, уважаемая Калерия Викентьевна. Вы сами меня спорить учите, ругаете, когда бесспорно поддакиваю, так уж, как говорится, не обижайтесь. Ну так вот. Вы — горожанка, и, хоть помотало вас по жизни не дай бог как, все-таки основу из-под вас не вышибло. А основа та — город, его психология и окружающая среда. А я — местный, я в этих краях голопузиком бегал, о порог лоб расшибал, лес до кровавых мозолей рубил и не из одних книжек да лекций представление себе составил.

— Любопытно, — поощрительно улыбнулась баба Лера.

Так начался этот спор — едва ли не первое столкновение Владислава с Калерией Викентьевной. Она и вправду сотворила с ним нечто подобное духовному возрождению: разрушила

стереотипы, по которым живут районные руководители. Для них ведь в основном пишутся инструкции и спускаются приказы, что давно уже превратило их в исполнителей воли свыше, в надсмотрщиков, добывал да пробивал. А баба Лера сумела оживить задремавшую было натуру, отвадить ее от бездумного цитирования, приучить к книгам, к размышлениям и сомнениям, к собственным мыслям, наконец. И сейчас, слушая горячащегося собеседника, испытывала огромную радость: она раздула искру еще в одной тлеющей душе. А Владислав упоенно излагал ей свою, личную, продуманную гипотезу…

…Среди множества функций, которые деревня выполняет — продовольственные поставки, рабочая сила, прирост населения и тому подобное, — существенной является еще одна святая ее обязанность. Россия — собственно сама Великороссия, и север ее в особенности, — обосновывалась на землях, отвоеванных у леса только деревней, одной деревней и именно деревней. Она, деревня, отважно шагала в дебри, ценой напряжения всех сил заставляя отступать их и превращая в культурные земли. Мы — захватчики, оккупанты территории, издревле принадлежащей лесу, и пограничную службу

по-прежнему несет все та же деревня. На юге нашей страны, в Европе, на основной пахотной земле Северной Америки и Канады лес давно побежден: у нас он лишь отступил, ушел в себя, затаился и тысячи лет ведет с нами изнурительную партизанскую войну. А что же получается сейчас, когда мы вынуждены стягивать далеко разбросанные деревни да деревушки в села, поселки, агрокомплексы, исходя из реальности, из удобства снабжения энергией, связи, транспорта и тому подобного? А то, что в тех местах, где мы отступаем, ликвидируя деревни, наступает лес. Угодья — сначала луга, поляны, выгоны, затем поля, неудоби, клины и тому подобное — начинают зарастать: лес неумолимо берет свое. Не надо забывать, что мы привычно забываем: тайга была везде. Это мы, деревня, тысячелетним нечеловеческим трудом превратили ее в лес, но этот зверь немедленно дичает, когда уходит человек, и в конечном счете вновь превращается в тайгу. И только деревня, ее пот, ее упорство и вековой навык способны сдержать этот таежный напор: уберите деревню — потеряете уже отвоеванное, покоренное, служащее людям. Мы не Франция, не Германия: мы — Индия, Бразилия, Конго, на нас лес наступает, как и тысячи лет назад. И де-

ревню мы сдаем не цивилизации, не грядущему — мы сдаем ее тайге, дорогая моя горожанка. Вот в чем еще одна проблема именно нашего сельского хозяйства: техническая революция требует концентрации сил и населения, а извечный враг русского мужика — лес — диктует прямо противоположное…

Конечно, это было сказано не совсем так. Это был диалог, спор, Калерия Викентьевна отстаивала свою точку зрения, но в памяти Анисьи осталось только сказанное Владиславом. То ли потому, что аргументация его была ей понятнее, то ли потому, что сам Владислав был деревенским, а значит, неосознанно, изначально своим куда в большей степени, чем боготворимая, но и недоступно непонятная, как божество, баба Лера, — как бы там ни было, а доводы сестрички-каторги потерпели полное фиаско, и Анисья сердито выговаривала Господу, опираясь на понятные ей, но вывернутые наизнанку личными соображениями мысли Владислава Васильевича.

— Думаешь, ты в городе когда жил? — обращалась она к своему привычному оппоненту чаще про себя, но порой и вслух. — Нужен ты им, очень даже! Ты там по церквам прятался, понятно? А в деревне в каждой избе проживал, а в церкву

только к службе ходил, как все равно что поп. Ты в хозяйстве тут нужен был, пособлял, сколько мог, а не пособлял, так плакались тебе, мысли тайные шептали, просили, чего уж очень хотелось, — жениха, корову или смерти ко времени. И другим ты у нас тут был, совсем не то что в городе: там вроде начальника, а у нас вроде как родич, вроде свой, кровный даже, только жил давно, смерть за нас, за мир наш вот этот, деревенский, принял, и на небо тебя за это забрали. И ты глядишь сверху, всех знаешь, и обо всем тебе ведомо: вон Антип Самсоныч соли тайком припас да и не говорит никому, ждет, покуда цена подымется; вон Санька Извеков обратно от вдовой Верки на зорьке выскочил, и сапоги в руке; вон бабка Акулина чужого петуха черной водой окатывает, чтоб ее кур топтал, а не своих собственных. Все ты у нас знал, обо всем ведал, а в городе — ну, что тебе в городе, что тебе за житье было? Ничего ты про них не знал и знать не мог, потому как в запертой церкви тебя держали, будто фраера, а потом и навовсе сбросили. Думаешь, это деревня-дура тебя вредным объявила? Ой, старик, ну чего ты, чего мелешь-то? Город тебя опиумом объявил, город! А ты с обиды все перепутал и нас наказал. Нас, деревню то есть. Народ загубил хозяйство, скоти-

ну под корень повывел, а теперь вон, слыхала я, лес на нас напущаешь. Да знаю я про лес, знаю, не пугай очень-то. Двадцать семь зим не была, а приехала, и, здрасте, лес на дворе. В красном углу лопух вырос — это зачем так-то, а? Мало что семью всю начисто вывел, мало что меня сквозь каторгу проволок — хочешь, чтоб и само место, где свет увидела, лесом заросло? Да неужто за то злобишься, что из города тебя поперли да церкви твои позакрывали? Так на город и злобствуй, а на нас-то за что? А-а, молчишь. Либо уж и сам забыл, за что, либо и не знал никогда. Что, тебе русский мужик на мозоль, что ли, наступил? Чего лютуешь, старый, опомнись!..

Так она очень сердито спорила с Богом, неторопливо — времени хватало, вечера и в августе еще с полдня длиной, — направляясь к старой мельнице заросшей дорогой, по которой когда-то с громом неслись молодецкие пролетки, солидно покачивалась коляска исправника, не спеша и безостановочно шли обозы. После того как разрушили плотину, по этой дороге уже никто не ездил, а новую, автомобильную, проложили дальше от берега, сюда отводки так и не пустили, да и делать-то ее, отводку, не для чего было, потому что жили здесь в ту пору три семьи, да и не

жили, собственно, а доживали, и остатки одной из них Анисья еще застала в лице так рано состарившейся Палашки, что продала ее родимого брата за бидон керосина. Да, не ездили тут, да и ходили редко, и эта частично мощенная крупным булыжником дорога так заросла травой по пояс и кустами выше головы, что и лошадь с телегой уже с трудом прорывалась по ней. Вот он, лес атакующий, вот извечный враг русского мужика, выпущенный на волю, как бандит из лагеря: Анисья видела, чувствовала, ощущала подкоркой опасения Владислава, а потому и выговаривала Господу сурово и справедливо:

— Не любишь ты русских, старый, нет, не любишь. Слепоту на них нагнал, мор, глад и лес в придачу.

Прежде заросли обрывались задолго до мельницы — шли поля да луга с огородами, — а теперь подкатились к самому ручью, осинником приукрасив унылые развалины. И поэтому Анисья заметила человека, сидевшего на черных, как прах, остатках мельничных пристроек, внезапно и близко. Остановилась — он спиной к ней сидел, не видел, — задохнулась вдруг, будто бежала, и руки к сердцу поднесла: показалось, что чудо, что Митя сидит, ее Митя, Митенька, единственный ее.

Но — опомнилась, опустила руки и окликнула:

— Здравствуй, добрый человек. Кто будешь такой?

Сидящий неспешно оборотился, и Анисья увидела длинное, худое, заросшее тощей бородой лицо с такими пустыми, такими не от мира сего глазами, что даже вздрогнула, подумав: убийца. Но тут же забыла об этом, поскольку весь облик незнакомца — высокий костистый лоб, длинные залысины, седина, усталые рабочие руки — отрицал эту догадку. Но все же нахмурилась и вопрос повторила строго:

— Ты кто таков будешь, спрашиваю тебя?

— Грешник, — негромко ответил он, помолчав.

9

Сутулый, нескладный мужик, коротко признавшись, кто он есть, без аппетита и даже как-то угрюмо жевал ржавый венгерский шпик с черствым хлебом, а пустые глаза его, раз глянув на Анисью и увидев ее, продолжали глядеть, но уже в себя, уже ничего не видели и не желали видеть.

Анисья через многое перешла, многого насмотрелась, перебрала людей, перещупала, перечувствовала, а потому и понимала. Сразу понимала, и поддерживать разговор ей было просто, потому что она точно определяла, по какому параграфу проходит ее собеседник и на какую статью потянул бы, вернись опять то волчье время. А тут чуть ли не впервые не могла ничего определить, разобраться и очень расстроилась. Села рядом, сказала сердито:

— Сало жрешь, а у нас в сельпо его уже лет пять как нету.

Отрезал шмат сала, разломил пополам хлебушек и протянул Анисье. Она степенно склонила голову, приняв, и стала неторопливо, с крестьянской истовостью есть, посасывая перченый шпик

и глодая хлеб уцелевшими резцами. Так они сидели и жевали, а когда по Анишиному разумению настала приличная для вопросов минута, она спросила:

— Грешник, говоришь? Пришил, что ли, кого?

Незнакомец усмехнулся. Спустился к ручью, вымыл руки и бороду, напился из горсти. Потом вернулся, поглядел на нее глазами не от мира сего и признался:

— Я царицу видел. Лежит в гробу во всем уборе, а самой, ну, лет пятнадцать, может.

Многое Анисье приходилось слышать: и ругани, и угроз, и просьб, и приказаний, и исповедей как на духу. Ей давно было известно, что никто ее ничем не удивит, кроме разве сестрички-каторги, но тут она настолько оказалась выбитой из привычного, что рука с хлебом замерла на полпути ко рту.

— В кино?

— В гробу, — резко поправил Грешник. — Вырыли мы могилу, а гроб — целехонький, из свинца. Ну, вытащили, крышку срубили, а она лежит там, как в постели. И губы красные. Я сам видел, тетка, своими глазами видел.

— Ты что, из седьмого барака, что ли?

Улыбающаяся в гробу царица, последовавшая,

кстати, сразу после угощения, подействовала на Анисью столь ошеломляюще, что время у нее спуталось, и она вдруг решила, что сидит себе на перекуре с полудурком, каких держали в седьмом бараке, как безопасных; конвоя рядом нет, а полудурок, вместо того чтобы использовать эту радость и залезть бабе под юбку, травит насчет цариц и смотрит бессмысленно. Ну и откуда он может взяться? Только из седьмого барака, больше неоткуда. Но в ответ на ее резонный вопрос мужик глянул равнодушно, и глаза его опять заволокло.

— Ты погоди, погоди, — заинтригованная Анисья тронула его за руку. — Ты дело говори, а не крути вола. Какой гроб, какая могила и что за царица? Может, привиделось тебе? Принял лишнего, и было тебе видение. Мне тоже раз было — ну, сдохнуть можно! Будто, значит, лежу это я…

— Я правду сказал, — угрюмо перебил неизвестный.

— Побожись!

— Грешник я, тетка. Какая тебе божба.

— Ну, скажи: век свободы не видать.

— А ее и так не видать, чего зря-то говорить. Мне шестнадцать было, записался я в комсомол,

и послали нас раскапывать кладбище в Кремле, где Чудов монастырь.

— Зачем раскапывать-то?

— А чтоб добро не пропадало. Ликвидировали его, это кладбище, ну и вырывали, что от мертвяков осталось.

— Кости, что ли?

— Хрена им кости. Кресты серебряные, цепки золотые, перстни, бусы да сережки — вот что мы с древних костей срывали, поняла? Прах один уж, и ты в том прахе копаешься, будто самого в червя превратили. Нашарил чего в человеке бывшем, в страстях его, болях, горях и радостях, — вынь да положь. И выходит — ценность не человек, ценность — на человеке, вот чему нас не уча учили. Поняла, тетка, чему нас выучили-то? Пользе. От сережки есть польза — ей честь и место: от седой бороды, что триста лет в земле лежит, нет пользы — ну и на свалку ее. Подхвати лопатой и швырни в ящик, а если череп с лопаты скатился — ногой поддай, как футбол, и хрен с ним, с предком твоим. Пожил — и будя, и хорошо, и ладно: теперь в удобрения для всеобщей пользы, а вот крест с тебя, мертвец, все-таки сымем и на серебро проверим для пользы дела. Все — только для пользы дела, только для пользы, тетка, вот какую веру

нам преподали…

Любопытно, что, когда он говорил именно эти слова — баба Лера позднее случайно сопоставила во времени и удивилась, — Калерия Викентьевна горячо и убежденно, с полной верой, как только и выступали во дни ее юности, иначе — пулю в лоб или штык в межреберье, — рассказывала старшим пионерам, вожатым, воспитателям и гостям о прошлом их собственной страны. О том прошлом, которое являлось таковым только для слушателей, а для нее, для Калерии Викентьевны, было вечным настоящим и единственным настоящим.

— Нет, история — не звуки отдельных инструментов, даже если в данное мгновение вам слышится труба, зовущая в бой, фортепьяно, на котором исполняют ваш первый вальс, или барабан, сопровождающий на расстрел. Не разрозненные мелодии и не рваные ритмы есть голос истории. И даже не симфония. Голос истории — это и симфония, и ритмы, и сольные партии, и диссонансные мотивы одиночек. История — это грозная какофония, беспощадно разрушающая любую заранее сочиненную музыку.

Калерия Викентьевна выступала, всегда жадно вглядываясь в лица. Не во все скопом и не в

одно-два, а поочередно переводила взгляд, задерживаясь на каждом новом слушателе, стараясь одновременно понять его, не сбиться самой, удержать аудиторию в целом и — упаси бог! — не повториться, не потерять напористого («кавалерийского», как она называла его про себя) ритма и не утратить основной мысли. И чаще всего встречала пустые, дисциплинированные и бездумно глядящие на нее глаза.

— Да, не слушают они вас, — с досадой сказал Владислав Васильевич, когда она, не выдержав, сокрушенно поведала ему об этом открытии. — Не слушают и даже не слышат. Отучили мы их от истории, отвадили. Теперь для них она мертвая наука. Вроде латыни или древнегреческого.

— Вы только подтверждаете мою мысль, что ныне опять возникла насущная необходимость идти в народ, как сто лет назад. Надо развивать детей. Информации у них вроде бы хватает, но знаний нет, да и развитие, увы, застыло на нуле. Полузнайство — это ведь, по сути, и есть знание без развития, без понимания, а основное свойство полузнайства — самоуверенность. И чтобы пробить эту броню, надо говорить, говорить и говорить.

— О чем, Калерия Викентьевна?

— О чем? Хотя бы о том, что польза, полученная ими от образования, не абсолютна. Польза вообще никогда не может служить абсолютом, ибо это всегда частность, сиюминутный результат, арифметика, которой так часто пытаются подменить высшую математику человеческого развития, именуемую диалектикой.

— А глазки-то у слушателей — холодные.

— Зажгу!

И опять жарко горел костер, потоки воздуха высоко вздымали искры. И, встречая то пустые, то отрешенные, то заслоненные чем-то своим, личным глаза, баба Лера упрямо продолжала собственный путь в народ.

— Диалектика в истории не применима столь прямолинейно и событийно, как бы нам этого ни хотелось. Ведь диалектика подразумевает разложение на «про» и «контра», на действие и противодействие, на отрицание отрицания и тому подобное, то есть она слишком логична для живой истории. Да, в конечном счете история выстраивается по законам диалектики, накопив для этого достаточное количество фактов, и… и перестает быть живой. И необходимо не просто знать — необходимо понять, постичь этот парадокс. Для того чтобы почувствовать живую

правду вместо мертвых догм, надо научиться слышать какофонию времени, а не одни лишь марши и оратории…

Нет, не слушали ее: дети — скромно и откровенно, взрослые — изо всех сил делая вид, что слушают внимательно, словно боясь пропустить…

…А вот Анисья слушала жадно, искренне, а порою и несогласно. Но собеседник ее, назвавшийся Грешником, замолчал надолго, старательно набивая табаком огромную кривую трубку.

— Дерьмовый табак пошел, тетка. Трава травой. Помнишь, в войну такой табачишко филичёвым звали? Вот он и есть филичёвый.

— В войну я лес валила, а не табак курила. Ты про царицу говори, что мне война твоя.

Неизвестный раскурил трубку, затянулся, долго кашлял, отплевываясь. Потом прохрипел натужно:

— Снится.

— Ай ты! — всплеснула руками она. — Царевна?

— Там ученый был, успел поглядеть на нее. Говорил, мол, самая настоящая царица Ивана Грозного, что от страху под венцом померла. Марфой, помню, звали, а фамилия… забыл…

— Успел глянуть, говоришь? — затаив дыхание, спросила Анисья. — Как это — успел? Вознеслась она, что ли?

— Рассыпалась. Как гроб вскрыли, так прямо на глазах сереть стала, во прах превращаться. Вот это, тетка, и снится: как красота человеческая во прах обращается.

— Рассыпалась… — с бабьей пронзительной скорбью тихо вздохнула Анисья. — Ах ты, господи, ах ты, жаль-то какая.

— Во прах, — строго повторил Грешник и тоже вздохнул. — Всякая плоть, всякая там материя во прах обращается. И красота человечья тоже, выходит, обращается… А что не обращается, неужто все кругом временное да тленное? Как мыслишь, тетка?

Анисья не ответила. Ей и самой привиделся вдруг огромный тяжелый гроб, в котором — розовощекая и яркогубая, тугая и горячая, готовая любить и рожать, рожать и любить — лежала она сама в свои шестнадцать нарядных лет. А рядом еще стояли гробы, и еще, и еще, и бессчетно, и в каждый сама собой укладывалась такая же, как и она, девчоночка. А потом они все стали сереть и стареть, обращаясь во прах земной, в тлен, в ничто.

— Было, значит, тебе видение про всех нас, — убежденно сказала она, когда ее собственное видение растворилось в потревоженной памяти. — Про всю нашу жизнь тебе Господь кино показал.

— Да не видение! — заорал хмурый мужик, сплюнув и выругавшись от души. — В том-то и дело все, дура-тетка, что истина это, факт, а не блажь моя и не сон! Правда, она страшнее любого там видения, дура ты чертова, тетка. Я же не полоумный какой. — Он сердито попыхтел трубкой и пояснил, успокоившись: — А что снится мне она, то, конечно, мираж всякий, если по-научному объяснить — метафизика. А если не по-научному, а как в старину полагали, то так я это объясняю: совесть во мне проснулась. Значит, она все-таки есть, не метафизика, значит. А коли она есть, то и душа есть, и мне мои мучения за то, что я чужие души вот этими вот руками тревожил, хотя и не по своей воле. Потому и говорю, что — Грешник.

Анисья слушала, кивая каждому слову. Потом помолчала, сочувственно пожевав сухими губами, и спросила строго:

— К попу ходил?

— А на хрена мне к попу? — вновь начал раздражаться мужик. — Где они были, попы эти, когда

мы, комса, шарага сопливая, в прахе народном копались, могилы грабили, церкви взрывали прилюдно, да еще и с хохотом? В штаны они наклали со страху, а кто не наклал, того — на Соловки: слыхала про такое место? И потому нет у нас никакой церкви, а есть проститутки в рясах да с крестами в руках, и я им ни на грош не верю. Кто раз предал, тот и сто раз предаст, это уж точно, это закон железный.

— Может, скажешь еще, что и Бога нет? — с нескрытой угрозой спросила Анисья.

Обиделась она за попов, потому что помнила их не по церквам, а по лагерям, где под этим названием объединяли разношерстную массу верующих, лишенных свободы именно за приверженность совести своей, за отказ от отступничества и за готовность терпеть во имя того, во что они веровали. Это были служители церкви и прихожане, толстовцы и старообрядцы, сектанты и монахи, вытащенные из затворов длинной рукой беззакония. Всех их одинаково насмешливо звали попами, за что-то особенно не любили, гоняли на самые тяжелые работы и ущемляли в чем только могли. А они все сносили с терпением и смирением, и Анисья вскоре зауважала их очень за ту твердость духа, которой так

не хватало многим. И вдруг этот мужик с царицей и заграничным салом…

— Если Бог — совесть, то он есть, — негромко сказал Грешник. — Если Бог — справедливость, то он должен быть. А если он в церквах окопался, тогда не надо. Вот каков мой ответ будет насчет Бога, тетка. А если про меня лично спросишь, то в том моя беда, что я ни во что больше не верю. Верил, было дело, сперва даже сильно верил, потом, правда, послабже, а теперь — все. Истратился. Теперь нету во мне веры ни на грамм, и даже если совесть меня бередит, если грешен я и грех свой сознаю, то все равно облегчения мне не будет, потому что веры во мне нет. Пустой я, как гнилой пень, вот ведь что из меня сделали. Пустую гниль и слизь вложили вместо твердой веры, и душа моя черна, как сажа, а должна бы сверкать, как алмаз.

Из всего, что с горячностью выложил ей незнакомец, Анисья поняла только, что ему тяжко, что нет у него ни места на земле, ни тепла в сердце, что бежит он от себя самого и что бежать ему, пока не упадет замертво. И такие встречались ей, и таких она понимала, а понимая, жалела очень, потому что концы были им, людям тем, которые от самих себя, хрипя кровью, уйти пыта-

лись, одинаковые. В круг они себя загоняли. Круг, из которого выхода не было и быть не могло, и мчались они по кругу этому, покуда замертво не грохались под ноги следом поспевающим. Да, один у них конец был, один, другого и быть не могло. И Анисья сказала строго:

— Хватить бегать-то, будя, набегался. Тут теперь жить будешь, в моем селе Демове.

Вечер тот закончился неожиданностью не только для Анисьи, но и для бабы Леры. Уж догорел костер, с облегчением и радостью зажженный после ее выступления, когда к председателю в ошалелом задыхе прибежал старый, а запуганный еще смолоду дед, сторживший закрытую церковь, где хранились теперь остатки фуражного зерна.

— В церковь четверо залезть пытались, — сказал председатель. — Заедем по дороге, одного механизаторы мои перехватили.

Неизвестные взломали заколоченное окно, однако унести награбленное удалось не всем. А лезли они, естественно, не за зернофуражом, а за иконами, сваленными на чердаке, потому что ни одна организация этими иконами не интересовалась, и председатель давно прекратил всякие попытки избавиться от них.

Все это председатель рассказал бабе Лере по дороге к церкви. Отправив перепуганного сторожа за гвоздями и досками, молча пропустил свою спутницу в тесную сторожку. Там под хмурой охраной троих парней на колченогом табурете сидел молодой человек явно городского типа. У ног его лежал мешок с вещественными доказательствами преступления, но грабитель держался спокойно, и только в том, как беспрестанно облизывал разбитые губы, чувствовалось внутреннее напряжение. Он мельком глянул на председателя, но на Калерии Викентьевне задержал взгляд, и, вероятно, поэтому она попросила:

— Можно мне с ним поговорить?

— Если желаете, — сказал председатель. — Все равно милиция раньше утра не приедет.

Он выпроводил механизаторов, вышел следом и деликатно прикрыл за собою дверь. Баба Лера села на топчан, покрытый старой овчиной, продолжая молча изучать задержанного. Любитель икон, неожиданно по-детски шмыгнув носом, вновь облизал губы и уставился в пол. На вид ему было не более двадцати, но Калерия Викентьевна понимала, что на самом деле он старше.

— Вас ударили?

— Что? Нет. — Он осторожно коснулся губ гряз-

ными пальцами. — Просто упал неудачно.

— Вы художник? Любитель старины? Или, может быть, вы неистово религиозны?

— Что? Нет. Ни то ни другое.

— Тогда что же побудило вас заниматься святотатством?

— Как вы сказали?

— Святотатство — значит осквернение святынь.

— А разве они есть? Святыни, которые можно осквернить? — Вопрос был задан спокойным, в сущности, равнодушным тоном: спрашивающий не интересовался ответом, а констатировал факт. В тоне не содержалось ни бравады, ни позы, ни выпада; все это так не сочеталось с юным обликом преступника, что баба Лера спросила с некоторой растерянностью, неожиданно для себя перейдя на «ты».

— А что, по-твоему, тогда есть? Ведь если нет ничего святого, то что же все-таки есть? Пустое место?

— Скажите, а если бы я портрет Карла Маркса из вашего красного уголка увел, это тоже считалось бы святотатством? — усмехнулся задержанный. — Или у вас в запасе есть еще столь же содержательное определение?

— Из Москвы? — Баба Лера спросила скорее для того, чтобы выиграть время: ей требовалось сообразить, как ответить на выпад.

— Милиция разберется, куда доставить. — Он помолчал и добавил, словно пытаясь смягчить собственную резкость: — Нет, я не москвич. Но ведь и вы не местная.

— Да, я не местная, — машинально подтвердила она.

— Отдыхаете на лоне?

— Отдыхаю. — Она решительно тряхнула седой, всегда с подчеркнутой аккуратностью причесанной головой. — Воровство — безусловная мерзость, что, я полагаю, ты и без меня знаешь. А вот знаешь ли ты, что обворовывание прошлого — мародерство, не уверена. Не уверена, что тебя страшит что-либо, кроме уголовного наказания, но неужели в душе твоей не шевельнулась совесть, когда ты запихивал иконы в мешок? Иконы, в которые с великой верой и с еще более великой надеждой вглядывались целые поколения наших с тобою предков?

— А у вас не шевелилась совесть, когда вы с пеньем под гармошку выламывали эти иконы из иконостасов и сваливали их как попало на чердаках да в подвалах?

— Господи, да тебя же тогда и на свете-то не было! — вздохнула баба Лера. — Что ты можешь знать о…

— Все! — резко перебил он, подавшись вперед. — Это вы думаете, что мы ничего не знаем и знать не хотим, а мы знаем все. Завтра я в милиции плакаться стану, что единственно лишь любовь к запрятанной и гибнущей красоте двигала мною, когда я в церковь лез. Но вы мне представляетесь неглупой старухой, а потому поговорим, как говорится, без протоколов. Не знаю, откуда во мне сейчас этакая исповедальная чесотка, может, пожалею о ней, но хочется хоть одному своему предку задать единственный вопрос: вы отдаете себе отчет, что вы наделали? Что, разрушив систему устаревшую, вы из ее же ржавых деталей начали кое-как собирать систему новую, но впопыхах забыли про вечный двигатель духовного прогресса — про нравственность? И что в результате получили?

— Тебе не кажется, что ты смешал в кучу все подряд? Ведь мы не косметический ремонт державе Российской делали, а строили абсолютно новое государство, не имея ни опыта, ни сил, ни средств, ни аналогов в мировой истории. Да, мы натворили множество ошибок, даже преступле-

ний, но в целом-то, в целом нам же удалось чудо! Нам удалось заложить фундамент небывалого завтрашнего дня. Небывалого!

— Эт-точно, — усмехнулся молодой человек. — Уж чего-чего, а небывалого у нас навалом. — Он вдруг опять резко подался вперед. — Фундамент, говорите? Чудо, говорите? Спас на Крови ваше чудо. Вот вы спросили, откуда я, так я — из Ленинграда, из колыбели революции, как любит выражаться наша пресса. Мой отец, чудом успев нас с мамой в эвакуацию отправить, всю блокаду в Ленинграде по двадцать четыре часа работал, из кабинета не уходя. А в пятьдесят первом его к стенке прислонили. А потом мне — мама от горя умерла, — мне в пятьдесят седьмом писульку прислали: извиняемся, дескать, неувязочка вышла, не того хлопнули. Святотатство, говорите? Что посеешь, то и пожнешь, вот вам и все святотатство. Поколения, предки!.. Чушь собачья, нет у меня никаких предков вашими совместными ошибками. Нету, все корни обрублены. И для меня эта вчерашняя святость, — он ткнул ногой в мешок, — товар. Товар для заскучавшего нашего мещанина во дворянстве. Вот так-то, бабуня. Учительница первая моя.

— Обиделся, значит? — Калерия Викентьевна

сочувственно покивала. — Понимаю, понимаю, встречала и таких. Только ведь обида — реакция слабых, ибо утешительна она и сладковата при всей горечи своей.

— Меня устраивает, — сказал он. — И все. И до свидания: мне выспаться надо, а то знаем мы эти ваши допросы.

— Что ты знаешь?.. — горько вздохнула баба Лера.

Она вышла на крыльцо, где курил председатель. Темнело, с окраины Красногорья доносилась музыка из приемника, включенного на полную мощность, да рядом, у церкви, слышался стук молотков: парни заколачивали выломанное окно.

— Поговорили?

— Как вы сказали? — Она точно очнулась. — Знаете, просьба к вам. Огромная.

— Уж коли в силах.

— Отпустите вы этого парня на все четыре стороны. Пожалуйста.

— С иконами, что ли? — опешил председатель.

— Нет, без икон. Иконы мне отдайте. На память.

— Как скажете, Калерия Викентьевна, — растерянно протянул председатель. — Как скажете.

Конфисковав награбленное, он и вправду тут

же отпустил ленинградца («Чтоб духу твоего…»). Молодой человек молча растворился в сумерках, иконы сложили в телегу, баба Лера и председатель шли позади, лошадь тащилась по бывшей дороге, и прибыли они к бывшей запруде в темноте, когда Анисья уже начала пугаться, не случилось ли чего.

— Ну слава те, — ворчливо сказала она. — А я тут жильца нам подобрала, слышь, курский? Хватит ему по свету шляться.

— Документы прошу, — строго сказал председатель.

Грешник молча протянул потрепанный паспорт, председатель зажег фонарь и стал разглядывать то паспорт, то владельца, а Анисья заметила с неудовольствием:

— Ну не беглый, не беглый, нутром чую.

— Гражданин Трофименков? — спросил председатель, не ответив Анисье.

— Трохименков я, понятно? — с плохо скрытым раздражением сказал неизвестный. — Трохименков — хер, а не фук.

— Куда идете, Трохименков?

— На край земли.

— Ишь ты. А там чего, на краю?

— А на краю я погляжу. Ежели обрыв — вниз

брошусь, ежели стена — башку расшибу.

— Сердитый ты мужик, — усмехнулся председатель, возвращая паспорт. — Ладно, живи в Демове, если Калерия Викентьевна не против.

— Буду очень рада, — улыбнулась баба Лера, протягивая руку.

И опять тащились за телегой уже в совершенной тьме. Лошадь с фырканьем и хрустом продиралась сквозь кусты, на телеге сухо постукивали иконы, было тепло, тихо и печально. И Калерия Викентьевна почему-то думала, что печаль эта оттого, что они в темноте увозят по глубокому бездорожью иконы, которые столько лет хранились там, где и положено им было храниться: в церкви, построенной и изукрашенной на деньги искренне верующих. «Святотатство, — сказала она себе самой. — Вот это и есть святотатство: кража святынь. И все мы — и музеи, и художники, и коллекционеры, и спекулянты, и воры вроде сегодняшнего — все-все, весь народ — спокойно и деловито занимаемся сейчас святотатством…»

Так сказала она, заглушая в душе горький выпад ленинградца: «Нет у меня предков вашими совместными ошибками». Именно это и было высшей формой святотатства, но, понимая, баба Лера упорно, изо всех сил глушила это понима-

ние в душе своей.

10

Зимы здесь были долгими и снежными. В конце октября начинались первые снегопады, после праздников мороз уже не отпускал, а снега все шли и шли, засыпая избы до окон второго этажа. Жили внизу в трех маленьких комнатках, топили от темна и до темна, а по утрам холод все равно проникал внутрь сквозь старые бревна и ссохшуюся, растасканную мышами и птицами паклю. Анисья всегда вставала первой, не столько потому, что была моложе, сколько по извечной бабьей привычке, внушенной матерью и пронесенной сквозь лагеря. Затапливала печь, старательно раздувая угли под пеплом и никогда не пользуясь спичками, как раздували огонь все ее далекие бабки и прабабки, подпаливала лучину, клала колодцем сухие дрова, ставила самовар, а «Лерю Милентьевну» будила только тогда, когда изба прогревалась, а самовар басовито гудел. И хотя баба Лера просыпалась чаще всего раньше своей Аниши, но вида не подавала, чтобы не нарушать заведенного порядка. Потом чинно пили чай и шли разгребать снег, чтобы не завалило совсем.

Как же я жалею сейчас, что так и не побывал у

них зимой! Не ощутил утреннего пронзительного озноба, не слышал, как потрескивают, разгораясь, дрова в русской печи, не пил, обжигаясь, чай в сером сумраке северного, поздно нарождающегося дня. И не разгребал снег от крыльца, не таскал воду из проруби на Двине, не рубил эту прорубь, не носил дров из дровяника. И не слышал утреннего ворчанья Анисьи:

— Господи, ну куды сыплешь-то, куды? Знаешь, поди, что мужиков нету, что нам тут разгребаться, старым бабам, а все сыплешь и сыплешь. И когда у тебя совесть заговорит?

Об этих ворчаньях часто вспоминала баба Лера в свое последнее лето. И грустно улыбалась:

— Аниша искренне полагала, что у Бога непременно должна быть совесть и что рано или поздно она в нем проснется и заговорит, и тогда случится что-то необыкновенно доброе… А ведь совесть живет только в людях. Разве не так?

— Думаю, что здесь более уместно прошедшее время.

— Пожалуй, хоть это и весьма печально… Знаете, что значит: «совесть заговорила»? Это спор двух половин души: животной и социальной, личной и общественной. А ныне совесть стремится к монолиту: либо личная, либо уж такая

общественная, что не приведи господь.

— И вы серьезно рассуждаете о душе? Баба Лера, вы же атеистка!

— Именно потому и рассуждаю, что атеистка. Это у безбожников нет души, и они безумно пугаются любого ее проявления, а у атеистов душа сохраняется. Ведь атеизм — это не голое отрицание, а путь познания, который всегда опаснее самого знания: как же на нем обойтись без души? Опаснее и… жестче: прикиньте людские потери на этой дороге…

Я еще не понимал тогда, что и сама Калерия Викентьевна Вологодова тоже потеря на дороге нашего познания Добра и Зла. Я понял это, когда ее не стало, когда так ощутимо обеднел не только мой, личный, но и наш общий мир. Обеднел духовно, обеднел совестью, той, общей совестью, которая одна на всех, но разлита в мире неравномерно, а сконцентрирована в некоторых особо одаренных натурах, способных брать на себя тяжкое бремя, всегда быть центром кристаллизации этой всеобщей совести.

— Истинствовать, — любила говорить она. — Мы совершенно разучились истинствовать, а ведь это такой национальный, такой русский глагол!..

Да, к истине бредут через ложь, это аксиома истории, но как же нужны неразмываемые устои, ориентиры и точки опоры, чтобы не забрести в болото… Так я думал тогда, когда бабы Леры не стало, так думаю и сейчас: увы, мы постигаем ценность человеческой души тогда лишь, когда теряем ее…

Грешник понял эту ценность в полной мере еще при жизни бабы Леры, оборвав свой угрюмый безадресный бег в никуда и осев в Демове, но поначалу не со старушками, а в дряхлом, покосившемся дрянном домишке, расположенном на отшибе и ближе к реке. Целыми днями он трудился: стучал топором, к великой радости Анисьи, колол на зиму дрова, помогал в огороде. Но больше всего любил ловить рыбу. Вскоре, правда, колхоз превратился в ферму при совхозе, бывший председатель уехал в свои курские места, но остался Владислав Васильевич, сразу взявший на себя заботу о трех потерянных душах. Он пригнал Грешнику лодку и, смущаясь, подарил запретные орудия лова: сеть и перемет.

— Вы уж не афишируйте, ладно? А старушкам рыбки свежей поесть — первое дело.

Грешник принялся за ловлю со свойственной ему молчаливой неистовостью, и продо-

вольственный вопрос, отнимавший столько внимания, сил и времени, оказался почти решенным. Овощи и картофель были всегда, теперь появилась рыба, и Анисья куда реже ходила в Красногорье, что, правда, ее скорее расстраивало, чем радовало. Зато она приладилась покупать по две, а то и по три бутылки, но открыто приносила только одну, а остальные прятала до поры, потому что Грешник от водки отказался наотрез:

— На дух не переношу и считаю ее самым злостным врагом нашего народа. Категорически!..

— Ну разве ж это мужик? — пьяно жаловалась Анисья. — Водки не пьет, нас с тобой, Леря Миленьтьевна, не шугает и меня ни разу еще не облапил, будто не баба я вовсе, а куль в юбке.

— Потерпи немного, привыкает он. А привыкнет — и навестит тебя на зорьке, — улыбнулась баба Лера. — Ты, Аниша, дверь свою все-таки не запирай.

— Я ее которую уж ночь настежь держу, — вздыхала Анисья. — Уж сопли меня прошибли, а все зря. Он заместо теплой бабы на реку спозаранку бежит, будто водяной. И это, сестричка-каторга, летом, когда, известное дело, пень одень, и он в лесу за бабу сойдет.

— Как зовут-то его, так и не узнала?

— Темнит. Трохименков, мол, я, и все тут, и хватит, и на хрена тебе мое имя?

— Может, без подхода спрашивала?

— Без подхода? — презрительно переспросила Анисья и безнадежно махнула рукой. — Не только что с подходом, а так ластилась, будто б… конвойная, а все зря, даже себя жалко… «Конвойная» — я сказала? А чего это я так сказала, а, Леря Милентьевна?

Таинственный Трохименков, громогласно объявивший себя Грешником, очень занимал и Калерию Викентьевну. Вдосталь наговорившись о мертвой царевне — разговор этот передала бабе Лере Анисья с массой собственных комментариев, — новый сосед больше прошлого не касался. Он вообще был на редкость угрюмым и неразговорчивым, но необщительным его никак невозможно было посчитать: он любил бывать у женщин, ел с ними из общего котла, слушал и не спешил уходить, но отвечал всегда по возможности кратко и только на поставленный вопрос. Калерия Викентьевна и так и этак подбиралась к нему, наблюдала, следила и наконец поняла: ее тоже изучают, за ней тоже наблюдают и следят. И от этого открытия ей стало как-то легче: Грешник оказывался угрюмым молчуном не

из-за характера, а из-за обстоятельств, поскольку, вероятно, жизнь научила его и недоверчивости, и скрытности.

— Присматривается он к нам, — сказала она. — А присмотрится, привыкнет и оттает. Вот посмотришь, Аниша, так будет.

— Не везет мне на мужиков. — Анисья упрямо гнула свое. — То пьянь с топором, то холодец с удочкой.

Кроме загадок с новым жильцом села Демова, у бабы Леры появилась еще одна приятная забота: иконы. Она тщательно протерла каждую постным маслом, а потом долго развешивала в пустой, так и не обжитой ими, зале, стремясь создать нечто вроде экспозиции. Дело оказалось непростым, поскольку не было ни опыта, ни навыков. Калерия Викентьевна билась долго и упорно, перевешивая иконы множество раз, но в конце концов своего добилась. Самодеятельная ее выставка смотрелась не просто скопищем старых, давно уж скрытых слоем почерневшей олифы досок, а маленькой коллекцией, развернутой по определенному принципу. Владислав Васильевич оказался первым посетителем, остался весьма доволен и неожиданно предложил:

— Я к вам иконы свозить буду. Знаете, музеи бе-

рут мало и без охоты, воруют их все кому не лень, а если и не воруют, то все равно портятся они. От сырости, от жучков, от мышей, от равнодушия да глупости людской.

Он и вправду доставил ей десятка три икон, потом — еще, и баба Лера, ликуя, развернула уже не выставку, а настоящий музей, заняв для этого почти три четверти их огромного дома. Затем все тот же Владислав Васильевич прислал реставраторов — молодую чету, людей скромных и милых. Они прожили недели три, расчистили много икон, а с десяток отобрали для областного музея, откуда вскоре после их отъезда пришло благодарственное письмо, так обрадовавшее Калерию Викентьевну. Она очень хотела быть полезной, не желала никакого законного отдыха, пенсиона, категорически утверждая, что сочетание «интеллигент на пенсии» звучит для нее с чисто чеховской иронией.

— Ну, это уж вы слишком, — сказал Владислав Васильевич, когда она изложила ему свою позицию.

Это случилось в конце сентября. Я уже отгостил и вернулся в Москву, туристский сезон тоже закончился, и Демово давно уже никто не навещал. А тут заглянул вдруг Владислав с очередной

партией икон, и Анисья радостно ринулась готовить. К вечеру — а вечерело уже рано — пришел Трохименков; сдал Анисье улов, сидел в углу, молча слушал.

— Тут есть о чем поспорить, Калерия Викентьевна. Правда, спорить мы не умеем, мы все больше глоткой берем да цитатами, но все же.

— Знаете, почему мы разучились спорить? Мы забыли, что до спора надо уславливаться о единстве терминологии. Мы этого никогда не делаем, потому что спорам нас не учат ни в одном учебном заведении, и чаще всего вместо спора, то есть столкновения точек зрения, толчем в ступе одну-единую и общую точку просто потому, что различно называем сходные понятия. Ну, к примеру, что вы понимаете под словом «интеллигенция»?

— Интеллигенция? — Владислав не решился утверждать свое. — Прослойка общества, занимающаяся умственной и творческой деятельностью, обладающая специальными знаниями…

— То есть дипломом?

— Дипломом не обязательно, а профессией обязательно.

— Вот сколь различны наши суждения, — улыбнулась баба Лера. — Для вас интеллигенция

— понятие социальное, а для меня — нравственное. Это противоречит энциклопедическим словарям? Возможно. Но ведь мы сейчас не отвечаем на экзамене по билету. В лагерях сидело множество людей образованных, которые тоже валили лес и добывали уголь, руду, золото. И что же, они перестали быть интеллигентами? Нет. Следовательно, не вид труда определяет интеллигенцию, не социальное ее положение, а запас нравственности, духовности, как говаривали в старину. Мне кажется, что под словами «интеллигенция», «интеллигент» следует понимать не способ заработка, а количество духовности выше обычного, выше норматива, а потому и перешедшее в иное качество. Интеллигентность — качественный скачок духовности человека, а есть ли при этом у него диплом о высшем образовании или нет — совершенно несущественно. Высокий духовный потенциал, скачкообразно, в полном соответствии с диалектикой, превращающей человека обычного в человека интеллигентного, естественно, легче нажить при хорошем образовании, но не это главное. Главное — ощущение своей личности, осознание своего «я», ясное представление об историческом базисе этого «я» и спокойное внутреннее ощущение

своих прав и обязанностей.

— Калерия Викентьевна, вы впали в идеализм! — с торжеством воскликнул Владислав Васильевич.

— В таком случае да здравствует идеализм. Еще Гегель говорил о делении людей на хозяев жизни и лакеев жизни; вам не кажется, что под хозяевами он подразумевал тех, кого потом русский писатель Боборыкин назовет интеллигенцией?

— Хозяин тот, кто трудится, — вдруг глухо и недобро сказал Трохименков. — Так у Горького сказано.

До сей поры он тихо сидел в углу, сопел своей огромной трубкой и помалкивал. Анисья хлопотала, таская из сеней и погреба закуски; он мешал ей, вытянув ноги, но Анисья почему-то не сердилась, всякий раз молча перешагивая через них, а он почему-то не убирал, хотя видел, что мешает.

— Это литературная формула, друг мой, — сказала баба Лера, обрадовавшись, что Грешник включился в разговор. — Алексей Максимович вообще имел склонность к афоризмам, но далеко не все его афоризмы стали народной мудростью.

Трохименков никак не отреагировал на ее слова. Сосал свою трубку, застыв в неподвижности, спорить ни с кем не собирался, но послушать был

не прочь. Владислав Васильевич так и понял его молчание.

— Так что же там у идеалиста Гегеля, Калерия Викентьевна?

— А у Гегеля сверхзадача, сверхидея «Философии истории», если помните, как раз и заключается в становлении духа и в осознании им самого себя. Теперь давайте спроецируем самопознание духа на самопознание человека, личности, и назовем познавших свое «я», свою миссию в обществе и место в нем хозяевами жизни, а поленившихся сделать это — лакеями ее. И попробуем порассуждать. Пункт первый и самый главный: отношение к труду. Хозяин воспринимает труд как нечто естественное, как потребность, как непреложный закон бытия, в то время как лакей естественным полагает ничегонеделание: труд для него — каторга, насилие над собой. Пункт второй: отношение к истине. Хозяин никогда не солжет, какой бы горькой ни была правда и какими бы карами она ему ни грозила, ибо истина для него дороже жизни. А лакей не просто солжет, как только этого от него потребуют, но солжет с удовольствием, тем самым без всякого риска себя утверждая. Согласны? Пункт третий: отношение к обществу. Хозяин воспринимает чужую волю

— даже если это воля общества! — или чужое мнение всегда критически, всегда подвергая все сомнению и проверке личным опытом, поскольку имеет и личное мнение, и личный опыт. А лакей принимает чужое мнение как приказ, без всяких рассуждений: чужим мнением, чужой волей, чужими мыслями жить для него и проще, и легче, и бесхлопотнее. Четвертый пункт: отношение к бытию. Хозяин не стремится ни к удобствам, ни к чинам, ни к званиям, ни к удовольствиям, находя максимальное удовольствие в собственной деятельности и собственном труде и ради этого довольствуясь малым. А лакей? Да для него удобства, карьера, удовольствия — сам смысл жизни, сама идея ее, цель заветная. Вот вам четыре стороны жизни человеческой, и если вы проанализируете отношение людей к ним, вы придете к гегелевскому постулату: люди делятся на хозяев и лакеев не по социальному положению — не по богатству, не по образованию или происхождению, а только по отношению их к жизни, по осознанию ими своего места в ней. А отсюда — прямой мостик к знаменитой русской интеллигенции. Да, интеллигенция декабристов и народовольцев, Пушкина и Герцена, Лаврова и Кропоткина была истинной хозяйкой жизни,

ибо воспитывалась в предпосылке личной ответственности за судьбы родины. Личной, а не коллективной, Владислав Ва…

— Неправда! — вскочив, вдруг дико закричал Трохименков. — Болтуны! Сказки рассказывали, да? Народ обманывали, да? Счастья ему завтра, сахару ему в борщ! Язык подвешен, чего не наврет! А Россию проговорили, проболтали, промечтали! Про…рали Россию, про…рали, про…рали!..

Он кричал и кричал, дергаясь, топоча ногами. По лицу его текли слезы, он задыхался, рвал на груди рубашку, уже проваливаясь то ли в истерику, то ли в падучую, уже переходя на бессвязный крик пополам с матом. Владислав Васильевич и Анисья бросились к нему, но он с невероятной силой расшвырял их, упал сам, задергался, забился. Владислав навалился сверху, Анисья подхватила под плечи, держала голову, которую тот все время запрокидывал. И кричала растерявшейся бабе Лере:

— Нож! Давай нож, чего обмерла? Припадочных не видела, что ли? Нож!

Вырвала из рук нож, тупой стороной разжала зубы, запихала в рот кусок кухонного полотенца, что оказался под рукой. Грешник обмяк, застыл с запрокинутой головой и крепко стиснутым в

зубах полотенцем. Владислав Васильевич и Анисья перетащили его на кровать; Анисья раздела, укутала потеплее, вернулась.

— Часов двадцать ежели поспит, так ничего и не вспомнит. Вот, значит, почему он водочкой-то брезговал… — Принесла бутылку, со стуком поставила на стол. — Ну а мы выпьем. За всех припадочных.

Баба Лера и Владислав Васильевич о чем-то говорили: Анисья не слушала. Выпила полстакана, сказала убежденно:

— Это ему за царицу. За могилы Господь его покарал, потому-то он и грешник.

Анисья хорошо знала, что говорила: уж что-что, а припадочных в женских лагерях навидалась достаточно. И навидалась, и навозилась с ними, потому что всегда была милосердной и сострадательной. И диагноз, и последствия были указаны с абсолютной точностью: проспав двадцать часов, Трохименков ничего не помнил, но и ни о чем не расспрашивал. Лежал неподвижно, глядел в потолок, ел помалу и нехотя, а в лице появилось что-то новое («просветленное», как про себя определила баба Лера), и если прежде он был просто молчаливым, то теперь стал задумчивым.

— Хотите сказку расскажу?

Был вечер, горела лампа, и женщины сидели в теплой маленькой комнате Анисьи, где и лежал ослабевший после припадка Грешник. Анисья намеревалась заняться починкой, притащила ворох одежды; баба Лера собиралась читать ей и больному, но больной вдруг предложил сказку.

— Жила-была на белом свете очень хорошая женщина, и звали ее Доброта. Всем она была по нраву, всем вышла, как говорится, только никому ни в чем не умела отказывать. Кто что ни попросит — поплачет, а согласится. По доброте душевной. Сватался к ней, к примеру, молодец, да ни о чем не успел попросить, а другой — попросил: Доброта поплакала ночь, поплакала день, да и вышла замуж за другого.

Муж ее был купец: толстый, богатый и очень жадный. Торговал, обманывал, выпрашивал, обвешивал, а сам ночей не спал: все считал, что у соседей и денег больше, и товары лучше, и жена наряднее. И так эта мысль в нем засела, так она тревожила его и покою ему не давала, что, когда Доброта дочь ему родила, он эту дочь Завистью назвал. Думал, если, мол, назову, то сам завидовать перестану, а на деле ничего не вышло, и он аккурат от зависти-то и помер.

Осталась Доброта с дочкой Завистью, и нача-

лась у них трудная жизнь. Прежде она, когда одна была, всех любила, всех жалела, всех хорошими считала да умными, а теперь доченька ей каждое утро в уши жужжала: «Этот богаче нас! Та красивее меня! Эта лучше тебя!» Доброта с дочкой спорить не умела — она вообще по своей доброте никогда ни с кем не спорила, — верить не верила, а по ночам плакала и сделать ничего не могла. Не жизнь — мученье сплошное, да тут опять за нею молодец ухаживать начал, но пока рот раскрыл — другой руки попросил. Доброта опять поплакала и опять отказать не смогла.

Второй ее муж был большим начальником, да слабого здоровья и все боялся, что не успеет он до самого высокого поста дослужиться: помрет раньше времени. И чтоб этого не случилось, он доносы начал на людей строчить. Сперва на сослуживцев да соперников, потом во вкус вошел — и на всех подряд. Мол, что же это получится: я помру, а они жить будут? Нет, лучше пусть сперва они помрут, а я — потом как-нибудь. И так эта мысль его тревожила, что, когда Доброта ему дочку родила, он ее Нависть назвал, а сам помер.

Стала Доброта с двумя дочками жить — с Завистью да с Нависть. Одна все время считает, у кого денег больше да платье красивее, а вторая

доносы пишет, на людей наводит, чтоб соперниц всех убрать и остаться одной, а потому и самой красивой. А Доброта только плачет да убивается, убивается да плачет, а спорить не решается и вот-вот от двойного огорчения в могилу сойдет. Так бы оно и случилось, да вновь повстречался ей молодец. Только с духом собрался, чтобы в любви объясниться, да оттерли его плечом, и совсем даже другой руки у нее попросил. А Доброта поплакала, да и не смогла отказать.

Третий муж у нее оказался военным и больше всего на свете людей не любил. Не каких-то там определенных: толстых, богатых, худых или бедных, а всех вообще. Он воевать любил, а что такое война без убийства? Не бывает, поэтому он все время мечтал только о том, чтобы поскорее мир кончился, чтобы поскорее война началась. А так как люди войны не хотели и за мир боролись, то он их и ненавидел лютой своей ненавистью. Так ненавидел, что дочку свою, которую ему Доброта родила, Ненавистью назвал. Назвал, на радостях где-то там войну начал, да тут его и убили.

Вот так и осталась горемычная Доброта с тремя своими дочками, тремя сестричками — Завистью, Нависть да Ненавистью. Целыми днями сестрички своими любимыми делами занимались, а

Доброта только страдала да плакала, плакала да страдала, а поделать с ними ничего не могла да и не решалась, потому что очень была добрая. И так она себя извела, так дочки ее измучили, что все это вместе и приблизило ее смертный час. Почувствовала его Доброта и испугалась. Не за себя, конечно, а за дочерей, которых оставляла. Собрала их перед смертью и сказала так:

— Дорогие мои доченьки, Зависть, Нависть да Ненависть. Умираю я, исстрадавшись, а вас, сирот несчастных, людям оставляю. Но чтобы не пропали вы окончательно, чтоб хоть что-то в вас живое жило, чтоб людей от вас уберечь, я перед смертью на три части разорвусь и в каждой из вас укроюсь. В самой глубине, в сердцевиночке, в самом-самом тайном уголке души вашей. Настолько тайном, что сами вы обо мне вскоре позабудете, но, может, люди хоть когда-нибудь на меня наткнутся и вспомнят, что жила я когда-то на свете.

И исчезла, сказав так, в каждой из дочерей. Вот с той поры и нет среди нас живой доброты, а бродят только Зависть, Нависть да Ненависть. Но в каждой из сестричек есть кусочек от матушки, который ждет часа своего, чтобы снова вернуться к людям.

Грешник замолчал. Калерия Викентьевна вздохнула, а Анисья сказала недовольно:

— Разве ж это сказка? Я думала, про царицу расскажешь.

— А в тебе нет сестричек, — вдруг улыбнулся ей Трохименков. — Ни Зависти, ни Нависти, ни Ненависти.

— Горькая у вас вышла притча, — сказала баба Лера, — но все же до конца Доброту убить и вы не решились.

— А хотел, — сказал он серьезно. — От доброты все зло, только от доброты.

— И все же не убили, — с торжеством повторила Калерия Викентьевна. — Не могли даже в мыслях убить ее, а это значит, что за нею, за добротой, и будет в конце концов победа. Просто надо жить…

— Просто! — недовольно перебил он. — Что такое жить, знаете? Жить — это семь раз упасть да восемь подняться: что, просто? Нет, не просто, ой не просто! Потому-то и живут, хорошо, если десять из сотни. А остальные не живут, а существуют. Вроде как коровы: в стойле стоят, сено едят, молочко дают, водичку пьют, а сами — в дерьме по колени.

— Откуда в вас этакая злая нетерпимость? —

вздохнула баба Лера.

— Нетерпимость? — Он не улыбнулся — ощерился. — Разве ж нетерпимость это? Это — зависть, нависть да ненависть во мне колобродят.

— Выпей, — тихо сказала Анисья. — Я тебе сейчас водички клюквенной дам, а ты выпей.

Она вышла, а Трохименков сказал:

— Людей переучивать надо. Мы все учим да учим, а надо переучивать. Всех подряд — и малых, и старых.

— Зачем?

— Зачем? А затем, чтоб ненависти, зла да зависти в людях не было. Ни к кому не должно быть ни ненависти, ни злобы, ни зависти — тогда будет мир и счастье. И доброта тогда вернется. А мы ведь ненависти учим с детского возраста, если вдуматься, злу учим, а не добру, а добро…

Замолчал, уставясь в тихо подошедшую Анисью. Калерия Викентьевна увидела вдруг, как чуть оттаяли его глаза, как потеплело бледное до синевы, неряшливо заросшее лицо, улыбнулась и тихо вышла из комнаты. А Трохименков этого, кажется, и не заметил.

11

— Вот тогда я и подумала, что если он и расскажет хоть что-то о себе, то — одной Анисье, — вспоминала баба Лера в то последнее лето, когда никого не было в живых. — А ей неинтересно было его расспрашивать. Думаете, из-за отсутствия любопытства? Совсем нет: просто она его понимала. Она так удивительно точно его понимала, что уже и не нуждалась ни в каких комментариях.

— Родственные души? — не очень складно спрашиваю я.

— Нет, скорее — потерпевшие крушение. Не знаю, как там другие народы, а мы, русские, хорошо понимаем друг друга только в беде. В больницах, на фронте, в лагерях, катастрофах и — потерпев крушение.

— Так скажу, Леря Милентьевна, что сильно он несчастный человек. И горе его куда нашего побольнее: мы свою каторгу снаружи носим, а он — внутри.

Анисья была очень обеспокоена этим внутренним размещением каторги у прибившегося к ним хмурого и больного мужика. Любовь ее

начиналась с жалости в полном соответствии с классической путаницей русских баб относительно значений глаголов «любить» и «жалеть». Милосердие, ростки которого то и дело прорывались в истоптанной и заплеванной, как лагерный плац, душе ее, наконец-то обрели почву, цель и солнце.

— Знаешь, говорит, я, говорит, беспризорником рос, — таинственно шептала она, по-девичьи забравшись в постель к бабе Лере, чего никогда доселе не делала. — Не знаю, говорит, ни отца, ни маменьки, под забором, говорит, с голодухи подыхал, а тут — работа: могилы раскапывать. Вот тогда-то он царицу и выкопал, а она, стерва, ему сниться начала, вот где страсти-то господни! Натерпелся он, ох и натерпелся же, горькая душа! Потом бросил лопату, в ученье подался, на завод, что ли, устроился. И забылось, затянулось, живую царицу встретил, да и свадьбу сыграл как положено. Стали жить да поживать с молодой-то женушкой, а тут — на тебе, война. Ну, отвоевал, отстрадался, домой живым воротился, а жена возьми да помри. С радости, что ли… Я бы, наверно, с радости точно померла, не осилила бы ее, непривычная она мне… Да. А он с горя пить стал, а у него — пацан да девка, ну и пропил он их.

Опамятовался: парень его в тюряге вшей давит, а девчонка по рукам пошла. И опять ему царица в гробу являться начала, и понял он, что грех на нем, мучился и метался, от пьянства лечился да обратно пил, а потом взял да и ушел куда глаза глядят. Вот, сестричка-каторга, каково оно, горе-то человеческое…

Калерия Викентьевна смахнула слезу и виновато улыбнулась. Она никогда не плакала, но в то последнее лето слезы часто появлялись на ее щеках; баба Лера поспешно вытирала их и непременнейшим образом улыбалась, безмолвно прося прощения. Публичное проявление слабости русская интеллигенция всегда считала недопустимым, и Калерия Викентьевна Вологодова искренне стеснялась собственных чувств.

— Великое счастье Аниши, что она умерла, свято веря в легенду.

— Значит, Грешник лгал?

— Лгал? — Калерия Викентьевна задумывается, непроизвольно встряхивая седой аккуратной головой. — Нет, это не ложь, это нечто иное, очень национальное. Помните, Герцен говорил, что у нас, у русских, чересчур уж развит бугор желания нравиться? Это святая правда, я многажды убеждалась в прозорливости нашего гения,

но с одним непременным уточнением: мы, как правило, стремимся понравиться абсолютно бескорыстно. И этот несчастный сочинял себе биографию, думая прежде всего об Анише. Он ведь прекрасно знал и то, где провела она зимы свои, и то, что она любит его со всей отчаявшейся силой. Это не мои догадки, это его собственные признания, когда не для кого стало сочинять. Да и сочинял-то он надстройку, а не основу, но так, чтоб надстройка эта казалась куда пострашнее фундамента. А мне поначалу вообще ничего не рассказывал. Отмалчивался, отнекивался, ворчал что-то невразумительное. А говорить о себе начал после того, как сказочку сочинил. Странная сказочка была, нелепая какая-то, судорожная, и только потом — потом, задним числом! — поняла я, что это ведь его доброту разодрали Зависть, Нависть да Ненависть. Он о собственной жизни аллегорическое предисловие поведал, словно предупреждал: «Думай, старая, думай, вникай в душу мою». Но, повторюсь, это все я сообразила с запозданием. И слава богу, что с запозданием, слава богу…

Белая, старательно — волосок к волоску — причесанная голова бабы Леры непроизвольно подергивается, но старое, сморщенное лицо ее

озаряется улыбкой. Улыбка уже не молодит, и все же что-то непобедимо юное просвечивает изнутри. Не иссохшего тела, нет — изнутри самой жизни бабы Леры. Просвечивает там, ради чего жила на свете ровесница века Калерия Викентьевна Вологодова.

— Я думала, мы с ним — сверстники, потому что он и выглядел, и рассуждал, как сверстник. А потом узнала, что он на десять лет моложе, что революцию встретил ребенком. Казалось бы — пропасть между нами, временной провал, а по сути, по мировосприятию, что ли, никакого провала не было. Странно, правда? Ведь между нами не просто десять лет — между нами Гражданская война, величайшее потрясение народное.

Я тогда не ответил, да баба Лера и не ждала ответа. А ведь суть заключалась в том, что юная Лерочка Вологодова, в семнадцать отважно шагнувшая в самое пекло Гражданской войны, так и осталась восторженной гимназисткой, в то время как все вокруг взрослели с ускорением, обеспеченным боями, шомполами, расстрелами, виселицами, голодом и холодом. Законсервированная романтической влюбленностью молодость Леры Вологодовой притормозила ее взросление, тогда как бескомпромиссная ярость

села, в котором рос Трохименков, бандитские пули, продразверстка и небывалые трудности делали из подростка мужчину в считаные месяцы.

— Считайте, ровеснички мы: оба в саже, если не гаже. Только все же есть разница меж нами, Калерия Викентьевна: вы образованная, а я — с Поволжья. С голоду бежал куда глаза глядят. Знаете, что такое голод?

Грешник заговорил после припадка. Сперва рассказал сказочку, а затем потянуло его на беседы, и если раньше он предпочитал слушать, то теперь — рассуждать.

— Голод — всему предел: отец дочку за корку хлеба продаст, мать — себя саму, брат — сестру, сестра — брата, потому что нет больше законов. Только страх в тебе растет, а законов нету. И каждый, у кого хлебушек, тебе что захочет, то и скомандует. А ты — исполнишь. За пайку хлеба все исполнишь, вот как я теперь понимаю. У кого хлеб, у того и сила, потому и организовали, значит, колхозы, чтобы силу к рукам прибрать. А дальше просто: кто накормит, тот и барин, мы к этому привыкли, нам и переучиваться не пришлось.

— Друг мой, у вас упрощенческая точка зрения и, извините, вредная. Да, очень вредная и не

наша. Я многих встречала в лагерях, которые проповедовали то же самое, и, скажу искренне, возмущена, что их реабилитировали. Колхозное строительство было закономерным шагом на пути исторического развития нашего общества. Закономерным!

— Опять в слова играем? — усмехнулся Грешник. — Ну-ну.

— Да поймите ж, дорогой мой, у нас, у нашей страны, просто не было иного выхода. Не было, не существовало. Россия окончательно разорилась и обессилела после мировой, а затем и Гражданской войны. А капиталистическое окружение существовало реально, и там, за кордоном, только и выжидали удобного часа, чтобы навсегда разделаться с первым в мире государством рабочих и крестьян. И нам необходим был решительный шаг, чтобы превратить Россию в современную индустриальную…

— За чей счет? Бросьте, слова все! Кто нам угрожал, когда весь мир аккурат в то самое времечко переживал великий кризис? Да если бы и угрожал, так неужто страх перед угрозой того океана слез да крови стоит, который мы из крестьянства выжали, наганом его в коллективный рай загоняя? Да вы лучше на Анисью свою гляньте, на

сестрицу названую, как сама же утверждаете.

— Я лучше вас знаю цену, которую мы заплатили истории. — Баба Лера невольно повысила голос, хотя всегда стыдилась этого. — Но и за восемнадцать лет лагерей я ни разу не позволила себе ни нотки сомнения. Ни я, ни мои друзья по борьбе за идею…

— Да идея для вас давно уж зеркалом стала, — спокойно и даже с некоторой укоризной перебил Грешник, и Калерия Викентьевна замолчала в растерянности. — Вы в него всю жизнь глядели, всю жизнь в нем себя да тех, кто рядышком, видели, всю жизнь восторгались: какие, мол, мы смелые, честные, чистые да красивые. И столько в вас восторгу этого накопилось, что вы и сегодня всех зовете в то же зеркало глядеться, да и сама перед ними красуетесь. А я сызмальства в то зеркало с иного боку глядел, с изнанки. Знаете, что у зеркала с изнанки? Чернота.

Баба Лера не сразу нашлась что ответить, но он и не ждал ее ответов. Он будто снова заглянул в свою черноту, увидел ее так, как воспринимал много лет, и не нуждался более в собеседнике. Ему нужен был слушатель, а может быть, и слушателя не требовалось: требовалось высказаться. Говорить и говорить, и он — говорил.

— Почему я в беспризорниках не пропал? Так отвечу: с голоду. Хорошо я его узнал, близко: у нас полсела от него вымерло, а мои родичи — так все поголовно. И я голода боялся больше всего на свете, потому и не пропал. Я обеспеченный кусок хлеба искал, а не только тот, что стибрить удалось, а потому возле заводов да мастерских разных куда чаще вертелся, чем возле базаров. И приметили меня, в чернорабочие приспособили. На полдня, правда, и на ползарплаты, но к делу определили, карточки выдали продовольственные, талоны в столовую. Но жизнь мою не завод определил, а — митинг, на который меня с завода послали как не имеющего рабочей профессии. Знаете, что я на том митинге услыхал? Самое главное, что меня тогда тревожило: «Чтобы хлеба у нас всегда было вдоволь, надо строить новые заводы. А чтобы строить, нужно золото, потому что только на золото буржуи продадут нам станки и разное оборудование. А золото — в земле: одурманенные религией темные люди хоронили своих эксплуататоров с кольцами, цепками, сережками, крестами и прочими драгоценными побрякушками. И мы объявляем все скрытые в могилах богатства народным достоянием…»

— Какое кощунство! — Баба Лера возмущенно

передернула плечами. — Не верю, слышите? Не верю вам!

— Вру, значит? Не-ет, слово в слово запомнил, слово в слово и вам повторил. — Трохименков помолчал, выкрикнул вдруг: — Он хлебушка мне обещал, вдоволь обещал, понятно это вам? Мне, у которого с голодухи померли все! Кощунство? Кощунство — это когда в России с голоду мрут, вот это — кощунство. И я первым заорал тогда, на митинге, когда добровольцев стали записывать. Потому заорал, что голод собственным брюхом прочувствовал, что не себя — я уж сыт тогда был, — я весь народ, всю Россию хотел хлебушком досыта накормить. Вот тут-то мне сразу заступ и вручили. Орудие производства.

В тот день он ни слова более не добавил. То ли увидел, с каким брезгливым ужасом смотрит на него баба Лера, то ли сам настолько разволновался, что и говорить-то уж не мог. Отвернулся лицом к стене и замер, как в недавние времена.

А Калерия Викентьевна до вечера бродила как потерянная. Натыкалась на стулья и лавки, ела, не разбирая, что ест, а в голове вертелся рассказ Грешника о том, как он стал грешником, почему вызвался сам и как вручили ему прилюдно страшноватое орудие его производства.

— Лера Милентьевна, да что это с тобой? — растревожилась Анисья. — Да никак заболела ты, что ли?

— Нет, Аниша, не заболела. О болезни узнала.

— О болезни? Это ж о какой такой?

— В мире есть царь, этот царь беспощаден: голод прозванье ему.

— Да уж, не приведи господь, — вздохнула Анисья и перестала допытываться.

Грешник вернулся к рассказу о себе на следующий день, как только ушла Анисья. Она хлопотала по хозяйству с зари и до зари, загодя готовясь к затяжной, вьюжной и суровой зиме.

— И начали мы свои кладбища перелопачивать. От края и до края, как в песне поется. Так скажу, что ни одной неразграбленной могилы у нас не осталось. Почему спросите? Да потому, что и мы, гробокопатели, соцобязательства на себя брали, выполняли и перевыполняли. К примеру, могилу героя Бородинского сражения генерала Багратиона раскопали, гроб выволокли, а могилу обратно закопали. Да еще и взорвали, чтоб концы в воду. Ныне вон слыхал я, что обратно все восстановили, венки к той могиле кладут, а она — пустая яма. И таких пустых ям после нас — вся Россия.

Он продолжал говорить, но баба Лера вдруг перестала его слышать. В ней впервые вздрогнуло что-то, будто на миг щелкнули выключатели, осветили, но свет тут же погас, и Калерия Викентьевна напрасно вглядывалась во вновь сгустившуюся тьму.

— Это я потом поняла, что Россия для Трохименкова всегда была понятием старательским, а не историческим, не родным и даже не административным. Думаете, уникум? Как бы не так. К величайшему сожалению, мы взрастили, любовно выпестовали целую армию подобных Трохименкову золотишников, которые беспощадно вымывали из нашей родины и нашего народа крупицы золота, все остальное сваливая в отвал. Цель оправдывала средства — будь то человеческая жизнь, любовь, достоинство, честь… — Баба Лера горестно качает седой головой. — Да, так о Грешнике. Не до конца я его поняла тогда, если правду сказать. Мне, например, до самого последнего часа неясно было, зачем он выдумывал то, что так легко открывалось. Да не как частность придумывал, не ради красного словца, а в качестве основополагающей причины собственных поступков.

— Что именно, баба Лера?

Последнее лето, закат, играющая красками Двина. Баба Лера смотрит на меня глубоко запавшими, воспаленными от беспрерывного неуемного чтения глазами, синими до сей поры. В них — горькое недоумение… Или я ошибаюсь? Может, не недоумение это — а прозрение? Столь же горькое, почему я и ошибаюсь.

— Помните, я говорила вам, что председатель колхоза потребовал у Трохименкова паспорт? А вскоре после нашего разговора о разворованных склепах и перерытых кладбищах председатель сдал дела и перед отъездом на родину в свою Курскую область зашел попрощаться. Разговаривали наедине — Аниша Трохименкова прогуливала, он уже выходить начал, — пили чай, и я вспомнила о голоде, который столь страшно отразился на судьбе нашего Грешника. «Какой голод? — удивился председатель. — Да он же, Трохименков этот, в Воронежской губернии родился. Далековато от поволжского голода…»

— Как? Значит, выдумывал он про голод, про погибшую семью? Зачем? С какой целью?

— И здесь все непросто. Он же мог предполагать, что я знаю правду или могу ее узнать: ведь в паспорте обозначено место рождения. — Баба Лера замолкает, долго, задумчиво глядя на

спокойную Двину. — Может быть, ему хотелось, чтобы я сама догадалась?

— О чем?

— О чем? О том, о чем сумела догадаться моя Аниша. Любовь прозорливее старости…

Тогда баба Лера ни словом не обмолвилась Грешнику о словах председателя. Он уже вставал, уже выходил один, но пока ненадолго, а долго гулял только с Анисьей, когда она бывала свободна. Кое-что делал по дому, но пока осторожно и вроде бы без прежнего удовольствия. А вот к рассказам возвращался постоянно, как только оставались вдвоем.

— Вот говорю с вами, говорю, а — недоговариваю. Улавливаете? Автобиографию излагаю, а не саму сущность ее.

— А в чем же сущность?

Баба Лера старалась поддерживать прежний тон, хотя это давалось ей нелегко. Она не умела хитрить, не любила недоговоренностей, но не могла и в мыслях допустить, что можно поставить человека в неудобное положение. Природная деликатность удерживала ее от грубого: «Хватит лгать, знаю я про ваш голод!» И Калерия Викентьевна, насилуя себя, играла роль непривычную, чужую даже.

— Многого нас жизнь лишила, — сказал он. — А главная потеря — так это искренность. Боимся мы друг друга и даже на самом краю земли и жизни до конца не раскрываемся. Исповеди избегаем.

— Исповедь требует высшего мужества. Оно не каждому по плечу.

— А вы переменились в разговоре со мной, Калерия Викентьевна. Сильно переменились. Раньше все — «друг мой» да «дорогой мой», а теперь — ни-ни. Могилы мои испугали?

— Поверьте, что нет. Без задних мыслей… друг мой.

— Ну, поверю. — Грешник невесело усмехнулся. Помолчал, сказал, понизив голос: — Могилы раскапывать погано, но раскулаченных развозить — еще поганее, почему и боюсь, что Анисья услышит.

— Возили?

— Сопровождал. Только не проговоритесь, Богом прошу. Одна она у меня.

— И Анишу тоже… сопровождали?

— Нет, тут повезло, я на других направлениях служил. Собрали нас в начале великого перелома, велели лопаты сдать и — по эшелонам. Нет, не конвойными, что вы. Сопровождающим агитатором. Получаешь эшелон, по дороге кон-

тролируешь, чтоб кормили, но главное — по вагонам агитируешь: мол, ты кем, отец, был? В навозе ты копался, как жук, а теперь в рабочий класс переходишь. Гордись!.. А бабы в голос голосят, детишки ревмя ревут, на станциях охрана никого из вагонов даже за нуждой не выпускает, а мы знай себе текущий момент разъясняем…

Да, рвали деревню из земли, как здоровый зуб: с хрустом, с мясом, с болью, с кровью, но и с наркозом, без передыху нахваливая завтрашний земной рай. Грохотали по бесконечным российским дорогам спецэшелоны, груз, как скот, принимали по счету и сдавали по счету, заменяя умерших официально заверенными бумажками: «мужчин сто двадцать, женщин сто сорок, детей шестьдесят три да пятьдесят два акта на выбывших в пути». А далее — дощатый барак, трехъярусные нары, буржуйка да сушилка, если она была. Подъем по рельсу, обед по рельсу, отбой по рельсу, а между рельсами — работа, работа, работа. И бесконечные митинги: «Ура, товарищи, первой свае!..», «Ура, товарищи, первому пролету!..», «Ура, товарищи, первому цеху!..» — знамена, грохот оркестров, восторги. Рождались новые дороги, города, заводы, плотины, каналы, а умирали люди. Умирали тихо, будто стыдясь,

что помирают. И никто не подсчитывал, сколько человеческих душ заключено в одной лошадиной силе и не слишком ли дорого нам встал неистовый энтузиазм первых пятилеток.

Трохименков и его товарищи не возводили стен, не рыли траншей, не топтали ледяной бетон босыми ногами, они сопровождали, агитировали, доставляли, показывали пример. А все действительно росло, строилось, возникало на чистом месте, оживало, дымило, давало чугун и лошадиные силы, прокат и киловатты, автомобили, тракторы, комбайны. Великая цель оказалась реальной, не только достижимой, но и уже достигнутой раньше всяких сроков, и поэтому никто никогда не думал о средствах. Цель затмила их навсегда — именно в этом и заключалось величайшее достижение энтузиазма, — а выжившие раскулаченные, силком трудообязанные и прочие провинившиеся элементы и вправду уже перековались, получив специальность, навык, опыт и тем самым шагнув в ряды рабочего класса. И Трохименков видел гигантский размах строек, он с невероятной гордостью ощущал дерзостный порыв, он жаждал сам со всей энергией участвовать в великом деле.

— Я хочу стать монтером.

— Ты пойдешь учиться. Мы знаем, что у тебя слабовато с образованием, но — поможем.

Помогли…

— Помогли. — Лицо бабы Леры делается строгим, застенчивая улыбка вдруг покидает его. — Вспоминаю один разговор. В начале зимы… может, почувствовал он, что последняя она, зима эта?..

— Знаете, кто самый счастливый? Те, у кого детей нет.

— Я, по-вашему, самая счастливая?

— У вас есть дети, Калерия Викентьевна. Просто вы не знаете, где они и какие они, но они же существуют. Существуют — для мести. Кто знает, может, отбирали-то их у вас и фамилии не меняли, чтоб потом мщение их использовать.

— Каждое последующее поколение лучше предыдущего. Иначе и быть не может, это закон человеческого развития.

— Каждое последующее поколение судит предыдущее, потому что знает, понимает и может оценить его действия. Нет, уважаемая Калерия Викентьевна, сыновьям дано отмщение за грехи наши. Им отмщение, им.

— Знаете, а я один раз напилась, — неожиданно призналась баба Лера. — Купила бутылку водки

и выпила почти всю. Одна. В пятьдесят восьмом, что ли. Когда окончательно сказали, что разыскать моих детей не представляется возможным. Извините, это чисто женские воспоминания, а вы говорили о…

— О боязни. — Он тоже говорил непоследовательно, потому что это была не беседа, а мысли вслух. — Люди всего боятся, замечали, поди? Смерти и жизни, прошлого и будущего. И общества боятся, и одиночества… Бояться — самый необходимый, самый наш глагол.

— Простите, не совсем поняла. Вы начали говорить вдруг очень уж литературно, друг мой, и суть я упустила.

— Суть? Суть — в удивлении: это как же нужно прожить жизнь, чтобы бояться в глаза собственным детям смотреть? Так что вы, Калерия Викентьевна, счастливый человек, что так и не нашли своих детей…

12

В ту зиму, страшную не только своими морозами, но и своей прицельной жестокостью, снега легли поздно. Уже цепко держались морозы, уже трещали деревья в лесу, уже звонким льдом затянуло старицы да заливы, а дороги еще не перемело. Еще не завалило их окончательно, еще кое-где и снега-то не было, а где был — так не выше колена. Еще Демово не отрезало от людей, не превратило в один-единственный дом, окруженный снегами по самые плечи. Еще существовала нормальная связь с Красногорьем, и Анисья торопилась использовать эту природную милость, через день бегая в магазин, в котором покупать было нечего. Но водка и здесь не переводилась, и Анисья помаленьку запасалась ею, хотя впрямую никогда этого не говорила, заботясь как бы совсем о другом.

— Спичек надо прикупить.

— Да ведь у нас есть спички, Аниша. На три зимы.

— Леря Милентьевна, так скажу, что запас ж… не дерет. А ну как отсыреют все враз?

В эти походы ее часто сопровождал Трохимен-

ков. Рыба уже залегла в ямы, не ловилась ни на крючки, ни в сети, а прогулки в Красногорье занимали все светлое время: уходили в темноте и возвращались затемно. Продрогнув и промерзнув, шумно вваливались в жарко натопленную избу к уютному самовару и готовому столу, и во всем была странная, почти праздничная радость. Радостью был теплый дом после длинной, холодной и ветреной дороги; радостью оказывался накрытый стол после столь долгого пути; радостью пел самовар, и все эти радости вместе создавали праздник.

— Ах ты, рюмочка с устаточку! — восторженно и умиленно приговаривала Анисья. — Ничего нет слаще для русской души.

Странные это были походы. Весь длинный путь туда и назад, от Демова до Красногорья и от Красногорья до Демова, шли молча, и им было так хорошо, что усталые души их светлели, а ноги шагали и шагали, будто не отшагали до этого целые жизни. И никакой разговор не требовался, словно общались они на тех особо коротких волнах, когда мужчина и женщина понимают друг друга без слов. А если и возникали слова, то и они звучали особо:

— Ты не устала?

— Ай, несут меня ножки, Васенька. Я ж кругом тебя раз сто обегаю, а ты и не замечаешь.

— Не замечаю, Нюша. Ты уж прости, угрюмый я.

— И не замечай, угрюмый мой, мужикам не все замечать надобно. Вы ведь, поди, и знать-то не знаете, что бабы от счастья над землей летают.

Или шепотом:

— Глянь, Вася, белочка. Ах, хороша, ах, красивато как, господи?

И брала его за руку. И они долго стояли рука в руке, глядя на рыжего зверька, деловито очищающего шишку. Так ведут себя молодые, вдруг заново замечая птиц и зверей, траву и деревья, солнце и дождь. Непрожитое дремлет в душе человеческой, как зерно, ожидая тепла и влаги, чтобы прорасти. И в душе Анисьи хранилась мечта о счастье и, ощутив тепло, проросла и зазеленела; и хмурый, ушедший в себя Грешник понял ее и понял себя, начав неуверенно улыбаться. Нерастраченная нежность Анисьи не только согрела, но и озадачила его: он все время хотел сделать ей приятное, доброе, все время страшился ненароком обидеть, задеть, оцарапать ее распахнутое настежь сердце, боялся, что слишком уж он сух, ожесточен, углублен в себя.

— Да будьте вы самим собой, — говорила баба Лера. — Не думайте вы, бога ради, как вести себя: женщины особенно чутки на естественность поведения, и Аниша только огорчается от вашего старания.

— Боюсь эгоистом стать.

— Напрасно, эгоизм свойствен мужчинам. И признаться, мы с Анишей стосковались по эгоистам.

— Смеетесь, Калерия Викентьевна?

— Улыбаюсь. От счастья за названую сестричку свою. И этакая сладенькая мысль шевелиться начинает — о торжестве справедливости. Признайтесь, эта наивная мечта всех оскорбленных и униженных вас тоже порою умиляет?

— Не далее как вчера, когда мы два часа муравейником восторгались, — мягко улыбнулся Трохименков. — Нюша мне про муравьиное хозяйство рассказывает, а я смотрю на это хозяйство и думаю, что у доброго человека счастье всегда с собой. Увидел птицу — обрадовался, увидел росу на листке — умилился, обогрел встречного — и сам счастлив больше его самого. И еще я подумал, что вот такими и были, наверное, русские люди — носили счастье с собой и радовались, коли счастьем этим поделиться удавалось. А им вдруг

иную задачу взяли да и поставили: брать, хватать, покорять, добиваться. «Нет таких крепостей…», «Нечего нам ждать милостей от природы…», «Покорим тайгу, реку, пустыню…» — помните? Противен народу был этот культ силы да завоеваний, вот он и запил. Так, как сейчас, Россия за всю свою историю не пила, потому что это не просто распитие водки — это запой. Родина наша в запое, Калерия Викентьевна, вот ведь беда какая с нею приключилась.

— Запой? — задумчиво переспросила баба Лера. — Пожалуй, соглашусь: да, у нас уже не пьянство, у нас нечто пострашнее. И если раньше говаривалось, что «веселие Руси есть пити», то теперь — «забвение Руси есть пити»: раньше искали в вине веселья, ныне — забвения, что типично для форм тяжелого алкоголизма. Тут я с вами согласна, только причину усматриваю в ином. Совершенно иная причина, как мне кажется, в этом всероссийском запое.

— Какая, любопытно? — усмехнулся Трохименков.

— Знаете, я училась, когда национальным характером объясняли очень многое, доводя зачастую вопрос до абсурда, до тупика. Скажем, англичане по натуре — господа, французы — бун-

тари, немцы — солдаты, а русские кто?.. А русские, увы, холопы. Нам свойственна смиренность так же, как британцам — гордость, французам — дерзость, а немцам — исполнительность.

— Ничего себе смирение. Три революции за двадцать лет.

— А сколько терпели до этого? Нет, друг мой, в общем контексте истории наши революции лишь подтверждают свойственную России смиренность. И это понятно: если учесть тысячелетнее отсутствие элементарных свобод, монгольское иго, феодальную грызню, боярское безграничное самовластие, засилие чиновников всех рангов и, наконец, крепостное право, отмененное у нас великодушием верхов, а не яростью низов. Все это не могло не создать совершенно особый тип народного характера: внешнее смирение и согласие при глубоко спрятанном бунтарстве и отрицании. Говоря «да», мы никогда не исполняем этого «да» до конца, потому что именно этим путем и привыкли выражать свое несогласие. Саботаж — вот наиболее привычная форма борьбы для русского народа, ибо он сотни лет мог бороться только таким путем. Внешняя покорность при полном внутреннем неподчинении — вот что такое русский национальный характер. И пьянство,

массовый алкоголизм, тот всероссийский запой, который вы так точно подметили, есть, как мне кажется, лишь иная форма свойственного нам подспудного протеста. Так сказать, моральный саботаж или, точнее, саботаж общепринятой морали, которая подавляющему большинству кажется навязанной, а потому и фальшивой.

Они спорили почти каждый день и почти по каждому поводу. Споры эти рождались не от несогласий, а от желания задать вопрос и получить ответ, а потому не разводили их, а сближали. Споры носили, как правило, характер абстрактный, теоретический, и Анисья участия в них не принимала. Она в последнее время вообще уж и не спорила: будучи яростной спорщицей по натуре, вечная каторжанка вдруг отмякла, заудивлялась душе своей, заулыбалась новому своему состоянию и позабыла и о спорах, и о дерзостях, и о шуме, став тихой, ласковой и теплой и сохранив от старого только тягу к рюмочке.

— Гляди, Васенька, гуси домой летят. Вот сколько разов гляжу вслед, столько и думаю: а увижу ли, когда возвратятся они? Или уж и сама улечу, откуда не прилетают?

Она никогда не ждала от него ответов: немыслимую радость доставляла ей сама возможность

задавать вопросы не по необходимости, а просто так, от ощущения полноты жизни.

— Гляди-ка, небо-то какое синее! А почему это оно синее, Васенька? Воздух весь насквозь виден, и цвета в нем никакого, хоть назад, хоть вперед гляди. А как на небо — так синь и видишь. Откуда ж синь эта, Васенька?

Ожесточенному и потерянному Трохименкову с нею было легко. Он сам согревался и оттаивал, но порою вдруг точно спохватывался и — злобился:

— Святые вы, что ли? Ведь били вас и обижали, оскорбляли и издевались, близких уничтожили, молодость украли, жизнь загубили, а вы все равно радуетесь. Чему вы радуетесь-то, объясните?

— А что люди живут, Васенька. Живут где-то люди, синь эту видят, солнышко чувствуют да детишек доброму учат.

— Доброму? Ну-ну, заблуждайся, — зло и недоверчиво ворочался в Трохименкове вчерашний Грешник.

Но доброе и на него действовало: приступов долго не случалось. Однако до излечения было далеко, и в начале той злой бесснежной зимы его забило вдруг со всей накопившейся силой. А на следующий день, когда, по Анисьиным расчетам,

полагалось всему пройти, поднялась температура. Ни компрессы, ни малина, ни расхожие лекарства из аптечки Калерии Викентьевны не помогли, и через сутки Анисья кинулась в Красногорье за фельдшерицей.

Вышла затемно и все четырнадцать верст пролетела единым духом, будто молодая. Будто не было за плечами каторги, невиданных тягот и неслыханных потерь, будто стояло ее Демово во всей силе и красе, будто стоял в том Демове просторный дом, рубленный на века, будто по-прежнему жила в нем большая, дружная, работящая семья и будто все еще была в этой семье матушкина баловница Нюша, на которую засматривались не только парни, но и мужики с бабами: «Ай, хороша девка у Демовых. Всем хороша!» Нет, не одна радость крыльями снабжает: у страха в запасе куда помощнее двигатели. И они гнали сейчас Анисью сквозь мертвый, заледенелый в бесснежной стуже лес, не давая ни вздохнуть, ни охнуть, а все бежать да бежать, бежать да шептать: «Господи, пощади, Господи, не отымай, Господи, сохрани!..» И не помнила, как домчалась до Красногорья: ни времени не запомнила этого, ни собственных слез и молитв, ни даже того, замерз ли ручей подле бывшей мельницы, тоже не

помнила. А ведь там как раз и повстречалась она впервые со своим Васенькой, с Трохименковым, с великим Грешником, разрывшим заступом своим не одну сотню могил, а зарывшим еще больше. И опомнилась, когда ноги подкосились.

— Уехала фельдшерица.

— Как уехала? Куда это? Зачем?

Вот тут и сломало ее. Слабость вдруг накатила, какой и не ощущала никогда. Не то что тело — каждая клеточка надломилась в ней.

— Как же, как?..

— За маслом. Масло ей в Котласе обещали достать. Целых два кило.

— Два кило?..

Она это спросила или нет? И голоса не было, а — спросила. Про два кило масла, что обещали в городе Котласе единственной их фельдшерице. Сутки езды.

— Обещала завтра к вечеру вернуться. Послезавтра до вас доберется.

Посидела, покурила. Что-то говорили ей — вроде фельдшерицы дождаться предлагали, чтобы вместе ехать, — она не отвечала, да и не очень вслушивалась. Докурила третью папиросу — и отпустило ее. Почувствовала, как продрогла, сидя распаренной после бега на морозном ветер-

ке, и пошла в магазин. Купила хлеба, сколько выпросила — шесть буханок отпустили, по две на человека, — купила водки — этого добра без счета давали, хоть залейся, и выпила бутылку без передыху, как блатные пьют.

— Обогрейся, — сказала продавщица. — Озябла ведь.

— Идти надо. Темь в лесу, и зги не видать.

И пошла. Шагала, покачиваясь то ли от мешка на горбу, то ли от выпитой натощак бутылки, то ли от усталости — еще той, безнадежной, вскоренившейся в ней, которую носила постоянно, будто невидимые миру каторжные свои кандалы. В голове звон стоял, и она не шептала больше молитв, да и не помнила ничего, тупо, как заведенная, переставляя задеревенелые ноги.

Опомнилась на спуске к ручью. Здесь дорога делала крутую петлю, огибая подпертое некогда плотиной озерко. От него осталась заросшая болотина; мороз сковал последние бочаги, сверкающие голым льдом в быстро надвигающихся сумерках, и Анисья вдруг изменила привычный маршрут. Вместо дуги в добрых полторы версты решила идти напрямик через замерзший ручей и заболоченную низину: спуститься через кустарник, пересечь поблескивающее льдом болото да

подняться к развалинам старой мельницы, где когда-то впервые увидела Грешника. Сейчас она вспомнила об этой встрече, устало улыбнулась и решительно заспешила вниз по промерзшей, твердой, как камень, земле, сквозь голые хрупкие кусты. Спустилась в низину и засеменила через болото, оскользаясь на отполированном ветрами бесснежном льду.

Он был прочным и звонким, не трещал и не прогибался, и Анисья ступала смело, боясь только упасть. Сумерки густели с каждым ее шагом; она спешила, а тут еще налетел ветер, сек лицо, вышибая слезы. И, прикрываясь от него, Анисья не заметила, как вступила на старое русло, где лед был еще тонок, потому что быстрая вода не успела промерзнуть до дна. И провалился он поэтому почти беззвучно и совершенно неожиданно: словно разъехался под ногами. Было неглубоко, опора нашлась сразу, и Анисья даже не успела испугаться. Но лед кругом оказался хрупким, вылезти на него не удавалось, и она, спеша и задыхаясь, долго шла через ручей, ломая ледяной панцирь и остро ощущая облепивший тело холод. «Угораздило! — сердито подумалось ей. — И чего ты дурачка-то строишь, Господи, мало, что ли, надо мной покуражился?..»

Когда вылезла, не только юбка — все белье и само тело были мокрыми. «Господи, пока тут костер разожжешь… Тьфу ты, господи!..» Нет, не хотелось ей терять время, тыркаться в темноте, разводить огонь, сушить тряпки свои. Торопливо разделась на ветру, отжала, как смогла, одежду, натянула сырое на голое, уже стынущее тело, приговаривая: «Ах ты, Господи, ну, дурень ты старый, ну, зачем это наделал, для какого ляду?..» Хлебнула добрую половину из захваченной бутылки и кинулась по заросшей знакомой дороге, уже невидимой в темноте.

Еще на бегу том — страшном, сухо звенящем бегу заживо замерзающего человека — ее впервые ударило тяжелой, сжимающей болью. Боль росла изнутри, обессиливала, не давала дышать, и Анисья не понимала, откуда идет она, эта боль. Что заболело-то у нее, где уголок тот, который вдруг способен бросать в пугающий ледяной жар ее всю, целиком, который сильнее ее, с которым не сладить никакой силой, не затушить, не укротить. «Да что же ты делаешь-то, Господи?! — почти с отчаянием подумала она. — Ведь этак и помру сейчас, на бегу помру, а как же сестричка моя, как же Васенька? Как же они-то зимою, да без меня…»

Вот на этой отчаянной мысли («Да как же они-то зимою, да без меня?!»), на этой единственной силе Анисья и добежала до дома. Добежала, гремя заледенелой одеждой, оскользаясь и спотыкаясь и уже не видя ничего. Вошла, хватая широко разинутым ртом не желающий лезть в легкие воздух, хотела что-то сказать, два раза губами плямкнула и — рухнула на пол.

— Восемь километров с инфарктом — это кто же мог бы, кроме моей Аниши? — тихо спрашивает кого-то баба Лера, и две слезинки сползают по морщинистым щекам. — Почувствовала тогда, что умрет раньше меня, вот ужас-то в чем заключается. Я ведь без ее забот оставалась: без дров, которые она носила, без печки, которую она топила, без уборки, стирки, без хождения за хлебом в Красногорье. Ей казалось, что она смертью своей меня предаст, можете себе это представить?

Это — через полгода после того дня. Я только что приехал, только вошел; я сижу рядом с бабой Лерой и почему-то держу ее узкую, сухую ладонь в своих руках. А она — рассказывает:

— Восемь километров с инфарктом…

Тогда Калерия Викентьевна сама поставила диагноз, исходя скорее из интуиции, чем из опыта. Уложила в постель, не велела вставать,

постаралась снять боль. На третий день, как и было договорено, приехала фельдшерица, полпути проделав пешком и подобрав по дороге брошенную Анисьей котомку с хлебом. Подтвердила диагноз, испугалась сама, велела срочно в больницу…

— Катись, — задыхаясь, с хрипом выговорила Анисья. — Где еще что дают?

— Врача надо, — всхлипывая, говорила фельдшерица бабе Лере. — Я сообщу, не беспокойтесь. Я чего уехала в Котлас? Дети у меня, двое, а сестра двоюродная — она в столовой работает — масла обещала. А насчет врача, может, мотосани, а? Хотя снега нет, не дадут. Может, вертолет? Вы же понимаете: дети у меня. Двое. Как без масла-то, а?..

То ли от волнения, то ли от домашних средств, то ли сам собой — а выздоровел Трохименков. Днями и ночами сидел подле серой, безучастной, с трудом дышащей Анисьи, и она молча глядела перед собой остановившимися глазами. Может, слушала свою боль, может, вспоминала свою жизнь, может, уже прощалась, ожидая близкого часа своего. Фельдшерица оставила все, что могло помочь или хотя бы облегчить; баба Лера сама делала уколы, и после третьего Анисья наконец

уснула. Спала спокойно и крепко, даже порозовела во сне.

— Идите, — сказала баба Лера. — Передохните, а я посижу.

Грешник долго ничего не мог сказать. Тыкал вздрагивающей рукой в Анисью, разевал рот, но подбородок у него прыгал, и из глотки вырывался какой-то сип вместо слов.

— Человек, — с трудом произнес он наконец. — Зачем мы на свете живем, а? Ради идеи? Чтоб власть удержать? Чтоб правду никто не узнал? Во имя будущего? А настоящее что, в землю? Под ноги, в грязь, в навоз, в дерьмо?.. Помню, когда молодым дураком был, нам кричали: «Вы — кирпичи будущего!» А мы и гордились, недоумки, не соображая, что из кирпичей будущего сегодня и свинарника не сложишь.

— Вы не правы, нет, не правы. Бывают, знаете, в истории периоды, когда поколения обязаны работать, бороться и страдать во имя будущего всего народа.

— Да они-то тут при чем? — с болью выкрикнул он. — Мы ведь во имя светлого будущего темные войны вели. Как дикари какие: чей бог лучше. Разве не так оно, если без громких слов, а? Кричим: прогресс, прогресс! А весь наш прогресс

— железяки с проводами. А вокруг чего только не натворили: и вранья, и доносов, и подлостей, и каторгу восстановили пострашнее царской, и труд подневольный за палку на трудодень, что, не так, может? И ничего святого уж нет, и в кровище все да в грязи по колени: это Нюша — чистая, а мы — нет. Потому нет, что она по совести жила даже на каторге, а мы приказы исполняли. Всю жизнь мы с вами приказы исполняли, а она — что совесть ей велела. Будущее, говорите? А что это такое — будущее? Приказали нам насчет будущего, вот мы и… А мне вон объясняли, как ради всеобщего равенства, братства да свободы гильотину изобрели.

— Не сердитесь, — вздохнула баба Лера, убеждая себя, что не хочет спорить, а на самом деле едва ли не впервые поняв, что у нее нет более аргументов.

Трудно, ах как трудно сдавалась Анисья своей последней болезни. Она не привыкла болеть, она с цветущей, тугой своей юности на всю жизнь вынесла железное правило, что болезнь есть смерть, и из последних сил не принимала, не признавала, воевала с ней, пугаясь собственной слабости, нарастающей с каждым днем.

— Нет-нет, я ничего, ничего, — бормотала

она. — Я встану, встану сейчас и на работу, куда велят…

— Привяжу, — сурово говорил Трохименков. — Ей-богу, ремнем к кровати привяжу.

А потом свыклась. Лежала тихо, спокойно, благонравно, ласково глядя на мир добрыми, отогретыми глазами. Слушала себя, свое большое, безмерно усталое тело, в котором теперь уж навсегда поселилась задышливая, потная слабость и тайная, лишь на время приглушенная боль, но больше не боялась ни боли, ни слабости. Только не хотела разговаривать, слушать и отвечать: на этом, втором этапе болезни ей вполне хватало личных ощущений, которые она изучала дотошно, с крестьянской неторопливостью и основательностью.

— Что это она все время молчит, Калерия Викентьевна?

— Боюсь этого, — шептала баба Лера. — Господи, если бы веровала я!

— Думаете?

— Прощается. Пока — с собой, поэтому и молчит. Потом с нами прощаться начнет, тогда и заговорит.

Анисья и вправду вскоре заговорила: баба Лера многое повидала и в механике ухода человека

из жизни разбиралась безошибочно. Начался третий, последний этап этого ухода: Анисья была особо оживленна, много говорила, с удовольствием отвечала и бесконечно расспрашивала. А спала совсем мало, будто уже жалела тратить время на сон и отдых.

— Кажется, полегчало ей, Калерия Викентьевна? И румянец появился, и настроение вроде. А?

— Уходит она, — с беспомощной тоской сказала баба Лера. — Ничего-то вы не желаете понимать, мужчины. Ничего. Боитесь правды, что ли?

Он вдруг понял, осознал не разумом, а всем существом, что Анисье более не встать, что она и вправду уходит от них, что равнодушное и неотвратимое время с каждым тиканьем ходиков приближает ее уход и его одиночество, и замолчал. Молча сидел рядом с умирающей, молча подавал ей воду, молча топил печи, укрывал от сквозняков и неотрывно глядел. А она, улыбаясь ему, расспрашивала обо всем на свете, будто и не собиралась помирать, будто и лет-то ей совсем-совсем еще немного было и будто ответы, которых требовала она, могли когда-нибудь пригодиться. Так спрашивают дети, утоляя не внезапно вспыхнувшее любопытство, а жажду знаний, запасаемых на всю последующую жизнь.

— А чего это люди на разных языках говорят, Леря Милентьевна? От разных обезьян произошли, что ли? Или и вправду Бог им в наказанье все спутал?

И целый вечер баба Лера рассказывала о происхождении человека и человечества, о расах и народах, о языковых семьях и нациях. Больная слушала жадно и активно, перебивая вопросами, стараясь изо всех сил понять объяснения своей дорогой сестрички-каторги.

— Ты бы отдохнула, Аниша. Подремала бы.

— Нет-нет, погоди, тут понять мне надобно. Стало быть, это чего же такое получается? Получается, вроде мы с немцами как бы братья двоюродные?

— Вроде бы так, Аниша. Конечно, это весьма упрощенное представление, но в сути…

— Вот оно что. — Анисья тяжко вздыхала и горестно качала несуразной лошадиной своей головой. — А ведь люди, они вроде как дети, Леря Милентьевна. Свой своего, значит, убивает и калечит и в лагеря за колючку сажает. Ах, дураки-то какие, ах, дураки!..

Успокаивалась она либо поздним вечером, либо окончательно обессилев. Соглашалась уснуть, принимала лекарства; баба Лера перестилала ей

постель, укутывала, целовала, прощаясь до утра, а Анисья непременно крестила ее в спину. Делала она это втайне, но Калерия Викентьевна знала об этой тайне и ночами тихо плакала в подушку. Но еще до этого они с молчаливым Грешником пили чай на кухне и говорили шепотом, настороженно прислушиваясь к дыханию умирающей.

— Ну зачем, зачем эта любознательность? Может, боль она в себе глушит? Или — страх?

— Нет в ней никакого страха. Людей она на земле оставляет, понимаете? А они — бестолковые да несмышленые, за ними присмотр нужен, а то опять бед натворят. Это же русскую каторгу пройти надо, чтобы дорасти до такого понимания. До такой личности.

— Оставьте, при чем здесь каторга?

— При том, — строго отрезала баба Лера. — Не будь каторги, не было бы и Достоевского. Вот он каков, русский вариант: один — за весь мир. А вы говорите — страх. Да, страх. За всех страх, только не за себя.

— Устает она. Затрачивается слишком.

— А разве существует способ страдать о людях и — не затрачиваться?

Гордо спрашивала баба Лера, гордясь не только названой своей сестрой, но и, как всегда, духом

человеческим. Его безграничной жаждой добра, его милосердием, его способностью сострадать каждому и страдать за все человечество. Дух этот ныне вдруг разгорелся в Анисье, но, горя, сжигал и ее самое, и Калерия Викентьевна ясно представляла, что дни Аниши сочтены, и слезы беззвучно и совсем уж независимо от нее текли и текли, но только по ночам, а днем баба Лера была заботлива, строга и хлопотлива, находя силы не только делать все, что требовалось по хозяйству, не только терпеливо и обстоятельно отвечать на бесконечные детские «почему», но и улыбаться.

— А чего так, Леря Милентьевна, что каким народам теплынь, а какие мерзнут, будто зэки? Я понимаю, хлебушек, он трудов спрашивает, его ро'стить надо, убирать да беречь, а потом уж делить. А тепло? Тепло ведь от солнышка, так и должно быть его всем поровну, а то получается, что совсем не поровну, и кто же это так людей обидел?

Баба Лера терпеливо объясняла, что Земля круглая, что движется она вокруг Солнца по эллиптической орбите, что земная ось наклонена. Говорила о морях и океанах, которые сберегают тепло, о постоянно дующих пассатах и муссонах, о ледяных шапках Арктики и Антарктиды, о

циклонах и антициклонах, о Гольфстриме, определяющем погоду всей Европы.

— Эта могучая река несет нагретые воды с юга на север, и Мурманск — порт незамерзающий, хотя и расположен он за полярным кругом. А само течение, эта морская река, отдав нам тепло, поворачивает назад…

— Вот бы по ней прокатиться. По теплой этой речке.

— Мир поглядеть хочешь, Аниша?

— А чего его глядеть? Мир как мир, везде люди. Нет, не его глядеть надо, а себя казать. Мол, живы еще, хоть и тепла нам куда как поменьше вашего достается.

Последнее время она часто говорила о тепле: стыла изнутри. И хотя Трохименков топил сутки напролет, а баба Лера поила чаем, горячими настоями, клала грелки к ногам и укутывала, Анисья медленно коченела.

— Не текут во мне Гольфстримы мои, сестричка-каторга. Пальцев не чую ни на ногах, ни на руках.

К тому времени прошли обильные снегопады, мерзлую землю и льды надежно укрыло, и по Двине пробились мотонарты с доктором. Доктор был немолод, что понравилось больной, внима-

телен и разговорчив. А осмотрев Анисью, сказал Калерии Викентьевне с глазу на глаз:

— Не обманывайтесь.

— Значит…

— Чудес не бывает. С абсолютной точностью предсказать не берусь, но больше чем на месяц ее не хватит. А в больницу везти — не довезем, да и, признаться, смысла не вижу. В больнице помирать трудней.

Доктор уехал. Анисья долго лежала молча, строго вытянувшись, словно уже шагнув в иной строй. «Поняла, — с болью думалось бабе Лере. — Все поняла, что доктор сказал…» Они с Трохименковым сидели по обе стороны умирающей, боясь обронить слово, вздохнуть, скрипнуть стулом.

— Выйди, Васенька, — вдруг тихо сказала больная. — Выйди, мне с сестричкой поговорить надо.

Грешник тяжело поднялся, пошел ссутулившись. У дверей остановился и не просто оглянулся, а всем телом повернулся к Анисье.

— Иди, Васенька, — повторила она, и две слезинки сбежали по морщинистому лошадиному лицу. Подождала, пока он вышел, пока закрыл дверь. — Не хотела тебе говорить, да в смертное свое, дура я старая, нож наточенный спрятала.

Обряжать меня станешь — найдешь.

— Какой нож, Аниша?

— Чтоб потом не гадала, скажу. Васеньку я зарезать хотела, любовь свою последнюю и единственную.

— Аниша, ты что…

— Молчи, сестра, теперь мой час. Фальшивый он человек, это я сразу почувствовала, ну а мало их, что ли, фальшивых этих? Не ломай, говорю себе, Анисья, голову свою, и так она у тебя слабая. Ну и не ломала. А тут шуточки наши да прибаточки, и понять я не поняла, как влюбилась, будто обварилась. И стала я видеть вроде как по-иному, и слышать, и глядеть, и вдруг будто пронзило меня, сестрица, будто пронзило. Поняла я, кто он есть, и решила: не жить ему больше. Ночью нож точу, а сама реву да про себя вою. Точу, реву да вою…

— Родная моя, милая моя…

— Молчи! — вторично и еще более строго оборвала умирающая. — То последнее испытание мне было. Всю ночь слезьми умывалась и очень жалела, что молиться боле не могу, что позабыла я все молитвы. Но точно знала, что то испытание есть последнее, и потому понять мне его надобно. И поняла: нельзя человеку Божьи права себе за-

бирать, не имеет он на это никакого такого права. Нет у него дозволения то отымать, что Господь даровал: ни здоровья, ни любви, ни свободы, ни тем более жизни самой. Не наше это дело, сестра моя единственная, суд да расправу чинить, не наше. Вот что поняла я в ту самую свою страшную ночь, а чтоб не позабыть как-нибудь спьяну, в приготовленное смертное нож завернула. Мол, коли накатит, так непременно же смертного коснусь, того, в чем пред Богом предстану, и — опомнюсь. Потому и тебе не скажу, кто он такой есть, Васенька мой. Ты уж прости меня, дуру несчастную, а только не тебе судить, сестричка-каторга. Прощению нужно учиться, а не злобе. Казнить и зверь может, а вот простить — только человек. Людями мы с тобой на каторге жили, людями и на свободе помрем, сестричка ты моя родимая Леря Милентьевна…

Через три дня после этого разговора баба Лера, проснувшись раньше обычного, встала и споткнулась о лежавшее подле кровати уже холодное тело. Как смогла Анисья сама подняться с постели и добрести до сестрички-каторги, опуститься на колени возле ее ног да еще, видать, успеть Бога за нее помолить, навсегда осталось без ответа. Впрочем, он никому и не требовался,

этот ответ.

— Вот и все, — тяжело выдавил Грешник и пошел стругать доски.

Выстругал, сколотил гроб — большой, неуклюжий, несуразный — и начал долбить могилу. Трое суток он вырубал ее в звонкой, насквозь промерзшей земле и трое суток повторял эти три слова. Ничего не ел: менял мокрую рубаху, пил чай и снова шел долбить. Спал совсем мало, а баба Лера совершенно не сомкнула глаз, а сидела подле дорогой своей Аниши, изредка в забытьи падая лбом на криво струганную боковину гроба.

— Вот и все, — сказал он, вернувшись засветло, и она поняла, что могила наконец готова и что завтра им предстоит положить в нее Анисью.

Трудно и долго хоронили они ее. Пока Грешник строгал доски и сколачивал гроб в зале, баба Лера омыла и одела свою сестричку, перепрятав нож в свое смертное. Они уложили тело, и Трохименков ушел долбить могилу. А потом вернулся, сказал: «Вот и все» — и ночь просидел подле покойницы, чуть подремав перед рассветом. Молча выпили чаю, Трохименков подтащил к дому санки, вернулся, примерился…

— Не пройдет он. Да и не вытащим вдвоем.

— Как же?

— По отдельности придется.

— По отдельности?..

— Не донесем. И в сенях не развернемся.

Снова вынули Анисью, положили на стол.

С трудом, с великой натугой выволокли неуклюжий гроб, установили на санках, и после этого Грешник на руках вынес закоченевшее тело. Уложили, помолчали, попрощались, закрыли крышкой и, надрываясь, поволокли к могиле сквозь снега, которые намело с того страшного дня.

Пока собирались, пока тащили санки с покойницей в тяжеленном, слишком уж большом для нее гробу, пока опускали этот гроб, задыхаясь, хрипя и падая, в могилу, — а гроб вырывался из окоченевших рук, скользил боком, бился торцами, и слышно было, как гулко стукается о его стенки мертвое тело, — пока засыпали мерзлыми комьями пополам со снегом, наступил вечер. Сил уж не было совершенно, и баба Лера рухнула в снег. Поднялся ветер, гнал поземку, и слезы стыли на щеках. Трохименков угрюмо курил рядом.

— Пойдем. — Она с трудом поднялась. — Пора.

— Что? — Он вдруг бросил окурок, снял шапку. Ветер рвал волосы, забивал снегом: казалось, Грешник седеет на глазах. — Что такое жизнь

человеческая? Путь от колыбели до гроба? Неправда, это среди людей путь. Это жмурки, потому что каждый идет своим путем и не замечает никого и не сворачивает, и все друг друга толкают, а то и бьют, а то и насмерть забивают. Все — вперед, все — скорее; все — без глаз, а потому себе все, под себя, ради себя. И вот среди этих слепых и ослепленных, среди сует, среди путей нечеловеческих редко-редко попадается дорога, по которой прошел не волк, не шустрая мышка пробежала и не серая крыса, а — человек. Били его, оскорбляли, обижали, всего лишили, а он шел своей дорогой и ни разу с нее не свернул. Никого не предал, никого не продал, всем раздавал сердце свое, и тепло свое, и хлеб свой, и труд свой, не думая не только что о награде — о себе даже не думая. Где же они рождаются, такие люди? Кто научает их любить всех, помогать всем жить по закону: «все отдай»? Никто этого не знает и не узнает, никогда не узнает, потому что такие люди и есть единственное чудо в нашей жизни. И когда уходит оно, чудо это великое, когда прощаешься с ним, навсегда прощаешься, тогда только и понимаешь, что утратил, что потерял на веки вечные. Человека потерял, без которого и солнце без солнца, и жизнь без жизни.

Трохименков замолчал, по-прежнему не чувствуя ни ветра, ни снега, ни холода. А они были — и ветер, и снег, и холод. Они выли в ледяном том безлюдье, остужая кровь у живых и занося легким саваном могилы мертвых. Но боль, которую ощущали сейчас живые, была столь ослепительно огромна, что они не чувствовали и не могли чувствовать ничего, кроме боли. Даже холода.

— Мы стали злые, — сказал он, вздохнув и горестно покачав головой. — Мы забыли… Да не забыли — мы похерили самую главную правду человеческую: злом нельзя, невозможно злом истребить зло. Мы учим не состраданию, а злорадности, не милосердию, а жестокости, не прощению, а отмщению. Мы сеем зло, а говорим, кричим даже, что творим добро. Все вскружилось в нашем мире, замутилось и вспенилось, и души наши как прокисшее пиво. А ее душа была чиста, как родник. Но не припасть нам более к этому роднику, ибо и родники иссякают. И от злобы, от ненависти, от слез и страданий все родники вскоре превратятся в мертвые моря, и мы помрем от жажды на их берегах и даже утопиться не сможем. Ведь не высыхают же слезы наши, не испаряются, слышите? Они стекают в Миро-

вой океан, и копятся там, и растут из века в век, пока не зальют всю землю. Прощай, моя Нюша, прощай, Анисья Поликарповна Демова, прощай, сестра наша праведная. Со мной ты будешь, покуда не уйду я вослед за тобой.

Он грузно опустился на колени, и баба Лера молча опустилась рядом. И так они стояли долго, склонив головы над свежим могильным холмом, уже заметенным мягким, неправдоподобно чистым снегом. Потом Калерия Викентьевна с трудом поднялась, положила руку на плечо Грешника:

— Пора.

Назад брели молча, в полной тьме, волоча за собой санки. Дорогу перемело, вокруг ничего не было видно, кроме сплошной стены снега и ветра, и они чудом не сбились с верного направления. Вышли к береговому порядку и оттуда долго пробивались к себе. В свой опустевший, большой и такой тихий отныне дом. Было холодно. Истопленная ранним утром печь остывала, ветер выдувал остатки тепла, а сил уж не осталось. Ни сил, ни желаний, и они решили не разжигать огня даже для того, чтобы разогреть еду. Помянули чем бог послал, стараясь поставить на стол то, чего касались руки Анисьи: ею собранные

грибы и ею выращенную капусту, картошку, которую она старательно окучивала, и огурцы, которые аккуратно поливала, как когда-то велела маменька. И даже водка была из ее тайничка в дровяном сарае.

— А стоит ли…

— Стоит, — отрезал он. — Не бойтесь, не затрясусь. Нечему во мне трястись.

Он выпил много — и Калерия Викентьевна боялась, что ему непременно станет плохо. Но он даже не опьянел: пил, скрипел зубами и плакал.

— Лечь вам надо, — тихо сказала она.

— Что?.. — Он трезво, даже зло глянул в глаза, впервые обращаясь на «ты». — Помнишь, при первой встрече, когда председатель паспорт потребовал, заорал я, что не Трофименков я, а Трохименков, что хер, а не фук, что… Знаешь, почему закричал? Тебя испугался. Испугался, что вспомнишь вдруг, что догадаешься, что вычислишь: ты же не Нюша моя, простая душа. Нет, не встречались мы в жизни с тобою, Вологодова, и это, наверно, тоже счастье мое. Потому что никакой я не Трохименков, а Трофименко Василий Егорович. Это ж как свою жизнь надо прожить, чтоб из собственной фамилии буквы повыбрасывать ради того только, чтоб на случай какой

не нарваться! Чтоб из проклятой жизни своей ограбление могил в биографии выпятить, как… как оправдание, что ли. Или — объяснение.

Как сквозь туман, как сквозь густую пелену прорывался голос в сознание Калерии Викентьевны. Даже не в сознание прорывался, а где-то рядом с сознанием, не трогая его, ибо сознание бабы Леры было тогда переполнено небывалым горем. Анисьей было заполнено оно сверх всяких краев, трагедией расставания и трагедией собственного одиночества, и слова, которые отрывочно доносились до нее, она еще не осознавала, не воспринимала, не связывала воедино. Там она еще была, со своей Анишей, по ту сторону. И спросила не из любопытства, не для поддержания разговора, а словно самой себе на что-то отвечая. На не прозвучавший вслух вопрос.

— Что могут оправдать развороченные могилы наши?

— Ничего не могут, ничего, верно говоришь. Но — оттягивают, просто оттягивают, это ты понимаешь, Вологодова? Знаешь, лошадям раньше губу веревкой перекручивали, чтоб одной болью другую боль оттянуть. Ту, которая и есть самая главная. Вот и я одним злодейством хотел другое… Святотатство, говоришь? Сперва я неосо-

знанно как-то про свое святотатство рассказывал, а потом ты подсказала, юнца того вспомнив, что за иконами в церковь залез. И я уже сознательно про осквернение могил плел, уже с удовольствием даже, уже завлекательно… А она — жалела. Меня жалела. Жалела она меня, Нюша моя, слышишь, Вологодова?..

Он замолчал, однообразно и тупо раскачивая тяжелой от горя и хмеля головой. Он впервые за все прожитое совместно время называл ее не по имени и отчеству, а только по фамилии, называл нарочно с вызовом, будто подталкивал к догадке, к какому-то открытию, которого желал и которого боялся. Но баба Лера все еще была на другой стороне, между ним и ею лежала бездонная и навеки, до скончанья дней, настежь распахнутая могила Анисьи, и ничего-то не слышала и понимать не желала временно оставшаяся в живых последняя сестричка-каторга. Трохименков (или — Трофименко: кто его теперь после смерти Анисьи мог понять?) подождал, покачал головой и, привстав, передвинул лампу, чтобы свет ее не падал на его лицо. Ушел в темь, укрылся и вдруг незнакомым голосом выкрикнул из той тьмы:

— Шаг влево, шаг вправо считается побегом, конвой открывает огонь без предупреждения!

Первая пятерка пять шагов…

Калерия Викентьевна медленно, точно просыпаясь, подняла голову. Вгляделась в темноту, как в прошлое свое.

— Охранник я, — голосом Трохименкова сказало это прошлое. — После могил тех вызвали и — в охрану. Сперва просто конвойным был, потом училище осилил, до начальника лагеря и звания майора дослужился, три курса заочного юридического успел…

Молчала баба Лера. И он замолчал, оборвав фразу. И никто не знал, сколько длилась она, эта пауза, но оба почувствовали, как беззвучно вошла Анисья. И стала над бабой Лерой.

— Я уйду, уйду, уйду сейчас, — глухо забормотал Грешник. — Только позвольте последнее слово. Не верил я, что слова душу жечь способны, будто раскаленные камни, что избавиться от них твое же нутро требует, что жить невозможно, доколе не покаешься. Мы без Бога жить попробовали, вот уже полвека без Бога, а что вышло? Себя иссушили, души собственные изгадили, сами себе грехи отпускать наловчились, и процесс духовного разложения нашего уж и грань перешел. Все, добезбожничались мы… Прости, Нюша моя, прости, Вологодова, нет у меня никакого права

ни обличать, ни тем паче — судить, но о себе доложить обязан. Не могу не доложить, сил больше нет моих…

— Вы и представить не можете, до чего же страшной была та ночь, — тихо рассказывала мне баба Лера, пережив и ту ночь, и ту зиму, и доживая последнее лето свое. — Я материалистка и атеистка, я не верю ни в чудеса, ни в чертовщину, но тогда я физически ощущала, что за моей спиной стоит Аниша. Что восстала она из гроба и пришла ко мне, к своей сестричке-каторге, чтобы мне легче было вынести признание бывшего майора Трофименко и чтобы нашла я в себе силы поступить так, как она мне завещала. И никакой не могло быть более альтернативы, а я… Я твердо знала: не одна я сейчас и не останусь одна потом…

Не шевелясь и не отводя глаз, баба Лера слушала тогда ушедшего во тьму, за ламповый круг, Грешника. Слушала, вцепившись в край столешницы изо всех сил.

— В пятьдесят третьем ведь не просто Сталин умер, не великий вождь всех времен и народов; в пятьдесят третьем мир рухнул. Тот мир, для которого меня создавали, для которого Бога еще раз распяли, отреклись от прошлого своего, мо-

гилы разграбили, деревню уничтожили, в новых крепостных мужиков превратив без права выезда, без паспортов, без денег, без дня вчерашнего и без дня завтрашнего. Все оказалось — зря. Все жертвы, отречения, подлоги, процессы, подлости — все зря, ошибочка вышла, напрасно все. А ведь я два десятка лет в лагерях, я такого насмотрелся, по такой кровище походил, столько сам натворил, что не мог я, не мог ошибкой это все признать. Ведь я же верил, что только так и надо, что вы все — заклятые враги наши, что кругом заговоры, что… Э, да что говорить: я хотел верить, я должен был верить, чтоб самому с ума не сойти. А тут лагеря закрыли, и меня — из органов на улицу. А у меня — дети. Большие уже, мальчик и девочка, школу кончают: они ведь тоже думали, что прав их отец, что в зоне одни злодеи сидят. А им Двадцатый съезд да выступление Хрущева. И начали они меня стесняться. Я специально поглуше и подальше город выбрал, в ВОХР при заводе устроился, тоже прошлого своего стесняюсь, боюсь его: вдруг кто узнает, вдруг на вчерашнего зэка из своего лагеря ненароком нарвусь? Вот тогда я всей семье и фамилию сменил, чтоб совсем с прошлым нити оборвать, обрадовался, когда удалось в милиции буковки поменять, фук

на хер, а дети этого не приняли. Ну, совершенно, абсолютно не приняли: трус, говорят, ты, подлый трус. То есть того, что я тогда пережил, врагу не пожелаю. Тут еще жена померла, дети из дома выживают, в глаза трусом зовут, и стал я пить. В другой город уехал, могильщиком устроился — это по первой, значит, специальности — и пил беспробудно. Пил, пил, пил. И одна мысль стала появляться, завелась во мне, как червячок, и ну — точить, ну, точить… Днем и ночью, ночью и днем. Пройди, говорит, сам сквозь то, сквозь что ты людей прогонял. Тюрьмы пройди, этапы, пересылки и лагеря, нары да шмоны. Ну а законы-то я знал, и подобрать себе преступление было для меня нехитро. Нет, не убил, не ограбил, но ровно на пять лет себе статью потянул. И верь не верь: с радостью на нары поехал.

— Не знаю, что бы было со мной, как бы я поступила, если бы не Аниша, — привычно потряхивая головой, снова и снова вспоминала баба Лера тем последним летом. — То ли от времени, что прошло, что минуло, то ли от возраста, то ли от смертного ухода Аниши моей, а только удивительно я помягчела. Жалела я тогда всех. Людей, зверей, птиц, Анишу, Грешника этого. Так жалела, что готова была встать, обнять его и вместе

поплакать над тем, что же с нами-то сделали. И только подумала так, тут же и почувствовала, как Аниша моя руки свои кладет мне на плечи. Вы не поверите: до сей поры ледяной холод мертвых рук ее ощущаю. И до сей поры голос ее звучит: «Сиди, сестричка-каторга, и подумай спервa. Мне на прощение любовь силы дала, а что тебе твой Алексей скажет?..» Думаете, мистика? Нет, просто в меня Аниша перешла после смерти своей. И мне волю свою диктовала. И даже не слышала я, что он там еще рассказывает. А он о дочери своей говорил…

— …только на нарах и понял, что никого я не любил. Ни жену, ни сына, ни людей вообще: все во мне гробокопательство вытравило. И ведь справедливо: в том возрасте, когда красоте удивляются, стихи наизусть учат, песни поют, цветы девушкам подносят, я во прахе ковырялся. И совсем не духовные, совсем иные ценности познавал. Обратила внимание, сколько цацек люди на себя навешивать стали? Чем грубее да темнее, тем больше на нем золотишка да камешков, а ведь золотишко-то это — из могил, если вдуматься. Оттуда, Вологодова, мы старые ценности извлекли, от которых гордо отрекались когда-то, из золота сортиры строить хотели. Да?

Но — отвлекся, опять о ненависти заговорил, а ведь хотел — о любви. И вот тогда, там, на нарах, понял я, что если и люблю кого, так только дочку свою. И, поняв это, впервые мечтать стал, как освобожусь, как к ней приеду, как детишек ее, внучат своих, нянчить буду. Ну и сбылись мечты мои, мечты ведь всегда сбываются, как мы в песнях поем. Освободили меня, приехал я в тот город, где дочка моя жила, рано приехал, в седьмом часу, что ли. Все боялся, что на работу дочка уйдет, что опять ждать мне. Почти что бегом бежал. Ткнул дверь, чтоб не звонить, чтоб сюрприз ей: «Здравствуй, мол, доченька…» Отворилась дверь эта, и вошел я… Как тебе объяснить, Вологодова, куда я вошел? В склеп, в смердение, в тлен. Онемел, обеспамятел вроде, а на меня из комнаты что-то голое ползет, синее, рыхлое, пузатое, будто жаба. Голова большая на тонкой шейке качается, волосики сбиты, слюни по полу, и рубашонка к горлу съехала. Ужас тут меня охватил: понял я, что это внученька моя, которую я ласкать мечтал да лелеять, ползет и сипит что-то нечеловеческое, нечленораздельное. А из глубины за нею и сама дочь моя появляется. Думаешь, узнал я ее? Я догадался, а узнать не мог. С перепою, опухшая, в одной рубашке мятой да грязной,

да и сама нечесаная, немытая, руки дрожат. Что, говорит, захотелось? Так гони бутылку, и все дела… Родному отцу себя за пол-литра… Это кто же покарал так меня, кто? Бог? Жизнь? Природа? Черт с дьяволом? Не знаю, но убежал я оттуда. На край света решил уйти и сдохнуть там как собака. Да отсрочилось все ненадолго: Нюшу встретил. Единственную радость за всю свою жизнь…

Он вздохнул, понуро покачал головой и молчал долго. Потом остаток водки допил — торжественно, будто причастие. Поставил стакан, спросил, не глядя:

— Можешь ты простить меня, Вологодова?

И опять Калерии Викентьевне очень захотелось встать. Встать, погладить седую голову этого несчастного, живьем убитого человека, сказать, что прощает, что никто не виноват, что судьба… Но опять ощутила на слабеньких, хрупких плечах своих ледяную тяжесть мертвых Анисьиных рук — и не смогла встать. Ни встать, ни заговорить, ни прощать: прощение от ума недорого стоит. И баба Лера, строго подобрав сухие старческие губы, сурово глядела мимо.

— Не можешь, значит.

Он вздохнул, тяжело, изо всех сил упираясь обеими руками в стол, поднялся, тяжело пошел

к выходу. Долго одевался там, шурша одеждой: баба Лера сидела, как изваяние, по-прежнему сурово глядя перед собой.

— Ну, прощай, Вологодова. Не поминай лихом…

Он вдруг замолчал, будто поперхнувшись словом. Будто все мутное, что скопилось в душе его, со страху, что на мороз выгоняют, со всей силой в голову бросилось. И за спиною бабы Леры стоял сейчас не раздавленный горем и жизнью человек, а беспощадный, как холод, майор Трофименко.

— Грешник, значит, я, грешник? А вы — несчастные, да зато чистенькие, как стеклышки? Не-ет, не выйдет! Всякое действие свою отдачу имеет, как выстрел. Кто нас такими сделал, а потом — грешниками обозвал? Да вы же сами, вы, неистовые, вы, вы, вы! Воздастся вам, слышите? Ох как воздастся. Не только за всех Анисий в мире, но и за всех нас. За весь народ, который поверил вам, как Нюша моя своему Митеньке. За весь народ!..

Хлопнула за спиною дверь, а Калерия Викентьевна еще долго сидела не шелохнувшись. Так долго, что начали стыть ноги в валенках, что поняла, что утро на улице, что уже остыла изба и что пора топить печь. Тогда встала, ощутив

помимо собственного сознания, что отныне начинается последний абзац ее биографии.

— Выгнали?.. Выгнали в метель, в мороз, в безлюдье и бездорожье больного человека? Калерия Викентьевна, дорогая наша баба Лера, я не могу в это поверить. Вы наговариваете на себя, вы сочиняете… Ведь вам же несвойственна жестокость!

В последнее лето баба Лера выступала крайне редко, а куда чаще сидела на солнышке, как когда-то сидела Анисья, пытаясь согреться после всех зим своих. Неистовое пламя семнадцатого года догорало в иссохшем старом теле. Калерии Викентьевне все время хотелось тепла, и она стремилась каждую минуту впитывать в себя солнце, точно надеясь унести с собою нежность его лучей. После всех потерь и всего отпущенного ей горя, после той страшной зимы, унесшей Анишу и прогнавшей Грешника, после непонятно как прожитых ею трех месяцев одиночества, равных трем столетиям, как мне почему-то представлялось, Калерия Викентьевна стала еще суше, еще меньше, еще задумчивее. Ходила, правда, легко, но мы все понимали, сколь тяжело дается ей эта упрямая легкость. Худые до прозрачности руки ее дрожали, и она, твердо произнося извинения, ела теперь одна, не желая показывать

свои немощи. Безостановочно дергалась седая голова, и я могу себе только представить, сколько труда и стараний ежедневно требовала от бабы Леры подчеркнутая аккуратность прически, из которой никогда не смел высунуться ни один седой волос. Устав или просто забывшись, она, случалось, начинала шаркать ногами, и только старческая спина ее, вынесшая неимоверную по тяжести жизнь, оставалась несгибаемо прямой, будто Калерия Викентьевна Вологодова и до сей поры гордо несла невидимое нам знамя.

— Жестокость, вы говорите? Жестокость бывает только по отношению к безвинным. К детям, женщинам, зверям. По отношению к врагам есть только беспощадность.

— Но ведь он же наверняка замерз!

— Возможно. — Вдруг лицо бабы Леры стало строгим и торжественно отрешенным, как лики на иконах. — Возможно, погиб. Но скорее всего, он все еще бродит среди людей, моля о смерти, как проклятый Господом Агасфер.

Больше я не расспрашивал о той зиме, не вспоминал о Грешнике. Я получил ответ, равнозначный последней точке, и понял, что мне не следует бередить исстрадавшуюся душу никчемным любопытством: Калерия Викентьевна опустила

занавес, и бестактно было бы попытаться найти в нем щелочку. Я не расспрашивал, но она сама, непрестанно думая и о той страшной зиме, и об Анисье, и о своем праве судить, часто, хотя и урывками, возвращалась к тем дням, и из этих кусочков я составил себе некоторое представление, как смогла старая женщина прожить более трех месяцев в снегах, безмолвии и одиночестве.

— Знаете, у каждого человека есть воспоминания, которых он боится, — как-то сказала она мне. — То ли совестно ему, то ли горько, то ли больно, то ли понять он страшится то, что было когда-то и что теперь начало вдруг брезжить, как первый луч. И я не святая, и я от одного из таких воспоминаний пряталась даже в лагерях, и только в ту первую ночь своего одиночества перестала пугаться, поборола свое малодушие, все поняла и все расставила по местам.

Так начался рассказ, который почему-то показался мне знакомым. Было ощущение, что я то ли читал нечто подобное, то ли слышал о нем, но вскоре я понял, что Калерия Викентьевна не заимствовала чужой жизни, не пересказывала ее, не занималась плагиатом. Просто сама история государства, в создании которого ей посчастливилось принимать непосредственное участие, была

способна на повторы самой себя именно потому, что была новой. Она писалась заново, вычеркивая целые абзацы из себя самой и безжалостно сжигая черновики…

Юная Лера Вологодова в октябре семнадцатого ушла не из отчего дома, а из отчего мира. Естественно, тогда, в то обжигающее время обжигающих страстей и обжигающих поступков, ей не приходило в голову формулировать, куда и откуда она идет. Было время порывов, и люди принимали решения, куда чаще исходя из особенностей времени, чем из анализа обстоятельств. А Лерочка удалась в мать, а не в отца, и в характере ее универсальным средством решения жизненных коллизий оказался порыв, ибо вся многочисленная родня по материнской линии отличалась именно этим свойством. Именно порыв привел однажды ее мать на Ходынское поле, и испытание оказалось столь тяжким, что Надежда Ивановна Олексина так и не смогла избавиться от ужаса и дала согласие на брак с Викентием Корнелиевичем Вологодовым не от безразличия, а от неосознанной потребности иметь нечто определенное в жизни. Смутные призраки Ходынки не блекли в ее сознании, но она всегда твердо знала, что рядом есть ясность

и воля, спокойствие и разум, и это помогало не только жить, но и верить, что дети ее не получат в наследство апокалиптических видений, выпавших на ее долю. Но дети — не только Лерочка, но и Кирилл — пошли в нее, в олексинскую породу, в которой романтическое начало заведомо перевешивало начало практическое, хотя и в том многочисленном клане встречались почти хрестоматийные исключения.

Да, Лерочка Вологодова — мать очень скоро обнаружила это — оказалась Лерочкой Олексиной куда в большей степени, чем раздавленная Ходынкой сама Надежда Ивановна, и стремительный уход ее за Алексеем окончательно утвердил приоритет той крови, которая бурлила и бунтовала на базе спокойной, разумной, упрямо последовательной отцовской натуры. В конечном счете в седой бабе Лере все переплелось, все уравновесилось, но в отчаянной полудевочке-полуженщине Лерочке в те буйные времена буйствовала, ликовала и торжествовала олексинская порода.

Лера всегда помнила о родных, оставленных так внезапно, а особенно — о матери, которую не только очень любила, но и очень жалела с детства, едва поняв, что такое жалеть. Помнила,

любила, жалела и — никогда не писала. Никогда, ни одной строчки, даже узнав, что ее отца, арестованного по подозрению, по подозрению же и расстреляли. Не писала не только потому, что горячий ветер Гражданской войны рвал из рук, сушил, а то и обугливал любую бумагу; нет, не писала она по той причине, что была куда более Олексиной, чем Вологодовой, а Олексины не обладали потребностью писать, куда бы ни заносила их судьба: в Америку, Сербию или на Кавказ, в Болгарию или в Ясную Поляну под городом Тулой. Ничего еще не зная об этой странной фамильной черте, Лерочка тем не менее испытывала непреодолимое отвращение к письмам. А Гражданская война мотала ее по всей России из конца в конец и из года в год, не давая опомниться и оказавшись длиннее собственного календарного срока, поскольку Алексею пришлось долго и мучительно гоняться за басмачами. А когда все было кончено и последний курбаши положил оружие к ногам победителей, когда ее Алеша в дополнение к революционному оружию получил и третий орден Красного Знамени, Лера Вологодова узнала, что ее мать арестована, а где именно содержится в настоящее время, неизвестно.

Кончились бои, начинал угорать нэп и при-

ходить в себя деревня. Работники Чека к этому времени приобрели не только кожаные тужурки, но и многозначительную немногословную усталость.

— Разберемся. Не беспокойтесь.

— В чем разберетесь? Моя мать — душевнобольной человек. Она пострадала в ходынской катастрофе…

— Три дня. Приходите через три дня. Это все.

И ровно через три дня. Час в час:

— Ваша мать Вологодова Надежда Ивановна, вдова действительного тайного советника и ярого врага советской власти Викентия Корнелиевича Вологодова, в настоящее время содержится в Соловецком спецлагере.

— В чем ее обвиняют?

— Идет проверка. Простая формальность.

— Если это простая формальность, прошу разрешить свидание. Если нужны поручительства…

— Нет необходимости. Свидание, товарищ Вологодова, вы получите. Длительность свидания определяет руководство на местах.

Даже при этой милости сквозь зубы Леру вряд ли допустили бы на острова, если бы не боевая слава Алексея. Прибыв в Архангельск, она по наивности начала было энергично требовать,

но уже на третий день сообразила, что ее будут гонять по таинственному кругу согласований и разрешений до тех пор, пока она сама не откажется от заветного пропуска. Никто не говорил «нет», «нельзя», «запрещено»; все улыбались и говорили: «да», «безусловно», «конечно», только за всеми этими улыбками стояло крохотное, ну совершенно пустяковое «НО». То не хватало чьей-то подписи, то поставили не тот штамп, то перепутали дату, то забыли прихлопнуть печатью — и так каждый день. Каждый день хождений, бесконечных объяснений, унизительных просьб, пока не приехал Алексей. Он прицепил именную саблю, пристегнул подаренные кавкорпусом серебряные шпоры разгромленного под Вапняркой очередного атамана и за четверть часа до отхода парового катера принес пропуска.

— До шестнадцати. До обратного рейса: на ночь посторонним там оставаться запрещено.

Серой тишиной встретили их Соловки. Серыми были стены и камни, серыми были море и небо, серыми были лица и одежды людей, державшихся поодаль, будто боясь переступить некую черту. Потом, через одиннадцать лет, Калерия Викентьевна узнала, сколь реальна эта невидимая черта, узнала, что шаг за нее обычно означал

карцер или смерть, но тогда по молодости, по восторженности недавнего прошлого, по еще пульсировавшему в ней ощущению великой победы ничего не поняла. Тем более что и понять-то не дали.

— Начальник охраны Дегтярев, — как-то не по-армейски представился Алексею совсем еще молодой и совсем уже изможденный человек. — Обязан сопровождать по долгу службы.

— А где ж… — начала было Лера в растерянности.

— Гражданка Вологодова ожидает свидания в отведенном для этого помещении.

И они пошли куда-то, но не через Никольские ворота, а вдоль серых суровых стен. А люди, плотно сбившись, продолжали держаться за невидимой чертой, и только одна женщина упорно шла сзади, будто уже преступила эту черту.

— Это сумасшедшая, прошу не принимать во внимание.

Дегтярев так и сказал — «не принимать во внимание»: и через много лет баба Лера отчетливо помнила еще тогда удивившие ее слова. Но теперь она поняла их: в них заключалось предупреждение не верить ничему, что бы ни рассказывала эта, преступившая черту. Не при-

нимать во внимание.

Мать ожидала в маленькой, полутемной, много лет не топленной келейке с единственным сводчатым окошком под самым потолком. Именно ожидала, потому что встретила не просто стоя, а словно на бегу, словно много часов металась тут по гулким каменным плитам.

— Доченька, спасибо тебе, родная, Бог возблагодарит, что не забыла меня…

Прекрасные полубезумные глаза ее, обычно подернутые ужасом пережитого, были ясны и блестящи, и этот блеск усиливал их синеву даже в сумраке полукамеры-полукельи. Она с силой прижала к груди голову дочери, и Лера удивилась этой силе.

— Мы простимся, простимся. Господь услышал мольбу мою…

— Что ты, мамочка, о каком прощании ты говоришь? Алексей узнавал: тебя скоро, очень скоро освободят. Это ведь только проверка, к сожалению очень затянувшаяся.

— Да, да, безусловно. — Мать улыбнулась, сияя удивительно ясными и удивительно синими глазами. — Здравствуйте, мой дорогой похититель девичьих сердец.

Алексей шагнул, щелкнул каблуками, склонил

голову к руке. Серебряный звон шпор странно долго звучал в каземате; бабе Лере сейчас казалось, что звучал он до тех пор, пока Алексей не нашел в себе сил оторваться от руки Надежды Ивановны. Пока не сказал:

— Простите меня.

Калерия Викентьевна только теперь поняла, что просил он прощения не за то, что увел из дома дочь, а за то, что вынужден был казнить сына. Не по гимназистке Лерочке серебряно звенели шпоры в глухом том каземате, а по белому офицеру Кириллу Вологодову.

Они о чем-то говорили с матерью, беспрестанно перебивая друг друга, возвращаясь к началу, к дому и детству, и вновь растекаясь во времени. Они обсуждали что-то очень важное тогда и такое необязательное, такое второстепенное теперь, что баба Лера так и не смогла ничего припомнить. Может быть, потому, что вспоминалось ей совсем иное, незаметно прозвучавшее тогда и наполнившееся огромным смыслом сейчас, в конце ее собственной жизни. А пыталась вспомнить, очень хотела услышать хоть одно слово из тех необязательных, потому что эти необязательные слова говорила живая мама. Но ей упорно вспоминались слова иные, приобретшие имен-

но сейчас роковой смысл, а тогда пролетевшие мимо счастливой Леры Вологодовой, потому что они были словами неживой матери, а Лера не желала воспринимать маму неживой, но слова, как выяснилось, не заглохли в глухом каземате, слившись с душою и осев в ней навсегда. Живое тогда стало мертвым сегодня, а мертвое — живым, но на то, чтобы постичь эту метаморфозу, Калерии Викентьевне пришлось израсходовать всю собственную жизнь.

— Почему у тебя на пальце чернильное пятно? Так трогательно, словно ты у меня гимназистка-приготовишка.

— Я сегодня писала письма. Ты скоро получишь их.

— Мамочка, тебе недолго ждать освобождения, какие письма? Нам твердо обещали, и как только Алеша вернется в Москву…

— Да-да, конечно-конечно. — Мать вдруг схватила ее за руку, сжала почти с мужской силой. — Знаешь, я видела поразительный сон. Мне ясно, пророчески ясно представилось, что Кирилл погиб. И будто бы он, мертвый, читает Пушкина. Помнишь: «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный…»

Звон клинка и шпор слились в один, совсем не

серебряный звон: Алексей вскочил, привычно щелкнув каблуками.

— Надежда Ивановна, разрешите ненадолго покинуть вас. — Он довольно чувствительно ткнул сопровождавшего их начальника охраны: — Прошу со мной.

— Я по долгу…

— Перекур, — голосом, не терпящим противоречий, отчеканил Алексей. — Вперед.

И буквально погнал растерявшегося Дегтярева к выходу. Тяжело скрипнула и тяжко захлопнулась рубленная на века дверь. Мать и дочь остались одни, и это почему-то столь озадачило Надежду Ивановну, что она замолчала в некой беспомощной растерянности. А Лере вдруг подумалось, что мама знает не только о гибели сына, но и о ее подробностях, о роли Алексея, и поэтому она торопливо сказала:

— Был слух, мамочка, что… Но только слух, понимаешь? Я… то есть мы с Алексеем знаем, что…

Она сбилась, запуталась и замолчала, до ужаса боясь слов, что сейчас произнесет мать. Слов, которые подтвердят ее догадку.

— Лера, если тебе суждено будет попасть в обезумевшую толпу, подчиняйся ее законам не раздумывая, — неожиданно сказала мать. — Иди,

куда идут все, — направо, налево, вперед, назад, — только забудь о собственной дороге, иначе толпа сомнет тебя и растопчет. Заклинаю тебя своей жизнью и своей смертью…

— Мама, о чем ты?

— Законы толпы не ведают милосердия, я знаю это по собственному опыту. Подчиняйся безропотно и незамедлительно, тогда, быть может, ты уцелеешь. Может быть…

— Мамочка, какая толпа? Это все так странно, все, что ты говоришь…

В разговоре — торопливом, приглушенном — они не заметили, что уже не одни: в келейке стояла та женщина в темном, которая упорно шла за ними, которая, как тогда еще показалось Лере, «преступила черту» и которую сопровождающий их Дегтярев просил «не принимать во внимание». Когда она проскользнула в этот каземат, они не уловили, но сейчас, увидев, что на нее смотрят, женщина крепко прижала руки к груди и шагнула к ним.

— Не надо, Ираида Андреевна, — с тихой мольбой попросила мать. — Умоляю вас.

— Я вытянула жребий, Надежда Ивановна, вы знаете об этом, — тихо, но вполне четко и спокойно сказала женщина. — За то, что я шла за вами,

за то, что я обязана сказать, меня убьют. Сегодня же и, думаю, даже раньше, чем…

— Ираида Андреевна!.. — громко прервала мать.

— Что? — Лера недоверчиво улыбнулась. — Убьют? За что? На каком основании?

— Убивают в одиночку каждый день. Это делают в подвале под колокольней. Из револьвера. Это совершенно не страшно, потому что вы спускаетесь по ступеням в темноту и вдруг — выстрел в затылок. А расстрелы партиями проводят по ночам на Онуфриевом кладбище. Дорога туда идет мимо нашего барака, это бывший странноприимный дом. Мы назвали эту дорогу улицей Растрелли… Расскажите об этом там, это очень важно. Важно, чтобы там — там! — знало об этом как можно больше людей, иначе они не остановятся. И еще. Вы будете получать письма, но знайте, что вашей матери уже не будет на этом свете. И очень скоро они уничтожат всех, и никто ничего и уже никогда не…

Приоткрылась, тяжко скрипнув, дверь: на сей раз они услышали. Но никто не появился, донесся только голос Дегтярева:

— Вадбольская, ко мне!

Женщина вздрогнула, точно ей уже выстре-

лили в затылок. Потом медленно поклонилась, шепнув: «Прощайте», и тут же вышла. Дверь за нею закрылась, и мать с дочерью вновь остались одни.

— Это несчастный, очень несчастный человек, — вздохнула мать. — Не верь ни единому слову, Лерочка, княгиня Вадбольская помешалась от горя.

И Лера с облегчением не поверила ни единому слову. А баба Лера вспомнила эту женщину, вспомнила слова матери, ее тихий вздох и неожиданную робкую улыбку.

— Ираида. Ираида, если помнишь, от древнегреческого «герой». В родильном падеже — heroidos.

Кажется, и этих слов она тогда не восприняла. Все в ней было иным, ярким, праздничным, все отторгало этот странный мир серого неба и серого моря, серых камней и серых людей. А тут еще почти сразу вошел Дегтярев и сказал, что вот-вот должен отвалить паровой катер и что свидание окончено.

— Ваш муж ждет у выхода. — И неожиданно странно улыбнулся: — Приезжайте к нам, будем весьма рады.

Они пошли к пристани, опять торопливо говоря о чем-то совершенно необязательном, перебивая

друг друга и недоговаривая. Странной Ираиды Андреевны нигде более не было видно, никто к ним не приближался, и из всего этого последнего пути Лера запомнила только одну фразу:

— А знаешь, Лерочка, я ведь уже однажды была в Соловецком монастыре. В том злосчастном девяносто шестом: меня привезла сюда твоя тетя Варвара Ивановна Хомякова. Настоятель угощал нас дыней, которую монахи вырастили в оранжерее. Тогда здесь выращивали дыни. — И, обнимая, шепнула: — Помни закон толпы. Помни, мы все завещаем вам эту память.

Уезжали они обеспокоенными. Вернувшись в Москву, тотчас же принялись хлопотать. И ненапрасно, поскольку очень большой начальник лично вытребовал к себе «Дело Н. И. Вологодовой».

На следующий день, что ли, пришло письмо от матери: первое после свидания. Лера так радовалась ему, так верила, что вот-вот… Потом с регулярностью в месяц пришло еще два: в последнем мама извещала, что ее вызывал начальник, прибывший из Москвы, вел с нею обстоятельный разговор и сказал, чтобы готовилась к освобождению. А еще через неделю пришло официальное извещение, что Вологодова Н. И. скончалась от

сердечного приступа.

— Она не вынесла радости, — плача, говорила Лера. — Не вынесла…

Алексей молчал.

Ох как нужны были бы эти письма бабе Лере сейчас! Но их изъяли при аресте, и она могла лишь вспоминать. И, упрямо вспоминая их, заставляя себя часами представлять каждую строчку, написанную маминой (в этом она не сомневалась и сейчас) рукой, Калерия Викентьевна спустя полвека открывала много нового. Того, что не могла осмыслить, понять, уловить в то время и что сделалось таким ясным, очевидным теперь…

Например, аккуратно указывая разные даты, мама, в сущности, писала одно и то же, не только не делясь мелкими житейскими новостями, но и строя свои письма так, словно не было у них свидания: в двух письмах упоминался Кирилл, и если в одном мать просто беспокоилась за его судьбу, то во втором почему-то предполагала, будто сын ее в Праге. Лера и Алексей объясняли эту странность особым состоянием Надежды Ивановны, тем более что при свидании у Леры так и не хватило мужества сказать о гибели брата. Но мама тогда говорила о сне, о строках пушкинского «Узника», а письма об этом молчали. А в

одном письме она назвала сопровождавшего их другим именем, но и это они сочли опиской. А вот о том, почему ни в одной строчке ни разу не упоминалось о судьбе княгини Ираиды Андреевны Вадбольской, этого Лера и тогда понять не могла, но с неистребимым оптимизмом победившей молодости решила, что мама слишком мало знала эту странную особу и, с почтительным уважением назвав ее героиней, подчеркнула болезненное состояние ее души.

— Конечно, маму они убили, — сказала мне баба Лера. — Заставили написать письма, а когда мы уехали… Я до сей поры вижу чернильное пятнышко на ее пальце. И вполне возможно, что с пристани ее отвели в тот подвал под колокольней. Может быть, вместе с Ираидой Андреевной Вадбольской, которой выпал жребий передать через меня всю правду о Соловках, а я тогда этой правды не поняла.

— И вы истязали себя воспоминаниями всю зиму?

— Почему же истязала? Спасала. Знание прошлого никогда не убивает, убивает незнание прошлого. Медленно, но неотвратимо, потому что меняет личность человека.

После ухода Грешника баба Лера одиннадцать

дней не выходила из дома. Дров было много припасено и в холодной зале, и в сенях, и выходить не просто не хотелось — выходить было страшно. Боязно было выходить, потому что ей упорно казалось, будто у самого порога она непременно наткнется на окоченевший труп шагнувшего в метель, мороз и небытие Грешника. И тогда она стала вспоминать, стала черпать силы из прошлого, потому что сил этих уже не было в настоящем и не могло быть в будущем. И начала жить, и заставила себя на двенадцатый день выйти из дома.

Белым-бело было вокруг. Белым-бело.

Белым стало выморочное село Демово, белым — уцелевшие крыши и даже стены домов, белым — бывшие улицы и переулки, бывшие огороды и дворы, бывшие поля и бывшие луга. Все было до боли белым, но самой белой была Двина, и Калерия Викентьевна до слез всматривалась в окружившую ее белизну.

— Вы не поверите, если признаюсь, что думала тогда не о лежащем где-то под снегом Трохименкове. То есть, конечно же, я не переставала о нем помнить, но, как выяснилось, у человека множество способов как хранения памяти, так и строя мыслей. И, думая о последнем человеке,

покинувшем меня, я одновременно думала и о том, что в мире есть две господствующие краски: белая и зеленая. Цвет смерти и холода и цвет тепла и жизни. Даже не цвет — знак. Символ, это точнее. Вот о чем я думала, выйдя из дома на двенадцатый день. И поскольку вокруг господствовал символ смерти, то я успокоилась. Странно? Нет, естественно. Это жизнь всегда беспокоит и будоражит, а смерть заставляет размышлять о вечном.

Размышления о смерти вовсе не предполагают отказа от живого и теплого настоящего: они внутренне готовят человека к неизбежности расставания, они предлагают иную шкалу ценностей, заставляя пересчитывать прожитое по этой новой, всегда несоизмеримо более высокой шкале, где нет места мелким обидам, зависти, жадности, эгоизму, а есть вечные эталоны Добра и Зла, и человек, способный несуетно и бесстрашно заглянуть в собственную смерть, способен и посмотреть на собственную жизнь с иных высот. И тогда его не угнетает ни одиночество, ни ужас близкого конца; тогда страх переплавляется в бесстрашие, а мысли приобретают простоту и ясность. И баба Лера жила в осознанном спокойствии, ни в чем не поступившись ни своими

привычками, ни сложившимся укладом. Все так же затемно растопляла печь, носила воду, неторопливо завтракала, накрывая стол со всей возможной тщательностью, и начинала готовить обед. На одного человека и ровно на один день, не позволяя уйти из обыденной жизни обыденному труду. Старательно убирала во всем доме, хотя ни сорить, ни следить более было некому, расчищала дорожки во дворе, а по вечерам читала, часто отрываясь и раздумывая о прочитанном, чтобы и это приятное занятие не превратилось исподволь в бездумную старческую привычку. Баба Лера прекрасно представляла все тайные козни старости, а потому старалась ни в чем не давать ей спуску. И только одно новшество допустила она в устоявшийся обиход: каждое утро, выйдя из дома, низко кланялась мысу, на котором лежала ее Аниша. Зимние вечера оказались тягостно длинными. Если днем еще находилась работа, то к вечеру уже была перемыта последняя чашка и сожжено последнее полено. Чуть потрескивал фитиль лампы, скреблись мыши да шелестели страницы. И так шли дни.

С Крещенья характер зимы резко менялся: прибавлялось света и солнца, наливалось синевой небо и начинали все заметнее оживать

птицы. Природа еще спала, но уже вздыхала и ворочалась, уже тронулись первые соки, уже накапливались, наливались, чтобы брызнуть непобедимой зеленой силой обновления. Калерия Викентьевна давно уловила этот ежегодный ритм, ждала его, веря, что пережила еще год, что теперь уж с каждым днем будет теплее, светлее и легче, что свет опять победил мрак и воскресил все живое. Но эти радостные признаки нынче не принесли ей привычного облегчения, а принесли беспокойство. Беспокойство ожидания, ибо ясно знала, что год этот — последний.

Так закончилась эта зима, прошла весна, а летом ушло и одиночество. Красногорские власти поставили ограду и крест на могиле Анисьи, школьники взяли шефство над бабой Лерой, регулярно навещали ее, приносили продукты. Появились туристы и рыбаки, экспедиции и отдыхающие, приехал на месяц я, наезжал Владислав из райцентра. Лето случилось тихим, солнечным, ягодным: последнее лето бабы Леры.

— Как же она зиму-то одна переживет, Владислав?

— Не будет она одна, не будет. Я ей очень милую старушку подыскал, бывшую учительницу. Вот проводит она своих внучат, и привезу я ее.

Владислав не успел привезти милую старушку к бабе Лере. Намеревался в начале сентября, но девятого сентября 1974 года поздней ночью меня разбудил длинный междугородный звонок. Спросонок я долго ничего не мог разобрать: уж очень трещало в телефонной трубке, а голос Владислава был еле слышен.

— Бабу Леру убили…

— Что?.. Что ты сказал?..

— Следователь говорит, стол к чаю накрыт был. Она, значит, чайку дорогим гостям, а ее…

Он говорил еще долго, потому что я лишился голоса. Я пытался перебить его, о чем-то спросить, но мне пережало глотку.

— Представляешь, она — хлеба кусок, а ей…

— Поймали? Поймали, спрашиваю?

— В Котласе взяли с иконами. Три мешка икон тащил, вот его и приметили. Из-за икон, сволочь…

— Кто он?

— Фамилией интересуешься? Морозов его фамилия, вот и все, что пока знаю. Вылетай на похороны.

Нас давно разъединили, в трубке звучали короткие гудки, а я все еще прижимал ее к уху. Потом прошел на кухню, достал почему-то кусок

черного хлеба, положил его перед собой на стол и заплакал…